



В. М. ЖИВОВ

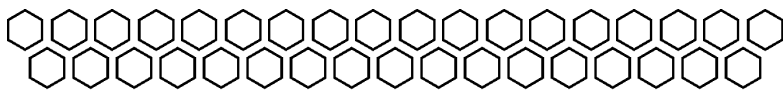
**ОЧЕРКИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
МОРФОЛОГИИ
РУССКОГО
ЯЗЫКА**

**XVII—XVIII
ВЕКОВ**



STUDIA PHILOGICA

STUDIA PHILOLOGICA



В. М. ЖИВОВ

ОЧЕРКИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
МОРФОЛОГИИ
РУССКОГО
ЯЗЫКА

XVII—XVIII
ВЕКОВ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2004

ББК 63.3(2)4
Ж 67

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 04-04-16073

Рецензенты:
доктор филологических наук Е. А. Земская
доктор филологических наук В. А. Плунгян

Живов В. М.

Ж 67 Очерки исторической морфологии русского языка XVII—XVIII веков / Рос. академия наук. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 656 с. – (Studia philologica).

ISSN 1726-135X
ISBN 5-9551-0008-3

В монографии исследуются проблемы исторической морфологии на материале русских письменных источников XVII—XVIII вв. Анализируется ряд явлений именного и глагольного словоизменения в их динамике. Особое внимание уделено различиям в узусе, характеризующем разные традиции (регистры) письменного языка. Анализ статистических параметров позволяет проследить преемственность в эволюции регистров и увидеть специфику процессов, сопровождающих формирование языкового стандарта (литературного языка). Морфологические процессы в образовании языкового стандарта также рассматриваются в деталях, включающих и историю их кодификации, и их динамику в языковой практике, и историко-культурные стимулы этого развития.

Книга представляет интерес для историков русского языка и историков русской культуры, а также для специалистов в области общего языкознания и типологии языков.

ББК 63.3(2)4

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshchelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavvic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

ISBN 5-9551-0008-3



© В. М. Живов, 2004
© Языки славянской культуры, 2004

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	9
1. Коммуникативный статус морфологии и проблема преемственности.....	9
2. Морфологическая нормализация в процессе формирования русского литературного языка нового типа.....	21
3. Задачи, материал и план исследования.....	28
Глава I. Некоторые теоретические выкладки и полемические заметки	37
1. Специфика письменного языка и языковая ситуация древней Руси.....	37
2. Норма и вариативность в письменном языке. Значение синтаксических параметров.....	44
3. Преемственность и лингвистические характеристики книжного и некнижного языков.....	54
4. Формирование регистров письменного языка.....	63
5. Механизмы преемственности и динамика регистров письменного языка. Тип двойственного числа.....	77
6. Механизмы преемственности и динамика регистров письменного языка. Тип простых претеритов.....	92
7. Формирование нового литературного языка как процесс европеизации.....	103
8. Место реинтерпретации морфологических вариантов в формировании нового литературного языка.....	116
Глава II. Формы инфинитива и 2 лица ед. числа презенса	131
1. Формы инфинитива в языковой практике XVII века.....	131
1.1. Формы инфинитива в книжных текстах XVII века.....	137
1.2. Формы инфинитива в некнижных текстах XVII века.....	159
2. Формы инфинитива в языковой практике Петровской эпохи.....	184
3. Формы инфинитива в языковой практике послепетровской эпохи (светская литература).....	198
4. Осмысление форм инфинитива и их нормализация.....	209
5. Формы инфинитива в языковой практике духовной литературы.....	226
6. Формы 2 лица ед. числа презенса.....	238
6.1. Формы 2 ед. презенса в письменности XVII века.....	239
6.2. Формы 2 ед. презенса в языковой практике XVIII века.....	249
6.3. Кодификация форм 2 ед. презенса.....	254
6.4. Формы 2 ед. презенса в языковой практике духовной литературы.....	258
6.5. Эссе о формах 2 ед. презенса в драматических произведениях.....	264

Глава III. А-экспансия в косвенных падежах существительного во множественном числе	267
1. Формы дат., твор. и местн. падежей мн. числа существительных в языковой практике XVII в.	268
1.1. А-экспансия в стандартных церковнославянских текстах и в текстах некнижных	277
1.2. А-экспансия в гибридных церковнославянских текстах	296
1.3. Ориентация на образцы и нормализация как факторы, определяющие характер а-экспансии в текстах XVII в.....	314
2. Отражение а-экспансии в текстах Петровской эпохи и светской литературе XVIII в. Характер нормализации.....	319
2.1. Реформаторское и нейтральное направления в языковой практике Петровской эпохи	322
2.2. Завершение нормализации и опыты стилистического использования старых флексий	333
3. Трактовка а-экспансии в грамматиках и филологических трудах. Способы устранения вариативности	352
3.1. Грамматические описания церковнославянского языка	353
3.2. Первые грамматики русского языка.....	361
3.3. Формирование академической традиции. Принципы нормализации	368
3.4. Ломоносов и послеломоносовская кодификация.....	379
4. А-экспансия в языковой практике духовной литературы XVIII века	385
4.1. Проповедь на гибридном церковнославянском. Утверждение жанровых особенностей	386
4.2. Отражение а-экспансии при переходе духовной литературы на русский язык	398
Глава IV. Формы прилагательных в именительном и винительном падежах множественного числа	408
1. История форм прилагательных в им.-вин. мн. числа в русской письменности XVII века.....	408
1.1. Стандартный книжный регистр.....	410
1.2. Гибридный книжный регистр	418
1.3. Деловой некнижный регистр	438
1.4. Бытовой некнижный регистр	446
1.5. Факторы, определяющие разнообразие узуса	448
2. История форм прилагательных в им.-вин. мн. числа в период формирования нового литературного языка	451
2.1. Смещение регистров и типы употребления форм им.-вин. мн. в Петровскую эпоху	451
2.2. Устранение вариативности в ходе академической нормализации 1720—1730-х годов	464
3. Кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа	475
3.1. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в церковнославянской грамматической традиции	475
3.2. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в грамматиках русского языка и академическая нормализация	480
3.3. Aftermath: Споры и колебания после 1733 года	489
4. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в духовной письменности XVIII века.....	508

Заключение. Некоторые итоги и теоретические выводы	529
Приложение I. Простые претериты в светской письменности XVIII века	557
Приложение II. Простые претериты в духовной литературе XVIII века	567
Приложение III. Простые претериты и кодификация глагола в русской грамматической традиции XVIII века	578
Литература	602
Указатель	629

ВВЕДЕНИЕ

1. Коммуникативный статус морфологии и проблема преемственности

Структуралистская традиция в течение нескольких десятилетий приучала нас к тому, что уровни языка устроены если и не совсем одинаково, то во всяком случае похоже. Отдельные исследователи (например, Курилович) говорили даже об изоморфизме уровней языка. Эта страсть к тождеству ослепляла и не позволяла сосредоточиться на кардинальном различии уровней в функционировании языка, на том, что зоны ответственности каждого из уровней в языковой деятельности в целом достаточно дифференцированы. Морфология (словоизменение) оказывается в этой перспективе весьма специфическим уровнем, его можно было бы определить как — в сущности — коммуникативно бессмысленный. Морфология представляет собой как бы внутренность языка, те винтики и шестеренки языкового механизма, которые, вообще говоря, совершенно безразличны потребителю языкового продукта. Морфология — это технология коммуникативной деятельности, задающая «технологическую структурность» (в смысле Бодрийяра — Бодрийяр 1995, 4—5) языка как средства коммуникации и отделенная от его «функциональной структурности». В описании коммуникативного акта морфология присутствует столь же призрачно, как разбор двигателя внутреннего сгорания в рассказе об автомобильном путешествии.

Фонетический (для устного языка) или графический (для письменного языка) уровни необходимы для коммуникативного акта, поскольку сообщаемая информация должна иметь план выражения и организация этого плана существенна для эффективности коммуникации. Я не имею в виду, впрочем, никакой прямой связи между эффективностью коммуникации и «экономностью» организации плана выражения (см. ниже), но лишь тот тривиальный факт, что без распознаваемости внешнего выражения коммуникативный акт не может иметь места. Точно так же обмен информацией немислим без лексики, и этот факт настолько самоочевиден, что даже не нуждается в комментариях.

Кардинальное значение имеет синтаксис. Он выполняет не только формальное задание синтагматического развертывания смысла (на чем преимущественно сосредоточиваются формальные описания языка типа порождающих грамматик или модели «смысл — текст»), но определяет сам способ представления инфор-

мации, то, как оформляется дискурсивная интенция носителя языка, в какие смысловые блоки группируется сообщаемое содержание и — лишь в последнюю очередь — каким образом эти блоки трансформируются в линейную последовательность. Синтаксис неотделим от риторических стратегий говорящего, так что в этой перспективе стремление противопоставить риторике как область, имеющую дело с «экстралингвистическими» интенциями говорящего, лингвистике, трактующей абстрактный (независимый от говорящего) механизм реализации этих интенций, представляется абсолютно неосмысленным. Риторика, как она складывается в античности, как раз и учит препарированию смысла, т. е. представляет собой культурную разработку тех дискурсивных установок, которые изначально присутствуют во всяком речевом акте. Риторическая стратегия (обработанная или необработанная) присуща всякой речевой деятельности, и синтаксис призван описывать способы реализации риторических стратегий.

Мы вернемся к этой проблематике при обсуждении вопроса о регистрах письменного языка. Ограничиваясь в настоящий момент приведенными очень общими замечаниями, я стремился лишь подчеркнуть особый статус морфологического уровня. Никакого специального коммуникативного задания у морфологии нет, речевая деятельность не может обойтись без фонетики (графики), без лексики, без синтаксиса, поскольку у каждого из этих уровней есть свое дело в реализации коммуникативного акта. У морфологии своего дела нет, что и удостоверяется тем фактом, что существуют языки без морфологии (аморфные). Это не означает, конечно, что морфология, когда она имеется, ничему не служит. Формальные средства, присутствующие в языке, всегда эксплуатируются говорящими для разных нужд, т. е. не в одной, а в нескольких функциях (скажем, если в языке есть особая форма императива, она обычно употребляется не только для выражения просьбы или приказа, но и для обозначения особого характера действия или определенного типа связи в сложном предложении). Морфологические (словоизменительные) показатели маркируют статус слова в предложении (например, субъекта или объекта в предикативной конструкции, основного или вторичного предиката в полипредикативном построении и т. д.) и в силу этой своей роли создают возможность для таких синтаксических стратегий, которые при отсутствии словоизменения были бы невозможны (имею в виду, например, многообразные построения с нарушением проективности).

Такая связь морфологии с риторическими стратегиями говорящего существует, однако она представляется вторичной, тогда как основное задание морфологии с дискурсивными интенциями говорящего никак не связано. Так, скажем, в большинстве языков с морфологией имеется категория числа. Формы числа приписываются элементам соответствующих морфологических классов вне зависимости от того, входит или не входит в коммуникативную интенцию говорящего обозначение единственности или множественности упоминаемых им предметов (что хорошо видно из сопоставления, например, русского с китайским, в котором множественность обозначается лишь в тех случаях, когда она нужна говорящему). Прямое дополнение получает форму нужного падежа, даже если идентификация субъекта и объекта в конкретном высказывании самоочевидна и никакого эксплицитного выражения не требует. В морфологии в самом деле работает своего рода порождающий механизм, не зависящий от интенций говорящего и

снабжающий производимые им сообщения непредусмотренной информацией, которая едва ли не в большинстве случаев оказывается избыточной.

В силу этого полупаразитического статуса историческое развитие морфологии имеет специфический характер. Оно так же никому не нужно, как и сама морфология. Изменения в лексике и семантике очевидным образом связаны с культурным развитием языкового коллектива, с динамикой коммуникативных заданий, которые ставят перед собой говорящие. Не менее осмысленно и развитие синтаксиса. Диверсификация риторических стратегий приводит к появлению новых синтаксических построений, которые вступают во взаимодействие с унаследованным запасом и изменяют спектр комбинаторных возможностей, присутствующих в узусе. В фонетические изменения оказываются вовлечены свои экстралингвистические факторы, видимо, менее рациональной природы: ориентация на престижный диалект, дифференциация стилей произношения в зависимости от прагматической ситуации и т. п. Морфологические изменения никакими разумными причинами, по видимости, не обусловлены. Они производят впечатление самопроизвольного обновления системы, отвечающего ее внутренним потребностям. Именно эта бессмысленность делала морфологию фаворитом структурализма. В самом деле, какие резоны могут быть у носителей языка, чтобы заменить, скажем, у определенного подкласса существительных м. рода им. мн. на *-ы* им. мн. на *-а* (типа *города* → *города*)?

Обычные объяснения, предлагаемые исследователями в течение последних двух веков (когда эта проблема стала вызывать интерес), апеллируют к аналогии в более или менее изоциренных модификациях этого понятия. Им. мн. на *-ы* заменяется им. мн. на *-а* в силу того, что флексия *-а* имеется у существительных ср. рода того же морфологического класса, или в силу того, что флексия *-а* становится у существительных унифицированным маркером мн. числа, или в силу того, что с исчезновением дв. числа флексия *-а* у парных существительных (типа *глаза*, *берега*) реинтерпретируется как показатель мн. числа и распространяется на непарные существительные, или, наконец, в силу того, что эта флексия закрепляется у односложных существительных подвижной акцентной парадигмы и постепенно захватывает существительные многосложные (можно, естественно, и комбинировать эти различные факторы). Ни одна из этих интерпретаций не обладает исчерпывающей объяснительной силой, но это несовершенство воспринимается как следствие сложности языкового механизма и не мешает приписывать самому изменению своего рода телеологический характер.

Действительно, ни при одном из возможных объяснений изменение нельзя отнести на счет сознательной или полусознательной интенции носителей языка. Никакой Иван Петрович, если только он был нормальным носителем языка, а не автором нормативной грамматики, не мог всю свою жизнь мечтать, например, об *-а* как унифицированном маркере мн. числа существительных, стараться подчинить этой мечте свою языковую деятельность и передать потомкам свои реформаторские планы. Правда, исследователи говорят порой о принципе экономии, который в разбираемом случае может выражаться, например, в том, что носителям удобнее иметь один, а не несколько показателей мн. числа. Генеалогия этого принципа достаточно очевидна. Это известный принцип буржуазной морали, прекрасно изученный Максом Вебером, и для абстрагирующей прогрессивистской

науки он подходит в высшей степени. Как пишет Ницше о современных ему физиках и дарвинистах, они руководствуются «принципом “минимальной затраты силы” и максимальной затраты глупости» (По ту сторону добра и зла, 14). Очевидно, однако, что желание сэкономить усилия или память никак не может быть приписано отдельному носителю языка. Понятно, как Акакий Акакиевич экономил, не зажигая свеч, чтобы потом сшить себе шинель. Но совершенно непонятно, на какую выгоду может рассчитывать носитель, экономя, скажем, на количестве показателей мн. числа. Принцип экономии в применении к отдельному говорящему (пишущему, слушающему, читающему) выглядит абсурдно, и поэтому субъектом телеологических изменений оказывается сама абстрактная система языка. Этот метафорический субъект может быть, конечно, вместилищем любых желательных для исследователя интенций, однако связь этих метафорических интенций с языковой деятельностью неметафорических носителей языка никакому рациональному объяснению не поддается и в силу этого проблематизирует само понятие языковой системы (см.: Тимберлейк 2002).

Если мы, временно забыв о системе, обратимся к языковой деятельности, доступной нашему наблюдению, мы, как этого и следует ожидать, не обнаружим никакой устремленной в будущее направленности, никаких побуждений носителя сделать систему языка более экономной или более последовательной или более совершенной в эстетическом отношении. Носитель выступает прежде всего как наследник того языкового опыта, который был накоплен предшествующими поколениями и освоен им в ходе его языкового существования (при устной коммуникации, в процессе чтения, при обучении языку и т. д.). Инновативная деятельность носителя может иметь место — в результате новых коммуникативных задач, которые он перед собой ставит, смены риторических стратегий, выбора престижного ориентира. Однако, как мы уже говорили, эта инновативная практика в обычном случае не распространяется на морфологию. Именно это обусловливает специфический интерес морфологии для историка языка. Преемственность узуса не нарушается здесь никакими внешними факторами.

Что делает носитель со своим морфологическим наследством, последовательно преобразовать которое он явно не имеет никакого резона (если, конечно, он не грамматист и не занят нормализацией языка)? Вообще говоря, он его достаточно слепо воспроизводит. Интересным представляется не столько вопрос о том, как он воспроизводит предшествующий узус (хотя и эта проблема заслуживает внимания, и мы вскоре к ней вернемся), сколько вопрос о том, что именно (какой именно узус) воспроизводит носитель. Этот вопрос, понятно, не может быть осмысленным образом поставлен, пока мы мыслим языковую деятельность в сосюрловских категориях, как работу единого механизма (*la langue*), порождающего бесконечную и нерасчлененную массу языкового продукта (*la parole*), т. е. когда все моменты упорядоченности относятся на счет метафизической абстракции языка, а эмпирика речи представляется хаотическим мельканием теней, отображающих эту высшую реальность.

В этом построении единому языку соответствует единый узус, и именно его воспроизводит или модифицирует вполне иррелевантный для этой схемы носитель. К обсуждению того, какова социальная археология этой схемы и как ее неадекватность сказывается на истории языка, мы обратимся ниже. Как только мы

перестаем смотреть на узус как на нерасчлененную массу, а ставим перед собой вопрос, каким образом он упорядочен, проблема преемственности выходит на первый план, и одновременно уясняется значение исторической морфологии в качестве основного инструмента, позволяющего эту преемственность установить. Поскольку с точки зрения коммуникативного задания морфологические варианты предстают как чистые технологические издержки, они именно в силу этой своей избыточности оказываются наиболее наглядными индикаторами преемственности (как историческая произвольность сложившейся технологии).

Характер узуса очевидным образом зависит от той коммуникативной ситуации, в которой он реализуется. Люди говорят одним образом, когда они обсуждают бытовые проблемы в семейном кругу, и другим образом, когда их речь носит публичный характер или, скажем, когда они общаются с высшими силами (молятся, читают заговоры и т. д.). Совершенно аналогично, они по-разному пишут, когда речь идет о частном письме, официальной бумаге, газетной статье, научном трактате, романе, надписи на заборе и т. п. Носители языка в этих разнообразных ситуациях не приспособливают к ним некий единый узус, а воспроизводят те коммуникативные навыки, которые ассоциируются с данной ситуацией. Это означает, что наследуемый языковой опыт содержит не только совокупность собственно лингвистических элементов, но и соотношенность этих элементов с набором коммуникативных ситуаций. Социально адаптированный взрослый носитель языка знает (и знает в силу социального обучения, т. е. по наследству), что публичному выступлению присущ иной узус, нежели, скажем, любовному письму, и действует в соответствии с этим знанием. Усвоение языкового опыта происходит применительно к ситуации; в силу этого узус не представляет собою единства, но расчленен на отдельные связанные с определенными коммуникативными ситуациями традиции, в рамках которых он и воспроизводится.

Насколько оформлены эти традиции, до какой степени они поддаются систематическому описанию — это один из основных вопросов, возникающих в рамках изложенного выше подхода к языковой деятельности. Этот вопрос явно недостаточно изучен, и априорного ответа на него очевидно не существует. Отдельным исследователям множество подобных традиций представляется размытым, плохо упорядоченным, образующим совершенно несхожие конфигурации у разных индивидов и потому не допускающим «полной объективации» их описания (см.: Гаспаров 1996, 99). Б. М. Гаспаров пишет: «“Знание” каких бы то ни было компонентов языка неотделимо от житейского, интеллектуального, эмоционального опыта субъекта, в процессе которого (следует, видимо, понимать «в процессе усвоения которого». — *В. Ж.*) это знание им приобреталось и пускалось в ход. Оно укоренено в переплетениях ассоциативных ходов — словесных, интонационно-жестовых, образных, сюжетных, — конфигурации которых неотделимы от личности субъекта» (там же). При таком понимании невозможно говорить о сколько-нибудь определенных традициях, но лишь о бесконечном множестве индивидуальных случаев, не подчиняющихся никакому «централизованному подходу». «Неопределенность условий, при которых протекает эта ассоциативная работа, — утверждает Гаспаров, — возможность бесконечного расширения и перестраивания мобилизуемого поля ассоциаций как нельзя лучше соответствует открытой, бесконечной множественности задач, возникающих перед говорящими в их пользовании языком» (там же, 98).

Человеку, однако, свойственно типизировать и классифицировать свой опыт, в том числе и опыт языковой. Из этого не следует, конечно, что он создает для своих повседневных нужд абстрактные модели языка, которыми была так увлечена структурная и генеративная лингвистика. Правдоподобно, однако, что коммуникативные ситуации распадаются для него на ряд дискретных типов, причем набор этих типов оказывается одним из важнейших признаков культуры данного общества в данный исторический период. Каждый из этих типов соотносится с определенной языковой традицией, с определенной разновидностью языка (регистром); множество регистров, которыми располагает языковой коллектив, обнаруживает важнейший аспект социальной природы языка, предполагающей структурирование языкового опыта его носителей (Живов и Тимберлейк 1997, 6; см. о понятии регистра в социалингвистике: Эллис и Юр 1982; применение этого понятия к истории языка византийской письменности можно найти в кн.: Брунинг 1989, XV, 103—133). В публичной сфере в эпоху средневековья и раннего нового времени, т. е. в период, которому посвящено настоящее исследование, типизация коммуникативных ситуаций носит особенно выраженный характер, поскольку формы культурной жизни воспринимаются как бесконечно повторяющиеся (циклически воспроизводимые), а неповторимые черты индивидуальных культурных ситуаций, равно как и возникающих в них текстов, культурным сознанием игнорируются.

Регистры не представляют собой законченных автономных языковых систем, существующих независимо друг от друга; законченная система, впрочем, и вообще представляется структуралистским мифом, не приложимым ни к одному из сегментов языковой деятельности ни одного из языковых коллективов (не приложимым, в частности, и к случаям билингвизма — ср.: Живов и Тимберлейк 1997, 5; Гаспаров 1996, 112—114). Регистры взаимопроницаемы, т. е. они обладают общим языковым материалом, а специфический языковой материал каждого из регистров может быть инкорпорирован в речевую деятельность, соответствующую другому регистру, в качестве своего рода чужого слова. При всей взаимопроницаемости, однако, каждому из регистров присуща своя риторическая установка, а следовательно и своя синтаксическая стратегия. Традиция (социальная преемственность языкового опыта) связывает с каждой из риторических установок специфический языковой материал, и в силу этого регистры обладают и набором соотнесенных с ними формальных языковых элементов, в том числе и морфологических.

Возникающие здесь социалингвистические и психолингвистические проблемы изучены далеко не удовлетворительно; подробное их обсуждение в рамках настоящей монографии вряд ли было бы уместно. Ситуация облегчается тем, что предлагаемое читателю исследование обращается почти исключительно к письменному языку. Что же касается письменного языка, то можно полагать, что лингвистические традиции в нем структурированы более отчетливо, а преемственность носит более выраженный, а, главное, в большей степени поддающийся наблюдению характер, чем в языке устном. Подобная ситуация определяется в конечном итоге тем незамысловатым обстоятельством, что опыт письменного языка приобретает в более сознательном возрасте, в большей степени связан с обучением и более непосредственно соотнесен с отработанными дискурсивными

стратегиями данного общества, с набором дискурсов, которые в нем употребляются. Любой речевой акт может рассматриваться как явление культуры, но при этом именно речевой акт в рамках письменного узуса представляется культурным феноменом по преимуществу. Преемственность в регистрах письменного языка оказывается в этой перспективе одним из наиболее существенных явлений культурной памяти социума.

Именно для анализа этой преемственности морфология, как уже говорилось, имеет принципиальное значение. Если воспроизводство синтаксических построений или лексического облика может быть отнесено на счет тождества или сходства коммуникативных ситуаций, то воспроизводство морфологических параметров ничем, кроме преемственности навыков письма в рамках определенной традиции, объяснить нельзя. Речь не идет, естественно, о тех морфологических элементах, которые являются общими для всех письменных традиций. Если, скажем, форма дат. ед. существительных м. рода требует окончания *-у/-ю* (*столу, князю*) и так обстоит дело во всех регистрах языка, употребление этой флексии ни о какой преемственности не свидетельствует; хотя этот элемент, как и любой другой, первоначально осваивается носителем языка в рамках определенного регистра, в его языковом опыте он ни с каким отдельным регистром не соотносится и в силу этого никак не указывает на принадлежность анализируемого речевого акта к одной из традиций. В языках с синтетической морфологией, однако, всегда имеется некоторое количество морфологических вариантов, и дистрибуция этих вариантов обычно находится в той или иной зависимости от регистров языка. Такая ситуация соответствует самой природе вариативности в языке.

Действительно, вариативность имманентна для языкового узуса. «Она, видимо, может возникать в силу разных причин, но присутствует в любых условиях и при любом типе языка. Элементарный случай вариативности возникает в силу того, что речь разных членов языкового коллектива полностью не совпадает, и эти несовпадения могут становиться предметом оценки и подражания, что переводит их из разряда индивидуальных отклонений в разряд социально значимых черт языкового поведения. Каков бы ни был источник вариативности, она всегда обладает функциональным потенциалом, т. е. всегда возможно наделение вариантов определенной значимостью: они могут дифференцироваться семантически или стилистически, могут закрепляться в разных речевых традициях и т. д. Стремление дифференцировать варианты создает телеологический момент в языковой деятельности, однако этот момент существует не на уровне глобальных преобразований системы, а на микроуровне: узуса, ограниченного определенной ситуацией и определенной традицией» (Живов и Тимберлейк 1997, 13).

В русских письменных текстах XVII в. окончание род. ед. ж. рода представлено тремя вариантами: *-ья/-ия*, *-ой/-ей* и *-ье/-ие*. Лишь в редких случаях, однако, все эти три варианта могут быть обнаружены в одном тексте. Как правило, в стандартных церковнославянских памятниках встречается только флексия *-ья/-ия*, в гибридных книжных текстах эта флексия употребляется наряду с флексией *-ой/-ей*, в текстах делового характера преимущественное распространение получает флексия *-ье/-ие*, а флексия *-ой/-ей* появляется в качестве дополнительного варианта (ср.: Унбегаун 1935, 323—325; Черных 1953, 306—307; Пеннингтон 1980, 252), тогда как в бытовой переписке основным вариантом оказывается

флексия *-ой/-ей*, флексия *-ыя/-ия* может рассматриваться как вариант дополнительный, тогда как флексия *-ыя/-ия* встречается лишь в редких случаях. Очевидно, что выбор варианта никак непосредственно с коммуникативным заданием не связан. Те или иные флексии употребляются в данном тексте не потому, что это требуется его функциональными характеристиками, а потому, что производитель данного текста обладает определенным опытом их писания, возникшим прежде всего из чтения аналогичных текстов; сложившиеся таким образом навыки письма он и реализует в соответствующей этим навыкам коммуникативной ситуации. Преемственность узуса выступает здесь, таким образом, в чистом виде.

Вместе с тем даже на приведенном элементарном примере видно, как отличаются по своему качеству разные письменные традиции. Стандартные церковнославянские тексты последовательно употребляют лишь одну флексию, и эта последовательность несомненно обусловлена нормализационным контролем над письменными навыками. Традиция в данном случае состоит в поддержании достаточно эксплицитной нормы, что предполагает, в свою очередь, существенную роль формального обучения (пусть даже не в форме привычного для нас школьного выучивания грамматики). И гибридная, и деловая традиции менее ригористичны; письменные навыки возникают здесь «естественным» путем, т. е. не столько в результате обучения, сколько в результате подражания. В социальном плане подражание такого типа указывает на своего рода профессионализацию (преемственность социальной роли), поскольку навыки письма возникают как отражение определенного профессионально ориентированного круга чтения; это особенно ясно в случае деловой традиции: приказной служащий всю жизнь читает приказные бумаги и именно благодаря этому опыту научается производить аналогичные документы. В бытовом регистре регламентация минимальна; письменные навыки разного происхождения оказываются здесь смешанными, а собственная традиция слабо очерченной; она проявляется в отсутствии нормативных элементов других традиций. Пишущий простое письмо пишет его не так, как он писал бы челобитную, даже если он обладает навыками делового письма, и не так, как летописную статью, даже если он занимается летописанием; этот выбор связывает его с определенным узусом (узусом бытового регистра), однако не требует от него жесткого контроля, который исключал бы элементы, идущие из инородного языкового опыта.

Многослойная вариативность морфологических элементов, характерная для русской средневековой письменности, — она и делает ее столь привлекательной для изучения проблем преемственности, — в значительной степени обусловлена тем обстоятельством, что русская книжная традиция формируется как продолжение традиции кирилло-мефодиевской, основанной на инославянском языковом материале. В арсенале языковых средств, которыми располагал средневековый русский книжник, объединялись автохтонные (восточнославянские) и усвоенные извне (церковнославянские) языковые элементы, что и стимулировало вариативность. Вариативность, естественно, идет не только из этого источника. Как и в других языках, она может быть обусловлена сочетанием старого и нового, элементов одного диалекта с элементами другого диалекта, однако изначальная гетерогенность письменного узуса существенно увеличивает потенциал вариативности. Для того чтобы понять, как это происходит, надо уяснить характер взаи-

модействия русского и церковнославянского в истории русской письменности, его специфику сравнительно, например, со взаимодействием французского и латыни в истории французской письменности.

В полной мере эта проблема будет рассмотрена ниже, однако, не входя в подробное обсуждение, можно утверждать, что представление о русском (восточнославянском) и церковнославянском как двух языках, функционирующих в одном языковом коллективе, основано на структуралистской вере в абстрактные языковые системы, все элементы которых взаимозависимы и определены своим отношением ко всем прочим элементам¹, и в силу этой своей структуралистской природы данное представление никак не отражает узус, реально наблюдаемый в памятниках восточнославянской письменности. Если придерживаться соссюрковского кредо, этот узус соотнесен с двумя независимыми друг от друга языковыми системами — русской и церковнославянской, поскольку разнородные элементы, присутствующие в этом узусе, в одну систему упаковать невозможно. Соотношение этих систем может описываться по-разному — как двуязычие, или как диглоссия, или как сосуществование языкового стандарта и диалекта, — но в любом случае как нечто внешнее по отношению к самим языковым системам, характеризующее не язык, но культурно-языковую ситуацию, не затрагивающую целостность языковых систем как таковых. Они оказываются помещены как бы в разных отсеках сознания носителя, и описание реального узуса превращается в хитроумные попытки проследить, как он блошиным скоком перемещается от одной системы к другой, вставляя «славянизмы» в продукт «русской» системы или, напротив, вставляя «русизмы» в продукт системы церковнославянской. Достаточно вспомнить в этой связи разнообразные опыты расчленения летописных текстов на «русские» и «церковнославянские» фрагменты (ср.: Хютль-Фольтер 1983; Успенский 1983, 45—46).

При таком подходе морфологическая вариативность, обусловленная исконной гетерогенностью узуса, перестает в сущности быть вариативностью, трансформируясь в выбор между двумя системами. Не буду сейчас касаться вопроса о том, могут ли вообще две языковые системы располагаться в языковом сознании одного носителя языка, не взаимодействуя друг с другом (например, в случаях несомненного билингвизма) и в какой степени понятие системы приложимо к явлению языковой компетенции как экзистенциальной составляющей сознания (негативный ответ автора на оба эти вопроса очевиден из предшествующих строк). Безотносительно к этим общетеоретическим проблемам очевидно, что наличие обширного языкового материала, общего для русского и церковнославянского, предполагает определенную интеграцию соответствующего языкового опыта. В самом деле, было бы нелепо думать, что церковнославянский **столъ** сидит в церковнославянской системе, а в другом отсеке, в восточнославянской системе, сидит **столъ** восточнославянский. Если же языковая компетенция средневекового русского автора обходится одним **столомъ** (**столомъ**, **стольмъ**), т. е. если интегрирован общий языковой материал, то определенным образом интегрированы и элементы, исходно (генетически) различавшие церковнославянский и русский.

¹ Ср. в этом плане у Б. А. Успенского весьма характерное определение литературного языка как *la langue* в отличие от языка литературы, который определяется как *la parole* (Успенский 1987, 1).

Характер их интегрированного сосуществования зависит, надо думать, от уровня языка. Так, различающиеся синтаксические построения окажутся, как правило, распределены по разным коммуникативным ситуациям, что обусловит их относительно автономное существование (см. ниже). Интерференция этих изначально компартиментализованных элементов осуществляется в этом случае через границы различающихся коммуникативных заданий и поэтому может быть лишь ограниченной. То же самое верно, *mutatis mutandis*, и для лексики. Такие слова, как **благобытник** или **прѣобразитиса** нечасто оказываются в одной компании со словами типа **цѣжь** или **камѣка**. Поэтому они существуют как бы сами по себе, разнесенные по разным дискурсивным сферам, и вопрос об их интегрированном сосуществовании не стоит так же, как в современном русском языке для слов (к примеру) *глобализация* и *нужник*. Морфология, как мы видели, непосредственно с коммуникативным заданием не связана, поэтому морфологические элементы разного происхождения не распределяются по узусам разного типа. Они не могут не существовать интегрированно, т. е. как соотнесенные варианты.

В силу этих обстоятельств интерференция в морфологии существенно более интенсивна, чем в синтаксисе или лексике. Как отмечает А. А. Гиппиус, стремясь определить границы нормы книжного (церковнославянского) языка древней Руси (задача, которая в настоящем исследовании подвергается существенному переформулированию), «к XIII—XIV вв., когда орфографическая норма оказывается уже унифицированной по ряду важнейших признаков, морфологическая вариативность, обладающая большей самостоятельностью, не только не ослабевает, но, напротив, усиливается за счет появления новых значимых оппозиций в результате собственно восточнославянского языкового развития. Вариативность морфологических форм является, следовательно, не преходящим этапом в истории образования русского извода, но принципиальным свойством самой этой нормы» (Гиппиус 1989, 95). Не в меньшей степени вариативность морфологических форм свойственна и некнижным восточнославянским текстам, т. е. она может рассматриваться как характерная черта восточнославянской и русской средневековой письменности во всех ее разновидностях. А. А. Гиппиус говорит в этой связи о «функциональном объединении <...> с одной стороны, восточнославянских, диалектных и “новых”, а с другой — южнославянских, общерусских и “старых”» вариантов; он отказывается приписывать им заранее какие-либо системные характеристики, сочетая их в ряды вариантов, вполне условно характеризующихся в рамках ряда как «левые» и «правые» (там же, 99).

Ясно, что речь идет об арсенале вариантов, из которого разные узусы (индивидуальные или складывающиеся в традиции) выбирают различные частные, по-разному упорядоченные наборы или конфигурации вариантов. Как уже говорилось, если появляются варианты, появляется и интенция (бессознательная или сознательная) дифференцировать их употребление. Так, скажем, когда в восточнославянских говорах наряду со старыми флексиями полных прилагательных под влиянием склонения неличных местоимений появляются новые флексии (например, род. ед. м. и ср. рода *-ого* наряду с *-аго*), в книжных памятниках новые флексии довольно часто употребляются с субстантивированными прилагательными или с прилагательными в полупредикативной функции (в конструкциях второго винительного, второго дательного или дательного самостоятельного),

подчеркивая тем самым особый синтаксический статус соответствующей словоформы (Гиппиус 1993, 74—76). Такого рода дистрибутивные параметры могут затем подвергаться переосмыслению, экстраполироваться на новые категории словоформ и создавать традицию употребления, характерную для данного узуса и отличающую его от других функционально заданных узусов. Воспроизведение подобной дистрибуции указывает на преемственность, на то, что автор или переписчик более позднего текста черпал свой языковой опыт из чтения аналогичных по функции более ранних текстов и в результате освоил (адекватно или не совсем адекватно) присущее им употребление, специфическую для них конфигурацию морфологических вариантов.

Определенная традиция употребления вариантов возникает в любом случае, вне зависимости от того, как они распределены. В разных памятниках варианты представлены в разных пропорциях, причем в памятниках одного типа (жанра, регистра) и одного периода эти пропорции обычно оказываются достаточно близкими. Это вполне естественно, поскольку наборы образцовых текстов, на которые ориентируется пишущий, степень консерватизма, уровень нормализации и иные подобные параметры, определяющие эти пропорции, объединяют тексты одного регистра. Таким образом, пропорции, в которых встречаются варианты одного морфологического показателя, являются существенной характеристикой регистра, а воспроизведение этих пропорций указывает на преемственность узуса. Сходство пропорций при этом обусловлено не общей прагматикой текстов одного регистра (как это может иметь место с синтаксическими или лексическими параметрами), а преемственностью как таковой, тем, что навыки письма отражают читательский опыт пишущего, в обычной социальной ситуации связанный преимущественно с определенной группой текстов (имею в виду, например, что сочинитель нового канона обычно начитан в богослужебных текстах, а составитель приказной отписки — в канцелярских бумагах).

Дистрибуция вариантов могла бы быть лакмусовой бумажкой, позволяющей автоматически определять принадлежность текста к определенному регистру, классифицировать регистры и фиксировать преемственность узуса, если бы не одно весьма существенное обстоятельство — изменчивость узуса. Параметры дистрибуции, характерные для текстов определенного регистра в один период, оказываются иными в следующий. Текст, создаваемый в рамках определенного регистра, может воспроизводить более консервативные и менее консервативные образцы, так что даже в рамках отдельного периода вполне однородных параметров может не быть. Преемственность, понятно, не исключает изменений, но изменения делают анализ преемственности достаточно сложной процедурой, требующей прежде всего понимания того, как они происходят. Только определив механизм изменений, можно установить, что различающиеся параметры дистрибуции находятся в преемственной связи друг с другом.

Каким же образом меняется узус в письменном языке на морфологическом уровне? Обоснованный ответ на этот вопрос был бы вряд ли уместен во вводных параграфах, поскольку именно ему и посвящено все последующее изложение. Некоторые предварительные наблюдения, однако, стоит обсудить уже здесь, поскольку без них окажутся неясными и задачи исследования, и выбор анализируемого материала. Мы уже говорили о том, что языковой опыт носителя не образу-

ет единой системы, но существует в привязке к типическим коммуникативным ситуациям. В силу этого он компартиментализован, что не означает, однако, что части, на которые он распадается, существуют как законченные и замкнутые системы. Наряду с вектором, уходящим в прошлое и определяющим связь речевой деятельности носителя с традициями определенного регистра, имеется и другой вектор, синхронного порядка, идущий от более динамичных частей его языкового опыта к менее динамичным частям, и именно взаимодействие этих двух составляющих определяет эволюцию узуса в каждом из регистров.

Пропорции употребления вариантов в отдельно взятом тексте одного из регистров отражают обычно целый набор факторов. Первый из них, как мы уже знаем, — это преэминентность в рамках данного регистра. Пишущий воспроизводит тот узус, который он находит в освоенных им текстах с аналогичным коммуникативным заданием. Вернее, он не воспроизводит этот узус, а воспринимает его как исходный и подвергает его переосмыслению. Характер переосмысления зависит от коммуникативной установки регистра (иными словами, от его культурного статуса). Давление традиции (не только собственно языковой, но и социокультурной) может быть большим, как, например, в случае богослужебных текстов или канцелярских документов, и меньшим, как, например, в случае исторического нарратива или частного письма. Чем слабее давление традиции, тем больше свобода переосмысления. Эта свобода приводит, в принципе, к тому, что варианты, присутствующие в разных сегментах языкового опыта пишущего (в частности, в его разговорном языке), будут расширять сферу своего употребления за счет вариантов, специфичных для отдельных регистров. Наличие многорегистровых вариантов в текстах, которые осваивает пишущий, служит прецедентом для дальнейшего употребления; при этом то, что вначале было окказиональным вариантом, может стать вариантом вполне употребительным, а через несколько поколений пишущих даже и господствующим. Такую эволюцию узуса можно называть естественной (самопроизвольной). Эта естественность, впрочем, относится к сфере психологии пишущего субъекта, а не к некоей «естественной» телеологии самой языковой системы; с естественностью последнего типа мы вообще дела не имеем.

Естественная эволюция — это не единственный фактор, влияющий на дистрибуцию вариантов. Если для определенного регистра поддержание традиции выступает как сознательное требование, пишущие стремятся естественной эволюции противодействовать. Для такого противодействия пишущему нужны нормализационные решения, регулирующие употребление вариантов. При отсутствии нормативных грамматик и институционализованного обучения языку эффективность подобных решений остается чаще всего ограниченной, но тем не менее влияющей на пропорции употребления вариантов. На эти пропорции могут воздействовать и различные частные факторы, такие, например, как закрепление одного из вариантов в устойчивом и часто повторяющемся словосочетании, степень «цитатности» порождаемого текста, стремление автора архаизовать свой узус, выражающееся обычно в репертуаре синтаксических построений, но вовлекающее и характерные для таких построений морфологические варианты. Определенная часть употреблений может быть объяснена как проявление сознательной или бессознательной интенции автора, связанной с этими частными факто-

рами, и микроанализ текста позволяет выявить значимые фрагменты этого типа². Однако как бы ни обстояло дело с отдельными случаями, общие пропорции соответствуют, как правило, тем, что мы находим в других текстах того же регистра и того же периода. Наследуемая традиция оказывается, таким образом, более важной составляющей текста, чем индивидуальные отклонения. Именно в силу этого дистрибуция вариантов выступает как важнейшее свидетельство преемственности в динамическом развитии каждого из регистров.

2. Морфологическая нормализация в процессе формирования русского литературного языка нового типа

Положение кардинальным образом меняется с возникновением русского литературного языка нового типа. Литературные языки, будучи согласно определению Пражских тезисов, «le monopole et la marque caractéristique de la classe dominante» (Вахек 1964, 45), характеризуются полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и дифференциацией стилистических средств. Именно эти черты и приобретает русский литературный язык нового типа в продолжении XVIII — начала XIX века (ср.: Кайперт 1999). Фрагментированность средневекового узуса, при которой каждый из регистров обладает специфическим набором языковых средств, сменяется полифункциональностью и общезначимостью, когда единая норма навязывается всем «культурным» членам языкового коллектива и текст (во всяком случае, письменный) производится в соответствии с этой нормой вне зависимости от коммуникативной ситуации (полифункциональностью). Начиная с Петровской эпохи, старые регистры письменного языка вытесняются на периферию языковой деятельности, что знаменует их постепенное отмирание — для одних полное (приказной язык и гибридный церковнославянский), для других частичное (стандартный церковнославянский, остающийся в употреблении лишь как язык богослужения). С конца 1720-х годов начинается кодификация этого литературного языка, отбирающая языковой материал из уходящих в прошлое письменных традиций, систематизирующая его и формирующая единую норму нового литературного языка. Тот языковой материал, который остается за рамками этой нормы, во многих случаях не полностью выводится из употребления, а сохраняется в качестве дополнительных вариантов; эти варианты получают стилистическую нагрузку, как правило, несущую на себе отпечаток той письменной традиции (и связанных с нею коммуникативных ситуаций), к которой они восходят. Так у нового литературного языка появляется стилистическая дифференцированность.

² Такие фрагменты могут быть описаны с помощью бахтинского понятия чужого слова. Структуралистская методика анализа текста (полевого материала) предусматривала устранение подобных фрагментов из основного исследуемого корпуса, поскольку они не порождены той системой, которая генерирует собственный текст данного носителя. С нашей точки зрения, никакого «собственного текста» вообще нет, носитель пользуется наследуемым языковым материалом, всегда сохраняющим определенный отпечаток (социокультурные ассоциации) предшествующих употреблений. Речь может идти только о большей или меньшей выраженности в каждом из фрагментов цитатных интенций носителя.

Таковы общие очертания процесса формирования русского литературного языка нового типа, который, впрочем, лучше было бы именовать просто русским литературным языком, поскольку в допетровскую эпоху литературного языка в том понимании, которое было намечено выше, просто не существовало³. Этот процесс затрагивает морфологический уровень едва ли не в наибольшей степени. Во всяком случае он непосредственно отражается на дистрибуции морфологических вариантов. В период кодификации нового литературного языка сама немотивированная вариативность превращается в *bête noire* нового культурного сознания, лишние варианты должны быть либо устранены, либо снабжены дополнительной дистрибуцией, основанной на формальных или стилистических контекстах употребления.

Хорошим примером может служить история флексии прилагательных им. ед. м. рода. Вариантами здесь являются флексии *-ой/-ей* и *-ый/-ий*. В письменности XVII в. эти варианты в определенной степени распределены по регистрам. В стандартных церковнославянских текстах употребляется исключительно *-ый/-ий*; в деловых господствует вариант *-ой/-ей*, тогда как флексия *-ый/-ий* употребляется в ограниченном числе тематически маркированных контекстов (см.: Пеннингтон 1980, 251); в гибридных текстах, напротив, преобладает окончание *-ый/-ий* при слабо нарастающем появлении окончания *-ой/-ей* в качестве дополнительного варианта; в бытовой письменности, наконец, пропорции в употреблении двух вариантов существенно колеблются от текста к тексту. В текстах петровского времени границы между регистрами размываются, традиции смешиваются в своего рода плавильном тигле секулярного узуса, и параметры употребления вариантов становятся малоупорядоченными, не связанными с коммуникативным заданием текста. Частные попытки нормализации не изменяют общей ситуации⁴.

Эта ситуация начинает меняться с первыми опытами кодификации литературной нормы в 1730-е годы. В грамматике И.-В. Пауса в парадигме прилагательного *добрый* в им. ед. м. рода окончание *-ой* дается с пометой *R* (русское), окончание *-ый* — с пометой *S* (славянское) (Живов и Кайперт 1996, 10). Паус

³ Такой точки зрения придерживался А. В. Исаченко, полагавший, что «русский литературный язык в современном понимании этого (...) термина возникает лишь в течение XVIII в.» (Исаченко 1976, 297; ср.: Кайперт 1988б, 315—316; Живов 1996, 14—15). Этот взгляд пока что не стал общепринятым. В. В. Виноградов, например, считал, что «русским литературным языком средневековья был язык церковнославянский» (Виноградов 1938, 5), и именно последняя точка зрения лежит в основе концепции церковнославянско-русской диглоссии, развиваемой Б. А. Успенским (Успенский 1987; Успенский 1994; Успенский 2002). Определение «нового типа» как раз и служит для того, чтобы противопоставить литературный язык, формирующийся в XVIII в., тем средневековым идиомам, которым продолжает приписываться эта роль. Когда такое противопоставление установлено, вопрос приобретает терминологический характер и выбор обозначения не имеет принципиального значения.

⁴ К таким опытам можно отнести немногочисленные случаи замены флексии *-ой/-ей* на флексию *-ый/-ий* в той правке, которую вносит Софроний Лихуд в перевод «Географии генеральной» Б. Варения, сделанный Федором Поликарповым (см.: Живов 1986а, 257). Замены не проведены последовательно. Во многих других текстах ничего, напоминающего подобное стремление к унификации, не наблюдается.

первым вводит такое противопоставление, тогда как его предшественник, пастор Глюк дает в качестве вариантов *доброй* и *добрый* (Кайперт, Успенский, Живов 1994, 230), а еще ранее Лудольф фиксирует только окончание *-ой* (Лудольф 1696, 19). Адодуров, однако, избирает в качестве нормативного вариант *-ый/-ий*, который фигурирует в его грамматике в качестве единственного (Адодуров 1731, 29—30). В соответствии с этой нормой он правит и второе издание «Немецкой грамматики» М. Шванвитца (Шванвитц 1734): *-ой* последовательно заменяется здесь на *-ый* (кроме ударных флексий после непарных по твердости-мягкости согласных; здесь, напротив, последовательно вводится *-ой*, что реализует принцип дополнительной дистрибуции). Языковая практика, тем не менее, не следует этим нормализационным предписаниям, и окончание *-ой* продолжает употребляться в текстах разных авторов в качестве допустимого варианта (Живов 1988а, 36). Ориентируясь, видимо, на эту практику, Ломоносов в «Российской грамматике» дает для им.-вин. ед. м. рода три варианта окончания: *-ый, -ой, -ей*, хотя ранее он вслед за Паусом и Кантемиром противопоставлял флексию *-ый/-ий* в качестве «славенской» флексии *-ой/-ей* в качестве «великороссийской»⁵.

Хотя первый опыт нормализации не приносит успеха, задача остается актуальной, а вопрос дискутируемым. В 1750-е годы Тредиаковский несколько раз обвиняет Сумарокова в том, что тот употребляет «площадные» выражения, приводя в качестве примера формы прилагательных им.-вин. ед. м. рода с окончанием *-ой* (*злой* вместо *злый*, *черной* вместо *черный* — см.: Пекарский 1865, 104; Успенский 1984а, 103; Успенский, II, 377). Тредиаковский, таким образом, продолжает прежнюю линию нормализации, и у него есть последователи, например, М. М. Щербатов, который, подготавливая к изданию «Историю Петра Великого» Феофана Прокоповича (Феофан Прокопович 1773), последовательно исправляет *-ой/-ей* на *-ый/-ий*, причем независимо от места ударения (Живов 1988а, 36). В большей степени учитывает складывающуюся практику решение, предложенное А. А. Барсовым. В его «Российской грамматике» варианты *-ый/-ий* и *-ой/-ей* соотносятся с различием высокого и «обыкновенного» слога и эта стилистическая дифференциация дополняется указанием на то, что *-ой* предпочтительно в положении под ударением (Барсов 1981, 146). Барсов тем самым стремится установить дополнительную дистрибуцию вариантов, причем использует для этого и стилистические, и формальные параметры (что, конечно, обуславливает непоследовательность нормализации). В дальнейшем языковая практика развивается в обоих направлениях, намеченных Барсовым. Стилистическая дифференциация обсуждаемых вариантов широко используется в прозе Карамзина и некоторых его современников, тогда как с 1810-х годов окончательно утверждается дополнительная дистрибуция, основанная на формальных параметрах: флексия *-ой*

⁵ Имею в виду замечания Ломоносова на трактат Тредиаковского об окончаниях прилагательных во мн. числе (1746 г.), в которых указывается: «...Славенской язык от Великороссийскаго ничем столько не разнится, как окончаниями речений. Например, пославенски единственные прилагательные мужеские именительные падежи кончатся на *ый* и *ий*, *богатый*, *старший*, *синий*; а повеликороссийски кончатся на *ой* и *ей*, *богатой*, *старшей*, *синей*» (Ломоносов, IV, 1; Ломоносов, VII², 83). Кантемир проводит то же различие в «Письме Харитона Макентина» (Кантемир 1744, 22/II, 18—19).

употребляется в позиции под ударением, в безударной же позиции закрепляется вариант *-ый/-ий* (см. § 1.8). Таким образом, процесс выбора нормализационного решения, сохраняющего свою актуальность и для современного русского литературного языка, длится почти столетие. Регламентация употребления имеет в этот период активный и целенаправленный характер, и это отличает динамику морфологического уровня в литературном языке от тех процессов, которые можно наблюдать в развитии регистров письменного языка предшествующего периода.

Сложность выработки нормализационного решения была в существенной степени связана с тем обстоятельством, что, устраняя фрагментированность средневекового узуса, новый литературный язык получает в наследство все то множество вариантов, которое ранее было разнесено по различным регистрам. Именно это хаотическое многообразие, резервуар вариантов, «петровский пул» становится полем упорядочивающей деятельности нормализаторов. Нужно было выработать принципы этой деятельности, выработка принципов и оказывается той кардинальной проблемой, которая в течение всего XVIII столетия питает полемический азарт устроителей нового языкового стандарта. Нужно иметь в виду, что наборы вариантов, имевшиеся в распоряжении нового литературного языка, были не просто безликими совокупностями формальных элементов. Они могли отсылать к определенным письменным традициям, тем самым и к определенным дискурсивным моделям, а отсюда и к тем культурным категориям и культурным ценностям, которые ассоциировались с этими дискурсивными моделями. Задача нормализации была — как это ей и вообще свойственно — не только формально-лингвистической проблемой, но и проблемой культурного выбора (об этом аспекте см. подробно в нашей работе: Живов 1996).

Нормализационная установка в отношении письменного языка, определяющая для его развития в период с 1730-х годов, не была вполне чуждой предшествующему периоду. Она была значимой и для стандартных церковнославянских текстов, неоднократно подвергавшихся нормализующей справе, и для языка деловых документов (приказного языка). Однако новый языковой стандарт целенаправленно отталкивался от церковнославянского и имел мало общего с языком приказным. Поэтому перенос (и совершенствование) тех принципов нормализации, которые пусть и в неявном виде присутствовали в этих регистрах, не воспринимался в качестве приемлемого решения проблемы. Заимствование нормализационных принципов оказалось бы в этом случае и заимствованием культурной позиции. С регистром стандартного церковнославянского ассоциировалась «клерикальная» позиция, а с деловым регистром — «непросвещенная» допетровская государственность⁶. Это было то наследство, от которого новая европеизи-

⁶ Стоит вспомнить, что с начала XVIII в., т. е. после возвращения Петра из Великого посольства, когда Петр начинает формировать новый идеал государственного устройства, меняется и система делопроизводства. В частности, на смену столбцам приходят тетради. В указе Петра от 12 июня 1700 г., вводящем эту инновацию, царь распоряжался «[в] Поместном Приказе всякия дела писать в дестевья тетради по кераксе, а в столбцах не писать» (ПСЗ, IV, № 1797, с. 59). Через месяц это распоряжение было повторено и снабжено обоснованием: «для того, ведомо Ему Великому Государю учинилось, что в приказах из столбцов многия дела пропадают подьяческим небрежением, а иныя и промыслом чело-

рованная культура решительно отказывалась. Вместе с тем сама европеизирующая установка ничего для нормализации морфологических вариантов не давала — кроме самого принципа исключения немотивированной вариативности, противоречившей замыслу нового литературного языка как благоустроенного европейского идиома. Синтаксические стратегии могут заимствоваться или, во всяком случае, отбор синтаксических стратегий из множества существующих возможностей может осуществляться под влиянием иноязычной риторической традиции (см. об этом ниже). Морфологические варианты, как уже говорилось, непосредственно с риторической стратегией не связаны, и поэтому их упорядочение может основываться только на критериях, специфичных для данного языка. Это и обуславливает сложность их выработки.

Формирование русского литературного языка нового типа было результатом языковой политики Петра I и в этом плане вписывается в контекст петровских культурных и социальных реформ. Реформаторский характер этого процесса не означает, однако, что появившееся в результате новообразование не обладало никакой преемственностью — история языка не отличается в данном отношении от истории социальных институтов, юридических норм и т. д. Преемственности не могло не быть, поскольку языковой материал — слова, синтаксические построения, морфологические элементы — должен был откуда-то черпаться. Инновации, такие как заимствованные слова или синтаксические кальки, составляли лишь небольшую часть вовлеченного в языковое строительство материала. При этом основной источник языкового материала определялся доминирующими функциональными параметрами усваиваемого узуса, иными словами, доминирующим коммуникативным заданием текстов на новом секулярном языке. Наиболее значимыми для письменности петровского времени были нарративные и описательные тексты (типа «Истории Северной войны» или «Географии генеральной» Б. Варения), а отнюдь не деловые документы и, тем более, не церковная литература. Этим моментом и обусловлено то обстоятельство, что в конструировании нового секулярного языка важнейшую роль играет материал гибридного регистра письменного языка предшествующей эпохи. Хотя новый литературный язык претендует на полифункциональность и в силу разных причин синтезирует фрагментированные ранее письменные традиции, синтетическое разнообразие красок накладывается на подмалевок унаследованного гибридного узуса; так во всяком случае может быть охарактеризована динамика определяющего для функционирования языка синтаксического уровня. Эта преемственность во многом определяет исходную историческую композицию нового литературного языка.

Вопрос об исторической композиции нового литературного языка — это одна из важнейших проблем, встающих при анализе становления современного рус-

битчиков»; отмечалось также, что столбцы с особенной рьяностью грызут мыши и портит гниение (ПСЗ, IV, № 1803 от 2 июля 1700, с. 64—66); 11 декабря 1700 г. подобное же распоряжение было специально обращено в Сибирский приказ (там же, № 1817, с. 86—87), а 10 марта 1702 г. еще раз повторено: «в Приказах всякия дела писать на гшербовой бумаге в тетрадах, а по прежнему обыкновению на столбцах не писать, для того, чтоб в Приказах всякия челобитчиковы дела были в переплете в книгах, а не в столбцах» (там же, № 1901, с. 190). Старое делопроизводство воспринимается как варварское, и это не могло не наложить отпечатка и на восприятие языка этого делопроизводства.

ского литературного языка. Традиционно эта проблема ставилась как вопрос о «происхождении» современного русского литературного языка и в этой постановке вызывала ожесточенные дискуссии, в которых лингвистические аргументы смешивались с историко-культурными позициями (см. обзоры этих дискуссий: Виноградов 1969; Исаченко 1975; Филин 1981; там же и литература вопроса). Одна сторона настаивала на том, что современный русский язык находится в преемственных отношениях с церковнославянским (наиболее последовательно эта позиция сформулирована в работах Б. О. Унбегауна: Унбегаун 1965; Унбегаун 1970; Унбегаун 1971). Противоположная точка зрения состояла в том, что современный русский литературный язык является по происхождению русским, а «церковнославянизмы» выступают в нем как чужеродные элементы, усвоенные под влиянием церковнославянского языка. Речь шла о соотношении «церковнославянского» и «русского» языкового материала в составе современного литературного языка, причем церковнославянский и русский рассматривались как две противопоставленные языковые системы, оппозиция которых определялась генетически (южнославянское vs. восточнославянское) (ср.: Живов 1996, 111—114). Понятно, что в рамках предлагаемого в настоящей работе подхода проблема предстает в совершенно ином свете.

Характеристика тех или иных элементов в категориях их русского или церковнославянского происхождения теряет всякий смысл, она представляет интерес только для вопроса о том, как в начальный период письменности формировались отдельные письменные традиции. Она, однако, никак не объясняет последующей динамики этих традиций (регистров). В период формирования русского языкового стандарта эти традиции были уже вполне сложившимися и разнообразные элементы языка ассоциировались именно с ними, а не со своим генетическим прошлым (можно сказать, что значимыми стали не их генетические, а их функциональные параметры — ср.: Живов 1996, 26—30). Особенности этой ассоциативной связи зависели, как уже говорилось, от уровня языка. Для синтаксического и лексического уровня зависимость строилась на сходстве коммуникативного задания, для графического уровня — на развитии языковой политики, для морфологического же — на преемственности как таковой.

В силу этого для разных уровней различался и способ преобразования узуса при формировании нового литературного языка (ср. наблюдения Г. Хютль-Фольтер, сделанные, впрочем, в терминах оппозиции русского и церковнославянского языков — Хютль-Фольтер 1984—1985). На графическом уровне этот процесс носил символический и программный характер. В 1708 г. Петр I вводит в употребление гражданский шрифт, знаменующий разрыв с церковнославянской традицией; после того как этот разрыв оказывается свершившимся фактом, имел место своего рода обратный ход, не отрицающий произошедшего разрыва, но делающий гражданское письмо менее идущим вразрез с традиционными письменными навыками (восстановление букв *з*, *и*, *ф*, *й* и т. д. — см.: Живов 1986б; Кайперт 1999б); таким образом, на графическом уровне разрыв сочетался с преемственностью по отношению к книжным регистрам письменного языка.

На синтаксическом уровне процесс, как понятно из уже сказанного, обладал совсем иными особенностями; он определялся сходством коммуникативного задания тех текстов, которые были центральными для нового литературного языка,

с текстами гибридного регистра, при этом отбор из унаследованных синтаксических построений стимулировался синтаксической организацией «европейских» литературных языков (одним из каналов этого европейского влияния были переводы — см. ниже, § 1.7). Не менее специфично было и формирование лексического уровня нового литературного языка: первоначальное насыщение текстов заимствованной лексикой, символизировавшей новую культурную установку, было затем (с 1730-х годов) перекрыто пуристической тенденцией, соответствовавшей пуризму французской лингвостилистической теории, а приспособление этой теории к русскому языковому материалу создавало те стилистические рубрики, которые придавали лексике нового литературного языка стилистическую дифференцированность (ср.: Живов 1996, 171—183).

Морфология, понятно, трансформировалась своим особым путем. В производство новых «культурных» текстов были вовлечены люди с разным лингвистическим опытом, преобразовавшие свои наследственные языковые навыки в самом процессе языковой реформы. Коммуникативное задание новых текстов в наибольшей степени сходствовало с коммуникативным заданием текстов гибридного регистра (таких как летописи, повести, переводные космографии и т. п.). Однако употребление морфологических вариантов непосредственно от коммуникативного задания не зависело, и в силу этого «культурные» тексты Петровской эпохи оказываются весьма разнородны по своим морфологическим характеристикам — в большей степени, видимо, чем по синтаксическим и лексическим параметрам.

Морфологической разнородности не в меньшей степени способствует и то обстоятельство, что новосоздаваемый идиом претендует на полифункциональность, и в результате сложившиеся письменные традиции начинают функционировать вне традиционно отведенной для них сферы употребления. Например, законодательные акты типа «Правды воли монаршей» пишутся не в русле старой приказной традиции, а на языке, в неменьшей степени связанном с гибридной традицией. Это смещение сферы употребления также не может не приводить к трансформации морфологических параметров, поскольку, даже если в основу создаваемого текста кладется одна из существующих традиций, неизбежна интерференция той традиции, которой ранее принадлежала данная сфера употребления (коммуникативная функция); интерференция возникает здесь хотя бы в силу того, что воспроизводятся устойчивые для данной сферы употребления словосочетания (скажем, формулы делового языка в отдельных частях «Правды воли монаршей»).

Такое перекрестное наложение нестандартного для различных коммуникативных заданий (сфер употребления) языкового опыта и нестандартных для носителей с определенным языковым опытом коммуникативных заданий приводит в петровское время к видимому морфологическому хаосу. Именно морфологию имел по преимуществу в виду А. В. Исаченко, который, описывая язык петровского времени, говорит о «die Ratlosigkeit, das sprachliche Chaos» (Исаченко 1983, 532). Первобытный хаос — это то состояние, из которого рождается новая жизнь. В чем состояла хаотичность нового идиома, поддается объяснению. Те элементы, которые ранее были распределены по разным письменным традициям (по разным регистрам письменного языка), теперь оказываются сваленными в одну ку-

чу, которую я, в перспективе дальнейшего развития, предпочитаю называть «петровским пулом» (Живов 2001а, 396—398). Та вариативность, которая ранее была упорядочена фрагментацией узуса по разным регистрам, теперь оказывается неупорядоченной в рамках единого нефрагментированного узуса.

Ситуация кажется хаотичной лишь на первый взгляд. Анализ параметров морфологической вариативности должен, в принципе, дать возможность увидеть, из каких наслоений складывается узус каждого из текстов и какой план построения нового литературного языка стоит за этим узусом. Столкновение и синтез разных (имплицитных) проектов построения новой нормы могут быть прослежены в последующем (послепетровском) развитии. Должно уясниться, из элементов каких письменных традиций конструируется норма нового литературного языка, как в этом процессе сказываются новые коммуникативные задания в их взаимодействии с различными письменными навыками. Особенное значение в этом процессе имело приспособление созданной академическими филологами нормы к начавшемуся в ту же послепетровскую эпоху процессу формирования новой русской изящной литературы. Именно это многофакторное переплетение новых установок и старого узуса в его различных разновидностях — а отнюдь не лобовое столкновение русского и церковнославянского — формирует полифункциональную норму нового языкового стандарта. Изложенный подход к изучению данного процесса определяет и хронологические рамки настоящего исследования, и отобранный для него материал.

3. Задачи, материал и план исследования

Для языковой реформы петровского времени были актуальны те особенности узуса, которые сложились в предшествующем XVII столетии. Письменные традиции этой эпохи очень мало изучены, данные, полученные в отдельных исследованиях, практически не обобщались и поэтому ни в какую систематическую картину не складываются. Исследователи, занимавшиеся текстами этого времени, чаще всего стремились извлечь из них сведения, говорящие о процессах, происходивших в разговорном языке (таковы, например, работы С. И. Коткова — Котков 1963; Котков 1974), и собственная динамика письменного языка их никак не интересовала (несмотря на то, что отражение изменений в разговорном языке могло быть обнаружено только через призму этой динамики). Не интересовали их обычно и пропорции употребления морфологических вариантов; в этом плане наблюдения чаще всего ограничивались общей констатацией того, что вариант, приписываемый разговорному языку, со временем встречается чаще и чаще. Понятно, что при концепциях этого рода тексты, обнаруживавшие лишь минимальное влияние разговорного языка, по большей части просто игнорировались; соответственно никакого воздействия этих текстов на книжный узус не фиксировалось. В этих условиях не представляли интереса и подробные статистические данные.

Таким образом, необходимой первой задачей настоящего исследования окажется анализ употребления морфологических вариантов в допетровских текстах разного типа. В этом анализе мы ограничиваемся текстами XVII в., лишь в

редких случаях обращаясь к более раннему материалу, для того чтобы понять тот фон, на котором формировались закономерности в динамике письменных традиций XVII в. Верхняя хронологическая граница нашего рассмотрения определяется более содержательным образом: мы завершаем рассмотрение тем временем, когда норма для анализируемых морфологических показателей окончательно сложилась, т. е. когда материал для анализа оказывается практически исчерпан. Как уже говорилось, норма нового литературного языка складывается постепенно, по одним морфологическим показателям нормализация проходит существенно быстрее, чем по другим; причины этой асинхронности не всегда ясны, но явно могут служить предметом особого анализа. Весь процесс нормализации завершается лишь в начале XIX в., и за пределы этого периода наше исследование не выходит.

Поставленные задачи определяют и выбор материала описания. Любые параметры морфологической вариативности тем или иным образом распределены по регистрам письменного языка и, следовательно, могут характеризовать их динамику и характер их трансформации при переходе к единому литературному языку. Однако не все параметры одинаково удобны для анализа. Прежде всего исследуемая морфологическая подсистема должна быть достаточно сложной; только в этом случае в ней можно различить действие отдельных факторов, делающих тот или иной набор вариантов (то или иное их статистическое распределение) привязанным к определенной письменной традиции. Так, скажем, в склонении прилагательных им.-вин. ед. м. рода обнаруживает лишь два варианта (см. выше), и выбор одного из них никак непосредственно не связан с выбором вариантов других флексий (например, род. ед. м. рода или им.-вин. мн. м. рода), т. е. не привязан ни к какой более крупной подсистеме. Поэтому оппозиция здесь оказывается бинарной и единственное членение узуса, которое задается этой оппозицией, — это членение регистров по степени их удаления от книжной нормы. Отсюда и то или иное распределение вариантов, встречаемое в памятниках разного типа, характеризует интенции пишущего лишь с одной стороны и лишь в одном аспекте позволяет проследить эволюцию отдельных регистров. Когда мы имеем дело с более сложными и разветвленными подсистемами, такими, скажем, как флексии косвенных падежей существительных во мн. числе, вариативность которых обусловлена *a*-экспансией, мы получаем возможность наблюдать, как действуют разные факторы и как по-разному под действием этих факторов изменяется узус в разных регистрах. Соответственно и формирование нормы нового литературного языка предстает как многомерный выбор, трансформирующий различные письменные традиции.

Второе требование к анализируемому материалу имеет скорее технический характер. Набор морфологических вариантов должен быть таким, чтобы он поддавался статистической обработке. Это означает, что варианты должны встречаться достаточно часто, так чтобы даже в пределах не слишком большого текста статистические параметры были репрезентативными. Следует иметь в виду, что для отдельных жанров письменности (например, деловых документов или бытовой переписки) пространственные тексты встречаются лишь как исключение и поэтому при анализе относительно редких морфологических элементов достоверные статистические данные для отдельных регистров письменного

языка просто не могут быть получены. Так, скажем, определенный интерес представляет употребление вариантов *-и* и *-ѣ* в дат. ед. и местн. ед. мягкой разновидности *a*-склонения; оно, казалось бы, могло служить параметром, различающим письменные традиции XVII в. и характеризующим процесс нормализации в следующий период. Однако попытки проследить историю этой вариации, выйдя за пределы самых элементарных утверждений, не приносят ответов на общие вопросы, а ставят исследователя перед множеством неразрешимых частных проблем.

Действительно, вариативность флексий *-и* и *-ѣ* в XVII в. наблюдается в разной пропорции и в стандартных церковнославянских текстах, и в текстах на гибридном языке, и в текстах делового и бытового характера. Уже в московских деловых текстах XVI в. флексия *-и* получает статус периферийного варианта. Приводя соответствующие примеры (типа *на другой недѣли, на своей земли*), Б. О. Унбегаун отмечает, что «les exemples ne sont pas nombreux et figurent partout à côté des formes normales et infiniment plus fréquentes des mêmes mots» (Унбегаун 1935, 51). Этот статус периферийного варианта флексия *-и* сохраняет, видимо, и в деловых текстах XVII в. и начала XVIII в. (см.: Черных 1953, 276; Станг 1952, 25; Пеннингтон 1980, 227; Ладюкова 1956, 9); стилистической значимости данный вариант при этом не получает (см.: Пеннингтон, там же). В гибридных текстах (например, у Аввакума) вариант *-и* встречается чаще (возможно, как равноправный вариант, хотя формы на *-ѣ* в ряде текстов преобладают), опять же без ясной стилистической нагрузки (см.: Кокрон 1962, 31; Чернов 1977, 28—29). Определить, однако, какие пропорции свойственны каким традициям, невозможно, поскольку нужные для анализа формы встречаются слишком редко, так что выйти за рамки очевидного наблюдения — в стандартных церковнославянских текстах *-ѣ* встречается как исключение, а во всех остальных достаточно обычно — никакой возможности нет.

В текстах на «простом» языке Петровской эпохи можно отметить такую же вариативность, как и в текстах XVII в., за исключением стандартных церковнославянских (ср. форму местн. ед. *земли* в переводе книги Буйе 1713 г. — Буйе 1713, 13, 21); не подкрепленная, однако, четкими статистическими параметрами, она не позволяет увидеть, к какому наследию примыкает узус реформируемого при Петре языка. В каком направлении идет реформирование, можно выяснить. Так, например, среди исправлений, сделанных Софронием Лихудом в тексте «Географии генеральной», находим (в качестве окказиональных, непоследовательных замен) в дат. ед.: *земл<и>ѣ* лл. 154, 190, 440об., в местн. ед.: *земл<и>ѣ* л. 777 (см.: Живов 1986а, 256). Каковы побудительные причины этого реформирования, выяснить труднее: это могут быть и попытки нормализации, не чуждые Лихуду, и переориентация на иную письменную традицию (скажем, от гибридной к деловой), и результат «естественной» эволюции (как она была определена выше). Без расчлененных статистических параметров нет очевидных оснований для выбора одного из объяснений, а получить такие параметры оказывается невозможным.

Не вполне ясным оказывается и соотношение нормализационных решений кодификаторов нового литературного языка и современной им языковой практики. В грамматике Глюка находим дат. ед. *земль*, но местн. ед. *земли* (Кайперт,

Успенский, Живов 1994, 182)⁷. У Соје, однако, фиксируется только флексия *-ѣ* (*каплѣ, пняциѣ* — Соје, I, 35). И. В. Паус первым соотносит рассматриваемые варианты с противопоставлением русского и церковнославянского. Согласно Паусу, в местн. ед четвертого склонения «славянскому» окончанию *-и* соответствует «русское» *-ѣ* (*Objectivus hat ruthenice mehr ѣ als и* — л. 55 об.; см.: Живов и Кайперт 1996, 8). Адодуров в грамматическом очерке 1731 г. следует Паусу и устанавливает флексию *-ѣ* как нормативную, а окончание *-и* (говоря о дат. падеже) рассматривает как неприемлемый славянизм (Адодуров 1731, 15—17). Эта интерпретация связана с переосмыслением вариативности в генетических терминах, обусловленным поисками критериев нормализации в 1730-е годы (ср.: Живов 1996, 195—216). Решение Пауса и Адодурова преемственно воспроизводится затем — уже без апелляции к генетической оппозиции — в последующих грамматиках, например, у Гренинга (Гренинг 1750, 84, 86—88), Ломоносова (IV, 66—67) и Барсова (1981, 105).

Это нормализационное решение, однако, не только не отражает сложившийся узус, но находится в противоречии с собственной языковой практикой кодификаторов языка. Можно указать, например, на нередкие у Ломоносова формы местн. ед. *на земли* (Ломоносов, I, 5, 124, 163; II, 188), как правило, не обусловленные рифмой, относящиеся к разным периодам его творчества и никак не связанные, по всей видимости, с его филологическими установками. Такие формы неоднократно появляются затем в литературе второй половины XVIII — начала XIX вв. (см.: Обнорский, I, 293). Использование сочетания *на земли* может быть обусловлено влиянием церковнославянской литературной традиции (ср. в Молитве Господней *яко на небеси и на земли*). В принципе, такого рода скрытая отсылка может придавать стилистическую значимость как самому этому сочетанию, так и соответствующему морфологическому варианту, однако и в этом случае оснований для ответа не находится. Действительно, практически выбор значим лишь для одного слова — *земля*⁸. Что же касается других слов данного словоизменительного типа, то либо окончание у них является безударным (в

⁷ Возможно, это обусловлено тем, что в параллельной парадигме твердой разновидности имеется форма дат. ед. *водѣ*, а форма местн. ед. просто отсутствует (Кайперт, Успенский, Живов 1994, 182), т. е. параллелизм твердой и мягкой разновидности мог сказаться в дат., и не сказаться в местн. падеже.

⁸ Особый статус данного слова особенно заметен в духовной словесности. Форма *земли* продолжает широко употребляться здесь и после того, как языком духовной литературы становится русский. Так, в проповедях Гедеона Кривоского в рассматриваемом словоизменительном типе в дат.-местн. ед. флексии *-ѣ* и *-и* являются вариантными, причем форма *земли* является особенно устойчивой. В частности, в первом издании *вольѣ* встречается 12 раз, *воли* — 31; в то же время *земльѣ* появляется лишь 5 раз, тогда как *земли* — 94; это соотношение сохраняется и во втором издании, хотя в отдельных случаях *-и* правится здесь на *-ѣ* (форму *земли* эта правка затрагивает лишь в одном случае) (Челлберг 1957, 115—116). Особый статус формы *земли* отражается и в Собрании разных поучений 1775 г., ср. местн. ед. *земли* (Гавриил и Платон, I, л. 48; II, л. 14 об. et passim); в других формах этого словоизменительного типа в дат.-местн. ед. находим здесь флексию *-ѣ*, ср.: *невольѣ* (II, л. 99), *вольѣ* (II, л. 99) и т. д.; та динамика в сторону норм светского литературного языка, которую можно наблюдать в данном тексте сравнительно с произведениями Гедеона, на форму *земли* не распространяется.

этом случае выбор имеет чисто орфографический характер и оказывается полностью зависим от нормализационной модели, ср. *воли* — *волѣ*), либо речь идет о словах, появляющихся в литературном языке лишь окказионально, с частотой, не допускающей формирования репрезентативной выборки (типа *шляя*, *соляя*, *конопля*, *сопля*, *петля*, *тля* и т. д.). Как бы то ни было, доступные исследователю статистические данные не дают возможности воссоздать динамику морфологической вариативности в рассматриваемом словоизменительном типе и соотнести эту динамику с процессом нормализации. Единственный вывод, который можно сделать на их основании, не отличается существенно от того не слишком содержательного утверждения, которое можно найти в существующих работах по исторической морфологии, а именно, что при формировании нормы современного русского литературного языка в XVIII — начале XIX в. вариант, представленный в разговорной речи, вытесняет более «архаичные» формы.

Вопрос о частоте исследуемых морфологических вариантов очевидным образом связан с тем, как выделяются словоизменительные классы (типы), актуальные для описания морфологических процессов в письменном языке отдельного периода. Эта проблема не имеет простого механического решения, поскольку речь идет о том, как группируются лексические единицы в сознании пишущего, какие аналогии важны для него при выборе морфологического варианта. Очевидно, например, что обычная для работ по исторической морфологии группировка существительных по (пра)славянскому типу основы для изучаемого нами периода в полном объеме вряд ли актуальна, по крайней мере *и*-склонение как отдельный словоизменительный класс в XVII—XVIII вв. явно не выделяется (к этой проблеме мы еще вернемся ниже, см. § III.1). Речь идет не только о результатах исторической перестройки морфологической системы, но и о разном характере взаимодействия регистров в разных морфологических подсистемах.

Так, рассматривая употребление вариантов *-и* и *-ѣ* в дат. ед. и местн. ед. мягкой разновидности *а*-склонения, мы не анализировали слова на *-ия/-ья* (типа *судия/судья*, *епитимия/епитимья*, *поезия*, *литургия*, *виктория*, *свинья*, *семья* и т. п.). Они явно образуют особый класс со своей особой динамикой вариантов. В этом классе две группы лексем находятся в бинарной оппозиции: слова, удерживающие /i/ перед /j/, и слова с выпавшей гласной перед /j/. Слова первой группы имеют книжный характер и в словоизменении сохраняют традиционные книжные формы, в частности флексию *-и* в дат.-местн. ед., тогда как слова второй группы избирают в качестве варианта флексию *-ѣ*. Эта оппозиция, нормативная для современного русского литературного языка, утверждается уже в XVIII в. Это связано с уже упоминавшимся переосмыслением вариативности в генетических терминах, однако в качестве противопоставляемых элементов фигурируют здесь прежде всего основы: основы, удерживающие /i/, рассматриваются как славянские, а основы с выпавшей гласной как русские. Это обуславливает и выбор морфологического варианта: *-и* для «славянских» основ и *-ѣ* для «русских». Так, в грамматике Пауса в парадигме слова *судія* противопоставляются формы дат. ед. *судіи*, род. мн. *судіи*, вин. мн. *судіи* русским формам с флексиями *-ѣ*, *-ей*, *-ей* (л. 47). Варианты с этими флексиями приводятся и в других парадигмах мягкой разновидности (л. 47). Это решение воспроизводит М. Шванвиц в своем «Compendium Grammaticae Russicae», в котором существительное *судія/судья* снабжа-

ется двойной парадигмой, причем *судя* в дат.-местн. ед. получает форму *судю*, тогда как формой дат.-местн. ед. от *судья* становится *судьѣ* (Кайперт 2002, 187). Шванвицу же следует Адодуров, рассматривающий формы дат. ед. на *-и* как полностью противоречащие «dem Genio der Russischen Sprache» (Адодуров 1731, 15; ср.: Живов и Кайперт 1996, 19). Таким образом, нормализация в данном случае основывается на иных параметрах, чем в парадигмах типа *земля*, за этими разными путями нормализации стоит, видимо, разная динамика узуса, и эти различия требуют отдельного анализа для соответствующих классов слов; последствия такого разделения для возможностей статистического анализа очевидны⁹.

Изложенные выше соображения и определяют отбор материала, анализируемого в настоящей работе. Исследуются три морфологических подсистемы, показывающие разные аспекты динамики языкового узуса и дающие представление о разных путях нормализационного процесса при формировании литературного языка нового типа. Первый очерк посвящен формам инфинитива и 2 лица ед. числа презенса; вариативность в этих формах возникает за счет единого процесса отпадения конечной гласной в служебных морфемах, что и приводит к появлению вариантов *-ти/-ть*, *-тися/-ться*, *-ши/-шь*, *-шися/-шься* и т. д. В формах инфинитива вариативность осложняется ударностью/безударностью показателя инфинитива, так что узус в различных регистрах письменного языка оказывается производным от целого ряда факторов, воздействующих на относительную частоту отдельных вариантов. Формы инфинитива появляются с большой частотой в текстах разных жанров, так что не возникает проблем с формированием репрезентативных выборок. Формы 2 лица ед. числа презенса, напротив, в большинстве письменных памятников встречаются достаточно редко и предполагают специфическую коммуникативную ситуацию (прямого обращения к адресату или собеседнику), и в этом плане они несопоставимы с формами инфинитива. Эти различия в частоте и коммуникативной привязке позволяют понять, однако, как прагматические факторы воздействуют на образование письменных навыков в разных регистрах письменного языка и как эти исходные различия влияют затем на характер стилистической дифференциации вариантов в процессе нормализации нового литературного языка.

Второй очерк посвящен *a*-экспансии, т. е. изменению в склонении существительных окончаний *-омъ* в дат. мн., *-ы/-ьми* в тв. мн. и *-ѣхъ/-ехъ* в местн. мн. на окончания, соответственно, *-амъ*, *-ами* и *-ахъ*. Хотя в разных падежах и в разных словоизменительных классах этот процесс протекал не синхронно и в целом растянут едва ли не на пять столетий, его можно рассматривать как единое изменение, что и дает возможность трактовать его отдельные моменты как части целого, анализируя их в сопоставлении друг с другом. Для XVII—XVIII вв. процесс *a*-экспансии в разговорном языке в основном завершен, за исключением лишь *i*-склонения, так что вариативность старых и новых флексий в письменных текстах обусловлена исключительно преемственностью в рамках письменного языка

⁹ В качестве особого подкласса мягкой разновидности *a*-склонения следует, видимо, выделять и основы на шипящий и *ц*, которые также обладают специфической динамикой и особым характером нормализации. Аналогии с твердой разновидностью работают в этом подклассе более интенсивно, чем в парадигмах типа *земля*.

как такового. Вариативность характерна для всех сегментов данной подсистемы, и различные конфигурации вариантов и их статистических характеристик позволяют достаточно наглядно увидеть, как преемственность «работает» внутри отдельных письменных традиций. При анализе этой подсистемы отчетливо виден и тот сдвиг, который происходит в Петровскую эпоху, создавая условия для формирования литературного языка нового типа. Нормализация в этой подсистеме достигает окончательного результата достаточно рано, однако стилистическое использование отбрасываемых вариантов отчетливо фиксируется в качестве побочного результата нормализационных процессов.

Третий и последний очерк описывает историю окончаний полных прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа. Дистрибуция вариантов в текстах XVII в. указывает здесь на действие тех же в целом факторов, что и в случае *a*-экспансии, так что в конфигурации регистров письменного языка и их динамике новые моменты практически не выявляются. Можно сказать, к счастью — поскольку подтверждаются результаты, полученные в предшествующем очерке. Интереснее другой аспект развития этой подсистемы: многообразие употреблений, наблюдаемых в текстах Петровской эпохи. Одни из них указывают на прямую преемственность с параметрами гибридного регистра письменного языка, другие — на отталкивание от этой традиции. Этот противоречивый фон и служит отправным моментом для нормализации 1730-х годов и, видимо, определяет ее компромиссный характер. Возможно, в силу этого характера нормализации отбрасываемые варианты приобретают стилистическую значимость лишь в очень ограниченных пределах. Особый интерес представляет та полемика вокруг нормализации этих морфологических показателей, которую ведет Третьяковский (рассматривавший трактат об окончании прилагательных во мн. числе едва ли не как главное дело своей жизни) и его оппоненты (в первую очередь Ломоносов). В этой полемике находят наиболее красноречивое выражение те направляющие принципы, которые диктуют выбор критериев нормализации (такие как общность или, напротив, различие природы русского и церковнославянского, самостоятельность нормы русского языка и т. д.). Таким образом, данная морфологическая подсистема позволяет увидеть существенные аспекты развития письменного языка, не столь очевидные в истории других подсистем.

Первоначально я предполагал включить в данную книгу еще и очерк истории системы прошедших времен. Простые претериты (формы аориста и имперфекта) функционируют в письменном языке русского средневековья как основные признаки книжности (см. об этом понятии: Живов 1996, 23—24), т. е. как те морфологические элементы, которые манифестируют книжный характер порождаемого текста. Теоретические проблемы, связанные с понятием признака книжности, были рассмотрены в другом месте (Живов 1988; Живов 1996, 23—24), и возвращаться к ним в данной работе вряд ли было бы осмысленно. Стоит, однако же, заметить, что именно в употреблении прошедших времен наиболее отчетливо проявляется механизм переосмысления, связывающий узус, осваиваемый книжником в опыте чтения, с его собственным узусом (см. ниже, § 1.6). Для письменности XVI—XVII вв. этот механизм все в большей степени подчиняет выбор временных форм становящейся категории вида, что выражается в уменьшении пропорции форм аориста от бесприставочных (*simplex*) глаголов и соотносительности вто-

ричных имперфективов с формами имперфекта. Маркированность форм имперфекта в отношении к аористу приводит к тому, что инновативные *л*-формы в наибольшей степени вторгаются в сферу употребления имперфекта (статистический анализ соответствующих пропорций в Мазуринском летописце см. в нашей работе: Живов 1995а)¹⁰.

Характер употребления временных форм, однако, не является проблемой вполне морфологической. Хотя в некоторых памятниках (гибридного регистра) формы аориста, имперфекта и *л*-формы выступают как морфологические (т. е. семантически недифференцированные) варианты, доминирующим и не знающим исключений такое употребление вплоть до Петровской эпохи не становится. Конфигурация временных форм определяется не столько преемственностью навыков письма, сколько нарративной стратегией пишущего (см. проницательные наблюдения П. В. Петрухина — Петрухин 1996), и в этом плане история прошедших времен радикально отличается от истории тех морфологических подсистем, о которых мы говорили выше. Отличается и судьба этих элементов в Петровскую эпоху. Их изгнание из нового литературного языка как раз и обозначает разрыв с предшествующей лингвистической традицией. Он непосредственно выражается в правленных текстах этого времени (таких как «География генеральная» Б. Варения или «История Петра Великого» Феофана Прокоповича), в которых простые претериты устраняются и заменяются на *л*-формы (см. анализ этих текстов в наших работах: Живов 1986а; Живов 1988а; Живов 1996, 98—110). В силу этого в литературном языке нового типа простые претериты в принципе не используются, а потому и не подвергаются никакой нормализации.

Это не означает, однако, что они полностью устраняются из языкового опыта авторов XVIII в. Во-первых, они присутствуют в филологической мысли кодификаторов нового литературного языка, воздействуя на способы кодификации глагольной системы. Во-вторых, они сохраняются в духовной литературе XVIII столетия как морфологические варианты *л*-форм, т. е. без какой-либо семантической дифференциации (без связи с нарративной стратегией пишущего), приобретая постепенно стилистическую нагрузку. В результате этого переосмысления они начинают функционировать так же, как другие морфологические элементы, отвергаемые нормой нового литературного языка, и попадают в сферу тех лингвистических преобразований, которые анализируются в настоящих очерках. В-третьих, наконец, они окказионально появляются и в светской литературе

¹⁰ О переосмыслении временных форм, привязывающем их к категории вида, см. § I.6. Что касается Мазуринского летописца, то в нем замечательно то обстоятельство, что соотношение форм нсв. и св. вида у *л*-форм существенно отличается от того же соотношения у простых претеритов. Отношение простых претеритов нсв. вида к общему числу простых претеритов колеблется в разных частях летописи между 15 % и 20 %, в целом по летописи этот показатель составляет 17,7 %. Отношение *л*-форм нсв. вида к общему числу *л*-форм дает совсем иные цифры, значения этого показателя колеблются между 35 % и 40 %, в целом по летописи он составляет 38,6 %. Итак, пропорция форм нсв. вида у *л*-форм приблизительно на 20 % выше, чем у простых претеритов, и это, конечно, статистически весьма значимое отличие. Это означает, что экспансия *л*-форм приводит и к экспансии форм нсв. вида, охватывающих ту семантическую область, которая принадлежала имперфекту, и расширяющих эту область за счет новых значений.

XVIII в. как специально маркированное стилистическое средство, отсылающее к духовной традиции. И в этом случае они используются так же, как другие «отбросы» нормализационного процесса в морфологии. Эти три аспекта согласуются с теми проблемами, которые обсуждаются в основной части монографии, и поэтому их рассмотрение естественно располагается в приложениях к ней.

Три означенных выше очерка и приложения, посвященные системе прошедших времен, и составляют план предлагаемой читателю работы. Прежде чем перейти к конкретным описательным главам, целесообразно, однако, уяснить ряд теоретических моментов, значимых для анализа морфологической вариативности. Эта теоретическая часть составляет первую вводную главу, в которой нам предстоит обсудить характер сосуществования церковнославянских и восточнославянских элементов в узусе русской средневековой письменности, соотношение синтаксических и морфологических параметров в упорядочении этого узуса — в распределении языкового материала по регистрам письменного языка, процесс формирования регистров как относительно автономных фрагментов письменного узуса в целом, риторические стратегии, связывающие регистры письменного языка с определенными сферами культурной деятельности. Теоретического осмысления требует и процесс формирования русского литературного языка нового типа, роль грамматической кодификации в этом процессе, соотношение нормализационных усилий и языковой практики; эти последние проблемы, впрочем, были подробно рассмотрены в моей книге 1996 г. (Живов 1996), к которой я и отсылаю читателя. В настоящей же книге я предполагаю ограничиться лишь некоторыми наблюдениями, относящимися к соотношению синтаксической и морфологической нормализации как разных преобразований предшествующего фрагментированного по регистрам узуса.

Прежде чем без оглядок тронуться в путь, я хотел бы, однако же, выразить сердечную признательность друзьям и коллегам, с которыми я в течение многих лет, занятых написанием этой книги, обсуждал затрагиваемые в ней проблемы. Моя благодарность принадлежит Е. Э. Бабаевой, А. А. Гиппиусу, Дж. Дель'Агата, А. А. Зализняку, Е. А. Земской, Г. Кайперту, Г. Ланту, Н. Марчиалис, В. А. Плуныану, М. ди Сальво, А. Тимберлейку, Н. И. Толстому, Б. А. Успенскому, Г. Хютль-Фольтер. Несмотря на их советы и замечания, ошибки и заблуждения несомненно остаются и в окончательном тексте, и в этой части авторство безусловно принадлежит мне одному. Было бы непростительной забывчивостью не упомянуть здесь и Российский гуманитарный научный фонд, научно-исследовательский грант которого (№ 96-04-06108) много способствовал продвижению этой работы, а также Humanities Research Fellowship Калифорнийского университета в Беркли, позволивший мне завершить предлагаемый читателю труд.

Глава I

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ И ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

1. Специфика письменного языка и языковая ситуация древней Руси

Как уже говорилось во Введении, одним из источников широкой морфологической вариативности, свойственной письменному языку средневековой Руси, было соединение в нем двух разнородных начал: кирилло-мефодиевской письменной традиции, южнославянской по происхождению, и местных языковых навыков, отражавших опыт разговорного языка восточных славян. Трактовка этой вариативности в существенной мере зависит от того, как интерпретируется данное соединение. Таким образом, морфологическая вариативность обращает нас к традиционному вопросу истории языка восточнославянской письменности — проблеме соотношения церковнославянского (языка кирилло-мефодиевской традиции в ее восточнославянской редакции) и русского (восточнославянского). При определенной интерпретации, как мы уже отмечали, вариативность, столь ощутимо присутствующая в исследуемых текстах, превращается в чистый фантом, в феномен интерференции двух противопоставленных языковых систем, своего рода макаронизм, рассматриваемый как свойство текстов (*la parole*), не затрагивающее внутренней организации самих систем (*les langues*).

Действительно, в истории письменных языков православного славянства, как, впрочем, и в истории многих других идиомов, которым приписывается статус языкового стандарта, исследователи в течение долгого времени основное внимание уделяли соотношению черт, отражающих и не отражающих устный узус, т. е. «реальную» (с точки зрения этих исследователей) историю языка, противопоставленную «искусственным» явлениям. Главной, таким образом, оказывалась проблема взаимодействия устного и письменного языков, а целью историка — отделить «истинной» истории от тех искажений, которые накладывала на нее письменная традиция. Этот подход определялся рядом теоретических пресуппозиций и сложившихся научных интересов. Такой подход естествен и отчасти оправдан, когда ставятся задачи сравнительно-исторического изучения языков: предполагается, что происходящие в языках изменения имеют системный (органический) характер (например, характер фонетического закона), и для реконструкции этого закона необходимо устранить из рассмотрения неорганические ча-

стности, этот закон нарушающие. Методика подобного устранения была подробно разработана младограмматиками и утвердилась в языкознании в качестве общего подхода к языку уже вне зависимости от тех задач, которые ставились исследователями. В частности, при структурном описании языка те же самые элементы могли рассматриваться как инородные и несистемные вкрапления в гомогенную упорядоченность языковой системы (ср.: Живов и Тимберлейк 1997). При таком подходе, понятно, появляется призрак абсолютно спонтанной, исключаяющей культурную рефлексию языковой деятельности, в которой язык порождает речь как бы без участия носителя и в силу этого реализуется как полностью органическая система.

У этого подхода есть и обратная сторона. Языки специфически письменные, погруженные в культурную традицию, начинают рассматриваться как полярная противоположность органической языковой системе, т. е. как явление вполне искусственное и несистемное, не допускающее никакого органического (системного) развития. Их освоение оказывается сопоставимым с освоением иностранного языка; этим подчеркивается роль формального обучения, кодифицирующих данный язык пособий, нормативных аспектов языковой деятельности. При подобных теоретических основаниях языковая ситуация сосуществования разговорного языка с книжным языком, существенно от него отличающимся, начинает естественным образом рассматриваться как своего рода двуязычие. Именно данная модель — модель двуязычия — прилагалась славистами для описания языковой ситуации древней Руси; такая трактовка мотивировалась в данном случае еще и тем, что книжный язык восточных славян (церковнославянский) в первоначальном виде сформировался у славян южных, т. е. мог рассматриваться как в генетическом плане «иностраный» язык.

Именно таким образом рассматривали соотношение церковнославянского и восточнославянского А. А. Шахматов и С. П. Обнорский. А. А. Шахматов трактовал языковую ситуацию древней Руси как церковнославяно-русское двуязычие и, подчеркивая интересовавший его генетический аспект, называл церковнославянский язык «древнеболгарским». Он полагал при этом, что церковнославянский был быстро освоен культурной элитой Киевской Руси, стал употребляться как разговорный язык этой элиты (Шахматов 1941, 256) и в силу этого употребления постепенно русифицировался. Таким образом, отношения восточнославянского и церковнославянского в Киевской Руси строятся в понимании Шахматова по модели двуязычия: по образцу французского и англосаксонского в Англии после прихода к власти Вильгельма Завоевателя или — что, может быть, ближе — по образцу латыни и французского в средневековой Франции. Церковнославянский, все более русифицировавшийся, обслуживал сферу культуры и был, как полагал Шахматов, русским литературным языком средневековой Руси. В. В. Виноградов, следовавший Шахматову, так и писал: «Русским литературным языком средневековья был язык церковнославянский» (Виноградов 1938, 5).

С. П. Обнорский, возражая Шахматову, резонно замечал, что ряд текстов, возникших в Киевской Руси (прежде всего Русская Правда), никак не могут трактоваться как церковнославянские, пусть даже и существенно русифицированные. Если языком культурной элиты был русифицированный церковнославянский, такие тексты появляться не могли. Обнорский полагал при этом, что русский лите-

ратурный язык пошел от этих текстов, а наличие в нем многочисленных «славянизмов» объяснял тем, что в течение столетий он постепенно славянизировался (Обнорский 1960, 142—144). Несмотря на то, что эта концепция была полемически противопоставлена точке зрения Шахматова, моделью интерпретации оставалось по-прежнему «младogramматическое» двуязычие, хотя и с иным функциональным распределением языков, чем то, которое постулировал Шахматов. Образцом могла быть, например, ситуация латинско-немецкого средневекового двуязычия. Церковнославянские тексты (Св. Писания, богослужения и т. д.) были для Обнорского текстами на «иностранным» языке (как латинские тексты в средневековой Германии), а наряду с ними существовали русские тексты, постепенно расширявшие сферу своего функционирования и вместе с тем усваивавшие черты «иностранным» языка, употреблявшегося в качестве основного языка культуры в том же языковом коллективе.

Обе эти концепции плохо согласуются с теми свидетельствами об употреблении языка (языков) и языковом сознании, которыми мы располагаем для эпохи Киевской Руси. Они базируются на положениях, которые невозможно доказать и которые не кажутся правдоподобными (например, о том, что в Киевской Руси культурная элита начала разговаривать на церковнославянском). Они не находят подтверждения в фактах, которые мы ожидали бы обнаружить при двуязычии при любом функциональном распределении языков (прежде всего существование переводов с одного языка на другой). И они плохо объясняют тот характер лингвистической разнородности, который мы наблюдаем в дошедших до нас письменных памятниках. Церковнославянскому у восточных славян не был присущ характер ученого мертвого языка; он не изучался ученым образом и не был языком, на котором ученые или клирики общались между собой. Что еще существеннее, церковнославянский у восточных славян эволюционировал, в какой-то мере отражая в своей эволюции развитие живых языков восточных славян, что, вообще говоря, с мертвыми языками не случается. Сверх того, насколько мы можем судить по дошедшим до нас свидетельствам, церковнославянский не воспринимался как «чужой» иностранный язык (и не изучался, как иностранный язык), так что модели средневекового двуязычия для описания восточнославянского узуса оказываются малоприменимыми.

Тем более показательна связь младogramматического подхода, которого придерживались оба лингвиста, с использованием модели двуязычия. Хотя структурализм провозглашал радикальный разрыв с младogramматиками, фундаментальное представление о языке как метафизическом органоне, абстрагированном от пользователей языка, никогда ими не пересматривалось, и поэтому ни младogramматики, ни структуралисты не задавались вопросом о том, как в сознании носителя могут в полной независимости друг от друга существовать две языковые системы, наполненные в большей части тождественным языковым материалом. Для ортодоксального структурализма проблема тождества даже не вставала, поскольку элементы языковой системы определялись их отношением ко всем другим элементам той же системы, и материальное сходство русского и церковнославянского **стола** оказывалось столь же эфемерно, как сходство цел. **тоуѣкъ** и англ. *took*. Обращение к языковому сознанию, полностью игнорировавшемуся Шахматовым, Обнорским и их последователями, впервые намечается в концеп-

ции церковнославянско-русской диглоссии, однако в этой концепции языковое сознание втискивается в структуралистскую парадигму и приобретает ту же отвлеченную метафизичность, что и понятие языковой системы.

Концепция церковнославянско-русской диглоссии была предложена рядом исследователей в качестве модели более адекватной, чем двуязычие (Хютль-Фольтер 1978; Исаченко 1980; Успенский 1983). В рамках этой концепции для восточнославянской территории эпохи средневековья реконструируется социолингвистическая ситуация, аналогичная той, которую Чарльз Фергусон (Фергусон 1959) постулировал для нескольких языковых коллективов нового времени (например, арабского мира). Эта ситуация предполагает сосуществование двух языков, находящихся в функциональном взаимодополнительном распределении. Сходное распределение приписывалось книжному и разговорному языкам восточных славян, так что дихотомия двух языков сохранялась, но менялись ее функциональные параметры. Б. А. Успенский, обращаясь к языковому сознанию, определяет их следующим образом: «[В] языковом сознании при диглоссии книжный и некнижный языки воспринимаются как один язык — книжный язык выступает в этих условиях как кодифицированная и нормированная разновидность языка. Между тем, для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Таким образом, если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык» (Успенский 1987, 15). Стоит заметить, что языковое сознание коллектива носителей появляется здесь как своего рода этнографическая аномалия, противоречащая «объективному» взгляду исследователя-лингвиста, со структуралистской последовательностью ищущего и находящего (потому что что ищешь, то и найдешь) оппозицию двух систем.

Что касается формальных примет, отличающих диглоссию от двуязычия, Успенский сводит их к всего трем признакам негативного характера: «1) недопустимость применения книжного (литературного) языка как средства разговорного общения; 2) отсутствие кодификации разговорного языка, отсутствие специального обучения этому языку; 3) отсутствие параллельных текстов с одним и тем же содержанием» (Успенский 1987, 17). Одновременно Успенский указывает и основное отличие, противопоставляющее ситуацию диглоссии той ситуации, в которой сосуществуют литературный язык и диалект. Это отличие состоит в том, что «при диглоссии ни один социум не пользуется книжным (литературным) языком как средством разговорного общения» (там же, 17—18). Как можно видеть, основным признаком книжного языка оказывается его противопоставленность языку разговорному, реализующаяся в его кодифицированности, нормированности и существовании специального обучения этому языку¹.

¹ Это соответствует тому общему определению литературного языка, которое дает Б. А. Успенский: «Литературный язык связан именно с искусственной (вторичной) нормой, усваиваемой в процессе формального (максимально кодифицированного) обучения и реализующейся в авторитетной для данного общества письменности — литературе» (Успенский 1987, 7).

Противопоставленность разговорному языку представляет собой, однако, общую характеристику языкового стандарта, проявляющуюся отнюдь не только в ситуации диглоссии. Как показали работы последних десятилетий, посвященные специфике русской разговорной речи (Земская 1973; Лаптева 1976), в ней реализуется иной регистр русского языка, нежели в письменных литературных текстах. Это означает, что и в современной русской языковой ситуации, которая может быть определена как сочетание литературного языка и языка разговорного в его социальном и диалектном варьировании, литературный язык, как правило, не служит средством разговорного общения (что порой побуждает исследователей и эту ситуацию квалифицировать как диглоссию — Земская, Китайгородская, Ширяев 1981, 21—22). Правда, в современной ситуации устное употребление литературного языка возможно, а в ряде формальных ситуаций оно является даже нормативным (там же, 58—70). Однако правомерно ли апеллировать к этой частной (в определенной степени периферийной) сфере языковой деятельности, проводя различие между двумя языковыми ситуациями? Так ли велико различие? Не сводится ли оно к чисто социальному параметру — увеличению спектра культурно значимых ситуаций, требующих формальной речи? В конце концов и в древней Руси в определенных случаях устное употребление церковнославянского не исключалось — например, при произнесении проповеди. Современное употребление литературного языка в публичных выступлениях (политическая речь, лекция и т. п.) мы можем рассматривать как экспансию того социального узуса, который в средние века был представлен церковным ораторством. Отсюда следует, что отличие, согласно Успенскому, состоит лишь в том, что в современных условиях возможно употребление литературного языка в бытовом общении, тогда как в древней Руси церковнославянский в этой функции употребляться не мог. Однако употребление литературного языка в бытовом общении представляет собой скорее отступление от социальных конвенций, и трактовать подобное отступление как основу принципиального различия вряд ли оправдано. Особые отношения церковнославянского и восточнославянских диалектов устанавливаются только в том случае, если мы а priori утверждаем, что эти идиомы представляют собой два разных языка.

Такое утверждение, однако, отнюдь не является бесспорным. Как известно, Н. С. Трубецкой и Н. Н. Дурново (Дурново 1931; Дурново 2000, 624—637) считали, что последним общеславянским изменением было падение редуцированных и до завершения этого процесса сохранялось общеславянское языковое единство. Если следовать этой концепции, до XII в. включительно восточнославянские говоры являются диалектами общеславянского языка. В таком случае и с внешней точки зрения, к которой апеллирует Успенский, церковнославянский и восточнославянские говоры до XII в. не представляют собой разных языков, а могут рассматриваться как книжный язык, основанный на одном из южнославянских диалектов, и диалекты другого ареала внутри единого общеславянского языка. Именно такого взгляда придерживается Г. Лант. Он утверждает, что «the dialects of Bulgaria and Rus' were obviously different but linguistically very close. The southern dialect features were no hindrance to easy communication, and some of the most striking ones were quite acceptable to the East Slavs for purposes of writing. Samenesses at every structural level — phonological, morphological, syntactic, lexi-

cal — overwhelmingly outnumber differences. *OSC and early Rusian were variant forms of a single language*. To assume that they were two languages is anachronistic, for it projects later differences back into the eleventh century» (Лант 1988—89, 285—286. — курсив Ланта).

Определение церковнославянского и восточнославянского как двух диалектов одного языка принципиально мало что меняет. С точки зрения ортодоксального структурализма два диалекта ничем по существу не отличаются от двух языков: это две разных языковых системы, все элементы каждой из которых взаимозависимы и поэтому с элементами другой системы не соотносятся. Представление о едином языке, объединяющем диалекты, попадает в структуралистскую парадигму воровским образом, через не предусмотренный планировщиками черный ход. Диалектные различия понимаются при этом как своего рода сменные части, приспособленные к единому механизму. На место южнославянского *млѣко* привешивается восточнославянское *молоко*, но это как бы не влияет на движение поршней и шестеренок языкового механизма. Лант как раз и имеет в виду весьма ограниченный набор сменных частей, которые нужно переставить при переходе от церковнославянского (южнославянского) к восточнославянскому, их число, согласно Ланту, намного меньше тех элементов, которые можно не переставлять.

Проблема, однако, отнюдь не в сходствах, которые перевешивают различия на любом из структурных уровней (at every structural level). Такое утверждение имеет смысл только для фонетики и морфологии. Здесь, действительно, можно дать перечень различий, или, если угодно, диалектных (фонетических и морфологических) вариантов. Именно это Лант и делает (Лант 1988—89, 302—304), и в этой части оригинальность точки зрения Ланта состоит лишь в оценке этих различий как минимальных, упаковывающихся в короб единого языкового механизма. Практически тот же самый список приводит Шахматов, говоря о признаках церковнославянизмов в современном русском литературном языке (Шахматов и Шевелов 1960), и Успенский, рассматривая отличия русского церковнославянского от старославянского, с одной стороны, и церковнославянского от «русского» — с другой (Успенский 1987, 84—143). Такая трактовка в принципе позволяет рассматривать «смешанные» тексты не как результат интерференции двух систем (не как тексты с вторгшимися в них «русизмами» или «славянизмами»), а как тексты, обнаруживающие вариативность, и это, конечно же, существенный шаг вперед.

Препятствуют ли эти различия коммуникации или они настолько минимальны, что носители языка легко могут их игнорировать, судить вряд ли возможно, поскольку совершенно неясным остается, о какой коммуникации идет речь. Южные славяне точно так же не говорили на церковнославянском (старославянском), как и славяне восточные, поэтому под коммуникацией, в которой использовались рассматриваемые идиомы, никак нельзя понимать устное общение (тем более устное бытовое общение). Речь может идти лишь о коммуникации письменной, о распространении письменных текстов, созданных в одном славянском регионе (например, у южных славян), за пределами этого ареала (например, у славян восточных)². Эффективность (возможности понимания) такого рода ком-

² Мы располагаем, правда, одним сообщением в хронике Скилицы-Кедрина о том, что в 970 г. русские, сражавшиеся вместе с византийцами и болгарам, «выстраивались вме-

муникации лишь в малой степени зависит от тех или иных особенностей фонетики и морфологии.

В самом деле, сосредоточивая внимание на формальных (фонетических и морфологических) различиях, исследователи по существу продолжают младограмматическую традицию и работают с теми самыми сравнительно-историческими соответствиями, которые устанавливались для реконструкции праязыка. Понятно, что со сменой задач меняется и интерпретация этих соответствий, они в той или иной степени (разной в разных построениях) приобретают функциональный характер (ср.: Живов 1988), однако самый состав признаков в значительной мере сохраняется и получает никак не оправданную доминирующую роль в определении языковой ситуации. Стоит отметить, что признаки фонетического и морфологического уровня легко могут быть представлены как бинарные, и эта бинарность описательного инструмента переносится затем на наблюдаемые разновидности письменного языка восточнославянского средневековья.

Вместе с тем совершенно очевидно, что отнюдь не менее важные синтаксический и лексический уровни обнаруживают иной тип функциональных отношений. Например, такие синтаксические конструкции, как дательный самостоятельный, *accusativus cum infinitivo*, **так** с инфинитивом в значении следствия, аналитические обороты с причастиями типа **бѣ Иванъ кръсть** или **градъ кѣтъ ѿстои** и т. п. отсутствуют в разговорном языке как южных, так и восточных славян, что, конечно, не противоречит сходству южнославянского и восточнославянского на синтаксическом уровне, отмечаемому Лантом, однако сдвигает проблему в иную плоскость. Такие конструкции являются специфичными для книжного языка вне зависимости от того, в каком славянском ареале он функционирует, и возможности понимания этого языка определяются восприятием подобных конструкций никак не в меньшей степени, чем, скажем, полногласием или неполногласием отдельной основы.

Точно так же обстоит дело и с лексикой. Понятность слов типа **ѣдиношцинь** или **бытник** лишь в малой мере определяется тем, произносится ли в них /e/ или /je/, /q/ или /u/, /št/ или /šč/. Абстрактная и религиозная лексика, чрезвычайно важная для лексического облика книжных текстов, ни к какому диалекту специально не привязана, однако имеет самое непосредственное отношение к восприятию книжного языка в любой из его разновидностей. Условия и параметры функционирования книжного языка не могут быть поняты без учета этих его фундаментальных характеристик. Усвоение, восприятие и воспроизведение соответствующих элементов являются важнейшими показателями его функционирования в языковом коллективе. Социальные параметры владения этими языковы-

сте с болгарами как говорящие на едином славянском языке» (Скилица-Кедрин, II, 386). С одной стороны, вовсе непонятно, сколько нужно было языкового единства для понимания простых военных команд. С другой стороны, совершенно очевидно, что коммуникативные задачи военных союзников не имеют никакого сходства с теми, которые стояли перед славянскими книжниками, читавшими и воспроизводившими тексты, пришедшие из других славянских областей. Различие коммуникативных ситуаций настолько в этом случае велико, что нет возможности переносить какие-либо заключения, относящиеся к одной из них, на другую.

ми средствами, тематический (историко-культурный) диапазон их применения, членение пространства письменности по параметрам данного типа представляют едва ли не наиболее значимые аспекты языковой ситуации. Существующие же ее модели, кратко рассмотренные выше, эти аспекты в значительной степени игнорируют, и можно думать, что такое положение вещей связано в конечном счете с представлением о письменном языке как о явлении неорганическом и вторичном³.

2. Норма и вариативность в письменном языке. Значение синтаксических параметров

Выше уже говорилось о том, что, рассматривая книжный язык как вторичное искусственное образование, исследователи подчеркивают его кодифицированный и нормированный характер, отличающий его от языка разговорного. Принципиально различным оказывается и характер овладения книжным и разговорным языком. Б. А. Успенский, соотнося разговорный язык с первичной, «естественной» нормой, а книжный (литературный) язык с «вторичной», «искусственной» нормой, замечает: «Первичная норма усваивается в раннем возрасте в процессе естественного обучения (...) Напротив, вторичная норма усваивается в сознательном возрасте в процессе более или менее специального и искусственного (для литературного языка — формального) обучения» (Успенский 1987, 6). Такая точка зрения нуждается в существенных оговорках, касающихся как объема элементов, усваиваемых при формальном обучении, так и различия в механизмах усвоения «первичной» и «вторичной» нормы.

Как в свое время справедливо указал Д. Ворт (Ворт 1978, 375), вплоть до XVI в. у восточных славян отсутствовала кодификация церковнославянского языка. Никаких грамматик книжного языка не существовало, не было и словарей, если не считать, скажем, «Толкование неудобь познаваемомъ рѣчьмъ» (Ковтун 1963, 216 сл.), которое, однако же, никак не может интерпретироваться в качестве кодификации книжной лексики. Иногда говорится, правда, что кодификация церковнославянского в ранний период осуществлялась посредством текстов, однако само понятие кодификации становится в подобном случае мало что дающей метафорой, которая лишь затушевывает несхожесть книжных языков средневековья со стандартными (литературными) языками нового времени⁴.

³ Эта связь просматривается прежде всего в выборе фонетических и морфологических признаков и невнимании к синтаксическим и лексическим параметрам. Из сферы исследовательских интересов выпадают книжный синтаксис и абстрактная лексика, т. е. те явления, которые были заведомо нерелевантны для сравнительно-исторического изучения в силу своего «неорганического» происхождения (калькирования, искусственного словопроизводства и т. д.).

⁴ Я имею в виду определение литературных языков нового времени в русле пражских традиций. Как уже говорилось, литературные языки нового типа характеризуются полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и дифференциацией стилистических средств. В них реализуется государственная монополия на власть (ср.: Живов 1996, 13—16), так что сами они представляют собой, согласно определению Пражских тезисов, «le monopole et la marque caractéristique de la classe dominante» (Вахек 1964, 45).

С нормализацией дело обстоит иначе. Вне зависимости от того, насколько последовательно проводилась нормализация в тех или иных текстах (Д. Ворт, указывая на невыраженность нормы в ряде книжных текстов, подвергал сомнению само существование книжной нормы — Ворт 1978), она несомненно имела место. Об этом однозначно свидетельствуют многочисленные исправления в дошедших до нас рукописях: если рукопись правится, это значит, что писец заменяет неправильные с его точки зрения элементы на правильные, т. е. обладает представлением о норме и проводит эти представления в своей языковой практике. Лингвистические исправления являются постоянным элементом книжного дела в древней Руси, во многих случаях они осуществляются достаточно последовательно, так что нормализация — это обычный, а не исключительный феномен языковой установки восточнославянских книжников⁵. Нормализаторские интенции книжников можно наблюдать в рукописях разного типа, в частности при сопоставлении ряда летописных списков, например, Новгородской первой летописи старшего извода по Синодальному списку и Комиссионного списка той же летописи младшего извода или Лаврентьевской летописи в сопоставлении с Академическим списком: при обоих сопоставлениях очевидно, что составители позднейших летописных сводов, воспроизводя текст своих предшественников, подвергали его довольно последовательной нормализующей правке.

Существенны, однако, два момента, отличающие нормализацию, наблюдаемую в восточнославянских средневековых текстах, от того феномена нормативности, который привычен для нас и связан с нашим опытом пользования литературными языками нового типа. Прежде всего нормализация не исключает вариативности в той степени, как это характерно для новых литературных языков. Это выражается, во-первых, в том, что не всякая вариативность устраняется, во-вторых, в том, что устранение, когда оно имеет место, отнюдь не всегда бывает последовательным, в-третьих, в том, что средневековые книжники часто стремились не к тому, чтобы устранить вариативность, а к тому, чтобы приписать ей определенное функциональное задание, которое, однако же, никогда не распространялось на все употребления вариантов, т. е. сохраняло область немотивированной вариативности, и, наконец, в-четвертых, в том, что степень нормированности в разных текстах колеблется в существенно большем диапазоне, чем в современных литературных языках (поскольку норма не является полифункциональной).

Так, например, в новгородских памятниках разного типа (церковнославянских текстах, переписанных в Новгороде, житиях и летописях, написанных в Новгороде, официальных документах новгородских властей) практически без исклю-

⁵ В качестве хорошей иллюстрации можно указать на Троицкий сборник конца XII — начала XIII в. (РГБ, Собр. Тр.-Серг. Лавры 12 — см. изд.: Поповски, Томсон, Федер 1988). Этот сборник содержит в перегруппированном виде Пандекты Антиоха. Как установил Н. Поповски (Поповски 1987; Поповски 1989, 120—134), Пандекты Антиоха в Троицком сборнике скопированы непосредственно со старейшей рукописи Пандектов — ГИМ, Воскр. 30 XI в. (см. изд.: Поповски 1989а), так что соответствующие рукописи представляют собой древнейшую в славянской письменности пару антиграф-анограф. Троицкий сборник написан несколькими писцами, орфография которых различается по ряду параметров. Все они тем не менее приводят правописание копируемой ими рукописи XI в. в соответствие с орфографическими нормами своего времени (ср.: Живов 1996а, 189—191).

чений устраняется окончание *-e* в им. ед. *o*-основ. Оно подвергается правке, когда переписчик по недосмотру употребляет соответствующую форму в Минее 1095 г., оно появляется в наиболее раннем списке Вопросания Кирика и устраняется из позднейших списков⁶, оно отсутствует в дошедших до нас списках новгородских договорных грамот, но при этом широко представлено в бытовой письменности древнего Новгорода (Зализняк 1995, 128—130). Очевидно, что книжники избегают данного окончания в силу вполне осознаваемой нормализаторской интенции, вариативность в данном случае практически отсутствует. Если, однако, мы обратимся к формам род. ед. существительных мягкой разновидности *a*-склонения, картина будет совсем иной: наряду с окончанием *-a* во многих памятниках будет фигурировать окончание *-ѣ* (формы типа **вогородницѣ** — **вогородницѣ**), и никакой выраженной интенции устранить эту вариативность не обнаружится. Параметры этой вариативности оказываются различными в текстах разного типа (ср.: Левин 1984), однако сама эта вариация лежит в пределах нормы письменного языка. Таким образом, устранение вариативности в письменности средневековой Руси имеет избирательный характер, делающий саму норму письменного языка не похожей на нормы современных литературных языков.

Аналогичным образом обстоит дело и с проведением нормативных установок, оно лишь в редких случаях бывает последовательным (преимущественно там, где речь идет о фонетических, а не о собственно морфологических вариантах), т. е. лишь в редких случаях элиминирует вариативность по нормируемому показателю. Так, рассматривая процесс *a*-экспансии во флексиях мн. числа существительных м. рода *o*-склонения (см. ниже, § III.1.3), мы обнаруживаем, что в XVII в. в стандартных церковнославянских текстах и в текстах деловых наибольшее число новых флексий фиксируется в тв. мн. Эта конфигурация статистических параметров естественно объясняется как результат нормализаторской установки: употребление тв. мн. на *-ами* получает преимущество (в сравнении с *-ахъ* в местн. мн. и *-амъ* в дат. мн.), поскольку оно устраняет омонимию им.-вин. мн. и тв. мн. Эта нормализаторская интенция, однако, последовательно не осуществляется. Казалось бы, писец мог употреблять новое окончание во всех случаях, избавившись тем самым от неуютной ему омонимии раз и навсегда. Он, однако же, довольствуется частичными результатами, демонстрирующими его интенции и тем самым свидетельствующими о высоком статусе создаваемого им текста. Привив тексту элемент нормативности, он считает свою задачу выполненной и не обращает внимания на недоделанную работу. Этот же подход можно заметить, сравнивая текст ряда житий (например, жития Михаила Клопского — см.: Дмитриев 1958) в первоначальной редакции с окниженной редакцией, сделанной в Москве в начале XVI в.; тенденция редактуры очевидна: выбираются более

⁶ В новгородской Минее 1095 г. (РГАДА, ф. 381, № 84) имеется единичный пример такого исправления, не отмеченный в не отличающемся тщательностью издании В. Ягича: на л. 32 об., строка 1, в **видѣль еси ъ** исправлен из **е**. В Вопросании Кирика по списку Новгородской кормчей 1280-х годов читаем: **прашахъ кто: гдѣ ксть крѣть чѣны? — тако поведаютъ, реѣ, намъ: тако не дошле цѣрагра^а, кгда обрѣтене възнеслѣ на нбѣа** (ГИМ, Син. № 132, л. 523). В позднейших списках формы **дошле** и **обрѣтене** заменяются на **дошелъ** и **обрѣтенъ** (РИБ, VI, стб. 32).

книжные или более «архаические» морфологические варианты (скажем, *-ѣй* вместо *-ой* в дат.-местн. ед. в склонении прилагательных ж. рода); тем не менее нормализация реализуется лишь как тенденция, оставляя нетронутой определенную часть менее книжных или «новых» флексий. Во всех этих случаях речь явно не идет о простом недосмотре, полная последовательность в проведении нормативных предпочтений просто не входит в намерения пишущего⁷.

С этой умеренностью в осуществлении нормализационных интенций хорошо согласуется и другой момент языкового поведения средневековых книжников. Как уже отмечалось, носитель языка, располагая морфологическими вариантами, нередко стремится дать им разную семантическую нагрузку. Это особенно характерно для письменного языка, поскольку коммуникативная ситуация письма располагает к сознательным преобразованиям узуса. Дифференцирующие преобразования этого рода представлены и в восточнославянской средневековой письменности. К одному из таких примеров, исследованных А. Тимберлейком, мы обратимся ниже. Речь идет о формах имперфекта 3 лица с аугментом *-тъ* и без него (варианты типа *идашеть* — *идаше*, *идахѣтъ* — *идахѣ*). Как обнаружил Тимберлейк (Тимберлейк 1997; Тимберлейк 1998), в ряде памятников (в частности, в Лаврентьевской летописи и в Слове о полку Игореве) аугмент употребляется не произвольно, как полагали ранее, а в определенных контекстах, различных в разные периоды (новые контексты возникают в результате переосмысления — см. ниже). В частности, имперфект с аугментом может употребляться в предложениях, содержащих частицы *бо* и *же*, когда эти предложения имеют модальное значение. Приводимые Тимберлейком статистические данные вполне убедительны, т. е. они показывают несомненную корреляцию между указанным контекстом и употреблением аугмента, но корреляция эта тем не менее не носит обязательного характера. Таким образом, книжник стремился к функциональной дифференциации морфологических вариантов, но довольствовался при этом ее неполной реализацией, оставляя часть вариантов недифференцированными, т. е. сохраняя область чистой вариативности⁸.

⁷ Такая непоследовательная нормализация свойственна еще начальному этапу формирования русского литературного языка нового типа. Нормализационные замены морфологических вариантов можно наблюдать в той правке, которую Софроний Лихуд вносит в текст «Географии генеральной» (заменяя, например, *-ой* на *-ый* в им. ед. прилагательных м. рода или *-ая* на *-ья* в им.-вин. мн. прилагательных ср. рода) (см.: Живов 1986а, 257; ср. § IV.2.1). Нигде, однако, он не проводит эти замены последовательно. Такой характер нормализации сохраняется вплоть до конца 1720-х годов.

В принципе так обстоит дело не только с морфологическими вариантами. Так, скажем, в результате так называемого второго южнославянского влияния в стандартных церковнославянских текстах *ж* в рефлексах **dj* заменяется на *жд* (см.: Ворт 1983а, 359—360; Успенский 1987, 208—209). Обычно эта инновация рассматривается как последовательно проведенная справа. Однако в богослужебных рукописях XVI—XVII вв. написания с *ж* в рефлексах **dj* обнаруживаются не столь уж редко, и эти отступления от нормы свидетельствуют о характере нормативности, а не о небрежности переписчиков.

⁸ Казалось бы, такую ситуацию можно сравнить с употреблением, например, второго родительного в современном русском языке, поскольку и здесь семантическая дифференциация совмещается с вариативностью. Сопоставление, однако, показывает, что ситуации

В современном русском литературном языке (как и в других современных литературных языках) норма общезначима и полифункциональна. Это означает, что одни и те же нормы — по крайней мере, орфографические и морфологические — выдерживаются вне зависимости от статуса текста; членение пространства письменности в отношении нормы бинарно: тексты бывают либо грамотными, либо безграмотными. Из этого не следует, конечно, что все грамотные тексты обладают одним и тем же статусом, однако статус выражается не за счет степени нормативности текста, а за счет стилистической дифференциации употребленного в нем языкового материала. Понятно, что границы между ненормативным и стилистически отмеченным в лексике, а отчасти и в синтаксисе не всегда достаточно отчетливы, понятие стилистической погрешности как раз и располагается в переходной области между отступлением от нормы и допустимым, но стилистически маркированным элементом (к историческим основаниям этой ситуации мы еще обратимся ниже). Однако на уровне орфографии и морфологии никаких стилистических погрешностей не существует, границы здесь вполне однозначны.

В средневековой восточнославянской письменности дело обстоит принципиально иным образом. Узус, свойственный текстам разного типа, различен, и один из существенных моментов, характеризующих узус данного типа текстов, — это присущая ему степень нормативности. Для текстов XVI—XVII вв., наиболее важных для настоящего исследования, вообще нет возможности говорить о единой норме: норма стандартных церковнославянских текстов по многим орфографическим и морфологическим признакам противопоставлена норме текстов деловых (о становлении этого противопоставления см. ниже). Таким образом, в русской средневековой письменности, с одной стороны, отсутствует единая норма, а с другой — в разных текстах обнаруживается разная степень нормативности. Что касается текстов книжных, разная выдержанность нормы первоначально развилась в них, видимо, в силу прагматических причин. Унификация была в наибольшей мере существенна для богослужебных текстов, поскольку она была призвана обеспечить правильность и унифицированность церковного благочестия. Соответственно и языковая норма выдерживалась здесь наиболее строго, и поддержание этой нормы — в силу того, что тексты эти были хорошо известны писцам, — не сталкивалось с теми трудностями, которые возникали при воспроизведении сложных и не вполне понятных для писцов текстов⁹. Так появлялись

по существу различны. Вариативность в современном русском языке возникает не в силу того, что дифференциация распространяется лишь на часть употреблений, а в силу того, что специфическое значение второго родительного (партитив) факультативно: говорящий может этим специфическим значением пренебречь, и тогда у него не возникает нужды во втором родительном.

⁹ Как отмечает Н. Н. Дурново, «[р]азное отношение писцов к правописанию их непосредственных оригиналов и вызванные этим либо близость правописания писанных ими рукописей к правописанию оригинала, либо его относительная независимость стояли в связи как с индивидуальными способностями и грамотностью писцов, так и с характером списываемого текста. Писцу не приходилось следить буква за буквой за написаниями оригинала при переписке хорошо знакомых ему текстов, например, Евангелия; наоборот, при списывании малопонятного богословского трактата, где переписчики были неясны самые слова и их грамматическая зависимость, трудно было писцу ру-

исходные различия в узусе книжных текстов с разными прагматическими функциями; эти исходные различия переосмыслились затем как традиция, соотносящая степень нормативности с характером коммуникативного задания. Понятно, например, что местные жития, а тем более летописи, предназначенные для келейного чтения (или вообще для внемонастырского употребления), вписывались в ту письменную традицию, которая не требовала строгого соблюдения церковнославянской нормы. При развитии этой традиции допустимые отклонения накапливались и формировали особый преемственно воспроизводимый узус, который мы определяем как гибридный регистр книжного языка (см. ниже). Поскольку вольное обращение с нормой было конститутивным элементом данной традиции, вариативность была ее постоянным свойством, лишь нараставшим по мере ее (традиции) развития.

Итак, специфика нормативности в письменном узусе восточнославянского средневековья обуславливает совместимость нормативных установок и вариативного употребления, создавая условия для развития орфографической и морфологической вариативности. Параметры этой вариативности, как уже говорилось, определяются преемственностью, действующей в рамках отдельных регистров. Регистры, в свою очередь, соотносятся с типами коммуникативных заданий, которые определяют риторическую стратегию пишущего. Связь коммуникативного задания с риторической стратегией универсальна, но в условиях славянского средневекового узуса она приобретает специфические черты, которые заслуживают особого внимания. Эти черты обусловлены еще одной важной характеристикой средневековой нормативности, отличающей ее от нормативности привычных для нас литературных языков нового типа.

Эта особая характеристика состоит в том, что нормализация распространяется не на все уровни языка. На синтаксическом и лексическом уровне нормативная установка практически никакого выражения не находит. В силу этого синтаксическое построение текста и наполняющий его лексический материал оказываются куда более непосредственно связанными с коммуникативной установкой текста, чем в современных литературных языках с их нормативным синтаксисом и словарем. Сама по себе коммуникативная обусловленность синтаксиса и лексики относится, как уже говорилось, к фундаментальным основам функционирования языка. Однако в современных литературных языках зависимость синтаксиса и лексики от коммуникативного задания проявляется в таких параметрах, как сложность синтаксического построения (распространенность периода), разнообразие лексических средств и т. п. Возможности выбора, однако, ограничены рамками нормы, т. е. тем синтаксисом, которому обучают в школе, и — в общем и целом — той (стилистически дифференцированной) лексикой, которая зафиксирована в нормативных словарях. В средневековой восточнославянской практике обучение ни в каком виде на синтаксис и лексику не распространялось, поэтому, как мы увидим ниже, синтаксическая и лексическая неоднородность узуса была

ководиться своим знанием книжного языка и правописания и приходилось ближе держаться к написанию оригинала <...> Всего менее приходится искать следов правописания непосредственных оригиналов в напрестольных Евангелиях» (Дурново 1933, 46—47; Дурново 2000, 645—646).

существенно большей. Она затрагивала, в частности, самые принципы синтаксического построения как способа организации сообщаемой информации.

Об отсутствии нормативных установок в синтаксисе и лексике свидетельствуют исправления, встречающиеся в рукописях. Они затрагивают по преимуществу фонетику (поскольку она отражается в правописании) и морфологию. На этих уровнях, как мы только что видели, нормализация может быть достаточно систематической. Исправления лексические и синтаксические, напротив, практически всегда окказиональны. Конечно, они не лишены направленности, и при статистическом анализе можно обнаружить определенные закономерности в динамике узуса. Так, скажем, при рассмотрении более ранних и более поздних списков летописей заметно, как беспредложный дательный при глаголах движения в инклюзивном значении постепенно замещался конструкциями с предлогом *къ* + дат. падеж; пропорция предложных конструкций нарастает от более ранних частей летописи к более поздним, от списков XIV в. к спискам XV в. Тем не менее последовательно эти замены не проводятся, так что, например, в Ипатьевской летописи обнаруживается ряд случаев предложных конструкций, которым в Лаврентьевской соответствует беспредложная, наряду с этим, однако, имеются и случаи, когда беспредложным конструкциям Ипатьевской летописи соответствуют предложные конструкции в Лаврентьевской (Пичхадзе 1996). Ясно, что ни в текстологической истории Лаврентьевской, ни в текстологической истории Ипатьевской сплошной замены соответствующей конструкции не наблюдалось, т. е. замены всегда имели окказиональный характер и лишь с течением времени давали кумулятивный эффект.

Сходным образом обстоит дело и с заменами лексическими. В недавнее время А. М. Молдованом была предпринята попытка дать типологию лексических замен в восточнославянских памятниках. Он выделил шесть типов таких замен: (1) слово, которое начинает восприниматься как не книжное, заменяется на «литературный» эквивалент; (2) старославянские архаизмы вытесняются словами, находящимися в актуальном книжном употреблении; (3) регионализмы заменяются словами общеупотребительными; (4) экспрессивная лексика уступает место нейтральной; (5) транслитерированное греческое слово заменяется его славянским эквивалентом; (6) слова, обозначающие конкретный предмет, заменяются обозначением класса предметов (Молдован 1994, 73—74; ср.: Молдован 2000, 60—103). Подобные замены, очевидно, не могут быть последовательными и обладать нормативным статусом. Они осуществляются от случая к случаю, и их типология отражает не нормативные установки книжников, а обобщение индивидуальных казусов. Интенции писцов достаточно расплывчаты и основаны не на системе однозначных запретов, а на представлении об уместности, вынесенном из их читательского опыта. Как замечает Г. Лант, «scribal changes tell us only that the copyist felt something was inappropriate — unknown, obscure, archaic, regional, stylistically unsuitable» (Лант 1994, 19)¹⁰.

¹⁰ В цитируемой работе Г. Лант подвергает критике типологию А. Молдована (Лант 1994, 22). Какие принципиальные моменты затрагивает эта критика, остается мне неясным. Кажется, Лант возражает против того, чтобы рассматривать выделенные типы как «laws», однако Молдован таких претензий не заявляет, говоря только о «типах замен».

Отсутствие нормализации на синтаксическом и лексическом уровнях показательно. Оно означает, что при обучении книжному языку данные уровни никак эксплицитно не затрагивались, и это задает существенные ограничения объема формального обучения в древней Руси. Такие ограничения хорошо согласуются с тем немногим, что мы знаем о характере образования у восточных славян в XI—XVI вв. Основой овладения книжным языком было чтение по складам и последующее заучивание наизусть Часослова и Псалтыри (см. подробнее: Живов 1996, 21—23). Правдоподобно, что профессиональные писцы получали еще и дополнительную выучку, однако она ограничивалась не слишком пространством набором орфографических правил, регулировавших книжное правописание, но не задававших никаких норм употребления форм, конструкций или лексических единиц (Живов 1996, 28—29). В этом плане лингвистическое образование в средневековой Руси отличалось от тех процедур овладения классическими языками, которые практиковались в Византии и латинской Европе и предполагали изучение грамматики и анализ текстов образцовых авторов.

Тем в большей степени заслуживает внимания тот факт, что восточнославянские книжники владели книжным языком, т. е. могли создавать новые тексты, не отличавшиеся радикально ни по своим синтаксическим построениям, ни по своему словарю от южнославянских образцов (имею в виду, например, Слово о законе и благодати митрополита Илариона или гомилетические произведения Кирилла Туровского). Это означает, что навыками книжного изложения восточнославянские авторы овладевали не в процессе «формального обучения», но исключительно в процессе чтения. Нет никаких оснований считать этот процесс искусственным, радикально отличающимся по своим лингвистическим механизмам от процесса овладения разговорным языком. Вместе с тем следует отдавать себе отчет, до какой степени те навыки, которые осваивались в данном процессе, отличались от навыков разговорного языка. Порождение книжной речи представляется иным типом языкового поведения (иным способом организации сообщаемой информации) сравнительно с порождением речи разговорной. Здесь явно неправомерно говорить о двух разных языках, однако разные регистры одного языка, соотношенные с разными коммуникативными заданиями, выделяются здесь с полной отчетливостью. Именно синтаксические характеристики, как мы указывали во Введении, лежат в основе дифференциации узуса по регистрам.

Далее Лант утверждает, что для построения данной классификации необходимо знать, «when a word is colloquial, regional, or archaic», а такими знаниями мы не располагаем. И правда, полного знания у нас нет, однако для отдельных лексем установить и доказать их региональный, архаический или маркированный в стилистическом отношении характер вполне возможно, и этих известных случаев достаточно для построения типологии; Лант и сам пользуется теми же категориями, как можно видеть из приведенной цитаты. Содержательнее другое замечание Ланта. Он полагает, что убеждение Молдована, будто его замены «can go only in one direction», основано на иллюзии, однако ни одного опровергающего примера Лант не приводит, ограничиваясь утверждением, что «scribal vagaries are not governed by such neat precepts». Соответственно и общий вывод Ланта сводится к тому, что «each case must be weighed separately» (там же, 20). Это, конечно, неплохой совет, но если автор не может предложить ничего более содержательного, от инвектив лучше воздержаться.

Понятно, что все рассуждения об отличиях письменного языка древней Руси от разговорного имеют гипотетический характер, поскольку никакими прямыми сведениями о разговорном языке мы не располагаем и можем лишь реконструировать его характеристики исходя из все тех же письменных текстов. Тем не менее можно полагать, что синтаксическая организация книжных регистров принципиально отличалась от синтаксического построения разговорной речи. В древних некнижных текстах обнаруживается ряд конструкций, не находящихся соответствия в книжном синтаксисе, но зато хорошо известных из синтаксиса современной разговорной речи. Само собой разумеется, что древние некнижные тексты представляют собой образцы письменного, а не устного языка, и не могут не обладать особенностями письменного текста, однако сходства с современной разговорной речью побуждают думать, что отдельные синтаксические конструкции этих текстов представляют собой элементы устного синтаксиса.

К таким конструкциям относится, например, именительный темы, когда тема (предмет) высказывания обозначается существительным в номинативе, ставящимся в начале предложения. Такие конструкции отсутствуют в древнерусских книжных текстах, но могут быть найдены в берестяных грамотах, ср. № 600, рубеж XII/XIII вв.: «**а выголе** (им. ед.) **того изловили**» («а бродяга, того поймали» — Зализняк 1995, 385); № 550, вторая пол. XII в.: «**а дороганици** (дороганичи, жители местности Дороганя, им. мн.) **ти шли въ городо**» («а дороганичи, они ушли [или пошли] в город» — Зализняк 1995, 341). В разговорном синтаксисе современного языка известен именительный перечисления, когда при перечислении предметов первые названия стоят в нужном косвенном падеже, а последующие в именительном. И здесь находятся аналоги в берестяных грамотах при отсутствии их в книжной письменности, ср. № 169, рубеж XIV/XV в.: «**онтане послале овдокимү два клецца** (вин.) **да щүка** (им.)» («Антон послал Евдокиму двух лещей и щуку» — Зализняк). Аналогичный пример в грамоте № 445 XIV в.: «**всало горончаро • в • сорока • күницю • кобылу • г • кожи • шапка • сани хомүты**» («Взял гончар два сорока куниц, три кожи, шапку, сани, хомуты» — Зализняк 1995, 468); форма *шапка* несомненно представляет собой именительный перечисления (Зализняк 1995, 138—139). Можно полагать, что синтаксические построения разговорного языка, иногда рассматривающиеся как инновации, могут быть достаточно архаичными, так что специфические особенности разговорного синтаксиса устойчиво в течение многих столетий определяют отличия сначала книжного языка, а затем наследующего ему языкового стандарта (при всех его изменениях) от разговорного регистра русского языка, равно как и от некнижных регистров письменного языка средневековья.

Описанные явления характеристичны и указывают на фундаментальные несходства разговорного синтаксиса, ориентированного на ситуационное упорядочение информации (в частности, актуальное членение), и синтаксиса книжного, ориентированного на логическое развертывание. Тем не менее они представляют собой частности. Ситуационное упорядочение можно рассматривать как общий принцип организации некнижных текстов, и это проявляется прежде всего в постоянном нарушении проективности, т. е. того свойства, которое возникает как естественное следствие логического развертывания (о данном аспекте современного русского разговорного синтаксиса см.: Земская 1973, 383—393). Ряд приме-

ров нарушения проективности из новгородских берестяных грамот приводит А. А. Зализняк (1995, 171). Он указывает, что особенно часто это имеет место в словосочетаниях вида «существительное + определение или приложение к нему». Ср. № 607/562 XI в.: «**жизнобоуде погоублене оу сычевиць новъгородьске смьрде**» («Сычевичами убит Жизнобуд, новгородский смерд» — Зализняк 1995, 228); № 78 XII в.: «**възѣми оу тимоще одну на десѣтъ грив[ь]ноу оу въницна шоуринна**» («возьми у Тимошки, Войчина шурина, процент одну гривну на десять» — Зализняк 1995, 306—307); № 663 XII в.: «**милоче, Ѹнеге, бѣдиша заплатили поло гривене коростокине рала**» («Милко, Унег и Будиша, Коросткины [дети], заплатили полгривны поралья» — Зализняк 1995, 334—335) и т. д.

Зализняк формулирует тот принцип синтаксического построения текста (организации информации), ради которого нарушается проективность — в начале главная часть сообщения, затем уточнения. «В соответствии с этим принципом прежде всего объявляется суть дела (без деталей), а все уточняющие слова образуют вторую, дополнительную часть высказывания, которая фактически представляет собой цепочку синтаксически не связанных между собою слов или синтагм (...) Заметим, что подобное построение не предполагает обособления отнесенных в конец слов и никаких пауз перед ними нет» (Зализняк 1995, 172). И этот принцип соответствует тому, что отмечается исследователями современной разговорной речи, ср. наблюдения Е. А. Земской: «Член (или члены), наиболее информативно важный, (...) тяготеет к началу высказывания. (...) В конце высказывания, как правило, располагаются члены, информативно менее важные, например, невыделенная тема высказывания» (Земская 1973, 382).

Таким образом, лингвистическая (риторическая, информационная) стратегия книжного текста, соответствующая принципу логического развертывания, радикально отличается от лингвистической стратегии разговорной речи, равно как в определенной степени и от лингвистической стратегии не книжных текстов, в ряде случаев воспроизводящих синтаксические построения разговорной речи. Отсюда следуют два важных вывода. Во-первых, при отсутствии полифункциональной синтаксической нормы соотношение коммуникативного задания текста и лингвистической стратегии автора базируется на основных принципах устройства сообщения; принцип логического развертывания не является имманентным ни для человеческого сознания, ни для текстов, этим сознанием порождаемых. Ситуационный синтаксис, отражающий в своем генезисе лингвистические стратегии бытового диалога, представляет собой не некое отклонение от «правильного» логического синтаксиса, но особый способ организации информации. Этот синтаксис не противоречит, в принципе, письменной форме речи, и поэтому может формировать отдельный преемственно воспроизводимый письменный узус. Именно этот узус (или его трансформацию) мы и находим в средневековой восточнославянской не книжной письменности. Его устранение из письменной сферы, которое и обусловило появление феномена русской разговорной речи как особого регистра современного русского языка, было обусловлено экспансией синтаксиса логического развертывания как полифункциональной нормы русского литературного языка нового типа на всю сферу письменности (на этом процессе мы еще остановимся ниже).

Во-вторых, поскольку синтаксис логического развертывания не является имманентным для письменного языка, следует задаться вопросом, каково его происхождение в восточнославянской письменности. Ответить на этот вопрос несложно: он идет из кирилло-мефодиевской письменной традиции, основанной на переводах с греческого. В процессе перевода воспроизводился (с теми или иными отклонениями) синтаксис греческих оригиналов, синтаксис логического развертывания, сформировавшийся в рамках античной риторической традиции. Из кирилло-мефодиевского источника эту традицию усваивает и восточнославянская книжная письменность. Неверно было бы думать, однако, что эта традиция, освоенная как культурное наследие, существует как искусственный феномен, внешний для восточнославянской языковой деятельности и поддерживаемый лишь благодаря специальному обучению и нормированию. Стратегиям книжного изложения никто и никогда восточнославянских книжников не учил, ни наставников, ни письменных руководств у них не было, так что соответствующие навыки, принципиально отличные от «естественных» навыков разговорной речи, они приобретали путем простого подражания, подражания тому книжному языковому узусу, который был им известен из прочитанных ими текстов. Это, по существу, тот же путь освоения языка, который проделывает ребенок, осваивая речь своего социума, только вместо речи старшего поколения в данном случае выступает корпус прочитанных и освоенных текстов. Нет, следовательно, никаких оснований рассматривать письменные (книжные) регистры языка как специально искусственные, неорганические или лишенные системной упорядоченности. Стратегии книжного изложения осваивались вместе с новыми коммуникативными задачами, возникшими в результате христианизации Руси, и превращались в органическую традицию, соотношенную с этими задачами.

3. Преемственность и лингвистические характеристики книжного и некнижного языков

Как мы видели, в бытовых некнижных текстах (представленных берестяными грамотами) встречаются такие синтаксические построения, которые в книжных текстах отсутствуют. Появление подобных построений можно связывать с влиянием разговорной речи. Это, однако, лишь частичное объяснение, отсылающее по существу к начальному происхождению этих элементов, а не к их функционированию в рамках письменного узуса. Если книжный письменный узус осваивается, как говорилось выше, в процессе чтения книжных текстов, то следует думать, что и некнижный письменный узус обладает своей преемственностью. Ситуационный синтаксис реализуется в некнижных текстах не столько в силу того, что он свойствен разговорной речи, сколько в силу того, что он присущ некнижной письменности, известной автору данной берестяной грамоты. Ряду носителей был явно известен и книжный, и некнижный письменный узус, и выбор линии преемственности, которой они будут следовать в определенном речевом акте (акте создания письменного текста), зависел, очевидно, от типа коммуникативного задания. Этот выбор мотивировался, следовательно, риторической (историко-культурной) установкой пишущего.

Здесь возникает проблема того, из какого набора возможностей выбирал пишущий. Основным было, конечно, различие между книжным и некнижным языком (книжными и некнижными регистрами). Оно непосредственно определялось историко-культурной установкой пишущего, и эта установка обуславливала выбор лингвистической стратегии: логического развертывания или ситуационного построения текста. Установка задавалась прежде всего прагматическими параметрами текста. Если текст был обращен к социуму в целом и имел целью его назидание или вообще религиозное совершенствование любого рода, императивным оказывалось следование книжной (церковнославянской) традиции, что и определяло лингвистическую стратегию; если, напротив, текст был обращен к конкретному адресату и содержал частную информацию или информацию, касающуюся юридических обязательств или юридического статуса тех или иных лиц, преемственности по отношению к книжной традиции не требовалось, и изложение оказывалось некнижным¹¹.

Понятно, что лингвистическая (риторическая) стратегия реализовалась прежде всего в синтаксисе. Это соответствует доминирующей роли синтаксиса в определении типа языка (ср.: Исаченко 1974; Хютль-Ворт 1978), обусловленной прямой связью синтаксического построения и коммуникативного задания текста (о чем уже говорилось выше). Сначала определяется общая форма изложения, подразумевающая основные синтаксические характеристики, затем с нею в той или иной степени согласуются признаки других уровней. Уровень лексический при этом малопоказателен, поскольку он слишком тесно связан с содержанием текста, так что выбор здесь обусловлен в большей степени тематикой, нежели лингвистической стратегией¹². Что же касается фонетики (орфографии) и морфологии, то жесткой соотнесенности с выбором риторической стратегии здесь не

¹¹ Любые попытки однозначно описать прагматические параметры данного типа требуют определенных, хотя и достаточно очевидных оговорок. Например, книжные тексты могут быть формально обращены к конкретному лицу (как, скажем, Поучение Владимира Мономаха своим детям или послание Климента Смолятича Фоме), но имплицитно адресоваться более широкой аудитории (писаться для всеобщего сведения). Социум-адресат книжного текста может быть лишь ограниченной частью общества в целом (так, скажем, монашеские уставы предназначены прежде всего для монахов), однако в этом случае вычленение адресата основано на религиозном критерии, и это отличает подобные тексты от Русской Правды или договорных грамот; последние имеют публичный характер, обращены при этом к части общества (административному аппарату), но часть эта выделяется по критериям, не имеющим отношения к культурным ценностям общества. Можно представить себе и иные казусы этого рода.

¹² Впрочем, и в лексике существуют тематические сферы, в которых можно говорить об оппозиции книжных и некнижных единиц. К таким сферам относится прежде всего юридическая терминология. В юридических текстах, переведенных с греческого (Закон градский, Эклога и др.), лишившихся у восточных славян собственно юридического значения, но зато приобретших значение религиозное, употребляется книжный (церковнославянский) язык и книжная юридическая терминология. В памятниках местного права, имевших практическое значение, но лишенных значения религиозного, употребляется некнижный язык и некнижная юридическая терминология (Живов 1988; Живов 2002, 187—236). Выбор книжной или некнижной терминологии обусловлен историко-культурной установкой, а не тематикой, поскольку тематика этих текстов в существенной мере совпадает.

устанавливается. Некоторая соотнесенность безусловно имеет место, и ее природа была в определенной степени выяснена выше. Эта соотнесенность возникает благодаря преемственности языковых навыков пишущих, а не в силу того, что синтаксические стратегии и элементы орфографии и морфологии образуют единую систему (*la langue* в сосюрловском понимании). Если взглянуть непредубежденным взглядом на соответствующий лингвистический материал, его «внесистемный» характер обнаруживается с полной очевидностью.

Так, например, бытовая система письма, характерная для новгородских берестяных грамот (см.: Зализняк 1986, 93—109), обычна лишь для не книжных текстов, а для записи книжных текстов может употребляться только в исключительных случаях. Тем не менее такие случаи имеются. Редкий случай такого рода находим, например, в новгородской берестяной грамоте № 419 XIII в., представляющей собой единственную известную на сей день берестяную книжечку. Бытовым письмом записаны здесь две стихиры. По предположению А. А. Зализняка, ее мог изготовить «для себя кто-нибудь из певчих церковного хора» (Зализняк 1995, 430). Каковы бы ни были причины, сам этот факт показывает, что безусловной (системной) связи между синтаксическим построением и правописанием не существует. Об этом же свидетельствует недавно найденная торжковская берестяная грамота, содержащая два предложения из поучения Кирилла Туровского; и она написана бытовым письмом, хотя текст является книжным.

Точно так же ряд орфографических приемов встречается только в книжной письменности, а в не книжных текстах появляется лишь как исключение. Так обстоит дело, например, с обозначением палатальных сонорных: они достаточно часто обозначаются в книжных памятниках XI—XIII вв. (Живов 1996а), тогда как из не книжных текстов единственным примером является Мстиславова грамота (около 1130 г.). В Мстиславовой грамоте палатальные сонорные обозначаются йотацией следующего гласного; фиксируются три случая: **донкаѣже**, **осеньникѣ**, **въ нѣ** (в одном случае палатальный не обозначен: **оу него**). Мстиславову грамоту можно, конечно, рассматривать как аномалию и объяснять ее книжную орфографию тем, что это, видимо, один из первых письменных документов, созданных в Киевской Руси; никакой традиции делового письма в это время еще не было, и церковник, писавший эту грамоту, не имел оснований отказываться от своих навыков книжного письма. И в этом случае частности не имеют значения, тогда как безусловность связи достаточно очевидна.

Такого же рода примеры можно привести и для морфологии. Например, хорошо представленное в новгородских берестяных грамотах окончание им. ед. о-склонения *-e* (Зализняк 1986, 127—134; Вермеер 1994), которое уже упоминалось выше, в новгородских книжных текстах появляется в считанных случаях. Два примера из Вопросания Кирика по списку Новгородской Кормчей 1280-х годов приводились выше (ср.: Гиппиус 1996, 51—53). Вывод очевиден: никакой системной связи между морфологическими показателями и синтаксическим построением не просматривается. Сходным образом, формы имперфекта, без которых невозможно представить себе книжную письменность, практически не встречаются в не книжной. Несколько исключений тем не менее обнаруживаются в новгородских берестяных грамотах, причем некоторые из них не могут быть объяснены тематикой письма или принадлежностью автора к клиру (см.: Зализ-

няк 1995, 123—124). Не затрагивая сейчас вопроса о том, имелся или не имелся имперфект в живой новгородской речи соответствующего периода, можно утверждать, что формы имперфекта присутствовали в языковом опыте новгородцев и иногда могли ими использоваться по случаю, вне прямой связи с коммуникативной установкой и типом текста.

Хотя анализируемая нами связь не имеет, как мы видели, обязательного, системного характера, она несомненно существует (возникая в силу социальной преемственности языковых навыков). При структуралистской концептуализации подобное устройство формальных признаков побуждает говорить о бинарном противопоставлении книжного и некнижного языков, и именно так трактует их ряд исследователей (ср.: Исаченко 1980, 80—98; Успенский 1987, 129—170). Те нарушения бинарности, которые мы только что обсуждали, оказываются при этом маргинальными исключениями и выводятся из рассмотрения в согласии с обычной структуралистской практикой. Пока речь идет об общем противопоставлении типов языкового употребления, связанных с культурной установкой пишущего, подобная интерпретация особых возражений не вызывает. Проблемы возникают тогда, когда это бинарное членение проводится через все множество вариативных языковых средств и каждый из вариантов наделяется значимостью индикатора языкового кода. При таком подходе имплицитно продолжает действовать модель двух языковых систем, в каждой из которых все элементы связаны и однородны по своим системным качествам.

Исследователи, естественно, отдают себе отчет в том, что у этих двух систем большая часть языкового материала является общей, однако элементы, которые могут быть соотнесены лишь с одной из систем, представляются двумя равномерно противопоставленными множествами. Скажем, имперфект, **ѣ** на месте **tj* и флексия **-ѣа** в род. ед. прилагательных ж. рода оказываются составляющими одного «книжного» множества и в силу этого одинаковым образом противостоят составляющим противоположного «некнижного» множества — *л*-форме, **ч** на месте **tj* и флексии **-оѣ**. Отсюда и появляются «русизмы» и «славянизмы», которыми оперируют историки языка при разборе средневековых восточнославянских текстов. Когда в книжном тексте оказываются элементы из «некнижного» множества, они рассматриваются как чужеродные вкрапления и именуются русизмами; когда в некнижном тексте появляются элементы из «книжного» множества, они также рассматриваются как чужеродные вкрапления и именуются славянизмами. Именно в этих терминах традиционно описывается история языка восточнославянской письменности.

Если обратиться к тому, как в действительности создавались тексты — имею в виду характер образованности, способы приобретения навыков письма, социальные слои, пользовавшиеся письменностью, — подобная картина не кажется реалистической. Она предполагает, во-первых, что у пишущего было ясное представление о двух противопоставленных системах и о совокупности черт, характерной для каждой из них. Поскольку, как уже отмечалось, только структуралистская мифология побуждает говорить о двух языковых системах, автономно существующих в сознании носителя, такое размежевание языкового материала могло бы быть возможно лишь в том случае, если бы эти «языки» были кодифицированы и книжный язык изучался «по грамматике» (модель двуязычия). По-

скольку же опыт книжного языка образовался из чтения текстов, носитель языка мог руководствоваться только своими впечатлениями о том, что где встречается. Понятно, что такие впечатления не формировали бинарной классификации. Одни элементы оказывались более привычными, другие менее привычными, одни — более книжными, другие — менее книжными¹³. Создавался своего рода стилистический континуум, причем, видимо, место в нем некоторых элементов могло быть разным у разных носителей; впрочем, в силу того что основной корпус книжных текстов (Псалтырь, Евангелие, Апостол, богослужебные тексты) имел общезначимый характер, индивидуальные различия носили частный характер.

Во-вторых, описанная выше картина предполагает, что основной и постоянной заботой носителя было соблюдение границы между книжным и некнижным языком. Стремление к подобной чистоте языка действительно могло иметь место, когда речь шла об основных сакральных текстах, актуализовавших нормативную установку. Однако трудно представить себе мотивы, которые с такой же настоятельностью требовали бы от пишущего остерегаться некнижных элементов в тексте, предназначенном для внебогослужебного назидания (как, например, патерики или Поучение Владимира Мономаха) или — тем более — избегать книжных элементов в бытовом письме. Естественно думать, что более важной для пишущего была задача изложить нужную информацию, по возможности сохраняя тот характер изложения, который он находил в уже существующих текстах. Такая задача диктовала выбор книжного или некнижного синтаксического построения, равно как и орфографических и морфологических элементов, ассоциировавшихся в его читательском опыте с тем или другим способом изложения, но в рамках этого выбора оставляла значительную свободу в подыскивании подходящих языковых средств.

Хорошим примером могут служить формы действительных причастий наст. времени с *щ* или *ч* в суффиксе на месте **tj* в ряде памятников древней восточнославянской письменности. К. Ларсен, исследовавшая распределение этих форм в Вопросании Кирика и Поучении Владимира Мономаха, обнаружила устойчивую корреляцию между рефлексом **tj* и синтаксической функцией причастия (Ларсен 2001). Причастия в книжных конструкциях (в атрибутивной функции, субстантивированные причастия, в составе дательного самостоятельного, оборота двойного винительного и в обороте **иже** + причастие) употребляются исключительно с рефлексом *щ*. Причастия в некнижных конструкциях (в деепричастной функции с субъектом, не совпадающим с субъектом основного предиката, в предикативной функции [функции личного глагола], в нестандартном дательном самостоятельном [см. о таких конструкциях: Ворт 1994, 31—33]), как правило, употребляются с рефлексом *ч*. При стандартном употреблении причастия в деепричастной функции (когда субъект причастия совпадает с субъектом основного предиката), нейтральном в плане противопоставления книжных и некнижных ре-

¹³ О неоднородности отдельных признаков, противопоставляющих книжный (церковнославянский) и некнижный языки, писал в свое время В. Д. Левин, впрочем, формулируя эту проблему недостаточно четко (Левин 1984). Вопрос об иерархической упорядоченности отдельных признаков в книжной и некнижной письменности вполне отчетливо ставит А. А. Гиппиус (Гиппиус 1989).

гистров, в Вопросании Кирика появляются исключительно формы с *ч*, а в «Почении» формы с *ч* и с *щ* распределены приблизительно поровну. Понятно, что в этом случае мы имеем дело с интерференцией книжного и некнижного узуса, обусловленной нестандартностью коммуникативных задач разбираемых текстов (с чертами гибридности, характерными для этих памятников — см. ниже). Интерференция на синтаксическом уровне тянет за собою и интерференцию на морфологическом уровне. Замечательно, однако, что стопроцентной зависимости при этом не возникает. Например, в Вопросании Кирика в конструкции нестандартного дательного самостоятельного один раз встречается причастие с *щ* вместо ожидаемого *ч*: **Попови крестаще дѣтѣ, къ собѣ лицемъ обратити** (РИБ, VI, стб. 55). Тем самым вариативность сохраняется, и вместе с тем сохраняется свобода выбора языковых средств, не сводящегося к системному противопоставлению церковнославянского и восточнославянского.

Следует иметь в виду, что средневековые восточнославянские книжники при создании новых текстов стремились как можно ближе следовать известным им образцам, причем не только в литературном, но и в собственно лингвистическом отношении. Их языковое поведение существенно отличалось от привычного для современного автора в силу, в частности, того, что они исходили из обширного корпуса текстов, выученных ими наизусть (этот корпус включал как минимум Часослов и Псалтырь). Множество общих мест, из комбинаций которых и состояли нередко оригинальные книжные сочинения (если не полностью, то по крайней мере в значительной своей части), были закреплены в устойчивых языковых трафаретах, так что лингвистический механизм ориентации на образцы можно рассматривать как важнейшую характеристику порождения книжных текстов (см. подробнее: Живов 1996, 23—26). Само собой разумеется, что это оценивалось не как недостаток, но как достоинство сочинения, указывавшее на его соотнесенность с онтологическим образцом, его истинность (см.: Пиккио 1973). Так во всяком случае обстояло дело с религиозными сочинениями (житиями, службами местным святым, гомилетикой и т. д.). Поскольку, однако, они были средоточием всей книжной письменности, построение по топосам оказывалось ее общим принципом, распространявшимся и на те произведения, религиозная установка которых была менее выраженной (например, летописи).

Мне не представляется реалистичным рассматривать любую речевую деятельность как комбинирование общих мест, как это предлагает Б. М. Гаспаров (Гаспаров 1996). Сколь бы высока ни была интертекстуальность обычной речевой деятельности, она не может состоять из одних топосов, поскольку в слишком большом числе случаев ее целью оказывается сообщение новой информации, для которой отсутствуют готовые средства выражения. Какие именно единицы комбинировает говорящий для выражения нового содержания, до какой степени механизм порождения речи с новым содержанием совпадает с тем, который предполагается традиционными лингвистическими описаниями, остается дискуссионным вопросом. Однако с точки зрения историка языка (и историка словесности) тексты восточнославянской средневековой письменности, по большей части религиозного характера, существенно отличаются от текстов литературы нового времени, основанных на сформировавшейся в новое время концепции авторства (ср.: Пиккио 1973; Фуко 1996, 7—46). Одно из основных отличий состоит в ха-

рактуре интертекстуальности средневекового и современного творчества, и именно оно теряется в рамках построения Гаспарова. Средневековые восточнославянские авторы не стремятся создать и передать читателю новое содержание, они, с их точки зрения, не создают новые смыслы, а воспроизводят данные от Бога истины. В силу этого топоры оказываются необходимой составляющей словесной ткани средневекового произведения, соотносящей его с источником сообщаемого смысла. У автора нового времени иная концепция творчества, иные задачи, а потому и иные способы порождения текста, не сводящиеся к воспроизведению готовых языковых фрагментов.

Тем не менее, и в средневековом восточнославянском тексте не все укладывалось в общие места, и там, где языковые стереотипы не работали или где они требовали существенной адаптации, пишущему приходилось подыскивать нужные средства выражения. О том, насколько сильно мог отличаться по своим языковым параметрам текст, построенный на стереотипах, от текста, написанного без опоры на образцы, красноречиво свидетельствуют две части Поучения Владимира Мономаха: в первой, содержащей традиционное христианское назидание, язык также достаточно традиционен, во второй, повествующей об охотничьих трудах князя, общие места на помощь автору не приходят, и язык существенно отстает от книжного стандарта. Видимо, нечто подобное может происходить и в некнижной письменности, когда предмет сообщения не укладывается в рамки обычной бытовой или деловой тематики¹⁴.

Книжный и некнижный узус, как уже говорилось, не располагаются в сознании носителя языка как две взаимонепроницаемые системы, два этих типа употребления существуют как составляющие единого языкового опыта средневекового автора. Нормативная установка препятствует обращению к разнообразию языкового опыта только в ограниченном числе текстов богослужебного назначения. За пределами этих текстов автор при случае может использовать любые элементы своего языкового опыта. Очевидно, что нестандартные коммуникативные задачи провоцируют интерференцию книжных и некнижных языковых средств, в одних случаях более, в других — менее сильную. Эта интерференция может затрагивать даже наиболее очевидные признаки, противопоставляющие книжный и некнижный узус (ср. упоминавшиеся выше формы имперфекта в берестяных грамотах или им. ед. на -е в Вопросании Кирика); в случае менее выраженных признаков интерференция этого рода может быть и более обычным и менее заметным явлением.

Исследователи, привязанные к идее бинарного противопоставления языков, склонны рассматривать случаи подобной интерференции как периферийные, ос-

¹⁴ Хорошие ранние примеры такого рода некнижных текстов подобрать достаточно трудно, поскольку не вполне ясны признаки некнижного языкового стандарта. Возможной иллюстрацией представляются Уставы Владимира и Ярослава о церковных судах, вводные статьи которых характеризуются несколько более книжным синтаксисом, равно как, видимо, и рядом книжных форм, отличающих эти статьи от последующего изложения, имеющего конкретное юридическое содержание. В более поздних текстах примеры найти проще; здесь можно указать хотя бы на статью 10 главы XIV Уложения 1649 г. о крестном целовании (Уложение 1987, 72), не похожую по языку на тот некнижный языковой стандарт, который вполне отчетливо представлен в остальном тексте.

тавляя без достаточного внимания соответствующие тексты или части текстов. Проблема, однако, в том, насколько подобные тексты были периферийными не для исследователей, а для современного им социума. Как справедливо отмечает Э. Кленин, «we can begin with the assumption that texts are mixed because they ought to be, and we can attempt to describe what we find in its own terms, rather than in terms of idealized “native East Slavic” and “Slavonic” systems that for the most part cannot have existed independent of each other, either in texts or in speakers’ minds» (Кленин 1997, 315)¹⁵.

Нестандартность коммуникативных задач и связанные с нею лингвистические особенности текстов относятся лишь к происхождению подобных произведений, а не к их статусу в корпусе восточнославянской книжности. Будучи созданы, они получают в этом корпусе свое место и входят в круг чтения последующих поколений книжников. Статус таких сочинений может быть различен. Ясно, что они никогда не приобретают той нормоустанавливающей роли, которая в книжной письменности принадлежит текстам основного корпуса (Св. Писания и богослужения). Существование отдельных текстов носит как бы виртуальный характер: списки немногочисленны или практически отсутствуют (например, в случае Слова о полку Игореве), так что параметры их рецепции остаются неясными. В других случаях, однако, такие тексты создают собственную традицию, т. е. они читаются, переписываются и, соответственно, могут служить образцом для носителей, реализующих сходное коммуникативное задание. Они тем самым фрагментируют узус, и образующиеся фрагменты получают собственную преемственность.

¹⁵ Как должен быть описан каждый из случаев интерференции в социолингвистических терминах, остается неясным. И в этом случае представляются совершенно правильными заключения Э. Кленин. Она пишет, имея в виду как ситуации билингвизма, так и ситуации подобные той, которую мы можем реконструировать для средневековой Руси: «Although speakers sometimes mix systems or subsystems for simple referential purposes, they can also be motivated by subtleties involving attitudes and social context. (...) [W]hen speakers combine elements from prestige and non-prestige systems in an effort to adjust to a contact situation, they do not necessarily integrate them successfully. When they do integrate heterogeneous elements, the criteria for integration may be determined societally, or may derive from language structure, for example, the hierarchical relationships obtaining between elements. The status of linguistic mixing — whether, for example, we are dealing with borrowings and integration of donor elements, or with accommodation between socially diverse speakers of similar dialects, or with imitation of isolated prestige forms — may be impossible to decide, or it may be determinable only with access to extensive records of spontaneously produced speech and/or with a knowledge of the full history of the speech communities in which mixing occurs. Speech communities are not uniform, and linguistic diversity and contact across different language systems is the norm, not an exception» (Кленин 1997, 314—315). Это разнообразие типов смешения может быть в принципе спроецировано и на письменную языковую деятельность, что, конечно, осложняет типологию, поскольку письменная коммуникация может иметь место через любой промежуток времени и ее актуальный адресат (тот, кто читает и переписывает текст) может отличаться от предполагаемого адресата (тех, кому предназначал данный текст его автор). Перед социолингвистическим исследованием истории русского языка такая типология ставит множество интересных вопросов, на которые пока мы не знаем ответа. Сейчас мы можем оставить их без рассмотрения, отметив лишь, что интерференция — это естественное и ожидаемое явление на всех языковых уровнях.

Нечто подобное может происходить, видимо, и в некнижной письменности, хотя здесь история типов текстов в интересующем нас ракурсе изучена достаточно плохо, так что в лингвистическом плане об истории возникновения новых типов (например, духовных грамот) приходится говорить с большой осторожностью. Понятно, что развитие здесь обладает собственной спецификой, делающей его непохожим на историю книжных текстов: в сфере некнижных текстов отсутствует единый нормополагающий центр в виде основного корпуса текстов. Вообще говоря, это должно лишь способствовать формированию частных традиций, имеющих дело с отдельными типами текстов, хотя число таких типов должно быть весьма ограниченным, в силу того хотя бы, что никаких специалистов по, скажем, завещательному праву в средневековой Руси не было; человек, обладавший навыками делового письма, был специалистом на все руки, следовательно, обладал опытом чтения и порождения деловых текстов разных типов.

Если в истоках формирования подобных традиций может лежать отклонение от стандарта, то в их развитии оно выступает в качестве прецедента, легализующего эти отклонения и образующего отдельный преемственный узус, своего рода частный стандарт. Как, в каком количестве и в какое время оформляются эти традиции, требует особого исследования, и в настоящей работе мы вынуждены ограничиться лишь самыми общими его контурами, необходимыми нам для выяснения преемственности в дистрибуции морфологических вариантов. Понятно, что подобные традиции возникают в силу того, что — как и вообще в письменном языке — опыт чтения формирует навыки письма. Относительная обособленность традиции предполагает расчлененность круга чтения, — расчлененность историко-культурную и расчлененность социальную.

Под историко-культурной расчлененностью я подразумеваю самый факт осознания отдельной линии преемственности как относительно автономной традиции. Для современных стандартных языков такая расчлененность представляется сама собою разумеющейся: имею в виду то, что иногда описывается понятием функциональных стилей. Автор газетной статьи ориентируется на языковые традиции газетной публицистики, а не, скажем, на традиции научных трудов или беллетристики. Он явным образом осознает лингвистическую автономность данного типа текстов, и эта автономность до определенной степени институализована: существуют школы журналистики, в которых соответствующему узусу обучают, редакторы, которые устраняют наиболее явные отступления от сложившейся традиции, и т. д. В средние века ситуация явно была иной. Вопрос лишь в том, насколько иной — не имеющей никакого сходства или все же реализующей подобные же принципы, но лишь с иными составляющими — *mutatis mutandis*.

Под социальной расчлененностью я подразумеваю расчлененность круга пишущих и читающих, когда ряд текстов создается внутри определенной социальной группы и удовлетворяет потребности определенной социальной группы. Если вновь обратиться к современной культурно-языковой ситуации, такая расчлененность представляется естественной. Скажем, канцелярская продукция создается чиновниками, читается чиновниками и может быть не вполне понятна (в том числе и на лингвистическом уровне) для постороннего человека. Аналогичным образом обстоит дело и с продукцией научной: для внешнего потребления она нуждается в переводе, что и осуществляется так называемой научно-популярной

литературой. И в этом случае сопоставимость современной ситуации со средневековой заслуживает специального внимания¹⁶. Оба эти фактора — динамика историко-культурной расчлененности и динамика социальной расчлененности — имеют кардинальное значение для формирования письменных традиций, того фрагментированного узуса, который мы предлагаем описывать с помощью понятия регистров письменного языка.

4. Формирование регистров письменного языка

В начальный период формирования восточнославянской письменности историко-культурная расчлененность сводилась, видимо, исключительно к противопоставлению книжных и некнижных текстов, образующих, как уже говорилось, две достаточно противопоставленных традиции, соотносившихся с различными культурными (религиозными) ценностями. Социальная расчлененность скорее всего вообще отсутствовала. Первоначально грамотность (как и само христианство) была достоянием социальной элиты: крестив Русь, Владимир «*нача помнати оу нарочитое чадн дѣти и дадати на оученье книжное*» (ПСРЛ, I, стб. 118—119); грамотность, естественно, получает распространение и среди духовенства. В XI—XII вв. эти социальные группы равно (хотя, возможно, и в неравной степени) интегрированы и в религиозную, и в социально-экономическую жизнь, так что в их читательском опыте присутствуют и книжные и некнижные тексты, и при случае они могут создавать тексты обоих типов. Исследуя социальные параметры грамотности в этот период и основываясь на материале берестяных грамот, С. Франклин приходит к выводу, что «*in the eleventh and twelfth centuries the literate milieu of the birch-bark letters was that of the relatively rich, of the upper strata of society. In the subsequent centuries this literacy spread much wider, into the lower levels of urban society and out to the country side*» (Франклин 1985, 15). Видимо, это утверждение нуждается в определенных оговорках, поскольку широко распространенные надписи на пряслицах и некоторые граффити создают впечатление, что процесс распространения грамотности за пределы социальной элиты мог начаться и раньше. Однако о социальной расчлененности (в указанном выше смысле) пишущих и читающих речь в этот период еще не идет.

Отсутствуют, видимо, в этот период и институциональные формы расчленения пространства письменности. Мы располагаем лишь минимальными данными

¹⁶ И. Шевченко, говоря о поздневизантийской агиографической литературе, выделяет в ней тексты «высокого стилистического уровня» и относительно этих текстов замечает: «*It was a branch of literature produced by members or associates of the upper class, for the members of the upper class, and, more often than appears to meet the eye, about members of the upper class. It was also a literature that made use of special skills to serve as a distinctive badge either of membership in the upper class or at least of association with it*» (Шевченко 1981, 302). В восточнославянском средневековье такого рода литературной традиции явно не было; и социальная, и историко-культурная расчлененность письменности у славян несомненно была менее выраженной, чем в Византии. Однако динамическое развитие имело здесь место, и в XVII в., в начале нового времени, Московская Русь обладает расчлененным пространством письменности.

о характере обучения в древней Руси, однако то немногое, что мы знаем, свидетельствует скорее о том, что никакого отдельного обучения книжной и некнижной грамотности не было. В Новгороде в начале XIII в. (как, надо думать, и до и после этого) при обучении грамоте употреблялась Псалтырь, на что указывают грамоты мальчика Онфима. Несколько фрагментов из следованной Псалтыри читаются, как установил Н. А. Мещерский (Мещерский 1962, 108; 1995, 139—140; ср.: Зализняк 1995, 387), в грамоте № 207. Как недавно показал А. А. Зализняк (устное сообщение), Онфиму же принадлежит и грамота № 331, которая также содержит фразы из Псалтыри. Таким образом, обучение чтению и письму предусматривало овладение книжной традицией. В то же время недавно найденная надпись на цере 20-х — 50-х годов XII в. содержит текст явно некнижный: «**А ѿ тѣиунѣ / данѣ жѣ оуѣлѣ**» («А я, тиун, дань (-то) взял» — Зализняк 1995, 287). Как отмечает Зализняк, «по-видимому, мы имеем дело просто с упражнением в письме» (там же). Следовательно, некнижная традиция также находила свое отражение в образовательном процессе¹⁷, и при этом нет никаких оснований думать, что Онфим и автор надписи на цере обучались различным образом. Одно и то же лицо могло работать и в сфере книжной, и в сфере некнижной письменности, как это устанавливается для пономаря Тимофея, ведшего в середине XIII в. новгородскую летопись, а вместе с тем переписывавшего богослужебные книги и написавшего три договора Новгорода с тверским великим князем Ярославом Ярославичем 1264 г. (см. о нем: Гиппиус 1992). Специализация, надо думать, относится к более позднему времени.

С распространением и развитием письменности происходит и дифференциация регистров письменного языка, причем этот процесс имеет место и в книжной, и в некнижной письменности. В книжной письменности это приводит к формированию в качестве относительно автономной системы гибридного языка, существовавшего наряду со стандартным книжным языком (см.: Живов 1988, 54—63). Кардинальное значение в этом процессе имеет летописание. Именно при создании летописей с неизбежностью возникали нестандартные коммуникативные задачи, обуславливавшие, как говорилось выше, интерференцию книжных и некнижных языковых средств. Такие задачи были естественным следствием обращения к местному материалу и отсутствия на начальном этапе стереотипных способов его изложения. Конечно, восточнославянским книжникам были известны византийские хроники в славянском переводе (Амартол и Малала), однако они не служили непосредственным образцом для восточнославянского летописания (Манго 1988—89). Достаточно отметить, что известным у славян византийским хроникам не свойствен анналистический порядок представления материала, изначально присутствовавший в восточнославянских летописях и наиболее отчетливо выразившийся — именно как принцип — в обозначении пустых годов (Сухомлинов 1908, 35—37). Естественно думать, что образцом для восточнославянского летописания послужила западноевропейская хронография (см.: Гиппиус 1997а), однако никакие ранние сла-

¹⁷ В этот же план обучения могли входить, видимо, и эпистолярные формулы, ср., например, переход в истории берестяной письменности от начальной формулы с **покланнѣ** к формуле со словом **поклонѣ** (Ворт 1984).

вянские переводы западных хроник нам неизвестны, так что лингвистических образцов из них почерпнуть было нельзя¹⁸.

Интерференция книжных и некнижных языковых навыков происходила в летописании с самого начала. Нам трудно судить, насколько эта интерференция затрагивала орфографию, поскольку дошедшие до нас списки относятся к сравнительно позднему времени, а именно в области орфографии исправления могли носить наиболее систематический характер. Результаты интерференции в морфологии и лексике исследовались неоднократно, так что не возникает сомнения, что они были присущи не только летописанию времени дошедших до нас списков, но и прототексту основных летописных памятников. Интерференция имеет здесь настолько выраженный характер, что исследователями, как уже упоминалось, несколько раз предпринималась попытка расчленив летопись на фрагменты, написанные по-русски и по-церковнославянски, соотнеся выбор языка с характером повествования, его сюжетом или отношением пишущего к описываемым событиям (Виноградов 1958, 61—65; Улуханов 1964, 130 сл.; Успенский 1983, 45—46; Хютль-Фольтер 1983). Эти попытки, на наш взгляд, были заранее обречены на неудачу, поскольку клали в основу неправдоподобную модель языкового поведения летописца — стремление классифицировать излагаемый в рамках единого текста материал по стилистическим или риторическим рубрикам и обозначить эту классификацию посредством смены языков. В таком сложном объяснении нет никакой необходимости. Летопись писалась на книжном языке с начала и до конца, и это соответствовало тому распределению сфер функционирования книжного и некнижного языков, о котором говорилось выше: летопись была обращена к социуму в целом и ставила целью его назидание (ср. о религиозной значимости летописей: Еремин 1966, 64—71). Однако равномерно выдерживать стандарты книжного языка летописец не мог, поскольку ориентация на образцы в разной степени могла быть использована в разных сегментах текста. В силу этого

¹⁸ Не стоит думать, конечно, что, если бы восточнославянское летописание строилось по образцу византийского, это означало бы, что Амартол и Малала задавали бы для него языковые стереотипы. Сам механизм ориентации на образцы предполагает, что соответствующие тексты если и не были выучены наизусть, то по крайней мере находились на слуху у книжника (как постоянно читаемые жития или поучения); хронографические памятники к числу таких текстов явно не относились. Когда при составлении Повести временных лет в нее были включены выдержки из Амартола (Шахматов 1940), летописец несомненно пользовался рукописью, а не цитировал по памяти. При таком цитировании языковые стереотипы не возникали.

К вопросу о связи восточнославянского летописания с западноевропейским стоит отметить, что на Западе, как и в Киевской Руси, летописание сосредоточено в монастырях и обычно тем или иным образом отражает интересы определенной монастырской общины или епархии, тогда как в Византии «the writing of annals or chronicles was not maintained on a regular basis in any Byzantine monastery» (Манго 1988—89, 362). Связь летописания с западноевропейской культурной традицией хорошо вписывается в круг тех проблем христианского социального устройства, обретения христианской истории, отношений церкви и княжеской власти, которые были общими для Киевской Руси и варварских государств Запада, обращавшихся в христианство (ср.: Флоря 1992; Живов 2002, 83—93). В этих сферах руководствоваться византийским образцом, основанным на идее христианской империи, было, понятным образом, невозможно.

разные сегменты характеризуются разной степенью интерференции, хотя сам по себе феномен свойствен любому фрагменту. Таким образом, морфологическая вариативность оказывается изначально присуща летописному тексту и утверждается как конститутивная характеристика гибридного регистра.

Менее всего интерференция затрагивает синтаксис, поскольку стратегия книжного изложения предопределяет следование синтаксису логического развертывания, определенным образом оформляющему не только речь, но и мысль летописца. Однако и здесь нестандартность коммуникативных заданий приводит к появлению синтаксических построений, невозможных в стандартных церковнославянских текстах. Эти отступления появляются, видимо, в силу того, что книжное расположение не всегда соответствует представлениям автора о соотносительной важности упоминаемых предметов и персонажей и привычные способы ранжирования информации берут верх над навыками риторического размещения языковых элементов. В этих случаях появляется дистантное расположение членов словосочетания, при котором — как это характерно для не книжных текстов (см. выше) — дополнительная информация относится в конец предложения.

А. А. Зализняк (1995, 171) приводит ряд подобных примеров из Новгородской первой летописи: *Володимиръ иде на Юмь съ новгородьци снѣ Ярославль* (s. a. 1042); *а снѣ посади Новѣгородѣ Всѣволода на столѣ* (s. a. 1117); *въ то^ю лѣ^м постави Твьрдисла^в црковь на воротѣхъ въ Оркажи манастири Михалковиць ст^о Съмена Стѣлпника* (s. a. 1206), отмечая, что их можно умножить. Редкие примеры могут быть обнаружены и в Повести временных лет, которая, вообще говоря, характеризуется более книжным (в большей степени использующим гипотаксис) синтаксисом, чем Новгородская первая. Так, в рассказе о заключении договора Игоря с греками под 945 г. говорится: «а хетаню Русь водиша ротѣ • в цркви стго Ильи • яже естъ надъ ручаемъ • конецъ Пасыньчѣ бесѣды • и Козарѣ • се бо бѣ сворнага • црки • мнози бо бѣша Варязи хетани» (ПСРЛ, I, стб. 54). Последовательность «и Козарѣ», вызывающая трудности при интерпретации, может, видимо, рассматриваться как однородное дополнение с хетаню Русь при глаголе *водиша*, вынесенное в конец фразы как поясняющая деталь¹⁹.

Примеры из более поздних летописей могут быть еще более красноречивы, ср. хотя бы в Новгородской второй летописи XVII в.: *И как ѣдучи государь князь велики Иван Васильевичъ всея Руси с Москвы в Великии Новгород, да был в тѣ поры в Кирилове монастырѣ и из своею братьею со князем Юрьемъ Васильевичемъ и со княземъ Владимиромъ Ондръевичемъ да и молебены в монастырѣ в церкви в каменои в болшеи отслушали в Кирилове Афонасьи при игумене Парфеньи*

¹⁹ Трудности в интерпретации текста возникают из-за того, что исследователи стараются прочесть его в согласии с привычным книжным синтаксисом. Шахматов полагал, что слова и *Козарѣ* переставлены и реконструировал данное место следующим образом: «а хрестьянню Русь водиша ротѣ въ цркви святаго Илиѣ, яже естъ надъ Ручаемъ, конецъ Пасыньчѣ бесѣды: се бо бѣ съборная цркви, мнози бо бѣша Варязи и Козаре хрестьяне» (Шахматов 1916, 61). Эта реконструкция полностью произвольна, поскольку списки не дают для нее никакого основания. Правда, форма *Козарѣ* — это плохой вин. мн. от *Козаринѣ*, но и хорошего им. мн. из нее не получается; наряду с эмендацией *Козаре* (им. мн.) можно с тем же успехом предположить, что писец Лавр. просклонял *Козаринѣ* по мягкой разновидности (вин. мн.).

(ПСРЛ, XXX, 149 — s. a. 1547). *Июня 2 день, а простил духъ святыи малчека двунатцати лѣт, очима, Юрьевъского крестиянина с Моринъ* (там же, 156 — s. a. 1560). Не менее показательно в плане интерференции с книжным синтаксисом употребление предикатов-приложений, выступающих как определение к объектному актанту, ср.: *Згорѣла 4 двора, пятои разметали да дитя зашибли Василья Сермяжка с Никитины улицы до смерти, Павломъ зовут* (там же, 151 — s. a. 1549; имеется в виду ребенок Василия Сермяжка, которого звали Павлом)²⁰. Как это случается в разговорном синтаксисе и, вообще говоря, невозможно в синтаксисе книжном, объектный актант может оставаться невыраженным (быть объектом эллиптического сокращения), ср.: *А в четвертой же неделю 2 день простил богъ в церкви святеи Богородици у гроба Петра митрополита у человека нога прикорчена и исцели* (там же, 179 — s. a. 1416; имеется в виду, что Бог простил и тем самым исцелил человека, у которого была укорочена нога). Такого рода синтаксические построения нетипичны для летописных текстов, однако они весьма выразительно демонстрируют, насколько далеко может простираться интерференция книжных и книжных синтаксических средств. Открытость для отдельных элементов книжного синтаксиса также становится характерной чертой гибридного регистра.

Летописи наглядно показывают, как черты, появляющиеся в них в результате интерференции, становятся затем частью письменной традиции. Действительно, летописи не только потенциально могли быть образцом для письменного узуса последующих поколений (как мы предполагали выше для любых письменных текстов вообще), но и с несомненностью были таким образцом. Продолжатели летописей идут по стопам своих предшественников, они пользуются теми же схемами изложения, риторическими фигурами, отдельными выражениями и оборотами, наборами библейских цитат и т. д. Можно указать на случаи прямого подражания, распространяющегося и на риторику, и на стиль изложения, и на отдельные собственно языковые параметры. Такое подражание имеет место, например, в части Новгородской первой летописи, написанной пономарем Тимофеем: образцом для него служит Начальный свод (Гиппиус 1997, 9—10); многочисленные случаи прямого подражания, воспроизведения схем и моделей описания могут быть приведены и из позднейшего летописания. Для определенных сюжетов (таких, например, как стихийные бедствия) вырабатываются стереотипы описания, воспроизводящиеся с минимальными вариациями в течение столетий. Естественно, что в этих условиях воспроизводятся и характерные черты языка. Это

²⁰ Такие конструкции, обычные в современном разговорном языке, встречаются и в старой книжной письменности, ср. в письме из фонда Киреевских конца XVII — начала XVIII в.: «а бѣдет гедрь изволишь есть 8 нас на Туле мастер Маѣзимом зовут» (Котков и Панкратова 1964, 58). Они нередко появляются и в Житии протопопы Аввакума, выступая как один из оборотов, конструирующих оральность этого уникального произведения (о конструировании оральности в Житии Аввакума см. § П.1.1), ср. по списку Пустозерского сборника (Пустозерский сборник 1975): «а старой другъ — Феодором зовуть Михайловичъ Рѣтищевъ — тотъ и 60 рублей, гор(ь)кая сиротина, даль» (л. 59); «Доброй ч(е)л(о)вѣкъ, дворянин, другъ, Иваном зовуть, Богдановичъ Камынинъ, вькладчикъ в м(о)н(а)ст(ы)рѣ, и ко мнѣ зашелъ» (л. 65); «От(е)ць у него в Новгороде богатъ гораздо, сказывал мнѣ, мытгоимецъ-де, Феодором же зовут, а онъ уроженецъ мезенской» (л. 68 об.).

означает, что интерференция, о которой мы говорили выше, оказывается не столько живым процессом, происходящим при порождении конкретного летописного текста, сколько конститутивной чертой анналистических памятников как типа текстов. Этот тип обладает собственным набором образцов, и письменные навыки, реализуемые в летописных памятниках, вырабатываются при овладении (путем чтения) этими образцами. Таким образом пространство книжных текстов приобретает расчлененность, язык летописей — относительную автономию, а гибридный регистр — собственную традицию.

Понятно, что мы имеем здесь дело не с одномоментным, а с постепенным процессом. Постепенность этого процесса исключает точную датировку и делает вообще всякую датировку достаточно условной. Одним из важных моментов этого процесса является экспансия гибридного регистра на неанналистические тексты. К таким текстам относятся прежде всего жития. Основой сближения было, возможно, то формальное обстоятельство, что и летопись, и житие представляли собой повествовательные тексты, хотя играли, видимо, роль и соображения содержательного порядка (из летописи можно было почерпнуть материал для жития, а из жития — для летописи). Случаи такого взаимодействия достаточно хорошо известны (ср.: Ключевский 1871), и такое содержательное сближение создает достаточную почву и для лингвистической преемственности. Конечно, отнюдь не все жития пишутся на гибридном языке, язык ранней восточнославянской агиографии не всегда поддается однозначной классификации, но по крайней мере с XV в. можно указать на жития, несомненно относящиеся к гибридной письменной традиции, например, житие Михаила Клопского в первоначальной редакции. Жития продолжают писаться на гибридной разновидности и в XVII в. (а если брать старообрядческую литературу, то и позднее), и именно в эту традицию вписывается, например, Житие протопопа Аввакума. Поскольку, однако, жития в большей степени, чем летописи, ассоциируются с основным корпусом текстов, более сильный импульс получает и традиция употребления в агиографии стандартной разновидности.

Формальное тождество риторической стратегии обуславливает распространение гибридной разновидности и в прочих повествовательных текстах, например, в так называемых воинских повестях или исторических сочинениях о Смутном времени. Переводы повествовательной литературы в XVI—XVII вв. используют чаще всего ту же гибридную разновидность. Особенно широкое применение она получает в XVII в., когда возникает оппозиция светской и духовной литературы. Большая часть светской литературы (прежде всего повести и романы) пишется и переводится на гибридный язык. Гибридный язык вообще, видимо, укореняется в переводческой практике, если речь не идет об ученой духовной литературе, так что он используется и в переводах неповествовательных текстов, таких как физиогномики, географические трактаты и т. д. Таким образом, относительная автономность данной разновидности проявляется и в том, что постоянно расширяется сфера ее функционирования, т. е. она выступает как принятое средство выражения для текстов с нетрадиционным содержанием. К концу XVII в. эта автономность осознается настолько ясно, что данная разновидность может переосмысливаться как особый «простой» язык, на который переводятся тексты, существовавшие прежде лишь на стандартном церковнославянском (имею в виду

Псалтырь в переводе Авраамия Фирсова 1683 г. — см.: Целунова 1989). Именно с этим широким функционированием гибридного языка, окончательно оформившегося как особый регистр, связано его влияние на формирование русского литературного языка нового типа, о котором мы говорили во Введении.

В рамках сформировавшегося гибридного регистра морфологическая вариативность приобретает характер устойчивой саморазвивающейся традиции. Как будет показано в последующих главах, в гибридном регистре образуются специфические конфигурации морфологических вариантов, отличающие его от других регистров письменного языка и обладающие собственной динамикой. Если в синтаксическом построении гибридных текстов элементы некнижного синтаксиса, типа обсуждавшихся выше, могут рассматриваться как отклонения от того образца, который средневековый книжник находил в стандартных церковнославянских текстах, то конфигурация морфологических вариантов отчетливо противопоставляла гибридный регистр стандартному церковнославянскому. Это различие между синтаксическим и морфологическим уровнем вполне понятно.

Синтаксическое построение в общих чертах определяется, как уже говорилось, риторической установкой. Поскольку вплоть до второй половины XVII в. книжники не рассматривали гибридный регистр как особый тип книжного языка, противопоставленный по своим культурным задачам и риторическим стратегиям стандартному церковнославянскому (языку основных религиозных текстов), синтаксис гибридных текстов был ориентирован на нормативные церковнославянские тексты. У морфологии этой связи с риторической установкой не было, поэтому преемственность узуса обладала здесь прямым действием. Когда в XVII в. гибридный регистр переосмысливается как особый «простой» язык, морфологическая вариативность могла восприниматься как его отличительный признак. Показательно в этом плане, что Авраамий Фирсов допускает такую вариативность в своем переводе Псалтыри (например, вариативность в формах существительных в косвенных падежах мн. числа, см. § III.1.2), хотя церковнославянский текст был у него перед глазами и он мог без особого труда этой вариативности избежать.

Итак, в книжной письменности происходит формирование автономного гибридного регистра, отличного от регистра стандартного книжного (церковнославянского) языка. Расчлняется и пространство некнижной письменности. И данный процесс не привлекал достаточного внимания исследователей. Речь идет о формировании особого делового языка, выделяющегося из общей совокупности некнижной письменности своей нормированностью. Для раннего периода постановка этого вопроса связана прежде всего с новгородскими данными, достаточно разнообразными, чтобы по крайней мере обсуждать проблемы социолингвистического характера. Реконструкция древненовгородского диалекта, осуществленная А. А. Зализняком в основном на материале берестяных грамот, отчетливо показала, что в Новгороде документы, имевшие официальный статус (например, договорные грамоты), писались на языке, отличном от того, который употреблялся в текстах бытового характера (например, частной переписке). В текстах первого типа оказывались в существенной степени устранены специфически новгородские диалектные черты в орфографии и морфологии, что предполагает определенную нормализацию языка, обусловленную официальным статусом текста.

Употребление этого нормализованного идиома может рассматриваться как вполне сознательное и культурологически значимое, поскольку, в частности, существуют тексты, написанные одним лицом, в которых разный статус частей обуславливает переход от одного идиома к другому. К таким текстам относится, согласно Зализняку, вкладная Варлаама Хутынского рубежа XII в. (Зализняк 1995, 375—377; Зализняк и Янин 1992—93) и берестяная грамота № 724 1161—1167 гг., которая, по словам исследователя, «оказывается уникальным свидетельством того, что в древней Руси грамотные люди (или, по крайней мере, некоторые из них) умели писать в разных манерах, т. е. были способны при надобности менять свою орфографическую и грамматическую установку» (Зализняк 1995, 298). У Вермеер добавляет к таким текстам еще и грамоту № 142 (Вермеер 1997, 31—32).

Существенно понять, что представляет собой нормализация, свойственная рассматриваемому идиому. Она, как уже говорилось, не исключает, конечно, вариативности и распространяется лишь на орфографию и морфологию. Вопрос в том, из каких элементов конструируется не книжный стандарт. Зализняк называет обсуждаемый идиом «стандартным древнерусским языком» и понимает под ним «некоторую образцовую форму древнерусского языка, применявшуюся (хотя бы в некоторых ситуациях) на всей территории древней Руси». Она, видимо, была ориентирована на столичный диалект Киева и «употреблялась главным образом при составлении официальных документов» (Зализняк 1995, 3). Это предполагает, что определенная манера письма (так называемая «бытовая система») воспринималась носителями как лишенная культурного престижа, а некоторые черты фонетики и морфологии — как диалектные.

Что определяло это восприятие, не вполне ясно. Зализняк, кажется, полагает (хотя и не утверждает этого эксплицитно), что эталоном, в сопоставлении с которым новгородцы ловили у себя черты провинциальной речи, был язык Киева или похожее на этот язык новгородское койне (ср.: Зализняк 1987). Природа новгородского койне, равно как и его возможность служить точкой отсчета для нормализации вызывает серьезные сомнения (ср.: Вермеер 1997, 24—26). Не кажется правдоподобной и ориентация на разговорный язык Киева: такие языковые переживания известны из современной диалектологии, однако характер контакта диалектов в этом случае слишком не похож на то, что мы можем предполагать для древней Руси, так что подобная ориентация выглядит анахронистически. В этой ситуации наиболее реальным эталоном кажется письменная традиция, сформировавшаяся вне Новгорода и затем усвоенная новгородскими писцами как особенность официальной и юридической письменности.

Возникновение этой письменной традиции можно рассматривать как результат взаимодействия книжной орфографической выучки и традиционного, восходящего к дохристианской эпохе дискурса обычного права. Коммуникативное задание юридических и договорных текстов не было новинкой, появившейся с христианизацией; оно, как не раз отмечалось исследователями (Гётц, IV, 63—65; Унбегаун 1969а, 313; Селищев 1968, 129), было унаследовано из обычного права городской (дружинной и торговой) элиты, сложившейся в Киевской Руси X в. Вместе с коммуникативным заданием были унаследованы и средства его языкового воплощения. Христианство же принесло письменность, а отсюда и потенциальную возможность перейти от устного оформления договорных отношений к

письменному документу. Этот важнейший в социальном отношении переход совершается, видимо, под влиянием и с прямым участием церкви (Франклин 1985), — равно как и иные изменения юридической системы, так или иначе связанные с христианизацией (Кайзер 1980, 164—188). В этих условиях понятно, что первоначально официальные документы создавались клириками, стремившимися с помощью письменной фиксации оградить имущественные права церкви и вместе с тем обладавшими навыками книжного письма.

Те скудные фактические сведения, которыми мы располагаем (см. выше), по крайней мере не противоречат такому предположению. Поскольку право оставалось обычным, язык юридических и деловых текстов был не книжным; соответствовавшим традиционному коммуникативному заданию; поскольку же орфографические навыки были книжными, при письменной фиксации договорных отношений не использовалась бытовая система письма (хотя имеются исключения: имею в виду список А Смоленской грамоты 1229 г.), а диалектные формы по мере возможности исключались. Нормализация, очевидно, не была вполне последовательной, так что отдельные диалектные формы в договорах и юридических текстах все же встречаются, однако она создавала самостоятельный узус, который мог затем воспроизводиться и подвергаться различным преобразованиям (в том числе и на новгородской территории)²¹. Существенно, что с коммуникативным заданием делового или юридического текста оказалась связанной нормализационная установка; в динамике развивающегося узуса она могла обуславливать не только исключение диалектных форм, но и определенную регламентацию морфологических вариантов, не имевших выраженной диалектной окраски.

Постепенно создаются и социальные условия для закрепления и поддержания этой преемственности. Как отмечает С. Франклин, ранние берестяные грамоты (XI—XII вв.) «contain no evidence for the use of scribes» (Франклин 1985, 9)²²,

²¹ У. Вермеер, ставя под сомнение само понятие стандартного древнерусского, пишет, что оно «suggests all kinds of phenomena that are unlikely to have existed in medieval Russia, such as conscious standardization of the vernacular, or formal teaching in supra-dialectal varieties of Russian. The term is obviously anachronistic: what medieval vernacular language of Europe was standardized to such a degree that the modern concept of standard language was applicable?» (Вермеер 1997, 24—25). Термин, возможно, действительно выглядит анахронистически, однако тот путь формирования письменной традиции делового языка, который был предложен выше, не предусматривает ни формального обучения наддиалектной разновидности, ни сознательной нормализации разговорного языка, поскольку нормализация осуществляется как экстраполяция уже сложившихся письменных навыков на сферу не книжного языка. Складывающаяся норма не похожа на нормы современных стандартных (литературных) языков, во-первых, поскольку она не имеет универсального характера, а реализуется лишь в текстах определенного типа, а во-вторых, поскольку нормализация в ней охватывает лишь ограниченный набор языковых элементов. Ситуация западноевропейского средневековья не может служить в данном случае хорошим аналогом, поскольку навыки письма, выработанные при пользовании латынью, нельзя перенести на немецкий или даже французский, тогда как навыки письма, выработанные при употреблении церковнославянского, достаточно легко трансплантируются на восточнославянский языковой материал.

²² И эта точка зрения С. Франклина нуждается, видимо, в определенной корректировке. Раскопки 1998 г. принесли ряд грамот XII в., написанных от имени Петра, занимав-

позднее положение явно меняется. Например, духовные грамоты во многих случаях составлялись, видимо, не завещателями, а свидетельствовавшим их священником или третьим лицом. Очевидно, в XIII—XIV вв. писцовая деятельность может становиться профессиональным занятием. Вместе с тем обрастает документацией и деятельность бюрократическая, приобретающая институциональный характер. Это проявляется в возрастании значения письменной документации, в появлении депозитариев для разнообразной документации²³, в профессионализации бюрократической активности и возрастании класса профессиональных канцелярских служащих. В рамках подобных социальных групп преемственность навыков письма осуществляется как передача профессионального умения.

Существенную роль в этом процессе играет развитие скорописи. Скоропись появляется в XIV в. в некоторых грамотах и затем функционирует как деловое письмо по преимуществу. Как отмечает В. Н. Щепкин, она употребляется «прежде всего в памятниках, кои служат практическим целям: в документах дипломатических ⟨...⟩ административных ⟨...⟩ судебных ⟨...⟩ хозяйственных ⟨...⟩ В таком употреблении скоропись довольно распространена уже в XV в., а в XVI и XVII вв. господствует» (Щепкин 1967, 136). Хотя скоропись встречается и в книжных памятниках, она прежде всего связана с делопроизводством. Будучи своего рода профессиональным умением, скоропись оказывается предметом специального обучения. Для Московского периода показательным сообщением Котошихина: «А какъ приспѣеть время учить того црвча грамотѣ и в учителя выбираютъ учительныхъ людей тихихъ, и не бражников. а писать учить выбираютъ. ис посолскихъ подачихъ» (Пеннингтон 1980, 32); обучение книжному чтению и обучению скорописи (потому что именно ей должен был учить посольский подьячий) явно обозначаются здесь как дифференцированные занятия. В результате оказывается, что люди могут понимать книжное письмо и не понимать скорописи и наоборот (свидетельства о таком положении и указания на обучение скорописи см.: Успенский 1987, 199—200). Понятно, что в подобных условиях происходит не только передача каллиграфических приемов, но и собственно языковых навыков. В результате формируется автономный регистр некнижного письменного языка, вырабатывающий собственный преемственно воспроизводимый узус.

Когда говорится о Московской Руси, этот узус именуется приказным языком. Наиболее выразительной лингвистической особенностью приказного языка является его синтаксическое построение, а именно так называемое «нанизывание»

шего, как можно догадаться, достаточно высокое положение в новгородской иерархии (Янин и Зализняк 1999, 3). Эти грамоты написаны разными почерками, и из этого факта можно сделать вывод, что Петрак пользовался услугами писцов (насколько этот труд оформился как профессиональный, существовало ли при Петраке нечто вроде канцелярии, судить пока что трудно). Эта корректировка не лишает, однако, наблюдения Франклина всякого значения, но лишь сдвигает на середину XII в. предлагаемые им хронологические границы.

²³ Ср. в Псковской судной грамоте описание процедуры сверки текста соглашения с тем, который хранится в архиве, размещавшемся в Троицком соборе: «А кто имет на ком сочит(ь) торговых денег по доскам, тот человек противу положит рядницу, а в рядницы будет написано о торговли же, а противу той рядницы не будет во святей Троицы в лари в те же речи другой. ино тая рядница повинити» (ст. 38 — ПРП, II, 291).

предикативных конструкций, при котором средством их связи служит лексический повтор. Подобное нанизывание можно рассматривать как специфическое применение того принципа расположения главного содержания слева, деталей — справа, о котором говорилось выше. Специфика состоит в том, что всякая следующая предикативная конструкция служит пояснением предыдущей, что и выстраивает их в цепочку. Элементарный пример такого построения можно найти, например, в двинской грамоте XV в. (курсивом здесь и далее отмечены повторяющиеся элементы): «А тыхъ всихъ *сель* пожни, и ловища, и страдомыи земли, и лѣсы, а то к тымъ *села*мъ по старинѣ, ис которого *села* гдѣ дѣлали» (ГВНП, № 278, с. 278). Лексический повтор становится при этом основным средством, обеспечивающим связанность текста в данном регистре письменного языка.

Набор средств связи между предикативными комплексами является, видимо, типологически универсальным, т. е. в любом (письменном) языке для осуществления такой связи могут использоваться (а) референциальные элементы (например, определенный артикль или дейктические местоимения), (б) служебные элементы, раскрывающие тип связи (союзы, частицы), (в) именные, глагольные и фразовые субституты (причастные и инфинитивные конструкции), (г) эллипсис, (д) повтор лексических единиц (Холлидей и Хасан 1976). Очевидно, однако, что и в разных языках, и — что существеннее для нас — в разных регистрах внутри одного языка может преимущественно употребляться один набор и не употребляться другой. Преимущество того или иного набора диктуется в этом случае риторической стратегией говорящего или пишущего и соотносится в силу этого с коммуникативным заданием данного типа текстов.

Для книжных регистров письменного языка русского средневековья характерна связь с помощью формальных элементов и фразовых субститутов, для не книжных — связь с помощью эллипсиса и лексического повтора. Примеры связи с помощью лексического повтора можно обнаружить в берестяных грамотах (бытовой переписке), хотя для этих текстов (особенно ранних) лексический повтор не слишком типичен (типичнее эллипсис), ср. в грамоте № 717 XII в.: **присли привитъкоу и повон ци ти многи повон а присли и до ѣ ти повон** (Зализняк 1995, 325 — «Пришли привитку и повоев. Если у тебя повоев много, то пришли их штук до пяти»); в грамоте № 446 XIV в.: **что кси осподине конѣ подавалъ и тыи осподине конѣ захарья въдавактъ** (там же, 495 — «Тех коней, господин, которых ты дал, Захарья у нас, господин, отдает»); в грамоте № 43 XV в.: **да пришли сороциню сороцицѣ забыле** (там же, 542 — «Да пришли рубашку, я ее забыл» или «которую я забыл»).

Характер и интенсивность использования лексического повтора как средства обеспечения связанности текста зависит от типа его коммуникативного задания. Понятно в этой связи, что лексический повтор оказывается в наибольшей степени присущ деловому регистру, поскольку риторика юридического документа строится на ненарративном развитии сюжета, предполагающем выраженную соотнесенность высказываний. У лексического повтора есть определенные коммуникативные преимущества сравнительно с эллипсисом: он делает референциальные связи эксплицитными. По мере того как юридические тексты отрываются от устной (мнемонической) традиции обычного права, стремление к эксплицитности референтных соответствий меняет облик делового языка. В нем появляются

те информационные стратегии, которые характерны для всякого бюрократического делопроизводства, ср. такие канцеляризмы в современных языках, как *вышеуказанный* или *вышепоименованный* или англ. *aforementioned*.

Связь с помощью лексического повтора может рассматриваться как своеобразная черта оральности (разговорного синтаксического построения) или во всяком случае как проекция устной коммуникативной ситуации в письменном узусе. В устной коммуникации поле референции может образоваться окружающими предметами, не нуждающимися в эксплицитном наименовании, и это обуславливает характерность эллипсиса как средства обеспечения связанности в диалогическом тексте. Частная переписка, известная нам по берестяным грамотам, показывает, что и эта черта разговорного синтаксиса находит отражение в бытовой разновидности не книжной письменности; невыраженная референция, отсылающая к предметам, известным корреспондентам, наблюдается в берестяных грамотах очень часто и во многом объясняет их бросающийся в глаза лаконизм, ср., например, в грамоте № 142 XIV в. (подвергшиеся эллипсису элементы восстанавливаются в тексте перевода и помещаются в квадратные скобки): **а четъ . ѡмьшѣ пришло . и вы имъ кѣне мѣи голубви данте съ людьми дате съхѣ не кладе . а не възме и вы . во стадѣ пуститѣ педѣ людьми** (Зализняк 1995, 440 — «А если пришлют лемеха, то вы им отдайте моего голубого коня, [да] при людях, с тем чтобы он не запрягал [его, коня] в соху. А если он не возьмет [коня], то вы пустите [его] в стадо при людях»). Подвергающийся эллипсису конь во всех случаях находится в позиции прямого дополнения; незаполненность этой позиции требует от адресата сообщения обращения к предшествующей фразе, что и придает эллипсису функцию поддержания связанности текста, а самому тексту редкий лаконизм. В письменном тексте, однако, невыраженная референция может создавать проблемы. Когда эллипсис нежелателен, его прямым коррелятом является лексический повтор, воспроизводящий на вербальном уровне референциальный повтор устной коммуникации²⁴.

²⁴ Соотносительность эллипсиса и лексического повтора как двух средств связи, обусловленная присутствием или отсутствием предмета референции в ситуации коммуникативного акта, видна в устройстве современной русской разговорной речи. Если предмет присутствует в обстановке речи, предикативные конструкции в диалоге будут обычно связываться за счет эллипсиса. На просьбу «Включи телевизор» нормальным ответом будет «Включил», в котором опущение прямого объекта во втором предикате связывает его с первым; ответ «Включил телевизор», содержащий лексический повтор, выглядит безусловно аномальным. Если, однако же, предмет отсутствует в обстановке речи, лексический повтор становится обычным. На просьбу «Дай мне спички» частым ответом, при условии что отвечающий не находит спичек в своем поле зрения, будет «Где они, спички?», тогда как ответ «Где они?» кажется менее идиоматичным (повтор при этом содержит дейксис, аналогичный определенному артиклю, т. е. отсылающий к тем спичкам, которые имел в виду просивший). Таким образом, лексический повтор функционирует как своего рода коммуникативный субститут отсутствующего предмета. В письменной коммуникации обстановка коммуникативного акта, как правило, предполагается неизвестной; это не всегда так в личном письме, когда пишущий может представить себе обстановку, в которой адресат будет читать его текст, но безусловно верно для делового документа. В силу этого лексический повтор в деловом языке может интерпретироваться как своего рода трансформация черт оральности, присущих не книжному синтаксису.

В ранних юридических и деловых текстах лексический повтор и обеспеченное им «нанизывание» предикативных конструкций используются лишь весьма ограниченно, и это указывает, видимо, на то, что деловой регистр как автономная традиция еще не полностью сформировался. В текстах XV в., однако, эти явления оказываются вполне заметными. Иллюстрацией может служить приведенный выше пример из двинской грамоты. Еще более показательным присутствием таких построений в юридических кодексах, в которых форма изложения по природе более консервативна. Здесь можно указать, например, на статью 68 «О полевых пошлинах» в Судебнике 1497 г.: «А к полю приедет *околничей и диак*, и *околничему и диаку* вспросити исцев, ищей и ответчиков, кто за ними *стряпчей и поручники*, и кого скажут за собою *стряпчих и поручников*, и им тем велети и стояти, а доспеху и дубин и ослопов *стряпчим и поручником* у себя не держати. А которые имуть опиришны у поля стояти, и *околничему и диаку* тех отслати прочь. А не пойдут опиришни люди прочь, и *околничему и диаку* на тех велети исцово доправити и с пошлинами...» (Судебники 1952, 29).

Полное развитие подобного построения текста может быть продемонстрировано на примерах из Уложения 1649 г., ср. здесь: «А будет у кого у ратных людей на государеве службе *запасов и конских кормов* не станет, а на торгу в то время *хлебные запасы и конские кормы* продают дорогою ценою, и ему тою ценою *запасов и коньских корьмов* за своею скудостью купить будет немочно, а для ратных людей по указу царьского величества и по воеводскому розсмотрению будет в то время *хлебным запасом и коньским кормом* положена указная цена дешевле торговые цены, и тот, у кого на государеве службе *запасов и конских кормов* не станет, учнет бити челом государю, чтобы ему купити у кого *хлебных запасов и конских кормов* для его скудости по указной цене, и воеводам с таким челобитчиком к тем людям, у кого он присмотрит *хлебные запасы и конские кормы*, посылати приставов и велеть *хлебные запасы и конские кормы* у тех людей имати по указной цене. А велеть *хлебные запасы и коньские кормы* имати по указной цене у тех людей, у которых *хлебные запасы и конские кормы* будут в лишке за их домашними расходами. А у кого будет *хлебных запасов или конских кормов* сверх домашних расходов в лишке не будет, и у таких *хлебных запасов и конских кормов* по указной цене не имать. И без воеводскаго ведома и бес приставов для *хлебных запасов и коньских кормов* ратным людям ни к кому не ходити, и насылством *хлебных запасов и конских кормов* по указной цене ни у кого не имати» (Уложение, VII, 21); «Также будет которой *дьяк или подьячей* для *посулу дел* делать вскоре не учнут, а *челобитчики* за теми *делами* учнут ходить многое время, и в том *на дьяка или на подьячего* будут *челобитчики*, и сыщется про то допряма, что *дьяк или подьячей* волочил кого многое время *для посулу*, а сделать было ему то *дело* вскоре мочно, и за то *на дьяке или на подьячем* *челобитчику* по сыску доправить просить {...» (Уложение, X, 16).

Вопросы о том, как, где и когда в точности развивается данная синтаксическая стратегия, как она связана с предшествующим узусом и т. п. требуют дальнейших разысканий, однако вполне очевидно, что в консолидации делового регистра описанные явления играют исключительно важную роль: особая синтаксическая стратегия однозначно свидетельствует о том, что выделение отдельного типа текстов ясно осознается пишущими. В рамках этого синтаксически оформ-

ленного узуса в нем закрепляются и характерные особенности орфографии и морфологии. Они вступают с синтаксической стратегией в ту ассоциативную, не отличающуюся обязательностью связь, которую мы наблюдали и при обсуждении складывания гибридного регистра. В случае делового регистра эта связь обладает одной преемственно воспроизводимой особенностью. Как мы видели уже в ранних деловых текстах, им присуща нормализационная установка; эта установка сохраняется и получает дальнейшее развитие и в позднейшей динамике соответствующего узуса (сама норма при этом может весьма существенно изменяться). Об орфографической и морфологической норме приказного языка Московской Руси имеется большая, хотя часто и не безупречная по методологии литература (ср.: Котков 1974; Кортава 1998; из образцовых работ см. прежде всего: Пеннингтон 1980). Отдельные морфологические варианты (такие, например, как флексия прилагательных им. ед. м. рода *-ой* или род. ед. ж. рода *-ье*) получают здесь характер если не абсолютной, то доминирующей нормы. В любом случае складывающаяся и преемственно воспроизводимая здесь конфигурация морфологических вариантов обнаруживает определенные нормализационные интенции пишущих, что противопоставляет данный регистр бытовому регистру некнижной письменности. Как мы увидим в дальнейшем (см. § III.1.2; § III.1.3), именно эти интенции обуславливают характерные для приказного языка пропорции старых и новых флексий у существительных м. рода *о*-склонения во мн. числе. В XVII в. сложившийся в приказной традиции узус постепенно, в течение нескольких поколений, трансформируется, способствуя преимущественному распространению *а*-экспансии в тв. падеже мн. числа. Поскольку статистические характеристики никакой эксплицитной регламентации не поддаются, это означает, что на преемственно воспроизводимую конфигурацию вариантов воздействует также преемственно воспроизводимая нормализационная установка.

Таким образом, в процессе развития средневековой русской письменности в ней формируются по крайней мере четыре относительно автономные письменные традиции (регистры). Два из этих регистров — стандартный церковнославянский, представленный прежде всего в канонических церковных текстах (Евангелие, Псалтырь, богослужебные книги) и гибридный, представленный в летописях, повестях, переводах космографий и иных «научных» трактатов, — относятся к сфере книжной письменности, два других — деловой (приказной) язык, на котором велось делопроизводство Московской Руси, и бытовой некнижный язык, который можно наблюдать в бытовой переписке, записках неформального содержания и т. д., — относятся к сфере некнижной письменности. Каждый из этих регистров функционирует в специфической для него коммуникативной ситуации и в силу этого обладает особой риторической стратегией и особым синтаксическим построением, порождаемым этой стратегией. В сложившихся таким образом традициях закрепляются определенные конфигурации правописных и морфологических вариантов, преемственно воспроизводимые в динамике соответствующего узуса. Эта преемственность создает отдельные линии развития каждого из регистров на морфологическом уровне, и именно эти линии являются основным предметом настоящего исследования. Механизмы преемственности, которые определяют динамику узуса и которые в общем виде были охарактеризованы как формирование навыков письма на основе опыта чтения, разнятся в

зависимости от типа морфологических элементов, поэтому на них целесообразно остановиться подробнее.

5. Механизмы преемственности и динамика регистров письменного языка. Тип двойственного числа

Мы уже говорили о том, что письменный язык не является искусственным образованием, письменный узус относительно независим от устного, и внутри него действуют механизмы преемственности, аналогичные тем, которые работают в устном языке. Преемственность письменного узуса не означает его неизменности. Письменный язык меняется так же, как и устный, и системные («естественные») факторы развития действуют в нем не в меньшей степени, чем в устном. И так же, как в эволюции устного языка, они действуют наряду с факторами внешними — контакта с другими системами, социо-культурных воздействий, смены эстетических оценок и риторических стратегий. Различие, как уже указывалось, состоит в том, что в случае устного узуса механизмы преемственности работают с речью предшествующего поколения, а в случае письменного узуса — с тем (разновременным) корпусом текстов, из чтения которых складывается языковой опыт данного поколения пишущих.

Обратившись к проблеме регистров, мы ставили задачу определить, в каких рамках действует эта преемственность письменного узуса. Мы исходили при этом из предположения, что средневековая ситуация отличается от той, которая обычна для современных стандартных языков, обладающих полифункциональностью, всеобщностью и кодифицированностью. Письменный узус в средние века не был универсальным ни в социальном, ни в функциональном отношении, а из этого следует, что не была универсальной и преемственность. Она действовала лишь в пределах определенного регистра, и именно в силу этого для реконструкции механизмов преемственности было существенно понять, как, когда и в каком количестве формировались регистры письменного языка. Языковой опыт был фрагментирован, и языковые навыки воспроизводились и эволюционировали в рамках отдельных регистров. Иллюстрацией такого рода фрагментированной традиции может служить история окончаний существительных *o*-склонения во мн. числе в гомилетической литературе XVII—XVIII вв. На протяжении почти ста лет при меняющемся объеме *a*-экспансии здесь сохраняется то соотношение падежей по пропорции новых флексий, которое установилось в проповедях Симеона Полоцкого и не совпадало при этом с соотношением, характерным для других литературных традиций (см. § III.4); такая преемственность возникает явно в силу того, что языковые навыки, используемые при писании гомилетических сочинений, формируются у проповедников на основе освоения текстов их предшественников в этом жанре. В обособлении данной традиции действуют одновременно и социальный, и жанровый факторы, и преемственность осуществляется в пределах обособленной таким образом традиции.

Изменение письменного узуса в рамках одного регистра происходит, надо думать, таким же образом, как и изменение устного узуса: новое поколение ринтерпретирует опыт предшествующего (предшествующих). Носитель, формиру-

ющий свои языковые навыки, наново анализирует воспринимаемый им узус и, извлекая из него правила употребления, переформулирует условия их приложения — формально-грамматические, семантические или стилистические (что и дает рефонологизацию в фонетике, аналогические преобразования в морфологии и т. д. — см.: Андерсен 1973; Андерсен 1989). Поскольку исходным материалом для формирования письменных навыков является не узус предшествующего поколения, а корпус известных пишущему текстов, принадлежащих определенному регистру, он реинтерпретирует именно эти данные, имея дело, таким образом, с одновременной совокупностью образцов. Если отвлечься от этого обстоятельства, процесс реинтерпретации может иметь системный характер.

Такого рода изменение было прослежено А. Тимберлейком в истории форм имперфекта в Лаврентьевской летописи (Тимберлейк 1997). Рассматривая контексты, в которых имперфект употребляется с аугментом {-т(ь)} в разных сегментах летописи, Тимберлейк пришел к выводу, что динамика употребления аугмента имеет системный характер (об употреблении аугмента имперфекта в различных книжных памятниках см. еще: Тимберлейк 1998; Тимберлейк 1999; Штоль 2000). От одного сегмента к другому происходит семантическая реинтерпретация контекстов, ничем по своей модели не отличающаяся от той, которая реконструируется для исторического синтаксиса разговорного языка. Как указывает исследователь, «изменение проходит поэтапно, причем инновации предшествующего этапа оказываются отправным моментом для инноваций следующей стадии процесса» (Тимберлейк 1997)²⁵. Исключительно любопытным представляется здесь то обстоятельство, что эта эволюция имеет место при том, что в разговорном языке в XII—XIII вв. имперфект, судя по всему, уже не был живой категорией. Описанная эволюция, следовательно, совершается внутри письменного языка, точнее, его формирующегося гибридного регистра, и это демонстрирует автономную системность письменного узуса. Как мы увидим ниже, тот факт, что материалом для этого открытия послужила летопись, отнюдь не представляется случайным.

Характер эволюции зависит от типа языковых элементов. Если обратиться к элементам морфологическим, то здесь обнаруживается существенная неоднородность. Одни морфологические элементы теснее связаны с характером органи-

²⁵ А. Тимберлейк суммирует эту эволюцию следующим образом: «[В] качестве исходного состояния выделялся один четко определенный контекст — позиция имперфекта непосредственно перед энклитическим местоимением **и** (и аналогичными местоимениями **я**, **ю**, а также, возможно, вин.-род. **ихъ**). Отсюда {-t'} распространяется на положение перед другими местоимениями, включая возвратное. Другая линия развития, основанная на том, что глагол со своими местоименными энклитиками часто стоит в начале предложения, ведет к обобщению {-t'} в позиции перед другими энклитиками, которые помещаются после начального глагола, а именно перед энклитическими частицами **во** и **же**. (...) Сверх того, {-t'} употребляется в предложениях, содержащих частицы **во** и **же** даже в тех случаях, когда глагол не стоит непосредственно перед частицей, если только предложение имеет модальный характер (...) Наконец, с середины XIII в. {-t'} может, как кажется, употребляться вполне свободно, преимущественно, однако, в предложениях, обнаруживающих элемент нарративной условности (зависимости) в противоположность чистому описанию» (Тимберлейк 1997, 85).

зации сообщения, другие имеют более «технологический» характер, одни встречаются чаще и обладают большим автоматизмом, другие относительно редки (в текстах вообще или в текстах определенного типа); и эти факторы не могут не сказываться на их динамике. Грамматическая семантика неравноценна. Число, скажем, устроено не так, как время и вид. Поэтому и эволюция морфологических элементов, в план содержания которых входит значение числа, не похожа на эволюцию маркеров видовременной системы. Исчезновение дв. числа из состава числовых категорий разговорного регистра и становление в нем оппозиции ед. и мн. числа имеет для регистров письменного языка иные последствия, нежели исчезновение в разговорном языке дифференциации прошедших времен и становление оппозиции несов. и сов. вида. Число куда более «технологично», чем вид и время, т. е. куда менее тесно связано с коммуникативным заданием, чем видовременные категории. Механизм переосмысления наследуемого узуса работает в этом случае без особых ухищрений, и результаты этой работы достаточно предсказуемы.

Разберу этот пример относительно детально. Что происходит, когда в разговорном узусе на месте грамматического выражения двойственности предметов появляется брешь, т. е. когда носители языка перестают думать в терминах тройного противопоставления по числу и начинают думать в терминах противопоставления бинарного (единственное — неединственное)? Результаты этого абдуктивного изменения (о классификации изменений см.: Андерсен 1973) будут различаться в зависимости от того, какую информационную нагрузку несут грамматические показатели дв. числа. Все случаи употребления дв. числа существительных (у которых дв. число является номинативной, а не согласовательной категорией, т. е. может выражать определенный смысл, а не служит для указания на принадлежность слов к одной синтаксической группе) а priori распадаются на три класса:

(1) Там, где информационная нагрузка полностью отсутствует, поскольку соответствующая информация выражена другими средствами (существительные в сочетании с числительными *два, оба*); это то употребление, которое О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько называют связанным (Жолобов и Крысько 2001, 46).

(2) Там, где информационная нагрузка минимальна, поскольку в обычном случае (in default situation) двойственность является сама собой разумеющейся. Имею в виду употребление дв. числа при обозначении парных предметов; о непарных *руках, боках, берегах* и т. п. приходится говорить лишь в редких случаях, и только в совсем исключительных ситуациях указание на эту непарность входит в смысловую интенцию говорящего (во фразах типа *все левые сапоги были без каблука*); ср. превосходный пример из Лобковского Пролога 1282 г., приводимый О. Ф. Жолобовым и В. Б. Крысько (2001, 99): «*дѣснага очеса изводоша имѣ и лѣвъыхъ ногъ лыстты с жилами нзрезаша*» (л. 21б). Это то употребление дв. числа, которое в литературе именуется «свободным» (ср.: Белич 1932, 30—33; Жолобов и Крысько 2001, 46), хотя этот термин в перспективе излагаемого подхода представляется не слишком удачным: имеется в виду, что двоичность при-суща самому имени и поэтому не зависит от другой информации, сообщаемой в предложении. Это, однако, вырожденный случай двоичности, поскольку она сведена здесь к парности, т. е. является счетной категорией лишь вторичным обра-

зом (для нас сейчас безразлично, была или не была парность «первичным» значением индоевропейского дв. числа).

(3) Там, где грамматическое обозначение двойственности несет полноценную информационную нагрузку, указывая на присутствие предмета в двух экземплярах (во фразах типа **и рече има идѣта по мѣнѣ и сътворж въ ловьца члѣкомъ** — Мф. 4:19 = ОЕ, л. 60 об.). В этой категории может быть выделен ряд частных случаев, соответствующих подразделениям, вводимым О. Ф. Жолобовым и В. Б. Крысько: несвязанное употребление дв. числа, прономинально-вербальное дв. число, дв. число в конструкции с двумя именами (Жолобов и Крысько 2001, 46—47). Во всех этих случаях, однако, дв. число указывает на счетность референта и одновременно на представленность его в двух экземплярах. В принципе при рассмотрении истории дв. числа в рамках третьего класса следует различать те более широкие контексты, где двойственность предметов имеет неграмматическое выражение (сюда по определению входят прономинально-вербальные употребления дв. числа и дв. число в конструкциях с двумя именами, равно как и некоторая часть из несвязанных употреблений дв. числа), от тех, в которых адресат сообщения узнает о двойственности предметов только из грамматических форм. В первом случае, примером которого может служить приведенный выше стих из Евангелия (в предшествующем стихе — Мф. 4:18 — говорится: **видѣ дѣва брата симона нарицаемаго петра и андреа брата кмоу въ мѣтавшта мрѣжа въ море** — ОЕ, л. 60, и именно к этому предложению отсылают местоимения **има** и **въ**), обозначение двойственности почти столь же избыточно, как в словосочетании с числительным, что и создает возможности для его окказиональной элиминации²⁶. Второй случай встречается в языковой практике исключительно редко. Речь, следовательно, должна идти не о том, насколько избыточно обозначение двойственности, но о том, какой тип избыточности поощряется языком (вовсе не стремящимся, как мы помним, к экономии средств), а какой нет. Проблема плохо изучена, но похоже, что избыточность широкого контекста, в отличие от избыточности в словосочетании, относится к

²⁶ Мне представляется, что именно в качестве подобного окказионализма, не свидетельствующего о падении дв. числа, следует интерпретировать нередко цитируемую фразу из Сказания чудес Бориса и Глеба: **а стѣаго глѣва роукоу. възь.мъ же георгини митрополитѣ блгословаше князѣ. изяслава. и всеволода. и паки стѣславъ имѣ роукоу митрополию. и дръжащю стѣаго роукоу прилагааше къ вредоу** (УС, л. 20r). Упоминание двух имен однозначно указывает на двойное количество князей и тем самым создает контекст для потенциальной нейтрализации числовой оппозиции. Мне не кажется убедительной трактовка О. Ф. Жолобова и В. Б. Крысько (2001, 103—104), которые полагают, что здесь «речь идет не о двух, а о трех князьях и форма *князѣ* — совершенно правильная форма мн. ч.». Скольких бы князей ни благословлял митрополит в реальности, в тексте этот акт представлен как благословение двух князей, Изяслава и Всеволода, в то время как третий князь, Святослав, совершает отдельное действие, притягивая к себе руку Георгия. Трудно представить себе, что хитрый автор указал на тройное благословение именно с помощью формы мн. числа, а затем упомянул только двух князей из трех; позднейшая переделка этого пассажа в Московском летописном своде (митрополит благословляет трех князей) может быть обусловлена неловким описанием этого события в более раннем тексте, однако никак не может служить источником для анализа грамматической структуры этого более раннего текста.

тем свойствам текста, которые широко используются различными дискурсивными стратегиями, поскольку эта избыточность обеспечивает связанность текста²⁷.

Исчезновение дв. числа из грамматической системы проявляется именно в том, что двойственность перестает обозначаться в контекстах третьего класса, тогда как в контекстах первых двух классов противопоставление по числу нейтрализовано (во втором классе частично) вне зависимости от того, является ли дв. число семантически полноценной категорией (в контекстах третьего класса). В этом плане не представляется оправданной точка зрения А. М. Иорданского, согласно которой «[п]оследней стадией разрушения грамматической категории двойственного числа было распространение этого процесса на сочетания с числительными *дѣва, оба, дѣвъ, обѣ*, происходившее (...) не ранее XIII в.» (Иорданский 1960, 75). Ее теоретическая несостоятельность подтверждается и фактическими данными, указывающими, например, что в древненовгородском диалекте унификация форм существительного в числовых сочетаниях с *дѣва, три, четыре* достигается для существительных ср. и ж. рода уже к рубежу XII—XIII вв., откуда появляются ряды типа *дѣва лѣта, три лѣта, четыре лѣта; дѣвъ кунѣ, три кунѣ, четыре кунѣ* (Зализняк 1995, 148; Янин и Зализняк 1993, 216—220; ср.: Хабургаев 1990, 274—277), ср. примеры из берестяных грамот: *дѣва лѣта* (№ 113, вторая половина XII в. — Зализняк 1995, 314), *ѣ: лѣкна* (№ 671, рубеж XII/XIII вв. — там же, 348); *ѣ: коунѣ* (№ 526, вторая треть XI в. — там же, 225); *цетыри гривне* (№ 550, втор. половина XII в. — там же, 341)²⁸. Ни подобные примеры, ни обозначения парных предметов однозначно о судьбе категории дв. числа не свидетельствуют, поскольку речь идет о позициях нейтрализации, в которых и сохранение формы дв. числа, и появление формы мн. числа не приводит к изменению смысла сообщения.

Наиболее отчетливо на элиминацию категории дв. числа могло бы указывать отсутствие в текстах определенного периода форм существительного в дв. числе, являющихся единственным обозначением двойственности предметов в контексте (типа *купца пошла еста...*), однако подобный процесс трудно проследить из-за редкости таких примеров, а потому и трудно датировать. Хорошим индикатором исчезновения дв. числа может служить неупотребление форм дв. числа глагола

²⁷ Так, скажем, в евангельской истории об изгнании бесов в стране Гергесинской сначала речь идет о встрече Христа с двумя бесноватыми (*сърѣтоста и два бѣсна отъ гробѣ излазѣща. люта зѣло* — Мф. 8:28 = МЕ, л. 38в), затем рассказывается об изгнании бесов, вошедших в свиное стадо, а потом говорится о том, как пастухи убежали в город и *възвѣстиша всѣмъ о бѣсащю сѣ* (Мф. 8:33 = МЕ, л. 38г). Возвращение к начальным персонажам повествования, включающее и грамматическое указание на их двоичность, обрамляет рассказ и придает ему целостность.

²⁸ Иное объяснение этой унификации, сосредоточивающееся на факторах внутривариативной реорганизации именного словоизменения, дает У. Вермеер (1996, 43—45) и следующие за ним О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько (2001, 71—74). Это объяснение по существу не противоречит тому, которое предлагает А. А. Зализняк и которое представляется верным и мне. Вермеер описывает внутренний механизм преобразования, который оказался пущенным в дело благодаря определенной функциональной мотивации. Эта мотивация как раз и состояла в переосмыслении паукальных счетных форм как особого класса и обособлении их формообразования от связи с оппозицией мн. и дв. числа.

при субъекте, составленном из двух предметов. В бытовой некнижной письменности, в которой согласованные формы глагола в дв. числе не должны появляться в силу традиции или нормализационных установок, такая ситуация фиксируется в XIII в. А. А. Зализняк отмечает, что «[с]амые поздние примеры двойств. числа в глаголе, отмеченные в берестяных грамотах, — *торговала еста* 510 (кон. XII—XIII₁ <...>), [пр]а*вита* (?) 111 (2 треть XIII)» (там же, 118). Серединой XIII в. и следует, видимо, датировать устранение дв. числа из восточнославянской морфологической системы.

Как только дв. число исчезает в качестве числовой категории, показатели дв. числа оказываются, можно сказать, бесхозными и в силу этого становятся морфологическими вариантами других показателей, и эта вариативность постепенно подвергается переосмыслению. Вариативность характеризует теперь все три рассмотренные выше класса употреблений. Правда, в первых двух классах она могла существовать и ранее, в первом классе, при числительных *два*, *оба*, в силу унификации паукальных счетных форм, во втором — в силу употребления так называемого дистрибутивного дв. числа, когда обозначения парных предметов ставятся в дв. числе вне зависимости от того, что подразумевается несколько пар (см.: Жолобов и Крысько 2001, 18—24). Теперь, однако, эта вариативность получает возможность реализоваться в существенно большем объеме, поскольку употребление форм дв. числа в соответствующих контекстах не поддерживается больше автономным употреблением данных форм в контекстах третьего класса. Направление переосмысления зависит от характера контекста и, как уже говорилось, вполне предсказуемо.

Во втором и третьем классе контекстов старые формы дв. числа и старые формы мн. числа оказываются морфологическими вариантами, полностью синонимичными и не поддающимися никакому содержательному переосмыслению, при котором они получали бы разную семантику. При этом и тот и другой вариант встречаются достаточно часто — вариант старого двойственного числа у существительных, обозначающих парные предметы, вариант старого множественного — у всех остальных. В результате не происходит вытеснения одного варианта другим, но распределение их по разным классам существительных. Окончание *-а* в качестве флексии мн. числа сначала консервируется у существительных, обозначающих парные предметы (она употребляется, таким образом, не только когда речь идет о паре сапог, но и когда сапоги оказываются непарными и в любом количестве), а затем, когда в результате *а*-экспансии *á* приобретает функцию маркера множественного числа существительных, совершает экспансию, начиная все шире употребляться у существительных м. рода с подвижным ударением и вытеснять флексию *-ы* (ср.: Хабургаев 1990, 159—160). Дистрибуция флексий *-á* и *-ы* основана, таким образом, на формальном принципе и не предполагает семантического переосмысления форм сверх того исходного семантического сдвига, в результате которого они оказались синонимичными.

В первом классе перераспределение происходит иным образом, но также не затрагивает содержательную сторону речевой коммуникации. В числовых сочетаниях значение числа у существительного нейтрализовано, и в силу этой нейтрализации вариативность форм дв. и мн. числа в числовых сочетаниях с *два*, *три*, *четыре* может иметь место, как мы видели на новгородских примерах, еще

до окончательной элиминации дв. числа. Обозначения чисел *два, три, четыре* создают естественную группу, и это подталкивает к унификации форм существительных, употребляющихся в сочетании с этими словами. Элиминация дв. числа убирает все препятствия для такой унификации, что и приводит к ее постепенному завершению, сначала у существительных ср. и ж. рода, позже у существительных м. рода (о возможных причинах несовпадения этих процессов во времени см.: Хабургаев 1990, 276—277; ср.: Зализняк 1995, 148). Один из возможных путей унификации — за счет старой формы мн. числа, которая переносится из сочетаний с *три, четыре* на сочетания с *два*; старые формы дв. числа в этом случае из данных сочетаний исчезают; так и происходит в украинском и белорусском (и в некоторых великорусских говорах). Другой путь унификации сохраняет старые формы дв. числа у существительных м. рода, распространяя их на сочетания с *три, четыре* (ср. примеры из текстов XIV в. — Жолобов и Крысько 2001, 200—201), но использует старые формы мн. числа для существительных ср. и ж. рода, экстраполируя их на сочетания с *два*. Поскольку все унифицированные таким образом формы омонимичны формам род. ед. соответствующих слов, унифицированная форма существительных в сочетаниях с *два, три, четыре* переосмысливается как форма род. ед., параллельная форме род. мн., употребляемой в сочетаниях с *пять, шесть, семь* и т. д.²⁹

Во всех этих случаях переосмысление «технологично» в том смысле, что подчиняется парадигматической логике и сводится к перераспределению форм по категориям, выводящимся из предшествующего состояния как прямой результат изменения. Специальное значение двойственности исчезло, и этот семантический компонент — изначально маргинальный в коммуникативном отношении — расширил семантическую область множественности. На характер построения сообщения это переосмысление никак не повлияло, и это относится ко всем регистрам языка, как разговорным, так и письменным, как книжным, так и некнижным. Ясно, тем не менее, что отражение описанного процесса в разных регистрах было неодинаковым.

То, что было описано выше, — это реконструкция процесса переосмысления в разговорном языке. В некнижных регистрах он отражается достаточно непосредственно (что и позволяет произвести реконструкцию). Значение двойственности просто перестает здесь выражаться, причем в деловых текстах практически в то же время, что и в бытовых (см. примеры из деловых текстов в: Иорданский 1960, 74). Это объяснимо, поскольку деловой регистр как автономная традиция в период исчезновения дв. числа в разговорном языке (XIII в.) только начинает формироваться, и никаких специфических формул, консервирующих обозначения двойственности и в силу этого продлевающих жизнь данной категории в регистре в целом, видимо, не успевает сложиться. В некнижных текстах сначала происходит расстройство в согласовании, т. е. при существительном в дв. числе глагол (и прилагательное) оказываются употребленными во мн. числе (ср. в цитируемой выше берестяной грамоте № 510 рубежа XII/XIII вв.: **торговала еста** <...>

²⁹ Последующая перетяжка ударения ряда существительных в сочетаниях с *два, три, четыре* с корня на флексию и образование особой счетной формы может нас сейчас не интересовать (ср.: Виноградов 1947, 304; Зализняк 1967, 47—48).

и розвьли есть — Зализняк 1995, 384), что переводит обозначения двойственности в разряд факультативных, а затем уже в XIII—XIV вв. эта факультативная возможность перестает использоваться.

Книжные регистры, естественно, в той или иной степени консервируют двойственное число. В стандартном церковнославянском регистре, охватывающем по преимуществу воспроизводимые тексты, правильно употреблявшие формы дв. числа, это употребление лишь с весьма небольшими изменениями репродуцируется в позднейших списках (последовательность воспроизведения отчасти зависит от религиозных функций памятника). Насколько при этом представление о двоичности как особом грамматическом значении входило в языковой опыт книжников, требует отдельного обсуждения. В воспроизводимых текстах кирилло-мефодиевской традиции отмечается небольшое количество «ошибок», когда переписчики вносили расстройство в согласование по числу, явно не нарушавшееся в их оригинале, ср. ряд примеров, приводимых А. И. Соболевским: «Ев. 1354 г.: нечистыма рукама рекше неумвеньми 76 об.; (...) Служебник преп. Сергия: предъидущимъ двѣма свѣщникомъ 21 об., святыма своима и пречистыми и непорочными руками 34 об.; Ев. XIV в. Публ. Библ. F 17: двѣма стомъ 13 об., двѣма сты 50 об.; Чудовской Новый Завет XIV в.: быста друзи 40 (о двух лицах); Пролог 1432 г. Публ. Библ.: съ двѣма отроковицами 148 об.» (Соболевский 1907, 205—206; ср. еще подборку примеров: Жолобов и Крысько 2001, 143—144). Подобные примеры свидетельствуют, конечно, о том, что в разговорном языке писца дв. число было утрачено (что, впрочем, куда вернее устанавливается с помощью не книжных текстов и в особом подтверждении не нуждается), что тем самым он был не в состоянии вполне адекватно переработать опыт своего книжного чтения, так что парадигматическая соотнесенность всех форм дв. числа для него в полном объеме не существовала, а формы мн. числа выступали как допустимые варианты форм дв. числа (возможно, стоит еще раз напомнить, что никакие грамматические пособия книжникам XIV—XV вв. доступны не были, так что наглядного представления о парадигматике они ниоткуда получить не могли).

Вопрос о том, как следует интерпретировать формы дв. числа, варьирующиеся в книжных памятниках XIV—XVII в. с формами мн. числа, не может осмысленно обсуждаться без учета специфики традиционных письменных текстов. Означает ли продолжающееся употребление форм дв. числа сохранение данной категории в языке, пусть и в неполноценном виде? Или же вариативность возникает в силу того, что категория двойственности полностью исчезла из языкового опыта книжников? О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько полагают, что «появление варьирования дуальных и плюральных форм в сколько-нибудь значительных масштабах еще не означало утраты дв. ч. С точки зрения лингвистической теории морфологическое варьирование указывает вовсе не на утрату категориального значения, а на “конкуренцию признаков и непризнаковых форм” (...) Однако в древнейших текстах нет и самого морфологического варьирования, а есть лишь спорадические, единичные замены дуальных форм плюральными. Они носят окказионально-речевой характер и не затрагивают системно-языковых отношений» (Жолобов и Крысько 2001, 96)³⁰.

³⁰ Не буду сейчас останавливаться на глубинных противоречиях этого подхода, связанных с тем, что вариативность разрушает систему, поскольку разные варианты реали-

В приложении к устному языку и при традиционном понимании системы языка (которое и позволяет различать «окказионально-речевые» и «системно-языковые» феномены) такая концепция кажется разумной, отражающей тот эмпирически засвидетельствованный факт, что изменения в языке не происходят мгновенно, но осуществляются как постепенное вытеснение одного варианта другим. В традиционных письменных текстах, однако, этот процесс вытеснения может растягиваться на многие столетия, поскольку такие тексты не порождаются *ad hoc*, с чистого листа, в результате работы порождающего механизма языка (т. е. системы), а представляют собой коллаж, составленный из разнородных фрагментов, отражающих многослойный языковой опыт пишущего, основанный на чтении появившихся в разные эпохи текстов (в свой черед неоднородных). Системна (в обычном структуралистском понимании системности) в этом опыте может быть только та его часть, которая отражает разговорный узус пишущего. Восстановить эту часть из созданных данным носителем книжных текстов крайне сложно, если вообще возможно, поскольку книжник, как уже неоднократно говорилось, никоим образом не стремится писать так, как он говорит; наоборот, в обычном случае он пытается отрешиться от своих навыков разговорной речи. В этих обстоятельствах приложить к традиционным письменным текстам оппозицию «окказионально-речевых» и «системно-языковых» феноменов кажется достаточно безнадёжным предприятием.

Из сказанного не следует, однако же, что языковой опыт книжника никак не структурирован, хотя он и не образует ничего похожего на по-соссюровски организованную систему. Он содержит несколько «грамматик», соотнесенных с разными регистрами письменного языка, частично пересекающихся, совмещающих-

зуют разные структурные принципы, неспособные существовать одновременно в рамках одной системы (в которой, согласно Соссюру, все элементы связаны и определяются отношением друг к другу — см.: Тимберлейк 2002). Именно это противоречие пытается разрешить Х. Андерсен, вводя понятие абдуктивных изменений (Андерсен 1973). Эти изменения происходят мгновенно и представляют собой переход от одной системы к другой, не оставляющий места для сосуществования в системе противоречащих друг другу принципов. Абдуктивные изменения происходят, когда младшее поколение конструирует свою грамматику на основе узуса предшествующего поколения. Изменение имеет место тогда, когда эта интерпретация отличается от интерпретации предшествующего поколения, «[t]he source of abductive innovations is to be found in distributional ambiguities in the verbal output from which the new grammar is inferred» (там же, 789). Это моментальное изменение глубинной грамматики ведет затем к постепенным (алгоритмическим, производным — дедуктивным, в пирсовском понимании термина) изменениям в порождаемых ею поверхностных структурах. Если принимать эту концепцию, спасающую системность от реально наблюдаемой вариативности, то в случае рассматриваемого сейчас явления это означает, что определенное поколение говорящих перестало интерпретировать формы дв. числа как указывающие на двоичность референта (в этом и состояло абдуктивное изменение), а затем дедуктивные изменения постепенно приводили узус в соответствие с этой новой грамматикой. Понятно, что в рамках концепции этого типа никакого морфологического варьирования при сохранении категориального (принадлежащего глубинной грамматике) значения дв. числа быть не может. Какой именно способ решения подобных общелингвистических проблем предполагают О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько, говоря о вариативности дуальных и плюралных форм, остается неясным.

ся и накладывающихся друг на друга, но не обладающих ни завершенностью, ни внутренней согласованностью, которая создавала бы основу для различения системного и узуального (в рамках структуралистского понятийного аппарата). Осваивая тексты своих предшественников, восточнославянский книжник каким-то образом научался употреблять формы дв. числа, и в силу этого данная категория должна была присутствовать в одной из его грамматик. Поэтому неверно было бы считать, что в языковом опыте книжников грамматическое значение двойственности полностью отсутствовало, что, как полагал Г. А. Хабургаев, «средневековые книжники (...) воспринимали ее (форму дв. числа. — В. Ж.) со значением “множественности” (противопоставленной “единичности”), а не “двойственности”» (Хабургаев 1990, 121).

Последовательность в употреблении форм дв. числа зависит от того, какие именно задачи стоят перед книжником (копирования, редактирования, составления нового текста), и от того, насколько его владение книжным языком адекватно этим задачам. Понятно, что, пока формы дв. числа присутствуют в разговорном опыте пишущего, он без труда употребляет их и в книжных текстах. Когда опыт разговорного языка перестает приходить на помощь, естественно ожидать непоследовательностей в употреблении. Пропорция таких непоследовательностей соотносится и со сложностью стоящей задачи, и с индивидуальным мастерством книжника. Если задача проста, а мастерство высоко, то даже окказиональные отступления свидетельствуют скорее всего о том, что разговорный опыт перестал служить книжнику поддержкой. Этот момент должен учитываться при анализе окказиональных отступлений в ранних памятниках и в воспроизводимых текстах в целом.

В воспроизводимых церковнославянских текстах до второй половины XVII в. мало что меняется. Как бы книжники ни воспринимали формы дв. числа, обычно они послушно их копируют, отдавая себе, видимо, отчет в том, что они принадлежат к книжному стандарту. Окказиональные (в целом весьма редкие) замены форм дв. числа на формы мн. числа в переписываемых памятниках говорят только о том, что не у всех книжников эти формы были прочно укоренены в совокупности их языкового опыта (а это тривиальным образом следует из отсутствия данных форм в живом языке книжников). По существу все сводится к тому, что при отсутствии грамматической традиции нормализационный контроль не может быть полностью эффективен (а не к характеру восприятия форм дв. числа).

Ситуация в воспроизводимых текстах меняется только тогда, когда возникает грамматическая традиция. В книжной справе второй половины XVII — первой половины XVIII в. соответствующие формы могут подвергаться исправлениям, которые прямо отражают новое грамматическое знание, исключающее те отступления от нормы, которые появлялись в предшествующий период. Так, например, в ходе библейской справки начала XVIII в. справщик, заменяя в Евангелии (Мф. 20:33) **да Ѡверзѣтса очи наю** (чтение, восходящее к древнейшему переводу и реализующее дистрибутивное употребление дв. числа, ср.: ОЕ, л. 76 об.) на **да Ѡверзѣтса очи наши**, замечает: «Понеже здѣ рѣчь не о двоихъ очахъ, почему не dualis numerus, но pluralis долженъ быть» (Бобрин 1988, 156).

Вместе с тем обусловленная новой ситуацией грамматическая рефлексия приводит к тому, что дв. число начинает восприниматься как маргинальная для

книжного стандарта форма, что, видимо, отражает опыт гибридного языка, имевшийся у русских книжников этого времени (см. ниже), и одновременно стремление к грамматическому усовершенствованию церковнославянского стандарта, выражавшееся в устранении маргинальных форм. Таково отношение к формам дв. числа у Федора Поликарпова, рассматривавшего их как кальку с греческого, чуждую церковнославянскому языку (см.: Живов 1996, 285), и это же отношение реализуется в библейской справе, определившей церковнославянский языковой стандарт синодального периода (см.: Успенский 1987, 329). На последнем этапе этой справы, при подготовке Елизаветинской Библии, устранение форм дв. числа проводится особенно интенсивно, так что в результате «формы мн. ч. имен, местоимений и глаголов образуют нейтральный (...) фон; сохраняемые в тексте формы дв. ч., помещаемые, как правило, по две-три в главах, где возможно их появление, выполняют роль своеобразного камертона книжности (...) и служат обеспечению дистанции между книжным и живым языками» (Бобрик 1988а, 8).

Лучшее представление о том, как структурирован опыт книжника, употребляющего формы дв. числа без опоры на свой разговорный узус, дают не воспроизводимые, а оригинальные тексты, написанные с сознательной ориентацией на образцы стандартного церковнославянского. К числу таких текстов относится, например, Житие преп. Сергия Радонежского, составленное Епифанием, как полагают, в самом конце 1410-х годов (Клосс 1998, 99). Житие дошло до нас лишь в позднейших списках (XVI в.), однако нет оснований думать, что большинство отклонений от «правильного» употребления форм дв. числа может быть отнесено на счет переписчиков, поскольку число таких отклонений существенно превышает ту пропорцию, которую мы находим в других переписываемых памятниках (таких как Евангелие или богослужебные тексты), в исходном виде отклонений не содержащих.

Хотя, как мы увидим, отклонения от «правильного» употребления в рассматриваемом тексте многочисленны, в языковом опыте Епифания категория двоичности явно присутствовала. Так, например, описывая, как юный Варфоломей (будущий преп. Сергей) и его старший брат Стефан искали место для своего скита, Епифаний пишет: «Обходиста по лѣсом многа мѣста и послѣди приидоста на едино мѣсто пустыни» (Клосс 1998, 306). Указание на то, что субъектов этого действия было два, содержится практически только в дв. числе глагольных форм, и это свидетельствует о том, что Епифаний полностью отдавал себе отчет в их семантике, отнюдь не воспринимая их как альтернативное обозначение множественности (как представлялось Г. А. Хабургаеву)³¹. Этот вывод не опровергается

³¹ В тексте, предшествующем процитированной фразе, говорится: «К нему же пришед блаженный уноша Варфоломѣй, моляше Стефана, дабы шель с ним на възыскание мѣста пустыннаго. Стефанъ же, принужденъ бывъ словеса блаженнаго, и ишедша» (Клосс 1998, 306). Из этого пассажа можно, конечно, сделать вывод, что действующих лиц было два, однако эксплицитно эта информация никак не выражена. Правда, форма *ишедша* может интерпретироваться как им. дв. м. рода действительного причастия прош. времени, однако синтаксическая конструкция ненормативна (причастие в функции личной формы), и поэтому неясно, как воспринимал ее Епифаний, его читатели и переписчики. Если полагать, что Епифаний сознательно употребляет здесь данную причастную форму, указание на двойственность содержится уже в ней и столь же ясно говорит об актуальности для

тем фактом, что в предложениях, непосредственно следующих за процитированным, употребление форм дв. числа оказывается достаточно непоследовательным — хотя, безусловно, он (вывод) по видимости плохо с этим фактом согласуется. Приведу это продолжение: «Обышедша же мѣсто то и възлюбиста е, паче же Богу наставляющу ихъ [вместо я]. И сътвориша [вместо *сътвориста*; нельзя исключить искажения при переписке причастной формы *сътвориша*], начаста своиа рукама [пример дистрибутивного употребления дв. числа, при котором парные предметы стоят в дв. числе, хотя пар несколько] лѣсъ сѣщи, и на раму своєю беръвна изнесоша [вместо *изнесоста*] на мѣсто» (там же, 306—307).

Хотя «правильное» употребление дв. числа в памятнике встречается весьма часто, не менее часты и отклонения³². Какой принцип может определять такой узус, если, как мы видели, тезис, согласно которому двойственность как семантическая категория автором игнорируется, не соответствует наблюдаемым фактам? Можно предположить, что Епифаний и не стремится к последовательному употреблению форм дв. числа. Он не подвергает книжные формы дуалиса какому-либо семантическому переосмыслению или стилистической переоценке, но обозначение двойственности начинает воспринимать как необязательное. Ему достаточно обозначить двойственность один или несколько раз, зафиксировать это значение в нарративном фрагменте, а затем наступает свобода и формы мн. числа могут употребляться наряду с формами двойственного. Это означает, видимо, что Епифаний воспринимает двойственность как самостоятельный, но подчиненный семантический элемент, как особый случай множественности. Такое восприятие — явно не новинка. Оно должно было предшествовать исчезновению дв. числа как грамматической категории, переводя показатели дв. числа из разряда регулярных грамматических маркеров в разряд факультативных. Именно в силу этого восприятия в книжных памятниках XIII—XIV вв. появляются непоследовательности в употреблении форм дв. числа. Епифаний может ориентироваться на подобные прецеденты, расширяя при этом сферу факультативности и облегчая себе тем самым жизнь³³.

Епифания данной семантической категории. В любом случае контекст предполагает владение данной категорией, двойственность субъекта не выражена здесь даже перечислением, типа «Варфоломей и Стефан обходиста».

³² Приведу еще несколько примеров, иллюстрирующих характерное для Епифания употребление. «Съй преподобный отецъ нашъ Сергие родися от родителя добродородну и благовърну: от отца, нарицаемаго Кирила, и от матере именем Мариа, иже бяста Божии угодници, правдиви пред Богомъ и пред челоуѣкы, и всячьскыми добродѣтели испльнени же и украшени» (Клосс 1998, 290 — см. мн. число вместо дв.: *Божии угодници, правдиви, испльнени, украшени*). «Старецъ же святыи проразумѣ и позна духомъ будущее и рече има [родителямъ Сергия]: “О блаженаа врьсто! О предобраа супруга, иже таковому дѣтищу родители быста! Вьскую устрашистеса страхом, идѣ же не бѣ страха. Но паче радуйтеса и веселитеса, яко сподобистася таковой дѣтищъ родити (...) Сынъ ваю иматъ быти обитель Святыя Троица (...)” И сиа рекъ, изиде от них. Они же проважахуть его пред врата домовнаа; он же от нихъ вьнезапу невидим бысть» (там же, 300 — см. мн. число вместо дв.: *родители* в сочетании с глаголом в дв. числе *быста, устрашистеса, радуйтеса, веселитеса, от них, они, проважахуть*).

³³ Дв. числу у Епифания Премудрого посвящен специальный раздел и в монографии О. Ф. Жолобова и В. Б. Крысько (Жолобов и Крысько 2001, 192—196). Авторы, однако,

Факультативность употребления морфологических показателей характерна для признаков книжности, т. е. таких элементов книжного узуса, отсутствующих в узусе некнижном, которые автор вносит в свой текст прежде всего для указания на его книжность (ср. Введение, § 3; о факультативности признаков книжности см.: Живов 1988, 54—59; Живов 1996, 36—37). Факультативное употребление признаков книжности свойственно текстам гибридного регистра, который и конституируется тем, что книжные грамматические элементы употребляются в нем в качестве таких признаков. Преемственность такого употребления как раз и формирует гибридную традицию, гибридные тексты (в первую очередь, летописи) ориентированы друг на друга и в силу этого преемственно воспроизводят (и нередко интенсифицируют) те отличия от стандартного церковнославянского, которые им присущи. В употреблении форм дв. числа в Епифаниевом Житии Сергия по видимости работает тот же механизм, однако это житие трудно отнести к памятникам гибридного регистра прежде всего потому, что его автор ориентируется не на гибридные (например, летописные) образцы, но на стандартные церковнославянские тексты, в наибольшей степени на греческую агиографию в славянских переводах, на которую он и ссылается в начале своего произведения. Черты гибридности едва просматриваются и в употреблении простых претеритов, наблюдаемом в рассматриваемом тексте.

В то время, когда Епифаний писал Житие, гибридный регистр окончательно еще не сформировался, во всяком случае гибридный узус еще не распространяется в это время на тексты нелетописных жанров. Рассматриваемый текст в данном отношении неоднозначен, элементы гибридности, которые в нем появляются, еще не складываются в целостную традицию (которую мы можем найти через столетие, к примеру, в Житии Федора Черного в редакции иеромонаха Антония — см.: Ленхофф 1997, 95, 242—281). Епифаний при этом был явно знаком с

рассматривают не Житие Сергия, а Житие Стефана Пермского, добавляя к нему еще летописную Повесть о Митяе, принадлежность которой перу Епифания сомнительна, но которая в любом случае содержит лишь весьма ограниченный материал для суждений об употреблении дв. числа. О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько приходят к выводу, что «дв. число используется автором почти безошибочно, самостоятельно, часто не обусловлено книжными реминисценциями» (там же, 194). Впрочем, отступления имеются, и вопрос о том, почему их пропорция выше в Житии Сергия, нежели в Житии Стефана, не имеет принципиального характера. Вряд ли здесь могли сказаться те два десятилетия, которые, по мнению ряда исследователей, отделяют создание одного памятника от другого. Скорее речь может идти о различиях в риторической конструкции этих агиографических произведений: Житие Стефана более «панегирично», а Житие Сергия более «повествовательно». Как бы то ни было, заключение, согласно которому «употребление дв. ч. у Епифания Премудрого носит обязательный характер» (там же, 196), не кажется убедительным, хотя справедливо, что прямой зависимости этого употребления от стиля не просматривается. Мне остается неясным, что авторы имеют в виду, утверждая, что «грамматические архаизмы, которыми насыщены сочинения Епифания Премудрого, на фоне более поздней литературы должны быть истолкованы как архаизмы узуальные» (там же), относят ли они к числу таких архаизмов употребление дв. числа и что в этом случае они имеют в виду под архаизмами, полагая, что дуалис у Епифания остается принадлежностью его морфологической системы.

летописной традицией и, возможно, сам занимался летописанием³⁴, поэтому определенная интерференция гибридного (летописного) узуса в написанных им житиях удивления не вызывает (насколько прецедент Епифания был важен для позднейших агиографов, использовавших гибридную традицию, предстоит исследовать). Примечательно, что черты гибридности проявляются едва ли не ранее всего в использовании форм дв. числа. Причину этого можно видеть в его коммуникативной избыточности, которая делает переосмысление форм дв. числа как факультативного обозначения двоичности простой и вполне прямолинейной процедурой.

Делаясь факультативным, обозначение двоичности в гибридных текстах может колебаться от относительно частого до минимального, находясь в определенной (хотя и не строгой) корреляции с другими признаками книжности (имею в виду, что интенсивное употребление форм дв. числа наблюдается в тех текстах, в которых последовательно употребляются простые претериты, согласуемые действительные причастия и т. д.). Устранение форм дв. числа, однако, идет дальше, чем устранение других признаков книжности — именно в силу того, что никакому содержательному переосмыслению они не поддаются и поэтому никакой полезной семантической нагрузкой не обладают. Их употребление может быть целиком отнесено на счет консервативности книжного узуса, никакой значимой роли (сверх их функции признака книжности) они в построении книжного повествования не получают.

А. И. Соболевский, иллюстрируя устранение форм дв. числа в памятниках восточнославянской письменности, приводит пример из уже цитировавшейся нами Новгородской второй летописи: «горіло два двора пустыхъ» (Соболевский 1907, 206; см.: ПСРЛ, XXX, 192 — s. a. 1572). При этом он проходит мимо куда более любопытного факта: формы дв. числа употребляются в этом памятнике со значением двоичности всего четыре раза, причем в тех фрагментах летописи, которые воспроизводят существенно более древний текст. Вот эти четыре примера: «два человека до конца *мертва быста*» (ПСРЛ, XXX, 171 — s. a. 1187); «Нынѣ же убо быша прежеречнаго *нашима очима* видѣхомъ великое нашествие водное» (там же, 185 — s. a. 1421; в контексте прямых ссылок на предшествующее летописание и нехарактерной для данного памятника библейской цитаты); «Онъ же рече: “введите Гречено, попа *святую царя* Костянтина и Елены”» (там же, 187 — s. a. 1226; как именно следует интерпретировать форму *царя* — как им. вин. дв. или как род. ед. — остается неясным; ср. ту же фразу в Новгородской первой летописи: «въвѣдете Гръцина, попа *святую* Костянтину и Елены», НПЛ,

³⁴ Б. М. Клосс атрибутирует Епифанию Троицкую летопись и несколько других памятников исторического содержания (Клосс 1998, 100—128). Филологические аргументы, на которых он основывается, не выдерживают никакой критики, приводимый в качестве доказательства общий текстовый материал состоит из общих мест (топосов), которые ни о каком авторстве свидетельствовать не могут, типа «по истине явися земный аггел, небесный человек» — «яко земный аггел, яко небесный человек», «всех равно любяше» — «всех вкупе равно любяше и равно чтяше» (там же, 114). Хотя для Епифания авторство летописных текстов остается гипотетическим, его знакомство с такими текстами не вызывает особых сомнений.

65, с первым именем в род. дв., ср.: Жолобов и Крысько 2001, 164); «Заложиста церковь камену святого Кирилу в монастыри во Лѣнзезенѣ Костянтин и Дмитреи братеники» (ПРСЛ, XXX, 188 — s. a. 1196)³⁵.

Эти четыре примера фиксируются на фоне несравненно более частых употреблений форм мн. числа при обозначении двух предметов, ср.: «на память *святых мученикъ* Хрисанфа и Дарьи» (148 — s. a. 1542); «велѣл *своимъ посланикомъ* Пладе и Василью» (157 — s. a. 1567); «И царь и царевичь *поѣхали* опослѣ молебнов» (157 — s. a. 1568); «*святых безсребреникъ* Козьма и Демьяна» (169 — s. a. 1330); «Семионъ Андрѣевичъ с матерію своею боголюбивою Наталею *заложивша* церковь камену» (173 — s. a. 1360); «*Поставивша* церковь святого Ипатия Рядко з братомъ на Рагатици» (189 — s. a. 1183); «за церковію *святых мученикъ* Фрола и Лавра» (192 — s. a. 1572); «Царь и патриархъ *пожаловали* его и дали ему грамоту» (198 — s. a. 1353), и т. д. Подобные примеры, относящиеся к разным слоям летописи, можно многократно умножить.

Составитель Новгородской второй летописи явно не осознавал специфическое грамматическое значение форм дв. числа. Для его языкового опыта гипотеза, высказанная Г. А. Хабургаевым (см. цитату выше), может быть вполне верна. Это, однако, крайний случай: Новгородская вторая летопись отделяется от книжного стандарта настолько, насколько это возможно для книжного текста (ср. приводившиеся выше примеры не книжных синтаксических построений, нередких в этом памятнике). Между данным произведением и разбиравшимся ранее Житием Сергия Радонежского располагается целый спектр текстов, различающихся степенью книжности. Их разнообразие определяется многими параметрами, устройство и характер эволюции этих параметров различны, однако для большей части этого спектра можно полагать, что значение двойственности, выражаемое формами дв. числа, так или иначе осознавалось книжниками, хотя они и не видели надобности в его последовательном употреблении.

Как мы видели, эволюция системы показателей числа однонаправлена и проста. Степень книжности текста непосредственно соотнесена с тем, насколько часто выражается в нем значение двойственности. В не книжных текстах двойственность перестает обозначаться в XIII—XIV вв. В силу интерференции книжно-

³⁵ Я не включаю в число этих примеров формы *очюю*, *очима* (когда они не согласуются с другими формами дв. числа), несколько раз встречающиеся в тексте (см. неполный список у А. М. Иорданского 1960, 48), ср. «жену простил очюю болѣзнию» (там же, 154—155 — s. a. 1552); «испусти из очюю слезы» (165 — s. a. 1418); «простил духъ святыи малчека двунатцати лѣтъ, очима» (156 — s. a. 1560); «Никита чудотворецъ жену простил, а не видела очима восемь лѣтъ» (162 — s. a. 1571); «простил богъ женушку очима» (183 — s. a. 1553); «простила человека очима» (194 — s. a. 1572); «пречистая Софѣа божиа простила жонушку очима» (205 — s. a. 1542). Они по-иному распределены в хронологических слоях летописи, нежели «настоящие» формы дв. числа, и это хорошо согласуется с их статусом застывших образований (ср. форму *очима* в современных украинских и белорусских говорах). Отмечу также форму дв. числа, употребленную в значении ед. числа: «*Приидоста* в Новгород митрополит Кириль и поставаша архиепископа Новугороду именемъ Долмата» (188 — s. a. 1250; реликт старой записи оригинала, в котором речь шла о приезде двух архиереев, митрополита Кирилла и ростовского епископа Кирилла — см. НПЛ, 80); составитель летописи явно не соотносит эту форму со значением двоичности.

го и некнижного узуса это приводит к непоследовательности в обозначении двойственности и в книжных текстах, выражение двойственности в них может становиться факультативным. Оно не исчезает совсем, поскольку в воспроизводимых книжных текстах, служащих образцом для всего книжного употребления, дв. число остается нормативным вплоть до конца XVII в. Факультативность не предполагает переосмысления форм дв. числа как обозначений «множественности», она лишь снимает с книжника обязанность следить за последовательным употреблением данных форм. Это и создает традицию непостоянного (иногда лишь окказионального) обозначения двойственности, характерную для гибридного регистра. Когда такие обозначения появляются в тексте совсем редко, можно предполагать, что его автор не отдает себе отчета в значении соответствующих форм; он может себе это позволить, поскольку это не находится в прямой связи с риторической стратегией текста. Характер переосмысления наследуемого узуса определяется, таким образом, количественными показателями. Это и указывает на «технологичность» морфологической системы числовых показателей, позволяющую описать эволюцию этой системы в тех же количественных показателях.

6. Механизмы преемственности и динамика регистров письменного языка. Тип простых претеритов

Совсем иным образом обстоит дело с преобразованием системы прошедших времен. От того, какими грамматическими возможностями располагает в этой области носитель языка, зависит способ построения повествования, например, характер дифференциации описываемых событий или состояний как организованных в нарративную цепочку или как фоновых, образующих мизансцену для нарративной цепочки, как создающих условия для излагаемых далее событий или как случившихся вследствие того, о чем говорилось раньше, как указывающих на синхронность точки зрения повествователя с описываемыми событиями или как задающих повествованию ретроспективную точку отсчета. В хорошо организованном нарративе (прежде всего в письменном языке) потребности в такой дифференциации всегда актуальны, и поэтому арсенал доступных повествователю временных форм обычно не остается без дела.

Приведу простой, но от этого не менее показательный пример. «Скифская история» Андрея Лызлова, написанная в 1692 г., обнаруживает все характерные черты гибридного текста, что и понятно, поскольку автор продолжает и преобразует летописную традицию. Употребление прошедших времен у него непоследовательно, пропорция л-форм достаточно высока, имперфект редок и во многих случаях никак семантически не противопоставлен аористу. Тем не менее мы находим здесь следующий пассаж: «Турки, парфы, персы, венгры, сыкабры от их народу изыдоша. Асию Малую и Великую, вторую и величайшую часть света, мужеством *обладаша*, и *обладаху* ею с полторы тысящи лет...» (Лызлов 1990, 10). Соположение форм явно указывает на дифференциацию аориста и имперфекта: в первом случае выступает инхоативное значение ('завладели'), во втором — значение длительного действия ('владели долгое время'). Там, где указание на длительность действия отсутствует, в аналогичных контекстах появляется аористная

форма, ср.: «И тако от того времени *обладаша* нечестивии татарове странами оными» (там же, 28); «И тако от того времени турецкий султан оным славным генуенским градом Кафою *облада*» (там же, 128)³⁶. Таким образом, автор, чаще всего обходящийся одним аористом, при случае пускает в ход те возможности, которые создает полный набор временных форм; при этом он дифференцирует их, переосмысляя то употребление, которое было знакомо ему из его читательского опыта, и приспособлявая его к своим коммуникативным потребностям.

Когда арсенал временных форм меняется, повествователь решает свои коммуникативные задачи с помощью новых средств, хотя зависимость имеющихся средств и коммуникативных задач не является односторонней: наличие определенных средств выражения провоцирует постановку ряда коммуникативных задач. Если в разных регистрах языка набор средств различен (ср., отсутствие *passé simple* в регистре разговорного нарратива во французском языке), одни и те же формы оказываются наделены разными функциями (разным семантическим потенциалом) в разных регистрах; поскольку же регистры не являются взаимонепроницаемыми, осмысление (функции) определенных форм в одном регистре не может не влиять на их осмысление в другом регистре, и это создает момент динамического взаимодействия. Переосмысление (семантическая реинтерпретация) временных форм и является механизмом этого взаимодействия, так что переосмысление достаточно тесно связано здесь с коммуникативными задачами (способом изложения).

Именно такое взаимодействие имеет место в истории русского письменного языка. Когда в точности простые претериты исчезают из разговорного языка восточных славян, остается дискуссионным вопросом, не поддающимся простому решению и, возможно, не столь значимым, как это представлялось исследователям, сосредоточивавшим внимание на оппозиции церковнославянского и восточнославянского. То или иное решение зависит в основном от интерпретации письменных источников — как книжных, так и некнижных³⁷. Однозначные ре-

³⁶ Неясно, понимал ли Лызлов *обладати* как глагол несов. вида или как специально книжный коррелят глагола сов. вида *овладѣти*, ср. характерный контекст, где данный глагол находится в окружении двух глаголов сов. вида: «И вскоре по том Батый нечестивый царь с татары *попленил* Российския государства и *обладал* всеми странами, иже по Волге и до моря Хвалискаго, и *населшиася* тамо» (Лызлов 1990, 109). Похоже, что он использовал обе возможности, т. е. трактовал этот глагол как имперфективный, образуя от него форму имперфекта, и как перфективный, образуя от него форму аориста (см. ниже о соотношении оппозиции аориста и имперфекта с видовой корреляцией). Он, видимо, основывался при этом на припоминании разных освоенных им текстов, не волнуясь, естественно, возникающими в результате проблемами морфемного членения.

³⁷ Г. А. Хабургаев пытался привлечь данные иного рода. Он апеллировал к показаниям лингвистической географии, ссылаясь на то, что «изоглосса так называемого “нового перфекта” (*он ушотцы, сестра уехано* и т. п.), который должен был развиваться только (...) после принятия на себя старым перфектом функции прошедшего времени (...), т. е. только после утраты простых претеритов, включая аорист (...), совпадает с изоглоссами структурно не связанных между собой явлений, развившихся не позднее XII в. Иначе говоря, “современное” использование образований на *-л-* от основ разных видов с “неперфективными” значениями (...) должно было оформиться не позднее XII в.» (Хабургаев 1991, 48). Вряд ли, однако, этот аргумент имеет то значение, которое приписывает ему

шения возникают в силу того, что систематичность в письменном языке понимается как слепое отражение систематичности, наблюдаемой в разговорном языке. Поэтому, если исследователь находит в оригинальном памятнике систематическое употребление прошедших времен, он делает заключение о том, что соответствующие времена существовали в разговорном языке в период создания этого памятника; если, напротив, употребление одного из прошедших времен оказывается несистематическим, это рассматривается как свидетельство отсутствия данной категории в живом языке автора. Очевидно, что, приписывая употреблению систематичность или фиксируя отклонения от «правильного» употребления, исследователь опирается на закономерности, которые он сам реконструирует для системы живого языка, так что аргументация неизбежно содержит элементы порочного круга (или, по крайней мере, рекуррентной спирали).

Так, например, Ю. С. Маслов установил, что в восточнославянских памятниках имперфект употребляется в так называемом «кратно-перфективном» значении, причем в этом значении он может образоваться от глаголов сов. вида. Такое употребление, чуждое старославянскому языку, имеет место уже в самых ранних текстах, таких как Повесть временных лет или Житие Феодосия (Маслов 1954). Исходя из этого, Маслов говорит о необходимости «пересмотреть традиционную точку зрения, согласно которой в древнерусских памятниках эпического жанра имперфект употреблялся будто бы исключительно под влиянием церковнославянского языка, а живой разговорный язык древнерусской поры будто бы вовсе не знал форм имперфекта, как не знает их официально-канцелярский язык древнерусских грамот» (Маслов 1954, 138; ср. повторение этой точки зрения через тридцать лет: Маслов 1984, 138—139). Таким образом, Маслов строит новую систематику прошедших времен, обнаруживая закономерности там, где раньше могли видеть отклонения, и эти постулированные им закономерности служат для него свидетельством живого функционирования имперфекта в восточнославянских диалектах.

Такое употребление, однако, сохраняется и в позднейших памятниках, в которых имперфект является безусловно книжным элементом, не имеющим прямого соответствия в живом языке. Это означает, что книжники более позднего времени были в состоянии осмыслить и воспроизвести эту черту старого узуса, т. е. овладеть соответствующим употреблением имперфекта. Но если книжники могли овладеть этим употреблением без помощи разговорного языка, то они могли и «выдумать» его, не опираясь на разговорный язык, т. е. использовать формы имперфекта для обозначения многократности действия вне зависимости от того, как

автор. Принимая в принципе датирующую роль лингвогеографических данных, нельзя не заметить, что изоглосса сама по себе никак не указывает на первоначальную грамматическую семантику конструкции, в нашем случае «нового перфекта». «Новый перфект» мог развиваться в северо-западных восточнославянских говорах в XII в. с каким-то специфическим значением, которое мы сейчас не можем реконструировать, и лишь позже приобрести значение, фиксируемое в современных говорах. В силу этого хронология устранения «старого» перфекта, т. е. экспансии *л*-форм на неперфективные значения прошедшего времени (как можно полагать, не одномоментный, а длительный процесс, постепенно захватывавший разные семантические контексты), остается размытой, и опереться на что-либо, кроме интерпретации письменных источников не удается.

выражалось данное значение в разговорном языке. Такое употребление могло быть результатом переосмысления книжной формы имперфекта в рамках книжного языка, не имеющим отношения к тому, что происходило в языке разговорном. О возможности такого переосмысления свидетельствует хотя бы тот пример динамики в использовании аугмента имперфекта, который разбирался выше. Он указывает на то фундаментальное обстоятельство, что — вопреки представлениям Маслова — новые значения форм могут возникать отнюдь не только в разговорном языке, но и в языке письменном, который, как уже отмечалось, обладает для этого достаточной автономностью³⁸.

Можно сказать, что унаследованная от старославянского система прошедших времен живет в книжном языке восточных славян — в отличие от дв. числа, которое в книжном языке медленно (и не до конца) вымирает. Это важное отличие, и оно требует объяснения. Один из факторов лежит на поверхности, он состоит в том, что у дв. числа потенциал развития (семантической динамики, т. е. жизни) практически отсутствует, тогда как временные категории могут многократно переосмысляться. Другой фактор относится к связи этого переосмысления с коммуникативными потребностями. Потребность в аористе и имперфекте возникает

³⁸ Для этого, видимо, нужно, чтобы соответствующая семантическая категория существовала в том или ином виде в языковом опыте носителей. Повторяемость или множественность действия, выражавшаяся в книжных текстах имперфектом (как от простых, так и от приставочных глаголов) относилась, надо думать, к числу семантических категорий, известных восточнославянскому языковому опыту — прежде всего в силу наличия итеративов. Ничто не мешало, таким образом, восточнославянским авторам связать эту семантику с формой имперфекта. Такое соотнесение предполагало, конечно, определенное переосмысление данной семантики, включение ее в набор средств, использовавшихся для создания нарратива, занимающего периферийное положение в устной коммуникации, но получающего доминирующую роль в коммуникации письменной. Понятно, что обозначение повторяемости действия в повествовании отличается по своим смысловым характеристикам от обозначения подобной же повторяемости в иных коммуникативных ситуациях (типа *того луга не кашивал* в юридическом документе) и сближается со значением фонового действия, присущего имперфекту. Именно письменное изложение создает естественные условия для сдвига от семантики фонового действия к семантике итератива.

Приводимый Ю. С. Масловым пример имперфекта сов. вида в кратном-перфективном значении взят из Повести временных лет, из следующего пассажа, описывающего подвиги киево-печерского подвижника Исаакия: «*кгда же приспѣаше зима• и мрази люти• станаше в правошнѣ в черевьѣ в протоптаныѣ• тако примерзнашета нозѣ кго г камени• и не движаше ногама• дондеже ѿполаху заоутреню• и по заоутрени идаше в поварьницю• и приготоваше огнь• воду• дрова• и придаху прочни повари ѿ братъѣ*» (ПСРЛ, I, стб. 195; ср.: Шахматов 1916, 248; Маслов 1954, 89; о переводе этого текста см.: Лант 1994). На этом примере можно уяснить, как развивается подобное значение. За приведенным пассажем следует рассказ о том, что другой повар, решив посмеяться на Исаакием, предложил ему принести ворона, сидевшего снаружи, что Исаакий чудесным образом и исполнил. Таким образом, в повествовании процитированный пассаж описывает фон, на котором происходит чудо, фон же образуется тем, что случается постоянно или часто; можно думать, что функция имперфекта, обозначающего фоновые действия, обобщается на новый контекст — часто совершаемых действий, которые потенциально являются фоном для других. Потребность в фиксации такого рода значения возникает прежде всего в развернутом повествовании.

преимущественно в повествовании, тогда как в других коммуникативных жанрах их употребление, как можно судить по современному болгарскому, довольно ограничено. Понятно, что эти времена нашли самое широкое употребление в кирилло-мефодиевских переводах, прежде всего в переводах таких нарративных текстов, как Евангелие и Апостол. Можно предположить, что узус, возникший в этих переводах, синтезировал то употребление, которое имело место в славянских устных нарративных текстах (таких, например, как сказки), и те схемы использования временных категорий, которые определялись нарративной стратегией греческих оригиналов, проецируемых на славянский языковой материал (что, конечно же, не предполагает однозначного соотнесения временной структуры греческих оригиналов и славянских переводов; такая соотнесенность, как известно, в старославянских текстах отсутствует). Этот узус был унаследован всей последующей славянской книжной письменностью, зависимой от кирилло-мефодиевской традиции, в частности восточнославянской агиографией и летописанием.

Насколько узус, представленный в древнейших восточнославянских оригинальных книжных памятниках, отражал особенности современных им диалектов восточных славян, остается неясным, и не видно возможности это уяснить. Восточнославянские некнижные тексты содержат лишь весьма немногочисленные употребления простых претеритов. Можно полагать, впрочем, что основной причиной их редкости в некнижных регистрах является специфика коммуникативных задач этих текстов. Повествовательные фрагменты занимают в них минимальное место, так что контексты, требующие аориста или имперфекта, появляются в них редко, во всяком случае в явно недостаточном количестве для того, чтобы создать предусматривающую употребление соответствующих форм традицию изложения, которая хотя бы отдаленно напоминала традицию нарративных книжных текстов. Эта содержательная особенность юридических и бытовых документов приводилась исследователями в качестве аргумента против трактовки окказионально встречающихся в них форм аориста как «церковнославянизмов»: их окказиональность объяснялась их коммуникативной не востребованностью (см.: Селищев 1968, 131—132). Каковы бы ни были причины, понятно, что из отсутствия рассматриваемых элементов в некнижных текстах никаких прямых выводов о разговорном языке сделать нельзя: они могли не употребляться как в силу того, что их не было в разговорном языке, так и в силу того, что они были не слишком нужны для коммуникативных задач деловой и бытовой письменности.

Некоторое количество простых претеритов в некнижных текстах все же встречается. Существенная их часть может быть отнесена на счет интерференции книжного языкового опыта пишущих, в ряде случаев спровоцированной контекстом (например, тем, что в тексте затрагивается религиозная тематика), в ряде же случаев не поддающейся, как уже говорилось (см. § 1.3 о формах имперфекта в новгородской бытовой письменности), однозначному объяснению. В ряде случаев интерференция книжного языкового опыта не кажется правдоподобным объяснением. Так обстоит дело, к примеру, с формулами деловых документов типа *се купи, се заложи*, открывающими купчие и закладные грамоты. Форма аориста имеет здесь не обычное для данного времени значение действия в прошлом, рассматриваемого вне связи с настоящим (с референциальным моментом), но значение действия, зафиксированного в данном документе как совершенное и сохра-

няющее свою действенность в референциальный момент (момент предъявления документа). Мы имеем здесь дело со своего рода письменным перформативом (ср.: Зеemann 1983, 555—556), и эта функция аориста никак, видимо, не выводится из того круга значений, в которых аорист употребляется в книжном языке (хотя стоящий за этой функцией семантический механизм достаточно понятен: действие совершено, и этот факт ни от какого референциального момента не зависит). Это служит определенным указанием на существование аориста в разговорном языке, правда, отнюдь не обязательно в языке, современном даже древнейшим письменным памятникам — формулы такого рода могут весьма длительное время сохраняться в устной традиции.

Рассмотренный пример ясно показывает, что — вне зависимости от того, употреблялись ли простые претериты в разговорном языке восточных славян в период формирования книжных письменных традиций или нет, — книжное употребление прошедших времен обладало существенной автономией по отношению к разговорному узусу и источником этой автономии была усвоенная восточными славянами кирилло-мефодиевская традиция. Эта традиция, как показывает обсуждавшаяся выше работа Ю. С. Маслова об имперфекте глаголов сов. вида, подвергалась переосмыслению уже в древнейший период — неясно, в силу каких причин: влияния ли разговорного узуса или реинтерпретации книжного употребления внутри самой книжной письменной традиции. В дальнейшем эта реинтерпретация продолжалась, и, поскольку в какой-то неизвестный нам момент простые претериты были утрачены разговорным языком, продолжалась явно не под прямым влиянием разговорного языка.

Идеальным материалом, на котором может быть прослежен процесс реинтерпретации, являются летописи, дающие возможность наблюдать различия между воспроизводимым узусом и узусом оригинальным, соответствующим грамматике, которую книжник строит на основе воспроизводимого узуса. Реконструировать механизмы преемственности позволяет лингвистическая гетерогенность летописей. Те части, которые книжник воспроизводит, основываясь на удаленных от него по времени источниках, и те части, которые он пишет самостоятельно, связаны непрерывной цепью связующих звеньев, указывающих на постепенность эволюции узуса (ср.: Живов 1995а; Петрухин 1996). Летописец, излагая события, не известные ему как современнику, пользовался источниками, написанными до него, чаще всего просто их воспроизводя или компилируя. Части летописи, восходящие к более ранним источникам, сохраняют языковые особенности своего времени, но вместе с тем обнаруживают их восприятие позднейшим автором, интерпретировавшим их лингвистические характеристики в соответствии со своим языковым опытом. В этих частях механизм реинтерпретации воздействует на воспроизводимый текст, обуславливая вносимые в него изменения. Вместе с тем новый текст, добавленный летописцем, позволяет увидеть, как тот же опыт реализуется в собственных письменных навыках редактора.

Понятно, что членение на воспроизводимую и оригинальную части не всегда однозначно. Летописец может компилировать не из одного, а из нескольких источников, и в этом случае его вмешательство в воспроизводимый текст будет, как правило, более значительным. В самом процессе компиляции источники подвергаются определенной обработке: сокращаются, пересказываются, дополняют-

ся комментариями, и в ходе этой работы летописец ориентируется одновременно и на язык обрабатываемых текстов, и на собственные языковые представления, так что расчленив отдельные пласты оказывается порой достаточно сложно. Равным образом, и оригинальная часть обычно оригинальна в разной степени. Одни сообщения практически повторяют предшествующие (например, сообщения о рождении или смерти князя, обретении мощей, пожарах, солнечных затмениях и т. д.), и автор часто пользуется в этом случае теми же выражениями, которые он только что воспроизводил, компилируя из чужих текстов, и может повторять их синтаксические и морфологические особенности. Другие сообщения, как уже упоминалось выше, труднее соотносятся с готовыми образцами, и в них поэтому инновации, связанные с реинтерпретацией, будут более заметными.

Из того, что говорилось выше, ясно, что вопрос о членении на воспроизводимый и оригинальный материал зависит и от уровня языка, подвергаемого анализу. На это указывал еще Н. Н. Дурново, писавший: «Позднейшие переписчики, хотя и вносили в текст изменения согласно современным им орфографическим и грамматическим нормам, не могли стереть всех следов своих протографов. Данные для истории р. языка за XI—XIII вв., извлекаемые из летописных сводов XIV в. и позднее, касаются главным образом синтаксиса, в меньшей степени морфологии и в еще меньшей — фонетики» (Дурново 1969, 112—113). Разная оценка явлений разных уровней связана с уже упоминавшимися различиями в работе книжника с орфографическими, морфологическими, синтаксическими и лексическими элементами, с разной степенью нормированности этих уровней, с различиями в характере их связи с коммуникативным заданием.

Дурново, правда, пишет о нормах, что, как мы видели, предполагает иную («искусственную») модель развития письменного языка, чем та, которая предлагается в настоящей работе. С нашей точки зрения, речь должна идти об изменении узуса (языковых навыков) и приведении воспроизводимого текста в частичное соответствие с этими навыками. Изменение узуса может происходить, как ясно из приводившегося выше примера с аугментом имперфекта, в силу внутренних (системных) причин, но может быть вызвано и внешним воздействием. Именно как внешнее воздействие следует рассматривать и влияние других регистров, в том числе и разговорного языка пишущего. Характер воздействия в существенной мере зависит от типа подвергающихся воздействию элементов. Дурново справедливо замечает, что менее всего такое воздействие изменяет синтаксис, и это легко объясняется, с одной стороны, невыраженностью нормативной регламентации синтаксиса, а с другой — зависимостью синтаксического построения от риторической стратегии. В силу этого у пишущего отсутствует сильный импульс к исправлению, создаваемый четкими представлениями о правильности, и в то же время имеются существенные основания для сохранения если и не всех деталей, то по крайней мере общих черт синтаксической организации сообщения.

С морфологией, как мы видели, дело обстоит иным образом. Морфологические элементы являются предметом постоянной реинтерпретации, тип которой зависит от устройства грамматической категории. В случае прошедших времен реинтерпретация носит содержательный характер, т. е. затрагивает семантику и прагматику морфологических элементов. Когда мы имеем дело с летописью, составленной последовательными трудами нескольких поколений летописцев, ре-

интерпретация может реализоваться как постепенный процесс, при котором развитие совершается, так сказать, на прецедентной основе: каждое следующее поколение идет несколько дальше своих предшественников, пользуясь их узусом как прецедентом.

Именно в этом ключе можно интерпретировать в Лаврентьевской летописи ту экспансию употребления перфекта, теснящего имперфект и аорист, которая весьма убедительно была реконструирована Э. Кленин (Кленин 1993). Расширение сферы употребления перфекта происходит за счет реинтерпретации, при которой позднейший летописец всякий раз опирается на прецеденты, встреченные у своего предшественника, но придает им более общее значение: результатив воспринимается как любое ненарративное употребление, ненарративное употребление понимается затем как категория, приложимая к любому действию, упоминаемому вне строгой нарративной последовательности, и с каждой реинтерпретацией сфера употребления перфекта расширяется. Поскольку этот процесс имеет вид системного (естественного), Э. Кленин предполагает, основываясь на представлении о тождестве системного («естественного») и разговорного, что мы имеем здесь дело с непосредственным отражением развития разговорного языка. Доказать эту гипотезу так же сложно, как опровергнуть, поскольку данными о разговорном языке XI—XIV вв. мы не располагаем. Не менее правдоподобно во всяком случае, что экспансия употребления перфекта в разговорном языке предшествовала всем тем изменениям, которые мы наблюдаем в Лаврентьевской летописи, а системность наблюдаемых процессов обусловлена постепенностью реинтерпретации внутри самой письменной традиции.

Реинтерпретация форм прошедших времен определенно взаимодействует с динамикой риторических (нарративных) стратегий, наблюдаемых в летописании, — момент, полностью отсутствовавший в реинтерпретации форм дв. числа. Как показал П. В. Петрухин на материале Пискаревского летописца середины XVII в., гетерогенность этого текста относится не только к составу и количественным параметрам морфологических вариантов, но и к способу представления излагаемых событий (Петрухин 1996). С начала XV в., т. е. с периода, к которому можно отнести первые попытки создания больших летописных компиляций, синтезирующих разные местные традиции (иными словами, общерусских летописных сводов), характер изложения меняется. Летописец начинает суммировать события, и это приводит к появлению ретроспективного контекста или ретроспективной точки отсчета (см. об этих понятиях: Падучева 1996, 30—31). В данном контексте начинают употребляться глаголы с общефактическим значением в формах прошедших времен типа *приходиша*, предполагающие суммированное описание события (пришли, побыли, ушли). Для таких глаголов (видимо, вообще для приставочных глаголов несов. вида) противопоставление перфектного, аористного и имперфектного (длительного, не соотнесенного с точкой отсчета) значения нейтрализуется, и эта нейтрализация может служить стимулом для реинтерпретации всей системы прошедших времен. Как замечает Петрухин (1996, 76), по существу, «[с]емантические различия между простыми претеритами и л-формами стираются: они функционируют как варианты».

В данных условиях оказывается, что для пишущего «[в]идовая характеристика глагола является (...) важнейшим фактором в выборе формы претерита, а все

прочие факторы, в том числе фактор традиции, ограничивавшей ⟨...⟩ употребление имперфекта определенными типами нарратива и предписывавшей образовывать их преимущественно от неопределенных глаголов (бесприставочных), отходит на второй план» (там же, 74). Таким образом, смена режима повествования приводит к реинтерпретации морфологических элементов, адаптирующей их семантику к тем семантическим категориям, которые актуальны для языкового опыта пишущих в данный период: для того чтобы «формы аориста и имперфекта» стали, как пишет Петрухин, «производными, соответственно, от основ СВ и НСВ», видовое противопоставление должно было утвердиться в представлениях книжников как основная характеристика глагольной основы. Следовательно, реинтерпретация, осуществлявшаяся внутри гибридной письменной традиции, опосредованно отражала изменения, происходившие в других регистрах языка (ср. Введение, § 3). Характер переосмысления временных форм, привязывающего их к категории вида, наиболее отчетливым образом отражается в заменах аористов от бесприставочных глаголов (несов. вида) соответствующими аористами от приставочных глаголов (сов. вида), нередким в позднейших летописных сводах или позднейших списках летописей, ср. варианты Радзивилловского и Академического списков ПВЛ в отношении к Лаврентьевскому типу *побѣгоша — бѣжаша, придоша — приходиша* и т. п. — ПСРЛ, I, стб. 70, 106).

Переосмысление дифференциации простых претеритов в терминах видовой оппозиции никогда не дает стопроцентных результатов в порождаемых с помощью этого механизма текстах. Действительно, переосмысление происходит в рамках преемственности узуса, а не как смена одного узуса другим. Поэтому, скажем, аорист от бесприставочных глаголов несов. вида (симплексов) продолжает употребляться, хотя, видимо, и в снижающихся пропорциях. Иначе и не может быть, поскольку такие аористные формы, как *видѣ, умре, моли* и т. п., входили в многочисленные выражения, известные книжникам как устойчивые коммуникативные фрагменты, и порождались автоматически.

Сам механизм связи простых претеритов с видом сохранял при этом свою значимость. Он не только работал там, где память не диктовала книжнику готового выражения, но имел принципиальные последствия для систематики видо-временных элементов, посредством которых книжник мыслил и излагал описываемые события. Он теснейшим образом связан с развивающимся дискурсивным потенциалом видовой оппозиции. Этот процесс, подробно описанный Н. Бермелом (Бермел 1997), приводил к тому, что возрастал объем информации, передаваемой видовой формой (там же, 108), так что спектр нарративных функций вида оказывался сопоставим со спектром аналогичных функций книжной временной системы. В результате для основного изложения аорист и имперфект оказываются вариантами л-форм соответственно сов. и несов. вида³⁹, так что выбор между

³⁹ Такое переосмысление может, видимо, не затрагивать особые случаи употребления простых претеритов, например, употребление имперфекта в итеративно-распределительном значении, когда имперфект обозначает множественное действие, т. е. либо действие, совершаемое много раз одним лицом, либо действие, совершаемое один раз многими лицами (о подобном употреблении имперфекта см.: Кленин 1995, 83; Петрухин 1996, 70). Формы имперфекта применяются для выражения данного значения, являющегося распро-

простыми претеритами и *л*-формами становится стилистическим и простые претериты получают возможность функционировать как чистые признаки книжности — сходно с тем, как функционировали формы дв. числа.

Это обуславливает появление поздних летописных текстов (частей летописных сводов, охватывающих конец XVI — XVII столетия), в которых *л*-формы составляют до 90 % всех форм прошедшего времени (соответствующие части Новгородской второй летописи, Пискаревского летописца, Мазуринской летописи). В этих текстах употребление простых претеритов (в основном одного аориста) становится композиционно или тематически обусловленным. Такие тексты представляют крайние случаи, занимающие периферийное положение в русской книжной письменности XVII в., однако они показательны в том отношении, что реализуют потенциал вариативности, сформировавшийся в результате переосмысления категорий прошедшего времени⁴⁰. Реинтерпретация осуществляется в подобных случаях радикальным образом, однако сами ее механизмы являются общими для всех текстов гибридного регистра.

странением (переосмыслением) итеративного, во многих поздних памятниках. В этом частном случае имперфект остается нетождествен по функции *л*-форме несов. вида.

⁴⁰ Композиционная мотивированность обуславливает употребление форм аориста и имперфекта в рамочных частях текста, прежде всего в его начале; в этом случае пишущий пользуется данными формами для того, чтобы с самого начала обозначить книжный характер создаваемого им текста; поскольку такое обозначение присутствует, в дальнейшем изложении необходимости в специально книжных формах уже не возникает и основным средством выражения становятся *л*-формы. Тематическая мотивированность обуславливает употребление форм аориста и имперфекта в тех фрагментах, которые в рамках данного произведения маркированы по своему содержанию: речь может идти о сакральных предметах, о библейской или античной истории и т. п. В этом случае характерное для всей средневековой литературы подражание образцам становится (в большей или меньшей мере) сознательным приемом письма, позволяющим дать формальное выражение разной семиотической значимости описываемых предметов, грамматически выделить то, что имеет непосредственное отношение к культурным ценностям автора, противопоставив эти предметы повышенного внимания нейтральному повествованию. Ряд примеров того, как действуют указанные факторы, можно найти в новеллах из «Римских деяний» или в «Географии» Помпония Мелы. По такой схеме построены и некоторые русские исторические сочинения конца XVII — начала XVIII вв. (см.: Жульева 1973; Солуянова 1989), равно как и ряд других текстов (ср.: Жульева 1973а; Скоморохова-Вентурины 1988).

Так устроены, например, «Записки о стрельцком бунте», входящие в состав Мазуринского летописца (ПСРЛ, XXXI, 173—179). Основным способом выражения прошедшего времени являются здесь *л*-формы, тогда как аорист встречается лишь в 16 случаях. Четыре из этих 16 приходится на начало текста: «Лета 7189 году на московском государстве *бысть* знамение велие: на небеси *явися* ⟨...⟩ звезда ⟨...⟩ И *поиде* от звезды хвост узок и от часу *нача* распространяться в ширину» (л. 289). Практически все остальные случаи употребления аориста тематически мотивированы, они появляются там, где речь идет об основных, входящих в сакрализованый обиход событиях царской жизни: восшествии на престол, браке, преставлении. См.: «Государь царь и великий князь Федор Алексеевич ⟨...⟩ *похотеша* [смешение форм аориста и имперфекта] совокупитися второму законному браку. И *взя* за себя государь Матвееву дочь» (л. 299 об.); «и крест ему государю *целоваша* бояря и окольные» (л. 300); «А на погребение царское на выносе прежде *несоша* крест запрестольной ⟨...⟩ И *погребоша* его, государя, в соборной церкви» (л. 300) и т. д. (ср. еще: Жульева 1973, 327—328).

Радикализм реинтерпретации зависит от мастерства книжника. Чем выше это мастерство, тем больше книжник «вживается» в способ изложения, представленный в воспроизводимых частях летописи, и тем меньше он отклоняется от унаследованного узуса под влиянием инородного языкового опыта (в частности, опыта разговорного языка). У изощренных книжников различия между воспроизводимым узусом и оригинальным узусом оказываются минимальными, так что текстовые швы, проходящие между частями летописи, составленными разными летописцами, достаточно сложно обнаружить. Если, напротив, этот опыт ограничен и неотрефлексирован, переосмысление может заходить достаточно далеко (или, напротив, автор может буква в букву копировать свои оригиналы, и тогда переосмысление вообще никак не реализуется). Примером может служить только что упоминавшийся Мазуринский летописец, составитель которого не обладал, видимо, большим опытом книжной деятельности. В оригинальной части его летописи простые претериты составляют лишь четверть всех форм прошедшего времени, тогда как в воспроизводимых частях более трех четвертей, так что отсутствие простых претеритов в разговорном языке автора отражается в тексте в полной мере. Он не в ладах с книжными причастными формами, и поэтому смешивает их с личными глагольными формами, не согласует их по роду и числу, ставит их не в те падежи (Живов 1995а). Отсюда и радикальность переосмысления грамматических форм в воспроизводимых частях.

Наиболее яркий пример подобного переосмысления в Мазуринской летописи наблюдается в начальной части текста, в статьях, заимствованных из святцев. В этих статьях регулярно употребляется форма аориста 3 мн. *быша* при субъекте в ед. числе, причем субъект может обозначаться как формой им. ед., так и формой род. ед., ср.: «Лета 5852, в та же лета *быша* святыи мученик Иоанн Воинственник в царство Иулиана Преспутника (sic!)» (ПСРЛ, XXXI, 25); «Того же году, в та лета *быша* святаго священномученика Тимофея, епископа прусскаго, в царство Иулиана Преступника» (там же); «Того же году, в та лета *быша* иже во святых отца нашего Павла Исповедника» (там же). Возможно даже совмещение формы им. ед. и род. ед. при обозначении одного субъекта: «Того же году, в та лета *быша* иже во святых отец наш Кирила» (там же, 24); «Того же году *быша* преподобныи отец наш Харитон Исповедник, живша и пострадаша в царство Аврелиане» (там же, 18). Реже в этой же функции употребляется форма ед. ч. *бысть* — опять же без согласования, ср.: «Того же году, в та лета *бысть* святых мученик и исповедник Гурия Самона» (там же, 19). Во всех этих случаях мы имеем дело, видимо, с трансформациями стандартной записи в месяцеслове, использующей причастие *быша* или *бывшаго* типа «Святаго апостола Иакова брата Господня по плоти, епископа *бывша* перваго во Иерусалиме» (23 октября). В нескольких случаях сохраняется и исходная причастная форма, ср.: «Того же году, в та же лета *бывшаго* иже во святых отца нашего архиепископа...» (там же, 23); «Лета 5850, в та лета *бывша* преподобнаго отца нашего Авраамия Затворника» (там же, 24). Отсюда объясняется и появление род. ед. вместо им. ед.: в святцах при перечислении опускается заглавное слово *память* или *празднование*. Редкие вкрапления статей, демонстрирующих данные языковые аномалии, попадают и в других частях летописи; они всякий раз указывают на заимствование из святцев. Причастие ис-

ходного текста явно было осмыслено составителем как универсальный предикат с неясной ему субъектной валентностью.

Таким образом, обращение к языку летописей позволяет увидеть тот комплекс факторов, который обуславливает изменения в письменном языке. По своей природе, как обнаруживается, они не отличаются принципиально от факторов, мотивирующих эволюцию разговорного языка, поэтому нет оснований рассматривать историю письменного узуса как нечто целиком искусственное или целиком вторичное. Письменный узус (фрагментированный в средние века по отдельным регистрам) обладает собственной органической динамикой, основанной на трансформации навыков, сформировавшихся в процессе чтения, в навыки активного употребления письменного языка. Книжник точно так же строит свою грамматику, реинтерпретируя наследуемый узус, как это делает говорящий, осваивающий разговорный язык старшего поколения.

Характер реинтерпретации зависит от тех элементов, которые ей подвергаются. В наименьшей степени реинтерпретационные изменения затрагивают синтаксис, поскольку основные параметры синтаксического построения находятся в прямой связи с коммуникативным заданием текста: наследуя коммуникативное задание, пишущий осваивает и присущую ему синтаксическую стратегию. Эта преемственность коммуникативного задания оказывается препятствием для взаимодействия с другими регистрами, равно как и для реинтерпретации, обусловленной подобным взаимодействием.

В морфологии переосмысление осуществляется по-разному в зависимости от степени связи морфологических элементов с коммуникативным заданием. Если такая связь слаба и элементы носят «технологический» характер, как в случае дв. числа, переосмысление не создает для них нового употребления, но лишь изменяет условия этого употребления, превращая его, например, из регулярного в факкультативное. Если, напротив, морфологические элементы связаны со способом представления информации, как в случае прошедших времен, они обладают иным потенциалом развития. Пишущий находит для них употребление всякий раз, что он сталкивается с определенными коммуникативными потребностями, и это употребление основано на тех семантических категориях, в которых он осмысляет сообщаемую им информацию. Переосмысление обладает в этом контексте куда более содержательным характером, чем в случаях, подобных переосмыслению числовой парадигмы. Оно создает условия и для внутреннего развития внутри письменного книжного языка, и для интерференции с узусом других регистров.

7. Формирование нового литературного языка как процесс европеизации

Нормализация, осуществляющаяся в рамках формирования нового литературного языка, также представляет собой случай переосмысления. Оно лишь носит в этом случае специфический характер, будучи вполне сознательным и подчиняясь эксплицитно формулируемым правилам. Как уже говорилось, формирование литературного языка имеет место тогда, когда создается идиом, претендующий на

полифункциональность и общезначимость. Он должен выполнять коммуникативные задачи, которые ранее были распределены между разными регистрами письменного языка, и обладать авторитетом, воплощая в себе дискурс культурного господства секулярной власти. Эти требования к литературному языку не могут не обусловить новых коммуникативных задач письменного языка и, в силу этого, новых риторических стратегий, организующих литературный язык. Переосмысление, принимающее форму нормализации, осуществляется именно в контексте этих новых риторических стратегий. Кодификация, т. е. создание нормативного лингвистического (грамматического) руководства, утверждает господство новой нормы как символической проекции новой государственной культуры. В России эта новая государственная культура была декларативно «европейской», именно в этом качестве она противопоставлялась в господствующем дискурсе культуре традиционной, и поэтому норма литературного языка должна была стать нормой «европейской».

В чем должна была выражаться европейская натура нового литературного языка, не было вполне ясно его устроителям, и решение этого вопроса заняло практически все XVIII столетие. Простейший ответ давал лексический уровень, и именно этим простым путем шли авторы Петровской эпохи. Он заключался в широком употреблении заимствований, часто неассимилированных и в большинстве случаев коммуникативно избыточных. Заимствования из западноевропейских языков усваиваются в это время в чрезвычайном количестве, история их усвоения была предметом многочисленных исследований (см.: Христиани 1906; Смирнов 1910; Биржакова, Войнова, Кутина 1972; Оттен 1985). Процесс этот настолько интенсивен, что часто именно он рассматривается как основная черта языкового развития данного периода. Чаще всего употребление заимствований обусловлено не потребностями в сообщении новой информации, а маркировкой культурной позиции пишущего (говорящего). Об этом свидетельствуют весьма распространенные в текстах этого времени внутритекстовые глоссы, т. е. соположение нового способа обозначения предмета со старым, известным читателю, ср., например, у Прокоповича в «Правде воли монаршей»: *презерватива, или предохранительное врачество; резонами или доводами; резоны или доводы; экземпли или примѣры* и т. д. (ПСЗ, VII, № 4870, 606, 607, 634; ср. еще многочисленные примеры подобных глосс под рубрикой «глоссы» в словаре заимствований, приведенном в исследовании: Биржакова, Войнова, Кутина 1972, 101—170).

Как мне уже приходилось отмечать (Живов 1996, 143—149), заимствования служат символами новой культуры. С этой культурой формируемый таким образом литературный язык разделяет и ее европеизирующие установки, и ее полемическую направленность в отношении к предшествующей культурной и языковой традиции. Такой путь не уникален в европейском языковом строительстве данного периода, вполне отчетливо он прослеживается, например, в истории немецкого языка XVII — начала XVIII в., заимствования из французского широко распространяются здесь в текстах разных жанров, прежде всего в галантной поэзии, но отчасти и в романе, и в нарождающейся журналистике. Точно так же, как в России, они выражают прежде всего новую культурную ориентацию, ориентацию на господствующую в Европе французскую культуру, и их появление лишь в малой степени обусловлено необходимостью обозначить новые понятия или

вещи; наблюдаются здесь и характерные внутритекстовые глоссы, например, в переводах Мартина Опитца и в особенности у Ганса Мошероша (ср.: Хенне 1966, 116—117). Русское языковое строительство развивается, видимо, не без оглядки на этот прецедент.

Однако уже в Германии XVII в. такое решение воспринимается как неудовлетворительное и вызывает пуристическую реакцию (находящую обоснование, в частности, в трудах Ю. Г. Шоттеля или Ф. Цезена⁴¹). Побудительные мотивы этой реакции достаточно очевидны, один из них имеет более поверхностный, а другой более глубинный характер. Первый определяется культурной ориентацией на Францию, законодательницу хорошего вкуса в континентальной Европе. Подражая французам, нужно было стать столь же ревностными пуристами, как и сами французы, и расправиться с теми самыми заимствованиями из французского, которыми шеголяли офранцузившиеся петиметры. Немецкий пуризм переключается с французским и, в свою очередь, служит, видимо, одним из проводников французской лингвистической моды в европеизирующуюся Россию. Второй мотив вытекает из задач формирования национального литературного языка. Общеобязательный языковой стандарт символизировал власть абсолютистского государства, и заимствования противоречили этой символической функции, поскольку они воплощали обращение к внешнему авторитету и тем самым нарушали абсолютистскую парадигму. В силу этого попытки решения проблемы «европейского» литературного языка за счет заимствований были обречены на неудачу и скоротечны⁴².

Существенно большее значение имели преобразования в синтаксисе. Европеизация культуры предполагала усвоение и переработку тех риторических стра-

⁴¹ Было бы любопытно выяснить, знал ли что-нибудь об орфографических и лексикологических экспериментах фон Цезена В. К. Тредиakovский или напрашивающиеся аналогии его деятельности в зрелый период с деятельностью немецкого автора объясняются сходством лингвистических и культурных задач. Грамматические сочинения Шоттеля повлияли на И. В. Пауса, а через его посредство и на все дальнейшее развитие русской грамматической мысли.

⁴² Стоит оговориться, что русская культурно-языковая ситуация этого периода обнаруживает некоторые сходства с немецкой, но отнюдь не повторяет ее. Достаточно указать, что одним из основных источников нового немецкого языкового стандарта был Лютеровский перевод Библии; к нему постоянно обращались авторы, занятые проблемами языкового строительства, и в XVII, и в XVIII столетии (преимущественно, понятно, работавшие в протестантских княжествах Германии). Этот источник связывал новый языковой стандарт с национальной традицией и, не ограничивая значимости этого стандарта как символа нового просвещения, создавал для него предысторию в национальной традиции. В России никакого подобного источника не было (на что в свое время указывал М. В. Ломоносов в «Рассуждении о пользе книг церковных», ср.: «...как Немецкий народ стал священныя книги читать и службу слушать на своем языке; тогда богатство его умножилось и произошли искусные писатели» — Ломоносов IV, 226; VII², 588; ср.: Кайперт 1991; Пиккио 1992, 144). Славянская Библия воспринималась реформаторами письменного языка как часть отвергаемой «неевропейской» традиции. Поэтому культурный разлом, символизировавшийся новым стандартом, был существенно более глубоким и создавал более сложные проблемы в устройстве этого стандарта (ср. еще о значении немецкого образца, Лютеровской Библии и появлении концепта «церковных книг»: Унбегаун 1973; Кайперт 1994а; Кайперт 1996).

тегий, которые были присущи европейскому культурному дискурсу этой эпохи, а новые риторические установки должны были сказаться и на синтаксическом устройстве текстов новой культуры. При этом стоит иметь в виду, что эти тексты в существенной своей части были переводными, и тем самым формирование нового синтаксического стандарта могло идти по тому же пути, по которому когда-то, во времена Кирилла и Мефодия, формировался синтаксис церковнославянского языка, т. е. за счет соединения калькированных синтаксических построений оригинала с языковыми средствами языка перевода (ср. § 1.2).

О западноевропейском происхождении синтаксического стандарта русского литературного языка писали в 1970-е годы А. В. Исаченко и Г. Хютль-Фольтер, указывавшие, что именно на синтаксическом уровне формирование русского литературного языка нового типа представляет собой разрыв с предшествующими традициями. Как отмечала Г. Хютль-Фольтер, «*der Syntax als höchste Ebene im hierarchischen System der Sprache kommt entscheidende Bedeutung bei der Beurteilung zu, ob ein sprachlich stark gemischter Text in der einen oder anderen Sprache abgefasst ist*» (Хютль-Ворт 1978, 188). Основываясь на этом общем положении, исследователь делал вывод, что «[г]лубокие преобразования в области синтаксиса, которые происходили в русском литературном языке с начала и до конца XVIII в., завершившиеся в Новом слоге, убедительно доказывают, на наш взгляд, мнение, что речь идет о новообразовании [т. е. что русский литературный язык XVIII в. представляет собой новообразование. — В. Ж.]. Иначе говоря, синтаксис нового языка равным образом отличается от синтаксиса церковнославянского языка и делового» (Хютль-Фольтер 1987, 9).

Ряд примеров, приводившихся при обсуждении этого вопроса, был весьма выразителен и прекрасно иллюстрировал общий тезис. Так, например, А. В. Исаченко полемизировал с Е. Т. Черкасовой, утверждавшей, что «синтаксический строй русского языка (...) изначально развивался по собственному пути» (Черкасова 1972, 81) (Черкасова в свой черед полемизировала с Б. О. Унбегауном) и в качестве доказательства рассматривавшей средства союзного подчинения. Если Черкасова заявляла, что эти средства сложились «в недрах живой народной речи» (там же, 78), то Исаченко резонно замечал, что «*eine ansehnliche Zahl russischer Konjunktionen keineswegs als Schöpfungen der russischen Kanzleisprache, sondern als Lehnprägungen aus dem Französischen, Deutschen oder Polnischen zu erklären sind*» (Исаченко 1974, 270). В частности, например, союз *благодаря тому что* появляется именно как калька фр. *grâce à* или нем. *dank* (с дативом), о чем и свидетельствует дативное управление, при том что глагол *благодарить* управляет вин. падежом (Исаченко 1974, 270). Отсюда делался вывод, что разрыв в преемственности был обусловлен ориентацией на синтаксис новых европейских языков (французского и немецкого), откуда и был усвоен новый принцип синтаксического построения. «*Es ist wohlbekannt, — утверждает Г. Хютль-Фольтер, — dass der kirchenslavische Anteil auf den Gebeit der Syntax im Laufe des 18. Jahrhunderts durch lateinische und westeuropäische Vorbilder abgelöst wurde, wobei des Französische den umfassendsten und nachhaltigsten Einfluss auf die neuere russische Schriftsprache ausübte*» (Хютль-Ворт 1978, 189).

Мне такое суждение представляется слишком радикальным. Перелом, видимо, и в самом деле имел место, и внешние образцы сыграли в нем определенную

роль, однако вряд ли при этом стоит преуменьшать значение преемственности. Ситуация в Петровскую эпоху не была аналогична той, которая имела место при начале славянской письменности. Кирилл и Мефодий начинали с пустого места; поскольку речь шла о славянском, никаких навыков письменного изложения не было ни у них, ни у их учеников. Авторы XVIII в. были в принципиально ином положении. Они обладали сложившимися навыками книжного письма, и тот сознательный пересмотр, которому подвергала эти навыки языковая реформа (процесс формирования нового литературного языка), не мог полностью изгнать их из памяти и заменить свежими, но мог лишь выборочно их модифицировать. Процесс состоял именно в пересмотре и отборе из существовавшего запаса, в приспособлении его к новым коммуникативным задачам, но — очевидным образом — не в смене языкового материала. К синтаксису это относится не в меньшей мере, чем к другим уровням.

Приведу один частный, но вполне показательный пример. Г. Хютль-Фольтер, исследуя ряд переводов с французского, которые могут рассматриваться как тексты, воплощавшие новый языковой стандарт, указывает, что от многих старых конструкций в анализируемых памятниках сохраняются лишь единичные следы, имея в виду, в частности, относительные предложения с союзами *иже, яже, еже* (Хютль-Фольтер 1996, 35). Они оказываются вытесненными относительными предложениями с *который*, широко представленными, действительно, в рассматриваемых текстах. Исследователь не утверждает, понятно, что данный тип относительных предложений возникает только в XVIII в., но отмечает, что в текстах XVIII в. он встречается несравненно чаще, чем в текстах XVII в. Например, у Котошихина построения с *тот — который* встречаются лишь 9 раз, тогда как в анализируемых Г. Хютль-Фольтер переводах примеры исчисляются десятками (там же, 44). До какой степени справедливо предлагаемое исследователем объяснение, согласно которому утверждение относительных предложений с *который* в новом языковом стандарте обусловлено их соответствием французским синтаксическим построениям?

Относительные союзы *иже, яже, еже* действительно перестают употребляться в текстах XVIII в., и их место занимает союз *который*, однако это по существу лексическая замена, не меняющая сама по себе синтаксического построения. Эти служебные слова принадлежат к числу признаков книжности, и их устранение как раз и символизирует разрыв с церковнославянской языковой традицией (ср. о правке, которой подвергает эти союзы С. Лихуд, редактируя перевод «Географии генеральной» Б. Варения: Живов 1986а, 253). Этот процесс, естественно, никак с влиянием французского или немецкого синтаксиса не связан. Именно замена *иже, яже, еже* на *который* и обуславливает рост того типа относительных предложений, на которых останавливает внимание исследователь. Относительное подчинение было широко представлено в синтаксисе книжных регистров письменного языка, входило в навыки книжного изложения, и трансформация этих навыков состояла лишь в том, что вместо одного относительного местоимения авторы новых текстов стали употреблять другое. Синтаксическое построение при этом никак существенно не изменилось, и вряд ли сколько-нибудь значительно изменились статистические параметры, если иметь в виду частоту употребления от-

носительных предложений рассматриваемой конструкции вне зависимости от того, какое из относительных местоимений служит средством связи⁴³.

О преемственности между устройством относительного подчинения в гибридном регистре и в новом литературном языке может, как кажется, свидетельствовать такая частная деталь, как позиция относительного местоимения, указывающего на принадлежность стоящего в придаточном существительного определяемому имени. В текстах первой половины XVIII в. (в отличие от современного языка) относительное местоимение ставится в большинстве случаев в начале придаточного, ср. примеры из «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля в переводе А. Кантемира: «Меркурии [...] близок к Солнцу, *в котораго лучах* почти всегда скрыт живет» («*dans les rayons duquel*»); «однакож изрядно можно изобразить себе в уме такое солнце, *котораго часть* некая покрыта пятнами неподвижными» (Хютль-Фольтер 1996, 49). Ср. также в (также переводном) «Кратком описании комментариев Академии наук»: «многіе греческіе преводники въ Арапѣхъ были <...> *въ которыхъ число* и сего Алсалема Алтаржемана причести надлежить» (Краткое описание 1728, 182—183). Аналогичные примеры легко найти и в оригинальных текстах, ср. у Татищева в «Разговоре дву приятелей»: «Однако ж во всяком суждении нужно, чтоб умовоображения или сущие знания действительно предходили, *из которых совокупления и разделения* правильное суждение последует»; «Мафематика почитается за часть действительную филозофии, *которой начало* хотя некоторые хотят доказывать якобы от египтян...» (Татищев 1979, 57, 73). Ср. еще в текстах Петровской эпохи, например, в «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича: «в санктъ питербурхъ пошель, котораго строение осмотрѣвъ, возвратился паки въ нарву» (РГАДА, ф. 9, оп. 1, № 1, л. 94 об.); «от запада лѣсъ великий *котораго часть* нѣкая стороною полуношною к востоку длиною с версту протягается» (л. 185).

Характерность этой позиции никак не может быть обусловлена французским подтекстом, зато легко объясняется как воспроизведение порядка слов в придаточных с книжными относительными местоимениями в род. падеже *егоже*, *ея-*

⁴³ Приведу в качестве иллюстрации данные из уже упоминавшейся «Скифской истории» Андрея Лызлова (Лызлов 1990), сочинения не переводного, а оригинального, написанного на обычном книжном языке допетровской эпохи (в традиции гибридного регистра). В первой части этого сочинения я насчитал 65 относительных придаточных полной структуры с *иже* (в различных формах) и *идеже*, еще четыре придаточных с *иже* и нулевым сказуемым (типа «до пределов хийских, *иже* со Индию») и четыре относительных придаточных с *который* (не отличающихся по своему строению от аналогичных придаточных современного языка). Первая часть занимает всего 14 печатных страниц, так что плотность употребления относительных придаточных вполне сравнима с той, которая наблюдается в переводных текстах XVIII в., ср. типичный период: «От сих убо татар монгаилов изыдоша *сии* татарове, *иже* суть к нам, савроматом, пришельцы, *их же* называем крымския, монконския, перекопския, белгородские, очаковские, и *все те* народы, *иже* обитают около езера Палосмеотис, то есть Азовскаго моря» (Лызлов 1990, 13). Если заменить *иже* на *которые*, *ихже* на *которых* и т. д., мы получим вполне обычные для нового литературного стандарта фразы, так что ничто не мешает видеть в подобных текстах (наряду с текстами французскими) прецедент той синтаксической организации нарратива, которая наблюдается в переводных памятниках XVIII в.

же, ихже, всегда занимающими начальную позицию, ср. у Лызлова: «половцы, *чрез их же землю* бегоша» (Лызлов 1990, 16). То, что в современном литературном языке относительное местоимение стоит после существительного («к солнцу, в лучах которого...»), возможно, и в самом деле обусловлено влиянием западноевропейского синтаксиса, однако этот процесс относится не ко времени первоначального формирования языкового стандарта, а к более позднему периоду. В середине XVIII в. в литературном языке оказываются возможными оба словорасположения — с препозицией и с постпозицией относительного местоимения, и процесс нормализации состоит в постепенном устранении варианта с препозицией.

Связь синтаксического построения в формирующемся языковом стандарте с новыми риторическими стратегиями не выражается в прямом калькировании синтаксических конструкций западноевропейских языков; когда такое калькирование имеет место, оно играет лишь частную и второстепенную роль. Эта связь проявляется прежде всего в утверждении логического развертывания как универсального, т. е. распространяющегося на все виды регламентированного письма, принципа. Как мы видели (см. § I.2, § I.4), ситуационный синтаксис и присущее ему нарушение проективности характерны прежде всего для некнижных регистров письменного языка допетровской эпохи. Хотя они и проникают в единичных случаях в гибридный регистр, они остаются в целом закрепленными за отдельными функциональными разновидностями письменного узуса. В Петровскую эпоху распределение языковых средств по регистрам перестает регулировать язык новой секулярной письменности; различные языковые средства начинают употребляться «безразборно», они оказываются как бы сваленными в кучу, которую — в перспективе дальнейшего развития — можно определить как петровский «пул». «Безразборность» прежде всего характеризует употребление морфологических вариантов (см. ниже), однако она затрагивает и синтаксис. В текстах, порожденных новой секулярной культурой, можно обнаружить синтаксические построения, характерные прежде как для книжных, так и для некнижных регистров письменного языка.

Петровский пул определяет тот диапазон языкового разнообразия, из которого в XVIII в. совершается выбор при формировании русского литературного языка нового типа — выбор, в результате которого на смену множественности регистров приходит единый стандарт письменного языка. В ходе этого процесса из формирующегося языкового стандарта последовательно устраняются элементы ситуационного синтаксиса. Этот процесс и дает то противопоставление стандарта письменного языка и разговорной речи, которое стало предметом описания в современном русском языке (в так называемой коллоквиалистике — см.: Земская 1973; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Лаптева 1976). Связующие письменный и устный языки синтаксические стратегии элиминируются как примета «неевропейского» риторического устройства речи.

Элиминация данных стратегий, как и в целом «европеизация» синтаксиса, осуществляется постепенно, переходя от жанров письменности, более значимых в новом культурном пространстве, к жанрам менее значимым. Те конструкции с нарушением проективности, т. е. элементами ситуационного синтаксиса, которые мы отмечали в гибридных текстах XVII в. (прежде всего, в летописях), в истори-

ческих сочинениях авторов XVIII в. (например, Татищева) полностью отсутствуют. В частной и деловой переписке деятелей XVIII в., в том числе и принадлежавших культурной элите, они продолжают быть достаточно обычными. Приведу несколько произвольных примеров из переписки князей Голицыных 1770-х годов: «По написани оногo писма дворъ Андреевской по прежнему вашему дозволению продалъ и ценой савсемъ уговорился Никалаю Михаиловичу Нащокину за 2500 ру» (Котков 1981, 30); «Приложенное при сем писмо на имя Захара Яковлевича Карнеева покорно прошу оное доставить, которой находится при Павле Сергеевиче Потемкине» (там же, 40)⁴⁴. Наряду с жанровым, процесс этот имеет и социальное измерение: авторы, принадлежащие к культурной элите, избавляются от элементов ситуационного синтаксиса быстрее, чем авторы из других слоев общества.

Связь «европейских» риторических стратегий с преобразованием синтаксиса (в частности, с устранением элементов ситуационного синтаксиса) и пути ее реализации в формировании русского литературного языка видны тем отчетливее, чем более крупные единицы текста мы рассматриваем. Весьма показательны в этом отношении средства обеспечения связанности текста, о которых уже говорилось выше (§ I.4). Как мы видели, для делового регистра преимущественным средством связи являлся лексический повтор, тогда как книжным регистрам он в целом был не свойствен. В гибридные тексты он проникает лишь ограниченно, благодаря интерференции, а в стандартных церковнославянских текстах практически никогда не используется. Можно полагать, что запрет на повтор в книжном языке восходит — как к своему первоначальному источнику — к античной риторической традиции, в которой повтор стилистически маркирован: он может быть риторическим приемом, но недопустим в отсутствии прямого риторического задания (в качестве риторического приема, например, анафоры повтор, естественно, используется в церковнославянских текстах, очевидный пример — повтор «радуйся» в акафистах).

Эта традиция переходит во все литературные языки Европы, и современная редакторская практика, когда редактор кропотливо устраняет лексические повторы, изыскивая синонимы и описательные обороты, вырастает из того же античного корня. Эта традиция, очевидно, вместе с общими основами синтаксического построения усваивается и церковнославянским языком, синтаксис которого формируется в процессе перевода с греческого. В дальнейшем развитии книжных ре-

⁴⁴ Нарушение проективности сосуществует в эпистолярной письменности XVIII в. с другими элементами разговорного синтаксиса. Здесь можно обнаружить, например, упоминавшийся выше именительный темы (ср.: «Дети — по состоянию воспы все идет изрядно») или именительный перечисления (ср.: «Им по лошади прислал, а мне хотя бы корову и буйвол»; «Лишние лошади я нонеча собрала два цуга, один меринов, а другой — жеребцы вороны»). Нередко встречаются и специфические для разговорной речи глагольные номинации типа «Я приехала, он мне подал на немецком языке на четырех листах написано». Весь спектр синтаксических коллоквиализмов в переписке XVIII в. был рассмотрен в дипломной работе моего ученика А. Я. Ярина (Ярин 1986), выводами и примерами которого я здесь пользуюсь. Специфически разговорные конструкции продолжают появляться в эпистолярной письменности и позднее, хотя и их спектр, и частота употребления постепенно сокращаются (ср.: Кручинина 1976).

гистров эта традиция — при отсутствии в средневековой Руси риторического обучения — лишь поддерживается, с большим успехом в стандартном церковнославянском, с меньшим — в гибридном языке. Когда наступает эпоха нового литературного языка, терпимости приходит конец. Как и в рассмотренном выше случае с дистантным расположением членов словосочетания, синтаксические построения, основанные на лексическом повторе, отвергаются новым языковым стандартом. Движущий мотив этого отвержения достаточно очевиден, это ориентация на западные образцы. Эта новая «европейская» установка, однако, не действует напрямую, но приводит к актуализации той восходящей к античности языковой традиции, которая в латентной форме сохранялась церковнославянским стандартом. Это развитие, в свою очередь, определяет то фиксированное расхождение между письменным литературным языком и разговорной речью, которое имеет место в современном русском языке и распространяется, в частности, на средства обеспечения связанности текста: лексический повтор, используемый разговорной речью, оказывается недопустимым в письменном языке.

Более подробно данный процесс может быть рассмотрен на примере наименования референта в относительных предложениях с местоимением *который* типа «А будет кому лучится ехать из Московского государства для торгового промыслу или иного для какого своего дела в ыное *государство*, *которое государство* с Московским государством мирно» (Уложение VI, 1 — Уложение 1987, 24). Эта та конструкция, которую Г. О. Винокур отмечает в качестве специфического для делового языка «повторения определяемого слова в конструкции относительного подчинения» (Винокур 1959, 112). При таком построении относительное местоимение *который* выделяет связующий лексический компонент, и его функции по существу аналогичны функциям определенного артикля или дейктического местоимения при повторяемом существительном. В случае препозиции придаточного лексический повтор оформляется местоимением *который* при начальном употреблении и каким-либо дейктическим местоимением при следующем вхождении лексемы, ср. в том же Уложении: «А *которым* людям доведется о судных своих и о иных каких делах бити челом государю, и *тем* людям о тех своих делах челобитные свои подавать в приказах бояром» (X, 20 — Уложение 1987, 33).

Такого рода конструкции представлены в разных регистрах письменного языка средневековой Руси — исключая, понятным образом, лишь стандартный церковнославянский. Особенно часты они в деловых текстах, из которых и были взяты приведенные выше примеры. Такое употребление соответствует коммуникативному заданию этих текстов, обеспечивая однозначность референциального отождествления. В дополнение к примерам из Уложения 1649 г. приведу примеры из сочинения Котошихина: «...а с тѣмъ родом *тот род* на *котороі род* ѣчнут биті челом бывалі они на слѣжбах і в посылках без спорѣ...» (Пеннингтон 1980, 56); «а *котороі члвкъ* ѣчнет на гсдна своег биті челом ложно или затѣет на гсдна своего какое воровское гсдрственное дѣло не хотя ѣ нег служит и по сыску *такому члвку* бывает наказание кнѣтом...» (там же, 134; ср.: Коротаева 1964, 57)⁴⁵.

⁴⁵ Аналогичное употребление находим и в челобитных, ср. челобитную Луки Дырина 1681 г.: «и он голова Гаврило Карповъ гсдрвы *денги и кубы* (...) сорит *которые денги* посланы *и кубы* на харчи» (Котков, Астахина и др. 1984, 201).

Из не книжных регистров данные конструкции проникают и в гибридные тексты, их можно (хотя и редко) найти в летописях, ср. в Новгородской второй летописи: «*людеи* громом побило много, згорѣло много в городи *и тѣх*, *которыи люди* збѣжали на поле» (ПСРЛ, XXX, 148 — s. a. 1542); «И поставили заставу по улицам и сторожен, *в которой улице* человекъ умереть знаменемъ *и тѣ дворы* запырали и с людьми и кормили тѣхъ людие улицею (ПСРЛ, XXX, 159 — s. a. 1572)⁴⁶. Аналогичное употребление в Летописце 1619—1691 гг. (характерным образом, в прямой речи, более свободной для проникновения не книжных элементов): «Дохтур же им рече истинну: “Аз убо *которыми водками составными* его, государя, лечил, и *тех составных водок* стьянка осталася и есть в аптеке, стоит в погребце, в науголном заднем гнезде”» (ПСРЛ, XXXI, 197 — s. a. 1682). Появляются они и в переводных рыцарских романах, ср. в Повести о Петре Златых ключей: «Видя отец сыновию породу, яко склонен есть к делам воинским, содела великий *пир* для великих господ в кралевстве французском, *на который пир* созвал сродников своих» (Кузьмина 1964, 276).

И эти конструкции отвергаются формирующимся языковым стандартом. Они противоречат тому строению фразы, образцом для которого служит традиционный книжный язык и обработанный синтаксис новых западноевропейских языков. Процесс устранения этих конструкций занимает всего несколько десятилетий. Существенно при этом, что в Петровскую эпоху, когда начинается формирование языкового стандарта и происходит объединение языковых средств, распределенных ранее по разным регистрам, эти конструкции получают значительное распространение. Действительно, в текстах петровского времени (как делового, так и неделового характера) они вполне обычны (ср. ряд примеров у Э. И. Коротаевой: Коротаева 1964, 57). Многочисленные употребления такого рода могут быть найдены, например, в переводе «Библиотек» Аполлодора, сделанном А. К. Барсовым (примеры из приложенного к изданию перевода трактата С. Бохарта): «Во образъ того буди намъ Фабула или *басня* о Сатурнѣ и трехъ сынахъ его ⟨...⟩ *въ которой басни* давно уже мужіе ученые обоняли истинную о Нои и трехъ сынахъ его Исторію» (Аполлодор 1725, 300); «О семь Амонѣ или Гамонѣ писаніе ясно воспоминаеть на трехъ *мѣстахъ*, *которые мѣста* непрямо разумѣють толкователи» (там же, 325); «⟨...⟩ злодѣяніе сталося въ Коркирѣ *островѣ* Феакійскомъ *которыи островъ* инако и Арпій ⟨...⟩ прозывано (там же, 341—342)⁴⁷.

⁴⁶ Связь с помощью лексического повтора может состоять не только в воспроизведении тождественной лексемы, но и в употреблении деривата или синонима, однозначно отсылающего к предшествующему вхождению. Понятно, что в рамках риторической традиции подобные разновидности лексического повтора не подвергаются, вообще говоря, столь же строгим ограничениям, как повтор тождественного элемента. В случае конструкций с *который* эти ограничения, однако, действуют с не меньшей силой.

⁴⁷ Распространение данной конструкции в текстах Петровской эпохи, относящихся к разным жанрам и объединенным лишь своей принадлежностью новой секулярной культуре, может быть проиллюстрировано многими примерами. В «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича встречаем: «разводятся бо и паки сходятся многими тѣсными *улицами*: *в которыхъ улицахъ* по обѣ стороны в стѣнахъ мало прокопанныхъ почиваютъ нетлѣнная помянутыхъ преподобныхъ тѣлеса» (РГАДА, ф. 9, оп. 1, № 1, л. 112); «кара-

Данные конструкции продолжают употребляться и в текстах, создававшихся в конце 1720-х годов академическими переводчиками, т. е. в рамках той деятельности, которой было предназначено стать основным контекстом для выработки новой нормы. Так, их можно встретить в первом труде академических переводчиков, «Кратком описании комментариев Академии наук» (Краткое описание 1728). Ср. здесь: «въ другіе книжицы собираются, которые книжицы въ пользу юношамъ Россійскимъ со временемъ напишутся» (с. 5); «ежели бы ірраціональные количества въ данномъ равненіи кривыя лінѣи случилися, изъ котораго равненія оная ірраціональная количества въ семь методѣ конечно изъяти надлежить» (с. 34). Аналогичные конструкции находим и в «Примечаниях к ведомостям», изданных Академией наук в 1728—1729 гг. Ср. здесь: «И тогда его Король хотя зѣло милостиво принялъ, но однакожъ прежнимъ *чиномъ* еще не пожаловалъ, *которои чинъ* Кардиналь фон Флери (...) отправляетъ» (Примечания 1728, 4); «Его Королевское величество (...) соизволил свои *уставъ* публиковать (...) *по которому уставу* всякая честь и все преимущества (...)» (там же, 18—19); «Непотисмусъ (...) есть *власть и почтеніе* сродственниковъ при жизни Папы, *которую власть и почтеніе* оные сродственники при управленіи штатскихъ дѣлъ имѣють» (там же, 1729, 42—43); «ко оному крючку надобно тонкую изъ простаго льна спряденую *нитку* привязать, *съ которою ниткою* Асбестовые хлопки обрабатываемъ оногo веретена соединяются» (там же, 83).

Тексты, появляющиеся в 1730-е годы в рамках элитарной европеизированной культуры, данные конструкции больше уже не используют. Они стремительно исчезают из нового стандарта, так что в элитарной литературе этого периода заметны только их последние остатки. Так, А. Кантемир в своем переводе «Разговора о множестве миров» Фонтенеля (1730 г.) в основном употребляет *который* (несколько сот раз) в согласии с утверждающимися новыми нормами (известными нам по современному литературному языку и соответствующими функциям франц. *qui, que* — Хютль-Фольтер 1996, 70) и лишь в одном случае пользуется описанной выше конструкцией: «Нынешние Паписты говорят, что город Рим Папе Силвестру от Константина великаго Греческаго Императора жалованною *грамотою* в вечное владение отдан, *которои грамоты* однакож нигде невозможно показать...» (там же, 55). ТрEDIAKовский, переводя «Военное состояние Оттоманския империи с ея приращением и упадком» графа де Марсильи (ТрEDIAKовский 1737), не допускает ни одного такого употребления, хотя стандартные конструкции с *который* представлены сотнями примеров (Хютль-Фольтер 1996, 71). Таким образом, к концу 1730-х годов в создававшемся в этот период стандарте «европейские» нормы синтаксического построения (по крайней мере в части, относящейся к использованию лексического повтора) утверждаются в формируемом академическими филологами стандарте в полном объеме.

вань великий грековъ купцовъ в росію идучихъ *розбили за которой разбой* ис казны государевой (...) сто тысячъ ефимковъ заплачено» (л. 181 об.). В «Геометрии славенски землемери»: «на данои прямои лнеи, *часть* циркуля написати, *въ которой части* уголь обрѣтается будетъ равенъ даному углу» (Геометрия 1708, 157). В «Географии генеральной» Б. Варения в переводе Ф. Поликарпова: «причина есть *облаковъ* разрушеніе, заходящимъ солнцемъ бывающее, *которые облаки* прежде вѣтромъ восточнымъ къ западу бывають собраны» (Варений 1718, 354).

И у этого процесса есть свое социальное измерение. Относительные предложения с повтором референта можно обнаружить, например, в известной «Истории о российском матросе Василии Кориотском», написанной, по моему мнению, в 1730-х годах. Ср. здесь: «...и *просил* его, чтоб он во Францию сходил с товарами..., по которому *прошению* он Василий не ослушался оногo гостя» (Моисеева 1965, 192—193); «поплыша морем к *пристани*, от которой *пристани* к Цесари почтовые буеры бегают» (там же, 199); «Василея (...) принесло к некоему малому *острову*, на которой *остров* вышел, нача горько плакати» (там же, 206). Аналогично и с препозицией придаточного: «И на *котором кораблю* был Василий, и *оний корабль* волнами разбит» (там же, 193). «История о Василии» не может, конечно, рассматриваться как памятник нового литературного языка, однако она создается в рамках той самой европеизированной культуры, которая производит на свет новый языковой стандарт.

Этот момент существен, поскольку он показывает, насколько далек был создаваемый академическими филологами языковой стандарт от общеобязательности, т. е. одного из основных атрибутов полноценного литературного языка. Язык «Истории о Василии» — хороший образчик того петровского «пула», т. е. смешанного узуса (объединяющего элементы разных регистров) или, по выражению Третьяковского, «безразборного употребления», обработка которого (отбор одних элементов и устранение других) дала в конечном итоге русский литературный язык нового типа. К середине 1730-х годов процесс академической обработки этого пула достиг достаточно продвинутого состояния, более того, этот язык, сконструированный для переводов ученой литературы, расширил сферу своего функционирования. Третьяковский, вернувшийся в 1730 г. в Петербург, ввел его в изящную словесность, одновременно приспособив его к литературным нуждам. И это, однако, не помогло ему в приобретении общеобязательности. И сам языковой стандарт, и написанная на нем литература принимались и культивировались лишь небольшой частью грамотного и европеизирующегося общества (несмотря на то, что этот стандарт монополично господствовал в печатных изданиях гражданской печати). Для большей его части куда более привычным оставался необработанный язык предшествующей эпохи, так что не удивительно, что язык «Истории о Василии» явно не соответствовал формирующемуся стандарту.

Новый стандарт завоевывал публику очень медленно и постепенно, заметное утверждение его общеобязательности происходит лишь в Екатерининское царствование (см. подробнее: Живов 2002а), и одновременно с этим процессом лингвистические элементы, отброшенные этим стандартом (в том числе и рассмотренные выше конструкции с *который*), становятся приметой тех социальных групп, в которых возникали и бытовали тексты типа «Истории о Василии». Процесс социальной экспансии языкового стандарта тесно связан с процессом его жанровой экспансии; это естественная связь, поскольку чем в большем наборе жанров доминирует языковой стандарт, тем более широкую аудиторию он получает и тем большей частью общества осваивается и апроприруется.

В этом плане особый интерес представляет духовная словесность, язык которой анализируется во всех очерках настоящей книги. Духовная словесность отделена от светской литературы и формирующегося в ней языкового стандарта и в

жанровом, и в социальном отношении. Проповедь и богословские сочинения принадлежат жанрам, отсутствующим в светском литературном обиходе, и вместе с тем соответствующие тексты создаются лицами, образующими замкнутую социальную группу с собственной системой культурных ценностей. То, до какой степени данная литературная продукция сближается со светским языковым стандартом, может служить хорошим индикатором утверждения общеобязательности этого стандарта⁴⁸.

Весьма знаменательно в этом плане, что синтаксис гомилетических творений знаменитейшего проповедника Екатерининского царствования московского митрополита Платона Левшина может заметным образом отступать от европеизированного синтаксиса светского языкового стандарта. В частности, мы находим в его проповедях разбивавшуюся выше конструкцию относительного подчинения с повторением определяемого слова, ср.: «о томъ настоящая наша да предложит-ся *бесѣда*; *которую бесѣду* ⟨...⟩ благосклоннѣйшаго своего, Благочестивѣйшая Государыня, удостоите слушанія» (Платон, I, 25). У него можно найти и целый ряд синтаксических коллоквиализмов, ср.: «Грѣшникъ, когда оставляетъ грѣхъ, и начинаетъ благочестиво жить; онъ являетъ живой образъ воскресенія» (Платон, XIX, 30); «Древо, говорить Евангеліе, чтобъ почеть его прямо живымъ, необходимо, чтобъ оно приносило плоды» (там же, 36—37); «Ибо всѣ просвѣщенные и честные, читая или слыша о такомъ поступкѣ Сергіевома, никто его не осуждаютъ» (там же, 63). Конечно, до определенной степени появление коллоквиализмов может быть связано с тем, что проповедь по крайней мере номинально представляет собою беседу проповедника с паствой, и элементы оральности могут выступать как сигналы, имитирующие непосредственность устного общения. Однако в светских сочинениях ораторского жанра и в светских же драматических произведениях, равно как и в проповедях более позднего времени такие отступления от языкового стандарта, насколько я могу судить, не встречаются, а это значит, что проповеди Платона могут рассматриваться как свидетельства сохраняющегося элитарного статуса литературного языка в XVIII в. Пока сохраняется этот элитарный статус, сохраняется и связь языкового стандарта с процессом европеизации, а черты, отличающие этот стандарт от неэлитарного узуса, остаются знаками элитарной «европейской» образованности.

⁴⁸ Конечно, духовенство — это не единственная социальная группа, отделенная от дворянской элиты, обладающая собственной системой культурных ценностей. И большая часть грамотного городского населения, и не слишком многочисленные грамотные крестьяне, и старообрядцы читают иные тексты, чем дворянская элита (от неизменно популярных житий святых до развлекательной лубочной продукции, ср.: Роте 1984). Они осваивают иные лингвистические традиции и, создавая новые оригинальные тексты, употребляют в них язык часто достаточно далекий от литературного стандарта. Полный социолингвистический анализ письменного узуса XVIII — начала XIX в. должен, конечно, включать и разбор этих разновидностей письменности. И издание этих текстов, и их исследование находится в зачаточном состоянии, так что в настоящей работе мы этих традиций не касаемся. Для этого есть и более содержательные причины. В текстах этих традиций не видно ни столь последовательной преемственности, ни столь ясных линий взаимодействия с языком элитарной литературной продукции, как в духовной словесности.

8. Место реинтерпретации морфологических вариантов в формировании нового литературного языка

Таким образом, «европеизация» языкового стандарта на синтаксическом и лексическом уровнях представляет собой достаточно сложный процесс, состоящий в основном вовсе не в прямом заимствовании или калькировании языкового материала западноевропейских языков, но в том, что синтаксические построения и лексические единицы, исходно принадлежавшие разным регистрам письменного языка, отбирались в соответствии с новым «европейским вкусом». Европейский проект в морфологии выглядит куда более проблематично, поскольку ориентация на европейские образцы никаких очевидных критериев отбора здесь не задает. Как уже говорилось (см. Введение, § 2), единственным постулатом, который мог быть непосредственно усвоен из опыта европейского языкового строительства, был принцип недопущения немотивированной вариативности. Критерии оценки и отбора морфологических вариантов из европейского опыта не переносились, в этом плане морфологическая нормализация была куда больше русским внутренним делом, чем нормализация в синтаксисе и лексике. Никакой протяженной целеполагающей деятельности, утверждающей европейские ориентиры, в морфологии не обнаруживается. Поэтому нормализация морфологии превращается в долгосрочный проект, не имеющий единого плана и постоянно меняющийся под действием разнородных факторов, накладывающихся друг на друга. В разное время действуют разные конфигурации факторов, так что морфологическая норма разлагается на ряд пластов, в каждом из которых отдельные элементы морфологической системы достигают стабильности (т. е. перестают подвергаться пересмотру), тогда как другие начинают упорядочиваться на новых сравнительно с предшествующим пластом основаниях. Всякий раз многое зависит от тех лиц, которые занимаются нормализацией и кодификацией языкового стандарта, причем как от их лингвистической и культурно-исторической позиции, так и от их языкового опыта — тех навыков письменного языка, которые сложились у них до начала их занятий языковым реформаторством.

В Петровскую эпоху языковым строительством заняты разные люди, с разным кругозором и разными навыками. Начало формированию полифункционального стандарта было положено, видимо, реформой азбуки, задуманной и в существенной степени проведенной самим царем (см. Живов 1986б); нормализацией языка царь, однако, не занимался, не имея к тому ни склонности, ни необходимых навыков — тексты, написанные Петром, отличаются полной непоследовательностью и в правописании, и в употреблении морфологических вариантов. Тем не менее реформа азбуки создавала стимул для общего пересмотра культурно значимой языковой деятельности, прежде всего языка печатных изданий. В первых книгах, напечатанных гражданским шрифтом, отчетливо виден разрыв с предшествующей языковой традицией книжной печати, перелом в языке соответствует при этом культурному водоразделу: первые издания гражданской печати являются секулярными по содержанию, что, хотя и имело некоторые прецеденты в прошлом, было несомненно существенной инновацией, соответствовавшей культурным и политическим установкам царя-преобразователя.

Первые издания были переводами, причем переводами на некнижный язык (язык без признаков книжности). И это само по себе не было абсолютной новинкой, поскольку в XVII в. такие книги публиковались (имею в виду Уложение 1649 г. и «Учение и хитрость ратнаго строенія пѣхотныхъ людей» 1647 г.). Переводы в основном делались в Посольском приказе (хотя не всегда ясно, кто именно готовил к печати каждый из текстов), так что можно было бы ожидать, что язык их будет продолжать традицию некнижной письменности. Однако лингвистические особенности этих текстов существенно отличаются по ряду параметров от некнижных текстов предшествующей эпохи; именно при анализе морфологических показателей обнаруживается, что прежние навыки некнижного письма в них больше не работают (или работают не в полной мере); так обстоит дело, например, с окончаниями существительных в косвенных падежах мн. числа (см. § III.2.1). Это, как кажется, указывает на намеренный отказ от сложившихся привычек. Имел место разрыв с традицией, который, видимо, свидетельствует о том, что переводчики воспринимали издания гражданского шрифта как новое в культурном и лингвистическом отношении коммуникативное задание. Эта новизна побуждала их рассматривать традиционные варианты как неподходящие и в силу этого обращаться к тем составляющим лингвистического опыта, которые лежали вне традиции, прежде всего, можно предположить, к опыту разговорного употребления. Ясно, что вполне последовательно ориентироваться на этот опыт в выборе морфологических вариантов они не могли, хотя бы потому, что синтаксис создаваемых ими текстов не имел отношения к разговорному, но статистический сдвиг эта ориентация давала.

Труженики Посольского приказа не были, однако, единственными агентами петровской культурной политики, у Петра были обширные просветительские планы и очень небольшой круг работников, способных хотя бы с грехом пополам эти планы воплощать. Поэтому Петр поручает перевод и издание избираемых им книг людям с разным культурным и языковым опытом. Он не мог не воспользоваться, в частности, услугами сотрудников московского Печатного двора, возглавлявшегося в то время Федором Поликарповым. У этих книжников были совсем иные исходные установки, знания и навыки, как в области филологии, так и в сфере культурно-идеологических представлений. Петровская секулярная культура была для них чужой и враждебной, петровские эксперименты в языковом строительстве воспринимались ими как неоправданные и деструктивные. Федор Поликарпов с неодобрением смотрел и на азбучную реформу Петра, полагая, что без исключенных Петром букв и надстрочных знаков «книгъ црковныхъ печатать нево³можно» (РГАДА, ф. 381, № 423, л. 43; см.: Живов 1986б), как невозможна без них в целом православная ученость и благочестие.

Еще более неприемлемы для этого круга были попытки отказаться от сложившихся навыков книжного письма в морфологии, синтаксисе и лексике. Именно на этой почве развивается конфликт вокруг перевода «Географии генеральной» Б. Варения, сделанного Ф. Поликарповым (см. о нем: Лукичева 1974; Успенский 1983, 96—99; Живов 1986б). Как известно, этот перевод не удовлетворил Петра именно его языком, и он потребовал его лингвистической переработки. Первоначальный перевод был сделан в рамках гибридной языковой традиции, внесенная в него по требованию Петра языковая правка устраняла из тек-

ста признаки книжности (такие как формы аориста и имперфекта, связку в перфекте, формы атематического спряжения и т. п. — см. подробно: Живов 1986б). Для работников Печатного двора эта деятельность шла, как говорится в предисловии к изданию «Географии», вразрез с «хранением правил грамматических» (Варений 1718, предисл., л. 17 об.).

Это, видимо, касалось и морфологической вариативности. Привычной работой для справщиков Печатного двора было устранение подобной вариативности при подготовке книг к изданию. В стандартных церковнославянских текстах, которые печатались в Московской типографии, морфологическая вариативность появлялась лишь окказионально, в качестве ошибок переписчика или наборщика того оригинала, с которого печатался текст. Поэтому варианты, отклоняющиеся от церковнославянской нормы, воспринимались справщиками именно как ошибки, подлежащие исправлению. Руководством при этом служила грамматика церковнославянского языка (одно из двух изданий грамматики Смотрицкого). Теперь перед ними стояла абсурдная в данной перспективе задача — отказаться от «правильных» вариантов в пользу «неправильных». Установки здесь, впрочем, были однозначными лишь в отношении признаков книжности, такие формы, как имперфект, должны были уничтожаться на корню, поскольку они были приметами старого книжного языка (см. выше).

Те морфологические варианты, которые столь однозначно с противопоставлением регистров не соотносились, экстерминации могли не подвергаться, однако оставалось непонятным, что с ними делать. Справщик привык заниматься справой, т. е. нормализационная установка была частью его профессионального подхода к тексту. Однако как править по определению «неправильный» текст, не могло не быть головоломной задачей. С одной стороны, многолетние навыки подталкивали исправлявшего перевод Софрония Лихуда вводить нормативные книжные формы вместо ненормативных (для стандартного церковнославянского) вариантов. Так, в частности, в род. ед. существительных склонения на согласный он правит *цркви* на *цркве*, *времени* на *времене*; в им. мн. *о*-склонения *острова* на *островы*; в им.-вин. ед. м. рода склонения прилагательных он устраняет окказионально появляющиеся окончания *-ой/-ей* (*цѣлой* на *цѣлый*, *третьей* на *третій*, *прямой* на *прямый*, *слѣпной* на *слѣпный*), в род. ед. ж. рода появляются замены *земной* на *земныя*, *особой* на *особыя*, *всякой* на *всякія* и т. д., устраняются формы второго родительного и второго местного — *от верхѣ* заменяется на *от верха*, *из бокѣ* на *из бока*, *въ пескѣ* на *въ песокъ* (Живов 1986б, 256—257).

С другой стороны, Софроний и его коллеги не могли не понимать, что они имеют дело не с традиционным книжным языком, а с новообразованием, к которому их прежние навыки неприложимы. Если этому новообразованию должна быть присуща какая-то норма (а справщик не может представить себе никак не регламентированный узус, поскольку это лишает его работу всякого смысла), то как-то от нормы традиционного книжного языка она должна отличаться. Поэтому в ряде случаев Софроний вводит ненормативные (в рамках традиционной нормы) варианты взамен нормативных. Так, в частности, в дат.-местн. мн. в мягкой разновидности *а*-склонения и *о*-склонения существительных *-и* заменяется на *-ѣ* (*земли* на *земль*, *мори* на *морѣ*, *корабли* на *корабль*, *обществїи* на *обществѣ*), в дат. мн. *о*-склонения *-омь/-емь* заменяется на *-амь/-ямь* (*брегомъ* на *брегамь*,

вѣтром на *вѣтрам*, *дождемъ* на *дождямъ*), в им.-вин. мн. ср. р. прилагательных в полной форме *-ая* заменяется на *-ыя*, в краткой форме *-а* на *-ы* (*сочиненаа* на *сочиненыа*, *малаа* на *малыа*, *общая* на *общія*, *подвышена* на *подвышены*, *неравна* на *неравны* и т. д. — см. ниже, § IV.2.1).

В принципе, в такой разнонаправленной нормализации можно видеть эмбрион сформировавшейся позднее синтетической нормы, соединявшей морфологические варианты, распределенные ранее по разным регистрам. Однако некоторые исправления, сделанные Лихудом, противоречивы, он заменяет *a* на *b* в одних случаях и *b* на *a* в других. Например, в местн. мн. существительных *o*-склонения он заменяет *островѣх* на *островах*, *брезѣхъ* на *брегахъ*, но вместе с тем *мѣстахъ* на *мѣстѣхъ*; наиболее выразительна эта противоречивость в трактовке чередований заднеязычных со свистящими, ср., с одной стороны: *книзѣ* на *книгѣ*, *источницы* на *источники*, *на воздѣсѣ* на *на воздѣхъ*, с другой стороны: *въ книзѣ* на *въ книгѣ*, *брегѣ* на *брезѣ* (Живов 1986б, 256—257). Такая противоречивость свидетельствует о том, что единого плана (скажем, плана формирования синтетической нормы) у него не было. Лихуд сохранял нормализационную установку, но терялся в том, как нужно нормализацию проводить.

Таким образом, уже в Петровскую эпоху формирование нового секулярного языка сочеталось с поисками новой морфологической нормы, однако ни самой этой нормы, ни путей ее выработки найдено не было. Употребление морфологических вариантов в новом идиоме оставалось неоднородным, неопределенность пути ощущалась здесь в существенно большей степени, чем в лексике и синтаксисе, поскольку его выбор никак не диктовался ни европейским образцом, ни коммуникативным заданием новых культурных текстов. Та вариативность, которая ранее была упорядочена фрагментацией узуса по разным регистрам, теперь оказывается неупорядоченной в рамках единого нефрагментированного узуса, того самого петровского «пула», о котором мы говорили выше.

Наследие, оставленное Петровской эпохой следующему поколению преобразователей русского языка, практически не ограничивало для него определение критериев морфологической нормализации и лишь в отдельных случаях закрепляло в узусе один из возможных вариантов в качестве доминирующего (см., например, о флексиях существительных в косвенных падежах мн. числа в § III.2.1). Вместе с тем со смертью Петра давление на существовавшие при нем институты языкового строительства (Посольский приказ, Печатный двор, отдельные переводчики, работавшие по поручению царя) прекращается, и они в качестве генераторов нового узуса сходят со сцены. Им на смену появляется новая институция, более независимая от власти (поскольку власть перестает интересоваться лингвистическими проблемами) и более схожая с аналогичными европейскими заведениями, — Академия наук.

Академия наук, открывшаяся после смерти ее августейшего основателя, не была гуманитарным учреждением (как Французская академия) и, согласно первоначальному замыслу, специально русским языком заниматься не собиралась. Эти занятия оказались включенными в сферу деятельности Академии постепенно, поначалу филологические штудии имели в ней исключительно прикладной характер. Поле их приложения были, во-первых, переводы на русский язык академических трудов, во-вторых, преподавание русского языка в Академиче-

ской гимназии. В 1728 г. выходит «Краткое описание комментариев Академии наук. Часть первая на 1726 год» (Краткое описание 1728), переведенное с латыни и немецкого, и в том же году начинают издаваться Примечания к ведомостям, переводившиеся с немецкого. В переводческой деятельности участвуют И. Ильинский, М. Шванвиц, В. Е. Адодуров, М. Сатаров и именно в ходе этой деятельности начинается работа над русским изданием Вейсманова лексикона, т. е. над предприятием, явно выходящим за рамки чисто прикладного.

Одновременно с этим начинается преподавание русского языка в Академической гимназии (первоначально для иностранцев), и для этого нужна была грамматика русского языка. Кое-что в этом плане было сделано уже в петровское время — имею в виду грамматику пастора Глюка, которую он составлял для учеников своей школы, однако не успел закончить. В послепетровское время эту работу продолжает И.-В. Паус, когда-то преподававший в школе Глюка; в 1729 г. он представляет в Академию наук свою грамматику «Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache zum Nutzen Sonderl. der teutschen Nation aufgesetzt», рассчитывая, что она будет Академией напечатана и пущена в оборот в качестве учебного пособия. Однако новое поколение академических работников — те самые Шванвиц и Адодуров, которые занимались переводами, — враждебно относятся к стареющему Паусу, отвергает принципы, на которых он строит свою грамматику, и перехватывает у него инициативу. Труд Пауса, однако, с очевидностью обнаруживает потребность в грамматике, и за эту работу берется сначала Шванвиц, а затем Адодуров. Результатом этих усилий был грамматический очерк русского языка «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache», напечатанный в 1731 г. в приложении к Вейсманову лексикону (Адодуров 1731).

В 1730 г. к кругу академических тружеников присоединяется вернувшийся из-за границы Тредиаковский, и это присоединение можно интерпретировать символически. До этого момента академическая филологическая деятельность никакого отношения к литературе не имеет, она развивается вне всякой связи с литературным процессом и реализуется в текстах, которые даже при расширительном понимании не могут быть названы литературными. Появление новой литературы, т. е. литературы, непосредственно ориентированной на европейские образцы и противопоставляющей себя литературе предшествующего периода (литературе XVII в. и Петровской эпохи), происходит практически в то же время (в качестве условной даты можно было бы рассматривать время написания Первой сатиры Кантемира, т. е. 1729 г.). Новая литература должна была приспособить для своих нужд тот нарождавшийся языковой стандарт, который создавался в академической переводческой практике. Именно этим и занят Тредиаковский после своего возвращения в Россию.

Его лингвистическая программа, заявленная в хрестоматийном абзаце из предисловия к «Езде в остров любви», в целом соответствует тем языковым установкам, которыми руководствовались академические переводчики. Тредиаковский, таким образом, выражает готовность присоединиться к тому направлению нормализации языкового стандарта, которое было избрано в Академии. Таковы во всяком случае декларации. Если, однако же, взглянуть на языковую практику, то здесь обнаруживаются расхождения. Стоит обратить внимание, например, на употребление инфинитива. Как показывают «Примечания к ведомостям», в ака-

демической практике нормативной является только форма на *-ть*, тогда как форма на *-ти* полностью исключена из употребления (имею в виду глаголы с ударением на основе). Третьяковский в «Езде» следует этой норме в прозаическом тексте, и это выглядит как свидетельство его согласия с академической нормализацией; в стихотворном тексте, однако, дело обстоит иным образом, инфинитивы на *-ти* употребляются здесь без всяких ограничений (см. § П.3).

В данном случае мы явно имеем дело с поэтической вольностью; позднее, в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» 1735 г., Третьяковский специально оговаривает возможность употребления инфинитивов на *-ти* в этом качестве (Третьяковский 1735, 16). Говоря о поэтических вольностях в стихотворстве 1730—1740-х годов, Винокур замечает: «Основной исторический смысл явления “вольностей” заключается в том, что в нем обнаружилось серьезное противоречие между процессом развития общенационального языка и интересами стихотворной литературы: ради этих интересов писатели, стремившиеся полностью освободить литературу от церковнославянского языка, вопреки своим собственным стремлениям, удерживали в стихотворном языке церковнославянские формы» (Винокур 1959, 129—130). Приведенные выше данные позволяют взглянуть на данное явление совсем иным образом. Мы имеем здесь дело не с «противоречиями» во взглядах первых русских поэтов, а с результатом приспособления формировавшегося вне литературы языкового стандарта к задачам литературного сочинительства.

В формировании языковых стандартов в Западной Европе одним из основных критериев нормализации было наличие той или иной формы, оборота или конструкции у образцовых авторов. О необходимости данного критерия для установления правильного употребления пишет, например, важный для русских авторов К. Вожела (подчеркивавший, впрочем, роль разговорного употребления двора): «*Toutefois quelque auantage que nous donnions à la Cour, elle n'est pas suffisante toute seule de seruir de reigle, il faut que la Cour & les bons Autheurs y concourent, & ce n'est que de cette conformité que se trouue entre les deux, que l'Vsage s'establît*» (Вожела 1647, л. а 2). Третьяковский несомненно был знаком с французскими принципами нормализации языка. С появлением Третьяковского литература присваивает себе роль той вербальной среды, в которой должен вырабатываться языковой стандарт (отсутствие регламентированного разговорного узуса, подобного употреблению французского двора, создавало для этой апроприации особенно благоприятные условия).

В 1730—1740-е годы изящная литература остается частью академической деятельности, она занимает заметное место в числе академических изданий, так что постепенно растет число литературных памятников, которые должны служить образцом при выработке лингвистической нормы. В 1735 г. организуется Российское собрание, созданное по образцу Французской академии и ставившее обработку русского языка своей главной задачей. Таким образом, в послепетровский период Академия становится основным центром, занятым совершенствованием нового языкового стандарта; в процессе деятельности академических переводчиков и педагогов образуются академическая грамматическая традиция, идущая от первых опытов Пауса и Адодурова до грамматики Ломоносова (ср.: Дюрович 1992; Успенский 1992). В процессе развития этой традиции меняются

отдельные ориентиры, ведутся споры и пересматриваются многие решения, однако сохраняется единство подхода — ученого подхода к языку, образцом для которого служит деятельность западноевропейских (прежде всего немецких, но отчасти и французских) филологов, занятых регламентацией новых литературных языков.

Как мы уже видели, усвоение западноевропейского филологического дискурса приводит к определенному пересмотру языкового наследия предшествующего периода, появляется пуризм в лексике, а синтаксические построения приводятся в соответствие с риторическими моделями западноевропейских текстов. Пересмотр позиций затрагивает морфологию, однако эта сфера, в которой принцип подражания не может работать по определению (см. выше), обладает своей спецификой. Для того чтобы разобраться со множеством находившихся в употреблении морфологических вариантов, нужна была прежде всего их классификация. Классификация должна была основываться на каком-либо эпистемологическом принципе. Первое, что как бы само шло в руки, был принцип генетический, хорошо знакомый европейской филологической мысли. Попыты приложения этого принципа к русскому языковому материалу уже существовали, хотя были и весьма скромными, и достаточно непоследовательными. Я имею в виду параграфы, посвященные различиям между русским и славянским в грамматике Лудольфа, и сопоставление славянского и великороссийского в «Технологии» Федора Поликарпова. Этот принцип, конечно, имел значение не только для морфологии, но это воспринималось, естественно, как его преимущество. Решительное приложение этого принципа к классификации морфологических вариантов появляется в грамматике Пауса.

Паус повторяет с многочисленными дополнениями и некоторыми исправлениями перечень различий между русским и славянским, приводимый Лудольфом (Библиотека Академии наук, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 22 об.—24), и затем регулярно отмечает соответствующие различия во всех разделах морфологического описания «славяно-русского» языка. Целый ряд морфологических вариантов классифицируется по этому принципу в описании отдельных парадигм существительного. Сюда, в частности, относятся некоторые флексии в парадигме слова *судія* (в частности рус. *-ѣ* в дат. ед. противопоставлено слав. *-и* — л. 47), окончание *-амь* в дат. мн. *о*-склонения у существительных м. рода, противопоставленное «славянскому» *-омь* (л. 49), окончание *-ахъ* в местн. мн., противопоставленное слав. *-ехъ* и *-ѣхъ* (л. 49), слав. род. ед. *-е*, им. мн. *-іе* (*дне, дніе*), противопоставленное рус. *-я, -и* (*дня, дни*) у существительных м. рода *i*-склонения (л. 55). Такая же классификация пронизывает описание словоизменения прилагательных. К числу отдельных различающихся в русском и славянском флексий отнесены окончания род. ед. и вин. ед. м. (и ср.) рода *ога, ово, ова* (л. 60) — слав. *-аго* (л. 61); род. ед. ж. рода *-ой, -ей*, а также *-ые*, которым противопоставлено слав. *-ья/-ия*. Отмечено, что в им.-вин. мн. ч. ср. рода в русском часто употребляется окончание *-ие* или *-ые* (л. 60 об.), тогда как в парадигме прилагательного *добрый* приводится флексия *-ая* (л. 61—61 об.). В парадигме прилагательного *добрый* в им. ед. м. рода окончание *-ой* дается с пометой *R* (русское), окончание *-ый* — с пометой *S* (славянское). При описании глагола в специальном примечании (л. 104) указывается, что в презенсе и футуруме во 2 л. ед. ч. славянским

окончаниям *-иши*, *-иши* соответствуют русские *-ишь*, *-ишь*. Здесь же отмечается, что, так же как во 2 л. ед. ч., слав. *и* переходит в рус. *ь* в инфинитиве (см. подробнее: Живов и Кайперт 1996; Живов 1996, 200—204).

И Адодурову, и Шванвитцу (а позднее, видимо, и Третьяковскому) грамматика Пауса была известна, и они активно пользуются его наблюдениями. Однако их подход к морфологической вариативности кардинально отличается от паусовского. Паус понимает описываемый им язык как «славяно-русский»; по мысли Пауса, славянский и русский компоненты образуют в нем определенное единство, и это предполагает объединение в нем морфологических вариантов, которые сам Паус определяет как славянские либо русские. Объединение вариантов в одном языке предполагает в контексте подобной нормализации их функциональное распределение. Что означает такое распределение, нетрудно понять. Паус описывает и регламентирует то реальное языковое употребление, которое он наблюдает в известных ему текстах, прежде всего письменных; его грамматика в значительной степени базируется на экскерпировании конкретных памятников (славянской Библии, Уложения 1649 г., и т. д.). Таким образом, функциональное распределение вариантов апеллирует к узусу, фрагментированному по регистрам. Для молодых академических филологов такое устройство литературного языка неприемлемо, оно не дает возможности реализоваться его важнейшим свойствам — общеобязательности и полифункциональности, не дает ему стать атрибутом новой секулярной и всеохватывающей власти. В силу этого и Адодуров, и Шванвитц, и позднее Третьяковский отвергают данный путь, оставаясь верны петровскому замыслу. Этим определяется и их отношение к морфологической вариативности.

Если функциональное распределение вариантов отвергается, оказывается неизбежным выбирать между ними. Критерий выбора, по видимости, лежит на поверхности, автоматически следуя из установок петровской языковой политики, в которой противопоставлялись «высокие слова славенские» и «простой русский язык» (Черты из истории 1868, стб. 1054—1055). Адодуров вроде бы этот путь и выбирает, заявляя (по поводу окончаний существительных в тв. мн.): «Allein da nunmehr aller *Slavonismus* vornehmlich eine solche Art zu decliniren aus der Rußischen Sprache exuliret, und einen greßlichen Laut in denen Ohren derer Heutigen erreget, so wird man auch nicht verdenken können, wenn man solches allhier übergangen und vielmehr dafür der natürlichen Art zu decliniren nachgegangen ist» (Адодуров 1731, 26). Для изгнания «славонизмов» легко могла быть использована известная Адодурову классификация, предложенная Паусом. Результат, однако, был бы слишком радикальным. Для читателя, привыкшего к книжной письменности, такой узус показался бы торжеством безграмотности, и можно предположить, что сами кодификаторы не были вполне чужды подобному восприятию. Столь решительно порвать со сложившимися привычками мог бы Петр, если бы его занимала морфологическая вариативность, но у молодых академических работников для этого не хватало ни смелости, ни власти, да и ученые амбиции не позволяли отказаться от всех элементов той традиции, которая воспринималась как атрибут учености.

Эта ситуация обуславливает компромиссность предложенных Шванвитцем и Адодуровым решений. Так, например, у Адодурова не приводятся и никак не

упоминаются флексии дат. мн. и местн. мн. *-омъ* и *-ѣхъ/-ехъ*, хотя в современных ему текстах они встречались; в данном случае он «изгоняет» славянизмы, следуя классификации Пауса. В местн. ед. четвертого склонения для существительных м. рода Адодуров последовательно дает *-ѣ*, а не *-и* (*гвоздѣ*, не *гвозди* — Адодуров 1731, 24—25), что согласуется с характеристикой *-и* как славянского у Пауса. Во 2 л. ед. ч. презенса и футурума Адодуров дает исключительно флексии на *-шь* (там же, 40—43), опять же повторяя Пауса. Точно так же только в форме на *-ть* дается и инфинитив, что соответствует решению Пауса, но идет вразрез с употреблением того самого Вейсманова лексикона, в приложении к которому напечатан адодуровский очерк (Брин 1983, 24). Во всех подобных случаях Адодуров кодифицирует те формы, которые стали доминирующими в новых текстах Петровской эпохи — вне зависимости от того, кто именно из петровских работников был ответствен за их лингвистический облик.

Вместе с тем этому узусу Адодуров следует и в тех случаях, когда доминирующим в нем оказывается вариант, определявшийся Паусом как славянский; вернее, когда «русский» вариант не закреплен в узусе предшествующей эпохи, Адодуров выбирает «славянский». Так, у Адодурова в склонении прилагательных для род. ед. и вин. ед. м. (и ср.) рода даются варианты *доброга* и *доброво* (Адодуров 1731, 30), т. е. флексия *-аго* не интерпретируется как славянизм, как это делает Паус. В род. ед. ж. рода Адодуров кодифицирует флексию *-ыя*, которую Паус определяет как славянскую. В им. ед. м. рода дается форма *добрый*, тогда как у Пауса здесь появляется специально русский вариант *доброи*. Можно полагать, что, выбирая данные варианты, Адодуров решает игнорировать противопоставление русского и церковнославянского и нормализовать формы, сохраняющие престиж грамотности.

Этот компромиссный характер сформированной академическими филологами нормы сохраняется и в последующем развитии при всех частных изменениях, которые в нее вносятся; в том числе и в той кодификации, которая была осуществлена М. В. Ломоносовым в его «Российской грамматике»; он, собственно, присутствует и в норме современного русского языка, так что выбор пути, осуществленный в 1730—1731 гг., можно по справедливости назвать определяющим — во всяком случае в том, что касается морфологии. Понятно, что кодификация нормы была лишь одной составляющей утверждения нового языкового стандарта; сама по себе она не обеспечивала ни его полифункциональности, ни общеобязательности. До середины 1750-х годов этот аспект по существу не был актуален, поскольку практически вся книжная деятельность — подготовка книг, их лингвистическое редактирование и их публикация — сосредоточивалась в Академии наук. Указ Петра II 1727 г. (ПСЗ, VII, № 5175) оставлял лишь три издательских центра; помимо Академии наук это были Синодальная типография в Москве и Сенатская типография в Петербурге⁴⁹. Последние два заведения отношения к со-

⁴⁹ Согласно указа Петра II от 16 октября 1727 г. (ПСЗ, VII, № 5175, с. 873—874) «друкарням в Санктпетербурге быть в двух местах, а именно: для печатания указов в Сенате, для печатания ж исторических книг, которыя на Российский язык переведены, и в Синоде апробованы будут, при Академии, а прочим, которыя здесь были в Синоде и в Александровом монастыре Невском, те перевести в Москву со всеми инструментами, и печатать только

вершенствованию нового языкового стандарта не имели, и поэтому не нарушали той централизации языкового строительства, которая должна была обеспечить общеобязательность новой нормы⁵⁰.

Положение меняется в конце 1750-х годов. Как замечает Г. Маркер, «the intellectual world of the 1760s and 1770s looked very different from the world of 1740s (...) [I]deas, politics, mentalities, and professional activity had not changed very much (...) There simply were many more laymen — both gentry and nongentry — coming out of secondary school and engaging in intellectual activity in the 1760s than there had ever been before» (Маркер 1985, 70—71). Это подрывает монополию академической филологии в деле нормализации языкового стандарта. Процесс начинается еще в конце 1750-х годов, когда появляются первые издания (включая периодические) Кадетского корпуса. Они могут рассматриваться как символическая веха, указывающая на то, что интеллектуальные занятия, литература, а вместе с ними и литературный язык перестают быть достоянием академических филологов и придворных одописцев (таких как Третьяковский, Ломоносов, Теплов) и апоприруются образованным (преимущественно дворянским) обществом в целом. Зачатки этого процесса могут быть усмотрены и в более раннее время, наиболее значимой в этом отношении фигурой является Сумароков, однако осязательный характер смена собственника языкового стандарта получает лишь в самом конце Елизаветинской эпохи.

Екатерининское царствование придает этому феномену стабильный характер, определяющий для длительного периода развития русского языка и культуры — вплоть до 40-х годов XIX в. Время Екатерины — это эпоха пишущего и читающего дворянского общества. Во главе его стоит пишущая и читающая императрица, начинающая свое царствование с написания «Наказа» и издания «Всякой всячины». Интеллектуальные занятия делаются привлекательны, поскольку могут служить неплохим началом для дворянской карьеры. О том, насколько важен

одне церковные книги». Интересно, что книги гражданской печати числятся как «исторические», что не может не ассоциироваться с указом Петра I о введении гражданской азбуки, которой должны были печататься «исторические и мануфактурные книги» (ПиБ, X, 27); исчезновение «мануфактурных» книг тоже любопытно как свидетельство ревизии петровской политики. Хотя указ не был выполнен в полном объеме, издания гражданского шрифта в 1730—1740-х годах появлялись почти исключительно в Академической типографии.

⁵⁰ О том, в какой мере этот указ был выполнен, см.: Маркер 1985, 42—43. Московская синодальная типография печатала церковным шрифтом церковные книги. В основном печаталась богослужебная литература, т. е. книги на стандартном церковнославянском, правившиеся в соответствии с нормами церковнославянского языка (того «общероссийского» извода, который образовался в результате реформ второй половины XVII в., ср.: Трубецкой 1995, 173—174). Подобные исправления могли вноситься и в небогослужебную церковную литературу, издававшуюся Синодом (например, при переиздании Четых Миней Димитрия Ростовского, приводившихся в соответствие с общероссийским стандартом церковнославянского языка — см. материалы этой sprawy: РГАДА, ф. 381, № 1199; ср.: Чистович 1857, 27, 30). С деятельностью академических филологов эта работа до середины 1750-х годов никак не пересекалась. Интерференции не происходило даже в тех редких случаях, когда академическая и синодальная типографии издавали одни и те же тексты (несколько проповедей в 1740-е годы). В типографии Сената языком, насколько известно, вообще не занимались.

был пример императрицы, ярко свидетельствует тот хоровод сатирических журналов, который образовался вокруг «Всякой всячины» (ср.: Моннье 1981, 73—85).

Главным претендентом на роль законодателя языковых и литературных вкусов в пристрастившемся к образованию дворянском обществе оказывается А. П. Сумароков, враждующий с Ломоносовым и подвергающий сомнению самые принципы его лингвистической деятельности. Подрывая авторитет ломоносовской грамматики и указывая, что она «ни каким Ученым Собранием не утверждена» (Сумароков, X, 38), Сумароков в то же время отмечает, что этот авторитет основывается «на сем правиле, что г. Ломоносов был Академик; так полагают основание на Академии, хотя он не составлял Академии, но был ея член; и ни Академия, ни Россия того не утвердила: да и утверждати того Академии не можно; ибо она в Науках, а не в Словесных Науках упражняется» (там же, 6—7). Таким образом, регламентация языка и литературы, исходящая из Академии наук, объявляется лишеной ценности и не имеющей никакого сходства с той регламентацией, которой занималась Французская академия (посвящавшая свою деятельность не наукам, а словесности). Ученые, состоящие в Академии, не способны совершенствовать язык и литературу, а вся академическая традиция состоит лишь в создании бессмысленных правил, «ненадобных безделок», которые лишь производят видимость учености, а в действительности мешают «воображению и умствованию» автора.

Морфологическая вариативность, с которой борются академические нормализаторы, получает у Сумарокова значение эстетического принципа, который он и проводит в своей языковой практике. Он демонстративно противопоставляет свое искусство педантским измышлениям своих оппонентов и вполне сознательно сопоставляет варианты формы, наделяя эстетической функцией вариативность как таковую. Так, например, в первой элегии (Сумароков 1774а, 4) читаем:

*Лишаюсь милыхъ губъ и поцѣлуевъ ихъ:
И ахъ! лишаюся я всѣхъ утѣхъ моихъ:
Лишаюся, увы! всево единымъ словомъ.*

Вариативность возвратных форм очевидно обусловлена здесь не метрически (легко найти такой вариант второй и третьей из процитированных строк, при котором в *-ся*, присоединяемом к основе на гласный, необходимости не возникает), но желанием избежать монотонного повтора одной и той же формы. Ради этого Сумароков употребляет форму с *-ся*, которая в контексте академической обработки языка была ненормативной. Действительно, Ломоносов в своей грамматике таких форм не кодифицирует и практически не употребляет их в своей языковой практике зрелого периода. В данном случае обращает на себя внимание не только употребление ненормативной формы, но и ее прямое соположение с нормативным вариантом. Ненормативные варианты появлялись иногда и у Ломоносова, и у Тредиаковского, но у них они были как бы спрятаны. Прямое соположение с позиций нормализаторов языка представлялось безобразным, обнаруживающим варварский макаронизм⁵¹. Сумароков явно реагирует на эту нормализатор-

⁵¹ Так, в «Письме от приятеля приятелю» 1750 г. Тредиаковский несколько раз упрекает Сумарокова в употреблении такого типа неоднородных сочетаний. Он пишет, например: «Положенож у него в первом стихе: *слабыя сей*, вместо *слабыя сея*: ибо весьма

скую догму, и примеры типа приведенного выше у него не единичны⁵². В подобной демонстративной функции он использует не только возвратные формы, но и формы императива с конечной безударной гласной или без нее типа *забуди* — *забуди* в IX элегии любовной (Сумароков 1774а, 14). Эта же установка определяет и его употребление инфинитива на *-ти* и *-ть* (см. § П.3).

Как мы видим, языковой стандарт, оказавшись в руках дворянской элиты, обнаруживает свою неустойчивость, эфемерность своей конструкции. Нормализованный академическими филологами новый идиом не приобретает статуса универсальной нормы, он не укоренен ни в каких институтах, значимых для всего образованного общества. Он не усваивается обществом как необходимая часть культурной традиции, как это должно быть с полноценными литературными языками, его новые пользователи переделывают его по своему вкусу. Возникают своего рода частные варианты языкового стандарта, претендующие на равные права с тем, который они получили в наследство. Замечу, что предложенные Сумароковым решения лишь в ретроспективе кажутся индивидуальными чудачест-

сие досаждают слуху, когда непосредственно слова соединенныя, или до одна вещи взаимно принадлежащия, полагаются так, что одно из них полное, а другое сокращенное. Лучше всегда, а особливо в стихах, полагать оба таких слова полныя; однако сноснее, ежели они оба будут неполныя, когда того нужда меры требует, как то и у него во втором стихе, *невидимой своей*» (Куник 1865, 444). Аналогичные возражения вызывает у Тредиаковского словосочетание *любезной дщери* (род. ед.): «...*любезной дщери* вместо *любезныя дщери*, есть неправильно, и досадно слуху, для того что существительнаго имени *дщери*, есть полный родительный падеж, а прилагательнаго *любезной*, есть сокращенный, или лучше, развращенный от народнаго незнания, а в самой вещи он есть дательный» (там же, 462). Как можно видеть, критику вызывает прежде всего совмещение в одном контексте разнородных форм с одним грамматическим содержанием. Сумароков явно этот подход отвергает, и подобные сочетания появляются у него во множестве, ср.: *Своей рукою* (Ода на Государя Императора Петра Великого — Сумароков, II, 10), *сей страную* (Ода на Погребение Елизаветы — II, 36; 1774б, 24), *съ чистой гордою Невой* (Ода на рождение 1755 г. — II, 18), *сей злыя части* (Ода на Восшествие 1762 г., вторая и третья редакции — II, 44; 1774б, 28) и т. д.

⁵² Так, совершенно аналогичную вариативность обнаруживаем в Оде на погребение Елизаветы (Сумароков, II, 35; ср. с несущественными разночтениями: Сумароков 1774б, 22):

И вопили бѣ: возвратися,
Возвратися къ намъ назадъ,
Матерь наша, и *простися*,
Ты еще увидѣвъ чадъ,
И *простись* еще Ты съ нами...

Подобный же пример находим и в притчах, см. в притче «Терпение»:

Збылися, говорить, *збылись* мои слова...
(Сумароков, VII, 66).

В притче «Коршуны и голуби»:

Дралися, голубей уж больше не губя:
Дрались между себя...
(там же, 274).

вами, несопоставимыми с предписаниями Ломоносова, якобы угадавшего, каким будет «объективное» развитие «общенационального» языка. Для современников это были допустимые варианты, и некоторые (например, Василий Майков) предпочитали сумароковский. Вполне очевидно, что таким важным атрибутом литературных языков, как общеобязательность, созданный академическими авторами стандарт на этом этапе еще не обладал. Неоднородность узуса увеличивалась еще и в силу того, что с конца 1750-х годов на новый литературный язык начинает переходить и духовная словесность. Проповеди, равно как и некоторые жития пишутся по-русски, а не по-церковнославянски, но при этом в данных текстах в течение довольно длительного периода продолжают употребляться те морфологические варианты, которые из светского литературного языка академические нормализаторы успешно вытравивали (ср.: Живов 1995).

Именно этот разнородный узус стремится описать и упорядочить А. А. Барсов в своей оставшейся неопубликованной «Российской грамматике» (Барсов 1981). Барсов при этом старается переосмыслить вариативность в стилистических категориях: там, где неоднородность узуса обусловлена функциональными параметрами или идеосинкретическим выбором автора, он подыскивает стилистические параметры, которые придавали бы этой разнородности характер закономерности и тем самым вводили бы ее в рамки единой нормы. Так, скажем, об инфинитиве на *-ти*, изгнанном из литературного стандарта академическими кодификаторами, но употреблявшемся в духовной литературе, равно как в сочинениях Сумарокова и некоторых его последователей, Барсов говорит, что его «ныне употреблять можно только в стихах или в высоком слоге и церковном, а впрочем сокращается переменою на *ть*» (Барсов 1981, 592; см. ниже, § II.4). Такое переосмысление было, конечно, паллиативом, но именно на подобных паллиативах и строилось развитие нормализации литературного языка во второй половине XVIII в.

Едва ли не последним автором, активно (а не окказионально) использовавшим возможность стилистического переосмысления морфологических вариантов, был Н. М. Карамзин — имею в виду период его литературных занятий, до того как он, забросив литературу, посвятил себя «Истории государства Российского». Отмечалось, например, что «[с]тилистическая реформа Карамзина не только не отменила, а, напротив, усложнила систему значений прилагательных на *ый-ий/ой*. В «Письмах русского путешественника» мы находим настоящую стилистическую партитуру, построенную на этом противопоставлении: «деревенской Проповедник, в рыжем парике», но «великий Лейбниц», «проницательный Лейбниц». Разительны примеры вроде описания внешности Канта: «Меня встретил маленькой, худенькой старичок, отменно белый и нежный». Двойственность портрета Канта: «маленькой старичок» и мудрец, друг людей, кабинетный мыслитель — раскрывается антитезой окончаний прилагательных» (Лотман, Толстой, Успенский 1981, 319).

Такой узус, однако, противоречил общему проекту литературного языка как общеобязательной нормы, употребление оказывалось слишком идеосинкретичным, зависящим от вкуса автора (замечу, что ориентация на вкус входила в лингвистические программы и Сумарокова, и Карамзина — ср.: Успенский 1985, 19—21). Весьма показательны, что в «Истории государства Российского» Карамзин расстается с прихотями индивидуального вкуса и употребляет варианты *-ый/-ий*

и *-ой* в соответствии с (академической) нормой начала XIX в., т. е. *-ый/-ий* в безударном положении и *-ой* в положении под ударением; отступления в этом тексте единичны, и их стилистическая мотивация имеет существенно более выраженный и надындивидуальный характер⁵³. Окказионализмы этого типа не вступают в конфликт с общеобязательностью нормы именно в силу своей исключительности.

И барсовская попытка привести в систему и узаконить то разнообразие употреблений, которое было характерно для узуса Екатерининского царствования, и стилистические опыты Карамзина оказываются вытесненными на периферию в процессе формирования языкового стандарта, поскольку лозунгом дня была жесткая нормализация. Такой подход диктовался социальными параметрами утверждения языковой нормы. В последние десятилетия XVIII в. наконец начинают образоваться институты, обеспечивающие общеобязательность языкового стандарта. Важнейшим подобным институтом является начальная школа. Начальная школа создает нормативные навыки письма, логического синтаксиса и стилистически нейтрального словоупотребления, которые и составляют основу языкового стандарта. До середины Екатерининского правления преподавание русского языка оставалось частью среднего образования, тогда как начальное образование было традиционным, церковнославянским (ср.: Маркер 1994). Это не могло не сказываться на характере владения литературным языком: навыки грамотного письма оставались неустойчивыми и зависящими от индивидуальных пристрастий.

Ситуация начинает меняться лишь в 1780-е годы. В сентябре 1782 г. была учреждена Комиссия для заведения в России народных училищ (ПСЗ, XXI, № 15507, с. 663—664), а в 1786 г. Екатерина утвердила Устав народным училищам в Российской империи (ПСЗ, XXII, № 16421, с. 646—669). Именно с введением государственного контроля в начальном образовании языковой стандарт начинает последовательно внедряться в образованное общество. В 1783 г. издается «Руководство учителям первого и второго класса» Янковича де Мириево, главного разработчика школьной реформы, и по этому руководству Устав народным училищам предписывает обучать учеников первого класса «первоначальным правилам Грамматики» (ПСЗ, XXII, № 16421, с. 646). В 1787 г. выходит «Краткая российская грамматика» Е. Б. Сырейщикова, предназначенная для насаждаемых Екатериной народных училищ (Сырейщиков 1787, 11). Никакой вариативности или стилистического выбора вариантов эта грамматика не преду-

⁵³ Мне уже приходилось писать об этом в другом месте: «Отступления единичны. Так, в частности, при пересказе летописи, повествующей о поединке между печенежским богатырем и русским отроком: “Ежели *Русской* убьет Печенега...”; “...юноша *Русской* перял у врагов славу” (ср. здесь же “Князь Российский”); летопись не дает для такого употребления никаких оснований, и форма на *-ой* должна, видимо, рассматриваться здесь как стилистический нюанс, отсылающий читателя к “народной старине” (ср. еще в другом месте: “селянин *Русской* делает собственными руками почти все необходимое для его хозяйства”). Единичны и употребления прилагательных на *-ый/-ий* под ударением. Так, мы находим написание “Михаил Тверский”, в котором форма на *-ий* обусловлена, видимо, каноническим наименованием святого князя {...} Таким образом, Карамзин в “Истории” отказывается от широкого употребления форм, отступающих от традиционной книжной нормы, и лишь в единичных случаях прибегает к тем стилистическим противопоставлениям, которыми ранее пользовался повсеместно» (Афиани, Живов, Козлов 1989, 405—406).

сматривает; ее цель состоит в том, чтобы регламентировать узус четким и однозначным образом. Эта регламентация дает хотя и не немедленный, но вполне ощутимый эффект. Не только бесследно исчезают те легкомысленные забавы с языковым стандартом, которые позволял себе Сумароков, но и узус духовной литературы на русском языке постепенно приводится в соответствие с нормой (о значимости этого процесса говорилось выше).

Выработанный нормализаторами стандарт употребления морфологических вариантов закрепляется в Академической грамматике 1802 г., а оттуда переходит в грамматику Н. И. Греча, на которой воспитывается не одно поколение русских авторов. В начале XIX в. этот стандарт приобретает и полифункциональность и реальную общеобязательность, не оставляя места для прихотей отдельных авторов или частных письменных традиций (таких как традиция духовной литературы), что и знаменует завершительную остановку в процессе формирования литературного языка на морфологическом уровне. Язык Пушкина и Тургенева следует этой норме лишь с минимальными отступлениями и, становясь образцом для всей последующей языковой практики (именно эти авторы используются для школьных упражнений в русском языке), определяет равномерный узус современного русского литературного языка.

Таковы общие очертания процесса нормализации русской морфологии. Общие контуры, однако, складываются из линий многообразного и разнонаправленного движения, обусловленного отнюдь не метафизической телеологией языка, а частными интенциями отдельных групп носителей, создающих свои письменные традиции, а нередко и отдельных авторов, находящих новое применение для той вариативности, которую они получили в наследие в своем читательском опыте. Эти мелкие движения плохо видны, когда выстраивается общая картина, но именно они и раскрывают перед нами жизнь языка как социального и культурного феномена. Для того чтобы их разглядеть, нужен не телескоп, а микроскоп, и именно такому микроскопическому разглядыванию посвящены следующие три главы настоящего исследования. И они, конечно, не дают исчерпывающей картины, поскольку — в силу ограниченности исследовательских возможностей — не достигают необходимой степени разрешения. Автор, однако, не оставляет надежды, что ему удалось хотя бы несовершенно запечатлеть прерывистый ритм процесса языкового развития.

Глава II

ФОРМЫ ИНФИНИТИВА И 2 ЛИЦА ЕД. ЧИСЛА ПРЕЗЕНСА

Судьба большинства морфологических элементов, не поддерживавшихся разговорным узусом, в русском литературном языке нового типа была общей: все они были раньше или позже выведены за пределы литературной нормы и во всех случаях этот процесс начался уже в Петровскую эпоху. Однако он не был синхронным для разных признаков, конкретная его динамика зависела как от предыстории каждого отдельного явления в письменности предшествующего периода, так и от особенностей их переосмысления по ходу нормализации нового литературного языка. Принципиальный интерес, который представляют формы инфинитива, обусловлен тем, что их вариативность уже в исходном для рассматриваемого периода состоянии может осмысляться по-разному: как противопоставление, обладающее функциональной (стилистической) значимостью и отделяющее более престижные формы языка от менее престижных, или как вариация, дающая разное статистическое соотношение вариантов в разных регистрах, но в принципе допустимая в любом из них и не несущая никакой функциональной нагрузки. Эта исходная амбивалентность определяет сложную судьбу исследуемых форм в языковой практике XVII и XVIII в. и в нормализационных процессах периода формирования нового языкового стандарта. Ею обусловлена, в частности, возможность переосмысления форм инфинитива на *-ти* и их усвоения новому литературному языку как равноправного варианта или как варианта, обладающего специальной стилистической функцией. При этом возникают достаточно интересные расхождения между нормализационными решениями и языковой практикой, которые также заслуживают внимания.

1. Формы инфинитива в языковой практике XVII века

Как формы инфинитива на *-ти*, так и формы инфинитива на *-ть* встречаются в русской письменности с древнейших времен. В древнейший период (XI—XIV вв.) формы на *-ти* являются основными не только для книжной, но и для некнижной письменности; эти формы выступают как основной вариант не только у тех глаголов, которые в ранний восточнославянский период имели ударение на *-ти*, но и у тех, где *-ти* было исконно безударным. Отпадение конечной безударной гласной в инфинитиве определяется общим правилом отпадения конечных глас-

ных, как оно сформулировано А. А. Зализняком: «В истории русского языка со времени падения редуцированных (XII век) в течение нескольких веков (по крайней мере до конца XVI века) действовала следующая закономерность: безударная конечная гласная фонетического слова, не составляющая самостоятельного морфа, факультативно (а в части случаев и окончательно) исчезала, если ей предшествовала одиночная согласная (или сочетание *ст*)» (Зализняк 1992, 296—297; ср.: Дурново 1928).

Действие этой закономерности обусловило отпадение конечной безударной гласной в инфинитиве на *-ти* после падения редуцированных, равно как и дальнейшие преобразования в формах инфинитива других типов, когда в этих формах происходил перенос ударения на слог влево и образовалась новая безударная гласная (ср. *взять* из *възятїи*, *беречь* из *беречїи*). Тот же процесс дефинализации ударения дает и формы типа *весть*, *несть* и т. д., хотя в этом морфологическом подклассе дефинализация является поздней и непоследовательной и при этом ограниченной (в сравнении с двумя указанными выше подклассами) в географическом распространении (Зализняк 1985, 182—188; ср.: Орлова 1970, 97; Горшкова и Хабургаев 1981, 345—346); запоздалым характером дефинализации в данном классе обусловлена и непоследовательность в трактовке данных форм при нормализации литературного языка нового типа в XVIII в. (см. § II.3).

Отпадение конечной безударной гласной в инфинитиве не было общевосточнославянским процессом. Он не затрагивает украинские говоры, часть белорусских, а также некоторые говоры великорусского Севера (к северу и северо-востоку от Москвы — Орлова 1970, 98; Горшкова и Хабургаев 1981, 345; специально о диалектной дистрибуции инфинитивов с исторической основой на согласную ср.: Флаер 1978; ср. еще: Флаер 1976). В говорах московского ареала отпадение конечной безударной гласной в инфинитивах с исторической основой на гласную имело место достаточно рано, так что к интересующему нас периоду XVII—XVIII вв. письменный узус, сохранявший инфинитивы на *-ти*, с разговорным употреблением не совпадал. Нет оснований думать, что в рассматриваемых в настоящем исследовании памятниках употребление инфинитивов на *-ти* хотя бы частично отражает диалектные черты, отличные от московских.

Единичные формы на *-ть* встречаются уже в древнейших восточнославянских книжных памятниках. Примеры эти хорошо известны еще со времен А. И. Соболевского (Соболевский 1907, 165). Так, в Остромировом Евангелии находим: **не придохъ разоритъ нъ напълнитъ** (ОЕ, л. 213), в Изборнике 1073 г.: **прѣдѣлаху ичноплеменьници почръпать** (И1073, л. 257), в Архангельском Евангелии: **иже не имоуть въкоуситъ съмърти** (АЕ, л. 80 об.). В каждом из этих памятников встречается лишь по одному примеру; в позднейших памятниках примеров может быть больше (например, из Добрилова Евангелия 1164 г. Соболевский приводит 4 примера — Соболевский 1907, 165). Проблема как раз в том, как интерпретировать данные трех указанных памятников XI в., созданных существенно ранее того времени, когда падение редуцированных начало отражаться в книжных текстах.

Правило отпадения конечных гласных, сформулированное Зализняком, начинает действовать лишь после падения редуцированных, и такая его хронологизация представляется логичной. В этом случае формы инфинитива на *-ть* должны

появляться лишь в связи с падением редуцированных (так, в частности, думал и С. П. Обнорский — Обнорский 1953, 172), и наличие их в Добриловом Евангелии, отражающем падение и прояснение *ъ* и *ь*, удивления не вызывает. Однако при такой интерпретации для трех приведенных выше форм из памятников XI в. требуется особое объяснение. Н. Н. Дурново, имея, видимо, в виду обсуждаемые примеры, полагал, что *-ть* в инфинитиве было общеславянским: «Существование еще в о.-сл. инфинитивов на *-ть* можно предполагать на основании не только русского, но и польского яз., в котором издавна известны инфинитивы только на *-ć* (из о.-сл. *-ть*): *brać, nieść, chodzić* и пр., и лужицких языков. В русских письменных памятниках инфинитивы на *-ть* засвидетельствованы с XI в. (далее идут уже известные нам примеры)» (Дурново 2000, 301). Понятно, что, если инфинитив на *-ть* имеет общеславянское происхождение, его появление у восточных славян с правилом отпадения конечных гласных не связано (это правило могло лишь способствовать умножению таких форм, но не их возникновению); такая обособленная трактовка не представляется удовлетворительной.

В то же время бросается в глаза, что в двух из трех приведенных примеров (в Остромировом Евангелии и в Изборнике 1073 г.) аномальная форма инфинитива стоит на месте супина¹. Этот факт, который Дурново оставляет без внимания, был замечен Соболевским. Никакого объяснения ему Соболевский, впрочем, не дал, предварив список примеров лишь энигматическим утверждением: «В русском языке (...) форма на *ть* (существовала) в значении и неопред. н., и супина» (Соболевский 1907, 165). Аномальную форму супина, однако же, легче объяснить, чем аномальную форму инфинитива. В самом деле, восточнославянские писцы, переписывавшие южнославянские протографы, регулярно заменяли южнославянское *-ть* в 3 лице презенса на свое *-ть* (см. об этой замене: Живов 1987, 63; Лант 1987, 149—150). Многократно повторяя эту операцию, они могли совершить оплошность и в единичных случаях трансформировать таким образом не форму презенса, а форму супина. В неразберихе, создававшейся смешением презенса с супином, а супина с инфинитивом, могла появиться и та уникальная форма инфинитива на *-ть*, которую мы обнаруживаем в Архангельском Евангелии.

Итак, в книжных текстах XI—XIII вв. формы инфинитива на *-ть* встречаются лишь в качестве редчайших исключений. Хотя можно подозревать, что в разговорном языке XIII в. отпадение конечной гласной в инфинитиве получило определенное распространение, норма книжного письма требовала инфинитива на

¹ Едва ли не большинство примеров форм на *-ть* из рукописей XII—XIII вв. также представляет собой замены супина. Достаточно взглянуть на примеры, приводимые Соболевским, см. в Добриловом Евангелии: *възде на гору ѓдинъ помолитъся* (л. 70 об.), *да ся не възвратитъ възспять възять ризъ своихъ* (80 об.); в Учительном Евангелии Константина Болгарского XII в. (ГИМ, Син. 262): *приде не тъкъмо себе явить, нь и научити* (л. 43); *Пантелеймоново Евангелие XII в.* (РНБ, Соф. 1): *приде отъ коньць земля слышать премудрость* (л. 46); *Милятино Евангелие 1215 г.*: *бысть въннити въ домъ хлѣба ѣсть* (л. 119 об.); *Евангелие Погодина XIII в. № 12*: *да снитеть ицѣлить сына* (л. 12 об.) (Соболевский 1907, 165). Если эти примеры не рассматривать как формы инфинитива, инфинитив на *-ть* в книжных рукописях XII—XIII вв. оказывается редчайшим явлением. Два примера извлекаются из Добрилова Евангелия, четыре — из трех рукописей второй половины XIII в. (там же).

-ти. Лишь окказионально встречаются формы на *-ть* и в памятниках некнижных. Первые по времени примеры встречаются в Смоленских грамотах. В договоре неизвестного князя 1223—1225 гг. находим: **тѣ тѣ ли дѣтъскыи не исправитъ возма мьздоу. приставити на нь дроугого. тѣтѣ ли еметь хытрити. а поставити и передъ соудью. ать выдасть и соудья. тако же и немьчицю смолинскѣ. поставитъ и передъ княземъ** (СГ, 12); я намеренно привел длинную цитату, чтобы показать, что данный пример появляется окказионально в окружении инфинитивов на *-ти*. Единичный пример обнаруживается и в договоре 1229 г. (список А): **аж не боудѣтъ поруки то оу жельза оусадитъ** (СГ, 21)².

Не менее показательно, что форма на *-ти* последовательно употребляется в ранних новгородских берестяных грамотах; первые примеры с *-ть* появляются в блоке, состоящем из грамот № 61 и 68 и относящемся к 60—70-м годам XIII в.: **исправитъ, бѣтъ** (Зализняк 1995, 395—396). Однако и позднее формы на *-ти* употребляются преимущественно перед формами на *-ть*. По подсчетам А. А. Зализняка для берестяных грамот второй половины XIV в. «соотношение примеров с *-ть* и с *-ти* — 6:13», правда, в первой половине XV в. соотношение меняется на 8:5 (Зализняк 1995, 123; ср.: Зализняк 1986, 144). Таким образом, вплоть до конца XIV в. формы на *-ти* были основными не только для книжного, но и для некнижного языка; можно предположить, что и в разговорном языке формы на *-ть* появлялись непоследовательно, скорее всего как *allegroformen*. В немногих случаях такое употребление могло отражаться и в книжных текстах; Соболевский замечает, что «[п]амятники XIV в. имеют формы на *ть* сравнительно нередко» (Соболевский 1907, 166), однако и в этот период примеры единичны и пропорция их в отношении к инфинитивам на *-ти* ничтожна. Отсюда следует, что в древнейший период различие в формах инфинитива не играло роли в противопоставлении книжного и некнижного языка.

Такое положение вещей характерно и для более позднего времени. В книжных памятниках XV—XVI в. нормативной остается форма на *-ти*, тогда как форма на *-ть* встречается лишь в относительно малом числе случаев или может полностью отсутствовать (ср.: Булич 1893, 398). Так обстоит дело не только в

² Издатели последней научной публикации смоленских грамот трактуют данную форму как императив мн. числа (СГ, 96 — s. v. *всадити*) в противоположность Соболевскому, рассматривавшему ее как инфинитив (Соболевский 1907, 166). На мой взгляд, для такой трактовки нет оснований. Синтаксическая конструкция, в которой стоит данная форма, повторяется в договоре 1229 г. (равно как и во многих других юридических текстах) многократно и неизменно требует формы инфинитива. Форма инфинитива стоит в анализируемой фразе и в большинстве других списков договора 1229 г.: **всадити** (список В — СГ, 26), **вѣсадити** (список D — СГ, 36), **вѣсадити** (список E — СГ, 40), **всадити** (список F — СГ, 46—47); единственным исключением является список С, в котором выступает форма **оусадите** (СГ, 31). Полагаю, что именно эту последнюю нужно рассматривать как случайную ошибку переписчика, единичный неправильный результат правописной коррекции, которой он подвергает список А, безразлично употребляющий *ь* и *e*.

Соболевский приводит и еще один пример из Смоленского договора 1229 г.: «такова правда узате (*e = ь*)» (1907, 166); этот пример воспроизводит затем и Дурново (2000, 301). Однако же в договоре 1229 г. — как в списке А, так и в других списках — эта форма отсутствует, в соответствующих местах находим инфинитив на *-ти*: **такова правда оузати** (СГ, 22 bis).

памятниках стандартного церковнославянского, но и в произведениях, написанных на гибридном языке. Лишь единичные формы на *-ть* (и *-чь*) встречаются, например, в Казанском летописце, Сказании о Мамаевом побоище или письмах Ивана Грозного (Никифоров 1952, 195; Никифоров 1952а, 105).

Достаточно показательны в этом плане данные Новгородской пятой летописи по Хронографическому списку, относящемуся к началу XVI в. (ПСРЛ, IV, 2¹). В этом весьма обширном тексте отмечается лишь 13 (или 12) примеров инфинитива на *-ть*: *Царю же отъшедию воевать на Агаряны* (л. 441, s. a. 6374); *повель не зубить дѣтии Жидовьскихъ* (л. 477об., s. a. 6494); *шедь в землю его взять имѣние его* (л. 530, s. a. 6530; в других летописях аорист *взя*, так что скорее всего мы имеем здесь дело с формой аориста с аугментом, в котором на месте *ъ* стоит *ь* — ср.: ПСРЛ, I, стб. 147; IV, 1, 111); *а дворъ свои посла воевать* (л. 542 об., s. a. 6700; в Новгородской первой супин *воевать* — НПЛ, 40); *Мьстиславъ и Володимиръ посласта молодья люди биться* (л. 553, s. a. 6724; в Новгородской четвертой *бится* — ПСРЛ, IV, 1, 191); *не даи Богъ брате выдать добрыхъ сихъ людѣи* (л. 554, s. a. 6724; в Новгородской четвертой *выдати* — ПСРЛ, IV, 1, 192); *а на Душица на Липиньскаго старосту тамо послаша грабить* (л. 563 об., s. a. 6736; в Новгородской первой супин *грабить* — НПЛ, 67); *Того же лѣта приходи Свѣя воевать* (л. 591, s. a. 6800; в Новгородской первой *воеват* в Комиссионном списке, *воевать* в Академическом и Троицком — НПЛ, 327); *иде в Торжокъ Дмитрия переимать* (л. 591 об., s. a. 6801; то же в Новгородской первой младшего извода — НПЛ, 328); *почали бяху грабить недобрии люди* (л. 596, s. a. 6822; в Новгородской первой *грабити* — НПЛ, 94); *приѣде в Новгородъ Михаило княжичищъ Александровичъ къ владыцѣ къ Василью сынъ хрестныи грамотѣ учиться* (л. 606 об., s. a. 6849; в Новгородской первой младшего извода *учится* — НПЛ, 354); *послаша послы въ Витьбескъ <...> помощи просить* (л. 607 об., s. a. 6850; в Новгородской четвертой *прошати* — ПСРЛ, IV, 1, 272); *И Олгердь посла <...> языка добывать* (л. 608, s. a. 6850; то же в Новгородской четвертой — ПСРЛ, IV, 1, 273).

Как можно видеть из приведенных примеров, инфинитив на *-ть* остается периферийным элементом и в книжной письменности XVI столетия: его пропорция в отношении ко всем формам инфинитива в Новгородской пятой летописи составляет менее 2 %. Стоит отметить два момента. Во-первых, в поздних слоях летописи частота форм на *-ть* увеличивается сравнительно с ранними слоями, что указывает на вполне ожидаемое возрастающее отражение в письменном тексте инновации, имевшей место в устном языке. Во-вторых, в существенной части примеров, особенно ранних, форма на *-ть* стоит в позиции, в которой возможно употребление супина; можно предположить, что смешение инфинитива с исчезающим или исчезнувшим из устного употребления супином стимулировало употребление формы на *-ть* в книжных текстах: эта форма была своеобразным компромиссом между инфинитивом и супином (она больше похожа на супин, чем инфинитив на *-ти*, и в то же время понятна книжнику XVI в., обращающемуся к своему некнижному опыту).

Некнижные тексты XV—XVI вв. в рассматриваемом аспекте более дифференцированы. В текстах делового регистра (в Судебниках, грамотах, в примыкающем к ним Домострое) сохраняется существенное преобладание форм на *-ти* (Ники-

форов 1952, 195; Соколова 1957, 145). С. Д. Никифоров приводит примеры относительно немногочисленных инфинитивов на *-ть* из Судебника 1589 г. и грамот XVI в.: «Из Судебника: *бить* кнутом (ст. 213), *дать* ему 100 ударов (ст. 103). Из грамот (РИБ т. 32): А которых дел ... *кончатъ* немочно (358). А которые люди учнут вперед корчмы *держатъ* (360). Тот починок и пустошь ... *очищатьъ* (476)» (Никифоров 1952, 195). Для Домостроя М. А. Соколова указывает соотношение форм на *-ти* и *-ть* (всего в Домострое выделяется «больше 800» форм инфинитива): «В подавляющем большинстве случаев они (инфинитивы) сохраняют свою старую форму на *ти, чи* (примерное соотношение 7 : 1)» (Соколова 1957, 145).

Уже в XVI в. наблюдается определенная дифференциация в употреблении форм инфинитива между деловыми и бытовыми текстами. Как отмечает С. Д. Никифоров, «формы инфинитива на безударные *-ть, -чь* более часты в частных письмах (грамотках) и в челобитных (...) Примеры (РИБ т. 15): 3 голода не хотят умереть (78). Некуды *итить* (80). Послал... *проводить* своих дву человек (219). Да тому Степану приказано товар с Вологды *беречь* и до Великого Новгорода *довезть* (87). Нет оснований полагать, что дифференциация окончаний *-ти* и *-ть* зависит от лексического значения глагола (книжного или бытового) или от фразеологического сочетания. Об этом свидетельствуют, например: приходно-расходные книги Болдина Дорогобужского монастыря, где из 51 формы инфинитива 21 имеют окончание *-ть*, а 30 — *-ти*, причем часты различные окончания у одного и того же глагола в одинаковом контексте» (Никифоров 1952, 195)³.

Вывод Никифорова о том, что вариативность форм инфинитива не зависит от стилистических или фразеологических параметров, представляется мне в целом верным. Он, однако же, противоречит наблюдениям М. А. Соколовой над узусом Домостроя. Она полагает, что инновативные формы на *-ть* и *-чь* лексически обусловлены: «В “Домострое” представлено 107 форм на *ть* и *чь* от 86 глаголов, при этом у половины их нет даже и параллельных форм на *ти, чи*. Лексические значения инфинитивов на *ть* и *чь* столь своеобразны, что на них нельзя было не обратить внимания. Все это сугубо бытовые действия» (Соколова 1957, 145). Г. А. Хабургаев, пересказывая эти данные, формулирует то же наблюдение как вывод о том, что «относительно немногочисленные примеры с *-ть* не связаны с традиционными глагольными словами» (Горшкова и Хабургаев 1981, 345).

Когда М. А. Соколова говорит об отсутствии «параллельных форм на *ти, чи*», имеется в виду их отсутствие в разбираемом памятнике (Домострое), а не в рус-

³ Никифоров приводит примеры двух типов форм инфинитива: «Привожу первые: колец *купить* (43), житницу... *срубить* (70), нанял... нутри *делать* (49), давал *делать* (79), закромы *поделать* (86), избы *топить* (21, 22), лучины *щепать* (27), Христа *славить* (29), нанял... *скородить* (36), мерин... *лечить* (45), давал *переписывать* (45), *есть* варят (63), хотел... *порудить* грамоту а хотел... *судить* (66), кровля *прибивать* (66), *проводить* в монастырь (72), давал... *подшивать* подошвы (82), рукавы у ряски *заставить* (83), огурцов *посолить* (86), *написать* книги (87). Выписываю образцы вторых: послал... *купити* (41), нанял... житницу *срубити*... *зделати* (86), *делати* ворота (76), нутрь *зделати*... *поставити* и *покрыти* (70), избу *срубити* да и нутрь в ней *зделати* (59), шуба... *поделати* (30), кровля *прибивати* (67), нанял... *скородити* (38), шти *варити* (31, 66), нанял... *молотити* (46)» (Никифоров 1952, 195—196; текст цитируется Никифоровым по изданию: РИБ, XXXVII).

ской письменности соответствующего периода. Можно думать, что эта особенность обусловлена языковой и тематической гетерогенностью данного памятника, а не стилистическими параметрами, присущими письменности XVI в. в целом. Те части, которые посвящены религиозному назиданию, основаны на источниках церковной литературы и воспроизводят соответствующий узус. Те части, в которых даются хозяйственные советы, таких источников не имеют, так что в них происходит интерференция с разговорным узусом пишущего. Это тематическое распределение обуславливает выбор лексики. Наличие форм на *-ть*, не имеющих параллельных форм на *-ти*, оказывается лишь следствием того, что во фрагментах с бытовой лексикой редуцировано влияние письменной традиции. «Хозяйственные» фрагменты с очевидностью обнаруживают отсутствие всякой стилистической интенции, поскольку формы на *-ти* и *-ть* чередуются в них совершенно произвольно, ср.: «Простой мед *сытити*. А простой медь *взяти* сырцу въ шестеро, *розсытить* водою лѣть тепло, да *процедити* чисто, да *положыть* на мѣрникъ, а *положыти* вару на всякой пудъ по полумѣре хмелю, да дрожжами *наквасити*, а какъ медь киснетъ, ино дрожжи *снимати* с меду ситомъ до чиста, а какъ поспѣеть такъ и *сливати* в бочки» (Домострой 1994, 68; цитирую тот же список РГБ, ф. 205, № 340, 1560-х годов, который исследовала М. А. Соколова).

1.1. Формы инфинитива в книжных текстах XVII века

В XVII в. картина становится более сложной и дифференцированной. В стандартных церковнославянских памятниках форма на *-ти* продолжает быть вне конкуренции. Форм на *-ть* нет ни в Библии 1663 г., ни, что также характерно, в Елизаветинской Библии 1752 г. (Булич 1893, 398). Не менее единообразны в этом отношении и богослужебные тексты. В печатных изданиях устраняются даже те случайные отклонения, которые могли вкратиться в рукописные тексты, так что церковнославянская норма выдерживается здесь без всяких отклонений. Рассмотрю в качестве произвольного примера достаточно поздний печатный текст — Июньскую служебную mineю, изданную в 1691 г. (Mineя 1691). Среди нескольких десятков форм инфинитива, встретившихся на первых пятидесяти листах этого издания, нет ни одной формы на *-ть*, ср.: **Ѡживити** (л. 3), **покланѣтисѧ** (л. 4об.), **звѣти** (л. 4об.), **Ѡбновити** (л. 5), **даровѣти** (л. 6, 8об., 9, 10 [bis], 16, 24, 26), **бѣмрѣти** (л. 6об., 21об.), **скончѣтисѧ** (л. 7, 21об.), **покорѣти** (л. 7об.), **порабѣтити** (л. 7об.) и т. д. Приведу полные статистические данные:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тца)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	69	13	—	10	—	92
новые	—	—	—	—	—	—
% новых	0 %	0 %	—	0 %	—	0 %

Столь же строго данная норма выдерживается и в рукописных богослужебных текстах, не прошедших через контроль типографских справщиков и в силу этого более открытых для разнообразных инноваций. Приведу в качестве примера данные из «Чина избрания, исповедания и хиротонии архиерея», написанного при патриархе Адриане (ГИМ, Син. 344 — Горский и Невоструев, III, 2, № 541,

с. 440—441). В формах инфинитива никаких инноваций здесь не наблюдается, встречаются исключительно формы на *-ти*, ср.: **изъврѣти** (л. 1), **снѣтисѧ** (л. 1 об.), **собрѣтисѧ** (л. 3 об.), **изврѣти** (л. 3 об.), **поспѣшити ѿ посѣствити** (<...> **ѿ покорѣти** (л. 5 об.), **быти** (л. 6 об., 9, 10 об., 13 об.), **повѣдовати** (л. 6 об.), **написати** (л. 7) и т. д. Статистические параметры выглядят следующим образом:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -тъся(-тца)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-стѣ/-сть</i>	<i>-'стѣ/-сть</i>	всего
Старые	73	9	—	6	3	91
Новые	—	—	—	—	—	—
% новых	0 %	0 %	—	0 %	0 %	0 %

Подобную же последовательность в употреблении обнаруживаем в книге «Статир», сборнике проповедей, написанном неизвестным пермским священником в 1683—1684 гг. (РГБ, Румянц. 411; о языке этой рукописной книги см.: Живов 1991). Автор стремится придерживаться книжной нормы и, хотя в ряде случаев ему это в полной мере не удается (см. о формах 2 ед. презенса § II.6.4, о существительных в косвенных падежах мн. числа § III.1.1; о формах прилагательных в им-вин. мн. § IV.1.1), с формами инфинитива у него никаких проблем не возникает. Обследованная выборка (лл. 44—58 2-й фолиации, лл. 152 об.—160 и лл. 169—176 об. 3-й фолиации) дает следующие статистические параметры:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -тъся(-тца)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-стѣ/-сть</i>	<i>-'стѣ/-сть</i>	всего
старые	150	12	5	3	—	170
новые	—	—	—	—	—	—
% новых	0 %	0 %	0 %	0 %	—	0 %

Приведу примеры: **здѣти** (л. 44 об.), **мѣчѣти** (л. 45, 49 об.), **гѣти** (л. 45 об., 57, 159 об., 169), **приходѣти** (л. 46), **быти** (л. 46 об. [bis], 47 [ter], 48, 51, 153 об., 172, 172 об.), **востѣти** (л. 47 об., 48 [bis]), **взѣти** (л. 48 [ter], 48 об. [ter], 49), **ѿмѣти** (л. 153, 155), **прѣѣти** (л. 155 об., 174 об. [bis]); **мнѣжитисѧ** (л. 44 об.), **ѿсцелѣтисѧ** (л. 46 об.), **гнѣватисѧ** (л. 47), **подвизѣтисѧ** (л. 58), **крѣтисѧ** (л. 153 об.); **рещѣ** (л. 46), **воврещѣ** (л. 46 об.), **привлещѣ** (л. 47), **посѣщѣсѧ** (л. 154), **ѿврещѣсѧ** (л. 154 об.); **ѿвестѣ** (л. 45), **внесѣ** (л. 47 об., 155 об.).

Аналогичные наблюдения можно сделать и о «Слове благодарственном» патриарха Иоакима (Иоаким 1683), стандартном церковнославянском тексте, по ряду признаков отступающем от строгой книжной нормы (см. об окончаниях существительных в косвенных падежах мн. числа § III.1.1, об окончаниях прилагательных в им-вин. мн. числа § IV.1.1). На первых 50 страницах этого издания встретилось 69 инфинитивов с безударным *-ти* без единого отступления, ср. **блгодарѣти** (с. 3, 5, 21), **давѣти** (с. 6), **жити** (с. 6, 35, 45), **прѣимѣти** (с. 6, 40), **предѣти** (с. 7, 42, 44), **сказѣти** (с. 8), **хранѣти** (с. 10), **воздѣти** (с. 12), **проклѣти** (с. 12), **бѣѣти** (с. 12), **ѿвѣти** (с. 13) и т. д. Употребление правильной формы инфинитива не вызывает никаких трудностей, не требует никаких операций проверки и не входит в конфликт ни с какими принципами составления книжного текста. Поэтому в печатных книжных памятниках норма соблюдается даже в том случае, когда они готовятся к печати без особой тщательности.

Памятники гибридного регистра в интересующем нас отношении достаточно разнообразны. В сравнении с гибридными текстами более раннего времени, они в целом обнаруживают явный сдвиг в сторону большего употребления инфинитива на *-ть*. Этот сдвиг отчетливо отражается, например, в гетерогенном узусе Мазуринского летописца. Как и в других летописях, инновативные черты в Мазуринском летописце встречаются в тем большей пропорции, чем с более поздним фрагментом мы имеем дело. Связь в летописях лингвистической гетерогенности с хронологической осью повествования обусловлена в конечном счете тем фактом, что летописец, излагая события, неизвестные ему как современнику (или не дошедшие до него в рассказах очевидцев), пользовался источниками, написанными до него. Хотя позднейший компилятор обычно вносил в воспроизводимые им части отдельные элементы своего собственного узуса, лингвистический облик использованных им оригиналов в большей или меньшей степени сохранялся при переработке. Обычно, чем древнее анналистическая дата фрагмента, тем более старые источники в нем использованы (непосредственно или опосредованно) и тем более архаические черты он сохраняет. Понятно, что при многократной трансмиссии унаследованный текстовый материал накапливает определенное количество инноваций, однако статистически отличия более старых слоев от более новых остаются достаточно заметными.

Составитель Мазуринской летописи был не слишком искушенным книжником, он не подвергал многочисленным использованным им источники⁴ лингвистической редактуре, хотя под его пером в тексте появлялись разнообразные искажения, обусловленные отличиями его собственного узуса от узуса инкорпорированных в летописец памятников и возникавшим у него в результате неполным пониманием воспроизводимого текста. Лингвистическая гетерогенность заметна прежде всего в особенностях употребления простых претеритов. Если в ранних частях летописи наблюдается последовательное традиционное употребление простых претеритов с весьма ограниченной частотой *л*-формы, то в поздних частях употребление становится непоследовательным, простые претериты употребляются недифференцированно, *л*-форма делается одним из основных способов выражения прошедшего времени (см. подробнее: Живов 1995а). Весь текст может быть разделен на две части: от начала повествования до 7001 г. (ПСРЛ, XXXI, 11—119) и от 7001 г. до конца (там же, 119—179). Хотя это деление весьма условно, однако с повествования о путешествии Людвига в Мидийские земли и рассказа «О Магмете, иже его срацыми пророком нарицают», помещенных под 7001 г. целый ряд лингвистических параметров текста существенно меняется.

⁴ Как указывают издатели Мазуринской летописи, при ее составлении были «использованы различные источники: святцы, прологи, Четьи-Минеи, “Писание” Мефодия Патарского, Киево-Печерский патерик, хронографы различных редакций, летописи: Лаврентьевская или близкие к ней памятники, Никоновская, Новгородские (Софийская 1-я, Новгородская 3-я и др.), Новый летописец, Летопись о многих мятежах. В числе других источников можно назвать также Хронику Стрыйковского, Житие митрополита Филиппа, Соборную грамоту 1570 г. о разрешении четвертого брака Ивана IV Грозного, разрядные записи и др. Вполне возможно, что все эти источники использованы составителем летописи не непосредственно, а путем использования какого-то более раннего летописца» (ПСРЛ, XXXI, 3).

Это относится и к употреблению простых претеритов, и ко многим другим морфологическим характеристикам, включая и те, которые будут анализироваться ниже. Сказывается этот рубеж и на распределении форм инфинитива.

В первой части инфинитив на *-ть* появляется лишь окказионально. При 567 формах инфинитива на *-ти* фиксируется всего лишь 25 форм инфинитива на *-ть*, что составляет 4,22 % от общего числа инфинитивов данного типа. Инфинитив от возвратных глаголов представлен исключительно формами на *-тися* (71 пример), формы на *-ться* полностью отсутствуют. Точно так же отсутствуют формы с отпавшим гласным среди инфинитивов на *-сти*. Среди инфинитивов на *-ци/-чи* пропорция форм с отпавшей гласной неожиданно велика: из 18 имеющихся примеров 4 представляют собой формы на *-чь* (22,22 %). Суммируя, эти данные можно представить в следующей таблице:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тица)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	567	71	14	21	8	681
новые	25	—	4	—	—	29
% новых	4,22 %	0 %	22,22 %	0 %	0 %	4,08 %

По статистическим параметрам употребление инфинитива в первой части близко тому, которое мы наблюдали в Новгородской пятой летописи. Формы на *-ть* распределены по тексту не вполне равномерно, наряду с единичными употреблениями, рассеянными по всему тексту, появляются своего рода сгустки форм на *-ть*; такая дистрибуция, возможно, указывает на то, что составитель не только время от времени отступал от своих оригиналов, внося в них инновативные формы (отсюда рассеянные по тексту единичные употребления), но и пользовался такими источниками, в которых инновативные формы были уже представлены в существенной пропорции. В первой части такой сгусток обнаруживается в статье 6745 г., основанной на Повести о разорении Рязани Батыем (сравнительно позднего происхождения), ср. здесь: *тогда и женами нашими начнеши владеть* (с. 68—69), *повеле сечь и жечь немилостиво* (с. 69), *начат сечь татар* (с. 69), *присланы еси тебе царя почтить и често проводить, и честь воздать, да не подивися, царю, что не успеем (...)* чаши наливать и великую силу татарскую провождать (с. 69). Остальные примеры разбросаны по разным статьям и появляются в окружении форм на *-ти*; некоторые из них встречаются, как кажется, в интерполированных предложениях, ср.: *Русь нача писание имети и писать умети* (с. 33), *пришли веры смотреть* (с. 43), *посылал веры изыскивать* (с. 43), *заповеда утаить смерть* (с. 50), *не бысть вспаметовать никому о сем* (с. 51), *нача господствовать на Москве* (с. 59) и т. д.

Статистические параметры второй части существенно отличаются от параметров первой части. При 362 формах инфинитива на *-ти* фиксируется 93 формы инфинитива на *-ть*, что составляет 20,44 % от общего числа инфинитивов данного типа; форма на *-ть*, появляющаяся в пятой части примеров, представляет собой, понятно, не окказиональный, а хорошо представленный допустимый вариант. Инновативные формы появляются и в инфинитивах возвратных глаголов; из 46 примеров 6 оказываются формами с отпавшей гласной (это составляет 13,04 %). Среди инфинитивов на *-ци/-чи* более половины примеров представляют собой

формы с отпавшей гласной: при 8 формах на *-щи* фиксируется 9 форм на *-чь*; устанавливаемая корреляция между рефлексом **gt/*kt* — *щ* или *ч* — и наличием гласной в суффиксе (отсутствие форм типа *беречи*) говорит о том, что мы имеем здесь дело со свежей инновацией, инкорпорируемой в старую книжную традицию, предполагавшую лишь формы на *-щи*. Следует указать также на появляющиеся во второй части формы на *-сть* (5 форм на *-сть* при 12 формах на *-сти*)⁵. Для сравнения приведу таблицу:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тия/ -тья(-тца)</i>	<i>-щи(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	362	40	8	9	3	422
новые	93	6	9	2	3	113
% новых	20,44 %	13,04 %	52,94 %	18,18 %	50 %	21,12 %

И во второй части инновативные формы инфинитива распределены по тексту неравномерно. Основная их масса сосредоточена в рассказе о «Магмете» под 7001 г. (с. 119—122), ср.: *стали ему говорить, что хотим мы видеть, недостойны смотреть, хотим тебе дать, только бы вам не осудить, на добром месте лечь* и т. д.; в описании бракосочетания Алексея Михайловича под 7156 г., воспроизводящем разрядную роспись (с. 164—168), ср.: *у государя и государыни на месте в Гроновитой палате беречь, у ширинок быть, ширинки несть, перед государынею путь слать, государя на место звать, беречь, чтоб дороги не переходили* (с. 166) и т. д.; и в повествовании о стрельцком бунте 1682 г. (с. 174—179), отражающем, видимо, не особенности использованных источников, а собственный узус составителя, весьма несовершенно владевшего книжным языком (ср.: Живов 1995а, 52—59), ср.: *хотели в Верху удушить, и почали кричать, почели пить вино, не слышать издали, не слышать, что говорили, ратных людей нанимать, приговорили их сослать, упротился у стрельцов постричьца, приговорили постричь и послать в ссылку, приказали старцу их беречь, а великих государей царей хотел известь, а цариц и царевен казнить* и т. д. В этих фрагментах формы на *-ть* и *-ти* выступают как равноправные варианты, никак стилистически не маркированные, ср. их употребление в качестве однородных членов: *чтоб стрельцов половина розослати по городом, а другую половину перевешать* (с. 176). Именно в этих фрагментах появляются и относительно редкие формы на *-сть*. В остальном тексте формы инфинитива с отпавшей гласной относительно редки, оставаясь маргинальным вариантом по отношению к традиционным формам инфинитива, хотя и здесь они появляются существенно чаще, чем в первой части летописца, ср.: *давал пить зелье смертное* (с. 126), *прииде {...} служить* (с. 128), *и тех агнцов не стало и причащать нечем* (с. 132), *где та благодать*

⁵ Стоит отметить и появление во второй части форм инфинитива *итить* (6 примеров) при доминирующей форме на *-ти* (10 примеров), ср. в описании бракосочетания Алексея Михайловича (разрядная запись): *перед государынею итить в собор, а за ними итить, з государынею царицею за саньми итить* (с. 166); в описании стрельцкого бунта 1682 г.: *хотели итить в село Воздвиженское, итить поблюлися* (с. 178), *хотели итить в Коломенское* (с. 179). Отмечу также форму *итити* в статье 7129 г. (с. 159), возможно, искусственную.

взять (с. 132), а на бояр своих учел *кручинитьца* (с. 141), *ответ порознь дать* (с. 141), и повеле ево там *поити* и *кормити* и *беречь* (с. 149), повеле *призвати* к себе *попа будто исповедатьца* (с. 149) и т. д. Каковы бы ни были детали, приведенные данные показывают, что в XVII в. гибридный регистр допускает не только окказиональное появление инновативных форм инфинитива (как это характерно для предшествующего периода), но и употребление их в качестве санкционированного факультативного варианта.

Разные гибридные тексты данного периода в разной степени используют такую возможность, при этом не заметно какой-либо связи этого выбора с тематикой текста, с его более светским или более религиозным характером. Понятно, что в специфически книжных конструкциях с инфинитивом (например, в конструкции *яко* + инфинитив с субъектом в дат. падеже со значением цели или результата) будут достаточно устойчиво употребляться традиционные формы инфинитива (ср. в Мазуринском летописце: *яко и пеня не слышати* — с. 91), тогда как конструкции, не характерные для книжного языка, будут благоприятствовать появлению инновативных форм (ср. там же инфинитивные предложения со значением долженствования и субъектом в им. падеже: *стольники пить носить перед бояр в большой стол* — с. 167). В принципе это означает, что в текстах, широко использующих специфически книжные синтаксические построения, будет в подавляющем большинстве случаев употребляться инфинитив на *-ти*, в то время как в текстах, допускающих элементы не книжного синтаксиса, будет представлено существенное количество форм на *-ть*. На деле, однако, различия гибридных текстов в синтаксических стратегиях не сказываются однозначным образом на статистике инфинитивных форм. Статистические параметры этих форм зависят, видимо, не от общих факторов, а от идеосинкретических свойств автора текста. В отличие, скажем, от простых претеритов, дифференцированное употребление которых требует овладения семантическими механизмами книжной письменности, или от форм дв. числа, для пользования которыми нужны грамматические познания, традиционные формы инфинитива порождаются без труда и доступны практически любому автору вне зависимости от его мастерства и риторических установок. Каждый автор может выбрать то, что ему больше нравится, примкнуть к унаследованной традиции или преобразовать ее.

Рассмотрю в качестве примера Новую повесть о преславном Российском царстве по рукописи XVII в. (РИБ, XIII, стб. 187—218). Повесть написана неухищенным книжным языком. В отличие от Мазуринского летописца этот текст в лингвистическом отношении вполне однороден; в нем нет, в частности, ни многообразия не книжных построений, ни избытка специфически книжных синтаксических конструкций. Можно сказать, что это «нейтральный» гибридный текст XVII в., типичный и в литературном, и в лингвистическом отношении. Употребление инфинитива характеризуется следующими параметрами:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тьца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	195	23	15	6	7	246
новые	3	—	—	—	—	3
% новых	1,52 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1,20 %

Как можно видеть, формы инфинитива на *-ть* в данном памятнике практически не встречаются. На 195 форм инфинитива на *-ти* приходится всего 3 формы на *-ть*, что составляет 1,52 %. В одном случае форма на *-ть* встречается в инфинитиве *чаять*, употребленном в качестве вводного слова (ср. современное *чаю*): «И какво мужество показали и какову славу и похвалу учинили во все наше Російское государство! да не токмо въ нашу во всю пресловутую землю, но и во иншія орды, въ Литовскую и Польскую, и во иные многіе: *чаять*, и до Рима, или будетъ и далъ» (стб. 189); форма инфинитива отнюдь не детерминирована разговорным характером вводного слова, ср. далее в тексте: «*чаяти*, яко и на мѣстѣ мало сидитъ». Два других случая, появляющиеся в окружении форм на *-ти*, производят впечатление окказиональных отступлений: *все хоцетъ изъѣсти и рас-точитъ и погубитъ, и ту цареву ризницу хоцетъ пусту до конца оставити* (стб. 215). Все инфинитивы от возвратных глаголов встречаются исключительно в форме на *-тися* (23 примера); точно так же только без отпадения гласной фиксируются формы на *-сти* (13 примеров) и на *-ци* (15 примеров). Сходные статистические параметры наблюдаем и в «Скифской истории» Андрея Лызлова, написанной в столь же нейтральной манере. Инфинитив на *-ть* здесь практически не встречается; в обследованной нами выборке (Лызлов 1990, 8—29, 196—206) появляется лишь один случай такого инфинитива (*и нагло бегать начаша кто как может* — с. 27) при более полутораста форм инфинитива на *-ти*; в исключительном употреблении оказывается и инфинитив на *-ци* (*стрещи, отсеци, утещи, посеци, реци* и т. д.).

Полностью не избегает употребления форм на *-ть* и такой памятник, как «Временник» Ивана Тимофеева (РИБ, XIII, стб. 261—472), хотя в книжной письменности XVII в. он выделяется стремлением автора к специфически книжным построениям, порою делающим текст не вполне вразумительным (поскольку автор не справляется с тем синтаксическим нагромождением, в котором он видит особое достоинство своего произведения). Несмотря на эту утрированно книжную установку автора, ряд инновативных форм инфинитива все же проскальзывает в его текст, и их пропорция не отличается существенно от той, которую мы наблюдали в достаточно нейтральных Новой повести и Скифской истории⁶. Всего во «Временнике» встречается 10 форм инфинитива на *-ть*, что составляет

⁶ Я не могу, естественно, утверждать, что в любом гибридном тексте XVII в. с неизбежностью должны появиться формы инфинитива на *-ть*. Можно лишь заметить, что в большинстве известных мне гибридных текстов они в большей или меньшей пропорции появляются, и эта пропорция не связана жестким образом со степенью «книжности» памятника. В качестве примера гибридного текста без инфинитивов на *-ть* можно указать на краткую редакцию Жития Юлиании Лазаревской (по рукописи ГНБ, О. I, № 25 второй половины XVII в. — см.: ПЛДР, XVII век, кн. 1, 98—104). Хотя Житие обнаруживает явные черты гибридности (например, в употреблении несогласованных причастных форм в деепричастной функции), инфинитивы на *-ть* в нем отсутствуют. Правда, текст весьма краток, так что в нем встречается всего 36 форм инфинитива на *-ти* плюс еще 6 форм на *-тися* (*потаити, приходити, слышати, правити, спати, убити, соблюдати, принудити, дивитися* [bis], *утаитися* и т. д. с. 98—100), однако в рамках этого объема автор вполне справляется с порождением традиционных форм инфинитива (так же как он не смешивает окончаний простых претеритов).

около 1 % всех инфинитивных форм данного типа. Эти употребления кажутся немотивированными окказиональными вкраплениями, не обнаруживающими никакой авторской интенции.

В двух случаях инфинитив на *-ть* обнаруживается в заголовке, в первый раз в оглавлении ко всей книге, во второй раз в предварении соответствующей главы: «Какъ ево для въ монастырь со кресты ходили, а послѣ его Борисовы смерти престали *ходить*» (стб. 268); «Какъ ево для въ тотъ монастырь со кресты ходили, а послѣ Борисовы смерти престали *ходить*» (стб. 324). Эти два примера могли бы быть отнесены на счет лингвистической выделенности заголовочного текста. Для других примеров, однако, такого рода объяснения не подходят. Инновативные формы инфинитива появляются в основном тексте внутри характерных для Ивана Тимофеева сложных синтаксических построений и ничем не отличаются по функции от окружающих их традиционных форм неопределенного наклонения.

Приведу оставшиеся восемь примеров в полном виде: «третіи же, разсмотреть свое хотимое, колицемъ усердіемъ народъ весь въ державу себѣ его взыщеть и еликою теплою вослѣдъ его по немъ тещи имуть, и кій коего о его взысканіи предваряти начнетъ или небрежти, въ прочее простирая, *роздвоить* во царствіи, овыхъ за страсть любити и намздевати, овыхъ ненавидѣти и томленми мучити» (стб. 325); «покаянія искати отъ Положшаго различныя образы покаянію и ожидающу, силенъ бо отъ сихъ *разрѣшить* ны» (стб. 350); «Къ сему же еще не устращися *дерзнуть*, иже заклепанный оттвердити гробъ и вложити...» (стб. 354); «По малѣ же отрокъ отъ безчиннаго вопля премѣнся, нача гласомъ крѣпости своя *исходитъ*» (стб. 388); «Длань, иже содержащая свѣтъ, противнымъ нанъ что къ роскопанію и в малѣ попустила бы, — сего, не яко Тройскаго господствія, но и вся вселенныя царствія *срыдать* о сихъ скончанія вѣкъ не престатели бы» (стб. 415); «онъ всяко расточенія домовна истязателнѣ изыщеть и злыхъ злѣ *погубить* можетъ» (стб. 458); «къ Царствующему всѣми позванъ бѣ и въ небеснѣмъ со святыми содворятися чертозѣ Той тому *быть* благоизволи» (стб. 466); «сущая вещи *описывать*, извѣтъ полагая постиженми, и бывшая дѣянми неиспытнѣ вообразати, предняя послѣди писати, послѣдняя же напреди» (стб. 470). Отмечу, что во Временнике отсутствуют инновативные формы инфинитива от возвратных глаголов, равно как формы с отпавшей гласной у глаголов на *-сти* и *-ци*.

Та незначительная корреляция, которая все же имеется с уровнем книжности памятника (имею в виду риторическую изощренность и связанные с нею синтаксические построения) и употреблением форм инфинитива, может быть прослежена на примере одного из самых некнижных гибридных текстов XVII в., обнаруживающего наибольшее количество синтаксических коллоквиализмов (см. § I.4), именно на примере Новгородской второй летописи по списку РГАДА, МГАМИД, № 62/85 конца XVI — начала XVII в. (ПСРЛ, XXX, 147—205). И в этом тексте употребление инфинитива на *-ти* оказывается доминирующим, однако пропорция инновативных форм почти на порядок выше, чем во Временнике Ивана Тимофеева. При 211 формах инфинитива на *-ти* в летописи фиксируется 20 форм на *-ть*, пропорция последних составляет 8,66 %. Общие статистические параметры этого памятника представлены в таблице:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	211	26	11	9	4	261
новые	20	—	—	—	—	20
% новых	8,66 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7,12 %

Как известно, Новгородская вторая расположена не в хронологическом порядке, различные хронологические слои в сохранившемся тексте перемешаны. Если произвести расчленение хронологических слоев, то оказывается, что формы на *-ть* встречаются преимущественно в пласте конца XV — XVI вв., ср.: октенью велѣл *говорить* (л. 20 — с. а. 1500); велѣл октенью *говорить* (л. 20 об. — с. а. 1500; двумя строчками выше: октенью велѣл *говорити*); октенью велѣл *гоговорить* (sic! л. 23 — с. а. 1500); велѣл октенью *говорить* (л. 23 — с. а. 1500); а не *служить* обѣднеи дяконом вдовым (л. 88 — с. а. 1504); архиепископъ Серапион велѣл вамъ дѣтем своим *говорить* (л. 101 — с. а. 1552); колокол новой на брусу повисили *повѣщать* сторожамъ Софийскимъ какъ *звонить* въ другыи колоколы в болшии (л. 141 об. — с. а. 1572); пригоном на том мисте *ставить* полата (л. 142 — с. а. 1572); велил дяковъ своих пѣвѣчих *поставить* на правежи (л. 142 — с. а. 1572); ѣздѣлъ архиепископъ (...) *служить* обиднеи (л. 143 — с. а. 1572); ѣздил (...) старого игумена *проводать* (л. 145 — с. а. 1572); государьской наряд почяли *проводать* из лодей на гору (л. 145 — с. а. 1572); ставили по человеку (...) двор *чистить* и огород ровняти (л. 150 — с. а. 1572); людеи посылали къ Спасу на Хутыню конюшнеи у Спаса *ставить* (л. 150 — с. а. 1572); тоби ди у мене хочеться *содрать* а мнѣ тебѣ ничего *дать* (л. 151 — с. а. 1572); а сказывають имъ *ѣхать* под город пот Колыван (л. 153—153 об. — с. а. 1571). Вне данного пласта обнаруживается лишь два примера с инфинитивом на *-ть*, ср.: Из многих церквей не успѣли *выносить* ни иконъ ни книг (л. 95 об. — с. а. 1340); повелѣ *взять* крестъ господень (л. 57 — с. а. 1418). Так же, как во Временнике, в Новгородской второй отсутствуют инновативные формы инфинитива от возвратных глаголов, равно как формы с отпавшей гласной у глаголов на *-сти* и *-ци*⁷.

Понятно, что в продолжении XVII в. в гибридных текстах происходит определенная аккумуляция инновативных вариантов, так что тексты, созданные в конце этого периода и не содержащие текстового материала, восходящего к более раннему времени, показывают заметно большую пропорцию инновативных форм. Примером может служить Летописец 1619—1691 гг. (ПСРЛ, XXXI, 180—205),

⁷ Стоит отметить, что в Новгородской второй обнаруживается некоторое количество форм инфинитива на *-чи*, которые, как уже говорилось, нехарактерны для книжной письменности XVII в. (ср. выше о корреляции между наличием или отсутствием конечного гласного и рефлекса *щ* или *ч* в Мазуринском летописце). Наличие этих форм может быть как диалектной чертой памятника (отражение диалекта, сохранявшего формы на *-чи*), так и свидетельством его связи со старой некнижной традицией. Ср. примеры: а ставил государь в Новѣгородѣ пятьсотъ стрѣлцов казны своеи *стеречи* (л. 39 об. — с. а. 1572); гдѣ хлѣбы *печи* и колачи (л. 43 об. — с. а. 1571); ГенADEи владыка от них велѣл *жечи* на Духовскомъ полѣ (л. 87—87 об. — с. а. 1491); всякому християнину хотя бы свои домъ поверся а церкви *постеречи* (л. 96 — с. а. 1340); ино его выведши за город *жжечи* (л. 100 об. — с. а. 1552); а Псковитина *жжечи* (л. 100 об. — с. а. 1552); почел *жечи* масла горшек (л. 107 — с. а. 1555); ГенADEи владыка овѣх велѣл *жечи* на Духовскомъ поли (л. 167 — с. а. 1491).

написанный, как видно из его хронологических рамок, в последнее десятилетие XVII в. и не включающий никаких летописных статей из летописей XVI в. или еще более раннего периода. Статистические параметры этого текста, известного лишь в одной рукописи, предстают в следующем виде:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	145	12	4	4	3	168
новые	59	—	2	—	—	61
% новых	28,92 %	0 %	33,33 %	0 %	0 %	26,64 %

Как видно из таблицы, основной тип инфинитива представлен 204 формами, из них 145 форм на *-ти* и 59 форм на *-ть*; пропорция последних составляет 28,92%, что несколько выше, чем во второй части Мазуринского летописца (содержащего материал более ранних летописей). Тем не менее формы на *-ть* и здесь остаются вторичным вариантом. При этом формы на *-ть* распределены в данном тексте более равномерно, чем в рассмотренных выше анналистических памятниках, хотя и здесь (как и в Мазуринском летописце) некоторое их сосредоточение наблюдается в рассказе о стрелецком бунте 1682 г., что, видимо, связано с характером нарратива (повествование о зверствах стрельцов по необходимости содержит описание таких событий, для которых автор, видимо, затруднялся найти книжные образцы). Как бы то ни было, стилистической нагрузки формы на *-ть* не несут, о чем свидетельствует смешение вариантов в последовательностях однородных инфинитивов, ср.: *будут царством владети паче прежняго и людми мять и обидети бедных и продавать* (л. 707); *теми змяями хотяху изменницы преводити царский род и стрелцов, натирать в вино питие и в бочках отвозити в стрелецкие полки* (л. 719 об.). Для определения функционального статуса вариантных форм инфинитива существенно, что в Летописце 1619—1691 гг. пропорция инновативных форм выше, чем, скажем, во второй части Мазуринской летописи или в Новгородской второй при том, что такой элемент книжного построения нарратива, как простые претериты, употребляется в рассматриваемом тексте значительно более последовательно и в согласии с традицией, чем в двух упомянутых памятниках.

Для уяснения параметров гибридного узуса отметим, что инфинитивы от возвратных глаголов представлены в Летописце 1619—1691 гг. исключительно традиционными формами: *укрытися* (695 об.), *битися* (л. 700), *прикоснутися* (л. 709 об.), *разъезжатися* (л. 713), *плакатися* (л. 713 об.), *воцаритися* (л. 722), *претворятися* (л. 723 об.), *прекрацатися* (л. 723 об.), *обращатися* (л. 724), *збиратися* (л. 728 об.), *писатися* (л. 733 об. [bis]), всего фиксируется 12 примеров. Лишь в традиционной форме встречаются и инфинитивы на *-сти*, причем вне зависимости от места ударения: *погребсти* (л. 695), *извести* (л. 216 об.), *ясти* (л. 723 об. [ter]), *принести* (л. 723 об.), *настися* (л. 731 об.). Что же касается инфинитивов на *-ци/-чи*, то здесь наблюдается вариативность (примеров слишком мало, чтобы судить о статистических закономерностях): *постричь* (л. 721), *выжечь* (л. 731), *стреци* (л. 718, 718 об.), *реци* (л. 724, 728).

Как можно видеть из приведенных примеров, авторы проанализированных гибридных текстов сохраняют употребление инфинитива на *-ти* в качестве до-

минирующего. Так, однако, обстоит дело не во всех памятниках гибридного регистра XVII в. Там, где преемственность узуса оказывается по тем или иным причинам нарушенной, создаются условия для расширенного употребления инновативных форм инфинитива. Это имеет место прежде всего в новых жанрах, в тех литературных текстах, которые появляются как дань изменившимся вкусам переходной эпохи, в качестве новинки, дистанцированной от традиционного круга чтения средневекового книжника и отчасти рассчитанной на нетрадиционную аудиторию. Имею в виду прежде всего возникающую в XVII в. секулярную литературу (мою точку зрения на появление в XVII в. оппозиции светской и духовной культуры и литературы см. в работе: Живов 2002, 319—343). Первые секулярные тексты были по преимуществу переводными; изготовлявшие их переводчики не воспринимали, видимо, свою деятельность как вполне традиционную. В большинстве случаев они, естественно, обладали тем же читательским опытом, что и составители летописей или исторических повествований, и это создавало преемственность их узуса в отношении к традиционному и обуславливало, в частности, употребление старых форм инфинитива. Тем не менее они были более свободны в использовании этого опыта; более того, нетрадиционность стоящих перед ними задач должна была способствовать интерференции унаследованного узуса с узусом, характерным для других регистров (см. § 1.3). Закономерным результатом оказывалось увеличение пропорции инновативных форм инфинитива.

В этой перспективе можно взглянуть на «Космографию» Ортелия в переводе XVII в. (Bayerische Staatsbibliothek München, *Cod. Slav.* 13 — Коста 1982). По наблюдениям П. Косты (там же, 87), в данном тексте инфинитивы на *-ти*, *-чи/-ци* представлены более чем 40 примерами, тогда как формы на *-ть* встречаются менее чем в 10 случаях. При всем том, если не рассматривать инфинитивы на *-тися* и *-чи/-ци*, засвидетельствованные в данной рукописи (как и в ряде других текстов XVII в.) только в традиционной форме, пропорция форм на *-ть* в инфинитивах с ударением на основе от невозвратных глаголов составит около одной четверти (25 %), что превышает пропорцию соответствующих форм в таком продвинутом в интересующем нас отношении памятнике, как Мазуринский летописец.

Более выразительны данные Римских Деяний (*Gesta Romanorum*) в московском переводе конца XVII в. Судя по двум проанализированным выборкам (Римские Деяния 1877—1878, II, 162—237, 325—366), формы на *-ть* употребляются в них несколько чаще, чем формы на *-ти*. Статистические параметры двух обследованных выборок предстают в следующем виде:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тица)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-стѣ/-сть</i>	<i>-'сту/-сть</i>	всего
старые	125	21	6	16	3	171
новые	144	—	—	6	3	153
% новых	53,53 %	0 %	0 %	27,27 %	50 %	47,22 %

Итак, при 125 формах на *-ти* в тексте фиксируется 144 формы на *-ть*, последнее, таким образом, встречается в 53,53 % случаев. Хотя в тексте могут быть выделены пассажи, в которых пропорция форм на *-ти* превышает среднестатистические показатели, равно как и пассажи, в которых доминирует форма на *-ть*,

однако сколько-нибудь четкой связи вариантных форм с тематикой или стилистикой фрагмента не устанавливается. Ср., например, в главе об Алексее человеке Божиим: **началъ к'немѹ кричати глагола слѣго бжїи изволи менѣ пилгрїма прїѣти в'дѣмъ своѣи ѿ вели питати менѣ крѣпїцами ѿстола твоєгѡ** (с. 332); **пѣчалъ велии плакати ѿ крича^т глаголющи** (с. 335). Отдельные статистические колебания могут быть связаны с риторическим характером фрагмента: в нарративных частях некоторое преимущество оказывается у форм на *-ть*, тогда как дидактические части (моралистические и аллегорические истолкования, заключающие основной рассказ) благоприятствуют формам на *-ти*; эта связь, тем не менее, выражена слабо и никакой однозначной стилистической нагрузки ни тем ни другим формам инфинитива не придает. Отсутствие определенного стилистического задания, т. е. свободная вариативность инфинитивных форм подчеркивается тем фактом, что они могут выступать как однородные члены, ср., например: **велѣлъ то мѣсто ѡстѡпїть ѿ изымати тогѡ рыцаря** (с. 235). Очевидно, что возросшее употребление форм на *-ть* обусловлено в данном памятнике не особой стилистической интенцией переводчика и не тематическим диапазоном повествования, а его жанровой нетрадиционностью, стимулирующей отступления от сложившейся письменной традиции гибридного регистра.

Разрыв этот не является полным, он имеет ограниченный характер и оставляет место для существенной преемственности в отношении к узусу гибридного регистра. Об этой преемственности свидетельствует не столько даже вполне устойчивое функционирование форм инфинитива на *-ти*, продолжающих употребляться почти в половине случаев, сколько употребление инфинитивов от возвратных глаголов. В разговорном языке XVII в. судьба инфинитивов от возвратных глаголов (форм на *-тися*) не отличалась, видимо, от судьбы инфинитивов от невозвратных глаголов. В какой мере процесс преобразования *-тися* > *-ться* (*-тца*) шел параллельно процессу преобразования *-ти* > *-ть*, это не совсем ясный вопрос, поскольку при срастании возвратной частицы с глагольной формой конечная гласная инфинитива переставала быть конечной и это могло способствовать ее удержанию. Если бы, однако, письменный язык отражал это несходство в развитии возвратных и невозвратных форм, в нем следовало бы ожидать распространение форм на *-тисъ*, встречающихся лишь в редких случаях.

Как бы то ни было, в гибридном регистре возвратные и невозвратные формы функционировали разным образом. Как мы видели, например, в Мазуринском летописце, в его первой части инфинитивы на *-ться* полностью отсутствуют (при наличии инфинитивов на *-ть*), тогда как во второй части пропорция инновативных форм от возвратных глаголов оказывается ниже, чем аналогичные параметры для невозвратных глаголов. Тенденция к удержанию традиционной формы инфинитива от возвратных глаголов преимущественно перед невозвратными глаголами прослеживается и в других гибридных памятниках. Можно думать, что эта тенденция по крайней мере отчасти объясняется стремлением избежать омонимии форм 3 лица ед. числа презенса и форм инфинитива (типа *ставитъся* — *ставиться*), стремлением, специфическим для письменного языка. Дополнительным основанием могло быть желание противопоставить традиционную «полную» форму инфинитива той редуцированной форме, которая возникала (в частности, при чтении) в результате слияния [t] и [s] в аффрикату [с]. Для книж-

ного языка, в котором отделимость возвратной частицы *ся* продолжала быть актуальным моментом (поскольку в образцовых книжных текстах, хорошо известных пишущим, случаи дистантного расположения возвратной частицы в определенном количестве имелись), подобное слияние могло представляться нежелательным. Указанная тенденция в полной мере свойственна и Римским Деяниям; переводчик, можно полагать, ориентируется в этом случае на традиционный узус гибридного регистра. Приведу примеры: **по́дбѣити^с** (с. 161), **сѣдѣитисѧ** (с. 163), **ростава́тисѧ** (с. 174), **смыщѣатисѧ** (с. 175), **бѣитисѧ** (с. 178), **веселѣитисѧ** (с. 178, 366), **моли́тисѧ** (с. 204), **моли́тисѧ** (с. 204, 207), **боа́тисѧ** (с. 210, 224), **моу́читисѧ** (с. 234), **довѣ́датисѧ** (с. 324), **проти́витисѧ** (с. 328), **сми́ловатисѧ** (с. 333), **пла́катисѧ** (с. 340), **штѣ́шитисѧ** (с. 340), **ка́атисѧ** (с. 348, 356 [bis])⁸.

Трудно сказать, создают ли нововозникшие жанры собственную письменную традицию, обладающую особой динамикой, или они продолжают существовать в рамках гибридного регистра. Понятно, что инновативные формы инфинитива, совершив массированное вторжение в гибридные тексты нового типа, относительно свободные от давления традиции, продолжают свою экспансию в текстах того же типа. Эта экспансия может быть как результатом использования возникшего прецедента, давшего отдельную линию развития, так и простой аккумуляцией инноваций, проникновение которых лишь в малой степени сдерживается ориентацией на образцы. Характер экспансии инновативных форм в текстах конца XVII — первых лет XVIII в. может быть проиллюстрирован данными Повести о Петре златых ключей по старейшему полному списку первой редакции, 1702 г. (см. публикацию: Кузьмина 1964, 275—331). Анализ двух выборок (с. 275—290 и с. 301—316) принес следующие результаты:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	22	5	2	2	—	31
новые	265	27	1	2	4	298
% новых	92,33 %	84,37 %	33,33 %	33,33 %	100 %	90,58 %

Всего в тексте встретилось 22 формы инфинитива на *-ти* (14 в первой выборке и 8 во второй) и 265 форм инфинитива на *-ть* (151 в первой выборке и 114 во второй). Таким образом, инновативные формы на *-ть* очевидно являются доминирующим вариантом, появляющимся в 92,33 % случаев, при этом различия в пропорциях старых и новых форм в двух выборках не являются статистически значимыми. Хотя по сравнению с текстами, разбиравшимися выше, соотношение

⁸ Отмечу, что формы с отпавшей гласной появляются и у инфинитивов на *-сти*, хотя здесь пропорция инновативных форм ниже, чем в основном классе. При 19 формах на *-сти* фиксируется 9 форм на *-сть*, ср. примеры: **привестѣи** (с. 164, 165, 235), **принестѣи** (с. 185), **оврестѣи** (с. 197, 204, 206, 331, 359), **нестѣи** (с. 207), **пастѣи** (с. 208, 360), **провостѣи** (с. 223), **оупѣсти** (с. 223), **ѣсти** (с. 224), **влюсти** (с. 329, 330), **честѣи** (с. 335), **пѣсти** (с. 365); **ѡвѣсть** (с. 164, 165, 365), **развѣсь** (с. 182), **покрѣсть** (с. 219), **поѣѣсть** (sic! — с. 229), **принѣсть** (с. 342), **вѣнѣсть** (с. 346), **привѣсть** (с. 365). Пропорция инновативных форм составляет 32,14 %. Любопытно, что выбор формы не связан прямо с ударностью показателя инфинитива. Инфинитивы на *-ци/-чи* представлены исключительно в форме на *-ци*: **притеци** (с. 195), **ѡсѣци** (с. 207 [bis]), **стреци** (с. 207), **совлещи** (с. 222).

доминирующего варианта *-ти* и второстепенного *-ть* меняется на противоположное, сама вариативность остается стилистически незначимой. Становящийся маркированным вариант *-ти* так же не получает стилистической нагрузки, как ее не имел прежний маркированный вариант *-ть* (и в этом тоже можно видеть элемент преемственности). Правда, полной равномерности в дистрибуции форм на *-ти* нет; в начале повести они встречаются несколько чаще, чем в дальнейшем тексте (и это напоминает функционирование простых претеритов в памятниках, где их использование композиционно и тематически ограничено, ср.: § 1.6), однако композиционная мотивированность употребления форм на *-ти* выражена слишком слабо, чтобы рассматривать ее как стилистический прием, а тематическая мотивированность вовсе отсутствует. В частности, формы на *-ти* появляются в никак не выделенных нарративных фрагментах, ср.: *видети сынов своих рыцарство* (с. 276), *ни которой не мог противен быти* (с. 276) и т. д., тогда как в молитве Петра, потерявшего Магилену (с. 304), встречаются исключительно инфинитивы на *-ть*: *смерти предать*, *нечего того мне искать*, *все готов терпеть и страдать за неповинную кровь*. О стилистической нейтральности вариантных форм инфинитива свидетельствует и появление их в качестве однородных членов: *указал {...} изготовити полату и красить* (с. 276), *стал их молить и бити челом* (с. 277), *велел коня оседлать и уряд {...} положить* (с. 279).

Экспансия инновативных форм затрагивает и инфинитивы от возвратных глаголов. Из 32 инфинитивов этого типа, встретившихся в двух анализированных выборках, 5 появляются в форме на *-тися*, 27 — в форме на *-ться* (*-тца*); пропорция инновативных форм составляет 84,37 %, таким образом, инфинитивы от возвратных глаголов ведут себя почти так же, как и инфинитивы от невозвратных глаголов. И в этом случае вариантность не несет никакой стилистической нагрузки и неравномерность в распределении форм остается никак не мотивированной. Любопытно, что в нескольких случаях книжник, переписывавший повесть, исправлял правописание инновативных форм, устраняя написание на *-тца*: *розъезжатся* исправлено из *розъезжатца* (с. 284), *доведатся* исправлено из *доведатца* (с. 287); правка не проведена последовательно и формы на *-тца* остаются в тексте (ср.: *отпрашиватца* с. 277, *противитца* с. 279, *съезжатца* с. 279, *доведатца* с. 288), хотя приблизительно с середины они исчезают. Исправления, как всегда, свидетельствуют о том, что пишущий те или иные формы рассматривает как неправильные. Приведенные исправления показывают, что представления о правильности начинают захватывать и инновативные формы (можно предположить, что написание с *-тца* ассоциируется с приказным письмом и поэтому воспринимается как неуместное в книжном тексте); они оказываются настолько включенными в письменные навыки, что делаются первые попытки произвести их нормализацию⁹.

⁹ Для суждения о прочих типах инфинитива у нас нет достаточных данных. Среди инфинитивов на *-сти* инновативные формы преобладают, см.: *обрести* (с. 277), *довести* (с. 316), однако: *сесть* (с. 282), *розвесть* (с. 290), *простерть* (с. 307), *пропасть* (с. 308), *вычесть* (с. 314). В выборе формы существенным фактором оказывается, видимо, место ударения. Для инфинитивов на *-чи/-ци* имеются следующие примеры: *нареци* (с. 293), *беречь* (с. 305), *посеци* (с. 307). Отмечу еще форму *найтишь* (с. 309).

Рассмотренные данные определяют тот контекст, в котором появляется Житие протопопы Аввакума, его специфические лингвистические стратегии проявляются в их замысле на фоне гибридного узуса XVII в. В Житии Аввакума по списку Пустозерского сборника (Пустозерский сборник 1975) наблюдаются следующие пропорции в употреблении инфинитивных форм:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тица)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>-'сти/-сть</i>	всего
старые	68	20	6	13	1	108
новые	313	30	4	—	6	353
% новых	82,15 %	60 %	40 %	0 %	85,71 %	76,57 %

Таким образом, в данном тексте встречается 313 форм инфинитива на *-ть* при 68 формах инфинитива на *-ти*; пропорция инновативных форм составляет 82,15 %. Аналогичные данные характеризуют и другой список Жития, находящийся в сборнике из собрания Дружинина (БАН, собр. Дружинина, № 746 [790] — см. анализ этого текста и сопоставление его с Пустозерским сборником: Чернов 1984, 33, 37). Подобное употребление инфинитива сразу же выводит Житие Аввакума за рамки традиционной агиографии (и хронографии), написанной на гибридном языке. Как и секулярная литература, появляющаяся в XVII в., Житие Аввакума дистанцируется от сложившейся лингвистической традиции гибридного узуса. Если в случае секулярной литературы это дистанцирование может рассматриваться как автоматическое следствие отсутствия жанровой преемственности, то у Аввакума память жанра несомненно присутствовала, и особенности его узуса должны интерпретироваться как сознательный опыт создания квазиагиографического текста, одновременно ориентированного на агиографические образцы и отталкивающегося от них. Одним из выражений этого отталкивания и оказывается интенсивное употребление инновативных форм инфинитива.

Лингвистическая стратегия Жития в полной мере соответствует риторическим задачам, которые ставил перед собой Аввакум. С одной стороны, он создает агиографический текст, помещая в него ряд словесных формул и изобразительных схем, с необходимостью отсылавших читателя к житийной традиции. Здесь прежде всего следует указать на проведенное через весь текст сопоставление протагониста с Христом — основной способ демонстрации святости для любого агиографического памятника. Уподобление себя Христу — один из важнейших элементов в самопредставлении Аввакума (см.: Плюханова 1982; ср.: Живов 2002, 327—328), и в Житии это уподобление воплощается в целом наборе цитат и парафраз библейского текста (см. разбор примеров у В. В. Виноградова — 1980, 9—10). К агиографическому канону отсылают и рассказы о чудесах, совершенных Аввакумом, особенно в последней части произведения, где они занимают место, обычно отводимое посмертным чудесам святого.

Вместе с тем Аввакум, скрытым образом утверждая свою святость, декларативно подчеркивает свое же недостойнство. Хотя прямые заявления этого рода формально напоминают общие места христианской литературы, в которых автор (в частности, автор жития) демонстрирует свое смирение и уничтожение, в автобиографическом нарративе, когда автор и протагонист оказываются одной и той же персоной, эти топосы приобретают совсем новую функцию: они создают кон-

трапунктное напряжение двух ипостасей героя-повествователя. Эта новая функция обуславливает сочетание стандартных и нестандартных средств выражения данного топоса, ср.: «Слабоумием объять и лицемѣриемъ, и лжею покрыть есмь, братоненавидѣнием и самолюбием одѣянь, во осуждении всѣхъ ч(е)л(о)вѣкъ погибаю. И мняся нѣчто быти, а каль и гной есмь, окаянной, — прямое говно. Отвсюду воняю — и д(у)шею, и тѣлом» (Пустозерский сборник 1975, л. 88). Наблюдаемый здесь «внезапный переход от высоких фраз к низким в соседящих синтаксических объединениях» приводит к тому, что, по словам В. В. Виноградова, «вся формула изменяет свой семантический облик» (Виноградов 1980, 15—16)¹⁰.

Подобная контрапунктность риторической интенции обуславливает сознательно утверждаемую стилистическую и лингвистическую неоднородность текста, постоянное столкновение в нем лингвистических элементов, отсылающих к различным регистрам языка (анализ стилистических приемов Аввакума см. в работе: Виноградов 1980, 3—41). Такая риторическая стратегия, чуждая традиционной религиозной литературе, требует дистанцирования от характерного для последней узуса. Это дистанцирование осуществляется за счет обширного набора языковых средств, включающих как синтаксические построения (доминирование паратаксиса, порядок слов, характерный для устной речи и т. д.), так и разнообразные морфологические элементы. Противопоставляя свой текст традиционному книжному изложению, Аввакум конструирует его как запись устного рассказа; эта оральность может рассматриваться как еще одна черта авторского самоуничужения, поскольку она лишает текст ореола книжной сакральности. Установка на оральность определяет и характер тех элементов, за счет которых Аввакум дистанцируется от сложившегося в гибридном регистре узуса.

Установка на оральность реализуется в Житии не повсеместно. Определяя главный стилистический слой Жития как сказ (форму «речевой, бесхитростной импровизации — ‘бесѣды’, ‘вяканья’»), Виноградов отмечает, что «вдруг этот сказ сменяется торжественной проповедью» (там же, 8). Поэтому восходящие к разным регистрам морфологические элементы распределены по тексту неравномерно. Ярче всего эта неравномерность проявляется в дистрибуции простых претеритов: аорист и имперфект появляются почти исключительно в «книжных» фрагментах Жития, тогда как в пассажах, характеризующихся оральностью, они встречаются лишь окказионально и обычно со специфической мотивировкой (глагол, вводящий цитату и т. п. — см.: Чернов 1984, 66—68; Тимберлейк 1995). Употребление форм инфинитива следует этой же модели, и этим Житие Аввакума существенно отличается от тех памятников секулярной литературы с высокой пропорцией инфинитивов на *-ть*, которые анализировались выше. Инфинитив на *-ти* приобретает у Аввакума вполне выраженную функциональную нагрузку.

Эта особенность в употреблении форм инфинитива неоднократно отмечалась исследователями и трактовалась как переход от церковнославянского к русскому

¹⁰ Это не исключает, понятно, присутствия в Житии и вполне традиционных формул самоуничужения, ср.: «А я ничтоже есмь. Рекох и паки реку: аз есмь грѣшникъ, блудник и хищник, тать и убийца, друг мытаремъ и грѣшникамъ и всякому ч(е)л(о)вѣку окаянной лицемѣрецъ. Простите же и молитесь о мнѣ, а я о вас, чтущихъ сие и слушающихъ» (л. 82 об.—83).

или от высокого стиля к среднему или низкому. Еще П. Я. Черных писал, что, хотя «окончание инфинитива ⟨...⟩ является обыкновенно в виде *ть, чь, ⟨...⟩* в тех частях “Жития”, которые написаны высоким стилем, употребляется почти исключительно “полное” окончание» (Черных 1927, 59). В. А. Чернов, специально занимавшийся дистрибуцией форм инфинитива в Житии, сформулировал рассматриваемую особенность следующим образом: «Формы инфинитива в “Житии” от глаголов с основой на гласные звуки образуются обычно с помощью суффикса -ть (-тца, т. е. -тсья у возвратных) в отрывках бытового содержания, русских по языку, и -ти (-тися у возвратных) при ударении на основе в отрывках богословского и традиционно-житийного содержания, церковнославянских по языку» (Чернов 1984, 32). Как и в других случаях, мне представляется, что генетическое противопоставление (церковнославянское — русское) не дает возможности адекватно описать лингвистическую стратегию автора (ср. § 1.3), однако самый факт дистрибутивной приуроченности форм на *-ти* не подлежит сомнению.

Можно полагать, что Аввакум в разных фрагментах своего текста в разной степени дистанцируется от языковых традиций книжной письменности. Степень дистанцирования связана с риторической задачей фрагмента: там, где Аввакум рассказывает о своей жизни, делая вид, что речь идет не о святом, а об обычном человеке, он имитирует структуру и язык устного повествования, избегая обращения к книжной традиции; там, где он учителствует или вообще озабочен созданием внешнего авторитета для своего текста, он апеллирует к книжной традиции (частным случаем такой апелляции является цитата), насыщая текст элементами книжного языка. Понятно, что эти задачи, будучи в целом распределены по разным фрагментам, порой могут совмещаться в рамках одного абзаца или даже одного предложения, что обуславливает интерференцию элементов разных регистров на всем протяжении текста (и не позволяет механически расчленить его на русские и церковнославянские куски)¹¹.

Говоря о разных риторических задачах, ставившихся Аввакумом в разных фрагментах текста, я не имею в виду, что Житие образует композиционное единство и смена риторических задач входила в эстетический замысел автора. Я скорее, вслед за А. Тимберлейком (1995, 39), готов рассматривать Житие как «a collection of heterogeneous fragments which derive largely from a process of oral composition». Сложившийся устный рассказ не предполагает импровизации, о которой писал Виноградов (1980, 8), — предположение неубедительное как в силу сходства разных редакций Жития, так и в силу агиографического подтекста в структуре произведения в целом. Тимберлейк полагает, что «the unity of the whole text derives primarily from the genesis of the text — these are all stories told by Avvakum — rather than from an a priori conception of the author’s design of the whole. Oral composition allows each story to be fashioned as a separate unit, each with its own themes and moral» (Тимберлейк 1995, 39). Соглашаясь с тем, что устное по-

¹¹ Ср., например, следующий пассаж: «Никто ко мнѣ не приходилъ, токмо мыши, и тараканы и сверчки кричать, и блохъ довольно. Бысть же я в третій день пріальченъ, — сирѣчь есть захотѣлъ, — и послѣ вечерни ста предо мною, не вѣмъ — ангель, не вѣмъ — человекъ, и по се время не знаю» (РИБ, XXXIX, стб. 16). Примеры подобной интерференции многочисленны (ср.: Виноградов 1980, 16).

вестование образует основу Жития и является первичным источником элементов оральности в его языке, я все же полагаю, что на характере окончательного текста существенным образом сказался процесс перевода устного повествования в письменную форму, никогда не автоматический. Речь должна идти не только о вступительном и заключительном фрагментах, явно приобщенных к тексту в рамках этого процесса (как полагает и Тимберлейк — там же, 42), но и о реконцептуализации самой оральности как риторической стратегии, дистанцирующей автобиографию Аввакума от агиографических образцов, к которым отсылает образовавшаяся целостная структура и добавленные книжные фрагменты. В этом процессе возникает, видимо, и контрапунктное построение Жития, в котором рассеянные по всему тексту (языковые) элементы книжного узуса конструируют его авторитетность.

Именно так, в конечном счете, должна объясняться, на мой взгляд, лингвистическая гетерогенность Жития и экспансия этой гетерогенности на те лингвистические элементы, которые традиционно с противопоставлением регистров связаны не были (в отличие от, скажем, форм прошедшего времени). К таким элементам относятся в первую очередь формы инфинитива. Чернов отмечает, что формы на *-ти* доминируют в вводной части и что на эту часть приходится около половины всех таких форм, встречающихся в тексте (Чернов 1984, 37). Стоит отметить, что и в этой части окказионально появляются формы на *-ть* (*нѣколи еще забыт(ь)* — л. 7 об., *говорить о том престанем* — л. 8), и эта допустимая вариативность отсылает нас к узусу гибридной (а не стандартной церковнославянской) книжности. Прочие формы на *-ти* Чернов рассматривает как тематически мотивированные, приводя пространный список тем, которые стимулируют употребление данной формы (там же, 37—38). В этом перечислении фигурируют «отрывок об исповеди и причастии» (л. 100 об.—101 об.), «цитаты из Евангелия и других богослужебных книг», «вероятные цитаты и пересказы фрагментов из богослужебных книг» и несколько других подобных рубрик. Не все такие мотивировки достаточно убедительны. Например, «фразы и обороты, употребительные в религиозной сфере» описывают столь неопределенное множество, что натяжки при постулировании этой рубрики как мотивирующего фактора оказываются неизбежны. Например, неясно, можно ли в качестве такой фразы рассматривать *молитвы говорити* (л. 100 [bis]) или *венцовъ побѣдныхъ ухватити* (РИБ, XXXIX, стб. 62); такие выражения явно не характерны для религиозной письменности, а о том, были ли они свойственны устному узусу духовных лиц, у нас нет никаких данных.

Дело, конечно, не в отдельных натяжках, а в степени детерминированности, приписываемой выбору форм у Аввакума. Не все из них непосредственно мотивированы тематическим или лингвистическим контекстом. Окказиональная немотивированная вариативность остается постоянным свойством гибридных текстов, и нет оснований думать, что Житие Аввакума занимает в этом отношении исключительное положение. Существенна не эта вариативность, которую мы наблюдали и в других гибридных памятниках, а то, что варианты форм инфинитива получают функциональную (стилистическую) нагрузку, что другим гибридным текстам в целом не свойственно. Формы инфинитива на *-ти* начинают вести себя у Аввакума так же, как простые претериты, входя тем самым в набор

морфологических элементов, подчиняющихся принципу регистровой гармонии («principle of register harmony» — см.: Тимберлейк 1995, 26). Согласно этому принципу специфически книжные элементы (признаки книжности) и элементы специфически некнижные группируются в разных фрагментах текста, обладая своего рода взаимной аттракцией, и именно это дает возможность говорить о смене регистров как способе построения текста. У Аввакума в набор специфически книжных элементов попадают и инфинитивы на *-ти*, что для гибридных памятников XVII в. не характерно. Как мы видели, эта инновация оказывается результатом конструирования оральности как значимой риторической стратегии Жития, на фоне которой значимыми становятся и традиционные книжные элементы, формирующие авторитетность текста.

Конструирование оральности и обусловленное им отталкивание от традиционного гибридного узуса приводит к резкой экспансии форм на *-ть*, которые становятся в Житии основным вариантом (более 80 % всех употреблений). Поскольку отталкивание от традиции получает риторическую значимость, экспансия инновативных форм затрагивает и инфинитивы от возвратных глаголов, которые, как мы видели, существенно более консервативны, чем инфинитивы от невозвратных глаголов с ударением на основе. В Житии (по списку Пустозерского сборника) встречается 30 форм на *-ться* (*-тца*) при 20 формах на *-тися*; пропорция инновативных форм составляет, таким образом, 60 %. Формы на *-тися* подчиняются тому же принципу регистровой гармонии, что и формы на *-ти*; ср., например, такие формы в вводной части Жития: *утверди сердце мое не о гл(а)-голании устен стужатиси, но приготоуитися на творение добрых дѣлъ* (л. 4)¹².

Весьма показательно сопоставление Жития с другими сочинениями Аввакума. В качестве примера можно обратиться к Книге бесед, представляющей собой обличение «никонианской ереси» по основным пунктам старообрядческой догматики. И в этом сочинении элементы устного языка используются достаточно интенсивно, однако они получают здесь иную функциональную нагрузку. Они создают непосредственность обращения к адресату, можно сказать, житейскую доходчивость проповеди, столь характерную для всей старообрядческой гомилетической традиции, ср. произвольно выбранный пассаж: «Иного времени долго такоуа *ждать*: само царство небесное валится в ротъ. А ты откладыаешь, говоря: *дѣти малы, жена молода, разориться* не хочется, а тово не видишь, какую честь-ту бросили бояроне-те; да еще жены суть. А ты — мужикъ, да безумнѣ бабъ, не имѣешь цѣла ума: ну, дѣти переженишь, и жену-ту утѣшишь. А за тѣмъ

¹² Формы инфинитива на *-сти* в Житии немногочисленны и, видимо, не несут никакого функционального задания. В основном форма на *-сть* образуется от глаголов с ударением на основе, ср.: *клатъ* (л. 23, 108 об., 111), *выбрестъ* (л. 59 об.), *украсть* (л. 89 об.), *попасть* (л. 105 об.); форма на *-сти* образуется от глаголов с ударением на показателе инфинитива, ср.: *спасти* (л. 4 об.—5, 48 об.), *свести* (л. 28 об.), *вести* (л. 30, 35), *взвести* (л. 49 об.), *привести* (л. 60), *отвести* (л. 60 об.), *грести* (л. 69 об.), *погребѣсти* (л. 89 об.), *побрести* (л. 104 об., 105 об.), *вознести* (л. 109 [bis]). Единственное исключение — форма *испáсти* (л. 5) в вводной части Жития в парафразе Псевдо-Дионисия. Инфинитивы на *-ци/-чи* представлены 4 формами на *-чь*: *стричь* (л. 27 об.), *жжечь* (л. 43, 99 об.), *сѣчь* (л. 78 об.), — и 6 формами на *-ци*: *реци* (л. 9 об., 49 об.), *отсѣци* (л. 80 об., 81), *облецися* (л. 12), *пострицися* (л. 31 об.); формы на *-чи* в Житии отсутствуют.

что? не гробъ ли?» (РИБ, XXXIX, стб. 253). В подобных пассажах появляется, естественно, и инфинитив на *-ть*, и 2 лицо презенса на *-шь*, и член, и за счет этого осуществляется принцип регистровой гармонии.

В то же время оральность конструируется в Книге бесед иным образом, нежели в Житии, и в силу этого не наблюдается намеренного отталкивания от традиционного узуса. Это отражается на статистических параметрах употребления инфинитивных форм. Правда, для Книги бесед мы располагаем лишь относительно поздними списками, не сопоставимыми со списком Жития в Пустозерском сборнике, который обычно считается автографом Аввакума, и в формах инфинитива между существующими списками имеются отдельные расхождения (формы инфинитива явно относились к таким морфологическим элементам, которые могли изменяться при переписке). Тем не менее в основном списки дают тождественные формы, и поэтому можно полагать, что статистические параметры близки к оригинальным. Анализировались две выборки: беседы 1—4 (РИБ, XXXIX, стб. 241—288) и беседы 9—10 (там же, стб. 361—392) по списку из собрания П. Д. Богданова № 2, выбранному в качестве основного при публикации в Русской Исторической библиотеке. Приведем общие статистические данные:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тица)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	62	22	5	3	—	92
новые	40	2	—	—	—	42
% новых	39,22 %	7,69 %	0 %	0 %	0 %	31,34 %

Итак, в двух рассматриваемых выборках форма на *-ти* встречается 62 раза (из них 17 раз в цитатах), а форма на *-ть* — 40 раз, таким образом, пропорция инновативных форм составляет всего 39,22 % (против 82,15 % в Житии); даже если из набора форм на *-ти* устранить те, которые встречаются в цитатах (что лишь отчасти оправдано, поскольку при цитировании в принципе возможна переделка инфинитивных форм), пропорция инновативных форм будет равна 47,06 %, так что и в этом случае отличие Книги бесед от Жития в интересующем нас отношении продолжает быть статистически значимым.

Это статистическое различие соотнесено и с различием функциональным: регистровая гармония нередко нарушается, и формы инфинитива обнаруживают свободную вариативность, лишённую какой-либо функциональной (стилистической) значимости, ср.: «подобаетъ-де надъ пятію просвирами *служити* въ пять чувствъ чловѣческихъ (...) подобаетъ-де надъ трема *служить* во образъ Святыя Троицы (...) подобаетъ-де надъ единою *служить* во едино Божество» (стб. 371). Такое употребление в значительно большей степени соответствует традиционному гибриднему узусу, нежели то, которое наблюдается в Житии. Преемственность в отношении гибридного узуса (противостоящая отталкиванию от него, характерному для Жития) особенно ярко проявляется в употреблении форм инфинитива от возвратных глаголов. Из 26 форм инфинитива от возвратных глаголов, встречающихся в анализируемых выборках, 22 имеют традиционную форму на *-тися*: *крестится* (стб. 246), *подивится* (стб. 252), *укрывается* (стб. 253), *веселится* (стб. 255), *удовляется* (стб. 255) и т. д., и лишь две показывают инновацию: *разориться* (стб. 253), *потрудитца* (стб. 380); пропорция инновативных

форм составляет всего 7,69 %. Стоит, видимо, отметить, что в обоих случаях в другом списке (собр. Дружинина, № 496) инфинитивы представлены в традиционной форме: *разорится* (стб. 253, вар. 9), *потрудится* (стб. 380, вар. 29), так что не исключено, что в протографе все без исключения инфинитивы от возвратных глаголов употреблялись в форме на *-тися*¹³. Таким образом, специфический характер употребления инфинитива в Житии обусловлен его особым риторическим устройством, в то время как в других сочинениях Аввакума инновативные формы инфинитива, хотя и употребляются весьма интенсивно, ведут себя по моделям, присущим гибриднему регистру.

Сходным образом с другими сочинениями Аввакума устроено и Житие Епифания, союзника Аввакума в пустозерском заточении. Список этого Жития следует в Пустозерском сборнике вслед за Житием Аввакума (Пустозерский сборник 1975, 112—138) и считается автографом Епифания. Статистические параметры данного текста таковы:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тица)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	71	5	2	3	1	82
новые	25	—	1	—	1	27
% новых	26,04 %	0 %	33,33 %	0 %	50 %	24,77 %

В Житии Епифания формы инфинитива на *-ти* встречаются 71 раз, формы на *-ть* — 25 раз, что составляет 26,04 %. Как можно видеть, пропорция инновативных форм в Житии Епифания выше, чем в традиционных гибридных памятниках, даже таких продвинутых в разбираемом отношении, как вторая часть Мазуринского летописца. Трудно не заподозрить, что на Епифания повлиял его сосед Аввакум. Это влияние, однако, способствовало лишь незначительному отклонению от традиции, но отнюдь не вело к отталкиванию от нее. Отталкивание не имеет места, поскольку формы на *-ть* у Епифания не связаны ни с каким риторическим заданием. В самом деле, никакой оральности в Житии Епифания не конструируется, никакого сопоставления себя с Христом не имеется, поэтому не возникает необходимости в риторике самоуничтожения и, соответственно, в ориентированности на книжный язык как ее (данной риторике) средство выражения. Инфинитивы на *-ть*, равно как и другие вариативные элементы, употребляются в Житии произвольно, без отчетливой функциональной нагрузки.

Таким образом, наблюдаемая у Епифания вариативность соответствует тому узусу, который характерен для гибридного регистра; специфична лишь пропор-

¹³ Обращение к другим спискам в случае форм на *-ти* никак картины не меняет. Мы находим в них два раза *-ти* на месте *-ть*: *положити* вместо *положить* (стб. 267, вар. 19), *сотворити* вместо *сотворить* (стб. 378, вар. 21); один раз *-ть* на месте *-ти*: *роптать* вместо *роптати* (стб. 384, вар. 22).

Инфинитивы других типов представлены в рассматриваемом материале малым числом примеров и в общую картину ничего принципиально нового не вносят. Формы инфинитива на *-сти* встретились 3 раза, во всех случаях от глаголов с ударением на показателе инфинитива и в форме на *-сти*: *спасти* (стб. 279), *свести* (стб. 375), *принести* (стб. 380). Инфинитивы на *-ци/-чи* представлены 5 формами, все эти формы традиционные: *реци* (стб. 241, 246), *низреци* (стб. 258), *извреци* (стб. 267), *отъци* (стб. 267).

ция инновативных элементов, величина которой объясняется скорее всего воздействием писавшего в паре с Епифанием Аввакума. Нетрудно привести примеры, демонстрирующие свободную вариацию традиционных и инновативных форм инфинитива, ср., например: *да поможет ми г(оспод)ь кр(ес)ты делат(ь)* (л. 185 об.), *Аввакум тебя бл(аго)с(ло)вляет кр(ес)ты дѣлат(ь)* (л. 185 об.), *да поможет ти г(оспод)ь кр(ес)ты делат(ь)* (л. 185 об.), *Б(о)гъ бл(агосло)вит тя кр(ес)ты дѣлат(ь)* (л. 185 об.), *повелевают ми востати и дѣлати кр(ес)ты* (л. 188 об.), *дѣлати кр(ес)товъ* (л. 189 об.). Не менее показательным является поведение форм инфинитива от возвратных глаголов. Все пять примеров, встречающиеся в Житии, представляют собой традиционные формы: *молитися* (л. 171 об.), *причаститися* (л. 175), *возрадоватися* (л. 179), *креститися* (л. 183, 183 об.). Как несколько раз отмечалось выше, наблюдаемое здесь расхождение в статистике инфинитивов от невозвратных и от возвратных глаголов характерно для гибридного регистра¹⁴.

Итак, в памятниках гибридного регистра, созданных в XVII в., постоянно встречается инфинитив в форме на *-ть*. В большинстве памятников, однако, доминирующим вариантом остается форма на *-ти*, пропорция инновативных форм обычно не превышает четверти, а часто оказывается существенно меньшей. Такое соотношение нарушается в памятниках, выходящих за рамки традиционного жанрового репертуара, в первую очередь, в появляющихся в данную эпоху светских текстах. Особняком стоит Житие протопопа Аввакума, особые риторические стратегии которого обуславливают резкую экспансию инновативных форм инфинитива. Хотя в большинстве памятников варианты инфинитивные формы распределены неравномерно, противопоставленные варианты не несут сколько-нибудь выраженной функциональной нагрузки. Хотя некоторые элементы регистровой гармонии имеют место (например, в Мазуринском летописце скопление форм на *-ть* наблюдается в тех фрагментах, где для обозначения действия в прошлом реже всего используются простые претериты), однако форма на *-ти* не функционирует как признак книжности. Несомненные случаи свободной вариации форм на *-ти* и на *-ть* фиксируются практически во всех памятниках, демонстрируя стилистическую иррелевантность противопоставления вариантов. Исключением опять же является Житие Аввакума.

Особым статусом обладают формы инфинитива от возвратных глаголов. Хотя нет оснований думать, что в разговорном языке конечная гласная в этих формах удерживалась существенно дольше, чем у инфинитивов основного типа, в текстах гибридного регистра они, как правило, заметно более консервативны. Это может быть следствием специфики письменного узуса. Появление значительной пропорции инновативных форм инфинитива от возвратных глаголов означает существенный отход от гибридной традиции — либо в силу намеренного отталкивания от нее (как в Житии Аввакума), либо в силу выраженного ослабления преемственности (как в Повести о Петре Златых ключей). Инфинитивы на *-сти* с

¹⁴ Формы инфинитивов других типов малочисленны и не представляют интереса. Формы инфинитива на *-сти* встретились 5 раз, 4 раза в форме на *-сти*, 1 раз в форме на *-сть*: *спасти* (л. 177 об., 181), *ясти* (л. 179), *вести* (л. 185), *съестъ* (л. 181 об.). Инфинитивы на *-щи/-чи* представлены следующими формами: *рещи* (л. 167), *сѣчь* (л. 178), ср. еще: *отвращися* (л. 178).

первоначальным ударением на показателе инфинитива в большинстве текстов сохраняют традиционную форму (что, надо думать, опосредованно отражает более позднее и менее распространенное появление инновативных форм в разговорном языке); отчасти это характерно и для инфинитивов на *-сти* с первоначальным ударением на основе. Инфинитивам на *-ци/-чи* также свойственна относительная консервативность (связанная опять же с более поздним отпадением конечной гласной в разговорном языке), однако в тех памятниках, где широко представлены инфинитивы на *-ть*, появляются обычно и инфинитивы на *-чь*; формы на *-чи* встречаются в гибридных текстах лишь в качестве исключения.

1.2. Формы инфинитива в не книжных текстах XVII века

Перейдем теперь к памятникам бытовой письменности. В текстах середины и второй половины XVII в. положение здесь вполне однозначно и радикально отличается от того, которое мы наблюдали в текстах книжных. Инфинитивы на *-ти* встречаются в них лишь окказионально, равно как, по существу, и все прочие формы инфинитива с сохранением конечной безударной гласной. Понятно, что тексты частной переписки образуют корпус иного типа в сравнении с текстами книжными. Тексты, принадлежащие одному пишущему, практически во всех случаях явно недостаточны по объему для каких-либо значимых статистических наблюдений. В силу этого при статистической обработке приходится иметь дело с корпусами, составленными из разнородных текстов, авторы которых обладают далеко не идентичными письменными навыками, имеют разный социальный (и гендерный) статус и различаются уровнем своей образованности. Тем не менее в употреблении форм инфинитива авторы частных писем ведут себя на редкость одинаково. Это позволяет понять тот вывод, который был сделан Ф. Кокроном, исследовавшим употребление форм инфинитива в различных текстах XVII столетия: «La répartition générale des formes courtes et longues de l'infinitif offre un critère net du caractère populaire ou livresque de nos textes ; c'est ainsi que la correspondance des princes Chovanskie ou bien les contes populaires satiriques ne connaissent pour ainsi dire pas d'infinitif à la forme longue» (Кокрон 1962, 208). Как мы увидим ниже из анализа деловых текстов, этот вывод не может быть принят без существенных оговорок, однако в том, что касается бытовых текстов, наблюдения Кокрона вполне справедливы.

Эти наблюдения подтверждаются статистическими данными обследованных нами текстов. Первый корпус состоит из документов, содержащихся в фонде Киреевских и охватывающих их частную переписку за последнее десятилетие XVII и первую четверть XVIII в. (Котков и Панкратова 1964, 19—62). Никаких хронологических слоев в этом массиве не выделяется, т. е. временной фактор не играет никакой заметной роли в гетерогенности наблюдаемого в данном корпусе узуса. Употребление форм инфинитива характеризуется следующими статистическими данными:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тица)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>-'сти/-сть</i>	всего
старые	3	5	0	2	2	1
новые	350	29	2	3	3	2
% новых	99,15 %	85,29 %	100 %	60 %	60 %	66,67 %

Как можно видеть, новые формы абсолютно доминируют в этом узусе. Для основной формы инфинитива пропорция старых форм составляет менее 1 %, старая форма появляется лишь в трех случаях, и все эти три случая могут быть охарактеризованы как окказиональные отступления, не несущие какой-либо функциональной (стилистической) нагрузки и не обусловленные лексико-семантическими факторами. Одно такое употребление находим в письме И. И. Киреевскому от И. Яблочкова от 19 февраля 1699 г. в составе эпистолярной формулы: «а я про твое многолѣтное здорovie *слушети* желаю ежечь» (с. 25); во многих других случаях аналогичная формула употребляется с формой инфинитива на *-ть*, ср. в том же корпусе: *слыше^m* (с. 29), *слыша^m* (с. 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 50, 57, 61), *слыши^m* (с. 43 [bis]), так что отмеченное употребление нельзя объяснить формульной консервативностью. Второй случай встречается в письме И. И. Киреевскому от иконописца: «и рѣки ты мнѣ а я тебѣ в то^m дали что тебѣ и мнѣ ѡбра^{3y} спасовѣ и б²цынѣ нѣ *солгати* ты де бѣ^m мои а я твои» (с. 44); это употребление в принципе может быть мотивировано, однако не клерикальным статусом автора письма (никак не проявляющимся в других морфологических элементах), а архаичностью клятвенной формулы, фиксирующей заключение договора (ее финальный элемент встречается уже в новгородской берестяной грамоте № 605 рубежа XI—XII в. — см.: Зализняк 1995, 246—247)¹⁵. Третий пример отмечен в письме Федору Родионовичу от Т. Лукьянова, в котором автор ищет примирения с адресатом: «и а е¹ г^cдрь братеⁿ не мого [sic!] *узрѣти* противѣ твоего великого жалованна» (с. 61); никакие содержательные или формальные особенности этого письма никак форму на *-ти* не мотивируют.

На первый взгляд, формы инфинитива от возвратных глаголов ведут себя существенно иным образом, чем формы инфинитива от невозвратных глаголов. Если в последнем классе старые формы инфинитива удерживаются менее, чем в 1 % случаев, то среди возвратных форм эта пропорция возрастает почти до 15%, и это, казалось бы, отсылает нас к тому же феномену относительной консервативности возвратных инфинитивов, который мы наблюдали в текстах гибридного регистра. На самом деле это не так. Все пять случаев сохранения старой формы наблюдаются в одном и том же глаголе *радоватися*, употребленном в одной и той же эпистолярной формуле: «а на^m бы слышавъ про твое здаро^bя о Хрстѣ *радоватися*» (с. 25 — И. И. Киреевскому от Д. Яблочкова от 6 сентября 1697), «а

¹⁵ Значимость формулы «ты еси мой, а я твой» в восточнославянском контексте была предметом оживленной дискуссии. В комментарии к грамоте № 605 В. Л. Янин определил ее как «формулу побратимства» (Янин и Зализняк 1986, 70). Эта интерпретация подверглась ревизии, при которой указывались широкие возможности ее употребления «в самых разных текстах античности, средневековья и нового времени», а конкретнее она связывалась с традициями западноевропейской любовной переписки (Гришина и Махов 1987). Позднее А. Б. Страхов (Страхов 1991) отверг и эту интерпретацию, связав данное выражение с евангельской христианской традицией (прежде всего с известным стихом Ин. 17:10). Разбираемый пассаж из текста XVII в. позволяет думать, что данная формула была полифункциональной, не связанной специально ни с евангельскими словами, ни с традициями любовного письма, но указывающей прежде всего на установление взаимных обязательств, в частности и договорных. В этой перспективе первоначальная интерпретация В. Л. Янина кажется наиболее удовлетворительной.

мне бы слыша^в а ваше^м здоровье *радоватиса*» (с. 25 — И. И. Киреевскому от В. Киреевского от 13 июня 1698), «пиши ⟨...⟩ о свое^м многолѣтна^м здравие что^б мнѣ слыше^в о Хе *радоватися*» (с. 58 — Елистратию Фроловичу от сына Ивана), «а^м не бы сълыша о ваше^м зьдаровьи о Хьри[с]те *радаватися*» (с. 60 — Г. Х. Рас-трубаеву от А. Глазова), «что^б мнѣ непотребно^{му} слышачи о бзѣ *радоватися*» (с. 61 — Федору Родионовичу от Т. Лукьянова). Именно этой формулой и мотивировано употребление формы инфинитива на *-тися*, хотя в данном случае эта мотивированность имеет не детерминирующий, а вероятностный характер. В том же корпусе данная формула неоднократно встречается и с новой формой инфинитива: *радоватѣца* (с. 20), *радова^мца* (с. 24, 32, 48, 51, 57, 60). Таким образом, и у возвратных глаголов старая форма инфинитива появляется лишь в качестве исключения, а новая форма доминирует с тем же абсолютным преобладанием, как и у невозвратных глаголов¹⁶.

Инфинитивы на *-ци/-чи* встречаются лишь в новой форме: *стере^ч* (с. 27), *побере^ч* (с. 52), хотя двух форм недостаточно для статистически значимых выводов. Инфинитивы на *-сти* с первоначальным ударением на показателе инфинитива варьируют без всякой видимой мотивации (стилистической или лексической): *данести* (с. 29), *плести* (с. 45), *донести* (с. 37), *добрести* (с. 46), *принести* (с. 55). Инфинитивы на *-сти* с ударением на основе, как правило, встречаются в новой форме: *пропасть* (с. 38), *есть* (с. 44); единственное исключение, никак, по видимости, не мотивировано: «и³ сутки в сѣ^тки во³земь кло^к сѣна инь и³ нась і из животинишки нашей хотя^т живо^т выклести» (с. 45 — И. И. Киреевскому от иконописца). Отмечу еще форму *итить* (с. 26). Можно заключить, что по данным обследованного корпуса в бытовом регистре инновативные формы инфинитива полностью вытесняют старые, которые появляются лишь в качестве исключения, не обладающего никаким стилистическим значением. Единственный класс, в котором формы с конечной гласной и без нее продолжают варьировать, — это ин-

¹⁶ Отчетливое противопоставление книжных и некнижных текстов по выбору формы инфинитива от возвратных глаголов (обозначающееся существенно более четко, чем в случае невозвратных глаголов) было отмечено Ф. Кокроном, ряд неловких формулировок которого обусловлен тем фактом, что он пользуется традиционными генетическими понятиями церковнославянского и русского. «Les formes de l'infinitif réfléchi conservant les deux désinences longues *-mi* (non accentuée) et *-ся*, — пишет Ф. Кокрон, — semblent avoir été purement livresques à l'époque que nous étudions, car elles ne figurent que dans les textes archaïsants ou riches en slavonismes: elles sont extrêmement fréquentes, sinon dominantes, dans la traduction de *Judith*, le plus archaïsant des textes dramatiques de cette époque, tandis qu'elles manquent presque complètement dans un texte aussi évolué vers la langue parlée que celui d'*Amphitryon*: l'emploi de ces formes dans la *Vie* d'Avvakum (...) se limite essentiellement à ceux des passages de ce texte qui sont fortement influencés par le slavon; elles sont absentes des textes dépourvus de tout trait ecclésiastique, tels que la correspondance des princes Chovanskie ou du tsar Aleksej Michajlovič» (Кокрон 1962, 206). Драма «Иудифь» — это характерный образчик гибридного узуса, для которого, как мы видели, характерно употребление старой формы инфинитива от возвратных глаголов (ср. § П.6.5); переписка Хованских или царя Алексея Михайловича — тексты бытового регистра, и в них инфинитивы от возвратных глаголов ведут себя так же, как инфинитивы от невозвратных; Житие Аввакума представляет собой особый случай, в нем выбор формы инфинитива, в том числе и от возвратных глаголов, получает функциональную значимость (ср. выше).

финитивы на *-сти* с первоначальным ударением на показателе; в этом классе вариативность в бытовом регистре предвосхищает ту ситуацию, которая характеризует русский языковой стандарт в течение всего XVIII в. (см. ниже).

Те же в целом наблюдения можно сделать и на основании данных второго из обследованных нами корпусов. Второй корпус состоит из подборки писем Голицыных, Стрешневых и Михалковых, датируемых в основном 1670—1680-ми годами (Котков и др. 1968, 15—43). Статистические данные для этого корпуса имеют следующий вид:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тыся/ -ться(-тыца)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	—	—	—	11	—	11
новые	276	4	5	2	—	287
% новых	100 %	100 %	100 %	15,38 %	—	96,31 %

Для данного корпуса характерна полная последовательность в употреблении новых форм инфинитива, они употребляются в 100% случаев и в основном классе инфинитивов, и у инфинитивов от возвратных глаголов (которые регулярно пишутся с *-тыца*: *писатыца*, с. 37, *объватыца*, с. 40, *объмыца*, с. 40, *розарымыца*, с. 42), и у инфинитивов на *-ци(-чи)/-чь*. Единственной точкой, в которой имеют место колебания, являются инфинитивы на *-сти/-сть*, что, возможно, непосредственно или опосредованно отражает разговорный узус; никакой стилистической нагрузки эта вариация не несет, хотя не исключено, что выбор варианта хотя бы отчасти лексикализован, ср. *привести* (с. 42 [bis], 39 [bis], 40 [quator], 41 [bis]), *вести* (с. 42), но *поднести* (с. 33, 36)¹⁷. Большую последовательность в употреблении во втором корпусе сравнительно с первым следует, надо думать, соотносить с более высоким социальным статусом авторов рассматриваемых писем. Более высокий социальный статус предполагает и более отработанные навыки письма, что и сказывается на регулярности употребляемых форм; даже в том случае, когда авторы писали не сами, а пользовались чьими-либо услугами, лицам, занимавшим более высокое положение, должны были быть в принципе доступны услуги более профессиональных писцов.

Для того чтобы окончательно убедиться в достоверности полученных данных, рассмотрим еще один корпус текстов частной переписки, составленный из писем, отложившихся в семейном архиве Масловых. Отличительной особенностью этого корпуса являются его хронологические рамки; архив содержит переписку трех поколений Масловых, охватывающих период от середины XVII в. до первых двух десятилетий XVIII в. Письма, вошедшие в анализируемую выборку, опубликованы С. И. Котковым и Н. П. Панкратовой (Котков и Панкратова 1964, 79—125). И в этом корпусе никаких хронологических слоев не выделяется, и это может служить указанием на устойчивость сложившегося в бытовом регистре узуса в части употребления инфинитивных форм. Наши материалы не позволяют прийти к определенному выводу о времени формирования этого узуса, однако очевидно, что к середине XVII в. он уже приобретает достаточную устойчивость. Статистические параметры анализируемого корпуса видны из следующей таблицы:

¹⁷ Лишенные функциональной нагрузки колебания наблюдаются и в форме инфинитива *идти*: *и^mти* (с. 18), *и^mти^m* (с. 18), *и^mи^m* (с. 19), *итить* (с. 34).

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	6	1	—	—	—	7
новые	441	44	2	5	3	495
% новых	98,66 %	97,78 %	100 %	100 %	100 %	98,61 %

Как можно видеть, абсолютное преобладание новых форм наблюдается и в этом корпусе, причем здесь оно распространяется и на малые классы (число примеров для этих классов слишком мало, чтобы делать из этого какие-либо выводы). Как и в первом корпусе, отступления носят окказиональный характер и не несут никакой стилистической нагрузки. Вместе с тем по большей части эти отступления появляются в составе эпистолярных форм (разной степени стабильности), что может рассматриваться как их частичная мотивированность (частичная в силу того, что те же формулы встречаются и с новой формой инфинитива). В трех случаях инфинитив на *-ти* появляется в адресной надписи на письме: «Дати ся грамо^тка Иван⁸ О^дрѣвичю Маслов⁸» (с. 81 — И. А. Маслову от Н. Вараксина), «Дати с грамо^тка Иван⁸ А^дриевичю Маслов⁸» (с. 81 — И. А. Маслову от братьев Вараксиных), «*Дати* ся грамо^тка во Бря^нске гос^ддарю моему Иван⁸ О^дреевичю Маслов⁸» (с. 82 — И. А. Маслову от О. Евстигнеева); адресные надписи неоднократно, впрочем, встречаются и с формами *дать*, *отдать* (с. 80, 84, 88, 90, 94, 99 и т. д.); стоит, возможно, заметить, что три отмеченных случая фиксируются в наиболее ранних письмах из анализируемого корпуса, хотя адресные надписи с новой формой инфинитива встречаются и среди ранних писем. Один пример находим в выражении *бити челом*: «да и впре^д стану я³ би^{ми} чело^м» (с. 83 — И. А. Маслову от А. К. Маслова); само собой разумеется, что то же выражение много раз встречается и в форме *бить челом* (с. 89, 104 и т. д.), так что формульная мотивация и здесь имеет лишь факультативный характер. Еще один случай факультативной формульной мотивации находим в письме Ф. Д. Маслову от Л. Сулова от 23 января 1703, никакими другими архаическими чертами не отмеченном: «а пра мѣня изволи[ш] млстию своею *напомниту*» (с. 117); и эта формула, встречающаяся десятки раз, во всех прочих случаях содержит форму инфинитива на *-ть*: *воспомену^м* (с. 90, 91, 95, 100), *напомѣну^м*, *напомяну^м* (с. 92, 100, 107, 116), *напомѣни^м* (с. 92, 98, 115, 123), *напаметова^м* (с. 93 [bis], 114, 115, 118, 120, 121 [bis], 124). В одном случае форма на *-ти* встречается в содержательной части письма, ничем другим не примечательного, и никак не мотивирована: «назначь то^т де^н в каторо¹ блговолишь *бити* жеб^ъ» (с. 106 — Д. И. Маслову от В. Подлинева). Что касается единственной формы на *-тися*, то она, как и в первом корпусе, появляется в эпистолярной формуле: «а мнѣ бы слыша о^тво^бм здаро^ве а Х^сте *радоватися*» (с. 110 — Д. И. Маслову от А. Трубоченинова); как и в рассматривавшихся выше случаях, этому употреблению можно приписать частичную формульную мотивированность.

Завершая рассмотрение текстов бытового регистра, можно сказать, что для них господствующими вариантами (едва ли не имеющими статус нормативных) являются новые формы инфинитива. Это в равной мере относится к инфинитивам от возвратных и невозвратных глаголов, к инфинитивам на *-ци(-чи)/-чь* и на *-сти/-сть* при ударении на основе. Единственный класс, в котором наблюдаются

колебания, — это глаголы на *-студ/-сть* с историческим ударением на показателе инфинитива; колебания эти не несут никакой функциональной нагрузки. Не обладают стилистической (функциональной) значимостью и окказионально употребляемые старые формы инфинитива других типов. Эти употребления могут быть охарактеризованы как исключительные; в большинстве случаев они частично мотивированы тем, что старая форма появляется в составе устойчивых формул, которые могут способствовать сохранению реликтовых элементов — при том, однако, что выбор архаического варианта никак не предопределен формульным характером текста: в большинстве случаев новые формы встречаются и в составе устойчивых формул. При всех этих частных оговорках новые формы инфинитива оказываются конститутивным элементом бытового узуса.

Узус делового регистра существенно отличается от узуса регистра бытового. Прежде всего он более разнороден: соотношение старых и новых форм инфинитива в принадлежащих этому регистру текстах в большой мере зависит от официального статуса документа. В челобитных, распросных речах, купчих, частных договорных записях употребление форм инфинитива близко к тому, которое мы наблюдали в частной переписке, хотя, особенно в текстах начала XVII в., окказиональное употребление форм на *-ти* не является редкостью. В текстах, обладающих более высокой степенью публичности или претендующих на публичность, старые формы инфинитива оказываются достаточно обычным явлением — при том что сами тексты обнаруживают несомненные черты делового языка как в своем синтаксическом устройстве, так и в морфологии. Выбор формы инфинитива получает в этой ситуации определенную функциональную значимость.

Стоит при этом отметить, что сама по себе зависимость выбора языковых вариантов от официального статуса не книжного текста хорошо известна в истории восточнославянской письменности. Эта зависимость была выявлена, когда обнаружилось, что бытовые берестяные грамоты написаны с существенно иной орфографией и морфологией, нежели документы более официального характера, такие как договоры Новгорода с князьями и иностранными государствами, и что такого рода различия в языке могут служить пиущему для маркировки разных частей одного текста, которым он приписывает различный социальный или культурный статус (см. § I.4). Сходные явления можно обнаружить и в московской деловой письменности XVII в. Формы инфинитива на *-ти* используются по крайней мере в отдельных случаях для маркировки статуса текста, что придает им самим характер функционально маркированных элементов. Как и в древних новгородских документах, анализировавшихся А. А. Зализняком, маркирующие показатели могут разграничивать части одного текста.

Пример такого функционирования форм инфинитива находим в деле по извету иноземца Д. Рябицкого на О. Науменка в том, что он умышлял портить и уморить царицу Евдокию Лукьяновну; это дело велось с 18 марта 1642 г. по 20 мая 1643 г., оно включает в себя протоколы многократных допросов Офоньки Науменки и различных свидетелей по делу, распоряжения царя Михаила Федоровича и описание следственных действий; обширный текст опубликован С. И. Котковым, А. С. Орешниковым и И. С. Филипповой (Котков и др. 1968, 254—277). Общие статистические данные о формах инфинитива в данном тексте видны из следующей таблицы:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	13	—	1	8	—	22
новые	226	8	3	—	1	238
% новых	94,56 %	100 %	75 %	0 %	100 %	91,54 %

Как мы увидим ниже, пропорция в 5,5% форм инфинитива на *-ти* не представляет собой ничего необычного для московских деловых текстов, однако в данном случае статистические соотношения сами по себе мало о чем говорят. В основной части текста инфинитивы на *-ти* вообще не встречаются, за единственным исключением, появляющимся в истории о лжепророке, объявившемся «в Калабрѣиской семли»: «и о^н де имѣ говори^т что о^н и^х ото всего и^збави^т и станете^ле на семь свѣте *црствовати* и жи^т беспощинно» (с. 71); трудно сказать, можно ли рассматривать это употребление формы на *-ти* как хотя бы частично мотивированное лексически (глагол *црствовати* больше в тексте не встречается) или тематически (речь идет о пророчестве, однако здесь же в качестве однородного члена появляется форма *жить*)¹⁸.

Все остальные формы инфинитива на *-ти* располагаются на двух последних листах дела, содержащих окончательный царский приговор (отличающийся от первоначального приговора судивших Науменку бояр и окольничих, приговоривших его к отсечению рук и ног и сожжению): «г^сдрь црь и великии кн^з Миха^ло [Фе]дорови^ч всеа Р^ссиѣ ѿказа^т о^тста[в]ново стре^лца Ошонку Наѿме[нк]а са ево бо^лшое воро^вство *сосла^{му}* [в Си]би^п на Таре <...> велѣ^т Ошонкѣ Наѿме^нка *сослати* в сибирско^и горо^д на Тарѣ <...> а на Таре велѣ^т ево *держа^{му}* в тюремѣ до г^сдрва ѿка^сѣ <...> и к тю^рмѣ гдѣ он Ошонка посаже^н бѣде^т никаки^х людеи *припѣска^{му}* и *говори^{му}* с нимъ ни о чомъ *давати* не *велѣти* такъ^ж и в дороге какъ ево в Сиби^п повесѣ^т никаки^х людеи к немѣ *припѣска^{му}* и *говори^{му}* с нимъ никомѣ ни о чомъ *давати* не *велѣти*^ж а на ко^рмѣ емѣ Ошонке на Таре и в дороге велѣ^т *давати* по две де^нги на де^н» (с. 276).

Формы на *-ти* в данном пассаже явно не мотивированы лексически: те же глаголы многократно выступают в тексте в форме инфинитива на *-ть* (в том числе и в самом разбираемом фрагменте). Они не обладают и какой-либо стилистической или тематической нагрузкой: речь идет о тех же действиях и о тех же ситуациях, которые описываются и на предшествующих листах, и ничто не указывает на специфическую выразительность или возвышенность их трактовки в заключительном фрагменте. Формы на *-ти* играют роль внешних маркеров особого статуса финального пассажа как содержащего царский приговор, противопоставленный по своей значимости изложению следственных действий и предварительных решений. Таким образом, внутри делового регистра (и только в

¹⁸ В состав дела входит текст известного заговорного апокрифа Сон Богородицы, список которого был изъят у одного из свидетелей по делу (с. 271—272). Этот текст, естественно, написан на книжном языке с формами аориста, перфекта со связкой, 2 лица презенса на *-ши* и т. д. Понятно, что и инфинитивы в этом тексте встречаются в форме на *-ти* (*всыскати*, с. 271 [bis], *всяти*, с. 272 [bis]). В наших подсчетах и наблюдениях этот фрагмент, выпадающий из текста дела в целом и по содержанию и по языку, никак не учитывался.

нем) формы инфинитива на *-ти* функционируют как показатель статуса текста, способный служить индикатором иерархической значимости документа.

Я не предполагаю, конечно, что такое употребление форм инфинитива носит императивный характер, т. е. что пишущий непременно должен был соотносить пропорции старых и новых форм инфинитива с иерархическим статусом текста. Этот иерархический статус был очевиден из содержания и дипломатического оформления документа: челобитная останется челобитной, даже если наполнить ее формами на *-ти*. Существенно то, что формы на *-ти* могли факультативно вступать в корреляцию со статусом текста, что должно было сказываться на их восприятии и создавать преемственность навыков в их продолжающемся употреблении. Как и во многих других случаях, выбор варианта получает факультативное смысловое задание, и это задание оказывается фактором, способствующим сохранению вариативности.

Другие черты анализируемого документа ничем не замечательны. Инфинитивы от возвратных глаголов употребляются исключительно в новой форме: *докѣна^мца* (с. 256, 268), *моли^мца* (с. 260, 271, 272), *прислѣжи^мца* (с. 260), *запира^мца* (с. 263), *домышля^мца* (с. 275). Как мы увидим далее, деловые тексты (так же как тексты бытового регистра) не обнаруживают тенденции к сохранению старых форм инфинитива от возвратных глаголов, характерной для гибридных текстов; пропорция старых форм инфинитива от возвратных глаголов обычно ниже, чем пропорция старых форм инфинитива от невозвратных глаголов. В этих условиях понятно, что в анализируемом тексте формы на *-тися* (или *-тись*) полностью отсутствуют: в основной части практически отсутствуют и формы на *-ти*, а в финальном фрагменте вообще нет инфинитивов от возвратных глаголов. Достаточно обычно для деловых текстов и распределение инфинитивов на *-чи/-чь* (конкретное процентное соотношение малоинформативно при ограниченном числе примеров). В тексте фиксируются формы *[отс]ѣчь* (с. 275), *жечь* (с. 275), *о^бсе^ч* (с. 276), а также форма *о^мречиса*: «ѡчили ево *о^мречиса* Хр^{ста} в Пѡти^бле казакъ Ва^ска а на Мо^сквѣ г^ляше^и члвкъ Ѡо^мка пѡт^имець» (с. 257); тематическая мотивированность последнего употребления не слишком вероятна, поскольку интерференция с книжными (религиозными) текстами должна была бы спровоцировать форму *отрециса*. Инфинитивы на *-сти/-сть* представлены формами *привести* (с. 257, 259 [bis], 260, 263, 264), *вести* (с. 276 [bis]), *класть* (с. 275). Отмечу еще форму *во^тти* (с. 265).

Такая ситуация в текстах бытового регистра и в отдельных текстах делового регистра полностью исключает, на наш взгляд, возможность того, что формы инфинитива с конечной безударной гласной, встречающиеся в деловых текстах, отражают современный им разговорный узус. Вопросом о том, может ли таким образом трактоваться форма инфинитива на *-ти*, задавался в свое время П. Я. Черных: «Является ли, однако, эта полная форма чертою живого языка Москвы в середине XVII в.?» (Черных 1953, 351). Отвечая на этот вопрос, он апеллировал к памятникам бытовой письменности (письмам царя Алексея Михайловича, грамотам Н. И. Одоевского и Б. И. Морозова), и из почти полного отсутствия в них форм на *-ти* делал вполне справедливый вывод, что такого рода формы из разговорного языка идти не могли. К сходному заключению пришел и С. И. Котков, основываясь на деловых документах 1640—1660-х годов — таких

как «сказки, отпись, откупная и раздельная записи, поручные, данная, купчие» (Котков 1974, 250). Он приводит пространные списки примеров инфинитивов на *-ть* и на *-тца* из этих текстов, отмечая формы на *-ти* и на *-тися* как редкие исключения (там же, 251—253), и констатирует, что «к этому времени утверждение инфинитивных форм на *-ть* в недрах живой народной речи, в конкретном случае в московской, полностью завершилось» (там же, 253; ср. еще: Котков 1963, 204—206). Избегая говорить о «недрах», я нахожу этот вывод по существу правильным¹⁹.

Сомнительным мне представляется лишь (непрямое) утверждение Коткова, согласно которому завершение процесса отпадения безударной гласной в формах инфинитива на *-ти* приходится на 1620—1630-е годы и эта завершающая стадия отражается в вариациях форм на *-ти* и *-ть* в Вестях-курантах за эти годы²⁰. На мой взгляд, этот процесс мог завершиться существенно раньше — на полвека или на век, и эту дату невозможно установить по письменным источникам. Единственное, о чем письменные источники свидетельствуют достаточно четко, это о том времени, когда процесс уже начался: дата первых памятников с формами на *-ть* (не объясняющимися специфически книжными факторами — см. выше) указывает на *terminus ante quem* возникновения данного явления в разговорном языке. В дальнейшем формы, вышедшие из употребления в разговорном языке, могут сколь угодно долго сохраняться в языке письменном благодаря преемственности, связывающей опыт чтения с навыками письма. Нет никаких оснований для того, чтобы в формах на *-ти* в Вестях-курантах 1620—1630-х годов видеть отражение разговорного узуса, а те же самые формы в Уложении 1649 г. или в сочинении Котошихина объяснять принципиально иным образом: то объяснение, которое годится для памятников второй половины XVII в., годится и для памятников первой половины этого столетия.

Отказываясь видеть в формах на *-ти* в деловой письменности отражение разговорного узуса, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой того, как объяснить их вполне устойчивое употребление в ряде памятников данного типа. На первый план выходит вопрос о том, зачем они употреблялись. Те объяснения, которые дают Черных и Котков, хотя и содержат некоторые проницательные наблюдения, не вполне удовлетворительны. Черных говорит об «архаизации и славянизации» (Черных 1953, 133), а Котков отсылает к «приказной традиции» и «традиционным оборотам, характерным для приказной письменности» (Котков 1974, 253—258). И то и другое объяснение по существу тавтологичны: поскольку формы «старые», они суть результат архаизации, поскольку эти формы постоянно встре-

¹⁹ В этой связи я хотел бы отказаться от высказанной мною когда-то гипотезы, в соответствии с которой формы на *-ти* в XVII в. могли быть представлены в качестве варианта и в разговорной речи московского населения (или какой-то его части) и это разговорное употребление поддерживало приказную традицию (ср.: Живов и Успенский 1983, 177—178).

²⁰ Котков пишет: «Интенсивную смену в XVII в. инфинитивных форм на *-ти* образованиями на *-ть* хорошо иллюстрирует наблюдаемое в пределах двадцатых-тридцатых годов употребление тех и других в текстах Вестей-Курантов, частично отражающее состояние и в московском говоре» (Котков 1974, 255). За этим следует полторы страницы примеров встречающихся в Вестях-курантах парных образований (там же, 255—256). Что понимается под частичным отражением, остается не вполне ясным.

чаются в текстах делового регистра, они суть элемент приказной традиции. При таких объяснениях остается неясным, почему одни деловые тексты обходятся без форм на *-ти*, а другие не обходятся, почему в одних случаях «обороты, характерные для приказной письменности», появляются с формами на *-ти*, а в других — с формами на *-ть*.

С. И. Котков, впрочем, пытается выйти за рамки общих суждений и найти более содержательные аргументы. Он пишет: «Слабые признаки стилистической дифференциации в кругу инфинитивных образований проявлялись в употреблении форм на *-ти*, иногда преобладающем, рядом с формами на *-ть* в официальных императивных текстах и в подражаниях слогу последних, чего в иных условиях обыкновенно не наблюдалось» (Котков 1974, 255). Хотя не вполне ясно, о каком именно множестве текстов говорит автор, важным представляется сама зависимость употребления форм на *-ти* от статуса текста; представление о формах на *-ти* как маркерах этого статуса может рассматриваться как следующий шаг в этом же направлении²¹. Говоря о расспросных речах, Котков предусматривает и возможность того, что употребление форм инфинитива различается в разных частях текста, так что формы на *-ти* оказываются приметой особой значимости фрагмента: «[К] образованиям на *-ти*, за весьма немногими исключениями, прибегают лишь в особых условиях — когда, следуя приказной традиции, излагают процедуру следствия или формулируют статьи приговора» (там же, с. 252). Для того чтобы понять, как реализуются эти намеченные Котковым возможности в деловом регистре в целом, нужно проанализировать тексты разного характера.

Как уже было сказано, старые формы инфинитива обладают смысловым заданием отнюдь не во всех случаях. Это означает, что не любое неравномерное распределение старых и новых форм инфинитива в пределах одного текста имеет функциональную значимость. Пример подобной неравномерности можно обнаружить в Вестях-курантах. При исследовании этого памятника деловой письменности анализировались три выборки. Неравномерность в употреблении инфинитивных форм присуща первой из них, содержащей фрагмент перевода Оснабрюкенского мирного договора 1648 г. (Вести-куранты 1983, 13—52). Общие статистические данные по этой выборке выглядят следующим образом:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тица)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	198	1	1	4	—	204
новые	302	16	2	4	—	324
% новых	60,40 %	94,12 %	66,67 %	50 %	—	61,36 %

²¹ Сходное наблюдение Котков делает относительно форм на *-ти* в деловой письменности южновеликорусского происхождения. Он замечает: «Едва ли не все приведенные факты XVII в. [имеются в виду формы на *-ти*] находим либо в пересказе царских повелений, либо в составе (...) правовых формул. Не ошибемся, если скажем, что применение отраженных в южновеликорусской письменности форм на *-ти*, ограниченное в общем императивной функцией, представляет собой еще не преодоленную традицию приказного языка, не находившую поддержки в устной речи южновеликорусского склада» (Котков 1963, 205). Трудно согласиться, впрочем, с представлением об устранении форм на *-ти* как прогрессе, преодолевающим приказную косность.

Как можно видеть, пропорция старых форм инфинитива в данном тексте (почти 40 %) существенно выше, чем в предшествующем документе. Хотя в целом в Вестях-курантах доминирующее положение новых флексий обнаруживается со значительно большей выразительностью (см. ниже), дистанция между данным памятником и более обычной канцелярской продукцией (челобитными, распросными речами и т. д.) поддерживается и при более низких пропорциях. Эта дистанция, надо думать, соотнесена с иерархическим статусом соответствующих текстов. Их публичность была, конечно, весьма относительной, поскольку эта «первая русская газета» выпускалась лишь в одном экземпляре (или двух, если текст перебеливался). После того как текст прочитывался царю и боярам, он хранился в Посольском приказе в качестве секретного документа (что, впрочем, не мешало любопытствующим чиновникам переписывать отдельные тексты, которые затем оказывались в частных руках — ср.: Соболевский 1903, 241—250; Шлосберг 1911, 82—90; Во 1972, 72—76). Тем не менее адресатом этих текстов царь и бояре оказывались куда более непосредственным образом, чем в случае обычного приказного документа. Именно это, можно предположить, и придавало Вестям-курантам их относительно высокий статус (о технике изготовления переводов и их дальнейшем функционировании см.: Майер и Пилгер 2001; ср. еще: Соболевский 1903, 42—43). Этот статус, в свой черед, отражался в пропорции форм инфинитива на *-ти*.

Как уже говорилось, связь между статусом текста и употреблением форм на *-ти* не могла быть жесткой, так что оставалось достаточно большое пространство для колебаний узуса. Возможной реализацией этих колебаний была неравномерность в употреблении форм на *-ти* в разных частях текста: ничто не заставляло пишущего быть постоянно озабоченным установлением этой связи. В переводе Оснабрюкенского договора первые страницы почти совсем лишены форм на *-ти* (так, на первых 14 страницах, с. 13—26, эти формы появляются всего 7 раз при 155 формах на *-ть* и их пропорция составляет 4,32 %), тогда как ближе к концу, на с. 36—52 формы на *-ти* господствуют (они появляются в 158 случаях при 61 употреблении инфинитива на *-ть* и их пропорция составляет 72,15 %). Промежуточный фрагмент демонстрирует плавный переход от узуса первого типа к узусу второго типа (на с. 27—35 находим 33 формы на *-ти* при 86 формах на *-ть*, пропорция форм на *-ти* составляет 27,73 %). Почему переводчик по ходу дела допускает столь существенные колебания, остается неясным²²; никаких различий в статусе между разными частями текста нет.

Выбор формы инфинитива ни в какой степени не обусловлен лексическими, семантическими или стилистическими факторами. Одни и те же глаголы в одном и том же контексте встречаются как в одной, так и в другой форме. Свободная вариативность отчетливее всего проявляется в употреблении разных форм инфинитива в качестве однородных членов, ср.: «и^x в то^m оборонить или заде^pжа^{mu}» (с. 28), «и то писать и о^бявити в ми^pно^m же договоре» (с. 33), «иноⁿ в^ьре поповъ

²² Замечу, что мы имеем здесь дело с черновым списком, т. е. текстом, непосредственно отражающим процесс перевода. Текст опубликован по черновому списку, поскольку перебеленная копия отсутствует, скорее всего в силу того, что текст не перебеливался (см.: Майер и Пилгер 2001, 212).

не *ставити* и (...) иные^x служители^и не *води^m*» (с. 34), «и^m бе^з страхова^{не} в 8^{ть}е *ходи^m* и *стояти*» (с. 39), «к арцыби^cку^pствѣ *притиса^m* и *присвои^m*» (с. 45). Вполне показателен в этом плане следующий пассаж: «Тако же и^m поволено буде^t во всяки^x цеса^pствеⁿны^x дела^x пригово^p чини^m а особно ѡставъ *ѡчини^m* и воⁿну *зача^m* и даⁿ *наложи^m* и новые крепо^{сти} *дѣла^m* а старые *почини^m* и ми^p и сою^c *ѡстанови^m* или иные какие дела *дѣла^m* и тѣ все дела не *дѣла^m* ...» (с. 34). Таким образом, значимой является лишь сама пропорция старых и новых вариантов, тогда как их распределение по отдельным контекстам никакой функциональной нагрузки не несет.

Вполне выразительным в данной выборке оказывается соотношение старых и новых форм инфинитива от возвратных глаголов. Если формы на *-ти* занимают в узусе переводчика Оснабрюкенского договора вполне заметное место, то формы на *-тися* (*-тись*) представлены единственным примером при 16 примерах на *-тца*. Этот пример встречается в следующем контексте: «и обои^x стороⁿ дрѣ^жбѣ апя^t по пре^жнемѣ ро^{сти} и *приба^еляти^c*» (с. 15); не исключено, что появлению данной формы способствовало наличие инфинитива на *-сти* в непосредственном предшествовании. Как бы то ни было, употребление старых форм инфинитива от возвратных глаголов существенно более ограничено, чем употребление форм на *-ти*, так что в данном тексте обнаруживается тенденция, прямо противоположная той, которую мы наблюдали в гибридном регистре. Представляется правдоподобным, что причиной такого выраженного предпочтения новых форм инфинитива от возвратных глаголов является их устойчивое написание с *-тца* (15 примеров из 16, в основном с *t* выносным; единственное отступление — *писатьца*, с. 38). Такое написание могло представлять собой устойчивый письменный навык, отступить от которого и написать *-тися* или *-ти^c* было существенно сложнее, чем варьировать *и* и *ь* (или выносные *t* и *ти*) в инфинитивах невозвратных глаголов. Наличие этого письменного навыка может рассматриваться как специфическая черта некнижной письменности, противопоставляющая ее письменности книжной, где такое написание появляется лишь как отступление от нормы (в этой связи стоит вспомнить исправления *-тца* на *-ться* (*-тсья*) в рукописи Повести о Петре Златых ключей — см. выше)²³.

Две других выборки из Вестей-курантов (Вести-куранты 1983, 125—147; Вести-куранты 1996, 97—127), содержащие переводы газет за 1649 и 1655—1658 гг., обнаруживают меньшую, хотя и достаточно заметную пропорцию форм на *-ти*; эта пропорция достаточно высока, чтобы отделить текст царской газеты от более обычной канцелярской продукции. В этих выборках формы на *-ти* распределены по тексту достаточно равномерно. Сходство показателей позволяет суммировать данные двух выборок в одной таблице:

²³ Прочие формы инфинитива немногочисленны и не позволяют сделать каких-либо содержательных выводов. Можно отметить 3 формы инфинитива на *-чи/-чь*: *бере^ч* (с. 36, 41) и *беречи* (с. 41); выбор формы никак не мотивирован. Столь же немотивирован и выбор формы у инфинитивов на *-сти/-сть*: *рости* (с. 15), *розвести* (с. 19), *вести* (с. 23), *донести* (с. 31), *розвесть* (с. 31 [bis], 39), *привесть* (с. 32). Характерно, что распределение в тексте новых и старых форм последнего типа никак не коррелирует с распределением форм на *-ть* и *-ти*, что, надо думать, свидетельствует о том, что в сознании пишущего они никакого единого класса не образовали.

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	35	6	—	4	1	46
новые	309	40	3	12	3	367
% новых	89,83 %	86,96 %	100 %	75 %	75 %	88,86 %

Как можно видеть, пропорция форм на *-ти* составляет более 10 %, что зримо отличает Вести-куранты от стандартных приказных документов, в том числе и тех, в которые входят отмеченные особым статусом фрагменты (ср. анализированное выше следственное дело, в котором соответствующая пропорция составляет немногим более 5 %). Как и в других текстах делового регистра, употребление форм на *-ти* никак не мотивировано. Приведу несколько произвольно взятых примеров: «вмысли^{ли} проти^в шпански^х люде^и стоя^{ми} и битца до сме^рти» (1983, 125), «и городька Галату <...> за^жечь и *граб^{ити}* хотѣли» (там же, 132), «о че^м бѣде^т присылати на писмѣ или ѣчне^т говорить и прикасыва^т рѣчью» (там же, 145), «велѣ^л ему <...> не *настѣна^{ми}* <...> и за гала^нцов споможение не чини^{ми}» (1996, 101), «и^зволи^л пожалова^т и о^бнадежить, что^б намѣ <...> во^лно *то^рговати*» (там же, 112).

Инфинитивы от возвратных глаголов в подавляющем большинстве случаев употребляются в форме на *-ца*, хотя пропорция новых форм не отличается здесь значимым образом от той, которая характеризует невозвратные глаголы. В любом случае тенденция к удержанию старых форм от возвратных глаголов здесь отсутствует. Употребление старых форм не мотивировано. Они фиксируются в следующих контекстах: «и *опасати^{ся}* тому что^б <...> в то^н зе^млѣ ме^жѣсобная во^н на не ѣчинила^с» (1983, 133), «и велѣ^л е^{му} водою и^с чашѣ *о^бмывати^с*» (1996, 100 — в истории о новообъявившемся пророке, лишенной, однако, каких-либо специфически книжных черт), «и хотѣ^л *бити^с* с <...> королемѣ» (там же, 107), «че^рница^м грозно прикаса^л *постити^с*» (там же, 115, 117), «и ѣка^но во все^н Бра^н-де^нбѣ^хско^н се^млѣ бѣ^л *молити^с*» (там же, 124). Хотя кажется, что старые формы появляются преимущественно в пассажах с религиозной тематикой, тематическая мотивированность едва ли просматривается, поскольку выбор форм инфинитива не подчиняется никакой регистровой гармонии и никак не сочетается с какими-либо особыми стилистическими приметами соответствующих фрагментов.

Новые формы доминируют и в малых классах. Инфинитивы на *-чи/-чь* представлены исключительно формами на *-чь*: *за^жечь* (1983, 132), *о^мсѣчь* (там же, 141), *жечь* (1996, 102). Инфинитивы на *-сти/-сть* с ударением на показателе существенно чаще встречаются в форме с отпавшей гласной, хотя старая форма также фиксируется: *и^звесть* (1983, 125), *весть* (там же, 127; 1996, 98), *о^мвѣсть* (1983, 128), *о^мвесть* (там же, 132, 136), *привесть* (там же, 131, 139, 142; 1996, 98, 126), *савесть* (1996, 125); *привести* (1983, 131; 1996, 102), *вести* (1983, 145, 146). Какая-либо мотивация в выборе новой или старой формы отсутствует. Примечательно, что ту же пропорцию старых и новых форм находим и у инфинитивов на *-сти/-сть* с ударением на основе: *вывесть* (1983, 135, 139), *пропасть* (1996, 113); *ясти* (1983, 134); сохранение старой формы в последнем случае представляет собой, видимо, факт лексикализации: *ясти* в текстах XVII в. постоянно встречается с неотпавшей гласной в противоположность более редкому *ѣсть*. Отмечу еще ва-

риативность форм инфинитива *итти* и производных: *ити^м* (1983, 131, 136, 138, 144; 1996, 97, 119), *выти^м* (1983, 133), *воити^м* (1983, 133), *и^мти^м* (1996, 100); *и^мти* (1983, 126 [bis], 127, 145, 146; 1996, 97, 98 [ter], 104, 106, 108, 114, 124), *ити* (1996, 98, 123), *вы^мти* (1996, 103); и даже вполне аномальное *со^иити* (1983, 134).

В этом контексте целесообразно рассматривать и те относящиеся к деловому регистру тексты, которые получили в XVII в. максимальную степень публичности. Имею в виду тексты, изданные в виде книг, а именно «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» 1647 г. (перевод сочинения И. Я. фон Вальхаузена) и Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. Эти книги нарушили монополию религиозной литературы на печатный станок и были в силу этого важнейшей культурной инновацией, придававшей секулярным текстам, связанным с государственным управлением, неведомую им ранее культурную значимость (ср.: Живов 2002, 237—247). Относительно «Учения и хитрости ратного строения» Х. Станг замечает: «L’infinitif se termine par -ти, et, plus rarement, par -ть. Les thèmes en gutturale ont -чи et -чь» (Станг 1952, 71). Таким образом, в данном памятнике пропорция форм инфинитива на *-ти* составляет более 50 %, что противопоставляет этот текст рассмотренным выше образцам деловой письменности. Можно полагать, что эта черта, определяющая особое положение данной книги в корпусе текстов делового регистра определяется именно его статусом публичности. Таким образом, та функция обозначения статуса текста, которую мы отмечали у форм на *-ти* при анализе следственного дела О. Науменка, в данном случае осуществляется не на уровне частей одного памятника, а на уровне всего пространства деловой письменности. Типологически эта ситуация сходна с той, которая наблюдается в древненовгородской некнижной письменности: отдельные морфологические признаки (например, им. ед. существительных м. рода на *-е* или, вернее, его отсутствие) могут служить как для маркировки отдельных частей, так и для маркировки статуса текста в некнижной письменности в целом.

Аналогичная интерпретация может быть распространена и на важнейший памятник деловой письменности XVII в. — Уложение 1649 г. Описывая язык этого памятника, П. Я. Черных замечает, что в нем «полная форма инфинитива встречается не реже, чем усеченная» (Черных 1953, 350). Черных приводит и статистические данные (неполные) о соотношении форм на *-ти* и на *-ть* по отдельным главам Уложения: «Например, в предисловии: указы справити, 61 об.; статьи написати и изложити, 62; указаль государь списати, 64 и др.; но наряду с этим: статьи выписать, 61 об.; боярские приговоры собрать, 61 об. и др. В общем в предисловии тех и других случаев оказывается поровну (по 7). В главе I (о богохульниках и о церковных мятежниках) пропорция *ти* и *ть* явно в пользу *ти* (18:2), а в главе II (о государственной чести) — в пользу *ть* (23:29). В других главах встречается больше *ти*, чем *ть*: III — 23 *ти*, 9 *ть*; IV — 12 *ти*, ни одного *ть*; V — 8 *ти*, ни одного *ть*; VI — 18 *ти*, 2 *ть*; VII — 84 *ти*, 26 *ть* (преимущественно во второй половине статьи); VIII — 5 *ти*, 2 *ть* и т. д.; XV — 16 *ти*, 10 *ть*; XVIII — 92 *ти*, 81 *ть*; XIX — 67 *ти*, 61 *ть*; в конце книги — наоборот: XXII — 18 *ти*, 51 *ть*; XXIII — 1 *ти*, 13 *ть*; XXIV — 1 *ти*, 10 *ть*; XXV — 4 *ти*, 117 *ть*» (там же, 350—351). Черных приходит к выводу, что «полная форма во “втором” издании Уложения немного преобладает над усеченной» (там же). Преобладание старых форм наблюдается и у инфинитивов на *-чи/-чь*; по словам Черныха, «от глаголов

с основой на заднеязычный согласный встречается форма инфинитива на *чь*, хотя очень редко и непоследовательно. Форма инфинитива на *чи* явно преобладает: ...улей... вѣсѣчи, 158 об.; казнить отсѣчи рука, 112 об.; но: казнить отсѣчь рука, 96; ...отдань будеть беречи, 288; отдать беречи, 293 об.; смотреѣть и беречи накрѣпко, 333; но: ему... от огня беречь, 154 об. Также (с суффиксом *чь*): найметя стеречь, 22, также 167 об.; двора не зажечь, 154 об.» (там же, 352—353).

Данные Черныха, хотя в целом верно указывающие на вариативность форм инфинитива в Уложении, нуждаются тем не менее в корректировке; это относится и к некоторым его частным выводам. Мы рассмотрим две выборки из текста того же второго издания Уложения, одну из начальной части текста, другую — из последних глав памятника, имея в виду наблюдение Черныха о неравномерности распределения старых и новых форм инфинитива по тексту законодательного свода. Первая выборка включает в себя лл. 61 об.—132 об., эта выборка охватывает текст от начала до середины десятой главы (текст анализируется по изданию А. Г. Манькова — Уложение 1987, 17—47). Употребление новых и старых форм инфинитива в этой выборке характеризуется следующими статистическими параметрами:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	498	17	1	7	1	524
новые	557	6	9	2	2	576
% новых	52,80 %	26,09 %	90 %	22,22 %	66,67 %	52,36 %

Как можно видеть из этих данных, П. Я. Черных неправ, считая, что «полная форма немного преобладает над усеченной». Во многих случаях неточны его подсчеты: он, видимо, просто проглядел некоторое количество форм (например, для главы XXII он приводит цифры 18 *-ти*, 51 *-ть*, на самом деле 23 и 60; для главы XXIII у него соотношение 1 к 13, на самом деле 2 к 15; для главы XXV он указывает пропорцию 4 к 117, в действительности 10 к 129); ошибки не носят критического характера, но выводы, сделанные без четкого статистического подтверждения, могут вводить в заблуждение. На это указывают как данные, полученные при анализе первой выборки, так и данные, полученные при анализе второй. Вторая выборка охватывает главы XX — XXV, лл. 262—338 (Уложение 1987, 103—136); статистические параметры этой последней части Уложения видны из следующей таблицы:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	320	18	4	7	5	354
новые	833	6	4	1	—	844
% новых	72,25 %	25 %	50 %	12,50 %	0 %	70,45 %

Итак, каков характер употребления инфинитива в Уложении? Первое, что бросается в глаза, это высокая пропорция старых форм на *-ти*, особенно в первой выборке, где она существенно превосходит те соотношения, которые известны нам по другим памятникам делового регистра. И в данном случае эту высокую пропорцию следует объяснять престижным статусом анализируемого текста. В

самом деле, никакой другой функциональной нагрузки формы на *-ти* не несут. Выбор варианта не обусловлен никакими лексическими, семантическими или стилистическими параметрами, так что вариативность форм инфинитива на *-ти/-ть* правомерно определять как свободную. Вот один из красноречивых примеров, которые могут быть приведены во множестве: «И *выбирати* в губные старосты, которые грамоте умеют, а кто грамоте не умеет, и тех в губные старосты не *выбирать*» (XX, 72 — л. 282). Естественно, что при такой вариативности нередко случаи, когда разные формы инфинитива употребляются в качестве однородных членов, ср.: «и того, на кого тот извет будет, *сыскати* и *поставить* с ызветчиком с очей на очи» (л. 69 об.), «тем же судом *судить* и росправа *делати* по государеву указу въправду, а своим вымыслом в судных делех по дружбе и по недружбе ничего не *прибавливати* ни *убавливати*, и ни в чем другу не *дружить*, а недругу не *мьстити*, и никому ни в чем ни для чего не *норовить*, *делати* всякие государевы дела не стыдяся лица сильных, и *избавляти* обидящаго от руки неправеднаго» (л. 93—93 об.), «да тех оговорных людей съ языки с очей на очи *ставити* и *роспрашивати*» (л. 304), «и с ними с очей на очи *ставити* и *роспрашивати*» (л. 307), «а которые люди учнут к кому *приходить* и *бити* челом в холопство» (л. 264) и т. д.

Отмеченная Черныхом неравномерность в соотношении форм инфинитива на *-ти* и на *-ть* в разных частях Уложения (в выборке из начальной части пропорция форм на *-ти* близка к 50 %, в выборке из последней части она составляет немногим более четверти) не мотивирована никакими содержательными факторами, например, предметом изложения или изменением в статусе высказывания (как мы наблюдали это в деле Науменка), но представляет собой чистую флюктуацию узуса, колеблющегося в допустимых пределах; это явление того же самого типа, который известен нам из перевода Оснабрюкенского договора в Вестях-курантах²⁴.

²⁴ Можно было бы предположить, что распределение форм инфинитива в Уложении обусловлено тем, что в первых главах трактуются более «высокие» материи, чем в последующих. Действительно, в первой главе речь идет о преступлениях против веры, во второй — «о государьской чести», в третьей — «о государеве дворе», тогда как в последних — «о холопех», «о розбойных и о татинных делех», «о корчмах» и т. д. При детальном рассмотрении, однако, никакой корреляции между тематикой и соотношением инфинитивных форм не устанавливается. Скажем, в главе «о государьской чести» пропорция инфинитивов на *-ти* ниже, чем в главе «о службе всяких ратных людей» (глава VII). Единственное место в Уложении, где проявляется подобная корреляция, это статья XIV, 10, в которой в пассаже о крестном целовании излагается церковное учение и цитируется Кормчая; в этом пассаже употребляются исключительно формы на *-ти*, ср.: *поцеловати*, *пуцати*, *приходити*, *пети*, *выслати*, *урезати*, *ясти*, *поучати*, *наказовати*, *покланятися* (лл. 186—187). В этом пассаже, однако, появляется ряд книжных форм, не известных остальному тексту Уложения (аорист *бысть*, причастия *целуяи*, *сходяяи*), так что формы на *-ти* могут трактоваться как феномен регистровой гармонии. Показательно, что рамкой для этого пассажа служит текст, в котором указывается на цитатный материал данной статьи, тогда как в самом рамочном тексте употребляются формы на *-ть*: «Да и в выписях к крестному целованью сию статью ис правил святых апостол и святых отец по всем судным делам *писать*, и *велеть* тое статью у крестного целованья подъячим *вычитати* истцам и ответчиком при многих людех вслух» (л. 187 об.).

Как можно заметить по приведенным данным, употребление форм инфинитива от возвратных глаголов заметно консервативнее, чем то, которое наблюдается у невозвратных глаголов. Если пропорция форм на *-ти* колеблется между половиной и четвертью, то пропорция форм на *-тися* в обеих выборках составляет не менее трех четвертей. Как и в случае форм на *-ти*, вариативность никак не мотивирована, ср., например: *дослуживатися* (л. 69), *ставитися* (л. 77 [bis], 77 об.), *чинитися* (л. 89 об., 117), *миритися* (л. 117 об., 303), *винитися* (л. 124 [ter]), *дра-тися* (л. 319), *отпиратися* (л. 268 об. [bis]), *слатися* (л. 270 [bis], 288 об., 291 об., 292); а с другой стороны: *дружитца* (л. 67 об.), *ссылатца* (л. 67 об.), *ставитця* (л. 83 об.), *пролыгатца* (л. 87 об.), *бранитця* (л. 111 об.), *похвалятца* (л. 122 об.), *отпиратца* (л. 269 [bis]), *винитца* (л. 272), *кормитца* (л. 272 об.), *иматца* (л. 280), *иматься* (л. 332 об.). Такое употребление не характерно для делового регистра (но обычно для регистра гибридного). Не ясно, является ли оно следствием особого статуса Уложения в ряду деловых текстов или результатом обработки первоначального текста типографскими справщиками, для которых формы на *-тися* были привычными (см. ниже). Стоит заметить, что новая форма инфинитива данного типа обычно записывается с *-тца*, что характерно прежде всего для приказной традиции.

Прочие формы инфинитива не представляют особого интереса. Наши данные не подтверждают вывода Черныха о том, что среди форм инфинитива на *-чи/-чь* «явно преобладают» формы на *-чи*. В наших выборках всего пять форм на *-чи*: *отсечи* (л. 112 об.), *беречи* (л. 282, 293 об., 333, 337 об.), тогда как формы на *-чь* встретились 13 раз: *зжечь* (л. 66, 68, 327 об.), *отсечь* (л. 72 [bis], 72 об., 83 об., 96, 324 об.), *жечь* (л. 81 об.), *стеречь* (л. 125), *беречь* (л. 304, 337 об.). Выбор варианта не мотивирован и никак не коррелирует с выбором варианта в парах на *-ти/-ть* (в первой выборке, где больше форм на *-ти*, меньше форм на *-чи*; во второй выборке обратное соотношение). Примечательно, что не встречаются формы на *-щи*, что явно противопоставляет Уложение книжным текстам и определяет показатель *-щи* как маркированно книжный вариант (в отличие от *-ти*).

Инфинитивы на *-сти* чаще встречаются в форме с неотпавшей гласной, причем выбор варианта по видимости не зависит от места ударения. При безударном показателе на 6 форм с гласной в показателе приходится в нашей выборке 2 формы с отпавшей гласной (одна четверть новых): *крассти* (л. 73, 295 об., 304 об.), *класти* (л. 301 об., 313, 330 об.), однако: *класьть* (л. 107), *вычьсть* (л. 125 об.). Для инфинитивов с исходным ударением на показателе соотношение старых и инновативных форм отличается лишь незначительно — 14 к 3 (более одной шестой новых): *привести* (л. 83, 125, 126 об., 127, 271, 286 об., 319 об.), *свести* (л. 91 об.), *принести* (л. 118 об. [bis]), *отвести* (л. 318 об.), *отнести* (л. 318 об.), *вести* (л. 318 об.), *увести* (л. 326); при этом: *взньсть* (л. 94 об.), *привьсть* (л. 115, 319). Как и в других случаях, выбор варианта не мотивирован.

Для понимания того, какую роль играет в Уложении вариативность форм инфинитива, существенно иметь в виду, что по этому параметру проанализированное выше второе издание отличается как от оригинала, так и от первого издания. Текстологическая история Уложения достаточно сложна. Первое издание было напечатано с рукописной книги (ныне утраченной), которая в свою очередь являлась копией свитка, до нас дошедшего (см.: Уложение 1987, 10—13). Языковые

расхождения между свитком и первым изданием многочисленны и отражают вполне сознательную нормализацию языка, включающую, в частности, замену инфинитива на *-ть* инфинитивом на *-ти*, *-во* в окончаниях местоимений род. ед. м. и ср. рода на *-го*, *-ьел/-ие* в окончаниях прилагательных род. ед. ж. рода на *-ья/-ия* (см. § IV.1.3), существительных на *-е* существительными на *-ие*, восстановление нормативного различия *e* и *ѣ* в безударном положении и т. д. (Черных 1953, 132). П. Я. Черных полагал, что эта правка «находится в связи с деятельностью Московского печатного двора в сороковые годы XVII в., с деятельностью (...) справщиков — Ивана Наседки, Михаила Рагозы и других, работавших над Уложением в процессе его печатания» (там же, 133—134). Такую правку естественно трактовать как наложение на приказной узус языковых навыков профессионалов-книжников. Поскольку печатное Уложение было одной из первых двух книг на некнижном языке, напечатанных в Москве, подготовка этого текста к печати не могла не быть для справщиков Печатного двора новым и непривычным занятием. Справщики (Иван Наседка, Михаил Рогов — см.: Николаевский 1890—1891) обладали навыками исправления церковных книг, но к тексту на некнижном языке подобные навыки были приложимы лишь с существенными ограничениями, так что результат должен был оказаться непростым компромиссом.

Второе издание Уложения обнаруживает в своей орфографии куда больше сходств со свитком, чем первое. П. Я. Черных предполагал даже, что «текст нового кодекса был архаизован без ведома и без согласования с редакционной комиссией князя Н. И. Одоевского, что, по всей видимости, вызвало протест председателя комиссии. Протест этот был учтен при переиздании Уложенной книги в ноябре 1649 г.» (Черных 1953, 134). Второе издание, по мнению П. Я. Черных, «могло быть перепечатано с рукописи или (хотя и с «первого» издания) с исправлениями по рукописи, впрочем, не особенно последовательно осуществленными» (там же). Тем не менее в первом и втором изданиях много общих чтений, отличных от чтений свитка. Отсюда следует, что справщики, готовившие второе издание, не просто вернулись к первоначальному (неправленному) тексту, а с определенным (нужно думать, сознательным) выбором восстанавливали, хотя и непоследовательно, написания, противопоставленные норме книжного языка. Эту правку можно интерпретировать как повторные поиски оптимального компромисса, учитывающего несколько моментов.

С одной стороны, Уложение сознательно создавалось как текст на некнижном языке; на это указывает тот факт, что отдельные статьи, заимствованные из церковнославянских юридических памятников, при их включении в Уложение переводились на русский (см.: Живов 1988, 67—68, 104; Живов 2002, 241—242). Уложение выступало как законное развитие московской юридической традиции, традиции Судебников, написанных на некнижном языке: преемственность в отношении к династии Ивана Грозного была существенным компонентом утверждения легитимности Романовых. С другой стороны, Уложение было инновацией, утверждавшей претензии московского государя на роль законодателя по образцу византийских императоров (см.: Живов 2002, 239—240). В этом плане особенно важным было издание Уложения в виде книги, что придавало ему почти религиозную значимость. Для того чтобы Уложение вписалось в эту парадигму, его язык должен был отличаться от языка обычной приказной продукции.

Формы на *-ти* были, как мы уже знаем, одним из возможных маркеров особого статуса текста. Понятно поэтому, что они достаточно интенсивно использовались в Уложении. Проблема была только в том, чтобы соблюсти меру. Какова должна была быть эта мера, никто не знал, и именно разными оценками этой меры обусловлены, на мой взгляд, отличия рукописного варианта Уложения от его первого издания, а первого издания от второго.

Вопрос этот нуждается в дополнительном исследовании, однако Черных приводит данные, позволяющие составить общую картину. Сравнивая рукописный свиток (только его начальную часть) с первым изданием Уложения, Черных пришел к выводу, что «при печатании Уложенной книги в первом “заводе” издателя поставили себе задачей по возможности устранить все случаи имеющихся в свитке написаний слов в духе “простонародного” произношения, приблизив их к традиционным написаниям» (Черных 1953, 132). Вряд ли речь шла о «всех случаях» и изменения вносились последовательно, однако в них просматривается четкая тенденция к наращиванию пропорции элементов, не характерных для делового узуса. К числу таких замен относится едва ли не в первую очередь подстановка форм инфинитива на *-ти* вместо форм на *-ть*. Приведу примеры, содержащиеся в исследовании Черных (там же, 131—132): «и ево... казнити: и его казнити, 66; а будеть хто, учнеть говорить: а будеть кто... учнеть говорити, 66 об.; за ту ево вину учинить: за ту его вину учинити, 66 об.; самого казнити: самого казнити, 66 об.; ему учинить (торговая казнь): ему учинити, 66 об.; и вкинуть в тюрьму: и вкинути в тюрьму, 66 об.; бить батоги: бити батоги, 66; наказанья им не чинить: наказания имь не чинити, 68; и ихъ смертью не казнити... и животовъ у нихъ не отымать: и ихъ смертью не казнити... и животовъ у нихъ не отымати, 69; а хто на каво учнетъ извещать: а кто на кого учнетъ извещати, 69; не приходит и никого не грабить: не приходити и никого не грабити, 70 об.».

Не следует думать, что в первом издании не осталось форм на *-ть* или что в рукописном свитке не было форм на *-ти*; изменена была именно пропорция. Высокая пропорция форм на *-ти* как раз и свидетельствовала о необычном статусе текста. Эта пропорция явно намного превосходила обычную для делового регистра, даже для текстов, выделяющихся своим статусом (таких как Вести-куранты). Кажется правдоподобным, что по мнению отвечавших за издание чиновников справщики существенно превосходили нужную меру, слишком сильно удалившись от делового узуса. У нас, правда, нет данных о прямом протесте главы редакционной комиссии кн. Н. И. Одоевского (гипотеза Черных не подкрепляется никакими свидетельствами), однако какое-то распоряжение должно было последовать, поскольку второе тиснение сопровождалось (как показывает сопоставление изданий) достаточно интенсивной языковой правкой. В частности, как отмечал П. Я. Черных, при подготовке второго издания Уложения проводилась «замена полной формы инфинитива на *ти* (при условии, если глагольная основа инфинитива оканчивается на гласный звук и если ударение падает на основу) усеченной формой на *ть* (...)» (там же, 129)²⁵.

²⁵ Черных приводит обширный, хотя отнюдь не исчерпывающий (а поэтому не позволяющий точно установить, как изменилась пропорция старых и новых форм) список про-

Именно в результате этой правки пропорция старых форм инфинитива достигла того уровня, который мы наблюдаем во втором издании. Не стоит, конечно, думать, что данная мера была установлена как сознательно избранная цель, скорее речь должна идти об интуитивных поисках меры, реализовавшихся в достаточно непоследовательной правке. В этом плане весьма характерны редкие, но все же имеющиеся замены форм на *-ть* формами на *-ти*. Как отмечает Черных, «[с]лучаи обратной замены *ть* на *ти* (никогда *тся*, *тца*, *тиса*) хотя и встречаются, но совершенно единичны: и ихъ бити, 108 об.: бити; битъ кнудомъ, 180 об.: бити; сажать, 108 об.: сажати; жить, 133: жити» (там же, 130). Тем не менее само собой складывается впечатление, что достигнутый уровень не был вполне случайным. Как показывают проведенные выше подсчеты, он располагался в пределах, определенных двумя моментами. Во-первых, он заметно превышал тот, который был обычен для делового регистра (включая и наиболее значимые тексты), и тем самым указывал на исключительный статус Уложения как памятника имперского законодательства. Во-вторых, он оставлял формам на *-ть* доминирующее положение, демонстрируя благодаря этому включенность Уложения в традиции московского юридического обихода²⁶.

С определенной осторожностью можно предположить, что именно в результате разнонаправленной правки возникает и та высокая пропорция старых форм у инфинитивов от возвратных глаголов, которая не характерна для делового ре-

изведенных замен: «збирати, 1 об.: збирать; не стреляти, 2 об.: не стрелять; пустошити, 5: пустошить; имати, 6: имать; откальвати, 6 об.: откальвать; правити, 14: править; не писати, 20 об.: не писать; отпустити, 46: отпустить; не имати, 58: не имать; казнити (трижды), 68: казнить; не чинити, 68 об.: не чинить; посадити (трижды), 71 об.: посадить; сыскати, 71 об.: сыскать; доправити, 71 об.: доправить; взяти, 71 об.: взять; ѣхати, 75: ѣхать; не ѣздити, 75: не ѣздить; извѣщати, 75: извѣщать; велѣти, 76 об.: велѣть; приѣхати, 76 об.: приѣхать; взяти, 80: взять; доправити, 96 об.: доправить; учинити, 96 об.: учинить; бити, 96 об.: бить; оставити, 96 об.: оставить; не быти, 96 об.: не быть; ходити, 97: ходить; здѣлати, 97: здѣлать; бити челомъ, 97: бить; подавати, 98: подавать; описывати, 98: описывать; не подавати, 98: не подавать; чинити, 98: чинить; дѣлати, 98: дѣлать; приносити, 98: приносить; не приимати (дважды), 98 об.: не принимать; вершити, 98 об.: вершить; быти, 98 об.: быть; не прибавляти и не убавляти, 98 об.: не прибавлять... не убавлять; допрашивати, 98 об.: допрашивать; положити, 99: положить; не откладывати, 99: не откладывать; посылати, 99: посылать; велѣти, 99: велѣть; сыскивати, 99: сыскивать; присылати, 99: присылать; не судити, 100: не судить; не дѣлати, 100: не дѣлать; чинити (дважды), 102: чинить; бити челомъ, 102: бить; учинити, 102: учинить; правити, 107 об.: править; на одной 111-й странице встречается 10 таких случаев: бити челомъ (дважды), 111 об.: бить; судити, 111 об.: судить; не ставити, 111 об.: не ставить; винити, 111 об.: винить; поставити, 111 об.: поставить; искати и отвѣчати, 111 об.: искать, отвечать; не говорити, 111 об.: не говорить; не бранитися, 111 об.: не бранится; посадити, 111 об.: посадить; см. также примеры на стр. 113 (7 случаев), 113 об. (7 случаев), 114, 115, 116, 118, 124 об., 129/129 об., 130, 131, 131 об., 132, 133, 133 об., 134, 134 об., 136 об., 137, 137 об., 138 об., 139, 139 об., 140, 140 об., 142, 143 и т. д. до конца книги» (Черных 1953, 129—130).

²⁶ Можно с уверенностью сказать, что правка, осуществленная для второго издания, не состояла просто в (непоследовательно проведенном) восстановлении написаний рукописного оригинала. Об этом, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что такие безотносительные к регистровой дифференциации черты, как, например, смешение *e* и *ѣ* в безударном положении, во втором издании не восстанавливаются.

гистра, и заметный и тоже нетипичный разнобой в их написании. Естественно думать, что в рукописном оригинале формы на *-тися* были редкостью, тогда как в основном употреблялись формы на *-тца*, как это и обычно для делового регистра. Для справщиков Печатного двора, привычных к книжному языку, формы на *-тца* были, как мы знаем, особенно одиозны, так что именно им, видимо, мы обязаны появлением форм на *-тися*; понятно, что, как и в других случаях, правка не была проведена последовательно и некоторое число форм на *-тца* сохранилось. При подготовке второго издания правке подверглись как раз формы на *-тися* как нехарактерные для приказной традиции. Эти случаи отмечены в монографии Черныха: «Особый интерес представляют такие (в общем, однако, немногочисленные) случаи замены полной формы инфинитива на *тися* усеченной формой, как: ставитися, 84: ставится; не бранитися, 111 об.: не бранится; слатися, 140 об.: слатся; винитися, 272: винитца» (там же, 132). В результате этой правки появляются не подходящие ни к какой традиции формы на *-тця*. Именно в результате подобных проб и ошибок создается специфический лингвистический облик Уложения, памятника, несомненно принадлежащего деловому регистру, но обнаруживающего тем не менее многие нехарактерные для этого регистра черты.

Нельзя, однако же, сказать, что Уложение абсолютно уникально в своем употреблении инфинитивных форм. Как мы знаем, появляющиеся отклонения от типичного узуса входят в читательский опыт следующего поколения пишущих и могут быть для него прецедентом, теряя тем самым свой атрибут нетипичности. Кажется, что именно такова предыстория узуса Г. Котошихина в его сочинении о России в царствование Алексея Михайловича. Нужно иметь в виду, что перед Котошихиным стояла достаточно необычная задача (коммуникативное задание) — дать систематическое описание московской административной системы, используя в качестве языка описания деловой регистр. Другими письменными идиомами Котошихин, по-видимому, не владел (или владел в недостаточной степени), да они и были не слишком пригодны для рассказа о деловом обиходе Московского царства.

Тем не менее и для делового регистра, приспособленного прежде всего к употреблению в юридическом документе, риторика методичного описания была достаточно чуждой, так что в лингвистическом отношении труд Котошихина несомненно был экспериментом. Особенности трудностями представляла в этом плане первая глава, в которой Котошихин описывает историю формирования московского самодержавия и обычаи, принятые при московском дворе. Здесь деловой регистр был явно недостаточен, и Котошихин был вынужден прибегать к иноязычной языковой традиции (традиции гибридного регистра) и находить компромисс между приказным языком как своим основным идиомом и гибридным регистром с его принятыми формами изложения исторических обстоятельств. Это обуславливало интенсивную интерференцию форм и конструкций, характерных для разных регистров, в первой главе памятника.

С последующими главами, в которых речь шла о различных аспектах функционирования московской административной системы, дело обстояло проще, поскольку их тематика в целом совпадала с той, которая трактовалась в юридических документах. Однако и в этом случае предприятие Котошихина оставалось необычным и амбициозным. Создаваемый текст не имел прямых прецедентов в

московской письменности, и это обеспечивало ему особый статус. Нетрудно представить себе, что в поисках средств, в которых такой статус мог бы манифестироваться, Котошихин — сознательно или бессознательно — обращался к Уложению, которое несомненно было ему хорошо (профессиональным образом) известно. Уложение также было текстом с уникальным статусом, и для московского невозвращенца имперская аура этого законодательного свода могла не закрывать пути к воспроизведению его специфических языковых особенностей — именно в силу того, что стоявшая перед Котошихиным задача не была обеспечена никакой традицией.

Представляется, что этими обстоятельствами и определялся характер употребления инфинитивных форм в сочинении Котошихина. Детальное исследование языка Котошихина было сделано А. Пеннингтон (Пеннингтон 1980); в нем содержатся и полные статистические данные о формах инфинитива. Переаранжировав эти данные в соответствии с принятой в настоящем исследовании схемой, можно представить их в следующем виде:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	'сти/-сть	всего
старые	501	49	1	9	7	567
новые	433	25	4	6	15	483
% новых	46,36 %	33,78 %	80 %	40 %	68,18 %	46 %

Как можно видеть, Котошихин идет еще дальше, чем Уложение, в своем употреблении форм на *-ти*. Как и в Уложении и других текстах делового регистра, выбор формы инфинитива не мотивирован ни лексически, ни семантически, ни стилистически. Как отмечает А. Пеннингтон, «[t]he shortened form, although newer, apparently had no colloquial overtones; Kotošixin uses it some 51 times in the first chapter» (Пеннингтон 1980, 282); как уже говорилось, первая глава написана в несколько ином ключе, чем другие части текста, и изобилует специфически книжными формами, приобретающими в ней определенную функциональную (стилистическую) значимость. Выбор форм инфинитива к этому феномену отношения не имеет, их вариативность возникает не в силу интерференции с книжными регистрами, а в силу преемственности с деловыми текстами типа Уложения или «Учения и хитрости ратного строения». Следование данному образцу объясняет, надо думать, и высокую пропорцию старых форм у инфинитивов от возвратных глаголов, в целом не характерную для делового регистра. И эта пропорция у Котошихина еще выше, чем в Уложении. Что касается прочих форм инфинитива, то в их распределении ничего примечательного не наблюдается. Инфинитив на *-чи/-чь* представлен 4 новыми формами (в трех случаях *счь*, в одном *отсчь*) и одной старой (*постричися*) (Пеннингтон 1980, 283). У инфинитивов на *-сти/-сть* пропорция старых и новых форм обнаруживает слабую корреляцию с местом ударения. При ударении на основе новые формы преобладают, старые формы обнаруживаются лишь у одного глагола (*всти*, 7 употреблений) и могут рассматриваться как лексически мотивированные (хотя в 9 случаях встречаем форму *всть*) (там же). При историческом ударении на показателе инфинитива преобладают старые формы; Пеннингтон отмечает, что лишь старые формы образуются от бесприставочных глаголов (*нести*, *вести*), однако количество

примеров этого типа (всего три) не позволяет трактовать это как реальную закономерность.

Завершая обзор употребления инфинитива в различных регистрах письменного языка XVII в., можно суммировать полученные данные и попробовать определить, какие факторы формировали соотношение вариантов в разных регистрах. В стандартных церковнославянских текстах последовательно употребляются старые формы с неотпавшим гласным, это в равной степени относится ко всем типам инфинитива. Такое употребление обусловлено ориентацией на образцовые тексты Св. Писания и богослужения и легкостью, с которой в данном случае им можно было следовать. Для этого было достаточно простейших правил, предписывавших написание гласной в показателях легко определяемых грамматических форм. Для применения этих правил нужен был вполне элементарный синтаксический анализ, не затрагивавший ни семантики глагольных форм, ни преобразований их плана выражения (например, выбора правильного варианта при чередовании, как в формах имперфекта от глаголов *i*-спряжения). Единственная сложность, с которой могли столкнуться русские книжники, состояла в различении форм инфинитива и супина (их смешение характерно уже для самых ранних восточнославянских памятников), однако в XVII в. эта проблема не была актуальна, поскольку супин давно перестал осознаваться как особая глагольная форма (например, он никак не упомянут в грамматике Мелетия Смотрицкого), исчез из образцовых церковнославянских текстов и в книжной письменности мог появиться (при копировании) лишь в виде неопознанного писцом реликта.

В памятниках гибридного регистра новые формы инфинитива встречаются повсеместно, хотя пропорция форм на *-ть* лишь в исключительных случаях превышает одну четверть. Еще более ограничено употребление новых форм инфинитива от возвратных глаголов. Особая консервативность форм на *-тися* сравнительно с формами на *-ться* может рассматриваться как специфическая примета гибридного регистра. Причина этой консервативности состоит, видимо, в стремлении избежать омонимии с формами презенса (об этом факторе мы еще скажем ниже) и в отталкивании от некнижного произношения и написания новых форм с *-тца*. Существенно, что в абсолютном большинстве памятников гибридного регистра выбор вариантной формы инфинитива не несет никакой функциональной или стилистической нагрузки, в обычном случае он никак не мотивирован и не связан сколько-нибудь заметно со статусом текста. Исключения (такие как житие пророка Аввакума) немногочисленны и обусловлены специфическими индивидуальными риторическими стратегиями авторов. Слабые элементы регистровой гармонии, захватывающей формы инфинитива, могут быть приписаны отдельным текстам (или их совокупностям), однако они явно занимают периферийную позицию по сравнению с господствующей свободной вариативностью²⁷.

²⁷ Так, исследование языка летописных источников, посвященных стрелецкому бунту 1682 г., показывает, что распределение инфинитивов на *-ть* и на *-ти* неравномерно в текстах разного типа: в наименее окниженных текстах (в текстах, где простые претериты употребляются лишь окказионально) в основном встречается форма на *-ть*, а форма на *-ти* появляется редко; в наиболее окниженных текстах, напротив, в редких случаях употребляются формы на *-ть*, причем обычно они сочетаются с глаголами в *л*-форме. Та-

Совсем иная картина наблюдается в бытовом и деловом регистрах. Бытовая письменность устроена в определенном смысле так же, как и стандартные церковнославянские тексты, только лишь в зеркальном отражении. Старые формы инфинитива в ней практически не встречаются (кроме инфинитивов на *-сти* с ударением на показателе инфинитива). Единичные исключения частично мотивированы употреблением соответствующих форм в составе эпистолярных формул. Эта мотивировка носит факультативный характер, поскольку те же формулы неоднократно встречаются с новыми формами инфинитива. Понятно, что в условиях последовательного выбора одного из вариантов избранный вариант лишен какой-либо функциональной или стилистической нагрузки.

Функциональная нагрузка появляется у старых форм инфинитива в деловых текстах. Пропорция старых форм инфинитива оказывается в них переменной величиной с размахом колебаний от нуля до значений, переваливающих за 50 % (как в сочинении Котошихина). Эти колебания находятся во вполне наглядной корреляции с социокультурным статусом текста: чем на более высокий статус претендует текст (чем большей публичностью он обладает), тем больше в нем старых форм инфинитива. Если в повседневной деловой письменности (челобитных, купчих, данных и т. п.) старые формы инфинитива практически не встречаются, то в менее ординарной приказной продукции, прямо адресованной царю и боярам, старые формы получают хотя и далеко не доминирующее, но все же вполне заметное место. Их роль повышается еще больше, когда степень публичности достигает максимума и тексты делового регистра издаются типографским способом. Понятно, что публикация в виде книги придавала тексту маркированный культурный статус. В этих условиях пропорции старых форм инфинитива усваивается достаточно выраженное функциональное задание. Поскольку старые формы инфинитива наделяются функцией индикаторов статуса текста, они могут реализовать эту функцию и в пределах одного текста для указания на разный статус его частей. Стоит отметить, что в целом в деловом регистре — в отличие от гибридного — формам инфинитива от возвратных глаголов не присуща существенно большая консервативность, чем формам инфинитива от невозвратных глаголов.

Какие именно факторы обуславливают подобное функционирование старых форм инфинитива в деловом регистре, остается не вполне ясным. Наиболее существенным, на наш взгляд, оказывается сама возможность выбора из двух вариантов форм, легкость этого выбора (в том смысле, что он не требует сложного грамматического анализа или морфонологических преобразований) и его нагляд-

кую ситуацию мы обнаруживаем, например, при сопоставлении Записок о стрельцком бунте, входящих в состав Мазуринского летописца, с описанием тех же самых событий в Повести о Московском восстании 1682 г. в составе Летописца 1619—1691 гг. Элементы появляющейся при этом регистровой гармонии могут быть проиллюстрированы следующими примерами из Хронографа III редакции (РГБ, ф. 310, № 726): «Никита проклятый суздалец... <с> сообщники своими <...> *хотяще быти* в народе законоучители...» (л. 851 об.); «И указали великие государи... ему клятвопреступнику Никите с единомышленники *быть* в грановитой полате» (л. 852 об.). Формы на *-ти* сочетаются с книжными глагольными формами (не слишком последовательно, поскольку в текстах этого типа они выступают как немаркированные), а формы на *-ть* — с нейтральными глагольными формами (см.: Солуянова 1989).

ность — благодаря большой частоте инфинитивных форм (в отличие, например, от форм 2 лица презенса), соотношение старых и новых форм инфинитива оказывается бросающейся в глаза характеристикой текста (воспринимается носителями языка как его характерная черта). Формы инфинитива — это удобный и легко манипулируемый инструмент; нет ничего удивительного в том, что им достаточно активно пользуются.

Определенную роль могло играть и стремление к устранению омонимии, свойственной новым формам инфинитива, но не свойственной старым. Такое стремление, специфичное для письменного языка, представляет собою один из аспектов нормализации. Оно (как и вообще нормализация) естественно сообразуется с отношением пишущего к создаваемому им тексту: чем важнее текст, тем тщательнее работа, тем большую значимость получают приемы написания, устраняющие омонимию. Анализируя сочинение Котошихина, А. Пеннингтон сделала следующее наблюдение: «With most Class IV verbs [имеются в виду глаголы *i*-спряжения — В. Ж.] the shortened infinitive coincides orthographically with the form of a 3sg. or 3pl., when the final consonant is written as a superscript, e.g. *činit, slyšat*. Kotošixin, in fact, tends to avoid such spellings; infinitive forms with superscript *-t* are found in only 30 of the 352 possible examples (excluding reflexives), that is, in about 8,5 per cent of the instances. With verbs of other classes, where no ambiguity is possible, the superscript spelling is found in some 105 out of a total of 630 possible examples (excluding reflexives), that is in about 16,5 per cent instances» (Пеннингтон 1980, 282). Понятно, что та же самая задача может быть решена и при помощи форм инфинитива на *-tu*, однако неясно, насколько этот фактор действительно стимулировал их употребление. Во всяком случае никакого ясно выраженного увеличения пропорции форм на *-tu* у глаголов *i*-спряжения в рассмотренных нами памятниках не наблюдается.

Несколько иная ситуация с возвратными глаголами. Как отмечено в том же исследовании А. Пеннингтон, «with reflexive verbs no hard or soft sign is ever written before the agglutinated reflexive pronoun²⁸; so the infinitive of Class IV verbs, if it is to be distinguished from the 3sg. or 3pl. present, must appear in the long form. And it is precisely with Class IV verbs that the long form predominates most noticeably: 29 have infinitive *-tisja/tis(ʹ)* and only seven have *-tsja/tca*, while with other verbs only fourteen have infinitive *-tisja/tis(ʹ)* and eighteen have the short *-tsja/tca*» (там же). Таким образом, в данном случае стремление к устранению омонимии стимулирует (хотя и в ограниченных пределах) употребление старых форм инфинитива от возвратных глаголов. Аналогичные, хотя и менее выразительные данные приносит анализ Уложения. Здесь у возвратных глаголов *i*-спряжения на 10 форм с *-тися* приходится всего 5 новых форм, тогда как у глаголов других классов это соотношение имеет вид 7 к 8. Видимо, именно стремление устранить омонимию приводит к тому, что в деловых текстах, имеющих высокий статус, нехарактерным для данного регистра образом оказываются широко представлены старые формы инфинитива от возвратных глаголов.

²⁸ В столь категоричной форме этот вывод верен лишь для сочинения Котошихина; в других текстах делового регистра подобные написания, хотя и очень редко, но все же встречаются, ср. приводившуюся выше форму *иматься* в Уложении 1649 г., л. 332 об.

Таким образом, данные текстов XVII в. указывают на достаточно сложную картину, в которой вариантыные формы инфинитива демонстрируют разные статистические параметры в разных регистрах письменного языка. В стандартном церковнославянском и бытовом регистрах вариативность сведена к минимуму, в первом случае нормативным вариантом оказываются старые формы инфинитива, во втором безраздельно господствуют новые. В гибридном регистре, как правило, преобладают старые формы, хотя новые формы занимают достаточно прочное положение; при разрыве жанровых традиций новые формы могут даже доминировать; практически нигде, однако, выбор варианта не несет функциональной нагрузки. Дополнительной характеристической чертой гибридного регистра является особая консервативность инфинитивов от возвратных глаголов. В деловом регистре, напротив, как правило, преобладают новые формы. Выбор варианта функционально значим, будучи соотнесен с социокультурным статусом текста. Инфинитивы от возвратных глаголов не обнаруживают особой консервативности, кроме как в текстах, отягощенных нормализационной установкой. Это разнообразие реализаций с необходимостью должно было давать и разнообразные восприятия варьирующихся форм инфинитива, характерные для разных групп грамотного населения. Эта неоднозначная ситуация достается в наследие следующей эпохе и служит почвой для реинтерпретации варьирующихся форм инфинитива в контексте языковой реформы петровского царствования.

2. Формы инфинитива в языковой практике Петровской эпохи

Языковая практика Петровской эпохи в плане употребления форм инфинитива не менее разнородна, чем языковая практика предшествующего периода. Однако эта разнородность приобретает качественно новый характер. Если ранее она упорядочивалась распределением вариантов по регистрам и определенными регулярностями в рамках каждого из регистров, то теперь эти принципы перестают действовать. Унаследованная из предшествующего узуса вариативность не соотносится больше с типом текста (с характером коммуникативного задания), но выступает как глобальное свойство полифункционального узуса, частные реализации которого зависят не от жанровой традиции (регистра), а от личных пристрастий пишущего, его читательского опыта, тех ориентиров, которые он выбирает для себя, сталкиваясь с непривычным коммуникативным заданием.

Понятно, что жанровые традиции не разрушаются в один день и вне текстов, так или иначе связанных с новой культурной политикой Петра, имеет место регистровая преемственность, однако старые по жанру тексты, оказавшись в новом вербальном пространстве, не могут не испытывать влияния новых в лингвистическом отношении сочинений и поэтому преемственность в них оказывается остаточной. Вполне очевидным образом преемственность осуществляется в церковнославянских богослужебных текстах, в употреблении инфинитива они вообще ничем не отличаются от богослужебных текстов предшествующей эпохи; стандартный церковнославянский регистр сохраняет здесь безраздельное господство и поэтому используются исключительно старые формы инфинитива.

Элементы сходной преемственности наблюдаются и в книжных текстах. Так, например, для бытового регистра XVII в. доминирующим вариантом являет-

ся форма на *-ть*. Это же характерно и для текстов начала XVIII в. Исследовавший эпистолярные памятники Петровской эпохи Л. Н. Макеев отмечает, что среди инфинитивов с ударением на основе 93 % употреблены в форме на *-ть*; инфинитивы с безударным *-ти* чаще всего употребляются в эпистолярных формулах; вариативность присутствует и в формах с *-ти* ударным, хотя соотношение вариантов здесь иное: формы на *-ти* составляют около 30 % от общего числа (Макеев 1972, 186—192).

Равным образом и узус «Ведомостей» петровского времени ближайшим образом напоминает ту конфигурацию вариантов, которую мы наблюдали в «Вестях-курантах». В «Ведомостях» также количественно преобладают инфинитивы на *-ть*, *-чь*, «однако наряду с ними имеются и старые формы на *-ти* (*-чи*), употребляющиеся (хотя и не редко) (...) без какого-либо стилистического назначения» (Кожина 1954, 16). Преобладают в этом памятнике и формы на *-сть*, хотя вариативность имеет здесь несколько иной характер: наряду с варьирующимися формами (типа *весть* — *вести*, *донесть* — *донести*) встречаются инфинитивы с основным ударением, реализующие лишь форму на *-сть* (*насть*, *сесть*, *прочесть*), и инфинитивы с конечным ударением, реализующие лишь форму на *-сти* (*обрести*, *изобрести*, *спасти*) (Гам же).

Сдвиг прежде всего прослеживается в текстах, непосредственно связанных с петровской культурной политикой. К таким текстам может быть отнесена, в частности, «Геометрія славенскі семлемѣріе» (Геометрия 1708), первое издание гражданского шрифта. Это издание представляло собой перевод книги Буркхарда фон Пюркенштейна, сделанный Яковом Брюсом по приказанию Петра I (Быкова и Гуревич 1955, 67; распоряжение царя см. в его письме Брюсу от 31 мая 1707 г.: ПиБ, V, 283). В письме Брюса Петру I от 6 июля 1707 г. говорится: «По приказу вашего величества книгу о употреблении циркуля и линейки уже тому с три недели как я оную перевел» (ПиБ, V, 680). В XVII в. такой текст скорее всего был бы переведен на книжный гибридный язык, однако Брюс переводит его на язык некнижный (точнее сказать, на тот язык, который в XVII в. рассматривался как некнижный). В этом языке отсутствуют специфически книжные формы и конструкции, которые маркировали бы его в качестве гибридного (такие, например, как формы простых претеритов). Насколько сознательным было данное решение, неясно; Брюс мог просто не владеть необходимыми письменными навыками. Однако этот момент не столь существен. Петр знал, кому он заказывал перевод, и был удовлетворен результатом (Петр собственноручно внес несколько исправлений в рукопись перевода, однако собственно языковых параметров они не затрагивали). Будучи опубликован, данный текст сделался частью образцовой словесности, и в этом плане он несомненно может быть охарактеризован как культурно-лингвистическая инновация, разрушавшая прежний фрагментированный по регистрам узус.

В распределении форм инфинитива инновативность памятника не проявляется бросающимся в глаза образом, поскольку в данной сфере памятники гибридного регистра и памятники деловой письменности могли быть достаточно сходны. Имено в виду такие гибридные тексты, как «Римские деяния», т. е. тексты с относительно высокой пропорцией инновативных форм, и вместе с тем такие деловые тексты, как Уложение 1649 г. или сочинение Котошихина, т. е. тексты с высокой для данного регистра пропорцией старых форм и выраженно большей

консервативностью инфинитивных образований от возвратных глаголов. Наследуя такое употребление, пишущий — сознательно или бессознательно — как бы оказывался преемником сразу двух письменных традиций; во всяком случае при подобной ситуации мы лишены возможности выяснить, какой именно из двух традиций он следовал. Именно эта ситуация и наблюдается в печатном издании «Геометрии» 1708 г. Статистические параметры распределения таковы:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	89	13	—	1	—	103
новые	84	2	—	—	—	86
% новых	48,55 %	13,33 %	—	0 %	—	45,50 %

История этой книги, несколько раз переизданной в первой четверти XVIII в., представляет для нас определенный интерес, поскольку в ней отчетливо отразился ряд свойств языкового сознания данной эпохи. Рукопись этой книги была прислана в Москву из «военного похода» в 1707 г. (Быкова и Гуревич 1955, 68) и замечательна тем, что содержит собственноручную правку Петра; эта правка, к сожалению, ограниченная в объеме, изменяет лишь некоторые не совсем удачные обороты переводчика и, как уже говорилось, практически не затрагивает морфологические параметры текста²⁹. Эта рукопись сохранилась в фонде Синодальной типографии в РГАДА (ф. 381, № 1006) под названием: «Приёмы цѣрквля і линейки ѿли избранныйшее начало в математическихъ искѣствахъ, имже возможно лѣхкимъ і новымъ способомъ вскорѣ достѣпнѣи землѣмѣриа ѿ инѣхъ ѿ онаго преисходѣщихъ ѿскѣствъ» (в дальнейшем А с указанием листа)³⁰. С этой рукописи было напечатано то издание 1708 г. (РГАДА, Библиотека Синодальной типографии, № 11015; в дальнейшем Б с указанием страницы), которое анализировалось выше; Федор Поликарпов (тогда еще справщик Московского печатного двора), наблюдавший за изданием этой книги, или наборщик, набиравший книгу, никакой последовательной морфологической правки не осуществлял, ограничиваясь лишь исправлением наиболее грубых орфографических ошибок (таких как смешение *ѣ* и *е*) и изменением графического облика текста в соответствии с составом первоначальной гражданской азбуки (о составе азбуки см.: Шицгал 1959; Живов 1986б)³¹. Окказиональные исправления морфологических элементов все

²⁹ В одном случае мы все же находим написанную рукою Петра форму инфинитива: *ра³делити* (л. 78 об.).

³⁰ Автографом Брюса эта рукопись не является, но кто именно был ее писцом, остается неизвестным. В уже цитированном письме Брюса Петру говорится: «[Т]окмо не имею такова писца, который бы с моего писма исправно написати мог, а которыя подьячие при мне, и те уже оную в третей раз переписывают, которую к вашему величеству с собою привезу» (ПиБ, V, 680). Неясно, вносил ли какие-либо изменения в переписываемый текст тот писец, которого Брюс в конце концов нашел и который приготовил рукопись, дошедшую до царя.

³¹ О характере внесенных при наборе исправлений позволяют судить следующие примеры:

А8	вѣщми	Б3	вещми
А8 об.	какѣе вѣщи	Б5	какѣя вѣщи
А13 об.	все вѣгѣры, обнѣтыя линиями	Б13	всѣ фѣгѣры обнѣтыя линѣами

же вносились, и именно их анализ позволяет хотя бы отчасти обнаружить, как реагировали на новую коммуникативную ситуацию книжники с традиционными письменными навыками (см. ниже). Стоит отметить, что в этом издании был изменен заголовок книги и опущено предисловие к ней.

С издания 1708 г. было сделано повторное издание 1709 г. При этом был изменен формат (издание 1708 г. в четверку, 1709 г. — в восьмерку) и восстановлено первоначальное название: «Приемы циркуля і лінейки ілі ісбраннѣшое начало во математическихъ искусствахъ, їмже возможно легкімъ і новымъ способомъ вскорѣ доступіті семлемѣрія, і иныхъ ѳисъ онаго проїсходящихъ искусствъ». Издание было стереотипным, изменения коснулись лишь частных моментов графического облика и были обусловлены очередными экспериментами Петра, испытывавшего разные варианты гражданской печати (в издании 1709 г. устранены ударения, литера *l* заменена на *i* и т. п.). Экземпляр этого издания (РГАДА, Библиотека Синодальной типографии, № 212 — в дальнейшем **В** с указанием страницы) послужил основой для следующего издания 1725 г. Он содержит незначительное число исправлений, которые были затем внесены в кавычный экземпляр издания 1725 г. Этот кавычный экземпляр (РГАДА, Библиотека Синодальной типографии, № 204 — в дальнейшем **Г** с указанием страницы), в котором отсутствуют гравюры, был еще раз исправлен, на ряде страниц (например, Г96) имеется запись «Смотрѣ^л Ѳедо^р Стефано^в», причем ряд исправлений имел лингвистический характер. С этого экземпляра и было набрано издание 1725 г., которое для нас специального интереса не представляет.

В подавляющем большинстве случаев формы инфинитива никакой правке не подвергаются, так что основные параметры вариативности инфинитивных форм остаются неизменными от рукописи к первому изданию и от первого издания к двум последующим. Все те, кто имел дело с рассматриваемой книгой, воспринимали вариативность форм инфинитива как черту, вполне естественную для текста данного типа (какую бы преэмптенность они ему при этом ни приписывали). Тем не менее в той окказиональной правке, которая все же была внесена, нетрудно разглядеть определенные тенденции. Они характеризуют отношение редакторов к тому идиому, который приличествовал текстам новой культуры.

Справщик (или справщики), готовивший к изданию рукопись Брюса, в ряде случаев заменял форму инфинитива на *-ть* формой инфинитива на *-ти*. Таких исправлений сделано всего 8 (см. таблицу):

А		Б	
9 об.	изобразить	7	исобразити
77 об.	написать	153	написати

(см. продолжение таблицы на с. 188)

A15 об.	паральѣльныя	B17	паралѣльныя
A16 об.	многогрѣнныя оигуры	B19	многогрѣнныя фигуры
A17 об.	радиусы	B21	радусы
A21	пѣлѣсами	B27	пѣлюсами
A42 об.	чре ³ оныя точки [вставлено Петром]	B73	чресъ ѳныя тѣчки

Число таких примеров может быть многократно умножено.

А		Б	
84	написать	167	написати
104	сыс'кать	211	сыскати
111	умалить	225	умалити
111	увеличить	225	увеличити
120 об.	начертить	247	начертити
121 об.	начертить	247	начертити

Соотношение старых и новых форм в тексте в целом существенно не меняется. Если в издании 1708 г. пропорция новых форм составляла 48,55 %, то в соответствующих частях рукописи она была лишь немногим больше — 53,18 %. Однако, сколь бы незначительным ни было изменение, оно говорит о том, что редактор представлял себе печатный (а не рукописный) текст как отдающий предпочтение более книжным или более престижным формам. Он мог при этом ориентироваться на ранее изданные некнижные тексты, а именно на Уложение 1649 г. и на «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» 1647 г., хотя такая ориентация и не кажется слишком вероятной (книги были изданы давно и прецедент вряд ли оставался актуален). Более правдоподобной видится ориентация на гибридную письменную традицию. Именно на такую ориентацию указывают и изменения в формах инфинитива от возвратных глаголов, относительно довольно многочисленные (см. таблицу):

А		Б	
9 об.	изобразить	7	исобразити
77 об.	написать	153	написати
8 об.	начертиться	5	начертитися
19 об.	клясться	25	клястися
80	обрътаться	157	обрѣтатися
81	ѡставится	159	уоставитися
84	начертится	167	начертитися
109	содержатся	221	содержатися
109 об.	содержатись	221	содержатися
115	увеличится	233	увеличитися
115	умалиться	233	умалитися

Исправления в возвратных глаголах существенно меняют соотношение старых и новых форм в инфинитивах данного типа. Если в издании 1708 г. пропорция новых форм в этой категории инфинитивов составляет 13,33 %, то в соответствующих частях рукописи она была равна 46,67 %. Вполне очевидно, что для Брюса инфинитивы от возвратных глаголов не были особой категорией, старые и новые формы варьируют у него здесь так же, как они варьируют у глаголов невозвратных. Как мы знаем, такое безразличие характерно для некнижных регистров (ср. выше данные Вестей-курантов), но аномально для гибридных текстов. Напротив, соотношение, которое мы наблюдаем в издании 1708 г., после произведенной на Московском печатном дворе справки, укладывается в параметры, присущие гибридным текстам, но не свойственные текстам бытового и делового регистров. Можно полагать, что справщики Печатного двора, обладавшие тради-

ционными навыками книжного письма, представляли себе конструируемый ими новый идиом несколько иначе, чем дилетант Брюс. Они были готовы принять общие установки Петра и строить «простой» язык, не использующий специфически книжных элементов (признаков книжности — таких, как простые претериты). Тем не менее, принимая эту реформу, они могли сохранять те письменные навыки, которые ей не противоречили, избегая, в частности, новых форм инфинитива от возвратных глаголов, которые они, видимо, рассматривали как потенциально омонимичные и непригодные для обработанного языка³².

Изменения при последующей справе (при подготовке издания 1725 г.) указывают на аналогичный подход. В предисловии, набиравшемся с рукописи, поскольку оно не вошло в издания 1708 и 1709 гг., мы обнаруживаем те же исправления инфинитивных форм от возвратных глаголов при переходе от рукописи к печатному тексту, что и в справе при подготовке издания 1708 г. (см. таблицу):

А		Г	
5	наѣчатся	9	научатіся
6	Избавитись	11	избавітіся

Что же касается той части, которая воспроизводила издание 1709 г., то здесь исправления были единичными и разнородными, практически не менявшими статистических параметров исходного текста (см. таблицу):

А		Б		Г	
19 об.	измѣрятись	25	изѣмѣрятись	39	изѣ-мѣрятіся
32 об.	достати	53	достаті	66	достать
34 об.	достати	57	достаті	70	достать
34 об.	начертити	57	начертиті	70	начертїть
75 об.	раздѣлить	149	раздѣлїть	154	раздѣлїті ³³

Первое из приведенных исправлений как бы продолжало ту унификацию форм инфинитива от возвратных глаголов, которая проводилась при подготовке издания 1708 г. В трех следующих случаях форма на *-ти* заменяется формой на *-ть*, направление замены противоположно тому, которое было свойственно редакции 1708 г. Возможно, мы имеем здесь дело со случайным и ничего не значащим фактом. Возможно, однако, что справщик, работавший в конце Петровской эпохи, ориентировался на те достаточно многочисленные тексты гражданской печати, которые появились после 1708 г. (такие как «Юности честное

³² Те два случая, в которых новые формы инфинитива от возвратных глаголов переходят из рукописи в издание 1708 г. (А36 об. *возвысится*, Б61 *возвытися*; А41 об. *раздѣлится*, Б71 *раздѣлится*), могут быть, видимо, объяснены недосмотром. Как показывают приведенные выше данные, справщики стремились унифицировать формы инфинитива от возвратных глаголов и в другом отношении, заменяя формы на *-тись* формами на *-тися*. И здесь, впрочем, полная последовательность отсутствовала, ср.: А19 об. *измѣрятись*, Б25 *изѣмѣрятись*; А108 об. *содержатись*, Б219 *содержатись*.

³³ Данное исправление сделано еще в экземпляре В и оттуда переходит в экземпляр Г. Оно может быть спровоцировано тем обстоятельством, что исправленная форма стоит после формы *начертити*, находящейся с ней в однородной связи. Вторая форма инфинитива могла быть приведена в соответствие с первой.

зерцало» или «Библиотека» Аполлодора). В большинстве этих изданий пропорция новых форм инфинитива была выше, чем в «Геометрии» 1708 г., и редактор издания 1725 г. мог стремиться приблизить переиздаваемый текст к господствующей традиции.

Последнее из приведенных исправлений состоит в замене формы на *-ть* формой на *-ти*, т. е. данная замена противоположна предыдущим. Хотя ее можно объяснить специфическими особенностями контекста, непоследовательность правки очевидна; она свидетельствует о том, что выбор формы инфинитива не имеет императивного характера. Последний справщик, как и его предшественники, вовсе не стремится устранить вариативность форм инфинитива. Он лишь пытается найти те пропорции старых и новых форм, которые подходили бы для нового идиома, для того «гражданского наречия», которое должно было воплотить новые культурные установки, соединяя в новом коммуникативном задании секулярность и публичность, присущую печатным изданиям.

Аналогичные поиски подходящей пропорции обнаруживаются и в других правленных текстах Петровской эпохи. Весьма показательна в этом отношении история текста «Географии генеральной» Б. Варения. Конфликт разных культурно-лингвистических установок при подготовке этой книги к изданию 1718 г. неоднократно привлекал внимание исследователей (см.: Лукичева 1974; Живов 1986а). Сейчас для нас существенно, что этот конфликт сказался и на употреблении в данном тексте старых и новых форм инфинитива. Прежде чем переходить к истории данного текста, целесообразно взглянуть на то, каков был окончательный результат, т. е. каковы статистические параметры издания 1718 г. Были проанализированы две выборки — Варений 1718, 1—50 и Варений 1718, 337—376; сколько-нибудь значимых расхождений между разными частями текста не обнаружилось, так что данные могут быть представлены в виде одной таблицы:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тца)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	261	71	5	12	1	350
новые	35	—	—	—	—	35
% новых	11,82 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9,09 %

Как можно видеть, старые формы инфинитива употребляются в рассматриваемом издании с последовательностью, редкой даже для гибридных церковно-славянских текстов конца предшествующего периода (ср., например, приведенные выше данные о «Космографии» Ортелиа, близкой по жанру «Географии генеральной»). Такая ситуация несомненно отражает индивидуальную установку переводчика данной книги Федора Поликарпова. Поликарпов перевел книгу Варения на традиционный книжный язык и, обосновывая выбор языка, писал: «Убо и мнѣ (коснувшемуся превода книги сея) должность надлежала послѣдовати также сенсѹ, такв и теѣтѹ авторовѹ и не общенароднымъ дѣлектвмъ Русѣйскимъ преводити сѣю, но хранити по во³можномѹ рег҃лы чина грамматическагв, да бы такв и³яснилъ высотѹ и красотѹ слова и слога авторова» (БАН, 1.Б.67, л. 9—9 об.; цит. по: Бабаева 2000, 336). Старая форма инфинитива явно соответствовала, на взгляд Поликарпова, «регулам чина грамматического», и он употреблял ее повсеместно, прибегая к новым формам лишь в

редких случаях. Такое употребление форм инфинитива согласовалось с другими лингвистическими параметрами перевода: языком перевода был довольно рафинированный гибридный язык, в котором постоянно встречались простые претериты, согласованные причастия в деепричастной функции, разнообразные сложные причастные и инфинитивные синтаксические конструкции, т. е. многочисленные маркированно книжные элементы.

Петру, как известно, этот перевод не понравился, и он велел исправить его «не высокими словами славенскими, но простым русским языком» (Черты из истории... 1868, стб. 1054—1055). Перевод был отредактирован Софронием Лихудом, и в результате этой правки большинство маркированно книжных элементов подверглись устранению. Именно этот исправленный текст удовлетворил царя и был напечатан в Москве в 1718 г. Старые формы инфинитива в большинстве своем устранению не подверглись, и это обстоятельство свидетельствует о неоднозначности их восприятия. Хотя, как мы видели, пропорция старых форм в печатном издании «Географии генеральной» чрезвычайно высока, в исходной рукописи она была еще выше. Хотя новые формы инфинитива в единичных случаях встречались и в первоначальном тексте, существенная их часть появилась в печатном издании благодаря правке Лихуда.

Действительно, в составе исправлений, внесенных Лихудом, имеются и формы инфинитива (см.: Живов 1986а; правленная рукопись «Географии» находится в РГАДА, ф. 381, № 1008). Формы инфинитива на *-ти* заменяются здесь формами на *-ть* более чем в 35 случаях. Примеры (зачеркнутые буквы помещаются в ломаные скобки, вставленные отмечены курсивом): быт(и)ь 65, 67 об.; являют(и)ь 68; сыска(и)ь 72, 72 об., 615 об.; брат(и)ь 197 об.; прочистит(и)ь 379; смотрит(и)ь 563; прида(и)ь 563, 883; взят(и)ь 595, 611 (bis), 681 об., 808 об., 809, 827, 869 об., 872 об.; предложит(и)ь 614 об.; вмѣстит(и)ь 681 об.; вонзит(и)ь 714; ра³ставит(и)ь 714; приводит(и)ь 749 об.; и³дават(и)ь 783; дѣлат(и)ь 809; здѣлат(и)ь 810, 810 об.; назначит(и)ь 811 об.; и³брат(и)ь 829; присовокѣпит(и)ь 850 об.; ѡписат(и)ь 859; творит(и)ь 865 об.; превратит(и)ь 868 об.; <со>стро(я)ит(и)ь 890 об. В одном случае подобному исправлению подвергается форма инфинитива с ударенным, а не безударным *-ти*: привест(и)ь 802 об. В ряде случаев замена формы на *-ти* формой на *-ть* сопровождается лексическое изменение, например: обрѣсти → сыскать 72 об., 73, 875; ѡбрѣтати → сыскать 698 об., 700, 704 об., 706, 707, 756 об., 784 об.; пресѣ(щи)кати 71 об. Такого рода замены, однако, проведены непоследовательно, инфинитив на *-ти* может появляться и в заменяющей форме, ср.: пріяти → взяти 110; ѡбрѣтати → сыскати 701.

Как можно видеть, исправления не обусловлены какими-либо лексическими свойствами исправляемого глагола, они не выделяют каких-либо частей редактируемого текста, но представляют собой чисто грамматическую справку³⁴. Цель этих исправлений состоит не в радикальном изменении узуса (как, например, в

³⁴ Можно, кажется, выделить один контекст, который стимулирует появление форм инфинитива на *-ть*. Речь идет о формулировках геометрических задач (их довольно много в составе книги), в которых инфинитив употребляется в повелительных конструкциях, ср.: *познать высоту* (с. 34), *изъ канона синусовъ взять синусъ 88 градусовъ* (там же) и т. п. Однако и в этом контексте употребление новой формы последовательным не становится.

случае замены простых претеритов *л*-формой), а в такой его модификации, которая приближала бы его к узусу других текстов данной эпохи со сходным коммуникативным заданием. Как показывают статистические данные опубликованного текста, эта цель в общем не была достигнута, и это тоже показательно. Можно сказать, что Лихуд, конструируя в соответствии с повелением царя «простой русский язык», испытывает некоторое неудобство от повсеместно употребляемых форм инфинитива на *-ти*, однако не рассматривает новые формы инфинитива как конститутивную черту создаваемого им идиома. Поэтому формы инфинитива он правит лишь попутно и непоследовательно, не придавая им существенного значения, но держа в уме представление об обычных текстах, реализовавших культурную политику Петра. Вполне показательны в данном отношении формы инфинитива от возвратных глаголов. В первоначальном переводе в соответствии с гибридной письменной традицией употреблялись исключительно формы на *-тися*; поскольку такое употребление было освоено (с несущественными отступлениями) и текстами петровского «гражданского наречия» (как мы это видели на примере «Геометрии» 1708 г.), правка Лихуда данные формы ни разу не затрагивает, так что и в отредактированном и опубликованном тексте сохраняется характерное противопоставление инфинитива от возвратных и невозвратных глаголов: в первой из категорий старые формы употребляются существенно более часто (а иногда даже вполне последовательно), чем во второй.

Схожие наблюдения могут быть сделаны и относительно «Библиотеки» Аполлодора в переводе А. К. Барсова (Аполлодор 1725). И эта книга была переведена по специальному указанию Петра, распорядившегося и о языке перевода. В «предъувещании от преводника книги сея» говорится о том, что царь повелел, чтобы книга «преведена была на общий Россииский язык» (там же, предисл., 19). Анализ форм инфинитива на первых 125 страницах книги дает следующие статистические данные:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тца)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	47	16	3	6	—	72
новые	96	3	—	2	—	101
% новых	67,13 %	15,79 %	0%	25 %	—	58,38 %

Как можно видеть, пропорция инфинитивов на *-ть* в данном издании существенно выше, чем в двух проанализированных выше текстах, однако старые формы на *-ти* и здесь сохраняют весьма прочные позиции. Такие данные позволяют заключить, что вариативность форм инфинитива была устойчивой чертой петровского «гражданского наречия», однако пропорция старых и новых форм оставалась переменной величиной, колеблющейся в достаточно широких пределах. Эти колебания были лишены той коммуникативной значимости, которой они потенциально обладали в текстах XVII в. (как гибридных, так и деловых); пропорция новых флексий не соотносилась ни со статусом текста (как это имело место в таких деловых текстах, как Уложение 1649 г.), ни с жанровой инновативностью (как это имело место в сочинениях, подобных Римским деяниям).

Старые формы инфинитива принадлежали к сложившимся письменным навыкам большинства книжников, причастных к созданию текстов новой петров-

ской культуры; последовательное употребление таких форм для текстов новой культуры было невозможно, поскольку ассоциировалось со стандартным регистром старого книжного языка, однако и отказываться от их употребления не было необходимости, поскольку в качестве маркированно книжных элементов они не осознавались. Нужно лишь было знать меру, и, как показывает вносимая в тексты правка, у пишущих нередко возникало ощущение, что ими (или их коллегами) эта мера превышена. В наборной рукописи «Библиотеки» Аполлодора (РГАДА, ф. 381, № 1015) имеются немногочисленные исправления, внесенные типографскими справщиками, «подчищавшими» текст для печати. Эти исправления затрагивают и формы инфинитива: «И ѿдала его кормит(и)ѣ кѣритѣ^м и Меліссинѣмъ (или пчелинымъ) дочеремъ нѣмфамъ» (л. 10 об.), «Кронѣ дала зеліе поглотит(и)ѣ» (л. 11). На непоследовательность правки указывает появление форм на *-ти* во вносимых справщиками исправлениях, ср.: «ѿ котораго селія онъ принѣжденъ (бывъ), первѣ камень, а потомъ дѣтей которыхъ прежде (по)глот(и)а^л изблева(лъ)ти» (л. 11). Ясно, что замена двух форм инфинитива на *-ти* формами на *-ть* никак общих пропорций не меняла, однако интенция справщиков выражалась в ней вполне отчетливо. Об их приверженности традиционным письменным навыкам свидетельствует и устойчивость старых форм инфинитива от возвратных глаголов. В текстах Петровской эпохи такое употребление становится постоянной чертой нового узуса, обнаруживающей его преемственность по отношению к гибриднему узусу предшествующего периода. Замечу попутно, что три новых формы инфинитива от возвратных глаголов, обнаруженные в тексте «Библиотеки», появляются в форме на *-тца*, не характерной для книжной письменности предшествующего периода: *складыватца* (с. 106), *равнятца* (с. 112), *битца* (с. 122).

Особого внимания заслуживает сочинение Феофана Прокоповича «История Петра Великого», при жизни автора оставшееся в рукописи и при этом содержащее авторскую правку (РГАДА, ф. 9, оп. 1, № 1; см. о нем: Живов 1988а). Правка Прокоповича сосредоточена в начальной части сочинения, на лл. 3—17. Эта часть повествования имеет компилятивный характер и написана на гибридном языке. Как и при редактировании «Географии генеральной», исправления, внесенные в данную часть, затрагивают прежде всего маркированно книжные элементы (простые претериты, формы дв. числа и т. п.). В дальнейшем изложении (повествование доведено до Полтавской победы) маркированно книжные элементы практически не встречаются и правка отсутствует; можно считать, что основная часть сочинения написана на «гражданском наречии», утверждающемся как в исторических писаниях, так и в естественнонаучных трудах (это соответствует тем типам письменности, в которых Петр указал употреблять гражданский шрифт).

Обе части сочинения Прокоповича характеризуются вариативностью форм инфинитива. В первоначальном (не подвергшемся исправлениям) варианте пропорция старых форм в начальном фрагменте несколько выше, чем в остальном сочинении (около 40 % новых форм в начальном фрагменте и около 60 % в остальном тексте). Эта диспропорция может быть в определенной степени обусловлена частными факторами. В начальном фрагменте появляются книжные синтаксические конструкции, благоприятствующие в принципе употреблению

старых форм инфинитива (ср. «осмоконечный бо, а не иной правильный *быти* безумнѣ умствують», л. 7). Напротив, в описании военных действий Северной войны, занимающем основную часть «Истории», широко используется заимствованная военная лексика, стимулирующая, как правило, появление новых форм инфинитива, ср.: *штурмовать* (л. 28 об., 29 об., 30), *атаковать* (л. 33, 35), *маршировать* (л. 50) и т. п. Хотя такая частичная мотивированность и может быть постулирована, особой стилистической нагрузки формы инфинитива не несут³⁵ и собственной функциональной значимости диспропорция в употреблении форм инфинитива не имеет, она не указывает, скажем, на разный статус отдельных фрагментов сочинения Прокоповича. Общие статистические параметры разбираемого текста видны из следующей таблицы, суммирующей данные, представленные на лл. 3—55 об. рукописи:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	79	11	2	6	3	101
новые	90	1	1	0	0	92
% новых	53,25 %	8,33 %	33,33 %	0 %	0 %	47,67 %

Эти параметры вполне обычны, как мы видели, для текстов, написанных на «простом» языке Петровской эпохи. Характерна, в частности, разная пропорция новых форм инфинитива от возвратных и невозвратных глаголов. Хотя Прокопович воспитывается в иной, нежели московская, письменной традиции, ко времени работы над «Историей» он, видимо, достаточно хорошо усваивает навыки письма, распространившиеся в Москве в эпоху Петра, и согласует лингвистические параметры своего текста с господствующим узусом. Подобным согласованием обусловлена, надо полагать, и та правка, которую Феофан вносит в начальную часть своего сочинения: он избавляется от гибридного языка, изгнанного Петром из текстов новой культуры, устраняя, как уже говорилось, маркированно книжные элементы.

Попутно правке подвергаются и формы инфинитива. В начальном фрагменте встречается девять таких замен: прерѣкат(и) ^с 3 об., похитит(и) ^с 4 об., утолит(и) ^с 5 об., преклонит(и) ^с 5 об., загладит(и) ^с 6, учинит(и) ^с 6, украсит(и) ^с 8, взят(и) ^с 13 об., странствовать(и) ^с 15. Никакой стилистической мотивации (зависимости от лексического значения глагола, от тематического контекста или от синтаксического построения) в произведенных исправлениях не обнаруживается. Как и в случае «Географии генеральной», мы имеем дело с чисто грамматической справой. Ее целью надо, видимо, полагать все то же стремление к нахождению меры. Произведенные замены не сказываются на соотношении новых и старых форм инфинитива радикальным образом, однако они все же повышают пропорцию новых форм в тексте в целом (с 53,25 % до 58,58 %) и делают начальный фрагмент более сходным по употреблению инфинитивных форм с остальным текстом.

³⁵ Об этом свидетельствуют, в частности, те случаи, когда старая и новая форма инфинитива употребляются в качестве однородных членов, ср.: «Таковий утвердили между собою совѣтъ: дабы въ отшествии царскомъ, *призвать* к Москвѣ казаковъ донскихъ, и силу ихъ с стрѣльцами совокупивъ, *разорить* бы Москву и царствомъ *завладѣти*» (л. 14 об.).

Узус, утвердившийся в текстах новой петровской культуры, не отличался однородностью; в нем реализовались разные письменные навыки, соотнесенные с разным читательским опытом производителей этих текстов. Его конститутивные черты имели негативный характер, они были обусловлены отталкиванием от традиционного книжного языка и сводились к тому, что авторы избегали употреблять маркированно книжные элементы. Однако возникший таким образом новый идиом жил собственной жизнью и постепенно вырабатывал присущий ему специфический узус. Пропорция новых форм инфинитива в рамках этого узуса могла варьировать достаточно сильно. Тем не менее происходило определенное сближение разных опытов конструирования нового идиома, и правка форм инфинитива в различных памятниках этого идиома как раз и свидетельствует о таком сближении.

Мы начали рассмотрение текстов петровской секулярной культуры с тех памятников, в которых формы инфинитива подвергались правке, поскольку правка позволяет обнаружить, как интересующие нас формы воспринимаются языковым сознанием исследуемой эпохи. В основном рассмотренные нами тексты характеризовались достаточно высокой пропорцией старых форм инфинитива, и правка была направлена на то, чтобы эту пропорцию снизить. Такая тенденция становится понятной, когда в расчет принимается вся совокупность созданных в рамках нового идиома текстов. Среди них фигурируют и памятники с весьма низкой пропорцией старых форм инфинитива.

В качестве примера можно рассмотреть книгу «О способах, творящих водохождение рек свободное» (Буйе 1713). Статистические параметры этого текста имеют следующий вид:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	22	36	1	14	0	73
новые	250	2	2	1	2	257
% новых	91,91 %	5,26 %	66,67 %	6,67 %	100 %	77,88 %

Реализующийся в данном тексте узус представляет собой как бы противоположный полюс для того употребления, которое мы наблюдали в «Географии генеральной». Однако при всем различии выделяются и черты, объединяющие два эти типа употребления и позволяющие говорить о них как о разновидностях единого узуса. Как и в других текстах нового идиома, противопоставление старых и новых форм инфинитива не несет никакой стилистической нагрузки, на что указывают случаи употребления таких форм в качестве однородных членов (ср.: *отдаляти и удерживать*, с. 15). Как и иные рассмотренные выше тексты, книга Буйе обнаруживает устойчивое употребление старых форм инфинитива от возвратных глаголов (отступления от этой тенденции появляются в разном оформлении: *прісмотрітся*, с. 25, *плюснутца*, с. 27). Стоит отметить и почти не знающее исключений употребление старой формы в глаголах с ударением на показателе инфинитива (единичная форма *перевестъ*, с. 25 при 14 формах на *-сти*).

Еще более последовательное употребление новых форм инфинитива находим в «Юности честном зерцале» 1717 г. (Юности честное зерцало 1717), той книге, которая должна была стать учебным пособием для юношества и тем самым ори-

ентиром в конструировании нового языкового стандарта, однако им не стала (см. об этом: Маркер 1994, 11). Статистические параметры этого текста таковы:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-стї/-сть	-'стї/-сть	всего
старые	14	22	1	5	4	46
новые	344	26	0	1	3	374
% новых	96,09 %	54,17 %	0 %	16,67 %	42,86 %	89,05 %

Инфинитив на *-ти* преимущественно встречается в последней части, где содержатся нравственные наставления с частыми цитатами и парафразами из Библии и пересказами духовной литературы. Ср., например: «Сїрахъ въ 10 главѣ пишеть: довлѣть гордыхъ *искоренити*» (с. 76); ср. еще инфинитивы в отрывке о пустынноике: *разсѣци, вредїти, избѣжати, быти* (с. 82 — здесь же, впрочем, и форма *быть*). В этих фрагментах инфинитив на *-ти* соседствует с окказионально появляющимися простыми претеритами и может, в принципе, рассматриваться как элемент чужого текста, хотя такая трактовка неочевидна, поскольку цитаты даются в переводе и в лингвистическом отношении оказываются инкорпорированы в текст в целом³⁶. Как бы ни интерпретировать инфинитивы в последней части книги, это не меняет общей картины: в достаточно большом числе случаев употребление инфинитива на *-ти* никак не мотивировано, так что особой стилистической нагрузки эти формы не несут, ср.: «Младыи отрокъ ⟨...⟩ имѣть честь свою исправно *охранять*, и съ такими людьми ни чего не *всчїнати*, и поводу къ тому не *давать*» (с. 17).

Составители «Юности честного зеркала» широко употребляют и новые формы инфинитива от возвратных глаголов. Число новых форм в этом разряде превышает число старых форм, так что можно сказать, что нормализация инфинитивов от возвратных глаголов отсутствует. Орфографическое оформление новых форм также никак не унифицировано, ср.: *опїратся* (с. 3), *отозватца* (с. 4), *дознатца* (с. 9), *мешатца* (с. 16), *довѣдыватся* (с. 16) и т. д.; старые формы оформлены более единообразно (*садїтїся, остерегатїся, касатїся* и т. д. — с. 1, 13, 19 et passim). Связь с доминирующим узусом выражается при этом не в том, что составители избегают новых форм инфинитива от возвратных глаголов (как мы это видели в книге Буйе), но в том, что старые формы сохраняют весьма прочные позиции в разряде возвратных глаголов, тогда как почти полностью утеривают их в разряде невозвратных глаголов, ср. в качестве возможной иллюстрации: «имѣть сердце челоувѣческое бога *знать, любить, и боятїся*» (с. 73).

Вообще говоря, сохранение старых форм инфинитива от возвратных глаголов представляет собою элемент нормализации, обусловленной стремлением избежать потенциально омонимичных форм. Вместе с тем эти формы могут восприниматься как наследие старого книжного языка, не относящееся тем не менее к тем маркированно книжным элементам, которые подлежали устранению из нового идиома. Нормализация, таким образом, соотносится с церковнославянской

³⁶ В этом плане последняя часть книги отличается от предпосланных книге «Нравочений от священнаго писания по алфавиту избранных» (с. 12—23 первой пагинации). Приводимые в этой отдельной части церковнославянские цитаты не инкорпорированы в текст, и поэтому я в своем анализе «Нравочения» не учитывал.

грамматической традицией. Эта зависимость сохраняет силу даже при том, что «простой» язык формируется в сознательном отталкивании от церковнославянского, и, как мы увидим далее, продолжает оставаться актуальной и для послепетровской эпохи. Те авторы Петровской эпохи, которые не обладают традиционными книжными навыками письма или готовы избавиться от них достаточно радикальным образом, вместе с этими навыками отказываются и от нормализации. Именно данный момент хорошо иллюстрирует «Юности честное зеркало», в котором экспансия форм инфинитива на *-ть* соединяется с отказом от нормализационных решений, касающихся инфинитивов от возвратных глаголов. Напротив, те книжники, которые в Петровскую эпоху озабочены нормализацией, воспитаны в традициях церковнославянской образованности и в своей филологической деятельности не могут целиком отрешиться от прочно освоенных навыков.

Именно к этой традиции принадлежит, видимо, и Иоганн Вернер Паус, славяно-русская грамматика которого сыграла позднее едва ли не решающую роль в выработке представлений о различиях церковнославянского и русского языков. В начале своей русской карьеры (в 1704 г.) Паус был сотрудником пастора Глюка (в русской грамматике которого, как мы увидим ниже, кодифицируется исключительно инфинитив на *-ти*) и, возможно, от него усвоил взгляд на инфинитив на *-ти* как на черту грамотного русского письма. Такой взгляд сблизил его с Федором Поликарповым и книжниками Московского печатного двора. Паус был переводчиком «Книги мирозрения» Х. Гюйгенса, впервые напечатанной в Петербурге в 1717 г. и затем переизданной в Москве в 1724 г. Использование инфинитива в этом издании характеризуется следующими статистическими параметрами (анализировалось предисловие и первые 60 страниц текста — Гюйгенс 1724, 1—8 [первой пагинации], 1—60 [второй пагинации]):

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тца)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	177	29	1	4	—	211
новые	10	1	0	0	—	11
% новых	5,35 %	3,33 %	0 %	0 %	—	4,95 %

Как можно видеть, узус «Книги мирозрения» представляет собой прямую противоположность узусу «Юности честного зеркала»: если в последнем около 5 % употреблений приходится на старые флексии, то в «Книге мирозрения» такова же пропорция новых флексий. Хотя новые флексии встречаются редко, их появление никак не мотивировано, ни лексически, ни синтаксически, ни стилистически. Можно отметить случаи употребления старых и новых форм инфинитива в качестве однородных членов, напр.: *изыскѣвати и изслѣдывать* (с. 12). Как и ожидается от текста с высокой пропорцией старых форм, инфинитив от возвратных глаголов употребляется практически только в неусеченном виде: единственное исключение *держатца* встретилось в предисловии (с. 7). «Юности честное зеркало» и «Книга мирозрения» определяют как бы два полюса нового гражданского языка Петровской эпохи (в плане употребления инфинитива), и между этими крайними точками располагается все то многообразие, которое характеризует «петровский пул». Именно это многообразие и достается в наследие следующему периоду.

3. Формы инфинитива в языковой практике послепетровской эпохи (светская литература)

Описанная ситуация меняется в послепетровскую эпоху, однако изменение это происходит не сразу. Как уже говорилось (§ 1.8), с 1727 г. практически вся гражданская издательская деятельность сосредоточивается в Академической типографии (см.: Маркер 1985, 41—50). При Академии возникает кружок академических переводчиков, которые располагают возможностью проводить те или иные нормализационные решения в академических изданиях и тем самым вырабатывать нормы, определяющие новый языковой стандарт. Действительно, вся или почти вся филологическая работа, связанная с нормализацией русского литературного языка, вплоть до конца 1750-х годов проходит при Академии наук. Тем не менее первые труды академических переводчиков ни с каким планом языкового строительства еще не связаны и могут рассматриваться как продолжение языковой практики Петровской эпохи.

В 1728 г. в типографии Академии наук издается переведенное с латыни и немецкого «Краткое описание комментариев Академии наук» (Краткое описание 1728). Отдельные переводчики, участвовавшие в этом издании, пишут в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями, так что узус в целом отличается чрезвычайной пестротой. Разнородность узуса проявляется и в употреблении форм инфинитива. Две математические статьи в этом издании переведены В. Е. Адодуровым, сыгравшим впоследствии столь важную роль в конструировании русского языкового стандарта. Первая из них, «О щетѣ ѿнтегралномъ» (с. 28—40), подписана «Переводиль Василїи Адодуровъ», вторая, «О Кеплеріановомъ предложенїи» (с. 41—48), подписана «Переводиль В. А.». Употребление инфинитива в этих двух статьях характеризуется следующими параметрами (Краткое описание 1728, 28—48):

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	'сти/-сть	всего
старые	66	18	—	10	—	94
новые	12	0	—	0	—	12
% новых	15,38 %	0 %	—	0 %	—	11,32 %

Как нетрудно заметить, такое употребление ближе всего к представленному в «Географии генеральной». Адодуров явно предпочитает старые формы инфинитива; инфинитивы от возвратных глаголов нормализованы в соответствии с установившейся в Петровскую эпоху традицией; только старые формы употребляются и от инфинитивов на *-сти* с ударением на показателе. Ожидаемым образом, противопоставление старых и новых форм инфинитива никакой функциональной (стилистической) нагрузки не несет. Практически то же самое может быть сказано и об узусе другого академического переводчика Ивана Ильинского, переведившего статью «О Стѣнѣ кавказской чего издатель есть Θ: 3: Баверьъ» (Краткое описание 1728, 167—207; статья подписана: «Переводиль Іоаннь Ільинскїи Ярославецъ»). Статистические параметры этой части имеют следующий вид:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	88	7	4	4	1	104
новые	6	0	0	0	0	6
% новых	6,38 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5,45 %

В употреблении старых форм инфинитива Ильинский идет еще дальше, чем Адогуров, рассматривая, видимо, эти формы как элемент грамматической правильности, не имеющий прямого отношения к старому книжному языку. Совсем иной узус обнаруживается у Максима Сатарова, переведившего статью «О сіяніи сѣверномъ. Изданіе профессора математики Меера» (Краткое описание 1728, 84—99), а также, судя по лингвистическим характеристикам, статьи «Ботаника» (с. 49—56) и «О движеніи мышциъ» (с. 57—62). Эти тексты характеризуются следующими статистическими параметрами:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	9	11	1	2	—	23
новые	73	2	0	0	—	75
% новых	89,02 %	15,38 %	0 %	0 %	— %	76,53 %

По употреблению форм инфинитива узус Сатарова ближе всего к тому, который мы наблюдали в книге «О способах творящих водохождение рек свободное»; так же, как в этом последнем, у Сатарова старые формы употребляются приблизительно в 10 % случаев; вполне аналогично и употребление форм инфинитива от возвратных глаголов: в соответствии с устоявшейся традицией в этом разряде доминируют старые формы, однако единичные употребления новых форм оказываются допустимыми. Вполне очевидно, что академические переводчики в начале своей деятельности воспроизводили, не рефлектируя, привычный им письменный узус, соответствовавший тем навыкам, которые они приобрели, осваивая литературную продукцию Петровской эпохи. Расхождения в употреблении отдельных авторов имеют идеосинкретический характер и вместе с тем укладываются в диапазон того разнообразия, который был задан «петровским пулом», вариативностью, присущей созданному петровской культурной реформой «гражданскому наречию».

Ситуация резко меняется в том же 1728 г., когда было издано «Краткое описание комментариев Академии наук». Осенью этого года начинают издаваться «Примечания к ведомостям», переводное (с немецкого) периодическое издание Академии наук, в подготовке которого участвует та же группа академических переводчиков, что и в издании «Краткого описания». Здесь, однако, нормализационная установка просматривается с полной наглядностью. В первых двух номерах этого издания (Примечания 1728, 1—16) мы находим исключительно инфинитивы на *-ть* (от невозвратных глаголов с ударением на основе): *избирать* (с. 1), *быть* (с. 1, 3 [bis], 4, 5 [bis], 8 [ter]), *помышлять* (с. 3), *пробывать* (с. 4, 8), *воспріять* (с. 4), *имѣть* (с. 5) и т. д. Правда, в последующих выпусках появляются отдельные отступления, однако представляется правдоподобным, что осенью 1728 г. академические переводчики вполне осознанно принимают ряд нормали-

зационных решений, а отступления представляют собой результат недосмотра. Для первых семи выпусков (Примечания 1728, 1—56) статистические параметры таковы:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	12	12	1	11	1	37
новые	385	19	0	2	6	412
% новых	96,98 %	61,29 %	0 %	15,38 %	85,71 %	91,76 %

Немногочисленные примеры инфинитивов на *-ти* (*присовокупити*, с. 29, *имѣти*, с. 30, *населити*, с. 32, *быти*, с. 32, 36, 42, *получити*, с. 37 и т. д.) никак не мотивированы и не несут никакой функциональной нагрузки; те же глаголы и те же синтаксические конструкции встречаются и с инфинитивами на *-ть*. Это и позволяет рассматривать их как окказиональные отступления. Доминирующей оказывается и форма на *-ться* от возвратных глаголов, ср.: *явится* (с. 4), *склонится* (с. 8, 27, 38), *остаться* (с. 10, 41), *возвратится* (с. 10, 11 [bis], 23, 27), *приключится* (с. 16), *случится* (с. 20) и т. д. Здесь, впрочем, заметно лишь движение к будущей норме, а предшествующая традиция, нормализовавшая употребление старых форм в данном классе инфинитивов, дает о себе знать весьма ощутимо, ср.: *старатися* (с. 8, 11), *касатися* (с. 12), *являтися* (с. 15), *склонитися* (с. 38) и т. д. В прочих классах сохраняется вариативность, имеющиеся данные не позволяют судить, распространялась ли нормализующая установка и на эти случаи или они на первых порах оставались без регламентации.

Следует отметить, что в последних трех выпусках за 1728 г. вновь находим прежний ненормализованный узус, хотя и с несколько другими параметрами, нежели в «Кратком описании». Можно было бы сказать, что с зимними холодами на страницы «Примечаний» вернулась Петровская эпоха, и формы инфинитива вполне отразили это попятное движение. Действительно, статистические параметры этих трех выпусков (Примечания 1728, 57—80) таковы:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	44	20	1	3	2	70
новые	68	1	1	0	0	70
% новых	60,71 %	4,76 %	50 %	0 %	0 %	50 %

Такой узус также находит аналоги в рассмотренных выше текстах (например, в «Библиотеке» Аполлодора), связь с установившейся в предшествующий период традицией ярко проявляется в консервативности форм инфинитива от возвратных глаголов.

Кто был ответствен за это возвращение в прошлое, остается неясным, однако прошлое вернулось ненадолго, с 1729 г. нормализованный узус вновь оказывается главенствующей чертой академической языковой практики, причем количество окказиональных ляпусов существенно сокращается и нормализационная установка просматривается с еще большей отчетливостью. Приведу статистические данные для относительно небольшой выборки (Примечания 1729, 225—246):

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти́/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	0	2	—	5	0	7
новые	188	15	—	0	0	204
% новых	100 %	88,24 %	—	0 %	100 %	96,68 %

Как мы видим, в основном классе инфинитивов установленная норма соблюдается без отступлений — употребляются исключительно формы на *-ть*. Явный прогресс характеризует и класс возвратных глаголов; старая традиция просматривается лишь в виде редких реликтов, так что и в этом классе новая форма делается нормативной, окказионально появляющиеся старые формы (*надбѣтися*, с. 227, *опасатися*, с. 231) никакой функциональной нагрузки не несут. Напротив, у глаголов на *-сти* с ударением на показателе инфинитива нормативной становится полная форма.

Ту же картину мы находим и в «Примечаниях» 1731 г. Инфинитив от невозвратных глаголов с ударением на основе всегда выступает в форме на *-ть*: *заводить* (Примечания 1731, с. 1), *объявить* (с. 2, 5), *служить* (с. 2), *имѣть* (с. 2, 3), *приводить* (с. 2), *возжелать* (с. 2) и т. д. Исключением является лишь библейская цитата, воспроизведенная без изменений: «Да будутъ свѣтила на тверди небеснѣй *освѣцати* землю, и *разлучати* между днемъ и между ношю» (с. 9 — см. Быт. I:14); на фоне установленной академическими филологами нормы инфинитив на *-ти* оказывается маркером чужого слова. В новой форме выступает инфинитив и от возвратных глаголов: *хвалится* (с. 3), *извѣстится* (с. 7), *учинится* (с. 14, 28, 30), *опасается* (с. 14), *радоваться* (с. 16), *увеселятся* (с. 23) и т. д.; единственное отступление *соединѣтисѣ*, с. 43, представляется случайной опiskой. В глаголах на *-сти* с ударением на показателе находим, напротив, полные формы: *привести* (с. 7, 42 [bis], 43), *принести* (с. 43), *вести* (с. 56). Общие статистические параметры имеют следующий вид (была проанализирована выборка Примечания 1731, 1—44):

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти́/-сть	-'сти/-сть	всего
старые	0	1	1	9	1	12
новые	243	19	—	0	1	263
% новых	100 %	95 %	100 %	0 %	50 %	95,64 %

Можно полагать, что именно эта языковая практика, утвердившись в первых академических изданиях, была закреплена затем в Очерке Адодурова, который и сам был одним из переводчиков «Примечаний». Процесс, однако, не был простым и прямолинейным, и выбор нормализационного решения не был сделан сразу. Следует отметить, что языковые нормы, обнаруживающиеся в «Примечаниях», не получают немедленного признания во всех трудах связанных с Академией филологов (само собой разумеется, что они не распространяются сразу же и на языковую практику авторов, не имевших отношения к академическому кругу). Прежде всего это относится к «Немецкой грамматике» Шванвитца, о которой будет сказано ниже. Хотя Шванвитц на первых порах принимал участие в переводе «Примечаний» (постепенно его заменил здесь Адодуров — см.: Мате-

риалы АН, I, 593, 603, 650; Кайперт 1983, 82), в его грамматике нормы «Примечаний» не отражаются.

Не отражаются они и в Вейсмановом лексиконе, в подготовке русской части которого участвовали переводчики «Примечаний» И. И. Ильинский и Адодуров; таким образом, в том, что касается форм инфинитива, нормы Лексикона расходятся с нормами приложенного к нему грамматического очерка (см.: Бауманн 1969, 3; Шутрупф 1983, 52). Действительно, в Вейсмановом лексиконе инфинитив выступает преимущественно в форме на *-ти* (*-ци*, *-чи*); такая форма встречается здесь приблизительно в 38 раз чаще, чем форма на *-ть* (*-чь*) (Брин 1983, 24). Причины расхождений между «Примечаниями» и Очерком Адодурова, с одной стороны, и «Немецкой грамматикой» Шванвитца и Вейсмановым лексиконом — с другой, требуют дальнейших разысканий. Представляется вероятным, что здесь имеют значение не только личные пристрастия отдельных авторов, но и влияние церковнославянской филологической традиции. Она безусловно сказывается в грамматике Шванвитца, пользовавшегося Смотрицким. Не исключено и ее влияние на Лексикон (хотя зависимости от Лексикона Поликарпова в нем, видимо, не просматривается — см.: Коста 1983, 5). Можно предположить, наконец, что работа над Лексиконом была начата до возникновения нормализационной установки и продолжала вестись по-старому и после того, как академические филологи начинают проводить эту установку в своих новых трудах³⁷.

Нельзя не обратить внимания на то, что у Адодурова не только закрепляется в качестве нормативного инфинитив на *-ть*, но и оговариваются специальные условия, в которых может применяться форма на *-ти*; такие условия создает прежде всего поэтический язык, т. е. инфинитив на *-ти* выступает как поэтическая вольность (см. цитату ниже). Это регулятивное указание, повторяемое затем Третьяковским и Кантемиром, также предваряется развитием языковой практики. Действительно, именно таково употребление инфинитива в «Езде в остров любви» Третьяковского. В прозаическом тексте здесь встречается только инфинитив на *-ть*: *возновить* (Третьяковский 1730, 2), *возрастить* (с. 2), *позабыть* (с. 2), *перестать* (с. 3), *испускать* (с. 3), *пристать* (с. 3), *отдохнуть* (с. 3) и т. д. Это относится и к инфинитивам от возвратных глаголов: *повеселиться* (с. 3), *увидѣться* (с. 9), *возвратиться* (с. 19), *искупаться* (с. 23) и т. д. Так же, видимо, обстоит дело и с конечноударными глаголами, ср.: *весть* (с. 26), *донести* (с. 106, 108)³⁸. В стихотворном тексте, однако, дело обстоит иным образом, инфинитивы на *-ти* употребляются здесь без всяких ограничений (наряду с инфинитивами на *-ть*), ср., например, в рифмах: *творити* — *быти* (с. 30), *смягчати* — *быти* (с. 35), *небыти* — *забыти* (с. 90), *здати* — *изъяти* (с. 105), *любити* — *быти* (с. 105).

³⁷ Уместно заметить, что при переиздании Вейсманова лексикона в 1782 г. формы инфинитива подвергаются почти сплошной правке, так что остается лишь небольшое число форм с конечной гласной (всего 112 из многих тысяч первого издания). В основном это глаголы на *-ци* (*-чи*) и *-сти*, хотя и для последнего типа основной формой во втором издании является форма на *-сть*: *вознести*, *влести*, *вывезти*, *вывести*, *выместь* и т. д. (Брин 1983, 24—25).

³⁸ Иначе ведут себя инфинитивы на *-ци(-чи)/-чь*; эти формы могли быть конечноударными и сохраняли старую книжную форму: *возмоци*, с. 39, *привлеци*, с. 106.

К моменту написания Очерка у Адодурова уже завязываются достаточно тесные отношения с Тредиаковским, и первые опыты новой поэзии влияют на характер грамматической кодификации. Деятельность обоих авторов основывается на одной и той же культурной парадигме европеизации и просвещения, и поэтому взаимодействие их филологических программ вполне естественно. Тредиаковский принимает те правила, которые завели академические филологи, а академические филологи готовы приспособить свои рекомендации к тем литературным проблемам, с которыми сталкивается их коллега-литератор. Важно отметить, что мы имеем здесь дело с первым результатом приспособления формировавшегося вне литературы языкового стандарта к задачам литературного сочинительства. В дальнейшем речь может идти не только о поэтической практике одного Тредиаковского, но и о норме, принятой в кругу академических филологов в целом. Показательно, что в первом номере «Примечаний» за 1734 г. на фоне последовательного употребления инфинитива на *-ть* в стихах, обращенных к Анне Иоанновне, появляются инфинитивы на *-ти*:

Ты бо вся желанія можешь утверждати,
И твоя милости оны исполняти.

(Примечания 1734, 4).

Примеры инфинитивов на *-ти* как поэтической вольности встречаются и в других стихах, помещенных в «Примечаниях»: *объявити* — *полонити* (Примечания 1734, 74 — перевод эпиграммы на Виллерау), *быти* — *носити*, *узнати* — *уповати* (с. 140—141 — Стихи на фейерверк).

Установленная таким образом норма является доминирующей для литературно-языкового развития 1730-х годов. Она выдерживается в произведениях Тредиаковского этого периода. Так, в Оде 1734 г. инфинитив на *-ти* в качестве вольности употребляется: *пролити* (Тредиаковский 1734, л. 7 об.), *начинати* — *отворяти* (л. 11 об.), *скончити* — *возносити* (л. 11 об.). Однако в прозаическом тексте «Рассуждения о оде во обще» и посвящения он отсутствует, ср. здесь: *содержать* (л. 12 об.), *послѣдовать* (л. 13 об.), *писать* (л. 13 об.), *изъявить* (л. 13 об.), *быть* (л. 13 об., 14 об., 15 об.) и т. д. Та же ситуация в «Новом и кратком способе» 1735 г. Здесь также в стихотворных текстах, иллюстрирующих тезисы теоретической части, инфинитив на *-ти* употребляется достаточно интенсивно, ср., например, в «Стихах, научающих добронравию человека»: *отдавати* — *начинати*, *быти* — *позабыти*, *попрекати* — *забывати* (Тредиаковский 1735, 27—29). В прозаическом тексте такие формы отсутствуют, ср. в предисловии: *рассмотрѣть*, *употребить*, *слѣдовать*, *исправить*, *дополнить*, *рассуждать* (л. А2 об.) и т. д.

Такова же и языковая практика А. Кантемира. В своих произведениях 1720-х годов, написанных в основном на гибридном церковнославянском, Кантемир широко употребляет инфинитив на *-ти*; эта форма нередко встречается еще в написанном по-русски «Описании Парижа» 1726 г. (при доминирующей форме на *-ть*), ср. здесь: *купитися*, *являтися*, *быти*, *покоритися*, *получати* и т. д. (Кантемир, II, 360—362). Позднее Кантемир такого употребления не допускает. Так, в переведенных им «Разговорах о множестве миров» Фонтенеля «отсутствуют... старые формы инфинитива на *-ти* в безударной позиции» (Сорокин 1982, 64).

Единственные исключения — это *отречися, течи, мочи*, которые, как справедливо отмечает Ю. С. Сорокин (там же), могли иметь ударение на показателе инфинитива и в любом случае принадлежали отдельному классу, которого, видимо, нормализация какое-то время не затрагивала. Вместе с тем в стихотворных текстах Кантемира форма на *-ти* от глаголов с наосновным ударением встречается в произведениях всех периодов (что соответствует тому пониманию поэтических вольностей, которое изложено в «Письме Харитона Макентина» — см. ниже). Ср., например, в Первой сатире: *провождати — коротати, терпѣти — имѣти, познати — называти, старѣти — имѣти* (Кантемир, I, 17—19, 21); в Шестой сатире: *продолжати — добѣжати, смерти — стерти* (Кантемир, I, 140, 142); в переводах посланий Горация: *подчиняти* (с. 394) и т. д.

Этот же характер носит в данный период и языковая практика молодого Ломоносова. Достаточно показательны в этом отношении его «Письмо о правилах российского стихотворства» 1739 г., в прозаической части которого употребляются исключительно инфинитивы на *-ть*: *вручать, утруждать, молчать, предложить* (Ломоносов, III, 1), *давать, научиться, предлагать, быть* (с. 2) и т. д. Вместе с тем в одном из стихотворных примеров мы находим форму *заяти* (там же, 4), формы на *-ти* отмечаются и в приложенной к Письму Оде на взятие Хотина (*покрыти — склонити*; Ломоносов, I, 13), равно как в переведенной Ломоносовым в 1738—1739 гг. оде Фенелона (*начати — почерпнати, почивати — воздати*; там же, 9, 11) и в его одах 1741 г. (*начати — стояти, прельстити — взвеселити*; там же, 28, 43). В этом контексте естественно, что Ломоносов не делает никаких замечаний об употреблении инфинитивов в «Новом и кратком способе» Третьяковского, хотя другие ненормативные глагольные формы могут вызывать его критику (ср. ироническое добавление к форме *вѣмь* — «вѣси, вѣсть»: Берков 1936, 56).

В 1740-е годы концепция литературного языка изменяется, новый литературный язык объявляется единым по природе со «славенским», и это устраняет нужду в рубрике поэтических вольностей как способе легализации славянизмов. В соответствии с этим меняется и языковая практика. В принципе возможны были два пути ее развития, по-разному разрешавшие конфликт между нормализацией, требовавшей выбора одного из вариантов, и новой концепцией, которая придавала вариантным формам инфинитива равный статус «чистых» элементов. В одном случае одна из форм инфинитива утверждалась как универсальная и для прозы, и для поэзии и решающее слово оставалось за нормализацией; в другом случае и в поэзии, и в прозе допускалось вариативное употребление, манифестировавшее слияние «славенского» и русского языкового материала. Первым путем идут Третьяковский и Ломоносов, вторым, как это ни парадоксально, — Сумароков.

Действительно, в стихотворном переложении Псалтыри, созданном Третьяковским в основном в конце 1740-х — начале 1750-х годов, последовательно употребляется инфинитив на *-ть*, хотя церковнославянский оригинал, естественно, побуждал к иному выбору, и в этом плане текст переложения особенно значим: он указывает на сознательность и нормативность принятого решения (ср.: Плетнева 1987). Отступления от реализуемой в переложении нормы крайне немногочисленны: *зрѣти* в переводе XXIV псалма («Къ Богу долъ всегда мнѣ зрѣти: / Ноги извлечеть отъ сѣти» — Третьяковский 1989, 66), *владѣти* в перево-

де псалма XXX (с той же рифмой *сти* — с. 77). Нормативность выбора подчеркивается последовательным употреблением формы на *-сть* от глаголов с окончательным ударением: *несть* (с. 10), *привесть* (с. 59, 115), *вознесть* (с. 347) и т. д. (эта норма распространяется, однако, не на все глаголы, ср.: *спасти*, с. 260). Таким образом, форма инфинитива оказывается одним из тех немногих моментов, в которых противостояние нового «славенороссийского» и старого «славянского» языков оказывается узаконенным Тредиаковским.

В этом плане не менее показательна та правка, которую Тредиаковский вносит в свои поэтические произведения 1730-х годов, переиздавая их в 1752 г. Так, в Оде о сдаче Гданска форме *пролити* издания 1734 г. в редакции 1752 г. соответствует *пролить* (Тредиаковский 1752, II, 23), формам *начинати* — *отворяти* соответствует *начинать* — *отверзать* (II, 28). Так же обстоит дело и со стихами из «Нового и краткого способа». Так, рифмам *быти* — *простити* — *избыти* — *погубити* (Тредиаковский 1735, 31) в редакции 1752 г. соответствует *быть* — *омыть* — *избыть* — *забыть* (Тредиаковский 1752, II, 317). Можно указать и на «Тилемахиду», язык которой часто рассматривается как особенно архаизированный, содержащий многочисленные славянизмы. Действительно, в «Тилемахиде» можно найти причастия типа *приведый*, *принесый*, неаналогические формы атематических глаголов типа *имамъ*, *вѣмъ* (см.: Алексеев 1981, 77—78), однако инфинитивов с безударным *-ти* в этом тексте не встречается; *-ть* занимает доминирующее положение и в формах инфинитива от глаголов с окончательным ударением, ср.: *принесть* (Тредиаковский 1766, I, 62), *грестъ* (I, с. 62), *вывесть* (I, с. 65), *привесть* (I, с. 128; II, с. 173 [bis]), *известь* (I, с. 129), *насть* ('*pacere*' — I, с. 132), *произвесть* (II, с. 177), однако *спасти* (I, с. 62); такие формы встречаются и в прозаических изложениях содержания в начале каждой книги, ср.: *отвезть* (I, с. 55).

Изменение лингвистической концепции сказывается, видимо, и на языковой практике Ломоносова. В принципе, инфинитив на *-ти* (безударное) в ней присутствует, хотя и в ограниченной пропорции (см.: Мартель 1933, 84—85; Глушков 1954; Макеева 1961, 134), однако это относится лишь к ранним произведениям. Последний из приводимых А. Мартелем примеров приходится на Оду на рождение Елизаветы 1746 г. (Мартель 1933, 85):

Воздвигнути Петра по смерти,
Гордыню сопостатов *стерти*...

(Ломоносов, I, 130).

Правда, форма *стерти* присутствует и в позднейшем творчестве, поскольку другой рифмы для *смерти* не находится, см. эту рифму в «Демофонте» (Ломоносов, II, 46) и в «Петре Великом» (II, 215); естественно, что при форме *смерть* является инфинитив на *-ть*, см.: *простерть* — *смерть* (II, 160). Однажды инфинитив на *-ти* появляется в прозаическом тексте, а именно в «Слове похвальном Петру Великому» 1755 г., см. здесь: «Первое звание поставленных от Бога на земли обладателей есть *управляти* мѣр в преподобии и правде; награждать заслуги, наказывать преступления» (IV, 386; ср.: Мартель 1933, 85); в этом случае, однако, Ломоносов как бы моделирует язык современной ему гомилетической литературы, в которой окказиональные формы на *-ти* обычны (см. ниже, § II.5).

Характерно, что инфинитив *таити* из Оды на прибытие Петра Федоровича 1742 г. (I, с. 51) во второй редакции этой оды 1751 г. исчезает (ср.: I, 57; ср. еще: I, примеч., с. 163). Что касается глаголов с окончательным ударением, то здесь сохраняется та вариативность, которая отмечена и в Ломоносовской грамматике; формы на *-сти* при этом преобладают, ср.: *снести* (II, с. 29, 36), *спасти* (II, с. 37, 100), *привести* (II, с. 37), *увести* (II, с. 61), *понести* (II, с. 83), *принести* (II, с. 141, 177) и т. д., и вместе с тем: *привесть* (II, с. 70, 72), *принесть* (II, с. 92, 96).

Таким образом, и Третьяковский, и Ломоносов рассматривают инфинитив на *-ть* как нормативный, а форму на безударное *-ти* не допускают даже в качестве периферийного варианта (например, поэтической вольности). У Третьяковского это выступает как чистое нормализационное решение, у Ломоносова же оправдывается соображениями благозвучия (см. ниже). В любом случае здесь реализуется та академическая традиция, связанная с грамматическим нормированием и книжным исправлением, в которой формы инфинитива на *-ти* стали рассматриваться как характерные для церковнославянского языка и посторонние для русского языкового стандарта. При смене лингвистической идеологии у данного решения исчезает теоретическое обоснование. При этом если простые претериты в предшествующий период последовательно устранялись из литературного языка и представление о них как о признаках книжности было всеобщим, то с инфинитивом дело обстояло иначе. Теоретические основания для исключения формы на *-ти* исчезали, а употребление этой формы (как допустимого варианта) было достаточно привычным. В этой ситуации естественно ожидать, что с развитием «славенороссийского» языка, в котором «славенский» элемент оценивался как чистый по преимуществу, в языковой практике сторонников этого подхода, не связанных академической дисциплиной, появится и инфинитив на *-ти*. Это и происходит.

Так, например, в «Иосифе» Битобе в переводе Фонвизина, ославленном Карамзиным за его славянизированность, инфинитив на *-ти* является основной формой, тогда как форма на *-ть* дополнительным вариантом. На первых страницах книги форма на *-ти* безударное представлена в 73 % всех употреблений, форма на *-ть* — в 27 %. Любопытно при этом, что от возвратных глаголов употребляется в основном форма на *-ться*, ср.: *явиться* (Фонвизин 1769, 1), *сопротивляться* (с. 10) и т. д. Существенно, что так обстоит дело лишь в основном тексте книги, где, по мнению переводчика, было «потребно держаться токмо важности Славенскаго языка» (предисл., л. 1 об.), в предисловии же Фонвизин за исключением одного случая употребляет инфинитив на *-ть*. Таким образом, форма на *-ти* получает стилистическую значимость и становится приметой высокого стиля. Так функционирует форма на *-ти* и в «Освобожденном Иерусалиме» в переводе М. Попова, ср. здесь: *изторгнути* (Тасс, 1772, I, 40, 43), *приступити* (с. 42), *сокрушити* (с. 42), *узрѣти* (с. 44), *возбудити* (с. 44) и т. д.; встречается, понятно, и форма на *-ть*, ср., например: *зрѣть* (с. 44). Подобную языковую практику и имеет в виду А. А. Барсов, когда пишет об употреблении формы на *-ти* «в стихах или в высоком слоге» (см. ниже).

Несколько иные результаты приносит изменение концепции литературного языка в языковой практике Сумарокова и его последователей. Сумароков отрицательно относился к «славянщизне», упрекая в ней Третьяковского «в старос-

ти» (Сумароков, X, 15). Такое отношение к «славянщизне» означало, однако, исключение из обычного употребления лишь тех элементов, которые были для Сумарокова маркированными славянизмами. Формы на *-ти* Сумароков так не рассматривал (см. ниже), в силу того, видимо, что для него была актуальна иная традиция и он не хотел ограничивать авторский выбор ради произвольной нормализации. Это решение обладало и полемической направленностью (против Тредиаковского и Ломоносова), и, как и в других случаях, сумароковские тексты реализовали его с демонстративной настойчивостью.

Вариативность форм инфинитива обнаруживают ранние поэтические произведения Сумарокова, например, в Эпистоле о стихотворстве 1748 г. наряду с частым инфинитивом на *-ть* находим и формы *владѣти* (Сумароков 1748, 4), *чувствовати* (с. 10), *погубити* — *изтребити* (с. 14), *терзати* (с. 18). Эти данные не показательны, поскольку могут интерпретироваться как использование той поэтической вольности, которая допускалась лингвистическими теориями 1730-х — начала 1740-х годов. Такого же рода вариативность остается и в позднейших его поэтических текстах, когда Ломоносов и Тредиаковский от подобной практики отказываются, ср., например, в Эклогах: *имѣти* («Калиста» — Сумароков 1769, 251; 1774, 30), *убрати* («Сильвия» — 1769, 271; 1774, 50), *имѣти*, *быти*, *молвити*, *искати* («Белиза» — 1774, 32—33) и т. д. на фоне многочисленных употреблений форм на *-ть*. Можно думать, что Сумароков ценит вариативность инфинитива и не хочет отказываться от нее, поскольку она увеличивает гибкость поэтической речи. Он явно пользуется этим средством в Эклогах, ср., например, исправления в эклоге «Дельфира»: «И можно бѣ было вдругъ ихъ всѣ окинуть глазомъ» (1769, 261) — «И можно бѣ было вдругъ окинути ихъ глазомъ» (1774, 39); «Что было отвѣчать!» (1774, 40) — «Отвѣтствовати что» (1774, список опечаток).

В переложении Псалтыри, особенно значимом для определения языковых и поэтических средств, которыми располагает русское стихотворство, инфинитив на *-ти* находится в свободной вариации с инфинитивом на *-ть* в переложениях, написанных несвободным стихом, ср.: *подати*, *создати* (XXXIII — Сумароков, 1773—1774, I, 29), *простирати*, *жить* (CXLI — I, 154—155); в переложениях же, написанных свободным стихом, встречается лишь инфинитив на *-ти*, выступающий, видимо, как форма, отсутствующая в разговорном употреблении и тем самым более соответствующая вдохновенной пророческой речи, ср.: *судити* (IX — III, 12), *благодарити* (XXIX — III, 18), *научати*, *ходити*, *препровождати*, *согрѣшати*, *дати*, *сыскати*, *возлетѣти*, *вѣяти*, *истоцати*, *размѣрити*, *раздѣлити* (LXXVII — III, 29—33) (см.: Плетнева 1987).

Вариативность форм инфинитива свойственна и прозаическим текстам Сумарокова, и здесь речь явно не идет о вольности, а о принципиальном стремлении к разнообразию, нежелании ограничивать тот языковой материал, которым располагал русский литературный язык в силу своего «единства» с церковнославянским. Так, например, в «Некоторых статьях о добродетели» формы инфинитива на *-ти* и на *-ть* встречаются в примерно равной пропорции (с незначительным превосходством первых). Следующий пассаж хорошо иллюстрирует характер вариативности: «Не дѣлати зла, хорошо; но сіе благо еще похвалы не заслуживаетъ: столбъ худа не дѣлаеть; но столбъ за то еще почтенія не удостоивается. Не

дѣлать худа, неесть добродѣтель: добродѣтель есть *дѣлати* людямъ добро, коли можно: похвально и то, что я могу и не *дѣлать* людямъ худа; но то еще не добродѣтель. Но можетъ ли еще ето быти, что бы кто не смогъ людямъ *дѣлати* добра?» (Сумароков, VI, 239).

Еще более красноречивой иллюстрацией могут служить сумароковские комедии. Разберу, например, комедию «Рогоносец по воображению». Инфинитив на *-ть* встречается здесь чаще, чем инфинитив на *-ти*, однако и форма на *-ти* появляется достаточно регулярно и представлена в речи всех персонажей, т. е. входит в нейтральный языковой фон, а не является речевой характеристикой кого-либо из действующих лиц. Действительно, эта форма встречается в речи провинциального помещика Викула (*пожаловати* — Сумароков, VI, 7, *быти* — с. 41, *присаживати* — с. 46, *получити* — с. 47), его жены Хавроньи, речь которой наполнена знаками просторечно-диалектного употребления (*сварити* — с. 11, *сказати* — с. 17, *ревновати* — с. 19), Дворецкого (*любити* — с. 44, *брати* — с. 48), бедной дворянки Флоризы, получившей хорошее воспитание и говорящей по-французски (*быти* — с. 15, 29, *почитати* — с. 32), столичного дворянина графа Касандра (*быти* — с. 29), служанки Нисы (*изготовити* — с. 12, *быти* — с. 14, *слышати*, *ожидати* — с. 15, *сватати* — с. 20, *посмотрѣти* — с. 35, *отдати* — с. 45, и т. д.). Особенно показательно появление форм на *-ти* в речи Нисы, которая противопоставляет свою речь крестьянской, жалуясь: «Должно еще ожидать такова жениха, которой будетъ говорить: чаво табѣ сердечуско надать? байста со мной; и другія подобныя етому крестьянскіе рѣчи» (с. 15—16).

Такое употребление форм инфинитива не было индивидуальной чертой сумароковского языка, оно характерно также и для ряда его учеников. Так, формы на *-ти* постоянно встречаются в одах и иных стихотворных произведениях В. И. Майкова. Мы находим в оде 1762 г. *внушити*, *стерти* — *смерти* (Майков 1867, 28, 30), в Оде на новый 1763 год *желати* — *показати* (с. 36), во второй оде 1763 г. *проникнути* (с. 40), в оде 1769 г. *гремѣти*, *упасти*, *ратовати* (с. 57, 58), в Письме В. И. Бибикову *стенати* (с. 100), в Письме графу З. Г. Чернышеву *побѣждати* — *разсуждати* (с. 102), в оде 1772 г. *чувствовати*, *рыдати*, *покорствовати*, *искати* (с. 114, 116), в оде 1773 г. *продолжати* (с. 123), в оде 1774 г. *сіяти*, *являти* (с. 131), в оде 1775 г. *смуцати* — *возвращати* (с. 139). Свободная вариативность этих форм, их стилистическая эквивалентность подчеркивается тем, что они могут употребляться как однородные члены, ср. в оде 1767 г. *разить* и *побѣждати* (с. 41), в оде 1769 г. *карати* и *процать* (с. 57). Такую же картину можно наблюдать в трагедии Майкова «Агриопа», ср. здесь: *стояти* (Майков 1787, 14), *вѣщати* — *защитати* (с. 48), *вооружати* — *одержати* (с. 53).

Конец славянорусского синтеза приводит к исчезновению такого рода практики. Стилистическое использование формы на *-ти* как показателя высокого стиля оказывается неприемлемым для «нового слога» наряду с другими элементами этого рода. Поскольку генетическая характеристика грамматических элементов вновь оказывается актуальной, формы на *-ти* квалифицируются как славянизм, который подлежит полному устранению, так как не несет никакой содержательной нагрузки. Вяземский специально говорит об этих формах в фонвизинском переводе «Иосифа» Битобе, рассматривает их как «так-называемые славянизмы» и уподобляет их «карикатурным лицам французских водеви-

лей, которыя, подделываясь под Итальянцев, пестрят свой французский разговор словами *perchgi, ogiè*, и так далее» (Вяземский, V, 38). Такая оценка предрешает судьбу данных форм. Не находит развития и сумароковская практика употребления инфинитива, поскольку сумароковская традиция в целом не имеет самостоятельного продолжения, не зависимо от «нового слога». Это и приводит к утверждению современных норм употребления инфинитива. Для светской словесности этот процесс завершается, видимо, уже в первой четверти XIX в. (см.: Шапиро 1964, 148 сл.).

4. Осмысление форм инфинитива и их нормализация

Процессы изменения в восприятии форм инфинитива и в особенности их нормализации в новом языковом стандарте XVIII в. отражаются в грамматических сочинениях и филологических трактатах. Понятно, что в церковнославянской грамматической традиции фиксируется исключительно инфинитив на *-ти*. Так обстоит дело, например, в «Донатусе» Дм. Герасимова; в приводимых здесь парадигмах находим формы типа *любити, быти, любитиса, учитиса* и т. д. (см.: Ягич 1896, 568, 571, 572, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 583, 584; Ворт 1983, 113, 131). Полные формы инфинитива кодифицируются и в ряде других великорусских грамматических трактатов. Укажу, например, на русскую редакцию трактата «О осмих частех слова», ср. здесь примеры «необавного изложения» (т. е. инфинитива): «ѣже чести полѣзно, ѣже ѣсти потребно, ѣже играти оуборно» (Ягич 1896, 51). Те же примеры приводятся и в редакции данного трактата по рукописи РГБ, собр. Тихонравова, № 336 (л. 67 об.) с добавлением конструкций с *быти* в приводимых в данной редакции таблицах (л. 80).

Естественно, только форма на *-ти* появляется в славянских грамматиках, созданных на Украине (у Зизания и Смотрицкого), в которых формы на *-ть* трудно ожидать и в силу их отсутствия в украинском. Зизаний кодифицирует инфинитив как «непредѣльный или неубавный образъ» (т. е. наклонение) и в качестве примеров приводит формы *оучити, бити* (Зизаний 1596, л. 52—52 об.); полные формы приводятся и в глагольных парадигмах: *ѡвлѡти, ѡвѡти* (л. 58 об.), *ѡвлѡтиса, ѡвѡтиса* (л. 62), *спасѡти, спастѡти* (л. 64 об.), *спасѡтиса, спастѡтиса* (л. 68) и т. д. Смотрицкий пользуется понятием «неопределенного наклонения» и, давая дефиницию этого понятия, приводит формы *бити, стоѡти* (Смотрицкий 1619, л. Н/6). В грамматике рассматривается и образование форм неопределенного наклонения. Оно основывается на следующем правиле: «Настоѡщее совершѡнны^х / и Прехоѡщи наклонѡнѡ сегѡ составлѡет^{сѡ} ѡ перваго лица прехоѡщаго / наклонѡнѡ из^свѡитѡ^{на} измѡнѡюще / хъ, на / ти: илѡ ѡ третѡго лица / восприѡмѡюще к^с немѡ / ти: ѡкѡ / бѡхъ илѡ / вѡ бити: твѡрѡхъ / твѡри / твѡрити: звѡхъ / звѡ / звѡти: просѡхъ / просѡ / просѡти: вѡдѡхъ / вѡдѡ / вѡдѡти. Схоѡщи^{нѡ} же Прехоѡщи^х на / о^х: Наклонѡнѡ сегѡ настоѡщее и прешѡдшее не по правѡлѡ / но по ѡбѡкѡ составлѡет^{сѡ}: ѡкѡ / грево^х / грѡсти: стрѡго^х / стрѡщи: ведѡхъ / вѡсти: гризохъ / гристи: текѡхъ / тещи: сопохъ / сопти: несѡхъ / нести: плѡтохъ / плѡсти: сице чтохъ / чѡсти, ѡкѡвы ѡ неѡвѡчна чѡтохъ: вѡгохъ / вѡчи: и рѡчал ѡкончѡнѡи си^х подѡвѡтѡ» (1619,

л. О/4—4 об.). Исключительно полные формы инфинитива встречаются и в приводимых Смотрицким глагольных парадигмах, ср.: **честїи**, **читати**, **прочестїи** (л. О/7 об.—8), **твори́ти**, **твори́ти**, **сотвори́ти** (л. С/2) и т. д. Любопытно, что у Смотрицкого инфинитив предлагается образовать от специфически книжных форм аориста, т. е. нужно произвести форму, так или иначе известную из разговорного употребления, от форм, знакомство с которыми целиком определяется читательским опытом носителя языка. Этот способ ориентирован, таким образом, на церковнославянскую образованность: церковнославянский выступает в нем как самодостаточный книжный язык, не соотносящийся с разговорным языком его пользователей.

Московские издания Смотрицкого не вносят в предложенную им кодификацию практически никаких изменений. В них воспроизводятся те же формы, что и в первом издании грамматики, и дается то же правило образования инфинитива (Смотрицкий 1648, л. 252 об.—253; Смотрицкий 1721, л. 172 об.). К мелким изменениям относится замена в издании 1721 г. формы **вѣчи** на **вѣщи** (1721, л. 172 об.); редактировавший это издание Ф. Поликарпов, видимо, воспринял кодифицированную Смотрицким искусственную форму как неправильную и не книжную (по аналогии с **течи**) и заменил ее на не менее искусственное, но выглядящее более книжным образование (по аналогии с **тещи**). Понятно, что и в собственных грамматических сочинениях Поликарпова в качестве книжных кодифицируются исключительно полные формы инфинитива. В «Технологии» 1725 г. Поликарпов повторяет дефиницию Смотрицкого и вслед за ней приводит сходные примеры: **вїти**, **любїти**, **стояти** (РНБ, НСРК F 1921.60, 48; Бабаева 2000, 262). В согласии со Смотрицким описывает он и образование инфинитива: «**Нѣупредѣленнагѡ наклонѣнїя настоящеѡ совершенныхъ, и4 преходящеѡ, Ѡкбѡдѡ раждаѣтся; Раждаѣтся Ѡ первагѡ лица преходящагѡ наклонѣнїя и4звѣстна и4змѣняюще хъ на ти, и4ли Ѡ третїагѡ лица воспрїемлюще к' немѡ тї, ѡкв: вїхъ, вї, вїти, твори^х твори, твори́ти, звѡхъ, звѡ, звѡти, проси^х просї просїти, вїдѣхъ вїдѣ, вїдѣти**» (с. 113; Бабаева 2000, 296). Полные формы даются и в приводимых у Поликарпова примерах, ср., в частности: **мощї**, **тещи** (с. 122; Бабаева 2000, 300). Поликарпов при этом противопоставляет полные формы инфинитива книжного языка усеченным формам «великороссийского диалекта» (см. ниже). Точно так же лишь инфинитив на **-ти** дается в грамматике Ф. Максимова (см.: Максимов 1723, 35, 39, 45, 55, 60—64)³⁹.

Понятно, что грамматическая кодификация книжного языка ориентирована на стандартные церковнославянские тексты и призвана обеспечивать неукоснительное соблюдение книжной нормы в этих текстах. Гибридный регистр по своей природе не подлежал кодификации, и те различия в статусе старых и новых инфинитивных форм, которые отражались в динамике гибридного узуса, не

³⁹ Правило образования инфинитива (неопределенного наклонения) излагается у Максимова следующим образом: «**Ѡ и4звѣстнагѡ лица третїагѡ преходящихъ, съ приложѣнїемъ / тї / составляѣтся: вїхъ / вї / вїти, твори / твори́ти. Иногдаже не по правнѡ, но по ѡвыковѣнїю, ѡкв: гревѡхъ / гревїти, чтѡхъ / честїи, и прѡчѡ**» (Максимов 1723, 55). Зависимость от Смотрицкого в данном случае так же очевидна, как и у Поликарпова.

могли найти никакого выражения в церковнославянской грамматической традиции. Инфинитив на *-ть* мог рассматриваться и как ненормативный вариант, и как коррелят, свойственный некнижному языку; при любой точке зрения ему не было места в нормативной грамматике славянского языка. Принципиально иначе обстоит дело в грамматиках русского языка: та или иная фиксация форм инфинитива должна соответствовать тем различиям в понимании их статуса, о которых говорилось выше, и тем самым косвенно отражать особенности их употребления в гибридных, деловых и бытовых текстах.

Лудольф в своей грамматике, очевидно, не ассоциирует различия в формах инфинитива на *-ти* и на *-ть* (равно как и в других формах инфинитива) с противопоставлением книжного и некнижного языка. В списке отличий славянского от русского упоминание об инфинитиве отсутствует. Что же касается приводимых Лудольфом примеров, то здесь наблюдается смешение разных форм. В основном встречаются формы на *-ть* (у Лудольфа *-тъ*), за исключением, впрочем, тех случаев, когда *-ти* находится под ударением. Формы на *-ть* указываются в качестве исходных в описании глагольного словоизменения, ср.: «Prima Conjugatio est cuius Infinitivus definit in **ат**. vel **ѡт**» (Лудольф 1696, 29); «Quae in Infinitivo definunt in **затъ**...» (там же); «Secunda Conjugatio, cuius Infinitivus plerumque definit in **итъ**» (там же, 31); «Quae in Infinitivo definunt in **внтъ**, **внтъ** & **пнтъ**...» (там же, 32); «Quae in Infinitivo definunt in **днтъ**...» (там же, 32); «Quae in Infinitivo definunt in **снтъ**...» (там же, 32) и т. д. Эти же в основном формы представлены и в списке глаголов с указанием форм инфинитива, презенса и претерита, ср. здесь: **бежатъ**, **бра^т**, **вза^т**, **видѣ^т**, **вставатъ**, **дава^т**, **доставатъ**, **жи^т**, **забыватъ**, **закрытъ** и т. д. (там же, 36—39). Равным образом и в других лингвистических примерах доминируют формы на *-ть*, ср.: **пытатъ**, **питатъ** (с. 8), **зва^т**, **бы^т** (с. 14), **веманитъ**, **ѡмыватъ** (с. 26), **подковатъ** (с. 55) и т. д. Однако во всех этих случаях появляются и формы на *-ти*. Так, в парадигме глагола *быти* инфинитив дается в форме **быти** (с. 29), а в описании глаголов, которые «in Praesenti г҃ъ vel к҃ъ habent», наряду с инфинитивом **сожечъ**, указывается **течи** и **попечи сѡ** (с. 35). В списке глаголов находим инфинитивы **веречи сѡ**, **мочи**, **пѣти**, **сечи**, **течи**, **ѡмрѣти** (с. 36—39; наряду с формами **ити**, **наити**, **понести**, **привѣсти**, **рости** и т. д., где *-ти* стоит под ударением). Среди лингвистических примеров обнаруживается **имѣти**, **быти** (с. 28), **быти** (с. 63) и т. д. Можно думать, что Лудольф по большей части фиксирует известное ему разговорное употребление и этим объясняется доминирующее положение инфинитивов на *-ть*; в ряде случаев, однако, он приводит старые формы, не рассматривая их, по всей видимости, как специфическую примету книжного языка.

Такая же в целом картина и в латинской грамматике Копиевича: формы инфинитива на *-ти* выступают у него рядом с формами на *-ть* как возможные варианты. Видимо, он, как и Лудольф, не рассматривает формы на *-ти* как маркированный признак книжного языка и в этом плане примыкает к той традиции русской книжности, в которой различие в формах инфинитива не несло никакой функциональной нагрузки. В отличие от Лудольфа, однако, у Копиевича преимущественно употребляются формы на *-ти*, ср.: **любити** (Копиевич 1700, 176), **любитисѡ** (с. 189), **оучити** (с. 197), **оучитисѡ** (с. 212), **научитисѡ** (с. 212), **честити** (с. 220), **читати** (с. 220), **слышати** (с. 253), **слышатисѡ** (с. 265), **быти** (с. 265,

273 [bis]). Формы на *-ть* появляются как варианты, ср.: **ВОЗЛЮБИТЬ** и **ВОЗЛЮБИТИ** (с. 177), **СЛЫШЕТЬ** и **СЛЪХАТИ** (с. 253). Преимущественное употребление форм на *-ти* объясняется тем, что Копиевич — в отличие от Лудольфа — не ставит перед собою задачи описать разговорное употребление и не ориентируется на него. Для Копиевича важно дать понятные эквиваленты латинских форм, эти эквиваленты он по большей части ищет у Смотрицкого, устраняя лишь маркированно книжные элементы (такие, как простые претериты; впрочем, и это он делает непоследовательно). Инфинитивы на *-ти* он так не воспринимает и не стремится ограничить их употребление. В этих условиях ориентация на славянскую грамматическую традицию отражается в доминирующем положении форм на *-ти*. Русская грамматика Копиевича почти не дает грамматического материала. Приводится лишь парадигма глагола *быти*, и инфинитив здесь дан в форме **БЫТИ** (Копиевич 1706, л. С3 об., С4). Показательно, однако, что в разговорнике, приложенном к этой грамматике, в основном встречаются формы на *-ть*, ср.: **СПАТЬ** (л. D3, D4), **ДѢЛАТЬ** (л. D3, D4 об.), **ТВЕРДИТЬ** (л. D3), **ПОЧИВАТЬ** (л. D3), **ВСТАТЬ** (л. D3 об.), **ОБѢДАТЬ** (л. D6), **ЕСТЬ** (л. D6), **ПИТЬ** (л. D8); см., однако, и здесь: **ОУЧИТИСЯ** (л. D6 об.).

Ориентация на славянскую грамматическую традицию при выборе формы инфинитива особенно выразительно проявляется в грамматике Глюка (ГИМ, Син. 735, см. издание: Кайперт, Успенский, Живов 1994). Формы на *-ть* здесь вообще отсутствуют, их нет ни в парадигмах, ни в синтаксических примерах. Так, мы находим здесь: *битися* (л. 71), *блѣти* (л. 51 об.), *быти* (л. 44 об., 49, 53, 57, 61, 64 об., 69, 70 об.), *ворчати* (л. 47), *говорити* (л. 55), *гоготати* (л. 47), *гуляти* (л. 69), *дыхати* (л. 47), *дѣлати* (л. 45 об., 46 об.), *дѣлатися* (л. 49), *жити* (л. 70 об.), *заколоти* (л. 58), *изв^оразити* (л. 55), *именовати* (л. 47), *имѣти* (л. 51 об.), *квакати* (л. 47), *колоти* (л. 59), *колотися* (л. 61), *кракати* (л. 47), *кричати* (л. 47), *любити* (л. 54, 55), *любитися* (л. 57), *молчати* (л. 69), *мудрствовати* (л. 47) и т. д. Инфинитив на *-ти* образуется от глаголов самых разных семантических и стилистических параметров. При сравнении с Копиевичем очевидно, что Глюк проводит последовательную нормализацию форм инфинитива и, не рассматривая форму на *-ти* как признак старого книжного языка, именно ее и избирает в качестве нормативной, поскольку именно ее он находит в церковнославянской грамматической традиции.

Напротив, практически только формы на *-ть* фиксируются в грамматике Ивана Афанасьева 1725 г. (Harvard University, The Houghton Library, Kilgour, MS Russ 5; см. о ней: Демкова 1979; Успенский 1989). Формы на *-ть* находим здесь в глагольных парадигмах (ср. *иметь* с. 31, *пребывать* с. 34, *любить* с. 37, 41) и в списке глаголов под тематической рубрикой «О ѳченїи» (*ѳчить*, *ѳчиться*, *читать*, *писать*, *подписыватся*, *складыва^т*, *згѣбать*, *запечатывать*, *подписывать*, *поправлять*, *вычернѣвать*, *переводить*, *начѣнать*, *проходить*, *прѣводить* — с. 65). Однако в парадигме «страдательного» глагола инфинитив дан в форме *любѣтєся* (с. 48), что объясняется, видимо, искусственностью формы; автор берет ее не из живого употребления, а из грамматической традиции (он мог заимствовать ее хотя бы из латинской грамматики Копиевича). Таким образом, и для Афанасьева противо-поставление рассматриваемых форм остается нерелевантным (доминирующее положение форм на *-ть* обусловлено теми же факторами, что и у Лудольфа).

Четкая формулировка, противопоставляющая формы инфинитива на *-ть* и на *-ти* как русское и церковнославянское, впервые появляется в грамматике Сойе. Это противопоставление является единственной оппозицией, которую Сойе добавляет к списку различий между русским и церковнославянским, который он заимствует у Лудольфа. Сойе пишет: «L'Infinitif dans la langue Esclavonne se termine en и, et dans la dialecte en ь, qui en fait la difference, comme читать lire, вѣрить croire» (Сойе, I, 130). В соответствии с этой установкой Сойе употребляет исключительно инфинитив на *-ть*. Это относится и к парадигмам (ср.: *быть* там же, 149, *имѣть* с. 158, *знать* с. 169, *цѣнить* с. 179, *ночевать* с. 189, *резать* с. 196, *любить* с. 204 и т. д.), и к указаниям словоизменительных типов, и к синтаксическим примерам, и к русскому предисловию (ср. в последнем: *приписать* л. А об., *слышать*, *полѣчить*, *выразѣть* л. В об. и т. д.). Такое употребление содержит в себе, видимо, элемент сознательной нормализации, поскольку инфинитив на *-ть* последовательно предпочитается инфинитиву на *-ти* и в случае глаголов, в которых *-ти* стоит под ударением; судя по примерам, это вряд ли объясняется только ориентацией на реальное разговорное употребление, ср.: *несть* (с. 333), *вѣсть* (с. 337), *рость* (с. 349).

Интересно отметить, что в эти же годы различие в формах инфинитива соотносится с противопоставлением русского и церковнославянского языков и в уже разбиравшейся выше «Технологии» Ф. Поликарпова 1725 г. В этом трактате описывается церковнославянский язык и, как уже говорилось, фиксируется только инфинитив на *-ти* (или *-ци*). Однако здесь приводится и спряжение глаголов «**во ѿвѣщѣмъ великороссійскомъ діалѣктѣ**», причем указывается, что не во всех формах «**тойжде... ѿбразъ хранѣтса, ꙗко^{же} ѿ в' славѣнскомъ**» (с. 123; Бабаева 2000, 300). В приводимой «великороссийской» парадигме инфинитив выступает в форме на *-ть*: приводится «неопределенное настоящего и преходящего» **писать** и «неопределенное прешедшего и будущего» **написать** (с. 126—127; Бабаева 2000, 303). Естественно, что в традиции, связанной с книжной справой и ориентированной на грамматическую нормализацию, противопоставление *-ти* и *-ть* рассматривается как признак, противопоставляющий грамматически обработанное и грамматически необработанное употребление. Можно полагать, что именно таким восприятием обусловлена высокая пропорция инфинитивов на *-ти* в текстах гражданского наречия, издававшихся под присмотром Поликарпова (таких, как «География генеральная»).

Следует отметить, что грамматическая кодификация этого периода не связана непосредственно с языковой практикой. До нормализационных опытов 1730-х годов во всех разновидностях нового узуса присутствует определенное смешение форм на *-ти* и на *-ть*. Последовательное употребление форм на *-ти* в рамках «простого» языка не представлено, оно возможно лишь в грамматически нормализованных церковнославянских текстах; таким образом, тот способ нормализации, который осуществлен в грамматике Глюка и опирается на рецепцию церковнославянской грамматической традиции, в языковой практике не реализуется. Вместе с тем не представлено и последовательное употребление форм на *-ть*, т. е. не реализуется и тот вариант нормализации, который представлен в грамматике Сойе.

Положение меняется, когда в конце 1720-х годов начинаются нормализационные опыты филологов, группировавшихся вокруг Академии наук. Традиция, идущая

щая от Поликарпова, играет существенную роль и в этой нормализации нового литературного языка. Отправной точкой для кодификации нового языкового стандарта является грамматика И. В. Пауса, законченная в 1729 г. — «Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache zum Nutzen Sonderl. der teutschen Nation aufgesetzt». В отличие от М. Шванвитца и В. Адодурова, стремившихся противопоставить новый языковой стандарт церковнославянскому языку, Паус полагал, что «zwey **языки** können jawohl brüder u[nd] 2. Sprachen Schwester[n] werden» (Библиотека Академии наук, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 3 об.). Именно этот подход позволяет Паусу рассматривать элементы разного происхождения как варианты внутри одного «славяно-русского языка», которые он классифицирует, разделяя их на русские и церковнославянские (см. о подходе Пауса: Живов и Кайперт 1996). В число подобных вариантных элементов попадают и формы инфинитива.

Паус фиксирует эту вариативность дважды. В начале грамматики он дает перечень различий русского и славянского, следующий за вопросом о том, «как русские в своем диалекте изменяют славянские слова» (л. 22 об.); по большей части он представляет собой амплифицированную переработку списка Лудольфа. Дополняя Лудольфа, он вносит в перечень пары *быти* — *быть*, *бити* — *бить*, *дати* — *дать*, *писати* — *писать* (л. 23 об.). Во второй раз Паус говорит о данных вариантах в замечаниях о глагольной парадигме. В специальном примечании указывается, что в презенсе и футуруме во 2 л. ед. ч. славянским окончаниям *-иши*, *-иши* соответствуют русские *-ишь*, *-ишь* (л. 104), и здесь же отмечается, что, так же, как во 2 л. ед. ч., славянское *и* переходит в русское *ь* в инфинитиве.

Враждовавшие с Паусом Шванвитц и Адодуров, а затем и ТрEDIAKОВСКИЙ строят свою языковую программу на совсем иных основаниях, полемически противопоставленных паусовским. Тем не менее, утверждая, что русский не должен иметь ничего общего с церковнославянским, они конструируют оппозицию этих двух языков из тех элементов, которые были выявлены Паусом. Они могут пересматривать паусовские решения, но эти решения остаются для них стартовой площадкой языкового строительства. «Хотя Паус и пишет славяно-русскую грамматику, соединяющую описание русского и церковнославянского, эта грамматика лежит у истоков формирования академической традиции описания русского языка как языка, противопоставленного церковнославянскому» (Живов и Кайперт 1996, 24).

Адодуров, видимо, рассматривает инфинитив на *-ти* как — в рамках нового языкового стандарта — ненормативный вариант. Поэтому в своем Очерке русского языка в образцовых парадигмах он дает только формы инфинитива на *-ть*, ср здесь: *быть*, *бывать*, *имѣть*, *дѣлать*, *вѣрить* (Адодуров 1731, 41—44). Такая нормализация особенно знаменательна на фоне употребления инфинитивов в Вейсмановом лексиконе, к которому приложен грамматический очерк: в Лексиконе основной формой является инфинитив на *-ти*, а инфинитив на *-ть* выступает как относительно редкий вариант (см. выше). Относительно инфинитивов на *-ти* в Очерке сказано следующее: «In dem Lexico hat man den Infinitivum gemeinlich auf и als читати lesen, ausgehend gesetzt, dahingegen endiget sich bey vorhergehenden Paradigmatis der Infinitivus auf ь als дѣлать machen. Es ist deswegen zu wissen, daß alle Verba das ь im Infinitivuo, (...) auch in der 2. Persona Futuri

Indicatiui und endlich auch beym Futuro Participi mit и verändern, wenn solches die Gelegenheit, als in Versen, erfordert. In Schreiben und Reden jedoch ist die Contractio mit ь dem andern vorzuziechen. Exempel davon sind дѣлати an statt дѣлать machen (<...> буду дѣлати an statt буду дѣлать ich werde machen, имущій дѣлати an statt имущій дѣлать einer der da machen wird» (там же, 44). Варианты на *-ти* трактуются, следовательно, как поэтическая вольность.

Впрочем, последовательность событий на этих начальных этапах выработки нормализационных решений остается не совсем ясной. Паус дописал свою грамматику в 1729 г., однако академические переводчики, как показывают «Примечания к ведомостям» (см. выше), в это время были уже активно заняты нормализацией. Идея нормализации могла у них появиться, конечно, независимо от Пауса, поскольку сама эта идея была частью ориентированного на Европу просветительства. Однако «Очерк» Адодурова в ряде частных деталей демонстрирует зависимость от грамматики Пауса (Живов и Кайперт 1996). Не ясно, означает ли это, что и идея нормализовать формы инфинитива на *-ть*, реализованная в «Примечаниях» 1728 г., развилась также под влиянием Пауса (например, более ранних вариантов его грамматики, не дошедших до нас, но сделавшихся тем или иным путем известными академическим филологам). Дело осложняется тем, что нормализационное решение, принятое в 1728 г., не проводилось последовательно теми самыми филологами, которыми оно было принято. Мы уже говорили о том, что ему не соответствует узус Вейсманова лексикона, приложением к которому был «Очерк» Адодурова. Возможно, такая ситуация возникла из-за того, что перевод Лексикона был подготовлен раньше, чем нормализационное решение делалось общей позицией академических филологов, или в этой подготовке участвовал кто-то из переводчиков, кто с принятым решением считаться не хотел. Выяснить это не представляется возможным, но сложности этим не исчерпываются.

В 1730 г. выходит из печати первое издание «Немецкой грамматики» М. Шванвитца, в то время ближайшего сотрудника Адодурова и, возможно, соавтора приписываемого Адодурову «Очерка» 1731 г. В формах инфинитива в этом издании «Немецкой грамматики» сохраняется вариативность того же типа, что и наблюдавшаяся нами у Лудольфа или Афанасьева. Эта вариативность соответствует той языковой практике, с которой мы сталкиваемся в «Кратком описании» 1728 г., в подготовке которого Шванвитц, возможно, принимал какое-то участие. Нормализация здесь по существу отсутствует, ср., например, соответствия трем формам немецкого инфинитива: *имѣть*, *имѣть было*, *имѣвшему быти* (Шванвитц 1730, 227), *быть*, *быть было*, *будущему быти* (с. 231), *хвалить*, *хвалити было*, *впредь похвалить* (с. 247), *похваленнымъ быть*, *похваленному быти*, *хвалящему быти* (с. 257), *умрѣти*, *умрети было*, *впредь умрети* (с. 263 — в той же парадигме, однако: *ты долженъ умрѣть*). В других частях грамматики та же вариативность может иметь иной характер. Так, в списке модальных глаголов приводятся только формы на *-ть* и *-чь* (*мочь*, *долженствовать*, *хотѣть*, *должнымъ быть*, *смѣть*, *обыкнуть* — с. 265), однако в парадигмах этих глаголов могут появляться другие формы, ср.: *мощи*, *мощи было*, *впредь мощи* (с. 273). Инфинитив на *-ть* занимает доминирующее положение и в тексте грамматики, и в списке неправильных (немецких) глаголов; в последнем на более чем сто форм на *-ть* прихо-

дится лишь одна форма на *-ти* (*принуждати* — с. 325), ср. здесь еще вариацию *плесть* (с. 307) и *плести* (с. 325). Большое количество форм на *-ти* в парадигмах может быть объяснено тем, что, создавая искусственные эквиваленты многочисленным немецким глагольным формам, Шванвитц ориентируется на грамматическую традицию (в частности, на Смотрицкого). Однако это обстоятельство никак не отменяет того факта, что Шванвитц игнорирует нормализационное решение, которое должно было быть принято с его участием.

Далее, 1730 год — это год публикации «Езды в остров любви» Третьяковского. Третьяковский к нормализационным решениям академических филологов отношения не имел, поскольку в 1728—1729 гг. отсутствовал из России. Однако, вернувшись в Россию, Третьяковский сразу же осваивает ту нормализационную установку, которая была выработана в Академии (именно поэтому, надо думать, в прозаическом тексте «Езды в остров любви» употребляются исключительно инфинитивы на *-ть* — см. выше). В идеологическом плане это вполне понятно, поскольку Третьяковский был адептом той же программы просвещенной европеизации, которой придерживались в Академии, и замыслил взять на себя одну из ведущих ролей в проведении соответствующей академической политики. Одновременно он следует и вполне конкретным нормализационным решениям, а отсюда следует, что эти решения уже были приняты и апробированы академическим сообществом. Именно с этим сообществом он и вступает в диалог, в результате которого то употребление инфинитивов на *-ти* в качестве поэтической вольности, которое реализовалось в «Езде в остров любви», было усвоено (как показывает «Очерк» Адогурова) академической программой. Ученые переводчики делают здесь шаг навстречу литературе, а литература тем самым получает (в соответствии с европейской практикой) статус источника для формирования языкового стандарта. При таких обстоятельствах кажется совершенно непонятным, почему в 1730 г. появляется «Немецкая грамматика», а в 1731 г. Вейсманов лексикон, остающиеся не затронутыми принятыми в Академии нормализационными решениями.

Я не берусь решить эту головоломку, картина в любом случае остается неясной. Однако эта неясность характеризует лишь довольно краткий период. В 1732—1733 гг. академическая нормализация оказывается общепринятой — понятно, в рамках того очень узкого круга писателей и филологов, которые были связаны с издательской деятельностью Академии (напомню, что Академическая типография была единственным издательством, печатавшим нецерковнославянские книги). В 1733 г. здесь принимается решение о правописании прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа, которое может рассматриваться как компромисс между нормализованной языковой практикой «Примечаний к ведомостям» и нормализованной языковой практикой Третьяковского (см. § IV.3.2). В 1734 г. выходит второе издание «Немецкой грамматики» Шванвитца, исправленное Адогуровым.

Если в первом издании «Немецкой грамматики» 1730 г. форма на *-ти* выступает как допустимый вариант при основном варианте на *-ть*, то во втором издании все формы на *-ти* устраняются. Это относится как к примерам, встречающимся в тексте, так и к формам в глагольных парадигмах. Ср. для первого случая: *право глаголати и писати* → *чисто говорить и прямо писать* (Шванвитц

1730, 3/1734, 3), *происходити* → *происходить* (с. 319/301), *путешествовати* → *путешествовать* (с. 325/301), *принуждати* → *принуждать* (с. 325/301), *познавати* → *познавать* (с. 337/301), *надѣятися* → *надѣяться* (с. 361/329), *потѣти* → *потѣть* (с. 383/355), *боятися* → *бояться* (с. 383/355). Та же ситуация в парадигмах: *будущему быти* → *быть впредь* (с. 231/183), *хвалити было* → *хвалить было* (с. 247/197), *похваленному быти* → *быть было похвалено* (с. 257/209), *умрѣти было* → *умереть было* (с. 263/219), *умрѣти впредь* → *умереть впредь* (с. 263/219), *рѣзати* → *рѣзать* (с. 283/243) (см.: Рязанская 1988). Адодуров, таким образом, последовательно проводит в своих исправлениях те нормы, которые зафиксированы в его «Очерке» и становятся теперь элементами конструируемого в Академии языкового стандарта.

Конструирование языкового стандарта первоначально было занятием академических переводчиков, переведивших в основном естественнонаучные трактаты и потому с «изящной» литературой не связанных. Между тем в формировании языковых стандартов в Западной Европе одним из основных критериев нормализации было наличие той или иной формы, оборота или конструкции у образцовых авторов. Вернувшийся из Франции Третьяковский претендует именно на то, чтобы его литературная продукция (как зародыш новой «европейской» литературы в России) взяла на себя эту роль источника языковой нормы. Говоря о поэтических вольностях в стихотворстве 1730—1740-х годов, Г. О. Винокур замечает: «Основной исторический смысл явления “вольностей” заключается в том, что в нем обнаружилось серьезное противоречие между процессом развития общенационального языка и интересами стихотворной литературы: ради этих интересов писатели, стремившиеся полностью освободить литературу от церковнославянского языка, вопреки своим собственным стремлениям, удерживали в стихотворном языке церковнославянские формы» (Винокур 1959, 129—130). На данное явление можно взглянуть и совсем иным образом. Мы имеем здесь дело не с «противоречиями» во взглядах первых русских поэтов, а с результатом приспособления формировавшегося вне литературы языкового стандарта к задачам литературного сочинительства.

Именно в силу этого трактовка инфинитивов на *-ти* как поэтических вольностей, намеченная уже в «Очерке» Адодурова (принявшего тем самым претензии Третьяковского), оказывается развитием академических нормализационных идей. Содержанием поэтических *licentiae* оказываются те элементы, которые нормализация делает ненормативными; в этом смысле поэтические вольности предполагают существование лингвистического стандарта. Стремление сохранить в поэтическом языке формы инфинитива на *-ти* вполне объяснимо, поскольку в русской силлабике эти формы использовались для наиболее распространенной глагольной женской рифмы. В соответствии с литературными задачами и с собственной литературной практикой и Третьяковский, и Кантемир вводят инфинитив на *-ти* в состав поэтических вольностей. Третьяковский в «Новом и кратком способе» пишет: «Глаголы второго лица числа единственного, могут кончиться на *ши*, вместо *шь*; так же и не определенные на *ти*, вместо на *ть*. Например: *пишеши*, вместо *пишешь*, и: *писати*, вместо *писать*» (Третьяковский 1735, 16/1963, 377). Ему вторит Кантемир в «Письме Харитона Макентина» (хотя этот трактат представляет собою полемику с Третьяковским): «Можно в

глаголах второе лицо единственного числа кончить на *ши* вместо на *шь*, и неопредельные на *ти* вместо на *ть*; например, *пишеши* вместо *пишешь*, *читати* вместо *читатьь*» (Кантемир 1744, 23/II, 20). Общий контекст рассуждений Третьяковского и Кантемира позволяет считать, что статус ненормативности осмысливается здесь уже как производное от генетической характеристики: *-ти* ненормативно, поскольку является «славенским».

О том, что в этот период такая генетическая характеристика инфинитиву на *-ти* приписывалась, свидетельствуют словари Татищева. В. Н. Татищев был в интересующем нас процессе формирования языкового стандарта весьма показательной фигурой. В том очень узком круге людей (исчислявшемся несколькими десятками), которые участвовали в этом процессе, Татищев занимал периферийное положение. В отличие от академических филологов он не принадлежал к числу активных создателей этого стандарта, но зато был активным потребителем академической продукции. Он был тем редким (в 1730-е годы) человеком, на которого воздействовал процесс распространения нового языкового стандарта (хотя, как показывает его своеобразная орфография, он осваивал этот стандарт критически). Это воздействие сказывалось, в частности, в том, что в собственной языковой практике 1730—1740-х годов он употреблял исключительно новые формы инфинитива (от глаголов с ударением на основе, в том числе и от возвратных).

Осваивал он и тот категориальный аппарат, которым пользовались академические филологи, и прежде всего основанное на генетических параметрах противопоставление «русского» и «славенского». Об этом и свидетельствуют его словари, в которых он пользуется пометами с соответствующими генетическими характеристиками (см.: Живов 1996, 191—194). В этих словарях в числе пар, снабженных пометами, встречаются и такие, в которых оппозиция образуется разными формами инфинитива, ср.: *знать* — *знати*, *есть* — сл. *ясти*, *лить* — сл. *лити* и т. д. (Аверьянова 1957, 55, 59, 66; Аверьянова 1964, 102, 123, 166). Впрочем, оппозиция таких форм не дана последовательно, и обычно инфинитив в словарях дается в форме на *-ти*, что, надо полагать, связано с работой помощников Татищева, пользовавшихся церковнославянскими лексикографическими пособиями. Об этом же восприятии говорит и та правка, которую он вносит во вторую часть своей «Истории Российской». Первоначально эта часть была написана на «древнем наречии» (т. е. на «славенском» языке), воспроизводившем язык использованных Татищевым летописей (Татищев 1962, 38—39). Затем, сообразив, что это наречие «не всякому вразумительно», он был «принужден всю ее в настоящее наречие преложить» (там же, 91). Это переложение, состоявшее в грамматической правке, заключало в себе и замену старых форм инфинитива на новые, ср.: «...помыслиша создати → *помыслили создать* столп до облак»; «но велели впрячи → *впрячь* три, четыре или пять жен»; «урок положили никому оной не преступати → *преступать*» (Запольская 1999, 134—136). Можно видеть, таким образом, как в языковом сознании утверждается восприятие старых форм с безударным показателем инфинитива как особенности церковнославянского языка, неуместной в новом языковом стандарте.

С распространением славянизирующего пуризма с конца 1740-х годов (см. об этом процессе: Живов 1996, 265—368) нужда в поэтических вольностях как спо-

собе легализации славянизмов отпадает, однако «славенское» *-ти* не получает вновь статуса полноправного варианта, а, напротив, полностью исчезает из репертуара обсуждаемых элементов вместе с самим разрядом поэтических вольностей как особой лингвистической рубрикой. Печать ненормативности, полученная инфинитивом на *-ти* в 1730-е годы, оказывается важнее для последующего этапа нормализации, чем «славенское» происхождение. О «славенском» происхождении формы на *-ти* ТрEDIAКОВСКИЙ говорит эксплицитно, рассматривая ту «разность, которая находится у нашего [языка] с славенским» и приводя в качестве одного из пунктов оппозицию *пити* — *пить* (ТрEDIAКОВСКИЙ 1748, 300/III, 203); тезис о единстве природы русского и «славенского» эту форму, однако, не спасает. Во всяком случае инфинитив на *-ти* устраняется из языковой практики ТрEDIAКОВСКОГО (см. выше), а новая оценка данной формы появляется лишь в теоретической полемике, когда ТрEDIAКОВСКИЙ упоминает «некоторые народные и стихотворческие вольности, каковы суть сии: *иль*, вместо *или*; *спать*, вместо *спати*» (ПЕКАРСКИЙ 1865, 106; в главе о поэтических вольностях в переиздании «Нового и краткого способа» 1752 г. об этом не упоминается: ТрEDIAКОВСКИЙ 1752, I, 141—142).

Тем временем академическая грамматическая традиция, созданная первыми кодификаторами нового языкового стандарта, продолжала развиваться и утверждаться временем. Адодуrowsкая нормализация отражается и в грамматике Гренинга (Гренинг 1750). Пассаж о возможности употребления форм на *-ти* в специальных случаях у Гренинга не воспроизводится (поскольку для раздела о глаголе «Очерк» Адодуrowа вообще не является основным источником), и — при сплошной нормализации форм на *-ть* — не остается даже намек на существование форм на *-ти*. В этом плане, видимо, грамматика Гренинга должна отличаться от не дошедшего до нас раздела «Русской грамматики» Шванвицца, посвященного глаголу. Формы на *-ть* последовательно фиксируются у Гренинга в орфографической части, восходящей к орфографическому трактату Адодуrowа 1738—1739 гг., ср. здесь: *грѣшитъ, душитъ, слышатъ, свѣтитъ, стучать, кричать, мучить, плакать* и т. д. (Гренинг 1750, 20—21; они в целом повторяют примеры Адодуrowа — см. Успенский 1975, 104). Только формы на *-ть* находим и в глагольных парадигмах (ср.: *быть, бывать, имѣть, дѣлать, хвалить, ѣсть* — Гренинг 1750, 133—141), и во всех рассуждениях о глагольном формо- и словообразовании. Нормализация распространяется здесь и на формы тех глаголов, у которых *-ти* в инфинитиве стоит под ударением, ср.: *грестъ, скрестъ, вестъ* [веду], *брестъ, прястъ, вестъ* [везу], *полстъ* [ползу], *нестъ, пастъ, трястъ, местъ, плестъ, цѣвстъ* (с. 146, 147, 148, 151, 157, 158; ср., однако: *итти*, с. 148 — не *итить*).

Эта нормализация распространяется и на «переводные» грамматики. Это прежде всего относится к «Немецкой грамматике» Шванвицца 1734 г., отредактированной Адодуrowым, о которой говорилось выше. В ее переиздании 1745 г. (Шванвицц 1745) никаких изменений в формы инфинитива не вносится. Однако следует говорить, видимо, не только об этой грамматике, но о всей академической традиции в целом. Так, только инфинитивы на *-ть* встречаются в изданном Академией «Сокращении латинской грамматики», ср. здесь в парадигмах: *быть* (Сокращение 1746, 106), *любить* (с. 109), *увѣщевать* (с. 114), *учить* (с. 116), *чи-*

тать (с. 122), *говорить* (с. 126), *слушать* (с. 129); то же самое в тексте и примерах: *писать* (с. 1), *выговорить* (с. 2), *ставить* (с. 3), *находить* (с. 5), *любить* (с. 101), *быть* (с. 101) и т. д.

На фоне этой академической традиции должны рассматриваться и грамматические труды Ломоносова. Ломоносов продолжает то же направление нормализации. Он фиксирует в своей грамматике только инфинитивы на *-ть* и на *-чь* (для безударного положения). Только они представлены в парадигмах, ср.: *быть* (Ломоносов IV, с. 132/VII², с. 500), *двигать*, *двинуть*, *двигивать* (с. 135/503), *двигаться*, *двинуться*, *двигиваться* (с. 141/508), *вертѣть*, *вернуть*, *вертывать* (с. 153/319), *показывать*, *показать* (с. 160/525) и т. д. Эти же формы даются как единственно возможные в правилах образования инфинитива, который получается «через перемену ЛЬ на ТЬ, напр.: знаю, знать, знать...» (§ 336 — с. 125—126/494); частные случаи, в том числе когда «ГУ и КУ переменяется в ЧЬ», изложены в последующих параграфах (§§ 338—341 — с. 126—127/495). Что касается глаголов, у которых *-ти* в инфинитиве стоит под ударением, то Ломоносов предусматривает здесь вариативность: «Кончащиеся на БУ, ДУ, ЗУ, ТУ, переменяют последний склад на СТИ или СТЬ, напр.: скребу, скрести или скресть; веду, вести и весть; грызу, грысть; плету, плести и плесть» (§ 337 — с. 126/495)⁴⁰.

Такая нормализация инфинитива вполне намечена уже в материалах к грамматике (Макеева 1961, 134). И в этом случае речь идет именно о нормализации и

⁴⁰ С. П. Обнорский (1953, 181—182) склонен рассматривать эту вариативность как результат совмещения в литературном языке южновеликорусских явлений с северновеликорусскими. Он пишет: «Из наблюдений за распространением данного типа форм [инфинитивов типа *весть*, *несть* и т. д. — В. Ж.] в диалектах можно видеть, что они были чужды севернорусскому наречию, но составляли типическую черту южнорусских говоров и полосы среднерусского наречия, а в границах его — в особенности Московщины. Отсюда понятно, что эти формы явились нормой старого литературного языка и из него уже распространялись по периферии. Литературный язык старшей поры (XVIII в.) знает эти формы в обильном употреблении. Но уже Ломоносов ограничивает нормы литературного употребления этих форм, допуская параллельные варианты их на *-ти*, варианты севернорусского типа» (там же, 181). Правдоподобнее, однако, что Ломоносов ориентируется на языковую практику академических авторов, в которой присутствовала подобная вариативность, и совмещает в своем решении две грамматических традиции — ту, которая фиксировала инфинитив на *-сть*, и ту, которая фиксировала инфинитив на *-сти*. Такое комбинирование не раз наблюдается в его грамматике, тогда как какая-либо сознательная ориентация на севернорусские говоры или отталкивание от южнорусских нигде в его филологических построениях не проявляются.

Вряд ли следует приписывать это решение особой «научной прозорливости» Ломоносова, отметившего возможность чередования формы инфинитива на *-ти* и *-ть* именно у глаголов на *-сти*» (там же; ср. еще: Макеева 1961, 134). Ломоносов лишь узаконивает ту непоследовательность, которую он находит в более ранних описаниях русского языка и в академическом узусе. Он не дает здесь четкого описания языковой нормы, а напротив, отказывается от однозначного решения, ограничиваясь несколькими примерами вариативности. При этом примеры подобраны достаточно случайно и не описывают явления в целом, ср. хотя бы не упомянутые у Ломоносова «глаголы на СУ» типа *несу* — *нести*, *пасу* — *пасти* и т. п. В этой связи не ясно, насколько показательным является отсутствие формы на *-сти* у глагола *грызу* — *грысть* и может ли он рассматриваться как представитель всего класса глаголов с инфинитивом на *-сть* и ударением на основе.

о продолжении собственно грамматической традиции, сложившейся в Академии наук, т. е. о пересмотре тех решений, которые фиксировались в более ранних филологических трудах. При этом существенно, что Ломоносов не связывает данное решение с выбором между русским и церковнославянским, т. е. оно никак не вступает у него — в отличие от Тредиаковского — в противоречие с представлением о природном единстве русского и славянского. Для него этот выбор обусловлен требованиями благозвучия. Он полагает, что «свойство нашего Российскаго языка убегать от скучной буквы И, которая от окончания неопределенных глаголов и от втораго лиц. единственнаго числ. давно отставлена, и вместо *писа-ти, пишеши, напишеши*, употребляем, *писать, пишешь, напишешь*» (§ 119 — с. 55/432)⁴¹.

Грамматика Ломоносова оказывает существенное влияние на трактовку инфинитива во всех последующих грамматических трактатах. Некоторые из них просто повторяют ломоносовские формулировки (ср., например: Краткие правила 1784, 170—173)⁴². В предшествующем издании этого пособия ломоносовские правила не воспроизводятся, но прямая зависимость от Ломоносова отчетливо прослеживается в подборе примеров и введении в парадигму трех форм инфинитива. Нормализованы исключительно формы инфинитива на *-ть*, ср. здесь: *быть* (Краткие правила 1773, 45), *двигать, двинуть, двигивать* (с. 48), *вертѣть, вер-*

⁴¹ Подобные же соображения о благозвучии высказываются Ломоносовым и в его эпиграмме на Тредиаковского «Искусные певцы...». Здесь говорится:

Довольно кажут нам толь ясныя доводы,
 Что ищет наш язык везде от *И* свободы.
Или уж стало *иль*; *коли* уж стало *коль*;
Изволи ныне все твердят *изволь*.
 За *спиши спишь*, и *спать* мы говорим за *спати*.
 На что же, Трисотин, к нам тянешь *И* не к'стати?
 (Ломоносов, II, 132/VIII², 542).

В отношении форм инфинитива и 2 лица презенса Ломоносов явно упрекает Тредиаковского без всякого основания, формы же *иль* и *коль* Тредиаковский действительно считает ненормативными («подлыми»). Заменяя в данном случае обсуждение языковых источников русского литературного языка критерием благозвучия, Ломоносов соединяет эти разные примеры в одну рубрику (ср.: Успенский 1984а, 82—84; Успенский, II, 349—350, 352—353, 383).

⁴² Повторяя почти дословно Ломоносова, автор «Кратких правил» 1784 г. делает одно весьма любопытное примечание к тому параграфу, где речь идет о вариантности инфинитивов на *-сть* и на *-сти*. Он пишет: «Слог *СТЬ* есть сокращенной из *СТИ*, и употребительнее в письме» (Краткие правила 1784, 171). Это замечание подтверждает ту интерпретацию этой вариативности, которая была дана в предшествующем примечании. Очевидно, что *-сть* не есть результат ориентации на южнорусские или среднерусские говоры (о распространенности инфинитивов на *-сть* в московском диалекте XVIII в. достоверные данные отсутствуют, и цитировавшееся выше суждение Обнорского ни на какие реальные факты не опирается), это продукт грамматической нормализации достаточно искусственного характера (хотя, возможно, учитывающей появление подобных форм в разговорной речи). Эта искусственность и отражается, можно думать, в том, что инфинитивы на *-сть* свойственны преимущественно письменной речи.

нуть, вертывать (с. 57) и т. д. Та же картина в «Науке русского языка» Н. Г. Курганова, ср. приводимые им примеры: *быть* (Курганов 1777, 30), *двигать, двинуть, двигивать* (с. 32), *двигаться, двинуться, двигиваться* (с. 36), *вертеть, вернуть, вертывать* (с. 37) и т. д. Совершенно аналогичная зависимость заметна и в грамматике Родде, здесь также говорится об образовании трех форм инфинитива (Родде 1773, 79—80), а в парадигмах фиксируются уже знакомые нам примеры: *быть* (с. 86), *двигать, двинуть, двигивать* (с. 95), *вертеть, вернуть, вертывать* (с. 121) и т. д. Вслед за Ломоносовым идет и Е. Б. Сырейщиков, лишь слегка модифицируя набор примеров, ср. здесь: *быть* (Сырейщиков 1787, 25), *посылать, послать, посыловать* (с. 27), *вертеть, вернуть, вертывать* (с. 29). Исключительно инфинитивы на *-ть* фиксируются и в «Сокращенном курсе русского слога» В. С. Подшивалова (1796, 8).

Грамматика Ломоносова послужила основой и для описания русского языка, сделанного Аполлосом Байбаковым. Он дословно повторяет ломоносовские правила образования инфинитива (Аполлос Байбаков 1794, 58), фиксирует в качестве нормы инфинитивы на *-ть* и при этом вводит в парадигму несколько его форм, ср.: *быть* (с. 62), *питать, питывать, напитать* (с. 65), *крестить, крещивать* (с. 74) и т. д. Особенностью книги Байбакова является то, что в ней описывается и русский, и церковнославянский (в описании последнего Байбаков ориентируется на Смотрицкого и Федора Максимова), поэтому здесь наглядно предстает различие форм инфинитива как черта, противопоставляющая эти языки, ср. в церковнославянских парадигмах: **быти** (с. 64), **чести, читати** (с. 85), **честиса, читатиса, читаатиса, прочестиса** (с. 98—99), **творати, творати, сотворити** (с. 110) и т. д. Обращение к церковнославянской грамматической традиции не проходит вовсе бесследно и для русской части байбаковского описания, и в парадигмах пассива (относительно более искусственных) у него могут появляться отступления от нормативного инфинитива на *-ть*: *питатися, напитатися* (с. 67; ср., однако: *креститься, окреститься* — с. 76). Возможно, эти колебания отражают те отступления от ломоносовских норм, которые заметны и в языковой практике, и в лингвистических описаниях последней трети XVIII в.

Действительно, рецепция нормативных предписаний Ломоносова не была универсальной. Инфинитив на *-ти* сохраняется в языковой практике нового литературного языка (см. выше), причем не только у приверженцев славянизирующего пуризма, но и у такого литературного противника Ломоносова, как Сумароков. Как было показано выше, инфинитив на *-ти* может употребляться в качестве славянизма, приобретая при этом стилистическое значение. Такого рода языковая практика обнаруживается, например, у Фонвизина и М. Попова. Возможна и кодификация подобной практики, вводящая стилистическую дифференциацию инфинитивов на *-ти* и на *-ть*. Так, в «Опыте нового русского правописания» В. П. Светова указывается: «Неопределенныя наклонения кончить на *ти* можно в высоких речах; и чем ближе глагол ко Славенскому свойству подходит, тем сие окончание слуху приятнее становится, на пример: *вѣщати, глаголати, низсылати, въздымлятися, облещися въ бодрость*, и другия сим подобныя. Тож самое должно разуметь и о втором лице единственном настоящаго времени наклонения изъявительнаго: *трудящися, подвизаещися* и проч.» (Светов 1773, 28). Аналогичную дифференциацию предлагает в «Русской грамматике» А. А. Барсов (см. ниже).

Иной тип языковой практики у Сумарокова. Как мы видели, в сумароковских текстах (как поэтических, так и прозаических) формы инфинитива на *-ть* и на *-ти* находятся в свободной вариации, и эта вариативность отражает принципиальную позицию северного Расина. В «Примечании о правописании» Сумароков замечает: «Глаголы *любити*, *слышати* и проч. в неопределенном без вольности ТИ, а по вольности, приятой и утвержденной ко красоте языка *любить* могут великое производить изобилие и легкость, *Любить хвалу* хуже, нежели *любити хвалу*. Сим образом и предлоги украшают *во глубинѣ*, а не *въ глубинѣ*; лутче *во Италиі*, нежели *въ Италиі*; лутче *во Ерусалимѣ*, нежели *въ Ерусалимѣ*» (Сумароков, X, 43). Таким образом, вольностью, как и у Третьяковского, объявляется инфинитив на *-ть*, а не на *-ти*, однако выбор формы никак не связывается с оппозицией русского и церковнославянского языков или высокого и низкого стиля внутри нового литературного стандарта, а понимается как реализация языкового многообразия («изобилия») и поисков благозвучия («легкости»). Сумароков, таким образом, основывается на том же критерии, что и Ломоносов, но «благозвучными» для него оказываются не формы на *-ть*, а формы на *-ти*. В результате он возвращается к старой традиции свободного варьирования инфинитивных форм, при котором их различие не несло никакой функциональной нагрузки, осмысляя эту вариативность как эстетическое достоинство. Он, следовательно, отвергает в этом моменте (как и во многих других) весь тот процесс нормализации, который был рассмотрен выше. В настоящее время мне представляется совершенно неправдоподобной гипотеза о том, что этот подход был результатом ориентации на разговорное употребление (ср. иную точку зрения: Живов и Успенский 1983, 177—178).

То, что появление инфинитива на *-ти*, могло все же пониматься как результат такой ориентации, явствует из «Российской грамматики» А. А. Барсова. Барсов пишет об инфинитиве: «1. прямое и полное и с славенским сходное окончание онаго есть на ти которое ныне употреблять можно только в стихах или в высоком слоге и церковном, а впрочем сокращается переменою на ть. 2. В новейших времена покусились некоторые и кроме стихов и проч. употреблять ти вместо ть, да еще и в комедиях и проч. Но в сем случае оное есть не иное что как городской а не московской выговор; при том же и употребляют оное большая часть не постоянно и без всякаго, как видно, и для самих себя правила» (Барсов 1981, 592). Замечания Барсова об употреблении новейших времен скорее всего относятся именно к Сумарокову. В его комедиях инфинитив на *-ти* действительно нередко встречается в речи самых разных персонажей — в свободной вариации с инфинитивом на *-ть* и без какого-либо ясного стилистического задания (см. выше); у других авторов такое употребление, насколько мне известно, не встречается⁴³.

⁴³ Интерпретацию форм на *-ти* в комедиях Сумарокова как отражения его теоретических установок, а не живой речи в какой-либо ее диалектной разновидности находим и у А. Граннеса (Граннес 1974, 240; Граннес 1998, 209). А. Граннес отмечает в русской комедии XVIII в. и инфинитив на *-ти* как приметку (хотя и достаточно редкую) диалектной речи. Так, он указывает на инфинитивы *сказацци* и *брацци* в «Щепетильнике» Лукина. Как справедливо отмечает А. Граннес, «[д]иалектный характер этих форм подчеркивается и ассимиляцией мягкого *t* в мягкий *ц* (дзеканье, или собственно “цеканье”» (там же, 240/210). Очевидно, однако, что Барсов имеет в виду не эти формы: они даются как ано-

Барсов, допуская инфинитив на *-ти* в качестве маркированного стилистического средства, возражает против его немотивированного употребления, игнорирующего необходимость стилистической нормализации, но упрекает Сумарокова не в этой неразборчивости, а в следовании «городскому», а не московскому выговору.

Само замечание о «городском» выговоре, противопоставленном московскому, крайне интересно, поскольку непонятно. Возможно, оно отсылает к городскому просторечию, свойственному лишь какой-то части городского населения, вероятно, удерживавшего элементы северно-русских диалектов, и отличному от того московского произношения, которое считали образцовым (в том числе и Сумароков). Барсов, следуя традициям русской литературной полемики, пользуется стандартным для европейской литературной критики упреком в диалектной нечистоте языка. Хотя такого рода упреки плохо приложимы к Сумарокову, культивировавшему московскую речь, они хорошо укладываются в полемическую схему. В то же время Барсов явно не стремится обсуждать проблему необходимости и правомерности ученой грамматической нормализации, принципиальную для данного вопроса. Именно эта проблема была поставлена Сумароковым и с раздражением, видимо, проигнорирована Барсовым, поскольку она ставила под сомнение его собственную деятельность.

Вместе с тем следует обратить внимание на существенную ревизию ломоносовских норм, содержащуюся в первом правиле. Инфинитив на *-ти* не отвергается более как ненормативный вариант, а вновь вводится в нормативную грамматику в качестве элемента высокого стиля (интересным образом отождествляющегося с языком духовной литературы) или допустимой поэтической вольности. Надо полагать, что Барсов (не столько предписывавший правила, сколько систематизировавший реальный узус) в данном случае ориентируется на известную ему языковую практику, в рамках которой традиции духовной литературы, удерживавшие инфинитив на *-ти*, наложились на славянизацию нового литературного языка и привели к переосмыслению отказа от форм на *-ти* — он мог представляться теперь неоправданным ригоризмом. Видимо, к концу XVIII в. происходит некоторое снижение роли грамматической нормализации вообще: автор ориентируется теперь не только на свой «разум», но и на возникшую с начала века обширную литературную традицию. Более того, в результате культурного синтеза Екатерининской эпохи духовная литература (на русском, а не на церковнославянском языке) начинает рассматриваться как часть этой литературной традиции. Ориентация языкового стандарта на употребление образцовых авторов перестает быть бессодержательной декларацией. Соответственно, разнообразие языковой практики отражается, хотя и ограниченным образом, в граммати-

малии в особом диалектном оформлении и в силу этого выпадают из круга лингвистических фактов, рассматриваемых Барсовым. А. Граннес предполагает, что в качестве диалектной дается и форма *дочѣсти* в речи купца Чистосердова из комедии О. Чернявского «Купецкая компания» (там же, 241/210); эта комедия, однако, вышла в свет после того, как Барсов окончил свою грамматику, и в любом случае выступает как единичный и периферийный факт, Барсов же говорит об употреблении инфинитива на *-ти* в комедии как о сознательной и устойчивой манере. Упрек такого рода мог относиться только к Сумарокову.

ческих построениях. Так, во всяком случае, можно понимать вариативность, допускаемую Барсовым⁴⁴.

Если, однако, принцип жесткого нормирования сохраняет силу, то места для вариативности не остается и единственной фиксируемой формой оказывается инфинитив на *-ть*, т. е. ломоносовская традиция сохраняет свою значимость. Именно так обстоит дело в академической грамматике 1802 г., которая в ряде аспектов подводит итог развитию грамматической мысли в XVIII в. Способы образования инфинитива здесь не излагаются, но не в силу краткости описания (как во многих предшествующих грамматиках), а ввиду того, что инфинитив рассматривается как исходная форма, и именно эта трактовка инфинитива выступает как основная модификация грамматической схемы Ломоносова; обоснованию этой модификации полностью посвящено предпосланное грамматике «Предъизвещение» (Российская грамматика 1802, II—IV; о возможных источниках этого переустройства парадигмы в европейской грамматической традиции см.: Захарьин 1995, 174—179).

Поскольку инфинитив становится исходной формой, от которой производятся все другие, а принцип использования способов глагольного действия для дифференциации времен остается актуальным, авторы академической грамматики вводят в парадигму уже не три, а четыре формы инфинитива. «Наклонение неокончательное (...) — пишут они, — в Российском языке бывает (...) четвероюкое: 1е неопределенное: *писать, ходить, двигать, колебаться, быть движиму* и проч. 2е Однократное: *двинуть, кольнуть, быть двинуту*. 3е Совершенное *написать, уколоть, сдвинуть*. 4е Многократное: *писывать, хаживать, быть двигивану* и

⁴⁴ Интересно, что допущение форм на *-ти* в качестве высокого стилистического элемента вступает в противоречие не только с большинством предшествующих опытов нормализации (в том числе и тех, которые исходят из родного для Барсова Московского университета, таких как «Краткие правила» 1773 или 1784 гг. издания), но и с языковой практикой Барсова. В его Слове на коронацию Екатерины 1762 г. (Барсов 1762), вполне подходящем под те жанровые характеристики, которые, согласно «Российской грамматике», оправдывают употребление формы на *-ти*, эта форма не встретилась ни разу — при 36 употреблениях формы на *-ть* (*услышать, обладать, показать, предпріять, совершить* и т. д. — л. 2—2 об.), ср. здесь между тем формы с ударением на показателе инфинитива: *облецись* (л. 5 об.), *реци* (л. 12).

На фоне весьма либерального отношения Барсова к инфинитивам на *-ти* представляется любопытным его подход к формам на *-сть/-сти*. Формы на *-сть* фиксируются в качестве основных для всех соответствующих глаголов без исключения — вне зависимости от того, где стоит ударение в форме на *-сти*, на основе или на показателе инфинитива (Барсов 1981, 593—594). Как и в «Кратких правилах» 1784 г., это, видимо, нормализационное решение. Вместе с тем Барсов добавляет следующее примечание: «Из неопределенных неокончательных имеющих еще согласную предъть большая часть употребительны также с полным окончанием на *ти*, как блюсть, бості, бресті, весті... везті, вязті, ползті, терті» (с. 594). Таким образом, инфинитивы на *-сти* узаконены без каких-либо оговорок, касающихся стиля или жанра литературы (как в случае с инфинитивами на *-ти*). При этом, хотя абсолютное большинство примеров состоит из форм с ударением на показателе инфинитива, дистрибуция вариантов никак не нормирована. И в данном случае, видимо, Барсов отказывается от однозначной нормализации перед лицом разнообразия языковой практики.

проч.» (с. 152). В описании всех инфинитивных форм в качестве единственного окончания указывается *-ть* или *-чь*, ср.: «Глаголы в неокончателном неопределенном наклонении кончатся на *ть* или на *чь*, на пр: *читать, колоть, сѣять, краснѣть, несть, влечь* и проч: кроме *итти*» (с. 160—161); такие же нормы даются и для других инфинитивных форм (с. 161, 167). Соответственно и в парадигмах приведены исключительно инфинитивы на *-ть*, например: *двигать, двинуть, сдвигать, двигивать* (с. 192) и т. д.; это относится как к правильным, так и к неправильным глаголам (кроме *итти*) — к числу последних отнесены все те, у которых инфинитив кончается на *-чь* или имеет согласную перед *-ть* («как то: *влечь, течь, несть, грызть* и пр.» — с. IV). Искусственность этой нормализации вполне очевидна⁴⁵, и впоследствии она неоднократно пересматривается; этот пересмотр, однако, касается лишь деталей⁴⁶ и в любом случае выходит за пределы тех хронологических рамок, которыми ограничено настоящее исследование.

5. Формы инфинитива в языковой практике духовной литературы

В отличие от светской литературы, которая хотя бы в определенной своей части усвоила традицию восприятия инфинитива на *-ти* и на *-ть* как признака, противопоставляющего языковые коды, духовная литература долгое время развивала иную, более архаичную традицию, в которой эти формы функционировали как свободные варианты. Духовная литература первой половины XVIII в. исходила здесь из той практики, которая сложилась в предшествующий период. Действительно, в гомилетической литературе конца XVII в. инфинитив на *-ти* употребляется последовательно и единообразно, не заметно никакой попытки использовать потенциальную вариативность форм в каких-либо стилистических

⁴⁵ Искусственность нормализации особенно заметна в случае инфинитивов на *-сть/-сти*. В отличие от Ломоносова и Барсова академическая грамматика фиксирует только формы на *-сть* вне всякой зависимости от ударности и вообще от реального употребления, ср. здесь парадигмы глаголов *ѣсть, вѣсть, грѣсть, вѣзь, цѣвьсть* (Российская грамматика 1802, 228—233). Никаких оговорок относительно возможности форм на *-сти* не делается, и на фоне предшествующей грамматической традиции это не может не рассматриваться как вполне сознательный подход. Показательно, что это правило не выдерживается даже в рамках самой грамматики — в тех случаях, когда речь не идет об инфинитиве, например, в перечислении глаголов «среднего» залога *рости* (с. 149), в списке слов, которые нужно заучить для правильного написания ятя *цѣвѣсти* (с. 24), ср. здесь еще неожиданное *вождѣлѣти* (с. 20).

⁴⁶ Так, например, в «Начальных правилах русской грамматики» Н. Греча, также избирающего инфинитив в качестве исходной формы, воспроизводится разделение глаголов на правильные и неправильные, соответствующее классификации академической грамматики, однако у ряда неправильных глаголов кодифицировано финальное ударное *-ти* (*пасти, цѣвѣсти, расти, ползти, блюсти, бости, брести, грѣсти, вести, трясти, гнести, мести, мясти*), хотя особой последовательности в этой кодификации не просматривается (ср. такие формы, как *грѣсть, вѣзь, плѣсть, цѣвьсть*) (Греч 1828, 65—67). Греч, очевидно, старается отойти от искусственности академической нормализации и учесть реальный узус, однако вариативность, присутствующая в этом узусе, плохо согласуется с установкой на кодификацию лишь одного варианта.

или композиционных целях. Так, например, исключительно форму на *-ти* находим в проповедях Симеона Полоцкого, например, в его Слове первом в день воздвижения честнаго и животворящаго Креста Господня (Симеон Полоцкий 1683, л. 34—38 об.), или в Первом слове во вторую неделю по Пасхе о Фоме (Симеон Полоцкий 1681, л. 12 об.—17 об), или во Втором слове в неделю пятую по Пасхе о самаряныне (там же, л. 53 об.—58 об.).

Последовательное употребление инфинитива на *-ти* находим и в таком памятнике, декларирующем необходимость «простоты» языка и нередко отступающем от церковнославянской грамматической нормы, как «Статир» неизвестного пермского священника (см. об этой книге: Сухомлинов 1908, 434—438; Алексеев 1965; Успенский 1983, 115—118; Живов 1991), ср. здесь в «Поучении в день преставления святаго Иоанна Богослова»: *бесѣдовати* (ГБЛ, Румянц. 411, л. 160 об. второй фолиации /bis/), *нещиса*, *славити* (л. 161), *послѣдиати* (л. 161 об.), *зрѣти*, *созерцати*, *вѣщати* (л. 162 об.) и т. д.; такая же последовательность наблюдается и в Предисловии к читателю. Во всех этих случаях нет особого смысла в том, чтобы детализировать статистические данные. Достаточно сказать, что ученая барочная гомилетика официальной церкви (в отличие от старообрядческой проповеди), даже декларируя стремление к простоте языка и вразумительности наставления, остается целиком в рамках стандартного регистра книжного языка, а потому употребляет старые формы инфинитива с той же последовательностью, которую мы наблюдали выше в текстах Св. Писания и богослужебных книгах.

Такое же употребление инфинитива наблюдаем и у первых проповедников Петровской эпохи. Так, например, исключительно инфинитив на *-ти* употребляет в своих гомилетических трудах Стефан Яворский. Укажу хотя бы на его Слово в день святаго Апостола Андрея Первозванного, ср. здесь: *странствовати*, *оужждати* (Стефан Яворский, III, 65), *исходити* (с. 66), *отпустити* (с. 67), *изсѣавити*, *послѣдствовати*, *проповѣсти* (с. 69), *научитиса*, *срамлатиса* (с. 74) и т. д. Столь же последовательное употребление формы на *-ти* находим и в Слове о победе над королем Шведским под Полтавою (там же, 241—249). Если о гомилетических произведениях Стефана приходится судить по позднему изданию (ряд характерных непоследовательностей в языке позволяет надеяться, что оно воспроизводит имевшиеся у издателей списки без существенной лингвистической редакции), полемико-апологетические сочинения Стефана издавались при жизни автора. В 1703 г. издаются его «Знамения пришествия антихристова и кончины века» (Стефан Яворский 1703), и в этой публикации форма инфинитива представлена столь же единообразно, как и в его проповедях, см. здесь: *мѣдрствовати* (л. 3 первой пагинации), *бѣти* (л. 3, 3 об., 4 об., 7 об., 12), *блговолѣти* (л. 4), *бѣщѣдрити* (л. 4), *помышлѣти* (л. 4 об.), *разгнѣти* (л. 5 [bis], 5 об. [ter], 6 об.), *разсѣмѣти* (л. 5), *разрѣшити* (л. 5, 5 об., 6, 7 об.), *зрѣти* (л. 5 об. [bis], 6 об.), *иссѣдовати* (л. 8), *колебѣтиса* (л. 13).

Аналогичное употребление характерно и для Дмитрия Ростовского. Так, в его «Рассуждении о образе Божии и подобии в человеце» (Дмитрий Ростовский 1714), представляющем собой отрывок из «Розыска о раскольнической брынской вере», напечатанный ранее основного текста, встречается 210 форм инфинитива с безударным *-ти*, ср.: *бѣти* (л. 2 об. [bis], 3 [bis], 3 об. [bis], 6 об., 8 об., 9, 19,

19 об., 20, 21, 22, 22 об., 24, 25, 25 об., 33 об., 34 об., 38, 38 об., 39, 43, 44 об., 48, 52 [ter], 52 об., 53, 53 об.), **дѣати** (л. 3 об.), **и҃мѣти** (л. 4, 41 об.), **сѣдѣти** (л. 5), **вразумѣтисѧ** (л. 6 об.), **знѣти** (л. 6 об.), **положити** (л. 7 об.), **ѡвѣщати** (л. 7 об.), **пощадити** (л. 7 об.), **потерѣти** (л. 7 об.), **сѡмнѣтисѧ** (л. 8, 22 об., 44 об.), **повиновѣтисѧ** (л. 8 об.), **врѣти** (л. 8 об., 9 [ter], 10 [ter], 10 об. [ter], 11, 11 об., 14 об., 15, 15 об., 17 [bis], 23, 25 об., 26 об., 30 [bis], 30 об., 32 [bis], 34, 35 [bis], 36 об., 43 [bis], 49 об., 50, 50 об. [bis]) и т. д. Во всем достаточно обширном тексте встречается лишь один пример инфинитива на *-ть*, и он вполне характерен. Он появляется в прямой речи непросвещенных персонажей, встреченных святителем Дмитрием в Ярославле и задавших ему вопрос о бранобритии: «**дѡа нѣкѣа челоувѣка ко мнѣ во^авѣша глѡущи: вл^ако стѣий, какъ ты велѣишь. велѣтъ намъ бранѣ врѣтъ: а4 мы готѡвы главѣ наши за бранѣ наши положити**» (л. 7—7 об.); характерно, что он соседствует со столь же нехарактерной для писаний Дмитрия формой 2 ед. презенса на *-шь* (см. ниже), так что этому единичному употреблению можно приписать стилистическую значимость.

Эта же практика сохраняется и у проповедников младшего поколения. Так, только инфинитив на *-ти* встречается в проповедях Гавриила Бужинского, ср., например, его Слово на память Святаго Первозванного Апостола Андрея 1719 г. (*странствовати, бѣдствовати, терпѣти* и т. д. — Гавриил Бужинский 1720, л. 5 об. и сл.) или Слово о победе, полученной у Ангута 1714 г. (*воскликнути, возопити, быти, покорити* и т. д. — Гребенюк 1979, 220 и сл.). Следует отметить, что если в сфере употребления простых претеритов отход от традиционной практики отмечается уже в произведениях Бужинского и ясно виден при сравнении его проповедей с проповедями Яворского (см. Приложение II), то употребление инфинитива остается при этом стабильным. Видимо, идея простоты или упрощения языка с выбором формы инфинитива никак не связывается, форма на *-ти* продолжает восприниматься как нормативная и с языковым регистром не соотносящаяся. При этом употребление инфинитива в духовной литературе оказывается явно отличным от его употребления в литературе светской (см. выше), и это определенно указывает на то, что здесь оформляются разные традиции; если они и не являются вполне замкнутыми, то и прямое взаимодействие между ними отсутствует.

Употребление инфинитива претерпевает существенные изменения лишь в гомилетических произведениях Феофана Прокоповича, однако отнюдь не в первые годы его творчества. В его проповедях киевского периода последовательно встречается форма на *-ти*, ср., например, в Панегирикосе 1709 г.: *проповедати, напечатати, прославляти, гласити, изображати, начертавати* и т. д. (Гребенюк 1979, 181—182 et passim). Этот же выбор формы обнаруживаем и в первой проповеди петербургского периода, а именно в «Приветствии» 1717 г., ср. здесь: *устрои́ти, відѣти, оставля́ти, вскочѣти* (Феофан Прокопович 1717, л. 2), *возмо́щи, тещи, быти, прослави́ти, нареци́ся* (л. 2 об.), *предѣустрѣ́сти* (с. 1, 2), *реци* (с. 5), *нѣзрѣнутѣ́ся* (с. 7), *понести* (с. 7), *нари́чатѣ́ся* (с. 8), *изреци* (с. 8, 9), *исповѣ́сти* (с. 11) и т. д. без вариаций. Впрочем, склонность к варьированию инфинитивных форм начинает проявляться в том же 1717 г. Первые ее признаки наблюдаются в Слове похвальном о баталии полтавской, произнесенном 27 июня этого года. Статистические параметры этого текста имеют следующий вид:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	'сти/-сть	всего
старые	78	4	7	3	—	92
новые	10	0	0	0	—	10
% новых	11,36 %	0 %	0 %	0 %	—	9,80 %

Никакого явного стилистического задания формы на *-ть* не несут. Старые и новые формы инфинитива могут употребляться в качестве однородных членов, ср.: «Были тебе, о Россие, древние и правильные вины, еже бы иногда оружием *отмстити* обиды, тебе нанесенныя от сего супостата, и отторженныя наследственные твои сия области *возвратитъ* паки в державу твою» (Гребенюк 1979, 209). Новая форма появляется даже в риторических фигурах и здесь, возможно, она должна усилить эффект прямого обращения к аудитории, ср.: «Нельзя *говорить*: латами обложен, шлемом твердым покрытый был царь Петр, — шляпа пробитая заградит уста; нельзя *говорить*: себе ради не щадит крови людской царь Петр, — шляпа свидетельствует, что и своей крови не щадит. Известно убо есть, яко целость отечества своего купует кровию, а купует по нужде; нельзя бо *говорить*, что и отчаянно воюет. Мощно *реци* о сопротивнике его, что отчаянно на смерть ходит» (с. 216).

Раз появившись, вариативность начинает возрастать, и новые формы инфинитива получают более широкое распространение. Так обстоит дело в Слове похвальном о флоте российском 1720 г. (Гребенюк 1979, 234—243). Здесь формы на *-ти* и на *-ть* употребляются уже примерно в равной пропорции и появляются новые формы инфинитива от возвратных глаголов (*драться*, с. 249, *обходится*, с. 240, *сражаться*, с. 241). Статистические параметры таковы:

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тица)	-ци(-чи)/-чь	-сти/-сть	'сти/-сть	всего
старые	30	8	4	1	—	43
новые	31	3	0	0	—	34
% новых	50,82 %	27,27 %	0 %	0 %	—	41,16 %

Новые и старые формы инфинитива находятся в свободной вариации и не несут определенного стилистического задания, ср., например, такие пассажи с однородными членами, как: «...понуждает *собирати* воинство, *делати* крепости, *сооружати* аммуницию...» (с. 235); «Не меньшая бо слава есть *удержати* завоеванное, нежели *завоевать*» (с. 240). Не менее показательны сочетания в одном абзаце таких фраз, как *не возмогл единой ночи уснуть* и *не могл уснути* (с. 235—236), в которых вариативность выглядит почти преднамеренной.

Тенденция к употреблению формы на *-ть* усиливается год от года. В Слове на Ништадтский мир 1722 г. форма на *-ть* уже заметно преобладает, причем с развитием этой тенденции возникает то соотношение между инфинитивами от невозвратных и возвратных глаголов, которое, как было показано при анализе петровских изданий гражданского шрифта, свидетельствует одновременно о стремлении к грамматической нормализации и о преемственной связи с узусом гибридного регистра. Действительно, в этом Слове находим от невозвратных глаголов 53 инфинитива на *-ть* (65 %; *объяснить*, *бесѣдовать*, *толковать*, *изъяснять*, *помыслить* и т. д. — Феофан Прокопович 1723, л. 1 об.—2 et passim) и

28 инфинитивов на *-ти* (*блгодарити, заключити, сказати, быти* и т. д. — л. 1 об.—2 et passim). В то же время от возвратных глаголов при 12 инфинитивах на *-тися* (*присматриватисѧ, оудивлатисѧ, вмѣститисѧ* и т. д. — л. 7 об.—8) встречается лишь один инфинитив на *-ться* (*ѡстановитсѧ* — л. 7 об.). Преимущественно несокращенная форма инфинитива образуется и от конечноударных глаголов (*реци, понести* — л. 1, 4), ср., однако: *произвесть* (л. 13 об.). Никакой стилистической значимости вариативность форм инфинитива не имеет. Распределение форм инфинитива в данном тексте ближайшим образом напоминает то, которое наблюдается в «Библиотеке» Аполлодора, и это еще раз указывает на существенное сходство языковых представлений Прокоповича и тех филологов Петровской эпохи, которые по прямому указанию царя создавали тексты на «простом» языке.

Уже через несколько лет, однако, языковая практика Прокоповича приобретает более радикальный характер. Так, в Слове на погребение Петра Великого 1725 г. при 13 формах инфинитива на *-ть* от невозвратных глаголов (87 %; *быть, жить, умножать, утолать* и т. д. — Феофан Прокопович 1725, л. 1 об. et passim) встречается всего 2 инфинитива на *-ти* (13 %; *проповѣдати, возглаголати* — л. 2, 3 об.); что касается возвратных глаголов, то в одном случае употреблена форма на *-ти* (*явитисѧ* — л. 2), а в другом — на *-ть* (*надѣатсѧ* — л. 4). Еще более выразительная картина в Слове на день вшествия на всероссийский престол Анны Иоанновны 1733 г. (Феофан Прокопович 1733). Здесь на 48 формах инфинитива на *-ть* (98 %; *очистить, прогнать, упразднить, наводить, прогонять* и т. д. — с. 1—3) приходится всего одна форма на *-ти* (2 %; *солгати* — с. 4); при этом форма на *-ть* образуется и от возвратных глаголов (*спасатся, надѣатся, поучитъся* — с. 10, 12), и от глаголов с окончательным ударением (*возвесть* — с. 7).

Конечно, эти статистические данные не следует абсолютизировать. В Слове на погребение Екатерины 1727 г. процент форм на *-ти* несколько выше; здесь встречается 28 форм на *-ть* (82 %; *сѣтовать, оутверждать, послѣдствовать, ѡставатсѧ* и т. д. — Феофан Прокопович 1727, л. 1—2) и 6 форм на *-ти* (18 %; *ѡати, видѣти* и т. д. — л. 1 об., 2 об.). Существенно, что форма на *-ть* абсолютно преобладает, и это преобладание распространяется и на возвратные глаголы. Отмечу при этом, что сколь бы редкими ни становились формы на *-ти*, стилистической значимости они все равно не получают.

Столь радикальная модернизация языка не становится, однако, достоянием всей последующей гомилетической литературы. Тем не менее проповеди Прокоповича закрепляют форму на *-ть* в духовной литературной традиции, так что вариативность инфинитивных форм делается устойчивой чертой гомигетики 1740-х годов. Как и в случае других морфологических признаков, конкретные параметры реализации этой черты могут быть различны.

Так, в Слове на Благовещение Дмитрия Сеченова (Димитрий Сеченов 1742) инфинитив на *-ти* употребляется 50 раз (*видѣти, изчислити, измѣрити, изреци, быти* и т. д. — л. 1 об., 2), а инфинитив на *-ть* 30 раз (*сказать, быть, истребить, простирать* и т. д. — л. 1, 2 об., 3 об., 5 об.). Эти формы находятся в свободной вариации и могут употребляться как однородные члены; стилистической нагрузки ни одна из них не несет. Вариативность имеет место и в глаголах на *-сти*, ср.: *возвести* (л. 6 об.), *понести* (л. 9, 9 об., 15), *отверсти* (л. 11 об.), но вы-

весть (л. 9 об.), однако инфинитивы от возвратных глаголов употребляются только в форме на *-ти*, ср.: *радоватися*, *веселитися*, *оупразднитися*, *простретися* (л. 6 об.) и т. д. Статистические данные могут быть обобщены в следующей таблице:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тца)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	50	6	1	4	1	62
новые	30	0	4	0	1	31
% новых	37,5 %	0 %	0 %	0 %	50 %	33,33 %

В точности ту же картину можно наблюдать и в проповедях Симона Тодорского. Так, в Слове на день рождения Петра Федоровича 1743 г. форма на *-ти* встречается 46 раз (67 %; *уязвити*, *заклати*, *умножати*, *сохраняти*, *изымати* и т. д. — Симон Тодорский 1743, 3—4), а форма на *-ть* 23 раза (33 %; *сказать*, *потрафить*, *быть* — с. 3—4). Свободная вариативность отражается в употреблении разных форм инфинитива как однородных членов: *уничтожати* и *искореняти* (с. 5), *наставити* и *обучить* (с. 8). Можно наблюдать и вариативность в инфинитивах с окончанием ударением: *процвѣсти* (с. 9), *привести* (с. 9). Инфинитивы от возвратных глаголов встречаются почти исключительно в форме на *-тися* (*множитися*, *укрѣплятися*, *радоватися* и т. д., с. 4, 6, 8, всего 14 форм при единственном исключении: *повредитися*, с. 4). См. таблицу:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тца)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>'сти/-сть</i>	всего
старые	46	14	9	1	—	70
новые	23	1	0	1	—	25
% новых	33,33 %	6,67 %	0 %	50 %	—	26,32 %

Сходные показатели видим и в другой проповеди Тодорского, Слове на бракосочетание Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. Здесь встречается 19 форм инфинитива на *-ти* (70 %; *посягати*, *носити*, *обратити* и т. д. — Симон Тодорский 1745, 3, 5, 6) при 8 формах на *-ть* (30 %; *признать*, *назвать*, *повредить* и т. д. — с. 3, 6); все 11 форм инфинитива от возвратных глаголов употреблены в форме на *-тися* (*хвалитися*, *женитися*, *похвалитися* и т. д. — с. 3, 4).

Существенно ближе к образцу, данному поздними проповедями Прокоповича, гомилетические произведения Амвросия Юшкевича. Так, в его Надгробном слове императрице Анне Иоанновне 1740 г. форма на *-ть* употреблена 25 раз (*плакать*, *печалиться*, *разливаться*, *сказать*, *взять* и т. д. — Внутренний быт, I, 479—480), а форма на *-ти* всего два раза (*свидѣтельствовати*, *исполнитися* — с. 481); в первом случае форма на *-ти* употреблена в ряду однородных инфинитивов на *-ть*, что указывает на свободную вариацию, а во втором — в конструкции *яко* + инфинитив в целевом значении («и толико побѣдами благополучными прославилась, яко *исполнитися* на ней словесамъ Духа Святаго» — с. 481), т. е. старая книжная форма может быть здесь дополнительно мотивирована маркированно книжной синтаксической конструкцией. Таковы же в целом и характеристики проповеди Амвросия на коронацию Елизаветы 1743 г. (Амвросий Юшкевич 1744б). На 32 инфинитива на *-ть* (*плакать*, *болѣзновать*, *примѣтитъ*, *оус-*

мотрить, восписать и т. д. — л. 1 об.—2 et passim) приходится 8 инфинитивов на *-ти* (*пребывати, потерати, царствовати* и т. д. — л. 2 об., 5 об., 6 об.), причем три из них употреблены в цитатах. Такой узус является для Амвросия вполне устойчивым. В его слове на мир со Швецией 1744 г. (Амвросий Юшкевич 1744в) обнаруживаем следующие статистические параметры:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/ -ться(-тица)</i>	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти/-сть</i>	<i>-'сти/-сть</i>	всего
старые	6 + (4)	4	5	3	—	18
новые	89	2	1	2	—	94
% новых	93,68 %	33,33 %	16,67 %	40 %	—	83,93 %

Пропорция новых форм инфинитива оказывается вполне сравнимой с той, которую мы наблюдали в поздних проповедях Феофана Прокоповича. Если не считать 4 форм инфинитива на *-ти*, употребленных в цитатах, такие формы встречаются всего 6 раз, причем две из них появляются в молитвенном обращении, завершающем проповедь (*славити, прославляти*, л. 18). Хотя в последнем случае можно было бы говорить о том, что старые формы инфинитива получают определенную функциональную нагрузку, постоянной чертой узуса это никак не является, в других случаях вариативность не обладает никакой стилистической значимостью и старые и новые формы выступают в качестве однородных членов («невозможно *оугодити* Бг҃ѣ, и достойно *бл҃годарити* ономѣ», л. 16). Новые формы появляются и в классе инфинитивов от возвратных глаголов (*воорѣжатъся*, л. 6, *боатъся*, л. 9), и от глаголов на *-сти* с ударением на показателе инфинитива (*привестъ*, л. 5 об., 12 об.).

Такого рода практика употребления инфинитива переходит и к Гедeonу Криновскому. Поскольку в рамках духовной литературной традиции инфинитив на *-ти* не выступает в качестве признака книжности, переход Гедeона на русский язык вместо церковнославянского на употреблении форм инфинитива практически не отражается. Понятно, что избирая для своего проповедничества русский язык, Гедeон исходит из той гомилетической традиции, в которой признаки книжности выступают лишь окказионально, а в сфере признаков нерелевантных нормы старого книжного языка нарушаются достаточно свободно; образцами для Гедeона могут, тем самым, служить те тексты, в которых форма на *-ти* употребляется как дополнительный (окказиональный) вариант (типа поздних проповедей Феофана или сочинений Амвросия Юшкевича). Подобное употребление и наблюдается у Гедeона.

Как отмечает Л. Челлберг, «dans les infinitifs accentués sur le radical — il a normalement *-ть*; un relevé effectué à la deuxième page de tous les sermons ne donne que 2 % de formes en *-ти*. On ne peut distinguer de raison logique présidant à l'emploi de l'un ou de l'autre de ces types; ils se trouvent côte à côte, par ex.: лучше хошу впасти въ руки ваши..., нежели... впасть въ рѹки Божія III 179» (Челлберг 1957, 188). Несколько иное соотношение у инфинитивов от возвратных глаголов: здесь формы на *-тися* составляют 9 % от всех форм инфинитива (там же, 188); и в этом случае, однако, основной оказывается форма на *-ть*. Что касается инфинитивов от конечноударных глаголов, то здесь равно представлены как формы на *-ти*, так и формы на *-ть*; Л. Челлберг (там же, 189) замечает, что у глаголов с префиксом,

образующим слог, чаще появляются формы на *-ть*, а у глаголов с префиксом, слога не образующим, преимущественно встречаются формы на *-ти*⁴⁷. Существенно, что при подготовке второго издания в формы инфинитива вносятся ряд исправлений: «Les changements introduits par le 2^e édition — une douzaine — ont tous lieu au profit de la forme courte, par ex.: умъ поняти не можеть II 11 /-ть 298, хощемъ мы сего избавитись жребія III 116 /-ться 159^v» (там же, 188). Эти изменения, однако, не устраняют вариативности и лишь показывают, что форма на *-ть* укрепляет свое положение как нормативного варианта.

Таково развитие, которое претерпевает употребление инфинитива в 1750-е годы, т. е. в тот период, когда Ломоносов и Тредиаковский формулируют принципы «славенороссийского» языка, синтезирующего в ряде моментов русский и церковнославянский, и в то же время исключают из него форму на *-ти* как ненормативный вариант. Языковая практика Гедеона оказывается, таким образом, не вполне соответствующей языковой практике светской литературы (по крайней мере, ее существенной части). Понятно, что на практику духовной литературы воздействовал такой фактор, как выдержанное употребление инфинитива на *-ти* в цитатах из Св. Писания, которые могли давать иррадиацию соответствующих форм в окружающем контексте, парафразах, аллюзиях и т. д. Естественно, что язык Гедеона не сделался сразу же общепринятым образцом и его старшие коллеги могли пользоваться формой на *-ти* еще более свободно. Как бы то ни было, такая практика в духовной словесности могла приводить к осмыслению формы на *-ти* как ее специфической принадлежности и, соответственно, как стилистического элемента, приличествующего высокой духовной тематике.

В плане такого восприятия очень показательна та правка, которую вносит С. Наковальнин в тексты Феофана Прокоповича при их переиздании в 1760-х годах. Сам Наковальнин, если судить по его предисловию к «Словам и речам» Прокоповича, формы на *-ти* не употреблял; из 30 встретившихся здесь форм инфинитива нет ни одной формы на *-ти*, причем это относится и к возвратным глаголам (*славиться, оправдаться, равняться, сыскаться* — Феофан Прокопович, I, предисл., л. 1—2), и к глаголам конечнударным (*произнести* — л. 1 об.). В проповедях Феофана, однако, он во многих случаях заменяет форму на *-ть* формой на *-ти*. Так, например, в Слове на погребение Петра, в котором Феофан, как было отмечено выше, употребляет лишь 3 формы на *-ти*, Наковальнин последовательно устраняет все формы на *-ть*, ср.: *быть* (Феофан Прокопович 1725, л. 1 об.) — *быти* (Феофан Прокопович, II, 128), *жить* (л. 1 об.) — *жити* (с. 128), *слезить* (л. 3) — *слезити* (с. 131), *надѣатса* (л. 4) — *надѣятися* (с. 132) и т. д. Такая правка, хотя и не столь последовательно, может вноситься и в другие тексты, ср., например, в «Слове в день шествия...» 1733 г.: *быть* (Феофан Прокопович 1733, б) — *быти* (Феофан Прокопович, III, 180). Наковальнин явно воспри-

⁴⁷ Приведу также наблюдения Челлберга над инфинитивами на *-щи(-чи)/-чь*: «И accentué apparaît dans les infinitifs avec thèmes en gutturale et consonantisme slavon, par ex. сожещи I 159 (...), тещи I 275 (...), возлещи III 120 (...), нарешися I 49 (...) отрещись I 100 (...) Le consonantisme russe entraîne la désinence courte, par ex. остричь I 110, сожечь II 185, III 94, влечь IV 236; c'est seulement à titre exceptionnel que l'on rencontre *-чи*, et, alors, c'est à la forme réfléchie, par ex. уберечись II 196 (...), беречись IV 83» (Челлберг 1957, 188—189).

нимает форму на *-ти* как черту, характерную для духовной традиции, и правит Прокоповича в соответствии с этим своим представлением. (Замечу, между прочим, что подобная правка делает издание Наковальнина непригодным для изучения многих особенностей языка Прокоповича).

Правку Наковальнина стоит сопоставить с теми исправлениями, которые вносит М. М. Щербатов, переиздавая в 1773 г. феофановскую «Историю Петра Великого». Хотя вариативность форм инфинитива присутствует в оригинальной редакции (см. выше) и сохраняется в редакции Щербатова (и в этом смысле ситуация аналогична той, которую мы наблюдаем с переизданием Наковальнина), направление правки прямо противоположно: формы на *-ти* исправляются здесь на формы на *-ть*, ср.: *искати* (РГАДА, ф. 9, оп. 2, № 1, л. 4 об.) — *искать* (Феофан Прокопович 1773, 2), *похитити* (л. 4 об.) — *похитить* (с. 2), *загладити* (л. 6) — *загладить* (с. 4), *бѣжати* (л. 161 об.) — *бѣжать* (с. 183), *удержати* (л. 166 об.) — *удержать* (с. 190) и т. д., ср., однако же единичное исключение: *предварити* (л. 109 об.) — *предварить* (с. 133) (ср.: Живов 1988а, 42). Очевидно, что разнонаправленность исправлений Наковальнина и Щербатова обусловлена разной жанровой характеристикой редактируемых сочинений: в духовном слове уместна форма на *-ти*, в светском историческом сочинении — форма на *-ть*.

Дальнейшая эволюция могла идти разными путями. Духовная словесность могла продолжать употреблять инфинитив так, как это делал Криновский, и в этом случае окказиональное употребление формы на *-ти* делалось как бы приметой духовного красноречия. Именно такое употребление мы находим, например, в Беседах Иоанна Златоуста на книгу Бытия в переводе Платона Левшина (см. об этом переводе и его значении как образцового русского гомилетического текста: Живов 1996, 400—401). Основной формой инфинитива является здесь форма на *-ть*, в то время как форма на *-ти* употребляется окказионально (если не учитывать цитат из Св. Писания), по большей части без всякого стилистического задания, но порою с аллюзивной значимостью — отсылки к известным библейским или богослужебным текстам. Так, в первой беседе (Иоанн Златоуст 1766, I, л. 1—5) 29 раз употреблена форма на *-ть*: *быть*, *предвозвѣститъ*, *оумьтъ* (л. 1), *возвратиться* (л. 1 об.) и т. д.; дважды без всякой мотивации употреблена форма *поститисѧ* (л. 3), и сразу три формы на *-ти* встречается в конце беседы: «...и со дерзновеніемъ ко страшной и дѣховной трапезѣ *пристѣпити*, и неизреченныхъ оныхъ, и безсмертныхъ благъ *причаститисѧ* (...) *исполнитисѧ*» (л. 5) — в этом последнем фрагменте формы на *-ти* отсылают к евхаристическим молитвам. Сходным образом в девятой беседе (л. 49—53 об.) 19 раз употреблена форма на *-ть* и 7 раз форма на *-ти*; в нескольких случаях употребление формы на *-ти* имеет аллюзивное значение («повелѣвъ *создатисѧ* видимой сей тверди», л. 50; «блгодареніе Г^ѣду *приносити*», л. 52 об.). Окказиональное употребление формы на *-ти* как бы символизирует в этом случае связь с церковнославянской литературной традицией, со всеми теми многочисленными церковнославянскими переводами Златоуста, которые были хорошо известны православному читателю.

Описанное употребление утверждает — хотя и в очень скромном объеме — отличие норм духовной словесности от тех, которые господствовали в данный период в словесности светской. Однако идея автономности духовной литератур-

ной традиции была не слишком привлекательной для ее реформаторов, усвоивших уроки Гедеона Кривого. Поэтому и Платон Левшин, и Гавриил Петров, как правило, избирают иной путь — во всяком случае тогда, когда они не ограничены в своей свободе именем Златоуста. Форма на *-ти* полностью выводится из употребления, и языковые нормы оказываются в рассматриваемом аспекте реализующими те предписания, которые шли от Ломоносова и Тредиаковского; в этом случае светскую и духовную словесность объединяет и актуализация восприятия инфинитива на *-ти* как черты старого книжного языка.

Именно этот вариант осуществляется в «Православном учении», изданном Платоном Левшиным в 1765 г. Здесь употребляется только форма на *-ть*, причем это равно относится к невозвратным и возвратным глаголам, ср.: *создать*, *быть*, *почитать*, *дѣлать*, *происходить*, *оудовольствоваться*, *сказать*, *искать* и т. д. (Платон Левшин 1765 л. 1—2); *соединиться*, *назваться*, *сѣмниться*, *дѣлаться*, *опасаться*, *остаться* (л. 4 об.—12 об.) и т. д. (единственное отмеченное мною исключение: «во второмъ прїидеть *сѣдяти* мїръ», л. 49; оно приходится на сотни употреблений инфинитива на *-ть* и, возможно, является словом-цитатой из Символа Веры, который и изъясняется в данном фрагменте). Как и у светских авторов, формы инфинитива от конечноударных глаголов находятся в свободной вариации, ср.: *произвесть* (л. 6), *произвести* (л. 6 об.), *изобрѣсти* (л. 16 об., 18 об.), *спасти* (л. 49) и т. д.

Такое же употребление форм инфинитива находим и в еще одном образцовом гомилетическом тексте — в «Собрании разных поучений на все воскресные и праздничные дни», изданном в 1775 г. Гавриилом Петровым и Платоном Левшиным. Так, в Слове в неделю блудного сына (Гавриил и Платон, I, л. 19—22 об.) находим формы: *оудовольствоваться*, *поговорить*, *послѣдовать*, *оувеселить*, *быть* (ter), *погѣлать*, *повидѣть*, *побѣдить*, *процѣлать*, *оузнать*, *сказать* (bis); *окончаться*, *остаться*. Такое же последовательное употребление форм на *-ть* в Слове во вторник первыя недели Великого поста (л. 41—44); можно указать также, что от глаголов с окончательным ударением здесь постоянно употребляется форма на *-ти*: *спастися*, *привести* (bis), *блюсти*, *известить*. 47 раз употреблена форма на *-ть* в Слове в неделю святых отец (I, л. 133—137), ср.: *порѣчь*, *просить*, *основывать*, *собѣтствовать*, *покориться*, *вкѣшать* и т. д. (л. 133—133 об.); от глаголов с окончательным ударением здесь образуются как форма на *-сть*, так и формы на *-сти*: *принести*, *привести*, *привесть* (л. 134—135).

Особое положение занимают два слова на Пасху, по многим своим лингвистическим характеристикам выделяющиеся из остального собрания. Это те единственные два слова, где употреблены простые претериты, играющие, как мы предположили (Живов 1996, 399; ср.: Приложение II), роль особых пасхальных украшений. Этому же служат и формы инфинитива на *-ти*, которые употребляются здесь наряду с формами на *-ть*, ср. в первом слове (л. 98—99 об.): *провозглашать* (bis), *преодолѣть*, *избавить*, *праздновати* (bis); во втором слове (л. 100—102 об.): *примиритися*, *торжествовати*, *ходити*, *собрати*, *дѣлати*, *чѣствоватьи*, *претерпѣть*, *остаться*, *подумать*, *желать*, *оупотребить*, *страшиться*, *радоватися*, *стати*. Эти примеры лишь подчеркивают, что формы на *-ти* рассматриваются как особые стилистически маркированные элементы, которые могут употребляться лишь в виде исключения.

Такое восприятие, основанное в конечном счете на нормах, утвержденных для русского литературного языка (светской словесности) Ломоносовым и Тредиаковским, не могло сохраняться в неизменности, когда сами эти нормы подверглись ревизии: как было показано выше, «славенороссийский» синтез закономерно приводил в рамках светской литературы к включению в репертуар высоких стилистических средств и формы на *-ти*. Действительно, в конце века в языковой практике ревнителей славенского слова форма на *-ти* вновь находит широкое применение. Здесь можно указать, например, на перевод Слов избранных Иоанна Златоуста, сделанный священником Иваном Ивановым при участии, возможно, священника Иоанна Сидоровского (см. о нем: Живов 1996, 401—402). Так, в первом слове («О любви» — Иоанн Златоуст 1792, I, л. 1—10), входящем в это издание, форма на *-ти* употреблена в 68 случаях (52 %), ср.: *связа́ти, привле́кати, явля́ти, бы́ти, бесѣдо́вати, любя́ти, присоеди́нити, возда́ти* и т. д. (л. 1—2); форма на *-ть* встречается 62 раза (48 %), ср.: *иска́ть, позна́ть, явля́ть, имѣ́ть, любя́ть, творя́ть* и т. д. (л. 1—2). Приблизительно то же соотношение и у инфинитивов от возвратных глаголов: на 8 форм на *-тисѧ* (*сравни́тисѧ, моли́тисѧ, яви́тисѧ* и т. д. — л. 6) приходится 9 форм на *-тьсѧ* (*оустра́нитъсѧ, обраща́тъсѧ, сравни́тъсѧ* и т. д. — л. 2, 2 об., 3 об., 4). Инфинитивы с ударением на показателе даются только в несокращенной форме: *прѣобрѣ́сти, принести, снести* (л. 1 об., 3, 5). Имеются случаи употребления разных форм инфинитива в качестве однородных членов, ср.: *приходить и врачевати* (л. 10). Следует иметь в виду, что в этом переводе простые претериты вне цитат отсутствуют, так что формы на *-ти* явно употребляются не как показатели регистра; они играют роль высоких стилистических элементов, специально связанных, возможно, с духовной традицией, что соответствует замечаниям А. А. Барсова в его «Российской грамматике» (см. выше).

Такая практика, однако, не закрепляется надолго в духовной словесности. С разрушением «славенороссийского» языкового синтеза формы на *-ти* выходят из употребления не только в светской, но и в духовной словесности — хотя в последней процесс этот, видимо, идет несколько более медленно и не с полной последовательностью. Соответственно, форма на *-ти* теряет статус особого присущего духовной словесности морфологического варианта и начинает осознаваться как черта старого литературного языка — безразлично, церковнославянского или «славенороссийского». Смешение же форм оценивается как недопустимая пестрота, не имеющая никаких стилистических оправданий (ср. замечания митрополита Филарета Дроздова о таком смешении, сделанные в 1838 г.⁴⁸). Такое восприятие утверждается, видимо, уже в начале XIX в. Во всяком случае в поздних проповедях митрополита Платона Левшина мы находим в целом то употребление инфинитива, которое характеризует и современный русский литературный язык. Приведу статистические данные, полученные при анализе

⁴⁸ В 1838 г. митрополит Филарет исправлял славянский перевод грамот восточных патриархов об учреждении Синода, сделанный в Москве в начале 1720-х годов. В редактируемом тексте он отмечает «окончание глаголов пестрое, то ъ то и»; однако считает, что «надобно сохранить сию пестроту, как отпечаток времени» (Филарет 1869, 53). Из замечания митрополита Филарета очевидно, что вариативность форм инфинитива рассматривается им как черта необработанного языка, как результат отсутствия языкового стандарта.

двух выборок из последнего тома его проповедей, включающего гомилетические произведения московского святителя 1803—1805 гг. (Платон Левшин, XX, 1—27, 277—300):

	-ти/-ть	-тися/ -ться(-тца)	-ци(-чи)/-чь	-стѹ/-сть	-'стѹ/-сть	всего
старые	(7)	0	0	6	0	6 + (7)
новые	170	22	2	2	7	203
% новых	100 %	100 %	100 %	25 %	100 %	97,13 %

Гомилетический текст, понятно, не может быть лингвистически однороден, поскольку он, как правило, представляет собой толкование основных христианских текстов (Св. Писания и, реже, богослужения) и в силу этого содержит текст в тексте. Обычная стратегия проповедника состоит в том, чтобы этот исходный текст был отмечен чертами чужого слова. Наиболее ясный случай такой маркировки — это церковнославянская цитата в русском тексте, и в таких цитатах, у Платона выделенных курсивом, естественно появляется инфинитив на *-ти*⁴⁹. В отдельных случаях, однако, эта стратегия носит менее эксплицитный характер. Так, Платон, не выделяя цитаты, употребляет инфинитив *судити* в выражении «судити живых и мертвых», отсылая к Символу Веры (XX, с. 19). В другом случае он цитирует Пс. 50:6 «и побѣдиши внегда судити ти» и через несколько строк вновь употребляет инфинитив *судити*, не выделяя его формально как чужое слово, но явно отсылая слушателя к только что произнесенной цитате. Инфинитив на *-ти*, таким образом, выводится за пределы нормы и в силу этого получает стилистический статус инородного элемента, маркирующего чужое слово. Такое употребление означает, что в области инфинитивных форм язык духовной словесности делается тождественным литературному стандарту⁵⁰. Этот процесс (наряду с другими аналогичными процессами) как раз и обеспечивает полифункциональность нового языкового стандарта.

⁴⁹ Стоит заметить, впрочем, что воспроизведение языка источника во всех деталях не было при цитировании автоматическим моментом. Так, например, цитируя Рим. 8:39 «возможесть насъ разлучити отъ любве Божия», Платон сохраняет чуждую литературному стандарту форму род. ед. *любве*, но инфинитив *разлучити* заменяет на *разлучить* (Платон Левшин, XX, 11).

⁵⁰ Это относится и к инфинитивам других типов. Как видно из таблицы, исключительно новые формы имеют инфинитивы от возвратных глаголов (*относиться*, с. 2, *возобновиться*, с. 5, *открыться*, с. 5, *соединиться*, с. 5, 6, 7, 18 и т. д.), инфинитивы на *-ци/-чь* (*посѣчь*, с. 20, *привлечь*, с. 299) и инфинитивы на *-сти* с ударением на основе (*отпасть*, с. 282, 283, 284, *подпасть*, с. 283 и т. д.). В инфинитивах с ударным *-сти* последовательности не наблюдается (*привести*, с. 25, *принести*, с. 296, но *приобрѣсть*, с. 4, *произвесть*, с. 5 и т. д.), однако эта черта, отличающая язык Платона от современного литературного языка, характерна и для светского литературного языка начала XIX в.

Следует иметь в виду, что, как отмечалось выше, Платон Левшин и в более ранние годы употребляет почти исключительно новые формы инфинитива. В ранних проповедях, однако, можно все же отметить отдельные отступления (ср., например: «пускай же такой клятвы нарушитель взойдетъ въ церковь Божію *помолитися*» — Платон Левшин, I, 31—32). В поздних проповедях соответствие общелитературному языковому стандарту выдерживается более последовательно.

6. Формы 2 лица ед. числа презенса

Вариативность форм 2 лица ед. ч. презенса на *-шь* и *-ши* могла бы быть, на первый взгляд, рассмотрена параллельно с вариативностью форм инфинитива. Такого параллелизма, однако, нет, и это ставит перед исследователем ряд вопросов теоретического характера, относящихся к прагматике текста и влиянию прагматического фактора на историю языка. Современные лингвистические построения — как в виде таксономической грамматики, так и в виде различных генеративных моделей — трактуют элементы языка как в определенном смысле однородную массу. Грамматика, состоящая из перечня обобщений или набора генеративных правил, оперирует с равноценными кирпичиками языковых элементов (единиц словаря, служебных морфем и т. д.), из которых складывается текст (речь): *чертова бабушка* так же разлагается на морфемы и так же из них складывается, как *глокая куздра*. Если, однако, посмотреть на речевую деятельность как на реальный психический процесс, неадекватность этой абстракции бросается в глаза. Разные фрагменты текста производятся с разной степенью автоматизма, на одном полюсе мы наблюдаем прямое воспроизведение речевых формул, повторяемых в качестве готовой целостности (а не составляемых из морфем), на другом — активный поиск языковых средств, нужных для осуществления данного коммуникативного задания. Текст в этих случаях производится разным образом, с помощью разных механизмов, поэтому различен и статус задействованных в данном процессе элементов (см.: Живов и Тимберлейк 1997). Скажем, словосочетание *власти предержавшие* выступает как цельная номинативная группа, не разлагающаяся на составляющие (и не требующая синтеза по составляющим), откуда и возникает вариант *власть предержавшие*. Подобные примеры выразительны, поскольку аномальны, но самый принцип неоднородности характеризует языковую деятельность в целом. Неоднородны синтаксические конструкции и морфологические формы, неоднородны фонемы и интонационные контуры, неоднородность лексики и фразеологии очевидна и не требует комментариев.

Признав неоднородность элементов языка, мы утверждаем прагматику как неустранимый параметр языковой деятельности. В самом деле, автоматизм зависит от ситуации речи (от речевой стратегии говорящего или пишущего): в одних ситуациях «высказывают» одни готовые фрагменты языкового материала, в других — другие (см. Введение, § 1). Поскольку, как мы знаем, регистры связаны с разными коммуникативными заданиями, в разных регистрах автоматизм характеризует разные языковые элементы, и это определяет значение автоматизма для истории языка. Статус разных элементов в разных регистрах неодинаков, и это не может не проявляться и в их судьбе, определяя их большую или меньшую связь с разными регистрами языка, их большую или меньшую обычность (автоматизм) в разных типах текстов. Системные факторы языковой эволюции проектируются на эту прагматическую данность, так что эффект их воздействия оказывается не механистическим, а находящимся в зависимости от сложившихся в традицию параметров употребления языковых элементов. Именно эти факторы сказываются в том, что история форм 2 лица презенса оказывается непохожей на историю форм инфинитива с безударным *-ти*.

В исторических грамматиках русского языка история этих форм нередко рассматривается параллельно, и у этого есть все основания. Вариативность форм 2 лица ед. ч. презенса на *-шь* и *-ши* и вариативность форм инфинитива на *-ть* и *-ти* возникает в результате одного и того же процесса в живом языке (одного и того же системного фактора) — отпадения конечных безударных гласных словоформы, когда конечная гласная не является отдельным морфом и ей предшествует «одиначная согласная (или сочетание *ст*)» (Зализняк 1992, 297). Хотя высказывалось предположение, что исконным восточнославянским окончанием 2 ед. презенса было *-шь*, а *-ши* с самого начала выступало как элемент книжного языка (Соболевский 1907, 159; Дурново 1928), материал берестяных грамот показывает, что в XI—XII в. *-ши* было свойственно и диалектам восточных славян, а постепенная замена *-ши* на *-шь* относится к концу XII — XIV вв. Таким образом, в живом языке эволюция форм 2 ед. презенса и инфинитива была параллельной. Как параллельные случаи трактуются эти формы и в русской грамматической традиции XVIII в., определявшей направление нормализации русского литературного языка нового типа (к этой трактовке мы вернемся ниже). Варианты *-ти/-ть* и *-ши/-шь* рассматриваются как однородные языковые элементы, которые должны — в силу этой однородности — иметь одинаковую судьбу в истории языка.

Эта однородность, однако, является мнимой, поскольку соответствующие формы обладают разными прагматическими параметрами. В повествовательных текстах, которые образуют основной материал как гибридной письменной традиции (регистра — имею в виду прежде всего летописи и жития), так и традиции деловой (изложение казуса в челобитных и других юридических документах), формы 2 лица презенса встречаются неизмеримо реже, чем формы инфинитива, и при этом оказываются выделены как достаточно специфичный элемент нарративной структуры. Они появляются в прямой или несобственно прямой речи, т. е. представляют собой введенное в нарратив «чужое слово». Это означает, что они в большей степени привлекают внимание пишущего, чем нейтральные в данном отношении формы инфинитива, т. е. в ситуации нарратива являются менее автоматичными, чем инфинитив. Вместе с тем в некоторых типах текстов, прежде всего в текстах молитвенных, формы 2 лица ед. числа не только обычны, но и составляют предикативную основу ряда молитвенных формул, что в ситуации молитвенного обращения делает их более автоматичными, чем формы инфинитива. Эти моменты не могут не сказаться на употреблении соответствующих форм в разных типах текстов⁵¹.

6.1. Формы 2 ед. презенса в письменности XVII века

В восточнославянских не книжных текстах форма на *-шь* появляется с конца XII в. Самый ранний пример презенса на *-шь* в корпусе берестяных грамот отмечен в словоформе *истераетшь* в грамоте № 809, датируемой третьей четвертью XII в. (см.: Янин и Зализняк 1999, 5). В берестяных грамотах конца XII — начала

⁵¹ Дополнительным фактором, который мог бы обуславливать различие в истории форм инфинитива и 2 ед. презенса, является отсутствие форм на *-ши* в диалектной речи — в то время как формы на *-ти* сохраняются в севернорусских говорах. Однако, надо думать, этот фактор не имеет существенного значения для истории письменного языка.

XIII в. фиксируются формы *воземеше* (№ 227), *моловише*, *не оуправише* (№ 705) (Зализняк 1995, 119). В XIII в. такие формы могут быть найдены и в грамотах другого типа, см. в Договоре Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г., в списках готландской редакции *посоулишь* (СГ, 24, 30, 34). В берестяных грамотах XIII — середины XIV в. представлены и старые, и новые формы 2 л. Как отмечает А. А. Зализняк, «[с] 60-х гг. XIV в. в берестяных грамотах полностью господствует окончание *-шь*» (Зализняк 1995, 119).

Так в целом обстоит дело и вообще в не книжных текстах XV—XVI вв., так что употребление флексии *-ши* (как единственной или наряду с флексией *-шь*) может служить достаточно четким признаком книжных регистров. По наблюдениям М. А. Соколовой, в «Домострое» старые и новые флексии 2 л. презенса распределены весьма показательным образом. «Старая, сохранившаяся еще и в языке XVI в. флексия *ши* (биеши, 15; боишися, 7; будеши, 9; возлюбиши, 6; порадуешися, 15 и т. д.) встречается всего 75 раз. Все случаи до одного падают на первую часть «Домостроя» и последнюю, 64 главу» (Соколова 1957, 137). Напомню, что эти части «Домостроя» имеют религиозно-назидательный характер и могут рассматриваться как написанные на книжном языке. Вместе с тем, «[в] главах, посвященных быту и ведению хозяйства. флексия *ши* не представлена ни одним случаем» (там же). Подытоживая, М. А. Соколова подчеркивает, что «в первых 25 главах памятника глагольной форме 2 лица единственного числа свойственна лишь флексия *ши*, в главах второй части — только *шь*, а в 64 главе использованы обе флексии» (там же, 138)⁵². Стоит сразу же заметить, что употребление флексий 2 ед. презенса отличается здесь по своему распределению от форм инфинитива. Формы инфинитива на *-ти* и на *-ть* встречаются в обеих частях памятника и ясной функциональной нагрузки не имеют (см. § II.1.1).

Достаточно рано форма на *-шь* появляется и в восточнославянских церковнославянских текстах. Первые примеры относятся к концу XII — началу XIII в. При этом в стандартных текстах она встречается лишь окказионально, и А. И. Соболевский приводит только единичные примеры из нескольких рукописей Евангелия и Пролога (Соболевский 1907, 159). Однако же в таком специфическом книжном тексте, как Вопросание Кирика (по списку новгородской кормчей 1280-х годов) форма на *-шь* появляется неоднократно (Зализняк 1995, 119; Иванов 1995, 379). В поздних гибридных памятниках она может употребляться относительно часто. В целом, однако, для книжного языка форма на *-ши* остается нормативной, это относится не только к каноническим текстам (ср.: Булич 1893, 311), но и ко многим летописям (ср., например, о Степенной книге: Оттен 1973, 63—64).

⁵² Отсюда М. А. Соколова делает достаточно неубедительный вывод о том, что первая и вторая часть написаны разными лицами (Соколова 1957, 138—139). Наблюдаемое распределение вполне может быть объяснено изменением лингвистической стратегии пишущего (попа Сильвестра), который в качестве одной из формальных примет разного статуса фрагментов созданного им текста использовал окончание 2 ед. презенса. Именно так, в сущности, смотрит на это распределение С. Д. Никифоров (Никифоров 1947). М. А. Соколова основывает свои соображения на неосновательном убеждении в том, что устный язык непременно должен отражаться в письменном языке и что, следовательно, «пишущий не мог бы (...) не употребить формы, свойственной его обычной речи» (Соколова 1957, 138).

Впрочем, в ряде других летописных текстов XVI в. форма на *-шь* занимает уже достаточно прочные позиции. Так, в Пятой Новгородской летописи (ПСРЛ, IV, 2¹) обнаруживаем 11 примеров 2 ед. презенса на *-шь* при 80 примерах 2 ед. презенса на *-ши*. Таким образом, пропорция новых форм составляет 12,09 %. Никакой функциональной нагрузки новые формы не несут, они встречаются в никак не мотивированном чередовании с формами на *-ши*, ср.: «И послаша Кьяны къ Святославу послы, глаголюще: “княже, чюжеи землѣ *ищешь* и *блудишь*, а своя ся охабивъ; мало бо не взяша Печенѣзи матери твояе, и дѣтии твоихъ, и насъ; аще *не идеши*, *ни оборониши* насъ, да паки ны возмутъ”» (л. 464; ср. *ищеши*, *блюдеши* в Четвертой Новгородской летописи — ПСРЛ, IV, 1, 46); «Отъвѣща Володимиръ: “ты прислалъ к намъ: хоцю, братье, приити к вамъ и пожалити обиды своея; да се еси пришелъ и *сѣдиши* с братьею на одномъ коврѣ, а чего *не жалуешь*, до кого ти насъ обида”» (л. 520; те же формы и в Новгородской четвертой — ПСРЛ, IV, 1, 139); «Черниговци же возпиша в собѣ, глаголюци Всеволоду: “*мыслиши* бѣжати в Половцѣ, да къ чему ся *увернешь*?”» (л. 525 об.; формы *увернешь* и *увернеши* варьируют в разных списках Новгородской четвертой — ПСРЛ, IV, 1, 147). Характерно при этом, что пропорция новых форм 2 ед. презенса существенно выше, чем пропорция новых форм инфинитива (менее 2 % — см. выше, § II.1).

Поскольку в некнижных текстах позднего средневековья форма на *-ши* не встречается, она осознается как специфическая принадлежность книжного языка и в гибридных текстах может, вообще говоря, функционировать как второстепенный признак книжности. Однако никакой особой стратегии в употреблении этой формы в гибридных текстах не просматривается, не наблюдается, в частности, регистровой гармонии, которая связывала бы употребление форм на *-ши* с употреблением простых претеритов, и это, видимо, следует объяснять тем обстоятельством, что формы 2 ед. презенса — это «ненарративные» глагольные элементы, в нарративных текстах (в которых развертывание повествования как раз и задается претеритами) всегда привязанные к выпадающим из повествования ненарративным фрагментам (прямая речь персонажей, обращение повествователя к читателям и т. п.).

Пропорция старых и новых флексий 2 ед. презенса варьирует в гибридных текстах достаточно заметным образом, и в этом плане употребление рассматриваемых вариантов сходно с употреблением в том же регистре форм инфинитива на *-ти* и на *-ть*. Однако никакой корреляции между пропорциями старых и новых вариантов этих двух морфологических элементов в текстах не обнаруживается. Приведу элементарный пример. В Житии Епифания (по списку Пустозерского сборника — Пустозерский сборник 1975) последовательно выдерживаются формы на *-ши*, при том что в формах инфинитива наблюдается вариативность и приблизительно в четверти случаев употребляется инфинитив на *-ть* (см. выше, § II.1.1). Напротив, в Житии Юлиании Лазаревской (ПЛДР, XVII, I, 98—104) последовательно употребляется инфинитив на *-ти*, тогда как из шести форм 2 ед. три употреблены с окончанием на *-шь*, а три с окончанием *-ши* (выбор варианта никак не мотивирован).

В употреблении форм 2 ед. презенса в гибридных текстах XVII в. в целом не просматривается той осмысленной динамики, которая характеризует историю форм инфинитива, хотя определенная соотнесенность между жанровой принад-

лежностью текста и пропорцией новых флексий все же существует. Одна из основных причин состоит, видимо, в редкости форм 2 лица в текстах основных типов: в отличие от форм инфинитива они — в силу своей редкости — плохо ассоциируются с лингвистическими установками пишущего, не подчиняются устойчивым письменным навыкам, и поэтому их употребление лишь в ограниченной степени определяется теми механизмами преемственности, которые действуют в области более частых форм.

Так, анализ двух частей Мазуринской летописи позволил увидеть, как происходит нарастание инновативных форм инфинитива от более архаических пластов текста к менее архаическим. У форм 2 ед. презенса такой динамики не видно. В первой части летописи (ПСРЛ, XXXI, 11—119) встречается 43 формы на *-ши* при 2 формах на *-шь*, пропорция новых форм составляет 4,44 %. Эта цифра хорошо согласуется с пропорцией новых форм инфинитива (4,22 % — см. § II.1.1), но неожиданным образом оказывается существенно ниже, чем та, которая характеризует Пятую Новгородскую летопись. Представляется, однако, что эти параметры не имеют содержательной интерпретации. Формы на *-шь* появляются окказионально, они никак не мотивированы и никак не соотносятся с лингвистическими характеристиками того контекста, в котором они встречаются. В одном случае данная форма встретила в рассказе о крещении руссов при Фотии под 6386 г. («яко велик есть бог, его же ты *проповедуешь*» — с. 37); во втором случае контекстом оказывается рассказ об убийстве Ярополка под 6485 г. («*Видиши* ли, колико вои брата твоего множество» — с. 41). В обоих случаях инновативные формы употреблены в нормальном книжном фрагменте, не содержащем других инновативных форм; поэтому они могут интерпретироваться как случайные отклонения, не связанные ни с характером изложения, ни с типом использованного источника. Количество таких отклонений не находится в определенной зависимости от типа преемственности, свойственного анализируемому памятнику, и в силу этого не встраивается в ясную историческую картину.

Вторая часть Мазуринской летописи никак не оттеняет узус первой части и не указывает ни на какую историческую динамику, как это было в случае инфинитива. Действительно, во второй части всего три формы 2 ед. презенса. Две старых формы встречаются в рассказе о епископе Касьяне под 7062 г. («чесо ради не *встречаеши* мене и не *чествуеши*» — с. 132). Одна новая форма появляется в повествовании о патриархе Гермогене под 7119 г. («будет ты изменник Михайла Салтыков с литовскими людьми *выйдеш* вон из Москвы» — с. 156). Понятно, что на основании трех форм никаких выводов сделать невозможно, так что о соотношении выбора старой или новой формы 2 ед. презенса с хронологическими слоями летописи говорить не приходится. Данная ситуация является результатом того обстоятельства, что в поздних слоях летописи прямая речь персонажей встречается существенно реже, чем в слоях более ранних. Это, видимо, не случайно, но обусловлено изменением нарративных моделей в позднем летописании. Этот любопытный аспект динамики летописного жанра остается неизученным. Тем более неясно, как подобные изменения влияли на лингвистический облик летописных памятников.

То, что прямая речь в исторических памятниках XVII в. появляется лишь sporadически (а обращения к читателю практически вообще отсутствуют), делает не

слишком показательными в интересующем нас отношении и другие тексты данного жанра. Так, скажем, в Новой повести о преславном Российском царстве по рукописи XVII в. (РИБ, XIII, стб. 187—218) обнаруживается лишь 3 формы 2 ед. презенса. Все они употреблены в одной фразе и стоят в форме на *-ши*: «да *будеши* проклять со всѣмъ своимъ соньмомъ въ семь вѣцѣ и въ будущемъ, но и съ тѣмъ, его же *желаеши* и всего міра спасеніе ему всѣмъ усты касатися *поущаеши!*» (стб. 205).

В куда более обширном Временнике Ивана Тимофеева (РИБ, XIII, стб. 261—472) прямая речь, возможно, еще более редка, а соответственно редки и формы 2 ед. презенса. Их всего 6, и все они представляют собою формы на *-ши*. Вряд ли этот момент требует особого объяснения, поскольку Временник вообще избегает инновативных форм (можно напомнить, что и формы инфинитива на *-ть* появляются в нем всего лишь в 1 % случаев). Не благоприятствуют появлению форм на *-шь* и конкретные контексты. В трех случаях эти формы употреблены в молитвах: «Но Господи Всявѣдче! ⟨...⟩ Ты бо вѣрнымъ всѣмъ невѣдѣніемъ *бываеши* вѣдомъ» (стб. 349); «Вѣмы бо, во-истинну вѣмы, яко *можеши* вся спасти, аще *хощеши*» (стб. 389; в этой же молитве и форма *вѣси*). Два примера обнаруживаются в библейской цитате: «невѣдый реченія Пророческа о таковыхъ: “аще *вознесеши*ся, глаголетъ, яко и орель и *сотвориши* си гнѣздо посредь звѣздъ, и отгуду свергу тя, глаголетъ Господь”» (стб. 351 — см. Авд. 1:4). Еще в одном случае контекстом служит риторическое обращение к Российскому царству по поводу подвигов кн. Михаила Скопина-Шуйского: «державное отъ Бога кормило въ руку имѣя и правдою обоямо тя обращаая, аможе *хощеши*» (стб. 419).

Столь же малопоказательны и данные Летописца 1619—1691 гг. (ПСРЛ, XXXI, 180—205), в котором встречается 4 формы 2 ед. презенса на *-ши* и ни одной формы на *-шь*. Все эти примеры появляются в описании восстания 1682 г., отличающемся известной живостью и время от времени использующем прямую речь персонажей. Ср.: «И странныя люди многия рекоша в укоризну ему, яко ⟨...⟩ *зриши* ли печаль сию всемирную» (л. 706 об.); «Они же и в дело его не поставиша, вси возопиша, яко: “Ты не *речеши* нам ничто же, и не слушаем тя, понеже ты *лжеши!*”» (л. 713 об.); «*Помниши* ли, как ты нам при царе Алексее Михайловиче всяя Росии поругался» (л. 721 об.). В употреблении форм 2 ед. презенса летописец оказывается более консервативен, чем в употреблении форм инфинитива (пропорция новых форм инфинитива составляет более одной четверти). Возможно, это связано с риторической установкой автора, стремящегося создать книжное повествование о недавних событиях и поэтому избегающего синтаксических и морфологических коллоквиализмов. К их числу он мог относить и формы на *-шь*, тогда как формы инфинитива на *-ть*, равномерно распределенные по всему тексту, в качестве коллоквиализмов не воспринимались. Примеры, впрочем, слишком малочисленны для обоснования какой бы то ни было интерпретации.

О возможности такой интерпретации свидетельствует, кажется, Вторая Новгородская летопись (ПСРЛ, XXX, 147—205), о многочисленных синтаксических коллоквиализмах которой говорилось выше (§ 1.4). Свидетельство это, конечно, не слишком впечатляющее, поскольку в этом достаточно обширном тексте встречается всего 9 форм 2 ед. презенса. Четыре из них употреблены в форме на *-ши* и встречаются в статье под 1572 г. в рассказе, заимствованном из патерика:

«Отець Арсьенеи <...> помолися богу глаголя: “господи, настави мя како спасуся”. И прииде ему глас глаголя: “Арсеньє бѣгаи чєловѣкъ и *спасешишь*” <...> Рече авва Моисѣи <...>: “возлюби нищих да тѣхъ ради и ты помилован *будеши* <...> поминаи оход души твоеи да не *сѣгрѣшиши* много к богу <...> помышляи геону огнену и муки лютыя, да *возненавидиши* дѣла злая”» (л. 27 об.—28). Остальные 5 случаев представляют собою формы на *-шь*. Одна из них встречается в нейтральном контексте под 1226 г. и может рассматриваться как случайное отклонение, подобное тем, которые мы наблюдали в Пятой Новгородской летописи: «Преже своего преставления Саватии призва владыку Атониа и посадника Ивана и вси Новгородци. “Изберите, рече, себѣ игумена”. Они же рековаша: “кого ты *благословишь*”» (л. 124 — ср. *благословиши* в том же тексте в Первой Новгородской летописи — НПЛ, 65, 269). Остальные четыре, однако, появляются в описании перепалки между новгородским архиепископом и архимандритом Юрьева монастыря под 1572 г., наполненном коллоквиализмами: «И в тѣи же поры владыка Леонид учаль говорити анхимандрѣту Юрьева манастиря Феоктисту: “почему деи ты, анхимандрѣтъ, мнѣ своеи настолной грамотѣ не *кажец* и не *вписываеешь* (sic!), как ди ты *анхимандрѣтишь*” <...> И анхимандрѣтъ молвил владыкы: “тоби ди у мене хочется содрать, а мнѣ тебѣ ничего дать, тебѣ дии анхимандрѣство и настолная грамота, *хочец* де с меня, владыко, и рѣзы здерѣ, и я и о том не тужу”» (л. 151—151 об.; смешение *ш* и *щ* случается в скорописных текстах).

Понятно, что редкость подобных примеров в историографических памятниках препятствует формированию какой-либо традиции в осмыслении подобных форм, так что восприятие их как коллоквиализмов отнюдь не является общепринятым. Так, в «Скифской истории» Андрея Лызлова немногочисленные примеры презенса 2 ед. встречаются именно в форме на *-шь* (*учинишь*, *приобряцешь*, *победишь* — Лызлов 1990, 11—12) и не имеют никакой стилистической окраски. Стоит заметить, что инфинитив в этом тексте употребляется практически только в форме на *-ти*.

В текстах новых развивающихся в XVII в. жанров ситуация меняется. В отличие от той ситуации, которая характеризовала употребление форм инфинитива, употребление форм 2 ед. презенса не было отягощено какой-либо традицией, поскольку для нарративных текстов такой традиции не существовало. Поэтому фактор освобождения от памяти жанра не играет здесь сколько-нибудь существенной роли. Однако сама по себе свобода от традиции естественным порядком приводит к экспансии новых форм. Хотя данные «Космографии» Ортелия в переводе XVII в. (Коста 1982) вряд ли показательны, поскольку характер этого сочинения не благоприятствует употреблению форм 2 лица, замечу все же, что здесь во вполне нейтральном контексте встречаются 3 формы на *-шь*: *увиди^ш* (л. 9, 46), *вьеде^ш* (л. 46) (см.: Коста 1982, 87).

Более выразительны данные Римских Деяний по списку 1688 г. В этих переводных новеллах прямая речь используется весьма интенсивно, и поэтому формы 2 ед. встречаются достаточно часто. Ни старые, ни новые формы никакой функциональной нагрузки не несут. В двух обследованных выборках (Римские Деяния 1877—1878, II, 162—237, 325—366) старые и новые формы употребляются в одних и тех же контекстах, ср.: **а ты неповѣдаешли мнѣ правды** (с. 164) и **а ты неповѣдаешли правды** (с. 165), и могут выступать как однородные члены, ср.

тѣ (...) ѿмаши королѣвствовати пото^а такъ живота доконѣшъ (с. 214). Новые формы употребляются преимущественно перед старыми, в указанных двух выборках на 32 новые формы приходится 22 старых, таким образом, пропорция новых форм составляет 59,26 %. Эта пропорция несколько выше, чем аналогичный параметр для новых форм инфинитива; трудно сказать, впрочем, объясняется ли это тем, что формы 2 ед. на *-ши* воспринимаются как более книжный элемент сравнительно с формами инфинитива на *-ти*, или тем, что в случае последних действует давление традиции (сложившихся письменных навыков). Примечательно, что в употреблении форм 2 ед. презенса обнаруживается существенно большая неравномерность, чем в употреблении форм инфинитива (в первой выборке пропорция форм на *-шь* составляет 44,12 %, во второй — 85 %), что может свидетельствовать об отсутствии навыка в употреблении данных форм.

Так же как и в случае инфинитива, дальнейшее развитие секулярной литературы, не сдерживаемое старой книжной традицией, приводит к экспансии новых форм. В области форм 2 ед. презенса эта экспансия приносит более радикальные результаты, чем в области форм инфинитива. В Повести о Петре Златых ключей по списку 1702 г. (Кузьмина 1964, 275—331) в двух обследованных выборках (с. 275—290 и с. 301—316) встречаются исключительно формы на *-шь*, тогда как новые формы инфинитива, хотя и составляют подавляющее большинство (90,58 %), появляются все же наряду со старыми формами. Понятно, что в этих условиях формы на *-шь* употребляются вне зависимости от контекста, ср., например, в молитве Петра: «а есть ли воля твоя святая, в какую неволю и терпение *вдашь* мя» (с. 304; замечу, что в молитве встречаются не только энклитические местоимения, но и простые претериты).

В этой ситуации и с оглядкой на употребление инфинитива не представляется удивительным, что новые формы 2 ед. на *-шь* господствуют и в Житии Аввакума, тогда как относительно редкие старые формы подчиняются регистровой гармонии и появляются в контексте других маркированно книжных элементов (ср.: Кокрон 1962, 212; Чернов 1984, 59). В этом плане формы на *-ши* ведут себя в Житии точно так же, как инфинитивы на *-ти*, и симптоматично, что даже их пропорции оказываются почти тождественными. В Житии по списку Пустозерского сборника (Пустозерский сборник 1975) встречается 9 форм на *-ши* при 45 формах на *-шь*; таким образом, пропорция форм на *-ши* составляет 16,67 % (пропорция инфинитивов на *-ти* составляет 17,85 % — см. § П.1.1). Форма на *-ши* появляется в тех же или в схожих контекстах. Три формы на *-ши* фиксируются во введении: *промышляеши*, *хощеши*, *обрящеши* (л. 12—12 об.). В трех случаях эти формы даются в составе цитат: *наказуеши* (л. 35), *хощеши* (л. 48 об.), *опалиши* (л. 101). Кроме приведенный выше формы *обрящеши* во введении, та же форма с тем же значением отсылки к святоотеческим писаниям встречается еще два раза (л. 42 об., 64 об.). Наконец, один раз форма на *-ши* появляется в торжественном вопрошании, обращенном Аввакумом к исцеляемому им Евфимию: «*Хощеши* ли впредь цѣль быти?» (л. 20); характерно, что в этом же вопрошании присутствует форма инфинитива на *-ти*.

Ту же самую картину с практически ничем не отличающимися параметрами можно наблюдать и в другом списке Жития, находящемся в сборнике из собрания Дружинина и также считающемся автографом Аввакума (см. Чернов 1984,

59—61). Форма на *-ши* несомненно несет функциональную (стилистическую) нагрузку. Как и в случае с инфинитивами, нецелесообразно преувеличивать детерминированность выбора формы 2 ед. презенса и тем более определять этот выбор в терминах бинарного противопоставления церковнославянского и русского языков (как это делает, например, В. А. Чернов — там же). Форма на *-шь* вообще предстает как нейтральная, немаркированная и может появляться в любых контекстах, ср. хотя бы форму *разумѣшь* (л. 6) в цитате из Псевдо-Дионисия во введении (которое представляет собой наиболее книжный фрагмент Жития) или форму *уразумѣшь* (л. 8 об.) в том же введении. Интенсивное употребление формы на *-шь* следует, видимо, отнести на счет конструируемой Аввакумом оральности, о которой говорилось выше в связи с дистрибуцией форм инфинитива, хотя у форм 2 ед. презенса эта функция менее наглядна, поскольку нет того радикального разрыва с традициями книжного нарратива, которое имеет место в случае инфинитива (в силу невыраженности подобных традиций)⁵³.

Определенное подтверждение этой интерпретации получаем из сопоставления с другими сочинениями Аввакума. Их риторическое устройство, как и многих других старообрядческих сочинений, диалогично и полемично, его задача — вовлечь адресата в религиозное противостояние. Поэтому формы 2 ед. презенса встречаются в них достаточно часто. Указанная риторическая задача, однако, отличается от той, ради которой в Житии конструируется оральность (как дистанцирование автора от образцов книжной святости). Мы видели, что в Книге бесед Аввакума это отличие обуславливает иные, нежели в Житии, пропорции старых и новых форм инфинитива. Это верно и для старых и новых форм 2 ед. презенса. Анализируя те же две выборки из Книги бесед (беседы 1—4 — РИБ, XXXIX, стб. 241—288 — и беседы 9—10 — там же, стб. 361—392) по списку из собрания П. Д. Богданова № 2, что и при рассмотрении форм инфинитива, находим, что формы на *-шь* встречаются в них 25 раз, тогда как формы на *-ши* — 15 раз; таким образом, пропорция старых флексий составляет 37,5 %, что существенно выше, чем в Житии. В отличие от Жития, формы на *-ши* не несут определенной стилистической нагрузки, как и в случае с формами инфинитива, регистровая гармония нередко нарушается и старые и новые формы оказываются в свободной вариации, они могут употребляться как однородные члены, ср., например, в шестой беседе: «оть прибитковъ своихъ дай десятину Богу, или треть, или поль имѣнія своего, или елико *хощеши* и *можешши*» (стб. 296).

⁵³ Аввакум естественно мог отталкиваться не от летописной традиции, которую мы анализировали выше, а от традиций агнографического нарратива (как бы слабо они ни были выражены). Положение в этом последнем не отличалось существенным образом от того, которое было характерно для летописей. Употребление 2 ед. презенса было весьма ограниченным и в этих памятниках (хотя обращения к читателю встречаются здесь чаще), а основной формой оставалась форма на *-ши*. Определенное представление об этом можно составить на основании статистических данных, полученных при анализе ряда агнографических текстов XVI в., выполнявшемся коллективом под руководством А. С. Герда. По этим данным в 11 обследованных житиях встретилось 92 формы на *-ши* и 6 форм на *-шь*. (Аверина и др. 1996, 9—20). Аввакум мог в принципе рассматривать подобное соотношение как характерное для книжной традиции и в своем отталкивании от нее ориентироваться на прямую противоположные пропорции.

Более того, как уже говорилось, Книга бесед известна нам лишь по относительно поздним рукописям. В формах инфинитива расхождения между списками в целом отсутствуют, так что наблюдаемое соотношение форм может быть с известными оговорками приписано оригиналу. Не так обстоит дело с формами 2 ед. презенса. Одним из повторяющихся разночтений между списком из собрания Богданова, положенным в основу издания, и списком из собрания Дружинина (№ 496) как раз являются формы 2 ед. презенса. Хотя смешение форм на *-шь* и на *-ши* присутствует в обоих списках, ряду форм на *-шь* списка Богданова соответствует форма на *-ши* списка Дружинина (таких разночтений 12), так что в этом последнем списке пропорция старых форм оказывается существенно иной. В нем при 13 формах на *-шь* употребляется 27 форм на *-ши*, так что пропорция старых флексий составляет 67,5 %. Какой именно узус соответствовал оригиналам Аввакума, выяснению не поддается, однако в любом случае отличия этого узуса от того, который свойствен Житию, бросаются в глаза, и, если принимать в расчет список Дружинина, они лишь усугубляются.

Неплохим свидетельством того, сколь специфическую роль играют в Житии Аввакума новые формы 2 ед. презенса и сколь тесно они, так же как и новые формы инфинитива, связаны с конструированием оральности, является Житие Епифания по списку того же Пустозерского сборника (Пустозерский сборник 1975, 112—138). И в этом повествовании прямая речь используется достаточно интенсивно, но это обусловлено общей риторической установкой старообрядческой пропаганды, а не конструированием оральности. Формы 2 ед. презенса встречаются неоднократно, в сравнительно небольшом тексте они появляются 14 раз. Во всех этих случаях, однако, мы находим старую форму на *-ши*, ср.: *хощеши* (л. 165, 166 об., 169, 189 об.), *обрящеши* (л. 165 об., 166), *будеши* (л. 166 [bis]), *живеши* (л. 167), *избудеши* (л. 171), *получиши* (л. 171), *можеши* (л. 174), *поможеши* (л. 176 об.), *отверзеши* (л. 179).

В деловых текстах формы 2 лица практически не обнаруживаются, так что какой-либо сложившийся узус приказного языка для этого признака отсутствует. Как отмечает, например, П. Я. Черных, в «Уложении спрягаемые формы глагола в изъявительном наклонении встречаются только в 3-м лице ед. и мн. числа» (Черных 1953, 343). Формы 2 лица оказываются столь же неуместны и в разного рода деловых документах. В тех нередких случаях, когда в них воспроизводятся высказывания действующих лиц (например, в расспросных речах), они, как правило, передаются в виде косвенной речи и форм 2 лица не содержат⁵⁴. В этих условиях понятно, что никакого устойчивого узуса не заметно и в тех текстах, которые производятся приказными служащими, обладают отличительными языковыми признаками делового регистра, но не являются типичной приказной продукцией.

⁵⁴ Конечно, отдельные отступления от подобной практики могут быть найдены. Например, в записи допроса стрельца Я. Григорьева во время розыска о стрелцеком восстании 1698 г. находим: «И товарищи де ево, которые были с ним, челобитчики, ушли наперед, а ево, Якушку, оставили. И, не доходя Ржевы, встретились ему всех четырех полков стрельцы и спросили ево, Якушка: “Куды де ты *идеши*?”» (Казакевич 1980, 92). Такие примеры в силу своей исключительности никакой традиции не образуют и ни о каких письменных навыках приказных служителей не свидетельствуют.

Впрочем, в силу характера этих текстов формы 2 лица и в них появляются крайне редко. Как отмечает А. Пеннингтон в своем описании сочинения Котошихина, «[b]ecause of the nature of the text the overwhelming majority of examples are in the third person, sg. and pl.» (Пеннингтон 1980, 277); действительно, форм 2 ед. презенса у Котошихина обнаружить не удастся. Лишь единичные формы 2 ед. презенса фиксируются и в Вестях-курантах, ср. здесь: «а литовские ему Кърлянскому не велят дават свѣискому бѣдет де ты *станеш* емѸ свѣискому дават и мы Ѹ тобѧ і вдвое против возьмемъ» (Вести-куранты 1996, 124); «а что тѣм *можеш* вымыслит и т[о] тобѸ мочно самому догодатца» (там же, 125). Форму на *-шь* в этих случаях можно было ожидать, однако невозможно делать какие-либо выводы на основании двух примеров. В «Учении и хитрости ратного строения пехотных людей» 1647 г. «[à] la 2me personne du singulier (...) on trouve assez souvent la désinence slavonne *-ши* à côté de *-шь*, *-шь*. Exemples: боудеши 46d, вѣзмиши 76d bis, небоишися 121d, ѡборотишися 77g, хвѧлиши 77g etc.» (см.: Станг 1952, 60); формы на *-ши*, видимо, составляют все же меньшинство (ср. примеры: там же, 61—62); трудно сказать, чем именно обусловлено их появление, отсутствием ли сложившихся письменных навыков или стремлением справщиков, готовивших текст к публикации, ввести в него привычные им книжные формы.

Что касается текстов бытового регистра, то здесь в XVII в. употребляется исключительно форма на *-шь*. Так обстоит дело, например, в письмах царя Алексея Михайловича или переписке Хованских, обследованных Ф. Кокроном (Кокрон 1962, 212). Вывод Кокрона о том, что узус бытовой переписки полностью избегает формы на *-ши*, подтверждается и нашими данными. Так, в переписке из фонда Киреевских, охватывающей последнее десятилетие XVII и первую четверть XVIII в. (Котков и Панкратова 1964, 19—62) встречается 82 формы на *-шь* и ни одной формы на *-ши*, ср.: *изволи^{III}* (с. 20 [bis], 22, 23, 24 [bis] et passim), *учинишишь* (с. 20), *напаметуешишь* (с. 20), *уволитишь* (с. 24) и т. д.; единственное отступление отражает, видимо, диалектное произношение: *ѡ^mлучаесса* (с. 55). Столь же однообразна в рассматриваемом отношении и подборка писем Голицыных, Стрешневых и Михалковых, датируемых в основном 1670—1680-ми годами (Котков и др. 1968, 15—43), хотя эти письма и имеют более элитарный характер. В этой выборке фиксируется 76 форм на *-шь* и никаких отклонений от данного узуса. Наконец, ничем не отличающиеся результаты дает и выборка, содержащая переписку трех поколений Масловых и охватывающая период от середины XVII в. до первых двух десятилетий XVIII в. (Котков и Панкратова 1964, 79—125); при 115 формах на *-шь* ни одной формы на *-ши* в этом корпусе не появляется.

Можно отметить, что узус бытового регистра исключает употребление формы на *-ши* с существенно большим ригоризмом, чем это имеет место в отношении инфинитива на *-ти*. Показательно, что в эпистолярных формулах, встречающихся в бытовой переписке, инфинитив на *-ти* может соседствовать с 2 ед. презенса на *-шь*, ср. в грамотках XVII в.: «і пожалуи вели впрѣд писати ко мнѸ о своем здорѡве а я твоего здорѡва слышати рад... а пожалуеш похощи вѣдат...» (Котков 1969, 21 et passim).

Итак, рассмотренные материалы позволяют сделать вывод, что в текстах XVII в. формы 2 ед. презенса и формы инфинитива функционируют существенно

несходным образом: диапазон употребления форм с безударным *-ти* значительно шире, чем форм 2 лица на *-ши*, поскольку формы на *-ти* встречаются и в деловых, и изредка в бытовых текстах, из которых форма на *-ши* практически полностью исключена. В принципе это создает условия для восприятия формы на *-ши* как признака книжности, т. е. как маркированного элемента книжного языка, противопоставляющего этот язык некнижному. Тем не менее эта функциональная нагрузка формам на *-ши* несвойственна.

Причина этого, надо полагать, лежит в том, что в гибридных текстах, в которых такая функциональная нагрузка могла бы реализоваться, формы 2 ед. презенса встречаются слишком редко и поэтому не формируют устойчивых письменных навыков. В отличие от достаточно разнообразных в жанровом отношении стандартных церковнославянских текстов (имею в виду и гимнографию, и проповедь, и разные типы нарратива), в которых форма на *-шь* не появляется, тексты гибридного регистра имеют почти исключительно повествовательный характер. Формы 2 ед. презенса появляются в этих текстах лишь окказионально и при этом оказываются выделенными как специфический выпадающий из ткани повествования элемент. В силу этого в большинстве гибридных текстов функциональный потенциал форм на *-ши* остается неиспользованным: формы на *-ши* так же лишены в них функциональной нагрузки и так же употребляются в безразличном смешении с формами на *-шь*, как и формы инфинитива на *-ти*. Это относится и к развивающейся в XVII в. секулярной повествовательной литературе, в которой — в отличие от традиционных нарративных текстов (в особенности поздних) — широкое применение находит прямая речь. Исключительное место на этом фоне занимает Житие протопопа Аввакума, в котором формы на *-шь*, равно как и формы инфинитива на *-ть*, употребляются со специфической риторической установкой (конструирование оральности), а противопоставленные им формы (2 ед. на *-ши* и инфинитива на *-ти*) подчиняются регистровой гармонии, соседствуя с другими специфически книжными элементами, и в силу этого наделяются стилистической значимостью.

6.2. Формы 2 ед. презенса в языковой практике XVIII века

Перейдем теперь к Петровской эпохе. Для наиболее значимых в контексте петровской языковой политики текстов, по содержанию преимущественно естественнонаучных и технических, формы 2 лица являются периферийным элементом и поэтому заметным манипуляциям, отражающим новые языковые установки, они не подвергаются. В силу редкости этих форм материал ограничен и позволяет нарисовать лишь довольно фрагментарную картину. Тем не менее общие контуры просматриваются достаточно ясно. Как и по ряду других признаков, по употреблению форм 2 ед. презенса узус новой литературы Петровской эпохи оказывается разнороден, так что и в данном случае можно говорить о «петровском пуле», совмещающем вариативность разных регистров предшествующей эпохи. Хотя по прежним меркам «простой» язык петровского времени должен быть определен как некнижный, он не исключает употребления форм 2 ед. на *-ши*, которые, как мы видели, в некнижных текстах XVII в. практически не встречались. Такие формы встречаются не во всех подобных текстах (потому ли,

что они вообще немногочисленны, или потому, что такое употребление противоречило письменным навыкам или риторическим установкам пишущего; выяснить это представляется затруднительным), однако появление их в ряде таких текстов представляется значимым моментом.

Так, в рукописи «Приёмы цѣрквля і линѣйки» (РГАДА ф. 381, № 1006), с которой набиралось первое издание гражданского шрифта «Геометрія славенскі семлемѣріе» (Геометрия 1708), формы 2 ед. презенса встречаются 7 раз: *пожеллаешъ* (л. 63 об.), *поступиши* (л. 79 об.), *похощешиъ* (л. 112 об., 113, 115), *ѹмáлиши* (л. 113 об.), *желлаешъ* (л. 115 об.). Таким образом, на пять новых форм приходится две старых. Никакой стилистической нагрузки эти формы не несут и никакой правке не подвергаются, так что они в неизменном виде переходят и в издание 1708, и в издание 1709, и в издание 1725 г. В книге «О способах творящих водохождение рек свободное» употребляются только новые формы на *-шь*, ср. здесь: *имѣшиъ* (Буйе 1713, 19, 21), *возможешъ* (с. 19), *видѣшиъ* (с. 19) и т. д.

В «Юности честном зерцале», для которого, как мы видели, характерно крайнее ограниченное употребление инфинитива на *-ти*, в большинстве случаев появляется новая форма 2 ед. презенса, ср.: *говоришиъ* (Юности честное зеркало 1717, 5, 32), *хощешиъ* (с. 8), *обходишиъ* (с. 13), *усмотришиъ* (с. 17) и т. д. Всего встречается 21 форма на *-шь*. Тем не менее вовсе без старых форм данный текст не обходится: *имаши* (с. 45), *побѣждаеши* (с. 82). В последнем случае рядом с формой на *-ши* в качестве однородного члена употреблена форма на *-шь* («побѣждаеши меня смѣреніемъ своимъ, которымъ ты, и животь свои отъ меня нынѣ спасаешъ»); из такого употребления следует, что формы 2 ед. презенса лишены функциональной нагрузки. Показательно, что в первой части книги («Нравоучения от священного писания») последовательно употребляются формы на *-ши*.

Как и в случае с формами инфинитива, противоположный полюс спектра существовавших в петровском «гражданском наречии» возможностей реализуется в «Географии генеральной» Б. Варения. В проанализированных выборках (Варений 1718, 1—50, 337—376) встретилось 15 форм на *-ши*: *будеши* (с. 10 [bis], 48), *узриши* (с. 22, 363 [bis]), *престъчеши* (с. 29), *вопросиши* (с. 49, 340), *придеши* (с. 341), *возхощеши* (с. 344), *речеши* (с. 361), *имаши* (с. 371), *похощеши* (с. 376), *познаеши* (с. 376); ср. еще: *придаси* (с. 49). Форму на *-шь* находим всего в 3 случаях: *хощешиъ* (с. 30), *изволяешъ* (с. 30), *можешъ* (с. 375). Никакой функциональной нагрузки формы 2 ед. презенса не имеют, а преимущество формы на *-ши* обусловлено пристрастием переводчика книги, Федора Поликарпова, к «регулам чина грамматического». Понятно в этой связи, что правка Софрония Лихуда затрагивает и эти формы. Лихуд исправляет *нехощеши* на *нехощешиъ* (РГАДА, ф. 381, № 1008, л. 102), *хощеши* на *хощешиъ* (л. 102), *во³хощеши* на *похощешиъ* (л. 158), *желаеши* на *желаешъ* (л. 915). Радикально эти исправления соотношения старых и новых форм не меняют.

Эта разнородность узуса сохраняется вплоть до начала академической нормализации. Во всяком случае в «Кратком описании комментариев Академии наук» (Краткое описание 1728) мы обнаруживаем тот же неупорядоченный узус, который мы наблюдали в текстах Петровской эпохи. Правда, примеры 2 ед. презенса в этом тексте весьма немногочисленны (в основном они появляются в предисловии, обращенном к «благодарному читателю»), так что нет возможности обна-

ружить различия в узусе отдельных академических переводчиков, как мы это делали, рассматривая формы инфинитива. Однако узус в целом напоминает лингвистический облик «Географии генеральной». В подавляющем большинстве случаев употребляется форма на *-ии*, хотя не исключается и употребление формы на *-шь*, ср. в Предисловии: *можешии* (л. 1 об.), *речешии* (л. 2), *дождешиися* (л. 2), *помыслиши* (л. 2), *извѣстишиися* (л. 2), *удившиися* (л. 2), *хощешии* (л. 2), *узриши* (л. 2), *простиши* (л. 2); в переводе Ивана Ильинского: *имаши* (с. 194), *речешии* (с. 195).

Как и в случае с инфинитивом, картина становится совсем иной в «Примечаниях к ведомостям», и это побуждает думать, что нормализационные решения, принятые в 1728 г., распространялись и на формы 2 ед. презенса, исключая из употребления форму на *-ии*. Прямые доказательства этого найти не очень легко, поскольку формы 2 ед. презенса в «Примечаниях» достаточно редки (в соответствии с их тематикой, не предполагающей ни прямой речи, ни обращений к адресату). Однако в журнале за 1731 г. мы находим некоторое количество примеров 2 ед. и все они оказываются в форме на *-шь*, ср.: *вопрошаешь*, *непрѣмънишь*, *воспрѣимешь*, *будешь* (Примечания 1731, 2), *потянешь* (с. 34). На то, что подобное решение было принято, могут указывать и «Немецкая грамматика» М. Шванвитца 1730 г. и «Очерк» Адодурова 1731 г., фиксирующие исключительно формы на *-шь* (см. ниже)⁵⁵.

Это же нормализационное решение отражается, видимо, и в «Езде в остров любви» Третьяковского, в целом принявшего академическую регламентацию. В «Езде» встречаются исключительно формы на *-шь*, причем не только в прозаическом, но и в стихотворном тексте, ср.: *можешь* (Третьяковский 1730, 26), *неувидишь* (с. 30), *будешь* (с. 104), *хочешь* (с. 111) и т. д. (примеры многочисленны). Почти без отступлений употребляется форма на *-шь* и в Стихах на разные случаи самого Третьяковского, напечатанных в приложении к «Езде». Отступление от этой нормы находим только в «Элегии о смерти Петра Великого» 1725 г. («О премудрыи Петре! тыль не живеши нынѣ?» — Третьяковский 1730, 156). Этот текст, однако, в целом написан на гибридном церковнославянском языке, содержит аористы и поэтому практику нового литературного языка никак не характеризует. Однако в более поздних «Стихах эпиталамических» 1730 г. употребляются практически лишь формы на *-шь*: *скупчиши*, *мучиши*, *устыдишися*, *поступиши* (там же, 162, 165, 166; ср., однако: *не речешии*, с. 165).

Этот аспект языковой практики Третьяковского представляет особый интерес. Употребление форм 2 ед. презенса отличается от употребления инфинитива. В этот период инфинитивы на *-ти* широко используются Третьяковским в каче-

⁵⁵ Формы, приводимые в Вейсмановом лексиконе, под подобную нормализацию не подпадают. Здесь отмечается 16 форм на *-ии*: *попадешиися*, *неимѣеши*, *страждеши* и т. д. (Брин 1983, 26). Такое же расхождение между, с одной стороны, академической практикой 1731 г. и приложенным к Лексикону «Очерком» Адодурова, а с другой — самим Лексиконом, характерно и для форм инфинитива (см. выше). И здесь, видимо, узус Лексикона соответствует академической практике, предшествующей нормализационным решениям 1728 г. Так же как формы инфинитива на *-ти*, формы на *-ии* подверглись правке при втором издании Лексикона в 1782 г.; эта правка отразила те нормы нового литературного языка, которые сформировались к концу XVIII в. (Брин 1983, 26).

стве поэтической вольности; формы на *-ши* в этом качестве применения не находят. В 1735 г. в «Новом и кратком способе» Тредиаковский в разделе о поэтических вольностях легализует обе формы (см. ниже). Можно полагать, что в этом случае, при том что легализация инфинитивов на *-ти* как поэтической вольности оправдывала сложившуюся литературную практику, легализация в том же качестве форм на *-ши* к литературной практике отношения не имела и диктовалась лишь параллелизмом с формами инфинитива. Действительно, формы на *-ши* не встречаются и в более поздних стихах Тредиаковского 1730-х годов, т. е. теоретически санкционированная вольность в поэтической практике автора использования в эти годы так и не нашла, ср. многочисленные формы на *-шь* в Оде 1734 г. и в стихах из «Нового и краткого способа»: *держашь, приближаешь, медлишь, имѣешь, блѣднѣешь* (Тредиаковский 1734, л. С/1 об.), *поразишь* (Тредиаковский 1735, 31), *оставляешь* (с. 41), *признаваешь* (с. 41), *возьмѣешь* (с. 45), *велишь* (с. 53, 54), *хочешь* (с. 54), *водишь* (с. 54), *питаешь* (с. 55), *воспламеняешь* (с. 55), *вѣришь* (с. 56) и т. д.⁵⁶

В сущности, таковы же и общие характеристики языковой практики А. Кантемира. В «Письме Харитона Макентина» он легализует форму на *-ши* в качестве поэтической вольности, но сам этой вольностью не пользуется. При этом инфинитивы на *-ти* встречаются в его стихотворных произведениях постоянно. Формы на *-шь* появляются в его стихах регулярно, практически вне зависимости от времени написания и жанра, ср., например, в сатирах: *тянешься, нѣжишься, спрыгнешь, прибираешь, глотаешь, вздѣнешь, чаешь* (Кантемир, I, 40) и т. д.; в *Erosos consolatoria*: *поешь, даешь, плачешь* (I, с. 283—285) и т. д.; в переложениях псалмов: *просишь, творишь, погрѣшишь* (I, с. 288—289) и т. д.; в «Петриде»: *хочешь* (I, с. 304), в Речи Анне Иоанновне: *держашь, желаешь* (I, с. 305); в посланиях: *обитаешь, чаешь* (I, с. 321); в переложениях Анакреонта: *знаешь, дышешь, капаешь, стѣпишь* (I, с. 349—350) и т. д.; в переводах из Горация: *хочешь, почитаешь, дивишься* (I, с. 392, 398, 399) и т. д. Отступления от этой нормы крайне немногочисленны. В переложении псалма LXXII находим *погубиши — потребиши* (I, с. 296), один пример обнаруживаем в «Петриде» (*имаши — I, с. 300*), один пример в посвящении «Читателю», завершающем переводное и раннее Описание Парижа (II, с. 383). Во всех этих случаях мы имеем дело с такими сочинениями Кантемира, в которых указанные формы соседствуют со многими иными элементами старого книжного языка (в частности, простыми претеритами, книжными служебными словами и т. д.); здесь они выступают поэтому не как поэтическая вольность, а как черта, присущая языку Кантемира, еще не ставившего перед собой задачи нормализации. Так же, видимо, следует интерпретировать и две формы на *-ши* в первоначальной редакции Второй сатиры (*терпиши, ищещи — I, с. 210*); в окончательной редакции выпущен весь соответствующий фрагмент, так что остается неясным, было ли отсутствие подобных форм в окончательной редакции результатом сознательной нормализации языка.

⁵⁶ Вне творчества Тредиаковского форму на *-ши* как поэтическую вольность обнаруживаем в стихах на фейерверк 1734 г., помещенных в «Примечаниях к ведомостям»: *обогатиши — твориши* (Примечания 1734, 142). Вряд ли, однако, этот единичный факт был значим для Тредиаковского, и он легализовал форму на *-ши*, ориентируясь на него.

Как бы то ни было, в качестве поэтической вольности форма на *-ии* не используется. Поэтический язык подчиняется в данном случае тем нормам, которые оформились к 1730-м годам, а теоретические указания, как и у Третьяковского, были целиком обусловлены параллелизмом с формами инфинитива⁵⁷.

Не употребляет форм на *-ии* и Ломоносов — ни в своих ранних, ни в своих поздних сочинениях, ср. для начального периода: *заплачешь* (Ломоносов, I, 26), *правишь* (с. 30), *держишь* (с. 30, 40), *зришь* (с. 40, 52) и т. д.; для поздних произведений: *сїяешь* (II, с. 179), *общаешься* (с. 179), *будешь* (с. 180, 181), *умножишь* (с. 180) и т. д. Для раннего периода, таким образом, неупотребление форм на *-ии* противопоставлено употреблению инфинитивов на *-ти* (в качестве поэтической вольности). Впоследствии, когда устраняются инфинитивы на *-ти*, исчезают всякие основания для появления форм на *-ии*: Ломоносов, как и все предшествующие нормализаторы, рассматривает два эти явления как параллельные, указывая на «неблагозвучие» соответствующих форм («За спиши спишь, и спать мы говорим за спати» — Ломоносов, II, 132/VIII², 542; см. выше).

Таким образом, в создаваемом академическими филологами русском языковом стандарте 2 лицо ед. числа на *-шь* (*-шь*) — в отличие от инфинитива на *-ть* — утверждается в качестве нормы практически с самого начала его становления и дальнейшие теоретические инновации в целом не изменяют этой ситуации. Отдельные отступления от этой нормы единичны и носят характер исключений. Так, Третьяковский в своем переложении Псалтыри вовсе этой формой не пользуется. Единственное исключение — это переложение СХLIII псалма, ранний текст, по ряду лингвистических характеристик отступающий от всего корпуса переложений. Это переложение было написано в ходе поэтического состязания между Третьяковским, Сумароковым и Ломоносовым в 1743 г. (см.: Плетнева 1987). Здесь находим:

Тотчас сонм их *разженеши*,
Тучей бурных стрѣл *смятеши*...
(Третьяковский 1989, 363, 438;
Ломоносов, I, примеч., 232).

Формы на *-ии* в этом тексте могут рассматриваться как единичный случай использования той поэтической вольности, которую предусматривала теория Третьяковского (инфинитивы на *-ти* в этом тексте также представлены). Отказ от этой теории в более поздний период, когда перелагалась Псалтырь в целом, обусловил и отсутствие подобных форм в остальном переложении.

Новая концепция Третьяковского и Ломоносова о единстве природы русского и церковнославянского языков, развивавшаяся в 1750-е годы, на данном нормативном установлении практически никак не сказалась. Редкие формы на *-ии* появляются у Третьяковского в «Аргениде», ср.: *зрядеши* (Третьяковский 1751, II, 33; 1752, II, 215); они должны, видимо, рассматриваться как исключение.

⁵⁷ Говоря об утверждении рассматриваемой нормы, можно указать также на исправления, вносившиеся Татищевым при переработке его «Истории» с «древнего наречия» на «новое», ср. здесь: «Егда ты *приидеши* → *приидеши*, то мы побежим в Киев» (Запольская 1999, 136).

Относительно широкое употребление находят формы на *-ши* в переложениях псалмов Сумарокова. В переложениях, написанных свободным стихом, который имитирует вдохновенную пророческую речь, формы на *-ши* находятся в свободной вариации с формами на *-шь*, ср.: *сокрушишь, воздвигнешь* (XXVII — Сумароков, 1773—1774, III, 16), *дашь, явиши* (IV — III, 9), *пребываеши, оставиши* (IX — III, 12), *обратишися, претворяеши, глаголиши, представляеши* (LXXXIX — III, 37—38) (Плетнева 1987). В то же время в переложениях, написанных несвободным стихом, встречаются только формы на *-шь*. Напомню, что с формами инфинитива дело обстоит иначе: в переложениях, написанных несвободным стихом, варьируются формы на *-ти* и *-ть*; в переложениях, написанных свободным стихом, употребляются только формы на *-ти*. Таким образом, формы на *-ши* ведут себя не как инфинитивы на *-ти*, а как маркированные церковнославянские элементы (например, простые претериты), ненормативность которых прямо связана с особой поэтикой этих переложений. В других произведениях Сумарокова формы на *-ши* (опять же в отличие от инфинитивов на *-ти*) не употребляются.

И в этой ситуации, следовательно, находит отражение разный статус форм инфинитива и форм 2 ед. презенса. Формы на *-ши* именно в силу своего периферийного статуса, своей особой коммуникативной роли оказываются наделенными существенно большей стилистической выразительностью, чем инфинитивы на *-ти*, сохранение которых в языке Сумарокова опирается в конечном счете на устойчивые письменные навыки многих поколений пишущих; здесь, видимо, сказались и те стилистические коннотации, которые создавало употребление форм на *-ши* в духовной литературе (см. ниже). В случае инфинитивов академическая нормализация наталкивалась на куда более сильное сопротивление сложившихся привычек, чем в случае форм на *-ши*. Там, где автоматизм отсутствует, сознательный стилистический выбор обладает существенно большей функциональной значимостью.

Последующее развитие нового литературного языка полностью исключает формы на *-ши* из употребления, и этот процесс проходит с куда меньшими сложностями, чем процесс устранения старых форм инфинитива. Формы на *-ши* отторгаются и «славенороссийским» языком, разрабатывавшим ломоносовские традиции и не имевшим стимула возродить старые формы 2 ед., и карамзинским «новым слогом», избавлявшимся от элементов, воспринимавшихся как специфически церковнославянские. Такое восприятие отчасти было связано с употреблением форм на *-ши* в духовной литературе, а отчасти опиралось на грамматическую традицию, в которой трактовка старых форм 2 ед. была более однозначной, чем трактовка старых форм инфинитива. Как бы то ни было, в последней четверти XVIII в. формы на *-ши* окончательно исчезают из литературного стандарта, не находя даже того специфического применения, которое мы наблюдали у Сумарокова.

6.3. Кодификация форм 2 ед. презенса

Те прагматические факторы, которые определяли специфическое развитие форм 2 ед. презенса в письменном языке XVII—XVIII вв., никак не сказывались, естественно, на грамматиках. В грамматиках формы 2 ед. презенса присутствова-

ли непременно и на тех же правах, что и формы инфинитива, так что историю кодификации данных форм можно проследить с достаточной полнотой. В грамматиках церковнославянского языка в качестве нормативной устойчиво фиксируется форма на *-ши*. Так обстоит дело в «Донатусе» Дм. Герасимова, ср. здесь формы: *любиши, возлюбиши, любииши сѧ, возлюбииши сѧ, да любииши сѧ, учииши, научииши* и т. д. (Ягич 1896, 566 et passim)⁵⁸, в «Простословии» старца Евдокима, ср.: *любииши, бѣдешши, оучииши* и т. д. (там же, 655 et passim), в грамматике Лаврентия Зизания, ср.: *бѣши, ѡвлѣши, ѡвѣши, ѡвлѣши сѧ, спасѣши* и т. д. (Зизаний 1596, л. 53 об. et passim), равно как и в разных изданиях грамматики Мелетия Смотрицкого, ср.: *бѣши, чтѣши, читѣши, прочтѣши, чтѣши сѧ, читаѣши сѧ, прочтѣши сѧ* и т. д. (Смотрицкий 1619, л. Н/5 et passim; Смотрицкий 1648, л. 190 et passim; Смотрицкий 1721, л. 116 об. et passim). Такие же формы обнаруживаем и в грамматике Ф. Максимова, ср.: *бѣши, творѣши, питѣши, питѣши сѧ, бѣдешши* и т. д. (Максимов 1723, 34 et passim). Почти столь же единообразны и грамматики русского языка (см. ниже), фиксирующие, естественно, противоположную норму — 2 лицо ед. ч. на *-шь (-шь)*, и это указывает на четкость соответствующего противопоставления, легко поддающегося грамматической фиксации. Как и ожидается, оно находит отражение в «Технологии» Федора Поликарпова 1725 г.: в «славенских» примерах последовательно дается форма 2 лица на *-ши*, тогда как в «великороссийской» парадигме находим формы на *-шь*, ср., с одной стороны: *пѣши, ѡвѣши*, а с другой — *пишешъ, напишешъ* (РНБ, НСРК F 1921.60, 119—125; Бабаева 2000, 298—302).

Обратимся теперь к грамматикам русского языка. Картина здесь существенно более единообразна, чем в случае форм инфинитива. Отчасти это объясняется тем, что, как мы видели, динамика узуса в случае 2 ед. презенса проще и однозначнее, чем в случае форм инфинитива, и это не может не сказываться и на кодификации соответствующих форм (хотя прямая зависимость кодификации от узуса отсутствует). Для кодификации значим, однако, и другой момент. В отличие от показателя инфинитива *-ти* флексия 2 ед. *-ши* никогда не стоит под ударением, и поэтому нормализация форм презенса не сталкивается с таким возмущающим фактором, как формы типа *идти, нести* или *печи*; устранение форм на *-ши* может быть сделано без всяких оговорок, и в рамках тех грамматических описаний, которые стремятся к однозначному соотношению категорий и показателей, этот момент может играть определенную роль.

Начнем с грамматики Лудольфа. Хотя Лудольф не включает рассматриваемые формы в обзор оппозиций русского и славянского, приводит он исключительно формы на *-шь*: *Ѹчишь сѧ* (Лудольф 1696, 27), *бѣдешъ* (с. 29, 30), *здѣлаешъ* (с. 29), *станешъ* (с. 30), *вѣришь* (с. 32), *спишь* (с. 33) и т. д. — в формах инфинитива у него такой последовательности нет (ср. выше). Формы на *-шь* находим и в латинской грамматике Копиевича, при том что в инфинитиве он предпочитает

⁵⁸ Любопытно отметить, что в «Донатусе» наблюдается все же одно отступление. В парадигме конъюнктива («союзного чина») глагола *любити* во 2 лице презенса находим *яко (егда) любишь* (Ягич 1896, 567). В формах инфинитива таких отступлений нет. Думается, что здесь сказывается второстепенная значимость данной формы, которая предполагает меньшее внимание и меньшую последовательность.

ет формы на *-ти*. В приводимых Копиевичем парадигмах можно отметить более 70 форм на *-шь*: **любишь** (Копиевич 1700, 169, 174), **возлюбись** (с. 171, 174, 176), **возлюбисьа** (с. 182, 185, 188), **любисьа** (с. 186), **оучишь** (с. 190, 195), **научишь** (с. 192, 195, 197) и т. д., тогда как формы на *-ши* встречаются лишь в шести случаях: **восхощеши** (с. 277), **хощеши** (с. 277), **невосхощеши** (с. 281, 284, 286), **нехощеши** (с. 284). Такое же расхождение между формами презенса и инфинитива обнаруживается и в его русской грамматике: при инфинитиве **быти** в будущем дана форма **бѣдешъ** (Копиевич 1706, л. С2, С3 об.); лишь формы на *-шь* встречаются и в его разговорнике: **слышишь**, **встанешже**, **кричишь**, **воишьса** и т. д. (л. D3—D4 об. et passim). Сходным образом и Глюк преимущественно употребляет формы на *-шь*, хотя в инфинитиве у него фиксируются исключительно формы на *-ти*, ср. у него: *будеши* (л. 50 et passim) и *будешии* (л. 44 et passim), *дѣлаеши* (л. 45, 46), *станеши* (л. 45 об.), *заколиши* (л. 58), *колиши* (л. 58, 58 об.), *любиши* (л. 54, 54 об.) и т. д. (Кайперт, Успенский, Живов 1994)⁵⁹. В грамматике Афанасьева в инфинитиве фиксируются практически только формы на *-ть*; соответственно и в презенсе (или футуруме) находим лишь формы на *-шь*: *имеешь* (Harvard University, The Houghton Library, Kilgour, MS Russ 5, с. 29), *бѣдешъ* (с. 31, 37, 40, 44, 47), *станеши* (с. 34), *любиши* (с. 35, 38); отклонения, как и в инфинитиве, появляются у возвратных («страдательных») глаголов: *да любийишися* (с. 43; ср. еще в индикативе любопытную форму *любисься*, с. 42). В грамматике Сойе, где, как говорилось, устанавливается четкое противопоставление «русского» инфинитива на *-ть* «славянскому» инфинитиву на *-ти*, формы 2 лица в перечень различий двух языков не вносятся, но в парадигмах и примерах последовательно используются лишь формы на *-шь*: *бѣдешъ* (Сойе, I, 144), *имѣешъ* (с. 151), *поимѣешъ* (с. 152), *знаешъ* (с. 162), *познаешъ* (с. 164) и т. д. Таким образом, приходим к заключению, что в грамматиках русского языка Петровской эпохи колебания в формах 2 лица презенса предполагают и колебания в формах инфинитива (с неконечным ударением), но не наоборот. Данное соотношение свидетельствует о том, что статус элемента, соотносящегося со старым книжным языком и отторгаемого новым языковым стандартом, закрепляется за формами на *-ши* существенно более однозначным образом, чем за формами инфинитива на *-ти*; такое переосмысление форм на *-ши* фиксируется несколько раньше и преимущественно перед формами инфинитива на *-ти*.

С началом нормализации нового языка данный статус форм на *-ши* получает отражение в кодифицирующих языковой стандарт памятниках. Исходным текстом в этом процессе может считаться славяно-русская грамматика И.-В. Пауса. Как уже говорилось (см. § II.4), Паус, создавая синтетическую грамматику «славянского» и «русского», разносил морфологические варианты по соответствующим рубрикам и, в частности, определял формы инфинитива на *-ти* как славян-

⁵⁹ Исключительно формы на *-ши* образует Глюк от возвратных глаголов, ср.: *дѣлаешися* (л. 48, 49), *колишися* (л. 60, 60 об.), *любишися* (л. 56), *одолѣешися* (л. 52, 52 об., 56 об.), *пмянешися* (л. 64, 64 об.). Можно думать, что этот выбор — противоречащий тому, что мы наблюдаем для невозвратных глаголов, — обусловлен соображениями благозвучия: последовательность согласных [-šs-] могла восприниматься Глюком как явная аномалия.

ские, а формы на *-ть* как русские; аналогичное противопоставление устанавливается и для форм 2 л. презенса (*читаеши, хочеши — читаешь, хочешь*) (Библиотека Академии наук, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 23). При рассмотрении глагольных парадигм в специальном примечании указывается, что в презенсе и футуруме во 2 л. ед. ч. славянским окончаниям *-еши, -иши* соответствуют русские *-ешь, -ишь*, причем в русском в отличие от славянского окончания *-ешь, -еть*, когда они находятся под ударением, произносятся с [о], а не с [е] (л. 104) (см.: Живов и Кайперт 1996, 14—15).

Квалификация Пауса оказывается основой для дальнейшей кодификации. Адодуров, устранив из своей грамматики «славянские» элементы, фиксирует в глагольных парадигмах только формы на *-шь* (*будеешь, бываешь, имѣешь, дѣлаешь, вѣришь* — Адодуров 1731, 40—43), очевидно следуя здесь как указаниям Пауса, так и нормализационным решениям, реализовавшимся в языковой практике академических переводчиков; возможность употребления форм на *-иши* трактуется как поэтическая вольность по аналогии с формами инфинитива на *-ти* (там же, 44), причем данная трактовка обусловлена не языковой практикой (как в случае с инфинитивом — см. выше), а исключительно данной аналогией. Одни лишь формы на *-шь* появляются и в «Немецкой грамматике» Шванвитца, хотя в формах инфинитива здесь сохраняется определенный разницей, ср. здесь: *имѣешь* (Шванвитц 1730, 221), *будеешь* (с. 225, 229, 245), *хвалишь* (с. 237), *умираешь* (с. 257) и т. д.; в последующих изданиях «Немецкой грамматики» положение не меняется. За Адодуровым следует и Гренинг, ср.: *будеешь, бываешь, имѣешь, дѣлаешь, хвалишь, ѿшь* (Гренинг 1750, 133—140). Аналогичные формы фиксируются и в «Сокращении грамматики латинской» В. Лебедева, ср.: *будеешь* (Сокращение 1746, 106, 108, 113, 126, 209), *любишь* (с. 107), *увѣщеваешь* (с. 112), *учишь* (с. 114), *научишь* (с. 115), *признаешься* (с. 118, 120), *читаешь* (с. 121), *прочтешь* (с. 122), *говоришь* (с. 125), *слушаешь* (с. 127), *услышишь* (с. 128), *отвѣдываешь* (с. 131) и т. д.

Сложившаяся академическая традиция предопределяет трактовку форм 2 ед. презенса в «Российской грамматике» Ломоносова. В ней фиксируются исключительно формы на *-шь*, тогда как формы на *-иши* практически не упоминаются (ни в самой грамматике, ни в материалах к ней), ср. при разборе глагольных классов: *пишешь, думаешь, желаешь, мѣняешь, чернѣешь, гнѣешь, гребешь, зовешь, катишь, свѣтлѣешь, видишь, кадишь* и т. д. (Ломоносов, IV, 110—114/VII², 481—485); аналогичным образом и в парадигмах: *будеешь, двигаешь, двинешь, двигаешься, двинешься, вертишь, вернешь* и т. д. (там же, IV, 132—173/VII², 500—536). Вся последующая грамматическая традиция следует в разбираемом сейчас отношении за Ломоносовым, без всяких отступлений кодифицируя формы на *-шь* (ср. хотя бы: Родде 1773, 85 et passim; Краткие правила 1784, 145 et passim). Показательно, что А. А. Барсов, посвятивший в своей «Российской грамматике» достаточно подробный комментарий употреблению инфинитива на *-ти*, ни слова не говорит о формах 2 ед. презенса на *-иши* и кодифицирует исключительно формы на *-шь* (*пишешь, перенесешь, будеешь, бываешь, думаешь* и т. д. — Барсов 1981, 542 et passim).

Формы на *-иши* окончательно выпали бы из диапазона филологической мысли, если бы не учение о поэтических вольностях. В числе таких вольностей варианты

-ши и -шь постоянно рассматриваются как параллель к вариантам инфинитива на -ти и -ть. Такую трактовку этих форм мы впервые находим у Адодурова (1731, 44), а затем у Третьяковского (1735, 16/1963, 377) и Кантемира (1744, 23/II, 20). После того как литературно-лингвистические теории перестают обращаться к поэтическим вольностям как способу легализации традиционного языкового материала, формы на -ши исчезают из филологического рассмотрения. Единственным, пожалуй, исключением является «Опыт нового русского правописания» В. П. Светова, в котором формы на -ши трактуются как элементы высокого стиля (Светов 1773, 28 — цитату см. выше, § II.4); они разбираются параллельно с инфинитивами на -ти и этим, надо думать, обусловлено само их упоминание⁶⁰.

6.4. Формы 2 ед. презенса в языковой практике духовной литературы

Обратимся теперь к традициям духовной литературы и прежде всего к проповеди, тому жанру религиозных сочинений, который с конца XVII в. доминирует в оригинальных произведениях духовных авторов и определяет существенные лингвистические черты данной письменной традиции, обособляющейся, начиная с Петровского царствования, от языкового стандарта, формирующегося в литературе секулярной. Прагматические параметры употребления форм 2 лица в гомилетических сочинениях отличаются от тех, которые свойственны нарративным текстам. Проповедник обращается к своей аудитории, в некоторых случаях имитирует диалог со слушателями, и это создает устойчивые, никак не маркированные контексты для употребления форм 2 лица. Эти контексты появляются в проповеди относительно часто и естественно, и поэтому они способны создавать преемственные навыки употребления форм 2 лица.

Во второй половине XVII в. язык духовных сочинений, как правило, соответствует церковнославянской грамматической норме и, следовательно, допускает только формы на -ши. Именно так обстоит дело, например, в проповедях Симеона Полоцкого. Случающиеся отступления единичны и не меняют общей картины. Так, например, не всегда последовательным оказывается употребление формы на -ши в книге «Статир», написанной неизвестным пермским священником в 1683—1684 гг. (РГБ, Румянц. 411). Следует иметь в виду, что отступлений от нормативного инфинитива на -ти здесь не обнаруживается (ср. выше, § II.1.1). Автор стремится писать в соответствии с нормами образцового книжного языка, однако с формами 2 ед. презенса он справляется существенно хуже, чем с формами инфинитива. Форма на -ши является у него доминирующей, ср.: **бѣдѣши** (л. 41 об., 43 об., 52), **хощѣши** (л. 41 об., 46 об.[bis], 47 [ter]), **взнѣсѣши** (л. 43 об.), **сотвориши** (л. 43 об.), **оумрѣши** (л. 44 об.), **вопрошашѣши** (л. 46 об.), **согрѣшиши** (л. 50), **причастѣши** (л. 52), **слышиши** (л. 166, 167), **ѡдѣши** (л. 154), **впадѣши** (л. 159 об.) и т. д. Тем не менее форма на -шь появляется в «Статире»

⁶⁰ Формы на -ши даются, понятным образом, в контрастивной грамматике Аполлоса Байбакова в ее церковнославянской части. Церковнославянские формы на -ши противопоставлены здесь русским формам на -шь, ср.: (русский.) *будешь* — (слав.) *бѣдѣши* (Аполлос Байбаков 1794, 62, 63) и т. д.

почти в четверти случаев (в обследованных нами выборках (лл. 1—9 об. 1-й фолиации, лл. 36 об.—58, 183—200 об. 2-й фолиации, л. 152—176 об. 3-й фолиации) при 85 примерах на *-ши* имеется 25 примеров на *-шь* — 22,73 %), причем, если в большинстве случаев формы на *-шь* могут рассматриваться как более или менее случайные отклонения от нормы, то отдельные примеры оказываются в достаточно очевидной связи с риторической стратегией пишущего.

Появлению форм на *-шь* благоприятствует прямая речь; действие этого фактора заметно и в других памятниках (см., например, выше о Второй Новгородской летописи — § П.6.1) и свидетельствует, как можно думать, об определенной, хотя и не жесткой связи форм на *-шь* с оральностью. Ср. примеры из «Статира»: «почтѡ в' сѣвѣтъѡ ѡдрѣ но́сишь» (л. 48 об.); «ѡни́же рѣша: вѣса ли ймашь, ктѡ тѣ ищеть ѡвѣити» (л. 54); «и вопроси егѡ почтѡ такъ творѣшь» (л. 55). Однако особенно выразительно связь с оральностью проявляется во второй части «Поучения в среду преполовения» (л. 55 об.—58), посвященной волновавшему автора вопросу о необходимости устной проповеди. Здесь автор обличает тех, кто «оустное же ѡучѣнїе ѡкарѡють, и еретичествомъ называють» (л. 56 об.) и вопрошает: «и самъ хрѣтосъ когда с' кнѣги ѡучилъ» (л. 57). Именно здесь при обличении противников устной проповеди формы на *-шь* появляются особенно часто, ср.: «а в' цркви ничтѡже ѡ сѣхъ разѡмѣшь, точию ѡзыкомъ ѡкъ вѣтрило скороѡвратное шѡмѣшь: а ѡмѡмъ корчѣмницы ѡхѡдишь и полныа чаши благоѡбнагѡ вина назираешъ, в' корчѣмнице велѣрѣчивъ а в' цркви безгла́сїемъ свѡзанъ и неразѡмѣемъ плѣненъ» (л. 56 об.)⁶¹. Кажется правдоподобным, что употребление форм на *-шь* в

⁶¹ Автор «Статира» сочиняет свою книгу именно в силу того, что он убежден в принципиальной важности устной проповеди для христианского просвещения. В предисловии к книге он прямо пишет об этом и ссылается на прецеденты: «Слышахъ же ѡкъ в россїи по мнѡгимъ градѣхъ, премѡри сиѣнници, ѡ оустѣ подчѣнїа читають, а не с кнѣгъ, и людїе сѣлѡмъ любезно послушаютъ со мнѡгимъ ѡдивленїемъ. йвѡ и кирилъ ставроменїйскїй в' кнѣзѣ своѣй сѣлѡмъ похвалаетъ ѡустное ѡучѣнїе, а кнѣжное понѡждна глѣтъ. ѡкъ ѡскѡдѣша ѡ цркви мѡри ѡчетѣли [sic!]. Гимже азъ поревновахъ хотѣ привлеци слышателя...» (л. 5). В предисловии говорится и о том, с каким протестом пришлось столкнуться автору, когда он начал проповедовать, и в весьма нелестных выражениях описываются супостаты гомилета-новатора: «сѣлѡмъ во невѣжества испѡлнены житѣи страны сѣа ѡже преѡрекохъ, велии во мѡ ѡкорѡхъ, и порицѡхъ, и сопротивлѡхъ мнѣ, и посмѣваѡхъ сѣа, и всѡкими хѡхнатѣскими йманы ѡкорѡхъ, и всѣмъ выхъ в' претыканїе. забѡчно дрѡгъ дрѡга развращающе, ѡкъ не слышати ѡчѣнїа моегѡ, мнѡщи ѡкъ вы азъ ново в'вождъ, и глѡтъ: прежде сегѡ здѣ выли сиѣнници дѡбрыа и честныа, и такъ не творили жи́ли же попрѡстѣ, и мы вѣли [sic!] во йзоѡвѣлствѣ, а сѣй ѡкѡдѡ недѡбнаа в'вѡдитъ; ѡногѡ оца сѣхъ и тѣа мѡри ѡ ни́же азъ выше иѡви. Тако во сѣлѡмъ на сѡбѡхъ испѡтѡрничествованы людїе сегѡ мѣста; не точию насъ хѡщѣтъ покорныхъ сѣвѣ выти, но и црковь стѣю хѡщѣтъ, и всѡ ѡставы црквныа ѡтрѣннаа и вечернаа пѣнїа, по йхъ грѣвомъ ѡвѣчаю да бы послѣ довали. не точию ѡ мѣнши, но и ѡ началствѣемыхъ и содержащихъ мѣсто сѣе: хѡщѣтъ во йвѡ сиѣнникъ слыга вѣа вышнагѡ выль вы преѡ нимѣ ѡко* послѣ днѣйшїй рабъ (...). Всѡ же сѣа испѡтѡрствовали сиѣнници, прежде мене выв'шїи и при мнѣ сѡщїи (...). Егда же невѣгла́си мене хѡхнахъ, ѡныа тогда величахъ сѣа» (л. 7—7 об.).

данной части соотносится с той апологией оральности, которой посвящен этот фрагмент⁶².

Последовательное употребление форм 2 ед. презенса на *-ши* характерно и для проповеди Петровской эпохи. Будучи существенно лучше образованы, нежели безвестный пермский священник, проповедники этого периода без затруднений соблюдают книжную норму. Так, например, исключительно формы на *-ши* представлены в проповедях Стефана Яворского, ср. хотя бы в Слове на день Святого Апостола Андрея Первозванного: **вывѣши** (Стефан Яворский, III, 70), **ѡста-влѣши** (с. 70), **послѣдствѣши** (с. 70, 71), **творѣши** (с. 71), **бѣдалѣши** (с. 71), **ѡжидѣши** (с. 80), **бѣслѣшиши** (с. 81) и т. д.; или в его сочинении «Знаменія пришествія антихрѣстова», ср.: **хощеши** (Стефан Яворский 1703, л. 11 об.), **восхищѣши** (л. 11 об.), **оўзриши** (л. 13, 20 об., 36, 51), **изчѣлиши** (л. 17 об.), **оўразумѣши** (л. 17 об.), **зриши** (л. 53), **видиши** (л. 60). Аналогичная картина обнаруживается и в «Рассуждении о образе Божии» Димитрия Ростовского, начало которого, обращенное к читателю, содержит некоторое количество форм 2 ед. презенса: **ненавидѣши** (Димитрий Ростовский 1714, л. 3), **ѡстаѡвиши** (л. 3), **ѣмаши** (л. 3 об.), **вывѣши** (л. 3 об.), **возмечтѣши** (л. 5 об.), **бѣмѣлиши** (л. 5 об.), **ѡбѣѣши** (л. 5 об.), **ѡпишешѣши** (л. 5 об.), **помыслиши** (л. 5 об.); исключением оказывается единичная форма на *-шь*, встречающаяся в прямой речи: **велѣшь** (л. 7). Подобное же употребление характерно и для Гавриила Бужинского, ср. хотя бы в его слове на тот же праздник Андрея Первозванного: **исполниши**, **ѡпѣстиши**, **ѡстаѡвиши** и т. д.— Гавриил Бужинский 1720, л. 5 об. et passim).

Инновации появляются у Феофана Прокоповича в петербургский период его творчества и обусловлены, надо думать, стремлением Феофана драматизировать проповедь, придать ей характер полемиического состязания (ср.: Кагарлицкий 1999), что стимулирует имитацию прямого диалогического обращения к слушателю (коммуникативная ситуация, отличная от той, при которой проповедник представляет аудиторию, не вступая с ней в диалог). Инновации появляются не сразу. В Приветствии всенародном 1717 г. находим еще традиционное употребление, ср. здесь: **прекланяеши** (Феофан Прокопович 1717, л. А1 об.), **увѣдиши** (там же, с. 2), **испытуетеши** (с. 3), **печешѣши** (с. 4), **требуетеши** (с. 7). Впрочем, в Слове о бата-

⁶² Обличение, рассчитанное на эмоциональную реакцию слушателя, вообще может быть связано с оральностью, поскольку она сообщает обличению доходчивость, ср. формы на *-шь* в «Поучении о милосердіи Божии»: «глы ѣмаши клеветника. ѣгда оўбѣ за сѣ мѡлишѣ, тогда чѣшешѣ, ѣ сѣвѣе^ш, ѣ в^ш бесчѣсленна помышлѣнѣ в^ш падаешѣ. ѣгдаже на врагѣ трезвѣшѣ, ѣ со ѡсѣрдѣемъ мѡлишѣ» (л. 200). И в этом случае связь, понятно, не имеет обязательного характера; в продолжении процитированной филиппики свободно употребляются формы на *-ши* (мѡлиши, снѣдѣши, ѡбагрѣши, кѣсѣши — л. 200 об.).

Следует, впрочем, иметь в виду, что во многих случаях употребление форм на *-шь* никак не мотивировано, ср.: «ѡще же по сѣхъ согрѣшиши, тѡ бѣже в^ш вѣчней мѡце страдѣти бѣдешѣ» (л. 50). Как и во многих других случаях, мотивированность оказывается частичной: выбор варианта используется в содержательных целях лишь в отдельных случаях, тогда как в обычных обстоятельствах пишущий чередует варианты без всякой интенции.

лии полтавской того же 1717 г. обнаруживаем дважды повторенную форму *увидиши* (Гребенюк 1979, 209); напомним, что в этом же слове впервые у Прокоповича появляются и инфинитивы на *-ть* (см. выше). Несколько позднее — видимо, одновременно с утверждением инфинитива на *-ть* в качестве основного варианта — Феофан переходит к исключительному употреблению формы 2 лица ед. числа на *-шь*. Так, в Слове на погребение Петра 1725 г. находим *оутвердишь, совершишь, оудержишь* (Феофан Прокопович 1725, л. 4)⁶³. Такое же употребление проводится им и в дальнейшем, ср., например, в Слове на погребение Екатерины 1727 г.: *исцѣлишь, ѿтрешь* (Феофан Прокопович 1727, л. 5); в Слове на день вшествия на престол 1733 г.: *исповѣдуешь, имѣешь* (Феофан Прокопович 1733, 13, 14). Можно думать, что в случае форм 2 лица более четкий функциональный характер оппозиции и выраженная связь с нетрадиционным коммуникативным заданием обуславливают и более однозначный переход к новому употреблению: форма на *-шь* полностью вытесняет форму на *-ши* (в случае форм инфинитива, как было показано, определенная вариативность все же сохраняется).

Столь радикальный отказ от форм на *-ши* не был воспринят последующей духовной традицией. Ограниченное число примеров, извлекаемое из обследованных мною проповедей, не дает возможности проследить происходившие в 1740-е годы изменения, однако сохранение формы на *-ши* устанавливается с полной очевидностью. Так, например, у Димитрия Сеченова в Слове в день Благовещения 1742 г. употребляются исключительно формы на *-ши*: *зачнеши, родиши* (bis), *наречеши, понесеши* (Димитрий Сеченов 1742, 5), *исполнаеши* (bis), *исцѣлѣеши, твориши, погублѣеши* (л. 15). У Симона Тодорского в Слове на день рождения Петра Федоровича 1743 г. обнаруживаем формы *сотвориши* (Симон Тодорский 1743, 7), *возможеши* (с. 7), *имаши* (с. 7), *сподобляеши* (с. 13), *имѣеши* (с. 14), *процѣтеши* (с. 18), *умножиши* (с. 18). У него же в проповеди на венчание Петра и Екатерины 1745 г. встречаются исключительно формы на *-ши*: *можеши* (Симон Тодорский 1745, 4), *сотвориши* (с. 6), *подвигниши* (с. 7), *узриши* (с. 16). Точно так же в его Слове на день рождения Елизаветы 1746 г. находим: *ѿстѣпиши* (Симон Тодорский 1747, 2), *имаши* (л. 3), *имѣеши* (л. 10 об.), *видеши* (л. 11). Такие примеры можно умножить. Стоит отметить, что последовательное употребление форм на *-ши* сочетается в рассмотренных проповедях с вариативностью форм инфинитива и соотносится с изменившейся

⁶³ Для форм инфинитива переход к новому употреблению датируется более точно и в нем выделяются промежуточные этапы. Что же касается форм 2 лица, то для более точной датировки нет достаточных данных. В Слове похвальном о флоте российском 1720 г. встречается только одна соответствующая форма — *увидиши* (Гребенюк 1979, 239), — точно так же как одной формой — *пріемлешь* (Феофан Прокопович 1723, л. 2) — ограничен материал, сообщаемый Словом о Ништадтском мире 1722 г. Вряд ли этих единичных примеров достаточно для заключения об общем изменении практики, хотя в принципе они подтверждают сделанный выше вывод.

Следует отметить, что в издании Наковальнина формы 2 лица ед. числа подвергаются такому же архаизирующему исправлению, как и формы инфинитива на *-ть*. Так, в этом издании в Слове на погребение Петра обнаруживаем: *утвердиши, совершиши, удержиши* (Феофан Прокопович, II, 132). И в данном случае Наковальнин приводит текст в соответствие со своими представлениями о нормах языка духовной литературы.

(сравнительно с Прокоповичем) риторической стратегией проповедников: составительная диалогичность в этих произведениях отсутствует.

Диалогическая риторика Прокоповича находит частичное продолжение в гомилетическом творчестве Амвросия Юшкевича, и вместе с риторической установкой он наследует у своего предшественника склонность к формам на *-шь*. Так, в Слове в неделю двадесять вторую по сошествии Святого Духа 1742 г. (Амвросий Юшкевич 1742) основной формой презенса 2 ед. оказывается форма на *-шь*. При 14 формах на *-шь*, ср.: **кричишь** (л. 1), **пробишь** (л. 1), **можешь** (л. 1), **дѣлаешь** (л. 2 об.), **вѣмлешь** (л. 10), **знаешь** (л. 10 об. [quat]), **оставляешь** (л. 10 об.), **вѣдаешь** (л. 10 об., 11), **хощешь** (л. 11), **бѣгнешь** (л. 11), здесь встречается всего лишь 4 формы на *-ши*, причем одна из них в цитате, ср.: **вѣдеши** (л. 2 об.), **страждеши** (л. 3), **согрѣшиши** (л. 3), **прійдеши** (л. 10 — цит.). Еще дальше он идет в Слове на мир с Швецией 1744 г. (Амвросий Юшкевич 1744в). В нем форма на *-шь* употреблена 17 раз, ср.: **повелѣваешь** (л. 2), **изволишь** (л. 2), **призываешь** (л. 3), **велишь** (л. 3), **бѣгнешь** (л. 11 об.), **пребываешь** (л. 11 об.) и т. д., при том что форма на *-ши* появляется лишь 4 раза и при этом исключительно в цитатах, ср.: **хощеши** (л. 5 об., 16), **оставляеши** (л. 6), **блговолиши** (л. 14 об.). В Слове на восшествие на престол Елизаветы 1743 г. (Амвросий Юшкевич 1744а) можно обнаружить начатки стилистической дифференциации форм 2 ед. презенса. Формы на *-шь* появляются в нейтральных контекстах, ср.: **вѣмлешь** (л. 6), **бѣгнешь** (л. 6), **тѣпишь** (л. 6); тогда как формы на *-ши* употребляются в цитатах и в молитвенных обращениях к Богу, ср.: **вѣши** (л. 5 об., 6 — цит.), **хощеши** (л. 5 об. — цит.), **Ты Гѣди сохраниши** {...} **и соблюдеши** (л. 10 — молитвенное обращение).

Хотя Гедеон Криновский ставит перед собою совсем иные риторические задачи, чем Феофан Прокопович, и в риторическом плане скорее следует за такими проповедниками, как Димитрий Сеченов, его языковой узус оказывается своего рода компромиссом между двумя манерами употребления флексий 2 ед. презенса. Он менее радикален, чем Прокопович, в силу того, видимо, что он менее диалогичен. Он, однако, стремится установить более непосредственный контакт с паствой, чем Сеченов или Тодорский, и, опираясь на существующие прецеденты (Прокоповича и Юшкевича), старается коллоквиализировать свой язык. Форма на *-шь* становится у него не единственным, но основным вариантом; в то же время форма на *-ши* не выводится из употребления как дань духовной традиции и устойчивости тех гомилетических формул, которые в этой традиции сформировались. Л. Челлберг указывает, что у Гедеона «à la 2^e pers. du sg. on trouve, ... à côté de la désinence ordinaire -шь [во втором издании, набранном церковным шрифтом, — **-шь**] la variante -ши, par ex. глаголешь I 15, войдешь II 280, обратишь III 75, боишься ... ужасаешься IV; видиши II 80 {...} хощеши II 98, разумножиши IV 214, усумневаешься ... ужасаешься II 112» (Челлберг 1957, 180). Во втором издании имеются единичные исправления *-ши* на *-шь*, например: **видиши** II 80 → **видишь** II 400 об. (там же). Употребление формы на *-ши* у Гедеона Криновского (равно как и в духовной словесности вообще) поддерживается, видимо, молитвенными формулами, содержащими обращение к Богу (типа встречающихся в постоянно читаемом пятидесятом псалме «**такъ да оправдишиса во словесѣхъ твоихъ, и повѣдиши внагда сѣдети ти**»). Те элементы стилистиче-

ской дифференциации, которые мы наблюдали у Амвросия Юшкевича, у Гедеона продолжения не находят.

Языковая практика Гедеона служит образцом, на который ориентируются следующие духовные писатели второй половины XVIII в. Так, Платон Левшин в своем переводе Бесед Иоанна Златоуста использует оба варианта, причем форма на *-шь* выступает как основная, ср.: **вѣдиши** (Иоанн Златоуст 1766, I, л. 3), **говоришь**, **сѣмнишса**, **ѿвергаешъ**, **бѣкрощашъ**, **можешъ** (л. 51), **можеши** (л. 51 об.) и т. д. Такая же вариативность, с определенным преобладанием форм на *-шь*, но без выраженной стилистической нагрузки форм на *-ши*, наблюдается и в «Собрании разных поучений» 1775 г., ср., например: **можешъ**, **прощашъ**, **набѣсишь**, **причинишь**, **бѣготѣвишь**, **постѣпашъ**, **вкѣшаши**, **прѣвѣщишиса** (Гавриил и Платон 1775, I, л. 93); или: **имѣши**, **полѣчиши**, **превѣваши**, **возможеши**, **можеши**, **скажешъ** (I, л. 92 об.); или: **можешъ** (II, л. 56, 67), **изрыгашъ** (л. 56), **преневергашъ** (л. 56), **бѣтпоплашъ** (л. 56), **погѣвлашъ** (л. 56), **дѣлаешъ** (л. 56), **прѣидешъ** (л. 57), **дѣлаешъ** (л. 61 [bis]), **исполнишь** (л. 61, 61 об.), **здѣлаешъ** (л. 61 об.), **бѣспокоишь** (л. 61 об.), **полагашъ** (л. 61 об.), **вѣдешъ** (л. 62), **бѣважашъ** (л. 65), **вѣнчашъ** (л. 65), **разишь** (л. 67); или: **бѣманывашъ**, **прельщашъ**, **хѣчешъ**, **бѣредѣлашъ**, **расположиши**, **содѣржишь** (II, л. 130) и т. д. Аналогичная картина и в «Словах избранных» Иоанна Златоуста в переводе Ивана Иванова, ср.: **печешса** (Иоанн Златоуст 1792, I, л. 1), **стажеши** (л. 1), **хѣщеши** (л. 1 об., 2 об.), **можешъ** (л. 2), **возможешъ** (л. 2, 2 об.), **привлечеши** (л. 2), **бѣмѣшъ** (л. 2 об.) и т. д. Никаким ясным стилистическим заданием варианты формы 2 ед. презенса не обладают.

Таким образом, во второй половине XVIII в. в духовной словесности между формами на *-ши* и *-шь* устанавливаются такие же отношения вариативности, как и между формами инфинитива на *-ти* и *-ть*. Можно думать, что связь с церковнославянской традицией побуждает духовных авторов терпимо оценивать вариативность и относить к допустимым вариантам такие формы, которые получают поддержку в устоявшихся формулах. В результате в этот период узус духовной словесности оказывается в рассматриваемом аспекте явно противопоставленным нормам светского языкового стандарта. Это, видимо, отражается на восприятии форм на *-ши* и может обуславливать их специальное стилистическое использование в светской литературе — как маркированных элементов, отсылающих к духовной традиции: формы на *-ши* оказываются здесь в одном ряду с формами простых претеритов (см. выше о сумароковских переложениях псалмов). С таким восприятием связана, надо думать, и трактовка форм на *-ши* как элементов высокого стиля в «Опыте нового российского правописания» В. П. Светова, рассматривавшемся выше.

Такое употребление переходит и в XIX в. и, когда происходит разрушение «славенороссийского» синтеза и духовная словесность усваивает грамматические нормы светского языкового стандарта, здесь сходит на нет, оставляя лишь характерные стилистически обусловленные реликты. Именно такое состояние мы находим в последних публикациях митрополита Платона Левшина. Он вполне последовательно употребляет формы на *-шь*, ср.: **вѣруешъ** (Платон Левшин, XX, 4, 26), **возобладаешъ** (с. 15), **можешъ** (с. 21, 300), **опровергнешъ** (с. 21), **прѣобрѣтешъ** (с. 21), **доставишь** (с. 21), **почтешъ** (с. 22), **видишь** (с. 24), **слышишь** (с. 24), **ра-**

зумбешь (с. 24); *разрушишь* (с. 289), *сохранишь* (с. 290, 291), *возлюбишь* (с. 290), *исполнишь* (с. 291), *положишь* (с. 292, 300). Отступления редки. Они встречаются в отмеченных в тексте цитатах, ср., например, *оправдишися, побѣдиши* в цитате из Пс. 50:6 (с. 280) или *возлюбиши* в цитате из Мф. 22:39 (с. 290). Вне цитат в обследованном мною тексте формы на *-иши* встретились лишь в одном пассаже: «яко насытишися оть тука дому Божія и потокомъ вѣчныя сладости упоень будеши» (с. 15). Ясно, что данные формы соотнесены с библейским колоритом приведенного пассажа и тем самым обладают вполне определенной стилистической значимостью. Эта стилистическая функция может рассматриваться как реликт традиций обособленного языка гомилетической литературы, характеризующегося специфической прагматикой. Благодаря этой прагматике, отличающей формы 2 ед. презенса от форм инфинитива, формы на *-иши* могут консервироваться на периферии универсального языкового стандарта в качестве ненормативных вариантов и получать особую стилистическую нагрузку в результате действия того же механизма переосмысления, который сообщал формам на *-иши* характер маркированных элементов высокого стиля в светской литературе XVIII в. (в переложениях псалмов у Сумарокова или в рассуждениях В. П. Светова).

6.5. Экскурс о формах 2 ед. презенса в драматических произведениях

В XVII—XVIII вв. существовал и еще один жанр письменности, прагматика которого обуславливала широкое употребление форм 2 ед. презенса. Я имею в виду драматические произведения. Театр начинается в России в последние годы царствования Алексея Михайловича, и от этого же времени до нас доходят первые тексты ставившихся на театре пьес. К ним относится «Артаксерово действо» и «Иудифъ» (Робинсон 1972). Язык этих пьес может быть определен как принадлежащий гибриднему регистру (в частности, в этих текстах встречаются простые претериты). Не вызывает удивления в силу этого, что в них достаточно широко представлены формы на *-иши*. В частности, Ф. Кокрон замечал, что формы на *-иши* являются «*prédominantes dans la traduction archaïsante de Judith*» (Кокрон 1962, 212). То же самое можно сказать и об «Артаксеровом действе». В дошедшем до нас тексте формы на *-иши* составляют большинство (так же как и формы инфинитива на *-ти*), хотя и формы на *-ишь* появляются нередко, ср. *правиши* (Робинсон 1972, 106), *да приидеши* (с. 111), *можеши* (с. 112), *зриши* (с. 113), *узриши* (с. 113), *повелиши — поступиши* (с. 116), *грозиши* (с. 120) и т. д., и вместе с тем: *смуцаеш — удивляеш* (с. 109), *да напишешь* (с. 117), *желаешь* (с. 118), *умышляеш* (с. 119) и т. д.

Такое же смешение окончаний 2 ед. презенса (равно как и старых и новых форм инфинитива) находим и в школьной драме петровского времени, например, у Дмитрия Ростовского, ср. у него в «Рождественской драме» (Державина 1972, 220—272): *сетуеш* (с. 220), *имееш* (с. 221), *увидиши* (с. 223), *льстиши* (с. 223), *речеш* (с. 223), *вешаеш* (с. 223), *взводиши — освободиши* (с. 224), *устровеаеш — внимаеш* (с. 224), *внимаеш — благословляеш* (с. 226), *глагоlesh* (с. 227), *случаеш — сообщаеш* (с. 227), *утешиши — услышиши* (с. 227), *имаши* (с. 228), *будеш* (с. 228) и т. д. Никакой стилистической нагрузки вариативность окончаний 2 ед. презенса не несет. Хорошей иллюстрацией наблюдаемого в «Рождественской драме» употребления может служить следующая реплика Железного века:

Что при Натуре людской себе *водворяеш*?
 Или мене крепчайша над себе не *знаеш*?
Удержиши ли прелесть, в десницы ти сушу,
 Егда мою железну кулю испущу?
 Зри: злато и железо катится еднако,
 Не *можеш* быти лучшим над ми, веруй всяко.
 Златыми си часами людей *уловляеш* —
 В своя сети, а моих железных не *знаеш*!
 Аз убо совокуплю со железом злато,
 Да весть натура, яко есть не злато, блато.
 Не *будеш* от союза сего расплетенный,
 Но во век со мною *будеши* слученны (с. 223).

Правда, в драме Димитрия преобладают формы на *-шь*, однако формы на *-ши* присутствуют вполне зримо. Вряд ли в этом можно видеть развитие лингвистической традиции, поскольку Димитрий московской драматургии предшествующего периода не читал и ориентировался на образцы киевской школьной драмы. Скорее речь может идти о том, что для языкового сознания XVII в. данный жанр предполагал употребление гибридного регистра (как и иные новые жанры, такие как рыцарский роман, новелла и т. п.), а для этого регистра была характерна вариативность форм 2 ед. презенса. Эти характеристики не зависели от религиозного или секулярного характера драматического действия.

Мы их обнаруживаем, например, и в более позднем «Синописе о Езекии, царе Израильском» (Перетц 1903, 389—454), также принадлежащем гибриднему регистру. Вариативность форм 2 ед. презенса может быть охарактеризована здесь следующими примерами: *являешся* (с. 400), *вручаешъ* — *украшаешъ* (с. 405), *восхощешъ* (с. 406), *ударяешъ* — *увенчаешъ* (с. 406), *взираешъ* (с. 406), *отвращаеши* (с. 406), *здравствуешъ* (с. 407), *сияешъ* — *благоуправляешъ* (с. 408), *объявляешъ* (с. 408), *творишь* (с. 408), *сияеши* (с. 408), *будеши* (с. 409), *имашь* (с. 409), *сотвориши* — *погубиши* (с. 417), *погубишь* (с. 417) и т. д. И в данном случае какая-либо стилистическая дифференциация (основанная на тематических, лексических или синтаксических параметрах) вариантов отсутствует.

Можно было бы предположить, что при наличии коммуникативного задания, способствующего появлению форм 2 лица, и при относительной частоте соответствующих форм в драматических текстах, употребление этих форм будет характеризоваться такой же преемственностью, которую мы наблюдали в проповеди. В ходе этого развития могли бы выработаться аналогичные гомилетическим драматические формулы, которые в дальнейшем поддерживали бы употребление форм на *-ши*. Этого, однако, не происходит. В отличие от гомилетики, драма не развивается непрерывно от барочных образцов XVII в. к литературным опытам следующего столетия. Тредиаковский в своих переводах итальянских комедий никак не мыслит себя связанным с предшествующей жанровой традицией, никакой памяти жанра в этих его переводах не присутствует. В силу этого он не продолжает традиции вариативного употребления форм 2 ед. презенса, характерного для драматических произведений предшествующего периода, а согласует свое употребление с формирующимся академическим языковым стандартом. Так, в переводе комедии «Муж ревнивои» (Тредиаковский 1734б) находим исключительно формы на *-шь*, ср.: *слышишь* (с. 3 [bis]), *хочешь* (с. 4 [bis]), 5), *знаешь* (с. 4),

скажешь (с. 5), *обманешь* (с. 6), *принудишь* (с. 6), *послушаешь* (с. 7), *изволишь* (с. 10), *будешь* (с. 12). То же самое наблюдаем и в интермедии «Притворная немка» (Тредиаковский 1734в): *приведешь* (с. 3), *скучишь* (с. 3), *видишь* (с. 4), *вѣришь* (с. 7), *говоришь* (с. 9), *знаешь* (с. 9 [bis], 12, 12 [bis]), *поступаешь* (с. 9), *принуждаешь* (с. 10), *изволишь* (с. 10 [bis]), *любишь* (с. 10), *замолчишь* (с. 11 [bis]), *хочешь* (с. 11, 13) и т. д.

Тем более не делает этого Сумароков в своих первых трагедиях конца 1740-х годов, хотя такое употребление могло бы подаваться как допустимая поэтическая вольность, и именно в этом качестве Сумароков в первых трагедиях широко пользуется формами инфинитива на *-ти*. Формы на *-ии*, однако, ни в «Хореве», ни в «Гамлете» не встречаются, и это показательно в двух отношениях. Во-первых, это означает, что формы на *-ии* воспринимаются как существенно более маркированный элемент, чем инфинитивы на *-ти*, и, как уже говорилось, концепция поэтических вольностей не приводит к их практической легализации. Во-вторых, традиции драматического жанра — в отличие от преемственности в гомилетике — никак не подталкивают Сумарокова к употреблению данных форм и к поискам способов оправдания такого употребления; эти традиции для Сумарокова явно не актуальны. Так, исключительно формы на *-шь* находим в «Хореве»: *знаешь* (Сумароков 1747, 8), *плачешь* (с. 10, 13), *зришь* (с. 10), *любишь* (с. 12, 13), *пойдешь* — *найдешь* (с. 13), *вздыхаешь* — *ощущаешь* (с. 13), *говоришь* (с. 13), *вѣришь* (с. 13), *усугубляешь* — *употребляешь* (с. 15), *имѣешь* (с. 15), *вливаешь* (с. 15), *можешь* (с. 15 [bis], 20), *исполнишь* (с. 19), *будешь* (с. 19), *имѣешь* — *жалѣешь* (с. 23), *сѣтуешь* (с. 23), *хочешь* (с. 23, 24 [bis]) и т. д. Такой же узус обнаруживаем и в «Гамлете»: *хочешь* (Сумароков 1748а, 7), *борешься* (с. 7), *прольешь* — *ждешь* (с. 8), *влечешь* (с. 8), *смуцаешься* (с. 10), *воспоминаешь* — *воспринимаешь* (с. 10—11), *слышишь* (с. 11), *предприемлешь* — *внемлешь* (с. 12), *можешь* (с. 15), *печешься* (с. 16), *превратишь* (с. 20), *можешь* (с. 21), *презираешь* — *предлагаешь* (с. 24), *ждешь* (с. 24), *таишь* — *утолишь* (с. 25), *желаешь* — *представляешь* (с. 29), *ожидаеть* — *улаждаешь* (с. 30), *притечешь* — *влечешь* (с. 30), *знаешь* (с. 31, 37), *вдаешься* (с. 41) и т. д.

Таким образом, динамика узуса определяется совокупностью факторов. Прагматические параметры текстов являются одним из этих факторов, и именно они, как мы видели, сказались на различиях в истории форм инфинитива на *-ти* и *-ть* и форм 2 ед. презенса на *-ии* и *-шь*, в частности в гомилетической литературе. Этот фактор, однако, влияет на историю форм лишь во взаимодействии с другими факторами. Расхождения становятся систематическими лишь при наличии преемственности узуса, при сохранении памяти жанра. Там, где память жанра оказывается разрушенной, имеют место аналогические процессы, перенос господствующего узуса в лишенные жанровой преемственности памятники. Именно последний случай и иллюстрирует история языка русских драматических произведений XVII—XVIII вв., существенно отличная в рассматриваемом нами аспекте от истории языка произведений духовной литературы того же периода.

Глава III

А-ЭКСПАНСИЯ В КОСВЕННЫХ ПАДЕЖАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

В истории языка русской письменности признаки книжности формировались прежде всего в сфере глагольного словоизменения, тогда как сфера имени характеризовалась преимущественно вариациями, соотношение которых с разными регистрами письменного языка было куда менее однозначным и не определялось оппозицией книжных и некнижных регистров. Это сказывалось и на осмыслении данных вариаций. До начала опытов нормализации нового языкового стандарта в послепетровскую эпоху вариации в именном словоизменении вообще не привлекали к себе внимания пользователей письменного языка даже в тех ограниченных пределах, которые мы наблюдали в истории форм инфинитива (там, можно напомнить, имело место исправление инфинитивных форм при издании Уложения 1649 г., сознательное, до известной степени, использование форм инфинитива для указания на статус текста и т. д. — см. § II.1). В силу этого в данной области действовали исключительно механизмы преемственности письменных навыков и динамика узуса определялась взаимодействием регистров, сохранением памяти жанра и разрывами в этой памяти и, наконец, тем влиянием ситуации в устном языке, которое опосредованно проникало в язык письменный через фильтры различных письменных традиций.

Эти различия в сфере глагольного и именного словоизменения должны были отразиться и на судьбе соответствующих элементов в литературном языке нового типа. Действительно, элементы, осознававшиеся как специфические для старого книжного языка (такие как простые претериты), могли устраняться из нового литературного языка именно ввиду этой их специфики, их статус оказывался подорван уже в «простом» языке Петровской эпохи. Позднейшее стилистическое использование подобных элементов было обусловлено их наследственной спецификой: их специальная привязка к высокому стилю или к отдельным его разновидностям отражала их принадлежность к старому книжному языку и поддерживалась церковнославянской литературной традицией, а само допущение в новый литературный язык требовало выработки различных легализующих такое употребление концепций.

Совсем иные исходные условия были у вариантов, которые языковым сознанием XVII — начала XVIII в. с противопоставлением языков не связывались и

специальному осмыслению не подвергались. Отсутствие такой связи означало, что они не устранялись из «простого» языка в рамках петровской языковой реформы и вместе с тем не становились предметом реинтерпретации, связанной с их ролью в узусе допетровской эпохи (как это имело место с формами инфинитива). Их исключение, переосмысление или дифференциация возникали исключительно в рамках последующей нормализации, т. е. зависели от критериев обработки нового языкового стандарта, по-разному формулировавшихся на разных этапах языкового строительства. Здесь могло сказываться переосмысление любой морфологической вариативности в терминах генетической оппозиции русского и церковнославянского, и соответствие отдельных вариантов старой правописной традиции, зафиксированной у оставшегося влиятельным Смотрицкого, и декларации об ориентации нового языкового стандарта на разговорное употребление. Особенно существенно действие этих разнонаправленных факторов сказалось на нормализации словоизменения прилагательных. Не в малой мере было затронуто, впрочем, и словоизменение существительных, к которому мы и обратимся в настоящей главе.

В данной главе будет рассмотрена история окончаний существительных в дат., тв. и местном мн. числа, т. е. выбор вариантов из набора *-омь/-амь* в дат. мн., *-ы/-ьми/-ами* в тв. мн. и *-ѣхъ/-ехъ/-ахъ* в местн. мн. История этих вариантов позволяет увидеть, как в XVII в. статистические соотношения вариантов дифференцируют различные регистры письменного языка, под влиянием каких факторов формируется эта дифференциация и как в ней отражаются изменения, происшедшие ранее в разговорном языке. На этом материале можно также наблюдать, как образуется «петровский пул» в том случае, когда вариативность явно не соотносится с оппозицией языков и не подвергается функциональному переосмыслению, как происходит обработка языковых элементов из этого пула в процессе нормализации нового языкового стандарта, почти полностью устраняющая вариативность уже к середине XVIII в. Вместе с тем на этом материале ясно видны взаимосвязи языковой практики XVII и XVIII вв. и одновременно те инновации, которые вносит в эту преемственность процесс нормализации. Неоднородность (в отношении *а*-экспансии в дат., тв. и мест. мн.) текстов XVII в. позволяет увидеть конкретные пути преемственности в формировании русского литературного языка нового типа и тем самым выявить, как переосмысление старого узуса постепенно приводит к формированию новой нормы.

1. Формы дат., твор. и местн. падежей мн. числа существительных в языковой практике XVII в.

Остановлюсь сначала на общих характеристиках *а*-экспансии в истории русского языка. Процесс вытеснения окончаний *-омь*, *-ы/-ьми*, *-ѣхъ/-ехъ* окончаниями *-амь*, *-ами*, *-ахъ* у существительных мн. числа (процесс *а*-экспансии) завершается в московском говоре довольно поздно, видимо, не ранее середины XVII в.; говоры центра являются в этом плане более консервативными, чем северо-западные великорусские диалекты. Начало этого процесса в восточнославянских диалектах относится еще к XIII в. и в XVI—XVII вв. приводит к утверждению

вариативности соответствующих флексий как характеристике различных языковых разновидностей (книжных и некнижных); параметры вариативности различаются в разных регистрах письменного языка. Когда рассматриваемый процесс завершается, вариативность приобретает иной функциональный статус: речь не идет больше о парах вариантов, находящихся соответствие в живом языке. Новый статус обусловлен тем, что один из вариантов прямо соотносится с наблюдающимся в живой речи окончанием, тогда как другой сохраняется исключительно благодаря устойчивости письменных навыков. Этим и определяется последующий процесс нормализации. Его специфика в данном случае состоит в том, что традиционные варианты могут интерпретироваться нормализаторами как наследие разных традиций: церковнославянской литературной традиции, приказного языка, собственно русской архаики. В силу этого и отказ от этих вариантов или стремление в каком-то ограниченном виде их сохранить может быть обусловлено различными факторами. Данными соображениями и определяются контуры более подробного анализа материала.

Процесс *a*-экспансии растянут на несколько веков и неравномерно захватывает разные косвенные падежи и разные типы склонения. Отдельные примеры существительных м. и ср. рода с окончаниями *-амь*, *-ами*, *-ахъ* фиксируются в различных книжных и некнижных текстах, начиная с XIII в. Основной корпус примеров находим, как и в других случаях, у А. И. Соболевского (1907, 177). Существенно пополнил этот корпус лишь материал берестяных грамот (см.: Зализняк 1995, 93—94), в основном подтвердивший указанную Соболевским датировку (во всяком случае если принять ту реинтерпретацию нескольких неоднозначных примеров, которая была предложена В. Б. Крысько — Крысько 2000). Попытки значительно расширить корпус примеров за счет книжных текстов и углубить датировку интересующих нас процессов оказались несостоятельными.

Это относится, в частности, к ряду примеров, приводимых В. М. Марковым и Г. А. Хабургаевым. Например, неправильному прочтению обязан своим появлением наиболее ранний пример тв. мн. на *-ами* в Успенском сборнике середины XII в.: *лобъзаниами* (УС, л. 203а; см.: Марков 1974, 100; Хабургаев 1990, 135; разбор этого примера см.: Крысько 1994, 213; Иорданиди и Крысько 1995а, 71); соответственно для данного периода нет никаких оснований говорить о конкуренции флексий *-ами* и *-ми*, как это делает Хабургаев, и рассматривать в качестве параллельных новообразований такие употребления из Успенского сборника, как *ангълми*, *жидъмми*, *гълми* (УС, лл. 246г, 122б, 187а, 242а — ср.: Хабургаев 1990, 135), появляющиеся в результате ранней утраты противопоставления *o*-склонения и *и*-склонения и известные еще в старославянских памятниках. Поскольку, как указал Марков (Марков 1974, 104), приводившийся Соболевским пример *съ клобуками* из Паремийника 1271 г. возник по ошибке, наиболее ранние примеры тв. мн. на *-ами* у существительных, не принадлежащих *a*-склонению, появляются лишь в текстах XIV в.

Лишь на полстолетия ранее, начиная с середины XIII в., появляются у соответствующих существительных и первые примеры дат. мн. на *-амь* и местн. мн. на *-ахъ*. Часто приводящийся в этой связи пример из Успенского сборника *еу-ангълнахъ* (УС, л. 234а, ср.: Марков 1974, 100), ср. ту же форму в Чудовской Псалтыри (лл. 32г, 78г, 81б, 118а, 151г — Погорелов 1910, 60) и в Изборнике

1073 г. (л. 216а), допускает иную интерпретацию. Эта форма может считаться образованной от существительного ж. рода *ja*-склонения *евангелия* (см.: Мирочник 1973; Крысько 1994, 213; Иорданиди и Крысько 1995а, 71; Иорданиди и Крысько 1995с, 90). Сомнительным кажется и единичный пример *жителѣмъ*, обнаруженный Марковым в Путятиной Минее XI в. (л. 76 об.), по той именно причине, справедливо указанной В. Б. Крысько (Крысько 1994, 214; ср.: Иорданиди и Крысько 1995а, 72), что он на два столетия предвзвешивает все прочие достоверные примеры. Альтернативная интерпретация, предложенная Крысько, хотя и кажется несколько натянутой («закономерное атематическое образование от слова *жителяне*», нигде, впрочем, не зафиксированного), все же предпочтительнее неправдоподобной передатировки *a*-экспансии на основании единичного употребления.

Таким образом, процесс *a*-экспансии начинается со второй половины XIII в., и с этого момента число примеров отражения этого процесса в письменных источниках разного жанра постепенно возрастает. Выверенный список примеров приводят С. И. Иорданиди и В. Б. Крысько в своей недавней «Исторической грамматике русского языка» (Иорданиди и Крысько 2000, 246—251; ср.: Иорданиди и Крысько 1995с, 91—93). Здесь же находим и таблицу, содержащую статистические данные для этого списка (там же, 251):

Период	Количество примеров	ДП		МП		ТП	
		муж.	сред.	муж.	сред.	муж.	сред.
XIII ₂	12	6	3	—	3	—	—
XIV ₁	10	1	5	—	3	—	1
XIV ₂	69	39	3	7	13	5	2
Итого по родам		46	11	7	19	5	3
Итого по падежам		57		26		8	
Всего	91						

Конечно, эти статистические данные не слишком показательны, поскольку для разных периодов мы располагаем разным количеством памятников и тем самым разными объемами текстового материала, из которого извлекаются примеры; не поддается оценке и распределение всего релевантного материала по родам и падежам. Из общих соображений можно предполагать, что существительные м. рода встречаются чаще, чем существительные ср. рода, и что тем самым примеры инновативных окончаний у имен ср. рода имеют больший вес, чем у имен м. рода; соотношение по частоте различных косвенных падежей куда менее очевидно, так что влияние данного фактора на приведенную статистику определению не поддается.

Тем не менее по крайней мере одно заключение, основанное на этих данных, кажется правдоподобным: в письменном языке *a*-экспансия развивается в тв. падеже позже, чем в дат. и местн. падежах. Было ли такое запаздывание тв. падежа свойственно и языку устному, установить невозможно. Объясняя причины этого запаздывания у личных имен, Б. Унбегаун писал: «Que si, dans ces noms, les terminaisons nouvelles ont apparu tout de même d'abord au datif et au locatif, cela s'explique par le fait que le passage *-ы* de à *-ами* était plus radical et exigeait une adaptation plus longue que celui de *-омъ* à *-амъ* et de *-ѣхъ* à *-ахъ*» (Унбегаун 1935,

203). Действительно, старые и новые флексии в тв. мн. были существенно более не похожи друг на друга, чем старые и новые флексии в двух других падежах (двусложность vs. односложность, отсутствие общего консонантного компонента). Такого рода различия кажутся более значимыми для пишущего, чем для говорящего (во всяком случае, если полагать, что говорящий стремится к реорганизации системы, а пишущий более или менее сознательно манипулирует разными имеющимися в языке возможностями). В силу этого равновероятными представляются два сценария. При первом сценарии в северных диалектах восточных славян запаздывание инструменталиса имеет место в разговорном языке, и письменные источники отражают (с определенным временным лагом) асинхронность *a*-экспансии в дат. мн. и местн. мн., с одной стороны, и тв. мн. — с другой; при этом сценарии *a*-экспансия в дат. мн. и местн. мн. сама оказывается стимулом для аналогичного процесса в тв. мн. (см.: Иорданиди и Крысько 2000, 256—257). При втором сценарии в разговорном языке *a*-экспансия развивается синхронно во всех трех падежах, но ее отражение в письменных текстах в большей степени блокируется в тв. мн., нежели в дат. мн. и местн. мн., что и создает тот разрыв в первых фиксациях, который мы наблюдаем в имеющихся у нас источниках¹.

Распределение примеров с инновативными флексиями по родам (муж. и сред.) никаких ясных закономерностей не обнаруживает. Поэтому оно не может служить основанием для выяснения того основного фактора, который обусловил развитие *a*-экспансии. Как известно, А. И. Соболевский полагал, что «в формах дат., твор. и местн. пад. множ. ч. (...) имена с основами на *o*, *ъ*, *ь* усвоили себе для этих падежей окончание основ на *a*» (Соболевский 1907, 177), т. е. интересующие нас инновативные формы развились по аналогии с формами *a*-склонения. В отличие от Соболевского В. Ягич считал, что основным стимулом для *a*-экспансии было обобщение флективного элемента *-a*, представленного прежде всего в им.-вин. мн. существительных ср. рода, и в качестве одного из обоснований указывал на сравнительное преобладание форм ср. рода среди наиболее ранних примеров *a*-экспансии (Ягич 1889).

Оспаривая эту теорию Ягича, С. И. Иорданиди и В. Б. Крысько отмечают, что имеющиеся в настоящее время данные ее не поддерживают: «Взамен 12 примеров с *neutra*, противостоящих в списке А. И. Соболевского 8 формам *masculina* (данные XIII—XIV вв., без учета неверных примеров), мы располагаем сейчас 33 *neutra* на фоне 58 *masculina* (resp. 36,26 % и 63,74 %), причем в обоих родах новообразования отражаются абсолютно одновременно (...) В том случае, если бы *neutra*, как полагают многие исследователи, играли и н и ц и и р у ю щ у ю

¹ Нет необходимости говорить, что даже имеющиеся у нас ограниченные данные уничтожают всякую вероятность гипотезы А. А. Шахматова, согласно которой именно тв. мн. был тем падежом, с которого началась *a*-экспансия (Шахматов, III, 422—424). Шахматов исходил из предположения, что в тв. мн. *a*-экспансия была нужна для разрешения омонимии им.-вин. мн. и тв. мн., и эта потребность была основным стимулом для развития данного процесса. Критику этой гипотезы, вступающей в явное противоречие с хронологией первых письменных фиксаций, см. у Унбегауна (Унбегаун 1935, 203—205). О незначимости фактора омонимии для динамики *a*-экспансии в XIII—XIV вв. см.: Иорданиди и Крысько 2000, 255—256. О том, какую роль мог играть этот фактор в письменном узусе XVII в., см. ниже (§ III.1.1, примеч. III.7; § III.1.3).

роль в усвоении инновационных окончаний, логично было бы ожидать более раннего появления *-а*-форм в сред. роде. Между тем для ранних этапов фиксации новообразований можно говорить лишь о большей активности, но не о приоритете *neutra* в процессе, который синхронно затронул оба не-женских рода» (Иорданиди и Крысько 2000, 258). Как мне представляется, ни старые, ни новые статистические данные никак не показательны в данном отношении. Во-первых, они требуют корректировки, учитывающей большую частоту имен м. рода сравнительно с именами м. рода, и объем этой корректировки, как уже говорилось, остается для релевантных текстов неизвестным. Во-вторых, письменная фиксация новообразований неизбежно отстает от их появления в разговорном языке, причем степень отставания не слишком очевидным образом соотносится с жанром текста. В этих условиях имеющиеся примеры ничего не говорят нам о том, затронула ли *а*-экспансия оба не-женских рода одновременно или формы одного из родов инициировали рассматриваемый процесс.

В перспективе настоящего исследования этот вопрос имеет лишь второстепенное значение. В плане системном мотивы *а*-экспансии состоят прежде всего в обособлении мн. числа как особого согласовательного класса, который противопоставлен другим классам по ряду формальных признаков (ср. процесс акцентологической дифференциации числовых парадигм — см.: Зализняк 1985, 373—375). В этом классе нивелируются различия, обусловленные родом и типом основы существительного; *-а*- выступает при этом как тематическая гласная (отдельный морф), присущая мн. числу существительных (см.: Андерсен 1969; Шульга 1984, 99, 102; Хабургаев 1990, 123 сл. ; ср.: Бодуэн де Куртене 1903, 5 сл.). В этом системном преобразовании находят место и отдельные моменты аналогического воздействия: флексия *-а* в им.-вин. мн. существительных ср. рода *о*-склонения, *-а*-флексии у существительных *а*-склонения (прежде всего у существительных м. рода типа *владыка*, *судия*). Сказывается, видимо, и синтагматический фактор, на который справедливо обращают внимание С. И. Иорданиди и В. Б. Крысько (Иорданиди и Крысько 2000, 258—260).

Высказывалось предположение, что в северо-западных говорах рассматриваемый процесс развивается (и завершается) раньше, чем в говорах центра (см.: Унбегаун 1935, 198—199; Маценко 1961; Яковлева 1965; Молчанова 1968; Зализняк 1985, 279). В противность этому С. И. Иорданиди и В. Б. Крысько утверждают, «что северо-восточные говоры, хотя и не засвидетельствованные столь информативными источниками, как берестяные грамоты, все же едва ли существенно отставали от новгородского диалекта в усвоении новообразований, — другое дело, что окончательное утверждение инновационных форм в северо-восточной актовой письменности охватывает более длительный период, чем на северо-западе» (Иорданиди и Крысько 2000, 271). Данный диалектный момент также не имеет для нас сколько-нибудь существенного значения, поскольку к XVII в. ситуация в центре (Москве) не отличается заметно от ситуации в других регионах, так что ни одно из интересующих нас новообразований не воспринимается как диалектизм².

² В качестве диалектизма воспринимались, возможно, лишь диалектные формы тв. мн. с флексиями *-ам*, *-ама*, *-амы* и т. п., которые практически не отражаются в письменных

Существенно больший интерес представляет для нас вопрос о том, когда завершается процесс *a*-экспансии. Вполне очевидно, что он существенно позже распространяется на *i*-склонение, чем на *o*-склонение, и позже в этом склонении завершается. Первые редкие примеры местн. мн. с *-axъ* в *i*-склонении относятся к XV в. (см.: Иорданиди и Крысько 2000, 268). Можно полагать, что в разговорном языке в *i*-склонении новые флексии находятся в процессе становления даже в дат. мн. и местн. мн., тогда как в тв. мн. он вообще не имеет ощутимых последствий. Б. Унбегун пишет по этому поводу: «Le mouvement qui est parti des neutres en *-o-* a fini par atteindre aussi le type en *-i-*, qui s'est plié à la double influence du type en *-a-* et des désinences nouvelles en *-o-*. L'instrumental du type en *-i-* s'est montré encore plus résistant que celui du type en *-o-*: on remarquera, par exemple, dans une charte de 1675 (...) et dans une autre de 1691, (...) la constance de la forme пустошми en regard du datif пустошамъ et du locatif пустошахъ. On ne saurait même tenir cette évolution pour terminée de nos jours: rappelons-nous les formes du russe littéraire moderne qui subsistent encore, telles que людьми, дѣтьми, лошадьми, плетьми, костьми, дочерьми, etc.» (Унбегун 1935, 201—202). Очевидно, что незавершенный для существительных данного типа процесс *a*-экспансии сообщает особую роль нормализации, которая сама становится при этом одним из факторов изменения языковой структуры (ср.: Томас 1973). В силу этого в обращении с новыми формами *i*-склонения как свежими инновациями могут действовать иные принципы, нежели в трактовке форм *o*-склонения; их сопоставление позволяет увидеть различные языковых установок, свойственных различным традициям.

Как можно видеть, порядок распространения *a*-экспансии на различные падежи в *i*-склонения повторяет в данном случае (с разрывом почти на три столетия) последовательность ее распространения у существительных *o*-склонения: сначала в процесс включаются формы дат. и местн., а затем тв. мн. (Обнорский, II, 352—356; Черкасова 1969; Марков 1974, 113—116; Пеннингтон 1980, 238—239; Хабургаев 1990, 131—133, 139). При этом в *o*-склонении тв. мн. на *-ами* не только развивается позже (во всяком случае в письменном языке), но, как и в случае с *i*-склонением, обнаруживает большую сопротивляемость. Как и в случае с запаздыванием тв. мн., эта сопротивляемость может быть и чертой разговорного языка, и особенностью того, как различные инновации разговорного языка преломляются в языке письменном: и в данном случае большая сопротивляемость может быть следствием большего несходства (в случае тв. мн.) старой и новой формы, обуславливающего большую консервативность письменных навыков. Реликты этого состояния мы увидим ниже, при анализе текстов XVII в.

Прежде, однако, чем переходить к этому анализу, целесообразно хотя бы в самых общих чертах представить ту исходную ситуацию, с которой начинается развитие XVII в. В XVI в. положение в стандартных церковнославянских текстах

источниках — за исключением единичных фиксаций флексии *-амы* в памятниках не книжного характера, относящихся к северо-западному ареалу (см.: Шахматов 1957, 358; Дедюхина 1969; Хабургаев 1990, 142—144). Справедлива, видимо, точка зрения Г. А. Хабургаева, полагающего (там же), что в деловой письменности такого рода формы исключались как противоречащие престижной московской норме. Эта норма выступает, можно думать, в качестве *sui generis* первичного фильтра: отбрасываемые ею формы не попадают — даже в качестве единичных отклонений — и в письменность книжную.

не отличается сколько-нибудь существенным образом от того, которое описано для более раннего периода: инновативные флексии появляются здесь лишь в единичных случаях, и их общее количество столь незначительно, что статистические данные не сообщают оснований для каких-либо содержательных обобщений (см., впрочем, ниже).

Для делового регистра московской письменности релевантный материал собран и описан в классической работе Б. Унбегауна (Унбегаун 1935, 193—205); хотя статистические данные у Унбегауна отсутствуют (поскольку каждый отдельный из обследованных им текстов недостаточен по объему для статистических наблюдений, а составление репрезентативной выборки из нескольких разнородных текстов представлялось ему, видимо, слишком сомнительной процедурой), общая картина достаточно понятна. В целом старые флексии доминируют, а новые появляются в виде редких исключений. Из трех падежей менее всего затронут *а*-экспансией тв. мн., для которого Унбегаун нашел один единственный пример. В *о*-склонении инновативные флексии чаще встречаются в местн. мн. чем в дат. мн., что, впрочем, как отмечает Унбегаун, может быть следствием большей общей частоты местн. мн. сравнительно с дат. мн. Особо благоприятствуют новым окончаниям существительные ср. рода, прежде всего существительные на *-ья* и *-ца*. Существительные *і*-склонения значительно более консервативны, чем существительные *о*-склонения (Унбегаун 1935, 197—198)³.

Та же в целом ситуация наблюдается и в Домострое по списку РГБ, ф. 205, № 340, 1560-х годов, исследованному М. А. Соколовой. И здесь новые флексии встречаются лишь в редких случаях, наиболее продвинутым в плане *а*-экспансии является местн. мн., соотношение дат. мн. и тв. мн. остается не совсем ясным, поскольку не приводятся данные о всех релевантных формах; во всяком случае формы тв. мн. на *-ами* в тексте уже фиксируются (*домами, зубами, с товарищами, уторами и ладами*). Существительные *і*-склонения *а*-экспансией почти не затронуты, хотя в числе примеров фигурирует в *гостях* и сомнительная форма

³ Приведу наблюдения Унбегауна *in extenso*: «Une première constatation générale s'impose: c'est que le système normal de flexion est celui des désinences anciennes. Les formes nouvelles (...) n'apparaissent que comme de rare exceptions, et, à ce titre, sont un peu en dehors de la langue que nous étudions. (...) Une autre constatation s'impose: c'est qu'il n'y avait encore, au XVI^e siècle, aucun mot ou groupe de mots ayant adopté définitivement les trois désinences nouvelles. Des trois cas, l'instrumental s'est montré le plus rebelle à toute innovation. En effet, on ne dispose que d'un seul exemple, qui figure dans le *Terriers* de Tver' (...) Quant aux formes du datif en *-амъ* et du locatif en *-ахъ*, elles sont plus nombreuses. Les exemples cités plus haut semblent indiquer que la pénétration des désinences nouvelles a été plus intense au locatif qu'au datif, mais on ne saurait oublier que le locatif est en général plus fréquent dans les textes que le datif, d'où l'abondance relative des exemples du locatif. L'impression que dégage de examen des faits est nette: ce sont les neutres en *-о-* qui sont surtout sujets à adopter les désinences en *-а-*, mais non pas tous au même degré. Pratiquement on ne trouve des désinences nouvelles en grand nombre que dans les mots terminés au nominatif par *-ья* ou par *-ца*. (...) On peut affirmer que, pour ces mots, le locatif au moins avait, dès XVI^e siècle, normalisé la terminaison *-ахъ*. En revanche, l'instrumental ne connaît d'autre terminaison que l'ancienne (...) Le datif aussi semble être resté en partie fidèle aux formes anciennes (...) Le type en *-і-* se révèle comme beaucoup plus conservateur que celui en *-о-*» (Унбегаун 1935, 197—198).

з рудьями (Соколова 1957, 122—123). Как отмечает тот же Унбегаун (Унбегаун 1935, 198—199), новые флексии несколько более широко представлены в новгородских памятниках, и отсюда сравнительное изобилие примеров, приводимых Шахматовым из двинских грамот и северо-западных летописных текстов (см.: Шахматов 1957, 278—280). И здесь, впрочем, инновативные формы имеют окказиональный характер. Для XVI в. никакими сведениями, относящимися к бытовому регистру, мы не располагаем, поскольку у нас практически нет столь ранних текстов данного типа.

Для того чтобы представить себе, как обстояло дело в гибридном регистре, рассмотрим данные одного памятника XVI в., а именно Новгородской пятой летописи по Хронографическому списку, относящемуся к началу XVI в. (ПСРЛ, IV, 2¹). В абсолютных цифрах статистические параметры этого текста могут быть представлены в следующей таблице:

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	124	57	16	1	56	49	6
	амь/амь	2	18	1	—	1	—	—
М.	ехь/ьхь	62	21	35	5	23	37	7
	ахь/ахь	2	6	2	—	1	—	—
Т.	ы/и	123	179	10	—	45	1	—
	ами/ами	—	—	—	—	—	—	—
	ми	1	—	—	1	—	24	17

Новые флексии отмечены в следующих формах. Дат. мн.: *городамь* 490 об., *хоромамь* (?) 523; *кривичам* 442 об., *вятичамь* 462 об., *олговичамь* 525, *новгородцамь* 548 об., 607 об., 611 об., *плексовичамь* 578, 608 об., *псковичамь* 582 об., 583, 601, 609, *раковорчамь* 583 об., *псковицамь* 586 об., 609 об., *плексовицамь* 608 об. [bis], *мужамь* 609 об.; *воротамь* 570; *дворянамь* 548 об. Местн. мн.: *устогахь* 458 об., *смердахь* 535 об.; *кривичахь* 440, *вятичахь* 440, *новгородцахь* 547, *псковичахь* 587 об., 607 об., *коломчахь* 595; *озерахь* 597, *болотахь* 597; *заволочанахь* 535 об. В тв. мн. формы на *-ами* вне *а*-склонения отсутствуют, можно отметить лишь новообразования с *-ми*, идущим из *i*-склонения: *дарми* 484 об., *показаньми* 447 об.⁴ Как можно видеть, пропорция новообразований, обусловленных *а*-экспансией, невелика, она составляет всего 3,54 %. Наиболее консервативен тв. мн., где новообразования вообще отсутствуют. Новообразования в формах существительных ср. рода, в дат. мн. и местн. мн., где новообразования вообще имеются, у существительных ср. рода *о*-склонения они представлены в 6 % случаев; для существительных м. рода *о*-склонения аналогичный показатель составляет 9,59 %. В последнем классе, наиболее многочисленном и наиболее показательном, дат. мн. оказывается чуть сильнее затронутым *а*-экспансией, нежели местн. мн.: в дат. мн. пропорция новых флексий составляет 9,95 %, в

⁴ Форма *дарми* может трактоваться как реликт *и*-склонения, к которому иногда относят эту лексему (см.: Бернштейн 1974, 250). Реликтовые формы *и*-склонения представлены в анализируемом тексте такими примерами, как *сынъми* 521, 569 об., *сынми* 572 об., 582 об. В наших подсчетах они не учитывались.

местн. мн. — 8,79 %; впрочем, это преимущество дат. мн. обусловлено многократным повторением лексем *новгородци* и *п(ль)сковичи* в дат. мн., которые могут трактоваться как особый случай.

Как можно видеть, в XVI в. конфигурации вариантов в дат., местн. и тв. мн. числа практически не дифференцируют регистры письменного языка. Инновативные формы во всех регистрах встречаются лишь в качестве окказиональных отступлений, частота новых форм в некнижных регистрах, по-видимому, лишь несущественно превышает аналогичный показатель в регистрах книжных. Во всех регистрах тв. мн. остается в наименьшей степени затронут *а*-экспансией, хотя в некнижной письменности присутствие тв. мн. на *-ами* более ощутимо, чем в письменности книжной. Соотношение дат. мн. и местн. мн. по характеру *а*-экспансии также остается достаточно неопределенным во всех регистрах. Опять же во всех регистрах новые формы в *і*-склонении появляются лишь в качестве редких исключений. Существенно иметь в виду, что эти характеристики письменного узуса устойчиво поддерживаются при том, что в разговорном употреблении процесс *а*-экспансии, скорее всего, уже завершился или находился в завершающей фазе — во всяком случае, если говорить об *о*-склонении.

Прежде чем перейти к описанию *а*-экспансии в текстах XVII в. необходимо остановиться на еще одном, почти техническом моменте: какие классы существительных должны выделяться при таком описании. Как можно видеть из приведенной выше таблицы, в настоящем исследовании используется разбиение существительных на следующие семь классов (существительные *а*-склонения не анализируются по понятным причинам: *а*-экспансия к ним отношения не имеет): существительные м. рода *о*- и *јо*-склонения, существительные ср. рода *о*- и *јо*-склонения, существительные м. рода типа *боярин*, *гражданин* (*С*-склонение), существительные м. и ж. рода *і*-склонения. Хотя в этой классификации есть элемент условности, она представляется оптимальной для тех задач, которые стоят перед изучением *а*-экспансии в письменности XVII—XVIII вв.

Ясно, что описание в терминах праславянских типов основ для XVII в. было бы неактуально. Действительно, выделение в особую категорию, скажем, *и*-основ для исследования *а*-экспансии в текстах XVII—XVIII в. было бы явно анахроничным: никакой статистически значимой специфики сравнительно с *о*-основами здесь не обнаруживается. Хотя формы, исторически принадлежащие *и*-склонению, продолжают встречаться в текстах изучаемого периода, в особенности в текстах книжных, они появляются в них лишь как окказиональные варианты унифицированных форм *о*-склонения. В текстах XVII в. можно встретить формы тв. мн. типа *дарми* или *сынми*, однако лишь наряду с формами *дары* и *сыны*, и при этом даже наличие такого варианта не противопоставляет имена старого *и*-склонения именам *о*-склонения, поскольку формы на *-ми* окказионально появляются и у существительных, исконно принадлежавших *о*-склонению, ср., например, *ѡггѡми* (Симеон Полоцкий 1681, л. 80 об.), *походми* в Казанском летописце (ПСРЛ, XIX, стб. 324) и т. д. Никак не сказывается принадлежность к исконному *и*-склонению или *о*-склонению и в реакции на *а*-экспансию: в разных типах текстов существительные двух этих групп в одинаковой степени приемлют или не приемлют новые флексии. В силу этого в настоящем исследовании целесообразно объединить существительные, принадлежавшие *и*-склонению и

o-склонению в один класс или, другими словами, влить существительные *u*-склонения в *o*-склонение. Аналогичные соображения распространяются и на существительные ср. рода склонения на согласный с основой на **n* (типа *время* — *времена*) и основой на **s* (типа *слово* — *словеса*, *дерево* — *древеса*), которые не отличаются в отношении к *a*-экспансии от существительных ср. рода *o*-склонения. Такая же трактовка подходит и для существительных ж. рода с основой на **u*: одни из них (например, *церковь*) не отличаются в интересующем нас плане от существительных ж. рода *a*-склонения, другие — от существительных ж. рода *i*-склонения (например, *кровь*). Так же обстоит дело и с существительными с суффиксами *-тель* и *-арь*, которые естественно рассматривать вместе с именами м. рода *jo*-склонения.

Иной характер имеет употребление существительных м. и ж. рода *i*-склонения и существительных м. рода, образующих сингулятивы на *-ин* (типа *боярин*, *гражданин*). Что касается последнего класса, то он в плане *a*-экспансии явно обнаруживает особую консервативность в сравнении с существительными м. рода *o*-склонения, и данный момент указывает на то, что пишущие тем или иным образом выделяли в своем языковом сознании указанную группу имен как особый словоизменительный тип. Особой консервативностью отличаются и существительные *i*-склонения. То, что в качестве отдельного класса должны выделяться существительные ж. рода *i*-склонения, по видимости ни у кого не вызывает сомнения. Однако целесообразно, видимо, рассматривать в качестве отдельной группы и существительные м. рода *i*-склонения. Его ядро образуют *pluralia tantum* *люди*, *дѣти*, устойчиво сохраняющие старые флексии в косвенных падежах мн. числа. До какой степени с этим ядром ассоциируются другие существительные, исторически принадлежавшие данному классу или влившиеся в него (*гость*, *путь*, *звѣрь*, *голубь*, *день* и т. д.), остается неопределенным; можно полагать, что у разных авторов и в разные периоды лексическое наполнение данного класса может быть различно, однако это не может служить аргументом для того, чтобы вообще его не выделять. Следует иметь в виду, что при любых статистических подсчетах, не учитывающих означенных классов, за их счет оказывается увеличенной пропорция старых флексий у существительных м. рода *o*-склонения, и это не дает возможности адекватно описать динамику *a*-экспансии.

1.1. *A*-экспансия в стандартных церковнославянских текстах и в текстах некнижных

В XVII в. ситуация существенно меняется. Возрастает пропорция новых флексий в текстах всех типов, однако в одних регистрах это рост характеризуется куда большим объемом, чем в других. Это приводит к тому, что регистры приобретают дифференциацию по объему *a*-экспансии. Вместе с тем это нарастание зависит и от типа склонения, и от падежа, причем в каждом из регистров эта зависимость обладает определенной спецификой. В результате разные регистры оказываются дифференцированы конфигурациями морфологических вариантов с присущими им статистическими характеристиками.

В канонических (библейских и богослужебных) текстах новые флексии вплоть до конца XVII в. появляются на фоне подавляющего большинства старых

форм в виде единичных примеров, не дающих материала для полноценной статистики. Так обстоит дело, в частности, в Острожской Библии, и Библия 1663 г. вносит в этом плане лишь не очень существенные количественные изменения (Булич 1893, 166 сл.), вполне сравнимые с теми немногими инновациями, которые появляются в Острожской Библии сравнительно с Геннадиевской (Фрайдхоф 1972, 85—93). А-экспансия представлена почти исключительно в формах о-склонения, у существительных м. рода в наибольшей степени в местн. мн., затем в тв. мн. и дат. мн., у существительных ср. рода в наибольшей степени также в местн. мн., затем в дат. мн., затем в тв. мн.

По данным С. К. Булича в о-склонении у существительных м. рода дат. мн. на *-амь/-амь* практически отсутствует, единичные примеры (привожу их, следуя Библии 1663 г.) фиксируются только для мягкой разновидности: *кни́гчи́амь* (пример сомнителен, поскольку возможна исходная форма а-склонения *книгъчи́а*), *сосца́мь* (Булич 1893, 216, 236). У существительных о-склонения ср. рода примеры а-экспансии также являются единичными, хотя и несколько более многочисленными (там же, 224—225, 243—244). Относительно более широко представлена а-экспансия в местн. мн. Для существительных м. рода здесь отмечаются: *пра́гахъ*, *же́рновахъ* (bis), *концахъ* (bis), *корабляхъ*; показательно, что в мягкой разновидности примеры а-экспансии появляются лишь в Библии 1663 г., тогда как в Острожской отсутствуют (там же, 220—221, 240; ср., впрочем, единичный пример *лѣтопи́сцахъ*, приводимый Г. Фрайдхофом — 1972, 90). У существительных ср. рода примеры многочисленнее: *чела́хъ*, *се́лахъ*, *сте́гнахъ*, *внѣдрахъ*, *црѣтвахъ*, *колѣнахъ*, *кади́лахъ*, *езе́рахъ*, *полáхъ* (bis), *сердца́хъ* (bis), *вре́тищахъ*, *собори́щахъ*, *тѣржищахъ*, *ѿдо́ліахъ* и т. д.; от Острожской Библии, в которой эти примеры впервые появляются (Фрайдхоф 1972, 92), к Библии 1663 г. число примеров возрастает (Булич 1893, 226, 245—246). Что касается тв. мн., то у существительных м. рода окончания *-ами/-ами* представлены единичными примерами: *поса́ми*, *во́ми*, *дожда́ми*, *веча́ми*, *ѡгалти́рами* (Булич 1893, 219, 239); еще более ограничено их распространение у существительных ср. рода: *носи́лами*, *плещáми* (Булич 1893, 225, 241; Фрайдхоф 1972, 92); ограниченность а-экспансии в тв. мн. отчасти обусловлена, видимо, распространением флексии *-(ь)ми*, переходящей в о-склонение из *i*-склонения (характерно прежде всего для существительных мягкой разновидности, которые, в принципе, особенно восприимчивы к данной инновации — Булич 1893, 218, 238, 245; Фрайдхоф 1972, 91). Можно, видимо, заключить, что в о-склонении существительных м. рода более всего а-экспансии подвержен местн. мн., затем тв. мн., и в последнюю очередь дат. мн. У существительных ср. рода а-экспансия в наибольшей степени представлена в местн. мн., затем в дат. мн., и в последнюю очередь в тв. мн.

В *i*-склонении у существительных м. рода а-экспансия вообще не представлена, а у существительных ж. рода отмечена единичными примерами: *мы́шами*, *блгоста́хъ*; приводимые С. К. Буличем примеры *лжамъ*, *лжахъ* об а-экспансии не свидетельствуют, так как могут быть формами лексемы *лжа*, а не *ложь* (Булич 1893, 168—169). В склонении на согласный а-экспансия почти не представлена (ср. единичное *именахъ* в Острожской Библии — Фрайдхоф 1972, 93); *и*-склонение в разбираемых формах практически ничем не отличается от о-склонения, по-

скольку тв. мн. на *-ми* (который в данном случае может быть и отражением *-ъми*, и аналогическим образованием) представлен и в формах *o*-склонения, а формы местн. мн. на *-охъ* единичны. Как специфически книжные явления, указывающие на то, что вариативность может возникать не только в силу отражения явлений разговорного языка, стоит указать «неправильные» формы в *a*-склонении типа **тЫСАЦМИ** (Булич 1893, 203).

Довольно показательные статистические параметры, касающиеся Острожской Библии, приводит в своих работах А. А. Врядий (Врядий 1975, 103—106, 125—130; Врядий 1976, 36—37; Врядий 1977, 89—91; Врядий 1984), анализирувавший, впрочем, лишь ограниченную выборку (четыре Евангелия, Книгу Бытия и первые десять глав Книги Исход). На этом материале объем новых флексий составляет лишь 0,7 %, причем новые флексии встречаются только у существительных *o*-склонения. В абсолютных цифрах данные А. А. Врядия (после исправления ошибок — отнесение существительного *дреколь* к ср. роду, *pluralia tantum радощами* к ж. роду *i*-склонения) выглядят следующим образом (мы отступаем здесь от обычного для данного исследования формата таблицы, поскольку в работе Врядия нет нужных для этого сведений):

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. и ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омъ/емь	205	64	13	3	10
	амь/АМЬ	—	1	—	—	—
М.	ехъ/ѣхъ	67	6	19	42	14
	ахъ/АХЪ	1	—	—	2	—
Т.	ы/и	81	21	12	—	—
	ами/АМИ	—	—	—	—	—
	ми	3	2	—	1	19

Таким образом, обобщая приведенные выше сведения, можно говорить о нарастающем отражении процесса *a*-экспансии — от Геннадиевской Библии, этот процесс игнорирующей, к Острожской и далее к Библии 1663 г. Это нарастание, однако, не меняет статуса инновативных форм, остающихся за пределами нормы. Новое качество они получают лишь в Елизаветинской Библии 1751 г.

Характер отражения *a*-экспансии в новых оригинальных текстах на стандартном грамматическом нормированном церковнославянском достаточно адекватно предстает в сочинениях Симеона Полоцкого. В некоторых из его сочинений (например, в «Псалтыри рифмотворной» и в «Трагедии о Навходоносоре») *a*-экспансия вообще не представлена (Шепелева 1959, 86). В других она представлена единичными примерами, причем пропорции ее отражения в разных падежах и в разных типах склонения несколько отличаются от тех, которые наблюдаются в Библии 1663 г. (см. выше). В дат. мн. и местн. мн. новые флексии характерны прежде всего для существительных ср. рода *o*-склонения (Шепелева 1959, 86, 96—97), и таким образом в данном классе наиболее консервативным является тв. мн., что совпадает с параметрами Библии 1663 г. Напротив, у существительных м. рода *o*-склонения (а также *i*-склонения, которое в данных формах никак не обособляется) *a*-экспансия в тв. мн. представлена несколько шире, чем в других падежах (там же, 87—91). В *i*-склонении *a*-экспансия не фиксируется. Так же как

в других церковнославянских памятниках XVII в., у Симеона в тв. мн. представлена и экспансия флексии *-(ь)ми* (у существительных м. рода *jo*-склонения и даже у существительных ж. рода *a*-склонения).

Результаты анализа поэтического текста Симеона, проведенного Р. Д. Шепелевой, в общем соответствуют тому, что мы находим в его прозаических произведениях. Обследование «Обеда душевного» (Симеон Полоцкий 1681 — первые 220 листов) показало, что *a*-экспансия представлена здесь лишь окказионально, в 6 % соответствующих случаев. Примеры *a*-экспансии ограничены только существительными *o*-склонения. У существительных м. рода в дат. мн. новые флексии также отсутствуют, в местн. мн. составляют 5 %, тогда как в тв. мн. пропорция увеличивается до 16 %. У существительных ср. рода объем *a*-экспансии несколько больше, чем у существительных м. рода. Здесь наиболее продвинутым является местн. мн. (14 % новых флексий), затем следует дат. мн. (11 % новых флексий), на последнем месте тв. мн. (9 % новых флексий). От ряда существительных *o*-склонения тв. мн. образуется с помощью флексии *-ми*. У существительных м. и ж. рода *i*-склонения, равно как и у существительных м. рода *C*-склонения (типа *христїанинь*), новые флексии полностью отсутствуют.

В абсолютных цифрах эти статистические данные могут быть отражены в следующей таблице:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	141	45	38	3	2	19	14
	амь/амь	—	—	5	—	—	—	—
М.	ехь/ьхь	108	7	54	20	—	9	34
	ахь/ахь	6	—	8	4	—	—	—
Т.	ы/и	72	3	46	5	2	4	1
	ами/ами	13	2	6	—	—	—	—
	ми	2	4	—	7	—	5	30

Новые флексии представлены следующими примерами. Дат. мн.: *срѣцѣмъ* (Симеон Полоцкий 1681, л. 40 об.), *чѣвствѣмъ* (л. 41), *тѣлесѣмъ* (л. 82), *древесѣмъ* (л. 141 об.), *писменѣмъ* (л. 155 об.). Местн. мн.: *зѣвѣхъ* (л. 10 об.), *вертѣпѣхъ* (л. 111, 119), *прѣтѣлахъ* (л. 121 об., 130), *аромѣтахъ* (л. 176); *срѣцѣхъ* (л. 5 об., 54 об., 211 об.), *сердцѣхъ* (л. 12, 102 об.), *лѣжахъ* (л. 54, 55, 175 об.), *житїѣхъ* (л. 123 об.), *лицѣхъ* (л. 128), *ѡстахъ* (169 об.), *дѡстѡинствѣхъ* (л. 206). Тв. мн.: *лѣчѣми* (л. 27, 103 об.), *волкѣми* (л. 32 об.), *грѣхѣми* (л. 62 об., 194 об.), *трѣдѣми* (л. 69 об.), *орѣхѣми* (л. 125), *волѣми* (л. 133), *вѣсѣми* (л. 164), *зѣбѣми* (л. 167 об.), *їадѣми* (л. 168), *лѣвѣми* (л. 180 об.), *зміѣми* (л. 184 об.), *слѣпцѣми* (л. 185 об.), *огнѣми* (л. 189); *оустѣми* (л. 16 об., 55 [bis], 141 об., 22 об.). Укажу также случаи образования тв. мн. на *-ми* от существительных *o*-склонения: *ѡггѣми* (л. 80 об.), *сѣми* (л. 158); *плѣстырѣми* (л. 53 об.), *пѣстырѣми* (л. 57 об.), *вѣчѣми* (л. 107), *слѣжитѣми* (л. 196 об.); *согрѣшѣнѣми* (л. 16 об.), *стенѣнѣми* (л. 36), *дѡбрѡдѣлѣнѣми* (л. 83), *дѣлѣнѣми* (л. 104, 159 [bis]), *хѡтѣнѣми* (л. 180)⁵.

⁵ Тв. мн. на *-ы* окказионально может образоваться и от существительных ж. рода *a*-склонения, что указывает на восприятие формы им. мн. как общей формы мн. числа, а тв. мн. —

Наблюдаемая картина является, видимо, результатом определенной нормализации, отражающей престижный статус текста. К такому выводу побуждает сопоставление с данными, относящимися к дополнительным частям книги (Стихи о недели, честь субботы преешей, к читателем; Предисловие к читателю благочестивому; Изъяснение словес, яже в книзе сей суть положенна). Объем материала недостаточен здесь для детального анализа, однако существенное увеличение пропорции новых флексий (сравнительно с основным текстом) явно значимо и свидетельствует о том, что книжные нормы выдерживаются в разных частях текста с разной степенью строгости. Приведу соответствующие данные (Симеон Полоцкий 1681, л. 1—20 первой фолиации):

		м. р. о-скл.	м. р. ја-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. ја-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	5	3	—	—	—	1	1
	амь/амь	1	—	1	—	—	—	—
М.	ехь/ѣхь	15	1	7	—	—	3	4
	ахь/ахь	3	1	1	1	—	1	2
Т.	ы/и	6	—	—	1	—	—	—
	ами/ами	2	—	—	—	—	—	—
	ми	—	—	—	—	—	2	2

Таким образом, общая пропорция новых флексий составляет 20 %. Любопытно, что у существительных м. рода о-склонения сохраняется то же соотношение падежей, что и в основном тексте (однако с иными пропорциями: в дат. мн. 11 % новых флексий, в местн. мн. — 20 %, в тв. мн. — 25 %. Особо следует отметить, что новые флексии появляются в тех классах, которые в основном тексте полностью закрыты для а-экспансии, ср. новые флексии в местн. мн. существительных ж. и м. рода і-склонения: **вкрѣстностѣхъ** (л. 12), **протѣвностѣхъ** (л. 13), **пѣтѣхъ** (л. 18). Другие примеры а-экспансии: **лѣчѣамь** (л. 1 об.), **оуѣтамь** (л. 8 об.), **плодахъ** (л. 15), **гѣднахъ** (л. 13), **хлѣбахъ** (л. 13 об.), **плѣцахъ** (л. 19 об.), **дѣлѣхъ** (л. 20), **знѣменѣхъ** (л. 18 об.), **зѣбѣами** (л. 8, 8 об.). Отмечу также образование тв. мн. на **-ми** от существительного ж. рода ја-склонения: **пѣцѣми** (л. 4; здесь же, впрочем, и **пѣцѣами** — л. 6 об.).

Особо продвинутое в плане а-экспансии положение тв. мн. существительных м. рода не может быть обусловлено особенностями поэтического текста (как можно было бы подумать на основании материалов Р. Д. Шепелевой) и должно объясняться другими факторами. Скорее всего здесь играет роль ориентация на грамматику Смотрицкого, которой Симеон Полоцкий, надо думать, пользовался, обучаясь церковнославянскому языку; у Смотрицкого во многих парадигмах формы на **-ами** и **-ы** даются в качестве вариантов (см. § III.4.1). Частным указанием на такую ориентацию может служить тот факт, что у Симеона среди форм с новыми флексиями существенная часть совпадает (непосредственно или по типу) с теми, которые приводит Смотрицкий, ср. хотя бы: **срѣчѣамь** (Симеон Полоцкий 1681, л. 40 об.; Смотрицкий 1648, л. 112 об.), **срѣчѣхъ** (Симеон Полоцкий 1681,

как потенциально совпадающего с этой формой, ср. примеры: **ѣзвы** (л. 25 об.), **междѣ пѣтѣцы** (л. 38), **междѣ планѣты** (л. 38), **оузы крѣпкими** (л. 84), **златѣми верѣги** (л. 163 об.).

л. 5 об., 12, 54 об., 102 об., 211 об.; Смотрицкий 1648, л. 112 об.), **житї́лхъ** (Симеон Полоцкий 1681, л. 123 об.; Смотрицкий 1648, л. 130), **грѣхъами** (Симеон Полоцкий 1681, л. 62 об., 194 об.; Смотрицкий 1648, л. 110 об.) и т. п. Возможно, употребление новых форм тв. мн. могло подкрепляться польским или юго-западнорусским влиянием (в польском особо активная *a*-экспансия в тв. мн. имеет место как раз в XVII в. — см.: Янковска и Завадски 1960; Граппен 1956; Жепка 1985, украинские и белорусские данные для этого периода не исследованы, ср., впрочем, § III.4.1, примеч. 40).

По большинству параметров с употреблением «Обеда душевного» сходно употребление книги «Статир» (РГБ, Румянц. 411), автор которой преклонялся перед Симеоном и подражал ему (см. цитату из предисловия к этой книге § IV.1.1). Анализ нескольких выборок из этого текста (лл. 1—9 об. 1-й фолиации, лл. 36 об.—58 2-й фолиации, лл. 183—200 об. 2-й фолиации, л. 152—176 об. 3-й фолиации) дает следующие статистические данные:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омъ/емъ	55	19	8	4	2	2	2
	амъ/амь	—	1	1	—	—	—	—
М.	ехъ/ѣхъ	20	4	27	2	1	3	1
	ахъ/ахъ	2	—	—	4	—	—	—
Т.	ы/и	27	3	12	2	—	—	—
	ами/ами	3	—	1	—	—	—	—
	ми	1	—	—	—	—	1	6

Объем *a*-экспансии не превышает здесь того, который мы находим в основном тексте Симеона, и составляет 5,61 %. Новые флексии появляются только у существительных *o*-склонения. Они представлены в следующих формах. Дат. мн.: **червѣамъ** (л. 41 об.), **мѣстамъ** (л. 196 об.). Местн. мн.: **хѣлника^x** (л. 9), **вѣннахъ** (л. 39), **тѣржищахъ** (л. 48 об.), **зданїахъ** (л. 56), **срѣцахъ** (л. 57), **имѣнїахъ** (л. 194 об.). Тв. мн.: **грѣхъами** (л. 3 об.), **свѣдами** (л. 4), **звѣами** (л. 187 об.), **масами** (л. 189 об.). Отмечу также образование тв. мн. с флексией *-ми* у существительных, не относящихся к *i*-склонению (**сын⁵ми** — л. 2 об.), и несколько случаев исконных флексий *o*-склонения, появляющихся у существительных *a*-склонения: **ѡтроковїцѣхъ** (л. 189 об.), **чаши** (л. 56 об.), **кнїги** (л. 57). Отмечу, что для существительных м. рода *o*-склонения наблюдается то же соотношение падежей по продвинутиости *a*-экспансии, которое обнаруживается у Симеона Полоцкого: наиболее консервативен дат. мн. (1,33 % новых флексий), затем идет местн. мн. (7,69 % новых флексий), и наиболее продвинут тв. мн. (8,82 % новых флексий). Если у Симеона эта конфигурация может быть связана с ориентацией на грамматику Смотрицкого, то для автора «Статира» образцом, надо думать, оказывается узус самого Симеона, в подражание проповедям которого написан «Статир». Употребление новых флексий никак не мотивировано — ни стилистически, ни композиционно, ни лексически⁶.

⁶ Единственный фрагмент, в котором можно было бы подозревать стилистическую обусловленность новой флексии, обнаруживается в «Поучении в неделю десятую по со-

Почти так же ограничен объем *a*-экспансии и в Слове благодарственном 1683 г. патриарха Иоакима (Иоаким 1683), хотя относительная краткость этого текста и не позволяет получить вполне достоверные статистические результаты. Пропорция новых флексий составляет здесь почти 10 %. У существительных м. рода *o*-склонения *a*-экспансия менее всего представлена в дат. мн. (2 % новых флексий), существенно шире примеры с новыми флексиями в тв. мн. (23 %), еще более распространены они в местн. мн. (31 %); в двух случаях фиксируется образование тв. мн. с помощью окончания *-ми*. У существительных ср. рода *o*-склонения новые флексии обнаруживаются только в местн. мн. (22 %), материал, однако, слишком скуден для каких-либо выводов. У существительных м. и ж. рода *i*-склонения и у существительных м. рода *C*-склонения новые флексии отсутствуют (как и у Полоцкого). В абсолютных цифрах данные, относящиеся к Слову благодарственному патриарха Иоакима, выглядят следующим образом:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	29	20	6	1	2	4	1
	амь/амь	—	1	—	—	—	—	—
М.	ехь/ьхь	8	1	5	2	—	—	7
	ахь/ахь	4	—	2	—	—	—	—
Т.	ы/и	26	3	6	3	2	—	—
	ами/ами	7	—	—	—	—	—	—
	ми	1	1	—	—	—	1	1

Новые флексии представлены в следующих формах. Дат. мн.: **гѣдрамѣ** (Иоаким 1683, 103). Местн. мн.: **прелѣстникахѣ** (с. 54, 92, с. 8 второй пагинации, ср. **прелѣстницѣхѣ** — с. 66), **лицемѣбрахѣ** (с. 92), **вѣдствахѣ** (с. 4), **лицяхѣ** (с. 63). Тв. мн.: **еретѣками** (с. 39, 103), **бгѣоѣстѣпниками** (с. 39), **чернцами** (с. 56), **постниками** (с. 66), **прелѣстниками** (с. 85), **наслѣдниками** (с. 107). Укажу также тв. мн. на *-ми* от существительных *o*-склонения: **сынами** (с. 14), **нестажательми** (с. 66); тв. мн. на *-ы/-и* от существительных *ja*-склонения: **капли** (с. 81).

Таким образом, в стандартных церковнославянских текстах XVII в. *a*-экспансия представлена лишь немногочисленными окказиональными примерами, составляющими менее 10 % всех релевантных форм. Подчеркнутая консервативность этих текстов выражается и в том, что *a*-экспансия наблюдается лишь в формах *o*-склонения и практически не представлена в формах *i*-склонения, т. е. для свежих инноваций этот тип текстов оказывается по существу непроницаем. Для существительных ср. рода *o*-склонения характерно распределение, при котором наименьшее число инноваций обнаруживается в тв. мн. Что же касается существительных м. рода *o*-склонения, то здесь положение в разных текстах неод-

шестью Святого Духа», одной из главных тем которого оказывается обличение пьянства. Здесь говорится: «**Какова ѣсть мѣрзостна жена згорѣвшима в ней винѣмъ дыхающаа, во смѣрдѣвшима и согнѣвшима масами рыгающаа, истлѣвшима брашны мнѣжествомъ ѡтагчѣна востати немогущаа**» (л. 189 об.). Новую флексию в словоформе **масами** можно было бы связать с намеренной грубостью авторской риторики, однако о факультативности такой связи вполне отчетливо свидетельствует нормативная форма тв. мн. **брашны**.

нородно. Устойчивой чертой является наибольшая консервативность дат. мн., тогда как наибольшая продвинутость в одних текстах характеризует местн. мн. (Библия 1663 г., Слово благодарственное патриарха Иоакима), а в других (Симеон Полоцкий) — тв. мн. Это различие можно, видимо, связать с тем, что Симеон ориентируется на грамматику Смотрицкого и тем самым на нормализационные решения, имеющие целью устранение омонимии им.-вин. мн. и тв. мн., тогда как в Библии 1663 г. и у патриарха Иоакима сохраняется более традиционное употребление. Для Библии 1663 г. это прямо связано с относительно последовательным воспроизведением текста XVI в. (Острожской Библии), что, надо думать, обуславливает и ее особый консерватизм; у патриарха Иоакима консерватизм не столь выражен, но для него не столь актуальна и нормализационная установка.

Рассмотренные характеристики стандартного книжного языка разительно противопоставлены тем данным, которые обнаруживаются в некнижных текстах XVII в. Некнижные тексты, естественно, также неоднородны, в отдельных их видах, прежде всего в произведениях, предназначенных для издания, а также в официальных московских деловых документах элемент нормализации может сказываться весьма сильно. Поэтому *а*-экспансию в чистом виде, в максимальном отвлечении от нормализации, целесообразно анализировать по материалам частной переписки, хотя и в ней элемент нормализации может присутствовать (особенно если письмо пишется писцом с профессиональными навыками). К сожалению, существующие исследования подобных текстов не содержат адекватных статистических данных, и поэтому полной картины у нас нет. Однако даже и при неполной картине очевидно, что окказиональному употреблению новых флексий в стандартных церковнославянских текстах противостоит массовое их употребление в текстах некнижных.

Если попытаться придать этим общим характеристикам статистические корреляты, то окказиональное употребление новых флексий можно определить как менее 10 % всего объема, ограниченное употребление — от 10 % до одной трети всего объема, широкое — от одной до двух третей всего объема, доминирующее — более двух третей всего объема. Сколь бы условны ни были эти корреляты, они позволяют увидеть существующую дифференциацию текстов: для стандартных церковнославянских текстов характерно окказиональное употребление новых флексий, для некнижных текстов — неокказиональное употребление, а для некнижных ненормированных текстов (частной переписки) — широкое употребление.

При статистическом анализе текстов бытового регистра возникают определенные проблемы, связанные с организацией выборки. Для того чтобы получить выборку достаточного объема, в нее приходится включать тексты, которые принадлежат разным лицам, происходящим из разных областей и обнаруживающим в своих письмах черты разных говоров. Это, естественно, понижает значимость полученных результатов. Можно, однако, полагать, что ко второй половине XVII в. значимых расхождений в интересующем нас аспекте в великорусских говорах не было: если старые флексии (кроме тв. мн. *і*-склонения) где-то и сохранялись, то лишь как выходящий из употребления вариант. Поэтому диалектные различия вряд ли могли существенно повлиять на разнородность анализируемых текстов. Другое дело, разность письменных навыков и разная степень владения

ими; в этом отношении авторы разных текстов могут быть достаточно не похожи друг на друга. Можно, однако, думать, что при статистическом анализе эти несходства усредняются и мы получаем некоторую стандартную картину, характерную для данного временного среза и репрезентативную в плане параметров некнижного ненормированного письма. Понятно, что исследование большого корпуса однородных эпистолярных текстов остается весьма желательным и могло бы быть предметом особого исследования.

Подсчет исследуемых форм в московской переписке конца XVII в., изданной С. И. Котковым и др. (Котков и др. 1968, 15—42) и состоящей из подборки писем Голицыных, Стрешневых и Михалковых, датируемых в основном 1670—1680-ми годами, показывает, что *a*-экспансия представлена здесь достаточно широко (48 % новых флексий). Что же касается падежных форм, то здесь у существительных м. рода *o*-склонения наиболее продвинутым является местн. мн., за ним следует тв. мн. и лишь затем дат. мн. (процент новых флексий соответственно 67 %, 60 %, 25 % — ограниченный объем выборки делает эти данные лишь весьма приблизительными); для существительных ср. рода данных нет⁷, у существительных ж. рода *i*-склонения новые флексии доминируют в дат. мн. и местн. мн., а в тв. мн. отсутствуют.

Аналогичные результаты приносит анализ переписки Хованских второй половины XVII в. (см.: Кокрон 1962, 81—83; более 50 % новых флексий). Как и в предшествующей выборке, основная особенность состоит в том, что *a*-экспансия широко представлена здесь в *i*-склонении в дат. мн. и местн. мн. (соответственно 72 % и 75 % новых окончаний), хотя полностью отсутствует в тв. мн. Что же касается *o*-склонения, то и здесь у существительных м. рода наиболее консервативным оказывается дат. мн. (35 % новых окончаний), за ним идет тв. мн. (47 % новых окончаний), а затем местн. мн. (80 % новых окончаний); у существительных ср. рода (примеры, к сожалению, недостаточно многочисленны) наиболее продвинутым является дат. мн. (100 % новых флексий), затем идут местн. мн. (57 %) и тв. мн. (56 %).

⁷ Данные тексты в интересующем нас отношении изучались С. И. Котковым (1974). В его книге, однако, даются сведения только о дат. мн. и тв. мн., причем статистика отсутствует. Вместе с тем одновременно анализируется не только частная переписка, но и деловые документы (челобитные, сказки, памяти, расписки, дела по челобитьям), т. е. тексты, которые скорее всего не являются однородными в своем отношении к норме. Поскольку по тв. мн. приведены полные списки примеров, данные С. И. Коткова можно сопоставить с приведенными выше. Если в частной переписке новые окончания составляют (у существительных м. рода) 60 %, то во всей совокупности вошедших в разбираемое издание текстов — лишь 30 %. Отчасти это объясняется, как отмечает и сам С. И. Котков (1974, 238), устойчивыми формулами, постоянно встречающимися в деловых текстах: *съ товарищи*, *бить батоги*, *съ... животы*. Однако, даже если исключить эти формулы, процент новых окончаний составит лишь 43%, и это побуждает думать, что здесь сказывается языковая нормированность документов. Для определения того, в каком отношении к *a*-экспансии (в тв. мн.) находились существительные м. и ср. рода, данные Коткова непоказательны. У существительных ср. рода пропорция новых окончаний составляет 40 %, что не отличается значимо от пропорции у существительных м. рода; поэтому полемические замечания Коткова в адрес гипотезы П. С. Кузнецова о первичности *a*-экспансии у существительных ср. рода лишены основания.

Данные, полученные при анализе переписки Хованских, в основных чертах сходны с теми, которые приводит А. Г. Черкасова, также анализировавшая частную переписку второй половины XVII в. Исследованные ею тексты несколько более консервативны, объем новых флексий составляет здесь около 35 %. И здесь а-экспансия широко представлена в *i*-склонении в дат. мн. и местн. мн. (соответственно 80 % и 40 % новых окончаний), и полностью отсутствует в тв. мн. В *o*-склонении у существительных м. рода в дат. мн. 14 % новых окончаний, в тв. мн. 28 %, в местн. мн. 51 %; у существительных ср. рода распределение отличается от того, которое устанавливается в обследованной Ф. Кокроном переписке: в дат. мн. 35 % новых флексий, в тв. мн. 50 %, в местн. мн. 56 % (см.: Черкасова 1969, 16—19). Представлю данные А. Г. Черкасовой в виде обычной для настоящей работы таблицы (по необходимости модифицированной):

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл. и <i>jo</i> -скл.	м. р. и ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	54	63	9	1
	амь/амь	7	12	5	4
М.	ехь/ьхь	29	51	22	13
	ахь/ахь	29	53	28	9
Т.	ы/и	39	52	3	—
	ами/ами	16	19	3	—
	ми	—	—	—	14

Приведу теперь данные, извлеченные из частной переписки второй половины XVII в., изданной С. И. Котковым и Н. И. Тарабасовой (Котков и Тарабасова 1965, 9—125). И здесь мы обнаруживаем те же основные параметры. Общий объем новых флексий составляет 42,91 %. У существительных ж.рода *i*-склонения в дат. мн. и местн. мн. новые флексии доминируют (80 % и 89,19 % соответственно), а в тв. мн. встречаются исключительно старые формы. У существительных м.рода *o*-склонения наиболее продвинуто местн. мн. (65,71 % новых флексий), затем идет тв. мн. (51,35 %), наиболее консервативным является дат. мн. (15,38 %). У существительных ср. рода распределение вновь не совпадает с уже известными моделями и вновь, возможно, в силу недостаточной представительности выборки; наиболее продвинуто является здесь тв. мн. (66,67 % новых флексий), затем идет дат. мн. (50 %), на последнем месте местн. мн. (30 %). В абсолютных цифрах эти данные выглядят следующим образом:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>С</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	9	2	1	—	5	29	2
	амь/амь	1	1	1	—	—	1	8
М.	ехь/ьхь	12	—	13	1	6	6	4
	ахь/ахь	14	9	5	1	1	—	33
Т.	ы/и	4	12	6	—	5	—	—
	ами/ами	15	4	11	1	—	—	—
	ми	—	4	—	—	—	19	3

Приведу списки инновативных форм. Дат. мн.: *городамь* 51; *козловцам* 88; *словам* 76; *рублям* 47; *крепостям* 28, 43, 92, 124 [bis], *записям* 43, *речамь* 71, 122.

Местн. мн.: *Колмо[го]рах* 34, *тетеревях* 57, *ωстрях* 65, *конюхах* 69, *полкахъ* 71, *лесахъ* 94, *оръхахъ* 95, *заводах* 104 [bis], *прудах* 105, 122 [bis], *снетках* 118, *канюхах* 121; *гостинцах* 39, *конях* 66, *таваришах* 69, *венцах* 91, *жюравлях* 98, *товарищах* 113, 114, *деловцах* 118 [bis]; *людишкахъ* 20, *дълах* 33, *делах* 33, 96, 124; *лицах* 93; *крстьянях* 68, *радостях* 12, 13, 17 [bis], 18 [bis], 19, 21 [ter], 22, 23, 24 [bis], 25, 26 [bis], 27, 28, 43, 44, 78, *скорбях* 61, *лошадях* 64, 65 [bis], *лебедяхъ* 64, 98, *лошадяхъ* 64, *вестяхъ* 71, *пищалах* 97, *крепях* 105, *печах* 119. Тв. мн.: *конюхами* 11, *стругами* 29, *мужиками* 37, *ωбысками* 63, *годами* 71, *недосугами* 79, *рыбаками* 87, *прудами* 91, *садами* 91, *ерлыками* 114, *животами* 115 [ter], *живатами* 122, *хольстами* 125; *кистенями* 58 [bis], *ножами* 59, *жеравлями* 64; *людишками* 10, 20, *словами* 48, 70, 73, 83, *имьянами* 64, *детишками* 70, *дълами* 98, 116, *писмами* 123; *поместьями* 56. Отмечу еще аномальные формы *а*-склонения: местн. мн. *дачех* 43; тв. мн. *сабли* 59, а также, видимо, *дѣтки* 90 (наряду с *дѣткамі* 94), *хоромы* 91.

Рассмотрим, наконец, еще один корпус текстов частной переписки, составленный из корреспонденции трех поколений Масловых, охватывающих период от середины XVII в. до первых двух десятилетий XVIII в. (Котков и Панкратова 1964, 79—149). Никаких хронологических пластов в этом корпусе различить не удастся, и это, как и в случае с инфинитивом (ср. § II.1.2), может быть связано с устойчивостью сложившегося в бытовом регистре узуса. Общая пропорция новых флексий в данном корпусе составляет 29,37 %. В отличие от предшествующей выборки у существительных ж. рода *i*-склонения новые флексии составляют большинство лишь в дат. мн. (66,67 % — число примеров, впрочем, минимально), тогда как в местн. мн. пропорция новых форм составляет лишь 9,09 %, а в тв. мн. встречаются исключительно старые формы. У существительных м. рода *o*-склонения, однако же, наблюдается стандартная для данного регистра картина: наиболее продвинут местн. мн. (66,67 % новых флексий), тогда как пропорция новых флексий в тв. мн. и дат. мн. одинакова и составляет 33,33 % (некоторые из новых форм дат. мн. являются, видимо, фикцией, отражая не морфологическое новообразование, а аканье. Существительные ср. рода представлены слишком небольшим числом примеров, чтобы делать какие-либо статистические выводы. Статистические параметры имеют следующий вид:

		м. р. o-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. o-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. C-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	5	5	—	—	9	7	1
	амь/амь	3	2	1	—	1	8	2
М.	ехъ/ѣхъ	2	—	4	—	3	2	10
	ахъ/ахъ	4	—	2	—	2	1	1
Т.	ы/и	6	7	3	—	4	1	—
	ами/ами	6	1	1	—	2	—	—
	ми	1	—	—	—	—	2	8

Приведу примеры инновативных форм. Дат. мн.: *человекамъ* 112, *мужикам* 122, 140; *краям* 101, *братцам* 116; *крстьянишкам* 111; *крстьянам* 85; *детям* 105, 142, 143 [quator], *людям* 110, 131, *крепостям* 114, *паметям* 125. Местн. мн.: *нетах* 89, *дровах* 112, *меринах* 130, *дворах* 131; *местах* 98, 107; *крстьянах* 113

[bis]; *людях* 149; *печалях* 123. Тв. мн.: *вздоками* 88, 113 [bis], *дворами* 131, *клатчи́ками* 140, *ездаками* 144; *Гавъриловцами* 115; *писмами* 120; *крестьянами* 114, 117. Отмечу еще ряд аномальных форм тв. мн.: *з души* 102, *с Үсадбы* 131, *с телеги* 131, *племянницы* 147, *дедми* 122, *слезми* 144, 145.

Приведенные материалы позволяют увидеть, какими чертами определяется узус бытового регистра письменного языка. Во-первых, а-экспансия представлена в бытовых текстах вполне осязаемым образом, ее реализация, как правило, может быть определена как широкая, т. е. охватывающая более одной трети релевантных случаев, или как близкая к широкой. Новые флексии представлены во всех классах имен, хотя и не в равной пропорции. Для существительных м. рода о-склонения наиболее продвинутым является местн. мн., а наименее продвинутым дат. мн. Такое распределение ($L > I > D$) совпадает с наблюдавшимся в ряде стандартных церковнославянских текстов, для которых фактор нормализации (ориентации на грамматику Смотрицкого) относительно менее значим. Очевидно, что в этом плане указанные церковнославянские тексты совпадают с книжными ненормированными — как бы сильно ни сказывалась их специфика на других моментах. Тем самым распределение $L > I > D$ может рассматриваться как нейтральное, осуществляющееся вне определяющего воздействия фактора нормализации.

Заслуживает внимания и еще один момент. Выше уже было сказано, что консерватизм стандартных церковнославянских текстов проявляется не только в окказиональном характере отражения а-экспансии, но и в невосприимчивости их к свежим инновациям, а именно к новым формам в *i*-склонении. В данном аспекте частная переписка оказывается для них прямой противоположностью. В ней не только наблюдается широкое отражение а-экспансии, но в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *i*-склонения новые формы могут доминировать, т. е. свежие инновации отражаются даже в большей степени, чем инновации более давние. Подобное соотношение можно объяснить тем, что свежим инновациям не противостоят выработанные навыки письма, обуславливающие определенную консервативность форм о-склонения. Что касается тв. мн. *i*-склонения, то здесь консерватизм узуса обусловлен, видимо, тем, что инновативные формы не свойственны не только письменному, но и устному узусу (можно предположить, что в XVII в. процесс а-экспансии в этих формах только начинается), и это, как кажется, единственная точка в исследуемой морфологической подсистеме, для которой можно говорить о прямой связи письменного узуса с особенностями живого языка.

Иным образом обстоит дело с существительными м. рода *i*-склонения и склонения на согласный (С-склонения; существительные типа *крестьянин*, *боярин*); здесь, как правило, удерживаются традиционные написания, и это, можно думать, вызвано непродуктивностью данных типов; для непродуктивных типов (лексем *люди* и *дѣти* в случае *i*-склонения и одного четко выраженного словообразовательного типа в случае С-склонения) естественно предполагать действие сложившихся письменных навыков. Что касается существительных ср. рода о-склонения, то здесь обследованные тексты дают неоднородную картину, что, может быть, связано со статистической нерепрезентативностью материала.

Параметры текстов делового регистра отличаются в ряде моментов от параметров регистра бытового, и это, надо думать, связано с присутствием в приказ-

ном языке определенных элементов нормализационной установки. Степень сознательности данной установки у авторов деловых текстов может быть предметом дискуссии, однако ее актуальность удостоверяется исправлениями, вносимыми в деловые тексты, в частности, исправлениями, касающимися интересующих нас форм существительных в косвенных падежах мн. числа. Об этом, например, свидетельствуют списки Вестей-курантов. Сопоставляя черновую рукопись этих текстов с беловиком, Н. И. Тарабасова отмечает целый ряд исправлений в формах дат., тв. и местн. мн. Как правило, при таких исправлениях новое окончание заменяется традиционным, например, *робятам* → *робятом*, *Ѹдѡлам* → *Ѹдѡлом* (Тарабасова 1986, 98—99), *с... Статами* → *с... Статы* (с. 111), *городах* → *городех*, *сѡставах* → *сѡставех* (с. 114), хотя возможны и замены обратного характера, ср.: *карабѡльхъ* → *карабляхъ*, *животех* → *животах* (с. 113—114). Единичные расхождения имеются и между двумя изданиями Уложения 1649 г., что также связано с правкой текста, ср. в первом *кузнецомъ*, *рѣчемъ*, во втором — *кузнецамъ*, *рѣчамъ* (Черных 1953, 128). Понятно, что большинство форм — как старых, так и новых — никаким заменам не подвергается (что говорит об ограниченности нормализации), однако и приведенные редкие случаи указывают, что выбор флексии мог попадать в сферу осознанного внимания писца.

Естественно было бы ожидать, что в текстах на деловом языке, претендующих на определенный культурный статус, нормализация будет проявляться более определенно, однако обращение к этим текстам вполне ясной картины не дает. Даже самые поверхностные статистические наблюдения показывают, что подобные тексты неоднородны. В одних объем *a*-экспансии ограничен, например, в Уложении 1649 г. (около 20 % новых флексий) или в сочинении Котошихина (около 25 % новых флексий), и это — в сопоставлении с данными частной переписки — определенно указывает на большую устойчивость письменных навыков. В других текстах, однако, *a*-экспансия представлена широко; например, в Вестях-курантах или «Учении и хитрости ратного строения» новые флексии употребляются более чем в трети случаев, так что в этом плане отличий от частной переписки не наблюдается. Сходство в других параметрах, однако, позволяет говорить об общем механизме порождения приказных текстов, т. е. видеть здесь особую традицию, обладающую определенным внутренним единством. В письменности XVII в. деловой регистр оказывается противопоставлен другим регистрам также и статистической конфигурацией вариантов в косвенных падежах мн. числа.

К деловым текстам, получившим явную нормализационную обработку (см. выше), могут быть отнесены Вести-куранты. Насколько можно судить по исследованию Н. И. Тарабасовой (1986, 97—121; статистические сведения приводятся здесь почему-то лишь для местн. мн.), общий объем новых флексий превосходит здесь одну треть. Для существительных м. рода *o*-склонения *a*-экспансия наиболее продвинута здесь в тв. мн., где новые окончания могут обладать большей частотой, чем старые; затем следует местн. мн., в котором новые окончания составляют около 40 %, а затем дат. мн., где фиксируется около 30 % новых окончаний. В *i*-склонении *a*-экспансия представлена в дат. мн. и местн. мн. (хотя новые формы не являются здесь доминирующими), тогда как в тв. мн. примеры новых флексий единичны.

Выборочный подсчет на материале Вестей-курантов 1648—1650 гг. (Вести-куранты 1983, 9—150) позволяет существенно уточнить эти данные. Вести-куранты не являются вполне однородным в лингвистическом отношении текстом, последующая переработка и переписка не снимает, видимо, определенные различия в характеристиках исходных источников. Тем не менее существенных различий в параметрах *а*-экспансии в разных частях текста не обнаруживается. В силу этого анализируемая выборка может считаться достаточно репрезентативной. Общий объем новых флексий в данной выборке составляет 45 %. У существительных м. рода *о*-склонения наиболее продвинутым является тв. мн. (66 % новых флексий), затем идет местн. мн. (45 %), затем дат. мн. (43 %); таким образом, данные Н. И. Тарабасовой подтверждаются. У существительных ср. рода *о*-склонения распределение иное (вопреки мнению Н. И. Тарабасовой): наиболее продвинутым является дат. мн. (86 % новых флексий), затем идет тв. мн. (72 %), наиболее консервативен местн. мн. (48 %). У существительных м. рода *С*-склонения и *і*-склонения новые флексии единичны. У существительных *і*-склонения ж. рода *а*-экспансия имеет вполне выраженный характер: в дат. мн. 80 % новых флексий, в местн. мн. — 50 %, в тв. мн. — 33 %. В абсолютных цифрах полученные данные выглядят следующим образом:

		м. р. <i>о</i> -скл.	м. р. <i>јо</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл.	ср. р. <i>јо</i> -скл.	м. р. <i>С</i> -скл.	м. р. <i>і</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омь/емь	129	20	3	1	16	87	2
	амь/амь	65	51	23	1	2	6	8
М.	ехь/ѣхь	44	5	51	—	—	10	8
	ахь/ахь	32	9	38	9	—	5	8
Т.	ы/и	41	13	11	6	8	—	1
	ами/ами	84	22	32	12	3	1	6
	ми	—	—	—	—	—	85	12

Сходные моменты прослеживаются и в книге «Учение и хитрость ратного строения», переведенной в 1647 г. Объем новых флексий превышает здесь, видимо, 40 %. У существительных м. рода *о*-склонения *а*-экспансия представлена в наибольшей степени в тв. мн. (около двух третей новых окончаний), в меньшей степени в местн. мн. (где, видимо, новые окончания встречаются несущественно реже старых) и слабее всего в дат. мн. (около одной трети новых окончаний) (Станг 1952, 19—20). У существительных ср. рода того же *о*-склонения диспропорции имеют иной характер: наиболее подвержен *а*-экспансии дат. мн., затем тв. мн. и лишь в последнюю очередь местн. мн. (там же, 21—23); нельзя не отметить полного совпадения с характеристиками Вестей-курантов и по данному параметру. В *і*-склонении новые флексии представлены в дат. мн. и местн. мн. приблизительно в равной пропорции со старыми, тогда как в тв. мн. носят характер исключения (там же, 29—30).

Эти данные ближайшим образом напоминают статистические соотношения в морфологии Котошихина (впрочем, несколько более консервативной). Общий объем новых флексий составляет здесь 25 %, т. е. является ограниченным. У существительных м. рода *о*-склонения новые флексии составляют в дат. мн. 11 %, в местн. мн. 23 %, в тв. мн. 54 %. Существительные ср. рода ведут себя совершен-

но иначе, по уже знакомой нам «приказной» модели: новые флексии составляют в дат. мн. 89 %, в тв. мн. 62 %, в местн. мн. 40 %. У существительных ж. рода *i*-склонения новые флексии существенно чаще старых в дат. мн. и местн. мн. (94 % и 72 % соответственно) и полностью отсутствуют в тв. мн. (Пеннингтон 1980, 235). Подробные статистические данные приведены в исследовании А. Пеннингтон и могут быть представлены в следующем виде:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	384	26	5	—	83	205	1
	амь/амь	26	57	34	4	2	6	16
М.	ехь/ьхь	278	26	66	—	25	39	11
	ахь/ахь	61	34	38	5	—	5	29
Т.	ы/и	99	14	15	1	25	—	—
	ами/ами	120	13	19	8	9	—	—
	ми	—	—	—	—	—	72	6

Общие соотношения различных категорий существительных полностью тождественны, как можно видеть, тем, которые наблюдаются в «Учении и хитрости ратного строения». Это относится ко всем категориям разбираемых существительных: одинаково соотношение падежей по продвинутой *a*-экспансии у имен м. рода *o*-склонения, почти нормативного статуса достигают новые флексии в дат. мн. существительных ср. рода: наблюдается и тенденция — только еще сильнее выраженная — к употреблению новых флексий в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *i*-склонения.

Анализ трех рассмотренных памятников и сопоставление с данными частной переписки позволяет сделать некоторые общие выводы. В нормализованных текстах на приказном языке *a*-экспансия в *o*-склонении распространяется на разные падежи в другом порядке, нежели в частной переписке: в наибольшей степени она представлена в тв. мн., а не в местн. мн., т. е. имеет место порядок **I > L > D**. Естественно думать, что это более продвинутое состояние тв. мн. объясняется нормализацией: новые флексии в тв. мн. дают возможность разрешить омонимию тв. мн. и им.-вин. мн., и это может служить стимулом для их предпочтения в нормализуемой письменной речи⁸. Момент нормализации рельефно выступает

⁸ Мы уже говорили о том, что — вопреки гипотезе Шахматова — фактор разрешения омонимии не играл никакой роли в развитии новых флексий в живом языке XIII—XVI вв. (см. выше, примеч. III.1). Действительно, омонимия им.-вин. мн. и тв. мн. приводит к реальной смысловой неоднозначности лишь в очень редких случаях, и стремление избежать этой неординарной коммуникативной ситуации не может быть приписано ни участникам устной коммуникации, которые в случае необходимости предпочитают пользоваться переспросом, ни создателям письменных текстов, в которых двусмысленность уничтожается перечитыванием. В применении к обычной речевой деятельности фактор омонимии — это вымышленный стимул языковых изменений. Безосновательна поэтому и гипотеза Х. Соренсена, согласно которой старые формы тв. мн. дольше сохраняются в предложных сочетаниях, в которых двусмысленность невозможна, в то время как беспредложные сочетания благоприятствуют новым формам на *-ами* (Соренсен 1959). Эта гипотеза не подтверждается фактическими данными, ср. наблюдения А. Пеннингтон над узусом Котоши-

при сопоставлении существительных м. и ср. рода: для существительных ср. рода проблема омонимии не встает, и поэтому тв. мн. не выдвигается на первое место по объему *a*-экспансии. Таким образом, в деловом регистре нормализация дает тот же эффект $I > L > D$, который мы наблюдали в специфически нормализованных стандартных церковнославянских текстах (у Симеона Полоцкого), хотя для каждого отдельного падежа пропорции существенно различаются. Приказные тексты могут быть консервативны, характеризуясь лишь ограниченным объемом новых флексий, однако их консервативность на порядок отличается от консервативности памятников стандартного церковнославянского, в которых новые флексии представлены лишь окказионально.

В то же время для существительных ж. рода *i*-склонения данные рассмотренных памятников в общем совпадают с тем, что мы наблюдали в частной переписке. Можно полагать, что оба типа источников отражают в этом случае соотношение, характерные для живого языка: продвинутость *a*-экспансии в дат. мн. и местн. мн. и консерватизм в этом отношении тв. мн. Вместе с тем общей чертой является и открытость для свежих инноваций; в этом и нормализованные и ненормализованные не книжные тексты противостоят стандартным церковнославянским. Можно полагать, следовательно, что нормализация в приказном языке связана исключительно с формами *o*-склонения, и в этом отношении отличается от нормализации книжных текстов. Рассмотренные факторы вполне объясняют и специфическое распределение новых флексий у существительных ср. рода *o*-склонения. Новые флексии в дат. мн. приобретают здесь статус близкий к нормативному, а открытость для свежих инноваций обуславливает относительно продвинутое положение тв. мн. В результате и образуется распределение $D > I > L$, которое мы находим во всех рассмотренных текстах.

Эта картина не нуждалась бы в коррективах, если бы данные выводы подтверждались всеми обследованными деловыми текстами. Ситуация, однако, не такова. По крайней мере один текст, а именно Уложение 1649 г., дает другие пропорции *a*-экспансии у разных типов существительных; они нуждаются в особой интерпретации. По данным П. Я. Черныха, *a*-экспансия у существительных м. и ср. рода характеризует прежде всего дат. мн. и местн. мн., тогда как в тв. мн. она возможна «только в единичных случаях» (Черных 1953, 295); местн. мн. подвержен этому процессу в несколько большей степени, чем дат. мн. (там же, 293). У существительных ж. рода *i*-склонения в дат. мн. и местн. мн. *a*-экспансия представлена шире, чем у существительных м. и ср. рода; в тв. мн., однако, существительные этого типа данным процессом практически не затронуты (там же, 291). Хотя П. Я. Черных посвящает много страниц проблеме *a*-экспансии (Черных 1953, 287—299) и приводит пространные списки примеров существительных

хина (Пеннингтон 1980, 236); аналогичные данные извлекаются и из ряда других текстов. Когда мы говорим о стремлении устранить омонимию как элемент нормализационной установки, мы имеем в виду не желание устранить двусмысленность, а внимание к формам как таковым, т. е. достаточно абстрактную интенцию к однозначности формы: тв. мн. на *-ы* плох не тем, что создает реальную неясность, а тем, что данная форма многозначна. Понятно, что такая специфическая интенция (в большей или меньшей мере сознательная) появляется только в письменном языке и только в особых обстоятельствах регламентированного письма.

разных типов со старыми и новыми флексиями, статистика в исследовании отсутствует и выводы автора основаны на общем впечатлении; ряд значимых моментов остается при этом без внимания (ср.: Соколова 1957, 123).

Выборочная статистика позволяет в какой-то степени скорректировать этот недостаток. Наши подсчеты сделаны на материале десятой главы «О суде» по последней публикации Уложения, основанной на втором издании 1649 г. (Уложение 1987, 31—64); как известно, в интересующих нас формах существенных расхождений между первым и вторым изданием (и рукописью) нет. Получены следующие данные:

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	177	4	1	—	15	71	3
	амь/амь	4	5	18	4	—	—	12
М.	ехь/ьхь	89	2	33	—	4	29	3
	ахь/ахь	39	—	15	2	—	—	5
Т.	ы/и	41	3	13	1	6	—	—
	ами/ами	2	—	—	—	—	—	—
	ми	—	—	—	—	—	16	8

Итак, выборочное статистическое обследование показывает, что у существительных м. рода о-склонения новые флексии составляют в дат. мн. 5 % (в основном за счет мягкой разновидности), в местн. мн. 30 %, в тв. мн. 4 %. У существительных ср. рода новые флексии составляют в дат. мн. 96 %, в тв. мн. 0 %, в местн. мн. 34 %. У существительных ж. рода i-склонения новые флексии существенно чаще старых в дат. мн. и местн. мн. (соответственно 80 % и 62 %) и полностью отсутствуют в тв. мн. Отмечу, что единственный случай существительного ср. рода о-склонения на *-омь* представлен формой *правиломь* в книжном клише *по правилу святых апостол и святых отец* (гл. X, ст. 255).

Таким образом, сопоставляя Уложение с другими описанными выше памятниками, можно отметить в качестве его отличительных особенностей относительную консервативность в том плане, что в о-склонении *a*-экспансия представлена лишь в весьма ограниченном объеме, и специфическое соотношение падежей — именно то, что *a*-экспансия почти не затрагивает тв. мн. (как у существительных м. рода, так и у существительных ср. рода), тогда как в других памятниках именно этот падеж подвержен ей в наибольшей степени у существительных м. рода и оказывается относительно продвинутом у существительных ср. рода. Вместе с тем очевиден и ряд разительных сходств: во-первых, в о-склонении соотношение новых и старых флексий у существительных ср. рода в дат. мн. и местн. мн. противоположно их соотношению у существительных м. рода (флексия *-амь* в дат. мн. ср. рода почти нормативна), во-вторых, *a*-экспансия широко представлена в дат. мн. и местн. мн. (но не тв. мн.) существительных ж. рода *i*-склонения. Кажется вероятным, что отмеченные черты памятника связаны с особой нормализаторской установкой его переписчиков и издателей, стремящихся путем выбора морфологических вариантов обозначить особый статус официального законодательного кодекса (ср. о формах инфинитива в Уложении § II.1.2). При выборе вариантов существительных в косвенных

падежах мн. числа данное стремление выражается в архаизации, однако архаизация осуществляется только в той сфере, в которой противостояние приказного и живого языка сформировалось как устойчивая традиция.

Можно полагать, что в Уложении мы имеем дело с тем же комплексом факторов и соотношений, что и в других памятниках приказного языка, однако составители этого памятника избирают иной путь нормализаторской обработки, нежели приказные служащие, составлявшие иные, более обычные тексты. В обращении с формами существительных в косвенных падежах мн. числа архаизация, переводящая тв. мн. у существительных *o*-склонения в наиболее консервативный класс форм, оказывается для них важнее, чем стремление устранить формальную омонимию. В самом деле, формы тв. мн. на *-ами* у существительных *o*-склонения могли, видимо, восприниматься двояко: как «хорошие» формы, позволяющие избавиться от неэстетичности омонимии, и как «плохие» формы, свидетельствующие о недостаточной грамотности пишущего.

Выше уже говорилось о том, что запаздывание *a*-экспансии в тв. мн. у существительных *o*-склонения может быть обусловлено (по предположению Б. О. Унбегауна) большим несходством в этом случае старых и новых форм, и что этот фактор должен был быть особенно актуален для письменного языка. Принимая объяснение Унбегауна, Г. А. Хабургаев полагал, что в тв. мн. внешние различия между старыми и новыми флексиями «были настолько заметными, что позволяли грамотному человеку, учившемуся чтению и письму по старым книгам, четко отличать их [старые и новые флексии] как нормативные и “просторечные”, недопустимые на письме» (Хабургаев 1990, 136). При этом грамотный человек мог руководствоваться не тем, что на письме вместо флексии *-ами/-ями*, свойственной его живому языку, надо употреблять флексию *-ы/-и*, а тем, что в соответствующих конструкциях на письме должна употребляться «исходная форма мн. числа» (ср.: Зализняк 1985, 265), т. е. форма, равная им.-вин. мн.⁹ Такого рода правило может обуславливать особую консервативность тв. мн. *o*-склонения (как это имеет место в приказных текстах XVI в.) и придавать поддержанию этой консервативности специфическое осмысление — как признака грамотного «правильного» письма (и именно так, видимо, обстоит дело в Уложении 1649 г.)¹⁰.

⁹ Именно такого рода правилом должны объясняться довольно многочисленные в письменности XVI—XVII вв. формы тв. мн. на *-ы/-и* у существительных ж.рода *a*-склонения (а также *i*-склонения) типа *роуки своими, самими вещи* и т. п. (Зализняк, там же; ср.: Хабургаев 1990, 136—137); подобные формы отмечаются во всех рассмотренных выше памятниках приказного языка (см.: Тарабасова 1986, 111; Станг 1952, 27; Пенningтон 1980, 240; Черных 1953, 297).

¹⁰ Когда и как появляется возможность такого осмысления, неясно. Очевидно, стимулом для нее должно служить распространение флексии *-ами* у существительных *o*-склонения в письменном языке. Хронология этого процесса не поддается детальному восстановлению, так как для подобной реконструкции нужно статистическое обследование документов, относящихся к последовательным временным срезам. Мы знаем, что к середине XVII в. тв. мн. на *-ами* может быть наиболее продвинутом в плане *a*-экспансии падежом в текстах, написанных на приказном языке. Об этом свидетельствуют и Вестикуранты, и «Учение и хитрость ратного строения». С другой стороны, в конце XVI в. тв. мн. был наименее продвинутом в отношении *a*-экспансии падежом. Более точные

Действительно, можно напомнить, что в деловых текстах XVI в. новые формы в тв. мн., по словам Б. О. Унбегауна, «n'apparaissent que comme de rares exceptions», в то время как соотношение дат. мн. и местн. мн. уже приобретает известный нам вид: «La pénétration des désinences nouvelles a été plus intense au locatif qu'au datif» (Унбегаун 1935, 197—198; см. выше). Именно таковы соотношения существительных м. рода *о*-склонения и в Уложении 1649 г. Полагая, что *а*-экспансия у существительных этого типа уже в XVI в. представляла собой в устном языке (имею в виду московское наречие) завершившийся или во всяком случае приближающийся к завершению процесс, нужно думать, что дистанцирование приказного языка от живой речи имело здесь традиционный характер и воплощалось в устойчивых письменных навыках.

Именно этой традиции и следуют издатели Уложения, избегая новых флексий в м. роде *о*-склонения вообще и в тв. мн. в особенности. Однако в тех типах, где подобное дистанцирование традицией не стало (в силу ли того, что *а*-экспансия была в них явлением относительно новым, т. е. «свежей» инновацией, или в силу сравнительной редкости самого типа), издатели Уложения следуют общей практике XVII в., отсюда высокая частота новых флексий у существительных ж. рода *і*-склонения в дат. мн. и местн. мн. и, видимо, особая продвинутость существительных ср. рода *о*-склонения (прежде всего в дат. мн.). Уложение 1649 г., следо-

хронологические рамки установить вряд ли возможно. Во-первых, для этого периода мы не располагаем достаточно пространными текстами (такими как сочинение Котошихина), которые позволили бы прийти к статистически достоверным выводам. Во-вторых, составление выборок из набора разных документов одного времени никак не гарантирует их репрезентативности, поскольку разнородность одновременно существующих письменных навыков никак не снимается минимальностью временного отрезка.

При всей недостаточности данных можно все же высказать предположение, что тв. мн. на *-ами* утверждается в деловой письменности первой половины XVII в. постепенно и становится предметом нормализационного выбора в таких текстах, как «Учение и хитрость ратного строения», на фоне уже утвердившегося употребления данного варианта. Можно указать, например, на уже известное нам дело по извету иноземца Д. Рябицкого на О. Науменка 1642—1643 гг. (Котков и др. 1968, 254—277). Хотя дело весьма обширно, оно дает материал явно недостаточный для достоверных статистических выводов, особенно для существительных ж. и ср. рода. Для существительных м. рода *о*-склонения материала немного больше. Менее всего инновативных флексий появляется в дат. мн.: при 13 формах на *-ом* (*двором* 259, 274, *стрелцом* 259 [bis], 270, 274, *мѣщиком* 261, *яком* 262, 274, *члвкомъ* 267, *чюдотворцом* 271, *дѣакомъ* 276 [bis]) встречается лишь одна форма на *-ам* (*дворам* 259), т. е. пропорция новых форм составляет 7,14 %. В местн. мн., напротив, новые флексии доминируют: при 10 старых флексиях (*городѣхъ* 259, *кабакѣхъ* 260, *стрелцѣхъ* 260, *нѣшкарехъ* 262, *обыскѣхъ* 266, *дворехъ* 266 [bis], *розговорехъ* 272, *стрелцехъ* 274, *станѣхъ* 276) отмечено 12 новых (*стрелцахъ* 255, 256, 258, 264, *нѣшкаряхъ* 257 [bis], *посадахъ* 258, *сытникахъ* 261, *Столечникахъ* 266 [bis], *Ѱзолкахъ* 270, 273), т. е. пропорция новых составляет 54,55 %. Тв. мн. занимает промежуточное положение: на 5 старых флексий (*сидѣльцы* 255, *товарищцы* 265, 266, *приходы* 266, *бесы* 274) приходится 3 новых (*стрелцами* 259, 264, *признаками* 268), т. е. пропорция новых составляет 37,5 %. Таким образом, в данном тексте тв. мн. на *-ами* занимает уже вполне прочное, хотя еще не доминирующее положение. Для более достоверных наблюдений требуется обследование большой массы приказных документов, при котором отождествляется почерк писавшего и учитывается жанр документа. Такой анализ выходит за рамки настоящего исследования.

вательно, иллюстрирует не противоречивость процесса *a*-экспансии в языке XVII в., а осуществление разных путей нормализации в приказной письменности этого периода. П. Я. Черных полагал, что больший объем *a*-экспансии в дат. мн. и местн. мн. у существительных ж. рода *i*-склонения (типа *запись*) свидетельствует о том, что в этом типе имен данный процесс начался раньше, чем у существительных *o*-склонения (Черных 1953, 296). Такое заключение, однако, основано на ложном методологическом принципе. Как справедливо замечает В. М. Марков, «больше — не значит раньше» (Марков 1974, 114). Очевидно, что в письменной традиции новые процессы могут отражаться достаточно интенсивно, тогда как в отношении старых может действовать отработанный консерватизм (подобные же соображения приложимы и к тв. мн. существительных *o*-склонения: меньше — не значит позже). Как такой новый для первой половины XVII в. процесс и следует рассматривать *a*-экспансию в дат. мн. и местн. мн. *i*-склонения.

Таким образом, специфика Уложения состоит в том, что нормализационная установка реализуется в нем в архаизации узуса по тем параметрам, относительно которых существовала устоявшаяся традиция. Почему в этом отмеченном многими особенностями памятнике был сделан именно данный выбор, остается недостаточно ясным. Несомненно, однако, что этот выбор оставался на периферии приказной нормализации. Основной путь определяется стремлением разрешить омонимию тв. мн. и им.-вин. мн., что вступает в прямое противоречие с правилом, поддерживавшим употребление старой формы тв. мн. (тождество формы тв. мн. с исходной формой мн. числа), и приводит к тем результатам, которые мы наблюдаем в Вестях-курантах, «Учении и хитрости ратного строения», сочинении Котошихина.

1.2. А-экспансия в гибридных церковнославянских текстах

Приведенные в предыдущем параграфе данные являются, естественно, предварительными и неполными, однако и в этом предварительном виде они расставляют те вехи, в сопоставлении с которыми целесообразно оценивать характеристики текстов гибридного регистра. В XVII столетии эти тексты обнаруживают наиболее ясно выраженную динамику, в результате которой в них развивается ряд общих черт, противопоставляющих их как стандартным церковнославянским текстам, так и текстам на не книжном языке. По сравнению со стандартными церковнославянскими текстами сочинения, написанные на гибридном языке, получают в результате этого развития существенно больший объем *a*-экспансии: в текстах второй половины XVII в. новые флексии составляют, как правило, не менее 15 % от общего объема, а в отдельных произведениях (относительно редкий случай) пропорция новых флексий может превышать одну треть. Определенные ограничения возникают здесь лишь в силу ориентации на образцы; степень этой ориентации, связанная прежде всего с памятью жанра, в разных гибридных текстах представляется, как уже говорилось, величиной переменной, и именно поэтому различной может быть и пропорция новых флексий. В любом случае, однако, соблюдение традиционной нормы, допускающей новые формы лишь в качестве отступления, не является здесь обязательным, как в стандартных церковнославянских текстах, что и объясняет относительно быстрый рост объема подобных форм.

Как и в случае с формами инфинитива, определенное представление о динамике рассматриваемых морфологических вариантов может дать сопоставление двух частей Мазуринской летописи. В первой части, доходящей до 7000 г. (включительно) и характеризующейся прежде всего последовательным традиционным употреблением простых претеритов и весьма ограниченной частотой *л*-формы, параметры употребления разбираемых морфологических вариантов таковы (ПСРЛ, XXXI, 11—119):

		м. р. <i>о</i> -скл.	м. р. <i>јо</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл.	ср. р. <i>јо</i> -скл.	м. р. <i>С</i> -скл.	м. р. <i>і</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омь/емь	93	30	20	2	33	16	17
	амь/амь	2	3	1	—	—	1	2
М.	ехь/ѣхь	35	16	17	4	11	15	11
	ахь/ахь	7	4	4	6	—	—	1
Т.	ы/и	111	23	24	7	27	—	—
	ами/ами	5	—	—	1	1	—	—
	ми	2	2	—	1	—	25	28

Отражение *а*-экспансии в первой части Мазуринской летописи можно было бы назвать архаичным; оно сопоставимо, например, с отражением этого процесса в Новгородской пятой летописи (см. выше). На это указывает прежде всего низкая общая пропорция новых флексий, составляющая всего 6,25 %: употребление новых флексий остается окказиональным, как и в памятниках XVI в. По объему *а*-экспансии рассматриваемый текст не противопоставляется значимым образом и тем памятникам XVII в., которые относятся к стандартному церковнославянскому регистру. Конечно, первая часть Мазуринского летописца не может рассматриваться как воспроизведение текста XVI в. (тем более конца XV в. — хронологической границы первой части). Здесь можно говорить лишь об определенном взаимодействии архаического оригинала и лингвистических навыков компилятора конца XVII в.

Именно на счет этих навыков могут быть отнесены единичные примеры *а*-экспансии у существительных м. и ж. рода *і*-склонения (*голубям*, с. 39, *волостям*, с. 103, *лошадях*, с. 118), которые были бы немыслимы в тексте XVI в. Кажется вероятным, что к таким же инновативным вкраплениям, идущим от составителя, относятся и немногочисленные формы тв. мн. на *-ами*, в XVI в. в книжных текстах не появляющиеся (ср.: *брегами*, с. 11, *посадниками*, с. 36, *дарами*, с. 67, *шарами*, с. 108; *княжесениями*, с. 40; *словянами*, с. 33). Тем не менее в целом архаическая фактура использованных источников отразилась в данной части Мазуринского летописца достаточно отчетливо. Она прежде всего сказывается, как уже говорилось, в малочисленности самих инновативных флексий, ср. в дат. мн.: *колам*, с. 17, *хлеbam*, с. 44, *псковичам*, с. 59, 113, *кановичам*, с. 73; *вратам*, с. 78; в местн. мн.: *уграх*, с. 31, *греках*, с. 40, *митрополитах*, с. 106, *посадниках*, с. 113; *кривичах*, с. 36, *святителѣхъ*, с. 44, *летописцахъ*, с. 56; *делахъ*, с. 47, *носилахъ*, с. 52, *чадахъ*, с. 55, *княжествахъ*, с. 116; *страданияхъ*, с. 20, *изгнанияхъ*, с. 35, *искушенияхъ*, с. 35, *княжесенияхъ*, с. 39, *плецахъ*, с. 56. Не менее показательны и соотношения пропорций старых и новых флексий в различных падежах существительных м. рода *о*-склонения. Больше всего инновативных форм в местн. мн. (17,74 %), затем

следует дат. мн. (3,91 %), и на последнем месте оказывается тв. мн. (3,47 %), т. е. данный параметр выглядит как $L > D > I$. Это архаическое соотношение отражает то запаздывание *a*-экспансии в тв. мн., которое выше отмечалось как характерное для письменности XVI в. (равно книжной и некнижной). Аналогичное соотношение падежей по продвинутости *a*-экспансии наблюдается и у существительных ср. рода *o*-склонения: местн. мн. — 32,26 %, дат. мн. — 4,35 %, тв. мн. — 3,03 %, при этом в целом существительные ср. рода более расположены к новым флексиям, чем существительные м. рода¹¹.

Во второй части Мазуринской летописи (ПСРЛ, XXXI, 119—179) картина существенно меняется, что несомненно связано с общим изменением узуса. Как уже говорилось (см. § II.1.1), во второй части иным становится употребление прошедших времен, доминирующее положение занимает *л*-форма. На этом фоне преобразуется и характер выбора вариантов у существительных в косвенных падежах мн. числа. Это выражается прежде всего в резком (в три раза) возрастании пропорции инновативных форм. В абсолютных цифрах вторая часть Мазуринской летописи характеризуется следующими показателями:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	48	23	3	—	8	13	3
	амь/амь	18	2	1	—	—	2	5
М.	ехь/ьхь	33	5	9	1	1	4	5
	ахь/ахь	25	2	5	4	1	—	2
Т.	ы/и	85	30	7	10	23	—	—
	ами/ами	29	—	1	1	—	—	—
	ми	—	—	—	—	—	75	21

Как можно видеть, употребление новых флексий оказывается здесь не окказиональным, а ограниченным, их пропорция составляет 19,48 %. Изменяется и характер распределения инновативных флексий по классам. В *o*-склонении у существительных м. рода наиболее подвержен *a*-экспансии местн. мн. (41,54 % новых флексий), в тв. мн. и дат. мн. *a*-экспансия представлена существенно слабее (соответственно 20,14 % и 21,98 %). Хотя тв. мн. все еще остается падежом, наименее подверженным *a*-экспансии (и это в свете тех данных о гибридном узусе, которые будут приведены ниже, может быть связано с использованием в качестве источников для повествования о конце XV — XVI вв. текстов, относящихся к

¹¹ В первой части можно еще отметить единичное употребление тв. мн. от существительных ср. рода *jo*-склонения на *-ми*: *селеньми*, с. 11; в других книжных памятниках первой половины XVII в. такие специфически книжные формы получают значительное распространение; данный пример может восходить к подобному узусу. Укажу также на форму *дарми*, с. 85, которая может быть реликтом *и*-склонения, но которая употребляется в рассматриваемом тексте наряду с тв. мн. *дары*, с. 13 (ср. еще во второй части тв. мн. *дарами*, с. 137 [ter]). Заслуживает внимания такая аномальная форма тв. мн., как *княженшими*, с. 39, представляющая собой, видимо, гибрид старой формы *княженши* и новой *княжениями* с возможным влиянием появляющейся в XVII в. формы *княженьми*. Во второй части стоит отметить ряд форм *a*-склонения, принимающих в тв. мн. окончания *o*-склонения: *воеводы*, с. 133, *орды*, с. 144, *сабаки*, с. 155.

данному времени), присутствие инновативных форм в этом классе вполне ощутимо. У существительных ср. рода *o*-склонения наиболее продвинуто местн. мн. (47,37 % новых флексий), затем следует дат. мн. (25 %) и тв. мн. (10,53 %); данные, относящиеся к дат. мн. не слишком достоверны, так как в тексте встречается лишь 4 примера. У существительных ж. рода *i*-склонения *a*-экспансия не отмечена в тв. мн., доминирует в дат. мн. (62,5 % новых флексий, ср.: *площадям*, с. 155, 156, *вестям*, с. 161, *записям*, с. 162) и фиксируется в местн. мн. (28,57 % новых флексий, ср.: *волостях*, с. 132, *костях*, с. 133); распространение *a*-экспансии на существительные данного класса представляет собой наиболее явный сдвиг в сравнении с текстами более раннего времени. У существительных м. рода *C*-склонения *a*-экспансия практически не представлена вообще (1 пример в местн. мн. — *галичанях*, с. 149), у существительных же м. рода *i*-склонения новые флексии полностью отсутствуют в тв. мн. и местн. мн. и фиксируются в двух примерах (13,33 %) в дат. мн. (*людям*, с. 121, 171).

Та динамика отражения *a*-экспансии, которая обозначилась при сравнении двух частей Мазуринской летописи, выявляется и при рассмотрении других гибридных памятников XVII в., прежде всего летописных. Так, близкий аналог первой части Мазуринской летописи находим во «Временнике» Ивана Тимофеева (РИБ, XIII, стб. 261—472). При всем несходстве лингвистических стратегий составителя только что проанализированной летописи и ученого дьяка, старающегося перенасытить свой текст специфически книжными конструкциями и формами, *a*-экспансия отражается во «Временнике» достаточно сходным образом. Из этого следует, что употребление флексий в косвенных падежах существительных во мн. числе для лингвистической стратегии пишущего остается безразличным, так что выбор вариантов определяется жанровой преемственностью и реинтерпретацией прецедентных употреблений. Статистические параметры этого выбора во «Временнике» выглядят следующим образом:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	84	32	19	3	10	27	20
	амь/амь	—	—	—	1	—	—	—
М.	ехь/ѣхь	53	25	44	26	3	18	27
	ахь/ѡхь	—	5	19	15	—	1	—
Т.	ы/и	69	17	68	7	2	1	—
	ами/ами	2	—	—	—	—	—	—
	ми	5	5	1	79	—	11	11

Общая пропорция новых флексий в анализируемом памятнике практически совпадает с той, которая характеризовала первую часть Мазуринской летописи, она составляет 6,04 %. Распределение новых флексий по классам существительных и падежам также обнаруживает существенные сходства. Как и в первой части Мазуринской летописи, существительные ср. рода *o*-склонения и значительно более склонны к *a*-экспансии, нежели существительные м. рода *o*-склонения. Как и в первой части Мазуринской летописи, новые флексии практически не появляются у существительных м. рода *C*-склонения и у существительных м. и ж. рода *i*-склонения (единственное исключение — форма *дняхъ*, л. 59, при постоянном

днѣхъ, л. 6 об., 30 об., 141, 298); характерным образом, инновативные формы у существительных ж. рода *i*-склонения не представлены даже единичными примерами, что как раз и свидетельствует о том, что в первой части Мазуринской летописи подобные формы отражают не узус использованных источников, а лингвистические навыки составителя.

У существительных м. рода *o*-склонения наиболее продвинутым в плане *a*-экспансии является местн. мн. (6,02 %); любопытно, что все инновативные формы приходятся здесь на мягкую разновидность: *мучителяхъ*, л. 79, *краяхъ*, л. 158, 242 об., *младенцахъ*, л. 179 об., *змѣяхъ*, л. 250. В тв. мн. появляется всего лишь две инновативные формы (2,04 %), причем в одной и той же лексеме: *рогами*, л. 134 об., 233 (чем может быть обусловлен этот идеосинкретический выбор, догадаться невозможно). В дат. мн. инновативные формы отсутствуют. Таким образом, соотношение падежей соответствует формуле нейтрального распределения $L > I > D$, хотя соотношение дат. мн. и тв. мн. непоказательно в силу единичности примеров. Местн. мн. оказывается особенно благоприятным для инновативных форм и у существительных ср. рода, их пропорция здесь равна внушительным 32,69 %, ср.: *временахъ*, л. 1 об., 141, 231, 301, 305 об., *началствахъ*, л. 8 об., *нѣдрахъ*, л. 46 об., *коварствахъ*, л. 102 об., *мѣстахъ*, л. 129 об., 181, 234, 285, 310 об., *царствахъ*, л. 137 об., *богатствахъ*, л. 169, 221, *пѣанствахъ*, л. 193 об., *устахъ*, л. 275, *спротивствахъ*, 280; *царствѣяхъ*, л. 13 об., 163, *поляхъ*, л. 25 об., *собраніяхъ*, л. 25 об., *писаніяхъ*, л. 61, 74, 247, *оконцахъ*, л. 100 об., *святилищахъ*, л. 130, 131 об., *растроеніяхъ*, л. 197, *различіяхъ*, л. 200, *худерубищахъ*, л. 254 об., *пристанищахъ*, л. 271 об., *имѣніяхъ*, л. 290 об. В дат. мн. обнаруживается лишь одно употребление новой формы (4,35 %): *стяжаніямъ*, л. 290. В тв. мн. новые формы отсутствуют. Формально соотношение падежей по продвинутости *a*-экспансии у существительных м. и ср. рода не совпадает, однако это расхождение содержательно не значимо: в обоих классах новые формы представлены преимущественно в местн. мн., тогда как в дат. мн. и тв. мн. имеются лишь единичные примеры; то, что в ср. роде эти единичные примеры появляются в дат. мн., а в м. роде — в тв. мн., ни о каких тенденциях в динамике *a*-экспансии не говорит.

Во «Временнике» находит чрезвычайно яркое выражение тенденция к употреблению флексии *-ми* в тв. мн. существительных ср. рода *jo*-склонения. Как видно из таблицы, такие формы встречаются во «Временнике» 79 раз и составляют 91,86 % от всех форм данного подкласса, ср.: *дарованми*, л. 15, 71, 74 об., *писанми*, л. 20 об., 57, 96, *уханми*, л. 22 об., *рыданми* л. 32, *имѣнми*, л. 50, 75, 80 об., *знаменми*, л. 62, *рыканми*, л. 62, *оружми*, л. 199 и т. д. Эти формы являются, надо полагать, специфически книжными, и в силу этого их почти последовательное употребление может быть соотнесено с общей лингвистической стратегией Ивана Тимофеева, стремящегося придать своему произведению максимально книжный облик; в этих условиях традиционные формы тв. мн. появляются лишь окказионально, ср.: *нахожденіи*, л. 233 об., *орудіи*, л. 270 об., 273, *главоудареніи*, л. 292 (ср. еще аномальную форму *заповѣданіеми*, л. 209). Можно предположить даже, что существительные ср. рода на *-ание*, *-ение*, имеющие по преимуществу книжный характер, образуют у Тимофеева своего рода особый словоизменительный класс со специфическим набором показателей. Кроме форм тв. мн. на *-ми*, здесь следует указать на формы местн. мн. на *-охъ*, ср.: *обстояніохъ*, л. 33 об., *цар-*

стіохъ (sic!), л. 55, *писаніохъ*, л. 57 об., 72 об., *правленіохъ*, л. 117, *зданіохъ*, л. 117 об., *землеправленіохъ*, л. 136, *вышеніохъ*, л. 145 об., *Евангеліохъ*, л. 154, *бореніохъ*, л. 237 об., *согрѣшеніохъ*, л. 272. Хотя эти формы употребляются не столь последовательно, как тв. мн. на *-ми*, и местн. мн. на *-ихъ* встречается достаточно часто (ср.: *Евангеліихъ*, л. 41, *срѣтеніихъ*, л. 272, *дѣяніихъ*, л. 276 об., *воздыханіихъ*, л. 292 и т. д.), в употреблении специфически книжных окончаний *-ми* и *-охъ* просматривается интенция маркировать специфически книжный лексический класс с помощью специфически книжных морфологических вариантов¹².

Не слишком показательны в силу малочисленности примеров данные Новой повести о преславном Российском царстве по рукописи XVII в. (РИБ, XIII, стб. 187—218), однако они по крайней мере не противоречат тем обобщениям, которые были сделаны выше относительно отражения *a*-экспансии в гибридных текстах первых десятилетий XVII в. Статистические данные для этого памятника таковы:

		м. р. o-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. o-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. C-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	24	6	2	—	3	3	—
	амь/амь	—	1	1	—	—	—	—
М.	ехъ/ѣхъ	—	1	5	—	—	—	—
	ахъ/ѡхъ	1	—	—	1	—	—	—
Т.	ы/и	21	10	9	1	2	—	—
	ами/ами	—	—	2	—	—	—	—
	ми	—	—	—	—	—	1	1

Пропорция новых флексий составляет в нем 6,32 %, что вполне согласуется с полученными ранее результатами. Новые флексии полностью отсутствуют у существительных м. рода *C*-склонения и у существительных м. и ж. рода *i*-склонения. У существительных м. рода *o*-склонения инновативные формы имеются в дат. мн. (*змѣямъ*, л. 380 об.) и в местн. мн. (*измѣникахъ*, л. 369) и отсутствуют в тв. мн. У существительных ср. рода *o*-склонения *a*-экспансия представлена несколько более широко, чем у существительных м. рода, и инновативные формы встречаются во всех трех падежах: *дѣламъ*, л. 375 об., *сердцахъ*, л. 370, *словами*, л. 379 об., *словами*, л. 381¹³.

¹² И флексия тв. мн. *-ми*, и флексия местн. мн. *-охъ* встречается и с существительными *o*-склонения других подклассов, ср.: *дарми*, л. 80 об., *чинми*, л. 106 об., 117, *бисерми*, л. 121, *именми*, л. 70; *іереохъ*, л. 41, *чинохъ*, л. 163 об., *недовоствохъ*, л. 213 об., *противствохъ*, л. 272, однако эти формы (некоторые из которых могут рассматриваться как реликты *i*-склонения) появляются окказионально, наряду с обычными формами (ср.: *бисеры*, л. 120 об., *времены*, л. 65) и никакой модели не образуют. Стоит отметить также ряд существительных *a*-склонения с флексиями *o*-склонения: дат. мн. *владыкомъ*, л. 1 об., местн. мн. *руцѣхъ*, л. 78 об., тв. мн. *убійцы*, л. 37, *воеводы*, л. 58 об. Укажу еще на форму тв. мн. *другими дни*, л. 296.

¹³ Некоторые статистические данные, относящиеся к «Сказанию» Авраамия Палицына и некоторым другим памятникам этого же периода, посвященным Смутному времени (в число этих памятников не входит ни «Временник» Тимофеева, ни «Новая повесть»), приводит в своем исследовании А. М. Смирнова (1970). При всей сомнительности недифференцированного рассмотрения многих (семи) памятников, дошедших до нас в списках разного времени, собранные данные представляют известный интерес. Ряд моментов обна-

Более содержательны показания Новгородской второй летописи по списку РГАДА, МГАМИД, № 62/85 конца XVI — начала XVII в. (ПСРЛ, XXX, 147—205). Этот памятник представляет особенный интерес в силу его специфического положения среди текстов гибридного регистра. Наличие в нем многочисленных синтаксических коллоквиализмов (см. § 1.4) делает его прямой противоположностью «Временнику» Ивана Тимофеева, и это побуждает ожидать, что отражение *а*-экспансии окажется в нем существенно более выраженным, чем в рассмотренных выше памятниках гибридного регистра. Эти ожидания подкрепляются и новгородским происхождением летописи, поскольку в северо-западном ареале процесс *а*-экспансии завершился, видимо, ранее, чем в центре великорусской территории. Данные анализируемого памятника не оправдывают, однако, этих ожиданий. В абсолютных цифрах они выглядят следующим образом:

		м. р. <i>о</i> -скл.	м. р. <i>ю</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл.	ср. р. <i>ю</i> -скл.	м. р. <i>С</i> -скл.	м. р. <i>і</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омь/емь	52	24	8	—	8	10	9
	амь/амь	3	3	—	1	—	—	—
М.	ехь/ѣхь	33	21	19	1	—	8	13
	ахь/ахь	14	10	2	1	—	—	—
Т.	ы/и	64	14	2	—	6	—	—
	ами/ами	3	—	1	—	—	—	—
	ми	—	4	—	—	—	16	2

Общая пропорция новых флексий лишь ненамного превосходит ту, которую мы наблюдали в рассмотренных выше памятниках, она составляет 10,8 %. Как и в других текстах первых десятилетий XVII в., инновативные формы полностью отсутствуют у существительных м. рода *С*-склонения и у существительных м. и ж. рода *і*-склонения. В *о*-склонении не заметно существенного преобладания новых флексий у существительных ср. рода в сравнении с существительными м. рода (у существительных ср. рода пропорция новых флексий равна 14,29 %, м. рода — 13,47 %); впрочем, число примеров существительных ср. рода недостаточно для полноценных статистических выводов. У существительных м. рода *о*-склонения наиболее продвинутым является местн. мн. (30,77 % новых флексий), затем с существенным отставанием идет дат. мн. (7,32 % новых флексий), и на последнем месте оказывается тв. мн. (3,53 % новых флексий). В данном отно-

руживает ближайшее сходство с рассмотренными нами текстами. Отражение *а*-экспансии является окказиональным, относительный объем соответствующих флексий составляет всего 2,9 %. При этом *а*-экспансия полностью отсутствует в формах *і*-склонения, равно как (за одним исключением) у существительных м. рода на *-ин*, т. е. представлена только в формах *о*-склонения (там же, 135, 138—139, 140). У существительных ср. рода *о*-склонения *а*-экспансия не представлена в тв. мн. (там же, 138), что также находит аналогию во «Временнике» Ивана Тимофеева. Для существительных м. рода статистические данные отдельно не приводятся, поэтому соотношение падежей не совсем ясно; некоторое представление, однако, может быть получено по соотношению падежей во всей совокупности форм, поскольку существительные м. рода *о*-склонения составляют в этом корпусе подавляющее большинство. В местн. мн. пропорция новых флексий составляет 5 %, в дат. мн. — 3 %, в тв. мн. — 1,7 %; несомненно, что наиболее продвинутым является местн. мн.; наиболее консервативным оказывается, видимо, тв. мн.

шении, таким образом, картина типична для гибридных текстов первых десятилетий XVII в.: местн. мн. является бесспорным лидером, а тв. мн. сохраняет то отставание, которое было характерно для него в письменности XVI в.

В Новгородской второй летописи хронологические слои перемешаны, и поэтому та операция разделения на части, которую мы производили с Мазуринским летописцем, здесь невозможна. Если, однако, стратифицировать полученные данные по хронологическим срезам, то оказывается, что инновативные формы появляются, за редкими исключениями, в слоях середины — второй половины XVI в. Приведу список инновативных форм с указанием их хронологической привязки. Дат. мн.: *перевозникам*, л. 35 об. (s. a. 1571), *дворам*, л. 51 об. (s. a. 1560), *городам*, л. 130 (s. a. 1572); *концам*, л. 15 об. (s. a. 1548), *отцамъ*, л. 93 об. (s. a. 1359), *сторожамъ*, л. 141 об. (s. a. 1572); *полям*, л. 40 (s. a. 1572). Местн. мн.: *Кулникахъ*, л. 3 (s. a. 1545), *Кожевниках*, л. 4 об. (s. a. 1541), 9 (s. a. 1546), 11 об. (s. a. 1547), 15 об. (s. a. 1548), 111 (s. a. 1553), *городах*, л. 7 об. (s. a. 1542), *намѣстниках*, л. 9 (s. a. 1546), 9 об. (s. a. 1547), 10 об. (s. a. 1547), 15 (s. a. 1548), *диакахъ*, л. 15 (s. a. 1548), *Моложиках*, л. 16 (s. a. 1549), *достѣхах*, л. 55 об. (s. a. 1418); *Коломцах*, л. 3 (s. a. 1545), 8 (s. a. 1544), 67 (s. a. 1310), 173 (s. a. 1523), *лѣтописцах*, л. 12 (s. a. 1508), *Новгородцах*, л. 42 (s. a. 1571), *монастырях*, л. 43 (s. a. 1571), *Хрестыцах*, л. 69 об. (s. a. 1393), *Звѣринцах*, л. 139 (s. a. 1148), *чернцах*, л. 154 (s. a. 1571), *стихарях*, л. 161 об. (s. a. 1353); *гумнах*, л. 48 об. (s. a. 1551), *бревнахъ*, л. 54 (s. a. 1417); *Дворицах*, л. 154 (s. a. 1571). Тв. мн.: *колоколами*, л. 14 (s. a. 1547), *поминками*, л. 105 об. (s. a. 1476), *з коморохами*, л. 130 (s. a. 1572); *воротами*, л. 50 об. (s. a. 1551)¹⁴.

Несколько более продвинутое состояние *a*-экспансии обнаруживаем в Казанском летописце, исследованном В. П. Ананьевой (Ананьева 1968) по списку из собрания В. М. Ундольского 1620—1630-х годов (РГБ, ф. 310, № 774; см. археографический обзор Л. А. Дубровиной в последнем, 2000 г., переиздании рассматриваемого памятника — ПСРЛ, XIX; изданием ПСРЛ пользовалась и В. П. Ананьева). По данным В. П. Ананьевой, *a*-экспансия фиксируется здесь приблизительно в 10 % случаев (более точное определение невозможно, поскольку приводимые исследователем статистические данные неполны). Старые и новые флексии распределяются следующим образом (В. П. Ананьева использует в своих подсчетах несколько другие рубрики, чем принято в настоящем исследовании, и пересчет ее статистики в сопоставимые категории обуславливает ряд неточностей и искажений; однако решающего характера они, видимо, не имеют):

		м. р. о-скл. и јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	152	12	1	22	4
	амь/амь	10	3	5	11	3
М.	ехъ/ѣхъ	64	все	1	8	16
	ахъ/ахъ	7	—	9	2	1
Т.	ы/и	109	все	все	—	—
	ами/ами	4	—	—	—	—
	ми	11	—	9	28	19

¹⁴ Отмечу еще ряд существительных *a*-склонения, получающих флексии *о*-склонения: дат. мн. *воеводам*, л. 78 об., местн. мн. *тюрмѣх*, л. 107 об., *головах*, л. 143, тв. мн. *иконы*, л. 9 об., *с семьи*, л. 37, *жены*, л. 45 об.

В наибольшей степени в данном памятнике бросается в глаза появление инновативных форм у существительных м. и ж. рода *i*-склонения. В этом классе *a*-экспансия, естественно, не фигурирует в тв. мн., однако в дат. мн. и местн. мн. она представлена вполне ощутимым образом. У существительных ж. рода в дат. мн. пропорция инновативных форм составляет 42,86 % (инновативные формы: *смертямъ*, стб. 371, *казнямъ*, стб. 376, *дебрямъ*, стб. 219), в местн. мн. 5,88 % (инновативная форма: *скорбяхъ*, стб. 298). У существительных м. рода *i*-склонения (впрочем, отдельные данные В. П. Ананьева дает только для двух лексем — *люди* и *дѣти* — Ананьева 1968, 23), как правило, характеризующихся большой консервативностью, в дат. мн. пропорция инновативных форм составляет 33,33 %, в местн. мн. — 20 %. Это новое явление в текстах гибридного регистра находит себе параллель в аналогичном развитии в некнижных регистрах, в особенности в деловом (см. выше). И в гибридном регистре, видимо, происходит своего рода прорыв свежей инновации в письменные навыки книжников.

У существительных *o*-склонения наблюдается куда более консервативная картина, вполне напоминающая ту, которую мы видели в рассмотренных выше памятниках. Данные для существительных ср. рода приведены В. П. Ананьевой слишком обобщенно, чтобы можно было сделать какие-либо значимые выводы (заслуживает, впрочем, внимания отсутствие инновативных форм в тв. мн.). Что же касается существительных м. рода, то здесь мы находим характерное для первой половины XVII в. соотношение падежей: наиболее продвинут местн. мн. (9,86 %; новые формы: *составахъ*, стб. 371, *улусахъ*, стб. 212, *полькахъ*, стб. 408, *коняхъ*, стб. 254, и т. д.), затем идет дат. мн. (6,17 %; новые формы: *пределамаъ*, стб. 269, *варварамъ*, стб. 229, *гадамаъ*, стб. 205) и на последнем месте тв. мн. (3,23 %; новые формы: *лесами*, стб. 376, *воинами*, стб. 445 и т. д.). У существительных м. и ср. рода *o*-склонения нередки и специфически книжные новообразования тв. мн. с флексией *-ми*, характерные для изучаемого периода, например: *походми*, стб. 324, *дарми*, стб. 358, 379, *сторожми*, стб. 340, *помысленми*, стб. 430, *одеянми*, стб. 339, *разжизанми*, стб. 324, *знаменьми*, стб. 308 и т. д. (для существительных ср. рода *jo*-склонения флексия *-ми*, видимо, является основной). Можно также отметить аномальные формы в *a*-склонении: *воеводомъ*, стб. 248, 309, 331, *вельможемъ*, стб. 246, 345, 332; *съ Московскими воеводы и мурзы*, стб. 241. Таким образом, традиционное отставание тв. мн. сохраняется в гибридных текстах первой половины XVII в. при том, что у существительных *i*-склонения традиция отстывает под давлением инноваций.

Новую ситуацию находим в гибридных текстах второй половины XVII в. В качестве типичного для этого периода текста можно рассмотреть Летописец 1619—1691 гг. (ПСРЛ, XXXI, 180—205). Хотя по своим лингвистическим стратегиям он существенно отличается от Мазуринской летописи, демонстрируя стремление к выражено книжному изложению (довольно последовательное употребление простых претеритов, насыщенность специфически книжными синтаксическими конструкциями), *a*-экспансия отражается в нем практически таким же образом, как и во второй части Мазуринского летописца. Это ясно показывает, что в отношении разбираемой вариации действует принципиально иной лингвистический механизм, нежели в отношении маркированно книжных элементов. Статистические данные по Летописцу 1619—1691 гг. выглядят следующим образом:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	42	23	3	—	11	15	2
	амь/АМь	7	2	2	—	1	2	—
М.	ехь/ѣхь	21	3	7	—	—	7	1
	ахь/АХь	15	2	2	6	—	—	—
Т.	ы/и	62	13	11	15	7	—	—
	ами/АМИ	7	5	—	9	—	—	—
	ми	1	—	—	—	—	6	3

Употребление новых флексий здесь ограничено, но не окказионально, сравнительно с памятниками первой половины XVII в. их объем возрастает, достигая 19,17 %. У существительных м. рода о-склонения больше всего новых флексий в местн. мн. (41,46 %), затем в тв. мн. (13,64 %), а дат. мн. оказывается на последнем месте (12,16 %). Как можно видеть, местн. мн. сохраняет свое лидерство, однако отставание тв. мн. остается в прошлом; по продвинутой а-экспансии он обгоняет дат. мн. Таким образом, соотношение падежей оказывается соответствующим формуле нейтрального распределения $L > I > D$, характерной для текстов бытового регистра этого же времени. У существительных ср. рода в дат. мн. и местн. мн. по 50 % новых флексий, тогда как в тв. мн. — 23,53 %; поскольку примеры немногочисленны, данное соотношение не поддается содержательной интерпретации. У существительных м. рода С-склонения новые флексии за одним исключением отсутствуют. Отсутствуют они и у существительных ж. рода і-склонения; хотя примеров немного, они, видимо, указывают на то, что тот прорыв свежей инновации, который отмечался в Казанском летописце, постоянной характеристикой гибридного регистра не становится — в отличие от делового регистра (надо полагать, в силу актуальности для гибридных текстов ориентации на образцы). У существительных м. рода і-склонения доминируют старые окончания, однако две новых формы все же появляются (*гостям* — л. 729, 729 об.).

Приведу примеры новых форм. Дат. мн.: *учетам*, л. 714 об., *чертогам*, л. 717, 719 об., 720, *дворам*, л. 717 об., 728, *караулам*, л. 730 об.; *крестцам* л. 696 об., *стрелцам*, л. 707 об.; *вратам*, л. 696, *рамам*, л. 721 об.; *боярам*, л. 722 об. Местн. мн.: *налогах*, л. 707, *стругах*, л. 707 об., *полковниках*, л. 708, 709, 710 об., *посулах*, л. 708 об., *полках*, л. 709 об. [bis], *челобитчиках*, л. 710, *хоромах* (?), л. 714 об., *чертогах*, л. 720 об., *возах*, л. 723, *листах*, л. 729, 733 об. [bis]; *стрелцах*, л. 708, *венцах*, л. 727 об.; *государствах*, л. 725, *вратах*, л. 728; *изделиях*, л. 707, *копьях*, л. 722 об., 723, *сердцах*, л. 710, *сонмицах*, л. 711, *рубицах*, л. 719 об. Тв. мн.: *ворами*, л. 699 об., 714 об., *полками*, л. 705, 724, *вестниками*, л. 709 об., *изменниками*, л. 714 об., *переходами*, л. 726 об.; *змяями*, л. 719 об. [bis], 723, 723 об., *лучами* (?), л. 724 об., 732; *копьями*, л. 714 об., 716 об., 717, 718 об., 722 об., 728 [bis], *оружьями*, л. 718, *остриями*, л. 724. В тв. мн. форма на -ми у существительных о-склонения встречается лишь один раз и может быть реликтовым образованием, восходящим к и-склонению, — *чинми*, л. 727. Имеется ряд форм существительных ж. рода а-склонения с тв. мн. на -ы: *воеводы* л. 696 об., *раны*, л. 694 об., *алебарды*, л. 713, *шапки*, л. 722 об.

Сходные параметры обнаруживаются и в Сибирских летописях XVII в., обследованных Ю. В. Фоменко (Фоменко 1960). В абсолютных цифрах эти параметры имеют следующий вид:

		м. р. <i>о</i> -скл. и <i>јо</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл. и <i>јо</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омь/емь	305	8	7
	амь/амь	17	11	8
М.	ехь/ѣхь	116	46	7
	ахь/ахь	60	14	1
Т.	ы/и	381	28	—
	ами/ами	48	13	—
	ми	—	—	все

Объем новых флексий составляет в рассматриваемых текстах около 16 %¹⁵. В *о*-склонении у существительных м. рода наиболее подвержен *а*-экспансии местн. мн. (34,09 % новых флексий), затем следует тв. мн. (11,19 % новых флексий), и на последнем месте оказывается дат. мн. (5,28 % новых флексий). У существительных ср. рода *о*-склонения иная последовательность: в дат. мн. 57,89 % новых флексий, в тв. мн. — 31,71 %, в местн. мн. — 23,33 %. В *і*-склонении у существительных ж. рода *а*-экспансия практически не представлена в тв. мн., но для дат. мн. является вполне устойчивым феноменом (53,33 % новых флексий), фиксируется она и в местн. мн. (1 пример — 12,5 %).

Аналогичный узус находим и в «Скифской истории» Андрея Лызлова, историческом сочинении, ориентирующемся на летописные образцы и написанном на гибридном языке (несколько более «книжном», чем язык последней части Мазуринской летописи в плане соотношения простых претеритов и *л*-форм). Рукопись этого сочинения относится к 1692 г. (Лызлов 1990, 346). Статистической обработке была подвергнута начальная часть сочинения Лызлова: три первых части и две первых главы четвертой части (Лызлов 1990, 8—126). Поскольку текст по своим лингвистическим параметрам относительно однороден, эту выборку можно считать достаточно представительной. Абсолютные данные таковы:

		м. р. <i>о</i> -скл.	м. р. <i>јо</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл.	ср. р. <i>јо</i> -скл.	м. р. <i>С</i> -скл.	м. р. <i>і</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омь/емь	61	18	5	—	31	10	5
	амь/амь	14	—	3	5	1	—	1
М.	ехь/ѣхь	32	11	44	7	6	14	10
	ахь/ахь	35	1	26	30	—	1	2
Т.	ы/и	63	14	44	8	43	—	2
	ами/ами	30	1	5	3	1	1	—
	ми	1	3	—	—	—	21	12

¹⁵ Ю. В. Фоменко, как и многие другие исследователи, оперирует в своем исследовании лишь с четырьмя категориями существительных: существительными *а*-склонения, существительными м. рода, ср. рода и существительными ж. рода *і*-склонения, т. е. в сущности с морфологическими классами современного русского языка. Это создает ряд сложностей при использовании результатов его анализа. Статистические неточности побуждают рассматривать эти результаты как приблизительные, однако для наших наблюдений довольно и приблизительных данных.

Общая пропорция новых флексий составляет 25,6 %. Схема распределения новых флексий напоминает ту, которую мы наблюдали в Летописце 1619—1691 гг. Действительно, *a*-экспансия у существительных м. рода *o*-склонения наиболее продвинута в местн. мн. (45,57 % новых флексий), затем в тв. мн. (27,68 %), затем в дат. мн. (15,05 %). У существительных ср. рода наиболее продвинут дат. мн. (61,15 % новых флексий), затем местн. мн. (52,34 %), тогда как тв. мн. находится на последнем месте (13,33 %). Существительные м. рода *C*-склонения, равно как существительные м. и ж. рода *i*-склонения весьма консервативны. У существительных ж. рода *i*-склонения *a*-экспансия представлена единичными примерами в дат. мн. и местн. мн., а в тв. мн. отсутствует (зато в тв. мн. появляются формы с окончаниями *o*-склонения: *пищали*, с. 73, *хитрости*, с. 73). Особо консервативны существительные м. рода *C*-склонения (хотя здесь и появляется единичный пример инновативной формы в тв. мн.: *болгарами*, с. 19) и м. рода *i*-склонения (и здесь в тв. мн. обнаруживается одна инновативная форма: *днями*, с. 16)¹⁶.

Рассмотрев эволюцию языка исторических сочинений, характеризующуюся очевидной преемственностью, можно прийти к некоторым промежуточным выводам. В ходе этой эволюции общая пропорция инновативных форм медленно, но неуклонно возрастает. Этот рост (не отражающий, понятно, никаких процессов, происходящих в то же время в разговорном языке — в нем в это время ничего не происходит, во всяком случае, в словоизменении существительных *o*-склонения) обусловлен рекуррентным использованием прецедентного употребления новых форм в более ранних памятниках и интерференцией с другими (некнижными) регистрами, что и приводит к постепенной аккумуляции инноваций. Вместе с тем этот рост ограничен и не достигает тех показателей, которые характерны для некнижных текстов (пропорция новых флексий нигде не превышает одной трети). Отличия от некнижных текстов возникают в силу ориентации памятников гибридного регистра на образцы. Эта ориентация обуславливает определенную консервативность (различную в разных случаях) гибридных текстов сравнительно с некнижными, причем эта консервативность относительно одинаково сказывается в разных типах склонения и в разных падежах, лишь понижая частоту новых форм, но не изменяя общие пропорции.

Не удивительно поэтому, что в гибридных текстах с определенным временным лагом наблюдаются те же процессы, что и в текстах некнижных. К таким процессам относится прежде всего продвижение *a*-экспансии в тв. мн. существительных м. рода *o*-склонения. В гибридных текстах первой половины XVII в. от-

¹⁶ Отмечу еще несколько форм существительных *o*-склонения с флексией *-ми* в тв. мн., отражающих ориентацию Лызлова на книжную традицию: *соседми*, с. 17, *царми*, с. 10, *князьми*, с. 32, 36. Нередко встречаются существительные *a*-склонения с формами тв. мн. на *-ы/-и*: *чары*, с. 47, *потребы*, с. 58, 73, 113, *раны*, с. 60, *жены*, с. 66, *воеводы*, с. 63, 64, 66, 83, 85, 107, *иконы*, с. 91. Любопытно, что в других падежах такой перенос окончаний *o*-склонения в *a*-склонение в «Скифской истории» (и ряде других текстов второй половины XVII в.) не наблюдается, хотя в более ранних памятниках подобные случаи фиксируются. Можно предположить, что речь идет не о смешении словоизменительных классов, а о восприятии тв. мн. на *-ы/-и* как «правильного» книжного показателя; такое восприятие было, видимо, обусловлено тем, что старые и новые формы тв. мн. отличались сильнее, чем старые и новые формы в других косвенных падежах.

ставание тв. мн. еще вполне заметно, тогда как в подобных же текстах второй половины XVII в. пропорция инновативных форм в тв. мн. сравнивается с аналогичной пропорцией в дат. мн., а чаще даже и превышает эту последнюю. Тот же процесс, но проходящий ранее и более интенсивно, можно наблюдать при сопоставлении архаизирующего узуса Уложения 1649 г. с другими памятниками делового регистра, а результаты аналогичного процесса отчетливо видны и в текстах бытового регистра. Вместе с тем тв. мн. нигде не становится наиболее продвинутым в плане *a*-экспансии падежом, как это имеет место в деловом регистре. Это объяснимо, поскольку установка на нормативность реализуется в гибридных текстах в признаках книжности и им в принципе чужды те моменты нормализации, которые присущи текстам на приказном языке. Именно поэтому характер распределения новых флексий в исторических сочинениях второй половины XVII в. соответствует тому нейтральному порядку, который мы находим в ненормированных не книжных текстах (частной переписке), т. е. схеме **L > I > D**.

Мы можем теперь остановиться на гибридных текстах других жанров и посмотреть, как характер *a*-экспансии соотносится с жанровой памятью и литературной преемственностью. Показательным в данном отношении текстом могут быть Тетради старца Авраамия (Бакланова 1951, 143—155), к сожалению, в силу своего небольшого объема дающие лишь ограниченный материал для статистических наблюдений. Эти тетради старец Авраамий в 1696 г. отправил Петру I в тщетной надежде направить царя на путь праведности (эти попытки закончились для Авраамия разбирательством в Преображенском приказе); текст написан на гибридном языке с типичными для этого языка синтаксическими построениями и характерным употреблением прошедших времен. «Грамматического разума не учен, но простец сый и писал своею рукою», — замечает о себе старец Авраамий в своих тетрадях 1696 г. (там же, 150), и язык его сочинения соответствует этой декларации. Для нас существенно, что данное произведение ориентировано не на летописную традицию, а на традицию нравоучительных и полемических трактатов. В абсолютных цифрах распределение старых и новых флексий в Тетрадах старца Авраамия выглядит следующим образом:

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	28	13	3	—	—	3	1
	амь/амь	—	—	1	—	—	5	—
М.	ехь/ѣхь	9	2	2	—	—	1	3
	ахь/ахь	3	1	7	—	—	2	—
Т.	ы/и	12	1	1	—	2	—	—
	ами/ами	2	—	—	—	—	—	—
	ми	—	—	—	—	—	1	1

Общая пропорция новых флексий в этом сочинении говорит об их ограниченном употреблении (20,19 %). Для существительных м. рода о-склонения количество примеров достаточно для содержательных выводов: наиболее подвержен *a*-экспансии местн. мн. (26,67 %), затем тв. мн. (13,33 %), тогда как в дат. мн. примеры новых флексий отсутствуют. Любопытной особенностью этого памятника является наличие в *i*-склонении новых флексий у существительных м. рода

при их отсутствии у существительных ж. рода (*людям* л. 6 об., 9 об., 10 [bis], 23 об., *людях* л. 10 об., 20). И ограниченный объем *a*-экспансии, и характерное соотношение падежей по продвинутости *a*-экспансии у существительных м. рода *o*-склонения говорят об ориентации на традиции духовной литературы, к которой для старца Авраамия должны были принадлежать и летописи. Можно полагать, что внутри духовной литературы на гибридном языке какая-либо расчлененность (историко-культурная или социальная, см. § 1.3) отсутствует, и поэтому для старца Авраамия значима та же традиция, что и для авторов исторических сочинений второй половины XVII в.

Не так просто обстоит дело с преемственностью в других памятниках. Обратимся, например, к «Космографии» Ортелия в переводе XVII в. (Bayerische Staatsbibliothek München, *Cod. Slav.* 13), исследованной П. Костой (Коста 1982). Приводимые П. Костой данные можно представить в виду следующей таблицы:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	все	2	1	—	1	—
	амь/амь	—	—	2	—	1	—
М.	ехь/бхь	3	—	5	—	—	—
	ахь/ахь	11	1	5	1	—	—
Т.	ы/и	13	9	4	1	—	1
	ами/ами	19	4	3	1	—	2
	ми	—	3	—	—	—	5

Естественно, что при столь небольшом объеме текста выводы могут иметь лишь ориентировочный характер, однако и они представляют определенный интерес. Общая пропорция новых флексий составляет здесь около 40 %, и это существенное увеличение пропорции инновативных форм сравнительно с рассмотренными выше историческими сочинениями можно связать с тем, что для жанра космографий влияние традиции оказывается ослабленным. При этом общем увеличении инноваций схема их распределения по классам остается той же, что и у других гибридных текстов. У существительных м. рода *o*-склонения наибольшее число новых флексий в местн. мн. (80 %), затем в тв. мн. (47,92 %), тогда как в дат. мн. новые флексии отсутствуют. Для существительных ср. рода *o*-склонения и существительных м. и ж. рода *i*-склонения достаточных данных нет, ср. у существительных м. рода *i*-склонения: *господарем*, л. 106 об., но *людямь*, л. 118; у существительных ж. рода *i*-склонения: *вещми*, л. 5 об., 25 об., 57 об., 73 об. [bis], наряду с *вещи*, л. 99 об., и *вещами*, л. 82, 95.

В ином отношении к традиции находится такой уникальный памятник, как Псалтырь, переведенная Авраамием Фирсовым в 1683 г. (Целунова 1989). Псалтырь была переведена Фирсовым «удобнѣйшаго ради разѣма» на «наш простои словенской азык (...) без всякаго украшенія» (там же, 28). О гибридном характере языка этого перевода говорит непоследовательное употребление перфекта со связкой, аориста и имперфекта, деепричастия на *-ше* и т. п. (Целунова 1985; Целунова 1988). Понятно, что в этом случае выбор гибридного регистра имеет сознательный характер и представляет собой реформистскую инновацию, поскольку речь идет о наиболее важной для православного благочестия книге, общеизве-

стной в традиционной форме (т. е. как текст на стандартном книжном языке); новый текст противопоставляется традиционному как понятный непонятному или как «простой» сложному. В силу этого данный перевод отчасти ориентируется на традицию, а отчасти отталкивается от нее. Это отталкивание выражается, в частности, и в том, что в данном тексте а-экспансия имеет достаточно выраженный характер; это, между прочим, ясно показывает, что не существует никакой прямой зависимости объема а-экспансии от «жанра» произведения (как предполагал ряд авторов, ср., например: Молчанова 1969; Черкасова 1969, 15), ср. совершенно иные параметры в «Псалтыри рифмотворной» Симеона Полоцкого; жанровая память не действует сама по себе, но возникает или не возникает как следствие определенной авторской установки. Абсолютные цифры старых и новых флексий в Псалтыри Авраамия Фирсова дают следующую картину:

		м. р. о-скл.	м. р. ю-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. ю-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	39	10	3	11	—	19	4
	амь/амь	4	—	9	—	—	1	—
М.	ехь/ьхь	30	—	15	8	—	14	11
	ахь/ахь	9	1	17	9	—	—	7
Т.	ы/и	25	5	3	—	—	—	—
	ами/ами	16	2	8	—	—	—	—
	ми	—	—	—	—	—	10	—

Распределение новых флексий у Фирсова отличается от того, которое наблюдается в рассмотренных выше памятниках гибридного языка. Новые флексии составляют здесь 28,62 %, и это возрастание объема инноваций как раз и свидетельствует об отталкивании от традиции. У существительных м. рода о-склонения новые флексии в наибольшей степени представлены в тв. мн. (36,17 %), затем следует местн. мн. (25 %), на последнем же месте, как обычно, дат. мн. (7,55 %); это то самое распределение, которое характерно для памятников с нормализующей установкой (Симеон Полоцкий, приказные тексты — см. выше). Данное распределение отражает, надо думать, индивидуальные нормативные установки переводчика. У существительных ср. рода о-склонения в твердой разновидности обычное соотношение падежей: больше всего новых флексий в дат. мн. (75 %), затем в тв. мн. (72,73 %), затем в местн. мн. (53,12 %); мягкая разновидность дает другую картину, обусловленную, однако, частным фактом: многократным повторением в 118-м псалме формы *оправданіем* во фразе «науци мя оправданием твоим», благодаря богослужебному употреблению выступающей как фиксированное в своих формах клише. У существительных ж. рода і-склонения а-экспансия отражается лишь в местн. мн., для дат. мн. и тв. мн. достаточный материал отсутствует. У существительных м. рода і-склонения новые флексии отсутствуют во всех падежах, единственное исключение — форма дат. мн. *дѣтямь* (л. 108).

Иной тип отталкивания от традиции представлен в Житии пророка Аввакума (по автографу Пустозерского сборника — Пустозерский сборник 1975). Разрыв с прошлым осуществлен здесь еще более радикальным образом, чем у Авраамия Фирсова; как уже говорилось выше (см. § I.1.1), Аввакум вполне созна-

тельно строит свое повествование как имитацию оральности, и это не может не сказываться на морфологических параметрах его текста. Не все эти параметры, однако, оказываются затронуты в одинаковой степени. Если инновативные формы инфинитива в Житии начинают доминировать и служат одним из наиболее выразительных маркеров установки на оральность, то словоизменение существительных во мн. числе таким маркером, видимо, не является, но оказывается эпифеноменом общей коллоквиализации нарратива. Новые флексии в тексте Жития не доминируют, но употреблены в такой пропорции, которая не встречается в других памятниках гибридного регистра. Общие статистические параметры исследуемого текста таковы:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	16	1	3	1	2	—	—
	амь/амь	9	2	10	—	—	11	10
М.	ехь/ьхь	13	—	6	1	—	1	2
	ахь/ахь	14	2	2	1	—	3	4
Т.	ы/и	23	4	4	—	1	—	—
	ами/ами	17	1	6	1	—	—	1
	ми	1	1	1	—	—	16	6

Как можно видеть, пропорция новых форм составляет в Житии Аввакума 47,72 %, что является беспрецедентным для гибридных текстов данного периода¹⁷. У существительных м. рода *о*-склонения наиболее продвинутым является местн. мн. (55,17 %), менее продвинут тв. мн. (38,30 %) и менее всего подвержен *а*-экспансии дат. мн. (37,93 %) (различия между последними двумя классами статистически не значимы). Данная схема соотношения падежей является, как мы знаем, типичной для гибридных текстов, и Аввакум преемственно воспроизводит ее вне зависимости от значительного изменения общей пропорции инноваций. У существительных ср. рода *о*-склонения в наибольшей степени подвержен *а*-экспансии дат. мн. (71,43 % новых форм), затем тв. мн. (58,33 %), затем местн. мн. (30 %). У существительных м. и ж. рода *і*-склонения в дат. мн. фиксируются исключительно новые окончания, в местн. мн. новые окончания преобладают, единичный пример нового окончания отмечен также в тв. мн. (*кознями*, л. 28); на фоне известного нам гибридного узуса такое поведение существительных *і*-склонения может интерпретироваться как еще одна черта, маркирующая установку Аввакума на коллоквиализацию. Отмечу еще появляющиеся в тексте формы существительных *о*-склонения с тв. мн. на *-ми*: *грѣхми*, л. 14 об. (эта форма встречается и в других произведениях Аввакума), *коленми*, л. 110; хотя эти

¹⁷ Судя по исследованию В. А. Чернова (Чернов 1977), данные по другой рукописи, также считающейся автографом Аввакума и хранящейся в собрании Дружинина (БАН, собр. Дружинина, № 746 [790]), принципиально не отличаются от приведенных выше. Анализ Чернова при всей своей детальности отмечен все же некоторыми недостатками. Его подсчеты неточны (ряд примеров при подсчетах был им, видимо, пропущен), в отдельный класс не выделяются существительные м. рода *С*-склонения (что должно было сказаться на статистике существительных м. рода *о*-склонения); для ряда категорий не приведены точные данные. Мы пользуемся собственными подсчетами по Пустозерскому списку.

специфически книжные формы и единичны, они все же свидетельствуют о том, что Аввакум имитирует оральность, а не воспроизводит свою устную речь.

Как и в других памятниках письменности XVII в., в Житии Аввакума вариация окончаний в косвенных падежах существительных во мн. числе не имеет сколько-нибудь заметного стилистического значения. Это общая черта морфологических показателей, не являющихся маркированно книжными элементами. Однако, как мы видели в случае форм инфинитива, также обычно не несущих никакой стилистической нагрузки, Аввакум может придавать функциональную значимость и подобной немаркированной вариативности. Показательно, что, переосмысляя в этом ключе формы инфинитива, Аввакум не делает ничего подобного с разбираемыми нами формами именного словоизменения. В отличие от форм инфинитива, формы существительного в косвенных падежах мн. числа не подчиняются регистровой гармонии: новые формы появляются в книжных фрагментах, а старые нередки во фрагментах не книжных, ср.: «Есть писано во *пропоцѣхъ*, тако г(ла)голет г(о)с(по)дь: “Славы своея иному не дам”. Сие реченно о *лжехристах*, нарицающихся б(о)гомъ, и на жиды, не исповѣдающих Х(рист)а с(ы)ном б(о)жиимъ» (л. 107 об.—108); «Много от писания говорил с *патриархами*: б(о)гъ отверзь уста мое грѣшныя, и посрамил ихъ Х(ристо)с *уста*ми моими» (л. 71); «Да там же в *греках* какой-то, сказываютъ, протопоп Малакса *архиеомъ* и *ереомъ* бл(а)гословлят(ь) рукою повелѣвает (<...> Ипполит с(вя)тый и Ефремъ Сиринь, издавеча уразумѣвъ о семь времени, написали сице: “И дасть имъ скверный печат(ь) свою за знамение спасителево. Се о трехъ *перьстах* реченно: егда сам себя волею своею печатает трема *персты*, такового умъ тѣмень бывает и не разумѣвает правая, всегда помрачен, печати ради сея скверная”» (л. 113—113 об.). Попытки В. А. Чернова (Чернов 1977, 47—51) приписать рассматриваемой вариативности стилистическую значимость, связав выбор формы с характером лексем (с тем, обозначает ли она религиозные или мирские реалии), на мой взгляд, не приносят успеха, поскольку четкой корреляции не устанавливается, а нечеткая корреляция ни о какой функциональной нагрузке не свидетельствует, поскольку является естественным следствием автоматического воспроизведения определенного набора устойчивых словосочетаний.

Зависимость высокой пропорции инновативных форм в Житии от установки Аввакума на оральность (в данном случае, однако, состоящая не в том, что эти формы маркируют разговорный облик текста, а в том, что они появляются попутно) ясно видна при сопоставлении данных Жития с данными Книги бесед. Статистические параметры Книги бесед, обследованной нами по списку из собрания П. Д. Богданова № 2 (РИБ, XXXIX, стб. 241—392), выглядят следующим образом:

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	24	2	6	—	1	1	1
	амь/амь	8	1	1	—	1	—	—
М.	ехь/ѣхь	15	1	11	3	—	3	5
	ахь/ѣхь	12	3	2	—	—	2	3
Т.	ы/и	14	4	8	1	2	—	—
	ами/ами	7	1	—	—	—	—	—
	ми	2	—	1	1	—	5	6

Общая пропорция новых флексий в этом тексте значительно ниже, чем в Житии, и составляет 25,95 %, что лишь ненамного превышает те значения, которые мы находим в ряде других гибридных памятников (вторая часть Мазуринской летописи, тетради старца Авраамия). У существительных м. рода *o*-склонения реализуется хорошо знакомая нам схема соотношения падежей по продвинутости *a*-склонения, та же, которую мы наблюдали и в Житии: наиболее продвинутым является местн. мн. (48,39 %), менее продвинут тв. мн. (28,57 %) и менее всего подвержен *a*-экспансии дат. мн. (25,71 %). У существительных м. и ж. рода *i*-склонения ситуация кардинально отличается от той, которая характеризует Житие. Как и в большинстве других гибридных текстов, инновативные формы этим классам существительных не свойственны (и именно на этом фоне доминирование новых флексий у данных существительных в Житии выглядит как прием коллоквиализации); новые формы фиксируются исключительно в местн. мн. (*людяхъ*, стб. 384, *дѣтяхъ*, стб. 390; *кобяхъ*, стб. 266, *костяхъ*, стб. 268, *смертяхъ*, стб. 365), причем и в этом падеже они остаются в меньшинстве. Можно отметить ряд форм с неисконным окончанием тв. мн. *-ми*: уже известное нам *грѣхми*, стб. 241 [bis], *чюдесьми*, стб. 290 (индивидуальная странность Аввакума), *знаменьми*, стб. 290 (обычная для традиционной книжной письменности маркированно книжная форма, ср., однако же, форму тв. мн. *козлогласованіи*, стб. 297). Один раз встречается форма тв. мн. существительного *a*-склонения с флексией *-ы*: «палаты и теремы златоверхими украшена» (стб. 286)¹⁸. Как и в других гибридных текстах, никакой стилистической значимостью выбор той или другой формы в анализируемой подсистеме не обладает.

У нас, к сожалению, отсутствуют достаточно достоверные данные, которые позволили бы реконструировать динамику *a*-экспансии в развивающейся в XVII в. светской литературе на гибридном языке. В отличие от форм инфинитива, формы существительных в косвенных падежах мн. числа встречаются в тексте относительно редко, а переводные рыцарские романы и другие сочинения этого рода не слишком велики по объему, так что полноценного статистического материала получить не удастся. Одно заключение, однако, с некоторыми оговорками может быть сделано. Новые коммуникативные задачи, которые ставили тексты подобного рода и которые освобождали пишущего от давления жанровой традиции, приводили, как и в случае с инфинитивом, к существенному увеличению

¹⁸ Как уже говорилось, Книга бесед, в отличие от Жития, дошла до нас лишь в относительно поздних списках. Некоторое количество расхождений между этими списками в интересующих нас формах имеется. Так, в соответствии с формой *грѣхми*, стб. 241, в списке Богданова в двух других списках находим *грѣхи* (там же), хотя это различие затрагивает лишь одну из подобных форм, вторая фигурирует во всех списках. Форме *жидамъ*, стб. 264, в списке Богданова в одном из списков соответствует *жидомъ*. Форме *костяхъ*, стб. 268, в одном из списков соответствует *костѣхъ*. Форме *жиды*, стб. 302, в двух других списках соответствует *жидами*. Форме *мѣстѣхъ*, стб. 368, в двух других списках соответствует *мѣстахъ*. Наконец, форме *согрѣшеніихъ*, стб. 369, в одном из списков соответствует *согрѣшеніяхъ*. Этими немногими примерами и ограничиваются расхождения, которые могли бы затронуть нашу статистику. Очевидно, никаких основных соотношений эти несколько примеров не меняют. Те утверждения, которые сделаны относительно списка Богданова, могут быть отнесены и к протографу Книги бесед.

пропорции инновативных форм. Иллюстрацией может служить уже известная нам Повесть о Петре Златых ключей по списку 1702 г. (см. публикацию: Кузьмина 1964, 275—331). В абсолютных цифрах данные в Повести о Петре златых ключей распределяются следующим образом:

		м. р. <i>о</i> -скл.	м. р. <i>јо</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл.	ср. р. <i>јо</i> -скл.	м. р. <i>С</i> -скл.	м. р. <i>і</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омь/емь	4	3	—	—	1	12	—
	амь/амь	—	2	14	—	—	—	5
М.	ехь/ьхь	2	—	7	—	1	1	2
	ахь/ахь	1	—	12	—	—	5	9
Т.	ы/и	2	6	3	—	3	—	1
	ами/ами	3	2	7	—	—	—	—
	ми	—	1	—	—	—	3	5

Как мы видим, пропорция новых окончаний здесь относительно высока (51,28 %), превосходя даже ту, которая характеризовала Житие Аввакума, и это, следует думать, отражает разрыв с традицией и жанровую новизну текста. Мало-численность примеров не позволяет сделать содержательных выводов из распределения старых и новых форм по классам существительных и по падежам. Характерным образом у существительных ж. рода *і*-склонения новые флексии доминируют в дат. мн. (100 %) и местн. мн. (81,82 %), но полностью отсутствуют в тв. мн. Более необычно поведение существительных м. рода *і*-склонения: *а*-экспансия представлена здесь значимым числом примеров, однако только в местн. мн. (83,33 % новых флексий). Особо консервативными оказываются существительные м. рода *С*-склонения, у которых новые флексии полностью отсутствуют. Схема распределения новых флексий у существительных м. рода *о*-склонения не показательна, поскольку в местн. мн. примеров слишком мало; можно сказать, однако, что *а*-экспансия сильнее всего представлена в тв. мн. (35,71 %; отмечу здесь форму *рыцери*, с. 285), а слабее всего в дат. мн. (22,22 %). У существительных ср. рода новые флексии являются нормой в дат. мн. (100 %), затем следует тв. мн. (70 % новых флексий), затем местн. мн. (63,16 %).

1.3. Ориентация на образцы и нормализация как факторы, определяющие характер *а*-экспансии в текстах XVII в.

Данные, проанализированные в двух предыдущих параграфах, позволяют сделать некоторые общие выводы о тех факторах, которые определяют характер *а*-экспансии в письменности XVII в. Так, степень консервативности употребления может быть соотнесена с ориентированностью на образцы: чем больше выражена эта ориентированность, тем менее употребляются новые флексии. Именно по этому признаку стандартные церковнославянские тексты, ориентированные на основной корпус сакральных памятников, более всего отличаются от текстов бытового регистра (ненормированных не книжных текстов), для которых давление традиции не является столь существенным фактором. Вместе с тем данный фактор может объяснить и различия в объеме *а*-экспансии в текстах делового и гибридного регистра. Если архаизирующее, т. е. ориентированное на

более ранние памятники Уложение 1649 г. сравнительно консервативно, то Вести-куранты и «Учение и хитрость» ввиду своего нестандартного содержания столь непосредственной преемственности не обнаруживают и в силу этого более открыты для инноваций. Аналогично и с гибридными текстами. Там, где преемственность поддерживается памятью жанра, как это имеет место в летописных памятниках (включая сюда и сочинение Лызлова), ориентированных на образцы предшествующего летописания, объем *a*-экспансии сравнительно низок. Более продвинуты в отношении *a*-экспансии сочинения, не так непосредственно связанные с образцами или по тем или иным причинам отталкивающиеся от них. К числу первых относится космография Ортелиа и секулярные беллетристические тексты, к числу вторых — Житие Аввакума с его специфическими риторическими стратегиями, и Псалтырь в переводе Авраамия Фирсова, для которого дистанцирование от образцов входило в принципиальную установку.

Ориентированность на образцы по-разному реализуется в книжной и в некнижной письменности. Речь идет не только о том, что связь с традицией в книжной письменности существенно сильнее, чем в некнижной, и соответственно в книжных текстах объем *a*-экспансии, как правило, значительно меньше, чем в текстах некнижных. Имеются, надо думать, и качественные различия. Ориентация на образцы в некнижных текстах не обладает хронологической глубиной; преемственность осуществляется здесь как передача письменных навыков (связанных прежде всего с воспроизведением стандартных оборотов и формул) от одного поколения к непосредственно за ним следующему; поэтому реализующиеся здесь традиции относительно открыты для свежих инноваций, в особенности в периферийных подсистемах, менее подверженных влиянию сложившихся навыков. Рекуррентное воспроизводство инноваций осуществляется здесь достаточно быстро. Отражением этой ситуации является большой объем *a*-экспансии в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *i*-склонения, характерный почти для всех некнижных памятников — как нормированных, так и ненормированных, как характеризующихся ограниченным употреблением новых форм, так и усваивающих широкое их употребление.

Стандартные церковнославянские тексты, напротив, к свежим инновациям особенно невосприимчивы, воспроизводство инновативных форм растянуто в них во времени, поскольку те образцы, на которые ориентированы эти тексты, произведены не предшествующим поколением книжников, а далекими предками, а последующие поколения стремились воспроизвести язык этих образцов наиболее полным образом; соответственно, новые формы в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *i*-склонения здесь практически отсутствуют. Ситуация в гибридных текстах зависит от того, насколько значима для них преемственность. В гибридных текстах, ориентированных на образцы и потому лишь в ограниченном объеме употребляющих инновативные формы, *a*-экспансия в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *i*-склонения может вообще не проявляться или проявляться весьма ограниченно, как это и имеет место в большинстве летописных памятников; это может объясняться тем, что в образцовых текстах, на которых воспитывались авторы обследованных сочинений, данный класс *a*-экспансией вообще затронут не был. В гибридных текстах с широким употреблением новых флексий (Житие Аввакума, Повесть о Петре Златых ключей) инно-

вазии в разбираемом классе форм доминируют; этот момент естественно связать с тем разрывом в преемственности, который характерен для этих текстов.

Сходные параметры определяют и ситуацию в дат. мн. существительных ср. рода *o*-склонения. В некнижных текстах новая флексия имеет тенденцию сделаться здесь нормативной; в этом классе форм новая флексия является доминирующей (более 80 %) в переписке Хованских, «Учении и хитрости ратного строения», Уложении 1649 г., сочинении Котошихина. Для гибридных текстов подобный статус флексии *-амь* существительных ср. рода *o*-склонения не характерен. Исключением и здесь являются только Житие Аввакума и Повесть о Петре Златых ключей. Имеет место, следовательно, определенная корреляция между *a*-экспансией у существительных ж. рода *i*-склонения и дат. мн. существительных ср. рода *o*-склонения. Естественно полагать, что эта корреляция обусловлена единым механизмом — одинаковым давлением традиции, которая не допускает доминирования инноваций ни в одном из морфологических классов. В этом плане гибридные тексты противостоят некнижным и сближаются со стандартными церковнославянскими. Таким образом, ориентация большинства гибридных текстов на образцы не дает развиваться в них тем тенденциям, которые свободно осуществляются в текстах некнижных; в последних давление традиции действует лишь у существительных м. рода, для которых различие в формах между письменным и разговорным языком к XVII в. успевает сделаться устойчивым.

Обратимся теперь к другому параметру — относительной продвинутости *a*-экспансии в разных падежах у существительных м. рода *o*-склонения, т. е. в наиболее употребляемом классе имен. Этот параметр в разбираемый нами период подвержен наиболее ярко выраженным динамическим преобразованиям. В первые десятилетия XVII в. имеет место существенное отставание в объеме тв. мн. от дат. мн. и местн. мн.; так было и в XVI в., и исследуемая эпоха наследственно воспроизводит эту черту. Для начала XVII в. характерен порядок $L > D > I$. Отставание тв. мн., отразившееся как в некнижных текстах XVI в., так и в текстах гибридных (примером может служить Новгородская пятая летопись), засвидетельствовано и памятниками первой половины XVII в. С одной стороны, это архаизирующее Уложение 1649 г., с другой — книжные памятники гибридного регистра: Новгородская вторая летопись, Казанский летописец, первая часть Мазуринской летописи. В данный период гибридные тексты еще не противопоставлены в разбираемом отношении некнижным; это позволяет говорить об общей на начальных этапах эволюции книжных и некнижных текстов. Постепенно отставание тв. мн. преодолевается, быстрее в некнижных текстах, медленнее в книжных. В результате во второй половине XVII в. устанавливается нейтральный порядок распределения старых и новых флексий по падежам, соответствующий схеме $L > I > D$.

Этот порядок мы с абсолютным постоянством находим в различных текстах бытового регистра, видимо, уже с 30-х годов XVII столетия. Он осуществляется и в стандартных церковнославянских текстах, менее подчиненных нормализационной установке. Такое соотношение падежей наблюдается и в большинстве гибридных текстов. Общая пропорция новых флексий здесь существенно меньше, чем в текстах бытового регистра, но относительная продвинутость падежей в рассматриваемом классе существительных оказывается такой же, т. е. $L > I > D$.

Так обстоит дело во второй части Мазуринского летописца, в Летописце 1619—1691 гг., в Сибирских летописях, у Лызлова, в Космографии Ортелия, в тетрадах старца Авраамия, в Житии и в Книге бесед протопопа Аввакума.

Эволюция текстов делового регистра приводит к реализации иной схемы соотношения падежей по продвинутой *a*-экспансии. Отставание тв. мн. преодолевается и здесь, и на какой-то момент, видимо, и деловые тексты могут реализовать нейтральный порядок (ср. данные о деле О. Науменка 1642—1643 гг., впрочем, недостаточные для полноценных статистических выводов — примеч. 9). Однако в деловых текстах эволюция идет дальше и тв. мн. становится падежом с наибольшей пропорцией инновативных форм. Для делового регистра характерным делается порядок **I > L > D**, обнаруживающийся и в «Учении и хитрости ратного строения», и у Котошихина, и в Вестях-курантах. Данную эволюцию можно рассматривать как углубление регистровой дифференциации. В письменной культуре оформляются разные линии преемственности, и постепенно их расхождение нарастает, так что дифференцированными по регистрам оказываются все новые и новые области морфологической вариативности.

То отступление от нейтрального порядка, которое мы наблюдаем в деловом регистре, можно связать с нормализующей установкой, выражающейся в стремлении избавиться от омонимии тв. мн. и им.-вин. мн. Именно это стремление и обуславливает реализацию модели **I > L > D**. Такой порядок свойствен прежде всего приказной традиции, выступая как ее яркая отличительная черта. Однако аналогичные явления могут быть обнаружены и в стандартных церковнославянских текстах (у Симеона Полоцкого), в которых нормализационная тенденция проявляется с особой интенсивностью (в форме ориентации на грамматику Смотрицкого). В этом случае нормализующая установка имеет, возможно, опосредованный характер: стремление разрешить омонимию тв. мн. и им.-вин. мн. подталкивает Смотрицкого к тому, чтобы ввести варианты с новыми флексиями тв. мн. в свою грамматику, а Симеон воспринимает рекомендации Смотрицкого как стимул к употреблению новых форм. Вторичным образом возникший у Симеона гомилетический узус воспроизводится в книге «Статир». С этой же нормализационной тенденцией связано, видимо, и отступление от нейтрального порядка в одном из гибридных текстов, а именно в Псалтыри Авраамия Фирсова (для нее можно предположить воздействие грамматики Смотрицкого и общее стремление к нормализации, связанное с языковым новаторством переводчика).

Таким образом, разнообразие реализаций *a*-экспансии в текстах XVII в. определяется двумя факторами: степенью ориентации на образцы и стремлением к нормализации. Можно представить их действие следующим образом:

		ориентация на образцы	
		+	—
стремление к нормализации	+	окаzionale I > L > D станд. цсл. регистр	ограниченное/широкое I > L > D деловой регистр
	—	ограниченное L > I > D гибридный регистр	широкое L > I > D бытовой регистр

Итак, из всего проанализированного материала вырастает следующая картина отражения *a*-экспансии в разнообразных письменных текстах XVII в. Несмотря на то, что в XVII в. процесс *a*-экспансии в живом языке в основном завершается (кроме, видимо, тв. мн. существительных ж. и м. рода *i*-склонения), в письменных текстах новые флексии нигде не оказываются доминирующими (составляющими более двух третей всего объема). В этом, надо думать, проявляется автономность письменного узуса, основанная на естественной передаче письменных навыков от поколения к поколению. Письменные традиции поддерживаются в постепенно эволюционирующем виде, если не происходит сознательного разрыва и переориентации. Вся совокупность текстов определенным образом структурирована в изучаемом здесь аспекте. Полюса обозначены стандартными церковнославянскими текстами, в которых *a*-экспансия отражается лишь окказионально, и некнижными ненормированными текстами (текстами бытового регистра), в которых *a*-экспансия отражается широко. Между этими двумя полюсами располагаются тексты на гибридном церковнославянском и нормированные некнижные тексты (тексты делового регистра).

В текстах последних двух типов объем новых флексий может варьировать — от ограниченного употребления вплоть до широкого. Однако механизм употребления новых флексий в текстах этих двух типов различен. В текстах делового регистра он обусловлен выборочной нормализацией. Она стимулирует сохранение старых флексий прежде всего у существительных м. рода *o*-склонения (а также у существительных м. рода *C*-склонения), поскольку противопоставление письменного и разговорного языка обрело здесь устойчивые формы еще в XVI в. и отложилось в устойчивых письменных навыках. Вместе с тем нормализацией вызвано распространение новых флексий в тв. мн., поскольку это позволяет разрешить омонимию падежных форм. Вне этого нормализуемого класса приказная традиция реализации *a*-экспансии не противостоит (или противостоит слабо).

В гибридных текстах подавление *a*-экспансии связано не с нормализацией, а с ориентацией на образцы. Чем сильнее эта ориентация (чем более укоренен текст в книжной традиции), тем меньше простора получает *a*-экспансия. Ориентация на образцы подавляет *a*-экспансию в разных классах существительных, она в особенности неблагоприятна для свежих инноваций (для отражения тех процессов, которые в разговорном языке завершились относительно недавно). Если отвлечься от отражения свежих инноваций, то схемы распределения новых флексий в гибридных текстах в основном совпадают с аналогичными параметрами некнижных ненормированных текстов (текстов бытового регистра) — отличие состоит лишь в снижении пропорций. Это показывает, в частности, что оппозиция старых и новых флексий в анализируемых формах не входит в число признаков книжности, создающий эту оппозицию процесс *a*-экспансии захватывает и книжные, и некнижные регистры, и каждый из регистров формирует свое употребление наличных вариантов.

Отличие исследуемых вариаций от признаков книжности ясно видно и из сопоставления гибридных текстов. Употребление разных признаков книжности в них находится в определенной корреляции (регистровой гармонии), объем и характер *a*-экспансии с этой корреляцией никак не соотносится. Так, например, Летописец 1619—1691 гг. и Мазуринский летописец (вторая часть) принадлежат к

двум разным типам гибридных текстов по характеру употребления простых претеритов, с употреблением простых претеритов коррелирует и ряд других параметров синтаксического и морфологического уровня (например, употребление форм дв. числа). Что же касается *a*-экспансии, то никаких существенных различий между двумя указанными памятниками не наблюдается. Такие же выводы можно сделать и из сопоставления Мазуринского летописца и «Скифской истории» Андрея Лызлова. Не менее показательны в этом отношении сравнение Новгородской второй летописи и «Временника» Ивана Тимофеева. Очевидно, что мы имеем здесь дело с разными механизмами выбора форм, и именно это различие механизмов обуславливает несходство в судьбе соответствующих элементов в истории языка.

Следует указать на еще один вывод чисто негативного характера. Распределение старых и новых флексий внутри анализируемых текстов относительно равномерно, оно не связано непосредственно с тематической или композиционной структурой текста, с риторическим построением отдельных фрагментов (ср. выше о Житии Аввакума). Поэтому нет оснований говорить (как это часто делается в различных исследованиях) о стилистической значимости старых или новых флексий, о стилистической природе выбора морфологического варианта. Не наблюдается и прямой зависимости выбора флексии от характера лексемы, не только семантического, но и формального (например, полногласия или неполногласия), ср., например, в достаточно консервативном Мазуринском летописце: «а иных по иным *града*м розослаша» (ПСРЛ, XXXI, 130), «и посла по *городам* к литовскому рубежу воевод своих со мною ратью и повеле по городам крепити осады» (там же, 150). Речь может идти только о сохранении старых форм в клишированных словосочетаниях, набор которых различен, естественно, для текстов разных регистров. Такие факты, как, скажем, появление фразы *по правилу святых апостол и святых отец* в Уложении 1649 г. (гл. X, ст. 255) с единственным примером старой флексии в дат. мн. существительных ср. рода или сохранение старой формы *оправданіем* во фразе «научи мя оправданием твоим» в Псалтыри Фирсова или клишированное *с товарищи* в деловых текстах, никак не являются редкостью, однако никакого отношения к стилистической дифференциации морфологических показателей они не имеют. Воспроизведение клише ни о каком стилистическом выборе не свидетельствует, и это справедливо для всего разнообразия текстов XVII в. вне зависимости от того, как в них отражается *a*-экспансия. Именно подобную совокупность традиций с разными типами реализации *a*-экспансии, но без стилистической дифференциации получает XVIII в. в наследие от предшествующего периода.

2. Отражение *a*-экспансии в текстах Петровской эпохи и светской литературе XVIII в. Характер нормализации

Установив общий характер отражения *a*-экспансии в текстах XVII в. и выявив те различия, которые существовали в этот период между разными письменными традициями, мы можем перейти теперь к Петровской эпохе и в целом к XVIII в., поставив, в частности, и вопрос о том, какое продолжение различные письмен-

ные традиции предшествующего периода находят в том «простом» языке, который развивается в результате петровских культурных реформ. Очевидно, что на XVIII столетие приходится совершенно новый этап развития русского письменного языка, связанный с возникновением литературного языка нового типа (нового языкового стандарта), противопоставленного церковнославянскому. Судьба маркированно книжных элементов (признаков книжности) в этом процессе хорошо известна (см.: Успенский 1994, 99—101; Живов 1996, 98—104) и в общем виде определяется достаточно однозначно: они с большей или меньшей радикальностью устраняются из нового литературного языка. Судьба признаков, не релевантных для противопоставления книжного и некнижного языка, связана прежде всего с тем нарушением преемственности письменных навыков, которое приводит к появлению «петровского пула» (см. § 1.8), а затем с нормализацией, которая этот «петровский пул» преобразует; в силу этого она не имеет столь прямолинейного развития, как история маркированно книжных элементов. Преемственность и разрывы в ней могут быть выявлены сопоставлением параметров (в частности, статистических), характеризующих употребление соответствующих элементов в текстах XVIII в. и предшествующего периода. Относительно нормализации возникает вопрос о ее начальных моментах, о ее фоне и о взаимосвязи последовательных этапов регламентации.

Надо заметить, что сам термин Петровская эпоха создает в подобном исследовании ряд неудобств и требует определенных оговорок. Точно установить, когда именно петровские культурные преобразования начинают реализовываться и в языковой политике, вряд ли возможно. Тем более неясно, как скоро и в каких социальных измерениях эта языковая политика приводит к изменению письменных навыков грамотной части общества. Условно эту границу можно обозначить 1708 г., когда появляются первые издания, напечатанные новым гражданским шрифтом. Поскольку язык этих изданий отличается по ряду параметров от традиционного (о каком бы регистре ни шла речь), а сама печатная продукция обладает культурным престижем, правомерно говорить о возникновении новой культурной традиции. Очевидно во всяком случае, что последние годы XVII и первые годы XVIII в. принадлежат в целом предшествующей эпохе и для понимания петровских новшеств практически ничего не дают.

Существенно понять тот конкретный фон, на котором они возникают, но именно здесь и появляются определенные трудности, поскольку имеющиеся наблюдения над текстами этой эпохи внутреннее ее членение игнорируют. Например, исследование А. Е. Ладюковой об именном склонении в петровских «Ведомостях» (Ладюкова 1956) объединяет данные этой газеты за 1703—1727 г. Равным образом и анализ «Писем и бумаг Петра Великого» (Семи́н 1953; Кириченко 1961) недифференцированно охватывает многие тома этого собрания, относящиеся к 1691—1710 гг. (не говорю уже о гетерогенности самого этого собрания, включающего тексты разных авторов и разных типов, например, официальные документы и частные письма). Это игнорирование хронологических рубежей и жанровых границ особенно существенно при изучении такого параметра, как отражение *а*-экспансии, поскольку в письменном языке процесс этот развивается именно в данное время, и одно десятилетие может здесь принципиально отличаться от другого.

Какими бы оговорками ни приходилось сопровождать использование выводов отмеченных выше исследований, они все же показательны. Они свидетельствуют о том, что сколько-нибудь кардинальных изменений в отражении *a*-экспансии в той письменности, которая не была непосредственно затронута петровской языковой политикой, не происходит — идет ли речь о деловых документах и других текстах, продолжающих традиции делового регистра (к их числу, видимо, следует отнести и «Ведомости»), или о частной переписке. Новые флексии в этих текстах преобладают, но не доминируют (т. е. имеет место их широкое, а не доминирующее употребление — менее двух третей общего объема, см. § III.1.1). Так, по-видимому, следует понимать замечание А. Е. Ладюковой (Ладюкова 1956, 14—15) о том, что в «Ведомостях» в дат. мн. старые флексии «еще многочисленны», хотя они и «немногочисленны» в местн. мн. и тв. мн.; в наибольшей степени отражает *a*-экспансию тв. мн., что соответствует старой приказной традиции.

Что же касается «Писем и бумаг», то здесь данные несколько более подробны. Новые флексии встречаются в обработанных И. Е. Семиным материалах более чем в половине случаев, но, надо думать, их пропорция все же не превышает двух третей. В принятой в настоящем исследовании форме статистические данные, полученные Семиным, могут быть представлены в следующем виде (привожу эти данные по работе Ю. В. Фоменко, пересказывающего выводы Семина — Фоменко 1960, 400 сл.; диссертация самого И. Е. Семина осталась нам недоступна):

		м. р. <i>o</i> -скл. и <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл. и <i>jo</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	800	15	—
	амь/амь	600	155	все
М.	ехь/ѣхь	180	?	—
	ахь/ахь	420	?	почти все
Т.	ы/и	350	70	?
	ами/ами	450	100	?
	ми	—	—	?

У существительных м. рода наиболее продвинутом в плане *a*-экспансии является местн. мн. (70 % новых флексий), затем идет тв. мн. (56 %), затем дат. мн. (42 %); у существительных ср. рода наибольшее число новых флексий в дат. мн. (91 %); у существительных ж. рода *i*-склонения новые флексии полностью вытеснили старые в дат. мн. и почти полностью в местн. мн., тогда как в тв. мн. более частыми остаются флексии старые (см.: Фоменко 1960, 400 сл.; Кириченко 1961, 247)¹. В этих параметрах распределения старых и новых форм легко узна-

¹ Некоторые дополнительные сведения можно извлечь из работы Г. С. Кириченко, хотя в ней использовался несколько иной объем выборки. Статистические данные в этой работе приводятся только для отдельных лексем, и суммировать их невозможно. Отдельные заключения, однако, можно сделать. Так, автор приводит формы *вещми*, *волностми* и т. д., указывает, что форма *людьми* встретилась в 132 случаях, а форма *лошадьми* — в 42, и при этом утверждает, что данная «флексия встречается часто» (Кириченко 1961, 247). Отсюда можно сделать вывод, что новые флексии в тв. мн. данного класса по крайней мере употреблялись не чаще, чем старые.

ется узус, характерный для бытового регистра в письменности предшествующего столетия (см. § III.1.1). Таким образом, как этого и следовало ожидать, канцелярские грамотеи (готовившие издание «Ведомостей») продолжают воспроизводить письменные навыки своих приказных предшественников, а частные лица в своей корреспонденции пишут в целом также, как это делало предшествующее поколение. Вихри новой языковой политики эти рутинные сферы заметным образом не затрагивают.

2.1. Реформаторское и нейтральное направления в языковой практике Петровской эпохи

На фоне этой традиционной языковой практики уже первые предприятия петровской культурной политики выглядят исключительно контрастно. Первой книгой, изданной гражданским шрифтом, была «Геометрія славенскі семлемѣріе» (Геометрия 1708). Поскольку материал этого издания крайне скуден и недостаточен для статистических обобщений, мы восполняем его данными рукописи, с которой эта книга набиралась (РГАДА ф. 381, № 1006 — об этой рукописи и различных изданиях «Геометрии» см. § II.2); в издании 1708 г. опущенным оказалось предисловие, которое и дает сравнительно богатый дополнительный материал; такое пополнение материала допустимо, поскольку в интересующих нас формах никаких расхождений между рукописью и изданием 1708 г. не обнаруживается. В абсолютных цифрах пополненные таким образом данные «Геометрии» предстают в следующем виде:

		м. р. <i>о</i> -скл.	м. р. <i>јо</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл.	ср. р. <i>јо</i> -скл.	м. р. <i>С</i> -скл.	м. р. <i>і</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омь/емь	—	—	—	—	—	—	—
	амь/амь	9	—	2	—	—	—	3
М.	ехь/ѣхь	—	1	2	—	—	—	—
	ахь/ахь	9	—	4	3	—	—	4
Т.	ы/и	7	1	2	1	—	—	—
	ами/ами	4	2	—	—	—	—	—
	ми	—	—	—	—	—	—	7

Первое, что бросается в глаза в этих данных, — это высокая пропорция новых форм, употребляющихся в 65,57 % случаев (что в нашей терминологии близко к доминирующему употреблению); пропорция новых флексий превосходит все то, что мы наблюдали в памятниках XVII в. (вне зависимости от регистра) или в тех деловых и бытовых текстах Петровской эпохи, о которых говорилось непосредственно выше. С этой инновативностью узуса можно связать и тот факт, что старые флексии полностью отсутствуют в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *і*-склонения (тогда как в тв. мн., напротив, употребляются исключительно старые формы). Второй заслуживающий внимания момент — это характер распределения новых флексий по классам существительных и падежам. У существительных м. рода *о*-склонения наиболее продвинутым в плане *а*-экспансии оказывается дат. мн. (100 % новых флексий), затем идет местн. мн. с 90 % новых флексий, тогда как наиболее консервативен тв. мн. (42,86 % новых флексий), что

также не имеет аналогии в других рассмотренных нами текстах. Это соотношение падежей свидетельствует не только о разрыве преемственности, но и о новом восприятии старых флексий; можно предположить, что употребление старых форм тв. мн. поддерживается в силу того, что, как и за столетие перед тем, осознается их большее (сравнительно с формами дат. мн. и местн. мн.) отличие от новых форм, однако теперь это приводит не к сдержанности в употреблении новых форм, а к представлению о старых формах как индикаторах лингвистической компетентности пишущего.

Старые флексии отмечены в разбираемом тексте в следующих случаях. Местн. мн.: *цѣркулехъ* (Геометрия 1708, с. 155, РГАДА, ф. 381, № 1006, л. 78 об.); *мѣстѣхъ* (с. 9, л. 11 — *мѣстехъ*), *пѣвилехъ* (л. 4 об.); тв. мн.: *наугѣлнѣи* (с. 7, л. 10), *полудіаметры* (с. 21, л. 17 об.), *радіусы* (с. 21, л. 17 об. — *радіусы*), *триангулы* (с. 25, л. 20), *образы* (с. 25, л. 20 об.), *многоугѣлнѣи* (с. 119, л. 62 об.); *землявладѣтели* (л. 6); *пѣвилы* (л. 6), *искѣствы* (л. 6 об.); *вымышленіи* (л. 6); *вещми* (с. 3, л. 5 — *вѣщми*), *плоскостѣми* (с. 25 [bis], л. 19 об.), *плѣскостми* (с. 25, л. 20), *плѣскостѣми* (с. 25 [bis], 27, л. 20, 21 об.). Представляют интерес существительные ж. рода *a*-склонения, получающие в тв. мн. флексию *-ы/-и*: *тѣчки* (с. 73, 141, 183, 229, 231 [bis], 237, 239, 243), *дѣли* (с. 233), *лінеи* (с. 211, 249)².

Еще более радикально устранение старых флексий в книге «О способах творящих водохождение рек свободное» (Буйе 1713), также относящейся к числу первых изданий гражданской печати. Материал для статистических обобщений здесь несколько больше, чем в «Геометрии» 1708 г., и поэтому мы получаем достаточно ясное подтверждение отмеченных выше тенденций. Статистические данные имеют следующий вид:

² Как уже говорилось, рукопись и различные издания «Геометрии» не дают существенных разночтений в интересующих нас формах. Исключениями оказываются как раз формы тв. мн. существительных ж.рода *a*-склонения. Отмечу прежде всего, что в рукописи на л. 116 об. во фразе *мѣжду оными тѣчками* форма *тѣчками* вставлена рукою Петра. На л. 118 об., однако же, он вставляет фразу *ме^жду сими тѣчки*, которая воспроизводится во всех изданиях. На следующем листе (л. 119) Петр исправляет грамматическую неправильность переводчика (Якова Брюса) во фразе *мѣжду сіми пять тѣчекъ*, заменяя *пять тѣчекъ* на *пятью тѣчками* (в печатных изданиях *пятию тѣчками*). Форма тв. мн. *лінеи* на с. 249 изд. 1708 г., которой в рукописи соответствует *линьи* (л. 121 об.), в кавычном экземпляре 1709 г. (экземпляре В — обозначения изданий см. в § II.2) подвергается исправлению на *лінеями* (с. 254) и в исправленном виде переходит в следующее издание (экземпляр Г). Похоже, что формы тв. мн. на *-ы/-и* у существительных *a*-склонения вызывают у книжников Петровского времени определенную неуверенность, что и обуславливает непоследовательность в употреблении и исправления. Прочие исправления носят окказиональный характер. Так, в предисловии встречается форма *на двѣряхъ* (л. 6 об.), исправленная в экземпляре Г на *на дверехъ* (с. 12). Форма *пѣвилѣхъ* (л. 4 об.), употребленная грамматически неправильно в словосочетании *по учѣтелнымъ пѣвилѣхъ*, в экземпляре Г заменена на *правиламъ* (с. 8). Встречающейся в рукописи форме *искѣствиахъ* в издании Б соответствует *искуствяхъ* (с. 3), замененная в издании Г на *искуствахъ* (с. 15). В экземпляре В имеется вставка, переходящая затем в экземпляр Г, в которой содержатся формы тв. мн. *пріемами*, *треуголнѣями* (с. 230). Никаких других фактов, интересных для исследования истории *a*-экспансии, из сопоставления рукописи и трех последовательных изданий не извлекается.

		м. р. <i>о</i> -скл.	м. р. <i>јо</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл.	ср. р. <i>јо</i> -скл.	м. р. <i>С</i> -скл.	м. р. <i>і</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омь/емь	—	—	—	—	—	2	—
	амь/амь	9	2	12	3	—	—	1
М.	ехь/ѣхь	—	—	2	—	—	—	—
	ахь/ахь	30	1	23	5	—	—	3
Т.	ы/и	1	—	—	—	—	—	—
	ами/ами	31	1	5	—	—	1	2
	ми	—	—	—	—	—	1	4

Новые флексии употребляются здесь в 93,38 % случаев, так что старые флексии встречаются лишь окказионально. У существительных м. рода *о*-склонения единственное употребление старой флексии приходится на тв. мн. (и он оказывается, строго говоря, наиболее консервативным из падежей, хотя при подобных абсолютных цифрах говорить о какой-либо закономерности было бы абсурдным), у существительных ср. рода *о*-склонения единственные два примера фиксируются в местн. мн. У существительных ж. рода *і*-склонения только новые флексии встречаются в дат. мн. и местн. мн. (хотя примеры немногочисленны), зато в тв. мн. новые флексии составляют лишь 33 %. Определенная консервативность присуща и существительным м. рода *і*-склонения: и в дат. мн. и в тв. мн. новые флексии употреблены лишь в 50 % случаев (для местн. мн. примеров нет). Можно вообще сказать, что старые флексии сохраняются только в периферийных «малых» классах, тогда как в *о*-склонении они встречаются только по недосмотру. Приведу примеры старых форм. Дат. мн.: *людемъ* (с. 12, 72). Местн. мн.: *дѣлѣхъ* (придискл., с. 2), *мѣстѣхъ* (с. 4). Тв. мн.: *порогі* (с. 95); *гвоздми* (с. 24 — однако *гвоздями*, с. 21); *вѣтвми* (с. 9), *снастми* (с. 25), *вѣтми* (с. 28), *снастми* (с. 90).

Оба эти примера позволяют говорить о том, что становление «простого» языка Петровской эпохи как культурного феномена (конституировавшегося, в частности, изданиями гражданской печати на русском языке — см. § 1.8) включает момент искусственного разрыва с предшествующими традициями и указывает на начало (в эмбриональной форме) нормализационных процессов, формировавших новые навыки письменного языка. Для того чтобы понять, как предшествующие традиции преобразуются в рамках нового узуса и какие варианты нового узуса возникают в результате этих преобразований, нам придется обратиться к памятникам несколько более поздним, но дающим больший и более значимый материал.

Ясно, что в отличие от признаков книжности вариации, не релевантные для противопоставления книжного и некнижного языка, не дают возможности обнаружить прямое отталкивание от предшествующей традиции, выражающееся в исправлениях, меняющих характер языка. Правленные тексты Петровской эпохи, столь показательные, например, для истории простых претеритов в литературном языке нового типа, для словоизменения существительных во мн. числе значимого материала не дают. В «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича и в «Библиотеке» Аполлодора в переводе А. К. Барсова исправлений в интересующих нас случаях вообще нет. В «Географии генеральной» Б. Варения окказиональная правка соответствующих флексий имеется, однако она не только не ме-

няет пропорций старых и новых флексий в составе всего памятника (можно напомнить, что также обстоит дело и с исправлением инфинитивных форм — см. § П.2), но и не во всех случаях является последовательной. Можно полагать, что мы имеем здесь дело с начальными попытками нормализации, формирования узуса «простого языка», противопоставленного предшествующему фрагментированному по регистрам узусу (ср.: Живов 1986а, 255—257). Для дат. мн. исправления довольно многочисленны (в ломаных скобках даются вычеркнутые Софронием Лихудом буквы, курсивом выделены замены): гишпан(о)ца^м (л. 173 об.), брег(о)амь (л. 277 об., 278, 530 об., 885 об.), оппрок(о)амь (л. 287), источник(ω)амь (л. 339 об.), корабл(е)ямь (л. 427 об.), дыхані(е)я^м или о^блак(о)амь (л. 504), вѣтр(ω)а^м (л. 508 об.), до^жд(е)ямь (л. 630), час(ω)амь (л. 707). В тв. мн. исправления имеют единичный характер: образ(ы)ами (л. 131), лѣтами (л. 68), оч(есы)ами (л. 408), однако: рѣч(а)ми (л. 831). В местн. мн. правка не является однонаправленной: остров(ѣ)а^х (л. 432 об.), бре(зе)га^х (л. 529 об.), бре(зѣ)гахъ (л. 530), дн(е)яхъ (л. 587), однако: мѣст(а)ѣхъ (л. 93 об.).

Как уже сказано, эта правка является окказиональной и на соотношении старых и новых флексий в огромном массиве данного текста практически не сказывается. Оно в основных чертах оказывается таким же, как и в других книгах гражданской печати. Сведения о распределении старых и новых флексий в «Географии генеральной» (Варений 1718) основаны на анализе первых двухсот страниц издания. Обнаруживается следующее распределение:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	3	6	—	—	1	5	8
	амь/амь	71	5	19	6	3	—	2
М.	ехъ/ѣхъ	18	—	13	—	2	3	33
	ахъ/ахъ	79	3	116	28	—	1	16
Т.	ы/и	7	—	1	—	1	—	—
	ами/ами	65	4	31	4	1	1	2
	ми	—	3	—	—	—	3	7

Употребление новых флексий и здесь является доминирующим, они встречаются в 80,04 % всех случаев. Что касается распределения старых и новых флексий по отдельным классам, то здесь прослеживаются следующие закономерности. У существительных м. рода *o*-склонения пропорция новых и старых окончаний приблизительно одинакова во всех падежах: новые окончания составляют 89,41 % в дат. мн. (причем в этом падеже мягкая разновидность более консервативна, чем твердая), 87,34 % в тв. мн. и 82 % в местн. мн.; никакой аналогии в предшествующих традициях такое распределение не находит. Более показательны отношения старых и новых флексий у существительных ср. рода *o*-склонения: здесь старые окончания представлены практически только в местн. мн. (91,72 % новых флексий), в тв. мн. зафиксирован лишь один случай (97,22 % новых флексий), а в дат. мн. старые флексии вообще не представлены. В этом можно видеть реликт старых соотношений: такой порядок, при котором у существительных ср. рода наиболее продвинутыми оказываются дат. мн. и тв. мн., а местн. мн. относительно консервативен, свойствен прежде всего гибридным памятникам с

широким употреблением новых флексий (Житие Аввакума, Повесть о Петре Златых ключей, Космография Ортеля, аналогично и в Псалтыри Фирсова — см. выше, § III.1.2), хотя встречается он и в памятниках делового регистра (Котошин, «Учение и хитрость»).

Особенно значимы, однако, характеристики «малых» классов. Им свойственна консервативность, которая не находит аналогии в деловых и бытовых текстах Петровской эпохи. Можно думать, что различаются самые принципы нормализации «больших» (существительные м. и ср. рода *о*-склонения) и «малых» (существительные м. и ж. рода *і*-склонения, существительные м. рода *С*-склонения) классов. Если для первых пропорция старых флексий составляет всего 10,58 %, то для последних — 70,45 %. При этом у существительных ж. рода *і*-склонения новые флексии встречаются менее, чем в одной трети случаев (в дат. мн. 20 % новых флексий, в местн. мн. — 32,65 %, в тв. мн. — 22,22 %), они составляют лишь 15,38 % у существительных м. рода *і*-склонения, а у существительных м. рода *С*-склонения представлены только в половине случаев. Такие параметры, с одной стороны, напоминают гибридные тексты с ограниченным распространением новых флексий (типа «Скифской истории» Лызлова или второй части Мазуринского летописца — см. выше, § III.1.2), а с другой — указывают на искусственную нормализацию. Только подобной нормализацией можно объяснить исключительную консервативность «малых» классов, никак не соответствующую параметрам ненормированных письменных текстов, и в этой перспективе той же нормализацией естественно объяснять и доминирующее употребление новых флексий в «больших» классах (у существительных м. и ср. рода *о*-склонения), также контрастирующее с ненормированным письменным узусом. Можно было бы предположить, что книжники Печатного двора, пытаясь сохранить те письменные навыки, которые представляются им освященными грамматической традицией, отыгрываются — в отличие от переводчика книги Буйе — на периферийных «малых» классах, смирившись с инновативным узусом в «больших» классах.

Старые флексии отмечаются в следующих формах. Дат. мн.: *градусомъ*, с. 47, *естествословцемъ*, с. 53, *променемъ*, с. 75, *навигаторомъ*, с. 90, *жителемъ*, с. 4, 107, 123, *туркомъ*, с. 124, *плавателемъ*, с. 145, *послѣдователемъ*, с. 151; *римляномъ*, с. 164; *звѣремъ*, с. 91, *людемъ*, с. 4, 91, *дождемъ*, с. 183; *вещемъ*, с. 43, *частемъ*, с. 57, 112, 115, 118 [bis], 191, *пропаstemъ*, с. 129. Местн. мн.: *образѣхъ*, с. 32, *островѣхъ*, с. 85, *мѣсяцѣхъ*, с. 86 [bis], 179, 183 [bis], *мѣсяцехъ*, с. 196, *градѣхъ*, с. 95, *царѣхъ*, с. 121, *брезѣхъ* с. 127, 133, 138, 142, 145, 175, *частѣхъ*, с. 179, 180 [bis]; *мѣстѣхъ*, с. 16, 24, 25, 85, 123, 127, 133, 163, 170, 172, *лѣтехъ*, с. 90, *нѣдрѣхъ*, с. 162, *государствѣхъ*, с. 192, *временѣхъ*, с. 196; *согодіанѣхъ*, с. 88, *татарѣхъ*, с. 105; *звѣрехъ*, с. 5, *путехъ*, с. 21, *днехъ*, с. 167; *частехъ*, с. 2, 5, 27, 44, 59 [bis], 84, 85, 100, 102 [bis], 108, 119, 120, 121 [bis], 122, 126, 131, 136, 137, 138 [bis], 139 [bis], 142, 143, 147, 148, 149, 162, 177, *бранехъ*, с. 7, *вещехъ*, с. 45, *нощехъ*, с. 91. Тв. мн.: *мерідіаны*, с. 22, *градусы*, с. 43, 78, *образы*, с. 58, *списателми*, с. 64, *описателми*, с. 73, *конми*, с. 82, *бреги*, с. 111, *вѣки*, с. 128, *мѣсяцы*, с. 199; *времены*, с. 196; *татары*, с. 107; *путми*, с. 16, 83, *каменми*, с. 180; *степенми*, с. 91 (bis — может трактоваться и как форма м. рода), *плоскостми*, с. 112, *частми*, с. 119, *пропастми*, с. 129, *трудностми*, с. 134, *сѣтми*, с. 144. В

одном случае можно отметить форму *a*-склонения с окончанием *-ы* в тв. мн.: *планеты*, с. 42³.

Это же заключение диктуется и данными «Библиотеки» Аполлодора в издании А. К. Барсова 1725 г. При анализе этого издания был обследован весь переводной текст — как перевод самой книги Аполлодора, так и приложенный к нему перевод сочинения Бохарта. Предисловие Феофана Прокоповича и Предупреждение Барсова в подсчеты не включались, поскольку в них могли реализоваться другие нормы; впрочем, материал этих двух текстов (предисловия и предупреждения) столь невелик, что не позволяет выявить никаких закономерностей. Для текста переводной части получены следующие результаты:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	14	7	—	—	9	9	1
	амь/амь	18	5	6	4	—	—	—
М.	ехь/ьхь	2	1	2	—	1	1	4
	ахь/ахь	39	9	29	6	—	—	5
Т.	ы/и	6	1	1	2	6	—	—
	ами/ами	49	6	10	8	3	—	2
	ми	—	3	—	—	—	13	3

Здесь также наблюдается доминирующее употребление новых флексий (69,82 %). Распределение в «больших» классах обеспечивает доминантность новых окончаний, а по своим параметрам указывает на связь с гибридной, а не с приказной традицией. У существительных м. рода *o*-склонения наиболее продвинут местн. мн. (94,12 % новых флексий), продвинут и тв. мн. (84,62 % новых флексий), тогда как дат. мн. более консервативен (52,27 % новых флексий), причем, как и в «Географии генеральной», эта консервативность связана в первую очередь с мягкой разновидностью. У существительных ср. рода *o*-склонения наиболее продвинут дат. мн. (100 % новых флексий), затем местн. мн. (94,59 %), а наименее продвинут тв. мн. (85,71 %); и в этом случае аналоги могут быть найдены именно в гибридных текстах XVII в. Консервативность «малых» классов в «Библиотеке» почти столь же выражена, как и в «Географии генеральной». В отличие от «больших» классов, где старые флексии употребляются в 17,1 % случаев, в «малых» они составляют 82,46 %. Только старые флексии имеются у существительных м. рода *i*-склонения, определенная консервативность свойственна и существительным ж. рода *i*-склонения (55,56 % новых флексий в местн. мн., 40 %

³ Старые и новые флексии никак не закреплены лексически, в большинстве случаев одна и та же лексема встречается и со старым и с новым окончанием, ср., например, в параллель к перечисленным выше примерам: *градусамь*, с. 35, *навигаторамь*, с. 94, *мьстахь*, с. 15 [bis], 16, 55 [bis], 56 [bis] и т. д., *частяхь*, с. 125, *образами*, с. 54 и т. п. Лексемы с варьирующими окончаниями могут встречаться в непосредственном соседстве, ср.: *римлянамь*, с. 163 и *римляньюмь*, с. 164, *мьстахь* и *мьстьхь*, с. 16, *островахь* и *островьхь*, с. 85, *брегахь*, с. 143 и *брезьхь*, с. 142; *нбрьхь* и *нбдрахь*, с. 162; *татары*, с. 107 и *татарами*, с. 108; *брегами* и *бреги*, с. 111 и т. д. Соответственно, не обнаруживается никакой существенной неравномерности в дистрибуции старых и новых флексий в разных фрагментах текста или какого-либо стилистического использования старых флексий.

в тв. мн., в дат. мн. единственный пример со старой флексией), равно как и существительным м. рода С-склонения (только старые флексии в дат. мн. и местн. мн., в тв. мн. лишь 33,33 % новых флексий). Можно полагать, что и эти параметры обусловлены целенаправленной (хотя и не абсолютно последовательной) нормализацией.

Старые флексии фиксируются в следующих формах. Дат. мн.: *бракомъ*, с. 94, *побѣдителемъ*, с. 92, *совѣтникомъ*, с. 111, *олтаремъ*, с. 111, *жителемъ*, с. 195, *богомъ*, с. 200, 390, *человѣкомъ*, с. 209, 255, *брегомъ*, с. 318, *Арапомъ*, с. 334, *глаголемъ*, с. 340, *Еллиномъ*, с. 348, 361, 378, 399, *ненавистникомъ*, с. 353, *случаемъ*, с. 379, *Евреемъ*, с. 383, *Філософомъ*, с. 386, *Гудеомъ*, с. 401; *Аркадяномъ*, с. 87, *Фивеаномъ*, с. 231, *Аргивяномъ*, с. 236, *римляномъ*, с. 314, *Егуптяномъ*, с. 315, 378, *Ассуріаномъ*, с. 319, *Індіаномъ*, с. 334, *Евѳопляномъ*, с. 334; *дѣтемъ*, с. 31, 68, 69, 225, *людемъ*, с. 54, 68, 229, 289, *звѣремъ*, с. 308; *дщерею* с. 4. Местн. мн.: *Афетѣхъ*, с. 66, *родителехъ*, с. 219, *человѣцѣхъ*, с. 370; *числѣхъ*, с. 393, 395; *Фивеанехъ*, с. 124; *людехъ*, с. 298, *бранехъ*, с. 37, *древностехъ*, с. 318, *частехъ*, с. 378, *баснехъ*, с. 400. Тв. мн.: *варвары*, с. 84, *боги*, с. 86, *избранники*, с. 164, *сосцы*, с. 171, *конми*, с. 27, *непріятелми*, с. 187, *жителми*, с. 257, *человѣки*, с. 311, 377, *жителми*, с. 389; *знаменій*, с. 306, *обстоятельства*, с. 379, *беззаконій*, с. 384; *Егуптяны*, с. 91, 192, *Агривяны*, с. 113, *Іллуріяны*, с. 213, *Адиняны*, с. 289, 300; *дѣтми*, с. 7, 116, 170, 175, 176, 261, *гвоздми*, с. 47, *каменми*, с. 80, 134, 166, *свѣрми*, с. 254, *людми*, с. 284, 402; *плетми*, с. 169, *плотми*, с. 212, *повѣстми*, с. 378. Укажу также на архаическую форму тв. мн. *очми*, с. 281⁴.

Определенное подтверждение этих выводов можно найти и в «Юности честном зерцале», изданном в 1717 г. Обследованный материал этого памятника охватывает с. 1—88 второй пагинации. Первая, церковнославянская, часть книги естественно не учитывается. В абсолютных цифрах эти данные имеют следующий вид:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	—	5	—	—	1	5	—
	амь/амь	11	—	5	—	—	—	1
М.	ехь/бхь	2	—	1	—	—	2	—
	ахь/ахь	14	—	18	—	—	—	5
Т.	ы/и	3	1	—	—	—	—	—
	ами/ами	8	—	6	1	—	1	—
	ми	—	—	—	—	—	5	3

И здесь употребление новых флексий является доминирующим (71,43 %). При этом у существительных м. рода о-склонения наблюдается значимая диспропорция в распределении новых флексий по падежам (87,5 % новых флексий в местн. мн., 68,75 % в дат. мн., 66,67 % в тв. мн.), указывающая на связь с тради-

⁴ Как и в других рассмотренных памятниках, в «Библиотеке» не обнаруживается никакой лексической обусловленности старых флексий, неравномерности в их дистрибуции или их стилистического использования. Отмечу в этой связи наборы однородных членов типа *именами*, *дѣствіями* и *обстоятельства*, с. 379, одновременных образований от полногласных и неполногласных основ типа *волосахъ* и *власахъ*, с. 392 и т. п.

циями гибридного, а не делового регистра (наиболее продвинуто местн. мн., а не тв. мн.). У существительных ср. рода *o*-склонения распределение обнаруживает те же параметры, что и в «Географии генеральной»: старые флексии отмечаются только в местн. мн. «Малые» классы ведут себя не совсем так, как в «Географии», их употребление скорее напоминает узус книги Буйе. У существительных ж. рода *i*-склонения в дат. мн. и местн. мн. представлены только новые флексии, в тв. мн. — только старые (что совпадает и с узусом тех текстов петровского времени, которые не имели отношения к формированию языкового стандарта). Правда, существительным м. рода *i*-склонения свойственна та же консервативность, что и в «Географии генеральной»: в дат. мн. и местн. мн. употребляются только старые флексии, а в тв. мн. употребление новых флексий сводится к единственному примеру (16,67%), однако материал малопоказателен: все старые флексии встречаются в формах слова *люди*, а единственная инновация в форме *локтями*, с. 68, актуальная принадлежность которой к *i*-склонению вызывает сомнения. Формально, впрочем, диспропорция между «большими» и «малыми» классами имеет место и в данном памятнике: если в «больших» классах пропорция старых флексий составляет 16%, то в «малых» — 68,18%.

Старые флексии отмечаются в следующих формах. Дат. мн.: *родителемъ*, с. 47, 48, 51, 52, *філіппісіемъ*, с. 74; *римляномъ*, с. 56; *людемъ*, с. 39, 50, 52, 68, 78. Местн. мн.: *домѣхъ*, с. 18, 20; *дѣлѣхъ*, с. 45; *людехъ*, с. 38, 67. Тв. мн.: *служители*, с. 8, *языки*, с. 19, *поступки*, с. 25, *человѣки*, с. 51; *людми*, с. 5, 12 [bis], 17, 66; *глупостми*, с. 33, *добродѣтели*, с. 73, *долгостми*, с. 80. И в этом случае не обнаруживается никакой лексической обусловленности старых флексий, неравномерности в их дистрибуции или их стилистического использования (ср., в частности, характерную новую флексию в форме *человѣкамъ*, с. 78 в цитате из Иеронима, содержащей реликтовые признаки книжности).

Встает вопрос, насколько подобный узус отражает формирование нового языкового стандарта в печатных изданиях Петровской эпохи, их поиски оптимального варианта новой нормы (с сохранением или несохранением старых флексий в «малых» классах), а насколько этот узус может рассматриваться как результат «естественной» эволюции одного из типов более раннего употребления (свойственного одному из регистров письменного языка предшествующего периода). Ответ на этот вопрос может дать «История Петра Великого» Феофана Прокоповича, в которой в полной мере реализуется отталкивание от церковнославянского, выражающееся в устранении маркированно книжных элементов и создающее основу «простого» языка Петровской эпохи, но отсутствует какое-либо манипулирование с элементами, не релевантными для противопоставления книжного и не книжного языка, т. е. те зачатки нормализаторской установки, которые характерны, в частности, для «Географии генеральной» и «Библиотеки» Аполлодора. В силу этого «История» может служить пробным камнем для выявления феноменов нормализации, присущих филологической деятельности книжников, связанных с Московским печатным двором (Федора Поликарпова с «честным клеветством», как сказано в предисловии к «Географии генеральной»).

Данные, сообщаемые «Историей Петра Великого» (РГАДА, ф. 9, оп. 1, № 1), интерпретируются практически однозначно. Они могут быть суммированы в следующей таблице:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	47	14	1	—	3	11	1
	амь/амь	31	4	12	6	—	2	4
М.	ехь/ѣхь	5	—	6	—	—	3	4
	ахь/ахь	26	4	26	5	—	3	2
Т.	ы/и	44	2	10	5	—	—	—
	ами/ами	78	9	11	3	1	—	—
	ми	—	2	—	1	—	8	13

Как можно видеть, употребление новых флексий не является здесь доминирующим, новые флексии составляют лишь 55,77 % от общего объема, и это сразу отделяет данный текст от рассмотренных выше памятников гражданской печати. Распределение старых и новых флексий по разным классам существительных ближайшим образом напоминает памятники гибридного языка, что согласуется с общей оценкой «Истории Петра Великого» как текста, основанного на гибридной традиции, но устранившего признаки книжности. У существительных м. рода о-склонения наиболее продвинутым является местн. мн. (85,71 % новых флексий), затем следует тв. мн. (64,44 %), наиболее консервативен дат. мн. (36,46 %); в качестве общей черты текстов на «простом» языке в дат. мн. можно отметить большую консервативность мягкой разновидности. У существительных ср. рода о-склонения наиболее продвинутым является дат. мн. (94,74 % новых флексий), затем следует местн. мн. (83,78 %), меньше всего инноваций в тв. мн. (46,67 %). Малые классы ведут себя по-разному, их оппозиция с «большими» классами не выражена столь отчетливо: если в «больших» классах пропорция старых флексий — 38,02 %, то в «малых» — 78,57 % (т. е. пропорция старых флексий увеличивается в «малых» классах лишь вдвойне, тогда как в обследованных выше текстах наблюдалось превышение в пять-семь раз). У существительных ж. рода і-склонения обычная для гибридных памятников предшествующего периода картина: новые флексии составляют 80 % в дат. мн., 33,33 % в местн. мн. и полностью отсутствуют в тв. мн.; отсюда очевидно, что консервативность данного класса в «Географии генеральной» обусловлена специфической установкой последнего текста, связанной с оценкой соответствующих форм как санкционированных грамматической традицией. Более консервативны существительные м. рода і-склонения: новые флексии представлены здесь лишь в небольшом числе форм (18,52 %, причем в местн. мн. 50 % новых флексий, в дат. мн. — 15,38 %, в тв. мн. — 0 %). Определенная консервативность присуща и существительным м. рода С-склонения (материал недостаточен для выводов): в дат. мн. имеется 3 формы со старой флексией, в тв. мн. — одна с новой. Ограниченность инноваций в последних двух классах показывает, что мы имеем здесь дело с нормативными навыками письма, свойственными не только кругу типографских филологов.

Старые флексии встречаются в следующих формах. Дат. мн.: *стрелцомъ*, л. 6 об., 9, *указомъ*, л. 8 об., *царемъ*, л. 10, 10 об., *княземъ*, л. 10, *монархомъ*, л. 10 об., *туркомъ*, л. 21 об., *шведомъ*, л. 24 об., 26 об., 39, 56, 56 об., 79 об., 105, 127 об., 137, 153 об., 158 об., 160 об., 166, *договоромъ*, л. 26, 56 об., *офицеромъ*, л. 45, *осажженцомъ*, л. 54, *аманатомъ*, л. 55, *работникомъ*, л. 62, *мужемъ*, л. 65 об.,

66 об., 70 об., *подвигомъ*, л. 66 об., 72 об., *полкомъ*, л. 68 об., *предѣломъ*, л. 70 об., *помощникомъ*, л. 75 об., *палисадомъ*, л. 78, *барабанищикомъ*, л. 79 об., *афицеромъ*, л. 80 (bis), *камандиромъ*, л. 87, *жителемъ*, л. 89, *краемъ*, л. 108 об., 109, *куриеромъ*, л. 108 об., *нравомъ*, л. 131 об., *учителемъ*, л. 134 об., *полякомъ*, л. 135 об., 137, *противникомъ*, л. 136, *служителемъ*, л. 137 об., *лѣсомъ*, л. 153 об., *монастыремъ*, л. 158, *умысломъ*, л. 159, *сотникомъ*, л. 161, *архиереомъ*, л. 162, *казакомъ*, л. 177 об., *запорожцемъ*, л. 177 об., *купцомъ*, л. 177 об., *солдатомъ*, л. 184, *трудо*, л. 189; *дѣломъ*, л. 68; *татаромъ*, л. 13, *россияномъ*, л. 144, 187; *людемъ*, л. 11 об., 13 об., 15 об., 131 об., 135 об. [bis], 157, 167 об., 179 об., 172 об., 182, *путемъ*, л. 67 об.; *властемъ*, л. 167 об. Местн. мн.: *дворѣхъ*, л. 15 об., *конѣхъ*, л. 15 об., *трудоѣхъ*, л. 59 об., *частьхъ*, л. 118, *замыслѣхъ*, л. 124; *дѣлѣхъ*, л. 10, 11 об., 132 об., *лѣтѣхъ*, л. 25, *мѣстѣхъ*, л. 137 об., 171 об.; *людѣхъ*, л. 15 об., 162 и т. д. Тв. мн.: *барабаны*, л. 4, 193 об., *министры*, л. 4, 11, 38 об., 94 об., 184, *товарыщи*, л. 9, *образы*, л. 11, *единомышленники*, л. 12, 194, *припасы*, л. 13 об., 32, 67, 160, *салдаты*, л. 20, 108, *казаки*, л. 26, *иноземцы*, л. 27 об., *афицеры*, л. 30 об., 57, 191 об., *драгуны*, л. 30 об., 103 об., *палисады*, л. 31, *супруги*, л. 43 об., *полки*, л. 51 об., 192 об., *подвиги*, л. 60, *островы*, л. 61 об., *демоны*, л. 63, *командиры*, л. 70, *богинеты*, л. 78 об., *предводителми*, л. 86, *монастыри*, л. 111, *началники*, л. 111, *уборы*, л. 123, *приговоры*, л. 132 об., *баталионы*, л. 146 об., *указы*, л. 158 об., *неприятелми*, л. 168, *полоняники*, л. 183, *генералы*, л. 184, *редуты*, л. 187, *полковники*, л. 191 об., *штандарты*, л. 193 об.; *знамены*, л. 4, 193 об., *превращенми*, л. 7, *уличении*, л. 17, *знамении*, л. 17, *обиждении*, л. 26 об., *словесы*, л. 47 об., *войски*, л. 50, 103, 108 об., 160, *здании*, л. 66, *поведении*, л. 184 об. и т. д.; *людми*, л. 26, 152 об., 186, *дѣтми*, л. 67, *гостѣми*, л. 128 об. и т. д.; *повѣстьми*, л. 111, *лестми*, л. 136, *хитростми*, л. 136, 161 об., *корыстми*, л. 146 об., *прелестми*, л. 175, *лошадми*, л. 191 об. и т. д. Укажу также на основы *a*-склонения, принимающие флексии *o*-склонения: дат. мн. *гоубицемъ*, л. 48, тв. мн. *рогатки*, л. 31, *пушки*, л. 35, 35 об., 36, 114, *эмблемы*, л. 47 об., *литавры*, л. 173 об. Употребление старых флексий не мотивировано ни лексически, ни стилистически, ни композиционно.

Таким образом, в Петровскую эпоху в рамках развития «простого» языка намечается два направления, которые условно можно назвать «реформаторским» и «нейтральным». Первое направление представлено печатными изданиями петровского времени, использовавшими гражданский шрифт, второе с реформой азбуки и сопутствовавшими ей культурными преобразованиями прямо не связано. Оба эти направления отталкиваются от сложившихся письменных традиций и сознательно порывают с церковнославянским языковым наследием, что и выражается в устранении признаков книжности. «Нейтральное» направление этим устранением и ограничивает задачу создания нового «простого» языка. В силу этого тексты, создаваемые в рамках этого подхода (такие как «История Петра Великого»), обнаруживают непосредственную преемственность с узусом гибридного регистра.

Такая преемственность не исключена и для текстов «реформаторского» направления. На нее указывает тот факт, что в них воспроизводится та схема распределения инноваций по падежам у существительных м. рода *o*-склонения, которая известна нам по гибриднему узусу XVII в.: наименьшее количество старых

флексий обнаруживается в местн. мн. Эту схему, т. е. $L > I > D$, мы находим в «Библиотеке» Аполлодора и в «Юности честном зерцале». Распределение старых и новых флексий у существительных ср. рода *o*-склонения в этих памятниках также напоминает гибридные тексты с широко представленной *a*-экспансией. Общий объем новых флексий существенно возрастает, но через эту новую фактуру просвечивают старые письменные навыки.

Вместе с тем два направления различаются в своем отношении к немотивированной вариативности. Для «нейтрального» направления эта вариативность значения не имеет и ограничениям не подвергается; поэтому как объем *a*-экспансии, так и распределение старых и новых флексий по классам никаких существенных инноваций сравнительно с текстами XVII в. не обнаруживает (именно такова картина в «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича). Для «реформаторского» направления немотивированная вариативность выступает, видимо, как признак необработанности письменного языка. Принципы устранения такой вариативности остаются, однако, несформированными. Это выражается, в частности, в том, что правка по соответствующим параметрам окказиональна и непоследовательна; сама интенция, тем не менее, очевидна.

Данная интенция воплощается и в том, что *a*-экспансия получает в «реформированных» текстах иную реализацию, нежели в памятниках предшествующего столетия или в «нереформированной» письменности Петровской эпохи. Прежде всего, существенно возрастает объем *a*-экспансии, новые флексии оказываются доминирующими, и данный момент означает отрыв (скорее всего, в той или иной мере сознательный) от существовавших письменных традиций. В особенности это относится к «большим» классам: у существительных м. и ср. рода *o*-склонения, составляющих основной массив релевантных форм, старые флексии делаются редким исключением.

В то же время малым классам (существительные ж. и м. рода *i*-склонения, существительные м. рода *C*-склонения) может быть свойствен определенный консерватизм, который также носит явно искусственный характер. В одних случаях (как в переводе книги Буйе) новые формы доминируют и в малых классах (по крайней мере у существительных ж. рода *i*-склонения), тогда как в других (в «Географии генеральной» или «Библиотеке» Аполлодора) малые классы сохраняют большую пропорцию старых форм. При обоих решениях немотивированная вариативность должна в принципе существенно сокращаться: в одном случае за счет универсализации новых флексий, в другом — за счет дополнительной дистрибуции, при которой новые флексии употребляются в больших классах, а старые — в малых. Второе решение может быть привлекательно для книжников московского Печатного двора, поскольку подобная нормализация позволяет хотя бы в рамках периферийной морфологической подсистемы сохранить те морфологические варианты, которые могут представляться им освященными грамматической традицией. Сосуществование разных версий формируемого языкового стандарта характерно для того узуса, который возникает в результате разрушения системы регистров и образования «петровского пула».

Понятно, что само вытеснение старых флексий следует объяснять не влиянием живой речи (оно могло бы иметь место и раньше и в любом случае не может объяснить резкого перелома в употреблении), а стремлением к переустройству

нового письменного языка, к созданию нового языкового стандарта. Это стремление осуществляется прежде всего в рамках деятельности справщиков Московской типографии и реализуется как тенденция к устранению немотивированной вариативности форм. При такой направленности реформационной деятельности естественным выбором оказываются новые флексии; этот выбор соответствует тому, что новая культурная политика побуждала к разрыву с традицией, т. е. к игнорированию ориентации на образцы. Как мы знаем по текстам XVII в., чем меньше ориентированность на образцы, тем больше объем *a*-экспансии. Понятно, что резкий отказ от образцов приводит и к резкому перелому в употреблении. Естественно, мы имеем дело в данном случае с сознательным выбором, а не с неконтролируемым воздействием живого языка.

2.2. Завершение нормализации и опыты стилистического использования старых флексий

Дальнейшая судьба двух обозначенных выше направлений *a* ргіогі очевидна. Поскольку культурное развитие, а потому и становление языкового стандарта связано в первую очередь с государственным просвещением, основным ориентиром оказывается гражданская типографская продукция, до конца 1750-х годов практически полностью сосредоточенная в Академической типографии в Петербурге. Академические филологи продолжают то «реформаторское» направление, которое характеризовало деятельность Московского печатного двора, они явно ориентируются на печатные издания Петровской эпохи. В эту традицию они привносят сознательную и последовательную нормализацию морфологических вариантов. Нормализованный академическими филологами узус делается господствующим в печатных изданиях послепетровского времени, и тем самым в нем получают развитие те тенденции, которые обнаруживаются в обследованных выше текстах. В то же время академическая нормализация в значительной степени замкнута в кругу академических авторов и переводчиков и лишь весьма постепенно оказывает влияние на читателей их продукции. В этих условиях «нейтральная» традиция может существовать еще достаточно длительное время, но существовать лишь на периферии регламентируемого петербургскими реформаторами культурного пространства, существовать как реликт былой неупорядоченности.

В силу того что эта неупорядоченность не поддерживается разговорным узусом, а целиком (за исключением, возможно, лишь форм тв. мн. существительных *i*-склонения) обусловлена связью с предшествующими правописными навыками, она не может не стать постепенно уходящей чертой, не воспринимаемой новыми поколениями книжников, ориентирующимися на академическую печатную продукцию. Таким образом, временем кардинальной перестройки оказывается именно Петровская эпоха, когда разрыв с предшествующими традициями и установка на создание нового узуса не только обесценивает старый книжный язык и старую литературную традицию, но и постепенно подрывает основы той преемственности, которая образуется естественной рецепцией сложившейся орфографической практики. В Петровскую эпоху уже закладывается то направление реформирования, которое к концу XVIII в. приводит к норме, практически не отличающейся от нормы современного литературного языка.

Прямое продолжение реформационного направления в употреблении форм существительных в косвенных падежах мн. числа находим в «Кратком описании комментариев Академии наук» (Краткое описание 1728). Как мы знаем (см. § П.3), узус разных переводчиков, готовивших это издание, в ряде моментов был различен. К сожалению, недостаточный объем текстов не позволяет сравнить эти различные варианты «протоакадемического» узуса друг с другом. Однако можно проанализировать употребление, характерное для одного из них, а именно для той части, которая может быть приписана Ивану Ильинскому (там же, 125—207). Статистические данные для этой части предстают в следующем виде:

		м. р. <i>о</i> -скл.	м. р. <i>јо</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл.	ср. р. <i>јо</i> -скл.	м. р. <i>С</i> -скл.	м. р. <i>і</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омь/емь	—	1	—	—	1	1	—
	амь/амь	30	7	15	1	12	—	2
М.	ехь/ьхь	3	1	5	—	—	1	3
	ахь/ахь	35	5	23	14	—	—	7
Т.	ы/и	—	1	4	—	1	—	—
	ами/ами	36	3	27	9	—	2	2
	ми	—	2	1	1	—	2	12

Общая пропорция новых форм составляет здесь 85,19 %, что лишь ненамного превышает известные по большинству петровских изданий параметры. Распределение старых и новых форм по классам существительных и по падежам в основном напоминает то, которое было отмечено нами в «Географии генеральной». У существительных м. рода *о*-склонения наиболее продвинуто в плане *а*-экспансии дат. мн., в котором новые флексии фиксируются в 97,37 % случаев, затем идет тв. мн. с 92,87 % новых флексий, и на последнем месте местн. мн. с 90,91 % новых флексий. У существительных ср. рода *о*-склонения старые флексии полностью отсутствуют в дат. мн., в местн. мн. объем *а*-экспансии достигает 88,1 %, в тв. мн. — 85,71 %; и в этом случае ближайшую аналогию находим в «Географии генеральной». На связь с «реформаторским» направлением указывает и оппозиция «больших» и «малых» классов: если для первых пропорция старых флексий составляет всего 8,48 %, то для последних — 45,65 % (превышение более чем в пять раз).

Такой узус может рассматриваться как последовательное движение по тому пути, который был проложен книжниками Московской типографии времен Федора Поликарпова: пропорция новых флексий возрастает при сохранении основных параметров их распределения. В отличие от того радикального сдвига, который имел место в 1728 г. в употреблении форм инфинитива (см. § П.3) и в словоизменении прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа (см. § IV.2.2), в употреблении форм существительных в косвенных падежах столь резкого слома не видно; нормализационные решения, видимо, данную подсистему еще не затрагивают. Во всяком случае тот узус, который мы находим в «Примечаниях к ведомостям» 1728 г., может рассматриваться как еще один (постепенный) шаг в том движении, которое обозначено «Географией генеральной» и «Кратким описанием». Данные «Примечаний к ведомостям» за 1728 г., №№ I—VII (Примечания 1728, 1—56) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	1	—	—	—	1	3	—
	амь/амь	16	1	1	2	1	—	—
М.	ехь/ѣхь	1	—	2	—	—	—	1
	ахь/ахь	20	3	21	5	—	1	19
Т.	ы/и	—	—	—	—	—	—	—
	ами/ами	16	4	3	—	—	—	1
	ми	—	—	—	—	—	2	—

Общая пропорция новых флексий составляет здесь 91,2 %. У существительных м. рода *o*-склонения наиболее продвинут в плане *a*-экспансии тв. мн., где старые флексии вообще не представлены, в местн. мн. и дат. мн. имеется по одному примеру старой формы. У существительных ср. рода *o*-склонения старые флексии полностью отсутствуют в дат. мн. и тв. мн., в местн. мн. объем *a*-экспансии достигает 91 %. Присутствует и указывает на преемственность с «реформаторским» направлением оппозиция «больших» и «малых» классов: если для первых пропорция старых флексий составляет всего 4,21 %, то для последних — 22,22 % (превышение более чем в пять раз). Таким образом, продолжают действовать прежние принципы стандартизации узуса, но при этом стремление избавиться от немотивированной вариативности реализуется более радикальным образом. Старые флексии представлены в следующих формах. Дат. мн.: *Кардиналомь*, с. 27; *хрїстіаномь*, с. 49; *людемь*, с. 28, 44, 53. Местн. мн.: *годѣхь*, с. 11; *дѣлѣхь*, с. 9, 17; *вещехь*, с. 24. Тв. мн.: *людми*, с. 21, *дѣтми*, с. 35. Какая-либо стилистическая или лексическая мотивированность старых флексий отсутствует.

Как обнаруживается при анализе употребления инфинитива и форм прилагательных в им.-вин. мн. числа (см. § II.3; § IV.2.2), последние три выпуска «Примечаний к ведомостям» за 1728 г. отходят от той нормализаторской установки, которая характерна для первых семи выпусков за этот год. Этот отход на старые позиции наблюдается и в употреблении существительных в косвенных падежах мн. числа, хотя, возможно, и не в столь радикальной форме. Текст слишком мал для полноценного статистического анализа, однако некоторые выводы все же могут быть сделаны. В абсолютных цифрах параметры распределения старых и новых флексий имеют следующий вид:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	2	2	1	—	—	—	2
	амь/амь	4	2	1	5	1	—	—
М.	ехь/ѣхь	1	—	1	—	—	2	1
	ахь/ахь	13	1	—	4	—	1	6
Т.	ы/и	—	—	2	—	—	—	—
	ами/ами	11	2	5	—	—	—	—
	ми	—	—	—	—	—	—	1

Новые формы доминируют и в этом материале, однако пропорция их существенно ниже, чем в первых семи номерах «Примечаний к ведомостям», она составляет 78,57 %. Особенно выразительно различие в пропорции старых флексий

в больших классах. Если в первых семи номерах она составляла 4,21 %, то в последних трех — 15,79 %. Соответственно не столь разительно противостояние больших и малых классов, в последних пропорция новых флексий составляет 16,15 %, т. е. всего в три раза больше, чем в больших классах. Старые флексии представлены в следующих формах. Дат. мн.: *преступникомъ*, с. 72, *младенцемъ*, с. 74, *мужемъ*, с. 74, *градомъ*, с. 79; *отрочатемъ*, с. 74; *частемъ*, с. 63, *областемъ*, с. 79. Местн. мн.: *домѣхъ*, с. 72; *тѣлехъ*, с. 74, *днехъ*, с. 66, *людехъ*, с. 77; *скорбѣхъ*, с. 77. Тв. мн.: *таинствы*, с. 66, *лекарствы*, с. 77; *вещми*, с. 57. Какая-либо стилистическая или лексическая мотивированность старых флексий отсутствует, старые и новые образования могут свободно соседствовать друг с другом, ср.: *домѣхъ* и *домахъ*, с. 72, *лекарствами* и *лекарствы*, с. 77 и т. д.

Унифицирующие узус нормализационные правила вырабатываются для форм существительных в косвенных падежах мн. числа не так скоро, как для форм инфинитива (см. §.II.3) или форм прилагательного в им.-вин.падеже мн. числа (см. § IV.2.2). Возможно, причина здесь в относительно меньшей частоте данных форм: до периферии руки доходят не в первую очередь. Во всяком случае в «Примечаниях к ведомостям» за 1729 г. никакого ощутимого сдвига в сторону более нормализованного употребления не происходит. Обследование двух выборок (Примечания 1729, 145—184, 233—278) принесло следующие статистические результаты:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	—	4	—	—	—	2	—
	амь/амь	15	2	8	5	3	2	—
М.	ехъ/ѣхъ	3	1	9	—	—	1	—
	ахъ/ѣхъ	38	45	28	34	—	1	36
Т.	ы/и	—	—	2	—	—	—	—
	ами/ами	39	6	10	6	2	—	1
	ми	—	3	—	—	—	2	1

Пропорция новых флексий составляет здесь 90,94 %, т. е. остается на том же уровне, что и в первых номерах за 1729 г. В распределении старых и новых форм по классам и падежам имеются, однако, некоторые отличия, вряд ли, впрочем, значимого характера. При столь редком употреблении старых флексий подсчет относительной продвинутой а-экспансии в разных падежах у существительных о-склонения не слишком показателен; отметим, однако, что — знакомым нам образом — наиболее консервативным оказывается дат. мн. (80,95 % новых флексий), наименее консервативным местн. мн. (95,40 % новых флексий), а тв. мн. располагается между ними (93,75 % новых флексий). Аномально для нормализаторского направления соотношение пропорции старых форм в «больших» и «малых» классах. Если в «больших» классах данная пропорция составляет 8,52 %, то в «малых» — 11,76 %, т. е. менее, чем в полтора раза больше. Объясняется эта аномалия достаточно просто: абсолютное доминирование новых флексий в «малых» классах обеспечивается безальтернативным употреблением новых флексий в местн. мн. существительных ж. рода і-склонения; подавляющее большинство этих употреблений (29 примеров) приходится на форму *въдомостяхъ* (остальные

примеры в этом подклассе: *надписяхъ*, с. 156, *печаляхъ*, с. 180, *частяхъ*, с. 243, *областяхъ*, с. 254, *вещахъ*, с. 259, 260, 261); если бы не эта форма, разрыв между «большими» и «малыми» классами существенно увеличился бы.

Старые формы в своем большинстве производят впечатление реликтовых употреблений. Они не обладают какой-либо стилистической или функциональной нагрузкой, но встречаются (по крайней мере, в дат. мн. и местн. мн.) преимущественно в формах одних и тех же лексем, что указывает, видимо, на отработанные автоматические навыки написания отдельных слов и выражений, сопротивляющиеся нормализационной регламентации. Старые формы употребляются в следующих случаях: Дат. мн.: *тамошнимъ жителемъ*, с. 235, 238, *бразіііскимъ жителемъ*, с. 239, *ученымъ мужемъ*, с. 259; *людемъ*, с. 277, 278. Местн. мн.: *въ Прусъхъ*, с. 172, *послѣдующихъ годѣхъ*, с. 256, *въ вышепомянутыхъ годѣхъ*, с. 264, *свидѣтелехъ*, с. 246; *въ первыхъ числѣхъ*, с. 146, *на всѣхъ мѣстѣхъ*, с. 163 (ср. *на всѣхъ мѣстахъ*, с. 166), *и въ другихъ мѣстѣхъ*, с. 264, *о 12 лѣтѣхъ*, с. 173, *въ ея малыхъ лѣтѣхъ*, с. 182, *въ самыхъ младыхъ лѣтѣхъ*, с. 184, *въ младыхъ лѣтѣхъ*, с. 184, *въ самыхъ своихъ младыхъ лѣтѣхъ*, с. 184, *въ молодыхъ вашихъ лѣтѣхъ*, с. 184; *дѣтѣхъ*, с. 182. Тв. мн.: *непріятелми*, с. 167, *родителми*, с. 182, *мужми*, с. 184; *доказателствы*, с. 254, 259; *людми*, с. 170, *дѣтми*, с. 184; *податѣми*, с. 257.

Ровно ту же картину мы находим и в «Примечаниях к ведомостям» за 1731 г. При обследовании двух выборок (Примечания 1731, 1—44, 237—268) были получены следующие результаты:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	—	2	—	—	1	1	—
	амь/амь	25	4	2	6	1	—	1
М.	ехъ/ѣхъ	6	—	4	—	—	1	—
	ахъ/ѣхъ	34	12	16	37	—	2	26
Т.	ы/и	—	—	—	—	—	—	—
	ами/ами	35	3	5	11	1	2	4
	ми	—	1	—	—	—	1	—

Пропорция новых флексий составляет здесь 93,03 %, т. е. существенно — сравнительно с «Примечаниями» за 1729 г. — не возрастает. Теми же чертами и в силу тех же обстоятельств характеризуется и соотношение «больших» и «малых» классов. В первых пропорция старых флексий составляет 6,40 %, во вторых — 9,76 %. Старые формы употребляются без какого-либо функционального или стилистического задания, они вообще никак не мотивированы. Старые флексии находим в следующих примерах. Дат. мн.: *читателемъ*, с. 3, 28; *Римляномъ*, с. 22, *людемъ*, с. 8. Местн. мн.: *годѣхъ*, с. 34, *частѣхъ*, с. 246, *городѣхъ*, с. 252, 268, *походѣхъ*, с. 256, *народѣхъ*, с. 256; *лѣтѣхъ*, с. 11, 12, *мѣстѣхъ*, с. 247, 248; *людехъ*, с. 44. Тв. мн.: *начинателми*, с. 39, *людми*, с. 258.

Вскоре, однако, наступает черед и для регламентации окончаний существительных в косвенных падежах мн. числа. Так, в «Примечаниях» 1734 г. находим уже принципиально иной уровень нормализации, практически не оставляющий места для немотивированной вариативности. Здесь новые флексии употребляются в 98,13 % случаев, причем в больших классах старые флексии вообще отсутству-

ют. При том что старые флексии оказываются редким исключением, статистические параметры прямого интереса не представляют и приводятся нами лишь для сопоставления с ранее описанным материалом. Подсчеты охватывают с. 1—120 «Примечаний к ведомостям» за 1734 г., за исключением с. 57—62, которые содержат гетерогенный по своим лингвистическим характеристикам текст. Статистические данные выглядят следующим образом:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	—	—	—	—	—	1	—
	амь/АМЬ	18	6	5	9	2	2	3
М.	ехь/ѣхь	—	—	—	—	—	—	—
	ахь/АХЬ	39	8	28	25	—	2	9
Т.	ы/и	—	—	—	—	—	—	—
	ами/АМИ	65	13	12	10	—	—	6
	ми	—	—	—	—	—	4	—

Старые флексии встречаются в анализируемой выборке исключительно у существительных м. рода *i*-склонения в формах слов *люди*, *дѣти*: *людемь* (Примечания 1734, с. 64, 136, 180 — наряду с *людямь*, с. 38), *людьми* (с. 78, 113, 117), *дѣтими* (sic! — с. 104). Вне анализируемой выборки старые флексии появляются также в тв. мн. существительных ж. рода *i*-склонения, ср.: *крѣпостьми* (с. 172), — впрочем, на фоне доминирующего употребления новых флексий: *принадлежностями* (с. 85, 86), *лѣтописями* (с. 86), *маетностями* (с. 94), *добродѣтелями* (с. 143) и т. д. Подобное торжество *a*-экспансии несомненно обусловлено нормализацией, оно находится в прямом соответствии с нормами, предписываемыми грамматическим очерком Адодурова 1731 г. и вторым изданием «Немецкой грамматики» Шванвитца 1734 г. (см. § III.3.2). Такая последовательность в употреблении новых флексий бесспорно является инновацией и находится в оппозиции с узусом письменной речи своего времени.

Эта оппозиция наглядно проявляется в самом тексте примечаний. На с. 57—62 здесь напечатано «Описаніе оной церемоніи, съ которою прибывшіи въ Санкт-петербургъ 27 дня Генваря 1734 года персідской Посоль Ахметъ Ханъ принять...». Это описание было, видимо, официальным документом, присланным для публикации в «Примечаниях» и в силу этого не прошедшим через обычное для академических изданий редактирование. Текст отличен по языку от всего корпуса «Примечаний» (и поэтому исключен нами из анализируемой выборки) и демонстрирует совершенно иное распределение старых и новых форм в исследуемых нами случаях. В тв. мн. старые флексии невообразимо соседствуют здесь с новыми: *лакѣ* и *лакѣями* (с. 58), *служители* (с. 58), *уборы* (с. 60), *кавалеры* (с. 60), *государствы* (с. 61) наряду с *верхами* (с. 58, 59, 60), *рабами* (с. 61 — [bis]), *столами* (с. 62), *лошадьми* (с. 57, 58), *лошадми* (с. 59), а также *кареты* (с. 57, 59) наряду с *каретами* (с. 57). Таким образом, старый узус зримо присутствует в репертуаре академической языковой практики — как сознательно отвергаемая необработанность речи, допустимая, однако, и сохраняющая свой культурный статус у «чужих». На этом фоне искусственный характер проводимой академическими филологами нормализации очевиден. Можно предположить, что он связан

со стремлением к унификации, а не с непосредственной ориентацией на разговорную речь, поскольку такая ориентация, хотя и декларируется, но с выбором морфологических показателей прямо не соотносится.

Сходную эволюцию можно наблюдать и в публикациях Третьяковского 1730-х годов, хотя в них и может быть отмечена определенная специфика. Уже в «Езде в остров любви» употребление новых флексий носит доминирующий характер, новые флексии употребляются в 81 % случаев. Такая пропорция не укладывается, впрочем, в характерные для академической традиции параметры. Однако это отличие обусловлено стихотворными текстами «Езды». Действительно, если рассматривать лишь прозаический текст, пропорция новых флексий возрастает до 93,55 %, что уже вполне согласуется с показателями текстов нормализаторского направления. Приведу статистические данные, относящиеся к «Езде в остров любви» (Третьяковский, III, 639—732). В таблице в приводимых парах чисел первое указывает число употреблений в тексте в целом (и в прозаическом, и в поэтическом), второе — только в прозаическом тексте.

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	0/0	0/0	1/0	0/0	0/0	2/1	0/0
	амь/амь	6/5	1/1	7/3	2/2	0/0	2/1	7/5
М.	ехь/ьхь	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0	1/0	2/1
	ахь/ахь	11/8	3/2	13/9	4/4	0/0	0/0	5/3
Т.	ы/и	4/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	ами/ами	10/9	0/0	6/4	1/1	0/0	2/1	1/0
	ми	0/0	0/0	1/0	2/0	0/0	2/2	3/0

Не только общая пропорция новых форм в прозаическом тексте соответствует нормализованному академическому узусу, но и другие параметры свидетельствуют о следовании нормализаторским принципам. Так, в «больших» классах старые флексии полностью отсутствуют, тогда как в «малых» они составляют 28,57 %. Из четырех форм со старыми флексиями три приходятся на нормативные для этого времени *людемь* (Третьяковский, III, 669), *людми* (с. 683), *дьтми* (с. 710); одна форма ненормативна: *печальхь* (с. 653). Третьяковский, таким образом, исходит из тех же принципов нормализации, что и академические грамматисты.

Принципиально иную картину дает поэтический текст «Езды». Хотя его объем явно недостаточен для статистической обработки, некоторые параметры все же заслуживают внимания. Употребление новых флексий в поэтическом тексте не является доминирующим, их пропорция составляет лишь 60,53 %. «Малые» классы не противопоставлены «большим»: в первых старые флексии встречаются в 46,15 % случаев, во вторых — в 36 %. Такие характеристики свойственны, как явствует из разобранных выше текстов, «нейтральному» направлению (например, «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича). Следовательно, поэтический текст сознательно освобождается от тех нормализационных ограничений, которым следует текст прозаический. Распределение старых флексий по падежам существенно отличается при этом от того, которое мы находим в других, более ранних и прозаических, текстах «нейтрального» направления. Основная их масса приходится на тв. мн. В «больших» классах это особое положение тв. мн. выра-

жено еще сильнее, чем в «малых», ср.: *недруги* (с. 658), *цѣты* (с. 662, 690), *глазы* (с. 670). Специально следует указать здесь формы существительных ср.рода с флексией *-ми*, которые через год так радикально осудит Адодуров (см. § III.1.4): *плечьми* (с. 666), *желаньми* (с. 713), *вздыханьми* (с. 713). Все эти формы — как тв. мн., так и дат. мн. и местн. мн. — могут интерпретироваться как поэтические вольности. Таким образом, и в этом случае рубрика поэтических вольностей служит как средство легитимного сохранения традиционной книжной языковой практики в рамках нового литературного стандарта или, в иной перспективе, как средство приспособления академического языкового стандарта к задачам литературной практики, сохраняющей связь с традиционными книжными средствами выражения.

Приведу полный список старых форм, встречающихся в «Езде в остров любви» (перед номером страницы тех примеров, которые взяты из поэтического текста, поставлена звездочка). Дат. мн.: *словомъ* (с. *661), *людемъ* (с. 669, *729). Местн. мн.: *глазѣхъ* (с. *674), *днехъ* (с. *680), *печальѣхъ* (с. 653), *сластьѣхъ* (с. *731). Тв. мн.: *недруги* (с. *658), *цѣты* (с. *662, *690), *глазы* (с. *670); *плечьми* (с. *666), *желаньми* (с. *713), *вздыханьми* (с. *713); *людми* (с. 683), *дѣтми* (с. 710); *рѣчьми* (с. *658), *страстми* (с. *680), *ночми* (с. *720). Существенно отметить, что старые формы, хотя и выступают прежде всего как поэтическая вольность, однако никакой стилистической функции они не выполняют и лексически не мотивированы.

Употребление старых форм как поэтических вольностей показывает (как и в случае с инфинитивом на *-ти* — см. § II.3), что они являются ненормативными и осознаются в качестве таковых. Хотя рубрика поэтических вольностей допускает, видимо, употребление любых старых форм, особенно часто в качестве *licentia* выступает тв. мн. Причины различной трактовки дат. мн. и местн. мн., с одной стороны, и тв. мн. — с другой, вполне при этом очевидны: старые и новые флексии дат. мн. и местн. мн. равносложны, тогда как в тв. мн. старые флексии позволяют сократить стих на один слог. Поскольку выдержанность метра для ранней поэзии Третьяковского явно представляет проблему, для решения которой он прибегает к использованию целого ряда ненормативных языковых форм, нет ничего удивительного, что в их число попадают и формы тв. мн. со старой флексией.

Достоин внимания, вместе с тем, что — в отличие от форм инфинитива на *-ти* — формы тв. мн. со старыми флексиями не включены в списки поэтических вольностей в «Новом и кратком способе» 1735 г. (см. § II.4; ср.: Живов 1996, 221—242). Это, безусловно, не случайное опущение, а свидетельство изменения подхода, отражающее ту самую эволюцию, которую мы наблюдали в «Примечаниях к ведомостям»: старые флексии, включая и флексии тв. мн., выводятся за рамки допустимого — даже в качестве поэтической вольности. В Оде на сдачу города Гданска и в сопутствующем ей «Рассуждении о оде во обще» формы со старыми флексиями полностью отсутствуют, в частности, в тв. мн. и вне зависимости от прозаического или стихотворного характера текста. Ср. дат. мн.: *родамъ* (Третьяковский 1734, л. 4 об.), *стїхамъ* (л. 12 об.); местн. мн.: *пѣсняхъ* (л. 2 об. — от *пѣснь*), *брегахъ* (л. 8 об.), *роскатахъ* (л. 8 об.), *воинахъ* (л. 8 об.), *рѣчахъ* (л. 12 об.), *Грекахъ* (л. 13 об.), *Римлянахъ* (л. 13 об.), *Французахъ* (л. 13 об.), *Псалмахъ* (л. 14 об.); тв. мн.: *воинами* (л. 8 об.), *словами* (л. 12 об.), *стансами* (л. 12 об.), *рѣчами* (л. 12 об.), *языками* (л. 14 об.), *стїхами* (л. 14 об. [bis]), *словами*

(л. 14 об.). Новые флексии характеризуют здесь разные словоизменительные типы, однако материал слишком скуден, чтобы сделать какие-либо значимые выводы.

Существенно больший материал имеется в «Новом и кратком способе» 1735 г. Этот материал дает ясное свидетельство того изменения подхода, которое побуждает предполагать невключение старых форм тв. мн. в число поэтических вольностей. Приведу количественные данные и для данного памятника (Третьяковский 1735):

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	—	—	—	—	—	—	—
	амь/амь	17	1	5	—	2	—	2
М.	ехь/ьхь	—	—	—	—	—	—	—
	ахь/ахь	25	—	10	—	1	2	9
Т.	ы/и	—	—	—	—	—	—	—
	ами/ами	29	—	9	3	—	1	1
	ми	—	—	—	—	—	2	1

Как можно видеть, старые флексии абсолютно исключены здесь из употребления — равно в прозе и в стихах — кроме тв. мн. на *-ми* у существительных *i*-склонения, т. е. в рамках тех возможностей, которые кодифицируются грамматиками русского языка, начиная с Шванвитца и Адодурова (см. § III.3.3). Даже при чисто формальном подсчете, когда флексии тв. мн. на *-ми* у существительных *i*-склонения рассматриваются как старые, пропорция новых флексий составляет 97,5 %. Новые флексии полностью вытесняют старые не только в «больших», но и в «малых» классах, ср.: (дат. мн.) *Христіанамъ* (Третьяковский 1735, с. 36), *Коріюнамъ* (с. 47), *грудямъ* (с. 52), *ночамъ* (с. 52); (местн. мн.) *людяхъ* (с. 10 [bis]), *частяхъ* (с. 21), *вещахъ* (с. 40, 51), *речахъ* (с. 51), *мысляхъ* (с. 54 [bis], с. 55 [bis], с. 56, с. 57); (тв. мн.) частями (с. 21). Встречаются три формы тв. мн. на *-ми* у существительных *i*-склонения: *людьми* (с. 27, 29), *мысльми* (с. 57); эти формы принадлежат поэтическому тексту, однако нет основания связывать их появление с какой-либо вольностью. Таким образом, те формы, которые в 1730 г. рассматривались Третьяковским как ограниченно допустимые (в качестве ли варианта, если речь идет о формах дат. мн. и местн. мн., или в качестве поэтической вольности, если речь идет о тв. мн. на *-и*), в 1735 г. оказываются для него неприемлемыми. Естественно рассматривать эту эволюцию как составную часть академической нормализации⁵.

⁵ Эта же эволюция прослеживается, видимо, и при сопоставлении разных изданий «Немецкой грамматики» Шванвитца — имею в виду не кодифицированные формы в парадигмах (о них будет сказано ниже, § III.3.2), а русский текст грамматики. В ряде случаев старые флексии, окказионально встречающиеся в первом издании 1730 г., во втором издании 1734 г., отредактированном Адодуровым, подвергаются правке. Ср., например, местн. мн. *глагольхъ*, *жительхъ* (Шванвитц 1730, 11, 149) — *глаголахъ*, *жителяхъ* (Шванвитц 1734, 9, 89); *добродѣтелемъ* (1734, 165) — *добродѣтелямъ* (1730, 109). Примеры немногочисленны (см.: Бауманн 1973, 651; Рязанская 1988), правка не вполне последовательна (ср. сохранение формы *мужемъ* — 1730, 181; 1734, 131; *людемъ* — 1730, 353; 1734, 323), однако тенденция очевидна и отчетливо вписывается в разобранную выше эволюцию.

На первых порах академический языковой стандарт был реальным стандартом в основном только для тех, кто его выдумал, т. е. следовали ему сами академические филологи и те немногочисленные авторы, которые печатались в Академической типографии. Поэтому та линия развития, которую иллюстрируют академические сочинения, не является единственной, и ее доминирующий характер становится очевидным лишь в ретроспективе. Я уже упоминал выше о том, что «реформаторское» направление лишь постепенно вытесняет «нейтральное», продолжающее существовать вне основной линии развития литературного языка. Это в полной мере относится и к 1730-м годам. Характерной иллюстрацией «нейтрального» направления могут служить сочинения В. Н. Татищева. Так, анализ в интересующем нас аспекте его «Разговора дву приятелей о пользе науки и училищах» по Воронцовскому списку (ЛОИИ, ф. Воронцовых, оп. 1, № 1313 — см. публикацию: Татищев 1979, 51—132), отражающему третью редакцию этого трактата, которая возникла в конце 1730-х годов, демонстрирует исключительную близость многих параметров к характеристикам «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича (см. выше); вместе с тем на фоне этой близости вырисовывается определенная специфика, которая может быть отнесена на счет тенденций, действовавших в послепетровское время. Обратимся к абсолютным числовым данным анализируемого текста:

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	14	7	—	1	1	14	1
	амь/амь	51	10	30	3	5	—	3
М.	ехь/ѣхь	13	4	12	—	2	8	3
	ахь/ѣхь	62	3	56	27	—	3	15
Т.	ы/и	31	6	12	14	5	—	1
	ами/ами	54	5	15	11	2	—	3
	ми	—	1	—	—	—	7	3

Как и можно было ожидать, употребление новых флексий в «Разговоре дву приятелей» является доминирующим, их пропорция составляет 69,11 %. 30,89 % старых флексий явно отстоит, тем не менее, от тех 2—3 % (обусловленных прежде всего тв. мн. на *-ми*), которые характерны для «нормализаторского» направления; эта пропорция значительно ближе тем 44 %, которые мы обнаруживаем у Прокоповича, и напоминает ряд текстов Петровской эпохи, т. е. как раз того времени, когда складывались лингвистические навыки Татищева. Понятно, что, сравнительно с Прокоповичем, пропорция новых форм возрастает, но это тот рост, который можно интерпретировать как естественную эволюцию узуса, стимулированную ориентацией на престижную печатную продукцию, но не осложненную какой-либо целенаправленной регламентацией.

Распределение флексий по классам также весьма показательно. У существительных м. рода о-склонения наиболее продвинутым, как и у Прокоповича, является местн. мн. (79,27 % новых флексий), затем следует дат. мн. (74,39 %), наиболее консервативен тв. мн. (60,62 %); как и в текстах Петровской эпохи (на «простом» языке) в дат. мн. мягкая разновидность консервативнее твердой. У существительных ср. рода о-склонения наиболее продвинутым является дат. мн.

(97,06 % новых флексий), затем следует местн. мн. (87,37 %), меньше всего инноваций в тв. мн. (50 %); совпадение с Прокоповичем в данном случае разительно. Как и в других текстах «нейтральной» традиции противопоставление «малых» и «больших» классов выражено относительно слабо: если в «больших» классах пропорция старых флексий — 26,02 %, то в «малых» — 59,21 % (как и у Прокоповича, пропорция старых флексий увеличивается в «малых» классах лишь вдвое). У существительных ж. рода *i*-склонения новые флексии составляют 75 % в дат. мн., 83,33 % в местн. мн. и 42,86 % в тв. мн.; довольно большая пропорция новых флексий в тв. мн. на фоне более ранних памятников представляется безусловной инновацией. У существительных м. рода *i*-склонения новые флексии представлены лишь в местн. мн. (27,27 % новых флексий) и полностью отсутствуют в дат. мн. и тв. мн. Существительные м. рода *C*-склонения также несколько более консервативны, чем существительные «больших» классов: здесь в дат. мн. 83,33 % новых флексий, но в тв. мн. лишь 28,57 %, а в местн. мн. новые флексии отсутствуют.

Старые флексии употребляются в следующих случаях. Дат. мн.: *воином*, с. 65, *младенцем*, с. 67, 79, *идолом*, с. 75, *богом*, с. 75, *апостолом*, с. 76, 104, *советом*, с. 83, *евреем*, с. 94, *родом*, с. 99, *учеником*, с. 99, *языком*, с. 107, *поляком*, с. 115, *наследником*, с. 118, *человеком*, с. 119, *французом*, с. 120, *турком*, с. 120, *родителем*, с. 121, 124, 132, *хранителем*, с. 121; *преданием*, с. 86; *христианом*, с. 88; *людem*, с. 57, 62, 75, 81, 91, 92 [bis], 124, 128, 130, *зверem*, с. 75, *детem*, с. 101, 111, 128; *страстем*, с. 77. Местн. мн.: *вразех*, с. 64, *мужех*, с. 71, *апостолех*, с. 76, 80, *служителех*, с. 85, *народех*, с. 95, 119, *приказех*, с. 101, *городех*, с. 101, *домех*, с. 104, 107, *монастырех*, с. 113, *законех*, с. 115, 122, 128 [bis], *учителех*, с. 130; *местех*, с. 58, 74, 79 [bis], 126, 127 [bis], 131, *делех*, с. 64, 118, *летех*, с. 93, *чадех*, с. 119; *христианех*, с. 77, *славянех*, с. 82; *детех*, с. 51, 105, *людех*, с. 55, 57, 94, 109, 110, *днех*, с. 125; *страстех*, с. 64, *болезнех*, с. 64, *лошадех*, с. 106. Тв. мн.: *образы*, с. 55, 56, 57, 70, 73, *порядки*, с. 63, *оброки*, с. 65, *народы*, с. 71, 96, *вымыслы*, с. 72, *силлогисмы*, с. 76, *раскольники*, с. 76, *государы*, с. 81, *доводы*, с. 81, *плевелы*, с. 83, *законы*, с. 87, 115, 123, *толки*, с. 88, *бунты*, с. 88, *епископы*, с. 89, *способы*, с. 90, *поступки*, с. 90, *случаи*, с. 96 [bis], *идолопоклонники*, с. 99, *языки*, с. 99, *управители*, с. 103, *доходы*, с. 114 [ter], 115, *покои*, с. 114, *филозофы*, с. 118, *супруги*, с. 119, *родители*, с. 119, *холопы*, с. 128, *властителями*, с. 101; *воображении*, с. 57, *брашны*, с. 64, *употреблении*, с. 66, *обучении*, с. 66, *милосердии*, с. 72, *обстоятельства*, с. 72, 115, 117, 118, *неистовствы*, с. 75, *доказательства*, с. 76, *коварствы*, с. 77, *княжени*, с. 81, *наблюдении*, с. 87, *поучении*, с. 88, *толковании*, с. 88, *наказании*, с. 94, *начертании*, с. 94, *примечании*, с. 102, *исправлении*, с. 107, *богатствы*, с. 112, *государствы*, с. 115, *целомудрии*, с. 117, *чады*, с. 119 [bis], *основании*, с. 131; *египтяны*, с. 96, *татары*, с. 102 [bis], *бояры*, с. 120, *крестьяны*, с. 128; *людьми*, с. 69 [bis], 87, 117 [bis], *детьми*, с. 105, 107; *страстьми*, с. 71, *вещми*, с. 98, *властьми*, с. 122, *милостьми*, с. 107.

Какая-либо стилистическая или лексическая мотивированность старых флексий отсутствует, старые и новые образования могут свободно соседствовать друг с другом, ср.: *советом* и *советам*, с. 83, *детех* и *детях*, с. 51, *брашны* и *брашнами*, с. 64 и т. д.

Таким образом, мы видим, что Татищев продолжает «нейтральное» направление. Следует думать, что это обусловлено именно тем, что он непосредственно

не причастен академической нормализации. Его интересует нормализация орфографии как наиболее зримое проявление обустройства нового литературного языка и по этому поводу он может вступать в контакты с «академической» школой (см.: Успенский 1975, 76—91), он явно стремится к противопоставлению нового литературного языка старому (см.: Живов 1996, 180—181, 191—194) и в 1740-е годы может при редактировании устранять из своих ранних сочинений признаки книжности (см.: Запольская 1999; ср. § II.4). Противопоставление разбираемых флексий, однако, с признаками книжности не соотносится и в рамках противопоставления русского и церковнославянского Татищевым не осмысливается. Изменение узуса в трудах академических филологов, занятых нормализацией, обусловлено стремлением к уничтожению немотивированной вариативности и к морфологической унификации. Показательно, что это стремление Татищеву чуждо.

Вместе с тем важно отметить инновации Татищева сравнительно с Прокоповичем. Во-первых, имеет место определенный рост пропорции новых флексий — с 58 % до 69 %; можно предположить, что здесь сказывается не столько прогрессирующее влияние разговорного языка, сколько воздействие академической печатной продукции. Перед нами, следовательно, свидетельство того постепенного вытеснения «нейтрального» направления «реформационным», о котором было сказано выше; именно таким путем медленно утверждается общеобязательность языкового стандарта. Во-вторых, наиболее консервативным в «больших» классах оказывается тв. мн., причем степень отрыва тв. мн. от дат. мн. и местн. мн. не находит аналога в гибридных текстах второй половины XVII в. Это вряд ли может быть случайным обстоятельством. Эта ситуация может быть связана с большим различием старых и новых флексий в тв. мн., нежели в дат. мн. и местн. мн.; в тв. мн. отказ от старых флексий требует большего насилия над сложившимися письменными навыками, а потому старая флексия может осмысливаться как правомерный — в рамках письменного языка — способ выражения, как свидетельство разнообразия лингвистического опыта пишущего. У Татищева тем самым находит законченное выражение та тенденция, зачатки которой мы наблюдали в «Геометрии» 1708 г. С таким осмыслением естественно соотнести и употребление старой флексии в тв. мн. как поэтической вольности у раннего Третьяковского (см. выше); его *raison d'être* — в понятном нежелании отказываться от вполне привычных (для Третьяковского не в меньшей степени, чем для Татищева) форм, которые оказываются удобным подспорьем для соблюдения метра. Сравнительно с узусом Прокоповича, такое осмысление тв. мн. на *-ы/-и* безусловно является инновацией.

Таким образом, эволюция литературного языка нового типа разбивается (в исследуемом сейчас аспекте) на ряд закономерных этапов: первоначально тв. мн. на *-ы* в отличие от старых флексий дат. мн. и местн. мн. закрепляется как легитимизированное средство выражения письменного языка, затем оно получает оправдание как поэтическая вольность, хотя и устраняется из практики литературного языка в целом (в результате нормализации), наконец, вовсе выводится из употребления в силу стремления к возможно более полной унификации. Эта эволюционная схема манифестируется не только ранней поэзией Третьяковского, в которой тв. мн. на *-ы* допускается в стихотворном тексте, но и языковой практикой А. Кантемира. Его поэтические тексты в существенной их части могут рас-

смагиваться как проявление тех же лингвистических принципов, которые свойственны и раннему Третьяковскому.

Действительно, в прозаических текстах 1730-х годов, в качестве образца которых можно рассматривать «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля в его переводе, Кантемир старых флексий практически не употребляет, в том числе и старых форм тв. мн. Ю. С. Сорокин пишет об этом сочинении: «В парадигме существительных старые книжные формы единичны: “минувшим более пятнадцати тысяч *родом роз*” (158; см. здесь и оборот дательного самостоятельного); людем — дат. мн. (2 р.), однажды формы тв. мн.: “дорожки света... пересекаются меж собою безчисленными *образы*” (110) (...) Заметим, что в “Описании Парижа” находим больше старых форм: *чаровником, в домех, о делех*... Чаше являются старые формы тв.п. мн.ч. от сущ. м. и ж.р. с основой на мягкий согласный (...) ср. с *околичностьми, речми, гостьми, дверьми*... Но их нельзя признать книжными формами» (Сорокин 1982, 64—65). Такие параметры языковой практики вполне вписываются — если исключить формы *родом* и *образы* — в академическую традицию 1730-х годов, которая допускает и форму *людем*, и тв. мн. на *-ми* у существительных *i*-склонения.

На этом фоне поэтические тексты Кантемира того же периода, образцом которых могут служить сатиры, демонстрируют свою явную специфику. В сатирах в дат. мн. старые флексии полностью отсутствуют (Обнорский 1913, 58—59; в других стихотворениях, в частности, более ранних, единичные формы встречаются: *врагомъ, грѣшникомъ, зубомъ* — там же). Это же верно и для местн. мн. — если игнорировать три случайных, видимо, исключения — форму *домѣхъ* в III сатире (ст. 87) и V сатире (ст. 132, 501) (Обнорский 1913, 63); единичные примеры имеются и в других стихотворениях (*путѣхъ, человекѣхъ, вѣцѣхъ* — там же). С тв. мн. дело обстоит иначе. Хотя окончание *-ами/-ями* остается здесь доминирующим, старые флексии занимают достаточно устойчивое положение. С. П. Обнорский, проиллюстрировав употребление новых форм, отмечает: «Иногда окончание *-ами* чередуется или совершенно заменяется через *-ми*; в этом случае основа почти всегда исходит на палатальный согласный (или на *ј*-т). Таковы формы: М. рода: крайми VIII, 100 при краями V, 24; людьми IV, 42 V, 2, 64 VI, 157 VII 94, 141. Ж. рода: страстьми Песни IV, 2 дверьми IV, 189 мозольми II, 195 матери Разн. стихотв. I, 63 латми Разн. стих. IV, 104. Ср. рода: дѣтьми Пб 81 плечьми VIб 52 очьми III, 311 II, 152 устьми III, 104. Кроме окончания *-ами* (и *-ми*) для существительных муж. и ср. рода в сатирах известна и старая флексия на *ы*, (после *з, к, ш*) *и*: басурманы IX, 106 латины VI, 11 нравы Песни IV, 71 персты Разн. стихотв. IV, 115 Песни I, 30 писцы III, 196 совѣты Песни IV, 75 уставы V, 241 холопы VI, 35 браки Разн. стихотв. IV, 189 греки VI, 11 поступки V, 425 слоги Разн. стих. IV, 1 товарищи IV, 13 усты V, 734 при устами IV, 200 дѣлы III, 373 Разн. стихотв. I, 7, 42 IV, 229 Песни IV, 39 при дѣлами II, 356 III, 78» (Обнорский 1913, 61—62; Обнорский цитирует Кантемира по изданию С. А. Венгерова, воспроизводя его рубрики, без обозначения рубрики даются ссылки на сатиры).

Ясно, что тв. мн. на *-ы/-и* и на *-ми* используется как поэтическая вольность, обеспечивающая сокращение слога; дат. мн. и местн. мн. подобной вольности не допускает. Таким образом, в поэтической практике Кантемира воспроизводится та же модель, что и в ранних стихотворных опытах Третьяковского. В отличие от

Третьяковский, однако, Кантемир не отказывается от этой практики в своем дальнейшем развитии, а, напротив, декларирует ее в качестве законной (в «Письме Харитона Макентина» — см. § III.3.3). Определенный этап эволюции грамматической нормы оказывается, таким образом, закрепленным в особой творческой традиции, освященной авторитетным именем Кантемира.

На Кантемире эта традиция не обрывается. Во второй половине 1740-х годов к ней вновь возвращается Третьяковский. Наиболее показательным в этом отношении является его переложение Псалтыри (о нормополагающей функции этого текста как образца русского литературного языка нового типа, противопоставленного церковнославянскому, уже говорилось выше, см. § II.3; ср. еще: Живов 2002, 532—556). В этом тексте — как в стихотворной его части, так и в прозаической (Предупреждение и краткие изъяснения содержания и обстоятельств написания псалмов) — в дат. мн. и местн. мн. старые флексии полностью отсутствуют (как в «малых», так и в «больших» классах). Не делается никакой попытки использовать их в качестве поэтической вольности или стилистического средства, даже в том ограниченном объеме, как это имело место в стихах из «Езды в остров любви». Такая последовательность в употреблении определяется, надо думать, приверженностью академической «нормализаторской» традиции, полностью исключившей к данному времени старые флексии в формах этих падежей⁶.

В тв. мн. наблюдается иная картина. Старые флексии употребляются здесь в достаточно большом объеме (анализировалась лишь часть переложения, а именно первые триста страниц — Третьяковский 1989, 1—300, — что составляет более половины всего текста; выборка достаточна для достоверных выводов). Их пропорция составляет 22 %; из общего числа в 157 форм тв. мн. флексия *-ы/-и* встречается в 17 случаях, флексия *-ми* в 22 случаях (5 из них в форме *людьми*, при подсчете старых флексий эта форма не учитывается), флексия *-ами/-ями* в 118 случаях. При этом в прозаическом тексте употребляется исключительно флексия *-ами/-ями* (и *-ми* в форме *людьми*), ср.: *Стихами*, с. 3 [тег], 4, *Свѣтилами*, с. 5, *холмами*, с. 5, *учасниками*, с. 6, 93, *Псалмами*, с. 7, *Пророками*, с. 8, *врагами*, с. 43, 76, 289, 300, *непріятелями*, с. 24, 175, *вещами*, с. 62, 244, *склонностями*, с. 68, *устами*, с. 84, *народами*, с. 163, *рассужденіями*, с. 124, *Філістіянами*, с. 142, 197, *избавленіями*, с. 187, *знаками*, с. 187, *Иудеями*, с. 211, *дарами*, с. 239, *людьми*, с. 257, *дѣлами* 293 (всего 30 форм). Старые формы появляются только в поэтическом тексте и должны, следовательно, интерпретироваться как поэтические вольности (в ином случае следовало бы ожидать шесть или семь форм со старыми флексиями среди приведенных выше примеров из прозаического текста). Таковы прежде всего формы на *-ы/-и*: *Князи*, с. 11, 294, *зубы*, с. 20, *дѣлы*,

⁶ Третьяковский, видимо, непосредственно вовлечен в формирование этой традиции и учитывает новейшие результаты ее развития. Здесь показателен один частный момент. В грамматическом очерке Адогурова 1731 г. предусмотрены старые флексии дат. мн. и местн. мн. в парадигме *люди* и дат. мн. в парадигме *дѣти*. Новые флексии кодифицируются здесь в грамматике Гренинга 1750 г. (см. § III.3.3). Переложение Псалтыри соответствует этой последней норме, ср. здесь: *людямъ* (Третьяковский 1989, 45, 72, 74, 126, 162, 167, 170, 181, 191, 250, 255, 261*, 291 — звездочкой обозначены примеры, встречающиеся в прозаическом тексте); *дѣтѣмъ* (с. 51); *людяхъ* (с. 32, 34*, 184, 283).

с. 23, *Языки*, с. 49, *кровопивцы*, с. 68, *усы*, с. 168, *человѣки*, с. 229, 237, 273, 278, 280 [bis], *чады*, с. 295, *внуки*, с. 295, *привѣты*, с. 299.

К числу поэтических вольностей, т. е. ненормативных форм, допускаемых поэтическим текстом, следует отнести, видимо, и тв. мн. на *-ми* (кроме нормативных форм *людьми*, *дѣтьми*). С одной стороны, формы на *-ми* образуются у Тредиakovского не только от существительных *i*-склонения, и в этом случае они явно являются ненормативными. С другой стороны, в прозаическом тексте у существительных ж. рода *i*-склонения фиксируются исключительно формы на *-ями* (см. выше), так что правдоподобно, что они ненормативным и для этого класса. В поэтическом тексте находим: *мастьми*, с. 61, *очми*, с. 61, 240, 286, *верѣми*, с. 62, *пѣсньми*, с. 84, 110, 174, 257, 268, *костьми*, с. 127, *сѣтьми*, с. 148, *крѣпостьми*, с. 234, *степьми*, с. 281, *гусльми*, с. 283, *ушми*, с. 296, *плечми*, с. 296.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в конце 1740-х годов Тредиakovский отходит от тех позиций, которых он придерживался в середине 1730-х. Это должно быть определенным образом связано с общим изменением его теоретических воззрений, прежде всего на роль разговорного употребления и на природу русского литературного языка, которая начинает отождествляться с природой церковнославянского (см.: Успенский 1985, 175—183; Живов 1996, 277—287), однако характер связи неочевиден. Можно предположить, что изменение взгляда на природу русского литературного языка приводит к переоценке не только самой предшествующей книжной традиции, но и связанных с нею частных лингвистических навыков. В результате те элементы традиционной языковой практики (письменного языка), которые закрепляются в литературных текстах «нейтрального» направления, перестают быть объектом нормализаторского радикализма и находят место в синтезированном «славенороссийском» языке в качестве поэтических вольностей и — одновременно — стилистически маркированных характеристик языка. Старые формы могут при этом трактоваться как «усечение» новых (см. § III.3.3).

Задачи нормализации не становятся менее актуальными, однако их характер несколько меняется. Поскольку новое понимание природы русского литературного языка приводит к объединению русского и церковнославянского языкового материала, основным способом устранения немотивированной вариативности становится не ликвидация отдельных вариантов, а создание правил их дополнительной дистрибуции, в частности, жанрово-стилистической (ярче всего это проявляется в «Российской грамматике» Ломоносова). Сама рубрика поэтической вольности трансформируется, видимо, при этом в новую категорию. Допускаемые на данных основаниях архаические элементы из чистого подспорья в версификации превращаются в показатель высокого стиля в поэзии. Такое переосмысление на первый план выдвигает формы тв. мн. — как в силу того, что различие старых и новых форм выражено здесь наиболее ярко, так и в силу того, что они отличаются по числу слогов (превращение старых форм в стилистические характеристики поэтического текста опирается на традицию их употребления в качестве поэтических вольностей).

Само данное переосмысление становится возможным лишь на фоне завершающего процесса нормализации (отразившегося в грамматиках и в прозаических текстах). Завершение процесса нормализации приводит к тому, что старые флек-

сии (за исключением форм тв. мн. существительных *i*-склонения) вытесняются за рамки нормативного. Именно ненормативный статус старых флексий и создает возможность их стилистического использования. Действительно, на фоне немотивированной вариативности словосочетания типа *имярек с товарищи* воспринимаются как формула, содержащая допустимые морфологические элементы и потому специально не маркированная. Когда же немотивированная вариативность устраняется, само наличие ненормативных морфологических элементов выступает как отсылка к определенной языковой и культурной традиции и получает тем самым стилистическую и поэтическую значимость.

Ограничение этого стилистически мотивированного употребления формами тв. мн. не является принципиальным. Оно обусловлено связью с предшествующим употреблением, когда старые формы концентрировались именно в тв. мн. (как у Татищева), либо выступали как поэтическая вольность, позволяющая сократить слог (как у Кантемира и раннего Тредиаковского). Переход старых форм в разряд стилистических характеристик в контексте общего синтеза русского и церковнославянского языкового материала создает потенциальную возможность аналогичного использования старых форм дат. мн. и местн. мн. Эта возможность используется отнюдь не повсеместно, так что употребление старых форм дат. мн. и местн. мн. как стилистически маркированного элемента отнюдь не появляется как автоматический результат эволюции указанного выше направления и остается существенно более ограниченным, чем такое же употребление форм тв. мн.

В постоянных языковых экспериментах Тредиаковского и оно, однако же, находит себе место. Создавая эпический стиль «Гилемахиды», Тредиаковский прибегает к широкому использованию славянских и архаических морфологических элементов, «не отличающихся, впрочем, [как отмечает А. А. Алексеев], ни регулярностью, ни грамматической корректностью» (Алексеев 1981, 77). Последнее естественно, поскольку речь идет о ненормативных элементах, и понятие «грамматической корректности» к ним прилагаться не может. В частности, «в склонении существительных часто употребляется старый тв. п. мн. ч., совпадающий с вин. п. в муж. роде: *толикими чуды, моими Совѣты* и т. п. Неожиданно подобную парадигму получают имена женского рода: *многими жертвы, острыми искры, с Нимфы твоими*, “Быстро парит в Колесницѣ своей *Голубицы* катимой”. Ср. также... старый дат. п. *людem*, местный *во всѣх напастех*... Часты случаи стяжения в склонении существительных ср. рода на *-ие*: ...*подкрѣпленьми, свѣдеными*» (там же, 77—78).

Более подробный анализ первых пяти песней «Гилемахиды» (Тредиаковский 1766, II, 1—158) показывает, насколько существенное место занимает это явление. Если в дат. мн. и местн. мн. старые флексии появляются лишь в единичных случаях (в нашем материале *людemь* [II, с. 32], *людехь* [II, с. 54, 93]), то в тв. мн. старые формы употребляются чрезвычайно часто. Их пропорция более чем в два раза превосходит ту, которую мы наблюдали в «Псалтыри», она составляет 46,4 % от всех форм тв. мн. (кроме существительных *a*-склонения). Весьма показательно, что для отдельных типов существительных старые (ненормативные) флексии оказываются обязательными; именно так обстоит дело с существительными ср. рода на *-ие*, которые постоянно употребляются с флексией *-ми* (во всех 19 отмеченных нами случаях). У существительных м. рода *o*-склонения (твердой разновидности) формы на *-ы* образуются более чем в трети случаев.

Приведу примеры старых форм тв. мн. у существительных *o*-склонения (и *jo*-склонения) из первых пяти песней «Тилемахиды». М. род *o*-склонения: *Ланіѡы* (с. 12), *вѣтры* (с. 15, 136), *Трояны* (с. 16), *невольники* (с. 44), *перуны* (с. 47), *ароматы* (с. 92), *Купряны* (с. 92, 102), *персты* (с. 97), *виды* (с. 98), *цѣбты* (с. 102), *человѣки* (с. 114), *тавары* (с. 118), *класы* (с. 129), *пришельцы* (с. 129), *боги* (с. 140), *народы* (с. 152), *союзники* (с. 155), *промыслы* (с. 155). М. род *jo*-склонения: *непріятельми* (с. 20), *кладязьми* (с. 36), *коньми* (с. 126, 145). Ср. род *o*-склонения: *лѣты* (с. 3). Ср. род *jo*-склонения: *омерзеньми* (с. 1), *воздыханьми* (с. 33), *обѣцаньми* (с. 40), *подкрѣпленьми* (с. 44), *свѣденьми* (с. 45), *уханьми* (с. 49, 148), *истоценьми* (с. 80), *сказаньми* (с. 101), *умиленьми* (с. 110), *приношеньми* (с. 111), *угрызеньми* (с. 117), *вѣяньми* (с. 118), *стенаньми* (с. 121), *играньми* (с. 126), *дыханьми* (с. 127), *испецуреньми* (с. 132), *бореньми* (с. 141), *блистаньми* (с. 158).

Вместе с тем у существительных м. и ж. рода *i*-склонения старые флексии не являются единственно возможными; здесь в трети случаев употребляются новые флексии; отсюда ясно, что речь не идет об обращении к старому узусу, к нормам какого-либо предшествующего периода, но о создании особой системы, критерием отбора в которой служит не правильность, а выразительность. Приведу примеры старых форм. М. род *i*-склонения: *людьми* (с. 37, 54). Ж. род *i*-склонения: *пѣсньми* (с. 2, 49), *рѣчми* (с. 12, 24), *рѣчьми* (с. 26), *добродѣтельми* (с. 43), *наглостьми* (с. 59), *козньми* (с. 113), *страстьми* (с. 117), *лютостьми* (с. 138). Отмечу также новые формы у существительных *i*-склонения. М. род: *днями* (с. 42), *овощами* (с. 132). Ж. род: *рѣчами* (с. 43), *мыслями* (с. 45), *глубьями* (с. 107), *страстями* (с. 151), *сластями* (с. 156). Как видно, в частности, и из данных примеров, новые и старые формы никак не обусловлены лексически; старые формы выполняют стилистическую функцию автономно, как элементы особой грамматики высокого стиля, а не через прикрепленность к «высокой» лексике.

Надо думать, что все старые формы остаются при этом ненормативными. В основе употребления ТрEDIAКОВСКОГО лежит нормативный узус его времени, а не иная архаическая норма. В этом плане показательно, что новые формы дат. мн. и местн. мн. достаточно последовательно образуются от существительных «малых» классов. Ср. формы дат. мн.: *дверямь* (с. 6), *людямь* (с. 34, 60, 70, 75, 113, 124, 134 [ter], 149), *добродѣтелямь* (с. 46), *конямь* (с. 61, 146), *дѣтямь* (с. 74, 130, 134), *прихотямь* (с. 83). Местн. мн.: *четвертяхь* (с. 7), *пажитяхь* (с. 24), *свирыляхь* (с. 32), *рѣчахь* (с. 40, 125), *пѣсняхь* (с. 51), *людяхь* (с. 58, 75), *вещахь* (с. 65, 86, 151), *пристаняхь* (с. 81, 82), *вервахь* (с. 107), *дверяхь* (с. 111), *добродѣтеляхь* (с. 113), *роскошахь* (с. 123), *глубостяхь* (с. 125), *подвижностяхь* (с. 156).

В этом контексте становятся понятны и нередкие случаи употребления тв. мн. на *-ы* от существительных *a*-склонения, ср. в нашем материале: *священными Мусы* (II, с. 47), *съ Мусы* (II, с. 47), *съ мычащими Кравы* (II, с. 77), *позлащенными вожди* (II, с. 127), *тремя Евменіды* (II, с. 139). В «Тилемахиде», таким образом, нормализация решительно приносится в жертву поэтической выразительности, и в качестве стилистически маркированного элемента выступают все те формы, которые в «Езде в остров любви» ТрEDIAКОВСКИЙ мог употреблять как поэтические вольности.

В отличие от изменчивой языковой практики ТрEDIAКОВСКОГО, языковая практика ЛОМОНОСОВА достаточно стабильна (в разбираемом аспекте) на всем протя-

жении его творчества. Хотя в своей «Российской грамматике» он практически полностью исключает старые флексии (за исключением тв. мн. на *-ми* у существительных ж. рода *i*-склонения и парадигмы *дѣти*), его тексты не вполне соответствуют постулируемой им норме, и это еще раз демонстрирует, что ломоносовские предписания (как грамматические, так и лексические) были не столько отражением какого бы то ни было узуса, сколько идеальной конструкцией, манифестировавшей «правильность» нового литературного языка (ср.: Живов 1996, 334—344). Достаточно последовательная нормализация имеет, конечно, место в текстах Ломоносова, так что он несомненно принадлежит «нормализаторскому», а не «нейтральному» направлению, однако он допускает никак не мотивированные окказиональные отступления от нормы (исключенные у Тредиаковского). Эти отступления касаются только тв. мн. — в дат. мн. и местн. мн. старые флексии полностью отсутствуют.

В тв. мн. окказионально появляется как флексия *-ы*, так и флексия *-ми*. Старые формы не могут интерпретироваться как поэтическая вольность, поскольку они встречаются как в прозе, так и в стихах. Не мотивированы они и стилистическими соображениями. Как отмечает А. Мартель относительно формы на *-ы*, невозможно сделать вывод, «qu'elle est introduite pour apporter une nuance particulière. On la rencontre, en effet, aussi bien dans le *Panegyrique d'Elisabeth* que dans des écrits scientifiques où il n'y a aucune recherche particulière de l'expression: разными образы (*Panegyrique d'Elisabeth*, 1749, IV, p. 251); двумя образы (*Eléments de métallurgie*, 1763 [VII, p. 201, I.16]); сими способы (*Eléments de métallurgie*, 1763 [VII, p. 212, I.1]); съ товарищи (*Description de voyage dans les Mers du Nord* [VII, p. 382, I.3])» (Мартель 1933, 81). Добавлю к этому перечню *со многими народы* из Оды на восшествие на престол 1746 г. (Ломоносов I, 123), *съ подвижники Петровыми* из «Петра Великого» (II, 205).

Так же обстоит дело и с флексией *-ми*. Она широко представлена у существительных ж. рода *i*-склонения, не противореча в этом случае утверждаемой Ломоносовым норме. В поэзии эти формы даже доминируют, что, возможно, связано с метром, ср. здесь: *вѣтвьми* (I, с. 5), *крѣпостьми* (I, с. 77), *рѣчьми* (I, с. 81, II, с. 187, 198), *вѣтвьми* (I, с. 116, 199 [bis]), *свирельми* (I, с. 163), *отрасльми* (I, с. 165), *челюстьми* (I, с. 166), *мысльми* (I, с. 265, II, с. 219) и т. д. Эти формы, однако, не являются поэтическими вольностями, поскольку аналогичные встречаются и в прозе, ср.: *тѣньми* (III, с. 328), *сластьми* (III, с. 329), *вѣщми* (IV, с. 53) и т. д. (ср. еще ряд примеров у В. Н. Макеевой — Макеева 1961, 104). Достаточно многочисленны и формы тв. мн. на *-ми* от существительных других классов, ср. сводку примеров у В. Н. Макеевой: *гонительми*, *звѣрьми*, *непріятельми*, *учительми*, *писательми*, *пріятельми*, *любительми*, *мореплавательми*, а также *сыновьми*, *удачьми* (Макеева 1961, 104). Лишь последняя форма, грамматически полностью неприемлемая, может быть сочтена поэтической вольностью, тогда как в прочих случаях примеры относительно равномерно распределены по стихотворным и прозаическим текстам. Добавлю к этому списку: *Князьми* (Ломоносов, I, 221), *Святительми* (II, 195), ср. также *Ветхій деньми* (I, 88) в церковнославянском фразеологизме.

Расхождение грамматической регламентации и реальной языковой практики в случае форм тв. мн. ближайшим образом напоминает аналогичную несогласованность в случае форм местн. ед. у существительных *jo*-склонения. Если в «Рос-

сийской грамматике» для односложных существительных этого типа предписано в качестве единственно возможного окончания *-ю* (§ 200 — IV, с. 91), то в ломоносовском узусе наблюдается совсем иное соотношение: флексия *-ѣ* употребляется, причем в качестве единственного варианта у существительных с неподвижным ударением и в качестве допустимого варианта у существительных с подвижным ударением; такое употребление соответствует традиционной языковой практике, так что утверждаемое Ломоносовым правило остается искусственным нормализационным решением (Торндаль 1974, 279—283, 917—918).

Приведенные примеры показывают, что и в разбираемой нами сфере нормализаторская установка Ломоносова не искореняет у него полностью навыков традиционного книжного языка — ни до написания «Российской грамматики», ни после этого. Эти навыки, однако, сохраняют силу лишь в отношении форм тв. мн., и в этом плане языковая практика Ломоносова напоминает употребление Татищева. Можно сказать, что это узус татищевского типа, пропущенный через нормализационный фильтр: относительное изобилие старых форм у Татищева сохраняется как их реликтовое употребление у Ломоносова. Возможные причины такого особого положения тв. мн. уже анализировались выше. В этой перспективе и употребление старых форм тв. мн. в качестве приметы поэтического языка предстает как приспособление языковых навыков рассмотренного типа к нормативному построению литературного языка, в котором поэзия остается своеобразной нишей, допускающей ненормативные, хотя и привычные формы.

То использование старых форм, прежде всего форм тв. мн., как особого стилистического признака высокой поэзии, которое обнаруживается у Третьяковского и Ломоносова, не закрепляется в русской поэтической традиции как устойчивое явление. Оно остается, видимо, побочным продуктом перехода от старых норм к новым, при котором ненормативные формы не отбрасываются сразу и решительно, но наделяются дополнительными функциями в попытке приспособить их к новому языку. Для осуществления этих функций в них нет необходимости, но долгая привычка побуждает не торопиться с отказом от них. О переходном характере узуса Ломоносова и Третьяковского свидетельствует язык Сумарокова, видимо, очень существенно повлиявший на лингвистические характеристики литературы последней трети XVIII в. (во всяком случае в исследуемом здесь аспекте). В своей высокой поэзии Сумароков практически не использует ни старые формы тв. мн., ни старые формы дат. мн. и местн. мн. Появления таких форм единичны и никакой стилистической функции не выполняют. Так, в одах Сумарокова можно указать лишь на форму *мужехъ* (Сумароков, II, 8) и тв. мн. *усты* (II, 148); сверх этого встречаются лишь формы тв. мн. на *-ми* существительных *i*-склонения, которые норму не нарушают (*радостьюми* II, 48; *гортаньюми* II, 52; *речьюми* II, 148; *овосчьми* II, 183; *людьюми* II, 76, 77, 107). В «Хоре ко златому веку» (VIII, 343) можно отметить форму дат. мн. *соѣдомъ* («Во удивленіе соѣдомъ Млекошь текуть и медомъ»); возможно, здесь мы имеем дело с поэтической вольностью, обусловленной рифмой — пример, однако, остается единичным.

Аналогичным образом обстоит дело и в «Стихотворениях духовных», содержащих осуществленное Сумароковым поэтическое переложение Псалтыри. Несмотря на исключительную свободу в употреблении архаических элементов, которую допускает Сумароков в своих псалтырных переложениях (в которых

встречаются и простые претериты, и формы 2 ед. презенса на *-ши*), старые формы тв. мн. (кроме форм на *-ми* существительных *i*-склонения) и дат. мн. вообще здесь не встречаются. Можно отметить лишь четыре старых формы местн. мн.: *версъхъ* (Сумароков 1773—1774, I, 70 — «На *версъхъ* нивы горь плодомъ обогатятся»), *кимвалъхъ* (I, 163 [bis] — «Въ *кимвалъхъ* ясныхъ»; «Хвалите господа въ *кимвалъхъ* громогласныхъ»), *языцѣхъ* (III, 12 — «Повѣдите во *языцѣхъ* дѣла его»). Во всех этих случаях старые формы выполняют, видимо, стилистическую функцию (архаизации речи), однако не как таковые, а в соединении с конкретными лексемами: в двух случаях архаичность подчеркивается чередованием заднеязычного со свистящим, в двух других — «библейской» семантикой лексемы; надо отметить, что во всех случаях воспроизведены формы славянской Псалтыри (см. соответственно: Пс. LXXI:16; Пс. CL:5; Пс. IX:12).

Можно предположить, что Сумароков игнорирует стилистическую значимость старых форм тв. мн. у Третьяковского и Ломоносова и полемически осмысляет их как поэтическую вольность, которой его собратья по перу пользуются от неумения выдержать размер. При таком понимании он этим способом, естественно, не пользуется. Подобное восприятие, видимо, оказывается достаточно широко распространенным. Как отмечает С. П. Обнорский (обобщая, впрочем, с излишней поспешностью, ср. хотя бы «Тилемахиду» Третьяковского), «Ломоносов был последним писателем, с известным простором пользовавшимся этими формами. В дальнейшем течении жизни литературного языка формы окончательно исчезают из языка. Так у Фонвизина они носят уже характер форм спорадических: всеми моими *чувствы, достоинства, креслы* Бригад. II, 2 III, 3, 6 IV, 4; у Державина находим единственный соответственный случай — И Цельты с *Миляны, с Египтяны* попры IV, 189» (Обнорский, II, 350).

Таким образом, формирование новой нормы литературного языка завершается, и эта норма приобретает универсальное значение, распространяясь на тексты самого разного характера — как высокие, так и низкие, как поэтические, так и прозаические. Она делается общеобязательной без видимых усилий устроителей русского языкового стандарта и не встречает видимого противодействия ни у одного из влиятельных авторов (в отличие от норм употребления инфинитива или окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа (ср. § II.3, § IV.3.3)). Так, во всяком случае, обстоит дело в светской словесности (о специфике духовной словесности см. § III.4), и показательно, что старые флексии в рассматриваемых формах не находят применения в позднейших опытах архаизации языка (у Шишкова и его единомышленников). Можно заключить, следовательно, что выработанная в языковой практике середины XVIII в. норма становится безусловным общим достоянием и не соотносится более с лингвистической идеологией отдельных авторов. Именно эта независимость от идеологии и указывает на завершенность развития.

3. Трактовка *а*-экспансии в грамматиках и филологических трудах. Способы устранения вариативности

Морфологические процессы, связанные с *а*-экспансией, не могли не найти отражения в грамматиках церковнославянского и русского языков, хотя, естествен-

но, было бы неоправданным ожидать, что грамматические описания будут отражать развитие этих процессов синхронно с самими процессами — даже если иметь в виду не процессы в разговорном языке, а связанные с ними изменения в языке письменном. Грамматические описания выступают в данном случае как отражение отражения, тень от тени. Вместе с тем, у грамматической систематизации имеются собственные стимулы — представления о «правильном» устройстве парадигмы, о допустимости исключений и т. п., — которые могут влиять на трактовку различных форм, провоцируя выбор одного из вариантов. В свою очередь, грамматические описания могут воздействовать на языковую практику, и в этом аспекте они выступают уже не как тень от тени, а как отдельный фактор инноваций, без анализа которого невозможно адекватное описание процесса формирования языкового стандарта.

В отношении вариантов, не релевантных для противопоставления книжного и не книжного языка, к числу которых относятся и рассматриваемые нами явления, важно иметь в виду, что грамматики церковнославянского и грамматики русского языка могут находиться в прямой преемственности, а не противостоянии. Процесс кодификации может быть здесь единым, так что целесообразно рассматривать и те и другие грамматики в совокупности, учитывая не только тип кодифицируемого языка, но и установки авторов (предписывающая или ориентированная на узус, модернизирующая, архаизирующая, ориентированная на разговорное употребление и т. д.), которые могут быть актуальны как для грамматик русского, так и для грамматик церковнославянского языка.

3.1. Грамматические описания церковнославянского языка

Ранние восточнославянские грамматические сочинения дают лишь очень ограниченный материал для анализа интересующего нас явления. Будучи построенными по моделям латинских и греческих грамматик, они не включают в парадигмы формы местн. и тв. падежей (в качестве эквивалента латинского аблатива обычно выступает конструкция «от + родительный»); поэтому единственной релевантной для нас формой, фиксируемой в этих сочинениях, оказывается форма дат. мн. Другие формы также могут встречаться, но лишь окказионально, без обозначения их места в парадигме.

В трактате «О осмих частех слова» для м. рода дается парадигма слова **члкъъ**, для ср. рода — **ѣстѣтво**. Трактат имеет южнославянское происхождение, в сербской редакции приводятся формы дат. мн. **чловѣкъмь**, **кстьствоь** (Ягич 1896, 42), и они же — *mutatis mutandis* — воспроизводятся в русских списках XVI в.: **члкъмь**, **ѣствомь** (Ягич 1896, 49; ср.: Ворт 1983, 15). Позднейшая рукописная традиция этого трактата практически не изучена, но даже привлечение единичных списков показывает, что в них может появляться определенная вариативность. Так, в грамматическом сборнике начала XVII в. из Тихонравовского собрания (ГБЛ, ф. 299, № 336) трактат «О осмих частех слова» воспроизводится трижды в разных вариантах. В двух из этих воспроизведений интересующие нас формы приводятся в виде: **члкъмь**, **ѣствамь** (л. 64 об.), **члкъмь**, **ѣствамь** (л. 115); в третьем же случае, когда парадигмы даются в виде таблицы, даны формы: **члкъмь**, **ѣстѣство** (л. 78). Можно предположить, что появление новой флексии

у существительного ср. рода связано с тем, что в XVII в. в дат. мн. этих существительных *а*-экспансия принимает особенно выраженный характер и формы с новыми флексиями получают почти нормативный статус (см. выше, § III.1.2).

Формы дат. мн. приводятся и в различных вариантах трактата «О множестве и о единстве», например: **аггѣлѣмъ** (Ягич 1896, 433). Особенно много подобных форм в словарном варианте данного трактата, входящем в «Буковницу» Герасима Ворбазомского (см. об этом сочинении: Живов 1995b), поскольку здесь приводится алфавитный список форм ед. и мн. числа, различающихся своим правописанием, в частности, форм дат. мн.: **аггѣлѣмъ**, **архаггѣлѣмъ**, **аплѣмъ**, **архіепкпѣмъ**, **архимаритѣмъ**, **азбоучникѣмъ**, **артемїемъ**, **андреємъ**, **вѣгѣмъ** и т. д. (РГБ, ф. 173. I, № 35, л. 130—130 об.). Здесь, естественно, встречаются только старые флексии, поскольку сам способ орфографического противопоставления предполагает омонимию форм тв. ед. и дат. мн. Ряд форм дат. мн. содержится в трактате «Книга глаголемая буквы». Наборы форм, приводимые в этом трактате, с трудом поддаются отождествлению (см.: Ворт 1983, 56 сл.; Живов 1986), однако формы **м^арцеѣмъ**, **цр^ькѣѣ** (Ягич 1896, с. 734, 736) определенно интерпретируются как дат. мн. и манифестируют старые флексии. В позднейших вариантах этого трактата форм может быть больше и при этом могут появляться новые флексии. Так, в уже упоминавшемся Тихонравовском сборнике (РГБ, ф. 299, № 336) в одной из редакций рассматриваемого трактата появляются формы: **ар^ьхаггѣлѣмъ** (л. 97 об.), **аплѣ** (л. 97 об.), **м^арцеѣмъ** (л. 99 об.), **цр^ькѣѣ** (л. 101 об.), **сынѣмъ** (л. 102), **царѣмъ** (л. 102), а также форма местн. мн. **на нѣсѣхъ** (100). И здесь, очевидно, старые флексии трактуются как нормативные, однако замена **цр^ькѣѣ** на **црѣкѣѣ** указывает на процесс *а*-экспансии — правда, в периферийном малом классе, который книжниками XVII в. мог уже, видимо, не восприниматься как особый словоизменительный тип.

Несколько более разнообразны (хотя и так же дефектны) парадигмы в «Дона-тусе» Дм. Герасимова. Здесь фиксируются следующие формы дат. мн.: **учитѣлѣмъ**, **магистрыѣ**, **мудростѣмъ**, **сопелѣмъ**, **сѣдалищаѣ**, **сщеникоѣ**, **плодомъ** (Ягич 1896, 537—541; Ворт 1983, 81—86). Таким образом, и в данном случае (как и в списках «О осмих частех слова») единственный пример *а*-экспансии приходится на существительные ср. рода *о*-склонения, тогда как и для существительных м. рода *о*-склонения и для существительных ж. рода *і*-склонения даются только старые флексии.

С конца XVI в. появляются первые печатные грамматики, изданные в Великом княжестве Литовском. Значимость появляющихся в них примеров *а*-экспансии может быть оценена только в сопоставлении с фоном юго-западнорусской письменности, которая остается почти не исследованной в данном отношении; очевидно, что изучение данного предмета выходит за рамки настоящей работы. Поэтому первые печатные грамматики (до московского издания Смотрицкого 1648 г.) могут интересовать нас лишь в великорусской перспективе, в силу их влияния на грамматическую кодификацию позднейшего времени.

В редакции трактата «Книга глаголемая буквы», входящей в Букварь Ивана Федорова, встречаются формы **прѣдѣрѣѣ**, **црѣкѣѣ** (Федоров 1574, л. 19, 22; ср.: Якобсон 1955, 37, 43), тогда как в остальных случаях находим старые флексии: **архаггѣлѣмъ** (л. 12), **аплѣмъ** (л. 12), **м^арцеѣмъ** (л. 17 об.), **црѣѣмъ** (л. 22),

местн. мн. на **нѣсѣхъ** (л. 19); появление новой флексии у существительного ж. рода *i*-склонения связано, возможно, со спецификой юго-западнорусского языкового узуса. Последовательно выдерживаются старые флексии в Адельфоте-се (Адельфотес 1591), причем у всех типов существительных, ср.: **разбѣйникѡмъ** 15, **чловѣкомъ** 19, **орлѡмъ** 19, **ѣасѡмъ** 20, **прѣтѣлѡмъ** 21, **вранѡмъ** 21, **волѡмъ** 22, **оумѡмъ** 28, **димостѣномъ** 31, **грѣдѡмъ** 34, [с]тоудѡмъ 36; **менѣлаомъ** 17, **мѣжемъ** 28, **кораблѣмъ** 29, 31, **змѣемъ** 33, **црѣмъ** 35; **мѣсомъ** 37; **словесемъ** 18, **дрѣвомъ** 19; **днѣмъ** 16, **пѣтѣмъ** 19; **чѣстемъ** 16, **грѣдомъ** 22. Единственным исключением является форма **ѣнѣамъ** 14; причины выбора этой формы остаются неясными.

Принципиально новым этапом кодификации является грамматика Лаврентия Зизания 1596 г. Мы находим здесь полные парадигмы, включающие как тв. падеж, так и местный — последний трактуется как второй дательный. Все имена разделены здесь на десять склонений, и это деление определенным образом влияет на выбор флексий. Критерии для выделения типов склонения остаются не вполне ясными и требуют дальнейшего исследования, во всяком случае справедливо замечание В. В. Нимчука, что Зизанию «запам'ятати розподіл іменників на відміни і засвоювати їх було нелегко» (Нимчук 1980, 38). Распределение старых и новых флексий по разным склонениям отражает очевидно не столько особенности сложившегося узуса (тем более не разговорной речи), сколько нормализаторские установки автора.

Эти установки обуславливают прежде всего почти полный отказ от флексии **-ы/-и** в тв. мн. как единственного варианта: такой выбор делается только в парадигме слова **Бѡгъ**, тв. мн. **бѡгѣи** (совпадающий с вин. мн., но отличный от им. мн. **бѡзи** — Зизаний 1596, л. 26 об.—27). В других случаях либо даются два варианта с флексиями **-ы/-и** и **-ами/-ами**, либо употребляется неомонимичная флексия **-ми**, распространяющаяся за пределы этимологически оправданных морфологических типов (возможны комбинации этих двух вариантов). Фиксация двух вариантов имеет место в следующих случаях: **чѣки**, **и чѣками** (л. 27 об.), **снѣгѣми**, **и снѣгѣи** (л. 27 об.), **нѣсы** **и нѣами** (л. 30), **ѡтрѡчѣты**, **и ѡтрѡчѣтами** (л. 30), **оустѣы**, **и оустѣами** (л. 40); в двух случаях флексия **-ами** выступает как единственная: **мѡрѣми** (л. 35), **оустѣнами** (л. 40). Флексия **-ми** фиксируется у существительных *i*-склонения: **нѡщѣми** (л. 28 об.), **кѡстѣми** (л. 28 об.), а также у существительных *r*-склонения: **мѣтерѣми** (л. 38), **дѣцѣрѣми** (л. 39 — в последнем случае наряду с формой **дѣцѣрами**), т. е. в этимологически оправданных формах; вместе с тем флексия **-ми** имеет тенденцию универсализироваться для мягких разновидностей всех склонений (что отражает, естественно, перегруппировку склонений и независимость классификации Зизания от этимологических критериев), ср.: **сѣвѣрѣми** (л. 34 об.), **кѡнѣми** (л. 34 об.), **спѣсѣми** (л. 35 — наряду с формой **спѣсенѣи**), **ѣерѣми** (л. 41), а также **врѣменѣми** (л. 30 об.). Очевидно, что ограничения в фиксации форм тв. мн. на **-ы/-и** обусловлены не их архаичностью, а стремлением устранить омонимию, флексия **-ми** служит этому так же успешно, как и флексия **-ами**.

Вариативность кодифицируется и в формах дат. мн. и местн. мн., однако здесь отсутствует стремление избавиться от омонимии, и поэтому фиксация вариантов проведена не так последовательно. Особенно консервативен дат. мн., где для

многих парадигм дается только старая форма; так, в частности, обстоит дело с существительными м. рода *о-*, *јо-* и *і-*склонения и с существительными ж. рода *і-*склонения: **бѣгѡ^м** (л. 27), **члѣкѡмѣ** (л. 27 об.), **снѣгѡ^м** (л. 27 об.), **іерѣѡ^м** (л. 41), **сѣвѣремѣ** (л. 34 об.), **кѡнѣмѣ** (л. 34 об.), **нѡщѣмѣ** (л. 28 об.), **кѡстѣмѣ** (л. 28 об.). Вариативность допускается только у существительных ср. рода и в периферийных классах (последние вообще менее нормированы): **мѡрѡмѣ**, **и мѡре^м** (л. 35), **спѣсѣніѡ^м** **и спѣсѣніѡ^м** (л. 35); **нѣсѡ^м**, **и нѣсѡмѣ** (л. 30), **отрочѡтѡ^м** **и отрочѡта^м** (л. 30), **дѡщѣрѡ^м** **и дѡщѣре^м** (л. 39). В местн. мн. новые флексии не фиксируются у существительных м. рода *о-* и *і-*склонения и у существительных ж. рода *і-*склонения: **вѡсѣѣ^х** (л. 27), **члѣцѣѣ^х** (л. 27 об.), **снѣѣѣѣ^х** (л. 27 об.), **кѡнѣѣ^х** (л. 34 об. — флексия *-ихъ* полностью выведена из репертуара Зизания), **нѡщѣѣ^х** (л. 28 об.), **кѡстѣѣ^х** (л. 28 об.). В других случаях, однако, даются только новые флексии, это в особенности характерно для существительных ср. рода: **мѡрѡѣ^х** (л. 35), **спѣсѣніѡѣ^х** (л. 35); **сѣвѣрѡѣ^х** (л. 34 об.), **временѡѣ^х** (л. 30 об.), **мѡтерѡѣ^х** (л. 38), **дѡщѣрѡѣ^х** (л. 39). Имеются, наконец, и случаи фиксированной вариативности: **нѣсѣѣ^х**, **и нѣсѡѣ^х** (л. 30), **ѡтрочѡтѣѣ^х** **и ѡтрочѡтаѣ^х** (л. 30), **ѡѣстѡѣ^х**, **или ѡѣстѣѣ^х** (л. 40), **ѡѣстѡѣ^х**, **или ѡѣстѣѣ^х** (л. 40), **іерѣѡѣ^х**, **или ѡѣ^х** (л. 41).

Можно думать, что как в сравнительно большей продвинутости местн. мн., так и в относительно большей закреплённости новых флексий в дат. мн. существительных ср. рода отражаются параметры сложившейся книжной практики. Нет достаточных оснований для того, чтобы полагать, как это делает, например, Р. Д. Шепелева, что Зизаний «ориентируется на народно-разговорный язык» (Шепелева 1965, 34; ср. аналогичные суждения В. В. Нимчука — Нимчук 1980 — и их критику: Мечковская 1984, 74—79). Видимо, в принципе Зизаний кодифицирует новые флексии в той мере, в какой *а-*экспансия отражается в книжных текстах его времени. Эти тексты представляют собой фон его кодификаторской работы, на него накладываются нормализационные решения, обусловленные классификацией словоизменительных типов и стремлением ограничить омонимию падежных форм.

Нормализаторские установки Мелетия Смотрицкого имеют иной характер. Он не следует современной ему книжной практике, а стремится ее реформировать, воссоздав «правильный» церковнославянский язык и очистив его от внесенной столетиями порчи. Одним из основных текстов, на которые ориентируется Смотрицкий, была Острожская Библия (ср.: Врядий 1975, 131; Врядий 1984), т. е. памятник лингвистически неоднородный, содержащий многочисленные архаические языковые пласты и тем самым создававший возможности для своего рода реконструкции «древнего» языка. В результате установка Смотрицкого оказывается архаизирующей, хотя, естественно, он стремится избежать новообразований лишь в тех случаях, когда осознает их новизну или когда они не оказываются средством построения «правильно устроенной» парадигмы. Вместе с тем Смотрицкий как грамматист значительно более систематичен, нежели Зизаний. Он выделяет не десять, а пять склонений имен; четыре склонения выделяются у существительных, одно у прилагательных. К первому типу относятся существительные *а-* и *ја-*склонения, ко второму существительные м. и ср. рода *о-*склонения, а также существительные м. и ср. рода с основой на согласную (как отдельные подтипы), к третьему типу — существительные ж. рода *і-*склонения и

ж. рода с основой на согласную, к четвертому типу — существительные м. рода *i*-склонения и существительные м. и ср. рода *jo*-склонения. Таким образом, достаточно последовательно проведены синхронные принципы классификации.

Вариативность в именном склонении допускается Смотрицким, однако в существенно меньшем объеме, чем Зизанием; внутри одного словоизменительного типа флексии унифицированы, а различия в парадигмах ясно мотивированы. Во втором склонении в дат. мн. последовательно и без исключений дается окончание *-wmъ/-emъ*: **Клеврѣтw^м**, **ѳармѡw^м**, **вѡннw^м**, **ѳорѡдw^м**, **дрѣвw^м**, **дрѣгw^м**, **Прорѡкw^м**, **грѣхѡw^м**, **ѡтцѣw^м**, **чвѡнцѣw^м**, **сѣрдцѣ^м**, **снw^м** илѣ **снѡвw^м**, **жерцѣw^м** илѣ **жерцѣw^м**, **ѡтрѡчѡтѣ^м**, **имѣнѣw^м**, **словесѣw^м**, **Римлѡнw^м**, **ѡрѣстw^м**, **Вѡнтw^м**, **Вѡра-ѳрw^м**, **дѡmw^м** (Смотрицкий 1619, л. Д/7—Ж/6). Таким образом, Смотрицкий отвергает даже ту весьма ограниченную вариативность, которую предусматривает для дат. мн. в формах этих классов Зизаний.

В местн. мн. все новые флексии также последовательно устраняются, однако вариативность флексий *-ѣхъ/-ахъ*, допускаемую Зизанием, Смотрицкий заменяет вариативностью флексий *-ѣхъ/-ехъ*, хорошо известной по книжным текстам (в частности, по Острожской Библии — см.: Врядий 1984, 11); с точки зрения Смотрицкого, эти варианты, в отличие от *a*-экспансии, не являются, видимо, инновацией. Между тем сама фиксация вариантов создает, надо думать, своего рода преюбленность с грамматикой Зизания. Варианты флексий *-ехъ/-ѣхъ* даются для всех существительных *o*-склонения, отличая их как от существительных *jo*-склонения, так и от существительных с основой на согласную (ср.: Горбач 1964, 19): **клеврѣтѣхъ**, и **-тѣхъ**, **ѳармѣхъ**, и **ѳармѣхъ**, **вѡннѣхъ**, и **вѡннѣхъ**, **ѳорѡдѣхъ**, и **ѳорѡдѣхъ**, **дрѣвѣхъ** и **дрѣвѣхъ**, **дрѣзѣхъ**, и **дрѣзѣхъ**, **прорѡцѣхъ**, и **-цѣхъ**, **грѣсѣхъ** и **грѣсѣхъ** (Смотрицкий 1619, л. Д/7—Е/5). В парадигме *сердце* даются варианты **сѣрдцѣхъ**, и **сѣрдцѣхъ**, хотя для существительных м. рода того же типа приводится только вариант на *-ехъ*: **ѡтцѣхъ**, **чвѡнцѣхъ**, **жерцѣхъ** (л. Е/5—8). Только варианты на *-ехъ* фиксируются и у существительных с основой на согласную: **ѡтрѡчѡтѣхъ**, **имѣнѣхъ**, **словесѣхъ**, **Римлѡнѣхъ** (л. Е/8 об.—Ж/3). Правильность реконструкции в этих случаях указывает на большую филологическую изоцированность Смотрицкого. Только вариант на *-ехъ* приведен от «имен греческих» и в «етероклите» **дѡмѣхъ** — **дѡмѣхъ** (л. Ж/4 об.—7).

В тв. мн. для всех существительных, кроме имен с основой на согласную, «греческих имен» и «етероклитики» **дѡмѣхъ**, предусмотрены два варианта с флексиями *-ы/-и* и *-ами/-ами*: **Клеврѣтами** и **клеврѣты**, **ѳармѡми**, и **ѳармы**, **вѡннами**, и **вѡнны**, **ѳорѡдами** и **ѳорѡды**, **дрѣвами**, и **дрѣвы** и т. д. (л. Д/7—Е/6 об.). Совершенно очевидно, что мы имеем здесь дело с нормализаторским решением Смотрицкого, стремившегося, как и Зизаний, избежать омонимии тв. мн. и вин. мн.; это стремление пересиливает желание избавиться от инноваций; оно вполне рельефно выступает на фоне Острожской Библии, где формы с флексией *-ами* полностью отсутствуют — Смотрицкий здесь явно «исправляет» славянскую грамматику. У существительных с основой на согласную омонимия вин. мн. и тв. мн. не возникает, и поэтому Смотрицкий дает только формы на *-ы*: **ѡтрѡчѡты**, **имѣны**, **словесы**, **Римлѡны** (л. Е/8 об.—Ж/3); не ясно, впрочем, почему он не пользуется такой возможностью для существительных ср. рода *o*-склонения, у которых омонимии также не возникает. Только флексии на *-ы* даются и для греческих имен:

ѡрѣсты, Вѣлнты, Вѣраѡры (л. Ж/4 об.—6); скорее всего, специфически книжный характер греческих имен воспринимается как нечто несовместимое с новыми флексиями. Напротив, для «етероклитики» дѡмъ дается лишь форма дѡмѣми (л. Е/7).

Полностью лишены вариативности (в интересующем нас аспекте) существительные третьего склонения, в том числе «греческие» и «латинские»; новые флексии здесь вообще отсутствуют, см.: зѡповѣдемъ, зѡповѣдѣми, зѡповѣдехъ; мѡтеремъ, мѡтерми, мѡтерехъ; Сѣнтаземъ, Сѣнтазми, Сѣнтазехъ; ѡторѣтѡтемъ, ѡторѣтѡтѣми, ѡторѣтѡтѣхъ; вѣле^м, вѣлѣми, вѣлехъ (л. s/1—4). Никак не отражается а-экспансия и в четвертом склонении, однако вариативность флексий здесь учитывается. В дат. мн. последовательно и без всяких вариантов дается флексия -емъ: пѡстыремъ^м, матѣжемъ, свѣдѣтелемъ, ходатѣемъ^м, ѡрѣемъ, знѡменѣемъ, Коидѡвѣемъ, врачѣемъ, Гѡсподемъ и т. д. (л. s/4 об.—3/6 об.). В местн. мн. почти столь же последовательно дается окончание -ехъ: пѡстырехъ, матѣжехъ, свѣдѣтелехъ, ходатѣехъ, ѡрѣехъ, врачехъ, Гѡсподехъ и т. д. (л. s/4 об.—3/6 об.), однако для существительных ср. рода предусматривается окончание -ихъ, у «славянских» имен в качестве варианта: знѡменѣихъ, ѡзнѡменѣихъ, а у «греческих» в качестве единственной возможности: Коидѡвѣихъ (л. 3/3 об.—4); почему вариант -ихъ придан только существительным ср. рода, остается неясным — так же как и для существительных второго склонения (см. выше). В тв. мн. у всех существительных даются варианты флексий -ы/-и и -ми: пѡстырми, ѡ пѡстыри, матѣ^мми ѡли матѣжи, свѣдѣтелми: ѡ -ли, ходатѣйми: ѡ -тѡи, ѡрѣйми: ѡ ѡрѣи, знѡменѣми ѡ знѡменѣи, Коидѡвѣйми: ѡ -вѣи, врачми ѡли врачи, гѡсподѣми: ѡ гѡсподы и т. д. (л. s/4 об.—3/6 об.). Таким образом, Смотрицкий, как и Зизаний, но с существенно большей последовательностью, распространяет флексию -ми на существительные jо-склонения, и это несомненно обусловлено не влиянием живой речи, в которой данное явление оставалось окказиональным, и даже не ориентацией на книжную практику, где оно также не было представлено последовательно, а уже знакомым нам стремлением устранить омонимию. Здесь, можно думать, Смотрицкий развивал те приемы, которые внес в грамматическое описание Зизаний. Создаваемая таким образом нормативная грамматика церковнославянского не только противопоставляла книжный язык разговорному, но и противостояла в ряде моментов сложившейся книжной практике, в особенности практике гибридных памятников.

Московские издания Смотрицкого не вносят радикальных изменений ни в его подход, ни в его систематику¹. Сохраняется то же разделение на четыре склоне-

¹ Можно указать также на «Граматики или писменница языка словенскаго», изданную в Кременце в 1638 г. (Пузина 1638). Эта грамматика является в сущности сокращением Смотрицкого (Горбач 1977) и самостоятельного интереса для нас не представляет. Здесь, так же как и у Смотрицкого, выделяются четыре склонения существительных. Сравнительно со Смотрицким варианты флексий приводятся в существенно меньшем объеме. Варианты дат. мн. не предусмотрены и Смотрицким, в местн. мн. Пузина устраняет флексию -ѣхъ, унифицируя -ехъ, в тв. мн. вариативность сохранена только во втором склонении, в третьем и четвертом приводится только окончание -ми. Таким образом мы получаем в дат. мн.: Клеврѣтчи^м, Жи^мнемъ, Дрекѡлем^м (Пузина 1638, л. 8 об.—9 об.); в местн. мн.: Клеврѣтѣхъ, Жи^мнехъ, Дрекѡлехъ (л. 8 об.—10); в тв. мн.: Кле^мрѣтѣ^м, и^м

ния и то же распределение парадигм, инновации же носят частный характер. В московском издании 1648 г. устранены парадигмы греческих и латинских имен, в трех случаях устранена вариация в местн. мн.: *клеврѣтѣхъ* (опущено *и -тѣхъ*), *ѡрмѣхъ* (опущено *и ѡрмѣхъ*), *вѡннѣхъ* (опущено *и вѡннѣхъ*) (Смотрицкий 1648, л. 105 об.—107); в ряде случаев вместо окончания *-ѣхъ* поставлено окончание *-ѣхъ*, хотя в других случаях (в частности во втором склонении) *-ѣхъ* сохранено, так что никакой системной, принципиальной переработки в данном случае не наблюдается. Интерес представляют два случая обнаружения *a*-экспансии у существительных ср. рода: вместо *сѣрдце^х*, *и сѣрдцихъ* появляется *сѣрдцѣхъ*, *и ср^ацѣхъ* (л. 112 об.), вместо *знѡменіе^х*, *и знѡменій^х* — *знѡменіахъ*, *и знѡменій^х* (л. 130). Формы тв. мн. вообще никаким исправлениям не подвергаются, кроме появления в одной из парадигм *a*-склонения формы на *-ы*: *ѡвнѡми* *и ѡвнѡны* (л. 94); в последнем случае, очевидно, отражается языковая практика. Одно изменение фиксируется в дат. мн.: *сѣрдцѡмъ* вместо *сѣрдце^м* (л. 112) (Горбач 1964, 19). Стоит отметить, что новые проявления *a*-экспансии появляются у существительных ср. рода, что, видимо, опосредствованно отражает книжную языковую практику; флексии *-ами* в тв. мн. без изменений переносятся из первого издания и поэтому с языковой практикой не связаны, а обусловлены, как и в первом издании, стремлением к устранению омонимии.

Поликарповское издание 1721 г. также не вносит принципиальных новшеств. Издание ориентировано прежде всего на первую публикацию грамматики 1619 г., хотя учитываются и отдельные инновации предшествующего московского издания. У Поликарпова вновь появляются парадигмы греческих и латинских имен и в ряде случаев восстанавливается та вариативность, которая была устранена в издании 1648 г. (*клеврѣтѣхъ*, *и клеврѣтѣхъ*, *вѡнне^х*, *и вѡннѣхъ* — Смотрицкий 1721, л. 40—41). Расширяется также употребление флексии *-ѣхъ* вместо *-ѣхъ* в местн. мн. — тенденция, заметная уже в предшествующем московском издании; так, появляется *мѡтерѣхъ* вместо *мѡтерѣхъ* первых двух изданий (л. 56 об.), а также вносится флексия *-ѣхъ* вместо *-ѣхъ* в парадигмы «греческих» имен второго склонения: *ѡрестѣхъ*, *вѡлантѣхъ*, *вѡраѡрѣхъ* (л. 51—53); впрочем, в одном случае Поликарпов возвращается к форме первого издания: *врачѣ^х* (л. 67 об. — в изд. 1648 г. *врачѣхъ*, л. 131 об.). В дат. мн. никаких новшеств не появляется, любопытно, что сохраняется инновация издания 1648 г. *сѣрдцѡмъ* (л. 46). Наибольшим изменениям подвергается тв. мн. Поликарпов стремится распространить принцип вариативности окончаний и на те парадигмы, где фигурировала лишь одна форма, вводя дополнительные формы на *-ами*; в результате возникают варианты: *именѡми*, *и именѡны*, *словесѡны*, *и -ами*, *Рѡмѡны*, *и -ами*, *ѡрестѡны*: *и -ами*, *вѡлантѡны*, *и -ами* (л. 48 об.—53). Такие дополнения имеют место и в четвертом склонении, что приводит к возникновению наборов из трех вариан-

Кл^арѣт^а, *Жи^анѡма*, *Дреко^ами* (л. 8 об.—10); форма *Жи^анѡма* является, видимо, ошибкой, возникшей в результате контаминации с формами дв. числа, что свидетельствует об отсутствии этой формы в разговорном языке, — это не значит, впрочем, что в разговорном языке отсутствуют формы тв. мн. существительных ж. рода *i*-склонения с флексией *-ми*. Не ясно, в силу каких соображений в данной грамматике устраняется вариативность — в силу ли принципиального подхода или в силу сокращенного характера изложения, при котором варианты оказываются излишними деталями.

тов: **знѡйми, ѿ знѡн, ѿ знѡлами; крагѡйми, ѿ крагѡи, ѿ крагѡлами; врачѡми, ѿли врачѡи ѿ врачѡи, гѡспѡдми, ѿ гѡспѡды, ѿ гѡдѡми** (л. 63 об.—68). Вместе с тем Поликарпов до некоторой степени ограничивает употребление флексии *-ы/-и* как омонимичной, в двух парадигмах четвертого склонения вариант с *-и* заменяется на вариант с *-ами*: **знѡменми ѿ знѡменѡми, кѡнѡвѡйми, ѿ -вѡами** (л. 65 об.—66); в одном случае вариант на *-и* просто устраняется: **ходѡтайми** (61 об. — вместо **ходѡтайми, ѿ -тан** первых двух изданий); еще в одном случае, наконец, вариант с *-и* заменен на вариант с *-ми*, хотя это сделано в парадигме второго склонения, где данное окончание не фигурирует: **грѣхѡми, ѿ грѣхѡи** (л. 44 — вместо **грѣхѡми, ѿ грѣхѡи** предшествующих изданий); не повторяется и вариант тв. мн. **ѡны** (л. 30 об.). При всех изменениях речь может идти только о тенденциях, поскольку последовательно ни одно из изменений не проведено.

В части словоизменения существительных во мн. числе в прямой зависимости от Смотрицкого находятся и собственные сочинения Федора Поликарпова. Парадигмы существительных последовательно приводятся им лишь в одном сочинении — черновом «Художестве грамматическом» (РГАДА, ф. 381, № 1241), над которым он работал перед изданием грамматики Смотрицкого 1721 г. (Бабаева 2000, 14). Поликарпов пытается преобразовать классификацию существительных, разделяя их на три, а не на четыре склонения; первое и третье склонения Смотрицкого слиты у него в одном втором склонении. При построении парадигм он руководствуется теми же принципами распространения вариативности, которые он проводит затем в издании 1721 г.

Для дат. мн. и местн. мн. эти принципы имеют лишь ограниченное значение. В первом склонении в этих падежах Поликарпов дает только исконные флексии для существительных м. рода: **Бгѡмѡмѡ, сосѡдѡмѡмѡ, Бѡѡѡхѡ, сосѡдѡѡхѡ** (Бабаева 2000, 120—121), однако предусматривает вариативность для существительных ср.рода (что отражает, видимо, не только его грамматические принципы, но и практику современного ему книжного письма): **лицѡмѡмѡ, лицѡмѡмѡ ѿ лицѡмѡмѡмѡ; лицѡѡхѡ; словѡмѡмѡ, ѿ словѡсѡсѡмѡмѡ; словѡѡхѡ, словѡѡхѡ, словѡсѡѡхѡ, ѿ словѡсѡѡхѡ** (с. 121—122). В прочих склонениях вариативность в этих падежах ограничена и форм, отражающих а-экспансию, кроме одного случая, не предусматривает, ср. во втором склонении: **мѡтрѡмѡмѡ, мѡтрѡхѡ; ѡменѡмѡмѡ, ѿ ѡменѡмѡмѡ, ѡменѡхѡ** (с. 123—124), в третьем склонении: **црѡмѡмѡ, црѡѡхѡ; ѡерѡсѡмѡмѡ, ѿ ѡерѡсѡмѡмѡ, ѡерѡсѡхѡ; ходѡтаѡсѡмѡмѡ, ходѡтаѡсѡхѡ; мрѡвѡсѡмѡмѡ, ѿ мрѡвѡсѡмѡмѡ, мрѡвѡсѡхѡ, ѿ мрѡвѡсѡхѡ; здѡнѡсѡмѡмѡ, здѡнѡсѡхѡ ѿ здѡнѡсѡхѡ** (с. 123—128). В дальнейшем, впрочем, Поликарпов вносит несколько изменений, вводя инновативные формы; он заменяет **мрѡвѡсѡхѡ** на **мрѡвѡѡхѡ** и **здѡнѡсѡхѡ** на **здѡнѡѡхѡ** (с. 136).

В тв. мн. вариативность предусмотрена почти повсеместно и инновативные формы используются весьма интенсивно. Начальный импульс, обусловивший фиксацию инновативных форм, а именно разрешение падежного синкретизма, сохраняет свою силу, однако Поликарпов дает инновативные формы и там, где синкретизм отсутствует, основываясь на созданном Смотрицким прецеденте и легализуя таким образом развившуюся в книжных текстах практику. См. в первом склонении: **Бгѡи ѿли Бгѡами. ѿ Бгѡи; сосѡдами, ѿли сосѡды; лицѡами; словѡами, ѿ словѡсы, ѡми** (с. 120—122). Во втором склонении: **мѡтрѡми; ѡменѡми**

(с. 123—124). В третьем склонении: *црѣмѣи, ѿмѣи црѣи; ѿерѣемѣи, ѿерѣамѣи, ѿ ѿерѣи; ходѣтаймѣи; мрѣвѣимѣи, ѿ мрѣвѣямѣи, знѣимѣи или знѣи; крагѣямѣи, крагѣимѣи, ѿ крагѣи; слѣдѣимѣи, ѿмѣи слѣдѣи; здѣимѣи, здѣимѣимѣи, ѿ здѣимѣи* (с. 124—128). Две формы затем подвергаются исправлению: заменяется *знѣи* на *знѣимѣи*, а *здѣимѣимѣи* — на *здѣимѣамѣи* (с. 136)².

Целиком в русле Смотрицкого написана и грамматика Ф. Максимова. Единственным новым моментом является существенное сокращение вариативности флексий, что, впрочем, может объясняться не принципиальной установкой автора, а сокращенным характером этой грамматики. В классификации склонений Максимов следует Смотрицкому. Во втором склонении в дат. мн. во всех парадигмах дается флексия *-омѣмѣи/-емѣи*, единственное исключение — *сердцѣамѣи* (Максимов 1723, 12) повторяет оба московские издания Смотрицкого. В местн. мн. для парадигм *ѿпѣлѣи* и *дрѣво* приводятся варианты *-е^x* и *-ѣ^x*, в парадигмах *отрѣча* и *ѿмѣи* — только флексия *-е^x*, в парадигме *сердце* — варианты *-е^x* и *-ахѣи* (с. 12), т. е. повторены решения московских изданий. В тв. мн. единственным новшеством является устранение варианта на *-ы* из парадигмы *дрѣво* — кодифицируется только вариант с *a*-экспансией. В третьем склонении, представленном парадигмой *радѣсть*, изменений нет. В четвертом склонении, представленном парадигмами *ѿучѣтель* и *ѿучѣнѣи*, в первой парадигме новшеств нет, во второй дат. мн. и местн. мн. воспроизводят выбор обоих московских изданий (*-емѣи* и *-ѿа^x/-ѿи^x*), а в тв. мн. кодифицируются варианты *-амѣи* и *-и* (с. 16), т. е. устраняется специфически книжная форма типа *ѿучѣимѣи*, присутствующая во всех изданиях Смотрицкого. Эти частные изменения, впрочем, не меняют общего характера кодификации, сохраняющего преемственность грамматической традиции и в большой степени игнорирующего современную языковую (церковнославянскую) практику.

3.2. Первые грамматики русского языка

Итак, церковнославянская грамматическая традиция закрепляла старые флексии в дат. мн. и местн. мн., допуская лишь отдельные структурно обусловленные отступления. В тв. мн. дело обстояло иначе: флексия *-амѣи* кодифицировалась как равноправный вариант для большинства парадигм существительных *о*-склонения, а в отдельных случаях даже как вариант единственный; такое решение изначально диктовалось стремлением устранить падежную омонимию. Соотноше-

² В позднейших своих грамматических трудах Поликарпов полных парадигм не дает, хотя в самих текстах инновативные формы употребляются относительно часто и не всегда в соответствии с теми предписаниями, которые содержатся в «Художестве грамматическом» или в издании Смотрицкого 1721 г., ср. в рукописи РГАДА, ф. 201, № 6 и в Технологии 1725 г. (РНБ, ф. НРСК 1921.60 — Бабаева 2000, 139—335): *ѿимѣамѣи ѿ причѣстѣямѣи ѿ мѣстоимѣнѣямѣи, глаголамѣи* (с. 185), *в причѣстѣяхѣи со ѿимѣи ѿ мѣстоимѣнѣямѣи, во ѿимѣахѣи же ѿ мѣстоимѣнѣяхѣи* (с. 188), *писмѣнахѣи, соглѣсѣяхѣи, падежахѣи* (здесь же и *падежехѣи*), *ѿимѣахѣи, знаменѣванѣи^x* (с. 241) и т. д. Там, где неполные парадигмы все же появляются, Поликарпов производит отбор из вариантов, известных по его более ранним грамматическим трудам; никакой тенденции этот отбор не обнаруживает, ср.: *ѿчѣсамѣи, ѿчѣсы, ѿчѣсѣхѣи* (с. 170).

ние старых и новых флексий в славянских грамматиках в целом не соотносилось с языковой практикой, в частности, с практикой книжного языка; о влиянии практики на кодификацию можно говорить лишь для изолированных случаев. На этом фоне и возникают первые грамматики русского языка. Перед их авторами стояла дилемма: либо следовать установившейся грамматической традиции, либо учитывать языковую практику, в письменной форме (наиболее доступной наблюдению и формирующей языковое сознание) достаточно неоднородную. Обе эти возможности были реализованы в описаниях русского языка.

Лудольф явно реализует первую возможность. Он берет у Смотрицкого его классификацию склонений и, видимо, исходит из его парадигм. В дат. мн. и местн. мн. он кодифицирует лишь старые флексии: *городомъ, городехъ, древомъ, дрехъ, именеъ, именехъ, лошадемъ, лошадехъ, княземъ, князеъ*³ (Лудольф 1696, 16—18). В тв. мн., однако, у существительных второго склонения новые флексии появляются: *городами, древами* (с. 16—17); здесь Лудольф избирает тот вариант (из двух, приводимых Смотрицким), который в большей степени соответствует языковой практике (варианты окончаний у Лудольфа вообще отсутствуют). В остальных парадигмах тв. мн. кодифицируется с окончанием *-ми*: *именми, лошадми, князми* (с. 17—18). Только в последних двух случаях выбор формы совпадает с тем, который наблюдается у Смотрицкого; впрочем, источником здесь могла служить и языковая практика. Форма же *именми* ни из грамматики Смотрицкого, ни из узуса не объясняется (такая форма в текстах встречается достаточно редко, и при этом исключительно в текстах книжных). Правда, у Зизания появляется форма *врѣменъми* (Зизаний 1596, л. 30 об.), однако нет никаких оснований подозревать знакомство Лудольфа с этой грамматикой; скорее эта форма может объясняться аналогией с двумя последующими: флексия *-ми* распространяется на все те парадигмы, где у Смотрицкого во втором склонении отсутствует вариант с *-ами*, т. е. на парадигмы существительных с основой на согласную, ср. форму *христѣанми* в приложенном к грамматике разговорнике (Лудольф 1696, 75)³.

³ Те немногочисленные примеры интересующих нас флексий, которые встречаются в примерах и текстах, приводимых у Лудольфа, в целом соответствуют содержащимся в грамматике предписаниям. Для дат. мн. находим всего лишь один пример: *Ѹченикомъ* (Лудольф 1696, 78), ср. еще форму *азыкомъ* в письме Лудольфа к Ф. С. Салтыкову 1698 г. (Шепелева 1991, 199). Для местн. мн. примеров больше, они покрывают все типы склонения и неизменно демонстрируют флексию *-ехъ*: *дѣлехъ* (Лудольф 1696, 59, 74), *лѣтѣхъ* (с. 67), *дверехъ* (с. 44), *гостехъ* (с. 62). В тв. мн. находим: *глазми* (с. 13), *дрѣвми* (с. 62), *христѣанми* (с. 75), *санми* (с. 55), *людми* (с. 5, 69); в двух случаях, однако, предписания грамматики нарушены: в цитате из Евангелия встречается тв. мн. *человѣки* (с. 81), в другом случае появляется форма *мыслами*, идущая, видимо, из живого языка (в письменном узусе окончание *-ами* у существительных ж. рода *i*-склонения встречается во времена Лудольфа достаточно редко — см. § III.1.2) и свидетельствующая о той дистанции, которая разделяет реальное живое употребление и кодифицируемые Лудольфом формы: славянская грамматическая традиция во многих случаях остается здесь определяющим фактором, поскольку — несмотря на общий описательно-полевой характер данной грамматики — многие явления живого языка продолжают восприниматься через призму грамматической традиции, а отличия от церковнославянского осознаются лишь в ограниченном объеме.

Копиевич в своих грамматических трудах значительно менее последователен. В его латинской грамматике фиксируются — в силу того что русские парадигмы являются всего лишь переводами латинских — только дат. мн. и тв. мн., причем последний не во всех парадигмах. В парадигмах большинства существительных м. и ср. рода *o*-склонения (входящих во второе склонение по Смотрицкому) прослеживается тот же принцип, что и у Лудольфа: сохраняется дат. мн. на *-омь/-емь*, а из вариантных флексий тв. мн. выбирается *-ами*, ср.: *мѣченикомъ, мѣчениками* (Копиевич 1700, 81), *ѡтцѣмъ, ѡтцѣми* (с. 85), *градѡмъ, градѣми* (с. 87), *столѡмъ, столѣми* (с. 89—90), *цвѣтѡмъ, цвѣтѣми* (с. 98), *лѡжомъ, лѡжами* (с. 68), *правилѡмъ, правилѣми* (с. 77), а также *мѡжемъ, Мѡжѣми* (с. 61 — у Смотрицкого входило бы в четвертое склонение); в ряде случаев тв. мн. не дается, но дат. мн. кодифицирован с флексией *-омь*: *чѣкомъ* (с. 70), *закѡномъ* (с. 119), *снѣгѡмъ* (с. 120), *плодѡмъ* (с. 124), *сѣрдѡмъ* (с. 87), а также *стрѣжемъ* (с. 75), *вѡждѡмъ* (с. 117). Полной последовательности, однако, нет. В одном случае старые флексии даются и в дат. мн., и в тв. мн.: *влѡтомъ, влѡты* (с. 105); в другом случае в тв. мн. находим два варианта: *родѡмъ, родѣми, ѡ рѡды* (с. 102—103); в трех случаях новые флексии кодифицируются и в тв. мн., и в дат. мн.: *мѡнстрѡмъ, мѡстерами* (с. 60), *ѡмѣнамъ, ѡмѣнами* (с. 76), *врѣмѣнамъ, врѣмѣнами* (с. 100—101), ср. также форму *рогамъ* (с. 126) в парадигме без тв. мн. Существительные м. рода *i*-склонения в дат. мн. имеют окончание *-емь*: *людемъ* (с. 70), а также склоняемое по этому типу *кнѣземъ* (с. 109). У существительных ж. рода *i*-склонения в дат. мн. наблюдается вариативность: *вѡдѡстасѣмъ* (с. 127), *нощѣмъ* (с. 121), но *чѣстѣмъ* (с. 80), *пещѣмъ* (с. 116), *рѣчѣмъ* (с. 128); последние три примера явно идут вразрез с грамматической традицией и, видимо, могут быть объяснены лишь влиянием разговорного употребления или тех письменных текстов, которые широко отражают *a*-экспансию (ср. § III.1.2). Для тв. мн. у существительных *i*-склонения материал практически отсутствует: *кнѣзми, кнѣзѣми* (с. 109); *чѣстми* (с. 80).

Сходные явления прослеживаются и в «славенороссийской» грамматике Копиевича. Зависимость от Смотрицкого очевидна и в классификации существительных по четырем словоизменительным классам, и в конкретных примерах. Во втором склонении, представленном одной парадигмой *Клеврѣтъчъ*, старая флексия сохраняется в дат. мн., в тв. мн. из двух вариантов выбирается *-ами*, однако в местн. мн. появляется (в отличие от всех предшествующих грамматик) флексия *-ахъ*: *клеврѣтѡмъ, клеврѣтѣми, клеврѣтахъ* (Копиевич 1706, л. В1). Третье склонение сохраняет полный набор старых флексий: *зѡповѣдемъ, зѡповѣдѣми, зѡповѣдѣхъ; частѣмъ, частѣми, частѣхъ* (л. В1 об.—В2). Четвертое склонение иллюстрируется странным набором парадигм: *цѣрь, пришествѣе* (без мн. числа) и *цѣрство*; к последней парадигме дано примечание: “*ѡице ѡ рѡчѣи сѣрднѣ ѡмѣна скланѣютсѣ*”, что в принципе может означать, что к четвертому склонению отнесены все существительные ср. рода. В силу такого состава парадигм в этом словоизменительном типе не остается никаких следов *i*-склонения существительных м. рода, прежде всего тв. мн. на *-ми*, фиксированного у Смотрицкого. Кодифицируются следующие формы: *цѣрѣмъ, цѣрѣми, цѣрахъ; цѣрствѡмъ, цѣрствѣи, цѣрствахъ* (л. В2 об.—В3). Таким образом, как и во втором склонении, старые флексии сохранены в дат. мн., тогда как в местн. мн. отражается

а-экспансия; в тв. мн. *-ами* дается для существительных м. рода, а в ср. роде кодифицируется *-ы* (возможно, из-за отсутствия омонимии с им.-вин. мн.).

Можно видеть, что ни в латинской, ни в русской грамматике Копиевича характерные для языковой практики соотношения старых и новых флексий почти не отражаются — если не считать определенной консервативности существительных ж. рода *i*-склонения и отсутствия отражения а-экспансии в дат. мн. Влияние грамматической традиции выражено яснее, так что старые флексии могут быть отнесены именно на счет этого влияния. Вместе с тем отклонения от нее свидетельствуют об ощущении (возможно, неясном) ее несоответствия реальному узусу и попытках это соответствие установить; систематичности этих попыток препятствует неоднородность языковой практики⁴.

На этом фоне радикальным новшеством оказывается грамматика Глюка 1704—1705 гг., в кодификации рассматриваемых нами явлений практически полностью порывающая с предшествующей традицией. Если не считать единичных отступлений, Глюк последовательно кодифицирует новые флексии для всех типов склонения. Так обстоит дело с существительными м. рода *o*-склонения, ср.: *Бѣа^м*, *Бѣами*, *Бѣа^х* (ГИМ, Син. 735, л. 7; см. публикацию: Кайперт, Успенский, Живов 1994); *воламъ*, *волами*, *вола^х* (л. 9 об.); *гнѣва^м*, *гнѣвами*, *гнѣва^х* (л. 6 об.); *града^м*, *градами*, *града^х* (л. 7 об.); *двора^м*, *дворами*, *двора^х* (л. 11 об.); *дѣа^м*, *дѣами*, *дѣа^х* (л. 13); *знака^м*, *знаками*, *знака^х* (л. 9) и т. д. Таковы же (за одним исключением) парадигмы существительных ср. рода, в том числе и относящихся к старому склонению на согласный: *лицамъ*, *лицами*, *лица^х* (л. 3); *зрѣнїе^м*, *зрѣнїями*, *зрѣнїя^х* (л. 3); *дѣла^м*, *дѣлами*, *дѣла^х*, *дѣлеса^м*, *дѣлесами*, *дѣлеса^х* (л. 5 — формы с *-ес-* даются как варианты); *врѣмена^м*, *врѣменами*, *врѣмена^х* (л. 2 об.). Аналогично кодифицируются (опять же за одним исключением) и парадигмы существительных м. рода *jo*- и *i*-склонения, относящиеся у Смотрицкого к четвертому словоизменительному типу: *гуся^м*, *гусями*, *гуся^х* (л. 22); *ежамъ*, *ежами*, *ежа^х* (л. 8); *кнѣзамъ*, *кнѣжами*, *кнѣза^х* (л. 18 об.); *колодезамъ*, *колодежами*, *колодеза^х* (л. 8 об.); *овоца^м*, *овоцами*, *овоца^х* (л. 15); *ходатае^м*, *ходатаями*, *ходатае^х* (л. 4); *црѣямъ*, *црѣями*, *црѣя^х* (л. 21 об.); *че^рвямъ*, *че^рвями*, *че^рвяхъ* (л. 16). Такой же набор флексий (и вновь за одним исключением) придан и существительным ж. рода *i*-склонения: *браня^м*, *бранями*, *браня^х* (л. 20 об.); *грязямъ*, *грязями*, *грязя^х* (л. 18 об.); *коря^м*, *корями*, *коря^х* (л. 21 об.); *лжа^м*, *лжиями*, *лжа^х* (л. 18); *моля^м*, *молами*, *моля^х* (л. 19 об.); *моча^м*, *мочами*, *моча^х* (л. 24); *мудростя^м*, *мудростями*, *мудростя^х* (л. 22 об.); *мышя^м*, *мышями*, *мышя^х* (л. 14 об., 24 об.); *мѣдя^м*, *мѣми*, *мѣдяхъ* (л. 17 об.); *помоща^м*, *помощами*, *помоща^х* (л. 25); *ско^рбямъ*, *ско^рбями*, *ско^рбяхъ* (л. 16 об.); ср. также: *дочеря^м*, *дочерями*, *дочеря^х* (л. 21), однако: *матерямъ*, *матерми*, *матерахъ* (л. 4 об.).

Таким образом, отступления от последовательной унификации флексий встречаются всего в четырех парадигмах, имею в виду формы *зрѣнїе^м*, *ходатае^м* и *ходатае^х*, *мѣ^оми*, *матерми*. Что касается форм из парадигм *ходатаи* и *мати*, то

⁴ Характерно, что даже те примеры, которые извлекаются из короткого текста данной грамматики, не соответствуют кодифицируемым у Копиевича парадигмам. Языковая практика явно не служила для него основным ориентиром. См. в тексте формы тв. мн.: *наклои́нїи ѿ вре́мени* (Копиевич 1706, л. С1), *перста́ми* (л. D7 об.).

они вообще заимствованы из Смотрицкого (издания 1648 г. — см.: Кайперт, Успенский, Живов 1994, 55—58), т. е. речь идет не о том, почему у Глюка появляются отмеченные формы, а о том, почему он заимствует данные парадигмы⁵. Форма *zrb̄nie^m* может быть аналогом формы *знаменіемъ* у Смотрицкого. Наконец, форму *m̄^omi* следует интерпретировать просто как случайную непоследовательность, вряд ли отражающую какой-то определенный узус. Все это, однако, единичные отступления на фоне вполне четкой общей модели. Сама эта модель имеет нормополагающий характер, а не является фиксацией разговорного употребления (тем более не основана она на употреблении письменном, которое, как мы видели, ко времени написания грамматики отнюдь не озаменовано последовательным устранением старых флексий). Так обстоит дело с общим характером кодификации Глюка, а в нашем случае об этом свидетельствуют искусственные формы типа *ложиями*, равно как и в целом кодификация флексии *-ами* в тв. мн. существительных *i*-склонения, не находящая соответствия ни в письменном, ни в разговорном употреблении того времени. Можно предположить, что Глюк, обнаруживая вариативность как в известных ему грамматиках, так и в текстах, устраняет ее и выбирает в качестве унифицированного вариант *-ами*, поскольку он представлен во всех парадигмах (в отличие от *-ми* и *-ы*) и не создает омонимии (оказало ли влияние на этот выбор разговорное употребление, остается неясным).

У Глюка мы имеем дело с индивидуальной нормализацией, ясное свидетельство этому дает последующее развитие грамматического описания, обходящее Глюка стороной и возвращающееся к прежней вариативности⁶. Так, в частности,

⁵ В принципе Глюк описывает словоизменение существительных, различающихся последними буквами основы. Эта схема усваивается Глюком из немецких грамматик латинского языка (из традиции, восходящей к грамматике Меланхтона), возможно, через посредство грамматики польского языка Петра Страториуса. В приложении к русскому материалу она воплощается в перечне парадигм лексем, кончающихся в им. ед. различными гласными, а затем различными согласными (сначала с ером после согласной, а потом с ером после согласной) (см.: Кайперт, Успенский, Живов 1994, 36—37). Именно в силу этого основную часть парадигм, приводимых Глюком, составляют существительные м. рода *o*- и *jo*-склонения и существительные ж. рода *i*-склонения, тогда как существительные, кончающиеся на *a*, *я*, *o*, *e*, *и*, *й* (т. е. существительные *a*- и *ja*-склонения, существительные ср. рода *o*- и *jo*-склонения, а также существительные *ходатай* и *мати*), представлены единичными парадигмами. Эти парадигмы даются в начале описания словоизменения, и можно думать, что в этих единичных парадигмах Глюк пытался руководствоваться Смотрицким, внося в этот образец отдельные исправления (так же он поступает далее с местоимениями). Когда же он перешел к массовому материалу (*лобъ*, *зобъ*, *левъ*, *гнѣвъ* и т. д. по алфавиту), он в своей разработке парадигм вполне эмансипировался от кодификации Смотрицкого.

⁶ Можно было бы считать, что нормализационное решение, принятое Глюком, повторено в грамматике Ивана Афанасьева 1725 г., однако его материалы слишком фрагментарны, а грамматические установки слишком непоследовательны, чтобы вписаться в какую-либо традицию. Во всех приводимых формах в этой грамматике кодифицируются новые флексии, хотя таких форм немного и они характеризуют лишь отдельные из интересующих нас классов. Описание существительных ориентировано у Афанасьева на образцы немецких грамматик, что обуславливает и характер выделяемых им трех склонений, и состав падежей (см.: Успенский 1989, 223—224). В большинстве парадигм даются

обстоит дело в грамматике Сойе. Хотя зависимость этой грамматики от Лудольфа проявляется во множестве моментов (см.: Успенский 1987а, с. IX сл.), лудольфовскую классификацию склонений Сойе не сохраняет, порывая тем самым не только с Лудольфом, но и со Смотрицким. Сойе выделяет десять склонений, в одних случаях делая отдельными склонениями подтипы Смотрицкого (например, существительные типа *имя* или *Хрiстiїанинь*), в других — создавая словоизменительные типы самостоятельно (например, существительные на *-ринь* и *-динь* типа *баяринь*, им. мн. *баяра*). В разных склонениях допускается разная вариативность, и хотя а-экспансия реализуется в существенно большем объеме, чем у Лудольфа или в московских изданиях Смотрицкого, старые флексии кодифицируются во многих словоизменительных типах. Движение к новой норме в этой грамматике становится особенно заметным, если отделить те парадигмы, при построении которых Сойе так или иначе ориентируется на предшествующие грамматики, от тех, которые он составляет самостоятельно⁷.

Третье склонение Сойе соответствует второму склонению Лудольфа и Смотрицкого и включает существительные м. и ср. рода, кончающиеся на *ъ*, *о* и *е*. Оно представлено парадигмами *городъ*, *лицо*, *сердце*, *отець*, *родъ*. Первая парадигма взята у Лудольфа и преобразована: вместо дат. мн. *городомъ* дается *городамъ*, к

только дат. мн. и местн. мн., а тв. мн., формы которого у существительных ж. рода *i*-склонения были бы особенно для нас интересны, кодифицирован лишь в одном случае. Приводимые Афанасьевым формы таковы: *столамъ*^x (Harvard University, The Houghton Library, Kilgour, MS Russ 5, с. 1), *лошадя*^y, *лошадяхъ* (с. 3), *мѣжа*^z, *мѣжа*^{zzz} (с. 4), *лошадя*^z (с. 6). Сколь бы фрагментарной ни была эта кодификация, мы имеем здесь дело с первой грамматикой, в которой старые флексии вообще не представлены, и это, надо думать, является следствием ориентации на разговорное употребление и отсутствия связи со славянской грамматической традицией.

⁷ Вопрос об источниках грамматики Сойе в полной мере не изучен. Одним из таких источников несомненно была грамматика Смотрицкого. Использование Смотрицкого отразилось не только в том, что отдельными склонениями оказываются подтипы Смотрицкого, но и в самом подборе примеров. Касаясь своей классификации склонений, Сойе пишет: «La maniere de decliner les Noms ne peut se reduire à un certain petit nombre de regles et d'exemples: j'ay observé pour les declinaisons l'ordre et le nombre qui m'aparut le plus convenable; et pour les mots difficiles qui sont peu en usage dans la dialecte Russe, et qui ne peuvent être reduits à ces regles-cy, il faut absolument avoir recours à la grammaire Esclavonne» (Сойе, I, 16). Из этого пояснения очевидно, что в трудных случаях к славянской грамматике прибегал и сам Сойе, и в общем не приходится сомневаться, что этой грамматикой был Смотрицкий. Некоторые парадигмы Смотрицкого Сойе игнорировал, относя их к числу мало употребляющейся в русском языке церковнославянской лексики; однако в других случаях он, видимо, использовал парадигмы Смотрицкого. Так, среди парадигм первого склонения у Сойе фигурирует *паница* (с. 35), и это соответствует Смотрицкому (1619, л. Д/2 об.—3). Второе склонение, сформированное на основе одного из подтипов Смотрицкого, также представлено совпадающей со Смотрицким парадигмой *сѣдья* (с. 38). Ряд других общих Сойе и Смотрицкому парадигм был отмечен в тексте. Неслучайные, на наш взгляд совпадения, обнаруживаются и в списках слов, склоняющихся по образцам приведенной парадигмы. Так, существительные, принадлежащие четвертому склонению, иллюстрируются набором: *воробей*, *вѣргілій*, *бой*, *хѣй*, *люבודѣй* (с. 43); первое и последнее слова из этого набора фигурируют и у Смотрицкого (л. S/8, 3/1 об.—2). Ср. еще в тексте о соотношении парадигм *родъ* у Сойе и *домъ* у Смотрицкого.

местн. мн. **городехъ** добавлен вариант *городахъ*; тв. мн. *городами* оставлен без изменения (Сойе, I, 39). Вторая парадигма составлена самостоятельно и демонстрирует лишь новые флексии: *лицамъ, лицахъ, лицами* (с. 39). Следующие две парадигмы берутся у Смотрицкого и подвергаются модификациям; если полагать, что Сойе пользовался первым изданием, то модификации состоят в замене *e* на *o* во флексии дат. мн. и опущении форм со старыми флексиями, там где у Смотрицкого они даются как варианты; в результате получается: *сердцомъ, сердцахъ, сердцами*; *отцомъ, отцахъ, отцами* (с. 40—41). Последняя парадигма сформирована по образцу парадигмы Смотрицкого **домъ** (*домъ* упоминается в числе существительных, склоняющихся так же, как *родъ*, и, видимо, именно Смотрицкий служит прецедентом для кодификации флексии *-у* в род. ед. и местн. ед.); в соответствии с этим образцом и появляются формы: *родомъ, родехъ, родами* (с. 42). В четвертое склонение входят существительные м. рода, кончающиеся на *-й*, которые у Смотрицкого и Лудольфа также относятся к четвертому склонению, однако наборы примеров у Смотрицкого и Сойе различаются и, видимо, выбор форм сделан последним самостоятельно; в результате появляются преимущественно новые флексии: «*панѣгаямъ, панѣгахъ* ou *панѣгаяхъ, панѣгаями*» (с. 43). Пятое склонение состоит из существительных ср. рода старой **n*-основы и представлено парадигмой *имя*, взятой у Лудольфа; повторяются и кодифицированные Лудольфом формы, включая и специфическую форму тв. мн.: *именемъ, именехъ, именми* (с. 44). Шестое склонение образуется существительными м. рода «*еп нінъ*» и иллюстрировано парадигмой *хрїстіанінъ*; парадигма составлена самостоятельно и вновь демонстрирует преимущественно новые флексии: «*хрїстіанамъ, хрїстіаняхъ* ou *хрїстіанехъ, хрїстіанами*» (с. 45). Седьмое склонение включает существительные ж. рода «*еп ь*» и в качестве примера дается взятая у Лудольфа парадигма *лошадь*; повторяются и кодифицированные Лудольфом флексии: *лошадемъ, лошадахъ, лошадами* (с. 46). Восьмое склонение по существу повторяет шестое, принципиальным отличием является лишь флексия *-а* в им. мн., оно включает существительные «*еп ринъ et динъ*»; однако, поскольку оно является новшеством Сойе, в нем полностью отсутствуют старые флексии: *боярамъ, боярахъ, боярами*; *господамъ, господахъ, господами* (с. 47). Так же обстоит дело с девятым и десятым склонениями, также выделенными самим Сойе. В девятое входят существительные м. рода «*еп ь*», в приводимой парадигме находим: «*караблямъ, карабляхъ, караблями* ou *караблми*» (с. 48 — последняя форма вряд ли была известна разговорному употреблению, но соответствует письменному узусу). В десятое склонение входят существительные ср. рода «*еп нїе*», даются формы: *уничиженїямъ, унииженїяхъ, унииженїями* (с. 49).

Таким образом, влияние грамматической традиции обуславливает сохранение у Сойе старых флексий; там, где это влияние не сказывается, употребляются почти исключительно новые флексии. Ни в одном случае это влияние не обуславливает сохранение тв. мн. на *-ы*, и это понятно, поскольку у Смотрицкого данные формы даются как варианты, и Сойе их устраняет. Что же касается появления старых флексий в других случаях, то у Сойе они кодифицируются преимущественно в местн. мн., несколько реже в дат. мн., однако вряд ли можно думать, что это отражает какие-либо отношения системного характера. Как бы то ни было, *a*-экспансия кодифицируется Сойе в значительно большем объеме, нежели

предшествующими грамматиками (кроме грамматики Глюка), и в этом нельзя не видеть отражение изменений, произошедших в языковой практике: Сойе, видимо, использовал в своей кодификации книги гражданской печати (Успенский 1987а, с. VI, X), и абсолютное преобладание в них новых флексий повлияло, надо думать, на выбор грамматиста.

3.3. Формирование академической традиции. Принципы нормализации

Именно эти разнородные образцы грамматической учености, единственной общей основой для которых является грамматика Смотрицкого, но которые в остальном — в том, что касается анализируемой нами подсистемы, — разбегаются в разные стороны, и достаются в наследство академической филологии, с конца 1720-х годов пытающейся построить языковой стандарт и кодифицировать этот филологический конструкт. Исходным пунктом этой кодификаторской работы является, как уже говорилось, «Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache» И.-В. Пауса, завершенная в 1729 г. В отличие от предшествующих грамматистов, Паус основывает свое описание на обработке обширного корпуса церковнославянской и русской письменности (включающего и Библию 1663 г., и Уложение 1649 г.); на примеры из обследованных им памятников он ссылается в своей грамматике. Разнородные данные, полученные этим путем, Паус пытается привести в систему, активно используя грамматику Смотрицкого и, в частности, восполняя за счет этого источника лакуны собственного материала. Он, однако, не только систематизирует, но и нормализует, отбирая в морфологии наиболее «правильные» с его точки зрения варианты, а прочие помещая в многочисленных особых заметках. Одним из инструментов нормализации служит для него противопоставление «славянского» и «русского», которые он рассматривает как два сросшихся между собою наречия внутри одного языка (ср. выше, § II.4; см. о грамматике Пауса: Михальчи 1964; Михальчи 1968; Михальчи 1969; Живов и Кайперт 1996; Хутерер 2001); с помощью этого противопоставления он классифицирует ряд вариантов, указывая с помощью соответствующих рубрик на сферу их применения.

Все эти подспорья кодификации используются в трактовке вариативности в разбираемой нами подсистеме. Паус берет за основу ту классификацию существительных по склонениям, которую он находит у Смотрицкого. Он, однако, преобразует ее, разделяя второе склонение Смотрицкого на два склонения: второе, которое включает существительные м. и ср. рода с регулярной основой из второго склонения Смотрицкого, и третье, в которое отделены существительные ср. рода с наращением основы в косвенных падежах (т. е. со старой основой на согласный) типа *имя*, *отроча*, *слово*; объединить эти два класса в один невозможно, поскольку «es würde mehr confusion geben» (БАН, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 54). Таким образом у Пауса получается пять склонений существительных: (1) имена ж. рода *a-* и *ja-*склонения; (2) имена м. рода *o-*склонения и ср. рода *o-* и *jo-*склонения, (3) имена ср. рода с наращением основы; (4) имена м. рода, кончающиеся в им. ед. на *-ь* и *-и* (*й*), т. е., как и у Смотрицкого, существительные м. рода *jo-*склонения и *i-*склонения (*день*, *князь*, *церей*, *Господь* и

т. д.), и имена ср. рода на *-ие*; (5) имена ж. рода *i*-склонения и склонения на согласный (*заповѣдь, матерь*).

Для существительных м. рода второго склонения Паус последовательно кодифицирует в дат. мн. окончание *-омь/-емь*: *рабо́мь, лво́мь, друго́мь, родо́мь, образо́мь, замо́мь, грѣхо́мь, посло́мь, дворо́мь, часо́мь, отце́мь, братіе́мь, сыно́мь, [сын]ово́мь, духо́мь, духо́во́мь* (последняя форма со ссылкой на Лис. IV, 36) (л. 50 об.—51). При этом в специальном примечании Паус указывает, что «славянскому» *-омь* соответствует «русское» *-амь* (л. 49). У этих же существительных, с несколько меньшей последовательностью, кодифицируется и окончание *-ехъ* (или *-ѣхъ*): *рабехъ, лвехъ, другахъ, [дру]зѣхъ, родехъ, образехъ, замкехъ, грѣсѣхъ, грѣхохъ, послахъ, дворѣхъ, часехъ, отцѣхъ, братехъ, сынѣхъ, [сын]овѣхъ, дусехъ, духовехъ* (л. 50 об.—51). И в этом случае Паус отмечает, что в славянском употребляются окончания *-ехъ* и *-ѣхъ*, тогда как русские по большей части говорят *-ахъ* (л. 49). Для существительных ср. рода Паус данные противопоставления не отмечает. Он, видимо, считает, что флексия *-амь* свойственна и русскому и славянскому; он может при этом ориентироваться как на грамматику Смотрицкого, в которой данная флексия дается в качестве варианта при ряде существительных ср. рода (см. выше), так и на узус гибридных текстов. Соответственно, у существительных ср. рода по большей части кодифицируется окончание *-амь*: *сердца́мь, емь; лица́мь, дѣла́мь, поля́мь*, однако *древомь* (л. 51 об.). Аналогичным образом обстоит дело и в местн. мн.: *сердце́хъ, ахъ; лица́хъ, дѣла́хъ, поля́хъ*, однако *древехъ, ѣхъ* (л. 51 об.). Характерно, что здесь Паус явно отступает от активно используемого им Лудольфа, который в дат. мн. дает только *-омь*, а в местн. мн. — только *-ехъ*.

Для тв. мн. Паус русские и славянские флексии не противопоставляет; можно думать, что причина этого в широком использовании флексии *-ами* в парадигмах Смотрицкого: Паус закономерно полагает, что *-ами* свойственно не только русскому, но и славянскому. В соответствии с этим осуществляется и кодификация тв. мн. во втором склонении, преимущественно фиксируется флексия *-ами*, а *-ы* выступает в качестве допустимого варианта: *раба́ми, ы; лва́ми, друга́ми, ги; рода́ми; обра́зами; зама́ми; грѣха́ми, грѣхи; посла́ми; двора́ми; часа́ми; отца́ми, ы; братіа́ми; сыны, ами; духа́ми, духы* (л. 50 об.—51). Схоже и в ср. роде: *сердца́ми, срѣ́цы; лица́ми, ами; дѣла́ми, ы; поля́ми, ы; древа́ми, ы* (л. 51 об.).

В третьем склонении Паус избегает фиксации новых форм, возможно, потому, что такие формы с наращением, как *отрочята* или *словеса*, известны ему только из книжных текстов, а формы слов *имя, время, сѣмя* и т. д. он строит по аналогии с формами других слов, включенных в данное склонение. В результате он кодифицирует в дат. мн. *именемь, отроча́темь, словесемь*, в местн. мн. *именехъ, отроча́техъ, словесѣхъ*, в тв. мн. «*именми од. имены, отроча́ты и. ами, словесы, ами*» (л. 54). Здесь же Паус отмечает, что слово *дѣтя од. дитя* правильно склоняется в сингулярисе (Г. *дитяте*, Д. *дитяти*), но во мн. числе изменяет род и склонение, становясь существительным ж. рода и склоняясь по пятому склонению. Соответственно даются и формы: дат. мн. *дѣтемь*, местн. мн. *ехъ*, тв. мн. *ями одер ьми* (л. 54 об.).

Только старые формы кодифицируются у существительных м. рода четвертого склонения. Дат. мн.: *княземь, свидѣтелемь, иереемь, жребіемь, црѣемь, Госпо-*

демь, людемь. Местн. мн.: *князехъ, свидѣтелехъ, іереехъ, жребіехъ, црѣхъ, ѣхъ, Господехъ, людахъ*. Тв. мн.: *князьми oder u, свидѣтельми oder u, іереими oder eu, жребіими oder u, црѣми oder u, Господьми, людьми* (л. 56 об.). По-иному обстоит дело с существительными ср. рода. Здесь Паус дает только новую форму в дат. мн.: *зна́меніамь*; кодифицирует старую и новую форму в качестве вариантов в местн. мн.: *зна́меніяхъ, ихъ*; тогда как в тв. мн. указывает в качестве вариантов две книжных формы: *зна́меньми, ѱи* (л. 57 об.). Исключительно старые формы фиксируются в пятом склонении: *заповѣдемь, заповѣдехъ, заповѣдьми; матеремь, матерехъ, материьми* (л. 59).

Как можно видеть, Паус значительно более систематичен, чем большинство его предшественников. Он исходит из узуса, а поскольку, как нам известно, узус доступных Паусу текстов характеризовался большой вариативностью в области анализируемых нами форм, он фиксирует эти варианты в своей кодификации. Сама по себе вариативность не отпугивает Пауса, и он делает нормативный выбор по большей части в тех случаях, когда для этого есть определенные основания в языковой практике (когда можно указать на доминирующее употребление, как, например, на флексию *-амь* в дат. мн. у существительных ср. рода *о*-склонения). Во многих случаях Паус, видимо, не находит оснований ни для какого выбора варианта (возможно, из-за недостатка материала), и тогда воспроизводит Смотрицкого, изредка добавляя дополнительные варианты. Наконец, при определенных обстоятельствах, когда известная Паусу языковая практика позволяла усмотреть функциональное распределение вариантов, он классифицирует эти варианты, относя их к «славянскому» или «русскому».

Молодые академические филологи (В. Е. Адодуров и М. Шванвиц) относились к Паусу враждебно, и грамматическое описание, отражающее беспорядочный узус, не соответствовало их вкусам. Оно не решало задачи создания языкового стандарта, поскольку лишь закрепляло тот хаос, который, на взгляд реформаторов, царил в современной им языковой практике. Реформирование требовало не фиксации и систематизации существующих вариантов, но прямых предписаний, которые утверждали бы одни варианты и отбрасывали другие. В этом плане академические филологи отказывались от того направления, которое олицетворял Паус. Однако в самом этом отказе они основывались на кодификации, осуществленной Паусом. Там, где Паус обозначал вариант как славянский, они могли отбросить его, поскольку создаваемый ими языковой стандарт строился в противопоставлении церковнославянскому (традиционному книжному языку). Там, где Паус приводил варианты как равноправные, они получали возможность обозреть диапазон выбора и попытаться выработать критерии (например, соответствия разговорному употреблению), которые позволяли бы минимизировать немотивированную вариативность. Определенный опыт подобной нормализации был ими накоплен в ходе издания «Примечаний к ведомостям». Теперь этим нормализационным установкам предстояло воплотиться в грамматической кодификации.

Первым осязаемым результатом этого процесса была «Немецкая грамматика» М. Шванвица. Как мы видели выше, нормализация морфологии нового языкового стандарта, отразившаяся в «Примечаниях к ведомостям», почти полностью устраняла старые флексии. Эта нормализация отразилась и в парадигмах «Не-

мецкой грамматики». Поскольку русские формы даются здесь лишь как соответствия немецким, представлены только формы дат. мн. Однако и они показательны, тем более что именно в них можно было бы ожидать наибольшего сохранения старых флексий. У существительных м. рода *o*-склонения находим исключительно новые флексии: *королямъ* (Шванвиц 1730, 155), *жезламъ* (с. 155), *мужамъ* (с. 157), *богамъ* (с. 157), *духамъ* (с. 157), *Ангеламъ* (с. 159), *отцамъ* (с. 159), *батогамъ* (с. 159), *часамъ* (с. 163), *столикамъ* (с. 171), *ящичкамъ* (с. 171). Так же обстоит дело и с существительными ср. рода *o*-склонения: *княжествамъ* (с. 169), *сердцамъ* (с. 173). Новая флексия кодифицирована и в форме *господамъ* (с. 161). Иная ситуация у существительных м. рода *i*-склонения, здесь старые флексии сохранены: *людемъ* (с. 161), *дѣтемъ* (с. 169). У существительных же ж. рода *i*-склонения кодификация непоследовательна: *добродѣтелямъ* (с. 165), но *мыслямъ* (с. 157); сюда же, видимо, нужно отнести *дочерямъ* (поскольку имена со старой основой на **r* больше не образуют отдельного словоизменительного типа и у Пауса включены в один словоизменительный класс с существительными ж. рода *i*-склонения). Таким образом, старые флексии фиксируются лишь в «малых» классах, и такая их кодификация непосредственно соотносится с их употреблением в нормализованных текстах, издававшихся академической типографией. Отмечу сразу же, что во втором издании «Немецкой грамматики», отредактированном В. Е. Адодуровым, в приведенные выше примеры вносится лишь одно исправление: новая флексия появляется в форме *добродѣтелямъ* (Шванвиц 1734, 109); тем самым старые флексии сохраняются только у существительных м. рода *i*-склонения.

В развернутом виде нормализационные установки молодых академических филологов выразились в «Compendium Grammaticae Russicae» М. Шванвица. Эта грамматика, написанная в 1730—1731 гг., дошла до нас в неполном виде (рукопись БАН, F.N. 250; см. об этой грамматике: Кайперт 1992; ср.: Успенский, III, 487—491)⁸, однако удачным для настоящего очерка образом сохранившаяся часть содержит полное описание склонения существительных и обрывается на склонении прилагательных. Не вызывает особых сомнений знакомство М. Шванвица с грамматикой И.-В. Пауса, очевидное, например, в учении о движении (*motio*) существительных. Тем более рельефно выступают новшества, внесенные в грамматическое описание русского языка молодым филологом. Шванвиц отказывается от предложенной Паусом классификации существительных, вновь объединяя существительные ср. рода «с наращением» с существительными м. и ср. рода второго склонения и тем самым возвращаясь к систематике Смотрицкого. Одним из резонансов этого попятного движения могло быть устранение старых форм из склонения существительных ср. рода «с наращением», отличавших их от существительных второго склонения у Пауса и побуждавших его выделить их в отдельный класс.

Шванвиц радикально расправляется со старыми формами в косвенных падежах мн. числа, радикальнее даже, чем в его «Немецкой грамматике»; они сохра-

⁸ Я глубоко признателен Гельмуту Кайперту, предоставившему мне возможность воспользоваться предварительной версией подготовляемого им к печати издания грамматики Шванвица.

няются лишь в некоторых парадигмах *i*-склонения. Предлагаемая им кодификация имеет предписывающий характер, у автора нет никакого намерения считаться с тем узусом, который он находит в современных текстах, вышедших из-под пера авторов, не принадлежащих к его узкому кругу. В этом плане весьма показательно примечание, которое он делает по поводу форм тв. мн. на *-ы*: «Bisweilen lassen die Russen in den *Substantivis* ми aus, und setzen anstatt dessen den *Nominativum Pluralem*, als: съ старыми бабы, anstatt бабами, со всѣми дворы, mit allen Häusern, anstatt дворами» (с. 32). Подобные формы, безрассудно употребляющиеся авторами, не отличающимися тв. мн. от им. мн., Шванвитц вполне сознательно отказывается кодифицировать.

В парадигмах второго склонения находим последовательное проведение нормализационных принципов: *попамъ, попами, попахъ; ученикамъ, учениками, ученикахъ; посламъ, послами, послахъ; лвамъ, лвами, лвахъ; рвамъ, рвами, рвахъ; городамъ, городами, городахъ; сокамъ, соками, сокахъ* (с. 50—51). Аналогично и для существительных ср. рода: *солнцамъ, солнцами, солнцахъ; сердца^m, сердца^{mm}, сердца^x; полямъ, полями, поляхъ; морямъ, морями, моряхъ* (с. 53—54). Не делается исключений и для существительных с варьирующей основой, приписанных ко второму склонению, в частности, для существительных на *-инь* (*римлянамъ, римлянами, римлянахъ* — с. 45), для существительных *око* и *ухо* (*очамъ, очами, очахъ; ушамъ, ушами, ухахъ* — с. 47), для существительного *судно* (*судамъ, судами, судахъ* — с. 47), для существительных с наращением *-ят-* (*ребятамъ, ребятами, ребятахъ* — с. 49), для существительных с наращением *-ен-* (*именамъ, именами, именахъ* — с. 55). Шванвитц переносит во второе склонение существительное *господь*, формы мн. числа от этой основы возмещают парадигму плюралиса, отсутствующую у слова *господинь*; в формах мн. числа кодифицируются только новые флексии: *господамъ, господами, господахъ* (с. 46). Единственное отступление находим в парадигме слова *дѣти*, которое Шванвитц вслед за Паусом трактует как мн. число от *дитя*, род. ед. *дитяти* и рассматривает в разделе, посвященном склонению существительных «с наращением»; Шванвитц, опять же вслед за Паусом, указывает, что оно «nach der 3ten Declination decliniret» и кодифицирует формы *дѣтѣмъ, дѣтѣми, дѣтѣхъ* (с. 56).

В третье склонение входят существительные ж. рода *i*-склонения и несколько имен ж. рода с исторической основой на согласную (*мать, дочь, любовь, церковь*). В этом склонении определенная вариативность старых и новых флексий сохраняется: *добродѣтелямъ* (ср. со старой формой данного слова в «Немецкой грамматике» 1730 г. — см. выше), *добродѣтелями, тельми, добродѣтеляхъ, тельхъ; заповѣдамъ, заповѣдами, вѣдьми, заповѣдахъ, дѣхъ; матеремъ, ря^m, матеря^{mm}, терьми, матерь^x, теряхъ; церквамъ, церквами, церквахъ* (с. 58—59). Такая кодификация в целом соответствует нормализованному академическому узусу, отразившемуся в «Примечаниях к ведомостям».

Безусловной инновацией является последовательная кодификация новых форм в четвертом склонении, порывающая со всей предшествующей грамматической традицией, отражающей практически лишь в нескольких приведенных в качестве дополнительных вариантах тв. мн.: *ходатаямъ, ходатаями, таими, ходатаяхъ; воробьямъ, воробьями, воробьяхъ; строямъ, строями, строяхъ; князьямъ, князьями, князьми, князьяхъ, зехъ; свидѣтелѣмъ, дѣтелямъ, свидѣте-*

лями, *дѣтельми*, *свидѣтеля^x*, *свидѣтельхъ*; *дня^m*, *днями*, *дня^x*; *знаменіямъ*, *знаменіями*, *знаменія^x*; *питіямямъ*, *питіямями*, *питіяяхъ* (с. 62—63).

Следующий шаг в нормализаторской кодификации делает В. Е. Адогуров в 1731 г. Его «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» (Адогуров 1731) в значительной степени основаны на грамматике Шванвитца и, возможно, вообще являются плодом коллективной работы. Соотношение Очерка Адогурова и грамматики Шванвитца в кодификации разбираемых нами форм трудно определить однозначно. В основном Адогуров «подчищает» предлагаемую Шванвитцем кодификацию, устраняя ряд старых форм, которые Шванвитц фиксировал в качестве основных или дополнительных вариантов. В нескольких случаях, однако, Адогуров вводит старые формы, отказываясь от инновативных решений Шванвитца⁹. В результате элементы вариативности наблюдаются в разных падежах только у существительных м. рода *i*-склонения, тогда как в тв. мн. они представлены существенно шире — у существительных разных типов.

В Очерке Адогурова в основных парадигмах второго склонения старые флексии, как и у Шванвитца, отсутствуют: *столамъ*, *столами*, *столахъ*; *лицамъ*, *лицами*, *лицахъ*; *дѣламъ*, *дѣлами*, *дѣлахъ*; *временамъ*, *временами*, *временахъ* (Адогуров 1731, 18—19). Это же относится и к большинству подтипов данного склонения, выделяемых Адогуровым вслед за Шванвитцем. Так, исключительно новые флексии кодифицируются у существительных м.рода старой **C*-основы: *дворянамъ*, *дворянами*, *дворяняхъ* (с. 20), *господамъ*, *господами*, *господахъ* (с. 21). Так же обстоит дело с существительными ср. рода мягкой разновидности: *полямъ*, *полями*, *поляхъ*; *морямъ*, *морями*, *моряхъ* (с. 21), а также старой **s* основы: *небесамъ*, *небесами*, *небесахъ*; *чудесамъ*, *чудесами*, *чудесахъ*; *тѣлесамъ*, *тѣлесами*, *тѣлесахъ* (с. 21); ср. еще: *суднамъ*, *суднами*, *суднахъ* в парадигме *судно* — *суда* или *суды*, рассматриваемой как особый подтип.

В принципе, такая же унификация имеет место и у существительных ср. рода со старой основой на **et*: *жеребятамъ*, *жеребятами*, *жеребятахъ* (с. 20); *отрочатамъ*, *отрочатами*, *отрочатахъ* (с. 21). Однако к этому же подтипу Адогуров относит, вслед за Паусом и Шванвитцем, и существительное *дитя*, в результате здесь, как и у Шванвитца, появляются старые флексии, свойственные существительным м. рода *i*-склонения: *дитятемъ*, *дѣтьми*, *дѣтяхъ* (с. 21; форма *дитятемъ* является непоследовательностью в предлагаемом Адогуровым кодификационном решении). Вполне последовательно старые флексии даются в парадигме *люди*, которая рассматривается как дополнительная для мн. числа существительного *человѣкъ*: *людемъ*, *людьми*, *людехъ* (с. 21); Адогуров восполняет здесь про-

⁹ Не буду останавливаться здесь на той роли, которую сыграли в динамике кодификационных решений от Шванвитца к Адогурову замечания так называемого «красного глоссатора», внесившего красными чернилами свои замечания в рукопись Шванвитца. Значимые для нас поправки немногочисленны. В формах местн. мн. *послахъ*, *лвахъ*, *рвахъ* красный глоссатор над буквой *a* надписывает *ѣ* (с. 51). К перечню существительных второго склонения красный глоссатор добавляет *человѣкъ* и приводит «иррегулярную» парадигму этого существительного во мн. числе, содержащую формы *людемъ*, *людми*, *людехъ* (с. 52). Сделанные красными чернилами глоссы принадлежат, по предположению Г. Кайперта, президенту Академии наук Лаврентию Блюментросту. Несмотря на начальственное положение глоссатора, его замечания учитываются лишь частично.

бел, допущенный Шванвитцем, следуя за красным глоссатором Шванвитцевской рукописи и повторяя предлагаемые им формы; при этом *люди* оказываются перемещенными во второе склонение вслед за *дѣтьми*. Формы тв. мн. на *-ьми* приданы в качестве вариантов и существительным *око* и *ухо*: *очами*, *одег очьми*, *ушами*, *одег ушми* (с. 27); Адодуров, следуя Шванвитцу, обособляет эти существительные в отдельный подтип, поскольку у них особая основа во мн. числе (никаких следов их принадлежности к основам на *s, в составе которых они трактуются у Смотрицкого, Адодуров не упоминает).

В третьем склонении старые флексии в дат. мн. и местн. мн. полностью устранены, и здесь унификация у Адодурова идет дальше, чем у Шванвитца; в тв. мн. старые формы сохранены как варианты, что, видимо, не противоречило и разговорному употреблению данной эпохи. Даются формы: *заповѣдямъ*, *заповѣдями* *одег заповѣдьми*, *заповѣдяхъ*; *лошадямъ*, *лошадями* *одег лошадьми*, *лошадяхъ* (с. 23). К этому же словоизменительному типу отнесены существительные *мать* и *дочь*, которые получают аналогичный набор флексий; Адодуров устраняет те варианты старые формы, которые дает Шванвитц в дат. мн. и местн. мн.; несмотря на то, что эти лексемы определяются у Адодурова как «Slavonische Wörter», их «славянская» природа выражается не во флексиях, а исключительно в характере основы: *матерямъ*, *матерями* *одег матерьми*, *матеряхъ*; *дочерямъ*, *дочерями* *одег дочерьми*, *дочеряхъ* (с. 23).

Интересно, что Адодуров комментирует вариативность в тв. мн. (и одновременно в тв. ед.), причем для этого используются эстетически-нормализационные понятия, не связанные непосредственно с оппозицией старого и нового письменного языка. Адодуров пишет: «Ob man sich nun gleich beyder nach Gefallen bedienen kan, so pflegt dennoch der letztere öfters, auch viel zierlicher gebraucht zu werden. Also ist es viel schöner, wenn ich sage дверью an statt дверію, дверьми an statt дверями, плетью an statt плетію, плетьми an statt плетями, u.s.w.» (с. 23). Как можно видеть, предпочтение отдается окончаниям *-іе* и *-ьми*, и само их соединение указывает, что этот выбор никак не связан с генетическими моментами. Показательно также, что эти флексии сочтены «viel zierlicher»; это свидетельствует о том, что на данном этапе нормализации оппозиция нежного и жесткого отнюдь не однозначно соотносится с противопоставлением русского и церковнославянского, как полагает Б. А. Успенский (Успенский 1985, 83—85).

Четвертое склонение также полностью очищено от старых флексий в дат. мн. и местн. мн., включая те варианты формы, от которых не решился избавиться Шванвитц, а в тв. мн. вариативность допускается лишь в одном случае. В парадигмах кодифицированы следующие формы: *гвоздямъ*, *гвоздями* *од. гвоздьми*, *гвоздяхъ*; *строямъ*, *строями*, *строяхъ*; *ученіямъ*, *ученіями*, *ученіяхъ*; *царямъ*, *царями*, *царяхъ*; *ходатаямъ*, *ходатаями*, *ходатаяхъ*; *злодѣямъ*, *злодѣями*, *злодѣяхъ* (с. 25—26). В данном склонении эксплицитно обнаруживается отталкивание от предшествующей грамматической традиции, прежде всего от Пауса. Речь не идет лишь об исправлении парадигм, скажем, об унификации новых флексий в парадигме *ходатай*, явно ассоциирующейся со Смотрицким. Адодуров в применении к кодифицируемым им формам делает прямое заявление, которое связывает выбор вариантов при кодификации нового языкового стандарта с противопоставлением русского и церковнославянского (ср.: Живов 1996, 204). Идея этой связи

очевидным образом почерпнута у Пауса, однако если у Пауса она служит для систематизации морфологических вариантов внутри единого «славяно-русского» языка, то у Адодурова она превращается в основание для отбрасывания «лишних» вариантов (в силу чего ему приходится пользоваться ею с большей осторожностью — см.: Живов и Кайперт 1996, 17—25).

Адодуров пишет: «Es ist hier so wohl in dem *Schemate* als in denen *Paradigmatibus* der *Instrumentalis* des *Pluralis* von denen *Nahmen* so aus *ie* ausgehen auf *ïami* *flectiret* worden, welches vielleicht Liebhabern der Slavonischen Redens-Arten möchte anstößig seyn, indem sie gewohnt sind selbigen mit *ïi* oder *ьми* zu *exprimiren*» (с. 26). Затем следует неоднократно цитировавшаяся декларация об изгнании славянизмов: «Allein da nunmehr aller *Slavonismus* vornehmlich eine solche Art zu *decliniren* aus der Rußischen Sprache *exuliret*, und einen *greßlichen* Laut in denen Ohren derer Heutigen *erregt*, so wird man auch nicht *verdenken* können, wenn man solches allhier *übergangen* und *vielmehr* dafür der natürlichen Art zu *decliniren* *nachgegangen* ist» (там же). Таким образом, специфически славянскими и чуждыми новому русскому литературному языку объявляются формы тв. мн. типа *ученïи*, *ученьми*. Как мы видели, у Пауса, следующего здесь Смотрицкому (см. выше), даются именно те два варианта, против которых ополчается Адодуров. Правдоподобно, что именно против ненавистного молодым академическим филологам Пауса обращена и адодуровская филиппика, обличающая «любителей славянских выражений». Характерно, что, хотя при обсуждении форм третьего и четвертого склонения речь идет об одной и той же формальной оппозиции, Адодуров соотносит ее с противопоставлением славянского и русского только в последнем случае.

В пояснениях к четвертому склонению Адодуров указывает также, что в русском языке не употребляется слово *Господь* во мн. числе; когда такие формы встречаются, они являются славянизмами и по значению и по форме (в русском отсутствует «славянское» значение ‘господин’): «Der *Pluralis Numerus* von diesem Worte, ist in der Rußischen Sprache, allwo es als ein *Nomen Proprium* genommen wird, nicht gebräuchlich. Dahero wenn es ja in *Plurali* vorkommt, solches erstlich Slavonisch ist und denn auch nicht mehr von Bedeutung ist als das teutsche Herr» (с. 27). Здесь Адодуров несомненно развивает Пауса, который писал о возможности употребления слова *господь* во мн. числе в славянском и приводил его парадигму (л. 56 об.), полностью сходную с парадигмой Адодурова для ед. числа, а во мн. числе отличающуюся лишь формами тв. мн. («Nom. und Voc. *господïе*, Gen. *господей*, Dat. *господемъ*, Acc. *господы*, Instr. *господами* und *господы*, Nar. *господьхъ*» — с. 27). Это решение радикально отличается от того, которое мы находим у Шванвитца¹⁰, так что прямая зависимость «Anfangs-Gründe» от Пауса в

¹⁰ Шванвитц, как мы видели, идет здесь собственным путем, перенося данное существительное во второе склонение. У Шванвитца формы мн. числа от слова *Господь*, которое «nach der gemeinen Art einzig und allein Gott den Herrn bedeutet», отнесены к парадигме слова *господин*, поскольку они «von andern *ordinairen* Herren verstanden», а «das gemeine Wort *Господинъ* Herr keinen *Pluralem* hat»; в соответствии с этим в парадигму мн. числа включаются только употребительные в русском языке формы, а именно *господа*, *господь*, *господам*, *господь*, *господа*, *господами*, *господахъ* (Compendium, с. 46).

этом случае очевидна. Вместе с тем та парадигма, которую Паус включает в свою кодификацию, объявляется Адодуровым чуждой русскому языку и приводится скорее как выпад в адрес Пауса. Поразительным образом при этом те общеупотребительные русские формы, которые приведены у Шванвитца, Адодуровым просто оставлены без внимания.

Грамматика Адодурова в значительной степени определяет последующую грамматическую традицию, однако от прямой линии этого развития отходит особая ветвь, связанная с развитием поэтического языка и легализацией в его рамках элементов предшествующей книжной традиции. Это развитие выступает как составной элемент приспособления изготовленного академическими филологами языкового стандарта к литературному процессу. Перечисляя допустимые поэтические вольности, А. Кантемир в «Письме Харитона Макентина» писал: «Изрядно употребляется вместо творительнаго на *ами*, или *ою* сокращенное на *ы*, *и* и *ой*; так писать можно *роги* вместо *рогами*, *совѣты* вместо *совѣтами*, *рукой* вместо *рукою*» (Кантемир 1744, 22/II, 18—19). Само объединение в качестве результатов «сокращения» форм тв. мн. и тв. ед. напоминает Адодурова, хотя скорее всего это внешнее совпадение обусловлено общими представлениями о механизмах формопроизводства — сокращении, наращении и т. д. Поскольку речь идет о вольностях, допускаемых ради соблюдения метра, понятно, что говорится именно о тв. мн., а не о дат. мн. или местн. мн.: только в этом случае старые и новые флексии не равны по числу слогов. Однако можно предположить, что это не единственная причина. Благодаря относительно большому различию старых и новых флексий в случае тв. мн., старые флексии тв. мн. могут получать стилистическую выразительность, которая не свойственна старым флексиям дат. мн. и местн. мн., и в силу этого сохраняться на периферии языковой практики в качестве специального стилистически окрашенного элемента. Кантемир, возможно, и стремился сохранить этот стилистический потенциал, утверждая разнообразие поэтического языка в его противопоставленности более нормированному языку прозы.

Грамматика Гренинга, как известно, в своей морфологической части («*От Etymologien*») ближайшим образом следует за кратким очерком Адодурова, который можно считать основой морфологической части этой компиляции (см.: Кайперт 1988а; правдоподобно, что Гренингу был доступен и «Компендиум» Шванвитца). Это в первую очередь относится к склонению существительных. Здесь совпадает и порядок парадигм, которые в отдельных случаях обновляются чисто символическим образом (например, вместо *дѣло* дается *тѣло*, вместо *время* — *сѣмя* и т. п.), и перечни особых случаев, в которых может меняться лишь внешний характер подачи (например, во втором склонении собирательные существительные типа *друзья*, *батожья*, *прутья*, *листья*, *колья*, *перья*, *сыновья*, *деревья*, которые у Адодурова даются в тексте, у Гренинга развернуты в парадигмы, в третьем склонении так же преобразовано склонение слова *церковь* и добавлена парадигма *хитрость*, а в списке *pluralia tantum перси* заменены на *сѣни* и т. п.), и описание склонения заимствованных слов в замечании к четвертому склонению. Во всех основных моментах совпадают и кодифицируемые флексии.

На этом фоне многочисленным инновациям Гренинга (которые, естественно, могут восходить к его утерянному оригиналу) являются особенно значимыми. Они свидетельствуют о дальнейшей унификации склонения существительных во

мн. числе, при которой старые флексии (только на *-ми*) сохраняются исключительно у существительных старого *i*-склонения — в качестве нормативных у слов *люди*, *дѣти* и в качестве допустимых вариантов у существительных ж. рода третьего склонения и отдельных слов м. рода, оканчивающихся в им. ед. на *-ь*. В самом деле, Гренинг наводит порядок в контаминированной парадигме *дитя* — *дѣти*, формы на *-ят-* устраняются из мн. числа, а в форме дат. мн. кодифицируется новая флексия; отсюда имеем: *дѣтямъ*, *дѣтьми*, *дѣтяхъ* (Гренинг 1750, 97). Устраняются старые флексии и из дат. мн. и местн. мн. в парадигме *люди*: *людямъ*, *людьми*, *людяхъ* (с. 94). В парадигме *ухо* тв. мн. имеет вид *ушами* (с. 95), вариант *ушми* опущен. В третьем склонении сохранена вариативность в тв. мн.: *заповѣдями* — *заповѣдьми*, *лошадями* — *лошадьми*, *хитростями* — *хитростьми*, *матерями* — *матерьми*, *дочерями* — *дочерьми* и т. д. (с. 99—100), однако замечание о предпочтительности форм на *-ми* не повторяется. В четвертом склонении в образцовых парадигмах вариативность в тв. мн. отсутствует, однако в замечаниях к этому склонению указывается, что слова, кончающиеся на *-ь*, в тв. мн. допускают вариант с *-ьми*; приводятся примеры: *гостьми*, *звездьми* (с. 104). Замечания Адодурова о существовании особых славянских флексий у существительных ср. рода на *-іе* и во мн. числе слова *Господь* Гренинг опускает вместе с примерами. Эти немногие инновации приводят словоизменение существительных (в разбираемом нами аспекте) в соответствие с той нормой, которая утверждается в русском литературном языке с 1740-х годов и пересматривается лишь в XIX в. Эта норма в значительной степени создается академической традицией и ею же кодифицируется.

Помимо Гренинга, о развитии этой традиции может свидетельствовать «Сокращение грамматики латинской» В. Лебедева, изданное в 1746 г. Хотя эта грамматика является «переводной» и формы местн. мн. в ней вообще отсутствуют, сходство в принципах кодификации с грамматикой Гренинга очевидно. Новые флексии фиксируются повсеместно, кроме тв. мн. существительных ж. рода *i*-склонения (в том числе и у существительных м. рода *i*-склонения): *разбойникамъ*, *разбойниками* (Сокращение 1746, 40), *бойцамъ*, *бойцами* (с. 41), *парнямъ*, *парнями* (с. 31), *деревамъ*, *деревами* (с. 33), *господамъ*, *господами* (с. 33), *путямъ*, *путями* (с. 44) и т. д. У существительных ж. рода *i*-склонения старая флексия сохраняется только в тв. мн.: *честямъ*, *честьми* (с. 45), *властямъ*, *властьми* (с. 47). Сходство с Гренингом обусловлено, видимо, единством академической нормализации, с которой связаны обе указанные грамматики.

О том, как могла осмыслиться эта нормализация, отчасти свидетельствует «Разговор об орфографии» Третьяковского. Третьяковский пишет: «Поверьте мне, г.м., много того у нас есть в языке, но в языке не знающих людей, что с чистою природою нашего языка не сходствует. Так многии не только говорят, что простительнее, но и пишут: *просітца*, *молітца*, вместо *просітся*, *молітся*; *ее*, вместо *ея*; *ево*, вместо *его*; *дворяна*, вместо *дворяне*; *прімѣчаніевъ*, *склоненіевъ*, вместо *прімѣчаній*, *склоненій*; *рассужденіи*, *повелѣніи*, вместо *рассужденія*, *повелѣнія*; *по торгомъ і рынокомъ*, *въ рядѣхъ і на площадѣхъ*, вместо *по торгамъ і рынкамъ*, *въ рядахъ і на площадяхъ* (...) О прочем пренюжном худом употреблении, или лучше, незнании, я вам не упоминаю. Но кто из знающих силу в языке так будет писать?» (Третьяковский, III, 223—224). Старые формы дат. мн. и

местн. мн. трактуются здесь — в контексте обсуждения фундаментального (для эволюции лингвистических концепций Третьяковского — см. § IV.3.3) вопроса об окончаниях прилагательных во мн. числе — как отступления от правильного употребления, противоречащие природе русского языка. Поскольку природа русского языка объявляется при этом тождественной с природой церковнославянского, рассматриваемые формы интерпретируются не как элементы старой книжной традиции, а как примеры немотивированной вариативности, которым не должно быть места в правильно устроенном литературном языке. Эта интерпретация, видимо, проводится вполне сознательно, поскольку в других случаях Третьяковский может писать о «славенском» характере старых флексий¹¹.

Речь идет преимущественно о письменном языке, поскольку к ряду приведенных примеров (в том числе и к интересующим нас формам) указание на то, что «так многие (...) говорят», явно относиться не может. Орфографические неправильности (например, написание форм 3 ед. презенса через *-тца*) сливаются при этом с морфологическими (например, род. мн. существительных ср. рода на *-ie* с флексией *-евъ*); такое слияние понятно, поскольку все приводимые примеры могут рассматриваться как отходы единого процесса нормализации. Узус, от которого отталкивается Третьяковский, может быть идентифицирован как «простой» язык Петровской эпохи, тот «петровский пул», нормализацией которого были заняты академические филологи. Созданный ими языковой стандарт в 1730—1740-е годы с трудом распространялся за пределы академического круга. Даже читатели печатных изданий Академической типографии продолжали, видимо, в своем большинстве писать так, как писали в петровское время, и поэтому перечисляемые Третьяковским формы (3 ед. презенса на *-тца*, *ее* вместо *ея*, так же как старые формы дат. мн. и местн. мн.) вне академического круга достаточно обычны. В целом список неправильностей и представляет собою перечисление тех немотивированных вариантов, которые устранялись в ходе академической нормализации. В этом случае понятно, почему Третьяковский говорит о них: он старается доказать, что принципы академической нормализации требуют предлагаемой им регламентации окончаний прилагательных во мн. числе, тогда как их употребление, принятое в академической типографии (*-ie* в им. мн. м. рода, *-ия* в им. мн. ж. и ср. рода), является таким же реликтом ненормализованного письменного языка, как и перечисленные им неправильности, относительно которых все согласны. Таким образом, старые формы дат. мн. и местн. мн. отвергаются как черты языка «не знающих людей», т. е. не как славянизмы, а как характерные примеры «безразборного» употребления.

Любопытно вместе с тем, что старые формы тв. мн. в этот список не попадают — особенно в связи с языковой практикой Третьяковского в конце 1740-х годов, в которой старые формы тв. мн. могут употребляться как поэтические воль-

¹¹ Рассуждая об искусственных различиях в употреблении букв *о* и *ω* в церковнославянском правописании, Третьяковский пишет, осуждая эти, как он выражается, «пустоши» и отрицая их значимость для русской орфографии: «Еще, сияж самая буква [т. е. *ω*] и в дательных множественных употребляется, чтоб различить от них творительнии единственнии, например: *благимъ челоуѣкѣмъ похвала*. Но сии дательнии точно славенские, а мы их ныне произносим и пишем чрез (а) так: *челоуѣкамъ*» (Третьяковский, III, 36).

ности или особые стилистические приметы высокого поэтического языка (см. § III.1.3). Старые формы тв. мн. трактуются как «усечение» или «стеснение» новых, и эта трактовка сходна с интерпретацией Кантемира (см. выше). Третьяковский пишет: «Сие усечение, или стиснение бывает наиболее в родительных и творительных падежах, множественнаго числа. Например, целый падеж есть родительный множественный: *человѣковъ*, усекается сим образом: *человѣкъ*; и целый же множественный творительный *человѣками*, стисняется так: *человѣки*» (Третьяковский, III, 50). И здесь, следовательно, Третьяковский рассматривает оппозицию старых и новых форм безотносительно к противопоставлению русского и церковнославянского, но на этот раз их трактовка как формальных преобразований позволяет сохранить их в новом литературном языке как потенциально допустимый элемент, способный нести особую стилистическую нагрузку. Продолжением этого подхода является понимание старых форм тв. мн. как допустимого «сокращения» в «Российской грамматике» А. А. Барсова (см. ниже).

3.4. Ломоносов и послеломоносовская кодификация

«Российская грамматика» Ломоносова, закрепившая в отношении интересующих нас окончаний нормализаторский принцип и способствовавшая стабилизации соответствующей нормы в узусе литературного языка, не идет дальше Гренинга и Лебедева — основываясь, видимо, на той устоявшейся академической традиции, которая у этих авторов представлена. Ломоносов при этом подвергает существенному пересмотру схему словоизменительных типов; он ликвидирует четвертое склонение, утвердившееся в русской грамматической традиции со времени Смотрицкого, а в отдельное склонение (третье по его нумерации) выделяет основы на согласный — старые **n*-основы и **et*-основы (не исключено, что Ломоносов делает это под влиянием грамматики Пауса, рукопись которой могла быть ему доступна). Старые флексии в дат. мн. и местн. мн. устранены повсеместно и даже не упоминаются. В тв. мн., как и у Адодурова и Гренинга, допускается вариативность флексий *-ями* и *-ьми*: *добродѣтелями* или *добродѣтельми* (§ 160 — Ломоносов, VII², 451); для реликтов *i*-склонения у существительных м. рода (кроме *дѣти* и *люди*) такая вариативность не предусмотрена, хотя в подготовительных материалах к грамматике соответствующие варианты имеются, см.: «Лось, лосьями и лосьми; кости, костями или костьми; гость, волость» (VII², 676; ср. VII², 628; VII², 643; ср. также: Макеева 1961, 103—104), и формы на *-ьми* достаточно широко представлены в языковой практике Ломоносова (см.: Макеева 1961, 104). *Дѣти* трактуется как им. мн. от *дитя* и получает набор флексий: *дѣтямь*, *дѣтьми*, *дѣтяхъ* (§ 207 — с. 465). Лексема *люди* в ломоносовской грамматике вообще не фигурирует. Таким образом, Ломоносов закрепляет в своем трактате тот уровень нормализации, который был достигнут к данному времени академической грамматической традицией и нормализаторской языковой практикой.

Послеломоносовская кодификация существенного интереса не представляет. Хотя, в отличие от кодификации глагольной временной системы, кодификация словоизменения существительных не полностью зависит в своем развитии от Ломоносова, сам тот факт, что Ломоносов действовал в русле сложившейся традиции академической нормализации, обуславливает относительную однород-

ность предлагаемых решений вне зависимости от тех конкретных источников, которые при этом используются. Так, например, грамматика Я. Родде, в относящейся к глаголу части опирающаяся на грамматику Ломоносова, в описании именного словоизменения следует за очерком Адогурова¹². Повторяются почти все представленные у него решения, и таким образом старые флексии оказываются ограничены тв. мн. существительных *i*-склонения. Укажу, например, на приводимые здесь парадигмы второго склонения: *столáмь, столáми, столáхъ* (Родде 1773, 26); *лицáмь, лицáми, лицáхъ* (с. 27); *дѣлáмь, дѣлáми, дѣлáхъ* (с. 27); *временáмь, временáми, временáхъ* (с. 28); так же обстоит дело и в подтипах, которые Родде выделяет вслед за Адогуровым: *жереб́ьямь* (sic!), *жереб́ьятами, жереб́ятахъ* (с. 29); *крестья́намь, крестья́нами, крестья́нахъ* (с. 33); *морья́мь, морья́ми, морья́хъ* (с. 35) и т. д. В одном случае, однако, Родде исправляет Адогурова, в парадигме *дитя* — *дѣти* во мн. числе даются формы *дѣт́ямь, дѣт́ьми, дѣт́яхъ* (с. 37), т. е. приводятся те формы, которые даются у Гренинга и Ломоносова. Изменения вносятся и в парадигмы *око, ухо*; тв. мн. имеет здесь вид *о́чами, у́шами, ушьмы* (с. 36). В третьем и четвертом склонении варианты тв. мн. на *-ями* и *-ьми* предусматриваются в тех же случаях, что и у Адогурова: *ло́шадьями, одер лошадьми* (с. 38), *гвоздьями, гвоздьми* (с. 40), *гвоздьями одер гвоздьми, гостьями одер гостьми* (с. 42); повторяется при этом и адогуровское замечание о предпочтительности форм на *-ьми*¹³. Очевидно, что за исключением очень частных деталей, здесь обнаруживается та же самая нормализация, что и у Гренинга и Ломоносова, т. е. имеет место преемственность в отношении академической традиции, сложившейся в 1730—1740-е годы.

В рамках ломоносовской традиции написана «Универсальная российская грамматика» Н. Курганова. Автор воспроизводит ломоносовскую классификацию словоизменительных типов и ряд его характерных замечаний. Однако ва-

¹² В предисловии к своей грамматике Родде говорит о значении трудов Ломоносова, который «durch seine Sprachlehre zur gründlichen Kenntniß der russischen Sprache den Weg gebahnt hat» (Родде 1773, 3—4). Тем не менее при описании существительных основой служит Адогуров, а не Ломоносов. Именно у Адогурова заимствована классификация словоизменительных типов, продолжающая традицию Смотрицкого. О зависимости от Адогурова свидетельствует и выбор слов для образцовых парадигм: это просто сокращение материала, представленного в кратком очерке 1731 г., ср. совпадающие в этих грамматиках парадигмы: *столь, лице, дѣло, время* (во втором склонении), *лошадь* (в третьем склонении), *гвоздь, злодѣй, царь* (в четвертом склонении) и т. п. Следуя за Адогуровым, Родде выделяет подтипы различных склонений и указывает исключения. Вместе с тем Родде использует и наблюдения Ломоносова, например, когда говорит об употреблении род. ед. на *-у* (с. 32 — ср.: Ломоносов, VII², 457—459, §§ 171, 173, 179). Практически буквальным переводом Ломоносова (за исключением одного измененного примера) является параграф о конструкциях типа *посвященъ въ поны* (с. 34—35 — ср.: Ломоносов, VII², 464, § 201). Заслуживает внимания, что, как показывает грамматика Родде, очерк Адогурова продолжает играть роль образцового грамматического руководства и после появления грамматики Ломоносова.

¹³ Формулировки Родде, однако, не повторяют Адогурова дословно. У Родде сказано: «Uebrigens muß bemerkt werden, daß, da der *Instr. Sing.* ю und ью, *Plur.* ями und ьми hat, in beyden Fällen die letzte dieweil gebräuchlicher und dem Ohre erträglicher ist. Also ist дверью, дверьми zierlicher, als дверію und дверьями» (Родде 1773, 39).

риативность — даже в том ограниченном объеме, в котором она присутствует у Ломоносова, — у Курганова полностью устранена. Кодифицируются исключительно новые флексии, причем во всех склонениях, ср.: ⟨второе склонение⟩ *человѣкамъ, -ами, -ахъ; уродамъ, -ами, -ахъ; змѣямъ, -ями, -яхъ; якорямъ, -ями, -яхъ; словамъ, -ами, -ахъ; солнцамъ, -ами, -ахъ; зданіямъ, -іями, -іяхъ; ружьямъ, -ьями, -ьяхъ*; ⟨третье склонение⟩ *бременамъ, бременами, бременахъ; телятамъ, телятами, телятахъ*; ⟨четвертое склонение⟩ *вещамъ, -ами, -ахъ; милостямъ, -ями, -яхъ* (Курганов 1769, 13—16). Устранение вариативности связано, возможно, с краткостью грамматики, а не с теоретическими установками автора (ср. отсутствие полной парадигмы слова *дѣти*, для которого приводится только им. мн. и род. мн.).

Аналогичную ситуацию можно наблюдать в «Кратких правилах российской грамматики» 1773 г. (Краткие правила 1773). И здесь в приводимых парадигмах вариативность полностью устранена, ср.: ⟨второе склонение⟩ *орламъ, орлами, орлахъ* (с. 14), *дубамъ, дубами, дубахъ* (с. 15), *чародѣямъ, чародѣями, чародѣяхъ* (с. 15), *роямъ, роями, рояхъ* (с. 16), *пузырямъ, пузырями, пузыряхъ* (с. 16), *тѣламъ, тѣлами, тѣлахъ* (с. 16—17), *затмѣніямъ, затмѣніями, затмѣніяхъ* (с. 17); ⟨третье склонение⟩ *временамъ, временами, временахъ* (с. 18); *телятамъ, телятами, телятахъ* (с. 19); ⟨четвертое склонение⟩ *свирелямъ, свирелями, свиреляхъ* (с. 19). Вместе с тем в указаниях к четвертому склонению в тв. мн. приводится как флексия *-ями*, так и флексия *-ьми* (с. 19). И в данном случае сыграла, видимо, роль краткость описания.

Та же традиция развивается в «Кратких правилах российской грамматики» 1784 г. И здесь основой служит грамматика Ломоносова, но автор не ставит перед собой задачи предельно кратко передать его схемы и поэтому сохраняет вариативность. Во втором и третьем склонении кодифицируются исключительно новые флексии: *соколамъ, соколами, соколахъ; якорямъ, якорями, якорях; словамъ, словами, словахъ* и т. д. (Краткие правила 1784, 57—61); *племенамъ, племенами, племенахъ; осятамъ, осятами, осятахъ* (с. 85—86); единственным исключением является парадигма *дѣти*, в которой находим: *дѣтямъ, дѣтьми, дѣтяхъ* (с. 87). В четвертом склонении в тв. мн. даются варианты: *добродѣтелями, или льми* (с. 89); для существительных *мать* и *дочь* предусматривается только флексия *-ьми*: *матерьми, дочерьми* (с. 90).

Не требует особых комментариев и «Краткая российская грамматика» Сырейщикова. Здесь в таблице (примеры отсутствуют) для второго склонения приведены окончания: *амъ — ямъ, ами — ями, ахъ — яхъ*, для третьего: *намъ — тамъ, нами — тамми, нахъ — тахъ*, для четвертого: *ямъ, ями — ьми, яхъ* (Сырейщиков 1787, 10). Вариативность, таким образом, предусмотрена только для тв. мн. существительных ж. рода *i*-склонения. Сходный характер носит кодификация у Аполлоса Байбакова (1794). Во втором склонении даются флексии *-амъ, -ами, -ахъ* (с. 21); для третьего склонения даются парадигмы *сѣмя* и *жеребя* с флексиями: *-енамъ, -енами, -енахъ; -ятамъ, -ятами, -ятахъ* (с. 23); для четвертого склонения приведена парадигма *добродѣтель* с флексиями: *-елямъ, -льми* или *-лями, -ехъ*; кодификация старой флексии в последнем случае является, видимо, недоразумением. В принципе, в русской части своей грамматики Аполлос следует за Ломоносовым, берет у него схему словоизменения и на него ссылается. На предметность указывает и состав примеров: *сѣмя* и *жеребя* в соответствии с

сѣмя и *жеревя* для третьего склонения и *добродѣтель* для четвертого. Использован, однако, не только Ломоносов. Совокупность примеров второго склонения, приведенных при обсуждении вопроса о классификации имен, однозначно отсылает к «Кратким правилам российской грамматики» 1773 г.: *орель*, *чародѣй*, *пузырь*, *тѣло*, *сокровище* у Байбакова (1794, 16) в соответствии с *орель*, *дубь*, *чародѣй*, *рой*, *пузырь*, *тѣло* в «Кратких правилах» (Краткие правила 1773, 14—16). Никакой интенции отступить от этих образцов у Байбакова незаметно, что и позволяет рассматривать *-ехъ* в составе флексий четвертого склонения как случайный недосмотр¹⁴.

Данная традиция закрепляется и в академической «Российской грамматике». Здесь — при критическом подходе к глагольной систематике Ломоносова — именное словоизменение описывается по ломоносовской схеме. Кодифицируются исключительно новые флексии. Это обусловлено, надо полагать, установкой Российской академии на исчерпывающую нормализацию, которая не оставляет места немотивированной вариативности. Только новые флексии фигурируют во всех склонениях: (второе склонение) *казначейамъ*, *казначейами*, *казначейехъ*; *обычаямъ*, *обычаями*, *обычаяехъ*; *воинамъ*, *воинами*, *воинаехъ*; *столамъ*, *столами*, *столаехъ* и т. д. (Российская грамматика 1802, 59—61; Российская грамматика 1809, 62—64); *Россіянамъ*, *Россіянами*, *Россіянаехъ* (Российская грамматика 1802, 65); (третье склонение) *знаменамъ*, *знаменами*, *знаменаехъ*; *ослятамъ*, *ослятами*, *ослятаехъ* (1802, с. 73; 1809, с. 76); (четвертое склонение) *свекровямъ*, *свекровьями*, *свекровьяехъ* (1802, с. 74; 1809, с. 76); *дробямъ*, *дробьями*, *дробьяехъ* (1802, с. 74); *свирѣлямъ*, *свирѣлями*, *свирѣляехъ* (1809, с. 78). Эта нормализация захватывает даже парадигму *дѣти* (*дѣтямъ*, *дѣтями*, *дѣтяехъ* — 1802, с. 73; 1809, с. 77), вступая, видимо, в противоречие со сложившимся узусом. Радикальный отказ от старых флексий отражается и в замечаниях о четвертом склонении, где предусматривается возможность «сокращения, а наипаче в разговорах» для форм тв. ед. (типа *лестію* — *лестью*, *честію* — *честью*) (1809, с. 79), но тв. мн. при этом не упоминается (в отличие от грамматик Адодурова и Родде — см. выше).

Это однородное развитие прерывается одним, однако весьма значимым исключением — «Российской грамматикой» А. А. Барсова. Барсов основывается на систематике Ломоносова, хотя и вносит в нее частные поправки (например, перемещает парадигмы *дѣти* и *люди* в четвертое склонение). В дат. мн и местн. мн.

¹⁴ Подобная компилятивность свойственна и церковнославянской части грамматики. Байбаков ссылается здесь на московское издание Смотрицкого 1649 г. и на грамматику Максимова. Приводимые парадигмы являются достаточно непоследовательным синтезом двух грамматик с рядом собственных инноваций. Во втором склонении набор примеров повторяет Максимова и по его образцу строятся парадигмы, имеется лишь одно отступление: если Максимов для тв. мн. в парадигме *древо* кодифицирует только флексию *-амн*, то Байбаков (1794, 21—22), вслед за Смотрицким, дает варианты на *-амн* и *-ы*. В третьем склонении парадигма *радость* повторяет Максимова с отступлением в тв. мн.: вместо единственной у Максимова флексии *-ьми* кодифицированы варианты на *-и* и *-ьми*. В четвертом склонении Байбаков следует Смотрицкому в издании 1649 г. Он повторяет (впрочем, отбирая лишь часть) парадигмы Смотрицкого (*хѣдатѣй*, *Іерей*, *мравѣй*, *древодѣла* — 1794, 25) с единственной заменой: *іръѣй* вместо *знѣй*; воспроизводятся и все кодификационные решения данной грамматики, включая кодификацию вариантов.

он кодифицирует исключительно новые флексии — во всех склонениях и во всех подтипах. Это фиксируется и в правилах их образования, например для второго склонения: «В дательном множественном (...) окончании родительного Единственного *a* или *y* переменяется на *амь* на пр. Сокола, *соколамь*, орла *орламь*» (Барсов 1981, 128); «Окончание родительного Единственного *я* или *ю* переменяется на *ямь*, на пр. ходатая *ходатаямь* казначея *казначеямь*» (с. 128); «Предложный множественный делается тож из родительного Единственного переменя 1. Окончание *a* или *y* на *ахь* 2. окончание *я* или *ю* на *яхь* на пр. сокола *соколáхь*, орла *орлáхь* (...) звѣря *звѣряхь*» (с. 130). Аналогичные правила формулируются и для третьего и четвертого склонения (с. 141, 144), и формы, приводимые в парадигмах, этим правилам соответствуют.

Совершенно иным образом кодифицируется тв. мн. Барсов дает здесь новые флексии в качестве основного варианта, однако в качестве допустимых дополнительных вариантов приводит весь тот набор форм, который обнаруживается в памятниках русской письменности XVIII в. — как нормированных, так и ненормированных в лингвистическом отношении. Эта толерантность Барсова к старым формам тв. мн. напоминает А. Кантемира и «Разговор об орфографии» Тредиаковского. Для второго склонения, в частности, приводится следующее правило образования тв. мн.: «Творительный падеж множественного числа делается из родительного Единственного, переменя 1). окончание *a* или *y*, на *ами*. 2). окончание *я* или *ю*, на *ями* как то: сокола *соколáми*, орла *орлáми* (...) 4. Почти все творительные Множественные сего склонения по востребованию могут сокращены быть, и премногия действительно сокращаются, переменя: а.) Окончание *ами*, на *ы*, как то отцами *отцы*, концами *концы*, соколами *соколы*, орлами *орлы*, жрецами и жерцами *жрецы* и *жерцы*. Римлянами *Римляны*, Россіянами *Россіяны*, Москвитянами *москвитяны*, Зайцами *зайцы*, предѣлами *предѣлы*, сердцами *сердцы*, а так же *очесы*, *ушесы*, *словесы*, *чудесы*, *колѣсы*, и проч. выключая *небеса*ми которое не сокращается. Находятся также *словы*, *древы*, и проч. но токмо в славенском древнем. б.) Но имеющие пред *ами* буквы *г*, *к*, *х*, *ж*, *ч*, *ш*, *щ*, сокращаются на *и*, как: другами *дружи*, врагами *враги*... мужами *мужи* врачами *врачи* (...) в. окончание *ями* переменяется также на *и*: знаменіями *знаменіи*, желаніями *желаніи*, кóпьями *кóпыи*, ходатаями *ходатаи*, злодѣями *злодѣи* (...) и проч. Но князьями в сокращении *князи*, а не *князьи*, т. е. производится от правильного *князьями*. Творительный Мужьями, ни как не приемлет такового сокращения. Некоторые имена сокращаются в сем падеже еще и другим образом, а именно: чрез выключение писмен *a* или *я* пред слогом *ми*, при чем по наибольшей части вместо оных выключенных гласных включается безгласная *ь* на пр. свидѣтелями *свидѣтельми*; пастырями *пастырьми*, татями *татыми*, звѣрями *звѣрьми*, степенями *степеньми*; Сему уподобляются творительные племениями *племеньми*, знаменьями и знаменіями *знаменьми*, князьями князьями *князьми*, и проч.» (Барсов 1981, 129—130).

Соответственно и в парадигмах даются варианты — в одних случаях пары (например, *дворáми*, и *дворы*, *домáми*, и *дóмы*, *годáми*, и *гóды* и т. п. — с. 131), а в других — тройки (например, *свидѣтелями*, и *свидѣтельми* и *свидѣтели*, *врачáми*, и *врачьми*, и *врачи* и т. п. — с. 133). Из состава примеров очевидно, что Барсов вновь обращается к Смотрицкому (ср., например, *жрецами* и *жерцами* —

ср.: Смотрицкий 1619, л. Е/7 об.—8), т. е. описание занимающего Барсова феномена «сокращения» исходит не только из языковой практики, но и из славянской грамматической традиции; отсюда формулировка «и премногия действительно сокращаются» — Барсов указывает, что взятые из славянских грамматик формы во многих случаях встречаются в известных ему памятниках, а не являются вымыслом грамматистов. Показательно, что в этом обращении к славянской грамматике Барсов кодифицирует те самые формы тв. мн., которые Адодурову представлялись особенно одиозными славянизмами — типа идущих от Смотрицкого (1619, л. З/3 об.) *знаменїи и знаменьми*.

Аналогичные правила образования тв. мн. формулируются и для третьего и четвертого склонений. Относительно третьего склонения говорится: «Творительный и здесь сокращение на *ы* в некоторых принимает особливо в животных как *знамены, ребяты, теляты*, и проч.» (Барсов 1981, 141). Для четвертого склонения указывается в качестве основного варианта флексия *-ями* и дается правило: «Творительный множественный притом по востребованию может и сокращен быть, переменою пред последней гласной *я* или *а* на *ь* как на пр. добродѣтелями, добродѣтельми, кровьями, кровьми, рѣчьами рѣчьми, и рѣчми, и проч. только чтоб не вышло односложнаго речения к выговору не удобнаго, на пр. *лжьми вишьми* и тому подобнаго» (с. 144). Специально указывается, что существительные *дѣти* и *люди* «творительный всегда имеют сокращенный *дѣтьми, людьми*» (с. 144).

Итак, предложенное Барсовым построение допускает вариативность в тв. мн., причем кодифицируемый набор вариантов восходит к славянской грамматической традиции. Исходный стимул, однако, имеет другой источник, и это наглядно проявляется в том, что вариативность допускается только в тв. мн., но не в дат. мн. или местн. мн. Можно думать, что Барсов ориентируется в данном случае на языковую практику в рамках «славянорусского» языка как синтеза светской и духовной языковых традиций. Грамматика, естественно, не отражает характера и частоты тех случаев, в которых «по востребованию» употребляется тв. мн. на *-ы*, однако резонно предположить, что отступление от утвердившихся со времен Адодурова и Ломоносова параметров нормализации обусловлено у Барсова вниманием к той языковой практике (к тем текстам), которые предшествующими грамматистами игнорировались. Можно предположить, что Барсов отходит от того отношения к узусу как объекту декларативных предписаний, которое было свойственно академической грамматической традиции, и возвращается к тому описательно-систематизирующему подходу (с элементами нормализации), который мы когда-то наблюдали у Пауса. Это изменение установок можно, видимо, связать с переменами в социальном статусе языкового стандарта: в Екатерининскую эпоху он перестает быть собственностью узкого круга академических авторов и, попав в руки грамотного общества в целом, перестает соответствовать академической кодификации. Иными словами можно сказать, что границы между «нейтральным» и «нормализованным» узусом размываются, и Барсов в своей кодификации отражает, по крайней мере в отдельных моментах, многообразие реально наблюдаемого письменного узуса.

В диапазон реально наблюдаемого узуса входит в этот период и духовная словесность, перестающая восприниматься как отделенная от светской литературы и не имеющая к ней отношения область (см.: Живов 1996, 368—376). В ду-

ховной словесности тв. мн. на *-ы* продолжает употребляться как допустимый вариант (см. § III.4.2); это характерно и для языка отдельных славянизированных светских текстов, в которых данные формы выступают с особым стилистическим заданием. Приложение к формам тв. мн. принципа допустимого «сокращения» соединяет Барсова с Кантемиром — через голову нескольких поколений филологов. Кодификация в качестве варианта тв. мн. на *-ы* аналогична в этом плане кодификации инфинитива на *-ти*, употребление которого ограничивается высокими и духовными материями (см. § II.4). Здесь сказывается синтезирующе-описательный подход большой грамматики Барсова, не ограничивающейся концептуально ориентированными нормативными предписаниями, но стремящейся оценить и регламентировать употребление во всем его многообразии. Понятно вместе с тем, что с распадом славяно-русского синтеза такой подход лишается оснований. Если в академической «Российской грамматике» игнорирование тв. мн. на *-ы* может быть связано с традиционным для академической филологии принципом жесткого нормирования, то в позднейшей грамматической традиции эти формы не отражаются, поскольку не соответствуют больше литературно значимой языковой практике.

4. А-экспансия в языковой практике духовной литературы XVIII века

Поскольку противопоставление старых и новых флексий в дат. мн., тв. мн. и местн. мн. не было связано с оппозицией книжного и некнижного языка, формирование нового литературного языка, противопоставленного церковнославянскому и предназначенного для светской словесности, не приводило автоматически к различиям языка духовной и светской литературы по данным признакам (ср. иную ситуацию с простыми претеритами). Расхождения могли возникать здесь в силу того, что произведения духовной литературы (прежде всего проповеди) были ориентированы на другие образцы, нежели произведения литературы светской, и образовали собственную линию преемственности.

Духовная литература XVII в. (проповеди, богословские трактаты и т. д.) писалась в основном на стандартном церковнославянском, допускавшем *а*-экспансию лишь как окказиональное явление (см. § III.1.1 о сочинениях Симеона Полоцкого и патриарха Иоакима). Начиная с Петровской эпохи проповедь все в большей степени переходит на гибридный язык, который и в XVII в. допускал ограниченное употребление новых флексий. Соответственно, характер употребления анализируемых форм изменяется, однако изменяется иным образом, чем в литературе светской: прежние образцы не могут не обуславливать определенной консервативности в рамках традиционных жанров — фактор, который для светской литературы, порывавшей с традицией, значения не имел. В XVIII в. духовная литература была своеобразным анклавом, игнорировавшим принцип полифункциональности языкового стандарта. Она существовала особняком как отдельный регистр с воспроизведением собственных навыков письма, с собственной жанровой памятью. Поэтому сближение языка духовной литературы с языком светской словесности в конце XVIII — начале XIX в. оказывается важнейшим индикатором утверждения полифункциональности нового языкового стандарта.

4.1. Проповедь на гибридном церковнославянском. Утверждение жанровых особенностей

В памятниках гомилетической литературы петровского времени находим почти повсеместно широкое (однако не доминирующее) употребление новых флексий, т. е. их пропорция составляет от одной до двух третей. Эти пропорции сами по себе указывают на отрыв от гомилетической литературы предшествующего периода (которой было свойственно окказиональное употребление новых флексий) и в то же время на сходство с другими памятниками гибридного языка того же времени, никак не связанными с религиозной традицией (например, Повестью о Петре Златых ключей, см. § III.1.2, или «Историей Петра Великого» Феофана Прокоповича, см. § III.2.1). Вместе с тем данные пропорции свидетельствуют, что духовная литература не была затронута нормализационными процессами, отразившимися в книгах гражданской печати и обеспечившими в них доминирующее употребление новых флексий. Соответственно, здесь можно говорить о моменте расхождения духовной и светской традиции, возникающем уже в Петровскую эпоху и развивающемся в дальнейшем в силу нормализации нового литературного языка, на церковную словесность не распространявшейся.

Об а-экспансии в гомилетической литературе Петровской эпохи имеется обширное исследование Дж. Дингли (1983), содержащее статистическую обработку проповедей св. Димитрия Ростовского, Стефана Яворского, Гавриила Бужинского и Феофана Прокоповича. Исследователь проанализировал большой массив текстов, и мы имеем возможность воспользоваться результатами этого анализа. Надо иметь в виду вместе с тем, что отдельные исходные допущения данной работы и настоящего исследования не совпадают. Это относится прежде всего к составу тех классов, по которым сгруппированы существительные. Расхождения не носят здесь принципиального характера, но все же имеются. Как у Дингли, так и в настоящем исследовании различаются существительные м. рода *о-* и *ю-*склонений, существительные ср. рода *о-* и *ю-*склонений, существительные м. и ж. рода *і-*склонения. У нас в дополнение выделяются существительные м. рода *С-*склонения (типа *христианин*), у Дингли — существительные с основой на согласный как единый массив, в который включены существительные ср. рода с основой на **s* и с основой на **et*, а также *день* и *камень*, тогда как существительные типа *христианин* отнесены к *о-*склонению. Как мы уже говорили (см. § III.1.1), любые решения в этой области достаточно произвольны (на что указывает и Дингли — 1983, 106), поскольку в живом употреблении эти классы не вычлениаются, и речь идет лишь о том, в какой мере авторам исследуемых текстов в силу преэминентности письменного узуса удается сохранить для соответствующих имен особый словоизменительный тип. Расхождение в исходных рубриках делает необходимой перегруппировку данных и обращение не к статистическим таблицам (Дингли 1983, 107—136), а к списку примеров (там же, 212—373); некоторые внесенные мною поправки несколько меняют статистические результаты, однако не общую картину¹.

¹ Дж. Дингли использует поздние издания анализируемых текстов, и это также может несколько исказить подлинное положение вещей. Насколько мне известно, по интересующим нас параметрам последовательная правка для поздних изданий не производи-

Как показывает исследование Дингли, для большинства анализируемых памятников духовной литературы Петровской эпохи характерно широкое употребление новых флексий, хотя диапазон колебаний весьма значителен. Наиболее консервативны в анализируемом нами аспекте проповеди св. Димитрия Ростовского, общая пропорция новых флексий не достигает в них даже одной трети и составляет всего 32,36 %. В абсолютных цифрах данные по проповедям св. Димитрия Ростовского выглядят следующим образом (Дингли 1983, 212—373):

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	143	26	12	—	11	28	12
	амь/амь	15	4	43	23	—	4	6
М.	ехь/ѣхь	111	26	69	9	4	25	79
	ахь/ахь	39	3	33	71	—	5	11
Т.	ы/и	63	17	105	30	3	—	—
	ами/ами	97	20	34	21	1	—	2
	ми	10	5	4	11	1	33	66

Распределение новых флексий по классам обнаруживает ряд особенностей, свойственных и иным произведениям гомилетической литературы петровского времени, но не находящих аналогии в других современных памятниках, равно как и в большинстве текстов гибридного регистра в XVII в. Эта специфика проявляется в наиболее многочисленном классе — у существительных м. рода о-склонения. Наименее подверженным а-экспансии является здесь, как и в большинстве текстов предшествующей эпохи, дат. мн. (10,11 % новых флексий), наиболее продвинутым, однако, оказывается тв. мн. (55,19 % новых флексий), тогда как местн. мн. занимает промежуточное положение (23,46 % новых флексий). Из всех текстов предшествующего периода такое распределение отмечалось нами только у Симеона Полоцкого (прежде всего в его проповедях) и в Псалтыри Фирсова (а также в Повести о Петре Златых ключей — см. § III.1.1; § III.1.2). Видимо здесь, как и у Симеона Полоцкого, проявляется влияние грамматики Смотрицкого, пре-

дельные исправления, однако, могли вноситься, и они также могут искажать первоначальную картину. Сужу, в частности, по тем исправлениям, которые делали в середине XVIII в. московские справщики при переиздании Четких Миней св. Димитрия. Эти исправления перечислены в особой «Выписке несходствиям в книгах Черниговской и Киевской печати с Московскими» (РГАДА, ф. 381, № 1199), в которой содержится и «Выписка краткая к перемене надлежащих слов» (я признателен И. В. Шендерей за предоставленные мне данные по названной рукописи; ср. также аналогичные выписки еще в четырех делах из собрания Синодальной типографии — РГАДА, ф. 381, №№ 1200, 1201, 1201а, 1202). Среди весьма пространного корпуса исправлений правка по интересующим нас параметрам практически не представлена. В двух случаях форма *очима* заменяется на *очесы* (Димитрий Ростовский 1695, л. 204 об., 309), что связано с трактовкой дв. числа и к а-экспансии отношения не имеет. В двух случаях имеются исправления в формах существительных ср. рода о-склонения, заменяющие старые флексии на новые: *в сердцѣхъ* на *в сердцахъ* и *копѣими* на *копѣями* (там же, л. 431 об.); здесь а-экспансия отражается, но на статистические параметры, очевидным образом, не влияет. Если такого же рода исправления вносились и при переиздании проповедей, искажения явно оказываются не слишком существенными.

дусматривавшей варианты с новыми флексиями именно в тв. мн. (см. § III.1.4), и, следовательно, опосредованно или непосредственно действует стремление ограничить употребление омонимичных форм (хотя никакой специальной связи между употреблением новых флексий и контекстами синтаксической неоднозначности не наблюдается). Это, впрочем, скорее относится к генезису рассматриваемого феномена, поскольку благодаря Симеону Полоцкому (равно как и многочисленным украинским проповедникам) традиция гомилетического языка в России начала XVIII в. уже существовала, и характерная схема распределения новых форм по падежам могла преемственно воспроизводиться в рамках данного жанра.

Не исключено, впрочем, что продолжала играть роль и ориентация на грамматику, обусловленная тем, что церковнославянские проповеди пишутся как учебные тексты, выражающие грамматическое и риторическое искусство их авторов и их ученую подготовку (в частности, и в церковнославянском языке). Употребление новых форм тв. мн. могло поддерживаться польским или украинским влиянием, поскольку распространение *-ami* в тв. мн. в польском приходится именно на XVII и начало XVIII в. (Янковска и Завадски 1960; Жепка 1985); по крайней мере, такое влияние могло способствовать приемлемости этих форм². В

² Как уже говорилось выше (§ III.1.1), данные украинской и белорусской церковнославянской письменности сколько-нибудь подробно не анализировались. Что же касается письменности на деловом языке и на «простой мове», то неясно, могли ли складывавшиеся здесь навыки повлиять на употребление тех или иных форм при переходе украинских и белорусских авторов на церковнославянский язык. Создается, впрочем, впечатление, что принципиальных отличий в характере отражения а-экспансии в украинских и русских нецерковнославянских памятниках не было.

Хронологически процесс распространения новых форм в украинской письменности близок к тем временным рамкам, которые мы наблюдаем в письменности московской (см.: Бевзенко 1960, 85—93), и это, видимо, отражает сходство в развитии соответствующего явления в живом языке (определенные отступления от процесса аналогического выравнивания в закарпатских и галицко-волинских говорах, т. е. периферии восточнославянской территории, мы можем сейчас оставить без внимания). В конце XVI—XVII вв. для украинской письменности характерны, как кажется, те же параметры распределения старых и новых флексий, которые мы наблюдаем в памятниках великорусского происхождения XVII в., не связанных с нормализующей установкой. У существительных м. рода *o*-склонения наблюдается тот самый порядок, который мы выше назвали «нейтральным», т. е. **L > I > D**, тогда как у существительных ср. рода *o*-склонения в наибольшей степени подвержен а-экспансии дат. мн. Так, в Летописи Самовидца XVII в. в дат. мн. существительных м. рода *o*-склонения старая флексия «послідовно зберігається» при незначительном числе отступлений, в тв. мн. обычно фиксируются новые флексии, хотя отступления нередки, тогда как в местн. мн. соответствующие формы «звичайно закінчуються на -ахъ» (Петличный 1956, 77—78). В украинских памятниках XVI в. (разного типа) у существительных м. рода *o*-склонения в дат. мн. новые флексии встречаются редко, тогда как в местн. мн. «вони вживаються часто» (тв. мн. остается без количественной характеристики, и это, видимо, говорит о его промежуточном положении — Керницький 1960а, 61—64); в то же время у существительных ср. рода в дат. мн. новые флексии появляются нередко, существенно чаще, чем у существительных м. рода (соотношение по падежам остается не совсем ясным — Керницький 1960б, 86—89). Четкие статистические данные имеются для сочинений Иоанна Вышенского. Здесь у существительных м. рода *o*-склонения в дат. мн. новые флексии отсутствуют, в тв. мн. составляют 40 %, в местн. мн. —

любом случае сходство с параметрами, обнаруживаемыми у Полоцкого, кажется значимым и, вообще говоря, указывает на жанровую преемственность, хотя механизмы ее реализации остаются невыясненными (учитывая существенное расхождение в объеме *a*-экспансии).

У существительных ср. рода *o*-склонения распределение особой специфики не обнаруживает: наибольший объем новых флексий в дат. мн. (84,62 %), затем следует местн. мн. (57,14 %), затем тв. мн. (26,83 %). Следует отметить довольно многочисленные случаи тв. мн. на *-ми* у существительных *o*-склонения, что также может быть связано как с польским влиянием, так и со стремлением устранить омонимию, используя принятое в книжной традиции формообразование. Существительные *i*-склонения значительно более консервативны, чем существительные *o*-склонения (хотя диспропорция в объеме старых флексий между «большими» и «малыми» классами — 61,40 % в «больших» классах, 91,03 % в «малых» — нисколько не походит на ту, которая наблюдается в нормализованных текстах гражданской печати — см. § III.2.1). В особенности это относится к существительным м. рода, здесь в местн. мн. 16,67 % новых флексий, в дат. мн. — 12,5 %, в тв. мн. новые флексии отсутствуют. У существительных ж. рода в дат. мн. 33,33 % новых флексий, в местн. мн. — 12,22 %, в тв. мн. — 2,94 % (существенно, впрочем, само появление новых флексий в этих формах). Консервативность свойственна и существительным м. рода *C*-склонения: в дат. мн. и местн. мн. новые флексии вообще отсутствуют, в тв. мн. составляют 20 %. Сопоставление с такими памятниками гибридного языка, как Повесть о Петре Златых ключей или Житие Аввакума (им свойственна большая пропорция новых флексий в этих формах), побуждает предположить, что подобная консервативность существительных «малых» классов (по крайней мере, в дат. мн. и местн. мн.) обусловлена не влиянием разговорного языка, а устойчивыми навыками языка книжного (в этом плане исследуемые тексты сходны с продукцией «нормализаторского» направления петровского времени).

Проповеди Гавриила Бужинского представляют как бы ближайшую следующую точку в эволюции языка гомилетической литературы сравнительно с проповедями св. Димитрия Ростовского. Приведу статистические данные, полученные в результате дополнительной обработки материалов Дж. Дингли (Дингли 1983, 212—373):

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	160	52	30	—	26	16	25
	амь/амь	18	2	35	23	1	—	—
М.	ехь/ьхь	182	24	88	34	5	47	158
	ахь/ахь	109	23	75	213	4	2	8
Т.	ы/и	90	21	86	41	4	1	—
	ами/ами	130	13	72	43	—	2	2
	ми	—	1	—	2	—	13	54

52 %; у существительных ср. рода *o*-склонения в дат. мн. практически отсутствуют старые флексии, т. е. новые составляют около 100%, в местн. мн. их объем 86%, тогда как в тв. мн. — 31 % (Грошель 1972, 123—134). Сходство с теми параметрами, которые мы наблюдали в русских памятниках второй половины XVII в., очевидно.

Пропорция новых флексий несколько возрастает, у Бужинского она составляет 40,16 %, однако параметры распределения обнаруживают достаточно большое сходство. У существительных м. рода *o*-склонения наиболее консервативным остается дат. мн. (8,62 % новых флексий), причем, как и у Дмитрия Ростовского и вообще в литературе петровского времени, особенно консервативна мягкая разновидность; наиболее продвинутым является тв. мн. (56,08 % новых флексий); местн. мн. занимает промежуточное положение (38,87 % новых флексий). Таким образом, и здесь, в этом основном классе, наблюдается то же специфическое распределение, которое мы отмечали у Дмитрия Ростовского; преемственность представляется здесь несомненной, и поскольку этим устанавливается особая традиция, ее истоки трудно не соотнести с языковыми параметрами проповедей Симеона Полоцкого.

Распределение новых флексий у существительных ср. рода *o*-склонения указывает, видимо, на определенную консервативность языковых навыков Гавриила. Наиболее продвинутым является здесь местн. мн. (70,24 % новых флексий), далее идет дат. мн. (65,91 %), наименее продвинут тв. мн. (47,15 %). Подобное распределение встречается в гомилетических памятниках XVII в. (у Симеона Полоцкого и патриарха Иоакима) и в ряде памятников гибридного языка с относительно низким объемом *a*-экспансии (обе части Мазуринской летописи, тетради старца Авраамия — см. § III.1.2). Интересно, что лишь в очень редких случаях у существительных *o*-склонения (в том числе и у существительных ср. рода на *-ие*) появляется в тв. мн. окончание *-ми*, достаточно частое и у Дмитрия Ростовского, и у Симеона Полоцкого. Замечательной особенностью языка Бужинского является почти полное отсутствие новых флексий в «малых» классах, объем старых флексий составляет здесь 94,77 %, он даже больше, чем у Дмитрия Ростовского. В этом случае вполне очевидно, что причина лежит в нормализационных решениях. У существительных ж. рода *i*-склонения новые флексии отсутствуют в дат. мн., а в местн. мн. и тв. мн. составляют соответственно 4,82 % и 3,57 %. У существительных м. рода *i*-склонения новые флексии также отсутствуют в дат. мн., а в местн. мн. и тв. мн. их объем равен 4,08 % и 12,5 %. У существительных м. рода *C*-склонения новые флексии отсутствуют в тв. мн. (очевидное несовпадение с существительными м. рода *o*-склонения), составляют лишь 3,70 % в дат. мн., но 44,44 % в местн. мн.

Существенный шаг в сторону нового узуса делает Стефан Яворский. По данным Дж. Дингли (Дингли 1983, 212—373) в абсолютных цифрах употребление новых и старых флексий выглядит у него следующим образом:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	54	22	7	—	8	15	4
	амь/амь	13	3	7	6	2	1	8
М.	ехь/ѣхь	8	2	12	2	—	19	36
	ахь/ѣхь	30	4	33	44	1	6	16
Т.	ы/и	22	1	11	1	—	—	—
	ами/ами	81	26	27	11	9	4	3
	ми	—	—	—	2	—	9	10

Объем новых флексий составляет у Яворского 57,76 %, т. е. сопоставим с аналогичными характеристиками других гибридных текстов Петровской эпохи (например, «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича). В распределении новых флексий по классам обнаруживаются, однако, параметры, характерные именно для гомилетической литературы. Речь идет прежде всего об особенностях *а*-экспансии у существительных м. рода *о*-склонения. В этом классе наименее продвинут дат. мн. (17,39 % новых флексий; мягкая разновидность здесь более консервативна, чем твердая), затем идет местн. мн. (77,27 %), наибольшая же пропорция новых флексий в тв. мн. (82,31 %). Таким образом, и здесь выявляются те соотношения, которые отмечались у Симеона Полоцкого, Димитрия Ростовского и Гавриила Бужинского; эти соотношения сохраняются несмотря на существенные изменения в объеме *а*-экспансии.

У существительных ср. рода *о*-склонения распределение новых флексий по падежам более равномерно. Так же как у Гавриила Бужинского, наибольшее число инноваций обнаруживается в местн. мн. (84,62 % новых флексий), несколько меньше в тв. мн. (73,08 %), наиболее консервативен дат. мн. (65 %); последний момент достаточно необычен. Формы тв. мн. на *-ми* от существительных *о*-склонения встречаются лишь в двух случаях. Достаточно подвержены инновациям и «малые» классы, соотношение старых флексий в «больших» и «малых» классах обычно для ненормализованных текстов (33,57 % старых флексий в «больших» классах, 66,89 % — в «малых» классах). У существительных ж. рода *і*-склонения в дат. мн. 66,67 % новых флексий, в местн. мн. — 30,77 %, в тв. мн. — 23,08 %. У существительных м. рода *і*-склонения в дат. мн. 6,25 % новых флексий, в местн. мн. — 24 %, в тв. мн. — 30,77 %. У существительных м. рода *с*-склонения новые флексии составляют в дат. мн. 20 %, тогда как в местн. мн. и тв. мн. полностью отсутствуют старые флексии. Наличие относительно большого числа новых флексий в тв. мн. существительных *і*-склонения указывает на определенную незаинтересованность Стефана в нормализации своего языка и открытость его для инноваций. Итак, у Стефана Яворского гомилетическая литература как бы усваивает черты общего (ненормализованного) употребления своего времени, приспособлявая их при этом к своим традициям.

Тот инновационный сдвиг, который обнаруживается у Стефана Яворского, не в меньшей степени проявляется у Феофана Прокоповича. Данное совпадение особенно значимо, поскольку Стефан и Феофан принадлежат разным культурным и лингвистическим направлениям и по другим лингвистическим характеристикам их проповеди существенно различаются (ср. об употреблении инфинитива на *-ти* — § II.5; об употреблении 2 ед. презенса на *-ши* — §.V.6). Этот момент безусловно подчеркивает существенное отличие вариаций старых и новых флексий в разбираемых формах именного словоизменения от тех соотношений старых и новых элементов в глагольном словоизменении, которые могли ассоциироваться с противопоставлением разных письменных традиций. В частности, Феофан Прокопович в своем стремлении к «простоте» языка ограничивает употребление в своих проповедях элементов, ассоциирующихся со старой книжной традицией, но не обращает внимания на нерелевантные в этом плане формы именного словоизменения. Именно в силу этого его узус в исследуемом сейчас аспекте остается практически тождествен узусу Стефана.

Данные по всем проповедям Прокоповича, проанализированным Дж. Дингли (1983, 212—373), предстают в следующем виде³:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	94	37	8	—	23	11	35
	амь/амь	54	21	32	40	4	5	16
М.	ехь/ѣхь	82	23	35	3	3	16	80
	ахь/ѣхь	114	37	87	151	3	4	24
Т.	ы/и	25	4	14	44	—	—	—
	ами/ами	90	22	31	19	3	3	11
	ми	3	7	1	12	—	18	36

Пропорция новых флексий в проповедях Прокоповича составляет 55,75 %, т. е. даже несколько меньше, чем у Яворского. Таким же, как у Яворского (respective, у Бужинского, Димитрия Ростовского и Симеона Полоцкого), является соотношение разных падежей у существительных м. рода о-склонения: наиболее консервативен дат. мн. (36,41 % новых флексий), наиболее продвинуто тв. мн. (74,17 %), местн. мн. располагается посередине (58,98 %). У существительных ср. рода о-склонения распределение старых и новых флексий достаточно обычно для гибридных текстов, ближайшим образом сходясь с тем, которое наблюдается у Димитрия Ростовского; соотношения таковы: в дат. мн. 90 % новых флексий, в местн. мн. — 86,23 %, в тв. мн. — 41,32 %. Как и у Яворского, «малые» классы лишь вдвое консервативнее, чем «большие» (75,25 % старых флексий в «малых» классах, 35,85 % — в «больших»). При этом у существительных м. рода і-склонения в дат. мн. 31,25 % новых флексий, в местн. мн. — 20 %, в тв. мн. — 14,29 %. У существительных ж. рода і-склонения в дат. мн. 31,37 % новых флексий, в местн. мн. — 23,08 %, в тв. мн. — 23,40 %. Существительные м. рода С-склонения обнаруживают те же соотношения, что и у Яворского: в дат. мн. 14,81 % новых флексий, в местн. мн. — 50 %, в тв. мн. старые флексии отсутствуют. Можно полагать, что у обоих авторов существительные м. рода С-склонения перестают выделяться как особый класс, более консервативный по своему поведению, чем существительные м. рода о-склонения.

Несомненный интерес представляют сходства и отличия данных параметров от тех соотношений, которые наблюдаются у Прокоповича вне гомилетического жанра. Хотя «История Петра Великого» написана на «простом» языке, а проповеди — на гибридном, пропорция старых и новых флексий в анализируемых формах почти в точности совпадает: в проповедях пропорция новых флексий составляет 55,75 %, в «Истории Петра Великого» — 55,77 % (см. § III.2.1). В распределении старых и новых флексий по разным классам существительных имеются некоторые различия. Основным является характерная для гомилетических памятников максимальная продвинутость тв. мн. у существительных м. рода

³ Отмечу, что в тех случаях, когда мне были доступны первые издания проповедей Прокоповича, я сверял приводимые Дж. Дингли формы, которые он извлекал из позднейших изданий, с оригинальными. Расхождений не обнаружилось, что делает приводимые данные достаточно достоверными.

о-склонения; в то же время в «Истории Петра Великого» наиболее продвинутым является местн. мн. — черта, свойственная и большинству гибридных памятников второй половины XVII в. Это различие побуждает интерпретировать преимущественную продвинутость тв. мн. в указанном классе существительных как жанровую характеристику гомилетики конца XVII — начала XVIII в. (как мы и предполагали выше).

У существительных ср. рода о-склонения характер распределения практически совпадает (округляю проценты до единиц: дат. мн. — 90 % / 95 %; местн. мн. — 86 % / 86 %; тв. мн. — 41 % / 47 %). Совпадает и соотношение по объему а-экспансии «больших» и «малых» классов: в обоих случаях в последних приблизительно вдвое больше старых флексий, чем в первых. В соотношении падежей внутри «малых» классов имеются расхождения, однако они могут быть обусловлены случайными моментами (текст «Истории» недостаточен по объему для статистически достоверных выводов). Сопоставление с «Историей Петра Великого» ясно показывает, что вариативность старых и новых флексий в разбираемых формах эволюционирует принципиально иным образом, чем маркированно книжные элементы (которые Феофан в «Истории Петра Великого» подвергает правке); различно, следовательно, и их восприятие в языковом сознании рассматриваемого времени.

К этому же выводу подводит и другое сопоставление. Язык проповедей Феофана существенно изменяется во времени, так что общие контуры данного развития можно определить как переход от стандартного церковнославянского к его гибриднему варианту (см.: Живов 1985). Эта эволюция вполне ощутимо выражается в изменении ряда характеристик, рассмотренных выше — тех же самых, которые отличают проповеди Прокоповича от проповедей Яворского. Меняется употребление простых претеритов, инфинитивов на *-ти*, 2 ед. презенса на *-ши* (см.: § П.5; § П.6). Употребление старых и новых флексий в анализируемых формах существенно, однако, не меняется. Данные по всему корпусу проповедей Феофана можно сопоставить с данными по корпусу проповедей, написанных с 1727 г. — именно с этого года существенно меняется соотношение инфинитивов на *-ть* и на *-ти*. Приведу, основываясь на тех же материалах Дж. Дингли, абсолютные данные употребления старых и новых флексий в проповедях Прокоповича, датированных 1727—1735 гг.:

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	35	15	4	—	16	1	11
	амь/амь	24	16	14	17	3	1	8
М.	ехь/ѣхь	21	10	14	2	2	4	39
	ахь/ахь	54	16	40	75	2	5	7
Т.	ы/и	4	2	4	28	—	—	—
	ами/ами	38	7	14	3	2	1	5
	ми	1	1	—	6	—	4	10

При сопоставлении оказывается, что пропорция новых флексий увеличивается лишь незначительно: с 55,75 % до 60,07 %, т. е. остается в рамках все того же широкого, но не доминирующего употребления. Прежним остается и распреде-

ление старых и новых флексий по отдельным классам. В проповедях с 1727 г. у существительных м. рода *о*-склонения наиболее консервативен дат. мн. (44,44 % новых флексий), наиболее продвинут тв. мн. (84,91 % новых флексий), промежуточное положение занимает местн. мн. (69,31 %); у существительных ср. рода *о*-склонения больше всего новых флексий в дат. мн. (88,67 %), затем следует местн. мн. (87,79 %), затем — с сильным отрывом — тв. мн. (30,91 %). Сходно и распределение по падежам в «малых» классах. Соотношение по объему *а*-экспансии «больших» и «малых» классов также существенно не изменяется (31,61 % и 71,90 % старых флексий соответственно). Ясно, что сознательных инноваций в область употребления анализируемых форм Прокопович не вносит, не воспринимая их, надо думать, как значимую характеристику реформируемого им узуса. Отличие старых форм именного словоизменения от простых претеритов, инфинитива на *-ти* или 2 ед. презенса на *-ши* в данном отношении очевидно⁴.

Данное отличие сказывается и в дальнейшей эволюции. Конкретные параметры, свойственные отдельным авторам, зависят, видимо, не столько от их языковой установки (как в случае с маркированно книжными элементами), сколько от того корпуса текстов, на который они ориентируются. Для следующего за Феофаном Прокоповичем поколения духовных ораторов его проповеди основным образцом, надо думать, не служат. Так, во всяком случае, обстоит дело с Дмитрием Сеченовым. Анализ употребления у него простых претеритов показывает, что он в данном аспекте существенно более консервативен, чем Прокопович в поздний период творчества (см.: Живов 1996, 383—385), и это свидетельствует о различии языковых установок. При таком различии маловероятно и следование Прокоповичу в употреблении, с языковой установкой не связанном. Языковые навыки Сеченова явно складывались под влиянием чтения иных текстов. В анализируемых здесь формах эти навыки предстают как достаточно консервативные, существенно более консервативные, чем у Прокоповича или Яворского; скорее они напоминают св. Дмитрия Ростовского или Гавриила Бужинского.

Поскольку доступный материал по проповедям 1740-х годов весьма ограничен (это касается и Дмитрия Сеченова, и других авторов), выводы могут быть здесь лишь приблизительными, однако некоторые особенности устанавливаются достаточно определенно. Распределение старых и новых флексий в двух проповедях Сеченова (Дмитрий Сеченов 1742; Дмитрий Сеченов 1743) характеризуется следующими цифрами (здесь и далее из подсчетов исключены формы, упот-

⁴ Л. Л. Кутина в работе о языке проповедей Прокоповича приходит к другим выводам. Говоря о тенденции к «распространению флексий *-ам*, *-ами*, *-ах* (Д., Тв., М. мн.) из класса имен ж. р. на **а* в класс имен м. и ср. р. на **о*, **ю*», она пишет: «По ранним текстам Прокоповича еще трудно судить о преобладании старых церковнославянских или новых (народных) черт (...) Зато петербургские тексты 20-х годов с несомненностью свидетельствуют о преобладании форм новых» (Кутина 1981, 25). Этот вывод подтверждается сопоставлением трех слов раннего периода с двумя словами 1725 и 1726 гг. Сделанная выборка слишком мала для значимых результатов, так что случайные цифры явно подводят исследователя. Отсутствие общего фона (хотя бы данных о языке Яворского, несомненно церковнославянском, но содержащем 57,76 % форм с *а*-экспансией) обуславливает и понимание старых форм как «церковнославянских», а новых — как «народных» черт, что в свой черед приводит к неверному пониманию эволюции данных элементов.

ребленные в прямых цитатах, так как с данного времени текст цитат отчетливо противопоставляется тексту самой проповеди):

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омъ/емъ	18	4	3	1	1	4	—
	амъ/амь	1	—	—	—	—	—	—
М.	ехъ/ѣхъ	2	—	8	1	—	3	7
	ахъ/ахъ	4	2	5	9	—	—	—
Т.	ы/и	15	2	7	—	—	—	—
	ами/ами	18	3	7	1	1	—	—
	ми	—	—	—	—	—	1	7

Общая пропорция новых флексий в двух обследованных проповедях Сеченова (Димитрий Сеченов 1742; Димитрий Сеченов 1743) составляет 37,78 %. У существительных м. рода о-склонения наиболее консервативным, как и у других авторов, является дат. мн. (4,35 % новых флексий), наиболее же продвинутым — местн. мн. (75 %), что характерно для многих гибридных текстов, но не для проповеди (возможно, это случайность, поскольку для достоверной статистики примеров мало); весьма продвинут и тв. мн. (55,26 % новых флексий), его противостояние дат. мн. в любом случае очевидно. У существительных ср. рода о-склонения в дат. мн. новые флексии отсутствуют, в местн. мн. составляют 60,87 %, в тв. мн. — 53,33 %; число примеров для значимых выводов недостаточно. Характерной особенностью языка Сеченова является практическое отсутствие новых флексий в «малых» классах. Единственный пример новой флексии здесь приходится на существительные м. рода С-склонения (**татѣрами** — 1743, л. 6 об.), которые в этот период скорее всего как отдельный класс не функционируют, становясь подклассом существительных м. рода о-склонения. Такой узус несомненно обусловлен восприятием новых флексий у существительных данных классов как ненормативных и отражает, видимо, ориентацию Сеченова не на гибридные тексты его времени и непосредственно предшествующей эпохи, а на традиции стандартного церковнославянского языка (такой ориентацией может объясняться и относительная консервативность в употреблении простых претеритов). Представляется, что общая традиция языка духовной литературы в это время еще допускает достаточно большие возможности индивидуального выбора и устойчивые черты духовного узуса определяются прежде всего особым регистром (гибридного церковнославянского) и определяемым этим регистром сходством в употреблении маркированно книжных элементов.

Новые флексии фиксируются в следующих формах. Дат. мн.: **домѣмъ** (1743, л. 9 об.). Местн. мн.: **мракѣхъ** (1742, л. 2), **бѣщѣрвахъ** (1742, л. 8), **слѣчахъ** (1742, л. 12; 1743, л. 9 об.), **столахъ** (1742, л. 13 об.), **сѣдахъ** (1743, л. 14); **вѣдствѣихъ** (1742, л. 1, 2, 7 об.), **заключеніахъ** (1742, л. 1), **вгорченіахъ** (1742, л. 7), **заточеніахъ** (1742, л. 12), **хѣдожествахъ** (1743, л. 6), **совѣрницахъ** (1743, л. 6), **сѣдницахъ** (1743, л. 6), **сѣлахъ** (1743, л. 9 [bis]), **мѣстахъ** (1743, л. 12), **сердцахъ** (1743, л. 14), **заключеніахъ** (1743, л. 14 об.). Тв. мн.: **пожарами** (1742, л. 3 об.), **сосѣами** (1742, л. 5 об.), **дарами** (1742, л. 6 об.), **црѣями** (1742, л. 8 об.), **трѣдами** (1742, л. 9, 12), **догматами** (1742, л. 10 об.), **мѣжиками** (1742, л. 11),

грѣѣанѣми (1742, л. 11), бдрѣми (1742, л. 14 об.), замкѣми (1742, л. 14 об.; 1743, л. 11 об.), ѡггѣми (1743, л. 1 об.), лѣчѣми (1743, л. 2), нрѣвами (1743, л. 3), ѡщепѣнцѣми (1743, л. 6), дрѣмѣми (1743, л. 6), бѣвѣрами (1743, л. 9 об.), развѣдами (1743, л. 9 об.), кабѣками (1743, л. 10), врагѣми (1743, л. 14); бѣчѣнѣми (1742, л. 9), сердцѣми (1742, л. 13 об.), врѣшнѣми (1742, л. 14), лекѣрствѣми (1742, л. 14 об.), мѣрѣми (1742, л. 14 об.), бѣстнѣми (1743, л. 4 об., 5 об.), дѣвлѣми (1743, л. 6 об.); татѣрами (1743, л. 6 об.)⁵.

Если употребление Сеченова может рассматриваться как шаг назад в рамках той эволюции, которая прослеживается от Симеона Полоцкого до Феофана Прокоповича, то проповеди Амвросия Юшкевича вновь возвращают нас к основной линии развития. В них пропорция новых форм возрастает — сравнительно с теми параметрами, которые характеризуют предшествующий период (в частности, гомилетiku Прокоповича), — хотя это возрастание и не имеет радикального характера; в соотношении же отдельных классов прослеживаются стандартные для гомилетической традиции черты. Данные по четырем проповедям Амвросия Юшкевича (Амвросий Юшкевич 1742; Амвросий Юшкевич 1744а; Амвросий Юшкевич 1744б; Амвросий Юшкевич 1744в) достаточно хорошо согласуются друг с другом и дают следующую картину:

		м. р. о-скл.	м. р. ѡ-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. ѡ-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омѣ/емѣ	22	7	(3)	—	1	4	2
	амѣ/амѣ	9	1	3	9	—	—	6
М.	ѣхѣ/ѣхѣ	9	2	—	2	—	—	4
	ахѣ/ахѣ	12	4	11	14	—	—	2
Т.	ы/и	4	—	1	1	—	—	—
	ами/ами	30	1	5	3	—	—	2
	ми	—	6	—	—	—	1	2

Общий объем новых флексий в обследованных нами четырех проповедях Юшкевича составляет 61 %. У существительных м. рода о-склонения обнаруживаем обычные для проповеди соотношения: наиболее консервативен дат. мн. (25,64 % новых флексий), наименее консервативен тв. мн. (75,61 % новых флексий), тогда как местн. мн. занимает промежуточную позицию (59,26 %). У существительных ср. рода о-склонения наиболее продвинутым оказывается местн. мн. (92,59 % новых флексий), тогда как в тв. мн. и дат. мн. по 80 % новых флексий; впрочем, все старые флексии в дат. мн. приходится на форму **по дѣвлѣмѣ** (1744а, л. 2 об.; 1744в,

⁵ Любопытно сопоставить этот материал с данными «Речи благодарственной» Димитрия Сеченова, написанной через двадцать лет после рассмотренных проповедей (Димитрий Сеченов 1763). Краткость последнего текста делает статистику бессмысленной, в нем всего шесть интересующих нас форм: <местн. мн.> **сѡвѣстахѣ** (л. 1), **благодѣлнѣхѣ** (л. 2), **должностѣхѣ** (л. 2 об.), <тв. мн.> **сердцѣми** (л. 2), **бѣстнѣми** (л. 2), **благодѣлнѣи** (л. 2). Показательно, однако, что среди перечисленных форм имеются два существительных ж. рода і-склонения с новыми флексиями. Новые флексии в этом классе в предшествующих текстах были полностью исключены; их появление отражает, видимо, влияние господствующего употребления 1760-х годов — и прежде всего употребления светской литературы (в рамках развивающегося в Екатерининское царствование синтеза светской и духовной традиции).

л. 5 об., 14), которая в это время, возможно, уже приобрела адвербиальный характер (ср. **дѣламъ** — 1744б, л. 2 — вне этого контекста); если исключить эти примеры, то получаем стандартное для гибридных текстов соотношение: впереди дат. мн., за ним следует местн. мн., за ним тв. мн. Пропорция старых флексий в «малых классах (58,33 %) не отличается кардинально от аналогичного показателя для «больших» классов (35,85 %), превосходя последнюю менее чем в два раза; Юшкевич, следовательно, не ориентируется на нормализованные светские тексты и не усваивает нормализаторской установки; общие параметры развития светского литературного языка оказывают на него, однако, существенное влияние.

Старые флексии представлены в следующих формах. Дат. мн.: **ѡггѡмъ** (1742, л. 1; 1744в, л. 5), **человѣкомъ** (1742, л. 1, 11; 1744а, л. 1; 1744б, л. 6; 1744в, л. 1), **грѣшникомъ** (1742, л. 7 об.), **богѡмъ** (1742, л. 8; 1744в, л. 14), **бѡгомъ** (1744в, л. 14), **ѡдѡмъ** (1742, л. 8), **ѡфесѣемъ** (1742, л. 8 об.; 1744в, л. 12 об.), **колоссѡемъ** (1742, л. 8 об.), **сынѡмъ** (1744а, л. 4), **врагѡмъ** (1744а, л. 5), **скотѡмъ** (1744а, л. 7), **вѣтрѡмъ** (1744а, л. 10 об.), **ѡдѡлопоклѡнникомъ** (1744а, л. 11; 1744в, л. 1 об.), **наслѣдникѡмъ** (1744а, л. 14; 1744б, л. 8), **младенцемъ** (1744а, л. 14 об.), **закѡномъ** (1744б, л. 8), **ѡврѣемъ** (1744б, л. 8 об.; 1744в, л. 6 об., 14 об.), **бѣченикѡмъ** (1744в, л. 12); (по) **дѣлѡмъ** (1744а, л. 2 об.; 1744в, л. 5 об., 14); **ѡсманатѡномъ** (1744б, л. 6 об.); **людемъ** (1744а, л. 4; 1744в, л. 2 об., 6, 13 об.); **страстѣмъ** (1744б, л. 3 об.), **зѡповѣдемъ** (1744в, л. 6 об.). Местн. мн.: **человѣцѣхъ** (1742, л. 4 об.; 1744а, л. 11), **грѣсѣхъ** (1742, л. 9, 11), **прародителехъ** (1744а, л. 9 об.), **строителехъ** (1744в, л. 6 об.), **сѣдѣхъ** (1744в, л. 13), **приказѣхъ** (1744в, л. 13), **трѣдѣхъ** (1744в, л. 13); **дѣлнннхъ** (1744а, л. 12; 1744б, л. 3); **добродѣтелехъ** (1742, л. 11 об.; 1744б., л. 9), **печалехъ** (1744б., л. 6 об.), **печалѣхъ** (1744б, л. 7 об.). Тв. мн.: **врагы** (1742, л. 1 об.), **плоды** (1744а, л. 2), **винограды** (1744а, л. 2), **человѣки** (1744в, л. 12), **свидѣтели** (1744а, л. 4 [ter]), **ѡмстители** (1744а, л. 4), **непрѣтели** (1744в, л. 8 об.), **жители** (1744в, л. 13); **бѣсты** (1742, л. 3), **блгодѣлннн** (1744в, л. 18); **людми** (1742, л. 10 об.); **крѣпостми** (1744в, л. 11 об., 13 об.).⁶

Еще дальше на той же линии эволюции лежат проповеди Симона Тодорского. В трех анализируемых проповедях Тодорского (Симон Тодорский 1743; Симон Тодорский 1745; Симон Тодорский 1748) наблюдается следующее распределение старых и новых флексий:

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омъ/емъ	5	3	—	—	—	1	—
	амъ/амъ	14	—	4	1	—	—	—
М.	ехъ/ѣхъ	3	—	2	1	—	—	2
	ахъ/ѡхъ	7	1	13	5	—	—	1
Т.	ы/и	2	—	—	2	—	—	—
	ами/ами	18	1	5	6	—	—	1
	ми	—	—	—	—	—	—	5

⁶ Старые флексии лексически не мотивированы, в ряде случаев в тех же текстах находятся аналогичные формы с новыми флексиями; не обнаруживается и зависимости от композиционных частей повествования (замечу, что для простых претеритов такая зависимость имеет место).

В проповедях Симона Тодорского общая пропорция новых флексий составляет 74,51 %, т. е. их употребление является доминирующим (впервые в данном жанре). У существительных м. рода *о*-склонения стандартное для гомилетической литературы распределение новых флексий по падежам: консервативнее всего дат. мн. (63,64 % новых флексий), затем следует местн. мн. (72,73 %), затем тв. мн. (90,48 %). Такое распределение свидетельствует, видимо, о жанровой преемственности. У существительных ср. рода *о*-склонения находим распределение того же типа, что у Прокоповича: новые флексии составляют 100 % в дат. мн., в местн. мн. и тв. мн. их пропорция равна соответственно 85,71 % и 84,62 %. В то же время в «малых» классах доминируют старые флексии, их пропорция равна здесь 80 %, и это более чем в четыре раза превышает пропорцию старых флексий в «больших» классах (19,57 %). Как отмечалось, такое соотношение характерно для нормализованных светских текстов 1710—1720-х годов (см. § III.2.1). Следует, видимо, предположить, что именно это направление служит для Тодорского ориентиром (возможно, конечно, что он ориентируется и на более поздние светские нормализованные тексты, и наблюдаемые параметры отражают синтез их особенностей с особенностями гомилетической языковой традиции) и в этом его основное отличие от Юшкевича. В то же время для обоих авторов характерно следование тому направлению развития, которое формируется в светской литературе, и в этом они противостоят Димитрию Сеченову. Они идут по этому пути с существенным запаздыванием и с сохранением отличительных особенностей гомилетической традиции. Показательно, что эволюция данного аспекта языковой практики не связана непосредственно с изменением других параметров, релевантных для установления типа языка. Постепенность изменений также свидетельствует о том, что сознательные инновации здесь не осуществляются.

Старые флексии представлены в следующих формах. Дат. мн.: *сыномь* (1743, с. 6), *представлятелемь* (1743, с. 7), *княземь* (1743, с. 8, 9), *бѣсомь* (1743, с. 11), *Монархомь* (1743, с. 11), *родѡмь* (1745, л. 1 об.), *ѡггломь* (1745, л. 3); *дѣтемь* (1743, с. 8). Местн. мн.: *судѣхь* (1743, с. 11), *ѡгамѣхь* (1748, л. 4, 7); *дѣлѣхь* (1743, с. 6), *чѡдѣхь* (1745, л. 12), *црѣтвѣихь* (1745, л. 6); *скѡрвѣхь* (1748, л. 3 [bis]). Тв. мн.: *зубы* (1743, с. 4), *члѣвѣки* (1745, л. 6); *знѡменїи* (1745, л. 7), *даровѡнїи* (1745, л. 11 об.); *свѣтлостми* (1745, л. 1 об.), *добродѣтелми* (1745, л. 1 об.; 1748, л. 5), *корыстми* (1745, л. 7), *добродѣтельми* (1745, л. 7 об.). Новые формы в «малых» классах: *вѣщахь* (1743, с. 10), *противностями* (1743, с. 4).

4.2. Отражение а-экспансии при переходе духовной литературы на русский язык

Постепенный характер эволюции в именном словоизменении становится особенно очевидным при анализе языковой практики Гедеона Криновского. Именно в проповедях Гедеона был осуществлен переход с гибридного церковнославянского языка на русский, что выразилось в трансформации ряда лингвистических параметров (прежде всего, в устранении признаков книжности, т. е. простых преритивов, некоторых типов причастий и т. д.). В этом контексте очень знаменательно, что в разбираемом сейчас аспекте никаких радикальных изменений не происходит. Приводимые ниже статистические данные получены по двум вы-

боркам из первого издания проповедей Гедео́на: Гедео́н Криновский, I, 1—107; Гедео́н Криновский, II, 1—106. Эти данные имеют следующий вид:

		м. р. о-скл.	м. р. jo-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. jo-скл.	м. р. С-скл.	м. р. i-скл.	ж. р. i-скл.
Д.	омь/емь	6	13	1	—	6	7	2
	амь/амь	46	10	13	2	7	1	11
М.	ехь/ѣхь	4	1	4	—	—	7	3
	ахь/ахь	27	4	41	8	—	5	16
Т.	ы/и	5	—	7	1	—	—	—
	ами/ами	44	4	21	6	5	1	3
	ми	—	1	1	—	—	9	13

Общая пропорция новых флексий составляет 74,67 %, т. е. приблизительно столько же, сколько и у Тодорского. В распределении старых и новых флексий по классам некоторые отличия от Тодорского наблюдаются, однако ряд параметров, свойственных гомилетической традиции, сохраняется в неизменности. Это прежде всего относится к соотношению старых и новых флексий у существительных м. рода о-склонения. Наиболее консервативным остается здесь дат. мн. (74,67 % новых флексий), затем следует местн. мн. (86,11 %), тогда как наиболее продвинутым является тв. мн. (88,89 % новых флексий). У существительных ср. рода соотношение стандартно: 93,75 % новых флексий в дат. мн., 92,45 % в местн. мн. и 75 % в тв. мн. В отличие от Тодорского пропорция старых флексий в «малых» классах относительно невелика (48,96 %), т. е. новые флексии представлены здесь наравне со старыми. Тем не менее оппозиция «малых» и «больших» классов достаточно выражена, в больших классах аналогичный показатель равен 16,30 %, т. е. он в три раза меньше. Сравнительно большое число новых форм в «малых» классах не свидетельствует, надо думать, об отсутствии нормализаторской установки (как у Юшкевича). Оно обусловлено, видимо, ориентацией на языковую практику современной светской литературы, в которой ко времени Криновского старые флексии в «малых» классах становятся ненормативными, сохраняясь лишь в тв. мн. в парадигмах *люди* и *дѣти* и — в качестве допустимых вариантов — у существительных ж. рода *i*-склонения (см. § III.2.3; III.3.3). Для Тодорского же могла быть ориентиром иная, более ранняя, практика светской литературы. Таким образом, изменения по данному параметру отражают влияние светской разновидности литературного языка в его актуальном развитии⁷.

⁷ Довольно подробный анализ интересующего нас явления у Гедео́на Криновского дает Л. Челлберг, однако необходимых статистических данных в его исследовании не содержится. Опираясь на наблюдения С. П. Обнорского, Л. Челлберг порою исходит из неверных предпосылок, утверждая, например: «Ce furent d'abord les anciens datifs qui tombèrent hors d'usage: on les rencontre rarement après la fin de l'époque de Pierre le Grand» (Челлберг 1957, 125). Распределение старых и новых флексий по классам описано в общих словах. Так, о формах дат. мн. говорится: «Au dat. pl. des substantifs du type en -o Gedeon emploie tantôt les formes nouvelles -амь/-ямь, tantôt les anciennes -омь/-емь (...) Au neutre, -амь/-ямь domine complètement (...) Les substantifs du type en -i ont d'ordinaire le dat. pl. en -ямь (-амь)» (там же, 126—127). О формах местн. мн. сказано: «Pour le loc. pl. également, Gedeon emploie les anciennes et les nouvelles désinences dans le type en -o. A son

Приведу примеры старых форм. Дат. мн.: *человѣкомъ* (I, с. 2), *Иудеемъ* (I, с. 11; II, с. 60, 61), *слышателемъ* (I, с. 15), *ученикомъ* (I, с. 23), *рачителемъ* (I, с. 40), *грѣшникомъ* (I, с. 44; II, с. 78), *врагомъ* (I, с. 55), *Евреомъ* (I, с. 66), *Ефесеомъ* (I, с. 100), *Колоссаемъ* (II, с. 45), *злотворцемъ* (II, с. 53), *младенцемъ* (II, с. 60), *мужемъ* (II, с. 70), *псомъ* (II, с. 81), *сластолюбцемъ* (II, с. 83), *любителемъ* (II, с. 103); (по) *дѣломъ* (I, с. 54); *Римляномъ* (I, с. 12, 102), *Кориняномъ* (II, с. 45 [bis], 88), *Солуняномъ* (II, с. 51); *людемъ* (I, с. 47, 71; II, с. 8, 9, 62, 64, 65); *казнемъ* (II, с. 82), *тваремъ* (II, с. 91). Местн. мн.: *пророѣхъ* (I, с. 2), *гробѣхъ* (I, с. 53), *Иудеехъ* (I, с. 73), *псалмѣхъ* (II, с. 30), *престолѣхъ* (II, с. 36); (на) *небесѣхъ* (I, с. 39; II, с. 36, 52), (на) *облаѣхъ* (I, с. 52); *днехъ* (I, с. 2), *людехъ* (I, с. 35, 77, 83; II, с. 52, 58, 59); *дверехъ* (I, с. 8), *скрижалѣхъ* (I, с. 26), *впостасѣхъ* (II, с. 6). Тв. мн.: *ангелы* (I, с. 8, 76), *человѣки* (I, с. 38), *образы* (II, с. 21), *роды* (II, с. 86), *учительми* (I, с. 7); *ушесы* (I, с. 11), *сокровищи* (I, с. 17), *усты* (I, с. 61, 64, 69; II, с. 88), *враты* (I, с. 93), *дѣлы* (II, с. 92); *людьми* (I, с. 14, 35, 57, 58, 73), *овощьми* (II, с. 33), *звѣрьми* (II, с. 43), *дѣтьми* (II, с. 57), *гостьми* (II, с. 75); *сладоотьми* (I, с. 5), *честьми* (I, с. 15), *податьми* (I, с. 45), *мысльми* (I, с. 47, 70), *пѣсньми* (I, с. 73), *тварьми* (I, с. 100), *страстьми* (II, с. 33, 92), *похотьми* (II, с. 33), *сопѣльми* (II, с. 44), *добродѣтельми* (II, с. 72), *дланьми* (II, с. 96). Почти во всех случаях (кроме ряда форм тв. мн. существительных *i*-склонения) в текстах Гедеона могут быть найдены дублетные формы с новыми флексиями (ср. данные у Челлберга — 1957, 126—131). Для существительных *o*-склонения в местн. мн. можно говорить об определенной лексической мотивированности старых форм и, соответственно, об их стилистической выразительности.

Сколь бы существенным ни было влияние светского литературного языка, отразившееся прежде всего в ненормативности старых флексий в «малых» классах, оно не устраняло полностью различий между светской и духовной традициями. Источник этих различий лежит, видимо, в преемственности по отношению к разным корпусам текстов. Наиболее наглядным образом это проявляется в несходствах распределения старых и новых флексий по падежам у существительных м. рода *o*-склонения. В светских текстах, начиная с Татищева и Кантемира, наибольшая пропорция старых флексий (*-ы* и *-ми*) обнаруживается в тв. мн., причем

époque, les anciens locatifs étaient plus archaïques que les anciens instrumentaux; ils étaient, de plus, difficiles à manier étant donné qu'ils entraînaient les alternances *k/c*, *g/z*, *ch/s*, depuis longtemps disparues du système purement russe de déclinaison (...) Dans le type en *-i*, la vieille désinence s'est mieux maintenue» (там же, 128—129). Столь же недостаточна характеристика тв. мн.: «Dans le type dur en *-o*, l'ancienne désinence *-ы* a bien résisté à l'intrusion de *-ами* (...) Dans le type mou en *-o*, par contre, l'ancienne désinence est très rare (...) Les autres substantifs de ce type ont soit *-ями* du type an *-a*, soit *-ьми* du type en *-i* (...) Les substantifs du type en *-i* ont normalement leur ancienne désinence *-ьми*» (там же, 129—131). Создается впечатление, что наиболее консервативен тв. мн., а наиболее продвинуто местн. мн., что не находило бы себе соответствия в рамках гомилетической традиции. Полученные нами результаты, очевидно, расходятся с нарисованной Л. Челлбергом картиной. Анализируя по отдельности существительные м. и ср. рода *o*-склонения, приходим к выводу, что для первых отнюдь не местн. мн., а тв. мн. является наиболее продвинутым в плане *a*-экспансии, во всяком случае неправоммерно утверждать, что в нем «хорошо сохраняется» флексия *-ы*; и это, как показано выше, представляется существенной характеристикой.

данная черта получает дальнейшее развитие у Третьяковского и Ломоносова (см. § III.2.2). В гомилетической же литературе тв. мн. остается у рассматриваемого класса существительных наиболее продвинутом в плане а-экспансии, тогда как наиболее консервативным оказывается дат. мн. — это устойчивая особенность, охватывающая практически всю проповедническую литературу от Симеона Полоцкого до Гедеона Криновского.

Очевидно, что в отличие от других характеристик (таких как употребление простых претеритов или форм инфинитива) статистические соотношения в распределении старых и новых флексий по разным падежам не находятся под сознательным контролем авторов и не являются для них значимой характеристикой их языка. В силу этого переход проповеди на русский литературный язык нового типа, выразившийся в сознательном устранении ряда признаков старого литературного языка, данной области (особенностей а-экспансии) не затронул, так что преемственность, обусловленная автоматическими навыками письменной речи, свою значимость сохранила. Различия этого рода можно, естественно, считать реликтовыми, однако и они конституируют диапазон возможностей письменного языка данной эпохи.

Рассмотренный момент важен и в аспекте стилистическом. Как было показано, относительно широкое использование старых форм тв. мн. в светской традиции — прежде всего, в высокой поэзии — обусловлено тем, что этим формам усваивается стилистическая функция. Их стилистическое функционирование не связано непосредственно с какой-либо группой высокой лексики, но реализуется как общий признак торжественной речи. Так, в частности, обстоит дело в «Тилемахиде» Третьяковского. В духовной традиции формы тв. мн. в подобной функции не употребляются, в силу чего они и не получают и относительно широкого распространения. В принципе, видимо, старые формы во всех трех падежах не обладают здесь стилистической значимостью. Они сохраняются как реликт и могут поддерживаться аналогичными формами в цитатах из Св. Писания. Поэтому, когда их употребление как-то мотивировано (что имеет место отнюдь не во всех случаях), оно мотивировано отсылочным образом, как реминисценция стандартных церковных текстов. Именно об этом свидетельствуют наблюдения Л. Челлберга над языком Гедеона Криновского.

Относительно форм дат. мн. Л. Челлберг пишет: «L'accent ne joue évidemment aucun rôle, pas plus que les facteurs lexicologiques: même des mots appartenant à des catégories aussi distinctes que par ex. ангель, левъ, случай et человекъ présentent les deux désinences. On pourrait certes trouver caractéristique la désinence ancienne d'un mot typiquement slavon comme глаголомъ IV 200, alors que des mots empruntés aux langues occidentales ont la nouvelle désinence russe: мастерамъ III 227, министрамъ II 137, III 236, паціэнтамъ III 134... mais, avec des mots dont la fréquence est aussi rare, il n'est guère possible de tirer de conclusions sûres. A une exception près (...) on rencontre les deux types de désinences dans tous les mots qui sont représentés dans plus de 3 exemples. Des changements de la 2^e édition, par contre, on peut dégager une tendance nette: celle d'employer dans les titres des épîtres de saint-Paul les formes anciennes, slavonnes, et d'adopter dans les autres cas les formes récentes» (Челлберг 1957, 127). Понятно, что старые формы в названиях посланий апостола Павла (типа *Ефесеємъ*) имеют ту самую отсылочную функцию, о которой было сказано выше. Эта же тенденция прослеживается и в местн. мн. (хотя, понятно, объясняет

лишь ограниченное число примеров). По поводу старых форм местн. мн. Л. Челлберг замечает: «On les trouve (...) dans quelques citations qui se rattachent directement au textes de la Bible: во гробѣхъ (mots insérés dans une citation de la Bible) I 52; самого грядущаго на облацѣхъ небесныхъ ... судіи I 52, узримъ судію къ намъ на облацѣхъ небесныхъ грядущаго I 187, когда увидятъ Его паки грядуща къ намъ на облацѣхъ небесныхъ IV 166 (...) (des paraphrases ou des réminiscences de Matt. XXVI, 64...); глаголавый Богъ Отцемъ нашимъ во Пророцѣхъ I 2, самого глаголавшаго во Пророцѣхъ Духа святаго I 149 (...) (cf. Hébr. I, 1 (...))» (там же, 128). Для старых форм тв. мн. подобной аллюзивной мотивированности не устанавливается. Само по себе отсылочное употребление старых форм, фиксируемое у Гедеона для дат. мн. и местн. мн., является по существу трансформацией принципа ориентации на тексты; в данном случае такая ориентация определяет не выбор языкового кода в целом, а употребление отдельных языковых элементов. Этот механизм также может быть назван стилистическим, но он явно отличен от того, который наблюдается в светской литературе.

Дальнейшее развитие языка духовной литературы, проходившее в контексте того церковно-государственного синтеза (синтеза духовной и светской традиции), которым характеризовалось Екатерининское царствование, неизбежно должно было привести к еще большему сближению с языком светской литературы. В разбираемом здесь аспекте подобное сближение скорее всего должно было проходить как плавный процесс, выражающийся в постепенном уменьшении пропорции старых флексий, а не в резком отказе от них. Старые формы остаются допустимыми, но доминирующий светский узус делает их все менее и менее употребительными. Результаты этого процесса можно увидеть уже во втором издании проповедей Гедеона. Как отмечает Л. Челлберг, «au dat. et loc. pl. du type en -o, les désinences -омъ/-емъ et -ѣхъ/-ехъ sont, dans une certaine mesure, remplacées par -амъ/-ямъ et -ахъ/-яхъ» (там же, 74). Примеры таких изменений не слишком многочисленны и, видимо, несколько понижая общую пропорцию старых флексий, не приводят к принципиальным переменам в их распределении по классам. Не во всех случаях эти изменения вполне последовательны. Так, Л. Челлберг приводит примеры замен флексий *-омъ/-емъ* на *-амъ/-ямъ*: *псомъ* → *псамъ*, *ученикомъ* → *ученикамъ*, *грѣшникомъ* → *грѣшникамъ*, *еленемъ* → *еленямъ*, *непріателемъ* → *непріателямъ*, *случаемъ* → *случаямъ* (всего 9 случаев таких замен), но они не только не устраняют аналогичных форм со старыми флексиями в других местах, но осуществляются наряду с отдельными заменами противоположного характера; такие замены делаются (тоже непоследовательно) в названиях посланий апостола Павла (*Римлянамъ* → *Римлянкомъ*, *Коринѣянамъ* → *Коринѣяномъ*), а также в одном случае в форме *человѣкамъ* → *человѣкомъ* (Гедеон Криновский, I, с. 95/л. 107 об.; см.: Челлберг 1957, 126—127). Сходная картина наблюдается и в местн. мн. (там же, 128—129). Для тв. мн. Л. Челлберг приводит лишь один пример замены: *Апостолы* → *Апостолами* (там же, 130). Очевидно, что Гедеон ориентируется в своей правке на господствующий узус, однако это не делает ее ни исчерпывающей, ни последовательной, и лишь в ограниченной степени приближает язык его проповедей к языку светской литературы.

Дальнейшее развитие этого процесса можно наблюдать, например, в «Собрании разных поучений на все воскресные и праздничные дни», изданном в 1775 г.

Гавриилом Петровым и Платоном Левшиным (Гавриил и Платон, I—II). В абсолютных цифрах распределение старых и новых флексий в этом памятнике, в котором были обследованы две выборки (I, л. 1—91; II, л. 1—98), выглядит следующим образом:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	17	7	—	—	7	3	—
	амь/амь	45	8	24	22	2	18	19
М.	ехь/ѣхь	1	3	8	—	—	3	8
	ахь/ахь	54	8	55	38	—	6	28
Т.	ы/и	10	—	4	—	1	—	—
	ами/ами	93	13	45	56	2	3	11
	ми	—	1	—	2	—	9	12

Как можно видеть, в данном памятнике обнаруживается рост пропорции новых флексий, она составляет в нем 85,14 %. Распределение старых и новых флексий по классам сохраняет некоторые реликтовые черты, характерные для духовной традиции. Так, у существительных м. рода о-склонения наиболее консервативным остается дат. мн. (68,83 % новых флексий); наиболее продвинутым оказывается местн. мн. (93,94 % новых флексий), тогда как тв. мн. отстает от него лишь очень незначительно (90,60 % новых флексий). Примеры старых флексий у существительных ср. рода о-склонения единичны, они вовсе отсутствуют в дат. мн., в то время как в местн. мн. и тв. мн. объем новых флексий составляет соответственно 92,08 % и 94,39 %. В существенно большей пропорции представлены старые флексии в «малых» классах. Если в «больших» классах пропорция старых флексий составляет 10,31 %, то в «малых» — 32,58 %. Нормализаторской установкой, впрочем, за этим соотношением не просматривается. Во многих (хотя отнюдь не во всех) случаях употребление старых форм мотивировано, как и у Гедеона Криновского, реминисценциями стандартных церковных текстов.

Старые флексии встречаются в следующих формах. Дат. мн.: бѣченикѡмь (Гавриил и Платон I, л. 9 об., 69 об.; II, л. 89 об.), врагѡмь (I, л. 31), члѣвѣкѡмь (I, л. 31 об. [bis]; II, л. 6, 32, 33), ефесѣѡмь (I, л. 42), ѿдѣѣмь (I, л. 44 об., 53; II, л. 30 об., II, л. 40 [bis], 79 об.), апѣлѡмь (I, л. 51), прѣемникѡмь (I, л. 51), клеветѣѡмь (II, л. 34), грѣшникѡмь (II, л. 40 об.), слотвѣорѣѡмь (II, л. 45 об.), млѣнцѣѡмь (II, л. 49), предѣлѡмь (II, л. 88, 88 об.); хрѣтѣанѡмь (II, л. 20 об.), Рѣмланѡмь (I, л. 53 об.; II, л. 7 об., 35 об.), Корѣнѣанѡмь (II, л. 44), ѿнатѣнѡмь (II, л. 56 об.); людемь (II, л. 29 об., 49 об., 71 об.). Местн. мн.: ѿдѣѣхь (II, л. 34, 49 об., 79 об.), прѣтолѣхь (II, л. 40 об.); (на) невѣсѣхь (I, л. 18, 23 об., 29; II, л. 40 об., 57), (на) ѡблацѣхь (I, л. 30 об.), чреслѣхь (I, л. 42 об.), чадѣхь (I, л. 72 об.), дѣлѣхь (I, л. 82); людѣхь (II, л. 48, 48 об., 78); скрижалѣхь (I, л. 11, 36), мыслѣхь (I, л. 46), двѣрѣхь (I, л. 52 об., 85; II, л. 64), пѣснѣхь (I, л. 52 об.), страстѣхь (I, л. 59), печалѣхь (II, л. 30). Тв. мн.: человекѣи (I, л. 18, 82; II, л. 1 об.), ѡбразы (I, л. 26 об., 27; II, л. 44), Прѣроки (I, л. 31 об.), ѿгѣлы (I, л. 52, 82), рабы (I, л. 80), подражатѣлѣи (I, л. 82 об.); влѣдѣдѣлѣнѣи (I, л. 25 об.), дѣлѣнѣи (I, л. 54), бѣшѣсы (I, л. 53), бѣсты (I, л. 74), дѣлы (I, л. 82), чѣдѣсы (II, л. 79 об.); хрѣтѣаны (I, л. 60 об.); людѣи (I, л. 17, 22, 24, 68 об., 69), свѣрѣи (I,

л. 24 [bis]; II, л. 43 об.), **дѣтми** (II, л. 47 об., 57); **болѣзми** (I, л. 2; II, л. 37 об.), **сѣтьми** (I, л. 14 об.), **дверми** (I, л. 47 об.), **прихотми** (I, л. 75; II, л. 78 об.), **склонностьми** (I, л. 85 об.), **ненавистми** (I, л. 90 об.), **добродѣтели** (II, л. 34 об., 52), **пріятностьми** (II, л. 38 об., 92 об.), **страстми** (II, л. 66). Практически во всех случаях (кроме форм тв. мн. существительных *i*-склонения) формы со старыми флексиями имеют дублиеты с новыми флексиями.

Еще дальше этот процесс идет в «Православном учении», изданном Платоном Левшиным в 1765 г., т. е. несколько ранее «Собрания разных поучений». Были обследованы три части сочинения Платона без приложений (Платон Левшин 1765, л. 1—99 об.). Данные по этому тексту имеют следующий вид:

		м. р. <i>o</i> -скл.	м. р. <i>jo</i> -скл.	ср. р. <i>o</i> -скл.	ср. р. <i>jo</i> -скл.	м. р. <i>C</i> -скл.	м. р. <i>i</i> -скл.	ж. р. <i>i</i> -скл.
Д.	омь/емь	5	7	1	—	1	—	—
	амь/амь	41	11	10	9	—	4	14
М.	ехь/ѣхь	—	—	1	—	—	—	—
	ахь/ахь	23	5	28	22	—	1	19
Т.	ы/и	4	—	—	—	—	—	—
	ами/ами	44	8	35	28	2	—	12
	ми	—	—	—	—	—	2	10

Здесь объем новых флексий составляет 91,07 %, что вполне сопоставимо с рядом текстов светской традиции. Существенно при этом, что распределение старых и новых флексий остается иным, нежели, скажем, у Ломоносова или Тредиаковского. В «больших» классах старые флексии встречаются практически только в дат. мн. У существительных м. рода *o*-склонения новые флексии составляют в этом падеже 81,25 % — и это можно интерпретировать как реликт особой духовной традиции. Что же касается тв. мн., то все употребление старых форм приходится здесь на один устойчивый оборот: *разными* или *протчимы образы*; пропорция новых флексий в тв. мн. составляет 92,86 %. Характерно, что новые флексии преобладают даже в тв. мн. существительных ж. рода *i*-склонения. Этот момент подчеркивает отрыв от собственно книжной традиции и ориентацию на живую речь. Обусловлен ли этот момент, равно как и вообще опережение по объему *a*-экспансии более позднего «Собрания разных поучений» спецификой этого памятника как элементарного наставления в вере, написанного на подчеркнута простом языке (книга первоначально предназначалась для вел. кн. Павла Петровича, духовным наставником которого был Платон), или отличия этого сочинения от гомилетических памятников вызваны жанровыми особенностями этих последних (это представляется менее вероятным), или, наконец, здесь сказались индивидуальные пристрастия Платона, остается неясным и требует дальнейших исследований. Следует отметить, что почти во всех случаях употребление старых флексий аллюзивно мотивировано, т. е. и в этом плане Платон развивает тенденции, наметившиеся у Гедеона Криновского.

Старые флексии отмечены в следующих формах. Дат. мн.: **Галѣтѣмъ** (Платон Левшин 1765, л. 17 об.), **ѣврѣемъ** (л. 17 об., 23 [bis], 23 об., 25 об.), **Иѣдѣемъ** (л. 47 об.), **ѣллинѣмъ** (л. 47 об.), **Апѣлѣмъ** (л. 48 об., 51 [bis]), **родителемъ** (л. 86 об.); (по) **дѣлѣмъ** (л. 49); **Римланѣмъ** (л. 17 об.). Местн. мн.: (на) **ѣбла-**

цѣхъ (нѣныхъ) (л. 49 об.). Тв. мн.: ѿбразы (л. 87 об., 90, 90 об., 91); людми (л. 76), дѣтми (л. 57 об.); слабостми (л. 15), страстми (л. 17), мысльми (л. 40 об.), должностми (л. 72 об.), прѣлѣтностми (л. 81 об.), болѣзньми (л. 87 об.), напастми (л. 98 об.), прѣлѣстми (л. 98 об.), хитростми (л. 98 об.), сѣтми (л. 98 об.).

Данный уровень сближения с языком светской литературы (с общеобязательным языковым стандартом) характерен для духовной литературы нескольких последующих десятилетий, для тех поколений духовных авторов, у которых главными авторитетами и образцами оставались Платон Левшин и Гавриил Петров. Если в употреблении форм прилагательных в им.-вин. мн. Платон в своих поздних произведениях продвигается на еще один шаг в сторону литературного стандарта, то в словоизменении существительных подобного прогресса нет. В последнем томе его проповедей находим те же параметры употребления разбираемых форм, что и в «Православном учении». Статистические данные имеют следующий вид (анализировалась выборка: Платон Левшин, XX, 167—391):

		м. р. о-скл.	м. р. ю-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. ю-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	—	1	—	—	3	—	1
	амь/амь	20	5	13	4	7	3	11
М.	ехъ/ѣхъ	1	—	3	—	—	—	—
	ахъ/ахъ	23	5	20	16	2	—	16
Т.	ы/и	1	—	2	—	—	—	—
	ами/ами	27	6	33	7	2	—	15
	ми	—	1	—	—	—	4	1

Пропорция новых флексий составляет здесь 92,89 %, что лишь незначительно выше, чем в «Православном учении». У существительных м. рода о-склонения старые формы встречаются лишь в единичных случаях, так что нет возможности говорить о соотношении падежей по объему а-экспансии. Зато вполне ощутимым оказывается разрыв между «большими» и «малыми» классами: в первых пропорция новых форм составляет 4,79 %, во вторых — 14,52 %. Такое соотношение указывает одновременно и на то, что Платон усваивает нормализаторское направление, свойственное светской словесности, и на то, что он игнорирует жесткую регламентацию, навязываемую академической «Российской грамматикой» (см. выше, § III.3.4).

Старые формы встречаются в следующих случаях. Дат. мн.: въ посланіи ко Евреемъ (с. 177); къ Римляномъ (с. 296), къ Коринѣяномъ (с. 303, 366); костемъ (с. 309). Местн. мн.: во грѣсѣхъ рожденные (с. 169); на небесѣхъ (с. 213, 222), Онъ оправдывается во словесѣхъ Своихъ (с. 280). Тв. мн.: предъ Богомъ и челоѣки (с. 236), должны сто пѣнязми (с. 258); Господь своими неложными усты изрекъ (с. 184), съ любезными чады (с. 331); людми (с. 262, 319, 320, 383); надъ страстьми (с. 235). Как и в других памятниках духовной словесности, старые формы у существительных о-склонения в большинстве случаев аллюзивно мотивированы. В рассмотренном материале такая мотивировка присуща всем примерам, кроме одного (съ любезными чады). Это либо обозначения посланий Апостола Павла, вводящие цитату из них, либо слова, отсылающие к тексту Св. Писания,

нередко к тому тексту, на который написана проповедь. Следует напомнить, что в подсчет не включались формы, встречающиеся в прямых цитатах. Этот «чужой» текст легко вычлняется в проповедях Платона, поскольку он выделен курсивом и снабжен ссылкой. Характерным образом, однако, и аллюзия, и даже прямая цитата мотивируют употребление старых форм лишь факультативно. Так, скажем, *во грѣсѣхъ рожденные* (с. 169) отсылает к хорошо известному любому православному Пс. 50:7: «**ВЪ БЕЗЗАКОНІИХЪ ЗАЧАТЪ ЕСМЪ, И ВО ГРѢСѢХЪ РОДИ МА МАТИ МОА**»; при этом, однако, в том же пассаже *беззаконіяхъ* фигурирует в новой форме, а в другой проповеди та же аллюзия обходится вообще без старых форм: *въ беззаконіяхъ зачинаемъ, и во грѣхахъ раждаемъ* (с. 253); еще в одном случае те же слова даются курсивом как цитата, но при этом старых форм не содержат (с. 382). Такие явления показывают, что узус определяется языковым стандартом, а ориентация на традиционные церковнославянские образцы обуславливает лишь окказиональные отклонения от общелитературной нормы.

Этот узус Платон оставляет в наследие следующему поколению проповедников. Его мы находим, например, в проповедях Феофилакта Русанова. Обследование двух выборок (Феофилакт Русанов, I, 1—87; II, 102—151) дает следующие статистические результаты:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омь/емь	1	1	—	—	5	—	—
	амь/амь	24	16	7	18	4	6	19
М.	ехъ/ѣхъ	2	—	—	—	—	1	1
	ахъ/ахъ	23	7	15	16	—	6	6
Т.	ы/и	—	—	3	—	—	—	—
	ами/ами	42	15	24	29	8	—	10
	ми	—	—	—	—	—	11	5

Общая пропорция новых флексий составляет 90,76 %, т. е. не изменяется значимым образом сравнительно с тем, что мы наблюдали у Платона; это означает, что общелитературный стандарт принимается Феофилактом так же, как и Платоном, и так же, как и Платон, Феофилакт оставляет для себя возможность окказионального употребления ненормативных вариантов, приобретающих стилистическую значимость и становящихся приметой своеобразного «церковного» стиля в рамках нового литературного языка. Впрочем, старые флексии сосредоточены у Феофилакта в «малых» классах, где они либо вообще не противоречат общей норме, либо отступают от нее относительно менее заметным образом. Пропорция старых флексий в «малых» классах составляет 28,05 %, тогда как в «больших» классах — 2,88 %, т. е. на порядок меньше. Собственно, в больших классах мы обнаруживаем всего 7 отступлений: дат. мн. *къ Галатомъ* (II, с. 133), *Филиппісѣмъ* (I, с. 52); местн. мн. *Пророцѣхъ* (I, с. 80), *во храмѣхъ* (I, с. 84); тв. мн.: *времены и лѣты* (I, с. 42), *словесы* (I, с. 84). Все эти употребления мотивированы. Мы находим здесь уже знакомые нам наименования адресатов посланий апостола Павла и выражения, так или иначе отсылающие к традиционным церковным текстам: *славнаго во Пророцѣхъ Предтечи и Крестителя Іоанна, къ управляющему времены и лѣты* (т. е. к Богу — как вводные слова к завершающей

проповедь на новый 1801 год молитве). В двух случаях старые формы встречаются в пассаже из слова на «высокоторжественный день рождения» Александра I 1802 г., в котором Александр назван «образом Божества» (с. 87), а слова, в которых описано его воцарение, намеренно «оцерковлены», как бы возмещающая недостаток прямых библейских цитат, ср.: «Лишь только узрѣль Он себя на престолѣ, какъ уже съ высоты онаго и подалъ знакъ благочестію сими мирными словесы: “Приблизься къ моему престолу (...) заградимъ уста безвѣрїю, обуздаемъ порокъ, уменьшимъ зло.” Онъ рекъ, и Россія преобразилась. Какая связанная тишина во храмѣхъ Божїихъ!» (с. 84; см. здесь же форму *во храмѣхъ*).

Что касается малых классов, то здесь в дат. мн. и местн. мн. мотивированность прослеживается менее четко, а в тв. мн., формы которого и в литературном стандарте допускают вариативность, вообще отсутствует. Старые формы встречаются в следующих примерах. Дат. мн.: *Коринѳяномъ* (I, с. 2, 8, 10), *Христїаномъ* (I, с. 10 — наряду с *Христїанамъ*, с. 8, 9), *Римляномъ* (I, с. 45). Местн. мн.: *днѣхъ* (I, с. 38 — наряду с *дняхъ*, с. 37); *крѣпкому во бранѣхъ* (II, с. 113). Тв. мн.: *людьми* (I, с. 13, 47, 56, 67; II, с. 122, 123, 127 [bis], 141), *дѣтьми* (II, с. 104, 112); *страстьми* (I, с. 24, 34), *похотьми* (I, с. 29)⁸, *склонностьми* (I, с. 77), *доблестьми* (I, с. 80).

В любом случае, как «Собрание разных поучений», так и «Православное учение» и проповеди Платона ясно обозначают тот путь, по которому развивается в исследуемом здесь аспекте духовная литература в период церковно-государственного синтеза и славенороссийского языка как его выражения. Сложившийся в этих условиях узус закрепляется в церковной словесности. Старые флексии выходят из употребления, и ими пользуются лишь в редких случаях как способом отсылки к стандартным церковным текстам. Таким использованием и ограничивается специфика языка духовной литературы. В остальном же светский и духовный литературный язык оказываются одинаковыми, и в этом нельзя не видеть влияния общелитературного языкового стандарта на узус духовной словесности. Их сходство обусловлено в конечном счете тем, что новые навыки литературного письма не складываются больше под воздействием старых текстов (церковнославянской литературной традиции в разных ее ответвлениях), но отражают ориентацию на актуальную литературную продукцию и господствующие в ней языковые нормы.

⁸ Для последних двух форм постоянным ассоциативным фоном служит Гал. 5:24: **а ниже христовы сѣть, плоть распаша со страстьми и похотьми**. В разных случаях отсылка к этому тексту может быть более прямой или более опосредованной, и в зависимости от этого различается степень мотивированности нестандартных форм тв. мн.

Глава IV

ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ИМЕНИТЕЛЬНОМ И ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖАХ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. История форм прилагательных в им.-вин. мн. числа в русской письменности XVII века

Анализ словоизменения сложных прилагательных в им. и вин. падежах мн. числа дает особо благоприятные возможности для изучения преемственности письменных традиций. С одной стороны, для исследуемого периода в разговорном языке эволюция соответствующих форм — процесс далекого прошлого, так что разнообразие письменного узуса обусловлено исключительно динамикой самого письменного языка. В этом плане сложные прилагательные в им. и вин. падежах мн. числа оказываются более чистым случаем внутреннего развития письменного узуса, чем *a*-экспансия у существительных мн. числа в косвенных падежах. С другой стороны, формы сложных прилагательных в прямых падежах представляют собой естественно выделяемую подсистему, так что выбор форм в соответствующих позициях определяется единой стратегией пишущего. В этой стратегии (сознательной или бессознательной) вычленяется несколько моментов, сочетание которых и определяет узус пишущего.

Прежде всего стратегии отличаются тем, свойственна ли им ориентация на корпус основных книжных текстов (Св. Писания и богослужения): такая ориентация присутствует в текстах книжных, но, понятным образом, отсутствует в некнижных. Если пишущий ориентируется на основной корпус книжных текстов, он стремится воспроизвести основную его черту — согласование форм прилагательных по роду. Для некнижных текстов основной корпус ориентиром не является, а давление собственно некнижной письменной традиции имеет лишь ограниченный характер. Поэтому согласование не поддерживается в них отсылкой к образцам и исчезает вслед за исчезновением согласуемых флексий в разговорном языке (процесс, как уже сказано, завершившийся задолго до описываемого времени). Таким образом, у пишущих книжные тексты просматривается интенция согласовать прилагательные по роду, тогда как пишущим некнижные тексты такая интенция, вообще говоря, остается чуждой.

Другой момент, не менее важный для стратегии пишущих, состоит в стремлении или отсутствии стремления к нормированию своего узуса. Нормирование

выражается в устранении немотивированной вариативности. В сочетании с согласовательной интенцией установка на нормированность должна приводить к поддержанию книжной нормы, заданной образцами и исключаящей вариативность флексий. При отсутствии согласовательной интенции аналогичная установка может реализоваться в унифицированном употреблении единой несогласуемой флексии. Понятно вместе с тем, что вариативность, возникающая, когда нет установки на нормированность, будет носить разный характер у пишущих, обладающих и не обладающих согласовательной интенцией. Какие конкретные параметры употребления дает сочетание разных интенциональных моментов, можно обнаружить, обратившись к анализу текстов разного типа.

Б. Г. Унбегаун, описывая парадигму полных прилагательных во мн. числе в русском языке XVI в., отмечал, что «[c]ette flexion, conforme à celle du russe moderne, n'appelle que peu de remarques» (Унбегаун 1935, 326). Действительно, если ограничиваться реконструкцией устного языка, судьба окончаний прилагательных во мн. числе достаточно понятна. Если, однако, рассматривать письменный узус как самостоятельный предмет анализа, обнаруживается достаточно много явлений, требующих описания, причем их динамика отнюдь не исчерпывается древнейшим периодом и не приостанавливается на рубеже XVI в.

Исходной для восточнославянских диалектов является система, в которой в прямых падежах имело место противопоставление по роду:

	м. род	ж. род	ср. род
им. мн.	-ни		
вин. мн.	-ыѣ	-ыѣ	-аѣ

В XVI в., по наблюдениям Унбегауна, «[l]e nominatif offre normalement la terminaison -ые, -іе qui est, à l'origine, celle de l'accusatif masculin et du nominatif-accusatif féminin. On a là une généralisation de la forme de l'accusatif, que l'on a pu constater déjà dans la flexion du type en -о-. Très rarement on trouve la terminaison -ыи, par exemple: были люди добрыи, 1501, АС, 100; земли спорныи, 1529, Л, 171; il s'agit là des formes du nominatif masculin (добрии), mais avec substitution du thème général du pluriel (добры-) au thème du nominatif masculin (добри-). Les formes en -ыи ont été relativement fréquentes aux XIV^e et XV^e siècle à côté des formes en -ыѣ et -ые; la dernière charte moscovite qui les offre en quantité considérable (environ 25 exemples) est de 1496 № 128 de СГД). La distinction des genres au pluriel (masc. -ые, fém.-neutre -ыя) est récente (XVIII^e siècle) et purement orthographique» (Унбегаун 1935, 326).

Описанная Унбегауном динамика разговорного языка отражается прежде всего в не книжных текстах, на основе которых Унбегаун ее и реконструирует. У книжных текстов иное развитие и иная предыстория. Исходным моментом для развития является система, сформировавшаяся на восточнославянской почве в результате ассимиляции старославянской парадигмы. Эта система отличалась от древней восточнославянской рефлексам так называемого «третьего ятя», представленными во всем именном склонении: восточнославянскому -ѣ соответствовал церковнославянский -ѣ. Таким образом, исходная система выглядела следующим образом:

	м. род	ж. род	ср. род
им. мн.	-ни		
вин. мн.	-ыѧ	-ыѧ	-ѧѧ

Именно эта система реализуется в корпусе образцовых книжных текстов (Св. Писания и богослужения), задававших нормы стандартного церковнославянского языка. Единственной существенной инновацией в этой системе было появление флексии **-ыи** в им. мн. муж. рода (наряду с **-ни**). Это изменение в книжном языке появляется параллельно с аналогичной инновацией в языке живом и может, следовательно, рассматриваться как отражение в книжном языке явления разговорного языка. Стоит, впрочем, иметь в виду, что появление флексии **-ыи** закономерно объясняется как результат обобщения форманта **-ы-** в качестве показателя мн. числа, и такое обобщение могло иметь место в письменном языке вне прямой зависимости от языка разговорного, т. е. быть параллельным процессом. В результате в стандартных книжных (церковнославянских) текстах к XV в. устанавливается следующая парадигма, которую мы можем рассматривать как исходную систему для анализируемого нами периода:

	м. род	ж. род	ср. род
им. мн.	-ни/-ыи		
вин. мн.	-ыѧ	-ыѧ	-ѧѧ

1.1. Стандартный книжный регистр

Представленная выше система определяет норму стандартного книжного регистра. Установившись в XV в., она без каких-либо существенных изменений реализуется в стандартных церковнославянских текстах последующих столетий, в частности XVII—XVIII вв. Их анализ не обнаруживает какой-либо существенной динамики этого стандарта, выявляя лишь незначительные частные отклонения.

Такая система, в частности, представлена в Библии 1663 г., равно как и в Библии Елизаветинской. Редкие отклонения в мягкой разновидности склонения, отражающие южнославянский узус и находящие соответствия в старославянском (им. мн. м. р. на **-ѣи** у причастий, им.-вин. мн. ж. р. и вин. мн. м. р. на **-ѧѧ**), встречаются в Острожской Библии и оттуда в нескольких случаях переходят в Библию 1663 г.; в Библии 1663 г. они очевидным образом оказываются нарушением нормативной дистрибуции флексий и в Елизаветинской Библии подвергаются правке. Описывая эти памятники, С. К. Булич рассматривает по отдельности твердую и мягкую разновидности. В твердой разновидности никакой практически вариативности не наблюдается, и Булич замечает: «Именительный всех родов сохраняет старослав. форму: м. р. **слѣпѣи, хрѣмѣи, мѣртвѣи, глѣсѣи** (Матф. XI.5, Остр. [Острожская Библия] **слѣпѣи, хрѣмѣи, мѣртвѣи, глѣсѣи**, Первоп. [Библия 1663 г.], так же, как в Новой [Елизаветинская Библия 1751 г.], кроме **хрѣмѣи**), **людстѣи** (Пс. XLIV.13, Остр. **людстѣи**, Первоп. как в Новой), **крѣтцыи** (М. V.5, Остр. **крѣтцыи**, Первоп. как в Новой) и т. д., стел. **новни**; ср. р. **бѣзкаѧ** (М. VII.14, Остр. **бѣзкаѧ**, Первоп. как в Новой), **дрѣгѧѧ** (там же XIII.5, 7, 8, Остр. и Первоп. **дрѣгѧѧ**) с графической дифференциацией от им. ед. ж. р.: стел. **новаѧ**; ж. р. **мѣдрыѧ**

(Матф. XXV.4, Остр. **мѣдрыа**, Первоп. **мѣдрыа**), **юрѡдивыа** (там же. 4, Остр. **юрѡдивыа**, Первоп. как в Новой): стсл. **новыа**. Изредка встречаются формы, вызванные морфологической ассимиляцией. Таков им. мн. м. р. **многѣи** (3 Макк. III.16, Остр. другой текст), образованный, как и соответственная русская форма *многие*, от основы других падежей с восстановлением г; **мѣхи бѣмѣршии** (Эккл. X.1, Остр. также **бѣмѣршии**) им. мн. ж. р. по типу им. мн. муж. р.» (Булич 1893, 291). Таким образом, во флексиях им. мн. твердой разновидности Булич обнаруживает лишь одно отступление от нормы. В вин. мн. отсутствуют даже и единичные отступления: «Винительный сохраняет старославянские формы: м. р. **хромѣа**, **слѣпѣа**, **нѣмѣа**, **вѣдныа** (М. XV.30, Остр. и Первоп. винит. простой), **Галілейскѣа** (М. II.22, Остр. **галилейскѣа**, Перв. **галлейскѣа**), **людскѣа** (М II.4, Остр. **лю^аскыа**, Первоп. как в Новой) и т. д., ж. р. **Тѣрскѣа** и **Сидѡнскѣа** (М. XV.21, Остр. **тѣрскѣа** и **сидѡнскѣа**, Первоп. как в Новой) и т. д.: стсл. **новыа**; ср. р. **дѡбраа** (М. V.16, Остр. **дѡбраа**, Первоп. **дѡбраа**), **лѣкаваа** (Матф. IX.4, Остр. и Первоп. **лѣкаваа**) и т. д. — стсл. **новаа**» (там же, 292).

В мягкой разновидности разнообразие вариантов несколько больше, хотя и здесь книжная норма никак не контаминируется с не книжной и остается достаточно стабильной. Булич отмечает: «Именительный м. р. прилагательных отвечает старослав. форме: **послѣднѣи** (Матф. XX.12), **нищѣи** (ibid. V.3), **Бжѣи** (XXII.30) и т. д. — стсл. **вышьѣи**. У причастий находим только одно окончание **-ни**; следов. старослав. **-ени** в Новой б. не встречается: **ищѣщѣи** (Матф. II.20, **ищѣщѣи** Остр., Первоп. как в Новой), **сѣдѣщѣи** (Матф. IV.16, Остр. **сѣдѣщѣи**, Первоп. **сѣдѣщѣи**), **плѣчѣщѣи** (там же V.4, Остр. **плѣчѣщѣи**, Первоп. **плѣчѣщѣи**), **алчѣщѣи**, **жѣждѣщѣи** (там же: 6, Остр. **алчѣщѣи**, **жѣждѣщѣи**, Первоп. **алчѣщѣи**, **жѣждѣщѣи**), **трѣждѣющѣиса** (Матф. XI.28, Остр. **трѣждѣющѣиса**, Первоп. как в Новой) и т. д. стсл. **несжштѣи**, **несжштѣи**. Первую из этих последних форм встречаем в Острожской библии (хотя ее происхождение может быть и другое), вторую в Первопечатной и Новой, где она совершенно вытесняет первую. В женском роде находим вторичное образование по типу параллельных форм от основ на о-, ѣ-: **прѡчыа** (Лук. XXIV.10, Остр. и Первоп. **прѡчаа**), **множайшыа** (Матф. XI.20, Остр. **множайшаа**, Первоп. **множайшыа**), **бывшыа** (ibid. 21, 23, Остр. **бывшаа**, Первоп. как в Новой). (...) Морфологическая ассимиляция в данном случае простирается и на написания, в которых находим **ы** после палатальных согласных, как **прѡчыа** и т. д. Формы, отвечающие стсл. **вышьныа**, **несжштѣа**, встречаются в Острожской библии, изредка и в Первопечатной, из которой, однако, оне уже начинают вытесняться вторичными образованиями, перенесенными из русского языка» (Булич 1893, 297—298). Хотя конкретные наблюдения Булича вполне справедливы, стоит отметить, что он говорит о вторичных образованиях, перенесенных из «русского языка», имея в виду флексию им. мн. ж. рода **-ыа**, которую, конечно же, нельзя приписать разговорному русскому языку XVII в.; на самом деле имеется в виду русская церковнославянская традиция; характерно, однако, что такое явление в представлениях Булича не помещается, и он, не смущаясь очевидным противоречием, рассуждает в терминах искусственной книжной традиции и противостоящей этой традиции живой национальной речи.

Описывая формы вин. мн., Булич указывает: «Винительный сохраняет старославянскую форму только в среднем роде: **гѡрнаа** (Лук. I.39, Остр. **горнаа**, Пер-

воп. **горнаа**), **бывшаа** (Матф. XVIII.31, Остр. **бывшаа**, Первоп. **бывшаа**) (...) В муж. и ж. р. находим вторичные образования по типу основ на о-, ā-: м. р. **нищыа** (Матф. XXIV.11 (...)), **болащыа** (Матф. IV.24, Остр. **болащдаа**, Первоп. **болащдаа**), (...) **ближнѣа** (Мр. I.37, Остр. **ближнаа**, Первоп. как в Новой), **прочѣа** (Иер. XV.9, Остр. и Первоп. **прочѣи**) (...); ж. р. **вставшыаа** (Быт. XXX.36, Остр. **оставшаа**, Первоп. **вставшыаа**), **имѣющыа** (4 Цств. VIII.12, Остр. др. текст) (...) Формы, отвечающие стслав. вин. множ. м. и ж. р. **вѣшьныаа**, **несъштѣаа**, встречаются только в Острожской и Первопечатной, в последней реже, так как их вытесняет вторичная форма, исключительно господствующая в Новой» (там же, 298—299).

Таким образом, та незначительная вариативность, которая обнаруживается в стандартных книжных текстах, никак не связана с влиянием некнижного языка. Она возникает по большей части в тех случаях, когда в этих текстах сохраняются в качестве реликта формы южнославянского происхождения, отступающие от нормы, установившейся в русской книжной письменности. В основном, однако, эта норма выдерживается, и в тех текстах, лингвистический облик которых с «южнославянской предысторией» (будь то затерявшиеся в прошлом южнославянские оригиналы или тексты, обнаруживающие существенный элемент «второго южнославянского влияния», как это имеет место в Острожской Библии) явным образом не связан, отсутствует даже та вариативность, которую описывает Булич. Приведу в качестве примера данные июньской минеи, изданной в Москве в 1691 г. (Минея 1691 — были проанализированы первые 50 листов издания):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ыи	50	—	—	1	51
-ия/-ыя	—	47	34	4	85
-ая/-яя	—	—	—	48	48
-ие/-ые	—	—	—	—	—
Всего	50	47	34	53	184

Как можно видеть из приведенных данных, отступления от нормы составляют менее 3 % (точнее 2,72 %), причем отступления эти специфичны. В двух случаях в качестве определяемого выступает существительное *дѣти*, в трех случаях — *очи*: **Тѣаѡ златомѡ прѣмѣрыа дѣти не послѣжиша** (л. 4), **Дѣти всесвѣщенныа** (...) **съ товою пострадашаа твердѡ** (л. 30 об.), **всѣхъ очи оумныа и сердечныа** **привлача къ разумѣннѡ чѡдѣсь твоихъ** (л. 24), **просвѣти сердечнѣи очи** (л. 31). В этих случаях, очевидно, у писцов или справщиков могли возникать затруднения с определением рода существительного, что и приводило к неправильному согласованию. Когда таких трудностей не возникало, норма выполнялась безусловным образом.

Аналогичные параметры мы находим и в оригинальных стандартных книжных текстах, печатавшихся в Москве в XVII в. Очевидно, что для авторов, работавших в Москве в рамках высокой книжной культуры, были актуальны те же самые нормы, которые реализовались в изданиях богослужебных книг, и они (или во всяком случае справщики, готовившие их тексты к печати) владели достаточным грамматическим инструментарием, чтобы эти нормы проводить. Ха-

рактерно, что это не зависело от принадлежности автора к грекофилам или латинофилам; нормативные элементы книжного стандарта были у них тождественными, и в этом плане показательны изданные сочинения Симеона Полоцкого. Приведу данные, относящиеся к «Обеду душевному» (Симеон Полоцкий 1681); было проанализировано предисловие и первые 52 листа этого издания:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ыи	79	1	—	—	80
-ия/-ыя	1	63	60	1	125
-ая/-ья	1	—	—	51	52
-ие/-ые	—	—	—	—	—
Всего	81	64	60	51	257

Отклонения от нормы в «Обеде душевном» составляют 1,56 %; они носят при этом несколько иной характер, чем в Минее, однако же и здесь вполне укладываются в категорию специфических случаев. Одно из отклонений обусловлено неочевидностью падежа существительного: **Ѣгда мѣро прежде дѹшевное, еже есть швилныа слезъ потоки изліа на нозѣ егѡ...** (л. 26 об.); *мѣро* стоит, понятно, в вин. падеже, и Симеон трактует *потоки* как существительное, согласуемое по падежу с своим антецедентом в главном предложении, т. е. стоящее в том же вин. падеже; отсюда форма прилагательного *швилныа*. Можно сказать, что **еже есть** рассматривается не как подлежащее и часть сказуемого придаточного предложения, а как вводный оборот (типа *сирѣчь*); об отступлении от нормы согласования прилагательных здесь, следовательно, можно и не говорить. Как и у справщиков Минеи, у Симеона возникают сложности с определением рода существительного. Так, мы читаем: **іакоже лѹчеса солнечнаа сткѡ и крѹсталь** (...) **проніцаютьъ** (л. 25 об.); *лѹчеса* трактуются как существительное ср. рода, а не муж. (*лѹчь*) или жен. (*лѹча*), явно по аналогии с другими существительными склонения на *-ес-*, относящимися к ср. роду (*тѣло, слово* и т. д.), эта трактовка, видимо, все же ненормативная, и определяет форму прилагательного¹. В одном случае субстантивированное прилагательное в обобщенном значении, предполагающем в книжном языке форму мн. числа ср. рода (*земная, жертвенная* и т. д.), употребляется с окончанием *-ыя*: **да разѹмѣемъ, чесѡ ради, вставивъ прочыа к' семѹ прїиде** (л. 44 об.); форма на *-ыя* предполагает в данном контексте, что у прилагательного есть антецедент в муж. роде, однако такого антецедента не об-

¹ Отмечу, что в двух других случаях необычного согласования прилагательного по среднему роду употребление Симеона соответствует нормам, указываемым грамматикой Смотрицкого. Я имею в виду следующие примеры: **вжѣтвеннаа дрѡмата** (им. мн. — л. 13 об.) и **оудеса младенческаа из'веде** (л. 23). В обоих случаях Смотрицкий причисляет встретившиеся в примерах существительные ко второму склонению и приписывает им значение ср. рода. *дрѡма* вместе с другими «греческими» существительными на *-а* склоняется как *отрѡча* (Смотрицкий 1619, л. Е/8 об.), а для существительных склонения на *-ес-* вводятся искусственные формы ед. числа *словесо, небесо, чудесо, тѣлесо, удесо* и т. д. (там же, л. Ж/1). Ориентация Симеона Полоцкого на Смотрицкого заметна здесь еще в большей степени, чем в его употреблении существительных в косвенных падежах мн. числа (ср. § III.1.1).

наруживается; остается, впрочем, неясным, имеем ли мы здесь дело с нарушением морфологической нормы или с дефектным синтаксическим построением. В еще одном случае, наконец, морфологическая погрешность несомненна: **тѣи оумове горнійа** (вин. мн. м. р): если прилагательное употреблено правильно, то форма местоимения выбрана ошибочно, вместо **тыа**.

Как можно видеть, в московских изданиях XVII в. книжный стандарт в употреблении окончаний прилагательных во мн. числе выдерживается почти безукоризненно, отступления редки и в подавляющем большинстве случаев объясняются специфическими причинами: консервацией написаний «южнославянского» происхождения, сложностями в установлении рода определяемого существительного, неясностью синтаксической конструкции и выбора падежа. Инновативные черты появляются здесь реже, чем в склонении существительных во мн. числе (см. выше, § III.1.1); определение требуемой грамматической формы не представляет, видимо, для справщиков особой сложности, а приводящие факторы, влияющие на выбор формы существительного (стремление избежать омонимии, трудности в определении типа склонения), в данном случае роли не играют. В рукописных текстах, написанных на стандартном книжном языке, отклонений может быть чуть больше, и дело здесь, очевидно, только в тщательности письма: рукописные тексты не проходят корректуры, и поэтому навыки книжного письма реализуются в них в непосредственном виде, когда интерференция иного языкового опыта с абсолютной строгостью не исключается. Приведу в качестве примера данные из «Чина избрания, исповедания и хиротонии архиеерея», написанного при патриархе Адриане (ГИМ, Син. 344 — Горский и Невоструев, III, 2, № 541, с. 440—441), т. е. современного той печатной минее, которую мы рассматривали выше. Употребление прилагательных во мн. числе характеризуется здесь следующими статистическими параметрами:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	25	—	—	—	25
-ия/-ья	1	22	13	1	37
-ая/-ья	—	—	—	16	16
-ие/-ые	—	—	—	—	0
Всего	26	22	13	17	78

Нарушения нормы и здесь оказываются достаточно редкими, они встречаются менее, чем в 3 % случаев (точнее — 2,56 %), однако представляют собой не специфические случаи (как мы наблюдали это в печатных текстах), а прямые отступления от книжного стандарта. Таких отступлений всего два, однако они характерны: **прѣчїа же архїерїен садѣтса на своїхъ мѣстѣхъ** (л. 43) и **жилицѣ в њѣмъ свѣщїа долговременна соблюди** (л. 47). В одном случае форма на **-ия** употреблена при существительном в им. мн. м. рода, в другом — при существительном в вин. мн. ср. рода. Как будет показано ниже, в книжных текстах (прежде всего гибридных) нарушение согласования приводит именно к экспансии флексии **-ия/-ья**, так что обнаруженные отступления могут рассматриваться как отголоски этого процесса в стандартных книжных текстах (процент несогласованного употребления флексии **-ия/-ья** составляет здесь 5,41 %).

Понятно, что богослужебные тексты, написанные в Москве, отличались довольно высоким уровнем грамотности. Этот уровень мог быть ниже и в текстах, менее значимых в религиозном отношении, и в текстах, произведенных вне Москвы. К такого рода текстам относится, например, книга «Статир», написанная неизвестным пермским священником в 1683—1684 гг. (РГБ, Румянц. 411). Книга состоит из проповедей, расположенных по годовому кругу, и в силу своего гомилетического содержания не претендует на тот нормативный статус, который присущ богослужебным текстам. Автор этой книги не обладал ни московской книжной выучкой, ни сложившимися и устойчивыми навыками книжного письма, отражающимися в московских изданиях. Об этом он достаточно четко пишет в предисловии², сообщая вместе с тем, что необразованность его провинциальной аудитории требовала от него исключительной простоты в языке³. Тем не менее в своей языковой практике он ориентируется на изданные в Москве книги, стараясь выдерживать тот стандарт, который он из них усваивает (Живов 1991). В целом это ему удается, и в большинстве случаев его узус соответствует норме и на орфографическом, и на морфологическом, и на синтаксическом уровне, однако вполне последовательно провести эти нормы он все же не в состоянии (ср. § П.6.4). Это сказывается и на употребляемых им формах прилагательных в им.-вин. мн. числа. Анализ четырех выборок (лл. 1—9 об. 1-й фолиации, лл. 36 об.—58 2-й фолиации, лл. 183—200 об. 2-й фолиации, л. 152—176 об. 3-й фолиации) приносит следующие статистические результаты:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ни/-ыи	50	—	—	1	51
-ня/-ыя	—	47	34	4	85
-ая/-яя	—	—	—	48	48
-ие/-ые	—	—	—	—	—
Всего	50	47	34	53	184

² Он говорит в нем о своем грамматическом знании: «Ѡкроумѣ вѣквы, часослова, и Ѡсалтыри ничтоже зчи^х, и то несовершено. Грам^хматикѣ же, ниже слыша^х какъ еѧ навикаютъ, а зрѧ еѧ, ано инѧзычна ми зрѣтса, риторѣки же нимѧл покъси^хса, а филосѡфѣю ни* дѣи^хма вида^х, мѧрыхъ же мѧжеи ниже гдѣ на пѣти в лице зсрѣтохъ, но токомо Ѡ писаниѧ стѣг...» (л. 6 об.). Таким образом, книжные навыки автора возникают исключительно в результате его читательского опыта, т. е. естественного подражания стандартным книжным текстам (текстам Св. Писания).

³ Автор «Статира» пишет, что сочинение Златоуста (Беседы) оказалось «сѣлѡ неразумително, не точию слышашимъ, но и чтѣщимъ, велми бо препрѡсты страны сѣл житѣли в^х нейже ми ѡвѣтѧти, не точию Ѡ мирѧн^х, но ѣ Ѡ сщѣнникѣ, инѡстраннымъ ѧзыкомъ, тѧл златѡѡстагѡ писаниѧ нарицахъ» (л. 5 об.). Точно так же «ѡвѣдъ же и вѣчерю, люботрѣднѧгѡ и прѡрагѡ мѧжа дѣца симѣйна полоцкагѡ слѡгъ, и тѧл простѣшиимъ лѡдемъ за высотѣ словѣсѣ тѧжка вѣсть слышати, и грѣвымъ рѧзѣмомъ невнимѧтелна» (л. 5—5 об.). Эти декларации побуждали исследователей думать, что в самом «Статире» реализуется особый упрощенный (гибридный) вариант церковнославянского языка (Сухомлинов 1908, 437; Успенский 1983, 117), что, однако же, не подтверждается лингвистическим анализом текста (см.: Живов 1991).

Как можно видеть, отступления от нормы появляются в 7,12 % случаев — пропорция, возможная и в других стандартных церковнославянских текстах, однако не характерная для современных «Статиру» текстов гибридного регистра (в последних этот параметр имеет существенно большие значения). В большинстве случаев эти отступления никак не мотивированы, хотя для отдельных примеров возможны частные объяснения. Флексия *-ия/-ья* обнаруживает слабо выраженную тенденцию к «безродовому» употреблению (в 12,07 % примеров она появляется с нарушением согласования), хорошо известную по текстам гибридного регистра (см. ниже) и находящую некоторое отражение и в стандартных церковнославянских памятниках (минимальное в таком тексте, как «Чин избрания», но вполне ощутимое в Слове благодарственном патриарха Иоакима — см. ниже; «Статир» занимает здесь промежуточное положение). Приведу примеры. Им. мн. м. рода: **старѣйшіа** (л. 4 об.), **ѡныа** (л. 6 об., 7 об., 174), **дѡбрыа** (л. 7), **чѣстныа** (л. 7), **поющія** (л. 58), **чтѹщія** (л. 58), **стѣйшіа** (л. 171), **желѣзныа** (л. 174 об.); в ряде случаев мы имеем дело с субстантивированными прилагательными, однако ограниченный объем данных не позволяет судить, насколько значимым мог быть этот фактор. Им.-вин. ср. рода: **нѣкіа рѣчѣніа** (л. 5 об.), **бѣготѡвленыа двѣта** (л. 48), **позѡрища сатанінскія** (л. 57 об.), **толкіа чѡвствіа** (л. 195 об.); во втором примере можно предположить, что на автора повлияла ассоциация словоформы *овчата* с существительным ж. рода *овца*.

Более ограниченная тенденция к экспансии характерна и для флексии *-ая/-ья*; и это явление в большем объеме представлено в памятниках гибридного регистра (см. ниже о Новгородской пятой летописи и «Временнике» Ивана Тимофеева), хотя и свойственно исключительно текстам XVI — начала XVII в., тогда как в современных «Статиру» гибридных текстах оно отсутствует. Автор «Статира», таким образом, реализует в рамках стандартного регистра те тенденции, которые перестали быть актуальными для регистра гибридного. Примеры немногочисленны, некоторые из них обладают частной мотивированностью. Вин. мн. м. рода: **на йнаа днѣ** (л. 6), **покорѣ протѣвнаа ѣ хѣлнаа гѣщаа на мѣ** (л. 48), **глы дѹшепѣгѣвнаа ѣ смѣхѹ подобнаа вѣщааетъ** (л. 55 об.), **лютшаа грѣхѣ содѣваютъ** (л. 184 об.), **во всѣкаа пѣтѣ нечестіваа** (л. 185). Им.-вин. ж. рода: **сщѣннаа пѣсни** (л. 40 об.), **во внѣшнаа стрѣны** (л. 166 об.), **во внѣшнаа вѣси** (л. 166 об.)⁴.

Два примера несогласованного употребления флексии *-ии* представляют собой явную аномалию. В обоих случаях нарушение нормы может быть объяснено

⁴ В примере **покорѣ протѣвнаа ѣ хѣлнаа гѣщаа на мѣ** (л. 48) аномальная форма **гѣщаа** может быть мотивирована субстантивацией прилагательного, непосредственно следующего за двумя другими субстантивированными прилагательными в вин. мн. ср. рода. В примере **лютшаа грѣхѣ содѣваютъ** (л. 184 об.) на поле дана глосса **лютѣшшаа** и в ней флексия **аа** исправлена на **іа**. В примере **сщѣннаа пѣсни** (л. 40 об.) **пѣсни** приписано поверх строки, т. е. первоначально **сщѣннаа** было употреблено как субстантивированное прилагательное ср. рода, и неправильное согласование возникло в результате добавки, сделав которую автор не потрудился исправить форму прилагательного. Нельзя исключить, конечно, что в вин. мн. прилагательных мягкой разновидности м. и ж. рода мы имеем дело с реликтом старой флексии **аа**, однако, как показывает приведенное выше исправление и формы на **аа** у прилагательных твердой разновидности (равно как и парадигмы Смотрицкого) для XVII в. эти формы являются аномальными.

специальными обстоятельствами. В первом случае (**всєвѣдѣщи ѿчи**, л. 38 об.) у автора могли возникать трудности с определением рода существительного (ср. аналогичные примеры в Минее 1691 г.). Во втором случае (**прїидїте помрачєнїи двѣлнїци, жилища вѣсѣвстїи, ѿ всї послѣдѣющїи вѣшей прѣлєсти**, л. 50 об.) отступление (**жилища вѣсѣвстїи**) очевидно связано с тем, что слово **жилища** употреблено метафорически и имеются в виду существа мужского пола; при этом флексия *-ии* индуцирована контекстом, в котором она употреблена у прилагательных им. мн. м. рода, определяющих однородное существительное (**двѣлнїци**).

Итак, «Статир» демонстрирует незначительное размывание книжной нормы в стандартных церковнославянских текстах, в которых в силу их периферийного статуса нормативный контроль оказывается ослаблен. Следует отметить вместе с тем, что это размывание не приводит к стиранию граней между стандартным и гибридным регистрами. Принципиально значимо в этом плане, что при сравнительно большой пропорции отступлений среди них полностью отсутствуют прилагательные с флексией *-ие/-ые*, повсеместно встречающиеся в современных «Статире» гибридных текстах.

То же самое в целом может быть сказано и о Слове благодарственном патриарха Иоакима, изданном в Москве в 1683 г. (Иоаким 1683) и обнаруживающем еще более сильное размывание книжного стандарта. Поспешность этого издания, выпущенного вскоре после стрелецкого восстания 1682 г., когда стрельцы заставили патриарха вступить в прения со старообрядцами, или его маргинальность среди тогдашних церковных изданий (это одна из немногих публикаций на случай) обусловили довольно невысокий уровень его редакционной подготовки. Это отражается в достаточно высокой пропорции отступлений от нормы. Статистические параметры имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	56	—	—	—	56
-ия/-ья	11	15	21	2	49
-ая/-ья	—	—	—	45	45
-ие/-ые	—	—	—	—	0
Всего	67	15	21	47	150

Отступления от нормы наблюдаются в этом тексте в 13 случаях, что составляет 8,67 %. Лишь часть из этих отступлений может быть объяснена специальными условиями, такими как неясность рода определяемого существительного или особый характер синтаксической позиции (например, дистантное расположение определения), ср., с одной стороны, так или иначе мотивированные отступления: **ѧ людїи злѣи междѣ ѿми, которѣи по поганскѣ жили...** (с. 21), **дѧ соѡбщницы же егѡ прелєстницы черницы, нехотѣщи бѣгѣ истиннѡ работати (...)** и **инѣи ѿми подѡвнѣи** (с. 34—35), **ѿкобы дни прелєстницы едїни вѣ всєй вселєннѣи ѡстѧлнѣи правѡвѣрнѣи** (с. 40), и **икѡны, ѿ крѣтѣи гѣдни, тѡдкѡ тѣ дни чїсти нарицѧхѣ быти, которѣи... ѧ инѣи всѣи, которѣи...** (с. 40), **воздаѡхѣсѧ е мѣ благодарєнїѧ: ѿ нїхѣ же здѣ нѣкїѧ нѣѣ воспѡмѧнємѣ** (с. 23); ср., с другой стороны, отступления немотивированные: **рѧзнѣи чєлѡвѣци** (с. 42—43), **вє-**

лікіа гѣдри (с. 56), ѿкъ послѣшній ѿхъ гѣдрскіа вѣрныа рави (с. 57), трѣ пѣрвыа пѣрсты совокуплєны (с. 62), вѣліа ѿ прелѣстникѣ слоухлєніа (оглавление, с. 6). В этих примерах появляются сочетания однородных прилагательных с разными флексиями, что, как мы увидим, характерно для гибридного регистра, но не свойственно книжному стандарту. Сходство с гибридным регистром просматривается и в экспансии флексии *-ия/-ья*, которая в 26,53 % случаев употребляется несогласованно. Собственно говоря, такие тексты можно было бы рассматривать как промежуточные между стандартными и гибридными, однако полное отсутствие флексии *-ие/-ые* отчетливо противопоставляет сочинение Иоакима современным ему гибридным текстам.

Итак, мы рассмотрели ряд памятников стандартного книжного языка второй половины XVII в. Отклонения от нормы в употреблении прилагательных во мн. числе представлены в них весьма ограниченно; по этому признаку норма выдерживается даже несколько лучше, чем при склонении существительных во мн. числе, которое разбиралось выше. Печатные издания, как правило, реализуют норму более строго, чем рукописные памятники. В них — за исключением Благодарственного слова патриарха Иоакима — практически не встречается отступлений, не обусловленных специфическим характером словосочетаний. В рукописных памятниках отступления обычно остаются окказиональными, но могут рассматриваться как прямые нарушения, никакими особыми факторами не спровоцированные. Объем отступлений зависит и от религиозного статуса памятника: как мы видели, в богослужебных текстах он меньше, чем в текстах гомилетических. Существенно, что в стандартных книжных текстах вовсе не встречается флексии *-ие/-ые*, которая выступает как основное внеродовое окончание в текстах некнижных. Можно предположить, что справщики и авторы стандартных книжных текстов воспринимали эту флексию как выражено ненормативную и не испытывали затруднений, изгоняя ее из своего употребления. Имеющиеся отступления не имеют однозначной направленности. Хотя можно отметить слабую тенденцию к употреблению флексии *-ия/-ья* как не согласуемого по роду окончания, «согласовательная» интенция выражена в проанализированных памятниках вполне четко. Не менее четко проявляется в рассмотренных текстах и установка на нормативность, вариативность в тексте в целом сведена к минимуму, а вариативность в однородных прилагательных встречается крайне редко.

1.2. Гибридный книжный регистр

Совсем иная картина наблюдается в гибридных книжных текстах. Окончания прилагательных конститутивной чертой данного регистра несомненно не являются, т. е. варианты адъективных флексий им.-вин. мн. числа в состав признаков книжности не входят и потому выбор варианта оказывается не релевантен для определения регистра. Этот выбор осуществляется в силу преемственности письменной традиции: вариативность позднейших текстов воспроизводит вариативность текстов более ранних, которые могут рассматриваться как основа читательского опыта авторов (переписчиков) этих позднейших текстов. Как часть этого опыта осваивается и «согласовательная» интенция, и в силу этого авторы, работающие в данной традиции, стремятся распределить употребляемые ими

флексии по родам и в той или иной мере избегают употреблять безродовую флексию *-ие/-ые*. Вместе с тем сама вариативность не представляется этим авторам чем-то одиозным (поскольку они находят ее в текстах своих предшественников), и пропорции этой вариативности зависят, в принципе, от индивидуальных пристрастий автора, его грамматической образованности, его стремления сделать текст как можно более книжным или от отсутствия такого стремления. Этим и определяется общий характер употребления исследуемых флексий в гибридных текстах.

Разнообразные возможности, существующие в рамках данного узуса, могут быть хорошо проиллюстрированы на материале Мазуринской летописи. Эта летопись, как мы уже несколько раз отмечали, отличается своей лингвистической гетерогенностью. Один из наиболее заметных в лингвистическом отношении швов проходит в этой летописи перед повествованием, начинающимся с 7001 года, со статьи о путешествии Людвика в Мидийские земли и рассказа «О Магмете, иже его срацини пророком нарицают». После этого шва существенно меняется характер употребления простых претеритов, а вместе с тем и существенно возрастает интенсивность отражения *a*-экспансии в формах существительного во мн. числе, причем изменяется не только пропорция новых флексий, но и параметры их употребления (см. выше, § III.1.2). Этот шов значимым образом сказывается и на употреблении флексий прилагательных в им.-вин. мн. числа. Абсолютные статистические данные имеют в двух указанных частях следующий вид:

Мазуринский летописец, первая часть (ПСРЛ, XXXI, 12—119)

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	179	23	21	2	225
-ия/-ья	26	84	100	22	232
-ая/-ья	—	—	3	67	70
-ие/-ые	22	12	5	1	40
Всего	227	119	129	92	567

Мазуринский летописец, вторая часть (ПСРЛ, XXXI, 119—179)

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	33	2	16	—	51
-ия/-ья	49	31	50	5	135
-ая/-ья	—	—	1	12	13
-ие/-ые	190	37	29	13	269
Всего	272	70	96	30	468

В наибольшей степени бросается в глаза разная интенсивность употребления безродовой флексии *-ие/-ые*. В первой части ее употребление достаточно ограничено и составляет всего 7,05 %, во второй же части она становится наиболее частым показателем, пропорция ее употребления вырастает до 57,48 %. В соответствии с этим резко меняется пропорция согласованных употреблений — от

75,84 % в первой части до 26,92 % во второй. Ясно, что в этих двух частях согласовательная интенция реализуется принципиально различным образом. В первой части она определяет характер употребления флексий им.-вин. мн. числа в целом, тогда как во второй влияет лишь на употребление «родовых» флексий: книжник, можно сказать, следит лишь за тем, чтобы не ошибиться в написании «родовых» флексий, а флексию *-ие/-ые* применяет во всех тех случаях, когда труд согласования ему наскучивает (либо в силу неспособности с ним справиться, либо в силу восприятия флексии *-ие/-ые* как нейтральной, как немаркированного показателя, применяемого в тех случаях, когда нет специального желания обозначить род). Действительно, несмотря на интенсивное употребление «безродовой» флексии *-ие/-ые*, в употреблении «родовых» флексий согласовательная интенция просматривается достаточно четко, из общего числа в 199 «родовых» флексий 126 употреблены «правильно», т. е. согласованы по роду; это составляет 63,32 % и существенно превосходит средний вероятностный показатель в 33,33 % (при случайном распределении флексий «согласованной» должна оказаться в среднем одна треть).

Один из факторов, обуславливающих различия в параметрах первой и второй части, вполне очевиден. Для написания первой части составитель использовал старые источники, в которых флексия *-ие/-ые* не употреблялась (или почти не употреблялась), а употребление «родовых» флексий им.-вин. мн. числа было относительно последовательным. Составитель лишь воспроизводил этот узус, иногда, впрочем, от него отступая (в силу небрежности, или в силу того, что не вполне понимал воспроизводимый текст, или, наконец, в силу того, что вносил в него свои добавления). Во второй части он либо писал сам, либо пользовался более новыми источниками, в которых флексия *-ие/-ые* появлялась в большем или меньшем количестве, а согласование не отличалось особой последовательностью. Понятно, что мы не имеем возможности отличить, что именно идет от этих поздних источников, а что от самого составителя, однако это и не слишком важно: мы имеем здесь дело с поздним летописным узусом, образовавшимся, видимо, не в одночасье, а в ходе развития языковой практики нескольких поколений летописцев XVI—XVII вв., постепенно реинтерпретировавших языковую практику своих предшественников.

Отдельные моменты этого процесса реинтерпретации могут быть замечены при рассмотрении гетерогенности лингвистических параметров в пределах самой летописи. Это относится прежде всего к динамике восприятия флексии *-ия/-ья* как безродовой. В первой части эта флексия функционирует еще как согласуемая и ее экспансия на этимологически непредусмотренные разряды находится на начальном этапе: случаи согласованного употребления составляют 79,31 %. Во второй части этот показатель составляет 60 %, существенно приближаясь тем самым к средневероятностному при случайном распределении (50 %). Флексиям *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* такая динамика не свойственна, здесь можно говорить лишь о постепенном размытии нормы. Действительно, пропорция согласованных употреблений флексии *-ии/-ьи* изменяется (от первой части ко второй) с 79,56 % до 64,70 %, а у флексии *-ая/-ья* аналогичная динамика выражается соответственно 95,71 % и 92,31 %. В обоих случаях показатели далеко отстоят от средневероятностного при случайном распределении (25 %).

Отметим, что вариативность сама по себе свойственна и первой, и второй части. Хотя пропорции ее различны, рост вариативности можно рассматривать как естественную эволюцию письменных навыков, при которой тексты, созданные предшественниками, воспринимаются как разрешающий прецедент: вариативность у предшественника легализует возможность «безразборного» употребления у последователя и создает предпосылки для более интенсивного использования этой возможности, для того чтобы не переутруждать себя заботой о выборе «правильного» окончания. Наиболее яркой чертой, обнаруживающей эту неозабоченность, является употребление разных окончаний у однородных прилагательных. Такие примеры имеются и в первой, и во второй части Мазуринского летописца. Ср. в первой части: *иде же стоял кумир Перун и прочии демонския кумиры* (ПСРЛ, XXXI, 47), *Святополк же мнози ратныи наемныи совокупив* (там же, 51), *видеша вериги железныя на нем блящашеся, и мнеша, яко златыи* (там же, 65), *убиени бысть святии благовернии князие Василий и Костянтин, ярославские новые чудотворцы* (там же, 72), *богомерзцыи немцы свейския приидоша в реку Неву* (там же, 80), *прочии же жестосердые люди бога не боящесе* (там же, 111), *прочии же народи овии за 7 верст пеише же* (там же, 112). Ср. во второй части: *и побил трижды полки греческие и римския* (там же, 121), *но имати горы по себе каменные и лесовыя мнози* (там же, 137), *прибили листы большия меденые лужоные* (там же, 176). Нет возможности определить, появились ли такие случаи в результате неозабоченности составителя летописи или были перенесены из использованных им источников, однако в любом случае они выступают как яркое свидетельство того, что вариативность становится конститутивной чертой гибридного регистра.

Типологически и хронологически более ранний этап формирования этого узуса представлен, например, в Новгородской пятой летописи по Хронографическому списку, относящемуся к началу XVI в. (ПСРЛ, IV, 2¹). По отдельным параметрам этот список напоминает первую часть Мазуринского летописца и может рассматриваться как тот образец, который в течение полутора столетий «портили», т. е. реинтерпретировали книжники, работавшие в данной письменной традиции. Приведу статистические данные:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ни/-ыи	276	17	4	—	297
-ня/-ыя	6	124	57	1	188
-ая/-яя	—	13	3	59	77
-ие/-ые	—	—	—	—	—
Всего	282	154	64	60	562

Пропорция согласованных употреблений в анализируемой рукописи еще выше, чем в первой части Мазуринского летописца, и составляет 91,81 %. В данном отношении первая часть Мазуринской летописи может рассматриваться как определенная, хотя и не радикальная деградация (трансформация) того узуса, который реализуется в Новгородской пятой. Таким же образом можно интерпретировать употребление безродовой флексии *-ие/-ые*: она вовсе не представлена в Новгородской пятой, тогда как в первой части Мазуринской можно наблюдать

начальные этапы ее экспансии⁵. Представленный в Новгородской пятой тип дистрибуции можно назвать архаическим, по своим статистическим характеристикам он сближается с тем узусом, который свойствен наиболее небрежным памятникам стандартного книжного языка, написанным в более поздний период (ср. выше данные, относящиеся к книге «Статир»). Такое сближение понятно: у двух письменных традиций книжного языка источник общий, и расходятся они лишь постепенно, так что на ранних этапах этой дифференциации различия двух узусов не слишком велики.

Тем не менее такие отличия имеют место. Прежде всего здесь обращает на себя внимание утверждающаяся вариативность. Несогласованное употребление флексий им.-вин. мн. не мотивировано никакими специальными причинами (сложностями в установлении рода определяемого существительного, неясностью синтаксической конструкции и выбора падежа и т. д.), как это характерно для стандартных книжных текстов. В выборе флексии не видно и никакого стилистического намерения, заметного порою в некнижных деловых текстах (см. ниже). Приведу примеры несогласованного употребления.

Им. мн. м. рода: *расваришася Гречкыя воеводы* (л. 452), *стояху иньдовѣ... младыя и малыя* (л. 489), *приидоша послании отъ Святополка злыя слугы* (л. 497), *иже наричашася Слугы Божия* (л. 574), *И на зиму приѣхаша послы Татарскыя* (л. 580 об.).

Вин. мн. м. рода: *послаша Древяне лучыиши мужи* (л. 458), *послаша лучыиши мужи* (л. 466 об.), *начаша кумиры творити, ови древяны, иниши мѣдяны, и сребренѣ, и мраморянь, и златиши* (л. 476), *въскладъше хлѣбы... и овоци разноличниши* (л. 492), *избраша лучыиши мужи* (л. 493 об.), *созваша бояры и передниши вси людие* (л. 552), *одаривъ князи Новгородстиши* (л. 556), *побѣдивше силниши полки* (л. 556 об.), *послаша Новгородци мужи старѣишиши къ Юрью* (л. 559 об.), *поимя съ собою мужи Новгородстиши* (л. 561), *како побѣдити менишиши* (л. 579 об.), *иниши князи избииша* (л. 583 об.), *черноризчи и убозиши и жены и дѣти избииша* (л. 592 об.), *дать сыну его Наримонту пригороды Новгородьскыши* (л. 601 об.), *пожъже городкы Литовьскыши* (л. 603), *вымѣниша у Сѣвского короля на Орѣховьскыши Нѣмци Аврама* (л. 613 об.)⁶; *видѣ ту люди суцая* (л. 435), *и наидоша я [Древяны] Коза-*

⁵ Стоит отметить, видимо, что в более позднем списке Новгородской пятой, а именно в списке Погодинском (РНБ, Погод. № 1404) второй половины XVI в. данная флексия уже появляется. Ср. в тех небольших извлечениях, которыми издатели восполняют пропуски Хронографического списка: *И раздѣлиша землю, и взя болии Изяславъ Киевъ, и Новгородъ, и инише города Киевские* (л. 474 — ПСРЛ, IV, 2¹, 89). Надо думать, что данный случай в этом списке не единичен и что такое употребление возникает в работе переписчиков второй половины XVI в., постепенно трансформирующих архаический тип.

⁶ Стоит заметить, что в 11 случаях из 17 определяемое существительное (или само субстантивированное прилагательное) является одушевленным (впрочем, это соответствует, возможно, общей пропорции одушевленных существительных в тексте в целом), причем в большинстве примеров (особенно в начале летописи) существительное употреблено в контексте, благоприятствующем сохранению вин. = им. («В = И имеет тенденцию употребляться постольку, поскольку в высказывании сообщается о создании ситуации, действующие лица которой определяются общей формулой» — Тимберлейк 1996, 15—16), ср. такие фразы, как: *послаша Древяне лучыиши мужи* (л. 458), *послаша лучыиши мужи*

ри сѣдящая на горахъ сихъ в лѣсѣхъ (л. 438 об.), овому Бѣлоозеро и прочимъ прочая грады (л. 440 об.), и почаша воевати на живущая ту (л. 443 об.), и на прочая грады (л. 446), в нынѣшня вѣкы и в будущая (л. 457), и старѣшая люди изъима; прочая же люди овыхъ изби (л. 460), в последняя дни (л. 461), отпусти послове, пришедшая отъ царя (л. 462), поймавъ съ собою старѣшая люди (л. 550), поять съ собою мужи Новгородскыя молодая (л. 566).

Им.-вин. мн. ж. рода: двѣ сестреничѣ Лию и Рахиль и двѣ рабицичѣ приданыи (л. 477), и полаты каменныи падоша (л. 600 об.), церкви каменныи и деревянныи (л. 605 об.); и прочая рѣкы (л. 433 об.), лучшая жены (л. 512 об.), и прочая княгыни (л. 570).

Им.-вин. мн. ср. рода: и узорочьа всякыя многы поимаша (л. 593).

Подобные примеры указывают на вариативность как явление, вполне приемлемое для пишущего. Об этом же говорят и те случаи, когда разные флексии употреблены у однородных прилагательных. В Новгородской пятой таких случаев не так много, как в Мазуринской (что находится в очевидном соответствии с пропорцией согласованных употреблений), однако они все же имеются и остаются весьма показательными, ср. среди приводившихся выше примеров: послании отъ Святополка злыя слугы (л. 497), поять съ собою мужи Новгородскыя молодая (л. 566).

Для архаического типа, представленного Новгородской пятой летописью, характерно, что флексия -ия/-ыя не обнаруживает никакой тенденции к функционированию в качестве безродовой. Это проявляется в двух взаимосвязанных моментах. С одной стороны, пропорция несогласованных употреблений флексии -ия/-ыя (3,72 %) оказывается ниже, чем аналогичный показатель для флексий -ии/-ыи (7,07 %) и в особенности -ая/-яя (20,78 %). Напомню для сравнения, что в первой части Мазуринской летописи соответствующие параметры образуют прямо противоположную последовательность: -ия/-ыя — 20,69 %, -ии/-ыи — 20,44 %, -ая/-яя — 4,29 %. С другой стороны, несогласованность для прилагательных им. мн. м. рода и им.-вин. ср. рода не превышает несогласованности для прилагательных вин. мн. м. рода и им.-вин. ж. рода: при употреблении флексии -ия/-ыя в качестве безродовой такое превышение появляется автоматически. Действительно, для им. мн. м. рода этот показатель равен 2,18 %, для вин. мн. м. рода — 19,48 %, для им.-вин. ж. рода — 10,94 %, для им.-вин. ср. рода — 1,67 %. Как видим, соотношение здесь противоположно тому, которое ожидается при употреблении флексии -ия/-ыя в качестве безродовой. Приведу для сравнения аналогич-

(л. 466 об.), избраша лучшыи мужи (л. 493 об.), созваша бояры и переднии вси людие (л. 552), одаривъ князи Новгородстии (л. 556), послаша Новгородци мужи старѣшыи къ Юрью (л. 559 об.), пойма съ собою мужи Новгородстии (л. 561), иници князи избраша (л. 583 об.). Ко времени создания Хронографического списка в разговорном языке вин. = им. у существительных м. рода полностью вышел из употребления (см.: Крысько 1994а, 118—125; Тимберлейк 1996, 15), так что соответствующие конструкции оказываются специфически книжными. Правдоподобно, что в этих условиях пишущий может воспринимать падеж существительного не как особую книжную форму винительного, а как именительный. В силу такого восприятия он и согласует прилагательное по им. падежу. Нужно отметить, что последовательно такое согласование не проведено, ср.: позва к собѣ нарочитыя мужи (л. 499), отпустилъ бо блже Бориса и иныя мужи с нимъ (л. 544) и т. п.

ные данные для первой части Мазуринской летописи: им. мн. м. рода — 21,15 %, вин. мн. м. рода — 29,41 %, им.-вин. ж. рода — 22,48 %, им.-вин. ср. рода — 27,17 %. В архаическом типе слабовыраженной тенденцией к функционированию в качестве безродовой обладает скорее флексия *-ая/-яя* с ее 20,78 % несогласованных употреблений.

Когда именно происходит трансформация архаического типа в тот узус, который мы находим в большинстве памятников XVII в., остается не вполне ясным; процесс этот идет постепенно и начинается, видимо, уже в XVI в. Тем не менее и в XVII в. могут преемственно воспроизводиться те навыки книжного письма, которые присущи архаическому типу, поскольку авторы XVII в. могут ориентироваться не на современную им языковую практику, а на те более ранние образцы, которые входят в их читательский опыт. Именно так обстоит дело с «Временником» дьяка Ивана Тимофеева по рукописи Флорищевой пустыни № 168/682 середины XVII в. (см. издание: РИБ, XIII, 261—472), причем можно думать, что в данном тексте архаический узус в словоизменении прилагательных во мн. числе в целом восходит к протографу. В самом деле, подобное архаическое употребление прилагательных находится в согласии с общей языковой установкой Тимофеева; Тимофеев стремится писать на специфически книжном языке, отягощенном множеством маркированно книжных конструкций и форм, и это неизбежно побуждает его ориентироваться на старые (с его точки зрения) памятники. Понятно, что он не в состоянии воспроизвести их узус в полном объеме, однако стремление к такому воспроизведению имеет место, и это сказывается на всем языковом облике памятника. Следует думать, что этим стремлением обусловлены и особенности в его употреблении прилагательных во мн. числе, явно ориентированном на архаический тип. Статистические данные выглядят следующим образом:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	139	2	1	1	143
-ия/-ья	59	101	33	15	208
-ая/-яя	26	25	5	235	291
-ие/-ые	4	2	3	—	9
Всего	228	127	43	253	651

Никакая ориентация на образец (в том числе и архаический) не приводит к полному воспроизведению его лингвистических характеристик, процесс реинтерпретации не работает только в том случае, если пишущий копирует текст буква в букву, не отличаясь принципиально от типографского станка. Буквальное копирование — редкий феномен в истории русской письменности, а в истории таких текстов, как «Временник», он непредставим теоретически и не наблюдается даже в виде исключения. «Временник» отклоняется от архаического типа по ряду моментов, в большей или меньшей степени характерных для книжной (гибридной) письменности XVII в. Прежде всего здесь можно отметить появление флексии *-ие/-ые*; она встречается во «Временнике» в минимальном количестве, составляя всего 1,38 % всех флексий прилагательных в им.-вин. мн., однако само ее наличие указывает на идущий в гибридной письменности процесс экспансии

данного окончания, и при этом архаические пристрастия книжника не могут ему противостоять. Существенно снижается по сравнению с Новгородской Пятой и пропорция согласованных употреблений. Во «Временнике» она составляет 78,03 %, что практически не отличается (в пределах статистической погрешности) от показателя первой части Мазуринского летописца. Явную тенденцию к функционированию в качестве безродовой обнаруживает флексия *-ия/-ья*, пропорция несогласованных употреблений составляет здесь 35,58 %, что значительно превышает значение аналогичного параметра для флексий *-ии/-ьи* (2,80 %) и *-ая/-ья* (19,24 %) и вплотную приближается к тому, что мы находим даже не в первой, а во второй части Мазуринского летописца (40 %). По всем перечисленным характеристикам «Временник» отличен от архаического типа и естественно вписывается в тот облик, который свойствен памятникам XVII в.

Нетипичной остается лишь конфигурация вариативности, а именно пристрастие автора к флексии *-ая/-ья*, которая в значительной части случаев также употребляется как безродовая. Как мы видели, такая конфигурация свойственна архаическому типу и не находит никакого соответствия в памятниках XVII в. Эта особенность в языковом поведении автора достаточно прозрачно связана с его общей стратегией книжного письма. Действительно, текст «Временника» перенасыщен специфически книжными синтаксическими построениями, которые автор употребляет с азартом и без особого умения, что во многих случаях делает изложение неудобопонятным. Одним из таких книжных увлечений автора оказывается употребление прилагательных в мн. числе ср. рода в обобщенно-субстантивированном значении (ср.: Исаченко 1980, 84—91; Успенский 1987, 175; Успенский 2002, 258—259). Эта конструкция используется автором с чрезвычайной интенсивностью, что и сказывается на необыкновенно большой частоте прилагательных ср. рода в памятнике в целом: в силу маркированности ср. рода прилагательные с данной родовой характеристикой обычно составляют около одной пятой от общего числа прилагательных (вне зависимости от падежа и числа), тогда как во «Временнике» они употребляются, по крайней мере в им.-вин. мн. числа, более чем в одной трети случаев (см. таблицу).

Об интенсивности употребления данного синтаксического построения во «Временнике» говорит тот факт, что автор существенно расширяет спектр его значений. Обычно обобщенно-субстантивированное прилагательное употребляется для обозначения множества предметов, обладающих свойствами, названными прилагательным (*вся благая, молебная пѣти* и т. д.), причем такое множество рассматривается как нерасчлененное, т. е. предметы, в него входящие, берутся в модуль их неисчислимости (*благая* — это не совокупность ряда благих вещей, но совокупность вещей, ведомых и неведомых, обладающих благостью; *молебная* — не множество отдельных молитв, но богослужение в целом). В силу этого субстантивированные прилагательные во мн. числе ср. рода практически никогда не обозначают множество лиц. Обычное («правильное») употребление широко представлено во «Временнике», ср.: *молебная пѣвше доволнѣ* (л. 101 об.—102), *нѣсть праведено вождю слѣпу церковная вручати* (л. 143 об.), *и о велицѣмъ градѣ лжебожнѣи вся злая уже содѣяша* (л. 211), *Непцевахъ бо, яко и Богу сія въ насъ бывающая тогда любезнѣ назирающе съ высоты* (л. 258) и т. д. Наряду с ним, однако, появляется и другое употребление, когда соединенным оказывается ис-

числимый ряд предметов, т. е. когда модус нерасчлененности отсутствует. Приведу несколько примеров: *Едино же тѣхъ тицаніе бѣ, еже пріяти градъ и въ немъ царя и сущая ту съ нимъ низложити* (л. 229 — подразумеваются приближенные царя, которые составляют дискретное и исчислимое множество, отнюдь не определяемое тем, что входящие в него являются «сущими»; нормальной книжной формой было бы здесь *сущія*); *Они же своя прелести покосно время обрѣтше, внутрь града вшедше, самой матере градомъ всеродно остригоша главу, въ конецъ до всѣхъ изнуривъ и всяческихъ добротъ обнаживъ, оставшая же зъ дома огню подложшиа* (л. 262 об.—263 — имеются в виду те лица, которые после разграбления остались с домами, что, конечно, не есть неисчислимое или нерасчлененное множество); *Елма и Иродъ во Иерусалимѣ нѣкогда вся владущая земли погуби, своя ему смерти сихъ не радоватися сотвори, сице и той, сего ревнуя злу, такожде* (л. 179—179 об. — аналогичная ситуация).

Число подобных примеров значительно⁷, и в некоторых случаях они ставят исследователя перед непростой проблемой интерпретации соответствующих форм: следует ли определять эти формы как им.-вин. мн. ср. рода или как им. или вин. м. рода с «неправильным» окончанием. Замечу сразу же, что последняя интерпретация также имеет право на существование, поскольку имеются случаи, когда формы на *-ая/-яя* употреблены не как субстантивированные, а как атрибутивные, и определяемое существительное стоит при этом в м. роде (примеры см. ниже). Таким образом, субстантивированные прилагательные на *-ая/-яя* могут рассматриваться либо как формы ср. рода с «неправильным» значением, либо как формы м. рода с «неправильным» окончанием. Никакого однозначного решения здесь быть не может, и мы, в чисто техническом плане, интерпретировали такие формы как прилагательные ср. рода, когда в соответствующих примерах можно было выделить семантические признаки, сближающие их с каноническим употреблением субстантивированных прилагательных ср. рода (как в приведенных выше примерах), поскольку такая семантическая связь отражает, видимо, реинтерпретационный механизм Тимофеева. Напротив, в тех случаях, где такая связь не просматривается, мы предпочитали говорить о прилагательных м. рода с «неправильным» окончанием, ср., например, следующий пример: *Велможа же царствія своего многи и добромыслимая ему изби, прочихъ же въ чюжесѣрныя земли отъ себя изгоняя, и во онѣхъ мѣсто отъ окрестныхъ странъ прѣзжающая къ нему возлюбѣ* (л. 15 — в этом случае едва ли присутствует даже семантический компонент единого множества). Условность границы между этими употреблениями, надо думать, не случайна. Этим путем и идет, видимо, Тимофеев,

⁷ Нельзя сказать, что такое употребление беспрецедентно. Так, скажем, в Новгородской пятой летописи находим: *тако и сихъ ожидаетъ день погыбелныи, егда придетъ Богъ судити на землю, и погубитъ вся творящая безаконіе и скверны дѣюща* (л. 473). В Лаврентьевской летописи здесь находим: **вса творащца безаконья и скверны дѣющца** (ПСРЛ, I, 86). Однако в других памятниках такие примеры уникальны и сохраняют более тесную связь с основным значением; в приведенном примере множество жертв Божьего гнева, хотя и состоит из людей, но берется в модусе нерасчлененности и цельности (на последний атрибут указывает местоимение *весь*, часто употребляемое в данной конструкции). Понятно, что такие примеры могли быть отправным моментом для обозначившейся у Тимофеева реинтерпретации.

сначала расширяя употребление субстантивированных прилагательных ср. рода от обозначения неисчислимого множества неодушевленных объектов до обозначения множества исчисляемых и одушевленных объектов, а затем до обозначения любого ряда предметов, вне зависимости от их родовой характеристики. Понятно, что такая реинтерпретация книжного узуса приводит к экспансии прилагательных на *-ая/-яя* на единицы м. рода и к вариативности флексий прилагательных в м. роде.

Приведу теперь примеры нарушения согласования, ограничиваясь, впрочем, флексиями *-ии/-ии*, *-ая/-яя* и *-ие/-ые*, поскольку экспансия флексии *-ья/-ия* сообщает ей безродовой характер, и ее многочисленные употребления с существительным в им. мн. м. рода или им.-вин. мн. ср. рода интереса не представляют.

Им. мн. м. рода: *начаша вся во всѣхъ бывати: малая великихъ одолѣвати, юныя же старыхъ* (л. 5 об.), *не обыкшая таковыми тѣхъ оглашати слухи* (л. 62), *утвержаешя и о немъ сильныя его, иже близу сущая, обновляхуся* (84—84 об.), *яко не имуть молящая изъ лавры изыти* (л. 100), *Видяху же молящая молимаго къ моленію яко непреклонна вправду* (л. 100), *ниже бы зрящая стерпѣли тому на мнозѣ* (л. 101), *Абїе же вся молящая отъ храмовъ (...) изыдоша* (л. 101 об.), *яко и прочая величайшая и прегордыя по вселеннѣи цари* (л. 103), *иже по существу не навыкшая, ниже постигшая въ чемъ отнюдь обученѣхъ самоискуснѣ* (л. 141—141 об.), *мнози прочїи по прочихъ и по хужшихъ худѣйшая пресѣваху* (144 об.), *Аще не бы нынѣ изшедшая отъ насъ самоизволно богоотступницы* (л. 155), *и звѣря селныя и парящая плотми вѣрныхъ удовлишася* (л. 174), *яко и вкуповѣрныя намъ, мира же ненавидящая* (л. 184), *отъ нихъ же происхождаху святозвучныя гласы, созывающая на пѣніе православныхъ народы и возвѣщающая* (л. 185), *иже досаду (...) сотворити дерзымъ невѣждамъ попустившей и зрящая вся на сихъ чады* (л. 206), *едини мелчайшии бывшая наша воины бяху* (л. 228), *неже самобратная, и далечнѣ, и чюжднїи по роду никакоже себе пощаждѣвающе* (л. 229 об.), *не токмо же моя сущая воспитованныя воины* (л. 242), *Избраннїи же, иже и богатая влагалїца имущая* (л. 243 об.), *Они бо иже сотворшая за то сіе достойни горѣнїи смерти суть* (л. 246 об.), *предводителе (...), могущая всю волю онѣхъ исполнити* (л. 275 об.), *обаче и не яко иже его предваршая* (л. 284), *произведшая его во свѣтъ сей родителїе* (л. 298 об.); *яко члены нѣкіе животныхъ* (л. 65 об.), *пребогатае новыє отпаднїцы нашїя вѣры* (л. 155), *Съ симъ же и первіе съ первѣйшимъ, и синглїтъ* (л. 267 об.), *еще же и ины они злотворныє же рабы* (л. 291 об.).

Вин. мн. м. рода: *добрая обычая на новосопротивная измѣнати* (л. 2 об.), *Велможя же царствїя своего многи и добромыслимая ему изби* (л. 15), *отъ окрестныхъ странъ прїѣзжающая къ нему возлюби* (л. 15), *орѣхи тогда бывшая, обагрившаяся во страданїи честною кровїю его* (л. 92 об.—93), *О семъ каждо своя къ той пристойная оного хотѣнїю принося увѣщанїя глаголы, могущая* (97 об.), *за превозшедшая Жидомъ грѣхи* (л. 146 об.), *оставшая луди моя вся, священныя же, и иноки, и бѣлца* (л. 147 об.—148), *лаврскїя вся мнихожителя моя неимущая изыскавъ всюду обоего полу* (л. 148 об.), *многи бо имѣ у себе ласкатели, угожающая други* (л. 160 об.), *и предняя наша грады стеришимъ* (л. 173), *и на прочая ратоборствомъ грады разбойнически находяху* (л. 223), *И яже прилучшаяся имѣ наша грады разоренїемъ они сотроша вся и вся* (л. 224), *слышати не терпѣть и колеблющая того вѣтры, иже ненавидящая по всему мира* (л. 231),

въ прочая вся грады (л. 233), яко да началныя изгубить и избранныя лучшая мужа и нарочитѣйшая себе (л. 235 об.), инии же иная съ воплемъ изнашаху гласы (л. 243—243 об.), по себѣ добръ управивъ о градѣ, владушая въ немъ оставль (л. 264 об.), взирающе на иже предъ ними бывшая наскакателе (л. 285), Не имѣ же о себѣ предиглаголанная она благи помощники (л. 289), прочая же его неисписанья подвиги (л. 308 об.); удавиша и неначаеміи враги (л. 116), епискупски на архіерейскіи премѣнися (л. 145 об.); иже упасеть яко новые люди сего Израиля (л. 87), сложеніе намъ во всемъ мірѣ нашемъ на противные (л. 303).

Им.-вин. ж. рода: долѣйшая объемля части тѣла до плесну (л. 92), прочая чести тѣмъ сотворяюще (л. 111), явѣ прочая части тѣла причастіемъ по всему готовы суть тому (л. 273 об.), видятъ того ризы зримы лежаща оставшая (л. 296), суцая вещи описывать (л. 311); Безсловесни пиѣщи соплетохомся неразуміемъ! (л. 130 об.— ?); прочихъ же въ чюжевѣрны земли отъ себя изгоняя (л. 15), яко гнидые лозья (л. 250 об.), и въ разсѣлины земные отвлачаху (л. 262).

Им.-вин. ср. рода: самодержавныхъ сокровичная хранилища обремененыи (л. 183 об.).

Вполне очевидно, что Тимофеев совмещает стремление писать на высоком и запутанном книжном языке с равнодушием к вариативности, его книжные амбиции реализуются в сложнейших синтаксических построениях (в которых он сам, впрочем, путается), тогда как облик отдельных форм, их соответствие книжной норме его не волнует. В употреблении отдельных флексий не обнаруживается никакого стилистического задания, стилистически все флексии однородны. Как и в других памятниках, во «Временнике» легализация вариативности проявляется прежде всего в том, что разные окончания могут иметь однородные прилагательные, ср. из уже приводившихся примеров: силныя его, иже близу суцая (л. 84—84 об.), прочая величайшая и прегордыя цари (л. 103), святозвучныя гласы, созы-вающая и возвѣщающая (л. 185), суцая воспитованныя воины (л. 242), избранныя лучшая мужа и нарочитѣйшая себе (л. 235 об.); ср. еще: Приходящии же въ державу нашихъ господъ отъ странъ иноземныя многи посолницы (л. 3 об.—4), кродчайшия произношаху къ народу и мирная слова (243 об.). В этом плане «Временник», несмотря на все свои сложные синтаксические конструкции, оказывается типичным памятником гибридного регистра.

Как мы уже говорили, специфика «Временника» обусловлена, видимо, ориентацией его автора на архаическую модель, «Временник» может быть рассмотрен как текст типологически промежуточный. Этот его специфический статус виден на фоне многочисленных памятников XVII в., авторы которых интереса к архаизации не проявляют. Примеры таких текстов достаточно многочисленны. Для начала укажу хотя бы на Летописец 1619—1691 гг. (ПСРЛ, XXXI, 180—233). Приведу статистические данные для этого памятника:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ни/-ын	48	—	2	—	50
-ня/-ыя	54	35	56	8	153
-ая/-яя	—	—	—	7	7
-ие/-ые	43	13	24	18	98
Всего	145	48	82	33	308

Две тенденции, которые мы уже наблюдали выше, находят здесь совершенно четкое выражение. Во-первых, флексия *-ие/-ые* перестает быть экзотической редкостью и утверждается в гибридном узусе как полноправный элемент. В Летописце 1619—1691 гг. пропорция ее употребления равна 31,82 %, что существенно меньше, чем во второй части Мазуринской летописи, но не похоже и на редкое появление этой флексии в первой части Мазуринской летописи или во «Временнике» Ивана Тимофеева. Во-вторых, флексия *-ия/-ья* определенно функционирует как безродовая, пропорция несогласованных употреблений этой флексии составляет 40,52 %, т. е. фактор согласования не влияет существенно на ее употребление. В то же время в рассматриваемом Летописце отсутствуют те элементы экспансии флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*, которые мы наблюдали во «Временнике» или в Новгородской пятой летописи. Несогласованных употреблений флексии *-ая/-ья* вообще не наблюдается, а несогласованные употребления флексии *-ии/-ьи* сводятся к двум случаям, когда она появляется при существительном ж. рода: *И преиде огонь в Белой град, и тамо попали монастыри и церкви божиш, и дворы все без остатку* (л. 698 об.); *бродяху по царским полатам, яко свинши слепши и безумныя, отступившия ума* (л. 716). Стоит заметить, что в качестве безродовой флексия *-ия/-ья* вообще является в данном памятнике основным способом выражения для им.-вин. падежа мн. числа, она употребляется в 49,68 % случаев и при этом и для им. мн. м. рода, и для им.-вин. ср. рода употребляется чаще, чем «этимологически» правильные флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*.

Собственно говоря, данную картину, представляющую собой завершающий этап развития гибридного узуса (поскольку речь идет об окончаниях прилагательных в им.-вин. мн. числа), можно описать как основанную на функционировании двух безродовых флексий, *-ия/-ья* и *-ие/-ые*, которые обладают факультативными вариантами *-ии/-ьи* для им. мн. м. рода и *-ая/-ья* для им.-вин. мн. ср. рода. Именно существование этих факультативных вариантов реализует существенно ослабленную согласовательную интенцию носителей данного узуса, и именно оно отличает в данном отношении гибридный узус от бытового (о бытовом узусе см. ниже); генезис этого отличия очевиден: гибридная письменная традиция образована текстами, в которых пропорция согласованных употреблений достаточно велика, и ориентация на эти тексты делает случаи согласованного употребления неустраняемыми, хотя доля таких употреблений и может существенно сокращаться. Показательно, что флексия им.-вин. мн. ср. рода *-ая/-ья* появляется в Летописце 1619—1691 гг. исключительно при субстантивированном употреблении прилагательных: *поущая на смертный грех чюждая похищати* (л. 694 об.), *погубиши сами себе и дома своя, вземшия чюжся* (л. 694 об.), *возложиши упование на господа бога, сотворишаго всяческая* (л. 717), *и иных многих простых людей всяких чинов, боярских и гулящих, емлющих чюжся граблением* (л. 718 об.), *ини же с ним ругателие бердыши и копши внутреня его вся извлекаше из чрева его* (л. 718 об.), *творец наш и содержаий всяческая господь* (л. 724), *сотвориши о царех молебная и молитву по чину* (л. 725). Такое употребление является специфически книжным, оно явно ориентировано на книжные образцы и воспроизводит согласованную по роду флексию как часть маркированно книжной синтаксической конструкции. Характерно, что никаких особых стилистических функций эта конструкция не выполняет, она встречается и в ре-

лигиозных формулах, и тогда, когда речь идет о вполне прозаических обстоятельствах, о том, как восставшие стрельцы надругались над телом боярина князя Ю. А. Долгорукого (л. 718 об.). Конструкция используется как часть книжного узуса, в рамках которого располагается текст Летописца в целом, и это явно отличает употребление данной конструкции, а равно и поддерживаемой ею флексии им.-вин. мн. ср. рода *-ая/-яя* от употребления аналогичных элементов в не книжных текстах (см. ниже об Уложении 1649 г. и о письме Т. В. Голицыной к В. В. Голицыну).

Как и в других текстах гибридного регистра, вариативность флексий оказывается конститутивной чертой представленного в Летописце узуса. Приведу несколько примеров употребления разных флексий в однородных прилагательных: *книги писцовые старые и приходные и расходныя* (л. 692 об.), *во окрестные и в подмосковныя грады* (л. 699 об.), *прочии вси полатныя люди* (л. 704 об.), *яко свищи слепи и безумныя, отступившия ума* (л. 716), *Убийцы же злиши оныя* (л. 720 об.), *ищи же руце, а иныя ноги копиями подъемлюще к высоте* (л. 722 об.), *Сия же градстии караулныя слышав от него, яша его* (л. 730), *ищи же, бедныя, и на себе изнесли множества сокровищ* (л. 733).

Узус, вполне аналогичный тому, который был только что описан для Летописца 1619—1691 гг., можно наблюдать и в «Скифской истории» Андрея Лызлова, также относящейся к самому концу XVII в. (время написания — 1692 г., список 1690-х годов). Анализировались три первые части сочинения и три главы четвертой части (Лызлов 1990, 8—156). Сходство отчетливо проявляется в совокупности статистических параметров, хотя в частности, естественно, имеются несовпадения:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	157	—	4	1	162
-ия/-ья	137	47	148	58	390
-ая/-яя	—	—	—	38	38
-ие/-ые	69	13	12	12	106
Всего	361	60	166	110	696

Как и в Летописце 1619—1691 гг., в «Скифской истории» флексия *-ие/-ые* занимает вполне твердое положение, она употребляется в 15,23 % случаев, что существенно, но не принципиально ниже пропорций Летописца. Вместе с тем определенно безродовой характер имеет употребление флексии *-ия/-ья*, эта тенденция у Лызлова выражена еще ярче, чем в Летописце, пропорция несогласованных употреблений этой флексии составляет в точности 50 %, так что в данном отношении «Скифская история» может служить идеальным образцом. Так же, как в Летописце, несогласованное употребление совершенно не свойственно флексии *-ая/-яя*, а для флексии *-ии/-ьи* крайне нехарактерно. Никакими особыми свойствами (стилистическими или синтаксическими) эти нерегулярности, по видимости, не обладают. Приведу их краткий список:

Им.-вин. ж. рода: *древнии границы Казанския земли бяху* (л. 52 об.), *руце его крепко связанныи* (л. 72 об.), *Тожде видение видеша и прочии три подвижныя вдовицы, близко Спасских ворот в то осадное время пребывающии* (л. 147).

Им.-вин. ср. рода: *Такожде и татарское воинство начетверо бяше разделено, но едино татарское множае было, нежели все полскии* (л. 19 об. — в этом случае дистантное расположение и имплицитность референта во мн. числе могли повлиять на пишущего).

Субстантивация оказывает определенное влияние на сохранение согласованных флексий, хотя столь однозначной картины, как в Летописце, в «Скифской истории» не наблюдается. В 10 случаях из 38 окончание *-ая/-яя* употреблено в субстантивированных прилагательных ср. рода, тогда как окончания *-ия/-ья* и *-ие/-ые* в субстантивированных прилагательных ср. рода не встречаются. У субстантивированных прилагательных м. рода в им. мн. наиболее частым оказывается *-ии/-ьи*; субстантивированные прилагательные в им. мн. (включая такие, как *инии, прочии*) встречаются в анализированной выборке 106 раз, из них 83 с окончанием *-ии/-ьи* (78,30%), 7 с окончанием *-ия/-ья* (6,60%), 16 с окончанием *-ие/-ые* (15,10%). Таким образом, у субстантивированных прилагательных м. рода распределение окончаний радикально отличается от аналогичного распределения у несубстантивированных прилагательных. В последнем случае речь не идет, конечно, о влиянии какой-либо специфической книжной конструкции, как у субстантивированных прилагательных им.-вин. мн. ср. рода. В случае прилагательных м. рода воздействие субстантивации может быть связано с тем, что родовая принадлежность не выражается определяемым существительным (когда род прилагательного предсказуем, т. е. находится как бы в позиции нейтрализации), и поэтому оказывается релевантной для прилагательного. Я имею в виду механизм аналогичный тому, который приводит к употреблению личных местоимений при тех личных глагольных формах, в которых не выражается категория лица (как формы прошедшего времени в современном русском языке)⁸.

Отмечу также вариативность флексий в однородных прилагательных: *пришельцы, их же называем крымския, монконския, перекопския, белгородские, очковские* (л. 6), *соглашаются на сие мнози древнии и новейшия историки* (л. 11), *падоша княжеския и боярския многие роды* (л. 61), *взят и улусы тамошние некия* (л. 65 об.), *бяху нецыи мужие в совешенных летех и состаревшиися во всяких добродетелех* (л. 107), *украшенных в прекрасные и драгия златом испещренныя одежды* (л. 107 об.), и *прочия святыя иконы* (л. 146) и т. д.

Было бы неоправданным думать, что проанализированный выше узус окончательно формируется только в самом конце XVII в. Он явно возникает раньше, хотя сколько-нибудь точные хронологические границы невозможно указать без кропотливого дополнительного исследования. В качестве более раннего примера рассмотренного узуса укажу на Житие протопопа Аввакума по рукописи Пустозерского сборника (Пустозерский сборник 1975). Статистические параметры этого текста таковы:

⁸ Неясно, конечно, до какой степени употребление местоимений-подлежащих отражает развитие разговорного языка. И в современном разговорном языке, и в текстах XVIII—XIX вв., написанных людьми, плохо владевшими литературным языком, предложения без местоимений-подлежащих встречаются достаточно часто. Это может означать, что данный процесс в истории русского языка относится к письменному языку по преимуществу. Если это так, то аналогия с разбираемым явлением становится лишь более близкой.

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	21	—	1	—	22
-ия/-ья	5	7	13	2	27
-ая/-ья	—	—	—	21	21
-ие/-ые	54	5	21	8	88
Всего	80	12	35	31	159

У Аввакума сравнительно с рассмотренными выше текстами весьма интенсивно употребляется флексия *-ие/-ые*, она представлена в 56,34 % случаев. Житие Аввакума в этом, как и в ряде других отношений, свободно отступает от книжного стандарта, широко вводя в гибридный узус не книжные элементы. Общие черты этого узуса, однако, воспроизводятся Аввакумом, в частности, флексия *-ия/-ья* обнаруживает тенденцию к употреблению в качестве безродовой (пропорция несогласованных употреблений равна 25,93 %), тогда как флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* подобной тенденции не обнаруживают. Среди форм им.-вин. мн. ср. рода на *-ая/-ья* большинство составляют субстантивированные прилагательные (17 из 21), ср.: *Посем создася Адам, и прочая* (л. 12 об.), и *прочая там много(ь)ко писано* (л. 32 об.), *А я таковая же дерзнухъ* (л. 35), *во имя Х(ристо)во молебная пѣвше* (л. 42 об.), *гдѣ сижу и емъ, тутъ и ветхая вся* (л. 64 об.—65), *вси же познають содѣланная мною — или добрая, или злая* (л. 83), и *паки воспой благодарная к б(о)гу* (л. 101 об.), *таковаго умъ тѣмень бывает и не разумѣвает правая* (л. 113 об.) и т. д. Среди прилагательных ср. рода с другими флексиями (*-ие/-ые* и *-ия/-ья*) субстантивированных нет, что и указывает на отмеченную выше связь субстантивации и сохранения согласованных окончаний.

В узус рассматриваемого типа вполне укладывается и небольшая «Новая повесть о преславном Российском царстве» (РИБ, XIII, 187—218) по рукописи РГБ, МДА № 175, XVII в.; «Новая повесть» явно была составлена в первой половине XVII в., и это также дает косвенные основания для того, чтобы датировать формирование данного узуса не слишком поздними сроками. Материал «Новой повести» ограничен по объему, однако статистические параметры укладываются в уже знакомую модель и потому вполне показательны:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	20	1	—	—	21
-ия/-ья	16	13	17	4	50
-ая/-ья	—	—	—	3	3
-ие/-ые	5	—	2	—	7
Всего	41	14	19	8	81

Флексия *-ие/-ые* представлена в данном тексте в довольно ограниченном объеме (8,64 %), что, впрочем, при данном объеме выборки не слишком показательно. Существенно, что флексия *-ия/-ья* функционирует как безродовая при 40 % несогласованных употреблений, тогда как флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* ни в малой степени на эту роль не претендуют. Как и в Летописце 1619—1691 гг., формы ср. рода на *-ая/-ья* представлены исключительно субстантивированными прила-

гательными, ср.: *вся добрая творити* (л. 371 об.), *домыслюмь что добрая намь учинится* (л. 386 об.), *Господь зреть тайная моя* (л. 388).

Своего рода деградацию гибридного узуса, сохраняющую его характерные черты лишь в существенно редуцированном виде, можно наблюдать в рыцарском романе о Петре Златых ключей по рукописи 1702 г. (Кузьмина 1964, 275—331). То, что текст написан на гибридном книжном языке, не вызывает сомнения; об этом говорит и его синтаксис, и спорадическое, хотя и не слишком редкое употребление простых претеритов; тем не менее элементы, указывающие на книжный характер текста, представлены в данной рукописи лишь ограниченно: основным временем нарратива служат *л*-формы, сложные синтаксические построения редки, можно отметить некоторое количество не книжных синтаксических конструкций (ср. § I.4). Такая ситуация понятна, если учесть, что риторическое задание текста — развлекать читателя — было новым, и в силу этого его создатели не сдерживались в своем языковом употреблении памятью жанра и могли достаточно далеко отступать от существующей книжной традиции; гибридный узус, естественно выбиравшийся для нарративных текстов, допускал подобные отступления.

Общий характер текста не мог не сказаться и на его морфологических параметрах. Видимо, и автор, переведший эту повесть с польского, и писец, переписавший текст в 1702 г., не были большими грамотеями. Можно было бы предположить, что переписчик рассматриваемой рукописи был из приказных, так что в рукописи имела место определенная интерференция его не книжных навыков с гибридной морфологией исходного текста. Параметры распределения флексий прилагательных во мн. числе не противоречат такому предположению. Они имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	4	—	—	1	5
-ия/-ья	6	2	4	4	16
-ая/-ья	—	—	—	2	2
-ие/-ые	35	13	39	20	107
Всего	45	15	43	27	130

Отличительной чертой данного текста оказывается высокая пропорция безродовой флексии *-ие/-ые*, она составляет 82,31 %, что существенно выше, чем в любом из рассматривавшихся ранее гибридных текстов; как следствие высока и общая пропорция несогласованных флексий, она равна 90,77 %. Флексия *-ия/-ья* представлена лишь небольшим числом примеров; их, однако же, достаточно, чтобы заключить, что она функционирует как безродовая (ее несогласованные употребления составляют 62,5 % от общего числа). Стилистическая нагрузка употребления данной флексии не несет, хотя стоит заметить, что в ряде случаев она встречается в повторяющихся словосочетаниях, т. е. оказывается до некоторой степени лексикализована. Так, три из шести употреблений флексии *-ия/-ья* с прилагательными им. мн. м. рода приходятся на сочетание *лютья звери* (с. 304, 307, 322); два из четырех употреблений флексии *-ия/-ья* с прилагательными им.-вин. мн. ср. рода приходятся на сочетание *в посторонняя государства* (с. 277, 278). Видимо, переписчик как-то специально фиксирует внимание на

данных сочетаниях, чувствуя себя с ними не вполне свободно (показательно, что в еще одном случае он пишет *в постороннии государства* — с. 294, — хотя встречается и нейтральное написание *в посторонные государства* — с. 277, 296). Употребление родовых флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* крайне ограничено. Первая из них употребляется исключительно в субстантивированном причастии *предстоящии* (с. 280, 282, 298, 329), вторая также представлена только в условиях субстантивации: *открываю тебе тайная сердца моего* (с. 285), *многая для ее ради претерпел* (с. 320). Эти употребления вряд ли можно считать стилистически маркированными, однако они явно воспроизводят трафареты книжной традиции, и именно это воспроизведение обуславливает появление соответствующих окончаний⁹. Таким образом, «родовые» окончания употребляются исключительно в силу преэминентности (ориентации на гибридный узус), тогда как согласовательная интенция никак не выражена, сохраняются лишь ее формальные реликты.

Проанализированный нами узус, представленный в Летописце 1619—1691 гг., «Скифской истории» Лызлова, Житии протопопа Аввакума и «Новой повести», может считаться типичным для гибридного регистра в XVII в., однако это относится к тем памятникам, которые и созданы были в этом столетии. Не все из них дошли до нас в оригинальных списках, но в любом случае их текстологическая история была достаточно краткой, ограниченной несколькими десятилетиями XVII в. Именно в таких текстах сложившийся в этот период узус находит наиболее чистое выражение. Если, однако, текст не был создан в этот период, а лишь подвергался большей или меньшей переработке (говоря точнее, если существенная часть текстологического материала памятника была усвоена из текстов более раннего периода), он синтезировал в себе несколько этапов эволюции гибридного узуса, и это, естественно, отражалось на его лингвистических характеристиках и могло обуславливать ряд несходств с типичным для времени переработки узусом. Эти соображения возвращают нас к проблеме гетерогенности Мазуринского летописца, с которой мы начали рассмотрение памятников гибридного регистра.

Можно реконструировать те общие представления, которые определяют языковое поведение при порождении новых текстов. Авторы таких текстов усвоили, видимо, из своего читательского опыта набор контекстов, в которых употребляются «родовые» флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*: определение при подлежащем м. рода (трафарет типа *святии мученики*) или субстантивированное прилагательное-подлежащее без релевантной родовой характеристики (трафарет типа *святии*) для флексии *-ии/-ьи* и субстантивированное прилагательное в обобщенно-множественном значении (трафарет типа *творити злая*) для флексии *-ая/-ья*. Употребление соответствующих флексий в данных контекстах не является обязательным, но появляются они здесь достаточно часто, реализуя тем самым согла-

⁹ Замечательным образом в рассматриваемой рукописи несколько раз встречается сочетание *многая время*, ср.: *И плакала многая время неутешно* (с. 314), *кричал многая время* (с. 319), *многая время ждала меня* (с. 327). Это написание не имеет, видимо, фонетического характера, поскольку аканье в рукописи практически не отражается и вместе с тем неоднократно встречается написание *многое время* (с. 320, 325, 326, 327). Возможно, пишущий стремился передать идею множественности с помощью окончания и ориентировался на трафареты типа *многая льта*, не вполне отдавая себе отчет в грамматическом значении флексии *-ая*.

совательную интенцию пишущего. Вне подобных контекстов пишущие достаточно редко идут на риск согласования; в тех редких случаях, когда они это делают, они, как правило, справляются со своей задачей, т. е. употребляют нужную флексию; просчеты единичны, именно они и фигурируют в наших таблицах как случаи несогласованного употребления флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*. В основном, однако, пишущие от риска воздерживаются, предпочитая пользоваться безродовыми флексиями *-ие/-ые* и *-ия/-ья*. Они пользуются обеими, поскольку вариативность их никак не смущает, хотя степень использования каждой из них определяется индивидуальными пристрастиями (это и дает в результате разные пропорции для флексии *-ие/-ые*, отмечавшиеся при описании статистических данных).

Когда книжник имеет дело с готовым текстовым материалом более ранней эпохи, его языковое поведение меняется, он работает не с общими трафаретами, усвоенными из его читательского опыта, а с тем, на что его наталкивает лежащий перед ним текст. Это приводит к тому, что он начинает более широко употреблять флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*, не ограничивая себя знакомыми ему трафаретами. В результате число просчетов возрастает, и мы наблюдаем ситуацию, когда несогласованное употребление флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* перестает исчисляться единичными примерами. Показательно, что в Мазуринской летописи пропорция несогласованных употреблений флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* оказывается достаточно высокой в обеих частях (для *-ии/-ьи* 20,44 % в первой части и 35,29 % во второй, для *-ая/-ья* 4,29 % в первой части и 7,69 % во второй). При всей радикальности изменения узуса от первой ко второй части по другим показателям (разобранном выше), данный параметр оказывается относительно стабильным. Дело, очевидно, в том, что текстовый материал предшественников оказывается — в качестве возмущающего актуальный узус образца — равно значим и для первой, и для второй части. Именно действие данного фактора, вполне обычного в контексте устойчивой литературной традиции, наиболее значимую часть которой составляют произведения прошлого, обуславливает, видимо, разнообразие реализаций в пределах гибридного регистра.

Определенное подтверждение для подобного заключения дает материал Новгородской второй (архивской) летописи. В своем настоящем виде летопись была создана в самом конце XVI в., поскольку она «содержит сведения, с перерывом некоторых годов, о событиях с 911 (6419) г. по 1587 (7095) г. включительно» (ПСРЛ, XXX, 6). Рукопись (РГАДА, собр. МГАМИД, № 62/85) написана разными почерками и относится к последним годам XVI или (вероятнее) к началу XVII в. Рукопись, как пишут ее издатели, «составлена без соблюдения хронологической последовательности событий» (там же), точнее, она образует несколько хронологических пачек разной протяженности, накладывающихся друг на друга по времени¹⁰. Это делает практически неосуществимой задачу ее расчленения на

¹⁰ В основе этой летописи лежал, видимо, летописец, составленный иеродиаконом Геронтием в Лисогорском монастыре в 1450 г. (сообщающая об этом статья находится в середине летописи — ПСРЛ, XXX, 194). Этой компиляцией воспользовались монахи, жившие существенно позже и начавшие свое изложение с 1545 г. Затем в летопись включались разные части, охватывавшие разные временные отрезки. В летописи имеется уникальное сообщение о том, как мог происходить этот процесс. Под 1572 г. сообщается:

пласты; она может трактоваться как реализация единого узуса, однако узуса, осложненного обращением к более раннему текстологическому материалу. При этом стоит отметить, что составители Новгородской второй не отличались высокой книжной культурой или, если угодно, были довольно безграмотными. Это отражается и в правописании, передающем многие диалектные явления, и особенно в синтаксисе — количество и разнообразие специфически разговорных конструкций, встречающихся в тексте, делает его необычным для своего жанра. Можно полагать поэтому, что и в выборе окончаний прилагательных они не следовали какой-либо продуманной или полупродуманной стратегии, но транслировали, окунув в собственное несовершенство, два узуса: известный им узус современного книжного письма и более архаичский узус использованного ими текстового материала. Статистически результат оказался следующим:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	50	12	12	4	78
-ия/-ья	6	3	1	1	11
-ая/-ья	—	1	1	11	13
-ие/-ые	24	14	16	—	54
Всего	80	30	30	16	156

Новгородская вторая — это отчасти компиляция-сокращение, и от стремления составителей к краткости пострадали, видимо, прежде всего прилагательные, поэтому несмотря на относительную обширность текста получившаяся выборка не слишком велика. Пропорция согласованных употреблений составляет 41,67 % (приблизительно как в Житии протопопа Аввакума), что существенно ниже, чем, скажем, в первой части Мазуринского летописца и обусловлено, вероятно, слабостью книжной образованностью писавших. Об этом же говорит, надо думать, и довольно высокая пропорция употребления безродовой флексии *-ие/-ые* — 34,62 %; значение этого параметра близко к тому, которое мы находим в Летописце 1619—1691 гг., однако стоит помнить, что рукопись написана почти на столетие раньше. Безродовой характер флексии *-ия/-ья* выражен вполне отчетливо, пропорция несогласованных употреблений равна 63,64 %, и это еще одна черта известного нам узуса XVII в. Поведение флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* в этот узус, однако же, не вписывается, пропорция несогласованных флексий составляет здесь, соответственно, 35,90 % и 15,38 %. Такие параметры больше всего напоминают вторую часть Мазуринского летописца и могут объясняться, надо думать, аналогичным образом — как результат влияния использованных источников на не слишком стойкие книжные навыки писцов.

«Мѣсяца февраль въ 5 вторник, а служиль того дни в монастыри на Лисьи горѣ обидню и смотрил в монастыри книги литопистца церковнаго а сказывал, что литописецъ Лѣсицкои добри сполна, ажо не сполна развие написано в лѣтописцѣ в Лѣсуцкомѣ владыкы Навгороцькые, не вси сполна, писаны развие до владыкы Еуфимия Навгороцького. А смотриль въ кельи у старца у келаря у Деонисия» (л. 147 об.—148). Речь идет, несомненно, об инспекционном визите новгородского архиепископа Леонида, хиротонисанного 6 декабря 1571 г. Через несколько листов появляется очередная хронологическая цепочка от 988 до 1551 г., составленная из статей о поставлении новгородских владык (лл. 156—170).

Приведенный выше материал должен проиллюстрировать характерные черты и многообразие конкретных реализаций исследуемого феномена в гибридном регистре книжного языка. Иллюстрация, естественно, неполна, поскольку, как уже говорилось, гибридный регистр куда более разнороден в своих лингвистических характеристиках, чем регистр стандартный. Нет полной уверенности, что в выбранных нами текстах реализовались все существовавшие в XVII в. разновидности гибридного узуса, и это, понятно, ограничивает достоверность ряда сделанных выводов. Накопление данных в рамках предложенной схемы могло бы исправить это положение. Тем не менее отдельные черты могут быть выделены с достаточной уверенностью, и для начала, когда мы лишь выходим из области полного неведения, этого достаточно.

Итак, пропорция согласованных употреблений в гибридных текстах может варьировать весьма значительно, однако тех высоких значений, которые могут быть найдены в гибридных текстах начала XVI в. (Новгородская пятая летопись), в текстах XVII в. она, видимо, никогда не достигает. Вместе с тем эта пропорция выше, чем вероятно ожидаемая, во всяком случае если рассматривать флексии, которые могут быть употреблены как согласованные (все рассматриваемые флексии, кроме *-ие/-ые*); такая ситуация говорит о том, что согласовательная интенция присутствует в текстах гибридного регистра, хотя может быть выражена с разной интенсивностью. Вместе с тем, в гибридных текстах действует тенденция употреблять флексию *-ия/-ья* как безродовую; становление этой тенденции относится, похоже, к XVII в. и особенно отчетливо она просматривается в новосозданных текстах этого столетия. В качестве согласованных, таким образом, употребляются в основном флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*, прежде всего за их счет и осуществляется в гибридном регистре согласовательная интенция. Согласованное употребление в этих случаях может опираться на определенные трафареты, выработанные читательским опытом: обобщенно-множественного употребления прилагательных во мн. числе ср. рода для флексии *-ая/-ья* и субстантивированного прилагательного субъекта для флексии *-ии/-ьи*. И этот момент ярче всего отражается в новосозданных памятниках.

Для текстов гибридного регистра, в отличие от текстов регистра стандартного, вполне приемлемой оказывается вариативность. Идея того, что одно значение должно соответствовать одному показателю, уже в XVI в. получившая у восточнославянских книжников вполне сознательное оформление, идея, проведенная в грамматических пособиях, а затем и в книжной справе, остается посторонней для авторов, работавших в гибридной традиции. Это проявляется, например, в том, что здесь употребляются безродовые флексии, причем не одна, а по существу две: к исходно безродовой флексии *-ие/-ые*, довольно активно проникающей в гибридные тексты XVII в., добавляется флексия *-ия/-ья*, которая также может функционировать как безродовая. Наиболее яркой манифестацией этого терпимого отношения к вариативности является употребление разных флексий у однородных прилагательных. Такие примеры в большем или меньшем количестве находятся практически в каждом гибридном памятнике. Эти моменты и образуют основные характеристики гибридного узуса в отношении к прилагательным им.-вин. мн. числа.

1.3. Деловой некнижный регистр

Обратимся теперь к некнижным текстам, прежде всего к текстам деловым, дающим достаточный материал для статистических наблюдений. Описывая язык Уложения 1649 г., П. Я. Черных отмечает: «Обычными окончаниями им. п. мн. числа для всех трех родов являются *ые, ие*: въ неприятельские полки, 5; кто служилые люди, 5; въ поместные и въ вотчинные леса, 5; хлѣбные запасы и конские кормы покупать, 5; ратные люди, 5 об.; торговые люди, 6 об.; старые дороги потопить, 7; новые дороги проложить, 7; спорные дѣла... вершити, 7 об.; напишуть... прибылые статьи, 8 об.; патриарши приказные. и дворовые люди и дѣти боярские, 25; имена властелинские и старческие, 26; новые помещики и вотчинники, 26; судные всякие дѣла, 27; менять помѣстные и вотчинные земли иа монастырские земли, 27 об.; прожиточные помѣстья, 28; выслуженные и родовые вотчины, 28 об.; помѣстья... небольшие, 29; отцовские помѣстья, 29; приищеть пустые озера и в рекахъ рыбные ловли, 30; на многие лѣта, 30 об.; дворцовые села и черные волости, 30 об.; городовые дворяне, 31 об.; бортные ухожьи, 34; которые бортные ухожьи, или рыбные ловли и мельницы, или иные угодья, 34; дворцовые села и бортные деревни, и черные волости, 34 об.; крестьянские дѣти, 35; дѣти боярские природные, 35 об.; давать... служилые кабалы, 50; кабалные записные книги, 50; немногие обыскные люди, 51 об.; далные города, 52; житейские записи, 52 об.; убивственные дѣла чинять, 53; боярские приговоры на всякие... дѣла, 61 об.; говорити непристойные рѣчи, 66 об.; братья родные и неродные, 68 об.» (Черных 1953, 307—308).

Это употребление, однако, не выдержано с полной последовательностью. Как пишет далее Черных, «возможны в им. п. мн. числа и окончания *ья, ия*, которые, однако, встречаются в общем редко. Иногда на протяжении десятков страниц, например 50—60, 80—100, 120—130 и т. д., они или вовсе отсутствуют или употребляются в единичных случаях. С другой стороны, имеются страницы с заметным скоплением форм на *ья, ия*, например стр. 3—4, 30—32, в особенности стр. 190—198 (начало главы XVI) и др.: дѣлати воровски мѣдныя, или оловяныя, или укладныя денги, 3; в зарубежныя мѣста, 3 об.; людские и конские кормы, 4; которыя... дикия поля, 30; которыя земли помѣстныя, 30; помѣстныя и вотчинныя земли, 31; полныя дачи, 31 об.; на пашню и на сѣнныя покосы, 31 об.; меновыя помѣстья, 191; и тѣ немногия четверти, там же; помѣстныя или вотчинныя свои земли, 191 об.; прожиточныя свои помѣстья здавати, 193; но ниже: прожиточные помѣстья, 193 (дважды); останутся... выслуженыя, и родовыя вотчины, 194 об.; таить, старыя отцовская поместья, 195 об.; старыя прописныя и утаеныя помѣстья, 197 об.; въ ыныя города, в татарския и в черемисския деревни, 203; платити таможенныя пошлыны, 254 об.; но ниже: платити... таможенные пошлыны, 254 об.; на ихъ загородския дворы, 255 об.; но: даны загородные дворы, 255 об. и др.» (там же, 308)¹¹.

¹¹ В продолжение этого пассажа Черных совершенно справедливо замечает (хотя это ясно и из приводимых им примеров), что какая-либо дистрибуция этих окончаний по родам отсутствует, и в этом отношении Уложение не похоже на тексты XVIII в.; Черных за чем-то дает и иллюстрации этого позднего узуса, совершенно, однако же, стандартные для середины XVIII столетия: «Конечно, колебание *ые:ья, ие:ия* в Уложении еще не име-

Черных, как известно, основывал свое исследование на так называемом втором издании Уложения, измененном по сравнению с первым тиснением данного текста. Внесенные во второе издание изменения в свое время трактовались как русификация. Этот процесс затронул и интересующие нас флексии. Черных комментирует его следующим образом: «В области грамматических форм, в частности форм склонения, больше всего обращает на себя внимание, что окончание *ья* (в твердом склонении) и окончание *ия* (в мягком склонении и после задненебных согласных) в род. п. ед. числа женского рода и им. п. (и отчасти вин. п.) мн. числа полных прилагательных (а также местоимений и числительных, совпадающих по флексии с полными прилагательными) во “втором” издании последовательно заменяются окончаниями *ье, ие* (из более ранних *ьѣ, иѣ*). Как известно, упомянутые окончания *ья, ия* исконно являются отличительной чертой церковнославянского языка. В русском (разговорном, народном) языке ему соответствовали окончания *ьѣ, иѣ* (откуда впоследствии появились *ье, ие*). Вот почему многочисленные случаи исправления окончаний *ья, ия* на *ье, ие* издателями второго завода Уложения может служить одним из наглядных примеров, повидимому, сознательной “русификации” текста» (там же, 126).

Черных дает также обширную сводку примеров соответствующих расхождений. Он замечает, что они особенно характерны для форм им. мн., хотя встречаются и в вин. мн. (очевидно, безотносительно к роду определяемого существительного): «Едва ли имеется какая-нибудь особенная нужда в исчерпывающем перечислении этих случаев. Без большого преувеличения можно сказать, что они встречаются на каждой странице (...): в неприятельския полки, 5: неприятельские; хлѣбныя запасы и конския кормы, 5: хлѣбные... конские; которыя служилыя люди, 6 об.: которые служилые; помѣстья небольшие, 29: небольшие; которыя дворяне, 29: которые; которыя дворцовыя села и деревни и черныя волости, 34 об.: которые... черные; в понизовыя города, 42: понизовые; и погребы каменныя и солянныя варницы, 43: каменные... соляные; крестьянския дочери, 47: крестьянские; многия годы, 47: многие; покупати людския и конския кормы, 77 об.: людские... конские; хлѣбныя запасы, 81: хлѣбные; иныя какія убытки, 82: иные; такія лошади, 83: такие; старыя дороги, 90: старые; новыя дороги, 90, 90 об.: новые; прибылыя статьи, 98 об.: прибылые; какія крѣпости, 98 об.: какие; денежныя руги, 108: денежные; кабальныя долги, 112 об.: кабальные; подписныя и печатныя пошлыны, 116 об.: подписные... печатные; которыя воеводы и всякыя служилыя люди, 131: которые... всякие... служилые; беглыя крестьяне, 171: бѣглые; на прошлыя годы, 171 об.: прошлые; на вотчинныя земли, 179: вотчинные; на помѣстныя земли (дважды), 179: помѣстные; старыя помѣщики, 179 об.: старые; такія ратники, 185: такие; прежняя дѣла, 188 об.: прежние; а которыя судныя всякыя дѣла, 189: которые, судные, всякие; и такія поместья, 192: такие; многия годы, 202: многие; прямыя ихъ вотчинныя а не помѣстныя земли, 205 об.: прямые... вотчинные... помѣстные; да и старыя ихъ новгородския и псковския

ет никакого отношения к роду прилагательных, как столетие спустя. Срв. в “Межевой инструкции” 1754 г.: сѣнные покосы... дворцовыя волости, 71 об.; рускыя крестьяныя... оставшяя земли, 77; которыя земли... которые татарова, 80 и т. д. (в мужском роде *ье, ие*, в остальных случаях — *ья, ия*)» (там же, 308).

помѣстья, 213 об.: старые... новгородские... псковские; ихъ старинныя, вотчинныя а не новыя дачи, 220 об.: старинныя... вотчинныя... новыя; на старыя ихъ родственныя и купленныя вотчины, 223: старые... родственные... купленные; см. также примеры на стр. 203 об., 211, 228 об., 237, 241 об., 242 об., 252, 275, 276, 287 об., 298, 307, 314, 317 об., 324 и др.» (там же, 126—127).

Таким образом, вывод Черныха относительно редкости окончаний *-ия/-ья* в тексте Уложения требует определенных оговорок: он относится ко «второму изданию» памятника, тогда как в первом тиснении данных флексий было несколько больше (хотя Черных статистических данных не приводит, нет оснований думать, что пропорция окончаний *-ия/-ья* и *-ие/-ые* отличалась в первом тиснении принципиальным образом; флексия *-ие/-ые* несомненно оставалась доминирующей). До какой степени данные второго или первого тиснения отражают норму приказного письма, оказывается в любом случае непростым вопросом. Дело в том, что оба эти издания являются производными от рукописного свитка Уложения (об истории текста Уложения см. выше, § II.1.1).

Текст свитка не был воспроизведен буква в букву, но подвергся корректировке — более интенсивной при первом тиснении и менее интенсивной при втором. Вносимые исправления состояли, естественно, во введении элементов книжной орфографии, привычных для справщиков. П. Я. Черных полагает, что «[п]о сравнению с текстом свитка текст обоих печатных изданий Уложения является архаизированным» и что «правописание и язык Уложенного свитка заметно ближе к разговорной русской речи московского типа в устном ее употреблении, чем правописание и язык печатного Уложения» (Черных 1953, 132—133). На самом деле, речь здесь вряд ли может идти об отражении устного узуса как такового, но вполне очевидно, что в печатном Уложении на приказную письменную традицию накладывается традиция книжного письма. Правка не сводится к замене *e* на *ѣ* в различных формах и иным чисто орфографическим моментам, но распространяется и на морфологию: инфинитив на *-ть* заменяется инфинитивом на *-ти* (см. § II.1.1), в род. ед. прилагательных ж. р. на месте флексии *-ие* появляется флексия *-ия* (там же, 131—132; ср.: Ваденюк и Мейчик 1879). Исправления эти сделаны весьма непоследовательно, но интенция справщиков (и/или наборщиков) не вызывает сомнения: они, видимо, просто не могли удержаться от «грамотных» написаний. П. Я. Черных, к сожалению, не приводит данных о формах прилагательных во мн. числе, однако каким-то исправлениям подвергались, видимо, и они. Поэтому можно полагать, что в свитке, представляющем собственно приказную письменную традицию, пропорция флексий *-ия/-ья* в отношении к флексиям *-ие/-ые* была ниже не только, чем в первом издании, но и чем во втором. Оригинал свитка был нам недоступен, так что зафиксировать соответствующие расхождения мы не имели возможности и должны были ограничиться анализом второго издания, однако изложенные выше обстоятельства следует принимать во внимание при интерпретации полученных данных.

Для нашего исследования мы рассмотрели два больших фрагмента Уложения по второму изданию, а именно от начала (л. 61 об.) до середины десятой главы (л. 132 об.) и от середины тринадцатой главы (л. 181 об.) до начала семнадцатой главы (л. 214 об.), воспользовавшись недавним переизданием под редакцией А. Г. Манькова (Уложение 1987, 17—47, 70—83). Эти фрагменты включают все

те места памятника, в которых П. Я. Черных отмечает скопление флексий *-ия/-ья*. Статистически полученные данные выглядят следующим образом:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	—	6	23	28	57
-ая/-ья	—	—	—	1	1
-ие/-ые	213	69	156	88	526
Всего	213	75	179	117	584

Мера унифицированности может быть оценена с помощью параметра, показывающего число употреблений безродовой флексии *-ие/-ые* в отношении ко всем употреблениям флексий им.-вин. мн. (т. е. 526 к 584). В рассмотренных фрагментах этот показатель составляет 90,07 %, а в Уложении в целом достигает, видимо, еще большей величины (именно потому, что в выборку были включены все части, в которых употребляется флексия *-ия/-ья*). Эта унифицированность достигается тем, что согласование по роду не играет практически никакой роли в употреблении флексий в Уложении. В строгом смысле род определяет выбор флексии лишь в одном единственном случае, когда флексия *-ая* употреблена со значением им.-вин. мн. ср. рода. Приведу сразу же этот пример: *подобает в церкви божии стояти и молитися со страхом, а не земная мыслити* (л. 67); очевидно, что это употребление стилистически маркировано и может рассматриваться как элемент книжного регистра, обусловленный религиозным контекстом; не менее значимо, что мы имеем здесь дело с субстантивированным прилагательным в обобщенном значении (по происхождению употребление прилагательного во мн. числе ср. рода в данном значении является грецизмом — см.: Исаченко 1980, 84—91); форма прилагательного оказывается здесь связанной, в определенном смысле деграмматикализованной, что и обуславливает консервацию флексии¹².

Что касается флексии *-ия/-ья*, то она также выступает как безродовая, т. е. унифицированная. Понятно, что, если «родовые» флексии (*-ии/-ьи*, *-ия/-ья*, *-ая/-ья*) употреблялись бы полностью произвольно, вероятность формально согласованного употребления составляла бы одну треть. Поэтому нерелевантность согласования для пишущего, которая статистически — наиболее грубым образом — может выражаться в отношении числа согласованных флексий к общему числу флексий, должна проявляться в том, что это отношение оказывается ниже 33,33 %. В случае Уложения этот показатель составляет $(6 + 23 + 1 = 30 / 584) 5,14 \%$, что, конечно, говорит о полной недейственности фактора согласования в употребле-

¹² О роли субстантивации в употреблении флексий мн. числа в Уложении говорит и П. Я. Черных, проходящий, впрочем, мимо разбираемого примера. Он замечает: «Любопытно, что субстантивированные прилагательные имеют форму им. п. мн. числа только на *ие*, *ие*: приносить подписные и неподписные челобитные, 8 об., также 98 и др.; купчие на татарь, 50; бояре и окольные, 64 об., также 96 об. и др.; приставь или понятия, 128 об.; въ приданые не писать, 194 об.; въ приданые... дать, 230, 232 и др.; пѣвчие, дьяки, подьячие, 251 об. и др.» (Черных 1953, 308). И в этом случае можно предполагать деграмматикализацию окончания.

нии форм прилагательных во мн. числе¹³. На это же указывает и характер употребления флексии *-ия/-ья*: при полностью произвольном употреблении вероятность формального согласования составляет 50 %, и именно эту величину мы и находим в наших данных (29/57 = 50,88 %).

Приведу теперь полный список примеров с флексией *-ия/-ья*, встретившихся в анализируемых фрагментах. Вин. мн. м. р.: *в украинныя города* (л. 121 об.), *во указныя часы* (л. 135), *в ыныя города* (л. 203 [bis]), *за даточныя люди* (л. 211), *ни в какия чины* (л. 79 об.). Им.-вин. ж. р.: *подьяческия руки* (л. 73), *за такія вины* (л. 73), *за такія неправды* (л. 94), *ставочныя поручныя записи* (л. 118), *такія поручныя записи* (л. 118), *поручныя записи* (л. 118), *немногия четверти* (л. 191), *такія земли* (л. 191), *поместныя или вотчинныя свои земли* (л. 191 об.), *вотчинныя земли на поместныя земли* (л. 191 об.), *поместныя земли на вотчинныя земли* (л. 191 об.), *выслуженыя и родовыя вотчины* (л. 194 об.), *в татарскія и в черемисскія деревни* (л. 203), *худыя же земли* (л. 204 об.), *полныя дачи* (л. 209 об.), *новоропашныя земли* (л. 211). Им.-вин. мн. ср. р.: *какия писма* (л. 73 об.), *такія писма* (л. 73 об.), *приказныя писма* (л. 73 об.), *писма нарядныя* (л. 73 об.), *в указныя места* (л. 77), *меновныя поместья* (л. 191), *прожиточныя поместья* (л. 195), *такія поместья* (л. 195 об.), *прожиточныя поместья* (л. 195 об. [ter]), *старыя отцовскія поместья* (л. 195 об.), *иныя поместья* (л. 196), *отцовскія поместья* (л. 196 об. [bis]), *старыя отцовскія поместья* (л. 197 [bis]), *поместья, которыя* (л. 197), *старыя прописныя и утаеныя поместья* (л. 197 об.), *особыя поместья* (л. 198 [bis]), *отцовскія поместья* (л. 198 [bis]).

Как можно видеть из приведенных примеров, употребление флексии *-ия/-ья* (в отличие от единичного употребления флексии *-ая*, отмеченного выше) не несет никакой стилистической нагрузки. Данная флексия выступает как факультативный вариант флексии *-ие/-ые*, так что не составляет труда найти примеры с теми же словосочетаниями, в которых прилагательные употреблены с флексией *-ие/-ые*, причем найти в непосредственном соседстве, ср., например: *прописныя и утаеныя поместья* (л. 198), *лишние немногие четверти, и те немногия четверти* (л. 191) и т. д. Те статьи Уложения, в которых встречается флексия *-ия/-ья*, не выделены ни в каком отношении; в тех двух статьях Уложения, которые явно выделяются своим языком и содержат многочисленные книжные элементы (статья VIII.1 «О искуплении пленных» и статья XIV.10 «О крестном целовании»), прилагательные в им.-вин. мн. числа вообще отсутствуют.

Оказываясь факультативным вариантом флексии *-ие/-ые*, флексия *-ия/-ья* приобретает, очевидно, тот же внеродовой характер, который свойствен основ-

¹³ Поскольку при произвольном употреблении у разных флексий разная вероятность оказаться «случайно» согласованными (одна вторая у флексии *-ия/-ья*, одна четверть у флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*), вероятность такого случайного согласования зависит от частоты каждого из разрядов (т. е. частоты прилагательных с данным грамматическим значением): если бы, скажем, в тексте употреблялись только флексии вин. мн. м. рода и им.-вин. мн. ж. рода (требующие флексии *-ия/-ья*), вероятность случайного согласования составляла бы не одну треть, а одну вторую. Поэтому более адекватной мерой согласованности является среднее арифметическое от пропорции согласованных флексий в каждом из четырех разрядов. В случае Уложения этот показатель составляет 5,425 % (0 % + 8 % + 12,85 % + 0,85 % = 21,7 %/4) и не отличается существенно от более грубой меры.

ному варианту. Это заключение, однако, требует оговорки. В самом деле, флексия *-ия/-ья* появляется в трех разрядах из четырех, она никогда не обслуживает значение им. мн. м. рода, неизменно реализующееся в окончании *-ие/-ые*. Можно сказать, что имеет место экспансия окончания *-ия/-ья* на формы им.-вин. мн. ср. рода, но не на формы им. мн. м. рода. Таким образом, полным (вторичным) дублетом флексии *-ие/-ые* рассматриваемая нами флексия все же не является, и этот факт примечателен и требует объяснения. Возможно, решающим фактором, определявшим поведение писцов и справщиков, было формальное сходство: при основах на твердую согласную (встречающихся существенно чаще, чем основы на мягкую) экспансия флексии вин. мн. м. рода и им.-вин. мн. ж. рода (*-ья*) требовала замены лишь одной начальной буквы флексии (*-ья* вместо *-ая*), тогда как экспансия этой флексии на им. мн. м. рода должна была выразиться в более радикальном изменении формы (*-ья* вместо *-ии*). Такого рода факторы могли быть вполне значимы для справщиков, искавших компромисс (заведомо искусственного характера) между своими навыками книжного письма и некнижным обликом исправляемого текста.

Такое объяснение кажется достаточно вероятным, если обратиться к другим приказным текстам, не подвергавшимся справе на Печатном дворе. Остановлюсь прежде всего на сочинении Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича». Рассматривая интересующие нас окончания, А. Пеннингтон пишет: «The normal ending for all genders is the Russian one: *-ye/-ie* {...} It is used freely throughout the text. The Ch(urch) Sl(avonic) (< OCS *-yę/-ie*, the mApl. and fNApl.), is similarly used for all genders indifferently, but its occurrence is extremely limited. It is found in one ecclesiastical phrase: *prazniki G(o)s(po)d"skija ili inyja naročityja... dni* (fol.215, similarly fols. 15, 21, 68). Outside this phrase, only seven examples are found, all in the first chapter. With the exception of the phrase: *prazniki G(o)s(po)d"skija*, the Russian flexion can also be used in any ecclesiastical context, e.g. *vency c(e)rkovnye* (fol.14^v). The unique Npl. form *bogatie* (fol.154), with flexion *-ie* after a stem consonant which is otherwise hard, is probably caused by the surviving Npl. short form *bogati*» (Пеннингтон 1980, 253). К сожалению, подробных статистических данных и полного списка примеров автор не дает, хотя очевидно, что при 11 примерах окончания *-ия/-ья* на весь достаточно обширный текст Котошихина (превышающий по объему проанализированные фрагменты Уложения) мера унифицированности (число употреблений безродовой флексии *-ие/-ые* в отношении ко всем употреблениям флексий им.-вин. мн.) должна составлять 97—99 %; она оказывается, таким образом, существенно более высокой, чем в Уложении.

Первая глава Котошихина, в которой встречается 8 из 13 случаев употребления флексии *-ия/-ья* во всем памятнике, отличается от остального текста многими лингвистическими характеристиками (ср.: Живов и Успенский 1983) — как морфологическими, так и синтаксическими (несколько употреблений простых претеритов, различные отклонения в именном словоизменении, окказиональный дательный самостоятельный и т. д.). Причины этих отклонений достаточно понятны: автор имел дело с коммуникативными задачами, необычными для канцелярской письменности (историческое повествование, изложение государственного устройства, описание придворного обихода), поэтому его канцелярские письменные навыки оказывались неадекватны коммуникативному заданию, и это

открывало путь для интерференции иного опыта письменного языка — того опыта, которым Котошихин обладал как читатель неделовых текстов (летописей, повестей и т. д.). Этот опыт — в отличие от его канцелярской выучки — не был у него систематическим, поэтому он не переключается на другой регистр письменного языка, а вносит отдельные черты книжных регистров в привычный для него деловой узус. Это и обуславливает различные отклонения от лингвистических норм деловой письменности, к числу которых можно отнести и употребление флексии *-ия/-ья*.

Отклонения эти тем не менее немногочисленны. Перечислю соответствующие примеры. Вин. мн. м. р.: *серебряныя сусуды* (л. 6), *Гсдьския праздники* (л. 15, 21); им.-вин. мн. ж. р.: *греческия цркви* (л. 4), *црския полаты* (л. 15 об.), *иныя ближняя жены* (л. 17 об.); им.-вин. мн. ср. р.: *црковныя одьяниа* (л. 29). За пределами первой главы встречается еще пять примеров: три в им. мн. м. р. во фразе *бывають праздники Гсдьския или иныа нарочитыа и иманинные и родилные и крстилные дни* (л. 215), приводимой А. Пеннингтон, и два в вин. мн. м. р. во фразе *на Гсдския праздники и на иныа нарочитые дни* (л. 68). Статистические данные для первой главы таковы:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	—	3	4	1	8
-ая/-яя	—	—	—	—	—
-ие/-ые	74	18	25	4	121
Всего	74	21	29	5	129

Как можно видеть, даже в этой части мера унифицированности составляет 95,8 %, т. е. существенно выше, чем в Уложении (на 5 %), для котошихинского же текста в целом, в котором первая глава занимает приблизительно восьмую часть, она, видимо, переваливает за 99 %. Флексия *-ия/-ья* может рассматриваться как внеродовая, следовательно, как факультативный вариант флексии *-ие/-ые*; хотя в первой главе из 8 употреблений 7 являются согласованными, т. е. согласованность для флексии *-ия/-ья* составляет 87,5 %, для сочинения в целом она существенно ниже — 69,23 %. При крайне незначительном числе примеров невозможно сказать, чем вызвано отклонение от средней величины: является ли оно результатом слабо выраженной интенции автора к согласованию, носит ли случайный характер, или оказывается следствием преимущественного воспроизведения устойчивых словосочетаний, усвоенных автором из книжной письменности вместе с согласованными окончаниями (хотя порой и транспонированных в «чужой» падеж, ср. *праздники Гсдьския* в им. мн. на л. 215). Во всяком случае характерная для Уложения незатронутость флексией *-ия/-ья* им. мн. м. рода у Котошихина не просматривается, и это может указывать на искусственную стратегию справщиков, вносивших данную флексию в текст Уложения.

Неочевидна и стилистическая значимость употребления «книжной» флексии. Ряд примеров создает впечатление определенной стилистической или, лучше сказать, тематической мотивированности; они так или иначе связаны с религиозной сферой: *праздники Гсдьския, греческия цркви, црковныа одьяниа*. В других

случаях, однако, подобная мотивация отсутствует: *серебряныа сусуды, црския полаты, инья ближняя жены*. При таком распределении говорить о выраженной стилистической интенции явно не приходится. Правдоподобно, однако, что обращение автора к своему опыту книжного языка провоцируется тематикой сообщения, и именно это создает «на выходе» несильную связь между такими формальными элементами, как окончания *-ия/-ья*, и мотивикой текста. И в этом аспекте сочинение Котошихина отличается от Уложения и оттеняет языковое поведение редакторов этого последнего текста как специфическое: для них книжный языковой опыт не есть нечто, призываемое по случаю, а постоянно присутствующий фон, не нуждающийся ни в каком провоцировании и поэтому никак не соотносящийся с мотивикой или стилистикой (что и обуславливает никак не мотивированное употребление флексии *-ия/-ья*). Для справщиков Уложения проблема состояла в том, как от этого опыта отстраниться; такие установки были, понятно, вовсе не характерны для приказных авторов, и именно они обуславливают специфику Уложения на фоне других приказных текстов.

Данный вывод в полной мере подтверждается, если мы обратимся к такой приказной продукции, как Вести-куранты. Данные эти не нуждаются ни в особых комментариях, ни в статистических выкладках, поскольку они полностью однородны: во всех случаях и без всяких отклонений здесь употребляется безродовое окончание *-ие/-ые*. В трех проанализированных нами выборках (Вести-куранты 1983, 13—35, 125—144; Вести-куранты 1996, 72—82) обнаруживается следующее распределение:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	—	—	—	—	—
-ая/-ья	—	—	—	—	—
-ие/-ые	209	24	50	41	324
Всего	209	24	50	41	324

Таким образом, мера унифицированности в Вестях-курантах составляет 100 %, и именно данная ситуация является, надо думать, нормативной для приказного регистра письменного языка¹⁴. На этом фоне формы прилагательных на *-ия/-ья*, встретившиеся в Уложении и у Котошихина, могут интерпретироваться как отклонения от нормы, обусловленные различными факторами: книжными навыками редакторов текста, вторжением элементов книжных регистров под влиянием коммуникативной нестандартности сообщения и т. д. Для приказной нормы как таковой характерна полная унифицированность флексий им.-вин. мн., при которой в качестве единого внеродового показателя выступает окончание *-ие/-ые*, причем эту унифицированность нужно трактовать не как результат непо-

¹⁴ В анализируемых выборках из Вестей-курантов встретилась лишь одна форма, заслуживающая особого упоминания: им. мн. *околничей* (*Цесаревы околничей здѣс дворы саимывают* — Вести-куранты 1996, 75). Субстантивированное прилагательное переосмыслено в данном случае как существительное *jo*-склонения типа *иней*, откуда и форма мн. числа на *-и*; к склонению прилагательных эта форма, понятно, отношения не имеет.

средственного влияния живого (разговорного) языка, а как черту нормализации, присущей данному регистру.

1.4. Бытовой некнижный регистр

Характер унифицированности приказного языка виден из сопоставления деловых текстов с бытовой письменностью, для которой нормализационные установки остаются вполне чуждыми. Отсутствие нормализационных установок делает узус бытовой письменности достаточно размытым и непоследовательным. Известно, скажем, что в новгородских берестяных грамотах система бытового письма представлена в нескольких вариантах (см.: Зализняк 1995, 19—21), в одних вариантах *о* может заменяться на *ѣ*, в других *ѣ* на *о*, в третьих смешение этих букв вообще отсутствует. Вряд ли каждый из этих вариантов возникает *ad hoc*, скорее естественно предполагать разные линии преемственности, т. е. формирование навыков письма на основе преимущественного опыта чтения: пишущий не изобретает свой вариант, а усваивает его (от старшего поколения, своих первых корреспондентов и т. п.). Так же, видимо, обстоит дело с вариативностью форм адъективного склонения в бытовом узусе XVII—XVIII вв.: одни предпочитают флексии *-ия/-ья*, другие *-ие/-ые*, у третьих наблюдается безразличное употребление обоих вариантов. Следует заметить при этом, что определенные выводы о навыках бытового письма у того или иного автора сделать бывает достаточно трудно, поскольку частная переписка состоит из относительно коротких текстов, в которых прилагательные в им. вин. мн. могут встретиться лишь два-три раза. Для того чтобы получить достаточно объемную выборку, приходится объединять письма разных авторов, и это позволяет говорить лишь об общих чертах бытовой письменности, но не о навыках отдельных корреспондентов.

Исследуя эти общие черты, мы выделили три выборки писем XVII — начала XVIII в. из публикаций С. И. Коткова и его сотрудников: письма из фонда Киреевских (Котков и Панкратова 1964, 19—62), письма из фонда Масловых (там же, 79—149) и подборку писем Голицыных, Стрешневых и Михалковых (Котков и др. 1968, 15—43). Статистические параметры в каждой из трех выборок оказались неоднородными (в существенно большей степени, например, чем Уложение в сравнении с сочинением Котошихина), что может объясняться и небольшим объемом выборок (отсюда вероятность существенных случайных отклонений), и содержательными причинами — разными письменными навыками разных групп авторов. Разнородность узуса сама по себе показательна и вместе с тем не исключает отдельных общих характеристических черт, свойственных данному регистру. Приведу данные для каждой из выборок по отдельности. Фонд Киреевских:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	10	2	17	14	43
-ая/-ья	—	—	—	1	1
-ие/-ые	5	2	6	8	21
Всего	15	4	23	23	65

Фонд Масловых:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	10	10	15	38	73
-ая/-ья	—	—	—	2	2
-ие/-ые	17	3	18	26	64
Всего	27	13	33	66	139

Подборка из писем Голицыных и других:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	—	—	—	3	3
-ая/-ья	—	—	—	1	1
-ие/-ые	16	6	24	33	79
Всего	16	6	24	37	83

Как можно видеть, мера унифицированности в трех анализируемых выборках различна. В первой она составляет 32,31 %, во второй — 46,04 %, в третьей — 95,18 %. Высокая мера унифицированности в третьей выборке может объясняться тем, что большинство входящих в нее писем реально писалось, видимо, не самими отправителями, а состоящими при них канцелярскими служащими (на это указывает смена почерка перед указанием адресата письма и спорадические исправления, вносимые в основной текст тем же почерком, которым подписан адресат; почерки в издании, к сожалению, не идентифицированы); если письма писались профессионалами, они, понятно, реализовали свои навыки профессионального письма, и поэтому их письмо соответствовало приказному узусу. Сама приложимость навыков приказного письма к бытовой переписке (ряд писем, впрочем, имеет деловой характер) указывает на отсутствие в данном регистре четкой нормированности, в частности, жесткой связи коммуникативного задания с лингвистическими параметрами: переход к данному регистру не требует смены норм и допускает разные варианты реализации. И в этом случае можно провести аналогию с новгородскими бытовыми берестяными грамотами: хотя большинство из них написано в бытовой системе письма, некоторые реализуют иную правописную разновидность, которую А. А. Зализняк называет «стандартной древнерусской системой» (Зализняк 1995, 3). Очевидно вместе с тем, что в регистре бытовой письменности окончание *-ия/-ья* является не менее приемлемым, чем *-ие/-ые*, и это принципиально отличает бытовой регистр от делового. Суммируя данные трех выборок, находим, что частота флексии *-ие/-ые* в отношении ко всем другим флексиям прилагательных в им.-вин. мн.числа составляет 57,14 %, что значительно ниже относительной частоты данной флексии в любом из приказных текстов.

Бытовые тексты едины в том отношении, что им вполне чужда тенденция к согласованному употреблению окончаний им.-вин. мн., причем если в деловых текстах это выражается в унифицированном употреблении безродовой флексии *-ие/-ые*, то в бытовых текстах согласование игнорируется несмотря на широкое

употребление флексии *-ия/-ья*. Мера согласованности, суммированная по трем выборкам, составляет 16,72 %, что значительно ниже вероятностного ожидания. Согласованное же употребление флексии *-ия/-ья* наблюдается лишь в 36,97 % всех случаев употребления данной флексии, что также существенно меньше вероятностного ожидания (50 %). Стоит отметить при этом, что флексия *-ия/-ья* активно используется в им. мн. м. рода, что противопоставляет данные бытовой переписки данным Уложения и подтверждает тем самым, что наблюдаемый в Уложении феномен обусловлен искусственным решением его редакторов.

Таким образом, флексия *-ия/-ья* выступает в бытовых текстах как безродовая, аналогично тому, как она функционирует в текстах деловых, однако в отличие от этих последних данная флексия оказывается не факультативным вариантом флексии *-ие/-ые*, а ее равноправным вариантом. Понятно, что при таком функционировании флексия *-ия/-ья* никакой стилистической нагрузки не несет и нести не может. Стилистическая нейтральность флексии *-ия/-ья* подчеркивается тем обстоятельством, что она может употребляться рядом с флексией *-ие/-ые* при однородных прилагательных, ср.: *на многиа неисчетные вперед идущия годы* (Котков и Панкратова 1964, 100), *вели бондарырю бочки делат хорошие и крепкия и старья б починиваль* (там же, 112).

Флексия *-ая/-ья* встречается (как и в памятниках делового письма) лишь в исключительных случаях и обычно может рассматриваться как «чужое слово», как элемент, взятый из другого регистра и сохраняющий соответствующие стилистические или тематические коннотации. Так, в письме Т. В. Голицыной к В. В. Голицыну (1677 г.) данное окончание встречается в молитвенном пожелании: *тебя свѣт мои Спас помилуетъ и все желаемая твоя тебѣ дастъ* (Котков и др. 1968, 20); само употребление субстантивированного прилагательного в им. мн. ср. рода указывает на интерференцию книжного узуса. Два других примера фиксируются в письме священнослужителя, попа Ивана, к Ф. Д. Маслову, причем также в молитвенном пожелании: *вѣчна гсду бгу молебщикъ за ваша великая премногая страдания* (Котков и Панкратова 1964, 124); отмеченные формы как бы символизируют профессиональную принадлежность автора. При всем том поп Иван был не слишком грамотен, в письме отражается его акающее и якающее произношение; к числу отражающих аканье форм относится и *великая*, в которой *о* явно стоит на месте *а*. Четвертый случай, в письме И. И. Киреевского некоему Дмитрию Ивановичу, не поддается столь однозначной интерпретации и может быть простой опiskой: *всякая виши помесные дела всеконечно делат* (Котков и Панкратова 1964, 50); на случайный характер формы указывают два однородных определения, получившие обычные некнижные окончания (*ваши, помесные*).

1.5. Факторы, определяющие разнообразие узуса

Таким образом, в разных регистрах письменного языка обнаруживаются разные типы употребления прилагательных в им.-вин. мн. числа. В этом плане цитировавшееся в начале главы рассуждение Б. Г. Унбегауна о том, что после обобщения флексии *-ие/-ые* словоизменение прилагательных в им.-вин. мн. числа не требует никаких комментариев, кажется несколько легковесным. Так можно было бы сказать лишь о стандартном регистре книжного языка, в котором под-

держивается тот узус, который был запечатлен в основном корпусе книжных текстов (Св. Писания и богослужения) как он оформился на восточнославянской почве еще в древнейшую эпоху. И здесь, впрочем, определенная динамика имела место, хотя ее эксплицитные проявления были минимальными. Я имею в виду переход от той ситуации, когда книжная система словоизменения легко соотносилась с некнижной и поддержание книжного стандарта обеспечивалось простым соотносением в именных флексиях «некнижного» **Ѣ** с «книжным» **Ѧ**, к иному состоянию, когда механизм такого соотношения больше действовать не мог (в силу изменений в живом языке) и книжная норма стала опираться на правила чисто морфологического характера, требующие определения рода и падежа определяемого существительного.

Правила выбора флексии были, конечно, достаточно простыми, и квалифицированные книжники в целом неплохо справлялись с задачей, однако два ряда фактов возникали как следствия новой ситуации. С одной стороны, ориентация на правила (а не на более древний текст) приводила к устранению не подпадавших под правила форм южнославянского происхождения (как мы это видели при сопоставлении различных изданий славянской Библии). С другой стороны, книжники окказионально употребляли «неправильные» формы — в тех специфических случаях, когда возникали трудности в применении правил: либо в определении рода определяемого существительного, либо в определении его падежа. Эти отступления от нормы сами по себе указывают на то, что в стандартном книжном регистре употребление форм прилагательных определялось, во-первых, императивностью согласования, а, во-вторых, выдержанной нормирующей установкой, исключавшей вариативность форм с тождественным значением.

Тексты гибридного регистра также были опосредованно ориентированы на стандартные книжные памятники, поэтому принцип согласования оставался для них актуальным. При этом, однако, в отличие от пользователей стандартного регистра, авторы гибридных текстов не испытывали антипатии к вариативности. В силу этого они могли интерпретировать известные им примеры «неправильного» употребления как часть преемственно воспроизводимого узуса, как образцы вариативности, которые могут быть распространены на новые случаи. При подобном механизме восприятия вариативность в гибридных текстах может возрастать от одного поколения книжников к другому (хотя, конечно, это не однолинейный процесс), причем из двух сосуществующих вариантов один может пониматься как согласованный, а другой как несогласованный. Так, например, могут интерпретироваться разные флексии у однородных прилагательных.

Сама потенциальная возможность несогласованных флексий создает условия для усвоения гибридным узусом некнижной безродовой флексии *-иѣ/-ые*; это и происходит предположительно в XVI в., и ничто не препятствует в дальнейшем более интенсивному использованию данного варианта. Распространению этой флексии мог способствовать в дальнейшем ее «межрегистровый» характер, позволявший пишущему отвлекаться от соотношения употребляемых им морфологических элементов и коммуникативного задания текста. Вместе с тем как безродовая может переосмыслиться и флексия *-иѣ/-ыѣ*. Принцип согласования в этой ситуации реализуется флексиями *-иѣ/-ыѣ* и *-аѣ/-яѣ*. Эти моменты и определяют характерные черты гибридного узуса XVII в.

Терпимость к вариативности характерна не только для гибридного узуса, но и для узуса бытовой письменности; здесь авторы, понятным образом, стремятся прежде всего сообщить необходимую сиюминутную информацию, при том что информативная избыточность обычно высока и поэтому большая часть грамматической информации является по существу факультативной. Это не означает, конечно, что узус бытовой письменности беспорядочен и безразличен к традиции, здесь также вырабатывается свой особенный этикет и преемственно воспроизводимые формуляры, однако в области форм исходные коммуникативные условия оказываются благоприятны для вариативности, поэтому она здесь утверждается и получает развитие. Безродовая флексия *-ие/-ые* получает в данной письменной традиции самое широкое распространение, однако наряду с ней и в разном с нею числовом соотношении употребляется, также в качестве безродовой, флексия *-ия/-ья*. Неясно и требует дальнейшего исследования, является ли флексия *-ия/-ья* в данном своем употреблении заимствованием бытовой письменности из гибридного регистра или это употребление развивается в ней независимо, однако потенциал вариативности реализуется за счет сосуществования двух данных флексий в полной мере. В отличие от гибридных текстов, тексты бытовые на книжную традицию не опираются и поэтому остаются чуждыми согласовательной интенции. Флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* в них практически вообще не встречаются, единичные же случаи их употребления естественно трактуются как элементы «чужой» речи.

Так обстоит дело и в текстах делового регистра, однако в них обнаруживается стремление к унификации, исключающее вариативность. На роль унифицированного окончания прилагательных им.-вин. мн. могут, в принципе, претендовать флексии *-ие/-ые* и *-ия/-ья*, выбор в пользу первой из них едва ли нуждается в объяснении, хотя его легко связать с тем фактом, что в период формирования приказной нормы эта флексия в книжном языке (в том числе и в гибридном регистре) еще не функционирует как безродовая и, соответственно, не может быть заимствована в этом качестве. С флексией же *-ие/-ые* никаких проблем не возникает. Было бы опасно, вообще говоря, преувеличивать унифицированность приказного узуса, игнорируя существенно иной характер нормирования в стандартном книжном языке и в языке деловом. В XVII в. нормирование книжного стандарта, осуществлявшееся прежде всего в деятельности типографских справщиков и определявшее этот стандарт с помощью печатной продукции, основывалось на выработанных правилах и активно используемых грамматических пособиях.

Нормирование в сфере приказного языка имело иной характер, оно передавалось как профессиональный навык московских приказных служителей, отсюда вместе с исходящими из московских приказов бумагами распространялось в провинции, приобретая, видимо, вместе с навыками приказной скорописи значимость признака профессионального статуса. В такой ситуации нормирование не могло быть чересчур жестким, исключавшим всякую немотивированную вариативность, оно явно не связывалось, как в случае книжного стандарта, с религиозными ценностями. Появление флексии *-ья/-ия* в Уложении 1649 г. никто не мог воспринять как знак еретических заблуждений. Тем более показательно, что такого рода отклонения от нормы оказываются в целом исключением. Так, конечно, происходит не со всеми морфологическими вариантами. Однако унификация

окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа оказывается, видимо, достаточно тривиальным делом, и узус, исключаящий любые окончания, кроме *-ие/-ые*, преимущественно воспроизводится в приказной среде без всяких отклонений — кроме тех случаев, когда замкнутость этого узуса оказывается нарушена в силу причин экстралингвистического характера. Таким образом, приказному регистру свойственно то же равнодушие к согласованию, как и регистру бытовому, однако в нем обнаруживается нормирующая установка, аналогичная (хотя и не тождественная) той, которая присутствует в традиции стандартного книжного языка.

Обобщая наши наблюдения над факторами, определяющими разнообразное употребление прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа в разных регистрах письменного языка XVII в., можно представить их в виде следующей таблицы:

	Наличие согласовательной интенции	Отсутствие согласовательной интенции
Наличие нормирующей установки	Стандартный книжный регистр	Некнижный деловой регистр
Отсутствие нормирующей установки	Гибридный книжный регистр	Некнижный бытовой регистр

2. История форм прилагательных в им.-вин. мн. числа в период формирования нового литературного языка

Начавшаяся в Петровскую эпоху реформа языка ставила перед пишущими задачу писать на «новом» гражданском языке, однако каким должен стать этот язык, поначалу оставалось неясным. В производство новых «культурных» текстов были вовлечены люди с разным лингвистическим опытом, преобразовавшие свои наследственные языковые навыки в самом процессе языковой реформы. Им нередко приходилось заниматься не своим делом, т. е. создавать тексты с коммуникативным заданием, не соответствовавшим тому, к которому они привыкли. С одной стороны, этот разлад между коммуникативными заданиями и традиционными способами их реализации был закономерным шагом на пути к полифункциональности нового языка, с другой — именно в употреблении морфологических вариантов, основывавшемся ранее на преемственности навыков, он создавал хаотический разнобой, противоречивший функциям нового языка как универсального стандарта. Действительно, первые печатные издания гражданского шрифта оказываются весьма разнородны по своим морфологическим характеристикам.

2.1. Смещение регистров и типы употребления форм им.-вин. мн. в Петровскую эпоху

Первой книгой, напечатанной гражданским шрифтом, была «Геометрія славенскї семлемѣрїе» (Геометрия 1708). Никакой филологической задачи — задачи создания нового языкового стандарта — переводчик перед собою не ставил. Хотя книга написана по-русски, а не по-церковнославянски, т. е. продолжает традиции

старого книжного языка, преобразование этого языка в новый языковой стандарт вряд ли входило в замыслы ее переводчика Якова Брюса. Статистические параметры этого текста не слишком показательны, поскольку громадное большинство употребленных в нем прилагательных во мн. числе относится к ж. роду, формы же м. и ср. рода представлены весьма ограниченно:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	11	8	162	—	181
-ая/-ья	—	—	—	4	4
-ие/-ые	8	2	67	1	78
Всего	19	10	229	5	263

Некоторые выводы все же могут быть сделаны. Более всего эти данные напоминают параметры книжного бытового регистра типа тех, которые мы наблюдали в письмах из фонда Киреевских. Безродовая флексия *-ие/-ые* употребляется в данном тексте в 29,66 % случаев, что указывает на ее полную приемлемость для данного узуса. Вместе с тем родовые флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* вообще не встречаются, если не считать четырех появлений *-ая/-ья* в устойчивом (лексикализованном) контексте — *i прочая* (с. 5 [bis], 13, 24). Впрочем, в одном из экземпляров издания 1708 г. имеется один пример употребления флексии *-ая/-ья* в ином контексте: *всякая сданя* (с. 233)¹⁵. Флексия *-ия/-ья* формально могла бы рассматриваться как употребляющаяся согласованно, поскольку в 93,92 % случаев она появляется у прилагательных в вин. мн. м. рода и им.-вин. мн. ж. рода. Высокое значение этого параметра, однако, целиком обусловлено тем, что в тексте диспропорционально представлены прилагательные ж. рода, так что нет оснований приписывать составителю данного текста согласовательную интенцию¹⁶. Столь же чужда ему и нормирующая установка, вариативность остается конститутивной чертой наблюдаемого в данном тексте узуса, на что указывают и случаи употребления однородных прилагательных с разными окончаниями, ср.: *прочие разносторонняя фигуры* (с. 27), *двѣ равныя дуги (...)* *которыя* (51 [bis], 53,

¹⁵ Рукопись Предисловия, не вошедшего в издание 1708 г. (см. ниже), отчасти восполняет недостаток примеров им.-вин. мн. ср. рода, указывая на то, как реализовалась эта форма в анализируемом узусе, см. здесь: *подлинныя мѣста* (РГАДА, ф. 381, № 1006, л. 4), *великия владѣнія* (л. 4 об.), *крѣпкія же мѣста* (л. 5). И для им.-вин. мн. ср. рода флексии *-ия/-ья* и *-ие/-ые* выступают как равноценные варианты.

¹⁶ Формально влияние данной диспропорции на статистические параметры видно из расхождения меры согласованности, вычисленной без учета веса отдельных классов, и меры согласованности, вычисленной с учетом этого фактора, ср. о соотношении этих двух мер выше при обсуждении статистических параметров Уложения 1649 г. (примечание 12), в котором существенного расхождения между ними не обнаруживается. В «Геометрии» мера согласованности без учета веса отдельных классов составляет 66,16 %, тогда как более тонкая мера (среднее арифметическое от пропорции согласованных флексий в каждом из четырех разрядов) равна 57,68 %. Расхождение статистически значимо и указывает на зависимость формально согласованных употреблений от большого веса класса прилагательных им.-вин. мн. ж. рода с флексией *-ия/-ья*.

59, 61, 91, 93), *дѣѣ равныя великія дуги* (...) *которыя* (с. 113), *дѣѣ равныя дуги* (...) *которыя* (с. 187 [bis]), *дѣѣ среднія пропорціональныя лініи* (с. 209). Такой тип письма вполне естественно ожидать от Якова Брюса, который не обладал, надо думать, ни опытом книжника, ни письменными навыками приказного служащего.

История этой книги, излагавшаяся выше (см. § П.2; см. там же и принятые нами обозначения редакций), представляет интерес и для реконструкции преобразований, коснувшихся изучаемых форм прилагательных. В этом плане любопытные данные обнаруживаются прежде всего при сравнении рукописи сделанного Я. Брюсом перевода (обозначаемой буквой **А** с указанием листа)¹⁷ и кавычного экземпляра издания 1725 г. (обозначаемого литерой **Г** с указанием страницы), а также при сопоставлении рукописи с первым изданием 1708 г. (обозначаемым литерой **Б** с указанием страницы).

Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа во всех четырех вариантах текста (помимо трех указанных редакций рассматривается также издание 1709 г., обозначаемое буквой **В**) в подавляющем большинстве случаев совпадают, и это указывает на отношение петровских справщиков к нормализации морфологии: они этим, как правило, не занимаются (здесь не следует смешивать нормализацию морфологии с изменением характера языка, отложившимся в наборных экземплярах «Географии генеральной» и «Библиотек» Аполлодора, см. Приложение I) и поэтому формы прилагательных в им.-вин. мн. не унифицируют. Отдельные расхождения, тем не менее, имеют место и заслуживают нашего внимания.

Наибольшее количество расхождений наблюдается в Предисловии, однако Предисловие имеется лишь в двух из четырех рассматриваемых текстов — в рукописи (**А**) и кавычном экземпляре для издания 1725 г. (**Г**). Сопоставление этих двух текстов позволяет приписать справщику, готовившему последний из них, определенную интенцию. Он достаточно часто заменяет флексию *-ия/-ья* на *-ие/-ые* — вне зависимости от рода прилагательного. Приведу полный список примеров:

А		Г	
4	мѣдрья (им. мн. м.)	7	мудрые
4 об.	во ихъ подлинныя рѣбежи	8	подлі́нные
5	различныя сильныя воин'скіе махины	9	разлі́чные сі́льные воі́нскіе
6	сосѣдственныя пашни	11	сосѣдственные
6	порубежныя знаки (им. мн.)	11	порубежные
6	полевья примѣты	11	полевые
6	мѣжавья рвы (им. мн.)	11	межевые
6	немалья споры (им. мн.)	11	не малые
6	оныя (им. мн. ж.)	11	оные

Эти десять примеров из предисловия приходятся на десять же примеров, в которых флексия *-ия/-ья* оставлена без изменения (никакой зависимости от рода и

¹⁷ Эта рукопись содержит собственноручную правку Петра, которая, как уже говорилось, практически не затрагивает морфологические параметры текста, так что выяснить отношение великого преобразователя к занимающему нас вопросу о прилагательных во мн. числе не представляется возможным.

падежа прилагательного не просматривается, ср.: А2, им. мн. м. р. *оныя*, Г3 *оныя*; А4, вин. мн. м. р. *часы солнчныя*, Г7 *часы солнечныя*; А2 об., им.-вин. ж. р. *великия мѣдныя пушки ѿ мартыры которыя*, Г5 *велікія мѣдныя пушки ѿ мартіры которыя*), и на пять случаев, в которых встречается флексия *-ие/-ые*, которые также остаются без изменения (и здесь не видно зависимости от рода и падежа, ср.: А4 об., им. мн. м. р. *желающие*, Г8 *желающіе*; А3 об. *прочіе части*, Г6 *прочіе*; А5 *крѣпкіе мѣста*, Г9 *крѣпкіе мѣста*). Таким образом, последовательности в этой правке нет, однако ясно выраженная направленность в ней присутствует, причем произведенные исправления существенно меняют статистические характеристики текста (имею в виду предисловие): флексия *-ие/-ые* употреблялась в 20 % случаев (что близко к параметрам рукописи в целом, равно как и к ее воспроизведению в издании 1708 г., рассматривавшемся выше), а стала употребляться в 60 % случаев; это, конечно, не делает ее унифицированной, однако меняет тип узуса.

Основная часть текста в издании 1725 г. набиралась, как мы видим по экземпляру В, не по рукописи, а по предшествующему изданию 1709 г. (которое без особых перемен воспроизводило издание 1708 г.). Можно даже думать, что был использован набор 1709 г. В этой части справщик, готовивший издание 1725 г., существенных изменений не делал, относясь, видимо, по-разному к рукописи и к тому, что уже было однажды напечатано. Работая с основной частью, он практически никаких изменений в формы прилагательных не вносит. Единичные исключения находим в следующих примерах: А59 об. *двѣ равныя великия дѣги которыя*, Б113 то же, В118 то же, Г118 *которыя*; А92 *двѣ равныя дѣги которыя*, Б187 то же, В193 то же, Г118 *которыя*. Эти единичные исправления разнонаправлены, первое из них идет в ином направлении, нежели правка в предисловии; в принципе они могут рассматриваться как случайные, если только не думать, что справщика последней копии могли порой задевать разные окончания у однородных прилагательных (впрочем, множество таких случаев никакой правке не подвергается).

Кое-какую правку в формы прилагательных в им.-вин. мн. числа вносил и справщик, готовивший первое издание 1708 г., как видно из сопоставления этого издания с рукописью. Однако эти исправления имеют спорадический характер и — в отличие от того, как обстояло дело при редактировании Предисловия, когда готовилось издание 1725 г., — практически не меняют статистических параметров в целом. Исправления идут в основном в одном направлении: флексия *-ия/-ья* заменяется на флексию *-ие/-ые*, хотя и случаи обратной правки, когда флексия *-ие/-ые* заменяется на флексию *-ия/-ья*, также встречаются, см. следующие примеры:

А		Б	
9	всякіе крѣговыя дѣги	5	всякіе круговые
18 об.	равныя углы (вин. мн.)	23	равные
41	2 дѣги которыя	71	которые
44	двѣ данныя линіи	77	данные линии
59	двѣ равныя дѣги которыя	111	равные дуги которые
80 об.	углы, которыя (им. мн.)	157	которые

А		Б	
85 об.	на пять равные доли	171	равныя долі ¹⁸
86 об.	прямые линѣи	173	прямыя лінеі
91	другіе прямыя линѣи	185	другіе прямыя лінеі
92	двѣ равныя дѣги которыя	187	равныя дугі которыя
92	сквозь прорѣзательныя точки	187	прорѣзательныя
112	двѣ равныя доли	227	равныя

Стоит отметить, что единственный случай согласованного употребления флексии *-ая/-яя*, отмечавшийся выше, обязан своим появлением именно редактору, готовившему издание 1708 г.: **A115 всякия зданія** соответствует **B233 всякая зданія**, воспроизводимые в позднейших экземплярах (**B238, Г238**). Эти несколько исправлений приходится на десятки случаев, когда формы рукописи как с флексиями *-ия/-ья*, так и с флексиями *-ие/-ые* воспроизводятся в издании 1708 г. без всяких изменений; по статистическим параметрам издание 1708 г. (статистические данные см. выше) от рукописи значимым образом не отличается. Тексты **В** и **Г** стереотипно повторяют формы, содержащиеся в издании 1708 г. Мне удалось обнаружить лишь немногие исключения: **A59 двѣ равныя дѣги которыя**, **B111 равныя дуги которыя**, **B116 равныя дуги которыя** (**Г116** повторяет **B116**); **A104 прямыя** [почерком Петра], **которыя**, **B211 прямыя**, **которыя**, **B217 прямыя**, **которыя** (**Г217** повторяет **B217**); **A119 об. прорѣзательныя точки которыя**, **B245 прорѣзательныя точки которыя**, **B250 прорѣзательныя точки которыя**, (**Г250** повторяет **B116**).

Что можно сказать на основании этих данных о языковом сознании справщиков? Прежде всего они явно не озабочены проблемой нормализации, они оставляют без существенных изменений ту вариативность, которую они находят в редактируемых ими рукописях. В этом отношении рассматриваемые данные свидетельствуют о том же отношении к вариативности по признакам, не релевантным для противопоставления книжных и некнижных регистров, что и правленные рукописи Петровской эпохи (такие как «География генеральная»), в которых признаки книжности подвергаются относительно последовательной правке, а вариативность по нерелевантным признакам остается не затронутой целенаправленным преобразованием (см.: Живов 1996, 105—110). Вместе с тем у каждого из справщиков есть собственные письменные навыки. В условиях языковой реформы, когда традиционная соотношенность коммуникативного задания и определенного узуса оказывается разрушенной, они не придают этим навыкам статуса нормы. Однако окказионально они вносят в редактируемый текст изменения, приближающие его к привычному для них узусу. Интенсивность таких изменений всегда не велика и колеблется в зависимости, надо полагать, и от характера редактируемого текста (например, как мы видели, от того, является ли он рукописью или предшествующим изданием книги), и от квалифицированности справщика и его уверенности в себе, и, возможно, от иных частных факторов. Во всех случаях, тем не менее, вариативность остается не устраненной и никакой унифицированный узус не возникает.

¹⁸ Данные формы без изменения воспроизводятся в экземпляре **B177**; в экземпляре **Г177**, однако, исправлена вся конструкция: *на пять равныхъ доль*.

Если исходный текст «Геометрии славенски землемерия», вышедший из-под пера Я. Брюса, сходен по своим параметрам с текстами бытового регистра, другие издания гражданского шрифта могут иметь в качестве основы иные письменные традиции. Некоторые из них, явно не делового содержания, носят отпечаток языковых навыков делового регистра, универсальной в них оказывается флексия *-ие/-ые*. Таков, например, перевод книги Буйе в издании 1713 г., сделанный переводчиком Посольского приказа Борисом Волковым (Буйе 1713; ср.: Пекарский, НЛ, I, 224—225):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ыи	—	—	—	—	—
-ия/-ыя	1	3	5	7	16
-ая/-яя	—	—	—	1	1
-ие/-ые	58	30	133	53	274
Всего	59	33	138	61	291

Употребление безродовой флексии *-ие/-ые* составляет здесь 94,16 %, пропорция согласованных употреблений — 3,09 %. Пропорция согласованных употреблений флексии *-ия/-ыя* равна 50 %, что указывает на функционирование данной флексии как безродовой. Таким образом, в данном тексте употребляются две безродовых флексии *-ие/-ые* и *-ия/-ыя*, причем вторая из этих флексий выступает как дополнительный вариант к первой. «Родовые» флексии, т. е. *-ии/-ыи* и *-ая/-яя* вообще не употребляются за единственным исключением, фиксируемом в субстантивированном прилагательном *прочая* (Буйе 1713, 103). Флексия *-ия/-ыя*, выступая как дополнительный вариант, никакой стилистической функцией не обладает, как это явствует из дающихся ниже примеров: *послѣдѹа разнымъ поворотамъ, которыя воды чинять* (с. 11); *между всѣхъ сіхъ протѣвности, суть двѣ начальные, которыя приносятъ* (с. 3—4); *чрезъ два другія ряда* (с. 15); *чрезъ водопаденія быстрыя* (с. 29); *многія споможенія къ единой препонѣ* (с. 57); *земли двѣжїмыя* (с. 59); *прїстанїща морскія* (с. 99) и т. д. Вариативность как таковая не беспокоит переводчика, так что нередки случаи, когда прилагательные с разными окончаниями выступают в качестве однородных определений, ср.: *опїсанія совершенные и ученые* (там же, Предисл., л. 1); *нїзкія мѣста, которые* (с. 4); *деревьа, иногда долге или короткіе и толстые или тонкія* (с. 17); *жїлы песошныя, її земляныя, сѣло твердыя* (с. 23).

Распределение окончаний в книге Буйе более всего напоминает приказную традицию, прежде всего такие тексты, как Уложение 1649 г. или сочинение Котошихина (см. выше, § IV.1.3); аналогию можно видеть даже в минимальном (один случай) употреблении флексии *-ия/-ыя* в им. мн. м. рода. Представляется вероятным, что перевод этого текста с определенными отклонениями воспроизводил тот узус, который был традиционным для переводчиков Посольского приказа и который известен нам по данным Вестей-курантов. Появляются ли флексии *-ия/-ыя* в результате вмешательства типографских работников (как мы это предполагали для Уложения) или оказываются следствием определенной растерянности пишущего, столкнувшегося с несколько необычным коммуникативным заданием и в силу этого отступающего от нормирующей установки, остается не-

ясным, однако в любом случае связь с приказной традицией просматривается без труда. На связь с приказной традицией, размытую, впрочем, необычным коммуникативным заданием, указывают и другие формы прилагательных; так, основной флексией им. ед. м. рода оказывается *-ой/-ей*, употребляющаяся приблизительно в 90 % случаев.

Узус, наблюдаемый в книге Буйе, — это лишь одна из возможностей приспособить морфологию прилагательного к задачам языковой реформы. Сам по себе приказной узус в качестве основы нового литературного языка не выступал, поскольку был слишком тесно связан с коммуникативными задачами канцелярской документации. Тексты иного содержания требовали прежде всего иного синтаксического и риторического устройства, и их морфологическая организация не могла последовательно поддерживать те характеристики, которые ассоциировались с регистром, основанным на иных коммуникативных, риторических и синтаксических параметрах. В этом плане вполне показательны данные «Юности честного зеркала» (Юности честное зеркало 1717 — анализировалась основная «русская» часть этого издания, без «Нравоучений от Священного Писания по алфавиту избранных», которые, понятно, обнаруживают совсем иные лингвистические характеристики):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	33	4	29	10	76
-ая/-ья	—	—	—	1	1
-ие/-ые	2	—	—	1	3
Всего	35	4	29	12	80

Как можно видеть, согласовательная интенция столь же чужда составителям этого текста, как Якову Брюсу или переводчику книги Буйе, пропорция согласованных употреблений составляет здесь 42,5 %, что, конечно, кардинально отличается от данных предшествующего текста (3,09 %), однако отличие это целиком обусловлено тем, что в качестве безродовой употребляется здесь флексия *-ия/-ья*, а не *-ие/-ые*. Когда мы имеем дело с этой флексией, автоматически рассматриваемой как согласованная при употреблении ее с существительными в вин. мн. м. рода и им.-вин. мн. ж. рода, отсутствие согласовательной интенции выражается в том, что пропорция согласованных употреблений составляет приблизительно половину; в разбираемом случае она равна 43,42 %.

Употребление этой флексии в существенной мере унифицировано, мера унифицированности составляет 95 %, так что можно сказать, что наблюдаемое распределение сходно с проанализированным выше (в книге Буйе) — с тем лишь отличием, что основным вариантом оказывается здесь флексия *-ия/-ья*, а не *-ие/-ые*. Отклонения встречаются лишь в четырех случаях. В одном из них употреблена согласованная флексия *-ая/-ья*: *хотяи прічастнікомъ быти Царстію Божію, и вніти во врата небесная...* (с. 82); данное употребление несомненно стилистически значимо и может рассматриваться как индуцированное и мотивирующей предложением, и собственно лингвистическим контекстом (ср. причастие *хотяи*), актуализирующим книжные трафареты. Употребление безродовой флексии

-ие/-ые, напротив, никак стилистически не обусловлено, ср.: *младые отроки не должны носомъ храпѣть* (с. 19), *другіе его ровестніки за разумнаго его почитать будутъ* (с. 34), *безчестныя слова, которые не токмо благочінны (sic!) дѣвѣцамъ, но и благочіннымъ мужчінамъ досадаютъ* (с. 66).

Широкое употребление безродовой флексии *-ия/-ья* при отсутствии родовых флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* в наибольшей степени напоминает узус бытовой письменности предшествующей эпохи, однако там, как мы видели, употребление этой флексии существенно менее унифицировано. Степень унификации в «Юности честном зерцале» сходна с той, которая характерна для стандартного церковнославянского или для делового регистра, и указывает на нормирующую установку составителей. Таким образом, в данном тексте сочетается, как в приказной традиции, отсутствие согласовательной интенции и наличие нормирующей установки, однако в качестве нормативного избирается не окончание *-ие/-ые*, а окончание *-ия/-ья*. Такой узус является безусловной инновацией, свидетельствующей о том, что пишущие, создавая текст, который должен соответствовать новому языковому стандарту, и одновременно создавая самый этот стандарт, не следуют ни одной из сложившихся разновидностей некнижного узуса, а конструируют новый узус, отталкивающийся от наличных некнижных традиций и усваивающий ряд элементов книжного узуса¹⁹. Унифицированность этого нового узуса показывает, что его характеристикам придается нормативное значение.

Данный вариант построения новой нормы не утверждается, однако, в языковой практике Петровской эпохи, а остается существовать как один из опытов упорядочения того разнообразия, которое возникало в результате смешения письменных традиций, разнесенных ранее по разным регистрам. Как уже говорилось (см. Введение, § 2), книжные предприятия поручались в этот период лицам с разными языковыми навыками, и приспособление этих навыков к новой языковой политике давало весьма разнородные результаты. Образцом такого приспособления может служить история перевода «Географии генеральной» Бернарда Варения. Перевод был сделан Федором Поликарповым и отредактирован Софронием Лихудом, т. е. справщиками, обладавшими многолетними навыками книжного письма. Первоначальный перевод соответствовал традициям гибридного регистра, и лишь вмешательство царя побудило переделать его, устранив из текста «признаки книжности» (см. об истории перевода: Живов 1986; Живов 1996, 91—96). Словоизменение прилагательных эта редакция практически не затрагивала, и это означает, что интересующее нас распределение флексий в им.-вин. мн. числа сохраняло характерные черты гибридного узуса. Таким образом, свойственное гибриднему регистру распределение входит составной частью в то исходное разнообразие, которое присуще формирующемуся в этот период новому литературному языку.

¹⁹ На такого рода конструирование указывает и небольшая нормализующая правка, имеющаяся в наборной рукописи «Юности честного зеркала» (РГАДА, ф. 381, № 1021). Об этом говорят такие замены, как *другова* на *другаго* 14 об., *ево* на *его* 17 об. [bis], *в страхе* на *въ страсъ* 21 об. (то же — 23 об.), *должны* на *должны* в им. мн. (л. 1). Справщики стремятся избавиться от отдельных элементов, характерных для некнижного узуса, и заменить их на элементы, символизирующие «грамотность» нового текста.

Действительно, наследие гибридного узуса с очевидностью обнаруживается при обращении к данным «Географии генеральной» (Варений 1718; анализировались две выборки, с. 1—70 и с. 337—356):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	39	—	1	—	40
-ия/-ья	88	34	77	13	212
-ая/-ья	—	—	—	74	74
-ие/-ые	176	15	74	35	300
Всего	303	49	153	122	626

Параметры этого распределения весьма схожи с теми, которые мы наблюдали, например, в Летописце 1619—1691 гг. (см. выше, § IV.1.2). В «Географии генеральной», правда, несколько шире представлена безродовая флексия *-ие/-ые*, ее употребление составляет 47,92 % (в Летописце 1619—1691 гг. пропорция ее употребления равна 31,82 %), однако данный параметр не выходит за рамки того, что мы наблюдаем в гибридных текстах конца XVII в. (ср. вторую часть Мазуринского летописца, в котором аналогичный параметр равен 57,48 %). Согласовательная интенция присутствует в анализируемом тексте вполне зримо, пропорция согласованных употреблений — 35,78 %; что касается употребления «родовых» флексий, то здесь согласование присутствует в 68,71 % случаев, что несколько выше, чем во второй части Мазуринского летописца (63,32 %); по этому параметру «География генеральная» сходна с Летописцем 1619—1691 гг. (69,52 %), что, надо думать, отражает отменную грамматическую выучку книжников, готовивших к изданию книгу Варения; они, видимо, пытались приблизить гибридный узус к привычным им нормам книжного стандарта — по крайней мере, в области словоизменения прилагательных, не соотносившейся с задачей устроительства «простого» языка. Особенно показательно в этом плане употребление флексий *-ая/-ья* и *-ии/-ьи*: флексия *-ая/-ья* всегда употребляется согласованно, причем лишь в четверти случаев в субстантивированных прилагательных, флексия *-ии/-ьи* в несогласованном употреблении встречается лишь в одном случае при дистантном расположении прилагательного по отношению к определяемому им существительному (*И сія мѣры доволны суть къ нынѣшнему географскому употребленію, но и иньи придати надлежитъ...* — Варений 1718, 15).

Обе флексии — *-ие/-ые* и *-ия/-ья* — функционируют как безродовые, для флексии *-ия/-ья* пропорция согласованных употреблений составляет 52,36 %, что близко к пятидесятипроцентному уровню случайного распределения. Стоит заметить, что в данном отношении текст неоднороден, в первой выборке согласованное употребление флексии *-ия/-ья* наблюдается в 75,68 % случаев; можно полагать, что стремление употреблять данную флексию согласованно покидало составителя по мере продвижения работы. Если обратиться к корректурному экземпляру (РГАДА, ф. 381, № 1008) и взглянуть на правку, которая вносилась Софронием Лихудом, можно заметить, что флексия *-ия/-ья* используется в довольно многочисленных случаях замены окончания им.-вин. мн. ср. рода: *сочиненаа* → *сочиненыа* (л. 67 об.), *малаа* → *малыа* (л. 237 об., 323 об.), *нѣкая* → *нѣкыя* (л. 268, 307, 309 об. [bis], 321 об. [bis], 322), *общая* → *общія* (л. 268), *собст-*

венная и единакѣ → *собственныя* (л. 268), *крѹглая* → *крѹглыя* (л. 307), *таковая* → *таковыя* (л. 321), *многая* → *многия* (л. 321 об.), *оная* → *оныя* (л. 322, 575, 656 об. [bis], 812, 820), *великая* → *великѣя* (л. 323 об.), *ха^тдейская* → *ха^тдейскѣя* (л. 347), *бли^жняя* → *бли^жнѣя* (л. 424), *нагорная* → *нагорныя* (л. 640), *земная* → *земныя* (л. 812). В этих случаях флексия *-ия/-ья* употребляется как безродовая, причем употребляется в этом качестве явно сознательно, в силу того что согласованная родовая флексия *-ая/-ья* воспринимается как черта более книжного узуса, чем тот, которому должен следовать Софроний, флексия же *-ия/-ья* так не воспринимается именно в силу того, что может рассматриваться как «безродовая»²⁰.

Обращение к правке Софрония позволяет сделать и вывод о том, что флексия *-ие/-ые* могла восприниматься как несколько более подходящая для нового узуса, чем флексия *-ия/-ья*, иными словами, что вторая из этих флексий функционировала как своего рода дополнительный вариант к первой. Так, при замене флексий им. мн. м. рода в качестве заменяющего варианта выступает именно *-ие/-ые*. Примеров таких замен немного, однако показательно, что замене может подвергаться не только флексия *-ии/-ьи*, но и флексия *-ия/-ья*, ср.: *пре^жднѣи* → *пре^жднѣе* (л. 68 об.), *которыи* → *которые* (л. 74 об., 106), *нѣцѣи* → *нѣкѣе* (л. 94 об., 353, 516 [ter]), *древнѣи* → *древнѣе* (л. 330), *инѣи* → *иные* (л. 400, 400 об. [bis], 403); и вместе с тем: *нѣкоторыя* → *нѣкоторые* (л. 70 об.), *простыя и неѹченыя* → *простые и неѹченые* (л. 116), а также: *множайшѣя* → *многѣе* (л. 441 об. [bis]), *премногѣя и... преславнѣи* → *премногѣе и... преславные* (л. 446)²¹. Не менее характерно, что в последовательностях однородных прилагательных с разными окончаниями (свидетельствующими о терпимом отношении составителей к вариативности) одним из окончаний всегда оказывается *-ие/-ые*, ср.: *своѣства... оная, которыя*

²⁰ Нельзя исключить, конечно, что Софроний флексия *-ия/-ья* привлекает в качестве замены потому, что перечеркивать в этом случае приходится только одну букву, тогда как при замене на *-ие/-ые* пришлось бы заменять две буквы. Однако сама возможность таких соображений говорит о том, что статус флексии *-ия/-ья* принципиально не отличается от статуса *-ие/-ые*.

²¹ Громадный объем внесенных Софронием Лихудом исправлений говорит о том, что он решает поставленные перед ним филологические задачи куда более сознательно, чем справщики, имевшие дело с «Геометрией славенски землемерием» (см. выше). Тем не менее в части именного словоизменения его правка достаточно непоследовательна и несистематична (см.: Живов 1986, 255—258), и это указывает на сходство его языкового сознания с тем, которое мы реконструировали для справщиков «Геометрии». Не обходится без противоречащих примеров и в разбираемых нами случаях, ср.: *иные* → *инѣи* (л. 434 об.), *началнѣ^ише* → *началнѣи* (л. 495 об.). Непоследовательность правки, т. е. то, что она спорадична (Софроний принимается за нее как бы приступами, так что она сосредоточена в нескольких местах обширной рукописи) и покрывает лишь очень небольшую часть релевантного материала, говорит о второстепенности склонения прилагательных для формирования нового узуса (в отличие, скажем, от куда более последовательного устранения простых претеритов, см. Приложение I). Противоречащие примеры свидетельствуют о том, что формирование нового узуса наталкивалось в этой сфере на сложившиеся у данного круга книжников навыки книжного письма, которые им приходилось насильственно преобразовать. Тем не менее разобранные примеры дают представление о том, как в кругу Федора Поликарпова воспринимались соответствующие черты сводимых воедино письменных традиций.

(с. 3), *линеи овалныя, конхойды, и геліцесь, сирѣчь ящю подобныя, улитковыя, и прочія* (с. 9), *Лактанцій и прочіи, которые...* (с. 17), *какіе не льпья мнѣнія* (с. 18), *самыя простыя и неученыя люди* (с. 43), *части высочайшіе и остающіяся* (с. 55), *множаишии хрїстіанстїи філософи нынѣшніе* (с. 56) и т. д. Такая реализация вариативности показывает, что флексия *-ие/-ые* выступает как немаркированный вариант, допускающий в силу этого сочетание с любыми другими флексиями.

Таким образом, деятели петровского просвещения, обладавшие сложившимися навыками книжного письма, не следуют в области словоизменения прилагательных тому стандарту, который предлагался в первых изданиях гражданского шрифта, но формируют свой вариант книжного узуса. Он противостоит гибриднему узусу предшествующего периода, поскольку из него изгнаны признаки книжности, но в области именного словоизменения, не формировавшего признаки книжности, наследует в облегченной форме характерные черты данного узуса, лишь незначительно приближая его к узусу первых напечатанных гражданкой публикаций. Этот вариант нового узуса, надо думать, в большей степени устраивает труженников Печатного двора, и он находит продолжение в последующих изданиях. Примером может служить «Библиотеки» Аполлодора в переводе А. К. Барсова, изданная в 1725 г. (Аполлодор 1725). Распределение флексий прилагательных предстает здесь в следующем виде:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	87	—	1	1	89
-ия/-ья	12	33	54	20	119
-ая/-ья	—	—	—	30	30
-ие/-ые	81	7	23	7	118
Всего	180	40	78	58	356

Это распределение еще в большей степени напоминает образцы гибридного узуса, чем то, которое мы наблюдали в «Географии генеральной»; оно сходствует с параметрами относительно грамотных гибридных текстов конца XVII в., будучи ближе к Летописцу 1619—1691 гг., чем, скажем, ко второй части Мазуринской летописи. Употребление безродовой флексии *-ие/-ые* составляет 33,15 %, существенно меньше, чем в «Географии генеральной»; соответственно, выше и пропорция согласованных употреблений — 57,3 %. Среди «родовых» флексий пропорция согласованных употреблений — 87,40 %, т. е. и этот параметр существенно превышает значение аналогичного показателя в «Географии генеральной». Тенденция к употреблению флексии *-ия/-ья* как безродовой получает в переводе Аполлодора куда более ограниченное выражение, как и в «Географии генеральной» (у Аполлодора 26,89 % несогласованных употреблений, в «Географии» — 47,64 %). Как и в «Географии», выраженная согласовательная интенция может быть соотнесена с грамматической выучкой готовивших издание книжников. Напоминает «Географию» употребление флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*; флексия *-ии/-ьи* употребляется несогласованно всего два раза (*прочіи планеты*, с. 339, *въ книзь о животныхъ, которыи лучше челоѡвка ползовали*, с. 321), а флексия *-ая/-ья* вообще несогласованно не употребляется, причем в 16 случаях из 30 мы имеем дело с субстантивированным прилагательным ср. рода, ср., с одной стороны:

людемъ будущая провозвѣщаль (с. 54), *будущая предгаголя* (с. 185), *вырѣзаль отцу срамная* (с. 342); с другой: *печеная предлагаль мяса* (с. 134), *въ царская жилища* (с. 239), *имена <...> согласная, <...> имущая...* (с. 347).

То, что данный узус связан с грамматической выучкой издателей, ясно видно из сопоставления с другими текстами на новом «гражданском» наречии, в которых также отразилась традиция гибридного употребления анализируемых флексий, однако без того дополнительного компонента, который вносят профессиональные навыки книжных справщиков. В качестве такого текста может быть рассмотрена «История Петра Великого» Феофана Прокоповича (РГАДА, ф. 9, оп. 1, № 1); в начальной части она была исправлена Феофаном, однако эта правка нигде не касалась словоизменения прилагательных. В целом же сочинение, написанное в основной части на некнижном языке, сохраняет характерные черты гибридного узуса. Статистические данные имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	32	1	1	4	38
-ия/-ья	8	17	22	22	69
-ая/-ья	—	—	—	13	13
-ие/-ые	152	78	108	78	416
Всего	192	96	131	117	536

В отличие от двух предшествующих памятников «История Петра» весьма широко использует безродовую флексию *-ие/-ые*, пропорция ее употребления составляет 77,61 %; вместе с тем пропорция согласованных употреблений равна всего 15,67 %. «История Петра», таким образом, оказывается еще более продвинутой в сторону некнижного узуса, чем вторая часть Мазуринской летописи. Отличительные параметры позднего гибридного узуса, однако же, остаются на виду. Флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* продолжают употребляться, причем употребляться в основном согласованно. Флексия *-ии/-ьи* употреблена согласованно в 84,21 % случаев (несколько менее «грамотно», чем у Аполлодора), а флексия *-ая/-ья* в 100 % случаев. Нарушения в согласовании флексии *-ии/-ьи* имеют случайный характер, не обнаруживая ни стилистической, ни грамматической мотивированности: *в предѣлы литовскии* (л. 96), *фартеца и другии двѣ трикатъ криндербенъ с мызою и деревнями спалено* (л. 36), *силнии его поднятия* (л. 22), *протчи руские войска* (л. 30 об.), *счастливии сии дѣйствія* (л. 39), *свободнии очи получилъ* (л. 54). Флексия *-ая/-ья* в основном употребляется без какого-либо стилистического задания, ср.: *трудная многая дѣла* (л. 2), *и иная гласили прещения* (л. 9), *знамена в лагарѣ рускомъ оставшая* (л. 28 об.), *шесть пушекъ одиннатцать знамень и протчая* (л. 31 об.), *нарочитыя нѣкая здания* (л. 64), *нетлѣнная помянутьхъ преподобныхъ тѣлеса* (л. 112), *инная его подаяния* (л. 134), *отвергая и слова <...> потешительная* (л. 147), *и протчая, к житию нуждая* (л. 177 об.), *а домъ и жену, и инная любимая* (л. 179); как можно видеть, лишь в трех случаях употребление данной флексии соотносится с субстантивацией прилагательного. Флексия *-ия/-ья* в соответствии с поздним гибридным узусом функционирует как безродовая, она употребляется несогласованно в 43,48 % случаев, что близко к 50 %, ожидающимся при случайном распределении. И эта трансформация гиб-

ридного узуса оказывается одной из составляющих того пула возможностей, который образуется в Петровскую эпоху.

Следы гибридной традиции заметны и в «Книге мирозрения» Х. Гюйгенса (Гюйгенс 1724), впервые напечатанной в Петербурге в 1717 г. и затем переизданной в Москве в 1724 г. Мы анализировали именно это второе издание. Определенный интерес представляет тот факт, что книга была переведена на русский язык И.-В. Паусом и поэтому может иллюстрировать его языковую практику 1710-х годов, хотя, когда речь идет об окончаниях прилагательных, нет возможности установить, что должно быть отнесено на счет переводчика, а что — на счет типографских справщиков. Анализ Предисловия и первой части книги (Гюйгенс 1724, Предисловие 1—7; 1—125) дает следующие результаты:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	4	—	—	—	4
-ия/-ья	40	6	43	39	128
-ая/-ья	—	—	—	5	5
-ие/-ые	70	9	36	21	136
Всего	114	15	79	65	273

Как можно видеть, следы гибридной традиции в этом случае минимальны, флексия *-ия/-ья* функционирует как безродовая (она употребляется несогласованно в 61,72 % случаев), и согласовательный принцип реализуется лишь в четырех употреблениях флексии *-ии/-ьи* и пяти употреблениях флексии *-ая/-ья*. Из пяти последних, правда, один приходится на застывшую форму и *прочая* (с. 106), однако четыре других примера никакой лексикализацией объяснены быть не могут: *чудеса небесныя, якоже прісно предъ очіма являющаяся* (Предисл., с. 3), *небесная двіженія* (Предисл., с. 4), *обходящая времена* (с. 20), и *прочая наша чувствія получили* (с. 75). Трудно было бы объяснить как случайные огрехи и употребления флексии *-ии/-ьи*: *нѣцѣи <...> къ познанію творца произведены* (Предисл., с. 1), *нѣцѣи <...> узрѣли* (Предисл., с. 3), *явѣтся люди глаголющїи* (с. 99), *люди Американстїи* (с. 106). Хотя эти примеры весьма немногочисленны, они явным образом отличают данный текст от таких памятников, как «Геометрия славенски землемерие», книга Буйе или «Юности честного зеркала» (дополнительное отличие состоит в том, что ни одной из «безродовых» флексий не отдается предпочтения), и сближают его с текстами, рассматривавшимися непосредственно выше. Напоминают их и пропорции употребления флексии *-ие/-ые*, составляющие 49,82 %. Однако «Книга мирозрения» существенно отличается от них почти полным пренебрежением к согласовательному принципу, и в этом отношении она сходствует с памятниками, разбиравшимися в начале параграфа²². В подобной перспективе «Книга мирозрения» может трактоваться как своеобразный итог развития, имевшего место в Петровскую эпоху, и как исходная точка для последующего развития.

²² Стоит отметить и вариативность в однородных прилагательных, ср., например: *таковыя вещи, которые* (с. 52—53), *самыя сіи пороки душевныя* (с. 61), *морскіе и иныя раки* (с. 119), и *иныя ко общему жїтію прїнадлежащїе вѣцы имѣють* (с. 124), *смысленныя свѣри <...> которые* (с. 125) и т. д.

2.2. Устранение вариативности в ходе академической нормализации 1720—1730-х годов

Итак, петровская эпоха разрушает тот относительный порядок, который существовал в предшествующий период. Та соотносительность формальных характеристик с коммуникативным заданием, которая задается фрагментированным по регистрам узусом, уходит в прошлое. Тексты с одним и тем же коммуникативным заданием, по преимуществу описательные и повествовательные (те, которые Петр, создавая гражданский шрифт, определял как «исторические и мануфактурные книги» — ПИБ, X, 27), характеризуются разными формальными чертами, в том числе и в разбираемом сейчас словоизменении прилагательных. Вместе с тем именно эти тексты реализуют новую языковую политику, нацеленную на создание универсального языкового стандарта, «простого» языка, противопоставленного традиционному книжному языку (церковнославянскому), равно как и языку приказному, не пригодному на роль стандарта в силу прежде всего своего «неевропейского» синтаксиса. Именно в этом будущем стандарте образуется хаотическое разнообразие конкурирующих между собою употреблений.

В языковом строительстве, решающем задачу создания языкового стандарта, такое положение было нетерпимо. После смерти Петра гражданское книгопечатание сосредоточивается в типографии Академии наук и к определению языковых стандартов приходит новое поколение филологов, вырабатывавшее новую совокупность письменных навыков, на которые должна была повлиять книжная продукция Петровской эпохи, равно как и новый «ученый» подход к языку. Первое ученое академическое издание, вышедшее в 1728 г., — «Краткое описание комментариев Академии наук. Часть первая на 1726 год» (Краткое описание 1728) — стремления к созданию нового стандарта еще не обнаруживает, напротив, отдельные переводчики, участвовавшие в этом издании, пишут в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями, так что узус в целом отличается чрезвычайной пестротой. Можно сказать, что это издание иллюстрирует то состояние, с которого начинается академическая нормализация, так что разнообразие реализующихся здесь возможностей представляет существенный интерес.

Две математические статьи в этом издании переведены В. Е. Адодуровым, первая из них, «О щетѣ интегралномъ» (с. 28—40), подписана «Переводиль Василіи Адодуровъ», вторая, «О Кеплеріановомъ предложеніи» (с. 41—48), подписана «Переводиль В: А:». Хотя некоторые языковые параметры распределены в этих статьях не вполне равномерно, инициалы во второй статье явно относятся к тому же лицу, столь известному впоследствии своими трудами в области кодификации нового языкового стандарта. Морфологические параметры его переводов никак не предвещают этого славного будущего. В интересующем нас сейчас аспекте они имеют следующий вид (Краткое описание 1728, 28—48):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	15	—	—	—	15
-ия/-ья	2	4	25	1	32
-ая/-ья	—	—	—	79	79
-ие/-ые	11	5	30	31	77
Всего	28	9	55	111	203

Отпечаток гибридной традиции виден здесь еще в большей степени, чем в книге Аполлодора. Мера согласованности составляет 60,59 %, среди «родовых» флексий пропорция согласованных употреблений равна 97,62 %, т. е. несогласованные употребления родовых флексий могут рассматриваться как исключения (*всѣ сѣи лучи надлежащія... с. 35, наиболшія (...) поперешиники круговъ с. 45, какія подставленія дѣлати надлежитъ с. 40*). Пропорция употребления безродовой флексии *-ие/-ые* лишь незначительно выше, чем у Аполлодора, — 37,93 %. Флексия *-ия/-ья* не обнаруживает никакой тенденции к употреблению в качестве безродовой, появляясь в этом качестве менее, чем в 10 % случаев. Если отстраниться от достаточно многочисленных случаев употребления флексии *-ие/-ые*, можно сказать, что Адодуров пишет почти «без ошибок», имея в виду старую книжную (церковнославянскую) норму, реализовавшуюся в стандартном книжном регистре; «родовые» окончания он употребляет по правилам, а ориентированность на новый нецерковнославянский стандарт выражается именно в употреблении безродовой флексии *-ие/-ые*.

Сходный в основных чертах узус мы находим и в части, переведенной Иваном Ильинским, в статье «О СТѢНѢ кавказской чего издатель есть Ө: 3: Баверьъ» (Краткое описание 1728, 167—207; статья подписана: «Переводилъ Иоаннъ Ильинскій Ярославецъ»). Статистические параметры этой части имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	7	—	3	—	10
-ия/-ья	3	8	24	4	39
-ая/-ья	—	—	—	32	32
-ие/-ые	44	6	20	48	118
Всего	54	14	47	84	199

Существенное отличие от Адодурова состоит главным образом в более широком употреблении флексии *-ие/-ые*, встречающейся в 59,30 % случаев, что сближает наблюдаемый узус с лингвистическими характеристиками «Географии генеральной». Именно в силу интенсивного употребления данной флексии значимым образом снижается — сравнительно с адодуровской частью — пропорция согласованных употреблений, равная у Ильинского 35,68 %. Вместе с тем, так же как и у Адодурова, «родовые» флексии употребляются в основном согласованно, для этих флексий пропорция согласованных употреблений составляет 87,65 %; значение этого параметра ниже, чем у Адодурова, но выше, чем в большинстве памятников петровского времени, рассматривавшихся ранее (за исключением книги Аполлодора). Как и у Адодурова, флексия *-ия/-ья* не обнаруживает тенденции к функционированию в качестве безродовой. В целом можно сказать, что и для Ильинского остается значимой гибридной традиция и присущий ей принцип согласования, с которым он достаточно «грамотно» (хотя и хуже, чем Адодуров) справляется, приметой новизны (в отношении к старому книжному стандарту) оказывается у него лишь интенсивное употребление безродовой флексии *-ие/-ые*, не противопоставляющее, впрочем, его узус гибридной традиции.

Совсем иной характер имеет узус Максима Сатарова, подпись которого как переводчика стоит под статьей «О сїяніи сѣверномъ. Изданіе профессора матема-

тики Меера» (Краткое описание 1728, 84—99). Судя по лингвистическим характеристикам, ему же принадлежит перевод ряда других статей — «Ботаника» (с. 49—56), «О движеніи мышцъ» (с. 57—62), «Описаніе анатомическое сосудовъ млечныхъ» (с. 63—78). Выборочный анализ этих текстов (Краткое описание, 49—69, 84—99) отражен в следующей таблице:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	4	—	—	—	4
-ия/-ья	92	33	59	46	230
-ая/-ья	—	—	—	24	24
-ие/-ые	3	—	1	—	4
Всего	99	33	60	70	262

Узус, обнаруживаемый в данных текстах, не представляет собой беспрецедентной новизны, он достаточно близко напоминает тот, который мы наблюдали в «Юности честном зерцале». Он не менее определенно противопоставлен церковнославянскому стандарту, чем узус переводов Адодурова или Ильинского, однако это противопоставление осуществляется за счет иных параметров. Безродовая флексия *-ие/-ые* появляется у Сатарова лишь как редкое исключение, пропорция ее употреблений составляет всего 1,53 %; четыре встретившихся примера (*другіе анатоміки* с. 67, *облачки сначала чешуїчетые, которыя...* с. 88, *водные [пары] скорѣе смерзаются* с. 98, *многія нїтяные петелки* с. 60) не обнаруживают никакой стилистической, грамматической или коммуникативной специфики, напротив, встречаясь в двух случаях из четырех в однородной связи с другими прилагательными, имеющими флексию *-ия/-ья*, эти примеры очевидно могут быть определены как окказиональные варианты. Противопоставленность церковнославянскому стандарту осуществляется не за счет употребления этой флексии, а за счет употребления флексии *-ия/-ья* в качестве безродовой, пропорция несогласованного употребления этой флексии составляет 60 %. Вместе с тем «родовые» флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* всегда употребляются согласованно, без «ошибок», так что общая мера согласованности составляет 45,8 %.

Таким образом, во всех трех вариантах академического узуса прослеживается связь со старой книжной традицией. Лакмусовой бумажкой этой связи оказывается согласование «родовых» флексий. У Адодурова и Ильинского принцип согласования действует в отношении всех трех родовых флексий, у Сатарова — лишь в отношении флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*. Различия в объеме применения согласовательного принципа обусловлены тем, за счет чего формируется оппозиция нового узуса старому книжному стандарту. У Адодурова и Ильинского этому служит употребление безродовой флексии *-ие/-ые*, у Сатарова — употребление, также в качестве безродовой, флексии *-ия/-ья*, на нее при этом перестает распространяться принцип согласования. Можно сказать тем самым, что академические переводчики в основном следуют (правда, двумя разными путями) той практике, которая сложилась на Московском печатном дворе и известна нам по «Географии генеральной» и книге Аполлодора; они лишь стремятся ограничить несогласованное употребление «родовых» флексий, т. е. писать более «грамотно» в рамках усвоенного от предшественников узуса.

Итак, согласовательная интенция, присущая старым книжным регистрам, остается актуальной и для новых филологов, лишь усиливаясь, сравнительно с опытами петровского времени, благодаря возрастающим требованиям к «грамотности» письма. Такое развитие не может не вступать в противоречие с нормализацией узуса, поскольку оно неизбежно влечет за собой вариативность: новый узус должен отличаться от старого книжного стандарта, утверждая это отличие, академические филологи допускают употребление безродовых флексий (*-ие/-ые* или *-ия/-ья*), что, в сочетании с употреблением «родовых» флексий, создает вариативность. Действительно, и в «Кратком описании» можно обнаружить примеры, сигнализирующие о вариативности как конститутивной характеристике узуса; имею в виду однородные прилагательные с разными окончаниями. Так, в адодуровской части находим: *всѣ сицевыя сосчиненные и инныя которыя...* (с. 30), *чрезвычайная равненія часто въ инныя премѣняются могутъ* (с. 32), *оныя суть кривыя лѣнѣи* (с. 36); в части Ильинского: *нарицаются врата желѣзная, которыя...* (с. 189), *восточныя многожизвишии сихъ, вся безразсудно вѣрили...* (с. 199); в части Сатарова: *Геснеръ и Колумелля были первыя которыя...* (с. 52), *облаки съ начала чешуичетые, которыя...* (с. 88), *будутъ взяты нѣкїя феномена, которыя...* (с. 90), *облачка свѣтѣишия разсыпныя* (с. 94), *таковыи вспылчѣвыя доволныя духи* (с. 97). Во всех этих случаях безродовая флексия используется как допустимый вариант для флексии согласованной и вариативность утверждается как принцип.

Вариативность несомненно противоречила той идее последовательной регламентации, которая лежала в основе европейских представлений о национальном языковом стандарте. Ни одно из решений, практиковавшихся академическими переводчиками (Адодуровым и Ильинским, с одной стороны, и Сатаровым — с другой), не выводило из этого тупика. Никаких преимуществ не давало и простое скрещение узусов двух типов. Действительно, как своего рода их контаминация может рассматриваться употребление, обнаруживающееся в начальной части издания. Нам неизвестно, кому принадлежит этот текст, но его лингвистические параметры (относящиеся к адъективному склонению) располагаются где-то в промежутке между двумя рассматривавшимися выше узусами. Они могут быть представлены в следующем виде (Краткое описание 1728, Предисл., л. 1—2 об.; Краткое описание 1728, 1—27):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	4	—	—	3	7
-ия/-ья	—	3	18	16	37
-ая/-ья	—	—	—	22	22
-ие/-ые	25	3	45	19	92
Всего	29	6	63	60	158

Как можно видеть, вариативность в этом контаминированном узусе лишь возрастает. Мера согласованности составляет 23,42 %, однако несогласованное употребление обеспечивается не одной безродовой флексией, а двумя: *-ие/-ые* и *-ия/-ья*, — которые в силу этого оказываются свободными вариантами. Основной безродовой флексией является *-ие/-ые*, пропорция ее употребления равна

58,23 %, однако на этот же статус претендует и флексия *-ия/-ья*, которая употребляется без согласования в 43,24 % случаев. Регламентированность этого узуса существенно слабее, чем в тех частях книги, которые рассматривались выше; она не идет далее того неупорядоченного употребления, которое было характерно для книжников Московского печатного двора.

Таким образом, в плане нормализации, необходимой для создания нового языкового стандарта, первый академический опыт был неудачен. Эта неудачность была осознана поразительно быстро, в том же 1728 г., когда вышло из печати «Краткое описание». Такая быстрота наводит на мысль о каком-то внешнем воздействии, о том, что кто-то объяснил академическим переводчикам, каковы должны быть их лингвистические цели, или, по крайней мере, что кто-то предложил свой план создания нового языкового стандарта и они в этом плане увидели конкурентную угрозу своей деятельности. Мы явно недостаточно осведомлены в академических интригах в правление Петра II, но нельзя исключить, что какое-то обсуждение языковой практики академических переводчиков имело место и что высказывавшиеся при этом суждения могли быть нелицеприятны²³; в числе потенциальных критиков можно упомянуть, скажем, И.-В. Пауса; в предисловии к своей грамматике 1729 г. Паус жалуется на вмешательство и преследования академических переводчиков и упоминает одного из них (*Translateur* — это скорее всего М. Шванвитц или В. Е. Адодуров), который не знает «*aus dem fundament*» ни немецкого, ни русского (БАН, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 4 об.).

Как бы то ни было, уже в 1728 г. узус академических переводчиков существенно изменяется, и он начинает эволюционировать в сторону от той практики, которая обнаруживается в «Кратком описании». Его эволюцию можно проследить, обратившись к «Примечаниям к ведомостям», издававшимся Академией наук с 1728 г. Если взглянуть на первые листы этого издания, возникает вполне однозначное впечатление: начиная новую публикацию, академические переводчики принимают нормализационное решение, утверждающее флексию *-ие/-ые* в качестве универсальной, что представляет собой отказ от практики «Краткого описания» и продолжает тот подход, который мы видели у издателей книги Буйе (а опосредованно и приказную нормализацию). Для первых семи выпусков «Примечаний» данные таковы (Примечания 1728, 1—56):

²³ В обращении к читателю, предпосланном «Краткому описанию», содержится своеобразная апология сделанных переводов, парирующая нападки будущих недоброжелателей, которые, возможно, и в самом деле существовали. Здесь говорится: «Не сетуй же на перевод якобы оныи был невразумителен, или не весьма красен, ведати бо подобает, что весьма трудная есть вещь добре преводить, ибо не точию оба оныи языки с котораго и на которыхи переводится, совершенно знать надлежит но и самыя преводимыя вещи ясное имети разумение. Зде же по последнеи мере на сие смотрели, дабы оныи яко вразумителен, тако и благоприятен был, ибо с таким прилежанием и опасностию в сем деле поступали, и всякому преводнику такая диссертация [разсуждения] преводити давали, о немже известно знали, что он вещь оную наилутче разумет, к тому же и самыи перевод в присутствии всех преводников читан и свидетелствован был. Ащели же предприятия опасности не благопоспешно учинилися, то сие токмо прибежище осталось, да тебе умолим, дабы слабости нашей до толе потерпети изволил, донележе язык сам исправнее будет, и преводницы лутче обучатся» (Краткое описание 1728, предисл., л. 2—2 об.).

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	—	—	2	—	2
-ая/-ья	—	—	—	3	3
-ие/-ые	103	26	89	48	266
Всего	103	26	91	51	271

Академические переводчики более последовательны, чем издатели Буйе, отклонения от принятого ими нормализационного решения единичны. Употребление безродовой флексии *-ие/-ые* составляет 98,15 %, пропорция согласованных употреблений — 1,85 %. Флексия *-ая/-ья* появляется всего три раза и все три раза в субстантивированных прилагательных: *различная* (с. 28), *пространная* (с. 32). *пространнѣишая* (с. 40); морфологический архаизм соотнесен здесь с синтаксическим архаизмом. Два случая согласованного употребления флексии *-ия/-ья* кажутся случайным отступлением; они появляются в цепочке однородных прилагательных, два из которых дают интересующую нас флексию, а третье — универсальную безродовую *-ие/-ые*: *Можетъ быть, что сицевыя Святыя мощи лишніе были...* (с. 52). Вряд ли стоит предполагать, что флексия *-ия/-ья* получает здесь стилистическую значимость. Переключение на универсальную флексию *-ие/-ые* может быть связано со сменой синтаксической функции: первые два прилагательных употреблены в атрибутивной функции, третье — в качестве именной части сказуемого; переключение функций дало пишущему необходимую передышку, чтобы опомниться и вернуться к стандартному узусу.

Предшествующий узус, однако, еще напоминает о себе, и в последних трех выпусках «Примечаний» мы обнаруживаем совершенно иную картину. Достаточно взглянуть на статистические данные, чтобы увидеть, что перед нами вновь наследие гибридной традиции и одновременно новая контаминация тех двух узусов, которые мы выделяли в «Кратком описании». Вот данные для этих трех выпусков (Примечания 1728, 57—80):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	9	—	—	—	9
-ия/-ья	26	11	50	9	96
-ая/-ья	—	—	—	24	24
-ие/-ые	42	4	11	3	60
Всего	77	15	61	36	189

Параметры этого распределения ближайшим образом напоминают те, которые мы наблюдали в издании Аполлодора (напомню, что такое же сходство устанавливается и в употреблении форм инфинитива, см. § П.3). Употребление безродовой флексии *-ие/-ые* составляет 31,75 % (в издании Аполлодора — 33,15 %), пропорция согласованных употреблений — 49,74 % (в издании Аполлодора — 57,3 %). Флексия *-ия/-ья* употребляется как безродовая, пропорция несогласованных употреблений равна 35,46 %, что несколько выше, чем в тексте Аполлодора (26,89 %), хотя и не доходит до 60 % Максима Сатарова. В отличие от Сата-

рова, однако, в рассматриваемых трех выпусках активно используется безродовая флексия *-ие/-ые*, так что результирующий узус напоминает скорее первые страницы «Краткого описания». Как и в «Кратком описании», бросается в глаза грамматическая выучка пишущего: «родовые» флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* употребляются без всяких ошибок.

Как и в «Кратком описании», согласованные употребления флексии *-ии/-ьи* никакой стилистической нагрузки не несут, ср.: *нѣкоторѣи* (с. 58), *другѣи* (с. 58), *инѣи* (с. 58), *различнѣи* (с. 58), *Эвропеискѣи* (с. 58), *древнѣи* (с. 62), *древнѣишии* (с. 62), *многѣи* (с. 72), *неложнѣи* (с. 79); показательно, что употребляется исключительно «правильный» вариант *-ии*, обнаруживающий знакомство пишущего с церковнославянской грамматикой; он ориентируется на грамматическое предписание, а не на книжный узус предшествующего столетия, в котором было представлено аналогическое окончание *-ьи* (хотя переход предшествующей заднеязычной согласной в свистящую отсутствует; формы с таким переходом рассматриваются, видимо, как недопустимые для нового стандарта). Как и в «Кратком описании», флексия *-ая/-ья* также не несет стилистической нагрузки и при этом встречается как в субстантивированных (9 раз), так и в несубстантивированных (15 раз) прилагательных, т. е. как допустимый без каких-либо ограничений морфологический элемент, не связанный с определенной синтаксической конструкцией. Терпимость пишущего к вариативности проявляется в употреблении однородных прилагательных с разными флексиями, ср.: *морскѣя волненѣя, которые* (с. 70), *многѣя <...> примѣры къ тому имѣются, которые* (с. 76), *водяныя часы суть всѣхъ древнѣишии* (с. 62). Таким образом, нормализационная задача переводчиком данной части «Примечаний» оказывается проигнорированной.

Кто именно из академических переводчиков отдавал предпочтение данному узусу, не ясно и не столь существенно. Важно, что среди филологов нового поколения узус, унаследовавший черты гибридной традиции и избегающий сплошной регламентации, сохранял приверженцев, хотя, видимо, в это время он уже становится периферийным, а не доминирующим, как при самом начале академической деятельности. Сохранение этой традиции в кругу академических филологов позволяет понять, почему она отразилась в окончательной нормализации данной морфологической подсистемы в русском литературном языке нового типа (см. ниже). Вместе с тем о периферийном статусе данного узуса говорит тот факт, что в следующем, 1729 г., он себе продолжателя не находит. Выборочный анализ «Примечаний» за 1729 г. дает следующие результаты (Примечания 1729, 1—8, 41—48, 81—88, 161—167, 225—246, 405—412):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	1	—	2	2	5
-ая/-ья	—	—	—	7	7
-ие/-ые	177	31	119	68	406
Всего	178	31	121	77	418

Параметры данного распределения практически не отличаются от тех, которые мы наблюдали в первых выпусках «Примечаний» за 1728 г. Употребление

безродовой флексии *-ие/-ые* составляет 97,13 % (в выборке 1728 г. — 98,15 %), пропорция согласованных употреблений — 2,15 % (в выборке 1728 г. — 1,85 %). Все семь употреблений согласованной флексии *-ая/-яя* появляются в выражении *и прочая* или *и протчая* (с. 44, 46, 85 [bis], 88, 228, 233), т. е. употребление этой флексии не только синтаксически мотивировано субстантивацией прилагательного, но и лексикализовано. Пять случаев употребления флексии *-ия/-ья* можно рассматривать как случайные отклонения: *Такія Папскіе поступки* (с. 42), *на мѣлкія частицы* (с. 82), *ткали простыя полотна* (с. 82), *тяжелыя части тогда, как оныя падаютъ непременно тѣснятъся* (с. 226), *такія изысканія* (с. 231). Академические переводчики явным образом отказываются от согласовательного принципа и делают акцент на нормализации. Нормализационное решение, фиксирующее окончание *-ие/-ые* в качестве единственной флексии прилагательных в им.-вин. мн. вне зависимости от рода и падежа, выдерживается вполне последовательно, и отдельные описки указывают лишь на то, что когда-то существовал и иной узус, оставивший незначительные следы в сформировавшихся заново письменных навыках.

Данное нормализационное решение продержалось в академических изданиях в течение нескольких лет. Так, скажем, в «Примечаниях к ведомостям» за 1731 г. обнаруживаем тот же узус, что и в 1729 г., т. е. последовательное употребление флексии *-ие/-ые* в качестве единственной и универсальной. Это решение, впрочем, не было введено в академические издания в качестве обязательного, узус продолжал зависеть от индивидуальных пристрастий автора или издателя. Так, в 1730 г. Третьяковский издает «Езду в остров любви», и употребление прилагательных в им.-вин. мн. в этом тексте несколько не напоминает узус издававшихся в том же году «Примечаний». Он может рассматриваться скорее как развитие того подхода, который мы наблюдали у Максима Сатарова. Приведу статистические данные (Третьяковский 1730, Предисл., л. 1—7об; с. 1—204):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ии	—	—	—	—	—
-ия/-ья	85	21	61	51	218
-ая/-яя	—	—	—	—	—
-ие/-ые	3	—	2	—	5
Всего	88	21	63	51	223

Это распределение также основано на нормализационном решении; оно проводится в жизнь с такой же в целом последовательностью, как и решение переводчиков «Примечаний», начиная с 1729 г. Флексия *-ия/-ья* употребляется как безродовая и универсальная, она встречается в 97,76 % случаев, унификация вполне сопоставима с той, которую мы наблюдали в «Примечаниях». Все отступления связаны с появлением флексии *-ие/-ые*, ср.: *отдаль сіе въ попеченіе искусѣишимъ и тѣмъ, которые не могутъ быть въ подозрѣниі ласкателства* (Предисл., л. 4), *сколь я великіе приносилъ жалобы* (с. 83), *на подобіе пещеръ (...), которые въ той долинь идутъ за пещеры уединенныя* (с. 134), *Иные называютъ сіе мѣстечко НЕЗНАМОСТЬ ЧТО ЧИНИТЬ: Но мнѣ другіе сказали...* (с. 140). Как мы видели, та линия развития, в которой доминирующим вариантом

была флексия *-ие/-ые*, находит свое завершение в нормализованном узусе «Примечаний» 1729 г. Но это не единственное возможное развитие. Такая же динамика свойственна и другой линии, в которой доминирующей является флексия *-ия/-ья*. Беря свое начало в узусе гибридного регистра, эта линия получает легализацию в «простом» языке Петровской эпохи в памятниках типа «Юности честного зеркала». Она усваивается и академическими переводчиками, как об этом свидетельствуют тексты, переведенные Максимом Сатаровым. Когда, с 1728 г., лозунгом дня становится нормализация, она может служить для нее столь же хорошей основой, как и первая линия, и результатом такой нормализации как раз и оказывается «Езда в остров любви».

Основное отличие узуса Третьяковского от того, который мы наблюдали у Максима Сатарова, состоит в полном отсутствии родовых флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*; последняя не употребляется даже с субстантивированными прилагательными (впрочем, Третьяковский полностью отказывается от данной синтаксической конструкции, рассматривая, надо думать, субстантивированные прилагательные ср. рода во мн. числе как специфическую характеристику старого книжного языка). Вместе с тем, как и у Сатарова, у Третьяковского окказионально появляется флексия *-ие/-ые*. Точно так же, как в «Примечаниях» 1729 г. окказиональное появление флексии *-ия/-ья* говорит о том, что унифицированное употребление флексии *-ие/-ые* является новым, искусственным, не опирающимся на сложившиеся письменные навыки, окказиональное появление флексии *-ие/-ые* на фоне унифицированной *-ия/-ья* позволяет приписать те же атрибуты нормализованному узусу Третьяковского. Норма находится в процессе становления, и разные способы формирования языкового стандарта продолжают конкурировать.

В 1733 г. к двум обрисованным выше конкурентам неожиданно добавляется третий, быстро побеждающий своих соперников. В выпусках «Примечаний к ведомостям» за этот год находим совершенно новое распределение окончаний, не имеющее прецедента ни в предшествующих академических опытах, ни в различных типах узуса петровского и допетровского времени. Параметры этого распределения имеют следующий вид (Примечания 1733, 37—40, 367—390)²⁴:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	—	—	—	—	—
-ия/-ья	4	1	58	36	99
-ая/-ья	—	—	—	—	—
-ие/-ые	22	9	—	—	31
Всего	26	10	58	36	130

Те параметры, которые мы фиксировали ранее, никак не подходят для описания этого распределения. Мы имеем здесь дело с искусственным нормализационным решением, согласно которому флексия *-ие/-ые* употребляется с м. родом, а флексия *-ия/-ья* — с ж. и ср. родом. О том, что в 1733 г. в Академической типографии было введено такое правило, причем именно как правило обязательное

²⁴ Мы вынуждены были ограничиться теми выпусками «Примечаний» за 1733 г., которые доступны в московских библиотеках. Комплект, к сожалению, далеко не полон.

для академических изданий, сообщает Тредиаковский в статье о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский 1865, 103, 107, 109). Кто был инициатором этого нововведения и каковы были механизмы его реализации, остается неясным (см. ниже, § IV.3.2), однако данные «Примечаний» указывают, что новая практика не развилась постепенно из предшествующего узуса, но возникла благодаря сознательному решению, принятому в 1733 г. Это решение закрепляло новый узус, из которого были исключены старые «родовые» флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-яя*, что соответствовало языковой практике академических изданий предшествующих четырех лет (как в варианте «Примечаний», так и в варианте «Езды в остров любви» Тредиаковского); эти флексии были окончательно реконцептуализированы как приметы старой книжной нормы, отвергаемой новым языковым стандартом.

Прежние безродовые флексии *-ие/-ые* и *-ия/-ья* были оставлены в употреблении, и в этом плане новый узус оказывался компромиссом между двумя линиями академической языковой практики: первой, идущей от «Примечаний» и предлагающей в качестве универсальной флексию *-ие/-ые*, и второй, идущей от Сатарова и воспринятой Тредиаковским, в которой в качестве доминирующей (и безродовой) выступала флексия *-ия/-ья*. Две эти флексии, однако, были теперь реконцептуализированы как родовые, т. е. для нового языкового стандарта вновь оказывался актуальным согласовательный принцип, ранее воспринимавшийся и как примета старой книжной нормы, и как признак грамотного письма (именно последнее восприятие обуславливало, видимо, употребление старых родовых флексий в первых опытах академических переводчиков, как мы это наблюдали при анализе «Краткого описания»). Освободившись от связи с флексиями *-ии/-ьи* и *-ая/-яя*, он одновременно противопоставлял новый языковой стандарт старому и воплощал грамматическую обработанность нового стандарта, не уступавшего теперь в этом отношении старому. Благодаря этому же самому решению из нового языкового стандарта устранялась вариативность, и тем самым употребление форм прилагательного во мн. числе превращалось из «безразборного» в регламентированное, как это и приличествовало новому языковому стандарту в соответствии с европейскими представлениями об обработанном языке.

Это регламентированное употребление выдерживается в «Примечаниях» за 1733 г. достаточно последовательно, отклонения появляются лишь в 3,85 % случаев. Во всех этих случаях флексия *-ия/-ья* употребляется с прилагательными м. рода: *различныя способы* (с. 38), *такія высочайшія градусы теплоты* (с. 380 — если только прилагательные не стоят в род. ед. ж. рода и относятся к существительному *теплота*, что предполагает маловероятную инверсию), *прочія металлы* (с. 382), *различныя градусы теплоты и стужи* (с. 376). Эти единичные отступления можно рассматривать как случайные реликты старого узуса. В более поздних академических изданиях исчезают и подобные огрехи, нормализационное правило становится частью письменных навыков. Так, в частности, обстоит дело в «Оде о взятии города Гданска» и «Рассуждении о оде во обще», изданных Тредиаковским в 1734 г. (Тредиаковский 1734); Тредиаковский в это время принимает новый языковой стандарт, который впоследствии он будет тщетно пытаться преобразовать.

Правило, введенное в 1733 г., успешно продержалось вплоть до 1918 г. Понятно, что оно не было немедленно усвоено всеми пользователями нового литературного языка. Даже в академических изданиях оно может выдерживаться не с

полной последовательностью (имею в виду собственно академические издания, а не, скажем, придворные проповеди, печатавшиеся в Академической типографии, — о них см. ниже). Примеры таких окказиональных отступлений на первых страницах книги Б. Грациана «Придворный человек» в переводе Сергея Волчкова, изданной в 1739 г., приводит Л. Челлберг (Челлберг 1957, 144).

Тем более нетрудно найти рукописные тексты 1730-х или 1740-х годов, в которых не выдерживается введенная академическими филологами норма. Примером может служить «Повесть о российском матросе Василии» по рукописи конца 1730-х годов (Моисеева 1965), здесь в качестве универсального употребляется окончание *-ия/-ья*. Определенное представление об этом может дать и «Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах» В. Н. Татищева (Татищев 1979); хотя он известен нам лишь в относительно поздних списках, они не приводят правописание оригинала в соответствие с нормами книжной печати и, надо думать, отражают (с теми или иными искажениями) лингвистические особенности оригинала; здесь господствующим является окончание *-ие/-ые*, тогда как флексия *-ия/-ья* функционирует в качестве дополнительного варианта безотносительно к роду²⁵. Влияние печатной продукции было, однако, определяющим, и постепенно письменные навыки читающей и пишущей элиты приходили в соответствие с установленными академическими филологами правилами. Исследование этого социолингвистического аспекта утверждения нового языкового стандарта выходит за рамки задач настоящей работы и требует отдельного исследования. Собственно история формирования нормы нового литературного языка в области сло-

²⁵ Приведу статистические данные, относящиеся к первым страницам «Разговора» (Татищев 1979, 51—70); они достаточны для общего суждения о характере употребления интересующих нас флексий:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	1	—	7	—	8
-ия/-ья	6	—	3	15	24
-ая/-ья	—	—	—	—	—
-ие/-ые	39	6	27	45	117
Всего	46	6	37	60	149

Большинство случаев употребления флексии *-ии/-ьи* производят впечатление случайных и странных ошибок, которыми, возможно, мы обязаны переписчику, ср.: *такие гистории непорядочныи* (с. 56), *имуции любочестие* (с. 59 — субстант.), а также предложение со сложным и неясным синтаксическим построением: «И хотя о свойствах или вещах желаемых сказать подробну невозможно, (...) однако ж оные разделяются на 3 главныя части, (...) которые из прежде объявленных доброт, то есть совершенства пребывания и удовольствия происходят, и когда они в человеке *порядочныи* и *умеренныи*, тогда полезны и нужды почитаются, благости и добродетели именуются; когда же *безпорядочныи* и *надмерныи*, тогда *вредительныи* и *губительныи* бывают» (с. 58 — похоже, что изначально здесь были употреблены краткие прилагательные). Флексия *-ие/-ые* употребляется в 78,52 % случаев, флексия *-ия/-ья* — в 16,11 %. Вариативность явно не смущает Татищева, ср.: *разныя* (...) *противные мнения, из которых главныя* (с. 53), *уединенныя люди, в летех престарелые* (с. 64) и т. д.

воизменения прилагательных в им.-вин. мн. числа нормализационным решением 1733 г. переводится в иную плоскость, превращаясь в историю кодификационных решений и сопровождавших их споров.

В самом деле, отнюдь не все законодатели нового литературного языка были согласны с установлением 1733 г., разномыслие существовало здесь почти до самого конца XVIII в. С определенного времени и Третьяковский, и Ломоносов, и Сумароков стали выступать против рассматриваемого нормализационного правила и предлагать собственные решения. Соответственно, в их языковой практике (в частности, в их печатных изданиях) нашли отражение их индивидуальные орфографические принципы. Изучать эти тексты таким же образом, каким мы исследовали памятники предшествующего времени, не имеет смысла, поскольку речь не идет о динамике узуса и о тех внутренних мотивах, которые эту динамику обуславливали, но лишь об иллюстрации тех эксплицитно сформулированных принципов, которые данные тексты предназначены были реализовать. Подобные отклонения от приобретающей универсальность нормы целесообразно обсуждать в связи с историей кодификации прилагательных во мн. числе, с историей того развития грамматической мысли, которое сопровождало формирование нового языкового стандарта, одновременно фиксируя этот процесс и стимулируя его. К этому аспекту исторической морфологии мы и перейдем в следующем параграфе.

3. Кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа

Как можно было видеть из предшествующего рассмотрения, грамматическая нормализация сыграла решающую роль в формировании литературного стандарта, поскольку речь идет о словоизменении прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа. В силу этого грамматическая предыстория принятого нормализационного решения имеет существенное значение для восстановления судьбы данных форм в русском письменном языке. Предыстория эта открывается, естественно, церковнославянскими грамматиками, с которых мы и начнем наш анализ — несмотря на то что данные этих грамматик достаточно однообразны и предсказуемы.

3.1. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в церковнославянской грамматической традиции

В «Донатусе» Дм. Герасимова, калькирующем латинскую грамматику, прилагательное, понятно, не выделяется как отдельная часть речи и не получает сколько-нибудь развернутой трактовки. В качестве пятого склонения дается парадигма прилагательного *felix* и его славянских эквивалентов. В качестве эквивалентов, удачным образом, фигурируют четыре прилагательных: *блажен, счастливъ, богат, честень*. В им. мн. Герасимов приводит только формы м. рода: *сѣи блаженїи, сѣастливиї, богатиї, чѣтнїи* (Ягич 1896, 541). В звательном падеже, однако, даются формы всех трех родов: *ѡ блажены^а, сѣастливиї, богатиї, чѣтнїи; ѡ блажены^а, сѣастливыа, богатыа, чѣтныа; ѡ блаженаа, сѣастливаа, богатаа, чѣтнаа* (там же, 541). Формы вин. мн. в публикуемой Ягичем рукописи отсутствуют. Справедлива, видимо, догадка Ягича, что странная форма зват. мн.

муж. рода **Ѡ блажѣны^а** (в другой рукописи ей соответствует ожидаемая **Ѡ блажѣнїи**) объясняется именно пропуском форм вин. мн., одна из которых и попала по ошибке в примеры зват. мн. (там же, примеч. 4). Ряд форм им. мн. и зват. мн. приводится и для причастий. Здесь, впрочем, Герасимов противопоставляет лишь две формы: форму м. и ж. рода и форму ср. рода: **сїи ѡ сѣ чтѣщїи ѡ сїа чтѣщаа ѡлїи чтѣмаа** (там же, 559). Аналогично и у причастий «от слова страдалнаго», т. е. у возвратных: **сїи чтѣщїиса, (сѣ чтѣщїиса) сїа чтѣмаа** (там же, 568).

Отдельные формы прилагательных в им.-вин. мн. числа фиксируются и в различных редакциях трактата «О множестве и о единстве» — постольку, поскольку соответствующие флексии омонимичны флексиям прилагательных в ед. числе. Так, в основной редакции этого трактата, опубликованной В. Ягичем, противопоставляется «едїньствено аа, ѡко а҃г҃льскаа, ѡа, ѡко а҃г҃льскїа <...> шїа, ѡко бл҃жашїа <...> мнѡжѣственаго же разѣма рѣчь сїце аа, ѡко а҃г҃льскаа, ѡа, ѡко а҃г҃льскїа, <...> шїа, ѡко бл҃жашїа» (Ягич 1896, 432—433). В этом пассаже кодифицированы формы им.-вин. мн. ж. рода (а҃г҃льскїа, бл҃жашїа) в оппозиции к формам род. ед. ж. рода и формы им.-вин. мн. ср. рода (а҃г҃льскаа) в оппозиции к формам им. ед. ж. рода. В редакции данного трактата, входящей в «Буковницу» Герасима Ворбазомского (рукопись 1592 г. — см. о ней: Живов 1995b), делается попытка, впрочем, последовательно не реализуемая, добавить к этим противопоставлениям еще одно — им. ед. м. рода и им. мн. м. рода; в соответствующем примере находим: *архімаричїи* — *архимаричїи* (РГБ, ф. 173.1, № 35, л. 130).

Набор всех интересующих нас форм отсутствует и в «Адельфотесе» (Адельфотес 1591), поскольку, как и «Донатус» Дмитрия Герасимова, это переводная грамматика, не предназначенная для кодификации форм церковнославянского языка, но лишь дающая эквиваленты греческих парадигм. Отсутствие установки на систематическое описание славянских форм обуславливает непоследовательность в их фиксации. В силу этого приводимые в «Адельфотесе» формы отражают скорее привычный для составителя грамматики книжный узус, нежели нормы, которые он стремится приписать книжному языку. Формы им.-вин. мн. числа прилагательных появляются в «Адельфотесе» в нескольких разделах. Во многих случаях они соответствуют книжной норме. Так, в объяснении категории числа дается форма им. мн. м. рода *тыи блгїи* (л. 13). В парадигме пятого склонения зват. мн. м. и ж. рода **Ѡ филоѡлїдеѣ** поставлено в соответствие **Ѡ градолюбївыи** (л. 20 об.—21; в им. мн. указана не интересная для нас краткая форма *градолюбївы*); в эквивалентах к парадигме прилагательного ἡδύς в им. мн. м. рода находим *слáдкїи*, в им. мн. ср. рода *слáдкаа* (л. 22); в эквивалентах к парадигме прилагательного ἀληθής для им.-вин. мн. м. и ж. рода даются формы *истин'ныи*, *и истин'ныа*, однако для им.-вин. ср. рода форма *истин'ныа* (л. 32).

Последняя форма не является случайной опиской. Действительно, в парадигме третьего (греческого) склонения в им. мн. м. и ж. рода в соответствии с греч. **οἱ καὶ αἱ ἐυχέω** мы находим *блгозѣмныа*, и форма с тем же окончанием оказывается соответствием для им. мн. ср. рода **τὰ ἴλεω** — *милосѣрдыа* (л. 16 об.—18). Равным образом, в соответствии с им. мн. ср. рода **τὰ ἀπλῶα** приводится форма *прѡстыа* (л. 29). Таким образом, флексия *-ия/-ыя* приписывается не только прилагательным в вин. мн. м. рода и им.-вин. ж. рода, но также — в качестве варианта — прилагательным в им. мн. м. рода и в им.-вин. ср. рода. Автор потенциаль-

но владеет нормой книжного языка, предусматривающей согласование, однако и нарушения в согласовании воспринимаются им как привычная черта книжного узуса. Задача выработки нормы в данной грамматике не ставится, и в фиксируемых в парадигмах формах отражаются черты гибридной вариативности. Это те же самые черты, которые можно наблюдать в метатекстовой части данного сочинения, ср. формы с флексией *-ия/-ья* в им. мн. м. рода: *гласныѧ слѡги* (л. 8), *солѣтѧтелныѧ [союзи]* (л. 157); и в им.-вин. ср. рода: *разлічїѧ предчїн'ныѧ мужескїѧ* (л. 11, 12), *разлічїѧ предчїн'ныѧ сред'наѧ* (л. 11, 12), *разлічїѧ предчїн'ныѧ жєн'скїѧ* (л. 12), *кончѧемыѧ именѧ жєн'скїѧ* (л. 16), *разлічныѧ кончѧнїѧ* (л. 20), *будуцїѧ [временѧ]* (л. 135). Флексия *-ия/-ья* получает здесь — по крайней мере, отчасти — характер безродовой.

Полная парадигма прилагательных появляется в грамматике Лаврентия Зизания (Зизаний 1596) в седьмом (м. и ср. рода) и восьмом (ж. род) склонениях имени. Для им. мн. м. рода Зизаний дает формы *стѣи* и *бл҃ги* (л. 36 об.), для им.-вин. мн. ж. рода формы *стѣѧ* и *вѧщїѧ* (л. 38 об.), для им.-вин. ср. рода характерным образом показаны варианты *стѣѧ*, *ї стѣѧѧ*, *вѧщїѧ*, *ї вѧщїѧѧ* (л. 37). Формы вин. мн. м. рода в грамматике не фиксируются, вместо них приводятся формы род. мн. *стѣихъ* и *бл҃гихъ*, отсылающие к род. мн. = вин. мн. одушевленных существительных. Вариативность в им.-вин. мн. ср. рода показательна. Нужно было бы специальное исследование (выходящее за рамки поставленных нами задач) для того, чтобы установить, воспроизводит ли эта вариативность черты украинского гибридного узуса конца XVI в. с флексией *-ия/-ья*, функционирующей как безродовая (напомню, что в московской письменности такое функционирование данной флексии в конце XVI в. лишь только зарождается). Несомненно, однако, что предусмотренным оказывается отступление от старой книжной нормы в пользу узуса того же типа, который отразился в «Адельфотесе», — в пользу узуса, допускающего расширенное функционирование флексии *-ия/-ья*. Вместе с тем в грамматике Зизания нет никаких следов флексии *-ие/-ые*, свойственной прежде всего некнижным регистрам и оттуда проникающей в книжный узус²⁶.

²⁶ Об украинском книжном (гибридном) узусе XVII в. отчасти позволяет судить язык Ивана Вишенского, как он представлен в Львовской рукописи его сочинений, датируемой XVII в. Б. Грошель (1972, 151) приводит следующие статистические параметры (мы перестраиваем их в принятую в данной работе таблицу):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	25	—	—	1	26
-ия/-ья	—	1	3	—	4
-ая/-ья	—	—	—	6	6
-ие/-ые	56	15	32	17	120
Всего	81	16	35	24	156

Наблюдаемый узус свидетельствует об экспансии флексии *-ие/-ые*, пропорция употребления которой составляет 76,92 %, но не содержит никаких следов безродового функционирования флексии *-ия/-ья*. Можно предположить, что ориентация грамматики Зизания на реальный книжный узус имеет лишь весьма ограниченный характер. Он стремится воспроизвести старую книжную норму, допуская лишь минимальные отступления от нее.

Полное восстановление книжной нормы находим в грамматике Смотрицкого. Он группирует адъективные формы в один класс, пятое склонение, которое «есть именъ Прилагательныхъ троего вконченїа», и для всех интересующих нас категорий кодифицирует традиционные книжные формы: им. мн. м. рода **тѣи стѣи, бл҃ги, нїщїи, снѣвнїи, Божїи, Рѣссїйскїи или Рѣссїйстїи**; вин. мн. м. рода **тѣа стѣа, бл҃га, нїщїа, снѣвнїа, Божїа, Рѣссїйскїа**; им. мн. ж. рода **тѣа стѣа, бл҃га, нїщїа, снѣвнїа, Божїа, Рѣссїйскїа**; вин. мн. ж. рода **тѣа стѣа, бл҃га, нїщїа, снѣвнїа, Божїа, Рѣссїйскїа**; им.-вин. мн. ср. рода **тѣа стѣа, бл҃га, нїщїа, снѣвнаа, Божїа, Рѣссїйскаа** (Смотрицкий 1619, л. 3/7 об.—1/7 об.). Как можно видеть, Смотрицкий не только реконструирует старую книжную норму и устраняет ту вариативность, которую допускает Зизаний, но и стремится элиминировать омонимию, присущую книжной морфологии. Он вводит противопоставление форм им. мн. и вин. мн. у прилагательных ж. рода, различая **стѣа** и **стѣа, нїщїа** и **нїщїа** (понятно, что для форм им.-вин. мн. ср. рода он аналогичной попытки не делает, поскольку синкретизм им. мн. и вин. мн. в ср. роде был узаконен для него образцами классических языков).

Никакой ориентации на современный узус у Смотрицкого нет, напротив, он может воспринимать его как испорченный и ставить перед собой задачу восстановить чистоту книжного языка, создав нормативное руководство для существующей языковой практики. Смотрицкий стремится придать церковнославянскому языку достоинство классического и в силу этого подхода, сочетающего обращение к древним текстам с элементами утопизма (представлениями об «идеальном» состоянии древней грамматики, повредившейся от употребления), соединяет реконструкцию с искусственной нормализацией, устраняющей омонимию форм. В московских изданиях Смотрицкого предложенная кодификация воспроизводится без всяких перемен (Смотрицкий 1648, л. 133 об.—150 об.; Смотрицкий 1721, л. 69 об.—83), так что в качестве нормативного предписания данный набор форм остается актуальным и для московских книжников.

Именно он отражается в их оригинальных сочинениях, посвященных грамматике книжного языка. Хотя в грамматических трактатах Федора Поликарпова полная парадигма прилагательных отсутствует, однако интересующие нас формы в нескольких случаях зафиксированы. Неполная парадигма прилагательного дается в черновом грамматическом трактате, использованном при подготовке издания грамматики Смотрицкого 1721 г. Здесь приводится склонение прилагательного *сладкий* и указываются формы им. мн. м. рода **слѣдцыи**, и вин. мн. м. рода **слѣдкїа**; прилагательные ж. и ср. рода во мн. числе не рассматриваются (Бабаева 2000, 128). Однако в тех пассажах, где Поликарпов рассуждает об орфографическом различии омофоничных грамматических форм, он, следуя уже известной нам традиции статей «О множестве и о единстве», противопоставляет формы род. ед. ж. рода (**драгїя**) формам им., вин. и зват. ж. рода (**драгїя**) (там же, 157). Стоит, видимо, заметить, что и в метатексте грамматических сочинений Поликарпова формы прилагательных мн. числа употребляются в полном соответствии с зафиксированной в изданиях Смотрицкого нормой. То же самое можно сказать и о грамматике Федора Максимова (Максимов 1723). В ней дается сокращенное изложение все того же Смотрицкого и приводятся парадигмы прилагательных **стѣй, бл҃гїй, божїй** (с. 17—19). Для первых двух прилагательных даются оконча-

ния **ѣн** в им. мн. м. рода, **ѣа** и **ѣа** в вин. мн. м. рода, **ѣа** в им. мн. ж. рода, **ѣа** и **ѣа** в вин. мн. ж. рода, **ѣа** в им.-вин. мн. ср. рода.

Норма книжного языка, зафиксированная в данных пособиях, определяет представления о церковнославянском стандарте в течение всего XVIII в. В славянской части славенороссийской грамматики Аполлоса Байбакова 1794 г. (Аполлос Байбаков 1794) приводятся парадигмы полных прилагательных **сѣѣій**, **свѣтѣшій** и **бѣгѣій**. У них фиксируются следующие окончания (в порядке следования прилагательных): им. мн. м. рода **ѣи**, **ѣи**, **ѣи**, вин. мн. м. рода **ѣа**, **ѣа**, **ѣа**, в им. мн. ж. рода **ѣа**, **ѣа**, **ѣа**, в вин. мн. ж. рода **ѣа**, **ѣа**, **ѣа**, в им.-вин. ср. рода **ѣа**, **ѣа**, **ѣа** (с. 27 — о русской парадигме Байбакова см. ниже). Никакой ревизии Смотрицкого в формах прилагательных во мн. числе не происходит.

Вместе с тем, как показывает языковая практика и как об этом уже не раз говорилось (см. выше), в языковых представлениях авторов конца XVII — начала XVIII в. окончания прилагательных во мн. числе не связываются однозначно с противопоставлением книжных и некнижных регистров — в отличие, скажем, от претеритных форм глагола. Поэтому в принципе ничто не мешает им кодифицировать сложившуюся в церковнославянских грамматических сочинениях систему окончаний прилагательных во мн. числе и в грамматиках некнижного языка. Именно по этому пути идет Илья Копиевич. У Копиевича не было амбиций грамматиста, и поэтому он, не мудрствуя лукаво, воспроизводит Смотрицкого. В «Руководении в грамматику во славянососсийскую» (Копиевич 1706) Копиевич даже не удосуживается привести полные парадигмы прилагательных, ограничиваясь лишь формами м. рода; эти формы повторяют Смотрицкого, ср. им. мн. м. рода **тѣи свѣтѣи**, **тѣи грѣшнѣи**, вин. мн. м. рода **тѣа свѣтѣа**, **тѣа грѣшнѣа** (л. В3 об.—В4). О том, что Копиевич воспроизводит Смотрицкого и готов следовать за ним во всей совокупности интересующих нас форм, свидетельствуют формы местоимения *той*, которые даются в парадигмах существительных: они повторяют ту схему согласования по роду, которую кодифицирует Смотрицкий, ср. формы трех родов в им. мн.: **тѣи**, **тѣа**, **тѣа**; и в вин. мн.: **тѣа**, **тѣа**, **тѣа** (л. В1—В3). Вместе с тем собственное употребление Копиевича (в метатексте грамматики) не вполне последовательно и, видимо, отражает черты гибридной вариативности — той же, отражение которой мы наблюдали в «Адельфотесе» и грамматике Зизания, ср. формы прилагательных, определяющих существительное *имена* (им. мн. ср. рода): **нѣкѣторыа** (л. А2), **ѣсѣбнѣа** (л. А3 об.), **сѣбствѣннѣа** (л. А3 об.), **прѣчѣа** (л. А3 об.), **ѣмалѣтѣлнѣа** (л. А5), **жѣнскаа** (л. А6 об.), **прѣчѣа** (л. В3). Если вспомнить, что в той же грамматике Копиевич полностью устраняет простые претериты (что и позволяет рассматривать его сочинение как грамматику некнижного языка), становится очевидным, что формы прилагательных во мн. числе вообще выпадают из сферы его внимания, не ассоциируясь ни со старым книжным (церковнославянским) языком, ни с церковнославянской грамматической традицией²⁷.

²⁷ Кодификация прилагательных во мн. числе в латинской грамматике Копиевича (Копиевич 1700) еще менее информативна. Отдельные формы, разбросанные в переводах латинских парадигм, соответствуют традиционной книжной системе без того противопоставления им. мн. ж. рода и вин. мн. ж. рода, которое вводит Смотрицкий (и которое отра-

3.2. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в грамматиках русского языка и академическая нормализация

Сочинения легкомысленного Копиевича остаются все же исключением среди ранних грамматик русского (некнижного) языка. Эти грамматики в том или ином объеме отражали реальный некнижный узус. Они создавались под очевидным влиянием церковнославянской грамматической традиции, однако в эти рамки первые грамматисты старались ввести свои наблюдения над имевшимися в их распоряжении некнижными текстами. Поскольку узус, характерный для этих текстов, был весьма разнороден, результаты скрещения церковнославянской грамматической традиции с некнижным языковым материалом также не отличались однообразием.

Первым, кто начал эти эксперименты, был Лудольф. В его грамматике прилагательные в им.-вин. мн. числа различаются по родам, что, видимо, соответствовало представлениям автора о том, как должно быть устроено склонение, и в то же время отражало воздействие книжного грамматического образца. Лудольф в парадигме прилагательного **вѣлон** дает различающиеся по родам формы им. мн. **вѣлие, вѣлиа, вѣла** и указывает, что формы вин. мн. «*similes sunt Nominativo*» (Лудольф 1696, 19). Дефектность формы им.-вин. мн. ср. рода²⁸ возмещается парадигмой местоимения **котори** (там же, 25); в этой парадигме даются все интересующие нас формы: **которие, коториа, котораа** (формы вин. мн. совпадают с формами им. мн.). Почему Лудольф кодифицирует именно данный набор форм, остается не вполне ясным. Понятно, что формы им.-вин. мн. ж. и ср. рода он берет из книжного узуса, скорее же всего непосредственно из грамматики Смотрицкого. Форма им.-вин. мн. м. рода идет из другого источника, вполне вероятно из Уложения 1649 г., на которое Лудольф ссылается в предисловии к своей грамматике (хотя, понятно, он мог почерпнуть эту форму и из любых других текстов как бытового, так и гибридного регистра). Заслуживает внимания лишь то, что он объединяет в одной парадигме формы разного происхождения, а безродовую флексию *-ие/-ие* приписывает м. роду. Стоит вспомнить в этой связи, что в Уложении только в им. мн. м. рода никогда не употребляется флексия *-ия/-ья*, что как бы резервирует эту основную грамматическую позицию для флексии *-ие/-ие*. Решение явно искусственно, и Б. А. Успенский справедливо замечает, что «эти правила не соблюдаются в примерах русских разговоров у Лудольфа, где мы находим *различные речи простые, пригожие женщины* и т. п.» (Успенский 1984а, 122).

яется в склонении местоимения **тон** в русской грамматике 1706 г.), ср. здесь им. мн. м. рода: **тѣи насыщѣнїи** (с. 62 — в вин. мн. дается вин.=род.), **слѣвнїи** (с. 84), **читѣющїи** (с. 113), **кѣторїи** (с. 144); вин. мн. м. рода: **читѣющыа** (с. 113); им.-вин. ж. рода: **рѣчи посполїтыа** (с. 120); им.-вин. ср. рода: **тѣа живѣтнаа** (с. 73). В метатексте грамматики находим: **парадїгма нѣкаа** (с. 58 — *парадигма*, видимо, трактуется как существительное ср. рода), **всѣ вѣжаеречѣннаа** (с. 92 — sic!), **їменѣ кончѣющаааа** (с. 115).

²⁸ Б. А. Успенский (1984а, 122) предполагает, что это опечатка; не менее вероятно, что Лудольф плохо справлялся с различением полных и кратких форм. Путаница у Лудольфа могла возникать и из-за того, что он не разобрался с параллельными парадигмами полных и кратких форм у Смотрицкого, приняв их, возможно, за свободные варианты.

Возможно, что из аналогичных наблюдений исходил и пастор Глюк, знакомство которого с грамматикой Лудольфа никак достоверно не устанавливается (Кайперт, Успенский, Живов 1994, 30). Глюк в своей грамматике 1704 г. кодифицировал для им. мн. три различающиеся по роду формы (соответственно м., ж. и ср. рода): **вѣгнѣ, вѣгнѣа, вѣгнѣа**; **до^брыѣ, до^брыа, до^брага**; в вин. мн. дается иной набор форм: **вѣгнѣ, вѣгнѣ, вѣгнѣа**; **до^брыѣ, до^брыа, до^брага** (там же, 229—230). Отличие двух наборов состоит, как можно видеть, в формах им.-вин. мн. ж. рода; в первой парадигме эти формы различаются (**вѣгнѣ** и **вѣгнѣа**), а во второй тождественны (**до^брыа** и **до^брыа**). Чем может быть обусловлено это несовпадение, непонятно, однако — если это не случайная описка — здесь могла сказаться модель церковнославянской грамматики (Смотрицким в издании 1648 г. Глюк активно пользовался — там же, 32—33, 55—57), в которой фиксировался именно синкретизм вин. мн. ж. рода и вин. мн. м. рода, тогда как формы им. и вин. ж. рода совпадали в одних парадигмах и не совпадали в других (см. выше).

Каковы бы ни были непоследовательности этой кодификации, два момента обнаруживаются в ней вполне отчетливо и определяют ее сходство с кодификацией Лудольфа. Во-первых, Глюк сохраняет различия прилагательных им.-вин. мн. по роду или, иными словами, согласовательный принцип, следуя, надо думать, тем же общим представлениям об устройстве парадигмы, из которых исходил и Лудольф. В этом Глюк несомненно ориентируется на церковнославянскую грамматическую традицию. Данная ориентация особенно заметна в парадигме прилагательного **бѣжнѣ**; здесь формы им. мн. и вин. мн. во всех трех родах совпадают и имеют следующий вид: им.-вин. мн. м. р. **бѣжнѣ**; им.-вин. мн. ж. р. **бѣжнѣа**; им.-вин. мн. ср. р. **бѣжнѣа & бѣжнѣа** (там же, 231); в этой парадигме Глюк очевидным образом следует Смотрицкому (в том числе и в форме им. мн. м. рода), лишь добавляя для им.-вин. мн. ср. р. форму **бѣжнѣа**, в силу очевидной аналогии с другими формами им.-вин. мн. ср. рода. Во-вторых, Глюк дает для м. рода формы с флексией *-ие/-ые*. И в этом случае, как и у Лудольфа, происходит соединение форм, идущих из разных письменных традиций, причем первой жертвой вытеснения оказываются, как и у Лудольфа, формы им. мн. м. рода на *-ии*. И в этом случае нельзя исключить влияния приказного узуса, в котором формы на *-ие/-ые* безусловно вытесняли именно формы им. мн. м. рода на *-ии*.

Конечно, действовали, видимо, и соображения общего устройства грамматического описания. Глюк, как и Лудольф, изучая и гибридные и не книжные тексты, сталкивался с разнообразием вариантных форм, скорее всего звучавших для них одинаково; закономерности употребления этих форм были для них неясны, поэтому задачу их грамматического упорядочения им приходилось брать на себя. Здесь сказывались их представления о том, как должен быть устроен грамматический порядок. Кодифицируя формы на *-ие/-ые* для им.-вин. мн. м. рода, Глюк избавляется от различия им. мн. и вин. мн. в м. роде, которое не находило соответствия в других частях парадигмы, и вместе с тем приводит склонение прилагательных в соответствие со склонением местоимений. Как мне с моими соавторами приходилось отмечать при издании грамматики Глюка, «*der dadurch entstandene Formensatz wird so uminterpretiert, daß das Endsegment -e zum Merkmal des Mask. und das Endsegment -a zum Merkmal des fem. und neutr. Genus wird. Gerade diese Uminterpretation bedingt auch die künstliche Bildung der Form des*

N.Pl.m. **снє** im Gegensatz zum fem. und neutr. **снѧ**. Es lohnt zu beachten, daß eine derartige Uminterpretation recht typisch gewesen ist. Dieselbe Verteilung von Pluralformen nach Genera gibt es bei Ludolf (N.Pl.m. **снє**, N.Pl.f./n. **снѧ**, Ludolf 1696. S.23), wobei offenbar auch in seinen Paradigmen die Verbindung des Segments **-є** mit dem maskulinum und des Segments **-ѧ** mit dem Femininum und Neutrum systematischen Charakter aufweist, vgl. mask. Formen wie **тнє**, **которнє**, **бѣлнє**, fem. **тнѧ**, **которнѧ**, **бѣлнѧ**, neutr. wie **талѧ**, **которѧѧ**, **бѣлѧѧ** (ebenda S. 19, 24—25)» (Кайперт, Успенский, Живов 1994, 81—82).

Типичность или, если угодно, рациональность этого грамматического решения позволяет понять, почему оно принимает форму простого правила в грамматике Жана Сойе 1724 г. Сойе кодифицирует форму на **-иє/-ые** для им.-вин. мн. м. рода, а форму на **-иѧ/-ыѧ** для им.-вин. мн. ж. и ср. рода. Это решение последовательно проведено для прилагательных, причастий и местоимений *сей*, *той*, *оной*, *чей*, *которой*, ср. формы им.-вин. мн. м. рода: *лѣкѧвыє*, *строгие*, *старшиє*, *молодѣйшиє*, *дѣлаюциє*, *здѣлавиє*, *дѣлаємыє*, *здѣланныє*, *снє*, *тнє*, *оныє*, *чнє*, *коториє* (Сойе, I, 54—73, 101—109); для им.-вин. мн. ж. и ср. рода: *лѣкѧвыѧ*, *строгиѧ*, *старшиѧ*, *молодѣйшиѧ*, *дѣлаюциѧ*, *здѣлавиѧ*, *дѣлаємыѧ*, *здѣланныѧ*, *сиѧ*, *тиѧ*, *оныѧ*, *чиѧ*, *коториѧ* (Сойе, I, 54—74, 102—110). В большинстве парадигм формы мн. числа для прилагательных ср. или, напротив, ж. рода вообще не приводятся, а заменяются общим указанием типа «Le feminin pluriel est semblable au neutre pluriel dans tous les cas» (с. 55) или «le neutre pluriel est le même que le feminin pluriel» (с. 64)²⁹. Это то же самое решение, которое, как мы знаем, было через девять лет, в 1733 г., принято академическими филологами и стало частью русского языкового стандарта вплоть до орфографической реформы 1917—1918 гг.; возникает естественный вопрос, было ли случайным это совпадение.

Синкретизм прилагательных двух родов должен был представляться Сойе вполне обычным грамматическим явлением, достаточно было вспомнить латинские адъективные парадигмы. Ориентиром могло служить, как справедливо указал Б. А. Успенский (Успенский, II, 379), и польское адъективное склонение, в котором в им.-вин. мн. форма мужского личного рода на **-y/-i** противопоставлена синкретической форме ж., ср. и мужского неличного рода (Сойе был переводчиком польского языка, так что его осведомленность в польской грамматике не вызывает сомнения — Сойе, I, с. III; Успенский, III, 460). Именно логика описания, как ее понимал Сойе, обусловила принятое им кодификационное решение. Существовавший в то время узус при всем его крайнем разнообразии оснований для такого решения не давал, как не давал он их и в 1733 г. Академические филологи

²⁹ Единственное отступление от последовательного проведения данного регламентационного решения встречается в парадигмах прилагательных с суффиксом **-ij-**, представленных у Сойе склонением слов *божій* и *третій* (которое Сойе трактует как прилагательное); здесь в им.-вин. мн. м. рода даются формы *божїи*, *третїи*, а в им.-вин. мн. ж. и ср. рода формы *божїѧ*, *третїѧ* (с. 57—59). Почему реальность оказалась сильнее принципа в этом случае, но не в случае местоимений *сей* или *чей*, остается не вполне ясным. Возможно, в трактовке местоимений Сойе следовал за Лудольфом (унифицируя его парадигмы), а в трактовке прилагательных с суффиксом **-ij-**, в отсутствие какого-либо ориентира, основывался (как, видимо, и Глюк, который оставался Сойе неизвестен) на реальном узусе.

не знали грамматики Сойе, так что о прямом заимствовании не может быть речи. Не представляется вероятной и какая-либо опосредованная связь, так что приходится думать, что к одинаковым решениям Сойе и академических филологов привела общая логика грамматического построения. В обоих случаях ставилась задача нормализации (о нормирующей установке у Сойе см.: Успенский, III, 465), в обоих случаях, хотя, возможно, и по разным соображениям, оказывается актуальным согласовательный принцип (у Сойе в силу общих представлений об устройстве правильной парадигмы, у академических филологов в силу его восприятия как приметы грамотности). Не слишком удивительно и то, что в обоих случаях предлагается норма, основанная на распределении по родам двух флексий *-ие/-ые* и *-ия/-ья*: академические филологи, как было показано выше, стремятся найти компромисс между двумя путями нормализации, выработанными в предшествующей практике, а Сойе, скорее всего, избавляется от тех морфологических элементов (флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*), которые в текстах, служащих для него ориентиром, употребляются лишь окказионально и непоследовательно³⁰. И латинский, и польский образец были доступны академическим филологам в той же мере, что и французскому грамматисту. Конечно, все эти факторы не превращают совпадение двух нормативных решений в необходимое, но они делают его правдоподобным.

Иное и, на мой взгляд, необоснованное объяснение рассматриваемого совпадения предлагал Б. А. Успенский. Он писал: «Если считать, что рекомендации Сойе отражают в данном случае взгляды его русского информанта, необходимо признать, что этим информантом был более или менее компетентный филолог, который, возможно, имел позднее какое-то отношение к орфографической реформе 1733 г., осуществленной в академической типографии» (Успенский, III, 466; ср.: Успенский 1992, 86). Успенский полагал, что этим информантом мог быть один из воспитанников Славяно-греко-латинской академии, обучавшихся в Париже в 1717—1722 гг., — И. С. Горлицкий, Т. П. Постников или И. И. Каргопольский. То, что у Сойе был русский информант, кажется достаточно правдоподобным, не вызывают возражения и его гипотетические идентификации, хотя, насколько мы знаем, ни одно из названных лиц не имело отношения к реформе 1733 г. Неправдоподобие предположения Успенского определяется не сомнительностью исторических деталей, а неверностью исходной лингвистической картины. Успенский основывается на убеждении, что «[в] приказном языке при-

³⁰ Сойе стремится описать то, что он определяет как «le stile dont se servent les Russes dans leurs Chancelleries (...) comme étant le seul le plus utile, et le plus necessaire à sçavoir pour l'écriture, la correspondance, et l'intelligence des livres» (Сойе, I, л. Н—Н об.). «Le stile de Chancellerie», согласно Сойе, служит «pour l'intelligence des livres», его, в отличие от разговорной речи, «on peut appeler Langue, par rapport à sa conformité avec la Langue Esclavonne, et au mélange de ses mots choisis, et de ses tours avec cette Mere Langue» (там же, I об.). Все это говорит о том, что нет оснований отождествлять «le stile de Chancellerie» с приказным регистром. Сойе, надо думать, имеет в виду язык доступных ему петровских изданий гражданского шрифта (Сойе упоминает «l'impression moderne des Russes» — там же, л. J об.). Именно эти издания, проанализированные выше, могли создать у Сойе представление о флексиях *-ие/-ые* и *-ия/-ья* как основных, требующих кодификации, и о флексиях *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* как маргинальных, кодификации не подлежащих.

лагательные в именительном падеже множественного числа имели обычно окончания *-е* и *-я* без различия родов (...) такое правописание принято было и в русской гражданской орфографии до 1733 г.» (Успенский 1984, 104; Успенский, II, 378). Сойе, с точки зрения Успенского, как раз на приказной язык и ориентировался, и хитроумному информанту оставалось только привязать существующую пару окончаний к родовому противопоставлению.

Однако, как было показано, и в приказном регистре, и в петровских изданиях гражданской печати ситуация отличалась от той, которую приписывает им Успенский, поэтому из простого преобразования существующего узуса правило Сойе не получалось. Более того, как свидетельствуют данные «Краткого описания комментариев Академии наук» (см. выше), до 1728 г. задача нормализации склонения прилагательных во мн. числе не ставилась, она возникла лишь тогда, когда была осознана цель нормализации нового языкового стандарта по европейскому образцу, исключающему немотивированную вариативность. Нет никаких оснований воображать неведомого русского оригинала в Париже, который в 1717—1722 гг. предвосхищает это решение. Остается лишь смириться с тем, что правило Сойе ничем, кроме общей грамматической логики, с нормализацией 1733 г. не связано.

В этой связи следует упомянуть и анонимные грамматические фрагменты начала 1720-х годов, обнаруженные Б. А. Успенским в гамбургской Университетской и публичной библиотеке. Для прилагательных в им. мн. здесь даются, по наблюдениям Успенского (Успенский, III, 564), «для мужского рода (...) окончания *-ые, -ие, -ии, -и, -ы*, для женского рода — окончание *-ия*, наконец для среднего рода — окончания *-ая, -а, -ые, -ие*». Такая система окончаний отражает, по видимому, узус появившихся в Петровскую эпоху памятников, продолжавших традиции гибридного регистра (поскольку в интересующем нас отношении этот узус ничем принципиально не отличается от узуса поздних гибридных текстов, гамбургские фрагменты могут отражать и непосредственно узус гибридного регистра), хотя ни одному из конкретных распределений, описанных нами выше, оно не соответствует. Вариативность флексий *-ии/-ьи* и *-ие/-ые* в им. мн. м. рода и флексий *-ая/-яя* и *-ие/-ые* в им. мн. ср. рода свойственна многим из них (см., например, данные «Географии генеральной», «Библиотеки» Аполлодора или «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича — § IV.2.1). Однако ни в одном памятнике, где такая вариативность присутствует, в им. мн. ж. рода не употребляется исключительно флексия *-ия/-ья*. Если бы автор и для ж. рода предусмотрел вариативность флексий *-ия/-ья* и *-ие/-ые*, предложенную им систему было бы естественно интерпретировать как элементарное наведение порядка в тех данных, которые он мог извлечь из памятников указанного выше типа: игнорируются употребления флексии *-ия/-ья* в качестве безродовой и тем самым комбинировается безродовая флексия *-ие/-ые* с тремя традиционными родовыми, которые могут быть известны автору и из церковнославянской грамматической традиции. Дело, однако, обстоит иначе, и никакой симметрической комбинации в рассматриваемой системе не наблюдается. Ее странность, тем самым, должна быть отнесена на счет несовершенства кодификаторских усилий автора гамбургских фрагментов: отсутствие окончания *-ие/-ые* в им. мн. ж. рода столь же мало мотивировано, как и отсутствие парного окончания для твердой разновидности (*-ья*) при наличии мягкого варианта (*-ия*).

По существу, гамбургские фрагменты интересны лишь в одном отношении. Они показывают, что широкая вариативность, характерная для языковой практики петровского времени, могла привести кодификатора в тяжелую растерянность. Лудольф, Глюк и Сойе преодолевали эту растерянность за счет жестких кодификационных принципов. Они ориентировались на классические грамматики с их схемами согласования, не допускавшими вариативности, и выбирали из известной им языковой практики те флексии, которые, на их взгляд, подходили под эти схемы (одним из ориентиров могла быть при этом грамматика Смотрицкого). «Гамбургский» автор столь четких принципов не имел, поэтому вариативность отразилась в его кодификации, хотя и не с теми параметрами, которые мы наблюдаем в реальных текстах.

На этих фрагментах, возможно, не стоило бы останавливаться столь подробно, если бы не та нетривиальная интерпретация, которую дает им Успенский. Успенский определяет флексии полных прилагательных *-и* и *-ая* (но не флексию *-ия*) как «церковнославянские», флексию *-а* у прилагательных ср. рода относит на счет Лудольфа, и после операции устранения «лишних», с его точки зрения, флексий, делает вывод о сходстве гамбургских фрагментов с Сойе. Он пишет: «Таким образом, если устранить специфически церковнославянские окончания, а также специфическое окончание среднего рода, восходящее к Лудольфу, мы получаем окончания *-ые*, *-ие* для форм мужского и среднего рода, которые противопоставляются окончаниям женского рода *-ья*, *-ия*. Как видим, набор окончаний совпадает с теми, которые фиксирует Сойе и которые становятся затем нормативными в русской орфографии, (...) хотя распределение их иное: в данном случае объединяются формы мужского и среднего рода (с окончаниями *-ые*, *-ие*), которые противопоставляются формам женского рода (с окончаниями *-ья*, *-ия*) (...) Иными словами, в данном случае маркированными оказываются формы женского рода, тогда как у Сойе и в принятой затем орфографической норме маркированы формы мужского рода. Как бы то ни было, рекомендации нашего автора в какой-то мере напоминают рекомендации Сойе: они отражают, видимо, тот этап, который предшествует окончательному распределению форм (впервые зафиксированному у Сойе)» (Успенский, III, 565).

На мой взгляд, это никак не оправданная интерпретация. Незаконна прежде всего сама операция устранения. С тем же успехом можно было бы «устранить» флексии *-ые*, *-ие* (назвав их, например, специфически русскими) и получить в результате систему, ничем не отличающуюся от Смотрицкого. Автор гамбургских фрагментов нигде не характеризует приводимые им окончания как русские или церковнославянские и, можно полагать, не имеет ни малейшего намерения думать о них в этих терминах (отсутствие в его языковом сознании такой классификационной схемы хорошо согласуется с тем, что мы наблюдаем в языковой практике данной эпохи, когда все соответствующие флексии могут употребляться как свободные варианты). Как мы увидим, первые проблески идеи генетической классификации в применении к окончаниям прилагательных появляются позже. В анализируемой грамматике вариантные флексии не противопоставляются, и поэтому нет ни малейшего основания, чтобы устранять какие-то из вариантов. Без этой мелиорации наличного материала данные гамбургской грамматики несколько не напоминают Сойе, который в противоположность гамбургскому анониму рассмат-

ривал вариативность скорее как недостаток грамматического описания и стремился придумать дополнительную дистрибуцию для известных ему вариантов³¹.

Реинтерпретация морфологических вариантов была продолжена в грамматике И.-В. Пауса, и именно здесь появляются те проблески генетической классификации, о которых было сказано выше. Кодификация Пауса также не отличается последовательностью, но она явно продолжает линию, идущую от Лудольфа и Глюка (обе эти грамматики были известны Паусу). Паус вслед за Глюком дает парадигму прилагательного *добрый* (определяя имеющиеся у Глюка варианты им. ед. м. рода *добрый* и *доброй* как R. [т. е. русский] *доброй*, S. [т. е. славенский] *ый*) и отступает от Глюка лишь в том, что в вин. мн. м. и ж. рода из вариантов Глюка избирает форму *добрыхъ*, т. е. вин.=род. (так что о собственных формах вин. мн. м. и ж. рода мы информацией не располагаем). Кодифицированными, таким образом, оказываются формы им. мн. м. рода *добрые*, ж. рода *добрыя*, ср. рода *добрая* (последняя форма дается и для вин. мн. ср. рода — БАН, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 61). Раздел о местоимениях существенной дополнительной информации не дает, о местоимении *которой* говорится, что оно склоняется по образцу прилагательных и приводятся формы «N.Pl. *которыя*, G. *которыхъ*» (л. 94). Зато Паус здесь, как и во многих иных случаях (см.: Живов и Кайперт 1996), делает попытку соотнести морфологические варианты с противопоставлением русского и церковнославянского; по поводу форм им. мн. и вин. мн. ср. рода, которые в его образцовой парадигме имеют окончание *-ая*, он замечает, что в них «haben Russ. ie oder ые welches sehr gemein wird, v.g. чре³ которые мѣста durch welche Orter» (л. 60 об.). Почему Паус ограничивается лишь формами ср. рода, остается неясным, однако в любом случае флексия *-ие/-ые* оказывается приписана не одной родовой категории (как у Лудольфа и Глюка), а — для русского языка — двум. Кодификация Пауса, таким образом, делает еще один шаг навстречу тому узусу, который характеризовал «русский» язык, представленный в книгах гражданской печати петровского времени и первых послепетровских лет (до первых опытов академической нормализации 1728 г.); этот узус и отразился, видимо, в кодификации Пауса.

Следующий и в определенном смысле решающий шаг сделан в грамматических сочинениях М. Шванвитца. Он порывает с церковнославянской граммати-

³¹ В этой перспективе представляется невероятной и гипотеза Успенского о реальной связи между гамбургской грамматикой и сочинением Сойе. Успенский замечает, что «наша грамматика была написана, по-видимому, несколько раньше, чем грамматика Сойе. Мы знаем при этом, что в написании грамматики Сойе участвовал какой-то русский информант. (...) Не исключено, что тот же русский информант, с которым позднее работал Сойе, — один из тех русских, который был за границей в начале 1720-х гг., — принимал участие и в составлении гамбургской грамматики. В этом случае данная грамматика может рассматриваться как своего рода переходный этап от грамматики Лудольфа к грамматике Сойе» (Успенский, III, 569). Поскольку ничего общего между грамматиками нет (во всяком случае в рассматриваемой сейчас подсистеме), тождество информанта представляется ничего не дающим вымыслом. Впрочем, даже если и принять странное построение Успенского, трудно объяснить, почему по пути из Гамбурга в Париж изобретательный информант решил объединить средний род не с мужским, как было в Гамбурге, а с женским, как стало в Париже.

ческой традицией и дерзкой рукой перестает кодифицировать восходящие к ней «родовые» окончания. Его кодификация переориентирована на узус, причем на новый нормализованный академический узус, в формировании которого он сам — как один из академических переводчиков — принимал участие. Я не хочу сказать, что предшествующие грамматисты (прежде всего Паус) на узус не ориентировались. Паус, как известно, даже excerpiровал тексты разных типов и разных эпох (в частности, он работал со славянской Библией 1663 г. и с Уложением 1649 г.), приводя затем примеры из них в своей грамматике. На этот узус, однако, они смотрели через призму славянской грамматической традиции (и общих представлений о правильном устройстве грамматики) и в силу этого, игнорируя реальную вариативность, сохраняли согласовательный принцип и распределяли флексии по родовым категориям. Именно от этого и отказывается Шванвиц. Старый узус для него ничего не значит, там царил неприличный для хорошо обработанного языка беспорядок, и это делало бессмысленной самую попытку данный узус кодифицировать, т. е. придать ему нормативный статус. Такая попытка стала возможной лишь с появлением нового нормализованного узуса русского языка, противопоставленного церковнославянскому. Ее Шванвиц и осуществляет. Хотя в его «Compendium Grammaticae Russicae» парадигмы прилагательных отсутствуют (я благодарен за эти сведения Г. Кайперту), о принципах, которым он следовал в кодификации прилагательных можно судить по его немецкой грамматике 1730 г. (Шванвиц 1730).

В этом сочинении зафиксированы исключительно формы на *-ie/-ые* для всех трех родов, что соответствовало, как мы знаем, употреблению, отразившемуся в «Примечаниях к ведомостям» за этот период. В переводе немецких парадигм он дает «Ном: gute, добрые (...) Ак: gute, добрыхъ, добрые», помечая при этом «во всѣхъ трехъ родахъ» (Шванвиц 1730, 175). Понятно, конечно, что «во всѣхъ трехъ родахъ» относится не к русской парадигме, а к немецкой и является простым переводом «durch alle Genera» как пометы при немецких формах мн. числа, однако, как показывают формы вин. мн. и как явствует из сопоставления со следующим изданием «Немецкой грамматики» (см. ниже), Шванвиц приводит все русские соответствия, т. е. форма *добрые* также приписывается всем трем родам. Это подтверждают и другие примеры, встречающиеся в переводах немецких парадигм, ср.: *такіе мужья, такіе госпожи, такіе дома* (с. 195—197); *какіе мужья, какіе госпожи, какіе дома* (Ном.), *какіе дома* (Ак.) (с. 199—201). Так же как формы прилагательных, даны и формы причастий: «Ном: похваляющие lobende (...) Ак: похваляющихъ, похваляющие lobende (...) чрезъ всѣ три роды» (с. 205); «Ном: похваленные gelebte (...) Ак: похваленныхъ, похваленные gelebte (...) чрезъ всѣ три роды» (с. 205). Об универсальности формы на *-ie/-ые* говорит и собственный текст «Немецкой грамматики». Мы находим здесь в им. мн. м. рода *узнанные, сожженные, благоимѣнованные* (с. 43), *великіе* (с. 177), в вин. мн. м. рода *равные* (с. 399), в им.-вин. ж. рода *начальные* (с. 29), *наличные* (с. 51), *толстые* (с. 55), *первые* (с. 131), *добродѣтельные* (с. 177); в им.-вин. ср. рода *неопредѣлительные, существительные, прилагательные* (с. 29), *которые* (с. 31), *главные* (с. 131), *Иностранные* (с. 141)³².

³² Мы привели лишь выборочные примеры, их число может быть многократно умножено. В этой картине ничего не меняет выражение *и протчая*, много раз встречающееся в

На фоне этой унифицирующей кодификации, осуществленной Шванвитцем, безусловный интерес представляют «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» (Адодуrow 1731), напечатанные в 1731 г. в приложении к Вейсманову лексикону и обычно приписываемые В. Е. Адодуrowу; Шванвитц, как уже говорилось (см. § II.4; см. еще Приложение III), был причастен (непосредственно или опосредованно) к составлению этого очерка, в котором был несомненно использован его «Compendium Grammaticae Russicae» (Кайперт 1992, 222—223). Тем более любопытно, что в очерке 1731 г. кодифицируется не одна, а две флексии для им.-вин. мн.: *-ые* и *-ыя*; в парадигме прилагательного *добрый* (выбор слова указывает на связь с грамматикой Пауса, хорошо известной Адодуrowу) во мн. числе все формы даются «per tria genera»; в им. мн. здесь приводятся формы «добрые oder добрыя», в вин. мн. «добрые oder добрыя und добрыхъ» (Адодуrow 1731, 30).

И это решение означало — в сопоставлении с грамматикой Пауса — полный разрыв с церковнославянской грамматической традицией, соответствующий общим установкам Очерка 1731 г. (и выражающийся прежде всего в отказе от согласовательного принципа). Однако — в сопоставлении с сочинениями Шванвитца — Адодуrow делает шаг назад в регламентированности морфологических параметров. В самом деле, в «Anfangs-Gründe» имеет место отказ от унифицированной флексии *-ие/-ые*, отражающей узус «Примечаний к ведомостям», и возвращение к немотивированной вариативности (ограничивающейся, впрочем, лишь двумя флексиями). Точно установить, чем именно руководствовался Адодуrow, вряд ли возможно. Стоит напомнить, однако, что в 1730 г. в Академической типографии выходит «Езда в остров любви» Третьяковского (с ним в это время Адодуrow близко сходится), в которой, как мы видели, в качестве унифицированной выступает флексия *-ия/-ыя*, а флексия *-ие/-ые* появляется лишь в единичных случаях. Адодуrow, возможно, идет на попятный, поскольку ориентируется на узус, представленный не только в «Примечаниях к ведомостям», но и в других академических изданиях. Кодификацию прилагательных в «Anfangs-Gründe» можно рассматривать, таким образом, как своеобразный компромисс, учитывающий разные варианты, предпочтительные для его коллег.

Именно на фоне этого компромисса представляется вполне понятным правило 1733 г., о котором сообщает Третьяковский и которое реализуется в «Примечаниях к ведомостям» за этот год (см. выше). Это правило сохраняет достигнутый в «Anfangs-Gründe» компромисс, но возвращает утерянную в них регламентированность. Первое известное нам грамматическое сочинение, в котором запечатлевается правило 1733 г., — это второе издание «Немецкой грамматики» Шванвитца, которое было отредактировано Адодуrowым. Там, где в первом издании указывалось одно окончание, во втором фиксируются два, например: «Имен. похваляющіе, ія lobende (...) Вин. похваляющихъ, іе, ія lobende (...) чрезъ всѣ три

тексте (см., например, с. 123, 279, 281), которое представляет собой застывшую форму и может не соотноситься с формами им. мн. ср. рода. Имеются и другие единичные отступления. Так, два раза с существительным *вербумъ*, которое Шванвитц относит к ср. роду (ср. *вербумъ* (...) *оное* — с. 375), употреблено в им. мн. прилагательное *и протчія* (Когда *Аузіліарные верба haben, können, müssen, и протчія* — с. 373, см. еще с. 381); трудно сказать, что именно обусловило это отступление, однако оно явно не имеет систематического характера.

роды» (Шванвитц 1734, 159); «Имен. похваленные, ыя gelebte ⟨...⟩ Вин. похваленныхъ, ыя, похваленные gelebte ⟨...⟩ чрезъ всѣ три роды» (с. 163). О том, что имеется в виду распределение этих окончаний по родам, говорят примеры в других парадигмах, ср.: *такіе мужи, такія госпожи, такіе дома* (с. 147); *какіе мужи, какія госпожи, какіе дома (имен.), какіе дома (Вин.)* (с. 151—153). Об этом же свидетельствует и текст грамматики, в котором в прилагательных ж. и ср. рода произведена последовательная замена флексии *-ие/-ые* на флексию *-ия/-ья*. Достаточно взглянуть на примеры, соответствующие тем, которые приводились выше из первого издания грамматики: им. мн. м. рода *познанные, сожженныя* (с. 29), *великіе* (с. 123), им.-вин. ж. рода *началныя* (с. 21), *наличныя* (с. 34), *толстыя* (с. 35), *первыя* (с. 69), *добродѣтельныя* (с. 123); им.-вин. ср. рода *неопредѣлительныя, существительныя, прилагательныя* (с. 21), *которыя* (с. 21), *главныя* (с. 69), *иностранныя* (с. 81) (ср.: Рязанская 1988)³³.

Правило 1733 г. определяет кодификацию форм прилагательных во мн. числе и в более поздних грамматических сочинениях, опирающихся на академическую грамматическую традицию. То распределение форм прилагательных по родам, которое зафиксировано во втором издании «Немецкой грамматики», воспроизводится и в третьем ее издании 1745 г. (Шванвитц 1745). Оно же представлено и в «Сокращении латинской грамматики» В. Лебедева (Сокращение 1746). Здесь в переводах латинских парадигм к прилагательным на *-us* даются следующие соответствия: «И. *Voni, bonae, bona*, добрые, добрыя ⟨...⟩ *Vonos, bonas, bona*, добрые, добрыя» (с. 73); аналогичные соответствия у прилагательных на *-er*: «И. *Miseri, miserae, misera* бѣдныя, бѣдныя ⟨...⟩ *Miseros, miseras, misera* ые, ыхъ, ыя» (с. 74). На правиле 1733 г. построено и описание интересующей нас подсистемы в шведской грамматике Гренинга, представляющей собой перевод грамматических сочинений академических филологов. Здесь в парадигме прилагательных во мн. числе показаны в им. мн. м. рода флексии *ye, ie*, в им. мн. ж. и ср. рода *ya, ia*, в вин. мн. м. рода *ye, ыхъ, ихъ*, в вин. мн. ж. и ср. рода *ya, ыхъ, ихъ* (Гренинг 1750, 107). Этому соответствует и приводимая в грамматике парадигма знакомого нам по предшествующим грамматическим сочинениям прилагательного *добрый*; отбрасывая формы вин.=род. мы находим здесь в им.-вин. мн. м. рода *добрыя* — *gode*, в им.-вин. мн. ж. и ср. рода *добрыя* — *goda* (с. 110); мягкая разновидность иллюстрируется прилагательным *синій* с формами *синіе* для м. рода и *синія* для ж. и ср. рода (с. 110—111).

3.3. Aftermath: Споры и колебания после 1733 года

В принципе историю кодификации прилагательных в им.-вин. мн. числа здесь можно было бы и закончить, поскольку, как известно, правило 1733 г. оставалось в силе вплоть до орфографической реформы 1917—1918 гг. Конечно, оно не с самого начала реализовалось повсеместно, в середине XVIII в. многие авторы,

³³ Выражение *и прочая* оставлены во втором издании без изменения (см.: Шванвитц 1734, 237, 230 и т. д.). На месте отступающего от принятой в первом издании нормы словосочетания *и протчія* (см. примеч. 32), в одном случае находим сокращенное написание *и проч.* (с. 343), в другом — соответствующий текст опущен.

непосредственно не связанные с Академией наук, продолжали писать так, как они привыкли. Об этом прямо говорит Тредиаковский: «Сказать правду, (...) на безразборныя окончания, в прилагательных наших множественных целых, больше походу во всем простом народе, и во всех простых и приказных сочинениях: определенных постоянно с 1733 года, токмо что обретающиися при академических музах употребляют, и очень ретко кто из сторонних. Имею я честь знать у нас и такова человека, который во всех трех родах оныя окончания пишет токмо что на одно (е)» (Тредиаковский 1748, 339/III, 230). Постепенное внедрение установленной академическими филологами нормы связано с развитием школьного обучения русскому языку; анализ этого процесса относится к исторической социолингвистике и, как уже говорилось, выходит за рамки настоящей работы. Это, однако, не вся история. Вскоре после того как новая норма была кодифицирована, в академическом кругу появились первые диссиденты, которые с новым правилом были по разным соображениям не согласны и пытались изменить складывавшуюся языковую практику. Их попытки не увенчались успехом, однако, пока они продолжались, норму нельзя рассматривать как окончательно установившуюся.

Первым атаку на правило 1733 г. начал неутомимый экспериментатор Тредиаковский, и это было связано с начавшимся общим изменением его лингвистических взглядов. 3 февраля 1746 г. он подал в Академию наук рассуждение, озаглавленное «De plurali nominum adjectivorum integrorum Russica lingua scribendorum terminatione». Стоит сразу же отметить, что раньше Тредиаковский никаких возражений против установленной нормы не высказывал и следовал ей в издававшихся им в Академической типографии книгах, например, в дважды изданной «Истинной политике знатных и благородных особ» (Тредиаковский 1737а; Тредиаковский 1745а) или в «Слове о витийстве» 1745 г. (Тредиаковский 1745). К середине 1740-х годов его взгляды на соотношение русского и церковнославянского стали меняться. Если раньше он рассматривал оппозицию двух этих языков как аналогичную оппозиции французского (или итальянского) и латыни, то теперь он склоняется к мысли о фундаментальной специфике русской языковой ситуации, обусловленной тем, что русский един по природе со славянским, тогда как французский, итальянский и испанский «отменились от латинскаго всею природою сочинения, хотя и ясно видимо, что оне произошли от него» (Тредиаковский 1748, 300/III, 203) (см. об этой перемене во взглядах Тредиаковского: Успенский 1985, 158—198; Успенский 1994, 135—140; Живов 1996, 265—287). Окончания прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа, утвержденные правилом 1733 г., противоречили этой единой природе «сочинения» (т. е. словоизменения) и поэтому не удовлетворяли Тредиаковского³⁴.

³⁴ Определенную роль, конечно, могли сыграть и внешние, биографические обстоятельства. В 1745 г. Тредиаковский становится наконец профессором Академии наук, хотя прошение о производстве его «в профессору Элоквенции как российския, так, и латинския» он подал еще двумя годами ранее (Пекарский, ИА, II, 97), но получил отказ от академической конференции. Тредиаковский получил академическое место профессора элоквенции по представлению Сената (там же, 106—107) и полагал, видимо, что вступление олицетворяемой им российской филологии (красноречия) в академические права должно быть ознаменовано какой-либо видимой инновацией в языке академических изданий. На месте правила 1733 г. должно было утвердиться правило 1746 г., связанное с именем пер-

Поскольку предложения 1746 г. не были приняты Академией наук (по решению И. Д. Шумахера после критики Ломоносова — см.: Ломоносов, VII², 802), Третьяковский продолжает настойчиво возвращаться к этому вопросу, снабжая свои предложения более развернутой аргументацией в «Разговоре об орфографии» 1748 г., а затем в отдельной статье 1755 г. (Пекарский 1865). Основные аргументы, впрочем, повторяются из работы в работу, лишь обрастая дополнительными деталями и облекаясь во все более многословные формулировки. В отдельных случаях меняется порядок, а, следовательно, и относительный вес аргументов. Нет смысла последовательно излагать все три варианта доказательств, не слишком отличающиеся друг от друга, так что мы постараемся дать общее резюме, следуя в основном наиболее ранней версии.

То, что Третьяковский предлагает взамен правила 1733 г., обычно связывается с «ориентацией на церковнославянскую языковую модель» (Успенский 1985, 162). Это, вообще говоря, верно, хотя ориентация оказывается здесь непрямой. Третьяковский не предлагает вернуться к церковнославянской системе окончаний, а придумывает свою собственную, не менее искусственную чем та, которая вводилась правилом 1733 г., а далее уже не без труда доказывает, что его изобретение соответствует «славенской» природе русского языка. Третьяковский настаивает, что «нашим окончаниям множественного числа целых, а не усеченных имен, как именных, так местоименных, и причасных, мужескаго женскаго, и средняго рода, надлежит быть следующим:

ІМЕН.		
муж.	жен.	сред.
Святѣи	Святые	Святѣя
Істиннѣи	Істинные	Істиннѣя
МѢСТОІМ.		
Онѣи	Оные	Онѣя
Которѣи	Которые	Которѣя
ПРИЧАС.		
Угождающѣи	Угождающѣе	Угождающѣя
Угодѣвшѣи	Угодѣвшѣе	Угодѣвшѣя

(Третьяковский 1748, 293—294/III, 198; ср. ту же таблицу: Пекарский 1865, 112).

Аргументы, которые приводит Третьяковский в пользу своей системы, разнообразны. Он и в самом деле начинает с того, что, называя «окончение прилагательных множественное мужеское на е» неправильным, доказывает эту непра-

вого профессора российского красноречия и тем самым закрепляющее его позиции в академических институтах (положение Третьяковского в Академии было маргинальным и непрочным, и попытки улучшить его не приносили результатов). Этого, как мы увидим, не случилось, однако Третьяковский, замечательным образом, стал идентифицировать себя с предложенным им правописанием прилагательных. В 1758 г. в своем доношении в Академию наук, подводящем итог его академической деятельности, Третьяковский заявляет, что не может вынести гонений от своих со товарищей и что его злодеи стремятся, дабы «употребляющаго меня праведно и с твердым основанием (и), в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых, всемерно низвергнуть в пропасть безславия» (Пекарский, ИА, II, 208).

вильность нарушением в случае этого окончания «сличия и сходства, по самой большей части славенского с нашим языком, о котором всем весьма есть известно, что он нашему источник и корень, и с которым наш мало нечто разнится» (Ломоносов, IV, примеч., 12—13; ср.: Вомперский 1968, 87). Третьяковский ссылается при этом на церковнославянские формы, в которых «окончение (...) непременно есть на *и*», на сравнительные данные («малороссийский язык», а также сербский, польский и чешский), и, наконец, на внутреннюю аналогию, а именно на *и* в окончаниях притяжательных прилагательных (Ломоносов, IV, примеч., 12), приводя «тучу, чтоб так сказать, доказательств» (Третьяковский 1748, 295/III, 199). Аналогия, на взгляд Третьяковского, требует, чтобы прилагательные м. рода во мн. числе кончались на *и*, он ссылается при этом не только на притяжательные прилагательные, но и на указательные, личные и притяжательные местоимения. Здесь, естественно, уже начинаются сложности, поскольку эти «аналогические» формы кончаются на *и* вне зависимости от рода и Третьяковскому приходится оговариваться, что, «хотя сие окончание *и*, есть общее всем трем родам», однако оно особенно сродно «прилагательным множественным мужеского рода, как первейшаго и чеснейшаго прочих обоих» (Ломоносов, IV, примеч., 14). Таким образом, ориентация на церковнославянскую модель сочетается в аргументации Третьяковского с другими факторами, которые можно было бы назвать внутриграмматическими³⁵.

Существенно, что выбором окончания им. мн. м. рода сближение с природой церковнославянского и ограничивается. Если окончание им. мн. м. рода действи-

³⁵ В «Разговоре об орфографии» аргументация в пользу *и* в им. мн. м. рода разлагается на девять пунктов: «1) Доказывает сие славенского языка единство с нашим. 2) Родное братство малороссийского и других всех русских в литве языков с нашим же. 3) Кровное родство иллирических языков, а из них сербского и болгарского с нашим же: также такое же сродство польского и чешского. 4) Множественного числа окончания, всех на́весе. сущестительных наших имен. 5) Едва не всех местоимений множественных, мужеского рода, окончания; и некоторыя числительныя имена. 6) Самыя прилагательныя наши имена усеченныя, множественного числа. 7) Ещче и самыя целыя наши прилагательныя имена мужеского рода, но единственного числа. 8) Необходимость различия между простонародным и подлым языком с таким, которому надлежит быть благороднее и чище, для того что сей последний долженствует употребляем быть в писменных и ученых сочинениях. 9) Невозможность, премного многих имен наших прилагательных целыхъ, множественного числа, мужеского рода, кончить инако, как токмо на (*и*)» (Третьяковский 1748, 295—296/III, 199—200). Каждый из этих пунктов затем пространно поясняется (там же, 298—310/III, 202—210). Эти же аргументы, лишь в слегка модифицированном порядке, повторяются и в трактате 1755 г. К этому времени, впрочем, Третьяковский придумал и еще одно курьезное доказательство. Оно апеллирует даже не столько к внутренней логике грамматического устройства, сколько к логике орфографии. Окончания им. мн. м. р. *-ии/ -ьи* он сопоставляет с окончаниями им. ед. м. р. *-ий/-ьий* и задается вопросом: «На что ж сие (*й*) краткое в сем окончании?» Ответ побуждает вспомнить об иконичности грамматических формантов: «На то, чтоб произношению быть единственному вполнину против множественного, дабы единственный падеж не смешался с множественным, который-поприроде своей есть на (*и*) некроткое: то есть, чтоб святыи не смешался с святыи. Ежелиб сие было не-для-сего; то б напрасно нам писать (*й*) краткое в единственных окончаниях» (Пекарский 1865, 104).

тельно совпадает у Третьяковского с церковнославянским, то окончания им.-вин. мн. ж. и ср. рода (равно как и вин. мн. м. рода) с церковнославянским образом не совпадают. Их Третьяковский вводит на основании сомнительных аргументов, имеющих дело даже не с аналогией, а с оптимальным устройством парадигмы. Собственно говоря, у него остается в запасе два окончания — *-ие/-ые* и *-ия/-ья*, и аргументация сводится к тому, почему *-е* больше подходит для женского, а *-я* — для ср. рода. В предложениях 1746 г. основным доводом в пользу *-е* в им. мн. ж. рода является устранение омонимии между им. мн. и род. ед.: «Сему же различию лучше быть, нежели не быть между именительным множественным, и родительным единственным женскими, для того что оба падежа кончатся ныне подобно, так: *святыя* жены именительный множественный, и *святыя* жены родительной единственной: ибо всегда и везде лучшее есть и почитается расстройство, нежели сумесь» (там же, 24); тот же аргумент почти дословно повторяется в трактате 1755 г., причем указывается, что «всегда и везде предпочитается различение смятности» (Пекарский 1865, 111). Устранение омонимии — важный резон практически для всех грамматистов этой эпохи — обуславливает выбор *-ие/-ые* для ж. р., что оставляет *-ия/-ья* на долю ср. рода. К славянизации или русификации этот аргумент отношения не имеет³⁶.

В «Разговоре об орфографии» в связи с вопросом об окончании прилагательных во мн. числе подробно обсуждается теоретический вопрос о значении употребления в языке и соотношении грамматических правил и употребления³⁷. Интересующий нас сейчас вывод Третьяковского, сделанный уже в статье 1746 г., состоит в том, что при наличии в употреблении вариантов в качестве грамматической нормы должен быть избран тот, который согласен с «разумом»: «Ежели употребление будет в чем двоякое, или и больше; то тому должно следовать, которое согласнее с разумом, и от сего зашчищено быть может» (Ломоносов, IV, примеч., 17; см. развитие этого положения в «Разговоре об орфографии» — Третьяковский 1748, 323—324/III, 219—220; эта аргументация воспроизводится и в трактате 1755 г. — Пекарский 1865, 108—110). В этом контексте решается вопрос о выборе окончания для ж. и ср. рода. Чужестранный человек, один из протагонистов «Разговора об орфографии», высказывается в том смысле, что «разум утверждает только сие, что полезно, нужно, и лучше быть, нежели не быть различию между женским родом и средним, для того что такое различие может зделаться ни мало не в противность природе российского языка: а не определяет, что женский род должно отменить от средняго точно буквою (е). Мне кажется, также отдастся повиновение разуму, когда женский род по старому останется на (я), а средний зделается на (е)» (Третьяковский 1748, 334—335/III, 227). На это российский человек отвечает: «Правда, г.м., и не спóрю: разум точнаго сего различия не показывает явно. Однако тайным некоторым образом всеконечно он сове-

³⁶ В этой связи Третьяковский может говорить о недопустимости отдельных окончаний (например, *-ой* в им.-вин. ед. м. рода) как омонимичных другим (например, *-ой* в дат. ед. ж. рода) (см.: Пекарский 1865, 104). Ясно, что вопрос о противопоставлении русского и церковнославянского для подобных рассуждений остается нерелевантным.

³⁷ Об эволюции взглядов Третьяковского на употребление и о том, какую трансформацию претерпевают при этом идущие от К. Вожела формулировки см.: Успенский 1985, 183—196; Живов 1996, 350—368.

тует женский род кончить на (е), а средний на (я), именнож чрез воспоследования. Ибо, ежели средний род кончить на (е), а женский на (я); то 1). Множественный именительный падеж женский не различится от единственного родительного, хотя и находится он в таком состоянии, что отмениться может, без повреждения природы в языке. Следовательно, есть замешательство: а умь твердит лучше быть распределению и распорядку. 2). Средний род всегда и непременно оканчивается на (я) в славенском языке. Следовательно, должно ему оканчиваться и у нас постоянно. Посему, понеже должно быть между сими родами различию, женскому осталось быть на (е). 3). Понеже все существительныя имена, средняго рода, во множественном числе, именительный свой падеж оканчивают или на (а) или на (я): то лучше, для приятности слуху, кончить и прилагательныя средня так, чтоб, звоном подобным в окончаниях, согласны они были с окончаниями своих существительных» (там же, 335—336/227—228)³⁸.

Б. А. Успенский полагает, что ориентация на церковнославянский проявляется в самом различении во мн. числе трех родовых форм: «В самом деле, в плане содержания, т. е. на категориальном уровне, правописание ТрEDIAKовского однозначно коррелирует с церковнославянским — в обоих случаях различаются все три рода» (Успенский 1984, 105; Успенский, II, 379—380). Формально такая корреляция, действительно, имеет место, однако ТрEDIAKовский к этому моменту не апеллирует. Согласовательный принцип, который мог ассоциироваться с церковнославянской грамматической традицией, присутствует и в регламентации, которую ТрEDIAKовский ниспровергает, а предпочтительность тернарной оппозиции в отношении к бинарной не представлялась, видимо, достаточно весомым аргументом. ТрEDIAKовский и здесь доказывает свою правоту не обращением к церковнославянскому образцу, а общеграмматическими соображениями: «[К]оторых имен род есть различен, тех необходимо долженствует быть окончание различное, ежели сие различие может зделаться не в противность свойству и природе языка, для того что все роды наших имен больше окончаниями разбираются. Но что роды женской и средней между собою разнятся, то сие всегда пребудет истинно» (Ломоносов, IV, примеч., 23).

Правило 1733 г. не воспроизводило, как мы знаем, никакое из существовавших ранее употреблений и в этом плане не было ни «славянизацией», ни «русификацией» языковой практики. Это было искусственное нормализационное ре-

³⁸ В трактате 1755 г. из этих трех аргументов остается, как уже указывалось, только первый. Едва ли это объясняется только тем, что изложение в трактате является более сжатым. Второй аргумент устраняется, возможно, в силу того, что ТрEDIAKовский осознал его нелепость (о женском роде можно сказать то же, что и о среднем). Третий аргумент вступает в определенное противоречие с тем новым доводом, которым ТрEDIAKовский доказывает в трактате 1755 г. «всеобщественность окончаний на (и)» в формах мн. числа. Она, по мнению автора, «в именах наших расширяется»; индикатором данного процесса оказывается появление форм существительного ср. рода в им. мн. на *-и/-ы* типа *примѣчаніи*. ТрEDIAKовский считает их неправильными, но, по его остроумному наблюдению, «сею самою чувствительною их погрешностию доказывается непреодолеемо, что-окончания в именах наших на (и), суть всех прочих общественнейшия» (Пекарский 1865, 105). В этом контексте ссылаться на *-а/-я* в окончаниях существительного ср. рода было затруднительно.

шение, значимость которого именно в нормализации и заключалась. То же самое можно сказать и о системе, предложенной Третьяковским. Как правильно замечает П. А. Клубков, «предлагавшиеся Третьяковским орфографические новации представляли собой не столько “славянизацию” орфографии, сколько ее “рационализацию”» (Клубков 1999, 76)³⁹. Аргумент, относящийся к соответствию флексии им. мн. м. рода на *-и* единой природе русского и славянского, в его построениях вторичен. Третьяковский не отождествляет новый литературный язык с церковнославянским и не восстанавливает церковнославянскую систему окончаний мн. числа. В этом смысле он признает, что русский язык отличается от церковнославянского, хотя они и являются едиными по природе. Отличаясь от церковнославянского, русский язык находится, однако же, в беспорядке, он не имеет «исправной грамматики» и нуждается в усовершенствовании.

«Худое употребление», которое Третьяковский приравнивает к «незнанию» (Третьяковский 1748, 330/III, 224), не создает основы для этого совершенствования, в обычном произношении конечные гласные окончаний смешиваются. «Подлинно много таких, — пишет Третьяковский, — которые выговором оканчивают те имена на (е); но больше и таких, которые тотже падеж, тогож числа, и тогож рода, не токмо выговаривая, но и на письме то на (я), то на (е) кончат. Пускай посмотрят все наши книги, печатанные гражданским типом прежде 1733 года. Пускай также справится, кто изволит, и с сочинениями приказных людей поныне» (там же, 328—329/223)⁴⁰. «Доброе употребление» должно отличаться от «худого», «безразборного», однако правило 1733 г. доброго употребления не обеспечивает, а только усугубляет существующие недостатки. «Впрочем, я сказал бы, что лучше быть в наших оных прилагательных именах двум безразборным окончаниям, ежелиб они совершенно различали три рода имен, в чем превеликая есть нужда исправному, красному и чистому языку, сверх того, что сей токмо приводит писателя в храм славы и памяти, а о чем всем мало зоботится простонародный язык, нежели оным постоянным, определенным с 1733 года, ддятого что они, как женский род не различают с средним, так мужеский род пе-

³⁹ Развитие этого аргумента у П. А. Клубкова представляется более сомнительным. По мнению этого исследователя, «[с]ама идея “рационализации” орфографии, т. е. приведения ее в соответствие с разумом, едва ли не с неизбежностью влекла за собой в XVIII в. ориентацию на классические образцы» (Клубков 1999, 73). Этим общим тезисом обосновывается мнение, согласно которому образцом для предложенного Третьяковским правила было склонение прилагательных трех окончаний в латыни (в им. мн. в соответствии с родом *-i*, *-ae*, *-a*). Это соображение впервые было высказано Я. К. Гротом (Грот 1899, 644). Грот, однако, справедливо замечал, что сам Третьяковский нигде не упомянул об этом. В этих условиях нет достаточных оснований думать, что такая ориентация имела место. Третьяковский был слишком хорошим лингвистом, чтобы трансплантировать морфологию одного языка в другой язык. Гадать же о том, не мог ли Третьяковский бессознательно руководствоваться латинским образцом, не представляется целесообразным.

⁴⁰ В трактате 1755 г. та же ссылка на «безразборное» употребление дается в несколько ином виде: «Доказывают сие достоверно все гражданские книги, прежде 1733 года напечатанные; доказывают проповеди и все-на-все приказных дел письма» (Пекарский 1865, 108). Ссылка на проповеди, как мы увидим ниже (§ IV.4), вполне оправданная, представляет особый интерес.

ременили на (е) вместо (і) в безответную противность природе нашего выговора» (там же, 340/231). Устранение «безразборности» и установление различия для «трех родов имен» и оказывается совершенствованием языка, и это усовершенствование осуществляется на основе русского (а не церковнославянского) языка, поскольку именно он в силу редукции конечных безударных гласных создает почву для грамматических манипуляций Третьяковского.

В принципе система, придуманная Третьяковским, была не лучше и не хуже той, которая предлагалась правилом 1733 г. Так же как и эта последняя, она не соответствовала узусу, существовавшему до нововведения, и требовала от пишущих усвоения новых письменных навыков. Существенным достоинством системы 1733 г. было, однако, то, что ко времени выступления Третьяковского она уже реализовалась в практике академического книгопечатания в течение тринадцати лет. Никакого стимула к новой реформе, кроме амбиций Третьяковского, не было, а академическое начальство (прежде всего Шумахер) этим амбициям не симпатизировало. Предложение Третьяковского было отдано на рассмотрение Ломоносову, который отверг все те аргументы, которыми Третьяковский его обосновывал.

Касаясь флексии на *-и* в им. мн. м. рода, Ломоносов прежде всего обращается к генетической классификации морфологических вариантов (традиция которой восходит к Лудольфу и Паусу — см.: Живов и Кайперт 1996; Живов 1996, 212—214; ср. выше § IV.3.2), указывает, что «Славенской язык от Великороссийскаго ничем столько не разнится, как окончаниями речений» (Ломоносов, IV, 1/VII², 83), и логично заключает, что церковнославянские окончания не могут быть основанием для выбора «великороссийских»⁴¹. Единственный недостаток этого контраргумента состоит в том, что в новом литературном языке были закреплены в качестве нормативных (или близких к нормативным) такие флексии, как *-аго/-яго* в род. ед. м. и ср. рода или *-ья/-ия* в род. ед. ж. рода, на которые могла быть распространена та же схема рассуждений, что и на окончание *-ии* в им. мн. м. рода. Однако генетические характеристики не были для филологов этого времени неизменным атрибутом тех или иных морфологических показателей, они оставались предметом грамматических манипуляций, посредством которых одни показатели вводились в сетку генетических оппозиций, а другие из нее выводились и рассматривались как элементы языкового стандарта.

Не представляются Ломоносову убедительными и сравнительные данные, они в принципе не могут служить ориентиром для нормализации русского языка: «[Е]жели нам в сем случае Малороссиянам последовать, не взирая на общее употребление, то Великороссийской язык тем больше испортится, нежели исправится. Тоже надлежит разуметь и о других Великороссийскому сродных языках»

⁴¹ Доказывая это положение, Ломоносов подбирает в качестве примеров те флексии, генетическая противопоставленность которых не вызывала у тогдашних филологов никаких сомнений: «Пославенски, *сыновѡмъ, дѣлѡмъ, рѣцѣ, мене, пихомъ, кланяхуся*; повеликороссийски, *сыновьямъ, дѣламъ, рѣки, меня, (мы) шли, (они) кланялись*. Таким же образом и множественныя прилагательныя мужеския в именительном падеже Славенския разны от Великороссийских» (Ломоносов, IV, 1/VII², 83). Генетическая противопоставленность флексий прилагательных в им.-вин. мн. числа не была столь очевидна.

(Ломоносов, IV, 2/VII², 83). Не устраивает Ломоносова и критерий внутренней аналогии, «ибо всякое [слово — В. Ж.] надлежит к своему собственному склонению, в котором каждое от употребления положено». Это и определяет общий вывод: «Из сего всего явствует, что к постановлению окончаний прилагательных множественных имен никакие теоретические доводы не довольны; но как во всей грамматике, так и в сем случае одному употреблению повиноваться должно» (там же, IV, 2/VII², 84).

Главным критерием нормализации остается для Ломоносова употребление — в полном соответствии с западноевропейскими лингвистическими теориями его времени, впервые сформулированными К. Вожела в применении к проблемам формирования французского языкового стандарта. Недаром Третьяковский в «Разговоре об орфографии» уделяет столько внимания вопросу о дифференциации «худого» и «доброе» употребления (см. выше). В приложении к русской языковой ситуации этого времени критерий употребления вовсе не выглядит таким самоочевидным, как его подает Ломоносов. Ломоносов имеет в виду прежде всего разговорное употребление; оно, однако, не могло служить критерием при нормализации лексики и синтаксиса, поскольку должно было бы исключить из письменного стандарта лексические «славянизмы» и многие необходимые в письменном изложении синтаксические построения (см. выше, § I.7). С проблемой лексических «славянизмов» русские филологи к тому времени уже столкнулись и, видимо, осознали бесперспективность в этой сфере вожелаистского радикализма (ср.: Живов 1996, 214 сл.).

Если критерий разговорного употребления не действовал в лексике и синтаксисе, следовало ли ригористически придерживаться его в морфологии?⁴² Эти сомнения и побуждают Третьяковского различать разные типы узуса, лишь декларативно сохраняя приверженность вожелаистскому разговорному употреблению; употребление, основанное на разуме, и употребление ученых или искусных людей по существу легализуют письменный узус в качестве отдельного ориентира (ср.: Живов 1996, 350—368). Определенные явления разговорного употребления могут трактоваться как ошибки, недопустимые в письменном узусе: «В дружеских разговорах ошибка не столько ставится в строку; в письмах больше подвержена осмеянию: но погрешение, или незнание почитай уже непростительно в печати» (Третьяковский 1748, 330—331/III, 224).

Хотя Ломоносов переосмыслял категорию употребления во многом сходным образом, в замечаниях на предложения Третьяковского он пользуется этим понятием в его исходном значении (отсылающим в первую очередь к разговорной ре-

⁴² Показательно, что, обсуждая проблемы морфологической нормы, Третьяковский одновременно обращается и к лексическим славянизмам, которые он трактует как утвердившиеся в письменном узусе, см., например, в эпиграмме «Не знаю кто певцов в стих вкинул сумозбродной»:

Не голос чется там, но сладостнейши глас,
Читают око все, хоть говорят все ж глаз
Не лоб там но чело, не щоки но ланиты,
Не губы и не рот, уста там багряниты
(Успенский, II, 377).

чи и фиксирующим ее текстам). Сейчас не столь важно, поступает ли он так, преследуя полемические цели, или в силу того, что к переосмыслению данной категории он пришел несколькими годами позже (ср. §§ 164, 165 «Риторики» 1748 г. — Ломоносов, III, 219/VII², 236—237). Он пишет: «Подлинно что употребление множественного окончания Великороссийских прилагательных имен в именительном падеже не постоянно; однако не так, как в сих параграфах предложено. Ибо на *e* множественное окончание во всех родах употребительнее нежели на *я*. Что явствует во всех печатных и рукописных гражданских книгах от Великороссиан сочиненных, каковы суть, уложение указные книги и другия печатныя и писменныя права и указы⁴³. А на *и* окончания множественного прилагательных в книгах от Великороссиан сочиненных и переведенных нигде видать мне не случилось. Что ж надлежит до неясственного произношения последнего писмени в тихих разговорах, то хотя слухом и трудно распознать; однако сие бывает явно в двух случаях: 1) когда один другому из дали кричит, 2) в писмах» (Ломоносов, IV, 2—3/VII², 84—86)⁴⁴.

Ориентация на разговорное употребление делает для Ломоносова сомнительным согласовательный принцип. Он пишет: «Окончение множественных прилагательных женских в именительном на *e* утверждается особливо на требуемом различии родов. Однако я рассуждаю, что такого различия родов, котораго в Российском языке нет, в новь замышлять не надлежит» (там же, IV, 3—4/VII², 86). Эти же соображения определяют и отношение Ломоносова к правилу 1733 г.: «Наконец мое мнение в том состоит, что введенное за 10 и больше лет в академической типографии употребление множественных прилагательных окончаний мужескаго на *e* а жескаго и средняго на *я* хотя довольнаго основания не имеет, однако свойству нынешняго Великороссийскаго (языка не) противно. А предложенное в сих пунктах мужеское прилагательных множественных на *и* употреблению Великороссийскаго языка противно. И так лутче буду *я* в прозе употреблять оное как уже несколько старое нежели сие новое и незрелое, а в стихах *e* и *я* во всех родах класть без разбору, смотря как потребует оных сложение; ибо сие свойству Великороссийскаго языка не противно» (там же, IV, 4/VII², 87).

В своей языковой практике Ломоносов в целом придерживался тех принципов, которые он изложил в своих замечаниях на предложения Третьяковского. В прозаических сочинениях он и в самом деле следует правилу 1733 г. В качестве иллюстрации можно воспользоваться его переводом «Волфианской эксперимен-

⁴³ Трудно отделаться от впечатления, что Ломоносов обыгрывает обсуждаемые им формы, употребляя в тексте флексию *-ые* с прилагательными ж. рода (*указные книги*) и флексию *-ия/-ья* с прилагательными ср. рода (*другия печатныя и писменныя права*). Эти формы по видимости соответствуют предписаниям Третьяковского, но должны иллюстрировать, надо думать, то «безразборное» употребление, с которым Третьяковский борется, а Ломоносов считает приемлемым.

⁴⁴ Скорее всего именно эта ломоносовская апелляция к крику провоцирует Третьяковского в «Разговоре об орфографии» на описание кричащих московских торговцев: «[И] у нас, чернь токмо, и незнающии люди, не умея выговаривать сии имен прилагательных окончания на (*i*), внесли оныя безразборныя то на (*e*), то на (*я*). Кто из мужиков, на московской площади, инако к себе кушать просит, как *добрыя молодцы, на вот горячие?*» (Третьяковский 1748, 308/III, 209).

тальной физики» (Ломоносов 1746), вышедшим в том же году, когда были написаны «Примечания на предложения», ср. здесь⁴⁵: им.-вин. мн. м. рода *которыя* (Ломоносов 1746, Посвящение, л. 3), *полагающіе* (Посвящение, л. 3 об. — субстантивированное), *варварскіе вѣки* (Предисловие, л. 1), *которыя* (л. 1 [ter]), *упражняющіеся* (л. 1 — субстантивированное), *искусные мужи* (л. 1 об.), *премудрыя* (...) *учители* (л. 1 об.), *другіе которыя* (л. 1 об.), *жившіе* (л. 1 — субстантивированное), *учоныя люди* (1 об.), *родившіеся* (...) *вымыслы* (л. 2), *нужнѣйшіе Физическіе опыты* (л. 2), *опыты* (...) *нужнѣйшіе* (л. 2), *физическіе опыты* (л. 2 об.); им.-вин. мн. ж. рода *высокія науки* (Посвящение, л. 2 об.), *наставляющія* (...) *предводительницы* (Предисловие, л. 1), *которыя* (л. 1), *пустыя рѣчи* (л. 2), *нѣкоторыя ея части* (л. 2), *которыя* (л. 2 об.), *высокія науки* (л. 2 об.); им.-вин. мн. ср. рода *всякія средствія* (Посвящение, л. 2 об.), *неложныя (мнѣнія)* (Предисловие, л. 1), *найденныя* (...) *правила* (л. 1 об.), *нечаянныя* (...) *дѣйствія* (л. 1 об.), *нынѣшнія времена* (л. 1 об.), *новѣйшія времена* (л. 1 об.), *мысленныя разсужденія* (л. 2), *которыя* (л. 2), *нѣкоторыя описанія* (л. 2), *которыя* (л. 2 об.).

В поэтических произведениях дело обстоит несколько иным образом. В «Примечаниях» Ломоносов фактически постулирует право поэта употреблять в стихах «безразборные» окончания, «смотря как потребует оных сложение». Отступления от правила 1733 г. рассматриваются тем самым как поэтическая вольность, потребность в которой может быть обусловлена рифмой (понятно, не размером). Не ясно, следует ли здесь говорить о фонетической или о графической рифме. В обычном екающем произношении заударные *e* и *я* не различались (как об этом свидетельствует и сам Ломоносов — см. выше, ср.: Панов 1990, 398—400), однако поэтическая декламация обладала особой фонетикой и могла избегать редукции там, где для разговорной речи она была нормативной. В этом смысле поэтическая декламация реализовала «полный стиль» произношения (как его понимает М. В. Панов), т. е. основывалась на тех самых *Lento-Formen*, к которым апеллирует Ломоносов, противопоставляя крик «тихим разговорам». Как полагает М. В. Панов, «главными опорами у Ломоносова здесь были: во-первых, навыки церковно-славянского произношения; (...) во-вторых, диалектные привычки Ломоносова» (там же, 433). Действительно, в церковном произношении редукция была ограничена, а в говоре Холмогор, как пишет А. Грандильевский, «[з]вук *я* служит вместо звука *e* в (...) окончании прилагательных в именительном падеже множественного числа мужского рода на *e* (худыя, толстыя, кривыя вместо худые, толстые, кривые)» (Грандильевский 1907, 22). Таким образом, в поэтическом произношении флексии *-ья/-ия* и *-ые/-ие* могли, действительно, различаться, и в этом случае обсуждаемая поэтическая вольность способствовала фонетической точности рифмовки.

Ломоносов, впрочем, пользуется этой вольностью весьма редко. Стоит отметить, что в его стихотворных произведениях полные прилагательные в им.-вин. падежах мн. числа вообще не слишком часты, поскольку в подавляющем боль-

⁴⁵ Хотя спор шел об окончаниях им. мн., здесь и далее в качестве примеров безразлично приводятся прилагательные в им. мн. и вин. мн. (определяющие неодушевленные существительные), поскольку во всех анализируемых сейчас системах им. мн. совпадает с вин. мн.

шинстве случаев он использует усеченные формы. Хотя наши наблюдения относятся только к поэзии Ломоносова 1741—1749 гг. — периода, наиболее существенного для изучаемой проблемы (он покрывает те поэтические опыты Ломоносова, которые предшествовали «Примечаниям» и могли служить эмпирической основой для его рекомендаций, и те произведения, которые были написаны впоследствии и могли данные рекомендации реализовать), — нет причин сомневаться в том, что их можно распространить на его поэтическое творчество в целом.

Как правило, Ломоносов соблюдает то распределение форм прилагательных по родам, которое предписывалось правилом 1733 г. Примеры многочисленны, ср. для прилагательных м. рода: *злачные луга* (Ломоносов, I, 60), *монархи* ⟨...⟩ *подобные* (с. 60), *кроткіе* ⟨...⟩ *дары* (с. 81), *кремнистые бугры* (с. 93), *незнаемые вамъ народы* (с. 95), *разные языки* (с. 99), *будущіе* ⟨...⟩ *роды* (с. 100), *радостные клики* (с. 115), *жаркіе часы* (с. 125), *позные потомки* (с. 126), *будущіе дни* (с. 127), *различные языки* (с. 133, 140), *согласные* ⟨...⟩ *клики* (с. 133, 140), *вредные пары* (с. 135, 141), *громы страшные* (с. 135, 141), *младенческіе взгляды* (с. 138), *пламенные звуки* (с. 146), *глубокіе лесà* (с. 150), *младые* (с. 156 — субстант.), *ногти острые* (с. 160), *иные* (с. 162 — субстант., bis), *подрослые* (с. 163 — субстант.) и т. д.; для прилагательных ж. рода: *любезныя доброты* (с. 88), *мирныя оливы* (с. 94), *многія доброты* (с. 95), *земныя красоты* (с. 145), *мстящія фуріи* (с. 162), *прегорестныя рѣчи* (с. 172), *людскія рѣчи* (с. 178), *окрестныя страны* (с. 180), *возлюбленныя Музы* (с. 182), *тучи страшныя* (с. 189), *крутыя* ⟨...⟩ *стремнины* (с. 192), *злачныя долины* (с. 192), *добротъ* ⟨...⟩ *которыя* (с. 195); для прилагательных ср. рода: *Златыя лѣта* (с. 56), *времена златыя* (с. 61), *блаженныя мѣстà* (с. 133, 139), *нагія* ⟨...⟩ *плечи* (с. 172), *плечи* ⟨...⟩ *покрытыя* (с. 172), *упрямыя слова* (с. 177), *печальныя сердца* (с. 189).

Отступления немногочисленны и в трех случаях явно обусловлены подбором точной рифмы к слову «Россия»:

Он Богъ, онъ Бог твой был, Россія
Он члены взялъ въ тебѣ плотскія... (с. 105).

И возвышало предъ Тобою,
Трофеи отческихъ побѣдъ
Преславныхъ чрезъ концы земныя.
Коль щастлива была Россія... (с. 133, 139).

Гласи со мной въ концы земныя,
Коль нынѣ радостна Россія! (с. 186)

В двух других текстах отступления никак не мотивированы и могут трактоваться либо как случайные огрехи, либо как реализация той «безразборности», которую Ломоносов, не рассматривая правило 1733 г. как абсолютную норму, считает принципиально допустимой для русского языкового стандарта, ср.: *недремлющіе очи стрегущіе небесный градъ* (с. 125), *Власы сѣдяя простираетъ* (с. 188).

Таковы были взгляды Ломоносова на интересующую нас проблему, и такова была его языковая практика. Нет ничего удивительного в том, что в своей «Российской грамматике» он отступает от сложившейся академической традиции. В

1755—1757 гг., когда печатается «Грамматика», Ломоносов был на вершине своих академических успехов и мог позволить себе со скепсисом относиться к нормативным предписаниям своих предшественников, выставляя себя самого как создателя нового языкового стандарта. Действительно, в склонении прилагательных во мн. числе вообще не предусмотрено различие по роду и даются флексии для им. мн. *ые, ыя, іе, ія, ьи* (последняя для «сокращенного», по терминологии Ломоносова, склонения прилагательных), для вин. мн. *ыхъ, ихъ, ые, іе, ьи* (Ломоносов, IV, 78/VII², 152 — § 161). Отсутствие флексий *ыя, ія* в вин. мн. — случайность, обусловленная, видимо, нехваткой места в таблице; в приводимых парадигмах находим: им. мн. *истинные* или *истинныя*, вин. мн. *истинныхъ* или *истинные* или *истинныя*; им. мн. *прежніе, прежнія*, вин. мн. *прежнихъ, прежніе, прежнія* (там же, 79—80/453—454). В § 119 «Грамматики» Ломоносов возвращается к полемике с Третьяковским и, утверждая невозможность флексии на *-и* в им. мн. м. рода, констатирует, что флексии на *-е* и на *-я* равно подходят для всех трех родов⁴⁶.

Поскольку правило 1733 г. пытались подорвать и Третьяковский, и Ломоносов, нет ничего удивительного в том, что за это же дело взялся и Сумароков: все трое претендовали на славу первого благодетеля новой русской литературы и нового русского литературного языка, и те проблемы, которые ставились одним из трех, вскоре подхватывались его соперниками и решались, понятно, в духе противоположном ранее предложенному решению. Правило 1733 г. было безмянным, и каждый из трех претендентов стремился дать свое имя переустройству окончаний прилагательных во мн. числе, ставшему животрепещущим вопросом после выступления Третьяковского. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Как замечает П. П. Пекарский, «Сумароков, вообще писавший крайне безграмотно, так как вовсе не знал грамматики, хотел однако отличиться от своих литературных врагов, а потому уверял, что все прилагательные в именительном множественного числа следует писать на *я*» (Пекарский, ИА, II, 658—659).

Оставляя на совести Пекарского суждение о безграмотности Сумарокова, напомню, что северный Расин скептически относился к опытам ученой нормализации языка, порицая своих соперников за академическое педанство (см. § II.4). Так, по крайней мере, обстояло дело, пока его литературные враги были живы. Это отношение к грамматике он декларирует в статье, напечатанной в «Трудолюбивой пчеле» в 1759 г.; переходя от данной декларации к вопросу об окончании прилагательных, он пишет: «Имена прилагательныя кончаются у меня во множественном всех родов в именительном падеже на *Я*. А потому что я по единому только собственному моему произволению ни каких себе правил не предписываю, и не только другим, но и самому себе в грамматике законодавцем быть

⁴⁶ В § 119 Ломоносов пишет: «В окончании прилагательных множественного числа мужескаго рода, вместо *Е* или *Я*, некоторые ставят везде *И*, что употреблению и слуху весьма противно. Употребление букв *Е* и *Я* в прилагательных множественного числа всех родов в Великороссийском языке от начала исторических и других писателей Московских, а особливо от времен Великаго Государя Царя Иоанна Васильевича, и до нынешняго времени непрерывно было (...) и ныне от знающих писателей содержится» (Ломоносов, IV, 54—55/VII², 132).

не дерзаю, памятуя то, что Грамматика повинуется языку, а не язык Грамматике; так должен я объявить вам, ради чего я все прилагательныя так окончеваю. Ради того что все так говорят. А для чего так говорить начали, о том спросите древних предков наших, ежели вы к тому случай имеете. А всенародного употребления не возможно опровергнуть, да и не для чего. Другой на сие довод столько ж важен: В Славенских наших книгах, прилагательныя имена, множественнаго числа ⟨...⟩ рода мужескаго кончаются на И. В женском и среднем на Я. Ежели нам следуя тому поступать; так мы Славенским мужеским окончанием введем нечто несвойственное в нынешний язык наш, к чему народ не только привыкать не может, но и не станет. Какому же последуя правилу окончеваете вы во множественном прилагательныя имена на Е? Вы скажете: так пишут ныне. Кто так пишет ныне? Все, вы скажете. Право не все, ибо не все еще сим заражены и ни когда не заразятся, а то, что не имеет ни малейшаго основания, стоять не может» (Трудолюбивая пчела 1759, 265—267; ср.: Сумароков, VI, 308—309).

Позднее Сумароков еще два раза возвращается к этому вопросу, в статье «О правописании», написанной в 1768—1771 гг., и в дополнениях к ней, известных как «Примечание о правописании» и написанных не ранее 1773 г. Здесь он уже принимает на себя миссию законодателя и предписывает употреблять флексию *-ия/-ья* во всех родах. В статье «О правописании» говорится: «В старину прилагательное в разных родах так писалось: *Великии мужи, великия области, великия моря*; с чего ж мы в роде Мужеском пишем *Великие*? Литера Е никогда роду мужескому не принадлежала в нашем языке: да и выговариваем мы *великия мужи*; так когда отставило употребление писать *великии*; не должно ли писать во всех родах одинако; ибо *великие* ни которому роду не свойственно, ниже роду мужескому в нашем языке: а *великия* свойственны двум родам, а по употреблению и третьему. Ни кто сего правила не устанавливал; но невежеством ввезено в наш язык, ко трудности и ко безобразию онаго» (Сумароков, X, 29—30). Как можно видеть, Сумароков не слишком хорошо знает церковнославянскую грамматику, но для него эти сведения непринципиальны, поскольку он полагает, что данная система была отставлена «употреблением». На употребление он ссылается с тем же его пониманием, как и Ломоносов (об ином понимании у Третьяковского см. выше), т. е. обнаруживая его в первую очередь в разговорной речи. В отличие от Ломоносова, однако, в произношении он слышит (полагает, что слышит) *великия*, а не *великие*. На этом основании и на основании того, что флексия *-ия/-ья* уже употребляется в прилагательных ж. и ср. рода Сумароков закрепляет эту флексию для всех трех родов, создавая тем самым новое правило, отличающееся простотой, но полностью игнорирующее согласовательный принцип.

В «Примечании о правописании» Сумароков пишет: «Какое правило приказало нам писати прилагательныя во множественном Е. и Я? Е. в мужеском выдумали так же подъячия, а позабыв завед людей во сей не основательный лабиринт, хотя многия и мучатся над различием родов[,] мешаются, и гадят язык еще более. Г. Тредьяковский смешное еще правило оставил, ради показания новаго, но худаго изобретения: ИИ ИЕ АЯ. Ежели следовати старине; так должно писати *Непорочнии, непорочныя*, непорочна: но ИИ пахнет отверженною от нас хотя и недельно Славенщиною: и осталось писати во всех трех родах *непорочныя*. А другия писатели сего за твердое правило еще неприемлют, так пускай писатели выду-

мывают такие правила, какия они хотят; но сколько мы писателей имеем?» (Сумароков, X, 42). Любопытно, что, по мнению Сумарокова, флексию *-ие/-ые* в м. роде ввели в употребление подьячие; это, конечно, воспроизводит общий тезис Сумарокова, согласно которому русский язык испортили и портят подьячие (см.: Живов 1996, 302—305), однако не исключено, что данная мысль была навеяна ссылкой Тредиаковского на «сочинения приказных людей» (Тредиаковский 1748, 329/III, 223; см. выше). Предложенную Тредиаковским флексию *-ии* Сумароков отвергает как славянизм, и это оставляет для него только одну возможность — распространить на все три рода флексию *-ия/-ья*, что он и предлагает в качестве новой регламентации. Он, впрочем, не настаивает на ее общеобязательности, хотя намекает, что он и есть тот единственный писатель, который способен предложить разумное правило. Кажется вероятным, что, говоря о других писателях, которые не принимают его правило, Сумароков отзывается на замечания В. Светова, писавшего в 1773 г. о привлекательности сумароковского правила, однако ставившего его реализацию в зависимость от согласия «всех Российских писателей» (Светов 1773, 24; см. ниже).

Что касается соотношения предлагаемой Сумароковым нормы с его собственной языковой практикой, отдельные детали остаются здесь не вполне ясными. В самых ранних публикациях Сумарокова встречаются обе флексии *-ие/-ые* и *-ия/-ья*, причем употребляются они без согласования по роду. В «Хореве», напечатанном при Академии наук (Сумароков 1747), находим следующие примеры: *въ темные лѣса* (с. 9), *изъ сихъ противныхъ мѣстъ, Которые <...> Которые* (с. 10), *О сонце, кое я въ послѣдніе здѣсь зрю* (с. 10), *Услухи прежніе* (с. 11), *безпристрастные словѣ* (с. 11), *Строптивые сосѣды* (с. 19), *безстрашные народы* (с. 19), *мерзости <...> которые* (с. 26), *такіежъ челоѡвки* (с. 26), *въ такіе дни* (с. 30), *въ дни бранные* (с. 34), *безсмертные* (с. 34 — субстант.), *нравы грубые* (с. 37), *такіе <...> плоды* (с. 43), *подъятые труды* (с. 43), *слезъ <...> которые* (с. 45), *зовущіе боги* (с. 47), *россійскіе герои* (с. 47), *княжескіе очи* (с. 50), *глазѣ прелестные* (с. 51), *вѣрные рабы* (с. 53), *какіе рѣчи* (с. 54), *плоды <...> какіе* (с. 55), *слезящіе глазѣ* (с. 56), *стенящіе тираны, и моющіе* (с. 62), *воинскіе сердца* (с. 66), *послѣдніе приказы* (с. 75). Вместе с тем: *неправедныя мысли* (с. 13), *ліющіяся рѣки* (с. 26), *новыя напасти* (с. 34), *иныя <...> вѣсти* (с. 48), *пагубныя лѣсти* (с. 48), *въ подземныя мѣста* (с. 51), *въ какія <...> безны* (с. 55), *какія пропасти* (с. 73), *во слезахъ <...> которыя* (с. 75). Сумароков явно не соблюдает правила 1733 г. (и поэтому наблюдаемый узус нельзя приписать работникам академической типографии, готовившим издание «Хорева»), однако не следует и никакому собственному правилу; употребление у него остается «безразборным», вернее, он употребляет флексию *-ие/-ые* для всех трех родов, а флексию *-ия/-ья* только с прилагательными ж. и ср. рода.

Между тем уже в «Двух епистолах» 1748 г. наблюдается употребление флексии *-ия/-ья* в качестве унифицированной (Сумароков 1748 — привожу прилагательные м. рода, прилагательные ж. и ср. рода также употребляются с флексией *-ия/-ья*, однако здесь узус Сумарокова совпадает с академической нормой); соответствующие формы мы находим как в стихотворном, так и в прозаическом тексте: *О вы! которыя стремитесь на Парнасъ* (с. 8), *Невольныя стихи ттеца не велятъ* (с. 8), *бездѣльныя труды Предѣ общество кладеть за сладкія плоды*

(с. 9), *Творцовъ, которыя* (с. 9), *Зеленя луга, кустарники, лѣса Бѣющія ключи* (с. 10), *часы, Въ которыя* (с. 11), *прешедшій часа* (с. 11), *грозныя вала* (с. 12), *народы, Которыя* (с. 14), *лѣснописцовъ* (...) *которыя* (с. 18), *О чудныя творцы* (с. 19), *зеленя луга* (с. 19), *хорошія стихотворцы* (с. 21), *протчія непрятныя народу поступки* (с. 22), *тща́тельно составленныя и вычищенныя имъ стихи* (с. 22), *нѣкоторыя Государи* (с. 25), *другія* (с. 26 — субстант.), *стихи Епиталамическя* (с. 27), *стихахъ, которыя* (с. 27).

Отсюда можно было бы сделать вывод, что Сумароков приходит к унифицированному употреблению флексии *-ия/-ья* уже в 1748 г. и затем придерживается его всю жизнь. Хотя исключить этого нельзя, не все факты согласуются с подобной гипотезой. Так, в одах Сумарокова, напечатанных в «Ежемесячных сочинениях», прилагательные в им.-вин. мн. м. рода употребляются как с флексией *-ия/-ья*, так и с флексией *-ие/-ые*, ср.:

Мы щастливыя человекѣ,
Златыя возвращенны вѣки...
(Ежемесячные сочинения 1755, XII, 489);

Въ далекія предѣлы свѣта (с. 492);
Прегорькя познавъ часы
(Ежемесячные сочинения 1758, VII, 6);

Гдѣ росскіе полки воюють,
Тамъ огненные вѣтры дують...
(Ежемесячные сочинения 1758, XI, 388);

Взнесень въ надсолнечные круги (с. 393).

В последующих прижизненных изданиях этих од флексии *-ие/-ые* заменены во всех приведенных примерах на флексии *-ия/-ья*. Уже через год, в стихах Сумарокова в «Трудолюбивой пчеле» за 1759 г., в которой была напечатана и цитированная выше статья «К типографским наборщикам», последовательно выдерживается окончание *-ия/-ья* для всех родов. Возникает вопрос, как интерпретировать эти данные. Означают ли они, что колебания в языковой практике Сумарокова продолжались вплоть до 1759 г., когда он эксплицитно сформулировал свою позицию и стал приводить в соответствие с ней свои языковые навыки?⁴⁷ Или же появление флексии *-ие/-ые* в одах, напечатанных в «Ежемесячных сочинениях», обусловлено вмешательством тех самых «типографских наборщиков», к которым затем обращается Сумароков? Однозначный ответ здесь вряд ли возможен. Очевидно, однако, что Сумароков располагал опытом унифицированного употребления флексии *-ия/-ья* уже в конце 1740-х годов, и именно к этому опыту он обратился в 1759 г., стремясь противопоставить свое правило предписаниям Ломоносова и Третьяковского. Понятно, что, однажды определив свои позиции, он от них больше не отступал и, переиздавая свои сочинения, приводил их в соответствие с сформулированным им принципом.

⁴⁷ Такое поведение достаточно характерно для этого периода, ср. о том, как Сумароков и Ломоносов перестают употреблять союз *понеже* после того, как начинают рассматривать его в качестве специфически «приказного» слова: Живов 1996, 304—305.

Узус, сформированный Сумароковым, существенного развития не получил, как, впрочем, и инновации его литературных противников. Правда, грамматика Ломоносова пользовалась большим авторитетом вплоть до начала XIX в., а сам он воспринимался как первый кодификатор нового литературного стандарта. Тем не менее академическую языковую практику, основанную на правиле 1733 г., ему изменить не удалось. Изменение нормы, предложенное в «Российской грамматике», оказывает определенное влияние на дальнейшую кодификацию, но не воздействует заметным образом на развитие письменных навыков. Воспроизведение ломоносовской кодификации наблюдаем в ряде грамматических сочинений второй половины XVIII в. Так, скажем, в «Российской универсальной грамматике» Н. Курганова (Курганов 1769) в парадигме прилагательных во мн. числе в им. мн. даются формы *честные или честныя*, в вин. мн. *ихъ, или честные, ыя* (с. 16); никакого распределения по родам не предусмотрено. Данная кодификационная схема без изменений воспроизводится и в последующих изданиях этой популярной книги (ср.: Курганов 1777, 14).

Точно так же, без всяких существенных модификаций, ломоносовская кодификация воспроизводится и в грамматике Якоба Родде (Родде 1773). В таблице дается характерный набор ломоносовских окончаний: «Pluralis per tria genera. Nom. ые, ыя, іе, ія, ьи, <...> Acc. ыхъ ихъ ые, іе, ьи, Voc. ые, ыя, іе, ія, ьи» (с. 46), а в парадигмах варианты формы без распределения по родам: «Nom. добрые, oder добрыя, die guten, <...> Acc. добрые oder добрыя, die guten, Voc. добрые, gute» (с. 47); «Nom. прѣжніе, прѣжнія, die vorigen, <...> Acc. прѣжнихъ, прѣжніе, прѣжнія, Voc. прѣжніе, прѣжнія» (с. 48).

Похожую картину мы находим в «Кратких правилах российской грамматики», впервые изданных в 1773 г. (Краткие правила 1773). В таблице здесь даются те же самые флексии, что и у Ломоносова: «Им. ые, ыя, іе, ія, ьи. Вин. ыхъ, ихъ, ые, іе, еи. Зва. ые, іе, ія, ыя, ьи» (с. 20); несовпадение наборов окончаний в им. мн. и вин. мн. восходит к тому же источнику. На него указывают и лексемы, которые даются в парадигмах. «И. Истинные, или ныя. <...> В. истинныхъ, ные, ныя. <...> И. Прежніе <...> В. прежнихъ, ніе, нія» (с. 21). На этом, однако, верность ломоносовской традиции кончается. В XVI главе книги «Краткия примечания о Правописании» в параграфе, где говорится об ошибочных написаниях *е* вместо *я*, сообщается: «Сие смешение литер (е) и (я) особливо бывает во множественном числе имен прилагательных, то есть тех, которыя значат свойство и качество вещи или лица. Но о том по большей части принято правило такое, чтоб оныя прилагательныя в мужеском роде кончать на (е), а в женском и среднем на (я), на пр. господа добрые, госпожи добрыя, деревья добрыя, столбы крѣпкіе, оконницы большія, стѣкла бѣлыя» (с. 86). Эта кривая кодификация правила 1733 г. воспроизводится и в последующих изданиях «Кратких правил» (Краткие правила 1780, 27—29, 88; Краткие правила 1796, 29—31, 99).

Еще более показательное издание «Кратких правил» 1784 г. (Краткие правила 1784), в которых о распределении окончаний по родам говорится уже не в дополнительной главе, а в основном грамматическом описании. Таблицы и парадигмы и здесь соответствуют ломоносовской кодификации, родовые различия во мн. числе в них не предусмотрены. В таблице, в точности как и у Ломоносова, в им. мн. даются окончания *ые, ыя, іе, ія, ьи*, в вин. мн. *ыхъ, ихъ, ые, іе, ьи* (Краткие

правила 1784, 94 — и здесь отсутствие флексий *ья, яя* в вин. мн. говорит о прямом заимствовании из Ломоносова). В парадигмах приводятся формы им. мн. *честные, или честныя*, вин. мн. *честныхъ, честные, или честныя* (с. 95), им. мн. *искренние, или яя*, вин. мн. *искреннихъ, или ie, или яя* (с. 96), им. мн. *ближние, яя*, вин. мн. *ближнихъ, ie, яя* (с. 97). В специальном параграфе, однако, оговаривается: «Окончания прилагательных имен в именительном множественного числа на Е и на Я хотя оба могут равномерно служить как для мужескаго, так и для женскаго и средняго родов; однако Е приличнее употреблено быть может при именах мужескаго, а Я при именах женскаго и средняго рода. На пр. *добрые воины, быстрыя рѣки, похвальныя дѣла*» (с. 100—101). Хотя автор послушно следует за Ломоносовым, этот параграф явно фиксирует поставленную Ломоносовым под сомнение, но продолжающую быть актуальной норму.

Для хронологии процесса, в результате которого родовое различие, введенное правилом 1733 г., утверждается в качестве общеобязательной нормы, показателен «Опыт нового российского правописания» В. Светова, вышедший из печати в 1773 г. (Светов 1773). Автор фиксирует интересующую нас норму как элемент сложившегося узуса; этот узус не кажется ему безупречным, но он описывает его как данность, которая может быть изменена лишь как следствие изменения в языковой практике «Российских писателей». Здесь говорится: «Множественного числа именительные и звательные падежи имен прилагательных мужескаго рода кончатся на *Е*, *храбрые полководцы, геройскіе подвиги*; женскаго вещь значащих и средняго именительные, винительные и звательные на *Я*, *громкія побѣды, побѣдоносныя войска*. Для средняго рода, кажется, должно бы выдумать особое окончание. Г. Тредиаковский пишет в мужеском: *древнїи Егїптяне*, в женском: *достопамятныя вещи*, в среднем: *таинственныя изображенїя*; Г. Сумароков во всех трех родах кончит на *Я*. (см. ТРУД. ПЧ.), что можно бы принять за правило, когда бы все Российские писатели в том утвердились. Пишут неправильно: *военныя корабли, рѣккіе стасти, сгустъвиіеся облака*» (с. 23—24). Именно на этот пассаж откликается, видимо, Сумароков в «Примечании о правописании» (см. выше), польщенный, надо думать, упоминанием его рекомендаций в «Трудолюбивой пчеле», но скептически относящийся к согласованной воле российских писателей; Сумароков в свои последние годы воспринимает Российский Парнас как свою вотчину и не понимает, почему не все следуют созданным им образцам. Чего хочет сам В. Светов, остается неясным. Компромиссный характер правила 1733 г., объединявшего два существовавших в то время академических узуса, для него, понятным образом, неактуален (практика академических изданий до 1733 г. вряд ли ему известна), он видит в этом правиле лишь логическую непоследовательность и предлагает либо распространить согласовательный принцип на ср. род, сделав его отличным от ж. рода, либо вообще отказаться от данного принципа. Никто, однако, до 1917 г. не отозвался на эти пожелания.

В 1787 г. появляется «Краткая российская грамматика» Е. Б. Сырейщикова, предназначенная для насаждаемых Екатериной народных училищ. Этот опыт кодификации, достаточно примитивный в собственно лингвистическом плане, представляется тем не менее весьма важным в социолингвистическом отношении, поскольку приобретаемое грамотность население усваивало зафиксированные в нем нормы и формировало на их основе свои письменные навыки. У Сы-

рейщикова приведена лишь таблица склонения имен прилагательных. В интересующей нас части, содержащей флексии мн. числа, она выглядит следующим образом (Сырейщиков 1787, 11):

Род мужеский	Род женский	Род средний
Имен. <i>ые. іе</i>	<i>ья. ія. ъи</i>	<i>ья. ія. ъи</i>
Вин. <i>ыхъ. ихъ. ые. іе</i>	<i>ыхъ. ихъ. ья. ія. ъи</i>	<i>ымъ (sic!). ихъ. ья. ія. ъи</i>
Зват. <i>ые. іе</i>	<i>ья. ія. ъи</i>	<i>ья. ія. ъи</i>

Никаких колебаний, заметных в предшествующих изданиях, здесь нет. Правило 1733 г. проведено в качестве безусловной нормы, и именно так оно и осваивалось той частью населения, которая училась русской грамоте.

Собственно говоря, «Краткая российская грамматика» предписывает учащимся ту норму, которая оговаривалась (но не давалась в виде грамматических таблиц) в «Руководстве учителям перваго и втораго класса народных училищ Российской Империи» (Руководство учителям 1783), изданном в процессе подготовки все той же екатерининской реформы народного образования. Здесь говорилось: «Часто смешиваются буквы *е* и *я*, особливо в именах прилагательных множественнаго числа. И хотя в простом выговоре не имеют почти совсем никакого различия; однако в правописании оно весьма наблюдается, ибо *е* приличествует именам мужескаго, *я* женскаго и средняго родам, на пр: *храбрые воины, громкія побѣды, великолѣпныя зданія*. Примечание. Некоторые, чтоб различить окончаниями все три рода, выдумали для мужеских *и*, и писали: *побѣдоносныи, честныи* и проч. Однако новейшими писателями сие правило по справедливости отвергается» (с. 16 второй пагинации). В этом пассаже характерно и восходящее к Ломоносову замечание о том, что окончания не различаются «в простом выговоре», и упоминание о предложении Третьяковского как о неоправданной выдумке.

Первоначально грамматика для народных училищ была заказана А. А. Барсову (см.: Барсов 1981, 20—27), однако знаменитый филолог вместо краткого справочника написал объемистый труд, оставшийся в то время ненапечатанным. Именно взамен его и была издана «Краткая грамматика» Сырейщикова, ученика и родственника Барсова. Не задаваясь сейчас вопросом о том, повлияла ли «Российская грамматика» Барсова на работу Сырейщикова, стоит отметить, что и у Барсова известное распределение окончаний по родам выступает как данность русского грамматического устройства. Барсов пишет: «Во множественном числе (...) именительный (...) мужескаго рода делается из своего именительнаго единственнаго по большей части переменою, *⟨и⟩* на *е*, как: *добрый добрые, великій великіе, пригѣжій пригѣжіе, общій общіе, дрѣвній дрѣвніе*; и проч. (...) Сие окончание мужескаго рода переменя на *я*, произойдет именительный множественный женскаго и средняго рода: *добрые добрыя, великіе великія, общіе общія, дрѣвніе дрѣвнія*» (Барсов 1981, 471). За этими формообразовательными правилами следуют общие указания о том, что винительный сходствует «в неодушевленных с именительным», и ряд парадигм, в точности реализующих предпосланные им правила (с. 472—474).

Из сложившейся нормы исходит, надо думать, и Аполлос Байбаков, указывающий в таблице склонения прилагательных в «Российском языке» следующие флексии мн. числа в интересующих нас падежах (Аполлос Байбаков 1794, 29):

	муж.	женск.	сред.
им.	ые, ѿе	ья, ѿя	ья ые, ѿя ѿе
в.	ыхъ, ѿе	ья, ѿя	ья, ѿя
з.	ые, ѿе	ья, ѿя	ья, ѿя

Странный набор окончаний в им. мн. представляет собой, видимо, недоразумение — судя по наборам флексий в вин. мн. ср. рода и зват. мн. ср. рода, которые, в принципе, должны совпадать с им. мн. ср. рода. Если пренебречь этой странностью, очевидно, что Байбаков фиксирует сложившуюся систему.

Свое окончательное утверждение данная система находит в «Российской грамматике сочиненной Императорскою Российскою Академіею» (Российская грамматика 1802). В правилах правописания здесь говорится: «Прилагательныя имена, следуя общему употреблению, в именительном падеже множественнаго числа в отношении к мужескому роду оканчиваются на *е*, а к женскому и среднему на *я*, напр: *оныя вѣки, блестящїе лучи, рѣдкія вещи, блаженныя времена*, а не *оныи вѣки*, или *блестящїи лучи* и проч.» (с. 28). В соответствии с этим устроена и таблица склонения имен прилагательных (вклейка между с. 88 и 89), в которой в им. мн. м. рода даются флексии *ые, ы, ѿе, и*, а в им. мн. ж. и ср. рода флексии *ья, ѿ, ѿя, и*; вин. мн. воспроизводит те же окончания с добавлением *ыхъ* и *ихъ* для вин.=род. Та же система выдерживается и в парадигмах; в им. и вин. мн. м. рода приводятся формы *мудрыя, великія, пригожія, древнія*; в им. и вин. мн. ж. и ср. рода формы *мудрыя, великія, пригожія, древнія* (с. 89—95). Вся последующая традиция школьных грамматик XIX в. следует за этим образцом (ср., например: Греч 1828, 28—30) и это обеспечивает формирование соответствующих письменных навыков в качестве общеобязательных для всего грамотного населения.

4. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в духовной письменности XVIII века

И в области адъективного словоизменения духовная письменность эволюционирует в XVIII в. иным образом, нежели письменность гражданская. Здесь существенно сильнее и устойчивее, чем в гражданской письменности, сказывается влияние стандартных церковнославянских образцов, а вместе с тем не действует тот стимул к нормализации, который определяет развитие нового литературного языка, ориентированного на западные образцы. Такой ориентации в духовной письменности нет, а при этом перестает поддерживаться и тот церковнославянский стандарт, о котором заботились типографские справщики XVII в. Унификация системы прилагательных в памятниках духовной письменности, остающаяся неполной в течение всего разбираемого периода, совершается под воздействием языка светской литературы, постепенного распространения светского узуса в качестве общепринятой и общеобязательной системы.

В Петровскую эпоху духовная письменность такого воздействия еще не испытывает, однако в новых духовных сочинениях, прежде всего гомилетического характера, заметно влияние гибридной традиции. Это влияние можно связать со

стремлением к «простоте» языка, к его удобопонятности, которое естественным образом обращало духовных авторов к гибриднему регистру (о роли гибридного регистра в этом процессе см.: Живов 1996, 57—59). Первые гомилетические опыты петровского времени как раз и можно рассматривать как — в сфере адъективного словоизменения — постепенную трансформацию стандартного церковнославянского (на котором, как мы помним, пишет свои проповеди Симеон Полоцкий) под влиянием гибридного узуса. Некоторые авторы, впрочем, достаточно консервативны, и их употребление прилагательных не отходит существенным образом от традиции стандартного церковнославянского. Таков, например, трактат Стефана Яворского «Знамения пришествия антихристова» (Стефан Яворский 1703), в котором церковнославянская норма выдерживается почти полностью последовательно. Подобные тексты могут рассматриваться как начальная (или исходная) стадия того процесса эволюции языка духовной письменности, который мы наблюдаем в XVIII столетии. Статистические параметры данного текста (выборка включает 15 листов предисловия и 71 лист основного текста) имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	55	—	—	—	55
-ия/-ья	2	13	15	—	30
-ая/-ья	—	1	—	52	53
-ие/-ые	—	—	—	—	—
Всего	57	14	15	52	138

Отступления от нормы в данном тексте минимальны, они вполне сопоставимы с теми, которые мы наблюдали в образцовых книжных изданиях XVII в., и составляют всего 2,17 % от общего числа употреблений. Два примера флексии *-ия/-ья* в им. мн. м. рода могут быть мотивированы относительной редкостью синтаксической конструкции, в которой существительное в им. мн. сочетается с числительным: *шесть ѿных первоначальных протвпатрїархи* ⟨...⟩ *бѣрѣша* (л. 10—10 об.). Флексия *-ая/-ья* в вин. мн. м. рода представляется чистым недоразумением: *въ послѣдних днї* (л. 6 — скорее всего контаминация с обычным словосочетанием *въ послѣдняя времена*). Весьма показательным представляется полное отсутствие флексии *-ие/-ые*, что характерно для всех анализировавшихся нами стандартных церковнославянских текстов и служит наиболее значимой чертой, противопоставляющей их текстам гибридным.

Св. Димитрий Ростовский почти столь же консервативен в своем употреблении прилагательных во мн. числе, как и Стефан Яворский, если судить о его языковой практике по «Разсуждению о образе Божии» (Димитрий Ростовский 1714). Статистические параметры данного текста имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	55	—	—	2	57
-ия/-ья	2	14	29	—	45
-ая/-ья	—	—	—	61	61
-ие/-ые	4	—	1	—	5
Всего	61	14	30	63	168

Отступления от нормы стандартного церковнославянского в разбираемом тексте ограничены и составляют всего 5,36 % — меньше, чем, например, в «Слове благодарственном» патриарха Иоакима (см. выше, § IV.1.1). Здесь, однако, уже отмечаются окказиональные появления флексии *-iel/-ые*. Они отражают, видимо, влияние гибридного узуса (поскольку трудно ожидать, что Димитрий Ростовский или справщики Московского печатного двора испытывали влияние не книжной письменности). Соответствующие формы можно рассматривать как случайные отклонения, они не обладают ни особой мотивацией, ни стилистической нагрузкой. Четыре таких случая наблюдаются в им. мн. м. рода, причем в трех из них форма на *-iel/-ые* оказывается в однородной связи с формой на *-ии/-ьи*: **ста́рые мѣ́жје** (л. 47), **и́ни хрѣ́ті́ане** (...) **ко́торые** (л. 47 об.), **се́дмь** (...) **вселе́нстїи совѣ́ры, ѿ де́вять помѣ́стныє, законоположи́и** (л. 49 об.), **ѡ́ныє сѣ́дїи гїлстїи** (л. 55); один пример приходится на им. мн. ж. рода: **на́ши ро́ссїйскїе кнї́ги** (л. 38). Два употребления флексии *-ии/-ьи* с прилагательными ср. рода производят впечатление недоразумений, связанных с определением рода существительного (хотя это не те мотивирующие сложности, которые мы наблюдали в стандартных церковнославянских текстах XVII в.): **прѡ́чїи же племена́** (л. 9 об.), **прѡ́чїи племена́** (л. 10). Одно из окончаний *-ия/-ья* в им. мн. м. рода встречается не в основном тексте, а в предисловии (**сотво́ре́ныа** — Предисловие, л. 1), другое — в форме **нѣ́кїа** (л. 7 — при обычном **нѣ́цци**).

Следующий шаг навстречу гибриднему узусу можно найти в гомилетических сочинениях Гавриила Бужинского, имею в виду его «Слово о победе, полученной у Ангута» 1719 г. (Гребенюк 1979, 220—233) и «Слово благодарственное о победе, полученной под Полтавой», произнесенное в том же 1719 г. (Гребенюк 1979, 244—254). Оба слова были напечатаны в 1720 г. в Петербурге в Александроневской типографии. Объединяя статистические данные по этим двум текстам, получаем следующий результат:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	62	3	1	—	66
-ия/-ья	14	26	57	19	116
-ая/-ья	—	—	—	60	60
-ие/-ые	1	1	1	—	3
Всего	77	30	59	79	245

Как можно видеть, отклонения от церковнославянской нормы здесь весьма значительны (16,33 %), так что эти тексты не могут рассматриваться как стандартные церковнославянские, если имеются в виду черты адекватного склонения (как, впрочем, и многие другие параметры, и прежде всего употребление простых претеритов — см. Приложение II). Употребление флексии *-iel/-ые* и у Бужинского имеет окказиональный характер (1,22 %), так что в этом отношении никакого сдвига сравнительно с узусом Димитрия Ростовского не наблюдается. Эти окказиональные употребления никак не мотивированы, ср.: *едва не вси ему прїятни, едва не вси доброхотни, прелщенныє изменником* (Гребенюк 1979, 252); *в преждные веки* (с. 248); *блаженныє убо души ваша* (с. 253). Вместе с тем флексия *-ия/-ья* отчасти уже приобретает безродовой характер, присущий гибридным

текстам. Пропорция ее несогласованных употреблений составляет 28,45 %, что напоминает ряд гибридных памятников XVII в. и сходно с такими гражданскими текстами петровского времени, как «География генеральная» или «Библиотеки» Аполлодора. Остальные отклонения от церковнославянского стандарта представляют собою обычные «ошибки», нередкие в гибридных текстах, но в целом не характерные для стандартных книжных памятников, ср.: *пункты воинский описует* (с. 227); *явственныи доводы <...> обряцем* (с. 228); *в недавныи годы* (с. 230); *вооружаются <...> высочайшии власти* (с. 225). «Ошибки» такого рода могут свидетельствовать о том, что справщики, готовившие эти проповеди к изданию, не рассматривали их как тексты, требующие стандартизации, т. е. приписывали им иной статус, нежели стандартным церковнославянским текстам (прежде всего богослужебным).

Узус, который мы находим у Бужинского, правомерно рассматривать как гибридный. Эта же характеристика приложима и к гомилетическим сочинениям Феофана Прокоповича, оказавшим существенное влияние на все последующее развитие русского церковного ораторства. Параметры его киевских проповедей вполне сходствуют с теми, которые мы наблюдали у Бужинского. Вот данные, характеризующие киевское издание его «Панегирикоса» 1709 г. (Гребенюк 1979, 181—203):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	41	—	1	1	43
-ия/-ья	19	28	32	11	90
-ая/-ья	—	—	1	12	13
-ие/-ые	4	3	—	1	8
Всего	64	31	34	25	154

Как и у Бужинского, отклонения от церковнославянского стандарта многочисленны (26,62 %), определяя принадлежность текста к гибридной традиции. Как и у Бужинского, флексия *-ие/-ые* появляется лишь окказионально (5,19 %), и ее употребление никак не мотивировано, ср.: им. мн. м. рода *многие зменники* (с. 189), *многие военачалници* (с. 193), *главные вожды* (с. 193), *неплодные <...> бреги* (с. 193); вин. мн. м. рода *в пределы полские* (с. 189), *устраши супостацкие полки* (с. 193), *толикие <...> труды* (с. 198), вин. мн. ср. рода *толикие неудобствия <...> понести* (с. 189). Тенденция к безродовому употреблению флексии *-ия/-ья* выражена несколько сильнее, чем у Бужинского, пропорция ее несогласованных употреблений составляет 33,33 %. Как и у Бужинского, широкая вариативность служит фоном для единичных «ошибок» иного типа: *мимошедшии скорби* (с. 198), *многии <...> места* (с. 189), *солнце множайшия луча испуцает* (с. 199 — род существительного неясен, форма *луча* в любом случае неправильна, образована ли она от м. р. *луч* или от ж. р. *луча*). Л. Л. Кутина отмечает, что в московском издании «Панегирикоса», вышедшем в том же 1709 г., некоторые киевские «ошибки» были исправлены, однако принципиальные черты разобранного выше узуса при этом не изменились, поскольку «и в московском издании приняты без правки некоторые отклонения от книжно-славянской нормы: И. мн. *велеричивьи риторы*, *мимошедшия годы*, *полчища змѣническия*, либо правка

сделана неверно: И. мн. *многие змѣнники* (Мс. *-ия*), *главные Вожды* (Мс. *-ья*), *неплодные бреги* (Мс. *-ья*), В. мн. — *на многия мѣста* (Мс. *-ии*)» (Кутина 1981, 32).

В дальнейшем, в петербургский период, Прокопович идет несколько дальше, чем Бужинский. Это проявляется прежде всего в возрастающей пропорции употреблений флексии *-ие/-ые* (ср.: Кутина 1981, 33), она сравнивается с теми значениями, которые мы находим в отдельных гражданских текстах, опубликованных в Москве (таких, как «Библиотеки» Аполлодора). Вот, например, данные «Слова похвального о баталии Полтавской», напечатанного в Петербурге в 1717 г. (Гребенюк 1979, 208—219):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	22	—	—	—	22
-ия/-ья	3	5	17	4	29
-ая/-ья	—	—	—	4	4
-ие/-ые	12	1	11	3	27
Всего	37	6	28	11	82

Общий характер узуса остается здесь тем же самым, что и в «Панегирикосе», он обнаруживает характерные черты гибридной традиции. Они проявляются прежде всего в сохраняющемся употреблении родовых флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*, наиболее отчетливо манифестирующем поддержание согласовательного принципа (процент согласованных употреблений вполне характерен для гибридного узуса и составляет 58,54 %). Тенденция к употреблению флексии *-ия/-ья* выражена несколько слабее, чем в «Панегирикосе» (24,14 % несогласованных употреблений), и это можно связать с экспансией флексии *-ие/-ые* (32,93 % всех форм), выступающей как основной безродовой показатель. Стоит, видимо, отметить, что флексия *-ие/-ые* свободно сочетается в последовательностях однородных прилагательных с флексией *-ия/-ья*, ср.: *отторженные наследственные твои сия области возвратить* (Гребенюк 1979, 209), *за пресеченные высокия надежды* (с. 210).

Чрезвычайно схожие параметры обнаруживаются и в другом гомилетическом произведении Прокоповича, опубликованном в том же 1717 г., — приветственном слове Петру при его возвращении из-за границы (Феофан Прокопович 1717):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	8	—	4	—	12
-ия/-ья	2	9	13	5	29
-ая/-ья	—	—	—	13	13
-ие/-ые	8	—	5	6	19
Всего	18	9	21	24	73

«Родовые» флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* употребляются достаточно интенсивно; пропорция согласованных употреблений составляет в этом тексте 58,90 %, тенденция к употреблению флексии *-ия/-ья* в качестве безродовой выражена довольно слабо (те же 24,14 % несогласованных употреблений, что и в «Слове о баталии»). Формы на *-ие/-ые* используются почти с той же интенсивностью (26,03 % всех форм).

Итак, в проповедях, знаменующих начало петербургского периода, наблюдается определенный сдвиг в сторону гибридного узуса того типа, который обнаруживается и в некоторых гражданских текстах петровского времени. Это хорошо согласуется с общим характером эволюции в языке Феофана Прокоповича, который все дальше отходил в своих гомилетических сочинениях от церковнославянского стандарта (ср.: Кутина 1981; Кутина 1982; Живов 1995). Если основываться на аналогии с динамикой форм инфинитива (см. § II.5), можно было бы ожидать, что Прокопович станет все шире употреблять флексию *-iel/-ые*, а употребление «родовых» флексий будет, напротив, сходить на нет. Этого, однако, не происходит. Напротив, скорее можно говорить о движении в обратном направлении — от узуса 1717 г. назад к узусу киевскому.

Действительно, если мы возьмем «Слово похвальное о флоте российском», произнесенное и напечатанное в 1720 г. (Гребенюк 1979, 234—243), то представится картина узуса, по крайней мере столь же консервативного, как и узус Букинского. Вот соответствующие данные:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	25	—	4	—	29
-ия/-ья	2	3	10	2	17
-ая/-ья	—	—	—	18	18
-ие/-ые	—	1	—	—	1
Всего	27	4	14	20	65

Конечно, и этот узус обнаруживает несомненные черты гибридности, отклонения от церковнославянского стандарта составляют здесь 13,85 %, однако флексия *-iel/-ые* практически не находит себе применения (единственный пример: *всякие плоды, житию нашему потребныя, произносити* — с. 238). Лишь минимальное выражение получает и безродовой характер флексии *-ия/-ья* (пропорция несогласованных употреблений составляет 23,53 %). Такого же типа параметры характеризуют и позднейшие гомилетические сочинения Прокоповича. Они слишком коротки для полноценных статистических наблюдений, но тем не менее достаточно ясно указывают, что узус, представленный в «Слове похвальном» 1720 г., не претерпел в дальнейшем существенных изменений. Так, в «Слове на погребение Петра Великого» 1725 г. (Гребенюк 1979, 279—282) находим следующее распределение окончаний:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	5	—	—	—	5
-ия/-ья	4	1	3	3	11
-ая/-ья	—	—	1	19	20
-ие/-ые	—	—	1	—	1
Всего	9	1	5	22	37

Как можно видеть, и здесь лишь очень ограниченно употребляется флексия *-iel/-ые*, тогда как согласовательный принцип определяет подбор большей части форм (пропорция несогласованных употреблений равна всего 24,32 %). То же

самое можно сказать и о «Слове на погребение Екатерины I» 1727 г. (Феофан Прокопович 1727) или о «Слове на день вшествия на престол Анны Иоанновны» (Феофан Прокопович 1733)⁴⁸.

Стоит сразу же отметить, что узус, наблюдаемый в гомилетических сочинениях Прокоповича, отличается от того, который характеризует его «Историю Петра Великого». Конечно, мы не знаем, до какой степени морфологические особенности «Истории» могут быть отнесены на счет самого Прокоповича: мы имеем дело с писарской копией, лишь первые листы которой исправлены собственной рукою новгородского епископа. Однако очевидно, что, редактируя «Историю», Прокопович нисколько не беспокоился об окончаниях прилагательных (они нигде правке не подвергаются), хотя их распределение было иным, нежели в проповедях, написанных им в тот же период. Эти тексты примыкали к разным письменным традициям, т. е. становились в разный лингвистический контекст, и поэтому гомогенность узуса в многообразии создававшихся автором текстов ни в какой степени не была его задачей. Прокопович, как, видимо, и ряд его современников, не стремился сделать полифункциональным один из известных ему идиомов; он, как уже отмечалось, владел несколькими и переключался с одного на другой в зависимости от коммуникативного задания.

Начав новую карьеру в Великороссии, Прокопович модифицирует язык своих гомилетических текстов, предполагая, надо думать, приблизить его к пониманию новой аудитории (отсюда упрощение) и вместе с тем обеспечить его противостояние традиционному языку духовной литературы (который он понимает теперь как «клерикальный», см.: Живов 1996, 126—142). Эта модификация производится в рамках тех многообразных возможностей, которые давал гибридный регистр, достаточно гетерогенный для этого в своих лингвистических характеристиках. Выбрав из этих возможностей узус, относительно далеко отстоящий от стандартного церковнославянского, Прокопович в дальнейшем работает с ним

⁴⁸ Статистические данные этих двух текстов не нуждаются в особом комментарии. Слово 1727 г. характеризуется следующими параметрами:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	11	—	—	—	11
-ия/-ья	1	5	7	1	14
-ая/-ья	—	—	—	9	9
-ие/-ые	5	—	—	—	5
Всего	17	5	7	10	39

Статистические параметры Слова 1733 г. имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	16	—	—	—	16
-ия/-ья	4	4	5	4	17
-ая/-ья	—	—	—	7	7
-ие/-ые	1	1	4	1	7
Всего	21	5	9	12	47

как с автономным идиомом. По отдельным признакам этот идиом все более сближается с «гражданским наречием», т. е. с тем «простым» языком, который формируется в результате петровской языковой реформы. Именно это обуславливает все сокращающееся употребление простых претеритов или — наиболее наглядным образом — увеличивающуюся пропорцию инфинитивов на *-ть* в отношении к инфинитивам на *-ти* (см. § П.5). Однако это сближение не означает слияния⁴⁹. Язык религиозных сочинений Прокоповича остается отличным от языка его светских произведений, и поэтому вопрос, который он решает, состоит в том, по каким признакам стоит проводить сближение, а какие можно оставить в покое. Окончания прилагательных во мн. числе относятся, очевидно, ко второму разряду, и в результате здесь Прокопович, поэкспериментировав, возвращается к привычному для него употреблению. Именно так можно объяснить сдвиг в сторону «гражданского» гибридного узуса в первых произнесенных в Петербурге проповедях и обратный сдвиг в последующие годы.

Итак, в словоизменении прилагательных во мн. числе духовная (гомилетическая) литература переходит от церковнославянского стандарта к гибриднему узусу. В проповедях Бужинского и Прокоповича отмечается нередкое употребление флексии *-ия/-ья* в качестве безродовой, равно как и иные (окказиональные) нарушения согласования. Вместе с тем в духовной литературе — в отличие от литературы гражданской — почти не получает распространения флексия *-ие/-ые*. Именно этот «духовный» узус и достается Елизаветинской эпохе в наследие от Петровской. Приведу в качестве иллюстрации данные знаменитой проповеди на Благовещении Димитрия Сеченова 1742 г. (Димитрий Сеченов 1742):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	15	—	—	—	15
-ия/-ья	16	9	12	9	46
-ая/-ья	—	—	—	24	24
-ие/-ые	—	—	1	—	1
Всего	31	9	13	33	86

Согласовательный принцип остается для Сеченова вполне актуальным, пропорция несогласованных употреблений составляет 30,23 % и лишь незначительно превышает те значения, которые мы наблюдали в поздних проповедях Прокоповича (она в то же время существенно меньше, чем та, которая характеризовала первые петербургские опыты петровского иерарха). Несогласованные употребления практически целиком могут быть отнесены на счет «безродового» функционирования флексии *-ия/-ья* (более половины всех примеров с этой флексией). Между тем флексия *-ие/-ые* отмечается лишь в единичном употреблении: **взра́дные**

⁴⁹ Идея полифункционального стандарта была Прокоповичу в принципе чужда. Всю жизнь, начиная с юных лет, он пользовался разными идиомами для разных коммуникативных заданий; наряду с церковнославянским стандартом, гибридной разновидностью и украинским вариантом простого языка («русской мовой») в этот набор входили и латынь, и польский; в петербургский период к этому набору добавляется московский вариант гибридного языка, который Прокопович использует в своих проповедях, и «простой» гражданский язык, который появляется в его исторических сочинениях.

рѣчьлы <...> положилъ (л. 9). Ни старые родовые флексии, ни флексия *-ие/-ые* никакой специальной стилистической нагрузки не несут и не соотносятся ни с какой особой лексикой или особыми синтаксическими конструкциями (в частности, прилагательные в им.-вин. мн. ср. рода встречаются как в субстантивированном, так и в атрибутивном употреблении)⁵⁰.

Не менее консервативен узус Симона Тодорского, во всяком случае если судить по трем его проповедям 1743, 1747 и 1748 гг., напечатанным в те же годы (Симон Тодорский 1743; 1747; 1748 — о его проповеди 1745 г. см. особо ниже). Суммируя данные этих трех проповедей, получаем следующие результаты:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	58	—	1	—	59
-ия/-ья	2	14	3	4	23
-ая/-ья	—	—	—	24	24
-ие/-ые	3	—	—	—	3
Всего	63	14	4	28	109

Согласовательный принцип выдерживается здесь еще в большей степени, чем у Сеченова, пропорция несогласованных употреблений составляет всего 9,17 %; при этом и флексия *-ия/-ья* в качестве безродовой функционирует лишь окказионально, что делает узус Тодорского еще более консервативным в сравнении с узусом Сеченова. Флексия *-ие/-ые*, так же как и у Сеченова, появляется лишь в единичных случаях: *которые* (1743, 3), *тогдашніе министры* (1743, 12), *драгоценные висеры* (1747, л. 1 об.). Один раз появляется и флексия *-ии/-ьи* в форме им. мн. ж. рода: *дражайший вътви* (1743, 13).

Особняком стоит проповедь Тодорского на бракосочетание Петра и Екатерины («Божие особенное благословение») 1745 г. Она известна нам в двух единовременных изданиях: московском, напечатанном кириллицей в Синодальной типографии (Симон Тодорский 1745а), и петербургском, напечатанном гражданкой в типографии Академии наук (Симон Тодорский 1745). На уровне слов текст этих двух изданий полностью совпадает, однако в морфологии есть небольшие отличия. Статистические параметры предстают в следующем виде (значения параметров в двух изданиях даются через косую черту, первая цифра относится к московскому изданию, вторая — к петербургскому):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	18/23	1/1	0/1	4/5	23/30
-ия/-ья	9/4	12/11	11/10	4/4	36/29

⁵⁰ Димитрий Сеченов сохраняет эту манеру употребления прилагательных во мн. числе и через двадцать лет. Его речь 1763 г. (Димитрий Сеченов 1763) слишком мала по объему для статистических наблюдений, однако общие очертания узуса свидетельствуют о преемственности. В им. мн. м. рода употребляются флексии *-ии* (5 примеров) и *-ия/-ья* (2 примера), в вин. мн. м. рода и им.-вин. ж. рода только флексия *-ия/-ья* (по два примера), в им.-вин. мн. ср. рода флексии *-ая/-ья* (один пример) и *-ия/-ья* (два примера). Флексия *-ие/-ые* употреблена лишь однажды в форме им. мн. ср. рода **какіе** (л. 2).

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ая/-ья	—	—	—	12/11	12/11
-ие/-ые	1/1	4/5	—	—	5/6
Всего	28	17	11	20	76

Кто именно ответствен за расхождения между двумя изданиями, остается неясным. Расхождения не слишком значительны, так что тип узуса не меняется. В обоих случаях мы имеем дело с вариантами того «духовного» узуса, который представлен и у Сеченова, и в других произведениях Тодорского. Синодальное употребление отличается лишь относительно большим числом нарушений согласовательного принципа (30,26 % в московском издании, 27,63 % в петербургском), причем это обусловлено не только экспансией флексии *-ие/-ые* (всего лишь 6,58 % в московском издании, 7,89 % в петербургском) или употреблением флексии *-ия/-ья* в качестве безродовой (пропорция несогласованных употреблений составляет 36,11 % в московском издании, 27,59 % в петербургском), но и нередкими примерами несогласованного употребления флексии *-ии/-ьи*: **привождѣ самыа восточныа нарѣды, <...> съвѣстїю ѿзобличѣнныи, необыкшыа** (1745а, л. 7; 1745, 9); **смертоноснїи баталїи** (1745, 10; в московском издании **смертоносныа** — 1745а, л. 7 об.); **высокіи свои имена** (1745, 3; в московском издании **высокаа** — 1745а, л. 1 об.), **[морѣ] бѣкрасївшїица** (1745а, л. 7; 1745, 9), **вїдѣвшїи** (1745а, л. 7; 1745, 9 [bis]), **[полѣ] вїдѣвшїи** (1745а, л. 8; 1745, 10). Несмотря на эти примеры, согласовательный принцип остается для данного текста актуальным, и никакой попытки сближения «духовного» узуса с узусом современной светской литературы не заметно.

Заслуживает внимания и тот факт, что Академическая типография, проводя свои нормы в светских изданиях, оставляла без вмешательства духовные сочинения (собственно, такое невмешательство можно наблюдать уже в издании проповеди Прокоповича 1733 г., однако в это время правило 1733 г. еще не утвердилось). Это означает, что полифункциональность нового языкового стандарта представлялась академическим филологам лишь относительной, не затрагивающей духовную традицию. Духовная литература воспринималась как *une chose à part*, ее язык — как идиом, имеющий автономное существование. Характерно, что такое восприятие было присуще не только самим духовным авторам, но и светской публике, что и создавало основание для взаимного невмешательства.

Анализируя тексты 1740-х годов, остановлюсь еще на проповедях Амвросия Юшкевича. Ничего неожиданного в них не наблюдается. Мы имеем здесь дело лишь с еще одним вариантом «духовного» узуса, несколько менее консервативным, чем узус двух других авторов, разбиравшийся непосредственно выше, однако не выходящим за пределы той инновативности, которую мы наблюдали в первых проповедях Прокоповича петербургского периода. Суммированные данные по трем проповедям Юшкевича 1740-х годов (Амвросий Юшкевич 1742; Амвросий Юшкевич 1744а; Амвросий Юшкевич 1744в) имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	25	—	—	2	25
-ия/-ья	8	24	37	27	96
-ая/-ья	—	—	—	63	63
-ие/-ые	12	—	4	7	23
Всего	45	24	41	99	187

Пропорция несогласованных употреблений приближается здесь к одной трети (32,09 %), что несколько ниже, чем в первых петербургских проповедях Прокоповича, однако несколько выше, чем у Тодорского и Сеченова. Нарушения согласовательного принципа распространяются как в силу экспансии флексии *-ие/-ые* (12,30 %), пропорция употребления которой в несколько раз выше, чем у Сеченова и Тодорского, так и в результате безродового функционирования флексии *-ия/-ья* (36,46 % несогласованных употреблений). Эти нарушения не похожи на окказиональные и обнаруживают определенную тенденцию в эволюции узуса, тогда как другие отступления носят случайный характер (*нечувствєнїи ѿ бездѣшїи [нѣса]* — 1744а, л. 3 об.).

Как и в отношении многих других параметров, существенный сдвиг происходит в гомилетической практике Гедеона Криновского. Оба издания его проповедей детально описаны Л. Челлбергом, так что мы можем воспользоваться его результатами. Первое издание было напечатано гражданским шрифтом в Академической типографии в 1755—1759 гг. (Гедеон Криновский, I—IV). Статистика форм прилагательных в им.-вин. мн. числа имеет следующий вид (Челлберг 1957, 150; Челлберг анализировал первые три страницы каждой проповеди)⁵¹:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	328	12	13	27	380
-ия/-ья	—	1	128	163	292
-ая/-ья	—	—	—	36	36
-ие/-ые	148	44	4	11	207
Всего	476	57	145	237	915

⁵¹ Мы несколько модифицируем данные Л. Челлберга. Он проводит различие между формами на *-ии*, употребляющимися после (морфонологически) твердых согласных и соответствующих церковнославянскому стандарту для флексии им. мн. м. рода, и формами на *-ии/-ьи*, в которых флексия не смягчает предшествующий согласный. Формы последнего типа представляют собой, как справедливо замечает Челлберг, собственно русское развитие и могут трактоваться как отступление от церковнославянского стандарта. Мы, однако же, с самого начала игнорировали это противопоставление, несколько упрощая картину. Такое упрощение представляется целесообразным, поскольку мы имеем дело не с единичным памятником, а с длительной традицией. Смещение флексий *-ии* и *-ьи* начинается в истории русской письменности достаточно рано, так что это противопоставление не выдерживается даже в стандартных церковнославянских текстах XVII в. (здесь сказываются и орфографические условности). Нормативность флексии *-ии*, смягчающей предшествующий согласный, могла (для церковнославянского стандарта) по-новому осознаваться в XVIII в. благодаря развитию грамматического обучения церковнославянскому в духовных семинариях.

Действие старого согласовательного принципа все еще просматривается в данном распределении; старые родовые флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* продолжают употребляться достаточно интенсивно (особенно первая из них), и в результате пропорция согласованных употреблений превышает половину и составляет 53,88 %. Это, конечно, радикальным образом противопоставляет узус Криновского языковой практике его предшественников 1740-х годов. Бросается в глаза одна замечательная черта этого узуса: флексия *-ие/-ые* в основном употребляется в формах им. мн. и вин. мн. м. рода, тогда как флексия *-ия/-ья* — в формах им.-вин. мн. ж. и ср. рода, что соответствует правилу 1733 г. Таким образом, новый согласовательный принцип, действующий в светской литературе данного времени, переносится, хотя и весьма непоследовательно, в духовную словесность. Распределение окончаний в рассматриваемом издании носит явно промежуточный характер, стремясь воплотить оба согласовательных принципа, хотя они и противоречат друг другу, реализуясь в совпадающих формах лишь в им.-вин. мн. ж. рода. Действительно, если отклонения от старого согласовательного принципа составляют 46,12 %, то отклонения от нового («светского») согласовательного принципа лишь ненамного превышают это значение, составляя 47,21 %. Трудно представить себе статистические параметры, более точно выражающие ситуацию сидения между двух стульев.

Во втором издании Геден решительно пересаживается на «светский» стул. Статистические параметры здесь существенно меняются, см.:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	108	—	—	1	109
-ия/-ья	6	19	140	192	357
-ая/-ья	—	—	—	37	37
-ие/-ые	361	37	5	9	412
Всего	475	56	145	239	915

От старого согласовательного принципа здесь не остается почти ничего, он нарушается более чем в двух третях случаев (66,78 %). Новый согласовательный принцип, напротив, оказывается в выигрыше, отступления от него — все еще значительные — составляют лишь одну пятую всех примеров (20,22 %). Некоторые из этих отступлений носят явно случайный характер, как, скажем, один пример флексии *-ии/-ьи* в им.-вин. мн. ср. рода, шесть примеров флексии *-ия/-ья* в им. мн. м. рода или четырнадцать примеров флексии *-ие/-ые* в им.-вин. мн. ж. и ср. рода. Они нарушают как новый, так и старый согласовательный принцип. Напротив, сохранение форм, соответствующих старому церковнославянскому стандарту, во многих случаях мотивировано.

Обращусь сначала к формам им. мн. м. рода на *-ии*. Анализируя расхождения между первым и вторым изданиями (примеры из первого издания даются прямым шрифтом, соответствующие им формы из второго издания приводятся после косой черты и даны курсивом), Л. Челлберг замечает, что эти формы сохраняются «d'ordinaire aux participes présent et passé actifs: смиренный и боящийся Бога, то есть не имѣющіи надъймающаго ихъ духа **II 72** / *-ные ... -щіися ... -щии* 395, непреоборимы на всю вселенную вооружившіися подвижники, которыи

I 114 / *-мые ...-шиися ...-рые* 120^v, распеншии Христа Іудеи многиі **II 234** / *-шии ...-zie* **II 16**» (Челлберг 1957, 146). Флексия *-ии* порой не подвергается замене и «dans les comparatifs et superlatifs en -шій: бѣднѣйшиі **IV 103** / *-шии* 523, лучшиі **II 321** / *-шии* **II 218**^v, множайшиі **III 153** / *-шии* 287» (там же). Поскольку эти формы могут восприниматься как специфически книжные (церковнославянские), они оказываются естественным контекстом, консервирующим старые книжные окончания⁵². Челлберг указывает также, что в ряде случаев флексия им. мн. м. рода *-ии/-ьи* заменяется во втором издании на *-ии*, смягчающую предшествующий согласный; наиболее заметным контекстом, в котором осуществляется такая замена, оказывается обращение к аудитории: «Благочестивыи слышатели! **I 1**, **II 11**, **IV 167** etc. / *-ви* 1б 298, 557^v etc., Слышатели благочестивыи! **I 75**, **III 58** etc. / *-ви* 92^v, 56 etc., Слышатели мой возлюбленныи **I 117** / *-ни* 122^v {...} Слышатели Христоименитыи **III 147** / *-ни* 284^v» (там же).

О формах им.-вин. мн. ср. рода на *-ая/-ья* Л. Челлберг замечает: «La désinence slavonne *-ая/-ья* se rencontre aussi, en particulier avec les adjectifs substantivés: вся Геенская мучения **I 10**, многиі (*-zie*) многая [ищуть] **I 14** / 10^v, всевъдущему [Богу] слѣдуетъ вѣдать не только прешедшая или настоящая но и будущая **I 196—197**, орель ... клюеть его внутрення **II 183**» (там же, 149). Таким образом, и флексия *-ая/-ья*, не подвергавшаяся правке во втором издании, во многих своих употреблениях оказывается синтаксически мотивированной — по модели, хорошо известной нам из гибридных текстов XVII в. Труднее различить мотивы, по которым удерживается флексия вин. мн. м. рода *-ия/-ья*; по крайней мере в некоторых случаях, как отмечает Челлберг, соответствующие формы встречаются в цитатах (там же, 148). Цитаты из Св. Писания, будучи в проповеди необходимым и неустрашимым элементом, в принципе обуславливают сохранение определенного числа стандартных церковнославянских форм. В вин. мн. м. рода употребление флексии *-ия/-ья* могло связываться и с тем обстоятельством, что эта форма была, если можно так сказать, хуже кодифицирована. Как можно было заметить из разбора кодификационных решений в предшествующем параграфе, споры шли о кодификации форм им. мн. м. рода, тождество им. мн. и вин. мн. лишь предполагалось по умолчанию, но почти никогда не оговаривалось эксплицитно. Духовные авторы могли игнорировать эту пресуппозицию, что и позволяло употреблять традиционные книжные формы вин. мн. м. рода на *-ия/-ья*.

Стоит, видимо, повторить то общее заключение, к которому приходит Л. Челлберг, анализируя интересующие нас формы: «Si nous ne tenons pas compte

⁵² Можно вспомнить, что и Ломоносов в «Российской грамматике» выделяет причастия и формы сравнительной и превосходной степени как «славенские» (§ 343 — Ломоносов, IV, 127—128/VII², 496; § 215 — IV, 94/VII², 467) и в соответствии с этим налагает ограничения на их сочетаемость с «русскими» аффиксами. Ср. о страдательных причастиях прош. времени: «Прошедшие неопределенные страдательные причастия весьма употребительны как от новых российских, так и от славенских глаголов произведенные: *питанный, вѣнчанный, писанный, видѣнный, качаной, мараной*. Разницу один от другого ту имеют, что от славенских происшедшие лучше на ЪЙ, нежели на ОЙ, простые российские приличнее на ОЙ, нежели на ЪЙ, кончатся. Первые склоняются, как настоящие, другие в родительном единственном мужеском и среднем приличнее ОГО, нежели АГО, принимают. Также и на конце один Н имеют» (§ 446 — IV, 186/VII², 548).

des formes dont la fréquence est la plus basse, nous constatons donc que Gedeon, dans sa 2^e édition, revise les désinences du nom.-acc. pl. dans le sens de la norme adoptée par l'imprimerie de l'Académie et acceptée par Lomonosov: masc. -ые/-ие, fém. et neutre -ья/-ія, mais avec la possibilité d'employer comme variante au neutre le slavon -ая/-яя (surtout pour les abstraits) et avec une forte extension du slavon -ии (des radicaux durs) dans une tournure du genre formule. Nous trouvons ici, comme sur beaucoup d'autres points, une tendance à reproduire la nouvelle langue séculaire ou — dans certains cas — le slavon russe, en écartant les formes qui ne suivent pas les normes de la langue séculaire et qui n'ont pas non plus d'appui dans le slavon» (там же, 152).

Гомилетические сочинения Гедеона сформировали, как известно, традицию, которой следовали наиболее влиятельные проповедники следующего периода — Платон Левшин и Гавриил Петров. Их употребление сходно по основным характеристикам с употреблением Гедеона и образует тот узус, который присущ духовной литературе Екатерининского царствования. Обращусь сначала к «Православному учению» Платона по изданию Синодальной типографии 1765 г. (Платон Левшин 1765, Предисл. л. 1—10; л. 1—50 об. — в скобках приплюсовывается число примеров, встреченных в цитатах из Св. Писания):

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	7 (+7)	—	—	-	7
-ия/-ья	27	22 (+1)	79	100	228
-ая/-яя	—	—	—	5 (+7)	6
-ие/-ые	42	—	1	-	43
Всего	76	22	80	105	283

Простые подсчеты показывают, что употребление Платона занимает то же место на шкале между церковнославянской нормой и светским стандартом, что и употребление Гедеона. В нем сделан тот же шаг навстречу общему литературному языку, что и у Гедеона, и, так же как у Гедеона, окончательного слияния с этим языком не происходит. Отклонения от церковнославянской нормы составляют 60,07 % (170:283), отклонения от светской литературной нормы — 21,91 % (62:283); сходство с аналогичными параметрами второго издания проповедей Гедеона очевидно.

Аналогии заметны и в характере отклонений от светского стандарта. Наиболее яркой отличительной чертой духовного узуса оказывается употребление флексии -ия/-ья в вин. мн. м. рода: у Платона это окончание, о возможных причинах консервации которого уже говорилось выше, употребляется в вин. мн. м. рода в качестве единственно возможного. Достаточно интенсивно эта флексия употребляется и в им. мн. м. рода, что представляет собой отклонение и от староро, и от нового согласовательного принципа. Никакими стилистическими или грамматическими параметрами эти отклонения не мотивированы и должны, видимо, трактоваться как дань старому гибриднему узусу, в котором флексия -ия/-ья функционировала как безродовая. Такое функционирование было воспринято и духовными авторами XVIII в. (ср. в особенности данные, относящиеся к ряду проповедей Гавриила Бужинского, Феофана Прокоповича и Димитрия Сеченова), с ним можно связывать окказиональные появления этой флексии в

им. мн. м. рода во втором издании проповедей Гедеона Криновского, и Платон в данном случае лишь следует хорошо известным ему образцам, в большей степени, тем не менее, ориентируясь на светский стандарт (ему соответствует 55,26 % форм им. мн. м. рода, тогда как гибридное «безродовое» употребление представлено лишь в 35,53 % случаев).

Если не считать единичного и явно случайного употребления флексии *-иел/-ые* в им.-вин. ж. рода (**Ихъ красныя нога вѣтекли весь кругъ земный** — л. 24 об.), прочие отклонения вполне предсказуемы и представляют собой реликты старой церковнославянской нормы. Сюда относятся прежде всего семь случаев употребления флексии *-иш/-иш* в им. мн. м. рода. В трех случаях из этих семи мы имеем дело с причастиями: **хотѣщи** (л. 22 об.), **всѣ послѣдѣющіи ѣмѣ народы** (л. 44 об.), **родителемъ противѣщиса** (л. 50 об. — субстантивированное употребление); здесь можно было бы говорить о грамматической мотивации отклонения, причем той же самой, которая присуща узусу Гедеона Криновского (стоит отметить, что, как и у Криновского, этот фактор не действует последовательно, так что встречаются причастия и с другими окончаниями, ср.: **запрещѣющыа**, л. 20 об., **вѣрѣющіе**, л. 25). В трех случаях аномальное окончание встречается в субстантивированных формах, а именно (кроме уже приводившегося причастия **противѣщиса**): **древній** (л. 25 об.), **нѣцыи** (л. 50 об.); субстантивация также может быть мотивирующим фактором, отделяющим рассматриваемые употребления от обычных (и этот фактор приводит к появлению аномальных форм отнюдь не во всех случаях). Два других примера — **бжакнныи** (л. 16) и **мѣртвѣи** (л. 49 об.) — не поддаются объяснениям такого рода; впрочем, последний пример, встречающийся в описании воскресения мертвых при Втором Пришествии, может обладать определенной стилистической значимостью.

Аналогичным образом обстоит дело и с употреблением флексии *-ая/-яя* в им.-вин. мн. ср. рода. В трех случаях из пяти действует хорошо известный из предшествующего изложения и релевантный для Гедеона Криновского фактор субстантивации: **и прѣтчак** (л. 5 об., 13 об.; это, конечно, не только субстантивированное прилагательное, но и застывшая форма), **всѣ слава** (л. 39). В одном случае аномальная флексия могла быть обусловлена устойчивостью словосочетания: **въ послѣднѣа времени** (л. 50 об.). Еще один случай не имеет видимой мотивации: **Различнаа цркви состоѣнѣа** (л. 25); последний пример, однако, встречается в глоссе, вынесенной на поле, тогда как в основном тексте аномальная флексия отсутствует: **По состоѣнѣа цркви были различныа** (там же). Таким образом, употребления флексий *-иш/-иш* и *-ая/-яя* могут трактоваться как реликтовые, отсылающие к привычной для Платона церковнославянской норме, причем в типах этого реликтового употребления просматривается преемственность с узусом Гедеона Криновского.

Узус, ближайшим образом напоминающий только что проанализированный, находим и в «Собрании разных слов и поучений на все воскресные и праздничные дни» (Гавриил и Платон, I—III), важнейшем гомилетическом памятнике Екатеринбургской эпохи, определившим устойчивые черты духовного языка этого периода. Издание, составленное и отредактированное митрополитом Гавриилом Петровым, было впервые напечатано в Синодальной типографии в Москве в 1775 г. и затем неоднократно переиздавалось. Сходство с «Православным учени-

ем» Платона в сфере словоизменения прилагательных позволяет считать, что наблюдаемый в этих текстах узус принадлежал к числу тех устойчивых черт языка духовной словесности, о которых говорилось выше. Приводимые ниже данные характеризуют три выборки (Гавриил и Платон, I, л. 1—30 об.; I, л. 103—122 об.; II, л. 54 об.—70 об.), дающие основания полагать, что в интересующем нас отношении подготовленный Гавриилом текст достаточно однороден. Статистические данные имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	24 (+6)	—	—	—	24
-ия/-ья	22	30 (+5)	65	117	243
-ая/-ья	—	—	—	16	16
-ие/-ые	152	9	2	2	165
Всего	198	39	67	135	448

Если воспользоваться той же шкалой, определяющей положение текста между старой церковнославянской и новой светской нормой, которую мы прилагали к сочинениям Гедеоны Криновского и Платона Левшина, положение на ней анализируемого нами сейчас текста окажется практически тем же: отклонения от церковнославянской нормы составляют 67,86 % (304:448), отклонения от светской литературной нормы 21,43 % (96:448).

И в исследуемом тексте отчетливо выступает та черта, которая наиболее заметным образом противопоставляет духовный узус этого времени светскому: в вин. мн. м. рода основным окончанием является *-ия/-ья*. Правда, в отличие от узуса «Православного учения» Платона, эта флексия выступает не в качестве единственного варианта, а наряду с флексией *-ие/-ые*, появляющейся, впрочем, существенно реже. В этом можно видеть нарастающее сближение с общелитературным стандартом, однако с тем же успехом данный феномен может интерпретироваться как черта, унаследованная Гавриилом от Гедеоны Криновского (у которого хорошо представлен вариант *-ие/-ые*, заметно превосходящий по частоте *-ия/-ья*).

Случайных отклонений почти нет, к их числу можно отнести лишь четыре случая употребления флексии *-ие/-ые* в формах ж. и ср. рода, при том что соотношение этой флексии с формами м. рода — в соответствии с новым согласовательным принципом — установлено достаточно жестко (4 указанных случая составляют лишь 2,42 % от всех форм с данной флексией). Эти отклонения таковы: **красноцвѣтныѣ потекѹтъ рѣки** (I, л. 24), **разжѣнныѣ скѣвороды** (I, л. 118), **безсловѣсныѣ живѹтныѣ** (I, л. 19). Двадцать два примера употребления флексии *-ия/-ья* в формах им. мн. м. рода, как и у Платона, ничем не мотивированы (ни грамматически, ни стилистически); как и у Платона, их следует, видимо, интерпретировать как реликты старого узуса, в котором флексия *-ия/-ья* употреблялась как безродовая.

Достаточно многочисленны примеры форм с флексией *-ии/-ьи* в им. мн. м. рода, соответствующие старой церковнославянской норме и противоречащие новому светскому стандарту. В издании, подготовленном Гавриилом, отчетливо (отчетливее, чем у Платона) просматриваются те грамматические и стилистиче-

ские мотивировки появления этой флексии, которые Л. Челлберг отмечал у Гедеоны Кринового. Наиболее часто эта флексия появляется в действительных причастиях: **возрастáющĭи** (I, л. 4 об.), **пропадáющĭи** (I, л. 9), **ѡбрѣтáющĭисѧ** (I, л. 9), **въ живыѣхъ ѡстáвшĭисѧ** (I, л. 105), **покланáющĭисѧ** (I, л. 109 об.), **терпáщĭи** (I, л. 114), **ѡщѣщĭи** (I, л. 114), **вѣдáщĭи** (I, л. 114), **надѣющĭисѧ** (I, л. 114), **ѡдѣщĭи** (I, л. 121), **пѣющĭи** (I, л. 121); фактически в большинстве причастных форм фигурирует рассматриваемая аномальная флексия, хотя строгая зависимость отсутствует (ср. **разлѣчествѣющĭе** — I, л. 4 об.; **ѡвлáющĭесѧ** — I, 122 об.). Отмечается она и в формах превосходной степени: **богатѣѣшĭи** (I, л. 11). Мотивирующим контекстом оказывается, как и у Гедеоны, обращение к аудитории: **возлѡбленнĭи** (I, л. 15), **слѣшателѣи блáгочестĭивĭи** (I, лл. 107, 118 об., 119), **блáгочестĭивĭи слѣшателѣи** (I, л. 110 об.). Частные мотивации проглядываются и в ряде других случаев. Так, скажем, в восклицании **сынове члвѣчестĭи!** (I, л. 113 об.) форма на *-и* может быть обусловлена как специфически книжным суффиксом прилагательного (*-ест*, а не *-еск*), так и специфически книжным образованием согласованного с ним существительного; в восклицании **лжĭвĭи сынове члвѣчестĭи!** (I, л. 111 об.) аномальное окончание может переходить и на однородное прилагательное. Слово сочетание **стѣи ѡплѣи** (I, л. 11) можно с некоторой натяжкой интерпретировать как устойчивое и обладающее стилистической нагрузкой (следует помнить, что само по себе сакральное содержание никакой маркированностью в проповеди не обладает). В трех случаях, однако, никакой особой мотивировки не видно: **нѣщĭи** (I, лл. 11, 119), **грѣшнĭи** (I, л. 23 об.).

Флексия *-ая/-яя* в им.-вин. мн. ср. рода также отнюдь не исключена из узуса Гавриила, однако ее употребление мотивировано во всех отмеченных нами случаях. Она встречается только в субстантивированных прилагательных с обобщенным значением или в прилагательных, определяющих эти последние и воспринимающих аномальную флексию субстантивированных прилагательных в силу своей однородности с ними. Ср.: **мнѡгалѣи** (I, л. 7 об. [bis]), **всѧ благѡлѣи** (I, лл. 8, 11; II, л. 68), **ѡспещрѣннаѣ, прелѣстнаѣ благѡлѣи своѡ** (I, л. 10), **врѣменнаѣ** (I, л. 11), **ѡ прѡчѣлѣи** (I, л. 109), **всѧ потрѣбнаѣ** (I, л. 120), **земнѡлѣи благѡлѣи** (I, л. 121), **благѡлѣи нѣнаѣ** (I, л. 121), **благѡлѣи** (II, л. 63). Узус «Собрания разных слов и поучений» можно рассматривать, таким образом, как консолидацию и почти последовательную реализацию того компромисса между духовной языковой традицией и светским стандартом, который был намечен в сочинениях Гедеоны Кринового и Платона Левшина.

Трудно сказать, до какой степени намеренно духовные писатели Екатерининского царствования поддерживали данный узус. Нет сомнений в том, что они не осознавали его как особую норму, противопоставленную светскому стандарту; восприятие духовного языка как отдельной традиции, которая должна в самом своем замысле противопоставляться развращенному языку светской словесности, возникает существенно позже, не ранее конца 1810-х годов и лишь в малой степени затрагивает морфологические параметры (см.: Живов 1996, 461—470). Речь может идти лишь о том, что церковные авторы, сохраняя ориентацию на образцовые тексты своих предшественников, позволяли себе не слишком насилывать свои языковые навыки, при этом особенно часто они могли воспроизводить аномальные (с точки зрения светского стандарта) флексии в привычных для них

словосочетаниях и конструкциях (таких как субстантивированные прилагательные ср. рода в обобщенном значении). Иррадиацию аномальных форм могли давать и цитаты из Св. Писания, составлявшие необходимый элемент церковной проповеди. Суммарный эффект такого рода реликтов привычного узуса и определяет то повторяющееся отклонение от общелитературного стандарта, которое мы наблюдали у Гедеона Криновского, Платона Левшина и Гавриила Петрова. Поскольку, однако, у церковных авторов не было в этот период идеи противопоставить себя светским писателям, общелитературный стандарт продолжал оказывать давление на их языковые навыки, и в силу этого компромисс, обозначившийся в анализируемых выше текстах, не был устойчивым. Постепенная эволюция в сторону светского узуса продолжалась.

Действительно, такую эволюцию можно наблюдать в поздних проповедях митрополита Платона Левшина, произнесенных им в конце Павловского и начале Александровского царствования и опубликованных в последних двух томах собрания его поучительных слов, напечатанных в Синодальной типографии в 1803 г. (Платон Левшин, XIX—XX). В таблице приводятся данные, характеризующие три анализируемые выборки (Платон, XIX, 1—76; XIX, 283—332; XX, 101—166).

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	2 (+5)	—	—	—	2
-ия/-ья	—	6 (+4)	61	78	145
-ая/-ья	—	—	—	16 (+9)	16
-ие/-ье	148	22	1	1	172
Всего	150	28	62	95	335

Одного взгляда на эти данные достаточно, чтобы увидеть, насколько сильно автор продвинулся в сторону общелитературного стандарта. Отступления от старого согласовательного принципа составляют 74,63 % (250:335); уместно напомнить, что и старая, и новая норма предписывают употреблять окончание *-ия/-ья* в им.-вин. ж. рода, так что и текст, написанный в полном соответствии с новым стандартом приблизительно в четверти случаев старую норму не нарушает. Эволюция становится очевидной, если измерить пропорцию отступлений от общелитературного стандарта, она равна 7,76 % (26:335), и можно сказать, что на рубеже веков Платон избавляется более чем от половины своих клирических навыков. Полностью исчезают формы им. мн. м. рода с флексией *-ия/-ья*. Столь характерное для духовного узуса предшествующего периода окончание *-ия/-ья* в вин. мн. м. рода сохраняется лишь в немногих случаях, существенно уступая по частоте окончанию *-ие/-ье*, соответствующему новому стандарту. Эти реликты (*толикія, излиянныя* XIX, 49; *великія, малыя* XIX, 64; *въ тайныя пути* XIX, 318; *непрестанныя* XX, 147), как и ранее, не обладают никакой грамматической или стилистической мотивацией.

В двух случаях отступления от общелитературного стандарта (флексия *-ие/-ье* у прилагательных ж. и ср. рода) имеют характер случайной ошибки: *не имѣемъ ли много у себя рѣкъ, которые...* (XIX, 20), *иные очи* (XIX, 289); такие погрешности говорят лишь о том, что навыки нового нормативного письма не

обладают полным автоматизмом. Единичные употребления флексии *-иш/-ыи* в им. мн. м. рода мотивированы, они встречаются в известном нам контексте обращения к аудитории: *о возлюбленнѣи* (XIX, 24), *благословеннѣи Христѣи!* (XIX, 57), хотя в этом же контексте возможны и формы со стандартной флексией: *благочестивые града сего жители!* (XX, 121), *благочестивые Христѣи!* (XX, 125). Стоит отметить, что церковнославянские цитаты не дают более иррадиации аномальных форм. Так, например, сразу же после цитаты из пасхального поучения св. Иоанна Златоуста, в которой встречаются формы *лѣнивѣи*, *постившиися*, *непостившиися* (XIX, 27), в авторском тексте те же прилагательные появляются в стандартной форме: *лѣнвивые* (XIX, 27 [bis], 28 [bis]), *не постившиесе* (XIX, 27, 28 [bis]), *постившиесе* (XIX, 28). Примечательно, что стандартные формы могут появляться и в самих церковнославянских цитатах, т. е. иррадиация идет, если угодно, в обратном направлении. Так, например, в цитате из Пс. 143:7—8 появляется форма *чуждые* вместо *чужди* (XIX, 2—3)⁵³, в цитате из 2 Тим. 3:1 на месте *въ послѣднѣи дни* находим *въ послѣднѣи дни* (XX, 150).

Большая сопротивляемость обнаруживается у форм им.-вин. мн. ср. рода с флексией *-ая/-яя*. В большинстве случаев их употребление синтаксически мотивировано, в соответствии с ранее установившейся практикой они появляются в субстантивированных прилагательных в обобщенном значении и в прилагательных, выступающих в качестве определения к последним: *таковая благая* (XIX, 17), *невидимая, видимая, удаленная, присущая, будущая, настоящая* (XIX, 34), *вся (...)* *благая* (XIX, 322), *вся благая и земная, и небесная* (XIX, 325), *благая нетлѣнная* (XIX, 328, 331). Единственный случай употребления аномальной флексии без данной мотивации находим в необычном восклицании: *о чада свѣтообразная церковная* (XIX, 17); можно предположить, что здесь действует мотивация стилистическая.

Следующее поколение духовных авторов продвигается еще дальше, так что их употребление вплотную приближается к общелитературному стандарту. Примером могут служить проповеди Феофилакта Русанова, «прогрессивного» архиерея, близкого А. Н. Голицыну, в первое десятилетие XIX в. возглавлявшего Калужскую епархию (сначала в сане епископа, а затем архиепископа), в 1809 г. переведенного в Рязань, а в 1817 г. сделанного экзархом Грузии⁵⁴. Два тома его

⁵³ Цитата, впрочем, не является буквальной. У Платона находим: «*Сынове, говорить Пророкъ, чуждые, ихже уста глаголаша суету*» (XIX, 2—3). В Псалтири: «*ѣзъ рѣкѣи сынѣи въ чуждѣихъ, ѣхже оустѣи...*». Трансформируя именную группу в род. падеже в им. падеж, Платон не заботится о том, чтобы употребить правильное церковнославянское окончание. Это показывает, что флексия *-иш/-ыи* в им. мн. м. рода представляется ему общепринятой и универсальной.

⁵⁴ Конечно, когда говорится о поколениях, следует иметь в виду не столько возраст архиереев как таковой, сколько смену ориентиров и дискурсивных практик. Так, Августин Виноградский, любимый ученик и викарий митрополита Платона, а позднее и его преемник на московской кафедре, будучи приблизительно одного возраста с Феофилактом, усваивает и языковой узус своего наставника. Его ранние проповеди (в выборку входят следующие тексты: Августин Виноградский 1807а; Августин Виноградский 1807б; Августин Виноградский 1808; Августин Виноградский 1811; Августин Виноградский 1813а; Августин Виноградский 1813б, 1—14) дают следующую картину:

«Почучительных слов и речей» были опубликованы вторым изданием в 1809 г. все в той же Синодальной типографии; наш анализ основан на двух выборках (Феофилакт Русанов, I, 1—51; II, 1—39), статистические данные имеют следующий вид:

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	3 (+5)	—	—	—	3
-ия/-ья	—	—	46	49	95
-ая/-ья	—	—	—	(+7)	—
-ие/-ые	87	9	—	—	96
Всего	90	9	46	49	194

Отступления от общелитературного стандарта появляются в анализируемой выборке лишь в трех случаях, что составляет всего 1,55 % от общего количества употреблений. Такие параметры позволяют говорить о том, что Феофилакт придерживается общелитературного стандарта, а отступления интерпретировать как окказиональные погрешности (напомню, что и в первых академических изданиях, появившихся после введения правила 1733 г., единичные отступления могут быть найдены).

Понятно, что, когда мы имеем дело с окказиональными ляпсусами, говорить об их мотивированности можно лишь с большой натяжкой. Отмечу все же, что в двух случаях из трех аномальное окончание встречается в действительных причастиях, т. е. в том грамматическом контексте, который стимулировал те же ано-

	Nom. pl. masc.	Ac. pl. masc.	Nom.-Ac. pl. fem.	Nom.-Ac. pl. neut.	Всего
-ии/-ьи	1 (+3)	—	—	—	1
-ия/-ья	—	6 (+1)	27	47	80
-ая/-ья	—	—	—	3(+6)	3
-ие/-ые	40	15	2	2	59
Всего	41	21	29	52	143

Отступления от литературного стандарта составляют здесь 9,79 %. Характерное для духовной традиции аномальное употребление флексия *-ия/-ья* в вин. мн. м. рода ни грамматически, ни стилистически не мотивировано (как и у Платона). Флексия *-ие/-ые* окказионально употребляется с прилагательными ж. и ср. рода, что противоречит как старой церковнославянской норме, так и новому стандарту и свидетельствует о неполном освоении навыков нового грамотного письма; никакой мотивацией эти отступления не обладают, ср.: *стремительные наклонности, отторгающія насъ отъ истиннаго блага* (1807б, 5), *въ новые красоты* (1808, 5), *въ тѣхъ сердцахъ, которые...* (1807б, 8), *Поля Бородинские!* (1813а, 4). Употребление флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*, напротив, во всех случаях (кроме цитат) мотивировано. Флексия *-ии* появляется в контексте *Се сынове Россіѣтии собираеся* (1813, 4); мотивировку можно видеть и в основе прилагательного, образованного специфически книжным суффиксом, и в стилистических параметрах контекста, маркированных и указательным местоимением *се*, и формой аориста. Флексия *-ая/-ья* два раза встречается в субстантивированных прилагательных (*оживотворить вся сущая во гробѣхъ* — 1813а, 8; *всяческая* — 1813б, 7), один раз в устойчивом сочетании *блага въчная* (1813а, 8). В Слове на погребение П. М. Дашкова аномальные формы встречаются в невыделенной, но четко осознаваемой цитате (обычно цитаты выделены курсивом): *да простить Онъ ему вся согрѣшенія вольная и невольная* (1807б, 8), *идѣже вси праведниі упокоеваются* (там же).

малии в предшествующий период: *лицемѣрные богомолы, мнящїи во многоглаголанїи своемъ услышаны быти* (I, 7); *Сотвори, да и колеблющїися утвердятся въ шествїи по спасительнымъ стезямъ Твоего закона* (II, 36). В обоих случаях специфична не только грамматическая форма (в конце концов, в большинстве случаев Феофилакт употребляет действительные причастия со стандартными флексиями), но и стилистический контекст. В первом употреблении стилистическая выделенность (торжественность обличения) отмечена дополнительно и аномальной для Феофилакta формой инфинитива *быти*. Во втором случае контекстом оказывается завершительная молитва, т. е. та рамочная составляющая проповеди, которая нередко бывает обозначена аномальными формами. Третье нарушение появляется в предложении, вводящем цитату из Плача Иеремии: «Они до сего *теплїи* бяху, а при семь чудесномъ явленїи возгорѣшася ревностїю къ Богу и закону, якоже мощи имъ съ Иеремїемъ глаголати...» (I, 22). Стилистическая маркированность этого предложения очевидна, она отмечена лингвистическими элементами, куда более однозначно отсылающими к традиционной церковнославянской книжности, чем формы прилагательных во мн. числе; имею в виду простые претериты и конструкцию *яко* с инфинитивом в целевом значении (ср. также формы инфинитива); к тому же и само прилагательное *теплїи* может отсылать к известному обличению «теплоты» в Апокалипсисе (Откр. 3:15).

За исключением трех проанализированных случаев никакие мотивировки не работают. Стандартные окончания, как уже говорилось, преобладают в действительных причастиях: *скрывающїе* (I, 14), *вникнувшїе* (I, 25), *имѣющїе* (II, 21), *живущїе* (II, 24) и т. д. Они же употребляются и в формах превосходной степени (*остроумнѣшїе* — I, 25) и в обращениях к пастве (*благочестивые Слушатели!* — I, 5, 8; II, 17; *благочестивые Хрїстіане!* — I, 10). Проникают они и в цитаты из Св. Писания, ср., например, форму *имущїе* (II, 12) в цитате из I Кор. 7:29. Таким образом, окончания, предписываемые общелитературным стандартом, приобретают универсальный характер.

Итак, духовной словесности понадобилось существенно более полувека для того, чтобы воспринять норму, утверждавшуюся светским языковым стандартом (правилом 1733 г.). Правда, и в светской литературе эта норма установилась отнюдь не сразу, и, как мы видели, вплоть до 1770-х годов многие светские авторы не считали для себя обязательным (по принципиальным соображениям или в силу отсутствия выучки) следовать правилу, введенному академическими филологами. Тем не менее, для светской словесности разбираемая норма становится законом значительно раньше, чем для словесности духовной. В последней этому противодействует ориентация на церковнославянскую литературную традицию (включая тексты Св. Писания) и сложившиеся в рамках этой ориентации письменные навыки, отличавшиеся от тех, которыми овладевали читатели Ломоносова или Бовы Королевича. Духовные писатели, как было показано, усваивают данную норму только в начале XIX в., несколько позже чем они перестают употреблять нестандартные формы инфинитива и существительных в косвенных падежах мн. числа и существенно позже, чем из их узуса исчезают простые претериты. Это событие значимо. Оно указывает на тот момент, когда грамматическая норма нового литературного языка, возникшего в результате петровских преобразований, приобретает полифункциональность и общезначимость не только в замысле, но и в реальной языковой практике.

Заключение

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1. Регистры письменного языка и морфологическая вариативность. Проведенное исследование подтвердило ту концепцию соотношения морфологической вариативности и регистров письменного языка, которая была намечена в теоретических пролегоменах к настоящей работе. Для разных регистров характерны разные конфигурации морфологических вариантов, так что сами эти конфигурации могут служить дифференцирующим признаком разных традиций письменной речи. Эти конфигурации обладают определенной устойчивостью, так что их можно рассматривать как свидетельство преемственности письменных навыков, реализующейся в рамках отдельных регистров, т. е. в текстах, объединенных сходным коммуникативным заданием и общими социальными и культурно-историческими условиями бытования.

В русской письменности XVII в. могут быть выделены по крайней мере четыре регистра, обнаруживающих относительную автономность и в своем функционировании, и в своей динамике. Эти регистры могут быть определены как (1) стандартный книжный язык (стандартный церковнославянский), представленный прежде всего в канонических церковных памятниках (Евангелие, Псалтырь, богослужебные книги) и в тех текстах, которые непосредственно на эти памятники ориентируются (ученые богословско-полемические сочинения, ученая проповедь); (2) гибридный книжный язык, представленный прежде всего в летописях и других исторических сочинениях, а также в нарративных текстах, перенимающих эту лингвистическую традицию, а именно в некоторых житиях и в появляющихся в литературном репертуаре XVII в. светских повестях и новеллах, преимущественно переводных, равно как, при ориентации на данные переводные памятники, в других переводах светской литературы (космографии и иные «научные» трактаты); (3) деловой некнижный (приказной) язык, на котором велось делопроизводство Московской Руси и который входил как неотъемлемая часть в профессиональные навыки канцелярских работников; эти навыки находили применение и в других текстах, выходящих из-под пера приказных служащих, прежде всего в законодательных памятниках (таких как Уложение 1649 г.), но равным образом и в письменной продукции иных типов (Вести-куранты, сочинение Котошихина); (4) бытовой некнижный язык, который можно наблюдать в бытовой переписке, записках неформального содержания и т. д.; объем эпистолярной продукции в XVII в. существенно возрастает, и это создает условия для формирования в данной сфере самостоятельной линии преемственности.

Те данные, которыми мы располагаем для весьма разнообразной письменности XVII в., не позволяют однозначно утверждать, что предложенная классификация является исчерпывающей и адекватной. Слишком большая часть письменности этого времени в лингвистическом отношении остается вообще не проанализированной, а удовлетворительные статистические сведения имеются вообще лишь для единичных памятников. Настоящее исследование, неизбежно весьма ограниченное в объеме рассмотренного материала, не выявило каких-либо иных сколько-нибудь четко очерченных письменных традиций (линий преемственности). Вместе с тем в рамках постулированных нами регистров обнаружилась достаточно большая однородность лингвистического материала и — что не менее важно — достаточно ясные (обладающие внутренней логикой) линии его исторических модификаций, объясняющие те элементы неоднородности, которые свойственны каждому из постулированных регистров.

Различны параметры, характеризующие в каждом из регистров вариативность форм инфинитива. В стандартном книжном регистре употребляются исключительно инфинитивы на *-ти* и *-тися*, вариативность здесь практически отсутствует. Точно так же к минимуму сведена вариативность и в бытовом регистре, при этом в нем последовательно употребляются формы на *-ть* и *-ться* (*-тца*); единичные отступления могут рассматриваться как случаи интерференции инородного (связанного с небытовыми текстами) лингвистического опыта пишущих, хотя никакой мотивированности в этих отступлениях не наблюдается. В гибридном и деловом регистрах вариативность присутствует, однако конфигурация вариантов существенно различается. В гибридном регистре основными являются старые формы инфинитива, в то время как пропорция новых форм зависит от степени традиционности текста: отрыв от жанровой традиции соотносится с существенным возрастанием пропорции инфинитивов на *-ть*. Вместе с тем гибридная конфигурация вариантов предусматривает особую консервативность инфинитивов от возвратных глаголов, обусловленную стремлением избежать омонимии с формами презенса и дисассоциировать книжный узус и узус некнижный с характерным для последнего слиянием показателя инфинитива и возвратной частицы в аффрикате [с] (как в произношении, так и на письме). В конфигурации делового регистра основными вариантами являются формы на *-ть* и *-ться* (*-тца*); инфинитивы от возвратных глаголов ведут себя сходно с инфинитивами от невозвратных глаголов; пропорция старых форм зависит от культурного статуса текста: чем выше этот статус, тем больше старых форм вносится в текст.

Не менее отчетливо противопоставлены регистры и по конфигурациям вариантов прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа. В стандартном церковнославянском употребляется традиционный книжный набор флексий, согласованных по роду и падежу: флексия *-ии* в им. мн. м. рода, флексия *-ия/-ья* в вин. мн. м. рода и им.-вин. ж. рода, флексия *-ая/-ья* в им.-вин. ср. рода. Относительно распространенным в стандартных книжных текстах отступлением от этой системы является употребление флексии *-ьи* в им. мн. м. рода; эти отступления в работе не рассматриваются, так как никаких дополнительных данных, характеризующих зависимость вариативности от регистров, не сообщают. В гибридном регистре употребляются те же флексии плюс «безродовая» флексия *-ие/-ье*, появляющаяся в результате интерференции с некнижными регистрами и постепенно — на про-

тяжении XVII в. — упрочивающая свое положение. Это не единственное отличие гибридной конфигурации от стандартной книжной. Для гибридного регистра согласование по роду и падежу оказывается факультативным; если флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* в подавляющем большинстве случаев употребляются согласованно, то окончание *-ия/-ья* имеет тенденцию употребляться без согласования по роду и падежу, становясь тем самым второй «безродовой» флексией. Очевидно, в силу интерференции с гибридным регистром в конфигурации бытового регистра присутствуют два варианта: флексии *-ие/-ые* и *-ия/-ья*; они обе употребляются несогласованно. Отличие гибридного регистра от бытового состоит в употреблении «родовых» флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*; в бытовых текстах они встречаются лишь в виде исключений и их появление мотивировано как феномен чужого слова. В деловом регистре основным вариантом является *-ие/-ые*, тогда как появление в некоторых памятниках флексии *-ия/-ья* окказионально и связано с влиянием книжной письменности.

Наиболее любопытна ситуация в истории *a*-экспансии в косвенных падежах существительных во мн. числе. Здесь формирование регистровых конфигураций морфологических вариантов происходит на наших глазах. В начале XVII в. данная морфологическая подсистема практически регистров не дифференцирует. Новые флексии встречаются весьма редко и в книжной и в некнижной письменности, просматривается лишь зависимость пропорции новых флексий от степени ориентированности памятника на книжные образцы: в стандартных книжных текстах инновативные формы практически совсем отсутствуют, в гибридных и деловых появляются в весьма ограниченном количестве. Особой консервативностью отличается тв. мн. (как у существительных *o*-склонения, так и у существительных *i*-склонения). В течение XVII в. употребление инновативных форм постепенно нарастает; в некнижных текстах этот рост осуществляется значительно быстрее, чем в книжных, и во второй половине столетия пропорция новых флексий оказывается параметром, дифференцирующим книжные и некнижные регистры. Этот рост захватывает и тв. мн. существительных м. рода *o*-склонения. В деловом регистре и отчасти в стандартном церковнославянском *a*-экспансия в данном классе нарастает особенно сильно. Этому нарастанию способствует нормализационная установка, свойственная обоим этим регистрам: новые флексии тв. мн. существительных м. рода *o*-склонения позволяют избавиться от омонимии тв. мн. и им.-вин. мн. В результате возникает еще один момент, дифференцирующий регистры: в стандартном книжном и деловом регистрах наиболее продвинутым в плане *a*-экспансии оказывается тв. мн., тогда как в гибридном и бытовом регистрах — местн. мн.

Конфигурации морфологических вариантов во всех четырех регистрах оказываются различными, и в этом можно видеть феномен делящегося процесса размежевания регистров. Если в основных своих чертах регистры оформляются уже в XVI столетии, различаясь синтаксическими стратегиями, употреблением маркированно книжных элементов и рядом морфологических вариантов, то в XVII в. происходит консолидация этих отличий. Регистры обладают собственной преемственностью, они образуют отдельные традиции, и по мере своего развития эти традиции расходятся по все новым и новым параметрам — сходно с тем, как расходятся языки при распадении языкового коллектива на разные части. Автоном-

ная история естественным образом приводит к нарастанию отличительных черт у потерявших единство субъектов эволюции.

2. Инновации в динамике письменного языка. Каждый из регистров эволюционирует по-своему, однако эта относительная автономия не исключает взаимодействия. В самом деле, хотя языковой опыт пишущих, как правило, фокусируется преимущественно на одном из регистров, он включает знакомство (по крайней мере пассивное) и с другими регистрами: приказной служащий читает жития святых, а летописец получает письма от родных и близких. Интерференция языкового опыта, идущего от знакомства с разными регистрами, является важнейшим фактором эволюции письменного языка. Во всех регистрах на протяжении XVII в. мы наблюдаем рост пропорции инновативных морфологических вариантов. В памятниках конца столетия (за исключением стандартных церковнославянских) чаще, чем в начале века, встречаются формы инфинитива на *-ть*. На протяжении XVII столетия окончания, отражающие *a*-экспансию, из окказионально встречающегося явления превращаются в устойчивый элемент большинства регистровых конфигураций морфологических вариантов, проникая даже в стандартные книжные тексты. Столь же заметным образом в книжных регистрах растет употребление флексии *-ие/-ые* (в некнижных регистрах аналогичный рост имеет место в XV—XVI вв.), а флексия *-ия/-ья* приобретает характер безродовой.

Обычное объяснение этих процессов апеллирует к разговорному языку как источнику инноваций. Если принимать это объяснение без существенных оговорок, оно оставляет много неразрешимых вопросов. Письменный язык отражает инновации устного языка с определенным временным лагом, иногда, видимо, значительным (длительность этого лага трудно измерить, поскольку изменения в устном языке и их хронологию мы реконструируем в основном по письменным источникам, и в определении того, как соотносятся различные факты письменного и устного языка, имеет место постоянное разномыслие исследователей). Если бы временного лага не было, объяснить возрастание инновационной доли было бы легко: в разговорном языке изменения происходят постепенно, и в письменном языке пропорция инноваций увеличивается параллельно с увеличением той же пропорции в устном языке; письменный язык бежит за устным. При наличии временного лага дело обстоит не так просто. В устном языке процесс уже завершился, а в письменном он все еще продолжается — по инерции, как растут ногти у покойника. Это означает, что несколько поколений пишут не так, как они говорят, причем в этом ряду следующее поколение не воспроизводит узус предыдущего, а целенаправленно сближает этот узус со своим разговорным языком. Письменный язык догоняет устный, что предполагает определенную интенцию пишущих, стремящихся писать, как говорят. Как известно, никакой подобной интенции средневековым авторам приписать невозможно.

Несостоятельность традиционного объяснения выступает особенно рельефно, если мы не рассматриваем все тексты скопом, а расчленяем их на отдельные языковые традиции. Как мы видели, например, флексии *-ие/-ые* впервые появляются в гибридных текстах не менее чем через столетие после того, как они полностью утвердились в разговорном употреблении. Если бы мы имели дело с прямым влиянием последнего, нам оставалось бы лишь недоумевать, почему авторы гиб-

ридных текстов так запоздало спохватились, и строить догадки о том, что руководило их поведением в предшествующие сто лет. Более адекватной представляется другая модель изменения.

Первые примеры инновативных форм появляются, понятно, как рефлексы разговорного узуса пишущего, но появляются они как отступления от его сложившихся письменных навыков, как ошибки. Чаще такие начальные ошибки встречаются в некнижных текстах, просто в силу того, что они, как правило, пишутся менее тщательно, чем книжные, хотя от ошибок не застрахован ни один тип текстов, не исключая стандартные церковнославянские. То, что было ошибкой для одного поколения пишущих, становится прецедентом для следующего, и это приводит к аккумуляции инновативных форм. Этот процесс (в отличие от окказиональных отклонений) в наибольшей степени характерен для некнижных регистров и даже специально, видимо, для бытового регистра (какие-либо определенные утверждения могут здесь делаться лишь с большой осторожностью, поскольку само противопоставление делового и бытового регистров приобретает выраженные очертания лишь к концу XVI в.). Такая ситуация понятна, поскольку в бытовом регистре аккумуляция инновативных форм не наталкивается на противодействующие факторы — ориентацию на образцовые религиозные тексты, с помощью которых пишущий овладевал грамотой, нормализационную установку, грамматическую традицию.

Дальнейшее утверждение инновативных форм в письменном узусе происходит за счет интерференции. Став обычными в одном из регистров, они изменяют читательский опыт пишущих, и это приводит к модификации навыков письма, распространяющейся на другие регистры. Можно полагать, что в результате интерференции варианты, присутствующие в разных сегментах языкового опыта пишущего, расширяют сферу своего употребления за счет вариантов, специфичных для отдельных регистров. Наличие многорегистровых вариантов в текстах, которые осваивает пишущий, служит прецедентом для дальнейшего употребления; при этом то, что в начале было окказиональным вариантом, может стать вариантом вполне употребительным, а через несколько поколений пишущих даже и господствующим. Именно таким непрямым путем изменения, произошедшие в устном языке, могут отражаться в языке письменном. Из сказанного можно сделать определенные выводы о том, сколько времени занимает путь от появления первых инновативных форм в письменных источниках до утверждения их в качестве употребительного варианта; на это нужно как минимум три-четыре поколения. Сколько времени проходит от закрепления инновативного варианта в разговорном употреблении до его первой письменной фиксации, остается неясным и зависит, надо думать, от многих частных факторов (таких, например, как возможность поддержания старых письменных навыков с помощью простых орфографических правил).

Опосредованный характер влияния устного узуса сказывается в том, что изменения в письменном языке отнюдь не предопределены изменениями в языке устном. В этом смысле никакой телеологии в динамике письменного языка нет, было бы неверно считать, что он поспешает вдогонку за разговорным употреблением. Автономность письменного узуса ясно видна, например, в том, как в конце XVI — начале XVII в. в гибридном регистре распространяется окончание *-ми* в

тв. мн. существительных *jo*-склонения; как показывает «Временник» Ивана Тимофеева (см. § III.1.2), у имен ср. рода соответствующие формы могут приобретать статус господствующего варианта. В результате интерференции они проникают и в стандартные церковнославянские тексты, как об этом свидетельствуют произведения Симеона Полоцкого. Никакой аналогии в развитии разговорного языка этот процесс не находит.

Точно так же внутренней динамикой письменного узуса обусловлено распространение «безродового» окончания *-ия/-ья*. Первоначально оно усваивает данный статус в гибридном регистре, наряду с «безродовым» окончанием *-ие/-ье* (см. § IV.1.2), а затем в результате интерференции начинает употребляться в этом же качестве в регистре бытовом (см. § IV.1.4), проникая спорадически и в деловые тексты (см. § IV.1.3). Конфигурации морфологических вариантов, возникающие в письменном языке, совершенно не схожи, таким образом, с конфигурацией, развившейся в устном языке, и их несходство по данному признаку отнюдь не является временным отставанием. Более того, конфигурации письменного узуса оказывают прямое влияние на нормализацию, осуществляющуюся в новом языковом стандарте в послепетровскую эпоху, так что в реграмматикизованном виде (*-ие/-ье* для прилагательных им.-вин. падежа м. рода, *-ия/-ья* для прилагательных им.-вин. падежа ж. и ср. рода) сложившиеся в XVII в. модели употребления просуществовали в русском письменном языке до орфографической реформы 1917 г.

3. Факторы, влияющие на конфигурации морфологических вариантов.

Конфигурация морфологических вариантов в каждом из регистров определяется не только интерференцией с другими регистрами и постепенным ростом инноваций. Сама по себе вариативность (наличие конкурирующих вариантов в языковом опыте пишущего) провоцирует выбор. Язык — это не черный ящик, спустившийся с небес в мозг носителя, а инструмент (или набор инструментов), который носитель приспособливает для стоящих перед ним коммуникативных задач. Когда пишущий располагает несколькими вариантами, он получает возможность воспользоваться имеющимся у него богатством для тех или иных содержательных целей.

Едва ли не в большинстве случаев выбор варианта используется для организации пространства письменных текстов, для обозначения того места, которое создаваемый текст должен занять в этом пространстве. Такой выбор может указывать на традиционность текста, на те образцы письменного узуса, к которым должен примкнуть новый текст. Этот фактор действует на всем пространстве письменности, обуславливая преемственность узуса в соотношении с тем или иным коммуникативным заданием: создавая текст определенного типа, пишущий воспроизводит ту конфигурацию вариантов, которая была характерна для предшествующих текстов того же типа. Существенно, однако, что данный фактор более важен для одних письменных традиций и менее важен для других. Он имеет принципиальное значение для книжных текстов, в особенности для стандартных церковнославянских, в которых тождество с образцовыми текстами по различным лингвистическим характеристикам является указанием на их религиозную «правильность».

В текстах гибридного регистра важность этого примыкания к образцам зависит от того, насколько существенна для текста память жанра. Если текст создан в определенной жанровой традиции (например, летописной), выбору вариантов будет свойствен консерватизм. Такого рода консерватизм заметен, например, в употреблении форм инфинитива в исторических сочинениях XVII в. (см. § II.1.1) или в употреблении форм существительных в косвенных падежах мн. числа (см. § III.1.2). Им же следует объяснять поддержание в данных текстах согласовательного принципа в употреблении окончаний прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа (см. § IV.1.5). Там, где жанровая традиция оказывалась прерванной, сразу же существенно возрастала пропорция инновативных форм; нагляднее всего этот эффект можно видеть в употреблении инфинитива на *-ть* в произведениях светской литературы XVII в., лишенных, понятным образом, жанровой памяти (см. § II.1.1).

Ориентация на образцы могла сталкиваться с другой тенденцией, существенной для выбора морфологических вариантов, а именно со стремлением к регламентации (или нормализаторской установкой). Сама по себе нормализация указывала на авторитетность текста, была феноменом централизованного упорядочения, свидетельствующего о связи нормализованного узуса с властью. Эта тенденция действовала и в стандартном церковнославянском, и в приказном языке, но оставалась по большей части чуждой гибриднему и бытовому регистрам. Реализуясь в выборе морфологических вариантов, она могла вступать в противоречие с фактором ориентации на образцы.

Для стандартного церковнославянского регламентация выражалась прежде всего в книжной справе. Связь книжной справки с утверждением церковного авторитета (авторитета правящей иерархии) хорошо известна, и в XVII в. именно она становится предметом религиозного противостояния, разделяющего старообрядцев и никониан. В этом противостоянии были затронуты и лингвистические вопросы. Сделанные никоновскими справщиками языковые замены (например, форм 2 л. ед. ч. аориста на формы перфекта) со стороны старообрядцев могли вызывать обвинения никониан в ереси (см.: Живов и Успенский 1986; Успенский 2002, 234—247). В ответ никониане апеллировали к своему знанию, противопоставленному невежеству старообрядцев, и это знание включало грамматическую премудрость (ср. в этой связи известное высказывание старообрядческого инок Савватия: «А свела их с ума несовершенная их грамматика да приѣзжие нехаи» — ГИМ, Увар. 497/102, л. 8 об.; ср.: Успенский, III, 375; Успенский, II, 17—20). Таким образом, исправления «по грамматике», т. е. нормализационные исправления, оказывались важным элементом церковной политики, направленной на утверждение иерархического авторитета.

Понятно, что такие исправления отнюдь не всегда вступали в противоречие с ориентацией на образцы: книжная справка ни в коем случае не понималась как модернизация, но лишь как упорядочение. Важно, однако, что в отдельных случаях такое противоречие возникало и грамматика оказывалась важнее образцов. Так, например, обстояло дело с заменой форм род. мн. существительных *о*-склонения с нулевой флексией на формы с окончанием *-овъ* (типа *мученикъ* на *мучениковъ* — см.: Успенский 2002, 450—451). Данная замена позволяла разрешить омонимию им. ед. и род. мн., и эта нормализационная задача была важнее для

справщиков, чем следование образцам. Эти же принципы употребления просматриваются и у Симеона Полоцкого, употребляющего форму тв. мн. на *-ами* для того, чтобы разрешить омонимию вин. мн. и тв. мн. существительных м. рода *о*-склонения, и следующего при этом грамматике Смотрицкого (см. § III.1.1).

С помощью регламентации узуса конструировалась и авторитетность деловых текстов, исходящих из московских приказов. Понятно, что нормализационные установки не выражались в этом регистре с той последовательностью, которая была свойственна стандартным церковнославянским текстам, однако сопоставление с бытовым регистром позволяет увидеть их действие при выборе ряда морфологических вариантов. Именно эти установки приводят, надо думать, к преимущественному в сравнении с другими падежами употреблению инновативных форм тв. мн. на *-ами* у существительных м. рода *о*-склонения — явление аналогичное тому, которое наблюдается у Симеона Полоцкого (см. § III.1.3); тот же феномен находим, между прочим, и в Псалтыри, переведенной Авраамием Фирсовым, и в этом случае он может быть соотнесен с особыми задачами переводчика, лингвистический эксперимент которого актуализовал для него коммуникативные результаты выбора морфологического варианта. Точно так же нормализационной установкой объясняется последовательное употребление в деловых текстах «безродового» окончания *-ие/-ые* им.-вин. падежа прилагательных во мн. числе (см. § IV.1.3).

Примечательным образом, во всех обследованных нами морфологических подсистемах выбор варианта никак не соотнесен с традиционными стилистическими категориями, такими как высота или низкость трактуемого предмета, обиходный или книжный характер лексемы, принимающей данное окончание, риторически украшенный или стремящийся к незамысловатости стиль изложения. В этих условиях трудно отделаться от мысли, что стилистические оценки, нередко встречающиеся в работах по исторической морфологии, представляют собой анахронистическую проекцию тех стилистических параметров, которые становятся релевантными для выбора морфологических вариантов лишь существенно позднее, в эпоху Ломоносова и Барсова. Характерно, что во всех анализированных нами распределениях морфологических вариантов многочисленными оказывались случаи, когда вариантные флексии употреблялись с однородными членами предложения.

Сказанное не означает, однако, что в письменности XVII в. выбор варианта никогда не обладал никакой функциональной нагрузкой. Такая ситуация противоречила бы универсальным свойствам лингвистического поведения: если у носителя языка есть выбор, он находит ему содержательное применение. Применения эти, однако, могут быть различными в разные эпохи, могут быть частью определенной лингвистической традиции или индивидуальной находкой. В текстах XVII в. одним из способов использования морфологического выбора было обозначение с его помощью социокультурного статуса текста. Примером такого использования может служить употребление форм инфинитива на *-ти* в текстах делового регистра, пропорция которых (на фоне обычного инфинитива на *-ть*) соотносится со степенью публичности создаваемого текста. Инфинитивы на *-ти*, как правило, полностью отсутствуют в обычных деловых текстах, они могут маркировать особый статус отдельных частей деловых документов, содержащих

монаршее волеизъявление (как мы видели в протоколах по делу Офоньки Науменки 1642—1643 гг.), и составлять значительную пропорцию инфинитивных форм в текстах, обращенных к широкой аудитории, прежде всего в текстах, изданных типографским способом (как Уложение 1649 г. — см. § II.1.2).

Употребление инфинитивных форм может служить хорошей иллюстрацией индивидуальных стратегий в использовании морфологических вариантов. Такую индивидуальную стратегию мы находим в Житии протопопа Аввакума, и она обусловлена постановкой весьма специфических риторических задач: Аввакум одновременно утверждает и отрицает собственную святость, эти две линии проходят через текст, создавая своего рода контрапунктное напряжение между его фрагментами, обращающимися к книжной языковой традиции и отталкивающимися от нее. Для линии негации конструируется симулякр устного повествования, и одной из основных черт этой конструируемой оральности оказывается употребление инфинитивов на *-ть*, оказывающееся в Житии доминирующим (что не свойственно произведениям гибридного регистра). Напротив, инфинитив на *-ти* употребляется в тех фрагментах, которые утверждают религиозный авторитет повествователя и выдержаны в книжном ключе. Нехарактерным для текстов XVII в. образом, формы инфинитива у Аввакума подчинены принципу регистровой гармонии: формы на *-ти* и *-тися* сочетаются с редкими в данном памятнике простыми претеритами и другими маркированно книжными элементами (см. § II.1.1). Тем же конструированием оральности объясняется в Житии Аввакума и необычно широкое для гибридных текстов отражение *a*-экспансии в формах существительных в косвенных падежах мн. числа (см. § III.1.2). Такого рода узус может, конечно, рассматриваться как индивидуальное стилистическое использование морфологических вариантов. Если для XVII в. подобное использование разбиравшихся нами морфологических элементов представляет скорее исключение, то в XVIII в. примеры этого рода могут быть найдены с большей легкостью. Можно указать, в частности, на использование форм тв. мн. на *-ы* в «Тилемахиде» Третьяковского (см. § III.2.2).

Все рассмотренные факторы действуют при наличии преемственности письменных навыков, создающей определенный автоматизм в употреблении морфологических вариантов и соотносящей конфигурации этих вариантов с тем или иным коммуникативным заданием. Именно на фоне этого автоматизма работает механизм интерференции, обуславливающий перенос письменных навыков, утвердившихся в одном регистре (при одном коммуникативном задании) в узус другого регистра. Так же обстоит дело и с нормализацией: нормализуются не отдельные формы, а сложившийся в силу преемственности узус. Когда преемственность ослаблена, в динамике узуса никакие четкие линии не просматриваются. Данная ситуация хорошо иллюстрируется историей форм 2 ед. презенса в ее отличиях от истории форм инфинитива (см. § II.6).

Формы 2 ед. презенса в анализируемых нами текстах встречаются относительно редко, на порядок реже во всяком случае, чем формы инфинитива; это обусловлено характером письменности: и для нарративных, и для деловых текстов воспроизведение диалогических построений не характерно. Там, где элементы диалога все же появляются, они отмечены в тексте как инородный фрагмент (как «чужое слово»). В силу этих прагматических факторов формы 2 ед.

презенса ни в одном из регистров не обладают воспроизводимой характеристичностью. Поэтому в каждом тексте выбор варианта начинается как бы с чистого листа. Показательно, например, что в летописных памятниках XVII в. не происходит сколько-нибудь заметного нарастания инновативных форм и что, таким образом, появляющиеся в более ранних текстах формы на *-шь* не подвергаются переосмыслению как легализующий инновации прецедент. На такое же отсутствие традиции указывает и тот факт, что — при полном отсутствии форм на *-ши* в текстах делового регистра — эти формы в значительном количестве появляются в «Учении и хитрости ратного строения пехотных людей» 1647 г., однако ни на какой особый статус этого текста данные формы не указывают. Таким образом, конфигурации морфологических вариантов, присущие каждому из регистров, формируются и преобразуются в определенных прагматических условиях, делающих эти конфигурации характеристической чертой узуса, соотнесенного с теми или иными коммуникативными задачами.

4. Преемственность и статистические параметры. Конфигурации морфологических вариантов содержат в себе статистические параметры. Речь идет не столько о наборе вариантов (скажем, *-ть* для инфинитивов от невозвратных глаголов, *-тися* для инфинитивов от возвратных глаголов и т. д.), сколько о статистических параметрах этих вариантов (*-ть* существенно чаще, чем *-ти*; *-тися* не реже, чем *-ться* и подобное). Полученные в настоящем исследовании данные показывают, что статистические соотношения морфологических вариантов являются устойчивой, т. е. преемственно воспроизводимой чертой отдельных регистров, и для каждого из регистров характерна собственная динамика статистических параметров. Когда мы имеем дело с нормативным предписанием (правилом), тот факт, что ему следует одно поколение пишущих за другим, не вызывает удивления. Он говорит лишь о том, что правило осваивается пишущими и продолжает действовать. Статистические соотношения никакими правилами не задаются, поэтому для объяснения их устойчивости мы должны представить себе иной механизм.

Я бы не хотел, чтобы у читателя создалось впечатление, что преемственность статистических параметров представляет собою некую необъяснимую магию чисел, не мотивированную никакими рациональными факторами. Наши сведения о том, как происходит усвоение языка вообще, а в особенности наши знания о процессе формирования письменных навыков, не отличаются ни обстоятельностью, ни глубиной. Однако мы располагаем элементарным языковым опытом, который позволяет, по крайней мере, отделить вовсе фантастическое от правдоподобного. Регистры в силу своей связи с коммуникативным заданием напоминают то, что в современной русистике именуется функциональными стилями. Основное отличие состоит в том, что, говоря о функциональных стилях, мы предполагаем, что они сосуществуют в рамках единой общей языковой нормы как ее «стилистические» модификации (хотя само понятие стиля оказывается в этом категориальном пространстве существенно видоизмененным), тогда как регистры ни к какой единой норме не сводятся. Как уже говорилось, и представление о единой норме, и, соответственно, представление о фундаментальности отличия функциональных стилей от регистров в существенной степени зависят от того, что основными

уровнями грамматической рефлексии остаются фонетика и морфология. Именно на этих уровнях достаточно понятно, что имеется в виду под единой нормой и под ее модификациями в отдельных функциональных стилях.

В одном плане, однако, функциональные стили подобны регистрам: они обладают схожей естественной преемственностью, и именно в силу этого мы можем придти к определенным заключениям на основании знакомых нам из нашего языкового опыта функциональных стилей и — с некоторыми оговорками — перенести эти выводы на регистры. Обратимся, например, к безличным конструкциям типа *автором было показано, что* или *в работе доказывается, что*. Такие конструкции характерны для научного стиля как элементы объективизирующей риторической стратегии, устраняющей субъекта «общезначимого» высказывания. В обычном литературном нарративе (например, в беллетристическом рассказе об ученом) им будет соответствовать *NN показал(а), что* или *NN доказал(а) в своей работе, что*. Это не значит, конечно, что в научном тексте не встречаются конструкции второго типа или что в популярном рассказе невозможны построения первого типа (скажем, *им было открыто, что*, когда акцент делается на открытом явлении и важность персонажа конструируется за счет важности открытия). Когда мы говорим о характерности конструкций двух этих типов для разных функциональных стилей, мы очевидно имеем в виду пропорции их употребления, т. е. статистическое соотношение двух типов конструкций в рамках текстов, принадлежащих к разным функциональным стилям.

Аналогичным образом обстоит дело, например, с препозитивными деепричастными оборотами с каузальным значением типа *доказав теорему (I), можно обратиться к...* И эти обороты характерны прежде всего для научного стиля, хотя, безусловно, и в обычном нарративе нередко обнаруживаются фразы типа *Выиграв матч у «Торпедо», спартаковцы получили пропуск в полуфинал*. Однако для спортивного фельетона скорее характерно более живое изложение: *Спартаковцы выиграли матч у «Торпедо», и теперь у них пропуск в полуфинал*. Характерность и в этом случае выражается в статистическом соотношении рассматриваемых синтаксических построений.

Эти статистические соотношения возникают не *ad hoc*, а передаются по наследству. Автор, пишущий газетный фельетон или, напротив, научную статью, воспроизводит тот «стиль», который он усвоил из чтения сочинений соответствующих жанров. Можно полагать, что в ту совокупность лингвистических и риторических элементов, которые усваиваются в этом процессе, входит и «характерность», т. е. статистический вес различных синтаксических конструкций. Правда, в современной ситуации в этот процесс могут привноситься элементы эксплицитного обучения, когда автор работает с редактором или научным руководителем, однако подобные элементы имеют, видимо, лишь маргинальное значение. В обычном случае автор приходит к своему «наставнику» с текстом, уже обладающим основными чертами соответствующего «стиля». С другой стороны, «стиль» меняется от поколения к поколению, что и выражается в таких высказываниях, как «старомодно написанная статья» или «так у нас больше фельетонов не пишут». Меняющаяся мода может захватывать и «характерность» тех или иных синтаксических построений (скажем, в постмодернистской статье явно сокращается — сравнительно с традиционным научным «стилем» — пропорция

безличных конструкций), однако границы между функциональными «стилями» при этом все же сохраняются (мне не удалось обнаружить каких-либо исследований, содержащих релевантные статистические данные), а это означает, что усваиваемые из чтения пропорции подвергаются лишь частичной модификации, не разрушающей отличий в этом отношении одних стилей от других.

Рассмотренные примеры иллюстрируют то, как осуществляется преемственность «стиля» при существовании единой нормы литературного языка и как эта преемственность реализуется в статистических параметрах употребления тех элементов, которые в рамках единой нормы выступают как варианты. В современной языковой ситуации такие элементы обнаруживаются в основном на синтаксическом и лексическом уровнях; выбор между морфологическими вариантами (например, тв. мн. *людьми* или *людьми*) осуществляется не за счет преемственности, а за счет нормативных предписаний, поэтому морфологические варианты функциональные «стили» практически не дифференцируют и никакими конфигурациями морфологических вариантов «стили» не характеризуются. В русском средневековье мы имеем дело с совершенно иной языковой ситуацией. Регистры различаются не только наборами характерных для них синтаксических построений, но и наборами характерных морфологических вариантов. Характерность, как мы знаем, выражается в пропорции употребления вариантных элементов, и эти пропорции воспроизводятся механизмом преемственности.

Рассмотренные нами морфологические элементы как раз и образуют такие преемственно воспроизводимые пропорции, что и выражается в постоянстве для отдельных регистров определенных статистических параметров, статистически заданных конфигураций морфологических вариантов. Подобно тому как «характерность» синтаксических конструкций в случае функциональных стилей может в известной мере быть предметом эксплицитного обучения, подобно этому и «характерность» морфологических элементов в случае регистров может задаваться рекомендациями наставника (например, старшего писца в церковном скриптории или старого подьячего в московском приказе). Тем не менее это лишь побочные факторы, и основой, на которой утверждается наследуемая «характеристичность», является естественный механизм преемственности от чтения к письму. Как и в случае синтаксических конструкций в функциональных стилях, морфологические варианты в рамках отдельных регистров подвергаются модификациям от поколения к поколению (например, от поколения к поколению возрастает общая пропорция новых флексий у существительных в косвенных падежах мн. числа). Это возрастание, однако, проходит в рамках существующей преемственности и не влияет кардинально на дифференциацию регистров. Разрушение этой преемственности, выражающееся в резком сдвиге статистических параметров, происходит лишь тогда, когда начинает формироваться единая норма нового литературного языка, требующая унификации морфологических характеристик вне зависимости от коммуникативного задания текста. С формированием этого стандарта морфологическая вариативность выводится из репертуара «стилистического» выбора пишущего и на долю естественной преемственности и связанных с нею воспроизводимых статистических пропорций остаются лишь элементы синтаксического построения, в динамике которых сохраняется то числовое постоянство, которое, как мы видели, поддается вполне рациональному объяснению.

5. Петровская эпоха: от регистров к полифункциональности. Образование петровского «пула». Формирование нового (противопоставленного церковно-славянскому) языкового стандарта начинается в Петровскую эпоху. Создание нового языка является естественной частью культурной политики Петра. Утверждая новые секулярные ценности сына отечества и формируя новую секулярную культуру, противопоставленную традиционной религиозной, Петр стремится придать этой культуре и новый язык, отличный от языка традиционной культуры. Следует иметь в виду, что в допетровскую эпоху на уровне языка противопоставление религиозной и секулярной культуры отсутствовало (стоит отметить, что и само обозначение традиционного книжного языка как *церковно-славянского* впервые появляется в Петровское время — см.: Живов 1996, 125). Именно это противопоставление и создает Петр; символическим событием в данном предприятии оказывается введение гражданского шрифта, противопоставленного церковному.

Утверждение этой оппозиции проявляется и в отборе языковых элементов, конституирующих новый «гражданский» язык. Как показывают тексты, отредактированные по заданию царя, требовавшего, чтобы они писались «не высокими словами славенскими, но простым русским языком» (Черты из истории... 1868, стб. 1054—1055), этот отбор осуществлялся как устранение тех элементов, которые специальным образом ассоциировались с традиционным книжным языком (были маркированными признаками церковнославянского). К их числу относились прежде всего такие морфологические элементы, как формы имперфекта, аориста, перфекта со связкой, дв. числа, согласованные причастия в деепричастной функции и т. д. (см.: Живов 1996, 98—110).

Исключение маркированно книжных элементов (проведенное, впрочем, в текстах новой секулярной культуры не всегда с полной последовательностью) имело, таким образом, символический характер. Констатируя это исключение, мы, понятно, не отвечаем на вопрос о том, что осталось в новом языке или, иными словами, какой материал был употреблен при его создании. Для этого материала едва ли не справедлива характеристика А. В. Исаченко, который, описывая язык петровского времени, говорит о «die Ratlosigkeit, das sprachliche Chaos» (Исаченко 1983, 532). Первобытный хаос — это то состояние, из которого рождается новая жизнь. В чем состояла хаотичность нового идиома, поддается объяснению. Те элементы, которые ранее были распределены по разным письменным традициям (по разным регистрам письменного языка), теперь оказываются сваленными в одну кучу, которая в настоящем исследовании именуется «петровским пулом». Та вариативность, которая ранее была упорядочена фрагментацией узуса по разным регистрам, теперь оказывается неупорядоченной в рамках единого нефрагментированного узуса.

Этот узус разнороден, общие для него в целом конфигурации морфологических вариантов отсутствуют. Иными словами, одни авторы реализуют одни навыки письма, а другие — другие. Разнородность образующегося в новых секулярных текстах узуса находит понятное объяснение в том обстоятельстве, что созданием этих текстов заняты авторы с разным исходным опытом письменного языка (с разными навыками письма). Это, однако, объясняет лишь генезис разнородности, тогда как сам феномен обладает определенной функциональной моти-

вацией. Создающиеся на новом языке тексты преподносятся как тексты новой культуры, не имеющие прямого прецедента в прошлом. Поэтому и язык этих текстов не продолжает какую-либо одну из существовавших письменных традиций, а располагается в пространстве между традициями. Он конструируется как нарушение сложившихся навыков и в этой своей конструкции вполне соответствует установкам петровской секулярной культуры как практики, порывающей с прошлым.

Разрыв с прошлым выражается, в частности, и в отказе от старых навыков письма. Наиболее ярким образом этот отказ выражается в резком возрастании пропорции инновативных форм существительного в косвенных падежах мн. числа. Именно в петровскую эпоху и именно в книгах гражданской печати пропорция новых флексий переваливает через две трети и окончания *-амь*, *-ами*, *-ахъ* становятся доминирующими (см. § III.2.1). Весьма показательно, что в рукописных сочинениях Петровской эпохи, например, в бытовой и деловой переписке, вошедшей в «Письма и бумаги Петра Великого», или в «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича этого перелома не происходит.

Ни в формах инфинитива, ни в формах прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа столь резкого разрыва не заметно. Такая ситуация объясняется тем, что в этих аспектах узус текстов петровской секулярной культуры крайне разнороден. Здесь старые письменные навыки не подверглись общему преобразованию, и поэтому посаженные за новую просветительскую работу авторы могли следовать своим сложившимся привычкам или модифицировать их по своему усмотрению. В результате в одних текстах (например, «Географии генеральной» Б. Варения или «Книге мирозрения» Х. Гюйгенса) пропорция инфинитивов на *-ть* от невозвратных глаголов столь же мала, как в консервативных гибридных текстах XVII в., а пропорция инфинитивов на *-ться* от возвратных глаголов еще меньше, в других (например, в «Юности честном зерцале») пропорция инфинитивов на *-ть* от невозвратных глаголов столь же велика, как в бытовых или обычных деловых текстах XVII в., а пропорция инфинитивов на *-ться* не слишком сильно отличается от пропорции инфинитивов на *-ть*, в третьих, наконец (например, в книге Буйе «О способах творящих водохождение рек свободное»), инновативные формы инфинитива от невозвратных глаголов доминировали, как в старых бытовых текстах, тогда как инфинитивы от возвратных глаголов вели себя столь же консервативно, как в текстах гибридных; составители текстов последнего типа строили свой узус на комбинации «прогрессистского» отношения к невозвратным глаголам и унаследованного от книжных текстов XVII в. нормализующего подхода к инфинитивам от возвратных глаголов. В целом в текстах петровской секулярной культуры в данном аспекте царил полный разноряд, в котором перемешивалось наследие разных письменных традиций предшествующей эпохи (см. § II.2).

К аналогичному выводу приводит и анализ форм прилагательных в им.-вин. мн. В некоторых из рассмотренных текстов употребление сходствует с характерным для делового регистра, однако с определенными отступлениями, не укладывающимися в деловую норму (например, в книге Буйе при господствующем окончании *-ие/-ые* в безродовом употреблении встречается и окончание *-ия/-ья*). В других воспроизведена дистрибуция, характерная для гибридного узуса (таковы, например, «Библиотеки» Аполлодора в переводе Барсова или

«География генеральная» Б. Варения); составители этих текстов явно не готовы расстаться с согласовательным принципом в употреблении окончаний прилагательных. В третьих конфигурация морфологических вариантов ближайшим образом напоминает ту, которая свойственна бытовой письменности (например, в книге «Геометрія славенскі семлемѣрїе» 1708 г. или в «Книге мирозрения» Гюйгенса; флексии *-ие/-ые* и *-ия/-ья* употребляются здесь совершенно безразлично и согласовательная интенция отсутствует) (см. § IV.2.1). Примечательно, что в исследованных памятниках стратегия выбора инфинитивных форм может не совпадать со стратегией выбора форм прилагательных в им.-вин. мн. Если, скажем, в «Географии генеральной» в обоих случаях видна ориентация на старый книжный (гибридный) узус, а в «Юности честном зерцале», напротив, в обоих случаях ориентиром может считаться старый узус бытового регистра, то в «Книге мирозрения» Гюйгенса выбор инфинитивных форм следует старой книжной модели, а выбор адъективных форм — модели бытового регистра. Это означает, что авторы конструируют свой узус на экспериментальной основе, приспособлявая царящий вокруг хаос к своим индивидуальным вкусам.

Такой тип языкового поведения обусловлен, в конечном счете, тем, что «гражданский» язык Петровской эпохи, хотя его нередко называют русским литературным языком нового типа, не обладает основными атрибутами литературного языка: ему не присуща ни общеобязательность, ни кодифицированность, ни полифункциональность. Хотя царь прилагал усилия к тому, чтобы новый язык получил распространение в обществе, эта работа заметным успехом не увенчалась. Никаких институций, утверждавших новый языковой стандарт, при жизни Петра создано не было: ни школ, в которых преподавали бы этот язык, ни академий или ученых собраний, которые занимались бы его совершенствованием. Издававшаяся на этом языке литература читалась лишь небольшим кругом европеизирующейся элиты и даже у нее большим спросом не пользовалась. Число лиц, активно владевших этим языком, измерялось хорошо если десятками. Новый язык оставался некодифицированным. Издававшиеся в Петровскую эпоху грамматики были грамматиками церковнославянского языка (грамматика Ф. Максимова 1723 г., издание грамматики Смотрицкого, осуществленное Ф. Поликарповым в 1721 г.), тогда как первые опыты описания нецерковнославянского языка (грамматики Глюка, Сойе, Афанасьева — см.: Успенский 1992; Успенский, III, 437—572) для русской публики не предназначались.

Хотя Петр в своем языковом строительстве ориентировался на западноевропейские модели, полученный результат был совсем не сходен со своим образцом. Действительно, этот язык замышлялся и представлял собой «гражданское наречие», т. е. язык, ограниченный в своем употреблении светской сферой, тогда как в сфере духовной продолжал господствовать старый книжный (церковнославянский) язык, и никаких попыток реформировать эту ситуацию не предпринималось; одно это обстоятельство лишало новосозданный идиом полифункциональности. Это сказывалось и на разнообразии конфигураций морфологических вариантов в разных письменных традициях, сосуществовавших в письменности петровского времени.

Наиболее показательна в данном отношении ситуация с существительными в косвенных падежах мн. числа. Как было сказано непосредственно выше, в узусе

книг гражданской печати заметен явный разрыв с традиционными письменными навыками, выражающийся в том, что новые флексии оказываются в доминирующем употреблении. Значимо не только то, что этому примеру не следуют многие рукописные тексты, созданные в рамках той же секулярной культуры (как, например, «История Петра Великого» Феофана Прокоповича), но и в особенности положение в духовной словесности петровского времени. В ней не только не происходит столь решительного перехода к употреблению инновативных форм, но и складывается особая, специфичная для данной традиции конфигурация морфологических вариантов (у существительных м. рода *o*-склонения наиболее продвинутым в плане *a*-экспансии является тв. мн., наименее продвинутым — дат. мн.). Она находится в преемственной связи с тем узусом, который был свойствен проповедям Симеона Полоцкого, и в то же время оказывается отличительной чертой церковной литературы, отделяющей ее от набирающей силу секулярной словесности (см. § III.4.1). Такие процессы находятся в прямом противоречии с потенциальными претензиями нового петровского идиома на полифункциональность.

Тем не менее возникшее в результате петровского языкового строительства «гражданское» наречие было определенным шагом к созданию полифункционального языкового стандарта. Как и многие другие петровские творения, оно было залогом нового в силу того, что сокрушало старое. В данном случае разрушенным оказывался тот фрагментированный по регистрам узус, в рамках которого разным сферам употребления (разным коммуникативным функциям) соответствовал разный язык. Сформировавшийся при Петре идиом («петровский пул») объединял языковые элементы, ранее соотносившиеся с разными сферами употребления, он не был привязан ни к какой письменной традиции и вследствие этого обладал потенциалом полифункциональности.

6. Начало нормализации. Стимулы и процедуры. Начало нормализаторской деятельности или, другими словами, целенаправленного языкового строительства, созидающего унифицированный языковой стандарт, может быть датировано достаточно точно. В 1728 г. в типографии Академии наук издается переведенное с латыни и немецкого «Краткое описание комментариев Академии наук». Отдельные переводчики, участвовавшие в этом издании, пишут в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями, так что узус в целом отличается чрезвычайной пестротой и может служить прекрасной иллюстрацией той гетерогенности «петровского пула», о которой говорилось выше. По-разному, с разными конфигурациями вариантов и разной их частотой, употребляются окончания прилагательных в им.-вин. мн. числа (см. § IV.2.2), разноразличны в употреблении старых и новых флексий в косвенных падежах мн. числа существительных (см. § III.2.2), непоследовательно употребление форм инфинитива (на *-ти* и на *-ть* — § II.3), отсутствует унификация и по ряду других морфологических признаков.

С конца 1728 г. начинают издаваться «Примечания к ведомостям», переводное (с немецкого) периодическое издание Академии наук, в подготовке которого участвует та же группа академических переводчиков, что и в издании «Краткого описания». Здесь, однако, нормализационная установка просматривается с пол-

ной наглядностью. Так, для окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа унифицированным вариантом становится флексия *-uel/-ые* (см. § IV.2.2), инфинитив на *-ть* полностью вытесняет инфинитив на *-ти* (см. § II.3). Сопоставление этих изданий позволяет однозначно датировать начало нормализаторской деятельности серединой 1728 г.

Не все, конечно, было сделано сразу, и не все нормализационные решения были окончательными, однако начало было положено, и унификация продвигалась достаточно быстрыми темпами. Так, если в 1728—1731 гг. в употреблении форм существительных в косвенных падежах мн. числа сохраняется немотивированная вариативность, то в 1734 г. в основных классах существительных последовательно употребляются новые окончания *-амь*, *-ами*, *-ахь*, а употребление других флексий у существительных *i*-склонения также подвергается (частичной) регламентации (см. § III.2.2). В 1733 г. пересматривается унифицирующий принцип в употреблении окончаний прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа. Согласно новому правилу флексия *-uel/-ые* употребляется с м. родом, а флексия *-ия/-ья* — с ж. и ср. родом. Это искусственное нормализационное решение представляет собой, с одной стороны, компромисс между различными языковыми практиками, а с другой — более тонкую регламентацию узуса, вновь вводящую согласовательный принцип (см. § IV.2.2).

Принципиальные побуждения к регламентирующей деятельности состоят в понимании нормализации как элемента европеизации. В европейской перспективе «петровский пул» был аномалией, а Академия наук была создана как европейская институция и должна была утверждать в России европейское просвещение. Просвещенная страна должна была обладать языковым стандартом, а языковой стандарт должен был быть упорядочен и кодифицирован. Эти цивилизационные задачи как раз и берут на себя академические переводчики, создающие в «Примечаниях к ведомостям» языковой стандарт и одновременно обучающие читателя европейскому просвещенному дискурсу (научным открытиям и географии европейского пространства, цивилизованной организации времени и правовым понятиям). Существенно при этом, что с 1727 г. в Академической типографии сосредоточивается практически вся гражданская издательская деятельность. Это означало, в частности, что Академия монополизировала единственный существовавший в этот период канал, по которому языковые нормы могли оказывать влияние на общество.

На первых порах изящная словесность к этому процессу никакого отношения не имеет. Попытки связать начало нормализационной деятельности с потребностями литературы (ср.: Винокур 1959, 125 сл.) никакого реального основания не имеют. Между тем появление новой литературы, т. е. литературы, непосредственно ориентированной на европейские образцы и противопоставляющей себя литературе предшествующего периода (литературе XVII в. и Петровской эпохи), происходит практически в то же время (в качестве условной даты можно было бы рассматривать время написания Первой сатиры Кантемира, т. е. 1729 г.). Понятно, что оба интересующих нас процесса — создание новой европейской секулярной литературы и опыты обработки нового секулярного идиома по образцу западноевропейских литературных языков — исходят из одной и той же социальной среды, из той части европеизирующейся элиты, которая связывает соци-

альный успех с образованностью и просвещением. Важно тем не менее, что на начальном этапе эти процессы разобщены.

Это обстоятельство важно потому, что оно указывает на задачи, которые возникали при соединении данных процессов. Новая литература должна была приспособиться для своих нужд тот нарождавшийся языковой стандарт, который создавался в академической переводческой практике. Первым за это дело принимается Василий Тредиаковский, возвращающийся в 1730 г. в Россию. Он привозит с собою свои литературные труды (перевод «Езды в остров любви» П. Талемана и небольшую подборку собственных стихотворений) и, как показывают лингвистические характеристики этих произведений, выражает готовность присоединиться к тому направлению нормализации языкового стандарта, которое избрали академические переводчики. Тем не менее между языковой практикой академических переводчиков и языковой практикой Тредиаковского обнаруживаются и некоторые расхождения.

Как показывают «Примечания к ведомостям», в академической практике нормативной является только форма на *-ть*, тогда как форма на *-ти* исключена из употребления (имею в виду глаголы с ударением на основе). Тредиаковский в «Езде» следует этой норме в прозаическом тексте, и это выглядит как свидетельство его согласия с академической нормализацией; в стихотворном тексте, однако, дело обстоит иным образом, инфинитивы на *-ти* употребляются здесь без всяких ограничений (наряду с инфинитивами на *-ть*) (см. § II.3). Точно так же академическому узусу следует Тредиаковский и в употреблении форм существительных в косвенных падежах мн. числа. В поэтическом тексте картина иная, напоминающая скорее современные Тредиаковскому тексты, созданные вне тенет академической нормализации. Впрочем, от этих последних поэзию Тредиаковского отличает непропорционально большое использование старых форм тв. мн. на *-ы* (и на *-ми* у существительных *о*-склонения), дававших возможность манипулировать числом слогов и тем самым соблюдать требования метра. В обоих случаях мы явно имеем дело с поэтическими вольностями, причем языковая практика Тредиаковского сходствует в данном отношении с языковой практикой А. Кантемира (а их творчество и составляет по существу всю изящную словесность данного периода). Можно полагать, что мы сталкиваемся здесь не с «противоречиями» во взглядах первых русских поэтов (как думал Г. О. Винокур — 1959, 129—130), а с результатом приспособления формировавшегося вне литературы языкового стандарта к задачам литературного сочинительства.

Академические филологи не вступают в конфронтацию с первыми русскими литераторами, а идут им навстречу. Так, кодифицируя в инфинитиве формы на *-ть*, Адодуров в «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» находит нужным указать, что в стихах возможно также употребление формы на *-ти*, и это указание несомненно отсылает к стихотворным опытам Тредиаковского. Показательна и история форм прилагательных в им.-вин. мн. В академических публикациях 1729—1730-х годов в качестве унифицированного окончания им.-вин. мн. числа выступает флексия *-ие/-ые*. Тредиаковский, однако, в «Езде в остров любви» предпочитает в качестве унифицированного окончания *-ия/-ья*. Адодуров в Очерке 1731 г. в парадигме прилагательных в им.-вин. мн. числа в качестве вариантов «per tria genera» дает флексии *-ые* и *-ья*, а еще через два года академиче-

ские филологи устанавливают упоминавшееся выше правило, согласно которому *-ие/-ые* употребляется с м. родом, а *-ия/-ья* — с ж. и ср. родом. В обоих случаях имеет место компромисс, соглашающий выбор, сделанный в Академии, с выбором, сделанным Третьяковским.

Это соединение литературного процесса с языковым строительством приводит формирование русского языкового стандарта в соответствие с европейскими представлениями о том, как должна вестись обработка литературного языка. Согласно этим представлениям, одним из оснований обработки должен был служить язык лучших авторов. На эту роль и претендует сначала Третьяковский, а затем также Ломоносов и Сумароков. В 1730—1760-е годы эти претензии лишь в весьма ограниченной степени были реализованы в реальном языковом строительстве (здесь можно, конечно, упомянуть ссылки Ломоносова на собственные сочинения в его «Риторике» или лингвистический анализ ранних сочинений Сумарокова, сделанный Третьяковским — Куник 1865, 435—500 — однако это лишь отдельные опыты, а не планомерное использование литературы как источника нормы). Это не удивительно, поскольку корпус созданных русскими авторами текстов был невелик по объему, скуден в жанровом отношении и достаточно разнороден по своим лингвистическим характеристикам. Он не шел ни в какое сравнение с теми обширными и многообразными корпусами литературы, из которых как из данности исходила европейская филология, рассуждая о языковом стандарте латыни или французского.

Тем не менее ориентация на изящную словесность создавала для нормализации новое понятийное пространство. Литература влекла за собой понятие стиля, так что нормализация могла не сводиться к выбору одного унифицированного варианта, но состоять в стилистической дифференциации вариантов. Эта возможность в полной мере была использована позднее, в рамках того жанрового и стилистического многообразия, которое развилось в литературе Екатерининской эпохи. Однако первые опыты стилистической дифференциации появляются раньше. В принципе, если отвлечься от морфологии, именно такой тип нормализации представляет собой теория трех штилей Ломоносова, значимая прежде всего как теоретический конструкт (см.: Живов 1996, 335—338). В его «Российской грамматике», однако, предусмотрено и несколько случаев, когда стилистические характеристики получают морфологические варианты, например, при трактовке второго родительного и второго предложного (Ломоносов, VII², 647—648, 457, 461). В рассмотренном нами материале определенная стилистическая нагрузка заметна в этот ранний период у форм тв. мн. на *-ы/-и* и на *-ми*. Первоначально они получают распространение как поэтическая вольность, обеспечивающая сокращение слога, однако затем начинают употребляться как элемент, противопоставляющий язык литературного произведения обыденному языку (отчасти у Татищева и вполне выраженным образом в «Тилемахиде» Третьяковского — см. § III.2.2).

Новый языковой стандарт приобретает стилистическую дифференциацию не в научных или общеобразовательных сочинениях, а прежде всего в изящной словесности, как это происходит и в истории других литературных языков. Язык литературы оказывает здесь прямое воздействие на литературный язык; этот процесс становится возможен благодаря тому, что в Екатерининскую эпоху получает

развитие многожанровая, объединенная интертекстуальными связями литература. В период «от Ломоносова до Карамзина» данный процесс постепенно набирает силу, хотя и далек от завершения. Динамика этого процесса состоит в том, что тот запас разнородных языковых средств, который был опробован в немногих жанрах литературы предшествующего периода (оде, трагедии, комедии, сатире, песне), приспособляется теперь к более сложной жанровой структуре и к тем новым эстетическим задачам, которые провоцировали новые жанры и новые литературные направления.

Одни элементы оказывались при этом более подвижными, приемлемыми для разных авторов и пригодными для разных жанров, другие более специфическими. В результате накапливались многочисленные прецеденты употребления, которые формировали, с одной стороны, стилистически нейтральный корпус употребительных элементов, а с другой — корпус элементов маркированных, отсылавших к отдельным жанрам или к отдельным литературным традициям. Именно так обстоит дело с инфинитивами на *-ти* и формами 2 ед. презенса на *-иш* в «Стихотворениях духовных» Сумарокова и в текстах ряда его продолжателей (см. § II.4; § II.6). Полнее всего эта возможность нормализации посредством стилистической дифференциации морфологических вариантов эксплуатируется — в области теоретических построений — в «Российской грамматике» А. А. Барсова, предусматривающего использование и инфинитива на *-ти*, и тв. мн. на *-ы/-и* и на *-ми* (см. § II.5, § III.3.4). Таким образом в формирующемся языковом стандарте появляются элементы стилистической дифференциации, приличествующие полноценному литературному языку. Позднее, впрочем, в эпоху после Карамзина, морфологические показатели практически перестают выступать в качестве средства стилистической дифференциации; стилистическая дифференциация осуществляется, как уже говорилось, почти исключительно за счет синтаксических и лексических элементов. Такую ситуацию можно рассматривать как торжество академической нормативной грамматической традиции, подчинившей себе предпочтения литературного вкуса.

7. Роль кодификации. Грамматическая традиция. Как следует из сказанного выше, нормативные грамматики сыграли весьма важную роль в формировании литературного языка. Собственно говоря, из всех атрибутов литературного языка русский языковой стандарт первым приобретает именно кодифицированность. Начало последовательной нормализаторской деятельности совпадает по времени с появлением первых нормативных грамматик русского языка: «Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache» И.-В. Пауса 1729 г., «Compendium Grammaticae Russicae» М. Шванвитца 1730—1731 гг. и «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» 1731 г., приписываемого В. Е. Адодурову. Грамматика, даже не будучи нормативной, предполагает упорядочение языкового материала, делает явными точки немотивированной вариативности и в силу этого служит стимулом для унификации. Этот момент особенно заметен, когда грамматика предназначена для преподавания языка, поскольку дидактические цели побуждают к классификации вариантов и устранению «лишней» вариативности.

Преподавание языков при Академии наук имело в силу этого существенное значение для обработки нового идиома. Хотя обучение русскому языку как род-

ному начинается, видимо, не ранее второй половины 1730-х годов, преподавание латыни и немецкого создавало то филологическое пространство, в котором и русский язык должен был обзавестись теми атрибутами, которые присущи преподаваемому языку. В. Е. Адодуров, один из академических переводчиков, сообщает о себе: «[Я] при Академии наук учился языкам латинскому, немецкому и французскому и при том имел случай собственные мои недостатки в правильном употреблении природного нашего языка несколько усмотреть и оные в себе, по возможности, исправить» (Пекарский, ИА, I, 511). Для преподавания русского языка, в частности, для преподавания его обучавшимся в Академии иностранцам, нужно было создать его грамматику. Именно в этом контексте появляются грамматики Пауса, Шванвитца, Адодурова. Последние два сочинения черпают материал из грамматики Пауса, однако кодифицируют его в соответствии с принципами, полемически противопоставленными паусовским, так что теоретические основания кодификации и нормализации оказываются предметом рефлексии и противостояния. В результате кодификация становится ключевым моментом языкового строительства, сферой, в которой вырабатываются его концептуальные параметры.

Никаких новых общелингвистических идей у первых кодификаторов русского языка естественно не было. Грамматическое описание основывалось на тех принципах, которые были знакомы академическим филологам из грамматик других языков, прежде всего латыни и немецкого. Однако применение этих принципов к русскому материалу было отнюдь не механическим предприятием, а творческим экспериментом. Приложение европейских кодификационных моделей ставило вопрос о том, как поступать со столь «неевропейским» явлением, как лингвистическая гетерогенность, обусловленная соединением церковнославянского и русского языкового материала, как справляться с порожденной этим соединением вариативностью. Именно в решении этого вопроса Шванвитц и Адодуров противостоят Паусу.

Конечно, грамматическое описание русского языка не было в конце 1720-х годов беспрецедентным предприятием. С одной стороны, существовала и поддерживалась церковнославянская грамматическая традиция. Как бы ни определялись отношения между русским и церковнославянским, трактуемый в грамматиках этих языков лингвистический материал в существенной степени совпадал, и поэтому в русскую грамматику переносились схемы описания, утвердившиеся в церковнославянской грамматической традиции. Грамматика Смотрицкого (и производные от нее продукты, такие как грамматика Максимова или грамматические сочинения Поликарпова) определяет многие способы представления языковых данных в грамматиках русского (а не церковнославянского) языка, начиная от самых ранних (грамматики Лудольфа) и вплоть до грамматик Ломоносова, Барсова, Грамматики Академии российской 1802 г. Указания грамматики Смотрицкого постоянно использовались при трактовке морфологической вариативности — как в том случае, когда авторы стремились различить русские и церковнославянские варианты, так и в том случае, когда речь шла о выборе унифицированного «правильного» варианта.

Граматики русского языка создавались, по крайней мере, с конца XVII в. (со времен Лудольфа), по большей части иностранцами. Хотя в большинстве из них

так или иначе учитывалась грамматика Смотрицкого, их общая установка радикально отличалась от установки Смотрицкого. В отличие от грамматики Смотрицкого, имевшей нормативный характер и предназначенной обеспечить правильность стандартного церковнославянского узуса, первые грамматики русского языка были описательными трактатами, предназначавшимися в основном для удовлетворения развившегося в раннее новое время филологического любопытства. К этому типу дескриптивных грамматик относится и грамматика Лудольфа, и руководство Копиевича, и грамматика Соие (в которой, возможно, ставились некоторые практические задачи; во всяком случае Соие пишет о том, что его сочинение бесполезно, поскольку на русском языке можно вести корреспонденцию и читать книги — см. Успенский, III, 461), и такое маргинальное сочинение, как описание русского языка Ивана Афанасьева. Несколько отличается от этого типа незавершенная грамматика пастора Глюка; однако она предназначалась, видимо, для преподавания русского языка в школе, которую завел в Москве незадачливый пастор (в этой школе начинал свою учительскую карьеру и И.-В. Паус), и именно это могло обусловить ее специфику.

И Лудольф, и Соие ставят перед собой задачу описать русский язык как идиом, отличный от церковнославянского, и с этой целью они приводят небольшие списки отличий одного языка от другого, в которых могут фигурировать и морфологические варианты. Вне этих рамок систематизации вариантов почти не проводится, и в парадигмах царит такая же неразбериха, как в реальном узусе, современном составлению данных грамматических описаний (понятно, что та систематизация морфологических конфигураций, которая задавалась их распределением по регистрам, никак нашими авторами не воспринималась). Это видно, например, из того, как непоследовательно даются в обеих грамматиках формы существительных в косвенных падежах мн. числа (см. § III.3.2). У Лудольфа столь же хаотично описаны и формы инфинитива, в то время как Соие классифицирует соответствующие варианты как русские и церковнославянские (см. § II.4). Как возникают такие описания, в целом понятно. Авторы описывают наблюдаемый ими узус, хотя описывают его с разной степенью достоверности, и, составляя свои парадигмы, производят некоторую подчистку, упорядочивая встречающиеся варианты в тех случаях, когда наблюдаемая вариативность кажется им противоречащей грамматической логике (так, видимо, Соие распределяет окончания прилагательных в им.-вин. мн. по родам — см. § IV.3.2).

Пастор Глюк поступает иным образом. Он не только наблюдает узус, но, видимо, готов его исправлять, т. е. готов учить своих учеников, как «правильно» писать по-русски. Классифицировать беспорядочные факты не входит в его намерения, и поэтому никакого списка отличий русского от церковнославянского он не приводит (хотя очевидно, что он кодифицирует именно русский, а не церковнославянский язык: у него нет, например, простых претеритов). Предписываемую правильность Глюк черпает, надо думать, из собственных представлений о том, как должна быть устроена грамматика. Поэтому, например, он фиксирует исключительно инфинитив на *-ти*, последовательное употребление которого он не мог наблюдать в реальном узусе (кроме безразличного для него стандартного церковнославянского — см. § II.4). Равным образом, он почти без отклонений дает в своих парадигмах новые формы существительных в косвенных падежах

мн. числа (см. § III.3.2), что также не соответствует никакому реальному узусу и даже не может быть обобщением такого узуса (напомню, что доминирующее употребление новых форм появляется только в изданиях гражданской печати, увидевших свет уже после смерти Глюка).

В конце 1720-х годов актуальным становится не столько грамматическое описание русского языка, сколько создание нормативной грамматики, которая могла бы быть основой академического обучения и определила бы конструкцию нового языкового стандарта. Именно на создание такой грамматики претендует И.-В. Паус, однако его грамматика — несмотря на то, что он был сотрудником Глюка, — следует не принципам Глюка, а скорее принципам Лудольфа и Сойе. Он не предписывает, а описывает, и описывает вполне реалистично, основываясь на изученном им корпусе текстов (включающем как Библию 1663 г., так и Уложение 1649 г.). Если он предписывает, то предписывает то, что описывает, предлагая тем самым не реформировать наблюдаемый узус, а, разобравшись в нем, следовать ему. Поэтому он дает наиболее подробную из известных нам классификацию вариантов, разделяя их на русские и славянские (он пользуется Лудольфом и дополняет его); в этой классификации фигурируют и формы инфинитива (см. § II.4), и формы 2 ед. презенса (см. § II.6), и окончания существительных в косвенных падежах мн. числа (см. § III.3.2), и окончания прилагательных в им.-вин. мн. (см. § IV.3.2). Это соответствует его концепции русского литературного языка, в котором русское и славянское соединено в одно органическое целое. Такой язык оказывается полифункциональным (поскольку он объединяет то, что было распределено по регистрам письменного языка), но избыточным немотивированной вариативностью.

Данная концепция идет вразрез с европеизационной парадигмой, лежащей в основе деятельности академических филологов. Они просвещают и реформируют общество, и это включает и реформирование языка. Поэтому им нужна предписывающая нормативная грамматика, не следующая узусу, а переделывающая его на «европейский» лад. Такая переделка предполагала сильное устранение немотивированной вариативности. В грамматическом очерке Адодурова предписывается употребление инфинитива на *-ть* (см. § II.4), 2 ед. презенса на *-шь* (см. § II.6), новых форм существительных в косвенных падежах мн. числа (см. § III.3.2), и лишь в им.-вин. мн. в качестве вариантов фигурируют флексии *-ия/-ья* и *-ие/-ые* (см. § IV.3.2). Судя по кодификации существительных, Адодуров следует грамматике Шванвитца 1730—1731 гг. (которая в полном виде до нас не дошла) и вместе с тем делает шаг навстречу Триаковскому, указывая, что инфинитив на *-ти* может употребляться в поэзии и кодифицируя в качестве варианта флексию *-ия/-ья*.

Эти (и подобные им) кодификационные решения формируют академическую грамматическую традицию. Она, можно предположить, служила основой для преподавания русского языка в Академии наук и отразилась в нескольких академических публикациях 1740—1750-х годов. Ее наиболее полным воплощением является «Российская грамматика» Ломоносова. Нормализационный пафос этого сочинения особенно ясно виден из того обстоятельства, что содержащиеся здесь нормативные предписания могут расходиться с языковой практикой самого Ломоносова (например, в употреблении форм инфинитива — см. § II.3). Жесткость

нормализации соотносится с ограниченностью круга лиц, которые принимают утверждаемые Академией нормы: это лишь небольшая часть грамотного общества (которое само по себе представляет небольшую часть населения страны), читающая академические издания и следующая их образцу. Поддержание этих норм никакими институтами, кроме академической монополии на издательскую деятельность, не обеспечивается.

Пока эта монополия существует, расхождение между реальным узусом и конструируемым Академией стандартом остается скрытым, существующим вне публичной сферы. С конца 1750-х годов начинается быстрое развитие литературной культуры, и монополия Академии утрачивается. Литература, сделавшаяся по преимуществу дворянской, не слишком склонна подчиняться предписаниям безродных академиков, так что разнородным становится даже тот узус, который наблюдается в печатных изданиях (в этом плане особенно показательна языковая практика Сумарокова). В силу этого в Екатерининское царствование вновь становится актуальным противопоставление прескриптивной и дескриптивной грамматики. В основном кодификация развивается по пути, указанному Ломоносовым, и не считается с разнородностью реального (литературного) узуса. Исключением оказывается «Российская грамматика» А. А. Барсова (а отчасти также и «Опыт нового русского правописания» В. П. Светова), не чуждая, конечно, регламентирующей установке, однако первой своей целью ставящая упорядочение существующего узуса, классификацию, а не унификацию. Барсовская классификация нередко основывается на стилистической дифференциации вариантов (так, в частности, обстоит дело с формами инфинитива — см. § II.4), однако в других случаях никакой мотивировки для сосуществующих вариантов не дается (так, в частности, обстоит дело с формами тв. мн. — см. § III.3.2). В ряде случаев, впрочем, Барсов следует академической нормализации, игнорируя отступления от академической нормы в реальном узусе (так, в частности, обстоит дело с формами прилагательных в им.-вин. мн. — см. § IV.3.2).

Грамматика Барсова остается, однако же, отдельным отклонением на путях развития русской грамматической традиции. Преподавание русского языка в начальной школе, утверждающееся в результате школьной реформы Екатерины II и создающее институт внедрения языкового стандарта в общество, а отсюда и стремление сделать его общепринятым, выдвигает на первый план прескриптивную кодификацию. Карамзин, правда, называет Барсова «Великим мужем Русской Грамматики» (Карамзин, III, 317—326) и, следуя рецептам Барсова, активно использует стилистическую дифференциацию морфологических вариантов. Однако следующие поколения в общем и целом подчиняются предписаниям стандартизаторов, так что завершающим этапом в нормализаторской кодификации морфологии оказывается академическая грамматика 1802 г.

8. Общеобязательность языкового стандарта и духовная словесность. Индикатором общеобязательности и полифункциональности формирующегося в XVIII в. языкового стандарта может служить язык духовной словесности. В первой половине XVIII в. язык духовной словесности эволюционировал отдельно от языка, употреблявшегося в секулярной сфере, и обладал собственной преемственностью. Это не означает, что язык церковной литературы превратился в окаменелость

и перестал развиваться. Развитие имело место, и в особенности в тех произведениях (в произведениях тех жанров), адресат которых мыслился как секулярное общество. К таким жанрам в первую очередь относилась проповедь. Проповедь в известной мере (разной у разных авторов) учитывала лингвистические вкусы предполагаемой аудитории, и это обеспечивало ее лингвистическую динамику и создавало условия для влияния на нее языка светской словесности. Тем не менее духовная словесность оставалась в лингвистическом отношении отдельной сферой, и процессы, происходившие в секулярной сфере, затрагивали ее лишь косвенно.

В духовной словесности не только продолжают употребляться маркированно книжные элементы, отождествляющие ее язык с церковнославянским (прежде всего, простые претериты и ряд специфически книжных синтаксических конструкций), но и образуются специфические для нее конфигурации морфологических вариантов, не связанных с противопоставлением старого книжного (церковнославянского) и некнижного (русского) языков. Так обстоит дело, в частности, с употреблением форм инфинитива или 2 ед. презенса. На духовную словесность не распространяются нормализационные предписания, значимые для словесности секулярной, и старые формы, исключенные из светских текстов или употреблявшиеся в них в строго определенной функции (как поэтические вольности), в духовной словесности продолжают использоваться без ограничений, нередко преимущественно перед новыми формами (см. § II.5; § II.6). Равным образом, и в словоизменении прилагательных узус духовной литературы первой половины XVIII в. примыкает к старому книжному узусу, сохраняет согласовательный принцип и не обнаруживает тех тенденций к унификации, которые характерны для светской письменности (см. § IV.4).

Наиболее показательна история форм существительных в косвенных падежах мн. числа. В духовной словесности, в отличие от подвергшихся нормализации текстов секулярной литературы, употребление новых флексий не становится доминирующим, хотя пропорция новых флексий от десятилетия к десятилетию возрастает (и у Симона Тодорского превышает две трети). Замечательным образом при этом в проповеди, десятилетие за десятилетием, сохраняется характерная конфигурация морфологических вариантов. В этой конфигурации у существительных м. рода *о*-склонения (самого многочисленного класса) наиболее продвинутым в отношении *а*-экспансии оказывается тв. мн. Эта конфигурация, истоки которой обнаруживаются еще в проповедях Симеона Полоцкого, преемственно воспроизводится духовными авторами (начиная с составителя книги «Статир») на протяжении более полувека и становится своего рода жанровым признаком гомилетической литературы (см. § III.4.1). Автономная линия преемственности в духовной литературе видна здесь с особой наглядностью. Вполне выразительно выступает и противопоставление духовного узуса светскому: в светских текстах как раз в тв. мн. старые флексии могут удерживаться в качестве поэтической вольности или стилистически маркированного варианта (см. § III.2.2), так что конфигурации вариантов в духовной и светской письменности оказываются, можно сказать, диаметрально противоположными.

Следует иметь в виду при этом, что духовная литература в XVIII в. имела никак не меньшую читательскую аудиторию, чем литература светская. Жития святых пользовались неизмеримо большим читательским спросом, чем сочинения

Ломоносова. Это обстоятельство не могло не сказываться на социальных параметрах усвоения светского языкового стандарта. Большой частью грамотного общества он воспринимался, видимо, как элитарная и — правдоподобно — престижная культурная практика, не включенная в каждодневный обиход культурной жизни, а потому и не требующая подражания и усвоения. Не было и автоматического усвоения навыков письма, идущего из чтения, поскольку тексты, реализующие языковой стандарт, не стали основным материалом чтения. Отсутствовали институции, продвигающие общеобязательность языкового стандарта. Важнейшая из них, начальное образование, с языковым стандартом никак связана не была, вплоть до последних десятилетий XVIII в. читать учили по церковным книгам и процедурой обучения было традиционное чтение по складам.

Сказанное не означает, что язык светской литературы вовсе не оказывал влияния на язык духовной словесности. Успех духовного оратора зависел от светской власти, прежде всего от двора, поскольку именно симпатии придворной аудитории открывали путь к духовной карьере. Духовный оратор старался приноровиться к вкусам светской аудитории, и в языке это приспособление означало нахождение удачного компромисса между светской лингвистической модой и традициями духовной словесности. Сами поиски такого компромисса вели к нарастающей секуляризации языка, и этот процесс затрагивал не только риторические стратегии проповеди (см.: Кагарлицкий 1999) и структуру лексических значений (ср.: Живов 1996, 497—500), но и конфигурации морфологических вариантов.

Революционный шаг в этом направлении совершает Гедеон Криновский. Осуществленный им переворот, явно обусловленный стремлением найти себе место среди вельможной публики Елизаветинского двора, может быть описан как переход в проповеди от гибридного церковнославянского к русскому языку. Этот переход выражается прежде всего в устранении маркированно книжных элементов, таких как простые претериты или согласованные причастия в деепричастной функции. Устранение подобных элементов означает радикальное сближение языка духовной словесности с языком светской литературы. Однако сближение не означает подчинения светскому языковому стандарту. В сфере морфологических вариантов, непосредственно не ассоциировавшихся с оппозицией русского и церковнославянского, сохраняется вариативность, для литературного стандарта ставшая к этому времени совсем не приемлемой. В этой сфере процесс сближения у Гедеона Криновского и его последователей (ведущих проповедников Екатерининского царствования Гавриила Петрова и Платона Левшина) происходит медленно, постепенно и непоследовательно, так что в духовной словесности продолжает употребляться ряд морфологических вариантов, отвергнутых светским языковым стандартом. Эти варианты, однако, получают новый статус, они превращаются в стилистические особенности духовной литературы.

Так, у Гедеона Криновского наблюдается существенное сокращение пропорции старых форм инфинитива, а у его преемников эти формы почти вовсе выведены из употребления. Там, где они все же появляются, они стилистически маркированы и могут рассматриваться как своего рода индикатор чужого слова, встроенного в авторский текст и отсылающего к текстам Св. Писания и богослужения (надо иметь в виду, что эти тексты в виде прямых церковнославянских цитат присутствуют в самих проповедях и создают в них неустранимую лингвисти-

ческую неоднородность). Такой узус не проводится последовательно в духовной литературе Екатерининского времени, поскольку в это время размывается в указанном отношении и норма светского литературного языка (и в силу этого светский узус перестает быть твердым ориентиром, побуждающим к исключению из употребления старых форм), однако к концу столетия сформированный секулярной академической традицией языковой стандарт одерживает окончательную победу и формы инфинитива на *-ти* и *-тися* оказываются за пределами нормативного и в духовной словесности (см. § II.5).

Лишь в отдельных деталях отличается от истории форм инфинитива история форм 2 ед. презенса на *-ши*. Употребление этих форм становится весьма ограниченным у Гедеона Криновского и сокращается еще больше у его последователей, хотя сокращение здесь не столь радикально, как в случае старых форм инфинитива. Причина этого различия в иной прагматике форм 2 ед. презенса, употребление которых поддерживается молитвенными контекстами и риторическими (и формульными) обращениями к слушателям. Однако и эти факторы не спасают формы на *-ши* от нормализационного диктата языкового стандарта. В духовной литературе начала XIX в. они выходят из употребления, появляясь лишь в качестве редких реликтов с ярко выраженным стилистическим заданием (см. § II.6).

История форм существительных в косвенных падежах обладает несколько иной фактурой; особенности этой истории в духовной словесности обусловлены тем, как в данном отношении происходит утверждение языкового стандарта в секулярной литературе. Как и в других случаях, употребление старых форм во второй половине XVIII в. сокращается, уменьшение их пропорции четко прослеживается при сопоставлении гомилетических сочинений Гедеона Криновского с трудами его последователей. Никаких зигзагов в этом процессе, подобных тем, которые присущи истории форм инфинитива, не наблюдается, поскольку в языке светской литературы старые формы в период «славенороссийского» синтеза никакого возрождения не переживают. То ограниченное применение, которое они находят в светской литературе (имею в виду стилистическое использование старых форм тв. мн. у Третьяковского), для духовной словесности оказывается чуждым, поскольку противоречит сложившейся в ней устойчивой традиции, накладывавшей наибольшие ограничения именно на употребление старых форм тв. мн. Вместе с тем устранение старых форм не проводится здесь столь последовательно, как в других случаях. В небольшой пропорции (менее 10 %) они продолжают встречаться и в сочинениях начала XIX в., причем их употребление стилистически мотивировано. Они содержат прямую или скрытую отсылку к текстам Св. Писания и в этой функции становятся характерными стилистическими особенностями духовной словесности.

Индивидуальными чертами обладает и история форм прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа. Правило, введенное академической типографией в 1733 г., согласно которому флексия *-иел/-ые* употребляется с м. родом, а флексия *-ия/-ья* — с ж. и ср. родом, не действует в духовной словесности вплоть до последних десятилетий XVIII в. В первом издании своих проповедей Гедеон Криновский сохраняет употребление, характерное для узуса гибридного церковнославянского, по видимости игнорируя те различия, которые существовали в данном отношении между светской и духовной традициями, и не находя нужным

изменять здесь привычное для него употребление. Во втором издании он спохватывается, и сближение со светским языковым стандартом имеет место, однако отступления от правила 1733 г. остаются очень значительными (порядка 20 % всех употреблений). Эти отступления частично мотивированы: они характерны для гомилетических формул и тех морфологических форм и синтаксических конструкций, которые Гедеон ассоциирует со старой книжной традицией. Последователи Гедеона, Гавриил Петров и Платон Левшин, в 1760—1770-е годы воспроизводят этот узус, не продвигаясь сколько-нибудь заметным образом навстречу светскому языковому стандарту (одной из причин этого может быть то обстоятельство, что в данный период сам этот стандарт ставится под сомнение некоторыми светскими авторами, прежде всего Сумароковым). Следующий этап сближения наступает только в начале XIX в., его можно наблюдать в поздних проповедях Платона Левшина и следующего за Платоном поколения духовных авторов. Хотя в данной области сближение происходит позже, чем в других рассмотренных подсистемах, оно имеет зато более радикальный характер. Отступления исчезают практически полностью, единичные случаи могут рассматриваться как исключения, обусловленные специфическим контекстом, однако никакой самостоятельной стилистической нагрузки они не несут.

История данной конфигурации морфологических вариантов проясняет, как кажется, факторы, определяющие динамику языка духовной литературы. Поворотный момент наступает в конце XVIII — начале XIX в., и это, можно думать, как раз то время, когда деятельность институций лингвистической унификации начинает приносить результаты. Русский язык делается частью начального образования, и при обучении ему выучивается правило написания прилагательных в им.-вин. мн. числа. Отступления от этого правила становятся после этого (не сразу, но достаточно скоро) не вольностью независимого автора и не приверженностью маргинальной традиции, а безграмотностью. Это и означает, что языковой стандарт получает характер общеобязательности, и в этом контексте отступления от него — нарушения правил правописания — становятся маркерами социального статуса, отделяющими образованное общество от невежд.

Ситуация с формами прилагательных в им.-вин. мн. отличается, видимо, в этом отношении от ситуации с формами инфинитива или существительных в косвенных падежах мн. числа: формы прилагательных являются предметом орфографического правила, тогда как исключение старых форм инфинитива и существительных в косвенных падежах основывается на том, что они просто остаются за рамками кодифицированного стандарта. Поэтому эти ненормативные формы оказываются окказиональными стилистически маркированными морфологическими вариантами, частными стилистическими характеристиками духовной словесности. Они не отделяют более духовную литературу от письменности, подчиняющейся языковому стандарту, а становятся стилистическими особенностями одной из разновидностей единого и общеобязательного литературного языка. В свой черед включение духовной словесности в репертуар литературного языка может рассматриваться как символическая веха в его развитии: он обретает полифункциональность и делается тем самым полноценным литературным языком.

Приложение I

ПРОСТЫЕ ПРЕТЕРИТЫ В СВЕТСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVIII ВЕКА

Простые претериты были для языкового сознания XVII—XVIII вв. наиболее ярким признаком книжности. Поэтому формирование русского языкового стандарта, противопоставленного церковнославянскому, начинается с устранения именно этих глагольных форм. Новый литературный язык конструируется прежде всего как язык без простых претеритов, и это находит отражение как в языковой практике, так и в опытах его кодификации. Это, однако, не означает, что простые претериты утрачивают для нового литературного языка всякую значимость. Во-первых, они оказываются тем эталонным элементом, который постоянно учитывается грамматической мыслью XVIII в. при разных опытах противопоставления старого и нового литературного языка. Во-вторых, в языковой практике духовной литературы XVIII в. простые претериты удерживаются до тех пор, пока и она не переходит на новый литературный язык; обращение с простыми претеритами при этом переходе характеризуется определенной спецификой. В-третьих, во второй половине XVIII в. простые претериты могут (хотя и в очень ограниченном объеме) возвращаться в новый литературный язык, получая особую стилистическую функцию.

Восприятие простых претеритов как специфической характеристики традиционного книжного языка, неуместной для «простого русского языка», создания которого требовал Петр Великий, самым прямым образом отразилось в текстах новой секулярной культуры, производившихся под присмотром царя. В правленных текстах Петровской эпохи именно формы простых претеритов оказываются предметом постоянных замен; заменяются они преимущественно нейтральными *л*-формами. Переход к «простому» языку вообще связан прежде всего с устранением простых претеритов как наиболее ясно осознававшихся признаков книжности.

Сотни примеров соответствующих исправлений можно обнаружить в «Географии генеральной» Бернарда Варения, переведенной Федором Поликарповым и отредактированной Софронием Лихудом для издания 1718 г. (об истории этого перевода см.: Живов 1986а; Живов 1996, 88—102). Замены аориста и имперфекта на *л*-формы довольно последовательно проведены по всему тексту книги (рукопись: РГАДА, ф. 381, № 1088). Приведу примеры устранения форм аориста (здесь и далее в ломаных скобках даются зачеркнутые буквы, курсивом выделено то, что писал исправитель): описа(хѡм)ли л. 67, прои(зъде)зошло л. 68, послал л. 68, про(идоша)шли л. 68, приказал л. 68 об., воспрі(яша)яли л. 68 об., зна(ша)ли

л. 68 об., писа(ша)ли л. 69, остави(ша)ли л. 69, обы(коша)кли л. 78 об., бысть → была л. 81, предложил л. 81, прелсти → обманѣл л. 84, бысть → был л. 84, 203, 808 об., хотѣ(ша)ли л. 94 об., написал л. 98 об., сотвори → учинил л. 104, полѣчи(ша)ли л. 201 об., развѣмѣ(ша)ли л. 202, бысть → сталося л. 202, погиб(оша)ли л. 301 об., взяло л. 331, бысть → было л. 335, 438 об., называ(ша)ли л. 344, возвѣсти(ша)ли л. 353, и т. д.

Не менее последовательно устраняются и формы имперфекта: мняшеся → мнилось л. 65, упражня(хѣся)лися л. 68, имѣ(яхѣ)ли л. 68, 68 об., бяхѣ → были л. 68, 79 об., воинствоваше → воевал л. 68 об., имѣ(яше)л л. 68 об., 98 об., бяше → была л. 68 об., 77 об., 186, 444, вѣд(яхѣ)али л. 68 об. [bis], незна(ахѣ)ли л. 69, познава(хѣ)ли л. 69, бяше → было л. 69, 202, 883, позна(хѣ)ли л. 69, бяше → быть л. 79, 80, 98 об., мн(яше)ѣл л. 79 об., 80, ѣтвержда(хѣ)ли л. 79 об., покѣша(ше)лся л. 80, глѣше → сказывал л. 80, ѣтвержда(хѣ)лися л. 93, ѣтвержда(ше)л л. 96, немо(жаше)гло л. 96, содержа(ше)лся л. 98 об., покѣша(шеся)лся онѣ л. 99, ѣпотребля(ше)л л. 100, показова(ше)ло л. 147 об., бяше → сталося л. 288, 301, смотре(яхѣ)ѣли л. 308 об., измета(ше)ла л. 342, ѣбдержа(ше)л л. 361 об., и т. д.

Характерно, что, исправляя формы I лица, Софроний добавляет личные местоимения, например: ѣвѣщава(хомѣ)ли мы л. 327 об., мы присовокѣпи(хѣомѣ)ли л. 65, положи(хомѣ)ли мы л. 76 об., пріяхомѣ → взяли мы л. 85 об., 105, мы показа(хомѣ)ли л. 94, 217 об., предложи(хомѣ)ли мы л. 100 об., глѣхомѣ → мы сказали л. 101, 201, пріяхомѣ → мы взяли л. 111 об., приве(дохомѣ)ли мы л. 120 об., сказа(хомѣ)ли мы л. 120 об., раздѣли(хомѣ)ли мы л. 201, изтолкова(хомѣ)ли мы л. 214, мы постави(хомѣ)ли л. 214 об., глѣхомѣ → мы бесѣдовали л. 227, остави(х)л я л. 292, избра(х)л я л. 292, ѣвѣщава(хомѣ)ли мы л. 327 об., рѣхѣ → сказал я л. 339 об., я не возмо(гохѣ)г л. 357 об., плы(хѣ)л я л. 364, рѣхѣ → я сказал л. 634, 874, я взя(х)л л. 645 и т. д. Таким образом, переходя от «высоких слов славенских» к «простому» языку, Софроний тем не менее ориентируется на церковнославянский, сохраняя грамматическую информацию, содержащуюся в церковнославянском тексте и — в обычном случае — не выражаемую в тексте не книжном.

Несмотря на относительную последовательность правки, отдельные формы аориста все же сохраняются в отредактированном тексте. Это обусловлено прежде всего тем, что Лихуд, производя замену по одному признаку, может игнорировать (в рамках предложения) другие, поскольку норма «простого» языка для него не ясна и самый этот язык образуется отталкиванием от традиционного книжного наречия. При таком негативном характере правки окказиональное сохранение форм аориста (и имперфекта) наиболее вероятно в тех пассажах, которые в наибольшей степени ассоциируются с традиционной письменностью. На первых 100 страницах печатного текста сохраняется одна форма имперфекта и 37 аориста, причем «die Aoriste in 31 Fällen in Berichten über lang Vergangenes, meist über das klassische Altertum auftreten; <...> darunter sind vier Aoriste in Verweisen auf die Bibel» (Хютль-Фольтер 1987а, 59)¹.

¹ Такое ограниченное и мотивированное употребление аориста могло встречаться и в текстах XVII в., и Софроний Лихуд, оставляя отдельные формы аориста неустраненными, мог сознательно или бессознательно ориентироваться на подобные прецеденты. Аналогичные особенности в употреблении аориста обнаруживаем, например, в «Географии»

Особый случай представляют формы аориста с основой *бы-*. Они не только могут окказионально сохраняться в исправленном тексте, но и появляться вновь в составе правки Софрония. Он может употреблять эти формы, исправляя текст по другим признакам, например: взято (есть) *бысть* 202 об., побъжденны (сѣть) *быша* 301 об., принесе(ся)н *бысть* 533 об. Хотя с такой правкой мы сталкиваемся всего в трех случаях, они значимы. Определенную аналогию можно обнаружить в распределении форм аориста в «Космографии» Ортеля в переводе XVII в. Здесь формы аориста употребляются лишь окказионально и сосредоточены в начальных частях описания (Bayerische Staatsbibliothek München, *Cod. Slav.* 13, лл. 5—15); в других частях описания встречается только форма *бысть*, причем именно в качестве вспомогательного глагола (*нареченна бысть* 56Ab, 94) (Коста 1982, 88). И здесь, таким образом, формы аориста с основой *бы-* обладают особым статусом.

Данная особенность употребления должна быть, видимо, связана с особой семантикой этих форм, которые в книжной традиции могут получать специальное инхоативное значение, не имевшее других стандартных способов выражения (см.: Живов и Успенский 1986; Успенский, III, 375—384). Об актуальности такого восприятия аористов с основой *бы-* в XVIII в. свидетельствуют материалы библейской справки 1740-х годов, ср., например: «И (состаася) *бысть* село Ефрѡново... Аврааму в' стажаніе» (РГАДА, ф. 381, № 1053, л. 36—36 об. — Быт. XXIII, 17—18); *бысть* употреблено здесь в специальном значении 'сделаться, стать'. Это же значение побуждает, видимо, употребить данную форму и Ломоносова, в сочинениях которого аорист, вообще говоря, не встречается, см. в Оде на день восшествия на престол 1746 г.:

Со властью рек: да будет свет.
И бысть! О твари Обладатель!...

(Ломоносов, I, 123/VIII², 140; ср.: Мартель 1933, 75—76)². Аналогичный пример можно обнаружить и в переводе «Освобожденного Иерусалима» М. Попова: «По

Помпония Мелы (русский перевод и список XVII в. — ГИМ, Чуд. 347). Формы простых претеритов встречаются в основном в тех фрагментах, где говорится об античной или библейской истории (тогда как в других случаях при упоминании событий прошлого употребляется обычная *л-*форма). Приведу в качестве иллюстрации несколько фрагментов из основной части «Географии», в которых концентрируется употребление простых претеритов. «Гра^д троия великъ и славен и властию и паки потребениемъ своимъ славнейшии всѣ^м люде^м, тѣ бѣ гра^д (...) но бое^в ра^ти велики^х же тѣ быша (...)» (л. 14); «Земля еллинская в ней^ж гра^д мѣдрія аѳины и е^лладское ц^рство и македонское в не^м же *бысть* Александръ македонскій» (л. 74); «Земля египетская ѿ чермнаго моря и по среднемѣ морю стои^т издавна ц^ртво славное и го^рдое иже и вараоны *нарицахѣ* иже *поработиша* сны израилевы бж^иимъ сѣдомъ в чермно^м мори *потопиша*» (л. 76 об.). «География» Помпония Мелы, однако же, это не текст на «простом» языке, можно указать, например, что аорист последовательно употребляется здесь в завершающем книгу наставительном «Словѣ свершителном книги космографіи» (л. 80 и сл.).

² Реплику этих стихов с той же формой аориста находим у Владыкина (Владыкин 1774, л. 4; ср.: Купер 1972, 146) в Оде 1774 г. на мир с Портою:

Бог рек: да будет тишина,
И бысть! О Вышний Обладатель!...

сих словах Гавриил бысть невидим и вознесся паки на небеса» (Тасс 1772, I, 44 — имеется в виду ‘сделался невидимым’).

Устранение форм аориста и имперфекта из текста, переделываемого с гибридного церковнославянского на «простой» язык, находим и в «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича. Текст дошел до нас в писарской копии (РГАДА, ф. 9, оп. 1, № 1); события до 1696 г. были в нем первоначально изложены на гибридном языке, и именно эта часть, занимающая лишь первые 17 листов, содержит собственноручную правку Прокоповича, устраняющего маркированно книжные элементы и тем самым превращающего повествование в текст на «простом» языке (подробнее об этой правке см.: Живов 1988а). Правка Прокоповича легко обозрима и поэтому целесообразно привести ее полностью. В исходном тексте формы аориста и имперфекта употреблялись окказионально. Замену аориста другими глагольными формами находим в 18 случаях, причем в 17 случаях для замены служат л-формы, в одном — форма презенса. В пяти случаях формы аориста сохраняются, что, видимо, объясняется недосмотром³. Приведу содержащие правку фразы:

(1) Петръ первый, (о немже сію исторію пишемъ) (бѣ) внукъ *есть* цр̑а Михаила Θεодоровича... (л. 3).

(2) ...Но в само^м то^м возведеніи его великіи в цр̑ствующе^м градѣ возмутилься мяте^ж (л. 3).

(3) ...скоро той раздоръ прии(де)шель в смиреніе (л. 3 об.).

(4) ... великіи вскорѣ воздви(же)глься трусь (л. 3 об.).

³ Формы аориста остались неустраненными в следующих пяти случаях:

(1) Убіство и мяте^ж кровавый продолжися тогда до ноци (л. 5).

(2) Цр̑ же Петръ получи^в нѣчто народной тишины и безпечалія начать природны^м себѣ и дѣлу войнскому прилѣжаніе^м упражнятися (л. 9 об.).

(3) Соөія... повелѣ дерзостно имя свое мѣшати в титулу монаршую (л. 10).

(4) Цр̑ Петръ... пріиде в москву (л. 12).

(5) Между тѣмъ преставися Иоа^ннъ цр̑, лѣта господня 1696 Іаннуарія 27 дня (л. 14).

Особого комментария заслуживает второй пример. Я интерпретирую *начать* как форму аориста, поскольку в ином случае предложение оказывается без личной глагольной формы (аорист с аугментом *-тъ* встречается и в достаточно поздних русских церковнославянских памятниках). Возможна, видимо, и иная интерпретация, при которой *начать* рассматривается как неправильно употребленная форма страдательного причастия, а предложение в целом оказывается лишенным личных глагольных форм. Предложения с причастиями в функции личных глаголов известны в текстах на гибридном церковнославянском (см.: Тарковский 1975, 58—59; Живов и Успенский 1983, 174; Алексеев 1987, 189), однако текст «Истории» написан относительно грамотно, что делает маловероятным появление в нем подобных грамматических лягусов. Поэтому предпочтительной остается первая интерпретация.

Видимо, все сохранившиеся формы аориста сохранились по недосмотру. Это особенно очевидно для примера (4): фраза находится в абзаце, где формы аориста трижды заменены на л-формы (пример 14—16 в основном тексте). Сомнения могут относиться лишь к последнему примеру (5), так как по форме он представляет собой типичную погодную летописную запись — аорист мог быть оставлен здесь как штамп, обусловленный традиционным контекстом. В остальных случаях не видно никаких функциональных или семантико-стилистических моментов, которые могли бы обусловить сохранение простого претерита.

(5) I внезапно о^т всѣхъ сторонъ устреми(ше)лися в крѣпость (л. 4).

(6) (И^зяви же абіе доброхотство свое к стрелцамъ) *И потщалас' тотъ часъ изявит' доброхотство свое къ стрелцамъ* (л. 6 об.).

(7) Стрелецкіи приказъ опредѣлила по[д] вѣденіе боярину кнѣзь Івану хованскому (л. 6 об.).

(8) Црковному таково^{му} смущенію не иное (судися) *могло* быти удобное врачество (л. 7).

(9) ...и учителя страны противной, (снидошася) *собрались* в палату црскую, именуему Грановитую (л. 7).

(10) Несконча(сяже)лос' дѣло прѣніе^м словесны^м (л. 7 об.).

(11—12) Избралъ о^т сверстныхъ своихъ разные воинскіе чины и рядовыхъ число доволное, конницу и пѣхоту сочинилъ (л. 9 об.—10).

(13) Ис церкви выше^а в село коломенское (о^тиде) *пошелъ* (л. 11 об.).

(14—16) Црѣ же Іоаннъ пріявъ с любовію брата, вручилъ ему за свою немощь, самоличное все правленіе, і вся г^рдтвенныя попеченія воспріяти умолилъ его. Паки убо тихоміріе получивъ црѣ петръ приложи(ся)лгся паки к любезны^м себѣ упражненіямъ (л. 12—12 об.).

(17—18) Оуртеца же... невидящи успѣха в прибывшихъ на помощь войскахъ татарскихъ, ослабѣла вконецъ и покорилася (л. 13 об.).

Еще более последовательному устранению подвергаются формы имперфекта:

(1) (Да егоже) *Чтобъ онъ, которого ожида(ху)ли* трудная многая дѣла, и тяжкія случаи... (л. 3 об.).

(2) Междо сенатомъ, и о^т чина духовнаго сановитыми, сочинилося (бѣше) *было* несогласіе (л. 3 об.)⁴.

(3) Іоаннъ о^т рожества своего (боляше) *болень былъ* очима (л. 3 об.).

(4) И самое же таковое оны^х о^тданіе, мо(жаше)гло бы утолит(и)' ярость... (л. 5 об.).

(5) Осмоконецный бо, а не иной правилный быти безумнѣ умств(оваху)уютъ (л. 7).

(6—7) I оными обуча(ше)лгся чинной стрелбѣ (..) и инымъ обыка(ше)лг Искусствамъ ратнымъ (л. 10).

(8) Обычай (бѣше) *быль* црѣ^м (..) в хода^х црковны^х прису^дствовати (л. 11)⁵.

Итак, в рассматриваемом материале находим 8 случаев устранения форм имперфекта. Больше в тексте форм имперфекта не встречается, т. е. замене под-

⁴ В данном случае, конечно, речь идет о замене формы имперфекта во вспомогательном глаголе, и сама замена может быть истолкована как устранение плюсквамперфекта, представляющая на его место так называемый русский плюсквамперфект, т. е. оборот с *было*, имеющий значение неполного действия. Трудно сказать, была ли данная замена семантически мотивирована. Скорее все же Прокопович руководствовался чисто формальными соображениями, устраняя именно формы имперфекта.

⁵ В тексте встречается еще и следующее исправление: Много его тирански терза(ше)а вывели на площадь (л. 5 об.). В исходном тексте форма имперфекта смешивается с причастием, т. е. *терзаше* стоит на месте *терзавше* (см. о случаях подобного смешения в гибридном церковнославянском: Живов и Успенский 1983, 173—174). Мотивом исправления может быть не устранение простых претеритов, а исправление грамматической погрешности.

верглись все имевшиеся формы, и это однозначно выражает установку Прокоповича на устранение признаков книжности.

Аналогичные исправления содержатся и в «Библиотеке» Аполлодора, переведенной А. К. Барсовым и отредактированной типографскими справщиками Кречетовским и Максимовичем (Аполлодор 1725; наборная рукопись: РГАДА, ф. 381, № 1015). Книга была изначально переведена на «простой» язык, поэтому формы аориста встречаются лишь в качестве окказиональных огрехов. Эти огрехи показывают, насколько естественным и автоматическим было для книжника употребление подобных форм, насколько оно входило в его письменные навыки. В данной перспективе становится понятным, почему ни Лихуд, ни Прокопович не справились с полным устранением простых претеритов, — если от них не мог удержаться книжник, создававший новый текст, то тем более они могли остаться незамеченными для исправляющего готовый текст редактора. Для этого нужна была отдельная справка, и именно в результате такой справки текст Барсова оказался очищенным (хотя и не полностью) от простых претеритов; формы аориста были устранены в четырех случаях:

(1) И Кронъ ѿрѣзавъ 8 оца (8раноса) дѣтородный ѿдѣ ввер(же)гль въ море (л. 9 об.—10).

(2) Нирейды дщери бы(ша)ли (л. 12 об.).

(3—4) Инъ же Акѿсїлай бы(сть)ль <...> иже родословїа нѣкаа написал (л. 232).

Окказиональные употребления простых претеритов в «Библиотеке», однако, сохраняются, свидетельствуя об уже упоминавшейся устойчивости навыков книжного изложения, ср., например: «...тожде творити и Марсію повелѣвалъ, который понеже не можаше [такое подвизатися] и обрѣтесе Аполлонъ лучшїи...» (Аполлодор 1725, 15), «нощїю брань сотвориша незнающїи на незнающихъ» (с. 65). Особенно много сохраняется употреблений аориста *бысть* в качестве вспомогательного глагола (об особом статусе этой формы см. выше), ср.: *погребень бысть* (с. 10), *бысть чревата* (с. 13), *убїенъ бысть* (с. 17), *глаголано бысть* (с. 28), *назван бысть* (с. 86) и т. д. Сохраняется и аорист *умре* (с. 41, 44), который вообще не является специфически книжной формой и в качестве застывшего образования употребляется в текстах разных типов (видимо, также и в разговорном языке).

Не менее показательны данные двух редакций «Истории Российской» В. Н. Татищева. Обе редакции, конечно, появляются существенно позже, чем правленные тексты Петровской эпохи, и в тексте первой редакции простые претериты употребляются не в силу того, что они соответствовали автоматическим письменным навыкам Татищева, а в силу того, что он компилировал летописные источники и в воспроизведении их лингвистической формы видел свидетельство их достоверности (см.: Татищев 1962, 38—39). Однако затем, сочтя, что древнее наречие «не всякому вразумительно», и вернувшись к установкам петровской языковой политики, требовавшей простоты языка, он решил эту часть своей истории «в начточнее наречие предложить» (там же, 91). Таким образом, в правке Татищева реализуется тот же механизм перехода от гибридного языка к «простому», который мы наблюдали в разбиравшихся выше примерах. Это и оправдывает рассмотренные правки Татищева в одном ряду с редактурой петровского времени.

Формам аориста и имперфекта первой редакции во второй достаточно регулярно соответствуют *л*-формы. Судьба аористов может быть проиллюстрирована

следующими примерами: «(Андрей) восхоте → *восхотел* идти в Рим», «И потреби → *потребил* их бог», «Изяслав же... созва → *созвал* всех на поле и рече → *говорил* им», «Владимир же, слышав се, поиде → *пошел* в Киев. И егда приближися → *приблизился* в неделю (...) усретоша → *встретили* его первее народ весь, потом бояре» и т. д. Тому же устранению подвергаются и формы имперфекта: «Древляне живяху → *жили* зверским образом (...) убиваху → *убивали* друг друга (...) умыкаху → *крали* себе невест от отцов и сродни», «И аще кто умираше → *умер*, творяху → *отправляли* над ним поминовение (...) и сожигаху → *сожигали* (...) влагаху → *клали* в сосуды и поставляху → *поставляли* на путех» (Запольская 1999, 135—136).

Таким образом, при переходе от традиционного книжного языка к «простому» формы простых претеритов подвергаются достаточно последовательному устранению. Эти формы, как правило, отсутствуют и в тех текстах, которые — в рамках петровской языковой политики — изначально создаются на «простом» языке, типа «Геометрии славенски землемерия», «Юности честного зерцала» или «Истории Свейской войны». Если они и появлялись здесь, то лишь в виде реликтов, невольной дани старым книжным навыкам. В этом плане показателен единственный случай употребления аориста в книге «О способах творящих водохождение рек свободное». Он употреблен во вводной фразе «Какъ выше сего речеся» (Буйе 1713, 27), в обороте, который специфически связан с приемами книжного изложения.

Несколько примеров простых претеритов можно обнаружить и в «Юности честном зерцале». Во всех случаях, однако, простые претериты употребляются здесь в парафразах Св. Писания или в пересказах из духовной литературы, т. е. представляют собой несомненный элемент чужого слова. Эти примеры таковы: «...яко Ревека, егда узрѣ еще изъ далеча Іакова грядуща, яко кнѣги первыя Моусея глава 24 пішетъ, что оная закры тогда лице свое» (Юности честное зерцало 1717, 63); «...яко храбрая Юдіѣвъ въ моленіи своемъ рече: нікогда благоудны явішася тебѣ гордіи...» (с. 77); «...яко прізрѣ Богъ на сміреніе ея» (с. 78); «Читаемъ (...) во многѣхъ мѣстахъ старого завѣта, что тогда во знакъ сміренія своего облекались въ вретіще, и посыпаху пепломъ главы своя, постѣшася и моліліся...» (с. 79); два раза употребляется аорист в рассказе о пустынноике: «и се ему гласъ бысть» (с. 82), «явіся ему Ангель» (с. 83).

Как уже говорилось, создававшийся в Петровскую эпоху новый литературный язык никакой общеобязательностью не обладал, и никаких институций, обеспечивающих его внедрение в общество и контроль над соблюдением его норм (поскольку такие нормы существовали), не имелось. Такой институцией не был и Печатный двор, поскольку работавшие там справщики не были обязаны приводить все издания гражданской печати в соответствие с существовавшим лишь в замысле языковым стандартом. Некоторые книги, правда, издавались под присмотром самого царя, но в грамматические детали Петр, надо думать, не входил, а руководствовался общим впечатлением и ограничивался общими указаниями — насколько можно судить по истории перевода «Географии генеральной»: именно этот перевод царь распоряжается исправить «не высокими словами славенскими, но простым русским языком» (Черты из истории... 1868, стб. 1054—1055; см. выше). Поэтому в отдельных изданиях гражданской печати простые пре-

териты все же встречаются не в виде исключений, а в качестве ничем не пресеченной реализации письменных навыков автора. Так обстоит дело, например, с «Книгой мирозрения» Х. Гюйгенса в переводе И.-В. Пауса (как показывают формы инфинитива, он весьма консервативен в своих письменных навыках, ср. § П.2), впервые напечатанной в Петербурге в 1717 г. и затем переизданной в Москве в 1724 г., ср. здесь в предисловии: *овладѣша, служаху, малѣвахуся, нѣсть, прѣмѣтѣша, познаша* (Гюйгенс 1724, 1).

Этот неустойчивый узус характерен и для начального этапа деятельности академических филологов. Как уже говорилось (см. § П.3), в первом академическом издании — имею в виду «Краткое описание комментариев Академии наук» (Краткое описание 1728) — отдельные переводчики пишут по-разному и узус в целом отличается большой пестротой. В начальной части простые претериты появляются лишь в виде исключения, причем, как и в рассматривавшейся выше книге Буйе, лишь в словах, отсылающих к самому тексту, т. е. в тех выражениях, которые принадлежат к навыкам книжного изложения, см.: *предварихомъ* (с. 2), *упомянухомъ* (с. 46). Однако в статье Байера «О стене кавказской», переведенной Иваном Ильинским, простые претериты встечаются относительно часто и без всякой мотивации (хотя, конечно, основной формой прошедшего времени остается л-форма), см.: *превезеся* (с. 172), *увѣдомихомся* (с. 172), *извѣстихомся* (с. 181), *прозвася* (с. 188), *разсѣяшася* (с. 192), *доидоша* (с. 192), *смутѣшася* (с. 196), *рече* (с. 197), *быша* (с. 199), *изъявихъ* (с. 199), *разсудихъ* (с. 207), *случишася* (с. 207), *положихомъ* (с. 207).

С началом академической нормализации ситуация меняется и отсутствие простых претеритов становится показателем нормативности языка. Даже реликтовое употребление простых претеритов начинает, видимо, в этот период восприниматься как свойство ненормализованных в грамматическом отношении текстов, как своего рода погрешность, свидетельствующая о недостатке книжной культуры (напомню, что в этот период продолжают широко распространяться рыцарские романы типа «Бовы», «Петра Златых ключей» или оригинальные повести типа «Гистории о Василии Кариотском», в которых простые претериты окказионально встречаются и которые, можно думать, уже в это время рассматриваются как элемент низовой культуры). Показательно, что простые претериты, даже в виде реликта, не употребляются в «Примечаниях к ведомостям» с самого начала их издания в 1728 г.; можно сказать, что их реликтовое употребление становится первой жертвой нормализации. По всей вероятности, именно с этим новым пониманием связан тот факт, что ряд авторов радикально изменяет в это время свою языковую практику.

Выше уже говорилось о той лингвистической переработке, которой подвергает В. Н. Татищев свою «Историю российскую», — устранение простых претеритов оказывается здесь одним из наиболее важных моментов. Простые претериты встречались и в первых литературных опытах Тредиаковского, тогда как со времени «Езды в остров любви» они полностью исчезают (их нет, в частности, в «Тилемахиде» при всей ее «славянизированности», см.: Алексеев 1981, 77). О языке первых поэтических опытов Тредиаковского можно судить по «Элегии о смерти Петра Великого», ср. здесь:

Ах, увяде! ах, уже и сеи помрачися!
Праведно Россия днесь тако огорчися.
(Тредиаковский 1730, 155/1963, 57).

Таковы же, видимо, и лингвистические характеристики первого перевода «Аргениды» Барклая, сделанного Тредиаковским еще до отъезда в Голландию, язык этого перевода С. И. Николаев называет «упрощенным церковнославянским» (ср.: Николаев 1987, 95). Подобная же эволюция характерна и для Кантемира, который начинал свою литературную деятельность, еще будучи учеником упоминавшегося выше Ивана Ильинского. Достаточно сопоставить в этом плане первую песнь «Петриды», Посвящение и предисловие «Симфонии на Псалтырь» с переводом «Разговоров о множестве миров» (ср.: Сорокин 1982, 64) или с переводом посланий Горация: в текстах первой группы простые претериты обычны, в текстах второй полностью исключены.

У литераторов следующего поколения (Ломоносова, Сумарокова) такие перемены в языковой практике отсутствуют, и это показывает, что к началу их литературной деятельности (конец 1730-х годов) нормы нового литературного языка были настолько устоявшимися (в отношении простых претеритов), что не оставляли места для индивидуального выбора. Наиболее отчетливым образом о закреплении данной нормы в языковой практике свидетельствует переложение Псалтыри Тредиаковского (Тредиаковский 1989); этот текст в соединении с церковнославянским оригиналом выступает как билингва, русская часть которой фиксирует нормы нового литературного языка в соотношении с церковнославянским (ср.: Живов 2002, 539—541): отсутствие здесь простых претеритов означает осмысление их как маркированной характеристики церковнославянского, отвергаемой русским литературным языком.

В ходе дальнейшей эволюции представлений о русской языковой ситуации изменяется само понимание церковнославянского языка. Церковнославянский осознается исключительно как язык «церковных книг», и понимание его норм определяется грамматикой данных текстов с их полностью регулярным употреблением признаков книжности (Живов 1996, 290). Соответственно, гибридные тексты с окказиональным и непоследовательным употреблением признаков книжности не осмысляются более как церковнославянские, а само такое окказиональное и непоследовательное употребление перестает указывать на церковнославянский характер текста. В силу этого отдельные формы простых претеритов не рассматриваются более как индикаторы языка и поэтому могут инкорпорироваться в русский текст как особые стилистические средства, специфичные для жанра высокой духовной поэзии. Если филологический ригоризм не допускал до этого Тредиаковского и Ломоносова, для которых вопрос нормализации нового литературного языка был центральным, то в языковой практике Сумарокова и его последователей, заинтересованных преимущественно в разнообразии стилистических возможностей, такое употребление простых претеритов получает свое законное место.

Именно такое происхождение имеют, можно думать, отдельные формы простых претеритов, встречающиеся в переложениях псалмов и других библейских текстов, которые вошли в три выпуска «Стихотворений духовных» Сумарокова. Так, в переложении XXIX псалма находим: «Отвратил лице свое и ужасохся»;

«К тебе Господи *воззвах* и *помолихся*» (Сумароков, 1773—1774, III, 17); в переложении LXII псалма: «*Прильпе* душа моя к тебе» (с. 27); в переложении LXXVII псалма: «И *взыде* гнев на Израиля» (с. 31). Наряду с простыми претеритами в переложениях появляются формы перфекта со связкой во 2 лице ед. ч., ср.: *сѣль еси* (IX — с. 12), *извлекъ мя еси*, *исцѣлиль еси*, *превратиль еси* (XXIX — с. 17—18), *далъ еси*, *избралъ еси*, *усыновиль еси*, *смѣшалъ еси* (LXXIX — с. 35—36). Существенно, что все эти формы (простых претеритов и перфекта со связкой) встречаются только в псалмах, переложенных свободным стихом (Плетнева 1987). Как отмечает М. Л. Гаспаров, свободный стих «в сочетании с высоким языковым регистром [осмыслялись] как знак вдохновенного порыва, когда писатель сам теряет власть над льющимся из его уст потоком божественной речи» (Гаспаров 1984, 60). Этот вдохновенный порыв на лингвистическом уровне выражался в языковых аномалиях, т. е. в таких стилистических средствах, которые были недопустимы вне подобной установки.

Таковы же переложения и последователя Сумарокова В. И. Майкова, хотя здесь свободный стих не употребляется и, соответственно, языковые (стилистические) аномалии обусловлены лишь стремлением создать высокую поэтику, адекватную поэтике перелагаемого текста. Так, в переложении LXXXI псалма находим аорист *ста* (Майков 1867, 8), в подражании псалму «внегда единоборствовал Давид на Голиафа» аорист *бѣхъ* (с. 11), в переложении XV главы Исхода аористы *бысть*, *пояде*, *рече* (с. 16—17), в переложении XXXII главы Второзакония аорист *бысть* (с. 18—20) (см.: Кляйн и Живов 1987, 285).

Можно предположить, что различия в языке псалтырных переложений у Сумарокова и Майкова, с одной стороны, и у Третьяковского и Ломоносова — с другой, обусловлены несходством их лингвистических установок. Во-первых, Третьяковский в своем переложении ставил задачу нормализации нового литературного языка, тогда как Сумароков и Майков этой цели не преследовали. Во-вторых, для Третьяковского (в 1750-е годы) церковнославянский и русский выступают как единые «по природе» и употребление простых претеритов оказывается важнейшим признаком, дифференцирующим их нормы; для Сумароковской же школы (в том числе, вероятно, и для Майкова) представление о единстве природ неактуально, поэтому простые претериты могут использоваться как экзотизмы, указывающие на инородность переводимого оригинала. В дальнейшем литературном развитии такого рода экзотизмы ощущаются как чрезмерная стилистическая вольность, и в согласии с этим ощущением простые претериты перестают употребляться в русском литературном языке даже в данном специфическом качестве.

Приложение II

ПРОСТЫЕ ПРЕТЕРИТЫ В ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

Особым образом складывается судьба простых претеритов в языке духовной литературы, хотя и здесь и конечные результаты, и основные поворотные моменты совпадают — хотя и с определенным запаздыванием — с тем развитием, которое было описано выше применительно к языку литературы светской. Это повторение схемы развития безусловно не является случайным, а отражает то определяющее влияние языка светской литературы на язык духовной литературы, которое в общих чертах было рассмотрено выше.

Хотя в XVII в. движение к «простоте» языка имело место именно в сфере литературы духовной, оно за некоторыми исключениями не приводит к созданию текстов с существенно упрощенной грамматической структурой. Особняком стоят некоторые памятники старообрядческой литературы (например, Житие протопопа Аввакума) и Псалтырь Авраамия Фирсова, однако на литературно-языковое развитие XVIII в. эти тексты никакого влияния не оказывают. Таким образом, фоном для изменений в духовной литературе XVIII в. служит стандартная разновидность церковнославянского языка, в которой простые претериты употребляются регулярно, последовательно и грамматически правильно. Эта разновидность представлена и в апологетических, и в полемических трактатах конца XVII в., равно как и в дошедших до нас от этого времени проповедях.

В качестве краткой иллюстрации употребления простых претеритов в текстах этого рода можно рассмотреть два слова из «Обеда душевного» Симеона Полоцкого, книги, которой сам автор приписывал «простоту слова» (ср.: Успенский 1983, 110). В первом слове во вторую неделю по Пасхе о Фоме (Симеон Полоцкий 1681, л. 12об. —17об.) находим регулярное, последовательное и семантически дифференцированное употребление простых претеритов. Здесь находим 40 случаев употребления аориста, 5 случаев употребления имперфекта, 4 случая употребления иных прошедших времен. Аорист выступает, таким образом, как немаркированная форма прошедшего времени. В основном он образуется от глаголов сов. вида (34 случая из 40); из 6 случаев аориста от глаголов несов. вида 4 приходятся на формы глагола *быти*, одно употребление содержится в цитате (*ползова*), и еще одно является нейтральной констатацией состояния (*именоваса*). Имперфект употребляется для обозначения фонового действия или состояния исключительно от глаголов несов. вида: *с'саише (медъ), хотѣсте, башѣ, не баше, баше*. Как можно видеть, употребление простых претеритов имеет дифференци-

рованный характер, хотя встречаются случаи немотивированного выбора: кроме уже упоминавшейся формы *именовася*, можно указать на употребление в одном предложении, при перечислении однородных состояний форм *бѣ* и *блхѣ* (л. 16 об.). В трех случаях наблюдаем перфект со связкой (*извель есть*, *блadosловиль есть*, *благоволилъ есть*), употребленный без ясного семантического задания. И лишь в одном случае в зависимом предложении находим *л*-форму без связки (*из'черплъ* — л. 13); естественно трактовать ее как случайное отклонение от обычной для Симеона системы; во всяком случае такое употребление не выходит за рамки церковнославянской нормы — как она представлена в основных канонических текстах (см.: Булич 1893, 385—387).

Ту же картину наблюдаем и во втором слове в неделю пятую по Пасхе о самаряныне (там же, л. 53 об.—58 об.). Здесь встречается 59 аористов, из них лишь 8 образованы от глаголов сов. вида; три формы из этих восьми относятся к парадигме глагола *быти*, остальные также образованы от симплексов, в четырех случаях употребленная форма могла быть подсказана образцовыми текстами (две формы *видѣ* и две формы *имѣ* — автоматизм их употребления может быть обусловлен их частым появлением в выучивавшихся наизусть частях Св. Писания), в одном случае мы, видимо, имеем дело со случайным отклонением (форма *трѣдиса* в окружении пяти форм *оутрѣдиса*, употребленных в том же значении, л. 53 об.). В слове встречается 16 форм имперфекта; все они образованы от глаголов несов. вида. Один раз встречается перфект со связкой — *имѣ¹ еси*, обусловленный, надо думать, 2 лицом. В двух случаях находим *л*-форму без связки в 3 лице: *облекса*, л. 55 и *защитиль*, л. 57 об.; они также могут трактоваться как окказиональное отклонение, особенно показателен здесь второй случай: форма *защитиль* употреблена в ряду однородных сказуемых, выраженных аористами (*напои, сотвори, бысть, поать*). Подобная картина характерна для гомилетической литературы второй половины XVII в. в целом¹.

Характер употребления простых претеритов не зависит от принадлежности автора к тому или иному религиозно-культурному направлению. Те черты, которые обнаруживаются в сочинениях латинофила Полоцкого, могут быть найдены и у его противников грекофилов. Можно обратиться, например, к Слову благодарственному 1683 г. патриарха Иоакима (Иоаким 1683). Хотя этот текст в меньшей мере отражает грамматическую нормализацию, чем книги Симеона Полоцкого, однако его основные языковые характеристики укладываются в параметры стандартного церковнославянского языка с окказиональными отступлениями. Здесь встречается 106 форм аориста, из которых 93 образовано от глаголов сов. вида, а 13 — от глаголов несов. вида (11 из них — формы глагола *быти*). Имперфект представлен 33 формами, из которых 31 образована от глаголов не-

¹ Такое же употребление простых претеритов наблюдаем и в проповедях Симеона Полоцкого из другого его сборника, «Вечера душевная» (Симеон Полоцкий 1683). Приведу данные для Слова первого в день Воздвижения честного и животворящего Креста Господня (лл. 34—38 об.). Здесь встречается 49 форм аориста, из которых лишь 3 образованы от глаголов несов. вида: аорист *имѣ* и две формы от глагола *быти*. Имеется также 8 имперфектов, все они образованы от глаголов несов. вида. В одном случае встречается перфект со связкой (*вбезглавильъ есть*, л. 36 об.); он появляется в парафразе библейского текста (1 Цар. XXI:9), причем там перфект стоит в форме лица ед. числа.

сов. вида, а 2 — от глаголов сов. вида; употребление имперфекта от глаголов сов. вида семантически мотивировано, речь идет о многократно совершаемом действии (ср: «...тѣи сатанины дрѹзи... слоухленїа... словесы в народѣ глаухѣ, и писанаа ими та, прочитахѣ» (с. 41—42); говорится о распространении старообразцами своих сочинений как о повторяемом акте; употребление имперфекта могло стимулироваться и стоящей в имперфекте однородной формой *глаголахѣ*). В пяти случаях употреблен перфект со связкой (в одном случае это форма 2 лица ед. числа, в 4 — 3 лица ед. числа); употребление этих форм семантически не мотивировано. В 24 случаях (менее 15 % форм прошедшего времени) встречается *л*-форма без связки (в 12 случаях от глаголов сов. вида, а в 12 от глаголов несов. вида). Ряд *л*-форм появляется в прямой речи (которая вообще, в силу сложившейся традиции, стимулирует употребление форм перфекта, появление этих форм у Иоакима может быть дополнительно мотивировано моделированием разговорной речи), ср.: «...кричахѣ въ наро^а на прелесть: Такѣ вѣрѹйте, какѣ мы: а мы встѣхѣ архїереевѣ прерѣли и посрамили, и вѣрѹ правѹю сыскали» (с. 53). В других случаях, впрочем, какая-либо мотивация отсутствует, ср. два схожих предложения: «еретїкѣ арїи, иже хѹлаше истиннагѣ нашего бѣга, хрїста цнса, и нарицаше, не бѣга того быти, но тварь...» (с. 23); «еретїкѣ македонїи злочестивый, который хѹлилъ дѹха сѣгаго, и нарицалъ того тварь быти, а не бѣга...» (с. 25 — любопытно, что смена временных форм сопрягается со сменой относительных союзов: *который* вместо *иже*). Оказиональные отступления от нормы, которые наблюдаются в этом тексте, возможно, отражают то обстоятельство, что Иоаким — в отличие от Симеона Полоцкого — обучался церковнославянскому традиционным способом, тогда как Симеон овладевал им после переезда в Москву и, видимо, пользовался при этом грамматикой; сопоставление подобных текстов могло бы быть предметом особого исследования.

Нормативное употребление простых претеритов можно наблюдать и у такого сотрудника патриарха Иоакима, как Софроний Лихуд. Краткой иллюстрацией может служить его Панегирик царю Иоанну Алексеевичу из Слова торжественного на память Усекновения главы св. Иоанна Крестителя (1688 г.). Простые претериты употребляются здесь регулярно, *л*-форма без связки не встречается ни разу (встречается форма перфекта *получили есте*). Аорист отмечен в следующих случаях: (*обычай*) *бѣ*, (*древо*) *насадися* [bis], *дарова*, *позна* [bis]. Имперфект представлен следующими примерами: (*назначени*) *бяху*, *имяновашеся*, *глаголаше* [bis], (*цари*) *бяху* (Богданов 1983, 185—186). Как можно видеть, и здесь наблюдается последовательное употребление простых претеритов с дифференциацией их в зависимости от видовой характеристики глагола.

Начало петровских преобразований не изменило сразу же сложившейся в духовной литературе языковой практики. Характер употребления простых претеритов в проповедях первых апологетов Петра ближайшим образом напоминает картину предшествующего периода. Так, проповеди Стефана Яворского ничем существенно не отличаются в рассматриваемом отношении от проповедей Симеона Полоцкого. Обратимся, например, к его Слову в день святого Апостола Андрея Первозванного (Стефан Яворский, III, 65—88). Немаркированной формой прошедшего времени и здесь является аорист. Он употребляется в 142 случаях и в основном образуется от глаголов сов. вида (123 случая). Из 19 случаев образова-

ния аориста от глаголов несов. вида 4 приходится на формы глагола *быти*, тогда как остальные, образованные от беспривставочных глаголов, отражают, видимо, автоматические навыки, обусловленные образцовыми текстами (некоторые из этих форм и употреблены в цитатах или парафразах из Св. Писания); так можно объяснить формы типа *иде* (4х), *видѣ* (4х), *звахъ* [bis], *идоста*, *идоша* [ter]. Имперфект встречается в 40 случаях, и лишь один раз в специальных условиях он образуется от глагола сов. вида². В 10 случаях употребляется перфект со связкой, 8 из этих случаев приходится на формы 2 лица ед. числа, что соответствует кодифицированной грамматической норме. В 16 случаях (менее 8 % всех претеритных форм) находим л-форму без связки (в 12 случаях от глаголов сов. вида, в 4 случаях от глаголов несов. вида); и здесь эти формы могут трактоваться как отклонение от той нормы, на которую ориентируется автор. Таким образом, в интересующем нас аспекте рассмотренный текст в целом соответствует книжному употреблению, свойственному более раннему периоду³.

В языковой практике духовных деятелей следующего поколения заметно уже существенное отступление от данного употребления. В качестве примера можно привести хотя бы Слово о победе, полученной у Ангута, Гавриила Бужинского (произнесено в 1719 г. — Гребенюк 1979, 220—233). Хотя в этой проповеди про-

² Имперфект от глагола сов. вида встречается в следующем предложении: «**Мовсен... раздѣли море: оуѣсѣмнѣвахѣса вси и оуболахѣса итти междѣ воды**» (Стефан Яворский, III, 68). Очевидно, что имперфект от глагола сов. вида **оуболатиса** употреблен здесь по аналогии с предшествующим однородным сказуемым, стоящим в форме имперфекта; аналогией объясняется использование приставочного образования (вместо, например, формы **болахѣса**). Если, однако, в первом случае форма была образована от имперфектива **оуѣсѣмнѣватиса** (от глагола сов. вида **оуѣсѣмнѣтиса**), то во втором случае подобный имперфектив отсутствует, что и обусловило использование глагола сов. вида. Это употребление могло быть поддержано семантическим моментом. Хотя мы не имеем здесь дело с многократно повторяемым действием, имеется в виду действие множественное (совершаемое многими лицами одновременно); этот тип действия в русских книжных текстах обычно выражается имперфектом (такая трактовка дистрибутивной множественности может быть естественным результатом реинтерпретации итеративной семантики). Как замечает Э. Кленин по поводу одного русского средневекового текста, «the icon heals one suppliant in the aorist, but heals many sick people over many years in the imperfect, and the bishop weeps in the aorist, but all the people of his household weep in the imperfect» (Кленин 1995, 83). В этом специальном значении закономерно (и может опереться на прецеденты) употребление имперфекта как от глаголов несовершенного, так и от глаголов сов. вида.

³ Такого же рода использование форм прошедших времен можно наблюдать и в другом слове Стефана Яворского — Слово о победе над королем Шведским под Полтавою 1709 года (Стефан Яворский, III, 241—249). Основной формой прошедшего времени и здесь остается аорист; он встречается 65 раз, в 14 случаях образован от глаголов несов. вида. Из этих 14 случаев 5 приходится на формы глагола *быти*, остальные на формы глаголов *видѣти* и *идти*, в основном употребленных в цитатах и во всех случаях поддерживаемых образцовыми текстами (один раз в цитате встречается форма **мимондохѣ**, с. 245). В 19 случаях употреблен имперфект — только от глаголов несов. вида. В 11 случаях встречаем перфект со связкой, 5 из них в формах 2 лица ед. числа; остальные 6 случаев никакой особой семантической нагрузки не несут. В 14 случаях (менее 13 %) употреблена л-форма без связки. Как можно видеть, языковая практика Яворского в интересующем нас отношении достаточно однородна.

стые претериты все еще являются основной формой выражения прошедшего времени, однако употребление их становится непоследовательным — *л*-форма встречается в тексте не как окказиональное отступление от нормы, но как конкурирующий способ выражения. В проповеди Бужинского встречается 68 аористов, лишь 9 из них образованы от глаголов несов. вида, причем эти образования либо входят в парадигму глагола *быти*, либо появляются в цитатах. Имперфект отмечен в 38 случаях, он всегда образован от глаголов несов. вида. Перфект со связкой встречается всего в двух случаях, оба раза во 2 лице ед. числа. Вместе с тем в 56 случаях употреблена *л*-форма, что составляет около 35 % всех форм прошедших времен; этот процент существенно возрастает, если исключить из подсчетов простые претериты, появляющиеся в цитатах. Не во всех проповедях Бужинского цифры полностью аналогичны, однако в большинстве случаев можно констатировать разрыв с предшествующей языковой практикой⁴.

Налицо, таким образом, значимое изменение в употреблении прошедших времен, которое несомненно имеет сознательный характер. Идея «простоты языка», радикально реализованная в светской словесности в результате петровской языковой реформы, находит новое приложение и в словесности духовной. Ее действие здесь менее радикально (видимо, в силу значимости принципа традиционности, см. Живов 1996, 56—57), но все же выражено достаточно четко. Новая установка воплощается в языке гибридного типа (о многочисленных прецедентах такой реализации идеи простоты см. Живов 1996, 57—58), в котором употребление простых претеритов характеризуется непоследовательностью и нерегулярностью. В этом плане исследованный текст напоминает те летописные памятники, написанные на гибридном языке, в которых простые претериты употребляются наряду с *л*-формами, а дифференциация в употреблении аориста и имперфекта сводится к видовой оппозиции. В отличие от данных памятников, однако, в исследованном тексте отсутствует аграмматизм, т. е. смешение флексий разного лица и числа, а вытеснение простых претеритов *л*-формами равно касается и аориста, и имперфекта. Такая картина хорошо объясняется тем, что здесь мы имеем дело не с отсутствием ориентации на грамматику, актуализирующим естественные речевые навыки, а с сознательным отступлением от грамматической нормы.

На этом фоне следует рассматривать и эволюцию употребления простых претеритов в гомилетических сочинениях Феофана Прокоповича. Эта эволюция была подробно исследована Л. Л. Кутиной (Кутина 1981, 13—17), и здесь можно воспользоваться ее данными. Рассматривая проповеди Прокоповича киевского

⁴ Несколько более традиционное употребление обнаруживаем у Бужинского, например, в Слове на память Святого Первозванного Апостола Андрея (Гавриил Бужинский 1720). Основной формой является здесь аорист, употребленный в 100 случаях; 85 форм аориста образованы от глаголов сов. вида, 15 — от глаголов несов. вида (во всех случаях от симплексов, 9 из этих случаев — формы глагола *быти*). Имперфект употреблен в 27 случаях и образуется исключительно от глаголов несов. вида. Перфект со связкой встречается в 7 случаях и во всех случаях представляет собой форму 2 лица ед. числа. Употребление *л*-формы достаточно обычно, она встречается в 33 случаях (в 30 случаях образована от глаголов сов. вида, в 3 — от глаголов несов. вида), что составляет около 20 % всех форм прошедшего времени. Отход от тех языковых норм, которым следовал Стефан Яворский, и в этом случае не вызывает сомнений.

периода, Л. Л. Кутина отмечает, что в них «совершенно точно воспроизведена» норма, установленная грамматикой Смотрицкого. «Так, — пишет исследователь, — в “Панегирикосе на Полтавскую победу” (...) находим 254 случая употребления форм аориста и имперфекта (...) Причастие на -л со связкой оформляет лишь 2 л. ед. ч. Совершенно аналогичный характер употребления прошедших времен находим в киевском “Слове приветственном” (...) общая стилистическая тональность которого менее торжественна и высока: 28 аористов и имперфектов, 8 случаев употребления причастия на -л со связкой для формы 2 л. ед. ч. (...) Однако в “Слове приветственном” есть 5 случаев употребления бессвязочного перфекта» (Кутина 1981, 13—14; эти пять случаев употребления л-форм автор объясняет особыми синтаксическими условиями).

Те же языковые характеристики обнаруживаются и в первых проповедях, произнесенных Прокоповичем в Петербурге (Кутина 1981, 15—16). Однако «в дальнейшем, с каждой последующей проповедью, статус грамматических форм прошедшего времени неуклонно меняется. Формы бессвязочного перфекта приобретают все больший удельный вес, их введение перестает обуславливаться синтаксически (...) В 20—30-е годы нормой выражения прошедшего времени у Прокоповича становится бессвязочный перфект, хотя аористы и имперфекты продолжают существовать в качестве очень редких вкраплений даже в текстах аннинского периода (30-е годы)» (Кутина 1981, 16). При этом «в процессе угасания простых времен намечалась была некоторая специализация употреблений в связи с темой. Так, в “Слове... на день св. Екатерины” основная часть простых времен приходится на религиозный сюжет — житие св. Екатерины» (там же).

Эти данные позволяют однозначно определить, в чем состояла эволюция языка гомилетических произведений Феофана: Феофан переходит от стандартного церковнославянского к гибриднему, который, видимо, он может воспринимать как великорусский эквивалент «простой мовы», приспособленный к специфике духовной литературной традиции (см. подробнее: Живов 1985). Усвоив гибридный церковнославянский в качестве языка своих проповедей, Феофан в дальнейшем движется от более рафинированных вариантов этого языка к менее рафинированным, от языка, в котором простые претериты употребляются относительно регулярно и остаются доминирующим способом выражения прошедшего времени, к языку, в котором эти формы употребляются лишь окказионально; окказиональное употребление оказывается при этом композиционно или тематически мотивировано. Таким образом, эволюция совершается в рамках тех разновидностей книжного языка, которые были в употреблении в допетровский период и фиксируются, например, в летописных сочинениях конца XVII в. Поскольку в своих светских произведениях Феофан радикально отказывается от церковнославянского и переходит на «простой» язык, сохранение гибридного языка в проповедях выступает как сознательный выбор — выбор такой системы языковых регистров, при которой утверждается различие между языком светской и духовной литературы. Этот выбор соответствует языковой политике Петра и в то же время представляет собой тот компромисс между традиционностью и понятностью, который диктуется православной культурной традицией и делает гибридный язык наиболее естественной реализацией идеи «простоты» в духовной литературе.

Эволюция языка гомилетических произведений Феофана не была его индивидуальным развитием, но отражала общую динамику языка духовной литературы в Петровскую эпоху. Диапазон включенных в эту динамику языковых разновидностей определял и лингвистические характеристики духовной литературы в послепетровскую эпоху — вплоть до середины 1750-х годов. В этой литературе можно безусловно констатировать продвижение к более простым вариантам гибридного языка, нежели те, которые были в употреблении в начале XVIII в. (например, у Стефана Яворского или Гавриила Бужинского), однако за пределы гибридного языка проповедь в данный период не выходит. Приведу лишь несколько примеров.

Относительно консервативен в своем языке Димитрий Сеченов. В его Слове на Благовещение 1742 г. (Димитрий Сеченов 1742) простые претериты продолжают употребляться как один из основных способов выражения прошедшего времени. В данном тексте встречается 145 форм аориста (18 из них образованы от бесприваочных глаголов несов. вида — это либо формы глагола *быти*, либо формы глаголов *видѣти* и *слышати*, восходящие к постоянно перефразируемой в проповеди цитате из I Кор 2:10 — «*и҃хже око не видѣ, и о҃ucho не слыша*»). Имперфект употреблен два раза. 11 раз встречается перфект со связкой, 10 из этих случаев приходится на формы 2 лица ед. числа, употребленные в молитвенных обращениях. В 164 случаях фиксируются *л*-формы (85 от глаголов сов. вида, 79 от глаголов несов. вида); они составляют несколько более 50 % всех форм прошедших времен. Какая-либо семантическая дифференциация простых претеритов, понятным образом, отсутствует, формы аориста и *л*-формы систематически употребляются в качестве однородных членов, ср. характерный пассаж: «*Что же за сїа; еда ли члвѣкъ бл҃годаренъ явилсѧ; в вѣдствїа нашег҃! заповѣди данныя емѸ не сохранилъ, прелестїю челоуѣкоуѣицы дїавола, скотчлвѣ несмысленнымъ оуподобисѧ, равенъ творцѸ своемѸ быти восхотѣлъ, чѸждаго искати покѸсилсѧ, да свое потерялъ, не токчлв б҃гомъ быти, но поеликѸ и челоуѣкъ первѸю добротѸ погѸбилъ, самъ въ работѸ дїаволю самоволчлв ѿдасѧ, самоволчлв временной и вѣчной казни подпаде, вѣчнчлв превѣчнаг҃ своег҃ создателѧ угорчилъ, прогнѣвалъ, вкѸшенїемъ запрещенной снѣди, вжїе приказанїе попралъ, презрѣлъ, и ни во что вмѣнилъ» (л. 2 об.—3). Распределение простых претеритов в тексте неравномерно, в большем числе они представлены в начале и в самом конце проповеди, что может рассматриваться как проявление — хотя и весьма нечеткое — композиционного принципа употребления признаков книжности, известного нам по гибридным текстам XVII в.*

Язык проповедей Симона Тодорского менее консервативен, чем у Димитрия Сеченова. В проповеди Симона Тодорского на бракосочетание вел. кн. Петра Федоровича с Екатериной 1745 г. (Симон Тодорский 1745) используется тот вариант гибридного языка, в котором простые претериты употребляются как окказиональные признаки книжности. Здесь употребляется 28 форм аориста (8 из них образованы от глаголов несов. вида — во всех случаях это формы глагола *быти*), около половины этих форм приходится на цитаты. Форма имперфекта употреблена лишь один раз (*ратовашесѧ*, 11 об.). В 4 случаях встречается перфект со связкой (три раза в цитатах). Вместе с тем *л*-форма употреблена 116 раз (более

73 %), т. е. представляет собой основной способ выражения действия в прошлом. Формы аориста в большем количестве встречаются в начале текста, чем в других его частях; композиционный принцип употребления признаков книжности реализуется здесь несколько более выраженно, чем у Димитрия Сеченова.

Еще более ограничено употребление простых претеритов в проповеди Амвросия Юшкевича на коронацию Елизаветы 1743 г. (Амвросий Юшкевич 1744б). Здесь употреблено лишь 25 форм простых претеритов (4 имперфекта и 21 аорист), доминирующей формой выражения прошедшего времени является л-форма (более 80 %). Употребление простых претеритов подчинено тематическому принципу. Они встречаются в пересказе библейских событий и в покаянной речи, которую Амвросий вкладывает в уста томящихся в аду грешников⁵. Употребление простых претеритов мотивируется при этом именно темой, а не прямым цитированием, причем и в рамках этих фрагментов простые претериты чередуются с л-формами, см., например, в рассказе об Иосифе: «Мнѣхомса [рече] средѣ поля важдѣ снопы, и ста мои снопѣ простѣ, ваши же снопы окрестѣ столице кланухса моемѣ снопѣ. Тогда авѣе братѣм на него закричали...» (л. 6—6 об.), ср. соответствующий текст в Библии (Быт. 37:7): «Мнѣхъ васѣ важдѣщихъ снопы средѣ поля: и воста мои снопѣ, и ста прамъ: ваши же снопы обратившеса поклонишаса моемѣ снопѣ». Тематический принцип употребления признаков книжности также хорошо известен по гибридным текстам XVII в.

Все это разнообразие вариантов укладывается тем не менее в рамки гибридного языка. Переход к русскому литературному языку нового типа совершается лишь в проповедях Гедеона Криновского (см.: Живов 1996, 389—396). Употребление простых претеритов в этих текстах было подробно исследовано Л. Челлбергом. «Dans le texte qui est proprement de Gedeon, — пишет исследователь, — on peut trouver une seule forme d'imparfaite: Христу нашему тако подобаше пострадати; (...) l'aoriste, par contre, apparait plus souvent mais, alors, dans des circonstances spéciales. Comme dans le premier exemple qui vient d'être cité, on rencontre souvent dans une citation biblique le slavon пече au lieu du russe говорить ou сказать (lesquels pourtant peuvent être représentés (...)). Les citations de la Bible, à cette égard comme à d'autres, ont détié sur le texte propre des sermons. L'aoriste du verbe быть, surtout, apparait dans ces circonstances, comme par ex.: Сладка, объявляет, бысть во ушахъ моихъ II 127, Изсхоша добродѣтельми, быша яко мѣхъ на сланѣ IV 27 (ou le premier aoriste, **Изсхоша**, provient de la parabole précédemment citée du semeur, Matt. XIII, 6). Comme dans le dernier exemple cité, les aoristes d'autres verbes que быть peuvent se trouver dans des paraphrases de la Bible» (Челлберг 1957, 183). Перечислив немногие случаи подобного употребления, Л. Челлберг заключает, что они являются «intimement dépendants de citations slavonnes; ils appartiennent à la couche intermédiaire entre le russe de Gedeon et le Slavon des citations bib-

⁵ Эта речь напоминает покаянные молитвы, и употребление в ней простых претеритов (в особенности 1 лица мн. числа) может непосредственно отсылать к покаянным формулам, ср.: «мы безумныи заблудихомъ ѿ пѣти истиннагъ, и правды свѣтъ не влаиства насъ, и солнце не возсѣла намъ. беззаконныхъ исполнихомса стезь, и погнѣбели. и ходихомъ въ пѣти непроходны, пѣти же гѣдни не разумѣхомъ» (л. 3 об.).

liques. Pour le reste, les aoristes sont extrêmement peu fréquentes dans le texte de Gedeon. On rencontre quelques rares бысть {...} [ср. об особом статусе формы *бысть* выше]. De plus, on trouve à plusieurs reprises dans le quatrième sermon du tome I согрѣшихъ, согрѣшихомъ en quelques pages: Согрѣшихъ, прости Господи! I 45, Согрѣшихъ, прости помилуй мя падшаго I 46» (там же, 183 — в последнем случае мы сталкиваемся с покаянной формулой). Приведенные Л. Челлбергом материалы позволяют сделать вывод, что в собственном тексте Гедеона простые претериты вообще отсутствуют, они встречаются либо в цитатах, либо в вводящих цитату словах (*рече*). Такое употребление может быть соотнесено, например, с цитированием Св. Писания на латыни во французских проповедях: подобные цитаты могут рассматриваться как иноязычные вкрапления в русский текст проповедей. Таким образом, языком проповеди становится русский литературный язык нового типа, что практически исключает употребление простых претеритов.

С 1760-х годов использование нового литературного языка в духовной литературе делается практически общепринятым. Оно характерно не только для таких последователей Гедеона, как его ученики Гавриил Петров и Платон Левшин, но и для других проповедников (по крайней мере, столичных — ср., например: Афанасий Вольховский 1763). Одновременно, видимо, происходит и усвоение тех представлений о церковнославянском, которые были характерны для деятелей светской литературы: церковнославянский идентифицируется с тем стандартным языком, который запечатлен в Св. Писании и богослужебных книгах. При таком понимании возникает возможность (как это было и в литературе светской — см. выше) рассматривать простые претериты как своего рода стилистические экзотизмы, употребление которых допустимо в редких случаях, когда требуется особый стилистический эффект.

Именно так можно объяснить, например, окказиональное появление простых претеритов в Словах на Пасху Гавриила Петрова, включенных в «Собрание слов и поучений» 1775 г. (Гавриил и Платон 1775). В «Собрании поучений» имеется две проповеди на Пасху. В обеих встречается вне цитат некоторое количество простых претеритов. Можно было бы считать, что обе написаны на гибридном языке и ни в какой особой интерпретации не нуждаются. Существенно, однако, что во всех остальных проповедях (включая проповедь на Рождество) простые претериты отсутствуют. Именно в силу этого употребление простых претеритов в пасхальных проповедях (прежде всего в первой, где их особенно много и они не могут рассматриваться как окказиональное отступление от нормы) целесообразно связать с их особой риторической структурой, основанной на структуре пасхального канона: развивая модели пасхального канона, данные проповеди воспроизводят и встречающиеся в нем формы. Ср., например: «Хрѣтосъ воскресе! вчера сраспинахомса емѸ, днесь прославляемса: вчера соѸмертввахомса, днесь соживотворяемса: вчера спогревахомса, днесь совостаемъ» (I, л. 98 об.) и второй стих третьей песни Пасхального канона: «Вчера спогревохса тебѸ хрѣте, совостаю днесь...» Эта антиномическая структура присутствует и в отрывке, на который приходится основная масса аористов: «...прїатъ хѸждшее, да воздастъ лѸщее: ѡбнища, да мы ѡбогатимса: рабїи зракъ прїатъ, да мы свободѸ воспрїимемъ: снїде, да мы вознесемса...» и т. п. (там же, л. 99). Именно эта специфическая риторическая структура позволяет говорить об осо-

бом стилистическом использовании простых претеритов в рамках русского литературного языка нового типа, представленного в собрании в целом⁶.

Показательно, что в «Православном учении», изданном Платоном Левшиным в 1765 г., т. е. несколько ранее «Собрания разных поучений» (Платон Левшин 1765), простые претериты вне цитат не употребляются. Действительно, в «Православном учении» какое-либо риторическое напряжение отсутствует, текст построен на нейтральных риторических стратегиях, воплощающих рациональную дидактическую рассудительность. Этот рационалистический дискурс дается в соположении с комментируемыми каноническими пассажами; текст цитат и комментария противоположен по своему лингвистическому облику. Для контраста с торжественной гомилетикой рассматривавшихся выше слов на Пасху, приведу фрагмент, посвященный Воскресению Христову: «Погрѣвеніе Сѣспителево есть доказательствомъ, что онъ истиннѣ оумеръ: но смерти жилище въ себѣ его оудержать не могло: какъ то ѡ немъ сказываетъ С: Петръ: дѣян: ѳ, кд: Сгоже Бгѣ воскрси разрѣшивъ волѣзни смертныя, такоже не баше мощно держимъ быти емъ ѡ нем. Бѣдѣчи погрѣвенъ въ патокъ, впочивалъ во гробѣ сѣбѣвѣтѣ, а въ третій день воскрсъ, такъ какъ онъ самъ не однократнѣ ѡ томъ предрекъ: да и писаніе тожѣ самое давнѣ предвозвѣстило. Иво Прѣроки предвидѣвѣ дѣхомъ сѣю Ииса Хрѣта надъ смертію и адомъ повѣдѣ, заблговременнѣ торжественнѣю сѣю пѣли пѣснѣ: Гдѣ ти смерти жало, гдѣ ти аде повѣда: ѡси, гѣ, дѣ. Что Хрѣтосъ воскрсъ, то чрезъ то совершеннѣ оувѣрилъ насъ, что онъ повѣдилъ смерть, что онъ есть истиннѣ посланный намъ ѡ Бга Сѣспитель, и что наше на него оупованіе есть твердо и несомнително. Такъ Апѣлъ ѡ немъ пишетъ: Иже преданъ бысть за прегрѣшеніа наша, и воста за оправданіе наше: Рим: д, ке» (Платон Левшин 1765, л. 48—48 об.). Основное изложение остается в рамках литературно-языкового стандарта и к простым претеритам не прибегает; на этом фоне выделяются приводимые в качестве чужого слова цитаты.

В дальнейшем, как и в светской литературе, экзотизмы, подобные тем, которые мы отмечали в словах Гавриила Петрова на Пасху, начинают восприниматься как излишнее стилистическое украшение и почти полностью исчезают из языковой практики духовных авторов. Их единичные употребления имеют тот же аллюзивный характер, что и окказиональные примеры других ненормативных элементов. Так, например, в одной из поздних проповедей Платона Левшина мы находим: «Многіе Хрїстіане приложишася скотомъ несмысленнымъ и уподобишася имъ» (Платон, XX, 1). У Феофилакта Русанова встречаем: «Они до сего тепліи бяху, а при семь чудесномъ явленіи возгорѣшася ревностію къ Богу и закону, якоже мощи имъ с Іереміемъ глаголати» (Феофилакт Русанов, I, 22 — далее

⁶ Для определения статуса простых претеритов в данных текстах показательно, что Гавриил Петров при подготовке «Собрания» к печати мог устранять простые претериты в редактируемых им текстах. Так, исправляя проповедь Иоанна Златоуста в неделю сыропустную, он вносит среди прочих изменений и следующие: «...иже между древними пророки столпы <быша> были, они хотя и по инымъ добродѣтелямъ славны и знамениты <быша> были» (РНБ, Собр. Петербургской духовной академии, № 99, л. 55 об.). Нормальным, таким образом, был текст без простых претеритов.

следует цитата из Плача Иеремии). Таким образом, эти единичные примеры простых претеритов оказываются такими же окказиональными приметами «духовного стиля», как старые формы инфинитива или существительных в косвенных падежах мн. числа. При этом подобные стилистически маркированные элементы существуют на фоне усвоенного духовной литературой общезыкового стандарта. Вообще же в XIX в. духовная литература следует грамматическим нормам литературного языка; отдельные отступления (например, в сочинениях архимандрита Фотия Спасского) обусловлены здесь особыми историко-культурными стимулами (стремлением порвать с порядками синодального управления, утвердить независимость церковной традиции и т. п.) и требуют специального изучения. Для общей картины эволюции эти отступления значения не имеют.

Приложение III

ПРОСТЫЕ ПРЕТЕРИТЫ И КОДИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛА В РУССКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ XVIII ВЕКА

1. Отсутствие простых претеритов в грамматиках русского языка. Восприятие форм простых претеритов как наиболее ярких признаков книжного языка определяет их судьбу в новой грамматической традиции. Те авторы, которые в конце XVII — начале XVIII в. стремились описать русский язык, так или иначе противопоставлявший им церковнославянскому, описанному М. Смотрицким, в первую очередь отказывались от форм простых претеритов, фиксируя в прошедшем времени (временах) только *л*-формы.

Так, формы простых претеритов отсутствуют в грамматике Лудольфа, который выделяет одно прошедшее время и указывает в этом качестве *л*-форму (Лудольф 1696, 27)¹. Практически лишь одни *л*-формы представлены и в русских соответствиях в латинской грамматике И. Копиевича (Копиевич 1700); они здесь поставлены в соответствие всем прошедшим временам латинского глагола². Так

¹ Такое же грамматическое решение предполагается, видимо, и в программе И. Л. Фриша, который (опираясь, надо думать, на Лудольфа) выделяет в русском глаголе три времени: «In Conjugationibus e.c. tantum tria tempora habent Praesens, Praeteritum & Futurum» (Фриш 1727; ср.: Булич 1893, 64).

² В нескольких случаях Копиевич приводит все же формы простых претеритов, однако такие примеры единичны и, видимо, попадают в текст по недосмотру. Так, в парадигме *lego* в 1 ед. имперфекта к *legebam* даются соответствия *чтохъ, чель, читываль*; в парадигме *volo* в той же форме *volebam* соотнесено с *хотѣхъ*. В парадигме *fero* в 1 ед. плюсквамперфекта лат. *tuleram* соответствует *приносихъ*. Много простых претеритов в парадигме *eo* в имперфекте: *ibat* — *хोलилъ* (sic!), *шелъ, идохъ, ibatus* — *шли, Idahoмъ, ibatis* — *шли, идосте, ibant* — *шли, Idahoша* (Копиевич 1700, 214, 274, 295, 310). Эти формы, однако, употреблены без всякой системы и могут рассматриваться как окказиональные огрехи на фоне многих десятков *л*-форм. Показательно, что в парадигмах конъюнктива, где в русских соответствиях повторяются те же формы, что и в индикативе, с добавлением *егда*, простые претериты в отмеченных точках парадигмы отсутствуют, ср. 1 ед. имперфекта *егда читываль* (с. 219), *егда хотѣль* (с. 277), *егда ходилъ* (с. 314); 1 ед. плюсквамперфекта *егда приносиль былъ* (с. 299); с формой *хотѣхъ* ср. еще в парадигме *polo* форму 1 ед. имперфекта *нехотѣль* (с. 280). В одном случае в конъюнктиве употреблены формы аориста вспомогательного глагола (*егда хотѣли быхом, хотѣли бысте, хотѣли бы* — с. 288). Кроме перечисленных выше немногих примеров, Копиевич последовательно употребляет *л*-формы, в частности, только *л*-формы фигурируют в парадигме глагола

же обстоит дело и в русской грамматике Копиевича (Копиевич 1706, л. С/1 об.—2), в которой также в трех выделяемых им прошедших временах (преходящем, прешедшем и мимошедшем в соответствии с лат. имперфектом, перфектом и плюсквамперфектом) даются только формы на *-л* (*был, был, бывал*). Совершенно ту же картину находим и в грамматике Э. Глюка 1704 г., где аналогичная грамматическая схема с тремя прошедшими временами наполняется исключительно *л*-формами (Кайперт, Успенский, Живов 1994, 264—297); формы простых претеритов (кроме формы *умре* — там же, 306) отсутствуют и в лингвистических примерах в синтаксическом разделе, хотя другие книжные формы (например, причастия на *-ай/-яй*) могут быть здесь найдены. Наконец, в грамматике Сойе — который, в отличие от Лудольфа, служившего для него одним из основных источников, выделяет три (а не одно) прошедших времени, — все прошедшие времена выражаются *л*-формами (Сойе, I, 143 сл.). Точно так же не фиксируются простые претериты в грамматике Ивана Афанасьева 1725 г. (Harvard Univ., The Houghton Library, Kilgour, MS Russ 5, p. 29—51; см.: Успенский 1989).

Данная черта грамматик русского языка, составленных преимущественно иностранцами, отражала не только их наблюдения, но и языковое сознание носителей русского языка. Действительно, если бы характер этих описаний никак не зависел от языкового сознания носителей, а лишь отражал бы стремление грамматистов описать не книжный, а живой язык, в описаниях отсутствовали бы многочисленные формы, которые в живом языке не наблюдались (например, отсутствовавшие в живом языке элементы именного словоизменения). Не рассматривая сейчас конкретные пути, по которым шло влияние русского языкового сознания, ограничимся констатацией самого факта. Очевидно, что оценка простых претеритов как четких индикаторов традиционного книжного языка была общезначимой, и созданные иностранцами грамматики исходили из этой оценки точно так же, как и та книжная справка, при которой эти формы устранились из текстов на «простом» языке (см. Приложение I).

Это представление проявилось, естественно, и в первых грамматиках, кодифицировавших новый литературный язык. И.-В. Паус в своем «Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache» приводит по отдельности славянские и русские глагольные парадигмы, различие между которыми состоит прежде всего в том, что из русской устранены формы простых претеритов (БАН, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 116—120 об.). В. Е. Адодуров, отказываясь от паусовской концепции славяно-русского единства, исключает из конструируемого им языкового стандарта те элементы, которые Паус определяет как славянские и которые Адодуров не считает нужным реинтерпретировать и сохранить (см.: Живов и Кайперт 1996), так что в его грамматическом очерке формы простых претеритов просто отсутствуют (Адодуров 1731, с. 39 сл.). Эти формы не используются и в русских соответствиях в «Немецкой грамматике» М. Шванвитца, как в ее исходном варианте (Шванвитц 1730, 217 сл.), так и в редакции В. Е. Адодурова 1734 г. (Шванвитц 1734, 171 сл.). Можно полагать, что это отражает прак-

быти (*быль/были* недавно в имперфекте, *был/были* в перфекте, *бываль/бывали* в плюсквамперфекте — с. 277—278); такая же парадигма (с опущением *недавно* в имперфекте) приводится затем Копиевичем в его «Руководении» (Копиевич 1706, л. С/1 об.—2).

тику преподавания русского языка в Академии наук, продолжавшую, видимо, те опыты преподавания русского языка, которые отразились в грамматиках, созданных иностранными филологами. Учебные материалы Академии легли в основу и грамматики Гренинга (см. Кайперт 1989а); соответственно, в ней также отсутствуют простые претериты (Гренинг 1750, 130 сл.). Не представлены эти формы и в грамматике Ломоносова (Ломоносов, IV, 132 сл./VII², 500 сл.), равно как и в многочисленных последующих кодификациях нового литературного языка.

Поскольку никаких разногласий, касающихся исключения простых претеритов из нового языкового стандарта, не имелось, эти формы обычно даже не упоминаются в его грамматических описаниях (например, в Очерке Адодурова 1731 г. или в грамматике Гренинга). Вопрос о простых претеритах возникает лишь тогда, когда обсуждается принципиальная проблема соотношения русского и церковнославянского. Формы простых претеритов указываются как специфика церковнославянского, противопоставляющая его русскому, со времени первых опытов грамматического описания русского языка. Лудольф констатирует, что «[i]n verbis Slavonicis praeteritum definit in χ sed in verbis Russicis in λ » (Лудольф 1696, 5), и Соие повторяет это утверждение (Соие, I, 32). Паус говорит о различии в формах претеритов как об основном и едва ли не единственном параметре, дифференцирующем два языка. В «Observationes, inventiones et experimenta circa Literaturam et Historiam Russicam» 1732 г., доказывая, что «beide *dialecti*», русский и славянский, сосуществуют «als Brüder u[nd] Schwester» и должны описываться в одной грамматике, он замечает: «Nur müssen die ungeheure Endungen in den [*temporibus* — вставлено на полях] *praeteritis* u[nd] *indefinitis Slavonicis* weg bleiben, so ist weniger *Differenz* unter ihnen beiden» (РГАДА, ф. 199, № 150, ч. 1, дело 10, л. 6 об.)³.

Это восприятие простых претеритов как основного отличия церковнославянского от русского переходит затем и к следующему поколению кодификаторов русского языка. Так, Ломоносов, полемизируя с Третьяковским, подчеркивал (в 1746 г.), что «Славенской язык от Великороссийскаго ничем столько не разнится, как окончаниями речений»; в числе оппозиций фигурируют и простые претериты: «Пославенски, ⟨...⟩ *пихомъ, кланяхуся*; повеликороссийски, ⟨...⟩ *(мы) пили, (они) кланялись*» (Ломоносов, IV, 1/VII², 83). Третьяковский, отвечая, видимо, именно на эту критику и возвращаясь к отвергнутой им ранее точке зрения Пауса, утверждал, что данное различие между русским и церковнославянским не мешает им быть единым «по природе» языком (ср. Живов 1996, 277—290). Он пишет, что у «российского» и «славенского» «...теж склонения имен и спряжения глаголов, выключая в нашем, что прошедшия токмо времена инако лицами падают, например, *мы были* вместо *быхом*, однако сие не мешает, чтоб и безграмотный наш не разумел, что *быхомъ*, или *бысте*, или *бъша*, не тож значили, что у нас *мы были, вы были, они были*» (Третьяковский 1748, 299—300/III, 202). Хотя

³ Цитирую данный трактат по списку (автографу Пауса), хранящемуся в портфелях Миллера. Менее полный и исправный вариант этого же трактата имеется в рукописи БАН, Р III, оп. 1, № 168^a, л. 1—16. По последней рукописи он был опубликован Е. Винтером (Винтер 1958); цитированный пассаж с незначительными разночтениями можно найти в этой публикации на с. 759.

Ломоносов и Тредиаковский по-разному оценивают значимость указанных оппозиций для соотношения русского и церковнославянского, они оба фиксируют их как одно из наиболее существенных различий. Такое же восприятие отражается, видимо, и в замечании Сумарокова: «Великаго достойно сожаления, что порчею языка, лишился мы сея точности и силы во Глаголах; Видѣхъ, видѣль, видѣ, видѣхомъ, видѣстѣ, видѣша...» (Сумароков, X, 23).

Поскольку это различие упоминается в ряду других, менее очевидных (таких, в частности, которые ранее не осознавались как признаки, противопоставляющие два языка, например, окончание *-омъ/-амъ* в дат. мн. существительных), естественно думать, что оно играет определяющую роль в формировании представлений о генетической противопоставленности русского и церковнославянского и возглавляет перечень тех черт, которые с ним связываются. Академическая филологическая мысль опирается здесь на предшествующую традицию. В частности, в «Технологии» Ф. Поликарпова 1725 г. дается параллельное описание «славянского» и «великороссийского» спряжения (ГПБ, НСРК F 1921.60, л. 122—124 — см.: Бабаева 2000, 294—303): «славянским» простым претеритам соответствуют здесь «великороссийские» *л*-формы.

Существенно, что и Паус, и Ломоносов, и Тредиаковский рассматривают разбираемое противопоставление как различие в окончаниях, а не в системе глагола в целом. Паус прямо указывает, что в претерите «*wird slav. x verwandelt in лъ, f. ла, n. ло welches durch alle personen geht*» (БАН, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 104), т. е. предусматривает формальную трансформацию флексий, переводящую церковнославянские формы в русские; Ломоносов и Тредиаковский придерживаются, видимо, такой же точки зрения. Понимание противопоставления как различия в окончаниях указывает на два момента. Во-первых, этот подход развивается в рамках языкового сознания, ближайшим образом напоминающего традиционное, сформировавшееся на основе гибридного церковнославянского, в котором простые претериты выступают лишь как книжные эквиваленты *л*-форм (т. е. различие сводится к окончаниям). Любопытно, что Тредиаковский прямо ссылается на те («неграмматические») процедуры понимания книжного текста, которые лежат в основе гибридного языка. Во-вторых, рассматриваемое понимание может быть следствием той методики описания русского глагола, которая вырабатывается в 1720—1740-х годах и представляет собой трансформацию церковнославянской грамматической традиции. Поскольку при этой методике русский глагол получал многочленную систему прошедших времен (различающихся не флексиями, а основами), русское спряжение оказывалось сопоставимым с церковнославянским: различными оказывались не категории, а наборы морфологических показателей. Это обуславливало преемственность новой грамматической традиции по отношению к предшествующей, церковнославянской, связь нормализации русского литературного языка нового типа с развитием грамматического подхода к языку в XVI—XVII вв. Таким образом, и в этом случае отталкивание от традиционного книжного языка не носило абсолютного характера, но сохраняло место для преемственности. Преемственность в данном аспекте состояла в том, что предшествующая традиция задавала схемы, по которым мыслился новый литературный язык, т. е. влияла на характер его описания и кодификации.

2. Простые претериты и способы глагольного действия в церковнославянской грамматической традиции. При стремлении к дифференцированному употреблению аориста и имперфекта в русских церковнославянских текстах позднего периода они соотносятся с разными способами глагольного действия. Имперфект при этом может выступать как книжный эквивалент прошедшего времени итеративов; такое соотнесение естественно, поскольку в обычном случае итеративы употребляются только в прошедшем времени (*он читывал*; при семантически маркированном и искусственном *он читывает, он будет читать*), а в запечатлевшуюся в образцовых текстах семантику имперфекта входит длительность или повторяемость действия в прошлом, описание процесса или состояния в прошлом, не соотнесенных с результатами в настоящем и потому выступающих как фон для других действий в прошлом (ср.: Сконефельд 1959, 34—58; Истрина 1923, 103—106; Карский 1928; см. подробнее: Кузнецов 1958, 19—20; Живов и Успенский 1986, 271—276). Вместе с тем в силу семантической и формальной близости некнижными формами, порождающими в результате пересчета книжный имперфект, могут быть не только итеративы, но и вообще имперфективные образования. Что касается аориста, то, выступая как немаркированное прошедшее время, он не требует четко выраженных некнижных эквивалентов (хотя в ряде случаев и может получать специальное инхоативное значение).

Вполне эксплицитное определение семантики имперфекта как итеративной можно найти в «Грамматике славенской» Федора Максимова, и это указывает на осознание в рассматриваемом соотнесении в церковнославянской грамматической традиции. Максимов определяет преходящее время, парадигмы которого содержат формы имперфекта, как своего рода «настоящее в прошлом», однако настоящему приписывается при этом итеративная значимость. Максимов пишет: «**Настоящее оубв частв, или всегда знаменуетъ бывати, а не единою токмв... такв: хр^бтость раждаетса, сирѣчь частв во стѣхъ нашей цркви, въ воспомянїе сегв несказаннагв таинства рж^бтва егв... Подобенѣ и преходащагв частое дѣйство вываецъ, но знаменуетъ несовершеннв прошлое дѣйство, такв лука, ꙗ. члвѣкъ нѣкій суждаше. Тамв ѿеофилактъ толкъа, не рече, такв снїде, но суждаше: присно во члвѣческое естество на слабое позираецъ, не единою, но всегда пристрастїа житїю внимаа**» (Максимов 1723, с. 51—52)⁴. Преходящее, таким образом, означает частое — постоянное

⁴ Федор Максимов имеет в виду толкование Феофилакта Болгарского на Евангелие от Луки (X:30): «**Ѡвѣщавъ же їисъ рече: члвѣкъ нѣкій суждаше Ѡ їер^лима во їер^лхонѣ, и в^л разбонники впаде. иже совлекше его, и пазвы возложше Ѡндоша, вставльше еае жива сѣща**». В толковании Феофилакта читается: «**Научимса же и ѡ чловѣчестѣмъ естествѣ и блгостыни вжїей: суждаше во члвѣческое естество Ѡ їер^лима, еже есть Ѡ мїрскагв пребыванїа: видѣнїе во мїра толкъетса їер^лимъ. камже суждаше; во їер^лхонѣ, оудольное, и низкое, и зноемъ томимое: се есть пристрастїа животъ. вїждь же, не рече снїде, но суждаше: приснв во чловѣческое естество, на низкое, сирѣчь на слабое позираецъ, не единою, но всегда пристрастїа житїю внимаа. впаде же в^л разбонники, в^л вѣсы: аще во не снїдетъ кто с^л высоты помысла, не впадетъ в^л вѣсы иже совлекають чловѣка. прежде во вбнажаютъ ны всакагв блгагв помысла, и бжїа покрова, и такв раны грѣха налагають, еае жива вставляюще, се есть исполъ мѣртво вставиша чловѣческое естество**» (Феофилакт Болгарский 1698, л. 81 об.—82 4-й фоліации; см. то же: Феофилакт Болгарский 1649,

или повторяющееся — действие в прошлом, и фиксация этой семантики в грамматиках может рассматриваться как отражение особенностей традиционного механизма пересчета, связывающего имперфект с итеративом.

Взаимосвязь между способами глагольного действия и претеритами книжного языка прослеживается во всей восточнославянской грамматической традиции. Так, уже в «Донатусе» Дмитрия Герасимова разные претеритные формы, поставленные в соответствие трем прошедшим временам латинского глагола, отличаются не только и не столько флексией, сколько основами, дифференцированными по способу глагольного действия. В частности, в парадигме, соответствующей латинскому плюсквамперфекту, флексии имперфекта сочетаются с итеративной или имперфективной основой: в четырех случаях из шести мы находим итеративную основу (люблѣвах, люблѣваше... люблѣвахѹ тїи; ѹчѣвах, ѹчѣваше... ѹчѣвахѹ; хачѣвах, хачѣвал еси... хачѣвали; бывах, бывал еси... бывахѹ), в двух других — имперфективную (читах, читаше... читахѹ; слыхэх, слыхэхль еси... слыхэхѹ) (Ягич 1896, 566—584; Ворт 1983, 101; Живов 1986, 98—105).

Такого же рода соотносении флексий и основ, характеризующих разными способами глагольного действия, наблюдается и в грамматике Лаврентия Зизания (у Зизания, впрочем, собственно итеративные образования вообще не фигурируют)⁵. Как и у Герасимова, разнообразие претеритных форм обеспечивается не только флексиями, но и основами, причем интересующая нас оппозиция целиком основывается на имперфективных образованиях. Зизаний воспроизводит, ис-

л. 103—104 4-й фолиации). Как можно видеть, в толковании различие форм *схождаше* и *сниде* служит для нравственно-аллегорического изъяснения рассказанной Христом притчи. Максимов же использует эту искусственную экзегезу для подтверждения своего тезиса, согласно которому переходящее время означает повторяемость действия.

⁵ Дифференциация прошедших времен с помощью основ, характеризующих разными способами глагольного действия, имеет место и в Адельфотесе (остается неясным, подразумевалось ли использование для этой цели аористных или имперфектных окончаний, поскольку в грамматике не дается полный перевод греческих парадигм, а указываются лишь формы I ед.). Дифференциация проведена здесь непоследовательно и нечетко (ср.: Горбач 1988, с. VIII), но принцип противопоставления времен с помощью простой и имперфективной основы обнаруживается достаточно ясно. В грамматике даются соответствия для четырех прошедших времен греческого глагола, различные формы распределяются здесь следующим образом:

Мимосшедшее	Протяженное	Пресовершенное	Непредельное
бих	біах	біаах	бих
творих	твориах	твориаах	сотворих
вопих	вопїах	вопїаах	возопих
позлатих	позлащах	позлащаах	позлатих
положих	полагах	полагаах	положих
поставих	ставах	ставлаах	поставихъ
дахъ	даахъ	дааахъ	дах

Как можно видеть, итеративные образования здесь не используются. В нескольких случаях, однако, они служат для построения разных временных форм инфинитива, ср. настоящее и мимосшедшее *бити*, протяженное и пресовершенное *бивати*; настоящее и мимосшедшее *бывати*, будущее *быти* (Адельфотес 1591, л. Н/4 об.—Ы/3).

пользуя славянский материал, ту систематику времен, которая восходит к греческой грамматической традиции. Согласно этой традиции, идущей от Дионисия Фракийского и закрепленной в наиболее авторитетной для поствизантийского периода грамматике Константина Ласкариса, между временами устанавливаются отношения «родства»; от трех начальных времен, настоящего, перфекта и будущего, образуются три производных, состоящих с ними в родстве: из настоящего имперфект, из перфекта плюсквамперфект, из будущего аорист (см.: Захарьин 1995, 32—33). Эта схема, представленная уже в Адельфотесе, трансплантируется Зизанием в следующем виде: «**Време^н же Три. Настоящее. Протяжен^ное. и Б^уд^ущее. Из ни^х же три ра^здаю^тся. Изъ Настоящаго, мимоше^ншее. Изъ протяжен^наго, пресове^ншен^ное. Изъ Б^уд^ущаго, непред^ел^ное» (Зизаний 1596, л. 53 об.). Три разряда времен различаются прежде всего основами, а не флексиями. Для противопоставления принадлежащих к двум разным разрядам «мимошедшего» и «протяженного» используются имперфективы, ср.: **тави^х — тавлах^х, спасох^х — спа^х, в^ьста^х — в^ьставах^х, гласи^х — глаша^х, ви^х — в^ьа^х** (Зизаний 1596, л. 57, 63, 67, 68 об., 73)⁶.**

Категория способа глагольного действия впервые вводится в грамматическое описание Мелетием Смотрицким. Он выделяет вид «первообразный» («иже и совершенный»), т. е. исходный, нейтральный, и противопоставляет ему вид «производный»; производных видов два: начинательный и учащательный (Смотрицкий 1619, л. Н/4—4 об.). Само вычленение этих способов глагольного действия можно, видимо, связать с традиционными способами истолкования простых претеритов, хотя данная инновация опирается и на античные модели (см.: Захарьин 1995, 99—100) и преемственно соотносится с чисто формальными дефинициями видов, отсылающими к словообразовательной производности/непроизводности (в Адельфотесе, у Лаврентия Зизания) — словообразовательные различия соотносятся у Смотрицкого с семантическими противопоставлениями (ср.: Живов 1986, 111; Возняк 1911, II, 24; Мечковская 1984, 64). Учащательный вид Смотрицкий определяет как такой, «**иже вещь о^учащае^му^х знамен^етъ и в^ьычн^ѣ кончит^ь на -аю и -аю: та^кв, в^ьгаю — читаю — творю — храню — л^ѣтаю: и про^ч. Сир^ѣчь част^ѡ в^ьгъ — или чтеніе — либо твореніе — и храненіе — творю: ѿ совершенныхъ г^лъ, в^ьг^ѡ — чт^ѡ — творю — храню: и про^ч.**» (л. Н/4 об.). Как можно видеть, учащательный вид представлен имперфективными образованиями, при этом, однако, им приписано итеративное значение.

Смотрицкому не удается, однако, систематически разграничить и соотнести виды, способы глагольного действия и префиксальное глагольное словообразование (Горбач 1964, 24), разграничить совершенность как словоклассифицирующую категорию и время как категорию словоизменительную. В построении па-

⁶ Пресовершенное представляет собой искусственное образование и формируется, как и в Адельфотесе, из протяженного удвоением гласного (например, **тавллах** — Зизаний 1596, л. 57 об.); для нас оно интереса не представляет. Непредельное образуется «**изъ буд^ущаго**» (л. 53 об.); поскольку будущее у Зизания представляет собой форму презенса от глаголов сов. вида (преимущественно приставочных), от них же образуется и непредельное. В парадигмах Зизания формы этого времени, как правило, не даются; исключением является парадигма глагола *глашати* (непредельное: «**в^ьз^ьгласи^хх^ь, и проча^л.**», л. 69) и парадигма *быти*, вообще выпадающая из принятой схемы.

радикалы Смотрицкий практически повторяет Зизания (меняется терминология): преходящее время с флексиями аориста и прешедшее время с флексиями имперфекта образуются у него от разных основ в соответствии все с той же, хотя и заново модифицированной греческой схемой родства времен — преходящее от настоящего глаголов «первообразного или совершенного вида», прешедшее от настоящего глаголов вида «учащательного» (**внхъ — вѣхъ, развнхъ — развѣхъ, чтохъ — читахъ, творихъ — творахъ** — Смотрицкий 1619, л. Н/7, О/2—2 об., Р/6 об.—7)⁷. Необходимость учащательных глаголов для формирования полноценной парадигмы побуждает Смотрицкого к образованию искусственных имперфективов, из которых должны порождаться формы прешедшего и мимосшедшего времени (ср.: **вѣю, развѣю, стою, щедрою, твораю** — л. Н/7, Р/5, 7).

Сколь бы несовершенной ни была систематика Смотрицкого, она воспроизводится (в том, что относится к глагольной парадигме) в московском издании 1648 г. и в подготовленном Ф. Поликарповым издании 1721 г., равно как и в сокращенной переработке Афанасия Пузины (Горбач 1964; Горбач 1977, с. IX—XI). Существенная модификация данной схемы появляется лишь в грамматике Федора Максимова. Перерабатывая Смотрицкого, Максимов устраняет категорию мимосшедшего времени, а противопоставление двух прошедших времен — преходящего и прешедшего — целиком связывает с оппозицией совершенного и несовершенного вида (на которой построена и оппозиция настоящего и будущего); таким образом, при новой модификации греческой схемы родства преходящее «раждается» от настоящего, а прешедшее — от будущего (Максимов 1723, 47, 53): из **чтѣ** — **чтохъ**, из **прочтѣ** — **прочно**^х. В результате способы глагольного действия больше не используются для образования противопоставленных претеритных форм, и «первообразные» и «учащательные» глаголы получают само-

⁷ Смотрицкий, однако, осознает — в отличие от Зизания — те проблемы, которые возникают при трактовке имперфективных образований как временной категории: если **читахъ** трактуется как один из претеритов от глагола **чести** (презенс: **чтѣ**), то презенс самого имперфективного глагола (**читаю**) должен принадлежать той же парадигме (у Зизания эта форма просто игнорируется; такой проблемы не возникает при трактовке в качестве временной категории одних только итеративных образований, которые в презенсе, как правило, не употребляются). Отсюда возникает парадигма с двумя системами презенса (**чтѣ, чтеша, чтетѣ** и т. д. и **читаю, читаеша, читаетѣ** и т. д.).

Наличие двух систем презенса в глагольной парадигме подчеркивает независимость «первообразных» и «учащательных» глаголов и побуждает к формированию двух разных парадигм. Эта тенденция находит у Смотрицкого выражение в образцах спряжения «иносклаемых стропотных» (неправильных) глаголов. Здесь у «первообразных» и «стропотных» глаголов оказываются не только независимые формы презенса, но и независимые формы «прешедшего» времени. Так, для глагола **вѣдѣти** даются формы настоящего, преходящего и прешедшего первообразного глагола (**вѣмъ, вѣдѣхъ, вѣдахъ**) и формы настоящего, прешедшего и мимосшедшего «вида учащательна» (**вѣдаю, вѣдахъ, вѣдахъ** — л. Т/8 об.—У/1). Так же обстоит дело и с глаголом **паста** (л. У/4). Таким образом, парадигмы «первообразных» и «учащательных» глаголов оказываются «сцеплены» лишь отсутствием «преходящего» времени у «учащательных» и совершенно искусственного «мимосшедшего» у «первообразных». Тем не менее принцип трактовки способов глагольного действия как временной категории полностью сохраняется — независимые парадигмы появляются лишь в грамматике Максимова.

стоятельные парадигмы (например, «первообразный»: настоящее **чтетъ**, будущее **прочтетъ**, преходящее **чте**, прешедшее **прочте**; «учащательный»: настоящее **читаетъ**, будущее **прочитаетъ**, преходящее **читаше**, прешедшее **прочита** — там же, 47). Противопоставление флексий аориста и имперфекта играет лишь вспомогательную роль в различении прошедших времен: флексии имперфекта появляются лишь у преходящих учащательного вида, тогда как в остальных случаях употребляются флексии аориста.

Теоретически обосновывает данный подход Ф. Поликарпов в «Технологии» 1725 г. Он, как и Максимов, выделяет четыре времени, настоящее, будущее, преходящее и прешедшее; преходящее рождается от настоящего, прешедшее — от будущего. Больше времен не нужно, «**понеже свойственнѣе четыре времена, а не шесть могѹтъ быти, и въ и главная ѿ нихже рождаются двѣгоя точію сѹтъ два, а идѣже и зрятся шесть временъ, но тамъ заимствѹютъ не ѿ главныхъ, но дрѹгихъ ѡемъ производныхъ**» (Бабаева 2000, 294). Этот порождающий механизм работает как с первообразными глаголами, так и с глаголами «учащательными» и «начинательными», которые образуют самостоятельные парадигмы. Так, скажем, от настоящего учащательных **падаю**, **глашаю** рождается преходящее **падахъ**, **гласахъ**; от настоящего начинательных **девелѣю**, **гѹстѣю** рождается преходящее **девелѣхъ**, **гѹстѣхъ** (там же, 294—295). От настоящего рождается будущее, иногда с «**наращеніе^а предлогвъ ѹ, изъ, или съ, во, со, на, ѡ, по, при, за, восъ, расъ**» (здесь Поликарпов повторяет Смотрицкого — Смотрицкий 1619, л. Р/5 об.), а иногда без наращенія (например, **плюю**, **плюнѹ**) (Бабаева 2000, 295). Из будущего в свой черед рождается прешедшее (**ѹпасѹ** — **ѹпасхъ**, **дѹнѹ** — **дѹнхъ**) (там же).

Таким образом, церковнославянская грамматическая традиция содержит несколько значимых в перспективе дальнейшего развития моментов. Во-первых, различия претеритных форм соотносятся в ней с различиями глагольных основ, характеризующихся разными способами глагольного действия. Во-вторых, вводится сама категория способа глагольного действия («вида»), причем выделяются итеративные и инхоативные глаголы. В-третьих, внутри самой этой традиции намечается переход к трактовке способов глагольного действия как словоклассифицирующей, а не словоизменительной категории.

3. Доломоносовские грамматики русского языка и принципы ломоносовской кодификации. Отказ от простых претеритов в новой грамматической традиции мог приводить к разным результатам. Если церковнославянская грамматическая традиция игнорировалась и временные категории со способами глагольного действия не связывались, естественным следствием оказывалось выделение одного (единственного) прошедшего времени, выражаемого *л*-формами. Как уже говорилось, так обстоит дело в грамматике Лудольфа и в очерке Адодурова 1731 г. При этом способы глагольного действия могли выделяться как особая категория, со временем не связанная. Само выделение этой категории обусловлено, можно думать, влиянием Смотрицкого. Так, Лудольф указывает: «*Verba sunt vel Primitiva vel Derivativa. Inter Derivativa creberrimus est usus frequentativorum, quibus semper utuntur, quando de actione indeterminata loquuntur, v.g. ѡбманиватъ Frequentativum est ab ѹмыватъ Frequentativum est ab*

«*Мыть* lavare» (Лудольф 1696, 26). Если Лудольф указывает только на итеративы, то Адодуров воспроизводит Смотрицкого полнее, отмечая в качестве производных инхоативные и итеративные образования (Адодуров 1731, 38; ср.: Бауманн 1964, 185, 188, 190; Бауманн 1969, 1—2; Унбегаун 1969, с. XI)⁸. Подчеркивая словоклассифицирующий характер рассматриваемой категории, Адодуров приводит отдельные парадигмы глаголов *быть* и *бывать* (1731, 40—41); скорее всего это было самостоятельное решение, хотя нельзя исключить, что свою роль сыграл здесь прецедент такой трактовки в грамматике Максимова.

С точки зрения современного лингвиста подобные построения представляются наиболее рациональными. Для эпохи универсальных грамматик, однако, они выглядели не столь привлекательно. Оказывалось, что универсальная грамматическая схема, выработанная классической лингвистикой, была неприменима к русскому материалу; это могло противоречить общим представлениям эпохи об устройстве языка. В такой перспективе одно прошедшее время русского глагола могло рассматриваться либо как особая грамматическая аномалия, либо как свидетельство недостаточного искусства грамматиста, не сумевшего найти в описываемом им языке грамматического эквивалента противопоставленным глагольным формам образцовых языков. Описывая русский язык, грамматисты — ориентируясь на универсальную схему — вводили временные различия в систему сослагательного наклонения, императива, инфинитива; при таком подходе естественно было предпринять попытку построить на русском материале и противопоставление нескольких претеритных форм индикатива.

Универсальная грамматическая схема несомненно стояла перед мысленным взором первых грамматистов. Наиболее элементарную и прямолинейную ее реализацию находим в грамматике Э. Глюка. Здесь дается три прошедших времени — перфект, имперфект и плюсквамперфект, — однако все три подсистемы заполняются одними и теми же л-формами. Так, в спряжении глагола *быти* сначала дается имперфект (*я былъ, Ich war, ты былъ, du warest* и т. д.), затем перфект (*я былъ, Ich bin gewesen, ты былъ, du bist gewesen* и т. д.) и плюсквамперфект (*я былъ, Ich war gewesen*, с указанием: «D[as] folgende wieder wie das *Imperfectum und perfectum*» — Кайперт, Успенский, Живов 1994, 264); в парадигмах других глаголов Глюк ограничивается лишь общими замечаниями типа «Perf. & plus quam perf. gehen wie d[as] Imperfectum» (с. 266, ср. с. 268, 271, 273, 274 и т. д.).

Подобное решение было, конечно, лишь неудовлетворительным паллиативом. Между тем при стремлении к заполнению универсальной схемы была возможность воспользоваться традиционным грамматическим материалом, лишь транс-

⁸ Адодуров пишет: «Ferner sind die *Verba* entweder *Primitiva*, von denen andere beystammen, oder *Derivativa* die von einem *Primitivo* hergeleitet werden. Letztere werden wiederum in *Verba Inchoativa* und *Frequentativa* unterschieden. Der *Inchoativorum* Endigung pflegt gemeinlich *Praesenti* ъю zu seyn, so wie bey den *Frequentativis* die Endigung аю oder яю im Gebrauch ist. Diese werden häufig gebraucht, vornehmlich wenn von einer unbezirckten Handlung die Rede ist» (1731, с. 38). Как можно видеть, замечание об окончаниях инхоатива и итератива непосредственно восходит к Смотрицкому (1619, л. Н/4 об.; 1721, л. 110 об.), тогда как последняя фраза является прямым переводом цитировавшихся выше слов Лудольфа («quibus semper utuntur, quando de actione indeterminata loquuntur»). Прямая зависимость этого фрагмента от Смотрицкого осталась неотмеченной у Г. Бауманна (1964, 190).

формировав его в соответствии с новыми лингвистическими установками. В самом деле, в церковнославянской грамматической традиции противопоставление разных прошедших времен основывалось не только на различии флексий, но одновременно и на разных типах основ (см. выше). Отказ от простых претеритов, реализующий новые языковые установки, мог распространяться лишь на флексии и выражаться в замене аористных и имперфектных окончаний *л*-формами (как это имело место и в правленных текстах). При такой трансформации традиционного языкового материала различия между разными претеритами сохранялись, обеспечиваясь противопоставлением основ. Организованные таким образом оппозиции сами по себе не противоречили принятым представлениям об устройстве языка, поскольку дифференциация временных форм за счет основы в том или ином виде имеет место едва ли не в большинстве европейских языков.

Описанный механизм соотнесения церковнославянской и русской грамматики в области глагольной парадигмы был вполне актуален для грамматической мысли начала XVIII в. и мог действовать в обоих направлениях. О его актуальности свидетельствует, например, правка, внесенная типографскими справщиками в «Искусство нидерландского языка» В. Севела, переведенное Я. Брюсом (см.: Пеккарский, НЛ, II, 358). В первоначальной редакции в мимомшедшем времени фигурировали *л*-формы итератива; справщики, сохраняя основу, заменяли *л*-формы на формы имперфекта, опознавая в исправляемой ими русской парадигме трансформацию привычной церковнославянской и возвращаясь при помощи обратной трансформации к традиционной модели. Так, они правили **ответствовалъ** на **ответствовахъ**, **вазывалъ** на **вазывахъ**, **повелѣвалъ** на **повелѣвахъ**, **хаживалъ** на **хаживахъ**, **таптывалъ** на **таптывахъ** в 1 ед., **ответствовалъ** и т. д. на **ответствоваше** в 3 ед., **ответствовали** и т. д. на **ответствовахомъ**, **ответствовасте**, **ответствоваху** в 1, 2 и 3 мн. (РГАДА, ф. 381, № 1017, л. 204 об.—205; см.: Бабаева 1989). То же соотнесение церковнославянских форм имперфекта с русскими *л*-формами итератива в парадигме «мимомшедшего» времени имеет место и в «Технологии» Ф. Поликарпова 1725 г. Формы мимомшедшего времени в «общем великороссийском диалекте» даются здесь в следующем виде: **«Мимомшедшее единственнѣ / ѓ, ты, онъ давно писывалъ, ѓ, ѓ / Множ: / Мы, вы, они давно писывали»** (Бабаева 2000, 300; ср. еще «Технологию» Поликарпова 1724 г.: РГАДА, ф. 201, № 6, л. 230; Бабаева 2000, 237).

Описанный выше механизм трансформации церковнославянской грамматической модели в русскую отражается во многих грамматических описаниях русского языка, начиная с самых ранних. Стимулом для его широкого внедрения было, как можно думать, стремление приспособить русский материал к универсальной грамматической модели.

Первая отчетливая попытка использовать способы глагольного действия для создания временных противопоставлений в русском языке (дифференциация только с помощью основ, но не флексий) может быть отмечена в латинской грамматике Ильи Копиевича. Латинские формы снабжаются в ней русскими эквивалентами, причем очевидно, что стремление передать латинскую дифференциацию форм делает особенно актуальным поиск русских соответствий.

Копиевич, судя по терминологии и ряду частных моментов, пользуется грамматикой Смотрицкого. При построении глагольных парадигм, однако, Смотриц-

кий не перерабатывался последовательно и не был, видимо, единственным источником. Распределение разных (отличающихся основами) форм по разным прошедшим временам не было систематическим, так что одна парадигма не похожа на другую (так же как и Адельфотес, пособие Копиевича было «переводной» грамматикой, что, вероятно, и обуславливало недостаток систематики). Можно думать, что, подыскивая русские эквиваленты, Копиевич мог ориентироваться (для разных глаголов) на разные значения латинских временных категорий, и отсюда возникал разнобой в соответствиях одной и той же латинской грамматической форме; в каких-то случаях, однако, факторы, определившие выбор соответствия, остаются совершенно не ясными⁹.

Ситуация осложняется еще и тем, что первоначально Копиевич неудачно соотнес латинскую парадигму с парадигмой Смотрицкого, поставив в соответствие имперфекту преходящее время, а перфекту — прешедшее. Действительно, в параграфе о временах указывается: «Praeteritum imperfectum ut Legebam, чель; Praeteritum perfectum ut Legi, читаль» (Копиевич 1700, 165; ср.: Смотрицкий 1619, л. О/2—2 об.). Осознав по ходу дела возникающие при этом семантические несоответствия, Копиевич попробовал исправить положение, добавив в эквиваленты имперфекту форму *читываль*, а в эквиваленты перфекту форму *прочель*, так что получилось «legebam — чель, читываль; legit — прочель, читаль» (1700, 214). В силу подобной путаницы эквивалентом для оппозиции латинского перфекта и имперфекта могут становиться у Копиевича пары форм, восходящие к противопоставлению (у Смотрицкого) непредельного и преходящего (*пошелъ — шелъ*, с. 314—315), преходящего и прешедшего (*слышалъ — слыхаль*, с. 247), прешедшего и преходящего (*читаль — чель*, с. 214).

При всей непоследовательности подобных соотнесений, в построениях Копиевича совершенно отчетливо выступает принцип противопоставления временных форм за счет различия основ при тождестве (для претеритов) флексии (л-формы). При этом обнаруживается ряд моделей и некоторые из них восходят к предшествующей грамматической традиции, представляя собой ее трансформацию (устранение флексий аориста и имперфекта). Так, трансформацией парадигм Смотрицкого представляется оппозиция форм прешедшего времени *слышалъ*, *несль* и преходящего *слыхаль*, *носиль* (1700, 247, 294); так же как и у Смотрицкого, для противопоставления двух времен здесь используются имперфективы. Аналогичным образом трансформацией предшествующей грамматической традиции кажется и оппозиция претеритов, построенных с помощью итеративов; итеративная основа используется Копиевичем по большей части для построения форм мимошедшего времени, поставленного в соответствие плюсквамперфекту,

⁹ Так, не исключено, что Копиевич, давая в прешедшем времени глаголы несовершенного вида (*читаль*, *любиль*, *слышалъ* и т. д.), имел в виду perfectum historicum, а давая глаголы совершенного вида, в ряде случаев инхоативные, ориентировался на perfectum praesens. Появление в преходящем времени итеративных глаголов (*любиваль*, *научиваль*, *читываль*) может быть соотнесено с употреблением имперфекта для обозначения обычаев или повторяющихся действий (событий). Для ряда соответствий, однако, не видно никаких оснований, ср. *быль недавно* в соответствии с имперфектом, *нехотѣль быть* в конъюнктиве в соответствии с перфектом, *невосхотѣль* в соответствии с плюсквамперфектом и т. д. (Копиевич 1700, 179—286).

ср. в парадигмах индикатива: *любиваль былъ, оучивали, прочитываль, слыхиваль, бываль*; в парадигмах конъюнктива: *любиваль, оучиваль, слухиваль, бываль прежде* (1700, 171, 175, 192, 196, 215, 240, 252, 267, 282; ср. выше о Донатусе Дм. Герасимова)¹⁰.

Последняя модель закрепляется и в «Руководении в грамматику во славяно-русскую», где даются следующие формы: преходящее: *ты, онъ былъ, была, было; мы, вы, они были*; прешедшее: *ты, онъ былъ, была, был; мы, вы, они были*; мимошедшее: *ты, онъ бываль, бывала, бывало; мы, вы, они бывали* (Копиевич 1706, л. С/1 об.—2). Данная парадигма представляет инверсию аналогичной парадигмы в латинской грамматике: русский и латинский столбцы лишь поменяны местами и из соответствий имперфекта устранено наречие *недавно*. Здесь, таким образом, трансформация старой грамматической модели, состоящая в устранении флексий простых претеритов, занимает свое место в собственно русской (не «переводной») грамматике.

Этот характерный момент получает дальнейшее развитие в грамматике Соие. Одним из основных источников этой грамматики был Лудольф (Успенский 1987а, с. IX сл.), и именно к Лудольфу восходит у Соие разделение глаголов на первообразные и производные и выделение среди производных глаголов учащательных (*frequentatifs*). Как и у Лудольфа, с этого разделения начинается глава, посвященная глаголу: «*Les verbes sont primitifs ou derivez: entre les derivez les frequentatifs sont le plus en usage: on s'en sert toujours, lorsqu'on parle d'une action indeterminée, comme обманивать obmanivati frequentatif de обманить tromper <...> De même умывать <...> est frequentatif de умыть laver, обчесывать <...> de чесать peigner, оцѣнять <...> de цѣнить estimer» (Соие, I, 112—113). Легко видеть, что это простой перевод соответствующего пассажа Лудольфа (см. цитату выше) с добавлением нескольких новых примеров. Эти новые примеры, впрочем, содержат одну принципиальную инновацию: с итеративными образованиями здесь соединяются имперфективные (*цѣнить — оцѣнивать*).*

Выделив итеративы как отдельную категорию глаголов, Лудольф не включает их в парадигму глаголов «первообразных», т. е., видимо, рассматривает данное деление как словоклассифицирующее. Соие, однако, идет иным путем. Он различает два прошедших времени — имперфект и перфект (с последним тождествен плюсквамперфект). Для дифференциации этих времен и служат итеративные основы. Как пишет Соие, «*L'Imparfait n'est qu'un frequentatif du parfait par l'addition d'une syllabe au milieu du mot, comme ночеваль <...> est frequentatif du parfait ночевал, <...> дивовался <...> de дивился, вставаль <...> de всталъ, <...> за-*

¹⁰ Вместе с тем у Копиевича выделяется и вполне новая модель, а именно употребление в качестве эквивалента плюсквамперфекта (в мимошедшем времени) аналитических образований с вспомогательным глаголом *былъ, были*, ср. *любиваль былъ, любивали были, оучиваль былъ, хотѣль былъ, хотѣли были, могль былъ, могли были, пошелъ былъ, пошли были* (1700, 171, 195, 275, 289, 311). Источник этой инновации очевиден. Это польский язык и польские грамматики, фиксировавшие давнопрошедшее время. При перенесении на русскую почву подобные образования могли ассоциироваться с русскими модальными конструкциями неполного действия с энклитикой *было*. Дальнейшую трансформацию этой модели Копиевича можно видеть во втором и третьем давнопрошедшем Ломоносова (*бывало тряся, бывало трясываль — Ломоносов, IV, 109/VII², 480*).

бываль <...> de забыль, <...> криваль <...> de крыль... &c.» (с. 117). Это построение реализуется далее в многочисленных приводимых Соие парадигмах, в которых дифференцируются такие формы, как *быль* — *бываль* (с. 143—144), *имѣль* — *имѣваль* (с. 151—152), *зналь* — *знаваль* (с. 163), *цѣнилъ* — *цѣниваль* (с. 172), *ночеваль* — *ночевоваль* (с. 182—183), *резаль* — *резываль* (с. 191—192), *любиль* — *любиваль* (с. 199—200), *дивилься* — *дивовалься* (с. 206—207), *ходилъ* — *хоживаль* (с. 214—215), *носиль* — *носиваль* (с. 222—223), *грозиль* — *грозиваль* (с. 230—231), *пустиль* — *пуциваль* (с. 238—239), *спаль* — *сыталь* (с. 247—248), *жилъ* — *живаль* (с. 254—255), *могъ* — *могаль* (с. 264—265), *текъ* — *текиваль* (с. 271—272), *купиль* — *купиваль* (с. 279—280), *забыль* — *забываль* (с. 286—287), *крыль* — *криваль* (с. 309—310), *мыль* — *мываль* (с. 314), *пѣль* — *пѣваль* (с. 318), *зваль* — *зываль* (с. 322), *краль* — *крадиваль* (с. 326), *несь* — *носиль* (с. 330), *възь* — *возиль* (с. 334), *ѣхаль* — *ѣзжываль* (с. 342), *рость* — *ростываль* (с. 346), *умерь* — *мираль* (с. 350), *всталь* — *вставаль* (с. 354), *далъ* — *даваль* (с. 358), *браль* — *бираль* (с. 362). Как можно видеть, в этих парах используются не только итеративы, но и имперфективы (например, *несь* — *носиль*). Такого рода образования Соие рассматривает как вполне регулярные, и, осуществляя эту регулярность, он нередко создает искусственные формы.

Таким образом, принцип построения парадигмы у Соие разительно отличается от принципов Лудольфа и воспроизводит те черты, которые характерны для славянской грамматической традиции. Представляется весьма вероятным, что именно из этого источника он и почерпнул данную модель (дифференциация претеритов с помощью итеративных или имперфективных основ). Можно думать, что непосредственным источником для него был Смотрицкий, с которым его объединяет и идея регулярного образования «учащательных» глаголов от «первообразных», и соотнесение «первообразных» форм с перфектом, а «учащательных» с имперфектом. Поскольку Соие в ряде случаев опирался на Смотрицкого, правдоподобно, что и здесь он преобразует модели, идущие из данного источника. Не исключено, что Соие был знаком и с латинской грамматикой Копиевича, которая в этом случае могла играть для него роль прецедента¹¹. Как бы то ни было, Соие не следует за радикальными инновациями Лу-

¹¹ Зависимость от Смотрицкого видна в ряде частных деталей. Например, в главе о местоимении Соие, следуя за Лудольфом, дает личные местоимения, а затем местоимение возвратное. Лудольф после этого переходит к притяжательным (1696, 22), у Соие же перед притяжательными располагается парадигма местоимений «самой оу самъ» (I, с. 90—91). Такой порядок в точности повторяет Смотрицкого (1619, л. Л/1—2).

Вопросом о знакомстве Соие с латинской грамматикой Копиевича побуждает заняться парадигма глагола *любить*. Само появление этой парадигмы значимым не является, поскольку *ато* представляет собой стандартный пример первого спряжения в латинской грамматике и это тем или иным образом отражается во множестве грамматик европейских языков. Привлекают внимание общие для Соие и Копиевича формы итератива *любиваль*, *любивали* (Соие, I, 199; Копиевич 1700, 170) без *l-epentheticum*. Если появление этих форм у Соие не объяснять искусственным механическим словопроизводством (вставка *-ва-* без изменения основы), подобное сходство может свидетельствовать об использовании грамматики Копиевича как вспомогательного источника.

дольфа, а трансформирует образцы, созданные предшествующей грамматической традицией.

Отчасти сходное и вполне от Сойе независимое решение находим в грамматике Ивана Афанасьева (см.: Успенский 1989, 231—233). Используемая им немецкая грамматическая схема предполагает различие трех прошедших времен, имперфекту, перфекту и плюсквамперфекту он ставит в соответствие преходящее, прошедшее и мимошедшее. В преходящем и прошедшем Афанасьев, как правило, дает одни и те же глагольные формы (так же, как это делает Глюк), единственное исключение не имеет отношения к рассматриваемой нами проблематике (см.: Успенский 1989, 232). Мимошедшее, однако, последовательно дифференцировано от других претеритов, и для этого использованы итеративные глагольные основы. В приводимых Афанасьевым парадигмах находим оппозиции: *иметь* — *имеваьль*, *пребыль* (*быль*) — *пребываьль*, *любиль* — *любліваьль*, *любилься* — *любліваьлься* (Harvard Univ., The Houghton Library, Kilgour, MS Russ 5, p. 29—43; см.: Успенский 1989). Хотя возможно, что Афанасьев мог пользоваться в качестве одного из источников латинской грамматикой Копиевича, его построение в первую очередь отсылает к славянской грамматической традиции, которую, видимо, он освоил еще в рамках своего первоначального лингвистического образования.

В наибольшей степени церковнославянская грамматическая традиция осваивается и критически используется в грамматике Пауса. Похоже, что Паус был знаком с поздними достижениями этой традиции — с грамматикой Максимова или грамматическими трактатами Поликарпова. Во всяком случае в описании временных категорий славянского глагола он в целом следует той же модифицирующей Смотрицкого схеме, что и два названных грамматиста. Он указывает, что по существу различаются «*nur vier Tempora in ieden Verbo nach der Endung und Bedeutung*» (БАН, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 103). Эти четыре времени состоят из презенса, *praeteritum imperfectum*, *futurum* и *indefinitum*. Имперфект образуется из презенса (*бію* — *билъ*), а *indefinitum* («непредельное») из футурума (*побію* — *побиль*), которое в свой черед образуется из презенса с помощью аугмента (*бію* — *побію*, *люблю* — *возлюблю*). Следуя Смотрицкому, Паус упоминает еще два прошедших времени, перфект и плюсквамперфект (типа *любяхъ* и *любяхъ* — л. 118), однако указывает, что они неупотребительны («*in-usitatum*» — л. 116 об.) или встречаются очень редко (л. 103).

Как и другие грамматисты, начиная от Смотрицкого, Паус в качестве одной из акциденций глагола рассматривает «вид» (*species*), разделяя глаголы на «первообразные» (*primitiva*) и производные от них «учащательные» (*frequentativa*) и «начинательные» (*inchoativa*) (л. 97—97 об.). Он посвящает обширный раздел правилам образования «учащательных» от «первообразных» (л. 97—101), включая в число учащательных как имперфективы (например, *чту* — *читаю* — л. 97), вторичные имперфективы (например, *продаю* — *продаваю* — л. 98 об.) и итеративы (например, *продаю* — *продаываю* — л. 98 об.¹²). Паус осознает, что «учащательные» образуются не от всех глаголов (например, фреквентатив отсутству-

¹² Здесь Паус ссылается на Уложение 1649 г., гл. XXI, ст. 53, где в действительности мы находим «он ту лошадь ему не продаывал» (Уложение 1987, 123), т. е. характерный для делового языка итератив в прошедшем времени с отрицанием.

ет у глагола *иду* — л. 100 об.), однако он не отказывается от производства искусственных форм, нужных ему для порождения приставочных образований (например, он указывает, что *лагаю* от *ложу* «*in usitatum est*»), но появляется в производных с аугментом *под, при, за, воз, пред* и т. д. — л. 100 об.). Паус не дает отдельных парадигм «учащательных» глаголов, но, вслед за Смотрицким, говорит о них, приводя парадигмы соответствующих «первообразных» глаголов. Так, например, рассматривая парадигмы глаголов *беру* и *веду*, он указывает, что от них образуются фреквентативы *бираю* и *вожду*, из которых порождаются претериты *бираль* и *водил*; они «*in einer neuen Conjugation fortgesetzt werden*» (л. 121). Отдельного прошедшего времени, образуемого *л*-формами итеративов или имперфективов, Паус не предусматривает, рассматривая тем самым фреквентатив как словоклассифицирующую категорию. Такое решение вновь напоминает грамматику Федора Максимова.

Эта попытка систематизировать глагольную систему, учтя все формы и детали, приводит к достаточно сложному и запутанному описанию с множеством незасвидетельствованных форм. Не удивительно, что эта трактовка глагола была отвергнута Адодуровым, который предпочел более простую схему Лудольфа. У этой схемы также были свои недостатки, которые не бросаются нам в глаза лишь в силу того, что она напоминает нам привычное для нас описание русского глагола. Как уже было сказано, Адодуров, следуя славянской грамматической традиции, выделяет итеративы и инхоативы, однако вслед за Паусом (и, возможно, Максимовым) трактует их как словоклассифицирующую категорию; итеративы оформляются в отдельную парадигму, что Адодуров и демонстрирует, приводя две разных парадигмы для глаголов *быть* и *бывать* (Адодуров 1731, 40—41).

Однако, постулируя лишь одно прошедшее время, Адодуров сталкивается с другим противоречием в распределении глагольных форм по парадигмам. Вслед за Паусом Адодуров предусматривает два способа образования будущего времени. Паус в качестве основного рассматривал образование футурума с помощью аугментов или предлогов (*praepositionum*), состав которых он определяет — с небольшими модификациями — в соответствии с церковнославянской грамматической традицией (ср. Смотрицкий 1619, л. P/5 об.); их выбор для каждого глагола должен быть «*ex usu zu lernen*» (л. 111 об.). В качестве дополнительного способа образования футурума Паус указывает (следуя Лудольфу и Глюку) производство с помощью глаголов, которые могут быть названы вспомогательными (*auxiliaria*), а именно *буду, стану, учну, имамъ* (л. 113). Адодуров усваивает от Пауса идею двух форм будущего, однако в качестве основного рассматривает способ образования с помощью вспомогательных глаголов, а в качестве дополнительного — с помощью приставок (которые он, вслед за Лудольфом, именует частицами): «*Das Futurum wird gemeinlich vom Infinitiuo formiret, wenn ich nemlich nach selbigen буду oder стану oder имъю <...> hinzusetze, als: буду писать стану писать имъю писать <...> Jedoch findet man auch Verba, bei welchen das Futurum vom Praesenti mit Versetzung der Particuln po und na oder vergleichen hergeleitet wird, als: пойду <...> von иду <...> налью von лью»* (Адодуров 1731, 39).

Для Пауса проблемы распределения форм по парадигмам здесь не возникает: *поберу* или *сберу* входит в одну парадигму с *беру* (наряду с вариантным будущим *стану* или *буду брать*), и в ту же парадигму входит претерит от этих приставоч-

ных образований (*побраль* или *сбраль*), который и дает второе прошедшее время (*indefinitum*) (л. 120). Собственно, можно предполагать, именно необходимость пристроить эти формы и является одним из основных мотивов появления второго прошедшего времени (Паус, впрочем, обращает внимание и на различие в значении, но как раз это различие, обусловленное видовой оппозицией, в данном случае имеется). Адодуров, отказываясь от второго прошедшего времени, не оставляет в парадигме места для данных форм, которые оказывается некуда поместить. Нерешенность этой проблемы приводит к полной непоследовательности в кодификации. В парадигме глагола *дѣлать* приводится только будущее *я буду делать*; ни *сдѣлаю*, ни *сдѣлалъ* просто не упомянуты (Адодуров 1731, 43). В парадигме глагола *вѣрить* приводится будущее *я буду вѣрить* (а форма *я поверю* дается дополнительно), однако в прошедшем времени появляются варианты формы *вѣрилъ* или *повѣрилъ* (с. 43). Наконец, в парадигме глагола *бывать* находим еще одно решение: будущее приводится только в форме *я побываю*, а о соответствующем ему *я побывал* не сказано ни слова (с. 41).

Нетрудно понять, какие моменты затрудняли решение данных проблем в русской грамматической традиции. С одной стороны, в репертуаре используемых грамматических категорий отсутствовала категория вида (в ее современном понимании), вместо нее в этом репертуаре была категория *species*; она давала наборы глаголов, различающихся способом глагольного действия, формы которых плохо объединялись в единую парадигму. С другой стороны, признание особого парадигматического статуса у приставочных глаголов сов. вида (презентные формы которых трактуются в рассматриваемой традиции как будущее от соответствующих глаголов несов. вида) казалось невозможным, поскольку в этом случае появлялись парадигмы с отсутствующим презентом, а это противоречило представлениям об универсальном устройстве грамматики¹³.

Универсальные схемы не были безразличны ни для Пауса, ни для Адодурова, хотя они понимали, что разные языки устроены по-разному и наборы грамматических категорий в них могут не совпадать. Такая точка зрения была, видимо, сознательным отступлением от традиционного грамматического подхода, на котором основывалась грамматика Смотрицкого и который требовал нахождения (или создания) собственно грамматических элементов, обеспечивающих адекватную передачу структуры образцовых (классических) языков. Несовпадения с универсальными схемами возможны, однако они требуют оговорок. Паус осторожно замечает, что два прошедших времени (перфект и плюсквамперфект), исключенных им из славяно-русской глагольной системы, неупотребительны (л. 103—103 об.), а Адодуров твердо констатирует: «Von dem *Imperfecto* und *Plusquamperfecto* wissen die Rußischen *Verba* eigentlich nichts, wo aber dergleichen Expressionen vorkommen, pflegt man zu dem *Perfecto* die *Aduerbia* недавно nicht

¹³ Лудольфа эти проблемы не волновали. Он ограничивался одной формой будущего, образуемой с помощью вспомогательных глаголов, а противопоставление симплексов и образованных от них приставочных глаголов сов. вида с временами глагола не соотносил. В результате у него появлялись формы *л вѣдѣ* или *л станѣ здѣлатъ* (Лудольф 1696, 30). Понятно, что грамматисты, лучше знавшие русский язык, такого решения себе позволить не могли.

längst, und давно längst, hinzusetzen, als: ich laß я недавно читаль; ich hatte gelesen, я давно читаль» (1731, 39). Такие же оговорки делаются относительно наклонений. Паус, определив индикатив, императив и инфинитив, замечает: «Nur diese 3 Modi kommen im Rußischen vor, denn die Art u[nd] weise zu fügen, zu wünschen, zu bedingen» (л. 102 об.), хотя относительно церковнославянской грамматики указывает, что в ней выделяются и другие наклонения. Повторяя Пауса, Адодуров заявляет: «So genannte *Modos Verborum* zehlen die Rußen in ihrer Sprache nur drey, nemlich *Indicativum, Imperativum, und Infinitivum*» (1731, 38), — не упоминая при этом те искусственные эквиваленты других наклонений, которые подыскивались в церковнославянских грамматиках. В рамках этих представлений вообразить себе парадигму глагола с отсутствующим презенсом было невозможно, и этой невозможностью объясняются те несовершенства — разные, но идущие из одного источника, — которые свойственны организации глагольных парадигм и у Пауса, и у Адодурова.

Было ли то решение, которому следует Адодуров в «Очерке» 1731 г., выработано в согласии со Шванвитцем, остается неясным. Раздел, посвященный глаголу в «Русской грамматике» Шванвитца, до нас не дошел (Кайперт 1992; рукопись БАН, F.N. 250). Между тем в своей «Немецкой грамматике» Шванвитц скорее идет по тому же пути, что и Сойе. В соответствиях имперфекту и перфекту немецкого глагола используются разные основы. С перфектом соотнесены «первообразные» основы, с имперфектом — итеративные или имперфективные. У Шванвитца фигурируют следующие оппозиции: *любиль* — *любиваль* (Шванвитц 1730, 217), *быль* — *бываль* (с. 227—228), *хвалиль* — *хваливаль* (с. 237), *умерь* — *умираль* (с. 259), *записаль* — *записываль* (с. 283), *говорили* — *говоривали* (с. 287), *быль голодень* — *бываль голодень* (с. 291), *соизволил* — *соизволяль* (с. 293), *писали* — *писывали* (с. 295). Тот же набор оппозиций находим и во втором издании грамматики 1734 г., отредактированном Адодуровым (единственное изменение — это замена формы *говоривали* на *говаривали*: Шванвитц 1734, 245)¹⁴. Как и в случае с Сойе, источник этой дифференциации можно видеть в славянской грамматической традиции (скорее всего, в грамматике Смотрицкого), приспособленной автором к описанию русского глагола (в результате устранения несвойственных русскому языку флексий).

С построением Шванвитца непосредственным или опосредованным образом связана и трактовка глагола в грамматике Гренинга. Разные части изданной Гре-

¹⁴ Шванвитц стремится дать соответствия и для плюсквамперфекта. В этих соответствиях, однако, четкой последовательности не выдерживается. Существенно, что за одним исключением в этих соответствиях фигурируют те же глагольные формы, что и в имперфекте или перфекте, т. е. дифференциация ограничивается на деле бинарным противопоставлением. Чаще всего плюсквамперфект образуется из формы перфекта добавлением наречия *давно* (*давно хвалиль, давно записаль, давно говорили, быть давно голодень, давно соизволил, давно писали* — Шванвитц 1730, с. 239, 283, 287, 291, 293, 295), и это напоминает «Очерк» Адодурова. В одном случае *давно* добавляется к форме имперфекта (*давно бываль* — 1730, с. 229). Еще в одном случае, наконец, имеется тройное противопоставление (*умерь* — *умираль* — *умирываль* — 1730, с. 259). Во втором издании Адодуров несколько уменьшает этот разнобой, заменяя в последнем случае *умирываль* на *давно умираль* (Шванвитц 1734, 215).

нингом книги (грамматика, словарь, разговорник, хрестоматия) восходят к разным источникам (Кайперт 1988а; ср.: Дюрович 1983). Что касается самой грамматики, то, как показал Б. А. Успенский (1972; 1974; 1975), ее первая часть (Введение и раздел «Om Orthographien») является прямым переводом грамматического трактата Адодурова, написанного до 1738—1739 г. Основываясь на этом, Б. А. Успенский сделал вывод, что и две другие части («Om Etymologien» и «Om Syntaxi») восходят к тому же трактату Адодурова, хотя русский текст этих частей до нас не дошел. Действительно, эти две части обнаруживают ближайшее сходство с адодуровским грамматическим очерком 1731 г., а в отдельных фрагментах представляют собой прямой перевод соответствующих пассажей (Унбегаун 1958, 115). Материалы «Очерка» выступают у Гренинга, однако, в существенно переработанном виде, и эта переработка во многом напоминает «Немецкую грамматику» Шванвитца, а именно — если входить в детали — ее второе издание, отредактированное Адодуровым (Кайперт 1988а, 91—92). Кто осуществил эту переработку, послужившую оригиналом для шведского издания, — Адодуров, Шванвитц или сам Гренинг, остается пока что неясным и сейчас для нас несущественно. Значительной переработке подверглось и описание глагольной системы, причем инновации сходны с теми решениями, которые обнаруживаются в «Немецкой грамматике»¹⁵. В данном аспекте отношение грамматики Гренинга к «Очерку» Адодурова ближайшим образом напоминает отношение Соие к Лудольфу — только в одном случае стимулом к переработке оказывается Смотрицкий, а в другом — Шванвитц.

¹⁵ Решения, которые мы находим в первом издании «Немецкой грамматики» 1730 г., появляются затем в адодуровском очерке 1731 г. (Кайперт 1983, 101—109), возможно, не прямо, а через посредство «Русской грамматики» Шванвитца. В описании глагольной системы Адодуров Шванвитцу, однако, не следует (возможно, кроме как в перифрастическом эквиваленте для немецкого плюсквамперфекта — Кайперт 1983, 106). Редактируя второе издание, Адодуров между тем не заменяет систематику Шванвитца на систематику своего «Очерка», а лишь устраняет некоторые непоследовательности. Это может означать, что Адодуров изменил свои взгляды, признав тот подход, который позднее отразился у Гренинга; в этом случае разная трактовка времен в «Очерке» 1731 г. и в грамматике Гренинга не является аргументом против авторства Адодурова. Возможно, однако, что Адодуров просто не хотел вносить радикальных изменений в чужой текст (см. о внесенных Адодуровым изменениях: Бауманн 1973, 649—652). Как бы то ни было, можно предполагать тесное сотрудничество Адодурова и Шванвитца в 1730-е годы и думать, что в оригинале раздела «Om Etymologien» отразился курс русского языка, преподававшийся в Академической гимназии, в создании которого участвовали и Адодуров, и Шванвитц. Вместе с тем, непоследовательность гренинговской систематики (см. ниже) скорее указывает на компиляцию, чем на принципиально новое описание, и это может служить аргументом для ее атрибуции Гренингу (*pace* Кайперт 1988а, 96).

Что касается «Русской грамматики» Шванвитца, то ее значение для выработки схем описания глагола остается неясным, поскольку в дошедшей до нас рукописи раздел, посвященный глаголу, утерян (Кайперт 1992). Не исключено, конечно, что использование способов глагольного действия для дифференциации временных форм переходит к Гренингу непосредственно из «Русской грамматики» Шванвитца (если предположить, что в этой грамматике время трактовалось так же, как и в «Немецкой грамматике» 1730 г.). Влияние «Очерка» Адодурова, однако, этим не устраняется — именно отсюда идут разные парадигмы глаголов *быть* и *бывать*.

У Гренинга воспроизводится деление глаголов на первообразные и производные с выделением среди производных «*Verba Inchoativa och Frequentativa*» (Гренинг 1750, 127) из Очерка Адодурова 1731 г., добавлены лишь примеры (для учащательных: *читаю, рассказываю*). Такое начало побуждает думать, что Гренинг (точнее, неизвестный автор его оригинала) рассматривает способы глагольного действия как словоклассифицирующую категорию. Подтверждением этому служат парадигмы глаголов *быть* — *бывать*. В точности повторяя «Очерк» (см. выше), Гренинг дает для них отдельные парадигмы, выделяя три времени — настоящее, прошедшее и будущее (*есмь* — *быль* — *буду*; *бываю* — *бываль* — *побываю*, с. 132—134).

Все остальное описание глагольной системы, однако, этому подходу противоречит. Говоря о временах, Гренинг выделяет два прошедших времени — перфект и имперфект, причем определение значений этих времен представляет собой непосредственный перевод формулировок Шванвитца (Гренинг 1750, 128; Шванвитц 1730, 216; 1734, 170). Для дифференциации форм, как и у Шванвитца, используется итеративная основа (*я любливалъ, я учивался*). Дается правило образования форм имперфекта от перфекта: «*Imperfectum härledes istrån Perfecto, når man förändrår ль і валь, såsom: говорилъ <...> говаривалъ; <...> сказалъ <...> сказывалъ*» (1750, 130). Эта схема реализуется и в приводимых Гренингом парадигмах (кроме *быть* и *имѣть*), ср. здесь оппозицию форм перфекта и имперфекта: *дѣлалъ* — *дѣлывалъ* (с. 137), *хвалилъ* — *хваливалъ* (с. 138), *ѣлъ* — *ѣдалъ* (с. 140) (второй пример опять же отсылает к Шванвитцу — 1734, 187—189)¹⁶. Таким образом, та трансформация славянской грамматической традиции, которую мы находим у Шванвитца, утверждается в академической кодификации, приходя на смену построению глагольной парадигмы с одной претеритной категорией, наблюдавшемуся у Лудольфа и в «Очерке» Адодурова¹⁷.

¹⁶ Так же как и Шванвитц, Гренинг, видимо, не ограничивается итеративными основами, но может использовать и основы имперфективные. Во всяком случае в списке глаголов с формами презенса, претерита и инфинитива у Гренинга даются (только в его начале) две претеритных формы (вероятно, имперфекта и перфекта), а именно: *бросалъ, бросилъ; каталъ, катилъ; кидалъ, кинулъ; ступалъ, ступилъ; толкалъ, толкнулъ; хлѣбалъ, хлѣбнулъ; прыгалъ, прыгнулъ* (Гренинг 1750, 142).

¹⁷ Непоследовательность в систематике Гренинга не сводится к тому, что по-разному трактуются различия основ и временные категории в парадигме глагола *быть* и в описании способов глагольного действия, с одной стороны, и в описании других элементов глагольной системы и в большинстве парадигм, с другой. Дав определение четырем временам русского глагола, Гренинг затем повторяет, хотя и в несколько измененном виде, тот пассаж из «Очерка» Адодурова 1731 г., где даются перифрастические соответствия с *недавно* и *давно* для имперфекта и плюсквамперфекта (см. цитату выше). У Гренинга также говорится о том, что, добавив к форме перфекта наречие *недавно*, можно получить имперфект, тогда как для получения плюсквамперфекта употребляется наречие *давно* (1750, 129). Создание перифрастического эквивалента для имперфекта никак не согласуется с выделением его как отдельного времени, отличного от перфекта, а предполагаемая приведенной формулировкой эквивалентность *любилвал* и *недавно любил* представляет очевидную несообразность. Подобные противоречия наиболее естественно объясняются как неудачная компиляция из разных источников. Кажется сомнительным, что создателем такой компиляции мог быть Адодуров или Шванвитц.

Свою роль в этом процессе могла сыграть и латинская грамматика, бывшая в употреблении в Академической гимназии, — *Vollständige lateinische Grammatica Marchica* (ср.: Кайперт 1988а, 92; Кайперт 1986, 396 сл.). Первоначально использовался немецкий оригинал этой грамматики, повлиявший на ряд формулировок Адодурова и Гренинга. Позднее был в ходу русский перевод В. И. Лебедева напечатанный в 1746 г. (Сокращение 1746) (когда он возник и не было ли до него других переводов, неясно — см.: Кайперт 1994). Как и в других «переводных» грамматиках, русские эквиваленты даются здесь непоследовательно, чаще всего отдельное соответствие получают формы плюсквамперфекта и в этом качестве фигурируют итеративы *читываль, учиваль, бываль, любливаль, говариваль, слыхиваль, отвѣдываль, нашиваль* — 1746, с. 103, 106, 108, 126, 128, 132, 199), хотя возможны и имперфективные образования (*признавался, начиналь* — 1746, с. 119, 215); в ряде случаев разные формы поставлены в соответствие перфекту и имперфекту (*прочоль — читаль, услышалъ — слышалъ, несь — носиль* и т. д. — 1746, с. 121. 127—128, 198). Можно думать, что этот перевод — в сочетании с Шванвитцем и Гренингом — свидетельствует о том, что подобный подход характеризует в целом академическую филологию 1730—1740-х годов.

Дальнейшее утверждение этого же подхода обнаруживается и в «Российской грамматике» Ломоносова. Поскольку Ломоносов был несомненно знаком с «Немецкой грамматикой» Шванвитца и в ряде моментов следовал за нею (Бауманн 1973, 652; Кайперт 1983, 113—120), равно как и с «Сокращением грамматики латинской» в переводе В. И. Лебедева (Ломоносов, IX, 458—459, 493, 530; ср.: Коровин 1961, 292), можно думать, что она послужила стимулом и для формирования его представлений о систематике русского глагола. Не исключено и знакомство Ломоносова со «Славяно-русской грамматикой» Пауса.

Ломоносов идет дальше, чем кто-либо другой, в решении рассматривать способы глагольного действия как временные категории и объединить в составе одной парадигмы и итеративные образования, и приставочные производные сов. вида. Сочетав все это множество форм в одной парадигме, он стремится избежать тех противоречий, от которых не могли избавиться Паус и Адодуров. После ряда проб (ср.: Макеева 1961, 138—139) Ломоносов выделяет в русском глаголе десять времен, из которых шесть прошедшие: «Времен имеют Российские глаголы десять: осьмь от простых, да два от сложенных; от простых: 1) настоящее: трясу, глотаю, бросаю, плещу; 2) прошедшее неопределенное: трясъ, глоталъ, бросалъ, плескалъ; 3) прошедшее однократное: тряхнулъ, глонулъ, бросилъ, плеснулъ; 4) давно прошедшее первое: тряхивалъ, глатывалъ, брасывалъ, плескивалъ; 5) давно прошедшее второе: бывало трясъ, бывало глоталъ, бросалъ, плескалъ; 6) давно прошедшее третье: бывало трясывалъ, глатывалъ, брасывалъ, плескивалъ; 7) будущее неопределенное: буду трясти, стану глотать, бросать, плескать; 8) будущее однократное: тряхну, глотну, брошу, плесну. От сложенных: 9) прошедшее совершенное, напр.: написалъ от пишу; 10) будущее совершенное: напишу» (Ломоносов, IV, 109/VII², 480).

Таким образом, Ломоносов, развивая усвоенный им подход, вносит ряд оригинальных моментов: он устанавливает особое «прошедшее однократное» время для глаголов однократной совершаемости и отводит особое место в системе времен для прошедшего и будущего от приставочных производных совершенного

вида (в последнем, впрочем, прецедентом для него мог быть Ф. Максимов и Паус). Вместе с тем противопоставление «прошедшего неопределенного» и «давно прошедшего первого» воспроизводит решение, восходящее в конечном счете к церковнославянской грамматической традиции и неоднократно реализовавшееся в рассмотренных выше грамматиках (Сойе, Шванвица, Гренинга и других). И здесь — как и во многом другом — Ломоносов совмещает новаторство и следование традиции.

4. Ревизия ломоносовских принципов в дальнейшем развитии грамматической мысли. Итак, трактовка способов глагольного действия как временных категорий становится у Ломоносова структурным принципом. Последовательность такого описания сопряжена, однако, с нестандартностью и неудобством. Ломоносову приходится приводить длинные списки глаголов, по разным схемам образующие те или иные времена, и дополнять их многочисленными исключениями — глаголами, тех или иных времен не образующими (§§ 310—327, 376—383). Как известно, грамматика Ломоносова оказала определяющее влияние на всю последующую русскую грамматическую мысль. Тем не менее лишь немногие грамматики сохраняют предложенную Ломоносовым структуру глагольной парадигмы. К таким грамматикам относятся, например, «Краткие правила российской грамматики» 1773 г. (Краткие правила 1773, 39—40; ср.: Краткие правила 1784, 143—144) и «Russische Sprachlehre» Я. Родде (Родде 1773, 78—79), в которых повторяется не только ломоносовская схема, но и ломоносовские примеры. Н. Г. Курганов в своей «Науке российского языка» сохраняет схему, но пример заменяет оригинальным: *скачу, скакаль, скакнуль, скакиваль, бывало скакаль, бывало скакиваль, буду или стану скакать, скакну, поскакаль, поскачу* (Курганов 1777, 26)¹⁸. Лишь с несущественным изменением в последовательности перечисления времен и некоторой реаранжировкой примеров воспроизводит ломоносовскую систематику и В. Подшивалов (Подшивалов 1796, 7—8).

В ряде случаев, однако, ломоносовская систематика подвергается достаточно существенным преобразованиям. Направление этих преобразований может быть различным, однако во всех случаях авторы в той или иной мере возвращаются к доломоносовской грамматической традиции. Самое элементарное преобразование ломоносовской схемы находим в Академической грамматике 1802 г. В этой грамматике выделяются как основные настоящее, прошедшее и будущее время.

¹⁸ При этом стоит заметить, что Курганов в принципе критически относится к предшествующей грамматической традиции. Так, в разделе о наклонении он повторяет ломоносовскую схему трех наклонений, изъявительного, повелительного и неокончательного, и почти дословно воспроизводит ломоносовское рассуждение о желательном или сослагательном («А вместо желательного и сослагательного наклонений, которых у нас не имеется, употребляем изъявительное с приложением союзов, *когда бы, дабы, чтобы, ежели, естли*, и проч.» — Курганов 1777, 26; ср.: Ломоносов, IV, 109 /VII², 480). Однако к этому он от себя добавляет: «Кроме сих у Славян имеются наклонения: молителное или просителное по которому о чем кого либо просим или молим: *призри, помилуй, дай* или *подай, подаждь*, и пр. что в российском почитается за одно наклонение с повелительным» (Курганов 1777, 26). Этот критический подход распространяется у Курганова лишь на славянскую грамматику, но Ломоносова не затрагивает.

Прошедшее и будущее подразделяются, однако, на ряд специальных времен: прошедшее на «прошедшее несовершенное, прошедшее однократное, прошедшее совершенное и давнопрошедшее» (Российская грамматика 1802, 154), будущее на «будущее неопределенное, на будущее однократное и совершенное» (там же, 156). Таким образом, выделяется восемь времен, и вся ревизия Ломоносова состоит в том, что три давнопрошедших времени сведены в одно; о нем сказано: «Давнопрошедшее многократное означает многократное или учащательное действие или страдание вещи давно совершившееся, на пр: *писываль, читываль, хаживаль, говариваль* и проч. Примеч. В тех глаголах, которые не имеют давнопрошедшаго многократнаго простаго, дополняется сей недостаток прошедшим неопределенным временем с прибавлением спомогательнаго глагола *бывало*, на пр: *бывало посѣщаль, бывало сказываль* и проч. Слово *бывало* придается так же и к давнопрошедшему многократному времени на пр: *бывало хаживаль* и проч.» (там же, 155—156). И здесь, следовательно, отступление от Ломоносова является минимальным, хотя в других отношениях авторы Академической грамматики существенно от ломоносовской систематики отходят — в том прежде всего, что в качестве базовой формы избирают не 1 лицо ед. числа презенса, а инфинитив.

Существенно дальше идет Аполлос Байбаков. Он пишет: «Что сказал Г. Ломоносов о излишестве в Российском языке букв, тоже можно сказать и о излишестве десяти времен в Российскую грамматику введенных, § 263, по образцу Греческой грамматики. Сочинитель Новгородской грамматики [Ф. Максимов] на листу 36, к немалому облегчению учащихся оно излишество сократил, положив только время настоящее, преходящее, прешедшее и будущее. По мнению моему нужно к сим четырем прибавить пятое: давно прошедшее. Давно прошедшее можно сократить в одно: ибо на пр.: *брасывано бывало, бросаль, бывало брасываль*; все давно прошло» (Аполлос Байбаков 1794, 51). Байбаков, таким образом, избавляется от ломоносовской оппозиции прошедшего неопределенного и прошедшего однократного, основанной на способе глагольного действия. Вслед за Ф. Максимовым он строит противопоставление двух прошедших на основе видовых пар, сводя в одну парадигму симплексы и производные глаголы (это соответствует и выделению двух особых «совершенных» времен от «сложенных» глаголов у Ломоносова и решает проблему неаналитического будущего)¹⁹. Последовательность максимовской модели нарушается, однако, введением «давно прошедшего», что вновь связывает дифференциацию претеритов со способами глагольного действия. Модель Байбакова еще раз очень ярко показывает, как церковнославянская традиция трансформируется в русскую: повторяя Максимова, Байбаков устраняет церковнославянские флексии, но сохраняет различия основ.

Несколько по другому пути идет А. А. Барсов. Он отказывается от включения в одну парадигму «простых» и «сложенных» глаголов: «...Г. Ломоносов умно-

¹⁹ Повторяя Максимова, Байбаков дает правила образования двух прошедших времен: «От настоящего времени глаголов раждается время преходящее, на пр.: *читаю читаль, а, о; бью билъ, а, о; чую чуль; тлѣю тлѣль; нью нль; сѣю сѣль; (...)* А от будущаго раждается время прешедшее: *прочитаю, прочиталь; побью, побилъ; воспою, воспѣль*» (Аполлос Байбаков 1794, 54; ср.: Максимов 1723, 53). В точности воспроизводятся здесь и приводимые Максимовым примеры (см. их в той же последовательности: Максимов 1723, 47—48).

жил число оных [времен] до десяти; но все притом смешивали некоторым особливим образом глаголы простые со сложными, без чего, кажется, обойтись можно» (Барсов 1981, 546). В силу этого видовые отношения выводятся за пределы парадигмы (правда, не потому, что они осмысляются как видовые, а потому, что образуются с помощью разных, не описываемых правилами префиксов — там же, 545), тогда как различающиеся по способу глагольного действия основы сохраняют свою дифференцирующую роль. Вместе с тем, так же как и Байбаков, Барсов сводит три давнопрошедших к одному (там же, 546—547). В результате Барсов выделяет шесть времен: «1. Пять простых, которые в самих глаголах, как простых так и сложных образуются, с тех же самых букв как и глаголы начинаясь, а разнствуя только в окончаниях. Оныя суть: 1.) Настоящее (...) на пр. двигаю, трясу, глотаю, бросаю, плещу, гоню, гоняю (...) 2.) Преходящее (...): двигаль, трясь, глоталь, бросаль, плескаль, гналь, гониль, гоняль (...) 3.) Прошедшее (...): двинуль, тряхнуль, глонуль, плеснуль, бросиль (...) 4.) давно прошедшее (...) двигиваль, тряхиваль, глатываль, брасываль, плескиваль, ганиваль. 5.) будущее (...): тряхну, глону, брошу, плесну (...) 2. Одно сложное, называемое будущее ж неопределенное (...) как: буду или стану двигать, трясть, глотать, бросать, гнать, гонить, гонять» (там же, 543—544). Как явствует из набора приводимых Барсовым примеров, он перерабатывает схему Ломоносова. Показательно вместе с тем, что от ломоносовской терминологии Барсов отказывается, возвращаясь к номенклатуре более ранних грамматик (Шванвитца, «Сокращения грамматики латинской», Максимова). Такое же, как и у Барсова, преобразование ломоносовской систематики обнаруживается и в «Краткой российской грамматике» Сырейщикова (Сырейщиков 1787, 21—22).

Как при одном, так и при другом преобразовании возникает система, в которой в прошедшем времени устанавливается тройное противопоставление. Оно образуется, во-первых, оппозицией глаголов совершенного и несовершенного вида (типа *кинул* — *кидал* при устранении префиксальных образований или типа *читал* — *прочитал* при устранении прошедшего однократного), во-вторых, оппозицией обеих этих форм итеративным образованиям, трактуемым как давнопрошедшее время (*кидал* — *кидывал*, *читал* — *читывал*). Именно это тройное противопоставление осмысляется позднее как видовое (ср., например: Греч 1828, 45—46), откуда и начинается разработка теории русского вида (Виноградов 1947, 477 сл.). Этот этап, однако, выходит за рамки нашего рассмотрения. Оставаясь же в пределах XVIII в., видим, что одним из важнейших факторов развития русской грамматической мысли оставалось переосмысление церковнославянской грамматической традиции, ее трансформация, обусловленная отталкиванием от старого книжного языка и связанная одновременно с ориентацией на европейские грамматические модели. Таким образом, то сочетание преемственности и новизны, которое в целом определяет конституцию русского языкового стандарта, обуславливает и характер его грамматического описания.

Литература

- Августин Виноградский 1807а — Слово на Всерадостнейшее торжество о заключении мира между Россиею и Франциею, говоренное в Большом Успенском Соборе Преосвященным Августином, Епископом Дмитровским, Викарием Московским и Кавалером 1807 года, Июля 7 дня. М., 1807.
- Августин Виноградский 1807б — Слово, говоренное при погребении Его Сиятельства князя Павла Михайловича Дашкова Преосвященным Августином епископом Дмитровским, викарием Московским, 1807 года. М., 1807.
- Августин Виноградский 1808 — Слово на высокаторжественный день священной коронации Его Имп. Величества, Благочестиваго Великаго Государя Императора Александра I, говоренное Преосвященным Августином... М., 1808.
- Августин Виноградский 1811 — Слово на Высокаторжественный день Священной Коронации Его Имп. Величества благочестивейшаго великаго государя Императора Александра I, говоренное Преосвященным Августином... в большом Успенском Соборе 1810 года, Сентября 15 день. М., 1811.
- Августин Виноградский 1813а — Слово при совершении годичнаго поминовения по воинах, за веру и отечество на брани Бородинской живот свой положивших, говоренное преосвященным Августином... 1813 года, Августа 26 дня в Московском Сретенском монастыре. М., 1813.
- Августин Виноградский 1813б — Слово в высокаторжественный день Высочайшего Тезоименитства Его Имп. Величества, государя императора и самодержца всероссийскаго Александра I, по освящении Московскаго большаго Успенскаго Собора, говоренное Преосвященным Августином... М., 1813.
- Аверина и др. 1996 — *Аверина С. А., Азарова И. В., Алексеева Е. Л., Герд А. С., Кривоносов А. Д., Захарова Л. А.* Лексика и морфология в русской агиографической литературе XVI века: Опыт автоматического анализа. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996.
- Аверьянова 1957 — *Аверьянова А. П.* Рукописный лексикон Татищева. — Учен. зап. Лeningr. ун-та. № 197. 1957. С. 25—83 [Сер. филол. наук. Вып. 23].
- Аверьянова 1964 — Рукописный лексикон первой половины XVIII века / Подгот. к печати и вступит. ст. А. П. Аверьяновой. Л., 1964.
- Адельфотес 1591 — *Αδελφοτης*. Грамматика доброглаголиваго словенскаго языка. Совершеннаго искусства осми частей слова. Во Львове. 1591. Цит. по изд.: *Adelphotes. Die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik.* Hrsg. und eingeleitet von O. Horbatsch. München: Verlag Otto Sagner, 1988 [Specimina philologiae slavicae, Bd. 76].
- Адодуров 1731 — [*Адодуров В. Е.*]. Anfangs-Gründe der Russischen Sprache // *Teutsch-Lateinisch- und Russischen Lexicon...* СПб., 1731. Цит. по кн.: Унбегаун 1969.
- АЕ — Архангельское евангелие 1092 года: Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М.: «Скрипторий», 1997.
- Алексеев 1981 — *Алексеев А. А.* Эпический стиль «Тилемахиды» // *Язык русских писателей XVIII века.* Л.: «Наука», 1981. С. 68—95.

- Алексеев 1987 — *Алексеев А. А.* Participium activi в русской летописи: особенности функционирования // *Russian Linguistics*. 11 (1987). С. 187—200.
- Алексеев 1965 — *Алексеев П. Т.* «Статир» (Описание анонимной рукописи XVII века) // *Археографический ежегодник за 1964 год*. М., 1965. С. 92—101.
- Амвросий Юшкевич 1741 — Слово в высочайший день рождения... Императрицы Елисаветы Петровны всея России декабря 18 дня, 1741 года проповеданное Амвросием Архиепископом Новгородским. СПб., 1741.
- Амвросий Юшкевич 1742 — Слово в неделю двадесять вторую по сошествии Святого Духа. В высочайшее присутствие Ея Имп. Священнейшаго Величества, Благодетельнейшаго Самодержавнейшаго Крестоносня Императрицы Великия Государыни нашея Елисаветы Петровны Всея России... проповеданное... преосвященным Амвросием Архиепископом Великоновгородским и Великолуцким. В Московском Архангельском Соборе, 1742 года, Ноемвриа 8-го дня. М., 1742.
- Амвросий Юшкевич 1744а — Слово в день чудеснаго на Родителский Всероссийский Престол Ея Имп. Величества Возшествия Елисаветы Первья... Проповеданное... Преосвященным Амвросием Архиепископом Новгородским. В придворной Ея Имп. Величества Церкви. В Санктпетербурге Октября 25 дня 1743 года. М., 1744.
- Амвросий Юшкевич 1744б — Слово в день летнаго воспоминания Богом дарованнаго Коронации Ея Императорскаго Величества Елисаветы Первья... проповеданное Синодальным членом Преосвященным Амвросием Архиепископом Новгородским. В придворной Ея Императорскаго Величества церкви в Санктпетербурге 1743 года, месяца априлля 25-го дня. М., 1744.
- Амвросий Юшкевич 1744в — Слово в день торжественнаго Всецедраго Господу Богу принесеннаго третьяго благодарения, о состоявшемся вечном между Империею Русскою, и Короною шведскою мире... Проповеданное в Москве в Соборной Успенской Церкви Синодальным Членом Преосвященным Амвросием Архиепископом Новгородским. 1744 года, Июлиа 15 дня. М., 1744.
- Ананьева 1968 — *Ананьева В. П.* О формах дательного, творительного и местного падежей множественного числа имен существительных. (На материале памятников русской письменности второй половины XVI в.) // *Вопросы истории и теории русского языка*. Тула, 1968. С. 11—32.
- Андерсен 1969 — *Andersen H.* The Peripheral Plural Desinences in East Slavic // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics*. Vol. XII (1969). P. 19—32.
- Андерсен 1973 — *Andersen H.* Abductive and Deductive Change // *Language*. 49 (1973). P. 765—793.
- Андерсен 1989 — *Andersen H.* Understanding Linguistic Innovations // *Language Change. Contributions to the Study of Its Causes*. Ed. by L. E. Breivik and E. H. Jahr. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1989. P. 5—27 [Trends in Linguistics. Studies and Monographs 43].
- Аполлодор 1725 — Аполлодора грамматика афинеискаго библиотеки или о богах. М., 1725.
- Аполлос Байбаков 1794 — [*Аполлос Байбаков*]. Грамматика руководствующая к познанию Славенороссийскаго языка. Печатана в Типографии Киево-печерския лавры 1794 года.
- Афанасий Вольховский 1763 — Слово на Новый год, в Высочайшем Присутствии Ея Императорскаго Величества Всепресветлейшаго Державнейшаго Великия Государыни Нашея Екатерины Алексиевны, Императрицы и Самодержицы Всероссийския и Наследника Ея... в Придворной Церкви проповеданное Святейшаго Правительствующаго Синода Членом Преосвященным Афанасием Епископом Тферским. Генваря 1 дня, 1763 года. М., 1763.
- Афиани, Живов, Козлов 1989 — *Афиани В. Ю., Живов В. М., Козлов В. П.* Научные принципы издания // *Н. М. Карамзин. История государства Российскаго*. Т. 1. М.: «Наука», 1989. С. 400—414.

- Бабаева 1989 — *Бабаева Е. Э.* История русской лингвистической мысли начала XVIII в. и языковая практика Петровской эпохи (лингвистическая и редакторская деятельность Ф. Поликарпова). Диссертация на соискание уч. ст. канд. филолог. наук. М.: МГУ, 1989.
- Бабаева 2000 — *Федор Поликарпов.* Технологія: Искусство грамматики / Изд. и исслед. Е. Бабаевой. СПб.: Инапресс, 2000.
- Бакланова 1951 — *Бакланова Н. А.* «Тетради» старца Авраамия // Исторический архив, VI. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 131—155.
- Барсов 1762 — Слово, говоренное, по совершении Высочайшаго Коронования, Ея Всепресветлейшаго Величества Благочестивейшия Великия Государыни, Екатерины Вторыя, императрицы и Самодержицы Всероссийския, на публичном собрании Императорскаго Московскаго Университета, октября 3. дня 1762 году, профессором элоквенции Антоном Барсовым. М., [1762].
- Барсов 1981 — Российская грамматика Антона Антоновича Барсова / Под ред. Б. А. Успенского. М.: Изд-во Московского ун-та, 1981.
- Бауманн 1964 — *Baumann H.* Die erste in deutscher Sprache gedruckt Russisch-grammatik // Beiträge zur Geschichte der Slawistik. Berlin, 1964. S. 182—191.
- Бауманн 1969 — *Baumann H.* Die erste in deutscher Sprache gedruckte Grammatik des modernen Russischen und die Praxis der zeitgenössischen Literatursprache // Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 18. N. 5. 1969. S. 1—6.
- Бауманн 1973 — *Baumann H.* V. E. Adodurovs Bedeutung für Entwicklung der russischen Literatursprache // Zeitschrift für Slawistik, 18 (1973). S. 646—652.
- Бауманн 1980 — *Baumann H.* Groening und Adodurov // Sprache in Geschichte und Gegenwart. Jena: Friedrich-Schiller-Universität, 1980.
- Бевзенко 1960 — *Бевзенко С. П.* Исторична морфологія української мови. (Нариси із словозміни та словотвору). Ужгород: Закарпат. обл. вид-во, 1960.
- Белич 1932 — *Белич А.* О двојини у словенским језицима. Београд, 1932.
- Берков 1936 — *Берков П. Н.* Ломоносов и литературная полемика его времени: 1750—1765. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936.
- Бермел 1997 — *Bermel N.* Context and the Lexicon in the Development of Russian Aspect. Berkeley; Los Angeles, 1997 [University of California Publications in Linguistics. V. 129].
- Бернштейн 1974 — *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков: Чередования. Именные основы. М.: «Наука», 1974.
- Биржакова, Войнова, Кутина 1972 — *Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века: Языковые контакты и заимствования. Л.: «Наука», 1972.
- Бобрик 1988 — *Бобрик М. А.* Книжная справа первой половины XVIII века и проблемы нормализации русского литературного языка. Диссертация на соискание уч. ст. канд. филолог. наук. М.: МГУ, 1988.
- Бобрик 1988а — *Бобрик М. А.* Книжная справа первой половины XVIII века и проблемы нормализации русского литературного языка. Автореферат кандидатской диссертации. М.: МГУ, 1988.
- Богданов 1983 — Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века: Литературные панегирики / Подгот. текста, предисл. и коммент. А. П. Богданова. М., 1983.
- Бодрийар 1995 — *Бодрийар Ж.* Система вещей / Пер. с франц. С. Зенкина. М.: Рудомино, 1995.
- Бодуэн де Куртене 1903 — *Бодуэн де Куртене И. А.* Лингвистические заметки и афоризмы // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 346. 1903, апрель. С. 279—334; Ч. 347, 1903, май. С. 1—37.
- Брин 1983 — *Brien N.* Die Weißmannschen Wörterbücher — ein kurzer Vergleich der Erst- und Zweitaufgabe // Weismanns Peterburger Lexikon von 1731. (III). Grammatischer Anhang. München: Verlag Otto Sagner, 1983. S. 23—37 [Specimina philologiae slavicae, Bd. 48].

- Броунинг 1989 — *Browning R.* History, Language and Literacy in the Byzantine World. Northampton: Variorum Reprints, 1989.
- Буйе 1713 — [Буйе]. Книга о способах, творящих водохождение рек свободное. 2-е изд. М., 1713 [перевод Б. Волкова].
- Булич 1893 — *Булич С.* Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. Ч. I. СПб., 1893 [Записки историко-филологического факультета имп. С.-Петербургского ун-та. Ч. 32].
- Быкова и Гуревич 1955 — Описание изданий гражданской печати 1708 — январь 1725 г. / Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич; Ред. и вступит ст. П. Н. Беркова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955.
- Быкова и Гуревич 1958 — Описание изданий, напечатанных кириллицей 1689 — январь 1725 г. / Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Ваденюк и Мейчик 1879 — *Ваденюк П., Мейчик Д.* Поездка слушателей института в Москву // Сб. Археологического института. Кн. 2. СПб., 1879. С. 10—30.
- Варений 1718 — [Варений Б.]. География генеральная... Преведена с латинска языка на российскийски... М., 1718.
- Вахек 1964 — *Vachek J.* (ed.). A Prague School Reader in Linguistics. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1964.
- Вермеер 1994 — *Vermeer W. R.* On Explaining Why the Early North Russian nominative singular in *-e* does not palatalize stem-final velars // *Russian Linguistics*. 18 (1994). P. 145—157.
- Вермеер 1996 — *Vermeer W.* Historical Dimensions of Novgorod Inflection // *Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию А. А. Зализняка*. М.: «Индрик», 1996. С. 41—54.
- Вермеер 1997 — *Vermeer W. R.* Notes on Medieval Novgorod Sociolinguistics // *Russian Linguistics*, 21 (1997). P. 23—47.
- Вести-куранты 1983 — Вести-куранты. 1648—1650 гг. / Изд. подгот. В. Г. Демьянов, Р. В. Бахтурина. М.: «Наука», 1983.
- Вести-куранты 1996 — Вести-куранты. 1651—1652 гг., 1654—1656 гг., 1658—1660 гг. / Изд. подгот. В. Г. Демьянов. М.: «Наука», 1996.
- Виноградов 1938 — *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. 2-е изд. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1938.
- Виноградов 1947 — *Виноградов В. В.* Русский язык (грамматическое учение о слове). М.; Л.: Учпедгиз, 1947.
- Виноградов 1958 — *Виноградов В. В.* Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958 [IV Международный съезд славистов. Доклады].
- Виноградов 1969 — *Виноградов В. В.* О новых исследованиях по истории русского литературного языка // *Вопросы языкознания*. 1969. № 2. С. 3—18.
- Виноградов 1980 — *Виноградов В. В.* Избранные труды: О языке художественной прозы. М.: «Наука», 1980.
- Винокур 1959 — *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М.: Изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1959.
- Винтер 1958 — *Winter E.* Ein Bericht von Johann Werner Paus aus dem Jahre 1732 // *Zeitschrift für Slawistik*, 3 (1958). H. 5. S. 744—770.
- Владыкин 1774 — *Владыкин И.* Ода Е. И. В. великой монархине Екатерине Алексеевне... на вожделенный и всерадостный мир между Империею Российскойю и Портою Оттоманскою заключенный... СПб., 1774.
- Внутренний быт, I—II — Внутренний быт Русского государства с 17-го декабря 1740 года по 25-е ноября 1741 года, по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. I—II. М., 1880—1886.

- Во 1972 — *Waugh D. C.* Seventeenth-Century Muscovite Pamphlets with Turkish Themes: Toward a Study of Muscovite Literary Culture in its European Setting (unpublished Ph. D. dissertation). Harvard University, Cambridge, Mass., 1972.
- Вожеда 1647 — *Vaugelas C. F. de.* Remarques svr la langve françoise vtiles a cevx qui vevlant bien parler et bien escrire. Paris, 1647. Цит. по изд.: *Vaugelas C. F. de.* Remarques sur la langue françoise. Fac simile de l'éd. originale. Introduction bibliographique, index par J. Streicher. Paris, 1934.
- Возняк 1911 — *Возняк М.* Граматика Лаврентія Зизанія з 1596 р. // Записки наукового товариства імени Шевченка. Т. СІ (1911). Кн. І. С. 5—38; Т. СІІ (1911). Кн. ІІ. С. 11—87. Цит. по репринту: *Voznjak M.* Hramatyka Lavrentija Zyzanija z 1596 r. Lemberg 1911. München: Verlag Otto Sagner, 1990 [Specimina philologiae slavicae, Bd. 88].
- Вомперский 1968 — *Вомперский В. П.* Ненапечатанная статья В. К. ТрEDIAKовского «О множественном прилагательных целых имен окончении» // Филологические науки. 1968. № 5. С. 81—90.
- Ворт 1978 — *Worth D. S.* On «Diglossia» in Medieval Russia // *Die Welt der Slaven*, XXIII (1978). 2. С. 371—393.
- Ворт 1983 — *Worth D. S.* The Origins of Russian Grammar. Notes on the State of Russian Philology before the Advent of Printed Grammars. Columbus: Slavica Publishers, 1983.
- Ворт 1983a — *Worth D. S.* The «Second South Slavic Influence» in the History of the Russian Literary Language // *American Contribution to the Ninth International Congress of Slavists. Vol. I. Linguistics.* Ed. by M. Flier. Columbus: Slavica Publishers, 1983. P. 349—372.
- Ворт 1984 — *Worth D. S.* Incipits in the Novgorod Birchbark Letters // *Semiosis: Semiotics and the History of Culture* (In Honorem Georgii Lotman). University of Michigan, 1984. P. 320—332.
- Ворт 1994 — *Worth D. S.* The Dative Absolute in the *Primary Chronicle*: Some observations // *Harvard Ukrainian Studies*, XVIII (1994). N. 1/2. P. 29—46.
- Врадий 1975 — *Врадий А. А.* Формы имен существительных в Острожской библии 1581 и «Грамматике» М. Смотрицкого. (На материале основ на -ō, -jō) // Актуальные проблемы истории языка и литературы. Ташкент, 1975. С. 88—131 [Ташкентский гос. педагогический институт. Сборник научных трудов. Т. 151].
- Врадий 1976 — *Врадий А. А.* Морфологическая характеристика имен существительных в Острожской библии 1581 г. печати Ивана Федорова и «Грамматике» М. Смотрицкого (на материале основ на -ь) // Лингвистические и методические проблемы преподавания русского языка в педагогических вузах. Ташкент, 1976. С. 31—41 [Ташкентский гос. педагогический институт. Сборник научных трудов. Т. 186].
- Врадий 1977 — *Врадий А. А.* Формы имен существительных в Острожской библии 1581 г. и «Грамматике» М. Смотрицкого. (На материале основ на -ь/-і) // Русский язык и литература в школах Узбекистана. Ташкент, 1977. С. 82—94.
- Врадий 1984 — *Врадий А. А.* К истории именного склонения в церковнославянском языке русского извода (На материале Острожской библии 1581 г. и «Грамматики» М. Смотрицкого). Автореф. канд. дис. Ташкент, 1984.
- Вяземский, I—XII — *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений / Изд. графа С. Д. Шереметева. Т. I—XII. СПб., 1878—1896.
- Гавриил Бужинский 1720 — [*Гавриил Бужинский*]. Месяца ноемврия в 30 день, Слово на память Святаго Первозванного Апостола Андреа. СПб., 1720.
- Гавриил и Платон, I—III — Собрание разных слов и поучений на все воскресные и праздничные дни. Ч. I—III. М., 1775 [составили Гавриил Петров и Платон Левшин].
- Гаспаров 1996 — *Гаспаров Б. М.* Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996.
- Гаспаров 1984 — *Гаспаров М. Л.* Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика. М.: «Наука», 1984.

- ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
- Гедеон Криновский, I—IV — Собрание разных поучительных слов при высочайшем дворе Ея Имп. Величества сказанных... Гедеоном. Т. I—IV. СПб., 1755—1759.
- Геометрия 1708 — Геометрія славенскі семлемѣріе. Іздадеся новотіпографскімъ тісеніемъ... М., 1708.
- Гётц, I—IV — *Goetz L. K. Das Russische Recht. Bd. I—IV. Stuttgart, 1910—1913.*
- Гиппиус 1989 — *Гиппиус А. А.* Система формальных признаков языка древнерусской письменности как предмет лингвистического изучения // Вопросы языкознания. 1989. № 2. С. 93—110.
- Гиппиус 1992 — *Гиппиус А. А.* Новые данные о пономаре Тимофее — новгородском книжнике середины XIII века // Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур: Информационный бюллетень. Вып. 25. М., 1992. С. 59—86.
- Гиппиус 1993 — *Гиппиус А. А.* Морфологические, лексические и синтаксические факторы в склонении древнерусских членных прилагательных // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти профессора Г. А. Хабургаева. М.: Изд-во Московского Университета, 1993. С. 66—84.
- Гиппиус 1996 — *Гиппиус А. А.* «Русская Правда» и «Вопрошание Кирика» в Новгородской Кормчей 1282 г. (К характеристике языковой ситуации древнего Новгорода) // Славяноведение. 1996. № 1. С. 48—62.
- Гиппиус 1997 — *Гиппиус А. А.* К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 3—72.
- Гиппиус 1997а — *Гиппиус А. А.* Древнерусские летописи в зеркале западноевропейской анналистики // Славяне и немцы: Средние века — раннее Новое время: Сб. тезисов 16 конференции памяти В. Д. Королюка. М., 1997. С. 24—27.
- Глушков 1954 — *Глушков С. И.* Язык од М. В. Ломоносова: Автореферат канд. диссертации. Киев, 1954.
- Горбач 1964 — *Horbatsch O.* Die vier Ausgaben der kirchenslavischen Grammatik von M. Smotrićkyj. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1964 [Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe III, Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, Bd. 7].
- Горбач 1977 — *Hrammatiki ili pismennica jazyka sloven'skaho. Kremjaneć 1638.* Hrsg. und eingeleitet von O. Horbatsch. Frankfurt am Main: Kubon & Sagner, 1977 [Specimina philologiae slavicae, Bd. 11].
- Горбач 1988 — *Horbatsch O.* Die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik aus dem J. 1591 // *Adelphotos.* Die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik. L'viv-Lemberg 1591. Hrsg. und eingeleitet von O. Horbatsch. 2. Aufl. München: Otto Sagner Verlag, 1988. S. i-xvi [Specimina philologiae slavicae, Bd. 76].
- Горский и Невоструев, I—III — *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. I—III. М., 1855—1917.
- Горшкова и Хабургаев 1981 — *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М.: «Высшая школа», 1981.
- Грандильевский 1907 — *Грандильевский А.* Родина Михаила Васильевича Ломоносова: Областной крестьянский говор. СПб.: Типография Академии наук, 1907 [Сборник ОРЯС, LXXXIII, № 5].
- Граннес 1974 — *Граннес Альф.* Просторечные и диалектные элементы в языке русской комедии XVIII века: Фонетические и морфологические элементы просторечного и диалектного характера в языке русской комедии и комической оперы второй половины XVIII века. Bergen; Oslo; Tromsø, 1974.
- Граннес 1998 — *Граннес А.* Избранные труды по русскому и славянскому языкознанию. М.: «Языки русской культуры», 1998.
- Граппен 1956 — *Grappin H.* Histoire de la flexion du nom en polonais. Wrocław, 1956.

- Гребенюк 1979 — Панегирическая литература петровского времени / Изд. подгот. В. П. Гребенюк. М.: «Наука», 1979.
- Гренинг 1750 — *Groening M.* Российская грамматика. *Thet är Grammatica Russica, eller Grundelig Handledning til Ryska Språket.* Stockholm, 1750. Цит. по: Унбегаун 1969.
- Греч 1828 — *Греч Н. И.* Начальные правила русской грамматики. СПб., 1828.
- Гришина и Махов 1987 — *Гришина Е. А., Махов А. Е.* Формулы в составе текста (к анализу новгородской берестяной грамоты № 605) // Балто-славянские исследования 1985. М.: «Наука», 1987. С. 209—221.
- Грот 1899 — *Грот Я.* Филологические разыскания. 4-е доп. изд. / Под ред. К. Я. Грота. СПб., 1899.
- Грошель 1972 — *Gröschel B.* Die Sprache Ivan Vyšenskýjs. Untersuchungen und Materialien zur historischen Grammatik des Ukrainischen. Köln; Wien: Bohlau Verlag, 1972 [Slavistische Forschungen, Bd. 13].
- Гюйгенс 1724 — [Гюйгенс Х.] Книга мирозрения или мнение о небесноземных глобусах, и их украшениях. 2-е изд. М., 1724 [перевод В. Пауса].
- Дедюхина 1969 — *Дедюхина Л. Н.* История окончаний на -мы в формах творительного падежа множественного числа в современных русских говорах // Вопросы языкознания и русского языка. Ч. I. М., 1969. С. 145—150 [Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, № 326].
- Демкова 1979 — *Демкова Н. С.* Древнерусские рукописи и старопечатные книги в некоторых собраниях США // Труды отдела древнерусской литературы. Т. XXXIV. Л., 1979. С. 388—405.
- Державина 1972 — Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. / Под ред. О. А. Державиной. М.: «Наука», 1972 [Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в. Вып. 2)].
- Димитрий Ростовский 1695 — [Св. *Димитрий Ростовский*]. Книга житии святых... На три месяца втория: декемврии, иануарий и февруарий. Киев, 1695.
- Димитрий Ростовский 1714 — [Димитрий Ростовский]. Разсуждение о образе божии и подобии в человеце. М., 1714.
- Димитрий Сеченов 1742 — Слово в день Благовещения пресвятыя Богородицы в придворной церкви Ея Имп. Величества... Елисаветы Первья императрицы всея России проповеданное Архимандритом... Димитрием Сеченовым. В Москве 1742 года марта 25 дня. СПб., 1742.
- Димитрий Сеченов 1743 — Слово в день явления чудотворныя иконы пресвятыя Богородицы во граде Казани, в Высочайшее присутствие Ея Священнейшаго Величества Благочестивейшия Самодержавнейшия Крестonosныя Императрицы Великия Государыни Нашея Елисаветы Петровны Всея России. Проповеданное Свяжским Архимандритом Димитрием Сеченовым, в Придворной Церкви в Москве. 1742 года, Июлиа 8 дня. М., 1743.
- Димитрий Сеченов 1763 — [Димитрий Сеченов]. Речь Благодарственная Ея Императорскому Величеству, Всепресветлейшей, Державнейшей, Великой Государыне нашей Императрице Екатерине Алексиевне, Самодержице Всероссийской, именем всех верноподданных Ея Императорскаго Величества на Новый Год. М., 1763.
- Дингли 1983 — *Dingley J.* The Peripheral Plural Endings of Nouns in Petrine Sermons. München: Verlag Otto Sagner, 1983 [Slavistische Beiträge, Bd. 173].
- Дмитриев 1958 — Повести о житии Михаила Клопского / Подгот. текстов и ст. Л. А. Дмитриева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Домострой 1994 — Домострой / Изд. подгот. В. В. Колесов, В. В. Рождественская. СПб.: «Наука», 1994.
- Дурново 1928 — *Durnovo N.* Der Schwund von Endvokalen im Russischen // Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. 5. Heft 1/2. S. 17—36.

- Дурново 1931 — *Дурново Н. Н.* К вопросу о времени распада общеславянского языка // *Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze, 1929. Praha, 1931. S. 514—526.*
- Дурново 1933 — *Дурново Н. Н.* Славянское правописание X—XII вв. // *Slavia. Roč. 12 (1933). Seš. 1—2. S. 45—82.*
- Дурново 1969 — *Дурново Н. Н.* Введение в историю русского языка. 2-е изд. М.: «Наука», 1969.
- Дурново 2000 — *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. М.: «Языки русской культуры», 2000.
- Дюрович 1983 — *Đurovič Ľ.* Källorna till Groenings *Rossijskaja grammatika* // *Uppsala Slavic Papers, IX (1983).*
- Дюрович 1992 — *Đurovič Ľ.* Грамматика Академической гимназии // *Доломоновский период русского литературного языка. The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language (Материалы конференции на Фагеруде, 20—25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992. P. 171—211 [Slavica Suecana. Vol. 1].*
- Ежемесячные сочинения 1755—1764 — Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. СПб., 1755—1764.
- Еремин 1966 — *Еремин И. П.* Литература древней Руси. (Этюды и характеристики). М.; Л.: «Наука», 1966.
- Жепка 1985 — *Rzepka W. R.* Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w polszczyźnie XVI—XVII wieku. Poznań, 1985.
- Живов 1985 — *Живов В. М.* Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // *Советское славяноведение. 1985. № 3. С. 70—85.*
- Живов 1986 — *Живов В. М.* Славянские грамматические сочинения как лингвистический источник: О книге: *D. S. Worth. The Origins of Russian Grammar...* Columbus, 1983 // *Russian Linguistics. 10 (1986). P. 73—113.*
- Живов 1986а — *Живов В. М.* Новые материалы для истории перевода «Географии генеральной» Бернарда Варения // *Известия АН СССР. Серия лит-ры и языка. 1986. № 3. С. 246—260.*
- Живов 1986б — *Живов В. М.* Азбучная реформа Петра I как семиотическое преобразование // *Труды по знаковым системам. Вып. 19. Тарту, 1986. С. 54—67 [Учен. зап. Тартуского гос. Университета. Вып. 720].*
- Живов 1987 — *Живов В. М.* Проблемы формирования русского извода церковнославянского языка на начальном этапе // *Вопросы языкознания. 1987. № 1. С. 46—65.*
- Живов 1988 — *Живов В. М.* Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков. // *Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988. С. 49—98.*
- Живов 1988а — *Живов В. М.* Смена норм в истории русского литературного языка XVIII века // *Russian Linguistics. 12 (1988). P. 3—47.*
- Живов 1988б — *Живов В. М.* История русского права как лингво-семиотическая проблема // *Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. Columbus, Ohio, 1988. P. 46—128.*
- Живов 1991 — *Живов В. М.* «Простота» языка и ее реализации: о языке книги «Статир» (1683—1684 гг.) // *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIII (1990). Посвећено професору др. Александру Младеновићу поводом 60-годишњице живота. Нови Сад, 1990. С. 141—154.*
- Живов 1993 — *Живов В. М.* Унификация склонения существительных в косвенных падежах мн. числа в памятниках XVII века: характер вариативности и обуславливающие ее факторы // *Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г. А. Хабургаева. М.: Изд-во Московского Университета, 1993. С. 93—110.*
- Живов 1995 — *Живов В. М.* Светский и духовный литературный язык в России XVIII века: взаимодействие и взаимоотталкивание // *Russica Romana. Vol. II (1995). P. 65—81.*

- Живов 1995а — *Живов В. М.* Usus scribendi: Простые претериты у летописца-самоучки // *Russian Linguistics*. Vol. 19 (1995). N. 1. P. 45—75.
- Живов 1995б — *Живов В. М.* Буковница 1592 г. и ее место в истории русской грамматической мысли // *The Language and Verse of Russia: In Honor of D. S. Worth: On his Sixty-fifth Birthday*. Ed. by H. Birnbaum and M. Flier. Москва: «Восточная литература» РАН, 1995. С. 291—303 [UCLA Slavic Studies, New Series. Vol. II].
- Живов 1996 — *Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII века. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
- Живов 1996а — *Живов В. М.* Палатальные сонорные у восточных славян: данные рукописей и историческая фонетика // *Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию А. А. Зализняка*. М.: «Индрик», 1996. С. 178—202.
- Живов 2001а — *Живов В. М.* Формирование норм русского литературного языка нового типа и их предыстория // *Reflections on Russia in the Eighteenth Century*. Ed. by J. Klein, S. Dixon and M. Fraanje. Köln; Weimar; Wien: Bohlau, 2001. S. 377—398.
- Живов 2002 — *Живов В. М.* Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: «Языки славянской культуры», 2002.
- Живов 2002а — *Живов В. М.* Литературный язык и язык литературы в России XVIII века // *Russian Literature*, LII (2002). Special Issue, 18th Century Russian Literature. P. 1—53. 2
- Живов и Кайперт 1996 — *Живов В., Кайперт Г.* О месте грамматики И.-В. Пауса в развитии русской грамматической традиции: интерпретация отношений русского и церковнославянского // *Вопросы языкознания*. 1996. № 3. С. 3—30.
- Живов и Тимберлейк 1997 — *Живов В., Тимберлейк А.* Расставаясь со структурализмом (Тезисы для дискуссии) // *Вопросы языкознания*. 1997. № 3. С. 3—14.
- Живов и Успенский 1983 — *Живов В. М., Успенский Б. А.* Выдающийся вклад в изучение русского языка XVII века. О книге: *G. Kotošixin. O Rossii v carstvovanije Alekseja Mixajloviča*. Ed. by A. E. Pennington. Oxford, 1980 // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics*. Vol. 28 (1983). P. 149—180.
- Живов и Успенский 1986 — *Живов В. М., Успенский Б. А.* Grammatica sub specie theologiae: Претеритные формы глагола *быти* в русском языковом сознании XVI—XVIII веков // *Russian Linguistics*. 10 (1986). P. 259—279.
- Жолобов и Крысько 2001 — *Жолобов О. Ф., Крысько В. Б.* Двойственное число. М.: «Азбуковник», 2001 [Историческая грамматика древнерусского языка. Под ред. В. Б. Крысько. Т. II].
- Жульева 1973 — *Жульева В.* Из истории глагольных форм прошедшего времени. (На материале «Пискаревского летописца») // *Проблемы обучения иностранным языкам*. Т. 8. Владимир, 1973. С. 326—334.
- Жульева 1973а — *Жульева В.* Глагольные формы прошедшего времени в «Повести о Савве Грудцыне» // *Проблемы обучения иностранным языкам*. Т. 8. Владимир, 1973. С. 335—345.
- Зализняк 1967 — *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М.: «Наука», 1967.
- Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М.: «Наука», 1985.
- Зализняк 1986 — *Зализняк А. А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М.: «Наука», 1986. С. 89—219.
- Зализняк 1987 — *Зализняк А. А.* О языковой ситуации в древнем Новгороде // *Russian Linguistics*. 11 (1987). N. 2—3. P. 115—132.
- Зализняк 1992 — *Зализняк А. А.* Правило отпадения конечных гласных в русском языке // *Le mot, les mots, les bons mots. Word, words, witty words. Hommage a Igor Mel'čuck à l'occasion de son soixantième anniversaire*. Montréal, 1992. P. 295—303.
- Зализняк 1995 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М.: «Языки русской культуры», 1995.

- Зализняк и Янин 1992—1993 — *Зализняк А. А., Янин В. Л.* Вкладная грамота Варлаама Хутынского // *Russian Linguistics*. 16 (1992—1993). P. 185—202.
- Запольская 1999 — *Запольская Н. Н.* «История Российская» Татищева: грамматическая дистанция между «древним наречием» и «новым наречием» // *Эволюция грамматической мысли славян XIV—XVIII вв.* М., 1999. С. 131—139.
- Захарьин 1995 — *Захарьин Д. Б.* Европейские научные методы в традиции старинных русских грамматик (XV — сер. XVIII в.). München: Verlag Otto Sagner, 1995 [Specimina philologiae slavicae, Supplementband 40].
- Зеemann 1983 — *Seemann K.-D.* Die «Diglossie» und die Systeme der sprachlichen Kommunikation im alten Rußland // *Slavistische Studien zum IX Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983*. Hrsg. von R. Olesch. Köln; Wien: Böhlau Verlag, 1983. S. 553—561 [Slavistische Forschungen, 40. Bd.]
- Земская 1973 — *Земская Е. А.* (ред.). Русская разговорная речь. М.: «Наука», 1973.
- Земская, Китайгородская, Ширяев 1981 — *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь: Общие вопросы: Словообразование. Синтаксис. М.: «Наука», 1981.
- Зизаний 1596 — *Зизаний Л.* Грамматика словенска Съвершенна искусства осми частей слова. В Вилни, 1596.
- И1073 — Изборник Святослава 1073 года. Факсимильное издание. М.: «Книга», 1983.
- Иванов 1995 — *Древнерусская грамматика XII—XIII вв.* / Отв. ред. В. В. Иванов. М.: «Наука», 1995.
- Иоаким 1683 — Слово благодарственное Господу Богу, за его великую милость: яко благоволил чудесным своим промыслом, Церковь свою святую, от тоя отступников, и злых наветников, в лето 7190, месяца июлиа, в день 5 избавити. От святейшаго великаго Господина Кир Иоакима, милостию Божию Патриарха московскаго, и всея России [М., 1683].
- Иоанн Златоуст 1766 — Святаго отца нашего Иоанна Златоустаго архиепископа Константинопольскаго беседы на первую моисееву книгу Бытия переведенныя с Греческаго на Российский язык. Ч. I—II. СПб., 1766.
- Иоанн Златоуст 1792 — Слова избранныя из разных поучений святаго Иоанна Златоустаго. Ч. I—II. М., 1792.
- Иорданиди и Крысько 1995а — *Иорданиди С. И., Крысько В. Б.* Древнерусские инновации во множественном числе именного склонения. I // *Вопросы языкознания*. 1995. № 4. С. 64—77.
- Иорданиди и Крысько 1995б — *Иорданиди С. И., Крысько В. Б.* Древнерусские инновации во множественном числе именного склонения. II // *Вопросы языкознания*. 1995. № 5. С. 88—104.
- Иорданиди и Крысько 1995в — *Иорданиди С. И., Крысько В. Б.* Формирование внеродовой именной парадигмы множественного числа в истории русского и польского языков // *Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie*. Rzeszów, 1995. S. 85—102.
- Иорданиди и Крысько 2000 — *Иорданиди С. И., Крысько В. Б.* Множественное число именного склонения. М.: «Азбуковник», 2000 [Историческая грамматика древнерусского языка / Под ред. В. Б. Крысько. Т. I]
- Иорданский 1960 — *Иорданский А. М.* История двойственного числа в русском языке. Владимир, 1960.
- Исаченко 1974 — *Issatschenko A.* Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache // *Zeitschrift für slavische Philologie*, Bd. 37 (1974). Hft. 2. S. 235—274.
- Исаченко 1975 — *Issatschenko A.* Mythen und Tatsachen über die Entstehung der russischen Literatursprache. Wien, 1975 [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungberichte. 298. Bd. 5. Abhandlung].
- Исаченко 1976 — *Isačenko A. V.* Opera selecta. München: Fink Verlag, 1976 [Forum slavicum, Bd. 46].

- Исаченко 1980 — *Issatschenko A.* Geschichte der russischen Sprache. 1. Band. Von den Anfängen bis zum Ende des 17 Jahrhunderts. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1980.
- Исаченко 1983 — *Issatschenko A.* Geschichte der russischen Sprache. 2. Band. Das 17 und 18 Jahrhundert. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1983.
- Истрина 1923 — *Истрина Е. С.* Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи // Известия ОРЯС. Т. 24 (1919 г.). Кн. 2. 1923. С. 1—172; Т. 26 (1921 г.). 1923. С. 207—239.
- Кагарлицкий 1999 — *Кагарлицкий Ю.* Сакрализация как прием: Ресурсы убедительности и влиятельности имперского дискурса в России XVIII века // Новое литературное обозрение. № 38 (4/1999). С. 66—77.
- Казакевич 1980 — Восстание московских стрельцов. 1698 год (Материалы следственного дела): Сб. документов / Сост., автор историко-археографического обзора и коммент. А. И. Казакевич. М.: «Наука», 1980.
- Кайзер 1980 — *Kaiser D. H.* The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton: Princeton Univ. Press, 1980.
- Кайперт 1983 — *Keipert H.* Die Petersburger «Teutsche Grammatica» und die Anfänge der Russistik in Rußland // *Studia slavica in honorem viri doctissimi Olexa Horbatsch.* Bd. 3. München, 1983. S. 77—140.
- Кайперт 1986 — *Keipert H.* Adodurovs «Anfangs-Gründe der russischen Sprache» und der Petersburger Lateinunterricht um 1730 // *Studia slavica mediaevalia et humanistica Riccardo Picchio dicata.* M. Colucci, G. Dell'Agata, H. Goldblatt curantibus. Roma: Edizione dell'Ateneo, 1986. Vol. II. P. 393—408.
- Кайперт 1988а — *Keipert H.* The Sources of Michael Groening's Rossijskaja grammatika (Stockholm, 1750) // *Oxford Slavonic Papers*, XXI (1988). P. 89—104.
- Кайперт 1988б — *Keipert H.* Die Christianisierung Rußlands als Gegenstand der russischen Sprachgeschichte // *Tausend Jahre Christentum in Rußland. Zum Millennium der Taufe der Kiever Rus'.* Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988. S. 313—346.
- Кайперт 1989а — *Keipert H.* Groening und Schwanwitz // «Прими собрание пестрых глав». Slavistische und slavenkundliche Beiträge für Peter Brang zum 65 Geburtstag. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris, 1989. S. 469—487 [*Slavica Helvetica*, Bd. 33].
- Кайперт 1991 — *Keipert H.* M. V. Lomonosovs *Predislovie o pol'ze knig cerkovnych v rossijskom jazyke* (1757—1758) als Entwurf eines linguistischen Modells für das Schrifttum Russlands im 18 Jahrhundert // *Studia z filologii polskiej i slowiańskiej.* T. 28. Warszawa, 1991. S. 81—95.
- Кайперт 1992 — *Keipert H.* Русская грамматика М. Шванвитца 1731 г. (Предварительные замечания о рукописи БАН F. N. 250) // Доломоносовский период русского литературного языка. The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language (Материалы конференции на Фагеруде, 20—25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992. P. 213—234 [*Slavica Suecana.* Vol. 1].
- Кайперт 1994 — *Keipert H.* Vasilij Lebedev und sein *Sokraščenie grammatiki latinskoj* (S.-Peterburg, 1746) // *Res slavica.* Festschrift für Hans Rothe zum 65 Geburtstag. Hrsg. von P. Tiergen und L. Udolph. Paderborn; München; Wien; Zürich: Ferdinand Schöningh, 1994. S. 117—133.
- Кайперт 1994а — *Keipert H.* Die *knigi cerkovnye* in Lomonosovs «*Predislovie o pol'ze knig cerkovnych v rossijskom jazyke*» // *Zeitschrift für slavische Philologie*, LIV (1994). S. 21—37.
- Кайперт 1996 — *Keipert H.* Lomonosov und Luther // *Die Welt der Slaven*, XLI (1996). S. 62—88.
- Кайперт 1999 — *Keipert H.* Geschichte der russischen Literatursprache // *Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihren Grenzdisziplinen.* Hrsg. von H. Jachnow. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999. S. 726—779.
- Кайперт 1999б — *Keipert H.* *II contractum redivivum.* Zur Wiedereinführung des и краткое im russischen Buchdruck // *Zeitschrift für Slawistik* 44 (1999), 3. S. 251—267.

- Кайперт 2002 — *Compendium Grammaticae Russicae* (1731). Die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache. Hrsg. von Helmut Keipert in Verbindung mit Andrea Huterer. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck. München, 2002 [Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen. Neue Folge, Heft 121].
- Кайперт, Успенский, Живов 1994 — *Johann Ernst Glück*. Grammatik der russischen Sprache (1704). Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von H. Keipert, B. Uspenskij und V. Živov. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1994 [Bausteine zur Slavischen Philologie und Kultergeschichte. Reihe B: Editionen. Neue Folge, 5 (20)].
- Кантемир, I—II — *Кантемир А. Д.* Сочинения, письма и избранные переводы / Под ред. П. А. Ефремова. Т. I—II. СПб., 1867—1868.
- Кантемир 1744 — [*А. Кантемир*]. Квинта Горация Флакка десять писем первой книги. Переведены с латинских стихов на русские и с примечаниями изъяснены от знатного некоторого охотника до стихотворства с приобщенным при том письмом о сложении русских стихов. СПб., 1744.
- Карамзин, I—III — *Карамзин Н. М.* Сочинения. Т. I—III. СПб.: Изд. А. Смирдина, 1848.
- Карский 1928 — *Карский Е. Ф.* Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи // *Известия по русскому языку и словесности АН СССР*. Т. 2. Кн. 1. 1929. С. 1—75.
- Керницький 1960а — *Керницький І. М.* Відміна іменників чоловічого роду в мові українських пам'яток XVI ст. // *Дослідження і матеріали з української мови*. Т. II. Київ, 1960. С. 45—66.
- Керницький 1960б — *Керницький І. М.* Відміна іменників середнього роду в мові українських пам'яток XVI ст. // *Дослідження і матеріали з української мови*. Т. III. Київ, 1960. С. 73—92.
- Кириченко 1961 — *Кириченко Г. С.* К истории форм дательного, творительного и предложного падежей имен существительных современного русского литературного языка // *Учен. зап. Ровенского гос. пед. ин-та*. Вып. VI. 1961. С. 233—257.
- Кленин 1993 — *Klenin E.* The Perfect Tense in the Laurentian Manuscript of 1377 // *American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists*. Bratislava, August-September 1993. Literature. Linguistics. Poetics / Ed. by R. A. Maguire and A. Timberlake. Columbus, 1993. P. 330—343.
- Кленин 1995 — *Klenin E.* The Verbal System of a Seventeenth-Century Icon Legend: Morphology and Discourse Function // *Russian Linguistics*. 19 (1995). P. 77—89.
- Кленин 1997 — *Klenin E.* Legends and Language in Sixteenth-Century Moscow // *Culture and Identity in Muscovy, 1359—1584* / Ed. by A. M. Kleimola and G. D. Lenhoff. Moscow: «ITZ-Garant», 1997. P. 303—335 [UCLA Slavic Studies, New Series. Vol. III].
- Клосс 1998 — *Клосс Б. М.* Избранные труды. Т. I: Житие Сергия Радонежского. М.: «Языки русской культуры», 1998.
- Клубков 1999 — *Клубков П. А.* В. К. Третьяковский об окончаниях имен прилагательных (К 250-летию научной дискуссии) // *Русский язык конца XVII — начала XIX века* (Вопросы изучения и описания): Сб. статей. СПб., 1999. С. 68—76.
- Ключевский 1871 — *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
- Кляйн и Живов 1987 — *Klein J., Živov V.* Zur Problematik und Spezifik des russischen Klassizismus: Die Oden des Vasilij Majkov // *Zeitschrift für slavische Philologie XLVII* (1987). Heft. 2. S. 234—288.
- Ковтун 1963 — *Ковтун Л. С.* Русская лексикография эпохи Средневековья. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Кожина 1954 — *Кожина М. Н.* Морфология глагола в «Ведомостях» петровского времени. Автореферат канд. диссертации. Л., 1954.

- Кокрон 1962 — *Cocron F.* La langue russe dans la seconde moitié du XVII^e siècle (morphologie). Paris, 1962 [Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves. T. XXXIII].
- Копиевич 1700 — *Latina Grammatica in usum scholarum celeberrimae gentis Sclavonicorosseanae adornata.* Studio, atque opera Eliae Kopiiewitz... Amslelodami, 1700.
- Копиевич 1706 — Руководение в грамматику *Manducatio in grammaticam* во славяноороссийску *In Sclavonico Rosseanam.* Per E. Kopijewitz. Stoltzenberg, 1706. Цит. по: Унбегаун 1969.
- Коровин 1961 — *Коровин Г. М.* Библиотека Ломоносова: Материалы для характеристики литературы, использованной Ломоносовым в его трудах и каталог его личной библиотеки. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.
- Коротаева 1964 — *Коротаева Э. И.* Союзное подчинение в русском литературном языке XVII века. М.; Л.: «Наука», 1964.
- Кортава 1998 — *Кортава Т. В.* Московский приказный язык XVII века как особый тип письменного языка. М.: Изд-во Московского университета, 1998.
- Коста 1982 — *Kosta P.* Eine russische Kosmographie aus dem 17 Jahrhundert. Sprachwissenschaftliche Analyse mit Textedition und Faksimile. München: Verlag Otto Sagner, 1982 [Specimina philologiae slavicae. Bd. 40].
- Коста 1983 — *Kosta P.* Das Weißmannische «Petersburger Lixikon» (1731) und das «Leksikon trejazyčnyj» (1704) von F. P. Polikarpov // Weismanns Peterburger Lexikon von 1731. (III). Grammatischer Anhang. München: Verlag Otto Sagner, 1983. S. 5—22 [Specimina philologiae slavicae. Bd. 48].
- Котков 1963 — *Котков С. И.* Южновеликорусское наречие в XVII столетии (фонетика и морфология). М.: «Наука», 1963.
- Котков 1969 — Грамотки XVII — начала XVIII века / Под ред. С. И. Коткова. М.: «Наука», 1969.
- Котков 1974 — *Котков С. И.* Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М.: «Наука», 1974.
- Котков 1981 — Памятники московской деловой письменности XVIII века / Под ред. С. И. Коткова. М.: «Наука», 1981.
- Котков, Астахина и др. 1984 — Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край / Изд. подгот. С. И. Котков, Л. Ю. Астахина и др. М.: «Наука», 1984.
- Котков и Панкратова 1964 — *Котков С. И., Панкратова Н. П.* Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века. М.: «Наука», 1964.
- Котков и Тарабасова 1965 — Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. (Из фондов А. И. Безобразова) / Изд. подгот. С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М.: «Наука», 1965.
- Котков и др. 1968 — Московская деловая и бытовая письменность XVII века / Изд. подгот. С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. М.: «Наука», 1968.
- Краткие правила 1773 — Краткия правила Российской грамматики, собранныя из разных российских грамматик в пользу Обучающагося Юношества в Гимназиях Императорскаго Московскаго университета. М.: Печатана при Имп. Моск. Ун-те, 1773.
- Краткие правила 1780 — Краткия правила Российской грамматики, собранныя из разных российских грамматик в пользу Обучающагося Юношества в Гимназиях Императорскаго Московскаго университета. Третьим изданием. М.: Университетская типография, у Н. Новикова, 1780.
- Краткие правила 1784 — Краткия правила российской грамматики, собранныя и вновь дополненныя из разных российских грамматик, в пользу Обучающагося Юношества в Гимназиях Императорскаго Московскаго ун-та. М.: Университетская типография, у Н. Новикова, 1784. Nachdruck besorgt von M. Schütrumpf. München: Verlag Otto Sagner, 1980 [Specimina philologiae slavicae. Bd. 32].

- Краткие правила 1796 — Краткия правила Российской грамматики, собранныя из разных российских грамматик в пользу Обучающагося Юношества в Гимназиях Императорскаго Московскаго университета. М.: Типография Пономарева, 1796.
- Краткое описание 1728 — Краткое описание комментариев Академии наук. Часть первая на 1726 год. СПб., 1728.
- Кручинина 1976 — Кручинина И. Н. Элементы разговорного синтаксиса в произведениях эпистолярного жанра // Синтаксис и стилистика. М.: «Наука», 1976. С. 24—43.
- Крысько 1994 — Крысько В. Б. Двадцать лет спустя (к переизданию книги В. М. Маркова) // Russian Linguistics. 18 (1994). N. 2. P. 205—218.
- Крысько 1994a — Крысько В. Б. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М.: «Luceum», 1994.
- Крысько 2000 — Крысько В. Б. К интерпретации некоторых именных форм в берестяных грамотах // Russian Linguistics. 24 (2000). N. 3. P. 231—264.
- Кузнецов 1958 — Кузнецов П. С. У истоков русской грамматической мысли. М.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Кузьмина 1964 — Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. Бова, Петр златых ключей. М.: «Наука», 1964.
- Куник 1865 — Куник А. Сборник материалов для истории Императорской Академии наук. Ч. I—II. СПб., 1865.
- Купер 1972 — Cooper B. F. The History and Development of the Ode in Russia. A Dissertation submitted for the degree of Dr. of Philosophy in the Univ. of Cambridge. Cambridge, 1972.
- Курганов 1769 — [Курганов Н. Г.] Российская универсальная грамматика, или всеобщее писмословие, предлагающее легчайший способ основательнаго учения рускому языку с семью присовокуплениями разных учебных и полезно-забавных вещей. СПб., 1769.
- Курганов 1777 — Курганов Н. Г. Книга письмовник, а в ней Наука российского языка с семью присовокуплениями... Новое издание... СПб., 1777.
- Кутина 1981 — Кутина Л. Л. Феофан Прокопович: Слова и речи: Проблема языкового типа // Язык русских писателей XVIII века. Л.: «Наука», 1981. С. 7—46.
- Кутина 1982 — Кутина Л. Л. Феофан Прокопович: Слова и речи: Лексико-стилистическая характеристика // Литературный язык XVIII века: Проблемы стилистики. Л.: «Наука», 1982. С. 5—51.
- Ладюкова 1956 — Ладюкова А. Е. Из истории именного склонения в русском литературном языке XVIII в. (падежные формы имен существительных в петровских «Ведомостях»). Автореферат дисс. на соискание уч. ст. кандидата филолог. наук. Л., 1956.
- Лант 1987 — Lunt H. G. On the Relationship of Old Church Slavonic to the Written Language of Early Rus' // Russian Linguistics. 11 (1987). P. 133—162.
- Лант 1988-89 — Lunt H. G. The Language of Rus' in the Eleventh Century: Some Observations about Facts and Theories // Harvard Ukrainian Studies, XII/XIII (1988/1989). P. 276—313 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine / Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Лант 1994 — Lunt H. G. Lexical Variation in the Copies of the Rus' *Primary Chronicle*: Some Methodological Problems // Harvard Ukrainian Studies, XVIII (1994). N. 1/2. P. 10—28.
- Лаптева 1976 — Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. М.: «Наука», 1976.
- Ларсен 2001 — Larsen K. The Correlation Between *tj-Reflex and Syntax (Based on forms of the Present Active Participle in «Вопрашение Кирика» and «Поучение Владимира Мономаха») // Russian Linguistics. 25 (2001). P. 183—207.
- Левин 1984 — Левин В. Д. К характеристике русского извода старославянского языка // Wiener slawistischer Almanach, 13. 1984. S. 171—196.
- Ленхофф 1997 — Lenhoff G. Early Russian Hagiography: The Lives of Prince Fedor the Black // Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1997 [Slavische Veröffentlichungen. Fachbereich Neuere Fremdsprachliche Philologien der Freien Universität Berlin, Bd. 82].

- Ломоносов, I—VIII — *Ломоносов М. В.* Сочинения. Т. I—VIII. СПб.; М.; Л., 1891—1948.
- Ломоносов, I²—X² — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. I—X. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950—1959.
- Ломоносов 1746 — Вольфианская экспериментальная физика с немецкого подлинника на латинском языке сокращенная. С которого на русский язык перевел Михайло Ломоносов. СПб.: Академия наук, 1746.
- Лотман, Толстой, Успенский 1981 — *Лотман Ю. М., Толстой Н. И., Успенский Б. А.* Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века // Известия АН СССР: Серия литературы и языка. Т. 40 (1981). № 4. С. 312—323.
- Лудольф 1696 — *Ludolf H.-W.* Grammatica Russica... Oхoniі, 1696. Цит. по изд.: Oxford, 1959 (ed. В. О. Unbegaun).
- Лукичева 1974 — *Лукичева Э. В.* Федор Поликарпов — переводчик «Географии генеральной» Бернарда Варения // Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века [XVIII век. Сб. 9]. Л.: «Наука», 1974. С. 289—296.
- Лызлов 1990 — *Лызлов А.* Скифская история / Подгот. текста, коммент. и аннотированный список имен А. П. Богданова. М.: «Наука», 1990.
- Майер и Пилгер 2001 — *Maier I., Pilger W.* Second-hand Translation for Tsar Aleksej Mixajlovič — a Glimpse into the 'Newspaper Workshop' at *Posol'skij Prikaz* (1648) // Russian Linguistics. 25 (2001). N. 2. P. 209—242.
- Майков 1787 — *Майков В.* Агриопа. Трагедия. — Российский Феатр. Ч. V. СПб., 1787. С. 3—74.
- Майков 1867 — *Майков В. И.* Сочинения и переводы. СПб., 1867.
- Макеев 1972 — *Макеев Л. Н.* Особенности употребления форм инфинитива в частной переписке XVII — начала XVIII вв. // Вопросы грамматики русского языка и диалектологии. Хабаровск, 1973. С. 185—194.
- Макеева 1961 — *Макеева В. Н.* История создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.
- Максимов 1723 — [*Федор Максимов*]. **Грамматѣка славенская въ кратцѣ собранная въ Грекославенской школѣ таже въ великом Новѣ градѣ при домѣ Архіерейскоу.** СПб., 1723.
- Манго 1988-89 — *Mango C.* The Tradition of Byzantine Chronography // Harvard Ukrainian Studies, XII/XIII (1988/1989). P. 360—372 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'—Ukraine / Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Маркер 1985 — *Marker G.* Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700—1800. Princeton: Princeton Univ. Press, 1985.
- Маркер 1994 — *Marker G.* Faith and Secularity in Eighteenth-Century Russian Literacy, 1700—1775 // Christianity and the Eastern Slavs. Vol. II. Russian Culture in Modern Times / Ed. by R. P. Hughes and I. Paperno. Berkeley; Los Angeles; London: Univ. of California Press, 1994. P. 3—24 [California Slavic Studies XVII].
- Марков 1974 — *Марков В. М.* Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. М.: «Высшая школа», 1974.
- Мартель 1933 — *Martel A.* Michel Lomonosov et la langue littéraire russe. Paris, 1933 [Bibl. de l'Institut française de Leningrad, 13].
- Маслов 1954 — *Маслов Ю. С.* Имперфект глаголов совершенного вида в славянских языках // Вопросы славянского языкознания. Вып. 1. М., 1954. С. 68—138.
- Маслов 1984 — *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л.: «Наука», 1984.
- Материалы АН, I—X — Материалы для истории Императорской Академии наук / Под ред. М. И. Сухомлинова. Т. I—X. СПб., 1885—1900.
- Маценко 1961 — *Маценко И. В.* К вопросу о грамматической индукции в дательном падеже множественного числа имен существительных мужского рода. (На материале

- новгородских и московских грамот XIV—XV вв.) // Дослідження з літературознавства та мовознавства. Ч. II. Київ, 1961. С. 64—74.
- МЕ — Апракос Мстислава Великого [Мстиславово Евангелие] / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова. М.: «Наука», 1983.
- Мечковская 1984 — *Мечковская Н. Б.* Ранние восточнославянские грамматики. Минск: Изд-во «Университетское», 1984.
- Мещерский 1962 — *Мещерский Н. А.* К изучению языка и стиля новгородских берестяных грамот // Учен. зап. Карельского пед. ин-та. Т. 12 (1961). Петрозаводск, 1962. С. 84—115.
- Мещерский 1995 — *Мещерский Н. А.* Избранные статьи. СПб., 1995.
- Минейя 1691 — Книга миния, месяц июний, с древних греческих, и славенороссийских рукописанных харатейных, и печатных книг. М., 1691.
- Мирочник 1973 — *Мирочник Е. Ш.* Об одной субстантивной форме в Изборнике 1073 г. // Научные труды Ташкентского университета. 1973. Вып. 449. С. 111—115.
- Михальчи 1964 — *Михальчи Д. Е.* И. В. Паузе и его Славяно-русская грамматика // Известия АН СССР: Серия литературы и языка, 23 (1964). Вып. 1. С. 49—57.
- Михальчи 1968 — *Михальчи Д. Е.* Листы белой рукописи «Славяно-русской грамматики» И. В. Паузе // Вопросы грамматики и словообразования. М., 1968. С. 150—161 [Труды Университета дружбы народов им. П. Лумумбы. Т. 41. Вып. 4].
- Михальчи 1969 — *Михальчи Д. Е.* Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе. Автореферат диссертации на соискание уч. степени доктора филолог. наук. Л., 1969.
- Моисеева 1965 — *Моисеева Г. Н.* Русские повести первой трети XVIII века. М.; Л.: «Наука», 1965.
- Молдован 1994 — *Молдован А. М.* Критерии локализации древнеславянских переводов // Славяноведение. 1994. № 2. С. 69—80.
- Молдован 2000 — *Молдован А. М.* Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М.: «Азбуковник», 2000.
- Молчанова 1968 — *Молчанова Н. Ф.* О распространении флексии -ами в творительном падеже множественного числа существительных среднего рода // Вопросы истории и теории русского языка. Тула, 1968. С. 33—49.
- Молчанова 1969 — *Молчанова Н. Ф.* О роли статистического метода при определении закономерностей развития морфологического процесса в народно-разговорном языке по письменным памятникам // Вопросы истории и теории русского языка. Вып. II. Калуга, 1969. С. 106—122.
- Моннье 1981 — *Monnier A.* Un publiciste frondeur sous Catherine II Nicolas Novikov. Paris, 1981 [Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves. T. LIX].
- Никифоров 1947 — *Никифоров С. Д.* Из наблюдений над языком «Домостроя» по Коншинскому списку // Московский гос. педагогический ин-т. Учен. зап. Т. XLII. Кафедра русского языка. М., 1947. С. 15—79.
- Никифоров 1952 — *Никифоров С. Д.* Глагол: Его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века. М.: Изд-во АН СССР, 1952.
- Никифоров 1952a — *Никифоров С. Д.* Инфинитив по памятникам второй половины XVI века // Учен. зап. Московского гос. педагогического ин-та. Т. LXIV. Кафедра русского языка. Вып. 3. М., 1952. С. 101—133.
- Николаев 1987 — *Николаев С. И.* Ранний Третьяковский (Первый перевод «Аргениды» Д. Баркляя) // Русская литература. 1987. № 2. С. 93—99.
- Николаевский 1890—1891 — *Николаевский П. Ф.* Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. Ч. 1. С. 114—141; Ч. 2. С. 434—467; 1891. Ч. 1. С. 147—168; Ч. 2. С. 151—186.
- Нимчук 1980 — *Нимчук В. В.* Систематичний підручник церковнослов'янської мови «Грамматика словенська» Л. Зизания // *Лаврентій Зизаній.* Грамматика словенська. Київ, 1980.

- НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
- Обнорский, I—II — *Обнорский С. П.* Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1. Единственное число. Л., 1927 [Сборник ОРЯС. Т. С. № 3]. Вып. 2. Множественное число. Л., 1931.
- Обнорский 1913 — *Обнорский С. П.* Формы склонения по сатирам Кантемира // Русский филологический вестник. Т. 69 (1913). С. 48—64.
- Обнорский 1953 — *Обнорский С. П.* Очерки по морфологии русского глагола. М.: Изд-во АН СССР, 1953.
- Обнорский 1960 — *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1960.
- ОЕ — Остромирово Евангелие 1056—1057: Факсимильное воспроизведение. Л., «Аврора», 1988.
- Орлова 1970 — Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров: По материалам лингвистической географии / Под ред. В. Г. Орловой. М.: «Наука», 1970.
- Оттен 1973 — *Otten F.* Die finiten Verbalformen und ihr Gebrauch in der Stepennaja kniga carskogo rodoslovija. Berlin, 1973 [Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin, 42. Bd.].
- Оттен 1985 — *Otten F.* Untersuchungen zu den Fremd- und Lehnwörtern bei Peter dem Grossen. Köln; Wien: Böhlau Verlag, 1985 [Slavistische Forschungen, 50. Bd.].
- Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. М., Школа «Языки русской культуры», 1996.
- Панов 1990 — *Панов М. В.* История русского литературного произношения XVIII—XX вв. М.: «Наука», 1990.
- Пекарский, ИА, I—II — *Пекарский П. П.* История императорской Академии наук в Петербурге. Т. I—II. СПб., 1870—1873.
- Пекарский, НЛ, I—II — *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом. Т. I—II. СПб., 1862.
- Пекарский 1865 — *Пекарский П.* Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865 [Записки Академии наук. 1865. Т. VIII. Прилож. № 7].
- Пенnington 1980 — *Kotošixin G.* O Rossii v carstvovanije Alekseja Mixajloviča. Text and Commentary / Ed. by A. E. Pennington. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Перетц 1903 — *Перетц В. Н.* Памятники русской драмы эпохи Петра Великого. СПб., 1903.
- Петличный 1956 — *Петличный I. З.* Граматичні особливості мови літопису Самовидця // Питання українського мовознавства. Кн. I. Львів, 1956. С. 76—99.
- Петрухин 1996 — *Петрухин П. В.* Нарративная стратегия и употребление глагольных времен в русской летописи XVII века // Вопросы языкознания. 1996. № 4. С. 62—84.
- ПиБ, I—XII — Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. I—XII. СПб.; М., 1887—1977.
- Пиккио 1973 — *Picchio R.* Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom // American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. Vol. II. The Hague, 1973. С. 439—467.
- Пиккио 1992 — *Пиккио Р.* Предисловие о пользе книг церковных М. В. Ломоносова как манифест русского конфессионального патриотизма // Сб. статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 142—152.
- Пичхадзе 1996 — *Пичхадзе А. А.* Предлог к после глаголов движения при названиях городов в древнерусских оригинальных и переводных памятниках письменности // Вопросы языкознания. 1996. № 6. С. 106—116.
- Платон Левшин, I—XX — [*Платон (Левшин)*]. Поучительные слова, святейшего правительствующего Синода членом, высокопреосвященнейшим Платоном, митрополитом

- московским и коломенским... проповеданные. Т. 1—20. М.: Синодальная Типография, 1779—1806.
- Платон Левшин 1765 — [Платон Левшин]. Православное Учение или сокращенная Христианская Богословия, для употребления Его Имп. Высочества... Павла Петровича, сочиненная Его Имп. Высочества учителем, Иеромонахом Платоном. М., 1765.
- ПЛДР, XI—XVII — Памятники литературы древней Руси. XI век — XVII век. М.: «Художественная литература», 1980—1994.
- Плетнева 1987 — Плетнева А. А. Из истории формирования нормы русского литературного языка XVIII века. (На материале текстов В. К. Третьяковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова). Дипломная работа. Московский университет. М., 1987.
- Плюханова 1982 — Плюханова М. Б. О некоторых чертах личностного сознания в России XVII в. // Художественный язык средневековья. М.: «Наука», 1982. С. 184—200.
- Погорелов 1910 — Погорелов В. Словарь к толкованиям Феодорита Киррского на Псалтырь в древне-болгарском переводе. Варшава, 1910.
- Подшивалов 1796 — [Подшивалов В. С.]. Сокращенный курс российского слога, изданный Александром Скворцовым. М., 1796.
- Поповски 1987 — Popovski J. Najstariji par antigrafa i apografa u slovenskoj pismenosti // Paleographie et diplomatique slaves, 3.
- Поповски 1989 — Popovski J. Die Pandekten des Antiochus Monachus. Slavische Übersetzung und Überlieferung. Amsterdam; Nijmegen, 1989.
- Поповски 1989a — Popovski J. The Pandects of Antiochus. Slavic Text in Transcription // **Полата књигописнага**. № 23—24. January 1989.
- Поповски, Кодсон, Федер 1988 — Popovski J., Thomson F. J., Veder W. R. The Troickij Sbornik (Cod. Moskv., GBL, F. 304 (Troice-Sergieva Lavra) № 12). Text in Transcription // **Полата књигописнага**. № 21—22. February 1988.
- Примечания 1728—1741 — Месячные исторические, генеалогические и географические Примечания в ведомостях. СПб., 1728—1741 [титул по изданию 1728 г., в последующие годы частично меняется].
- ПРП, I—VIII — Памятники русского права. Вып. 1—8. М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1952—1961.
- ПСЗ, I—XLV — Полное собрание законов Российской империи [Собрание 1-е]. Т. 1—45. СПб., 1830.
- ПСРЛ, I—XLI — Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссиею. Т. I—XXXIX. СПб.; М., 1841—1995.
- Пузина 1638 — [Пузина Афанасий]. Hrammatiki ili pismennica jazyka sloven'skaho. Kremjaneč 1638 / Hrsg. und eingeleitet von O. Horbatsch. Frankfurt am Main: Kubon & Sagner, 1977 [Specimina philologiae slavicae. Bd. 11].
- Пустозерский сборник 1975 — Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания / Изд. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Л.: «Наука», 1975.
- РИБ, I—XXXIX — Русская историческая библиотека, изд. Археографическою комиссиею. Т. I—XXXIX. СПб. (Пг., Л.), 1872—1927.
- Римские деяния 1877—1878 — Римские деяния [Gesta Romanorum]. Вып. I—II. СПб., 1877—1878 [Изд. ОЛДП, 5, 33].
- Робинсон 1972 — Первые пьесы русского театра / Под ред. А. Н. Робинсона. М.: «Наука», 1972 [Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в. Вып. 1)].
- Родде 1773 — Rodde J. Russische Sprachlehre. Riga, 1773. Nachdruck desorgt von G. Freidhof und B. Scholz. München: Verlag Otto Sagner, 1982 [Specimina philologiae slavicae. Bd. 38].
- Российская грамматика 1802 — Российская грамматика сочиненная Императорскою Росийскою Академиею. СПб., 1802. Nachdruck besorgt von M. Schüttrumpf. München: Verlag Otto Sagner, 1983 [Specimina philologiae slavicae. Bd. 53].

- Российская грамматика 1809 — Российская грамматика сочиненная Императорскою Российской Академиею. Изд. 2-е вновь исправленное и дополненное. СПб., 1809.
- Pote 1984 — *Rothe H.* Religion und Kultur in den Regionen des russischen Reiches im 18 Jahrhundert. Erster Versuch einer Grundlegung. Opladen, 1984 [Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Geisteswissenschaften. Vorträge G267].
- Руководство учителям 1783 — Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской Империи. СПб., 1783.
- Рязанская 1988 — *Рязанская Е. Л.* Становление нормы русского литературного языка в первой половине XVIII в. и редакция «Немецкой грамматики» М. Шванвица: Дипломная работа. МГУ, 1988.
- Светов 1773 — *Светов В. П.* Опыт нового российского правописания, утвержденный на правилах Российской Грамматики и на лучших примерах российских писателей. СПб., 1773.
- СГ — Смоленские грамоты XIII—XIV вв. / Подг. к печати Т. А. Сумникова и В. В. Лопатин. М.: «Наука», 1963.
- СГГиД, I—V — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Ч. I—V. М., 1813—1894.
- Селищев 1968 — *Селищев А. М.* Избранные труды. М.: Изд-во «Просвещение», 1968.
- Семин 1953 — *Семин И. Е.* Именное склонение в «Письмах и бумагах Петра I»: Диссертация на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. Киев, 1953.
- Симеон Полоцкий 1681 — [*Симеон Полоцкий*]. Обед душевный. М., 1681.
- Симеон Полоцкий 1683 — [*Симеон Полоцкий*]. Вечеря душевная. М., 1683.
- Симон Тодорский 1743 — Слово в высочайшее присутствие ея священнейшаго имп. величества... Елисаветы Петровны императрицы всея России, в высокаторжественный день рождения его имп. высочества государя наследника благовернаго великаго князя Петра Феодоровича... проповеданное Его Имп. Высочества придворным учителем Иеромонахом Симоном Тодорским в придворной церкви в Санктпетербурге Февраля 10 дня 1743 года. СПб., 1743.
- Симон Тодорский 1745 — Божие особенное благословение имже всегда благословил бог и ныне благословляет Всепресветлейший дом Петра Великаго первого Императора всея России в день высочайшаго бракосочетания Его Имп. Высочества внука Петра Перваго благовернаго государя и великаго князя Петра Феодоровича наследника престола всероссийскаго и прочая с Ея Имп. Высочеством благоверною Государынею и великою княгинею Екатериною Алексеевною... проповеданное... Симоном Епископом Псковским и Нарвским 1745 года Августа 4 дня. СПб.: Типография Академии наук, 1745.
- Симон Тодорский 1745a — Божие особенное благословение имже всегда благословил бог и ныне благословляет Всепресветлейший дом Петра Великаго первого Императора всея России в день высочайшаго бракосочетания Его Имп. Высочества внука Петра Перваго благовернаго государя и великаго князя Петра Феодоровича наследника престола всероссийскаго и прочая с Ея Имп. Высочеством благоверною Государынею и великою княгинею Екатериною Алексеевною... проповеданное... Симоном Епископом Псковским и Нарвским 1745 года Августа 4 дня. М.: Синодальная типография, 1745.
- Симон Тодорский 1747 — Слово в день Высочайшего Рождения Благочестивейшия Самодержавнейшия Великия государыни Нашея Императрицы Елисаветы Петровны Всея России. Проповеданное... Симоном Епископом Псковским и Нарвским в Санктпетербургской Придворной Церкви 1746 года, Декавриа, 18 дня. М.: Синодальная типография, 1747.
- Симон Тодорский 1748 — Слово в день Высокаторжественнаго Возшествия на Всероссийский Прародительный Престол Благочестивейшия Великия Нашея Императрицы Елисаветы Петровны Самодержицы Всероссийския, Проповеданное... Симоном Тодорским. 1747 года, Ноября 25 дня. М., 1748.

- Скилица-Кедрин, I—II — Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab Immanuele Bekkero suppletus et emendatus. T. I—II. Bonnae, 1838—1839.
- Скоморохова-Вентурини 1988 — *Скоморохова-Вентурини Л.* Распределение церковнославянских и русских элементов в Житии Епифания на примере глаголов прошедшего времени // *Europa Orientalis*. 7 (1988). P. 493—513.
- Сконефельд 1959 — *Schooneveld C. R. van*. A Semantic Analysis of the Old Russian Preterite System. 's-Gravenhage: Mouton & Co, 1959 [Slavistische drucken en herdrukken, 7].
- Смирнов 1910 — *Смирнов Н.* Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху. СПб., 1910 [Сборник ОРЯС. Т. XXXVIII. № 2].
- Смирнова 1970 — *Смирнова А. М.* К истории форм дательного, творительного и местного падежей множественного числа. (По «Сказанию» Авраамия Палицына и некоторым другим памятникам начала XVII века) // *Вопросы русского языка*. Вып. I: Диалектология и историческая грамматика. Ярославль, 1970. С. 129—44.
- Смотрицкий 1619 — Грамматика славенския правильное синтагма. Потшанием... Мелетия Смотрицкого. В Еве, 1619. Цит. по изд.: *М. Смотрицкий*. Грамматика. Київ, 1979.
- Смотрицкий 1648 — [*Мелетий Смотрицкий*]. Грамматика. М., 1648.
- Смотрицкий 1721 — [*Мелетий Смотрицкий*]. Грамматика. М., 1721.
- Соболевский 1903 — *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903 [Сб. ОРЯС. LXXIV. № 1].
- Соболевский 1907 — *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907.
- Сойе, I—II — *Sohier Jean*. Grammaire et Methode Russes et Françaises 1724 / Факсимильное издание под ред. и с предисловием Б. А. Успенского. München: Vrelag Otto Sagner, 1987. Bd. I—II [Specimina philologiae slavicae. Bd. 69—70].
- Соколова 1957 — *Соколова М. А.* Очерки по языку деловых памятников XVI века. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1957.
- Сокращение 1746 — Сокращение грамматики латинской в пользу учащагося латинскому языку Российскаго юношества. Переведена чрез Василия Лебедева. СПб., 1746.
- Солуянова 1989 — *Солуянова Е. Г.* Язык русских исторических сочинений конца XVII — начала XVIII вв.: Диссертация на соискание уч. ст. кандидата филолог. наук. М. (Моск. ун-т), 1989.
- Соренсен 1959 — *Sørensen H. Chr.* Zum Verallgemeinerung der Endungen -am, -ami, -ach im Russischen // *Scando-Slavica V* (1959). P. 87—120.
- Сорокин 1982 — *Сорокин Ю. С.* У истоков литературного языка нового типа (Перевод «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля) // *Литературный язык XVIII века: Проблемы стилистики*. Л.: «Наука», 1982. С. 52—85.
- Станг 1952 — *Stang Chr. S.* La langue du livre Учение и хитрость ратнаго строения пѣхотныхъ людей. 1647. Une monographie linguistique. Oslo, 1952 [Skifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1952. No. 1].
- Стефан Яворский, I—III — Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворского. Ч. I—III. М., 1804—1805.
- Стефан Яворский 1703 — [*Стефан Яворский*]. Знаменія пришествія Антихристова и кончины века. От писаний божественныхъ явленна. М., 1703.
- Страхов 1991 — *Страхов А. Б.* Новгородский монах Ефрем и апостол Иоанн (К происхождению концовки берестяной грамоты № 605) // *Russian Linguistics*. 15 (1991). 3. P. 281—295.
- Судебники 1952 — *Судебники XV—XVI веков* / Под общ. ред. Б. Д. Грекова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952.
- Сумароков, I—X — *Сумароков А. П.* Полное собрание всех сочинений. Ч. I—X. 2-е изд. М., 1877.
- Сумароков 1747 — *Хорев*, трагедия в 5 действиях, в стихах. Соч. А. Сумарокова. СПб., 1747.

- Сумароков 1748 — Две Епистолы, Александра Сумарокова. В первой предлагается о Руском языке, а во второй о Стихотворстве. СПб., 1748.
- Сумароков 1748б — Гамлет. Трагедия Александра Сумарокова. СПб., 1748.
- Сумароков 1769 — *Сумароков А. П.* Разные стихотворения. СПб., 1769.
- Сумароков 1773—1774 — *Сумароков А. П.* Стихотворения духовные. Ч. I. Стихотворения духовные. Ч. II. Некоторые духовные сочинения. Ч. III. Дополнение к Духовным стихотворениям. СПб., 1773—1774.
- Сумароков 1774 — *Сумароков А. П.* Эклоги. СПб., 1774.
- Сумароков 1774а — *Сумароков А. П.* Елегии любовные. СПб., 1774.
- Сумароков 1774б — *Сумароков А. П.* Оды торжественные. СПб., 1774.
- Сухомлинов 1908 — *Сухомлинов М. И.* Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908 [Сб. ОРЯС. Т. LXXXV. № 1].
- Сырейчиков 1787 — [*Е. Б. Сырейчиков*]. Краткая российская грамматика, изданная для народных училищ Российской империи. СПб., 1787.
- Тарабасова 1986 — *Тарабасова Н. И.* Явления вариативности в языке московской деловой письменности XVII в. М.: «Наука», 1986.
- Тарковский 1975 — *Тарковский Р. Б.* Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. Л.: «Наука», 1975.
- Тасс 1772 — *Тасс Т.* Освобожденный Иерусалим, прозаическая поэма. Ч. 1—2 / Пер. с франц. М. Попова. СПб., 1772.
- Татищев 1962 — *Татищев В. Н.* История Российская. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.
- Татищев 1979 — *Татищев В. Н.* Избранные произведения / Под общей ред. С. Н. Валка. Л.: «Наука», 1979.
- Тимберлейк 1995 — *Timberlake A.* Avvakum's Aorists // *Russian Linguistics*. 19 (1995). P. 25—43.
- Тимберлейк 1996 — *Тимберлейк А.* Вкусить от древа познания и убояться: вариативность в развитии винительного-родительного падежа. (По поводу книги: В. Б. Крысько. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994. 224 с.) // *Вопросы языкознания*. 1996. № 5. С. 7—19.
- Тимберлейк 1997 — *Тимберлейк А.* Аугмент имперфекта в Лаврентьевской летописи // *Вопросы языкознания*. 1997. № 5. С. 66—86.
- Тимберлейк 1998 — *Timberlake A.* Linguistic Layering in the *Lavrentian Chronicle* (The Imperfect Consonantal Augment) // *R. A. Maguire, A. Timberlake* (eds.). *American Contribution to the Twelfth International Congress of Slavists*. Bloomington: Slavica Publishers, 1998. P. 501—514.
- Тимберлейк 1999 — *Timberlake A.* On the Imperfect Augment in 'Slovo o polku Igoreve' // *H. Baran, S. I. Gindin et al.* (eds.). *Roman Jakobson: Texts, Documents, Studies*. Moscow: Russian State University for the Humanities, 1999. P. 771—786.
- Тимберлейк 2002 — *Тимберлейк А.* Significatio, conventio, imitatio et inventio // *Русский язык в научном освещении*. № 4 (2). 2002. P. 57—74.
- Томас 1973 — *Thomas G.* Some Theories Concerning the Unification of the Endings of the Dative, Instrumental and Locative Plural of Russian Nouns // *Canadian Contributions to the Seventh International Congress of Slavists*. The Hague, 1973. P. 227—235.
- Торндаль 1974 — *Thorndahl W.* Genitivens og lokativens -y/-ю-endelser i russiske middelaldertekster. Med tysk resumé. København: Rosenkilde og Baggers Forlag, 1974 [Københavns Universitets Slaviske Institut. Studier 3].
- Третьяковский, I—III — *Третьяковский В. К.* Сочинения. Т. I—III. СПб.: Изд. А. Смирдина, 1849.
- Третьяковский 1730 — [*Тальман П.*] Езда в остров любви. Переведена с французского на русской чрез студента Василья Третьяковского. СПб., 1730.

- Тредиаковский 1734 — *Тредиаковский В.* Ода торжественная о здаче города Гданска. СПб., 1734.
- Тредиаковский 1734б — Муж ревнивои. Интермедия на музыке. В Санктпетербурге 1734 года [перевод с итальянского В. К. Тредиаковского].
- Тредиаковский 1734в — Притворная немка. Интермедия на музыке. В Санктпетербурге 1734 года [перевод с итальянского В. К. Тредиаковского].
- Тредиаковский 1735 — *Тредиаковский В. К.* Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий. СПб., 1735.
- Тредиаковский 1737 — Военное состояние Оттоманския империи. Сочинено чрез графа де Марсильли... [Перевод и примечания В. К. Тредиаковского]. Ч. I. СПб., 1737.
- Тредиаковский 1737а — Истинная политика знатных и благородных Особ, переведено с французскаго чрез Василья Тредиаковскаго, Санктпетербургския Императорския Академии Наук, секретаря. СПб., 1737.
- Тредиаковский 1745 — *Тредиаковский В.* Слово о богатом, различном, искусном и нехотственном витийстве. СПб., 1745.
- Тредиаковский 1745а — Истинная политика знатных и благородных особ переведена с французскаго языка. Второе издание вновь высмотренное и умноженное. СПб., 1745.
- Тредиаковский 1748 — *Тредиаковский В. К.* Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и новой и о всем что принадлежит к сей материи. СПб., 1748.
- Тредиаковский 1751 — Аргенида повесть героическая сочиненная Иоанном Барклаем и с латинскаго на славено-российский переведенная от В. Тредиаковскаго. Т. I—II. СПб., 1751.
- Тредиаковский 1752 — *Тредиаковский В.* Сочинения и переводы как стихами так и прозою... Т. I—II. СПб., 1752.
- Тредиаковский 1766 — Тилемахида или Странствование Тилемаха сына Одисеева описанное в составе ироическая пиимы Василием Тредиаковским... Т. I—II. СПб., 1766.
- Тредиаковский 1963 — *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения. М.; Л., 1963 [Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.].
- Тредиаковский 1989 — Vasilij Kirillovič Trediakovskij Psalter 1753. Erstausgabe. Besorgt und kommentiert von A. Levitsky / Hrsg. von R. Olesch und H. Rothe. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1989 [Biblia Slavica / Hrsg. von R. Olesch und H. Rothe unter Mitarbeit von F. Scholz. Serie III: Ostslavische Bibeln. Band 4: Russische Psalmenübersetzungen. b: Vasilij Kirillovič Trediakovskij].
- Трубецкой 1995 — *Трубецкой Н. С.* История. Культура. Язык / Сост., подгот. текста и коммент. В. М. Живова. М.: Прогресс-Универс, 1995.
- Трудолюбивая пчела 1759 — Трудолюбивая пчела. Генварь — Декабрь. [Изд. А. П. Сумарокова]. СПб., 1759.
- Уложение 1987 — Соборное уложение 1649 года. Текст, комментарии / Под ред. А. Г. Манькова. Л.: «Наука», 1987.
- Улуханов 1964 — *Улуханов И. С.* Предлоги *пред-перед* в русском языке XI—XVII вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка / Под. ред. Р. И. Аванесова. М.: «Наука», 1964. С. 125—160.
- Унбегаун 1935 — *Unbegaun B.* La langue russe au XVI^e siècle (1500—1550). I. La flexion des noms. Paris: Librairie ancienne Honoré Champion, 1935 [Bibliothèque de l'Institut français de Leningrad. T. XVI].
- Унбегаун 1958 — *Unbegaun B. O.* Russian Grammars before Lomonosov // Oxford Slavonic Papers. VIII (1958). P. 98—116.
- Унбегаун 1965 — *Unbegaun B. O.* Le russe littéraire est-il d'origine russe? // Revue des études slaves. T. 44 (1965). P. 19—28.

- Унбегаун 1969 — *Drei russische Grammatiken des 18 Jahrhunderts. Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B. O. Unbegaun.* München: Fink Verlag, 1969 [Slavische Propyläen. Bd. 55].
- Унбегаун 1969а — *Unbegaun B. O. Selected Papers on Russian and Slavonic Philology.* Compiled by R. Auty and A. E. Pennington. Oxford: Claredon Press, 1969.
- Унбегаун 1970 — *Унбегаун Б. О.* Происхождение русского литературного языка // Новый журнал [Нью Йорк]. Кн. 100. 1970. С. 306—319.
- Унбегаун 1971 — *Унбегаун Б. О.* Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова. Л.: «Наука», 1971. С. 329—333.
- Унбегаун 1973 — *Unbegaun B. O. Lomonosov und Luther // Zeitschrift für slavische Philologie, XXXVII (1973).* С. 159—171.
- УС — Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Япон. М.: «Наука», 1971.
- Успенский, I—III — *Успенский Б. А.* Избранные труды. Т. I—III. 2-е изд. М.: «Языки русской культуры», 1996—1997.
- Успенский 1972 — *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на родном языке // Вопросы языкознания. 1972. № 6. С. 85—100.
- Успенский 1974 — *Успенский Б. А.* Доломоносковский период отечественной русистики: Аодуров и Тредиаковский // Вопросы языкознания. 1974. № 2. С. 15—30.
- Успенский 1975 — *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на родном языке: Доломоносковский период отечественной русистики. М.: «Наука», 1975.
- Успенский 1983 — *Успенский Б. А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
- Успенский 1984 — *Успенский Б. А.* К истории одной эпиграммы Тредиаковского (Эпизод языковой полемики середины XVIII в.) // *Russian Linguistics. Vol. VIII (1984).* N. 2. P. 75—127.
- Успенский 1985 — *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М.: Изд-во Московского ун-та, 1985.
- Успенский 1987 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). München: Verlag Otto Sagner, 1987 [Sagners slavistische Sammlung. Bd. 12].
- Успенский 1987а — *Успенский Б. А.* Предисловие // Сойе. I. С. III—XXXVI.
- Успенский 1989 — *Успенский Б. А.* Неизвестная грамматика Петровской эпохи (грамматика Ивана Афанасьева 1725 г.) // *Russian Linguistics. 13 (1989).* С. 221—244.
- Успенский 1992 — *Успенский Б. А.* Доломоносковские грамматики русского языка (итоги и перспективы) // Доломоносковский период русского литературного языка. The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language (Материалы конференции на Фагеруде, 20—25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992. С. 63—169 [Slavica Suecana. Vol. 1].
- Успенский 1994 — *Успенский Б. А.* Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.). М.: «Гнозис», 1994
- Успенский 2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). 3-е изд. М.: Аспект пресс, 2002.
- Федоров 1574 — [Грамматика Ивана Федорова]. Львов, 1574. Цит. по изд.: Грамматика Ивана Федорова. Київ, 1964.
- Феофан Прокопович, I—IV — *Феофан Прокопович.* Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные. Ч. I—IV. СПб., 1760—1774.
- Феофан Прокопович 1717 — [*Феофан Прокопович.*] Державнейшаго государя царя, и великаго князя, Петра Перваго. по долгом странствовании. в царствующии свои санкт-питербурх возвратившагося: сын его величества, благороднейшии государь царевич,

- и великий князь, Петр Петрович, двоелетний младенец, аки своими усты приветству-ет. СПб., 1717.
- Феофан Прокопович 1723 — Слово о состоявшемся, между Империею Российскою и ко-роною шведскою, Мире, 1723 года, Аугуста в 11 день, и должном нашем за толикую милость Божию благодарении, проповеданное Преосвященным Феофаном Архиепи-скопом Псковским и Нарвским, в царствующем граде Москве, в церкви Соборной Ус-пения Пресвятыя Богородицы, 1723 году, Генваря 11. СПб., 1723.
- Феофан Прокопович 1725 — [Феофан Прокопович]. Слово на погребение Всепресвет-лейшаго Державнейшаго Петра Великаго, Императора и Самодержца Всероссийска-го... 1725 года, марта 1 дне. СПб., 1725.
- Феофан Прокопович 1727 — Слово на погребении Блаженныя и Вечнодостойныя памяти Великия Государыни Императрицы Екатерины Алексиевны, Самодержицы Всерос-сийския, проповеданное в царствующем Санктпетербурге, в церкви Святых первовер-ховных Апостол Петра и Павла, Преосвященнейшим Феофаном Архиепископом Великаго Новаграда, и Великих Лук, лета Господня 1727, Маиа в 11 день. СПб., 1727.
- Феофан Прокопович 1733 — Слово в день вшествия на всероссийский престол самодер-жавнейшия великия государыни наша Императрицы Анны Иоанновны всея России. Иануария 19 дня, 1733 Гола. О том, что царская власть собственным промыслом бо-жжим получается. Проповеданное Феофаном Архиепископом Новгородским в Санкт-петербурге в домашней церкви Ея Величества. СПб., 1733.
- Феофан Прокопович 1773 — [Феофан Прокопович]. История Петра Великого от Рожде-ния Его до Полтавской баталии... сочиненная Феофаном Прокоповичем... Изданная с обретающегося в кабинетской архиве дел Его Императорского Величества Списка, правленного рукою самого сочинителя. СПб., 1773.
- Феофилакт Болгарский 1649 — Священное евангелие по вся дни чтмое по зачалом, с толкованием святаго блаженнаго Феофилакта архиепископа болгарскаго. М., 1649.
- Феофилакт Болгарский 1698 — Священное евангелие по вся дни чтмое по зачалом, с толкованием святаго блаженнаго Феофилакта архиепископа болгарскаго. Изд. 2-е. М., 1698.
- Феофилакт Русанов, I—II — [Феофилакт (Русанов)]. Поучительные слова и речи, сочи-ненные и проповеданные в разных местах синодальным членом, преосвященнейшим Феофилактом Архиепископом рязанским и зарайским. Ч. I—2. Изд. 2-е. М.: Сино-дальная Типография, 1809.
- Фергусон 1959 — *Ferguson Ch. A. Diglossia // Word 15 (1959). P. 325—340.*
- Филарет 1869 — Письма митрополита Московскаго Филарета к А. Н. М[уравьеву]. 1832—1867. Киев, 1869.
- Филин 1981 — *Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М.: «Наука», 1981.*
- Флаер 1976 — *Flier M. S. Is kljast' Iconoclastic? // Studia linguistica... A. V. Issatschenko... oblata. Ed. by G. Jacobsson et al. Lisse: The Peter de Ridder Press, 1976. P. 111—127.*
- Флаер 1978 — *Flier M. S. On the Velar Infinitive in East Slavic // American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists. Zagreb and Ljubljana, September 3—9, 1978. Vol. I. Linguistics and Poetics / Ed. by H. Birnbaum. Columbus: Slavica Publishers, 1978. P. 270—306.*
- Флоря 1992 — *Флоря Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян. М., 1992.*
- Фоменко 1960 — *Фоменко Ю. В. К вопросу об именном склонении в русской письменности XVII века // Учен. зап. Московскаго гос. пед. ин-та им. Ленина. Вып. CXLVIII. М., 1960. С. 392—412 [Русский язык. Вып. 10].*
- Фонвизин 1769 — Иосиф, в девяти песнях сочинение г. Битобе. [Перевод и предисл. Д. И. Фонвизина]. М., 1769. Ч. I.

- Фрайдхоф 1972 — *Freidhof G.* Vergleichende sprachliche Studien zur Gennadius-Bibel (1499) und Ostroger Bibel (1580/81). Die Bücher Paralipomenon, Esra, Tobias, Judith, Sapientia und Makkabäer. Frankfurt am Main, 1972 [Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe III, Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik. Bd. 21].
- Франклин 1985 — *Franklin S.* Literacy and Documentation in Early Medieval Russia // *Speculum*. 40 (1985). P. 1—38.
- Фриш 1727 — *Frisch I. L.* Historiam Linguae Sclavonica continuat quatuor captibus. Berolini, 1727.
- Фуко 1996 — *Фуко М.* Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996.
- Хабургаев 1990 — *Хабургаев Г. А.* Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990.
- Хабургаев 1991 — *Хабургаев Г. А.* Древнерусский и древнепольский глагол в сравнении со старославянским. (К реконструкции праславянской системы претеритов) // Исследования по глаголу в славянских языках: История славянского глагола / Под ред. Г. А. Хабургаева и А. Бартошевича. М.: Изд-во Московского ун-та, 1991. С. 42—54.
- Хенне 1966 — *Henne H.* Hochsprache und Mundart im schlesischen Barock. Studien zum literarischen Wortschatz in der ersten Hälfte des 17 Jahrhunderts. Köln; Graz: Böhlau Verlag, 1966 [Mitteldeutsche Forschungen, 44. Bd.].
- Холлидей и Хасан 1976 — *Halliday M. A. K., Hasan R.* Cohesion in English. London and New York: Longman, 1976.
- Христиани 1906 — *Christiani W.* Über das Eindringen von Fremdwörtern in die russische Schriftsprache des 17 und 18 Jahrhunderts. Berlin, 1906.
- Хутереп 2001 — *Huterer A.* Die Wortbildungslehre in der Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache (1705—1729) von Johann Werner Paus. München: Verlag Otto Sagner, 2001 [Slavistische Beiträge. Bd. 408].
- Хютль-Ворт 1978 — *Hüttl-Worth G.* Zum Primat der Syntax bei historischen Untersuchungen des Russischen // *Studia linguistica Alexandro Vasili filio Issatschenko a collegis amicisque oblata*. Lisse: The Peter de Ridder Press, 1978. P. 187—190.
- Хютль-Фольтер 1978 — *Хютль-Фольтер Г.* Диглоссия в древней Руси // *Wiener Slavistisches Jahrbuch*. Bd. XXIV. S. 108—123.
- Хютль-Фольтер 1983 — *Hüttl-Folter G.* Die trat/torot-Lexeme in den altrussischen Chroniken. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache. Wien 1983 [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte, 420. Bd.].
- Хютль-Фольтер 1984—1985 — *Hüttl-Folter G.* Prinzipielles zur Untersuchungen der neueren russischen Literatursprache // *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, XXVII—XVIII (1984—1985). С. 895—898.
- Хютль-Фольтер 1987 — *Хютль-Фольтер Г.* Языковая ситуация петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа // *Wiener Slavistisches Jahrbuch*, Bd. 33 (1987). С. 7—21.
- Хютль-Фольтер 1987а — *Hüttl-Folter G.* Zur Sprache von Polikarpovs Übersetzung *Geografia generalnaja* (1718) // *Dona slavica aenipontana in honorem Herbert Schelesnik*. München, 1987. S. 57—64.
- Хютль-Фольтер 1996 — *Hüttl-Folter Gerta.* Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 1996.
- Целунова 1985 — *Целунова Е. А.* Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова (филологическое исследование памятника). Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. М., 1985.
- Целунова 1988 — *Целунова Е. А.* Псалтырь 1683 г. на «простом словенском» языке // *Учен. зап. вузов Литовской ССР. Языкознание*, 39 (2). Вильнюс, 1988. С. 112—118.

- Целунова 1989 — Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова / Подгот. текста, сост. словоуказателя и предисл. Е. А. Целуновой. München: Verlag Otto Sagner, 1989 [Slavistische Beiträge. Bd. 243].
- Челлберг 1957 — *Kjellberg L.* La langue de Gedeon Krinovskij, prédicateur russe du XVIII^e siècle. I. Uppsala, 1957 [Acta Universitatis Upsaliensis 1957:7].
- Черкасова 1969 — *Черкасова А. Г.* Из истории форм дательного, творительного и предложного падежей множественного числа существительных // Учен. зап. Псковского гос. пед. ин-та. Вып. 61. Псков, 1969. С. 14—25.
- Черкасова 1972 — *Черкасова Е. Т.* К вопросу о самобытности синтаксического строя русского языка // Вопросы языкознания. 1972. № 5. С. 77—81.
- Чернов 1977 — *Чернов В. А.* Русский язык XVII века. Свердловск, 1977.
- Чернов 1984 — *Чернов В. А.* Русский глагол в XVII веке. Свердловск, 1984.
- Черных 1927 — *Черных П.* Очерки по истории и диалектологии северно-великорусского наречия. I. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как памятник северно-великорусской речи XVII-го столетия. Иркутск, 1927.
- Черных 1953 — *Черных П. Я.* Язык Уложения 1649 года: Вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей Уложенной книги. М.: Изд-во АН СССР, 1953.
- Черты из истории... 1868 — Черты из истории книжного просвещения при Петре Великом: Переписка директора Московской Синодальной типографии Федора Поликарпова с графом И. А. Мусиным-Пушкиным, начальником Монастырского приказа. 1715—1717 гг. // Русский архив. 1868. № 7—8. Стб. 1041—1057.
- Чистович 1857 — *Чистович И. А.* История С. Петербургской духовной академии. СПб., 1857.
- Шапиро 1964 — *Шапиро А. Б.* Изменения в глагольных формах // Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века: Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века. М.: «Наука», 1964. С. 148—185.
- Шахматов, I—III — *Шахматов А. А.* Курс истории русского языка. Литографированное изд. лекций, читанных в С.-Петербургском ун-те в 1908—1911 гг. Т. I—III. СПб., 1910—1912.
- Шахматов 1916 — [*Шахматов А. А.*]. Повесть временных лет. Т. I. Вводная часть, текст, примечания. Пг., 1916.
- Шахматов 1940 — *Шахматов А. А.* Повесть временных лет и ее источники // Труды Отдела древнерусской литературы, IV. М.; Л., 1940. С. 9—150.
- Шахматов 1941 — *Шахматов А. А.* Очерк современного русского литературного языка. М.: Учпедгиз, 1941.
- Шахматов 1957 — *Шахматов А. А.* Историческая морфология русского языка. М.: Учпедгиз, 1957.
- Шахматов и Шевелов 1960 — *Šachmatov A., Shevelov G. Y.* Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache. Wiesbaden, 1960 [Slavistische Studienbücher, I].
- Шванвиц 1730 — [*Шванвиц М.*]. Немецкая грамматика из разных авторов собрана и российской юности в пользу издана от учителя немецкого языка при Санктпетербургской гимназии. СПб., 1730.
- Шванвиц 1734 — [*Шванвиц М.*]. Немецкая грамматика, собранная из разных авторов и в пользу Санктпетербургской гимназии вторым тиснением изданная. СПб., 1734.
- Шванвиц 1745 — [*Шванвиц М.*]. Немецкая грамматика собранная прежде из разных авторов, а ныне для употребления Санктпетербургской гимназии вновь пересмотренная. СПб., 1745.
- Шевченко 1981 — *Ševčenko I.* Levels of Style in Byzantine Prose // XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Wien, 4—9. Oktober 1981. Akten, I/1. Wien, 1981. S. 289—312 [Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 31/1].

- Шепелева 1959 — *Шепелева Р. Д.* Формы дательного, творительного и местного падежей множественного числа в произведениях Симеона Полоцкого // Учен. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Т. 202. Л., 1959. С. 83—99.
- Шепелева 1965 — *Шепелева Р. Д.* Закрепление флексий *-ам, -ами, -ах* в дательном, творительном и местном падежах имен существительных в грамматиках XVI—XVIII веков, изданных в России // Вопросы теории и методики преподавания русского языка. Л., 1965. С. 31—38 [Ленинградский гос. педагогический институт им. А. И. Герцена. Учен. зап. Т. 258. Кафедра русского языка].
- Шепелева 1991 — *Шепелева Р. Д.* Письма Г.-В. Лудольфа 1698 г. // Источники по истории русского языка XI—XVII вв. М.: «Наука», 1991. С. 196—199.
- Шицгал 1959 — *Шицгал А. Г.* Русский гражданский шрифт. 1708—1958. М.: Искусство, 1959.
- Шлосберг 1911 — *Шлосберг А.* Начало периодической печати в России // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия, XXXV (1911). № 2. Сентябрь. С. 53—135.
- Штоль 2000 — *Stoll S.* On the Desinence {-t^(c)} of the Early East Slavic Imperfect // Russian Linguistics. 24 (2000). N. 3. P. 265—285.
- Шульга 1984 — *Шульга М. В.* О причинах устранения родовых различий во множественном числе у родоизменяемых слов // Вопросы языкознания. 1984. № 3. С. 98—104.
- Шутрумф 1983 — *Schütrumpf M.* Die «Anfangsgründe der russischen Sprache» von V. E. Adodurov // Weismanns Peterburger Lexikon von 1731. (III). Grammatischer Anhang. München: Verlag Otto Sagner, 1983. S. 46—53 [Specimina philologiae slavicae. Bd. 48].
- Щепкин 1967 — *Щепкин В. Н.* Русская палеография. М.: «Наука», 1967.
- Эллис и Юр 1982 — *Ellis J., Ure J.* (eds.). Register range and change. Berlin; New York: Mouton, 1982 [International Journal of the Sociology of Language, 35].
- Юности честное зеркало 1717 — Юности честное зеркало или показание к житейскому обхождению. Собранные от разных авторов. СПб., 1717.
- Ягич 1889 — *Ягич И. В.* Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889 [Сборник ОРЯС. Т. XLVI. № 4].
- Ягич 1896 — *Ягич И. В.* Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896 [Исследования по русскому языку, I. СПб., 1885—1895].
- Якобсон 1955 — *Ivan Fedorov's Primer of 1574.* Facsimiled with comment by R. Jakobson. Cambridge, Mass., 1955.
- Яковлева 1965 — *Яковлева Г. А.* Формы склонения существительных в новгородских памятниках делового стиля XVI века: Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. М., 1965.
- Янин и Зализняк 1986 — *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М.: «Наука», 1986.
- Янин и Зализняк 1993 — *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984—1989 гг.). М.: «Наука», 1993.
- Янин и Зализняк 1999 — *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1998 г. // Вопросы языкознания. 1999. № 4. С. 3—27.
- Янковска и Завадски 1960 — *Jankowska B., Zawadski Z.* Narzędnik liczby mnogiej rzeczowników w historii języka polskiego // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [nauki humanistyczno-społeczne], III. 1960, 3—36 [Filologia Polska, II].
- Ярин 1986 — *Ярин А. Я.* Некнижные синтаксические конструкции в бытовых документах второй половины XVIII века: Дипломная работа. М.: МГУ, 1986.

Указатель

- Аввакум (Петров)**, протопоп: «Житие» как квазиагиографический текст 151—152, 537; конструирование оральности в «Житии» 152—155, 246—247, 249, 311—312, 537; употребление в «Житии» форм инфинитива 151—155, 157, 158, 161, 181, 249, 312, 537; употребление в «Житии» форм 2 лица ед. числа презенса 245—247, 249; параметры *a*-экспансии в «Житии» 310—313, 314, 315, 316, 317, 319, 326, 389; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в «Житии» 431—432, 434, 436; упоминания 30, 67, 68, 567; специфика оральности в «Книге бесед» 155—156; употребление в «Книге бесед» форм инфинитива 156—157; употребление в «Книге бесед» форм 2 лица ед. числа презенса 247; параметры *a*-экспансии в «Книге бесед» 312—313, 317
- Августин (Виноградский)**: употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 526—527
- Аверина С. А.** 246
- Аверьянова А. П.** 218
- Авраамий, старец**, «Тетради»: характер текста 308; параметры *a*-экспансии 308—309, 313, 317, 390
- Авраамий Фирсов** см. Псалтырь Авраамия Фирсова
- «Адельфотес»**: отражение *a*-экспансии 355; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 476—477, 479; структура глагольной парадигмы 583, 584
- Адолуров В. Е.**: концепция языкового стандарта 123—124, 214; отношения с Паусом 120, 123, 214, 370, 373, 468, 549, 579, 593—595; сотрудничество с В. К. Тредиаковским 203, 546—547; «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» 23, 120, 121, 548, 549; противопоставление русского и славянского 31, 123—124, 374—375; зависимость от Смотрицкого 373—374, 587, 593; зависимость от Лудольфа 587, 593; зависимость от русской грамматики М. Шванвитца 33, 373—376, 551; влияние на последующую грамматическую традицию 380, 595—597; кодификация форм инфинитива 202, 214—217, 257, 546, 551; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 251, 257, 258, 551; отражение *a*-экспансии 338, 340, 341, 346, 373—376, 379, 382, 551; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 488, 546, 551; структура глагольной парадигмы 579, 580, 587, 593—595, 598; исправления во втором издании «Немецкой грамматики» М. Шванвитца 216—217, 341, 371, 488—489, 595; орфографический трактат 1738—1739 гг. 219; как переводчик 198—199, 201—202, 464—468;
- Адриан, патриарх** 137, 414
- Акафисты** 110
- Академия наук**: ее филологическая деятельность в послепетровскую эпоху 119—121, 124—126, 198—202, 545—547; академическая грамматическая традиция 121—122, 126, 213—217, 219—220, 368, 370, 486—489, 598; издательская деятельность 124—125, 198, 216, 464, 545; преподавание русского языка в Академии наук 119—120, 548—549, 579—580; нормализация форм инфинитива в трудах академических филологов 213—217; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса в трудах академических филологов 256—257; кодификация склонения существительных в академической грамматической традиции 370—377; нормализация употребления прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в академической грамматиче-

- ской традиции и практике Академической типографии 472—474, 516—517, 518; противоречия в нормализационной деятельности 201—202, 215—217; нормализационная деятельность как развитие тенденций Петровской эпохи 333—334; ограниченность влияния академической нормализации 201, 342, 473—474, 489—490
- Александр I** 407
- Александр-Невская лавра** (типография) 510
- Алексеев А. А.** 205, 348, 560, 564
- Алексеев П. Т.** 227
- Алексей Михайлович**, царь 141, 172; его переписка 161, 166, 248
- Алексей человек Божий** 148
- Амартол Георгий** *см.* Хроника Георгия Амартола
- Амвросий (Юшкевич)**: употребление форм инфинитива в его проповедях 231—232; употребление форм 2 лица ед. числа презенса в его проповедях 262, 263; параметры *a*-экспансии в его проповедях 396—397, 398, 399; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в его проповедях 517—518; употребление простых претеритов и *л*-формы в его проповедях 574
- «Амфитрион»**, драма: употребление в ней форм инфинитива 161
- Аналогия** 11, 78, 271—272, 492—493
- Ананьева В. П.** 303—304
- Андерсен Х.** 78, 79, 85, 272
- Анна Иоанновна**, императрица 203
- Анонимные грамматические фрагменты** из Гамбургской библиотеки: кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 484—486
- Антоний**, иеромонах, редактор Жития Федора Черного 89
- Апокалипсис** 528
- Аполлодор** *см.* Барсов А. К.
- Аполлос (Байбаков)**: кодификация форм инфинитива 222; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 258; отражение *a*-экспансии 381—382; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 479, 507—508; структура глагольной парадигмы 600
- Апостол** (книга) 58, 96
- «Артаксерксово действо»**, драма: употребление форм 2 лица ед. числа презенса 264
- Архаизация** 20, 167, 294, 296, 314
- Архангельское Евангелие** 132
- Астахина Л. Ю.** 111
- Афанасий (Вольховский)** 575
- Афанасьев Иван**, «Грамматика»: кодификация форм инфинитива 212, 215, 256; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 256; отражение *a*-экспансии 365—366; структура глагольной парадигмы 579, 592; упоминания 543, 550
- Афиани В. Ю.** 129
- A*-экспансия в косвенных падежах мн. числа**: план исследования 33—34; и разбиение существительных на именные классы (типы основ) 276—277, 386; объем *a*-экспансии (окказиональное, ограниченное, широкое и доминирующее употребления) 284; начало этого процесса в восточнославянских диалектах 268—270; динамика этого процесса в отношении к роду, падежу и типу склонения 270—273; в письменности XVI в. 273—276, 294; параметры *a*-экспансии в стандартном церковнославянском регистре 277—284, 531; характерная для стандартного церковнославянского регистра конфигурация вариантов 46, 283—284, 314—318; параметры *a*-экспансии в бытовом регистре 284—288, 531; характерная для бытового регистра конфигурация вариантов 288, 314—318; параметры *a*-экспансии в деловом регистре 288—296, 305, 308, 310, 531; характерная для делового регистра конфигурация вариантов 46, 76, 296, 314—318; параметры *a*-экспансии в гибридном регистре 296—314, 531; характерные для гибридного регистра конфигурации вариантов 296, 307—308, 314—318; параметры *a*-экспансии в текстах Петровской эпохи 319—333, 542; замены в «Географии генеральной» 118—119, 324—325; параметры *a*-экспансии в формирующемся языковом стандарте 333—352; параметры *a*-экспансии в духовной литературе XVIII в. 77, 385—407, 544, 553, 555—556; отражение *a*-экспансии в

- грамматических описаниях церковнославянского языка 353—361; отражение *a*-экспансии в первых грамматиках русского языка 361—368, 550—551; отражение *a*-экспансии в академической грамматической традиции 368—379, 551; отражение *a*-экспансии у Ломоносова и в последующей грамматической традиции 379—385, 552; фактор ориентации на образцы 284, 296, 305, 307—308, 314—318, 333, 402; жанровый фактор 77, 388, 553; фактор нормализации 284, 289, 291—292, 293, 296, 308, 316—318, 325, 329, 332—333, 337—338, 341, 535—536; стилистический фактор 282—283, 319, 555; фактор устойчивых словосочетаний 285, 310, 312, 319; фактор непродуктивности 288; фактор «свежести» инновации 288, 295—296, 304, 305, 315—316; фактор цитатности 401—407, 555; различие параметров *a*-экспансии в «больших» и «малых» классах 326, 327, 329, 332, 334, 335—337, 339—340, 343, 389, 394, 398, 403; старые флексии как поэтическая вольность (и стилистический показатель) 339—341, 344—349, 352, 376, 401, 546—547, 555; реинтерпретация в генетических терминах 122, 370, 374—376
- Бабаева Е. Э.** 36, 190, 210, 213, 255, 360, 361, 586, 588
- Байер Г.-З.** 564
- Бакланова Н. А.** 308
- Барклай Дж.** 565
- Барсов А. А.:** «Российская грамматика» 23, 31, 536, 548, 549; ориентация на языковую практику 128, 129, 224, 384—385, 552; трактовка форм инфинитива 206, 222, 223—225, 552; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 257, 548; отражение *a*-экспансии 382—385, 548, 552; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 507, 552; структура глагольной парадигмы 600—601; «Слово на коронацию Екатерины» 1762 г. 225
- Барсов А. К.:** перевод «Библиотек» Аполлодора: история текста 192—193, 562; правка типографских справщиков 324, 453, 562; относительные предложения 112; употребление форм инфинитива 190, 192—193, 230; параметры *a*-экспансии 327—328, 329, 332; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 461—462, 465, 466, 469, 484, 511, 512, 542; остаточное употребление простых претеритов 562
- Бауманн Г.** 202, 341, 587, 598
- Бахтин М. М.** 21
- Бевзенко С. П.** 388
- «Безразборное употребление»** 495—496, см. также: Петровская эпоха, «петровский пул»
- Белич А.** 79
- Берестяные грамоты** 52, 53, 54, 56, 63, 64, 69, 71—74, 81—84, 134, 164, 239—240, 269, 272, 446, 447
- Берков П. Н.** 204
- Бермел Н.** 100
- Бернштейн С. Б.** 275
- Библия (Св. Писание)** 61, 123, 181, 401, 408, 449, 520, 521, 526, 527, 528, 554, 555, 575; исправление (справа) Библии 86—87, 559; перевод на национальные языки 105
- Библия Геннадиевская** 279
- Библия Елизаветинская:** параметры *a*-экспансии 278—279; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 410—412; упоминания 87, 137
- Библия Острожская:** параметры *a*-экспансии 278—279; и грамматика Смотрицкого 356—357; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 410—412; упоминания 284, 412
- Библия 1663 г.:** параметры *a*-экспансии 279, 284; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 410—412; упоминания 137, 368
- Биржакова Е. Э.** 104
- Битобе П.-Ж., «Иосиф»** см. Фонвизин Д. И.
- Блюментрост Л.** 373
- Бобрик М. А.** 86, 87
- Богданов А. П.** 569
- Богданов П. Д.** 156, 246, 247, 312, 313
- Богослужбные тексты (книги)** 47, 48, 58, 61, 64, 76, 181, 184, 408, 412, 449, 529, 554, 575—576
- Бодрийяр Ж.** 9
- Бодуэн де Куртене И. А.** 272
- Бохарт С.** 112
- Брин Н.** 124, 202, 251

Броунинг Р. 14

Брюс Яков 185, 186, 187, 188, 189, 323, 452, 456, 457, 588

Буйе, «Книга о способах, творящих водохождение рек свободное»: история текста 456; употребление в ней форм инфинитива 195, 196; употребление в ней форм 2 лица ед. числа презенса 250; параметры *a*-экспансии 323—324, 326, 329, 332; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 456—457, 463, 468, 469, 542; употребление простых претеритов 563; местн. ед. *земли* 30

Булич С. 134, 137, 240, 278, 279, 410—412, 568, 578

Быкова Т. А. 185, 186

Бытовой регистр: общие характеристики 15—16; его формирование 69, 74, 76, 136, 162, 446, 529; и формирование языкового стандарта 22, 30, 456; функционирование в нем форм инфинитива 136, 159—164, 182, 184, 188, 531; функционирование в нем форм 2 лица ед. числа презенса 247—248; параметры *a*-экспансии 284—288, 314—318, 531; употребление в нем прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 446—448, 531

Ваденюк П. 440

Вальхаузен И. Я. фон *см.* «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей»

Вараксины, авторы писем 163

Варений Б., «География генеральная»: история текста 190—191, 563; исправления Софрония Лихуда 22, 25, 30, 35, 47, 107, 117—118, 191—192, 193, 194, 250, 324—325, 453, 455, 458—460, 557—559, 562; относительные предложения 113; употребление форм инфинитива 190—192, 198, 213, 542—543; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 250, 251; параметры *a*-экспансии 324—327, 329, 330, 332, 334; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 458—461, 466, 484, 511, 542—543; остаточное употребление простых претеритов в исправленном тексте 558—559

Вариативность в языке: как фундаментальное свойство 15—18; и норма 44—51; и дифференциация вариантов 15, 18—19,

23—24, 47, 82—83, 128—129, 166, 268, 347, 536, 547—548, 552; немотивированная (свободная) вариативность как свойство гибридного регистра 69, 142, 154, 158, 296, 437; немотивированная вариативность и идея ее устранения (или консервации) 22, 25, 45, 116, 207—208, 332, 347, 370, 378, 464, 467—468, 473, 548, 549, 551; переосмысление в генетических терминах 31, 32, 122—124, 268, 370, 374—376, 496, 520; свободная вариативность и употребление разных вариантов в качестве однородных членов — *см.* морфологические варианты

Варлаам Хутынский *см.* Вкладная Варлаама Хутынского

Вахек И. 21, 44

Вебер М. 11

Ведомости, газета петровского времени: употребление форм инфинитива 185; параметры *a*-экспансии 320—322

Вейсманов лексикон 120, 124, 202, 214, 215, 216, 251, 488

Венгеров С. А. 345

Вермеер В. 56, 70, 71, 81

Вести-куранты: характер текста 169; элементы нормализационной правки 289; употребление форм инфинитива 167—172, 174, 185, 188; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 248; параметры *a*-экспансии 289—290, 294, 296, 315, 317; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 445—446, 456; упоминания 529

Вид: как категория 79; становление этой категории 34—35; и выбор формы простых претеритов 34—35, 93, 99—101, 567—571, 573; опыты кодификации 584—586, 592—594, 601

Вильгельм Завоеватель 38

Византия 14, 42, 51, 63, 65

Виллеруа Фр. де Невиль, герцог 203

Виноградов В. В. 22, 26, 38, 65, 83, 151, 152, 153, 601

Винокур Г. О. 111, 121, 217, 545, 546

Винтер Е. 580

Вкладная Варлаама Хутынского 70

Владимир Мономах *см.* Поучение Владимира Мономаха

- Владимир Св.** 63
Владыкин И. А. 559
Вожела К. 121, 493, 497
Возняк М. 584
Войнова Л. А. 104
Волков Б. 456
Волчков С. 474
Вомперский В. П. 492
Вопрошания Кирика 46, 56, 58, 59, 60, 240
Ворт Д. 44, 45, 47, 58, 64, 353, 354, 583
Врадий А. А. 279, 356, 357
Время: как категория 79; структура временных парадигм в грамматиках церковнославянского и русского языков 225, 578—601; *см. также:* вид, л-форма, простые претериты
- Всеволод Ярославич, князь** 80
- Второе лицо ед. числа презенса:** план исследования 33; прагматические различия в функционировании форм инфинитива и форм 2 лица 238—239, 537; как признак книжности 241, 249; ранние примеры в не книжных текстах 239—240; ранние примеры в книжных текстах 240—241; функционирование в текстах гибридного регистра 165, 241—247; функционирование в текстах делового и бытового регистров 247—248; функционирование в текстах Петровской эпохи 249—250; функционирование в текстах послепетровской эпохи 250—254; функционирование в духовной литературе конца XVII—XVIII в. 254, 258—264, 553, 555; функционирование в драматических произведениях 264—266; отличия в параметрах употребления от форм инфинитива 240—249, 250—254, 261, 537—538; кодификация в грамматиках церковнославянского языка 255; кодификация в грамматиках русского языка 255—257, 551; стилистическое использование 246, 254, 258, 262—263; связь с оральностью 246, 259—260; фактор цитатности 262, 264; молитвенное употребление 239, 245, 262; трактовка в ряду поэтических вольностей 257—258, 553; противопоставление форм как русских vs. славянских 122—124, 256—258
- Второе южнославянское влияние** 47, 412
- Вяземский П. А.** 208—209
- Гавриил (Бужинский):** употребление форм инфинитива в его проповедях 228; употребление форм 2 лица ед. числа презенса в его проповедях 260; параметры а-экспансии в его проповедях 389—390, 391, 392, 394; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в его проповедях 510—511, 515, 521; употребление простых претеритов в его проповедях 228, 570—571, 573
- Гавриил (Петров):** «Собрание разных поучений» 1775 г. 31; употребление форм инфинитива в «Собрании разных поучений» 235; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 263; параметры а-экспансии 402—404, 407; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 522—524; употребление простых претеритов и л-формы 575—576; лингвистическая правка при подготовке «Собрания разных поучений» 576; упоминания 554, 556
- Гаспаров Б. М.** 13, 59, 60
- Гаспаров М. Л.** 566
- Гедеон (Криновский):** переход на русский язык в проповеди 232, 398, 554, 574—575; различия между двумя изданиями его проповедей 402, 519—520; употребление форм инфинитива 232—233, 234, 554—555; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 262—263, 555; параметры а-экспансии 398—402, 403, 404, 555; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 518—521, 522, 523, 524, 525, 555—556; употребление простых претеритов и л-формы 554, 574—575; упоминания 31, 235
- «География генеральная»** *см.* Варений Б.
- «Геометрия славенски землемерие»:** характер памятника 185, 451—452, 563; история текста 185—187; относительные предложения 113; употребление форм инфинитива 185—190, 192; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 250; параметры а-экспансии 322—323, 344; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 451—456, 460, 463, 543
- Георгий, митрополит киевский** 80

- Герасим Ворбазомский**, «Буковница»: отражение *a*-экспансии 354
- Герасимов Д.**, «Донатус»: кодификация форм инфинитива 209; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 255; отражение *a*-экспансии 354; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 475—476; структура глагольной парадигмы 583, 590
- Герд А. С.** 246
- Гермоген**, патриарх 242
- Геронтий**, иеродиакон, летописец 435
- Гётц Л. К.** 70
- Гибридный регистр** (гибридный язык): общие характеристики 15—16, 529; процесс формирования 59, 64—69, 76, 89—90, 529; допустимое разнообразие в рамках его нормы 49, 142—143; отсутствие кодификации 210; и летописание 64—68; экспансия на нелетописные тексты 68, 89; адаптация гибридного языка в проповеди 385, 508—509, 571—573; синтаксические параметры 66—68, 110—111, 142; и морфологическая вариативность 69, 142, 154, 158, 296, 437; и признаки книжности 89, 232; и формирование языкового стандарта 21—22, 25—27, 30, 69, 117, 194, 331, 458—459; функционирование в нем форм дв. числа 89—91; функционирование в нем форм инфинитива 135—159, 181, 184, 188, 192, 530; функционирование в нем форм 2 лица ед. числа презенса 165, 241—247; параметры *a*-экспансии 296—318, 531; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 418—437, 530—531
- Гиппиус А. А.** 18, 19, 36, 56, 58, 64, 67
- «Гистория о российском матросе Василии Кориотском»:** употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 474; упоминания 114, 564
- Глазов А.**, автор письма 161
- Глушков С. И.** 205
- Глюк И. Э.:** «Grammatik der russischen Sprache» (1704) 23, 30, 550; характер грамматического описания 365, 550—551; зависимость от Смотрицкого 364, 365, 481; кодификация форм инфинитива 197, 212, 213, 256, 550; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 256; отражение *a*-экспансии 364—365, 550—551; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 481—482, 485, 486; структура глагольной парадигмы 579, 587, 592; упоминания 120, 543, 550
- Голицын А. Н.** 526
- Голицын В. В.**, адресат письма 430, 448
- Голицына Т. В.**, автор письма 430, 448
- Голицыны**, их переписка: элементы ситуационного синтаксиса 110; употребление в ней форм инфинитива 162; употребление в ней форм 2 лица ед. числа презенса 248; параметры *a*-экспансии 285; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 446—448
- Гомилетика** (гомилетическая литература, проповедь): в рамках древнерусской литературы 59; как особая жанровая традиция 77, 258, 266, 385, 553; черты оральности 115, 155—156, 229, 258; переход проповеди на гибридный язык 385, 393, 508—509, 571—573; переход проповеди с церковнославянского языка на русский 232, 398, 554—555, 574—575
- Горбач О.** 358—359, 583, 584, 585
- Горлицкий И. С.** 483
- Горский А. В.** 137, 414
- Горшкова К. В.** 132, 136
- Гражданский шрифт** 26, 116, 117, 125, 186—187, 193, 464, 541
- Гражданской печати издания** 114, 116, 117, 124—125, 320, 332—333, 451, 464, 483, 495
- Граматики:** нормативные 20, 548, 550, 551, 552; описательные 550, 551, 552
- Грамматическая традиция:** ее влияние на узус 86—87, 281—282, 284, 317, 353, 387, 413, 475
- Грандильевский А.** 499
- Граннес А.** 223, 224
- Грациан Б.** 474
- Гребенюк В. П.** 228, 229, 261, 510, 512, 513, 570
- Гренинг М.**, «Русская грамматика»: влияние на нее грамматических трудов Адодурова и Шванвитца 31, 595—598; кодификация форм инфинитива 219; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 257; отражение *a*-экспансии 346, 376—377;

- кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 489; структура глагольной парадигмы 580, 595—598, 599
- Греч Н. И.:** кодификация форм инфинитива 226; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 508; формулирование видового противопоставления 601; упоминания 130
- Греческий язык:** переводы с греческого и формирование книжного языка у славян 54, 106, 110; греческая грамматическая традиция 353, 584, 585
- Григорьев Я.,** стрелец 247
- Гришина Е. А.** 160
- Грот Я. К.** 495
- Грошель Б.** 389, 477
- Гуревич М. М.** 185, 186
- Гюйгенс Х.,** «Книга мирозрения» см. Паус И.-В., перевод «Книги мирозрения»
- Двинские грамоты** 73, 75, 275
- Двойственное число:** семантические типы употреблений 79—81; с числительными *два, оба* 79, 81; парных предметов 79—81; информационно полноценное 80—81; контексты нейтрализации 81; дв. число в согласуемом глаголе 81—82; унификация паукальных счетных форм 81—83; в стандартных церковнославянских текстах 84—87; в сочинениях Епифания Премудрого 87—90; в Новгородской второй летописи 90—91; факультативность дв. числа 87, 88, 90—92; как признак книжности 90—91, 193; как отмиращая категория 95
- Двуязычие:** как модель описания языковой ситуации древней Руси 17, 38—40, 57—58; и интерференция языковых кодов 14, 61
- Дедухина Л. Н.** 273
- Деловой регистр (приказной язык):** общие характеристики 15—16, 27, 48, 83, 529; его формирование 62, 69—76, 83, 136; и нормализация 24, 69—72, 76, 289, 292, 295—296, 316—318, 445—446, 536; и формирование языкового стандарта 21—22, 27, 30; значение лексического повтора для его формирования 75—76, 111; функционирование в нем форм инфинитива 135—136, 150, 164—181, 182—184, 188, 192, 530; функционирование в нем форм 2 лица ед. числа презенса 247—248; параметры *a*-экспансии 288—296, 305, 308, 310, 314—318, 531; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 438—446, 483—484, 531; и институализация бюрократической деятельности 72—73
- Дель'Агата Дж.** 36
- Демкова Н. С.** 212
- Державин Г. Р.** 352
- Державина О. А.** 264
- Диглоссия:** как модель описания языковой ситуации древней Руси 17, 40—42
- Димитрий Ростовский:** Четьи-Минеи 125, 386; употребление форм инфинитива в «Рассуждении о образе Божии» 227—228; употребление форм 2 лица ед. числа презенса в «Рассуждении о образе Божии» 260; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в «Рассуждении о образе Божии» 509—510; употребление форм 2 лица ед. числа презенса в «Рождественской драме» 264; параметры *a*-экспансии в его проповедях 386, 387—389, 390, 391, 392, 394
- Димитрий (Сеченов):** употребление форм инфинитива 230—231; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 261, 262; параметры *a*-экспансии 394—396, 398; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 515—516, 517, 518, 521; употребление простых претеритов и *л*-формы 573
- Дингли Дж.** 386, 387, 389, 390, 392, 393
- Дионисий Фракийский** 584
- Дмитриев Л. А.** 46
- Дмитрий Иванович,** адресат письма 448
- Добрилово Евангелие** 132, 133
- Договор Игоря с греками 945 г.** 66
- Договорные грамоты** 46, 55, 64, 69, 71—72, 164
- Долгорукий Ю. А.,** боярин 430
- Домострой** 135—137, 240, 274—275
- Драматические произведения:** лингвистические особенности жанра 265—266; употребление в них форм 2 лица ед. числа презенса 264—266
- Древненовгородский диалект** 69—70, 81

- Дружинин В. Г.** 151, 157, 245, 247, 311
- Дубровина Л. А.** 303
- Дурново Н. Н.** 41, 48, 49, 98, 132, 133, 134, 239
- Духовная литература:** возникновение оппозиции духовной и светской литературы 68, 147; популярность духовной литературы в XVIII в. 553—554; взаимоотношения языка духовной литературы с формирующимся языковым стандартом 35—36, 114—115, 128, 130, 224, 233—237, 258, 384, 385, 396, 508, 517—528, 552—556; язык духовной литературы и полифункциональность языкового стандарта 130, 237, 385, 515, 517, 528, 543—544, 552—556; восприятие форм инфинитива в гомилетике конца XVII — начала XVIII в. 226—228, 232—237, 553—556; восприятие форм 2 лица ед. числа презенса в гомилетике конца XVII — начала XVIII в. 258—264, 553, 555—556; отражение *а*-экспансии в языковой практике духовной литературы XVIII в. 385—407, 544, 553, 555; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в языковой практике духовной литературы XVIII в. 508—528, 553, 555—556; простые претериты в языковой практике духовной литературы XVIII в. 553, 554
- Дырин Лука**, автор челобитной 111
- Дюрович Л.** 121, 596
- Евангелия** 48—49, 58, 76, 87, 96, 133, 160, 240, 529
- Евдоким**, старец, «Простословие»: кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 255
- Евдокия Лукьяновна**, царица 164
- Европеизация:** и формирование языкового стандарта 24—25, 103—111, 116, 545—547; и значение переводов для новой языковой практики 27
- Евстигнеев О.**, автор письма 163
- Евфимий Стефанович**, исцеленный протопопом Аввакумом 245
- «Ежемесячные сочинения»** 504
- Екатерина II** 125—126, 129, 506
- Елистратий Фролович**, адресат письма 161
- Епифаний Премудрый:** Житие Сергия Радонежского 87—90, 91; Житие Стефана Пермского 89; черты гибридности в его сочинениях 89—90
- Епифаний**, пустозерский узник, «Житие»: употребление в нем форм инфинитива 157—158; употребление в нем форм 2 лица ед. числа презенса 241, 247
- Еремин И. П.** 65
- Жепка В. Р.** 388
- Живов В. М.** 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33—36, 44, 45, 47, 51, 55, 56, 59, 64, 65, 87, 89, 97, 102, 104, 107, 114, 116—119, 123, 128, 129, 133, 138, 139, 141, 147, 151, 167, 172, 176, 186, 190, 191, 193, 212, 214, 215, 218, 223, 227, 235, 236, 238, 256, 257, 320, 325, 340, 344, 346, 347, 354, 364, 365, 368, 374, 375, 384, 394, 415, 443, 455, 458, 460, 476, 481, 482, 486, 490, 493, 496, 497, 503, 504, 509, 513, 514, 524, 541, 547, 554, 557, 559, 560, 561, 565, 566, 571, 572, 579, 580, 582, 583, 584, 587
- Житие Михаила Клопского** 46—47, 68
- Житие Сергия Радонежского** см. Епифаний Премудрый
- Житие Стефана Пермского** см. Епифаний Премудрый
- Житие Федора Черного** 89
- Житие Феодосия Печерского** 94
- Житие Юлиании Лазаревской:** употребление в нем форм инфинитива 143; употребление в нем форм 2 лица ед. числа презенса 241
- Жития святых** 49, 59, 68, 115, 529, 553; употребление форм 2 лица ед. числа презенса в житиях XVI в. 246
- Жолобов О. Ф.** 79—81, 83—85, 91
- Жульева В.** 101
- Завадски З.** 388
- Заемствования** как способ европеизации литературного языка 27, 104—105
- Закон градский (Прохирон)** 55
- Зализняк А. А.** 36, 46, 52, 53, 56, 57, 64, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 132, 134, 160, 164, 239, 240, 269, 272, 294, 446, 447
- Запольская Н. Н.** 218, 344, 563
- Захарьин Д. Б.** 225, 584
- Зеemann К.** 97
- Земская Е. А.** 36, 41, 52, 53, 109
- Зизаний Лаврентий**, «Грамматика словенска»: кодификация форм инфинитива 209;

- кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 255; отражение *a*-экспансии 355—356, 357, 358, 362; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 477, 479; структура глагольной парадигмы 583—584, 585
- Иван Грозный** 135, 176
- Иван**, поп, автор письма 448
- Иван Елистратович**, автор письма 161
- Иванов Иван**, священник, перевод Слов избранных Иоанна Златоуста: употребление форм инфинитива 236; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 263
- Иванов В. В.** 240
- Игорь**, князь *см.* Договор Игоря с греками 945 г.
- Изборник 1073 г.** 132, 133
- Изяслав Ярославич**, князь 80
- Иларион**, митрополит 51
- Ильинский И.** 120, 198—199, 251, 334, 465—467, 564
- Именные классы** *см.* склонения
- Интертекстуальность** в средневековых текстах 59—60
- Интерференция:** регистров языка 27, 59—62, 96, 179, 307, 533—534; книжных и некнижных языковых навыков 65—66, 153; в синтаксисе 66—67
- Инфинитив:** план исследования 33; генезис форм на *-ть* 131—133; ранние примеры форм на *-ть* 132—134; вопрос о времени исчезновения форм с безударным *-ти* в разговорном языке 134, 167; смешение с супином 133, 135, 181; формы инфинитива в текстах XVI в. 135—137; формы инфинитива в стандартных церковнославянских текстах XVII в. 137—138, 530; формы инфинитива в текстах гибридного регистра XVII в. 139—159, 530; формы инфинитива в текстах бытового регистра 159—164, 166, 530; формы инфинитива в текстах делового регистра 164—181, 530; конфигурации вариантов в письменности XVII в. 181—184; формы инфинитива в языковой практике Петровской эпохи 184—197, 542; формы инфинитива в языковой практике послепетровского времени 198—209; формы инфинитива в языковой практике духовной литературы конца XVII—XVIII в. 226—237, 553—556; возможность стилистического использования форм инфинитива 148, 152—153, 174, 206, 222—224, 233—234, 235; фактор лексического значения 136—137, 165, 194; фактор синтаксических конструкций 142, 144, 193—194, 231; фактор личного выбора 142; жанровый фактор 147, 184—185; фактор цитатности 232, 233, 235, 237, 554; как показатель статуса текста 165—166, 168, 173—174, 182—183, 267, 536—537; различия в статистических параметрах у возвратных и невозвратных форм 148—149, 158, 160—161, 166, 170, 182—183, 188, 194; отличия в параметрах употребления от форм 2 лица ед. числа презенса 240—249, 250—254, 261; кодификация в церковнославянских грамматиках 209—211; кодификация в грамматиках русского языка 128, 211—226, 546, 550—552; формы на *-ти* как поэтическая вольность 121, 202—204, 206, 216, 252, 257—258, 546, 553; противопоставление форм как русских *vs.* славянских 123, 124, 213, 214, 218—219, 221, 226, 256—257
- Иоаким**, патриарх, «Слово благодарственное» 1683 г.: употребление в нем форм инфинитива 138; параметры *a*-экспансии 283, 284, 385, 390; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 416, 417—418, 510; употребление простых претеритов 568—569; употребление *л*-формы 569; упоминания 569
- Иоанн Вишенский:** параметры *a*-экспансии в его сочинениях 388—389; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 477
- Иоанн Златоуст:** Беседы на книгу Бытия в переводе Платона Левшина — *см.* Платон (Левшин); Слова избранные в переводе Ивана Иванова — *см.* Иванов Иван; упоминания 415, 526, 576
- Иорданиди С. И.** 269, 270, 271, 272, 273
- Иорданский А. М.** 81, 91
- Ипатьевская летопись** 50
- Исаакий Печерский** 95
- Исаченко А. В.** 22, 26, 27, 40, 55, 57, 106, 425, 541

- «История Северной (Свейской) войны» 25, 563
- Истрина Е. С.** 582
- «Иудифь», драма: употребление в ней форм инфинитива 161; употребление в ней форм 2 лица ед. числа презенса 264
- Кагарлицкий Ю. В.** 260, 554
- Казакевич А. И.** 247
- Казанский летописец:** употребление форм инфинитива 135; параметры *a*-экспансии 276, 303—304, 316
- Кайзер Д.** 71
- Кайперт Г.** 21, 22, 23, 26, 30, 31, 33, 36, 105, 123, 202, 212, 214, 215, 256, 257, 364, 365, 368, 371, 373, 375, 481, 482, 486, 487, 496, 579, 580, 587, 595, 596, 598
- Кант И.** 128
- Кантемир А. Д.:** употребление у него форм инфинитива 203—204, 218; употребление у него форм 2 лица ед. числа презенса 252—253; параметры *a*-экспансии в его произведениях 344—346, 400; употребление у него простых претеритов 565; трактовка поэтических вольностей 202, 204, 217—218, 252—253, 258, 345—346, 348, 376, 546; перевод «Разговора о множестве миров» Б. Фонтенеля 108, 113, 203, 345, 565; «Описание Парижа» 203, 252; «Симфония на Псалтырь» 565; «Петрида» 252, 565; *Epidos consolatoria* 252; сатиры 120, 204, 252, 345, 545; Речь Анне Иоанновне 252; «Письмо Харитона Макентина» 23, 204, 217—218, 252, 346, 376, 383, 385; перевод посланий Горация 204, 252, 565; переложения псалмов 252; переложения Анакреонта 252
- Карамзин Н. М.:** языковая программа 128; стилистическая дифференциация морфологических вариантов в его прозе 23, 128—129, 548, 552; «История государства Российского» 128—129; «Письма русского путешественника» 128; критика Фонвизина 206; упоминания 548, 552
- Каргопольский И. И.** 483
- Карский Е. Ф.** 582
- Каснан,** епископ 242
- Керницкий И. М.** 388
- Кириевские,** фонд писем: синтаксические коллоквиализмы 67; употребление форм инфинитива 159—162; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 446—448
- Кириевский В.,** автор письма 161
- Кириевский И. И.,** адресат и автор писем 160, 161, 448
- Кирик Новгородец** *см.* Вопросания Кирика
- Кирилл,** епископ ростовский 91
- Кирилл,** митрополит 91
- Кирилл,** просветитель славян 106, 107
- Кирилл Туровский** 51, 56
- Кирилло-мефодиевская традиция** 16, 37, 54, 97
- Кириченко Г. С.** 320, 321
- Китайгородская М. В.** 41, 109
- Кленин Э.** 61, 99, 100, 570
- Клосс Б. М.** 87, 88, 90
- Клубков П. А.** 495
- Ключевский В. О.** 68
- Кляйн И.** 566
- Книжный язык:** в его противопоставлении разговорному 40—41, 93—95; специфичность книжного синтаксиса 43, 51—54; специфичность книжной лексики 43
- Кодификация языкового стандарта:** и устранение немотивированной вариативности 22, 207—208, 332, 347, 370, 378, 548, 549, 551; трактовка морфологической вариативности 121—124, 548—552; историко-культурное значение 104, 549, 552; преемственность в кодификации церковнославянского и русского языков 353, 549—550
- Кодификация глагола в русской грамматической традиции:** как форма преемственности 35; структура глагольной парадигмы в первых грамматиках русского языка (отсутствие простых претеритов) 578—581; кодификация глагольных времен в церковнославянских грамматиках 582—586; кодификация глагольных времен в доломоносовских грамматиках 586—598; структура глагольной парадигмы и способы глагольного действия 582—601
- Кодифицированность языкового стандарта** 21, 44, 77, 543, 548—552
- Кожина М. Н.** 185

- Козлов В. П.** 129
- Кокрон Ф.** 30, 159, 161, 245, 248, 264, 285
- Коммуникативные задачи (задания):** и свойства производимого текста (речи) 12, 25, 26, 27—28, 49, 51—54, 55, 59, 93, 98, 103, 447; нестандартные 59—61, 64, 66—67, 71, 443—444, 451, 456—457; связанные с новым секулярным дискурсом 104, 107, 184, 464
- Коммуникативные ситуации:** и культурное сознание 14; и регистры языка 13, 14, 18, 20, 76; и различия в статусе грамматических единиц (степень автоматизма) 238—239
- Копиевич И.:** зависимость от Смотрицкого 363, 479, 588—589; кодификация форм инфинитива 211—212; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 255—256; отражение *a*-экспансии 363—364; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 479, 480; структура глагольной парадигмы 578—579, 588—590; возможное влияние на грамматики Сойе и И. Афанасьева 591—592; упоминания 550
- Кормчая** 174
- Коровин Г. М.** 598
- Кортаева Э. И.** 111, 112
- Кортава Т. В.** 76
- Коста П.** 147, 202, 244, 309, 559
- Котков С. И.** 28, 67, 76, 111, 159, 162, 164, 166, 167, 248, 285, 286, 287, 295, 446, 448
- Котошихин Г.:** характер текста 443—444; «Об обучении царевичей» 72; синтаксические конструкции 107, 111, 443; употребление форм инфинитива 167, 179—181, 182—183, 185; параметры *a*-экспансии 289—291, 295, 296, 316, 326; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 443—445, 446, 456; упоминания 248, 529
- «Краткие правила» 1773 г.:** кодификация форм инфинитива 221—222, 225; отражение *a*-экспансии 381, 382; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 505; структура глагольной парадигмы 599
- «Краткие правила» 1780 г.:** кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 505
- «Краткие правила» 1784 г.:** кодификация форм инфинитива 221, 225; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 257; отражение *a*-экспансии 381; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 505—506; структура глагольной парадигмы 599
- «Краткие правила» 1796 г.:** кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 505
- «Краткое описание комментариев Академии наук» 1728 г.:** относительные предложения 108, 113; употребление форм инфинитива 198—200, 215, 544; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 250—251; параметры *a*-экспансии 334, 544; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 464—468, 469, 470, 473, 544; употребление простых претеритов 564
- Кречетовский И., справщик** 562
- Кручинина И. Н.** 110
- Крысько В. Б.** 79—81, 83—85, 91, 269, 270, 271, 272, 273, 423
- Кузнецов П. С.** 285, 582
- Кузьмина В. Д.** 149, 245, 314
- Куник А.** 127, 547
- Купер Б. Ф.** 559
- Курганов Н. Г.:** кодификация форм инфинитива 222; отражение *a*-экспансии 380—381; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 505; структура глагольной парадигмы 599
- Кутина Л. Л.** 104, 394, 511, 512, 513, 571, 572
- Лаврентьевская летопись** 45, 47, 50, 66, 78, 99, 100, 426; Академический список 45, 100; Радзивилловский список 100
- Ладюкова А. Е.** 30, 320, 321
- Лант Г.** 36, 41, 42, 43, 50, 51, 95, 133
- Лаптева О. А.** 41, 109
- Ларсен К.** 58—59
- Ласкарис Константин** 584
- Латынь** 17, 38, 39, 51, 120, 198, 353, 363, 482, 489, 495, 515, 547, 549, 575, 588—589; *Vollständige lateinische Grammatica Marchica* 598
- Лебедев В. см.** «Сокращение грамматики латинской» 1746 г.

Левин В. Д. 46, 58

Лексика: связь с коммуникативным заданием 9, 49; особенности нормативных установок 49—51; специфически книжная (абстрактная и религиозная) 43; лексические замены 50—51; и выбор морфологической формы 136—137, 165, 194, 444—445

Лексико-морфонологические соответствия: *ж/жд* на месте **dj* 47; *ч/щ* на месте **tj*, **kt* 57—59; полногласие 319, 328

Лексический повтор (как средство связанности) 73—75, 110—115

Ленхофф Г. 89

Леонид, архиепископ новгородский 436

Летописец 1619—1691 г.г.: относительные предложения 112; употребление форм инфинитива 145—146, 182; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 243; параметры *a*-экспансии 304—305, 317, 318; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 428—430, 432, 434, 436, 459, 461; употребление простых претеритов 146

Летописи: как тип текста 35, 45, 47, 49, 50, 59, 64—68, 78, 89—91, 181—182, 240, 529; воспроизводимая и оригинальная части 97—98, 139, 420; зависимость воспроизводимости от уровня языка 98—99; лингвистическая гетерогенность 78, 91, 97—99, 135, 139—142, 145, 297—299, 303, 420—421; процесс компилирования 435—436

Летопись Самовидца 388

Литературный язык см. языковой стандарт

Лихуд Софроний: исправления в «Географии генеральной» 22, 30, 47, 107, 117—119, 191—192, 250, 324—325, 458, 459, 460, 557—559, 562; общий характер исправлений 30, 47, 117—119, 460; простые претериты в его проповеди 569

Лобковский Пролог 79

Ломоносов М. В.: концепция языкового стандарта 124, 128, 233, 236, 253, 547, 566; противопоставление русского и славянского 580, 581; концепция употребления 497—498, 502; его языковая практика 31, 126, 504; жанрово-стилистическая дифференциация морфологических вари-

антов 347, 536, 547; употребление у него форм инфинитива 204—206; употребление у него форм 2 лица ед. числа презенса 253; параметры *a*-экспансии в его произведениях 349—351, 352, 401; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 498—500; употребление простых претеритов 559; кодификация и трактовка форм инфинитива 206, 220—221, 222, 551; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 257; кодификация форм, отражающих *a*-экспансию 350, 379; кодификация и трактовка прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 34, 475, 496—501, 504, 505, 506; трактовка причастий 520; трактовка форм сравнительной и превосходной степени 520; структура глагольной парадигмы 580, 590, 598—599, 600, 601; отношение к академической грамматической традиции 230; влияние на последующую грамматическую традицию 221—222, 225, 379—380, 381, 382, 384, 599—601; критика Третьяковского 204, 221, 491, 496—498, 501, 580; критерий благозвучия 221; оды 204—206, 350, 559; «Примечания на предложение о множественном окончании прилагательных имен» 23, 496—499, 579; «Вольфианская экспериментальная физика» 498—499; «Риторика» 1748 г. 498; «Русская грамматика» 23, 31, 121, 124, 126, 206, 220—221, 222, 257, 347, 350—351, 500—501, 505, 520, 547, 549, 551—552; «Рассуждение о пользе книг церковных» 105; «Петр Великий» 205, 350; «Демофонт» 205; «Слово похвальное Петру Великому» 205; упоминания 125, 492, 494, 528, 549, 554, 565

Лотман Ю. М. 128

Лудольф Г., «Grammatica Russica»: характер описания 362, 549—550; различия русского и славянского 122, 214, 496, 580; зависимость от Смотрицкого 362, 549, 586; словоизменение прилагательных 23; кодификация форм инфинитива 211, 212, 213, 214, 215, 550; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 255; отражение *a*-экспансии 362, 363, 550; кодификация прилагательных в им.-вин.

- падежах мн. числа 480, 481, 482, 485; структура глагольной парадигмы 578, 579, 586—587, 590—592, 597; и последующая грамматическая традиция 366—367, 486, 551, 587, 590—592, 593—594
- Лукин В. И.** 223
- Лукичева Э. В.** 117, 190
- Лукьянов Т.**, автор письма 160, 161
- Л-форма (перфект):** вторжение в сферу употребления имперфекта 35; как не книжный элемент 57, 569; в прямой речи 569; экспансия употребления 94, 99—101; в Мазуринской летописи 35, 101—103, 139; как замена простых претеритов в правленных текстах XVIII в. 117—118, 193, 267, 541, 557—558, 560—563
- Лызлов А.**, «Скифская история»: как гибридный текст 92; относительные предложения 108; употребление форм инфинитива 143; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 244; параметры *a*-экспансии 306—307, 315, 317, 319, 326; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 430—431, 434; дифференциация аориста и имперфекта 92—93
- Мазуринский летописец:** характер текста 139—140; употребление форм инфинитива 139—142, 145, 146, 147, 157, 158, 182; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 242; параметры *a*-экспансии 297—299, 300, 303, 304, 313, 317, 318, 319, 326, 390; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 419—421, 423, 424, 425, 429, 434, 435, 436, 459, 461; употребление прошедших времен 35, 101—103
- Майер И.** 169
- Майков В. И.:** употребление у него форм инфинитива 128, 208; употребление у него простых претеритов 566
- Макеев Л. Н.** 185
- Макеева В. Н.** 205, 220, 350, 379, 598
- Максимов Федор**, «Грамматика славенская»: кодификация форм инфинитива 210; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 255; отражение *a*-экспансии 361; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 478—479; структура глагольной парадигмы 585—586; дифференциация имперфекта и аориста 582—583; влияние на последующую грамматическую традицию 222, 382, 587, 592—593, 600, 601; упоминания 543, 549
- Максимович И.**, справщик 562
- Малала Иоанн** см. Хроника Иоанна Малалы
- Манго К.** 64, 65
- Маньков А. Г.** 173, 440
- Маркер Г.** 125, 129, 196, 198
- Марков В. М.** 269, 270, 273, 296
- Марсильи де**, граф, «Военное состояние Оттоманския империи» — см. Тредиаковский В. К.
- Мартель А.** 205, 350, 559
- Марчиалис Н.** 36
- Маслов А. К.**, автор письма 163
- Маслов Д. И.**, адресат письма 163
- Маслов И. А.**, адресат письма 163
- Маслов Ф. Д.**, адресат письма 163, 448
- Маслов Ю. С.** 94, 95, 97
- Масловы**, их переписка: употребление в ней форм инфинитива 162—163; употребление в ней форм 2 лица ед. числа презенса 248; параметры *a*-экспансии 287; употребление в ней прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 446—448
- Махов А. Е.** 160
- Маценко И. В.** 272
- Мейчик Д.** 440
- Меланхтон Ф.** 365
- Местоимения:** неличные 18; относительные 107—109; энклитические 245; личные в функции подлежащего 431
- Месяцеслов** 102
- Мефодий**, просветитель славян 106, 107
- Мечковская Н. Б.** 356, 584
- Мещерский Н. А.** 64
- Миллер Г.-Фр.** 580
- Милятино Евангелие** 133
- Миня 1095 г.** 46
- Миня служебная на июнь 1691 г.:** употребление в ней форм инфинитива 137; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 412, 413, 417
- Мирочник Е. Ш.** 270
- Михаил Клопский** см. Житие Михаила Клопского

- Михаил Федорович**, царь 164
- Михалковы**, их переписка: употребление в ней форм инфинитива 162; употребление в ней форм 2 лица ед. числа презенса 248; параметры *a*-экспансии 285; употребление в ней прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 446—448
- Михальчи Д. Е.** 368
- Младограмматики**: их подход к языку 37, 39, 43—44
- Моисеева Г. Н.** 114, 474
- Молдован А. М.** 50, 51
- Молитва**: как особая коммуникативная ситуация 239; и употребление форм 2 лица ед. числа презенса 239, 245, 262
- Молитва Господня («Отче наш»)** 31
- Молчанова Н. Ф.** 272, 310
- Морозов Б. И.** 166
- Морфологические варианты**: и преемственность в языке 15; и интерференция регистров 17—18, 449—450; конфигурации вариантов 18—19, 69, 76, 276, 314—319; их распределение по регистрам языка 19, 22, 27—28, 29, 123, 181—184, 529—532; пропорции их употребления 19, 21, 22; факторы, влияющие на конфигурации вариантов 181—184, 534—538; конфигурации вариантов и статистические параметры 538—540; типы вариантов 20, 119; дополнительная дистрибуция вариантов 23—24, 82—83; стилистическая дифференциация вариантов 23, 128—129, 223—224, 347, 536, 554—556; свободная вариативность и употребление разных вариантов в качестве однородных членов 141, 146, 150, 158, 169—170, 174, 194, 196, 197, 207—208, 229, 231, 236, 244—245, 246, 260, 328, 336, 421, 423, 428, 430, 431, 448, 451—452, 456, 460—461, 463, 466—467, 470, 512, 573; «петровский пул» 24, 27—28, 114, 119, 249, 267, 320, 332, 378, 451, 464, 541—542, 544; и противопоставление церковнославянского и восточнославянского 37—38, 123, 124, 214, 218—219, 221; как конститутивная черта гибридного регистра 69, 142, 154, 158, 296; переосмысление вариантов 82—83, 268, 534; их реинтерпретация в генетических терминах 122—124, 213, 214, 218—219, 221, 226, 256—257, 268, 370, 374—376, 496, 520; индивидуальные стратегии их выбора 537
- Морфология**: как уровень языка 9—11; связь с синтаксисом 56—57; и риторические установки 69
- Московский летописный свод** 80
- Мошерош Г.** 105
- Мстиславова грамота** 56
- Мстиславово Евангелие** 81
- Навыки письма**: их наследование 28, 254, 288; и читательский опыт пишущего 19, 51—63, 77—78, 116, 166, 192—193, 195, 460; и социальный статус пишущего 162, 455, 458; и традиционность коммуникативных задач 197, 315, 455
- Наковальнин С. Ф.**: исправление языка Феофана Прокоповича 233—234, 261
- «Нанизывание» предикативных конструкций** 72—73
- Нарратив**: нарративные стратегии (модели) 35, 242; нарративные цепочки 92; как особая коммуникативная ситуация 239
- Наседка Иван** 176
- Науменко О.**, арестант 164, 165, 172, 174, 295, 317, 537
- Начальный свод** 67
- Невоструев К. И.** 137, 414
- Немецкий язык**: употребление заимствований 104—105; как модель описания 39, 487; переводы 120, 198
- Никифоров С. Д.** 135, 136, 240
- Николаев С. И.** 565
- Николаевский П. Ф.** 176
- Нимчук В. В.** 355, 356
- Ницше Ф.** 12
- «Новая повесть о преславном Российском царстве»**: характер текста 142; употребление в ней форм инфинитива 142—143; употребление в ней форм 2 лица ед. числа презенса 243; параметры *a*-экспансии 301; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 432—433, 434
- Новгородская первая летопись**: Синодальный список (старший извод) 45, 66, 67, 91, 244; Комиссионный список (младший извод) 45, 244
- Новгородская вторая летопись**: история составления 435—436; синтаксические

- особенности 66—67; употребление дв. числа 90—91, употребление прошедших времен 101; относительные предложения 112; употребление форм инфинитива 144—145, 146; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 243—244, 259; параметры *a*-экспансии 302—303, 316; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 435—436
- Новгородская четвертая летопись:** формы 2 лица ед. числа 241
- Новгородская пятая летопись:** функционирование в ней форм инфинитива 135, 140; формы 2 лица ед. числа 241, 242, 244; параметры *a*-экспансии 275—276, 297, 317; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 416, 421—424, 425, 426
- Новгородская кормчая 1280-х гг.** 46, 56, 240
- Новгородские памятники письменности** 45—46, 164
- Новгородское койне** 70
- Новый перфект** 93
- Норма:** книжная 29; нового литературного языка 29, 112—113, 116—130; и вариативность 44—51; в средневековых книжных текстах 45—51; в отношении к разным уровням языка 48; и отличия стандартных церковнославянских и деловых текстов 48
- Нормализация (регламентация) письменного языка:** и регистры языка 16, 448—451, 533; в средневековой книжной письменности 20, 45—46; в деловой письменности 24, 69—72, 76, 289, 292, 295—296, 316—318, 445—446, 536; в Петровскую эпоху 22, 30, 118—119, 196—197, 325, 329, 332—333, 458; с конца 1720-х годов 23—25, 29, 198, 213—217, 333, 337—338, 342, 473—475; 486—490, 544—547; противоречия в нормализационной деятельности академических филологов 201—202, 215—217, 220; как культурный выбор 24; и европеизация 25, 103—111, 545—547; ориентация на язык литературы (образцовых авторов) 121, 130, 216—218, 252—254, 257—258, 351, 376, 545—548, 553; в орфографии 45; в морфологии 116—130, 268, 316—318, 535—536
- Обнорский С. П.** 31, 38—39, 133, 220, 221, 273, 345, 352, 399
- Обучение:** формальное 16, 20, 38, 39, 44; традиционное 39, 49, 51; книжной и не-книжной грамотности 64, 72; преподавание русского языка в Академии наук 119—120, 548—549, 579—580; школьное образование и формирование языкового стандарта 129—130, 490, 506—508, 552, 554
- Общезначимость языкового стандарта** 21, 44, 48, 77, 104, 123, 125—130, 528, 543, 552—556
- Общеславянское языковое единство** 41—42
- Одоевский Н. И.** 166, 176, 177
- Одушевленность:** и употребление им.=вин. 422—423
- «О множестве и о единстве»:** отражение *a*-экспансии 354; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 476, 478
- Омонимия:** как фактор морфологических изменений 271, 291—292; стремление к ее устранению в письменном языке 46, 148, 181, 183, 196—197, 291—292, 295—296, 317, 535—536; стремление к ее устранению при кодификации 355, 357, 358, 360, 361, 478, 493, 536
- Онфим,** автор берестяных грамот 64
- «О осмих частех слова»:** кодификация форм инфинитива 209; отражение *a*-экспансии 353—354
- Опитц М.** 105
- Оральность:** в деловом регистре 74; ее конструирование в письменном тексте 67; в проповеди 115, 259—260; в «Житии» протопопа Аввакума 152—155, 246, 247, 249, 537
- Орешников А. С.** 164
- Ориентация на образцы (при порождении текстов):** и преемственность в языке 16, 19, 59—60, 65, 101, 149, 181, 415, 534—535; отличия в этом отношении книжных и некнижных текстов 315, 408, 533; *см. также:* *a*-экспансия, фактор ориентации на образцы
- Орлова В. Г.** 132

- Ортелий А.**, «Космография»: употребление в ней форм инфинитива 147, 190; употребление в ней форм 2 лица ед. числа презенса 244; параметры *a*-экспансии 309, 317, 326; употребление простых претеритов 559
- Орфографическая реформа 1917—1918 гг.** 473, 489, 534
- Орфография:** книжная и некнижная 56; связь с синтаксисом 56; в летописях 65
- Оснабрюкенский мирный договор 1648 г.** 168, 169, 170, 174
- Остромирово Евангелие** 80, 86, 132, 133
- Относительные предложения:** с союзами *иже, яже, еже* 107—109; и позиция относительного местоимения 108—109; с повторением определяемого слова 111—115
- Отпадение конечных гласных в морфемах** 33, 131—133, 239
- Отген Ф.** 104, 240
- Падучева Е. В.** 99
- Палицын Авраамий**, «Сказание»: параметры *a*-экспансии 301—302
- Пандекты Антиоха** 45
- Панкратова Н. П.** 67, 159, 162, 248, 287, 446, 448
- Панов М. В.** 499
- Пантелеймоново Евангелие** 133
- Паремийник 1271 г.** 269
- Паус И.-В.:** его отношения с академическими филологами 120, 123, 214, 370, 373, 468, 549, 579, 593—595; его грамматика «славяно-русского» языка 120, 121, 548, 549; характер грамматического описания 368—370, 384, 486—487, 549, 551; фиксируемые в ней оппозиции русского и славянского 22—23, 31, 32, 122—124, 214, 256—257, 370, 486, 496, 551, 580, 581; влияние на него Ю. Г. Шоттеля 105; зависимость от Смотрицкого 368—369, 592; зависимость от Лудольфа 122, 369, 551, 593; возможное знакомство с трудами Максимова и Поликарпова 592—593; влияние на последующую грамматическую традицию 31, 123—124, 214, 257, 370—373, 593, 594, 598, 599; кодификация форм инфинитива 214, 551; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 256—257, 551; отражение *a*-экспансии 368—370, 551; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 486, 487, 488, 551; структура глагольной парадигмы 579, 592—595, 598; перевод книги Х. Гюйгенса «Книга мирозрения» 197; употребление форм инфинитива в «Книге мирозрения» 197, 542, 543, 564; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в «Книге мирозрения» 463, 543; употребление простых претеритов в «Книге мирозрения» 564; упоминания 550
- Пекарский П. П.** 23, 219, 456, 473, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 502, 549, 588
- Пеннингтон А.** 15, 22, 30, 72, 76, 111, 180, 183, 248, 273, 291, 292, 294, 443, 444
- Переводы:** их значение для формирования синтаксиса письменного языка 54, 106—111; их роль в петровской культурной политике 117
- Перец В. Н.** 265
- Петличный И. З.** 388
- Петр I:** языковая политика 25, 123, 189, 192, 194, 322, 464, 515, 543—544, 557, 563, 572; культурная политика 541—542; введение гражданского шрифта 26, 116, 117, 125, 186—187, 193, 464, 541; реформа делопроизводства 24—25; его языковая практика 116; его исправления в рукописи «Приемы циркуля и линейки» 185, 323, 453; упоминания 185, 308, 464
- Петр II** 124, 468
- Петрак**, автор берестяных грамот 71—72
- Петровская эпоха:** и устранение регистровой компарментализации 21—22, 24, 184—185, 332, 464; «петровский пул» 24, 27—28, 114, 119, 249, 267, 320, 332, 378, 451, 464, 541—542, 544; реформа языка 28, 541; ее границы и их отражение в языковой практике 320; разрыв с традицией 131, 322, 329, 541—543; «реформаторское» и «нейтральное» направления, отражающиеся в параметрах *a*-экспансии 323, 324, 331—333, 343
- Петрухин П. В.** 35, 97, 99, 100
- Печатный двор** 117, 118, 119, 176, 179, 186, 188, 197, 326, 332, 443, 461, 466, 468, 510
- Пиккио Р.** 59, 105
- Пилгер В.** 169

Пискаревский летописец 99—101

Письменный язык: и устный (разговорный) язык 14, 28, 37—38, 52—54, 77, 111, 131, 135, 148, 166—167, 270, 273, 332, 333, 356; и органический характер его эволюции 38, 51, 54, 77—79, 95, 97, 103, 318, 408, 532—534; *см. также:* *a*-экспансия, фактор «свежести инновации»

Пичхадзе А. А. 50

Платон (Левшин): «Собрание разных поучений» 1775 г. 31; формы инфинитива в «Собрании разных поучений» 235; формы 2 лица ед. числа презенса в «Собрании разных поучений» 263; параметры *a*-экспансии в «Собрании разных поучений» 402—404, 407; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в «Собрании разных поучений» 522—524; относительное предложение в его проповедях 115; динамика форм инфинитива в его проповедях 236—237; формы 2 лица ед. числа презенса в его проповедях 263—264; параметры *a*-экспансии в его проповедях 405—406; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в его проповедях 525—526; простые претериты в его проповедях 576; формы инфинитива в переводе Бесед Иоанна Златоуста 234; формы 2 лица ед. числа презенса в переводе Бесед Иоанна Златоуста 263; формы инфинитива в «Православном учении» 235; параметры *a*-экспансии в «Православном учении» 404—405, 497; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в «Православном учении» 521—522, 523; употребление простых претеритов в «Православном учении» 576; упоминания 554, 556, 575

Плач Иеремии 528, 577

Плетнева А. А. 204, 207, 253, 254, 566

Плунгян В. А. 36

Плюханова М. Б. 151

Повесть временных лет 65, 66, 94, 95

Повесть о Бове Королевиче 528, 564

Повесть о Митяе 89

Повесть о разорении Рязани Батыем 140

Повесть о Петре Златых ключей: относительные предложения 112; употребление форм инфинитива 149—150, 158; упо-

ребление форм 2 лица ед. числа презенса 245; параметры *a*-экспансии 314, 315, 316, 326, 386, 387, 389; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 433—434; упоминания 564

Погорелов В. 269

Подлинев В., автор письма 163

Подшивалов В. С.: кодификация форм инфинитива 222; структура глагольной парадигмы 599

Поликарпов Ф.: его культурная позиция 117; его лингвистические взгляды 190—191, 197, 460; перевод «Географии генеральной» 22, 113, 117, 190—191, 250, 329, 458, 557; его влияние на грамматическую традицию 214, 549, 581; редактирование грамматики Смотрицкого 210, 359—360, 361, 543, 585; «Технология» 122, 360—361, 588; понимание дв. числа 87; трактовка форм инфинитива 210, 213; трактовка форм 2 лица ед. числа презенса 255; отражение *a*-экспансии в его грамматических трудах 359—361; структура глагольной парадигмы в его грамматических трудах 585—586, 588; упоминания 186

Полифункциональность языкового стандарта 21, 25, 27—28, 44, 48, 77, 104, 116, 123, 130, 451, 514—515, 541—544; полифункциональность и язык духовной литературы 130, 237, 385, 515, 517, 528, 543—544, 552—556

Польский язык 133, 365, 388, 482—483, 492, 515, 590

Помпони Мела, «География»: употребление прошедших времен 101, 558—559

Попов М. В. 206, 222, 559

Поповски Н. 45

Послания апостола Павла 402, 405, 406, 528

Посольский приказ 117, 119, 169, 456

Постников Т. П. 483

Поучение Владимира Мономаха 55, 58—59, 60

Поэтические вольности: и приспособление языкового стандарта к потребностям литературы 121, 203, 216—218, 252—254, 257—258, 351, 376, 499—500, 545—548, 553; формы инфинитива на *-ти* как поэтическая вольность 121, 202—204, 206,

- 216—218, 252, 257—258, 546, 553; формы 2 лица ед. числа на *-ши* как поэтическая вольность 217—218, 257—258, 553; тв. мн. на *-ы/-и* как поэтическая вольность (и стилистический показатель) 339—341, 344—349, 352, 376, 401, 546—547, 555; тв. мн. на *-ми* как поэтическая вольность 340, 347—349, 546—547
- Прагматические факторы:** и статус текста 48—49, 55, 164—166, 168; и эволюция грамматических элементов 238—239, 266
- Преemptивность:** в морфологии 12—13, 15, 19; в синтаксисе 53—54, 58—59; и культурная память 15; и читательский опыт пишущего 19, 57—59, 77, 315, 418—419, 446, 540; и статистические параметры 538—540; и память жанра 67—68, 147, 158, 184—185, 265—266, 267, 296, 299, 307, 310, 315—316, 385, 400—401, 535, 553; и регистры языка 20, 77—78, 540; и смена языковых установок 25, 184—185, 320, 324; и лингвистические характеристики книжного и не книжного языков 54—63; в летописных текстах 67—68; в кодификации глагола 581
- «**Приемы циркуля и линейки**» см. «Геометрия славенски землемерие»
- Признаки книжности:** как примета гибридного регистра 89—91, 191; в отличие от других морфологических элементов 193, 304, 318—319, 324—325, 394, 401, 418, 455; и глагольное словоизменение 267; простые претериты 34—35, 101, 189, 319, 352, 537; факультативность их употребления 89, 232; формы дв. числа 90—91, 319; относительные союзы 107; устранение признаков книжности 117—118, 193, 267, 320, 331, 541, 557—558, 560—563; форма 2 лица ед. числа презенса 241, 249, 352
- Приказной язык** см. деловой регистр
- Прилагательные в им.-вин. падежах мн. числа:** план исследования 34; согласовательная интенция и ориентация на образцовые тексты 408—409, 418, 435, 447—451, 452, 459, 467, 471, 483, 502, 519, 521, 553; нормирующая установка пишущего 408—409, 418, 447—451, 452, 455, 467, 471, 483; исходная система и исчезновение родовых противопоставлений в разговорном языке 409—410; нерелевантность для русской письменности XVII—XVIII вв. морфонологического противопоставления флексий *-ии* и *-ьи* в им. мн. м. рода 518; флексия *-ия/-ья* в качестве «безродовой» 416, 418, 420, 427, 429, 430, 432, 433, 436, 437, 441, 442—443, 448, 449—450, 458, 459, 465, 466, 469, 471—472, 473, 477, 510—513, 515, 518, 521—522, 531, 534; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в стандартном церковнославянском регистре 410—418, 530; конфигурация вариантов в стандартном церковнославянском регистре 418, 449; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в гибридном регистре 418—437, 530—531, 532; конфигурация вариантов в гибридном регистре 437, 449; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в деловом регистре 438—446, 531; конфигурация вариантов в деловом регистре 450—451; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в бытовом регистре 446—448, 531; конфигурация вариантов в бытовом регистре 450; факторы, формирующие разные конфигурации вариантов в текстах XVII в. 448—451; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в текстах Петровской эпохи 451—463; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в текстах послепетровского времени 464—475, 546; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в духовной литературе XVIII в. 509—528, 553, 555—556; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в церковнославянских грамматиках 475—479, 546—547; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в доломоновских грамматиках русского языка 479—489, 550—551; трактовка окончаний прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа после 1733 г. 489—508, 552; тематический фактор 444—445; фактор читатности 520, 521, 526, 527, 528; стилистический фактор 524, 527, 528; формы причастий и пре-

- восходной степени как фактор сохранения старых флексий в им.-вин. мн. м. рода 519—520, 524; замены в «Географии генеральной» 119; кодификация в грамматике Пауса 122; академическое правило 1733 г. 216, 472—474, 482—484, 488—491, 494—496, 498—501, 505, 506, 507, 517, 519, 527, 528, 546—547, 555—556
- «Примечания к ведомостям»:** начало издания 120; его просветительские задачи 544—545; относительные предложения 114; употребление форм инфинитива 199—202, 216, 545; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 251—252; параметры *a*-экспансии 334—339, 370, 372, 545; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 216, 468—473, 487, 488, 545; упоминания 564
- Причастия:** функция и форма действит. причастий наст. времени 58—59; в функции личного глагола 58, 102—103; действит. причастия прош. времени 205; формы причастий как фактор сохранения старых флексий в им.-вин. мн. м. рода 519—520, 524
- Проективность** (и дистантное расположение членов словосочетания) 10, 52—53, 66—67, 109—110
- Пролог** 79, 240
- Проповедь** см. гомилетика
- «Простой» язык** (в XVII в. и в Петровскую эпоху) 30, 68—69, 189, 249, 268, 320, 324, 326, 329, 344, 378, 459, 464, 509, 515, 557—558, 562—563, 567, 572; «простой» язык Петровской эпохи в отношении к основным свойствам литературных языков 543—544
- Простые претериты (аорист, имперфект):** время утраты в разговорном языке 93—95; как признак книжности 34—35, 57, 154—155, 165, 193, 212, 236, 245, 264, 309, 319, 352, 393, 443, 460, 510, 515, 537, 557—563; их переосмысление 34—35, 93, 95—98, 565—566; простые претериты в не книжных текстах 96—97; перформативный характер аориста в деловых документах 96—97; употребление в летописи 97—103, 571; соотношение с видовой корреляцией 34—35, 93, 99—101, 567—571, 573; зависимость употребления от нарративной стратегии 99; композиционная мотивированность употребления 101, 150, 573; тематическая мотивированность употребления 101, 150, 574; в Мазуринской летописи 35, 101—103, 139; их устранение из литературного языка нового типа 117—118, 193, 267, 541, 557—558, 560—563; стилистическая значимость 35—36; имперфект с аугментом *-ть* 47, 78, 98; имперфект глаголов *i*-спряжения 181; имперфект в берестяных грамотах 56—57, 60, 96; имперфект в кратном-перфективном значении 94—95; имперфект с семантикой фонового действия 95, 567; имперфект в итеративно-распределительном значении 100—101, 569, 570; смешение имперфекта с причастием 561; соотносительность имперфекта с итеративами и имперфективами 95, 582—593; аорист с основой *бы-* в качестве вспомогательного глагола и в инхотивном значении 559—560; аорист с аугментом *-ть* в русской письменности 560; аорист *умре* как застывшее образование 562, 579; употребление простых претеритов в светской литературе XVIII в. 557—566; употребление простых претеритов в духовной литературе XVIII в. 553—554, 567—577; фактор цитатности 568, 570, 573—577; простые претериты как основное отличие славянского от русского в грамматической мысли 578—581
- Псалтырь** 51, 58, 59, 64, 529; стихотворные переложения 204—205, 207, 253—254, 263, 264, 346—347, 351—352, 565—566
- Псалтырь Авраамия Фирсова:** характер текста 69, 309—310, 567; параметры *a*-экспансии 309—310, 315, 317, 319, 326, 387, 536
- Псевдо-Дионисий Ареопагит** 155, 246
- Псковская судная грамота** 72
- Пузина Афанасий,** «Грамматика или писменница языка словенского»: отражение *a*-экспансии 358—359; структура глагольной парадигмы 585
- Пуризм:** как культурная установка 27, 105; славянизующий пуризм 218—219, 222
- Пуятинна Миня** 270

Пушкин А. С. 130

Пюркенштейн Б. фон *см.* «Геометрия сла- венски землемерие»

Рагоза Михаил, справщик 176

Разговорный язык (разговорная речь, разговорный узус): в отношении к письменному языку 14, 28, 37—38, 52—54, 77, 111, 131, 135, 148, 166—167, 270, 273, 332, 333; как фактор изменения письменного языка 93—95, 339, 532—534; как особый регистр современного русского языка 41, 52—53; синтаксические особенности 51—54; регламентация разговорного узуса 121; *см. также:* *a*-экспансия, фактор «свежести инновации»

Раструбаев Г. Х., адресат письма 161

Регистровой гармонии принцип 155, 158, 174, 181, 241, 246, 249, 312, 318—319, 537

Регистры языка 14—15, 19—20, 26, 49, 529; процесс формирования и дифференциации 62—77, 193, 317; книжные и не- книжные регистры 55—56; их культурно- исторические параметры 24—25, 55, 63, 529; и синтаксические (риторические) стратегии 51—54; и конфигурации мор- фологических вариантов 277, 529—532; интерференция языковых элементов 27, 56—62, 93, 96, 179, 307, 533—534; изме- нения узуса 19—21, 29; и функциональ- ные стили 62, 538—540; и прагматиче- ские параметры 238—239

Репрезентативность: исследуемых стати- стических параметров 29—30; выборки 32, 159, 313, 446

Римские деяния (Gesta Romanorum): употребление прошедших времен 101; употребление форм инфинитива 147— 149, 185, 192; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 244—245

Риторические стратегии: и синтаксис 10—11, 25, 51—54, 55, 69, 106—107, 109—110; и коммуникативные задачи 12, 49, 55, 104; и лингвистическая разнород- ность текста 65, 70, 151—154, 576

Робинсон А. Н. 264

Рогов Михаил, справщик 176

Роде И., «Russische Sprachlehre»: влияние грамматик Ломоносова и Адодурова 380; кодификация форм инфинитива 222; ко-

дификация форм 2 лица ед. числа презен- са 257; отражение *a*-экспансии 380, 382; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 505; структура гла- гольной парадигмы 599

Романовы, династия 176

Российская грамматика сочиненная Императорскою Российскою Академи- ею: характер описания 552; кодификация форм инфинитива 225—226; отражение *a*-экспансии 382, 385, 405; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 508; структура глагольной пара- дигмы 599—600; упоминания 130, 549

Российское собрание 121

Роте Г. 115

«Руководство учителям перваго и втора- го класса народных училищ Россий- ской Империи» 507

Русизмы 17, 23, 32, 42; генетические и функциональные 26

Русская Правда 38, 55

Рябицкий Д., доносчик 164, 295

Рязанская Е. Л. 217, 341, 489

Савватий, старообрядческий автор 535

Салтыков Ф. С. 362

Сальво М. ди 36

Сатаров М. 120, 199, 465—467, 469, 471, 472, 473

Светов В. П.: трактовка форм инфинитива 222, 258; трактовка форм 2 лица ед. чис- ла презенса 258, 263, 264; трактовка при- лагательных в им.-вин. падежах мн. чис- ла 503, 506; упоминания 552

Светская литература 35—36, 68, 114—115

Святослав Ярославич, князь 80

Св. Писание *см.* Библия

Севел В., «Искусство нидерландского язы- ка» 588

Селищев А. М. 70, 96

Семин И. Е. 320, 321

Сенат (типография Сената) 124—125, 490

Сербский язык 492

Сергий Радонежский *см.* Епифаний Пре- мудрый

Сибирские летописи XVII в.: параметры *a*-экспансии 306, 317

Сидоровский Иоанн, священник 236

Сильвестр, поп *см.* Домострой

- Симеон Полоцкий:** проповеди 77, 388; употребление в них форм инфинитива 227; употребление в них форм 2 лица ед. числа презенса 258; параметры *a*-экспансии 276, 280—282, 292, 310, 317, 385, 387, 390, 391, 392, 534, 536, 544, 553; употребление простых претеритов 567—568; параметры *a*-экспансии в его поэтических произведениях 279—280; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в «Обеде душевном» 413—414, 509; «Псалтырь рифмотворная» 279, 310; «Трагедия о Навходоносоре» 279; «Обед душевный» 276, 280—282, 284, 413—414, 567—568; «Вечера душевная» 568; ориентация на грамматику Смотрицкого 281—282, 284, 317, 387, 413; упоминания 569
- Симон (Годорский):** употребление форм инфинитива в его проповедях 231; употребление форм 2 лица ед. числа презенса в его проповедях 261; параметры *a*-экспансии в его проповедях 397—398, 399, 553; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 516—517, 518; употребление простых претеритов и *л*-формы 573—574
- Синод (Синодальная типография)** 124—125, 186, 187, 387, 521, 522, 525, 527
- «Синопис о Езекии, царе Израильском»,** драма: употребление форм 2 лица ед. числа презенса 265
- Синтаксис:** и способы представления информации 9—10, 51—54, 66—67; связь с коммуникативным заданием 9—10, 49, 51, 66—67; и дифференциация регистров 51—54; и риторические (синтаксические) стратегии 10, 25, 51—54, 55, 106, 109—110; ситуационный синтаксис 52—53, 109—110; синтаксис логического развертывания 52—53, 109, 129; интерференция книжного и не книжного синтаксиса 66—67; «петровский пул» 109, 114; и орфография 56, 76; и морфология 56—57, 76; особенности нормативных установок 49—50; синтаксические замены 50; и европейское влияние 25, 27, 106—113; в гибридном регистре и языковом стандарте 25
- Синтаксические конструкции:** второй винительный 18, 58; второй дательный 18; дательный самостоятельный 18, 43, 58—59, 443; *accusativus cum infinitivo* 43; *яко* с инфинитивом 43, 142, 231; аналитические обороты с причастием 43; *иже* с причастием 58; беспредложный дательный и предложные конструкции 50; именительный темы 52, 110; именительный перечисления 52, 110; предикаты-приложения 67; инфинитивные предложения со значением долженствования 142; безличные конструкции 539—540; препозитивные деепричастные обороты с каузальным значением 539
- Сказание о Мамаевом побоище** 135
- Сказание чудес Бориса и Глеба** 80
- Склонения, схемы грамматического описания:** 356—357, 362, 363, 365, 366—367, 368—369, 371
- Склонения (именные классы), *a*-склонение:** 30—33; слова на *-ия/-ья* 32—33; слова с основой на шипящий и *ц* 33; род. ед. мягкой разновидности 46; дат. ед. мягкой разновидности 30—33, 118; местн. ед. мягкой разновидности 30—33, 118; дат. мн. на *-омъ/-емъ* 304; тв. мн. на *-ы/-и* 280—281, 282, 283, 287, 288, 294, 298, 301, 303, 304, 305, 307, 313, 323, 327; местн. мн. на *-ѣхъ/-ехъ* 303
- Склонения (именные классы), *i*-склонение:** особенности *a*-экспансии 33, 274—277; род. ед. м. рода 122; им. мн. м. рода 122; лексический состав (для м. рода) 277; тв. мн. на *-ы/-и* 294, 309
- Склонения (именные классы), *o*-склонение:** им. ед. на *-е* 46, 56, 60; дат. ед. мягкой разновидности 122; местн. ед. мягкой разновидности 118, 124, 350—351; им. мн. 118; омонимия тв. мн. и им.-вин. мн. 46; род. мн. на *-овъ* 535
- Склонения (именные классы), *и*-склонение:** неактуальность для рассматриваемого периода 32, 276; лексический состав 275
- Склонения (именные классы), склонение на согласный:** род. ед. 118, 237
- Скоморохова-Вентурини Л.** 101
- Сконефельд К. Р. ван** 582

- Скопин-Шуйский М.**, князь 243
Скоропись 72, 244
«Славенороссийский» язык 205, 206, 233, 254, 347, 384
Славянизация 38—39, 167
Славянизмы 17, 23, 31, 32, 42, 123—124; генетические и функциональные 26
Слово о полку Игореве 47, 61
Словоизменение глаголов (см. также: инфинитив, 2 лицо ед. числа презенса; простые претериты; л-форма; кодификация глагола в русской грамматической традиции): замена в 3 лице презенса *-ть* на *-ть* 133; атематические глаголы 205
Словоизменение прилагательных (см. также: прилагательные в им.-вин. падежах мн. числа): им.-вин. ед. м. рода 22—24, 29, 47, 76, 118, 122, 124, 128—129; род. ед. м. и ср. рода 18—19, 29, 122, 124, 496; род. ед. ж. рода 15—16, 57, 76, 118, 122, 124, 496; им.-вин. мн. м. рода 29; им.-вин. мн. ср. рода 47, 122
Словоизменение существительных (см. также: склонения; а-экспансия): им. мн. м. рода на *-а* 11; второй родительный 47, 118, 547; второй предложный 118, 547; род. мн. ср. рода 378; чередование заднеязычных со свистящими 119, 352
Смирнов Н. 104
Смирнова А. М. 301
Смоленские грамоты 71, 134, 240
Смотрицкий Мелетий, «Грамматика»: кодифицируемые нормы в отношении к узусу Острожской Библии 356—357; ее значение в деятельности справщиков петровского времени 118; и узус XVII—XVIII вв. 181; и грамматическая традиция 202, 222, 268, 364—367, 368, 371, 374, 375, 380, 382, 383—384, 481, 549—550, 585—589, 591—595; влияние на Симеона Полоцкого 281—282, 284, 317, 387, 413; кодификация форм инфинитива 209—210; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 255; отражение а-экспансии 354, 356—361, 362, 363, 364, 365, 536; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 416, 478—480, 481, 485; структура глагольной парадигмы 584—585, 586; упоминания 543, 578
Соболевский А. И. 84, 90, 132, 133, 134, 169, 239, 240, 269, 271
Соие Ж., «Grammaire et Methode Russes et Françaises»: характер грамматического описания 366, 368, 483, 550; зависимость от Смотрицкого 366—367, 591; зависимость от Лудольфа 213, 366—367, 482, 550, 580, 590—591; возможное знакомство с латинской грамматикой Копиевича 591; кодификация форм инфинитива 213, 256, 550; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 256; отражение а-экспансии 366—368, 550; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 482—486, 550; структура глагольной парадигмы 579, 590—592, 599; упоминания 31, 551
Соколова М. А. 136, 137, 240, 274, 275, 293
«Сокращение латинской грамматики» 1746 г.: кодификация форм инфинитива 219—220; кодификация форм 2 лица ед. числа презенса 257; отражение а-экспансии 377; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 489; структура глагольной парадигмы 598, 601
Солуянова Е. Г. 101, 182
«Сон Богородицы», апокриф 165
Соренсен Х. 291
Сорокин Ю. С. 345, 565
Соссюр Ф. де 12, 85
Существование литературного языка и диалекта (как языковая ситуация) 17, 40—42
Социальные параметры в развитии и функционировании языка 14, 38—39, 61, 63, 110, 114, 115, 125—127, 129, 162, 322, 458, 552
Средства связи (связанности) 73, 110
Станг Хр. 30, 172, 248, 290, 294
«Стандартный древнерусский язык» 71, 447
Стандартный церковнославянский (регистр): общие характеристики 15—16, 21, 22, 30, 69, 76, 529; нормализационная установка, кодификация и книжная справа 24, 48, 210, 535; употребление дв. числа 84—87; функционирование в нем форм инфинитива 134—135, 137—138, 181, 184, 530; параметры а-экспансии

- 277—284, 314—318, 531; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 410—418, 530; воспроизводимые и оригинальные тексты 86—87; синтаксические параметры 110—111
- Старообрядчество** 115, 247, 535
- «Статир»** (РГБ, Румянц. 411): языковые и культурные установки автора 258—260, 415; подражание Симеону Полоцкому 282, 415; употребление форм инфинитива 138, 227; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 258—260; параметры *a*-экспансии 282, 317, 553; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 415—417, 422; конструирование оральности 259—260
- Степенная книга** 240
- Стефан Пермский** см. Епифаний Премудрый
- Стефан Яворский**: употребление форм инфинитива 227, 228; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 260; параметры *a*-экспансии в его проповедях 390—391, 392, 394; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 509; употребление простых претеритов 228, 569—570, 571, 573
- Стефанов Федор**, справщик 187
- Стилистическая дифференциация языкового стандарта** 21, 27, 44, 48, 223—224, 547—548
- Страториус П.** 365
- Страхов А. Б.** 160
- Стрешневы**, их переписка: употребление форм инфинитива 162; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 248; параметры *a*-экспансии 285; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 446—448
- Структурализм**: и концепция развития языка 9, 11, 14, 17; и отбор элементов описания 38; и бинарные оппозиции 57—58; и системность 85—86, 238
- Субстантивированные прилагательные и причастия**: их формальная дифференциация 18, 58; прилагательные в мн. числе ср. рода в обобщенно-субстантивированном значении 413, 425—427, 429—430, 432, 434—435, 437, 441, 448, 459, 461—462, 469, 470, 472, 522, 524, 527; субстантивированные прилагательные м. рода в им. мн. и их флексии 431, 434—435, 437, 445, 522; прочие случаи субстантивированных прилагательных и причастий в им.-вин. мн. 441
- Судебник 1497 г.** 75
- Судебник 1589 г.** 136
- Судебники** 135, 176
- Сумароков А. П.**: языковая практика 23, 126—127, 130; языковая программа 128, 206—207, 501—502, 547, 566; культурные позиции 125; полемика с Третьяковским 206; полемика с Ломоносовым 126, 222; отношение к морфологической вариативности 126—128, 223; отношение к нормализации 126—128, 501, 556; трактовка форм инфинитива 223; трактовка прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 475, 501—505, 506, 556; трактовка простых претеритов 581; принцип благозвучия 223; употребление у него форм инфинитива 127, 204, 206—208, 222—223, 254, 548; употребление у него форм 2 лица ед. числа презенса 254, 266, 548; параметры *a*-экспансии в его произведениях 351—352; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 503—504; употребление у него простых претеритов и перфекта со связкой 565—566; переложение Псалтыри («Стихотворения духовные») 207, 253, 254, 263, 264, 351—352, 548, 565—566; оды 127, 351, 504; притчи 127; эклоги 207; элегии 126; «Хорев» 266, 503; «Две епistolы» 1748 г. 207, 504—504; «Гамлет» 266; «К типографским наборщикам» 501—502, 504; «Хор ко златому веку» 351; «Некоторые статьи о добродетели» 207—208; «Рогоносец по воображению» 208; «О правописании» 502; «Примечание о правописании» 223, 502—503, 506
- Супин** 133, 135, 181
- Суслов Л.**, автор письма 163
- Сухомлинов М. И.** 64, 227, 415
- Сухопутный шляхетный кадетский корпус (типография)** 125
- Сырейщиков Е. Б.**, «Краткая российская грамматика» 129; кодификация форм

- инфинитива 222; отражение *a*-экспансии 381; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 506—507; структура глагольной парадигмы 601
- Тарабасова Н. И.** 286, 289, 290, 294
- Тарковский Р. Б.** 560
- Тасс Торквато** 206, 560
- Татищев В. Н.:** его отношение к академической филологии 344; «Разговор дву приятелей»: относительные предложения 108; параметры *a*-экспансии 342—344, 348, 351, 400; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 474; «История Российская» 110; характер текста 562; исправления во второй редакции «Истории» 218, 253, 562—563, 564; противопоставление русских и церковнославянских форм в его словарях 218
- Телеология в языке** 11—12, 15, 20
- Теплов Г. Н.** 125
- Тимберлейк А.** 12, 14, 15, 36, 38, 47, 78, 85, 152, 153, 155, 238, 422, 423
- Тимофеев Иван,** «Временник»: характер текста 143; синтаксические особенности 143; употребление в нем форм инфинитива 143—144, 145; употребление в нем форм 2 лица ед. числа презенса 243; параметры *a*-экспансии 299—301, 302, 319, 534; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 416, 424—428, 429
- Тимофей,** пономарь 64, 67
- Тихонравов Н. С.** 209, 353, 354
- Толстой Н. И.** 36, 128
- Томас Дж.** 273
- Томсон Ф.** 45
- Торндаль В.** 351
- Третьяков В. К.:** его академическая карьера 490—491; занятия в Академии наук 120, 125, 216; концепция языкового стандарта 123—124, 214, 233, 236, 253, 347, 378, 546—547, 565, 566; единство природы русского и славянского 490, 492, 566; концепция употребления 493—494, 498, 502; его языковая практика 126; употребление у него форм инфинитива 202—205, 546; употребление у него форм 2 лица ед. числа презенса 251—253, 265—266; параметры *a*-экспансии 339—341, 345—349, 351, 352, 401, 537, 546—547, 555; употребление у 581; него прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 471—472, 473, 488, 490, 546—547; употребление у него простых претеритов 564—565; и создание новой литературы 114, 217; сотрудничество с В. Е. Адодуровым 203, 546—547; трактовка поэтических вольностей 202, 216—217, 258, 340—341, 345—349, 378—379, 546—547, 555; трактовка форм инфинитива 206, 216, 219, 221; трактовка форм именного словозменения, связанных с *a*-экспансией 377—379; трактовка прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 34, 378, 475, 490—496, 501, 502, 503, 504, 506; трактовка простых претеритов 580; критика А. П. Сумарокова 23, 126—127; знакомство с экспериментами Ф. Цезена 105; знакомство с грамматикой Пауса 123; первый перевод «Аргениды» 565; «Езда в остров любви» 120—121, 202, 216, 339—340, 349, 471—472, 488, 546, 564; «Стихи на разные случаи» 251, 564—565; переводы итальянских комедий 265—266; «Ода о взятии города Гданска» 203, 205, 252, 341—342, 473; «Рассуждение о оде во обще» 473; «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» 121, 203, 205, 217—219, 252, 341—342; перевод «Военного состояния Оттоманския империи» графа де Марсильи 113; «Истинная политика знатных и благородных особ» 490; «Слово о витийстве» 490; «О правописании прилагательных» 1746 г. 23, 490, 491—494; «Разговор об орфографии» 219, 377—379, 383, 491—498, 580; «Письмо от приятеля приятелю» 126—127; переложение Псалтыри 204—205, 253, 346—347, 348, 565; «Аргенида» 253; Эпиграмма на Ломоносова 497; «О правописании прилагательных» 1755 г. 219, 491—494; «Гилемахида» 205, 348—349, 352, 401, 537, 547, 564
- Троицкая летопись** 90
- Троицкий сборник XII—XIII вв.** (РГБ, Собр. Тр.-Серг. Лавры 12) 45
- Трубецкой Н. С.** 41, 125
- Трубченинов А.,** автор письма 163
- «Трудолюбивая пчела»** 501—502, 504, 506

- Тургенев И. С.** 130
- Украинская письменность и украинский язык** 388—389, 477, 492, 496, 515
- Уложение 1649 г.:** как печатное издание секулярной литературы 117, 172; история текста 175—178, 440; интерференция книжных регистров 60; лексический повтор 75, 111; употребление форм инфинитива 167, 172—180, 183, 185, 188, 192, 267, 537; параметры *a*-экспансии 289, 292—296, 315, 316, 319; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 430, 438—443, 444, 445, 446, 448, 450, 452, 456, 480; упоминания 123, 247, 529, 592
- Улуханов И. С.** 65
- Унбегаун Б. Г.** 15, 26, 30, 70, 105, 270—271, 273, 274, 275, 294, 295, 409, 448, 587, 596
- Ундольский В. М.** 303
- Уровни языка** 9—11, 19, 22, 26, 48, 49—50, 55—57
- Успенский Б. А.** 17, 22, 23, 31, 36, 40, 42, 44, 47, 57, 65, 72, 87, 117, 121, 128, 167, 212, 219, 221, 223, 227, 256, 320, 344, 347, 364, 365, 366, 368, 371, 374, 415, 425, 443, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 490, 491, 494, 497, 535, 543, 550, 559, 560, 561, 579, 582, 587, 590, 592, 596
- Успенский сборник** 80, 269
- Устав Владимира 59**
- Устав Ярослава 59**
- «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» 1647 г.:** как печатное издание секулярной литературы 117, 172; употребление форм инфинитива 172, 180, 188; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 248, 538; параметры *a*-экспансии 290, 294, 296, 315, 316, 326
- Учительное Евангелие Константина Болгарского XII в.** 133
- Федер В.** 45
- Федор Родионович,** адресат письма 160, 161
- Федор Черный,** князь *см.* Житие Федора Черного
- Федоров Иван,** «Букварь»: отражение *a*-экспансии 354—355
- Фенелон Салиньяк де ла Мот Ф.** 204
- Феодосий Печерский** *см.* Житие Феодосия Печерского
- Феофан Прокопович:** лингвистические установки Феофана 514—515, 572; гомилетические установки Феофана 260—262; «История Петра Великого», характер текста 193, 560; правка в тексте «Истории Петра» 35, 193—194, 324, 393, 560—562; исправления, сделанные М. М. Щербатовым 23, 234; относительные предложения в «Истории Петра» 108, 112—113; употребление форм инфинитива в «Истории Петра» 193—194; параметры *a*-экспансии в «Истории Петра» 329—331, 332, 339, 342, 344, 386, 391, 392, 393, 542, 544; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в «Истории Петра» 462—463, 484, 514; простые претериты в «Истории Петра» 560—562; использование гибридного регистра в его проповедях 572; динамика употребления форм инфинитива в его проповедях 228—230, 231, 232, 233, 261, 393, 515; употребление форм 2 лица ед. числа презенса в его проповедях 260—262, 393; параметры *a*-экспансии в его проповедях 391—394; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в его проповедях 511—515, 517, 521; динамика употребления простых претеритов в его проповедях 393, 515, 571—573; исправления в московском издании «Панегирика» 511—512; исправления, сделанные С. Ф. Наковальным 233—234, 261; «Правда воли монаршей» 27, 104; Предисловие к «Библиотекам» Аполлодора 327
- Феофилакт Болгарский,** «Толкование на Евангелие» 582—583
- Феофилакт (Русанов):** параметры *a*-экспансии в его проповедях 406—407; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа в его проповедях 526—528; употребление простых претеритов в его проповедях 576—577
- Фергусон Ч.** 40
- Филарет (Дроздов)** 236
- Филин Ф. П.** 26
- Филиппова И. С.** 164
- Флаер М.** 132

- Флоря Б. Н.** 65
Фома, священник 55
Фоменко Ю. В. 306, 321
Фонвизин Д. И.: перевод «Иосифа» Битобе 206, 222; «Бригадир», параметры *a*-экспансии 352
Фонтенель Б. см. Кантемир А., перевод «Разговора о множестве миров»
Фотий, патриарх 242
Фотий (Спасский), архимандрит 577
Фрайдхоф Г. 278
Франклин С. 63, 71
Французская академия 119, 126
Французский язык 17, 38
Фриш И. Л. 578
Фуко М. 59
Хабургаев Г. А. 82, 83, 86, 87, 91, 93, 136, 269, 272, 273, 294
Хасан Р. 73
Хенне Г. 105
Хованские, князья, переписка: употребление в ней форм инфинитива 159, 161; употребление в ней форм 2 лица ед. числа презенса 248; параметры *a*-экспансии 285, 286, 316
Холлидей М. 73
Христиани В. 104
Хроника Георгия Амартола 64
Хроника Иоанна Малалы 64
Хроника Скилицы-Кедрина 42—43
Хронограф III редакции (РГБ, ф. 310, № 726) 182
Хутерер А. 368
Хютль-Фольтер (Хютль-Ворт) Г. 17, 26, 36, 40, 55, 65, 106, 107, 108, 113, 558
Цезен Ф. 105
Целунова Е. А. 309
Церковнославянская литературная традиция: ее влияние на узус XVIII в. 31
Церковнославянский язык (см. также: стандартный церковнославянский регистр): взаимодействие с русским (восточнославянским) 17—18, 26, 28, 37—44; взгляд на него А. А. Шахматова 38; взгляд на него С. П. Обнорского 38—39; устное употребление 41; отличия от восточнославянского в фонетике и морфологии 41—43; понятность/непонятность и уровни языка 43—44; его кодифицированность 44; восприятие его как языка «церковных книг» 565, 575
«Церковные книги» 105, 565
Часослов 51, 59
Челлберг Л. 31, 232, 233, 262, 399—402, 474, 518—521, 524, 574, 575
Черкасова А. Г. 273, 286, 310
Черкасова Е. Т. 106
Чернов В. А. 30, 152, 153, 154, 245, 246, 311, 312
Черных П. Я. 15, 30, 153, 166, 167, 172, 173, 175—179, 247, 289, 292, 294, 438, 439, 440, 441
Чернявский О. 224
Чешский язык 492
Чин избрания и поставления епископа (ГИМ, Син. 344): употребление в нем форм инфинитива 137—138; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 414, 416
Чистович И. А. 125
Чтение: и формирование навыков письменного языка 19, 51—54, 52—63, 77—78, 85—86; круг чтения — историко-культурная расчлененность 62—63; круг чтения — социальная расчлененность 62—63
Чудовская Псалтырь 269
Шапиро А. Б. 209
Шахматов А. А. 38—39, 42, 65, 66, 95, 271, 273, 275, 291
Шванвиц М.: концепция языкового стандарта 370; отношения с Паусом 123, 214, 370, 371, 372, 468, 549; «Немецкая грамматика» 23, 201, 202; исправления в последующих изданиях 216—217, 219, 341, 371, 488—489; кодификация в ней форм инфинитива 215—217; кодификация в ней форм 2 лица ед. числа презенса 251, 257; отражение *a*-экспансии 338, 341, 370—371, 372; кодификация прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 486—488; структура глагольной парадигмы 579, 595, 599, 601; «Compendium Grammaticae Russicae» 120, 219, 487, 548, 549, 595, 596; зависимость от грамматики Пауса 32, 123; влияние на «Очерк» Адодурова 373—376, 551, 595—596; отражение *a*-экспансии 371—373; как переводчик 120, 201
Шевелов Дж. 42

- Шевченко И. 63
Шендерей И. В. 387
Шепелева Р. Д. 279, 280, 281, 356, 362
Ширияев Е. Н. 41, 109
Шицгал А. Г. 186
Шишков А. С. 352
Шлосберг А. 169
Шоттель Ю. Г. 105
Штоль С. 78
Шульга М. В. 272
Шумахер И. Д. 491, 496
Шутрумф М. 202
Щепкин В. Н. 72
Щербатов М. М. 23, 234
Эклога (юридический кодекс) 55
Экономии принцип 11—12, 80
Эллипсис 67, 73—74
Эллис Дж. 14
Эпистолярные формулы 64, 160, 161, 163, 182, 185
«Юности честное зеркало»: нормализующая правка в наборной рукописи 458; употребление форм инфинитива 189—190, 195—196, 197, 542, 543; употребление форм 2 лица ед. числа презенса 250; параметры *a*-экспансии 328—329, 332; употребление прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа 457—458, 463, 466, 472, 543; употребление простых претеритов 563
Юр Дж. 14
Юридическая письменность 55, 70—71, 73—75, 176—177
Яблочков Д., автор письма 160
Яблочков И., автор письма 160
Ягич В. 46, 209, 271, 353, 354, 475, 476, 583
Язык и речь (*la langue et la parole*) 12, 17, 37, 56
Языковая ситуация древней Руси 37—44
Языковой стандарт (литературный язык): определение 21—22; свойства 21, 44, 52, 123; и фрагментированность средневекового узуса 24, 123; и устранение регистровой компартиментализации 21—22, 24, 332, 464, 540—544 (см. также: Петровская эпоха, «петровский пул»); как секулярный (гражданский) язык 25, 116, 123, 515, 543—544; его историческая композиция 25—26, 28; характер формирования в зависимости от уровня языка 26—28; и московская речь 223—224; лексические нормы 104—105; синтаксические нормы 105—115; морфологические нормы 116—130; проекты построения и параметры формирования 28—29; социальная экспансия 114, 129—130, 384; жанровая экспансия 114, 385; и влияние церковнославянской литературной традиции 31, 268; и ориентация на разговорное употребление 268, 339, 370; и ориентация на язык литературы (образцовых авторов) 121, 130, 216—218, 224, 252—254, 257—258, 351, 376, 545—548, 553; значимость гибридного регистра 25—27, 69, 331, 458—459; и синтаксис логического развертывания 53, 106—114; ориентация на синтаксис западноевропейских языков 106—113; как язык новой литературы 120—121, 216—217, 545—547; и школьное образование 129—130, 490, 507—508, 556
Якобсон Р. О. 354
Яковлева Г. А. 272
Янин В. Л. 70, 72, 81, 160, 239
Янкович де Мерицево Ф. И. 129
Янковска Б. 388
Ярин А. Я. 110
Ярополк Святославич, князь 242
Ярослав Ярославич, вел. князь 64

Виктор Маркович Живов

ОЧЕРКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА XVII—XVIII ВЕКОВ

Издатель А. Кошелев

Художественное оформление переплета
С. Жигалкина и Ю. Саевича

Корректор И. Пекунова

Подписано в печать 18.06.2004. Формат 70×100^{1/16}.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 52,89. Тираж 800. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры».
ЛР № 02745 от 04.10.2000.
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: Lrc@comtv.ru

*

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).